

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Санкт-Петербургский институт истории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Республиканский гуманитарный институт

Отечественная история и историческая мысль в России XIX—XX веков

*Сборник статей
к 75-летию
Алексея Николаевича Цамутали*



Издательство
«Нестор-История»

Санкт-Петербург
2006

УДК 947.081:92
ББК 63.3(2)5:84-4

Отечественная история и историческая мысль в России XIX–XX веков: Сборник статей к 75-летию Алексея Николаевича Цамутали. – СПб.: Издательство «Нестор-История», 2006. – 612 с.

Сборник посвящен 75-летию видного ученого, доктора исторических наук Алексея Николаевича Цамутали. В тематических разделах раскрываются важнейшие аспекты внутри- и внешнеполитической истории России, истории общественной мысли и общественного движения XIX–XX веков, по-новому освещаются многие актуальные проблемы. В сборнике приняли участие ученики, коллеги, друзья А. Н. Цамутали из Петербурга, Москвы, Архангельска, Саратова, Тбилиси, Твери.

Ответственный редактор *Р. Ш. Ганелин*

Редакционная коллегия: *Б. В. Ананьич, Т. В. Андреева,
Л. А. Вербицкая, А. В. Гоголевский, А. Н. Кирпичников,
В. Н. Плешков, А. А. Фурсенко, В. Г. Чернуха*

Рецензенты: *Е. М. Балашов, А. Л. Дмитриев*

*Издание осуществлено с использованием средств грантов президента РФ
для государственной поддержки ведущих научных школ РФ*

№ НШ-2864.2006.6

№ НШ-3347.2006.6

ISBN 5-98187-072-9

© Коллектив авторов, 2006
© Санкт-Петербургский институт истории, 2006
© Республиканский гуманитарный институт Санкт-Петербургского государственного университета, 2006
© Издательство «Нестор-История», 2006

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

При составлении предлагаемого сборника статей, посвященного 75-летию со дня рождения Алексея Николаевича Цамутали, члены редколлегии руководствовались стремлением не только представить читателю новые материалы, оригинальные интерпретации различных вопросов политической, экономической, военной истории России XIX–XX вв., истории общественного движения и общественной мысли этого времени, всего того, чем юбиляр занимается всю свою творческую жизнь, но и привлечь в качестве авторов близких ему людей. Это — друзья, коллеги, ученики Алексея Николаевича, те, кто окружали его в течение десятилетий. Поэтому в издание вошли материалы различных жанров — исследовательские статьи, очерки, эссе, воспоминания.

В сборнике, имеющем широкий проблемный диапазон, представлено около 60 работ как сотрудников Санкт-Петербургского института истории, так и ученых других академических и высших учебных заведений нашего города, а также московских, саратовских, петрозаводских, тверских, тбилисских коллег. Сборник состоит из шести разделов. В первый раздел вошли статьи, посвященные различным вопросам отечественной исторической науки от дореволюционной эпохи до современности, а также истории высшей школы в России. Второй раздел включает статьи, дающие представление о сложном процессе развития общественной мысли и общественного движения на протяжении XIX–XX вв. Третий, самый большой, представлен работами по истории внутренней политики Российской империи и советской России. В четвертый раздел вошли статьи по военной истории от Отечественной войны 1812 г. до Великой Отечественной войны. Пятый раздел посвящен связям России с внешним миром и включает статьи, освещающие внешнеполитические аспекты российской истории. Шестой раздел под названием «Люди и судьбы» составили главным образом материалы мемуарного жанра — воспоминания о Ленинградской блокаде, которую пережил Алексей Николаевич, и эссе о российских и зарубежных государственных деятелях.



Р. Ш. Ганелин, А. Н. Кирпичников

СЛОВО О НАШЕМ ДРУГЕ

Алексей Николаевич Цамутали относится к тем незаурядным ученым, которые десятилетиями ведут работу в различных, казалось бы не связанных между собой областях исторического знания, — при этом разносторонность их занятий оказывается плодотворной на всех направлениях. Речь идет о периодах российской истории, которые зачастую еще не становились предметом научного рассмотрения, — возможно потому, что вообще с трудом ему поддаются. Здесь требуется особое мастерство, глубокое проникновение в изучаемый материал, нестандартность суждений, постоянное стремление открыть и оценить новое. Все эти качества щедро присущи Алексею Николаевичу.

Алексей Николаевич родился в Ленинграде 10 февраля 1931 г. в семье служащих. Его отец Николай Михайлович Цамутали был инженером. Мать Мария Петровна — учительницей. Подростком Алексей Николаевич пережил ленинградскую блокаду, при этом редкая наблюдательность и исключительная память дали ему оставшиеся на всю жизнь трагические и яркие впечатления. Впоследствии как исследователь он приобрел не часто встречающуюся способность сопоставлять результаты работы над источниками с сохранившейся в памяти или реконструируемой на основе логического анализа жизненной ситуацией.

С детских лет Алексей Николаевич стал регулярным и вдумчивым читателем газет и журналов, научившись читать между строк, сопоставлять различные сообщения и статьи и сравнивать газетные версии событий прошлого с тем, что было о них известно и как это воспринималось «в народе». Читателем всех возможных газет был, кстати сказать, один из старших коллег Алексея Николаевича в Ленинградском отделении Института истории АН СССР Ш. М. Левин, да и наш общий учитель С. Н. Валк, будучи уже весьма пожилым человеком, ездил на Невский проспект чтобы в киоске на углу у Европейской гостиницы купить полтора десятка зарубежных газет на всех языках.

Задолго до появления компьютеров у Алексея Николаевича была компьютерная по объему запоминаемой информации и при этом избирательная память.

Несколько слов об Алексее Николаевиче в жизни. В его формировании знатока и исследователя событий и явлений как прошлого, так и настоящего, не только наблюдающего человеческое поведение в самых различных ситуациях исторической и современной действительности, но и строго проверяющего ее на достоверность, немалую роль сыграл житейский опыт внимательного мальчика, сделавшего из него серьезного аналитика едва ли не самых сложных проблем отечественной истории.

Выше уже было сказано, Алексей Николаевич родился в Ленинграде в семье служащих. Родители и ближайшие родственники принадлежали к поколению, пережившему Первую мировую и гражданскую войны, трудности революционной и послереволюционной поры. Впереди были полные тревоги предвоенные годы, а затем и испытания Великой Отечественной войны.

Отец Алексея Николаевича Николай Михайлович Цамутали (1892–1966) родился в Москве. После окончания Михайловского артиллерийского училища с августа 1914 г. на всем протяжении Первой мировой войны находился в действующей армии. В 1917 г. был избран выборным командиром и в гражданскую войну служил в Красной армии. В 1921 г. окончил Артиллерийскую академию. После демобилизации с 1923 г. работал инженером на заводах и в проектных институтах Ленинграда. Некоторое время преподавал (по совместительству) в Горном и Политехническом институтах.

Мать Алексея Николаевича Мария Петровна Цамутали (1898–1953) (урожденная Клокачева) родилась в Петербурге. После окончания Константиновской женской гимназии работала и училась. Будучи студенткой Ленинградского университета, занималась в семинарах у О. А. Добиаш-Рожественской и Л. В. Щербы. В 1921 г. по приглашению Л. В. Щербы стала работать учительницей русского языка и литературы в средней школе, которая до 1942 г. находилась в здании бывшего Училищного Дома им. Петра Великого на Петроградской набережной (известном как одна из построек архитектора Дмитриева и тем, что с 1944 г. в нем находится Нахимовское училище). Впоследствии после реформирования школ с 1942 г. Мария Петровна работала в 82-й средней школе Петроградского района, где преподавала русский язык и литературу и была заведующей учебной частью. Будучи опытным учителем, Мария Петровна перед войной успевала работу в школе совмещать с обязанностями районного методиста и ассистента кафедры методики преподавания русского языка в Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена. С учительской, преподавательской деятельностью были связаны многие родственники Алексея Николаевича. Многие годы преподавала иностранные языки в школах тетюшка Алексея Николаевича (сестра его матери) Варвара Петровна Граве. Учительницами были обе бабушки Алексея Николаевича Варвара Николаевна Клокачева (урожденная Панова, 1868–1940) и Екатерина Федотовна Цамутали (урожденная Клокачева, 1857–1927). Дед Алексея Николаевича (отец его матери) военный инженер Петр Николаевич Клокачев (1863–1917) читал курс лекций по фортификации в Николаевской инженерной и Михайловской артиллерийской академиях, других военных учебных заведениях.

Алексей Николаевич вырос в среде, где берегли то, что в последние годы стали называть общечеловеческими ценностями, а попросту говоря, доброжелательное отношение к окружающим и вообще ко всем людям. Это сказывалось в отношениях его близких с сослуживцами и просто знакомыми.

В годы войны и блокады Алексею Николаевичу пришлось быть в кругу людей, скромно и без громких слов упорно продолжавших выполнять свои обязанности, при этом заботясь о близких и даже в самые тяжелые дни и часы сохранявших веру в победу нашего народа и нашей армии. Воспоминания Алексея Николаевича о трудных днях блокады, многие годы спустя находили подтверждение в сохранившихся документах военной поры. На формирование того, что называют исторической памятью или специальным опытом, во многом влияет обстановка, сложившаяся вокруг человека, в частности в его детские годы.

Военное детство, прошедшее в тесном общении как со сверстниками, жившими известиями о том, что происходит на фронте, так и с теми, кто приезжал в Ленинград с близкого от города «переднего края обороны», во многом способствовали интересу Алексея Николаевича к военной истории, в частности истории обороны и блокады Ленинграда и вообще истории Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Поэтому и его занятия такого рода тематикой наряду с другими проблемами истории России, которым посвящена большая часть его работ, несут на себе не только следы академического интереса, но и отпечаток личного, не равнодушного к ним отношения. Память Алексея Николаевича хранит имена военачальников, названия мельчайших деталей боев. В его изложении прямо-таки оживают карты сражений Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и других войн.

Алексей Николаевич — многолетний член Ученого совета Музея А. В. Суворова, деятельный участник конференций и других мероприятий, проводимых в музее. Он всегда готов консультировать коллег. В этом ему помогает его хорошая память, хранящая как названия трудов, так и живые детали и имена участников событий.

Студентом истфака Ленинградского университета (где он учился с 1948 по 1953 г.) Алексей Николаевич стал заниматься столыпинской реформой, но его руководитель О. А. Ваганов, одаренный молодой преподаватель и всеобщий любимец, был вскоре из университета изгнан. Алексей Николаевич под руководством Н. Г. Сладкевича переключился на русскую историографию. Проблемам историографии он посвятил и обе свои диссертации. Серьезное изучение русской исторической мысли, ее развития и достижений оказалось по силам ему как человеку широкой эрудиции и реалистических общественных позиций и взглядов.

На пути к регулярным занятиям в аспирантуре у Алексея Николаевича были еще две «станции», не прошедшие бесследно для формирования его своеобразного подхода к историческому исследованию. Еще до окончания университетского истфака молодой ученый был направлен по распределению в законсервированный ленинградский Музей революции, решение о подготовке к открытию которого приняли незадолго до смерти Сталина. Музей располагал богатейшим собранием коллекционных исторических материалов, подвергавшихся чистке с уничтожением классово чуждого. Служба в Музее (до 1958 г.) не только расширила жизненный опыт Алексея Николаевича, но и открыла для него новую область научных интересов — историю революционного движения. Следующие четыре года, 1958–1962, дали ему практическую подготовку в области источниковедения и археографии. Возглавлявший ленинградскую группу Института славяноведения У. А. Шустер привлек его самого и его бывшую сокурсницу В. Г. Чернуху к работе над фундаментальной публикацией документов по истории российской политики в Польше.

С 1962 г. и до настоящего времени Алексей Николаевич — в Ленинградском отделении Института истории СССР Академии наук СССР (ныне Санкт-Петербургский институт истории Российской Академии наук). Научным руководителем его был С. Н. Валк, и развитие русской исторической мысли стало основным, хотя и не единственным предметом его занятий. Монографические исследования А. Н. Цамутали в области историографии XIX — начала XX в. приобрели широкое признание среди историков самой разнообразной тематической ориентации. В них умело сочетается показ взаимосвязи историографии с общественной мыслью и анализ тех факторов, которые обеспечивали внутренние

закономерности развития исторической науки в России. Алексей Николаевич наряду с основной работой преподает в высших учебных заведениях. Первым опытом было чтение лекций по русской историографии на факультете повышения квалификации Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена; им были также прочитаны курсы на исторических факультетах Волгоградского, Саратовского и Петрозаводского университетов. С 1995 г. Алексей Николаевич ведет занятия и в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Он читает курс по истории русской исторической мысли, а также часть курса, посвященного дискуссионным проблемам истории России.

3 февраля 1978 г. Алексей Николаевич возглавил коллектив научных сотрудников, в то время объединенных в секторе истории СССР периода капитализма Ленинградского отделения Института истории АН СССР. Со временем, в 1986 г. сектор был преобразован в отдел, а в 1993 г. переименован в отдел новой истории России Санкт-Петербургского филиала Института российской истории РАН, с 2003 г. ставшего Санкт-Петербургским институтом истории РАН. С 1979 г. Алексей Николаевич — руководитель Северо-Западной секции Научного совета по историографии и источниковедению Отделения истории РАН. Алексей Николаевич является также членом Президиума и руководителем исторической секции Ленинградского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Другим направлением исследований А. Н. Цамутали явилась история революционного движения в России. Он участвовал в подготовке публикаций документов по истории народничества и написании работ о первой русской революции, опубликовал значительные и яркие очерки по истории русской культуры. Наконец, Алексей Николаевич стал автором целого ряда работ по истории обороны Ленинграда в Великой Отечественной войне, в которых глубоко исследованы различные стороны жизни блокированного города. Общеизвестный знаток истории отечественных вооруженных сил, он в течение многих лет консультирует специалистов в этой области.

К трудам А. Н. Цамутали (их список за 2002–2006 гг. приложен) обращается чрезвычайно широкий круг читателей. Причина этого — как в их исследовательских достоинствах, так и в широте и разнообразии тематики. Алексей Николаевич столь авторитетен среди историков Петербурга и других городов и стран, и к тому же так блистателен в личном общении, что в институте его всегда ожидают посетители, для каждого из которых беседа с ним — важный шаг на пути к своей исследовательской цели.

Алексей Николаевич — блестящий рассказчик, ему присущ мягкий юмор, обаяние доброжелательного человека, неизменный такт и понимание окружающих, дружеское внимание к коллегам и товарищам.

От всей души желаем нашему другу деятельной жизни, здоровья, создания новых научных исследований, так радующих всех нас.

I. ИСТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

С. Н. Искюль

ВОЛЬТЕР И ЕГО «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ»

К сему делу, по правде, Вольтера
никто не может быть способнее...

М. В. Ломоносов

Известный интерес Вольтера к России вызывался, помимо чистого любопытства просвещенного иностранца, которое неизбежно возникало вследствие очевидной неполноты необходимых достоверных знаний, способных удовлетворить пытливым ум, еще и, безусловно, отношением к личности Петра Великого, что связывалось у него с интересом к роли просвещенного монарха в обществе, а уже впоследствии и с обращением писателя к истории петровского царствования. Творческая история этих сочинений Вольтера не раз становилась предметом исследования,¹ причем далеко не только в России,² однако это отнюдь не означает, что общая их оценка в историографическом контексте и многие, связанные с ними вопросы, уже не требуют не только ряда уточнений отдельных нюансов, но и специального к ним обращения и обстоятельного раскрытия.

Не раз поставленные под сомнение, а порою и опровергавшиеся в прошлом стереотипы³ в той или иной степени сохраняют свое значение, и кажется не лишним в этой связи еще раз вернуться к сложившимся устойчивым представлениям о том, что сочинение о Петре Великом было заказано Вольтеру российской императрицей и влиятельными лицами ее двора, что при работе над этой историей Вольтера направляли личное честолюбие, прямой «интерес», т. е. меркантильные соображения и прямые «искательства» того же толка. Эти соображения и оценки возникли в российской историографии и публицистике давно, но в особенности стали восприниматься как непреложный факт, с тех пор как померкнувший ореол великой императрицы уже не осенял своим священным покровом имя первого «вольтерьянца», а французское просветительство уже не внушало былого пиетета и неподдельного восхищения.

Еще профессор Николай Герасимович Устрялов писал в одной из последних своих работ: «Императрица Елизавета Петровна, благоговев к памяти отца, желала видеть дела его описанными пером искусным, и камергер Ив. Ив. Шувалов предложил этот труд писателю знаменитому, наполнявшему всю Европу славою своего имени, Вольтеру. Сообщили ему материалы, извлеченные из архивов, частью в подлиннике, частью в переводах Тауберта, Миллера, Штелина, послали многоценную коллекцию Русских медалей, дорогие меха, и ровно чрез год (в 1761), вместо ожидаемой полной и подробной

Истории Петра, получили от него в одной небольшой книге <...> сочинение слабое, бесцветное, столь же неудовлетворительное в смысле истории империи, как и в смысле жизнеописания Императора».⁴

Но если интерес Вольтера к петровской России всегда отличался постоянством, то и в России интерес к Вольтеру всегда был велик и устойчив, причем отношение к нему часто объяснялось не столько, так сказать, всеохватностью и разносторонностью личности Вольтера, тем, что имя его было, что называется, «на слуху», сколько интересами лиц, которые определяли вкусы и пристрастия образованного общества, или тех, кто в данном случае так или иначе был прикосновен к событиям вокруг вольтеровской «Истории...». Этим ли, т. е. своего рода противоборством различных партий, или, что вероятнее, слишком большими ожиданиями, которые возлагала читающая публика на новое сочинение Вольтера, объясняется общее разочарование вольтеровской «Историей...» — первой и единственной тогда историей петровского царствования? Как бы то ни было, книга могла быть беспрепятственно прочитана всеми, кто хотел ее прочесть,⁵ и, не дожидаясь ее перевода на родной язык, без сомнения, это сочинение прочли все образованные люди России.

Читала ее, естественно, и Екатерина II, на начало царствование которой пришелся второй, заключительный, том вольтеровского творения. В одном из своих писем Вольтеру она по этому поводу писала: «Если бы при начатии вами сего творения была я то, чем ныне есть, конечно, мною были бы вам доставлены совсем другие записки».⁶ В этой оценке сквозит нежелание бросить тень критики на свои отношения с корреспондентом и сожаление о том, что ее предшественница не взяла дело по-настоящему в свои руки. Тогда же, т. е. вскоре после переворота, свергнувшего прямого наследника престола Петра Великого, императрица повелела выкупить у Вольтера собрание документов, которыми писатель пользовался при написании своего сочинения, и они, эти материалы, переплетенные в пяти томах под названием «*Mémoires pour l'histoire de Russie pour Voltaire*» заняли свое место в шкафах Императорской библиотеки Зимнего дворца в Петербурге. Несмотря на то что высочайшего благоволения книга Вольтера вполне не удостоилась, «История...» была, так сказать, «рекомендована» к августейшему чтению; известно, что великому князю Павлу Петровичу ее читал воспитатель Семен Андреевич Порошин, который часто брал ее в руки, когда хотел привести наследнику престола наиболее благодетельные и подражания достойные примеры из жизни его прадеда.⁷

Со временем же, когда российская историческая наука и словесность все более освобождались от постороннего влияния, развивались и обретали собственный стиль, в распоряжении воспитателей особ из российской императорской фамилии стали появляться произведения отечественной историографии, но и тогда, по мнению С. М. Соловьева, книга Вольтера «была вовсе не лишняя не только на Западе, но и в России и стоила тех шуб, которые были отправлены за нее автору».

Однако взвешенному суждению автора фундаментальной «Истории России с древнейших времен» в 26-м томе, вышедшем в 1876 г., предшествовали часто иные, критически заостренные отзывы о вольтеровском произведении тех, кто своей критикой, обращенной в прошлое, указывал на недостатки сочинения французского писателя, недостатки большей частью неизбежные и порою простительные. Критические суждения об «Истории...» Вольтера, после того как имя автора, еще некогда осиянное покровом дружбы с «Семирамидой Севера» (именно с Екатериной II, а не с Елизаветой Петровной,

которую Вольтер также одно время называл «Семирамидой»), в иные времена уже не было недостижимым для критики, вызывались большей частью тем, что далеко не все обстоятельства, связанные с написанием этого сочинения, были известны, а авторы этих высказываний отнюдь не утруждали себя сомнениями в справедливости собственных мнений о первой истории России петровских времен.

«Тщетно единый из знатнейших писателей нашего века сочинил историю сего государства; но или не имел он довольно верных присланных к нему записок, или ради каких других причин от желательной подробности и верности отдален остался, и токмо вящее желание наше иметь ее верную приумножил», — в предисловии к публикации «Журнала» Петра I писал Михаил Михайлович Щербатов,⁸ более известный как автор «Истории российской с древнейших времен», не доведенной, впрочем, до времени Петра I и впоследствии более известный как автор сочинения «О повреждении нравов в России».

«Вольтерова история: смесь лжи с малою частицей истины, имена собственные перековерканы, летосчисление смешано», — констатировал современник Щербатова Федор Осипович Туманский, автор одного из первых сочинений о Петровской эпохе и личности Петра Великого. Подчеркивая заказной характер «Истории...» Вольтера, Туманский далее язвительно добавлял: «Правда, от наемника и ожидать было нечего».⁹

По-своему отозвался на вольтеровскую версию истории России при Петре Великом И. И. Хемницер, посвятив ей эпиграмму «На Волтера»:

Волтера все бранят, поносят
И гнусный на него такой поступок вносят,
Что много он в своей «Истории» налгал.
Ну виноват ли он, когда его дарили
И просили,
Чтоб вместо правды ложь он иногда писал?¹⁰

У того же Хемницера имеется и другой эпиграмматический опыт в том же смысле:

О вы, любители словесных всех наук,
Чтобы услышать вам чистейший лирный звук,
Волтеровых стихов согласио внимайте
И в сочинениях ему же подражайте.
«Историю» ж его прошу вас не читать,
Чтоб вместе с ним и вам не лгать.¹¹

Во времена, так сказать, «новейшие» отношение к Вольтеру в России в этом смысле не меняется.

«Великий исполин литературы французской кажется карлом у ног северного героя», — писал в своем обзоре издатель журнала «Корифей», литератор и в будущем неприменный секретарь «Беседы любителей русского слова» Иаков Андреевич Галинковский.¹²

«Вообще книга сия написана весьма неверно, — отмечал в связи с выходом в свет первого тома русского перевода «Истории...» Вольтера¹³ Михаил Трофимович Каченовский, редактор «Вестника Европы» и будущий профессор Московского университета. — Вольтер на каждом шаге спотыкается, погрешая то в хронологии, то в географии, то в

описании не только подробностей, но и главных происшествий; а что всего хуже, он писал не как беспристрастный философ, но как француз, погрязший в предрассудках о невежестве и недостойности русских, которых, по его описаниям, можно почесть настоящими дикарями...».¹⁴

«Вольтеру заказали историю, и он написал несколько страниц остроумного и безобразного вздора, недостойного названия истории, до того, что сам Вольтер смеялся над своим трудом», — так заявлял историк и издатель журнала «Московский телеграф» Николай Алексеевич Полевой.¹⁵

Сходным был и отзыв мэтра российской словесности князя П. А. Вяземского, который посчитал, что «История России во времена Петра Великого» Вольтера — «подвиг, совершенный в силу дипломатико-литературных сделок», и «не отвечает достоинству ни героя, ни писателя».¹⁶

Подобные же высказывания в более или менее резкой форме имели место и позднее, и не случайно, что негативный смысл, общий для подобного рода оценок, еще долго не был изжит вполне и присутствовал, как это ни странно, в трудах, посвященных российской историографии. Между тем о том, как задумывалось и писалось это сочинение, теперь нам известно несравненно больше, чем еще относительно недавно, что должно положительным образом сказаться на историографических оценках критического осмысления прошлых историко-литературных представлений, бытовавших более столетия назад.

Еще до получения «заказа» на «Историю Российской империи во времена Петра Великого» Вольтер, работая над историко-биографическим сочинением о Карле XII, оказался под впечатлением разительного контраста между двумя историческими личностями — шведским королем и его будущим победителем. Карл XII показался его воображению своего рода «последним викингом» (возможно, это произошло потому, что писателю пришлось поневоле уделить немало места скоро прискучившим ему деяниям короля на поле брани); русский же царь привлекал его внимание обаянием энергичной преобразовательной деятельности среди погрязшего в варварстве народа обширной империи. Начав работу над новым изданием своих сочинений, Вольтер в 1737 г. пересмотрел сочиненную ранее «Историю Карла XII» и должен был признать, что уделит слишком много внимания военным походам и мало осветил то, что он назвал «благодетельными, оказанными царем Петром I человечеству», что отчасти отразилось в последующих изданиях этого сочинения, начиная с 1739 г.

В том же 1737 г. Вольтер обращается к молодому кронпринцу Фридриху Прусскому с просьбой помочь ему разнообразными сведениями относительно России. В публикациях, бывших в его распоряжении, ответов на эти вопросы Вольтер найти не мог или не сумел. Прусская почитательница Вольтера откликнулась на эту просьбу, которая, помимо прочего, питалась и симпатией к своему другу, кронпринцу, в будущем наследовавшему отцовский престол. «Хлопоча у Фридриха, — писал об этом сюжете Е. Ф. Шмурло, — Вольтер наметил даже вопросы, своего рода программу, заранее определявшую характер тех данных, какие требовались от него. Вопросы эти любопытны уже сами по себе. Вольтеру хотелось знать, в чем, собственно, заключалась реформа Петра в области церкви, управления, промышленности; что полезного ввел русский царь в свое войско, каковы успехи, достигнутые в деле просвещения: действительно ли русский народ такой необразованный и дикий, как о нем говорят, и проч.».¹⁷

Эти вопросы о внутреннем положении России Фридрих направил саксонскому посланнику при российском дворе П. фон Зуму, но, неудовлетворенный ответом последнего, кронпринц обращается к бывшему уже тогда секретарю прусского посольства при петербургском дворе (с 1718 г.) Иоганну Готтхильфу Фоккероду, который ранее находился на секретарской должности у Антиоха Кантемира и прожил в России около 25 лет.¹⁸ Ответы на поставленные вопросы Вольтер получил от Фридриха в январе 1738 г.; то была ставшая впоследствии известной записка Фоккерода, которая широко использовалась при изучении истории России петровского времени.¹⁹

Однако сочинение бывшего прусского дипломата не удовлетворило на этот раз самого Вольтера, поскольку не содержало исчерпывающих сведений, но тем не менее эти материалы не раз были использованы Вольтером, на первых порах пока только в новом издании «Истории Карла XII».²⁰ Чтобы получить недостающие документальные данные, Вольтеру ничего не оставалось, как обратиться непосредственно в Петербург.

Таким образом, говорить об «Истории...» только как о заказе, которого Вольтер добивался и в конце концов получил, было бы немалым упрощением. Разумеется, едва ли есть какие-либо сомнения в том, что сочинение о России Петровской эпохи Вольтеру было заказано, но это утверждение всегда должно сопровождаться оговоркой: мысль о сочинении истории петровской России возникла у Вольтера до того, как заказ на его написание был получен, а удалось получить этот заказ во многом благодаря собственной инициативе Вольтера и его настоятельным предложениям в Петербург, которые подогревались интересами Вольтера-историка.

В 1745 г. Вольтер, только что ставший историографом Франции, послал императрице Елизавете Петровне экземпляр своей поэмы «Генриада», а также сочинение «О философии Ньютона» для Петербургской Академии наук и стал хлопотать через французского посланника Ж. Л. д'Альона о чести быть принятым в число членов Академии, надеясь, что это облегчит ему пользование историческими материалами для уже задуманной книги. Избрание Вольтера в почетные иностранные члены Академии состоялось в 1746 г., однако ему понадобилось в общей сложности больше 10 лет, для того чтобы его предложение о написании «Истории...», с которым он уже не раз обращался в Петербург, было благосклонно принято. Пока на российском престоле находилась Анна Иоанновна, не было и речи о том, чтобы Вольтеру «августейше» поручили написание предлагавшегося им самим сочинения. Когда же «отрасль Иоаннова» оставила российский престол и воцарилась «дщерь Петрова», то и тогда заказ на написание «Истории...» был получен не сразу; промедление с окончательным решением объясняется среди других причин противоборством влияний канцлера А. Н. Бестужева-Рюмина, предлагавшего поручить сочинение «Истории...» Петербургской Академии наук, и И. И. Шувалова, прилагавшего усилия к тому, чтобы на предложение Вольтера ответили положительно.

Поэтому напрасно в 1748 г. Вольтер, «нечувствительно», как писали в прошлом, напоминая о своем заветном желании, дополнил очередное собрание своих сочинений написанными им «Анекдотами о царе Петре Великом»; этим жестом он не продвинул своего дела ни на шаг. В 1751 г. на желание Вольтера приехать в Россию для работы в российских архивах президент Академии наук граф К. Г. Разумовский ответил двусмысленным отказом. Однако вскоре влияние Шувалова возросло настолько, что

отношение к Вольтеру и его проекту решительно переменялось, что имело место в начале 1757 г., когда через российского дипломата Ф. П. Веселовского Шувалов наконец сообщил Вольтеру приятную новость.²¹ Это позволило Вольтеру, несколько не опережая события, тогда же известить друзей о том, что российская императрица приглашает его в Петербург, поручая ему биографию отца. Как известно, в Петербург он так и не поехал, однако, уже тогда начав работу над «Историей...», не обманулся в конечных своих ожиданиях.

Одоблив план сочинения, который Вольтер представил в Петербург через того же Веселовского, Шувалов пообещал извлечь из архивов все необходимые для работы писателя материалы, включая и все то, как просил Вольтер, «что могло бы способствовать прославлению вашей родины».²²

К концу 1757 г. у Вольтера был уже готов первый вариант восьми глав первого тома. В июле 1758 г. он получает из России первую посылку с материалами и замечаниями ученых, определенных к тому, чтобы, с одной стороны, в полной мере облегчить Вольтеру освоение многосложного материала российской истории, а с другой — указывать на неизбежные несообразности географического и этнографического толка. Вольтер отлично понимал, что осуществление замысла истории российского царя одинаково в интересах обеих сторон и выражал готовность идти на компромисс, но далеко не всегда соглашался с критикой тех, кто был к нему приставлен, — Г. Ф. Миллера и М. В. Ломоносова, а к некоторым из присланных ему замечаний отнесся пренебрежительно.²³ Но главные жалобы Вольтера касались недостатка материала: «Из данных, находящихся в моем распоряжении, можно составить лишь сухой перечень годов и фактов; занимательной истории на их основании не напишешь... Чувствительно тронут посланным вами китайским чаем, но уверяю вас, что сведения о царствовании Петра Великого были бы для меня несравненно ценнее», — писал Вольтер Шувалову 4 марта 1759 г.²⁴

Впрочем, весьма скоро воочию стали очевидны разные подходы, различное понимание истории России российскими учеными и Вольтером.

Вольтер был слишком высоко мнения об обаянии своего писательского стиля, чтобы еще нагружать себя кропотливой, чисто изыскательской работой исследователя. Те же, кому поручено было заниматься работой по подготовке материалов для Вольтера, разысканием, отбором, переводом на французский язык и его редакцией, вероятно, не могли не чувствовать определенное недовольство тем, что «Историю...» поручили не им. Поэтому подбор материалов не всегда и не вполне соответствовал запросам из Фернея, а предварительный просмотр написанных Вольтером глав сопровождался приостановкой издания, посылкой длинных перечней допущенных промахов и требованиями исправить ошибки.

Известно, что всего Вольтеру было послано 1091 замечание, многие из которых повторялись, так как историк то ли не обращал на них внимания, то ли не считал их существенными. Общее число этих замечаний может быть сведено к 500, из которых Вольтер учел только 70.²⁵ Таким образом, отношения между историком и его российскими «коллегами» не могли быть вполне безоблачными хотя бы потому, что последние неизмеримо лучше знали российскую историю и географию, они не были довольны французской транслитерацией российских географических и прочих названий и имен,²⁶ они не понимали упорства историка, когда их данные противоречили тем, что Вольтер почерпнул из знакомых ему печатных источников, которые к тому времени устарели.

Тем не менее «История...» Вольтера как первая история монарха и страны обладала для своего времени несомненными достоинствами — это была, так сказать, история «философическая», т. е. последовательное воплощение просветительских представлений автора о прошлом. Ясная мысль делала историю целостной и стройной, историей не отдельной личности, но страны и народа в их культурологическом смысле и значении, однако сильная авторская концепция лишала Петра как просвещенного монарха важных конкретных черт, присущих отдельной личности.²⁷ Царствование Петра, несомненно обладавшего чертами великого исторического деятеля, казалось Вольтеру подходящим историческим материалом для обоснования собственных просветительских идей. Однако в его персонификации в Петре Великом всего русского исторического процесса была известная доля преувеличения. Вольтер в «Истории...», как и несколько ранее, изображал Петра неким чудесным героем, с ранних лет наделенным сознательным планом преобразования империи, доставшейся ему по праву престолонаследия.

При всех ее слабостях «История...» Вольтера — выдающийся памятник исторической и политической мысли эпохи Просвещения, а по своему общекультурному уровню и значению это сочинение Вольтера превосходит все, что было написано о Петре I в Европе, а затем уже и в России в XVIII в. Образ России, приобщившейся к европейской цивилизации, созданный Вольтером, способствовал разрушению вековых стереотипов о российском варварстве, и если Петр I, по выражению одного дипломата, «прорубил окно в Европу», то Вольтер приоткрыл для своих европейских современников окно на Восток. Казалось бы — парадокс, но сочинение Вольтера, помимо прочего, представляет собой и явление отечественной историографии; это надо особенно подчеркнуть, ибо об этом часто забывают или стараются не упоминать, когда говорят и пишут об «Истории Российской империи при Петре Великом».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Отметим среди прочих (см.: Вольтер в России: Библиографический указатель. 1737–1995: Русские писатели о Вольтере. М., 1995) лишь некоторые исследования, без которых невозможно себе представить российское вольтероведение: Шмурло Е. Ф. Петр Великий в оценке современников и потомства // Журнал Министерства народного просвещения. 1911. № 10–12; 1912. № 5–6 (отд. изд.: Шмурло Е. Ф. 1) Петр Великий в оценке современников и потомства. СПб., 1912. Вып. 1; 2) Вольтер и его книга о Петре Великом. Прага, 1929); Платонова Н. С. Вольтер в работе над «Историей России при Петре Великом» // Литературное наследство. 1939. Т. 33–34. С. 1–24; Заборов П. Р. Русская литература и Вольтер. Л., 1978; Альбина Л. Л. Вольтер в работе над «Историей Российской империи при Петре Великом» // Век Просвещения: Россия и Франция. М., 1989.

² Среди общих трудов нельзя не отметить такие исследования, как: *Mohrenshildt D. S. Russia in the intellectual life of the eighteenth century France*. New York, 1936; работы историков: *Gooch G. P. Voltaire as historian* // *Catherine the Great and other studies*. London, 1954; *Wilberger C. H. Voltaire's Russia: window on the East* // *Studies on Voltaire and the eighteenth century*. 1976. Vol. 64.

Важным и наиболее объемлющим в этом отношении необходимо признать монографическое предисловие к первому критическому изданию «Истории Российской империи при Петре Великом», которое было осуществлено под патронатом Французской Академии, Королевской Академии французского языка и литературы Бельгии, Американского совета ученых обществ, Британской Академии, Института и музея Вольтера, Международного академичес-

кого союза при участии Национальной Российской библиотеки. Предисловие общим объемом более 300 страниц написано профессором Руанского университета Мишелем Мерво, издание подготовлено им в сотрудничестве со многими специалистами в области истории, языка, литературы и книги эпохи Просвещения (*Voltaire. Histoire de l'Empire de Russie sous Pierre le Grand // Les Œuvres complètes de Voltaire*. Oxford: Voltaire Foundation, 1999. Vol. 46–47. 1338 p.).

³ Алексеев М. П. Вольтер и русская культура XVIII века // Вольтер. Статьи и материалы / Под ред. М. П. Алексеева. Л., 1947. С. 20–21.

⁴ Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. СПб., 1858. Т. 1. С. XXXIX–XL.

⁵ Французские издания сочинения Вольтера о России эпохи Петра Великого и переводы всегда беспрепятственно продавались в книжных лавках обеих столиц, о чем свидетельствуют издававшиеся тогда каталоги. См., например: *Catalogue de Livres François... en feuilles et reliés, qui se trouvent à Moscou chez Chretien Rudiger*. 1768. P. 3; *Catalogue des livres françois, anglais, italiens, ...etc. qui se trouvent chez Evers, libraire du College Imperial des Mines...*, demeurant près pont bleu. St. Petersburg, 1781. P. 53; Роспись российским книгам, которые продаются в Санктпетербурге в Гостинном дворе... у книгопродавца Тимофея Полежаева и против зеркальной линии... у книгопродавца Герасима Зотова. А в Москве на Никольской улице... у купца Тимофея Полежаева. 1792. С. 70; Роспись российским книгам... в книжных лавках у купца Ивана Глазунова... в Санктпетербурге. 1795. С. 100.

Известно, что «История...» Вольтера рекомендовалась как учебное пособие, например студентам Московского университета (Мезин С. А. Взгляд из Европы: Французские авторы XVIII века о Петре I. Саратов, 1999. С. 108), и одно из изданий этого сочинения вручали наиболее отличившимся воспитанникам Кадетского Шляхетного корпуса (Заборов П. Р. Русская литература и Вольтер. С. 67–68).

⁶ Переписка российской императрицы Екатерины Второя с г. Волтером. СПб., 1802. Ч. 1. С. 3.

⁷ Порошин С. А. Записки, служащие к истории Его Императорского Высочества Благо-

верного Государя Цесаревича и Великого князя Павла Петровича. СПб., 1881. С. 103–104, 107, 133, 148, 152, 178, 180, 196.

⁸ Журнал, или Поденная записка, блаженные и вечнодостойныя памяти Государя Императора Петра Великого с 1698 года, даже до заключения Нейштатского мира. СПб., 1770. Ч. 1. Предисловие.

⁹ Туманский Ф. О. Полное описание деяний Его Величества Государя Императора Петра Великого. СПб., 1788. Ч. 1. С. 9–10.

¹⁰ [Хемницер И. И.]. Сочинения и письма Хемницера по подлинным его рукописям, с биографической статьей и примечаниями Я. К. Грота. СПб., 1873. С. 365.

¹¹ Там же. С. 366.

¹² Корифей, или Ключ литературы. СПб., 1802. Кн. 1. Ч. 1. С. 112.

¹³ «История Российской империи в царствование Петра Великого», сочиненная г. Волтером. М., 1809. Перевод принадлежит перу Семена Алексеевича Смирнова, в то время доктора юриспруденции Московского университета, а до своей службы в университете преподававшего французский язык в Московской духовной академии. Перевод Смирнова отличается неоспоримыми для своего времени достоинствами, что обнаруживается, несмотря на то что в нем встречаются отдельные фактические и стилистические неточности и несмотря на то, что с его переводом основательно поработали деятели Московского цензурного комитета.

¹⁴ Вестник Европы. 1809. Ч. 48, № 21. С. 61–68.

¹⁵ Полевой Н. А. Обзорение русской истории до единой державы Петра Великого. СПб., 1846. С. XIII.

¹⁶ Вяземский П. А. 1) Фонвизин. СПб., 1848. С. 13; 2) Полн. собр. соч. СПб., 1880. Т. 5. С. 8–9.

¹⁷ Шмурло Е. Ф. Петр Великий в оценке современников и потомства. С. 53.

¹⁸ *Voltaire. Œuvres* / Ed. de Moland. Paris: Edition Th. Besterman, 1980. Vol. 5. № 5562.

¹⁹ Hainz O. Peter der Große, Friedrich der Große und Voltaire: Zur Entstehungsgeschichte von Voltaires «Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand». Mainz, 1962 (статья д-ра О. Хайнца, посвященная исследованию материалов под

названием «*Considération sur l'état de la Russie sous Pierre le Grand*», приписывавшихся одно время перу прусского наследного принца и помещенных поэтому в берлинское посмертное издание произведений Фридриха II (1791), была напечатана сначала в трудах Майнцской Академии наук и литературы). См. об этом сюжете также статью д-ра П. Брюне (*Brüne P. Johann Gotthilf Vockerodts Einfluß auf das Rußlandbild Voltaires und Friedrichs II // Zeitschrift für Slawistik*. 1994. Bd 39. N 3. S. 393–404), которая легла в основу его выступления на московском colloquium «Русские и немцы: Встреча двух культур» (1996).

²⁰ *Фоккеродт И. Г.* Россия при Петре Великом / Публ. Э. Германа // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1874. Кн. 2. С. 1–120; См.: *Брикнер А. Г.* 1) Современные известия по истории России // Журнал Министерства народного просвещения. 1874. № 1. С. 167–223; 2) Заметка о Фоккеродте // Древняя и новая Россия. 1875. № 11. С. 269–275.

²¹ См. отчасти по этому поводу письмо Ф. Д. Бехтеева М. Л. Воронцову от 28 апреля 1757 г. // Архив князя Воронцова. М., 1871. Кн. 3. С. 266 и далее, в том числе особенно письмо Ф. П. Веселовского Вольтеру от 16 февраля и ответное письмо Вольтера от 19 февраля 1757 г. (Там же. С. 268–270).

²² *Voltaire. Correspondance*. Paris, 1978. Т. 4. № 4704.

²³ *Заборов П. Р.* Вольтер в русских переводах XVIII века // Эпоха Просвещения: Из истории международных связей русской литературы. Л., 1967. С. 117.

²⁴ *Мезин С. А.* Взгляд из Европы. С. 71.

²⁵ *Voltaire. Correspondance*. Paris, 1980. Т. 5. № 5449.

²⁶ См.: «Примечания» М. В. Ломоносова (на рукопись «Истории российской империи при Петре Великом» Вольтера, 1757 г.) // Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. М.; Л., 1952. Т. 6. С. 91–96.

²⁷ *Шмурло Е. Ф.* Вольтер и его книга о Петре Великом. С. 249.

И. П. Медведев

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ОЛЕНИН КАК ВИЗАНТИНИСТ

Казалось бы, трудно добавить что-либо новое к портрету столь знаменитой личности, как Алексей Николаевич Оленин (1764–1843), и тем не менее — загадок хватает. Видный государственный чиновник, он прежде всего проявил себя как выдающийся деятель русской культуры, занимая посты директора Императорской Публичной библиотеки и президента Императорской Академии художеств, «знакомством, дружбой и родством» будучи связан со многими знаменитыми писателями, архитекторами, художниками, учеными, актерами, музыкантами, будущими декабристами; являясь, наконец, создателем (на базе своей семейной усадьбы Приютино) уникального по своему составу и долговременности функционирования «кружка», а вернее — интеллектуального содружества; причем легче, наверное, перечислить тех из современных знаменитостей, кто к нему не принадлежал.¹

Нас же в данном случае интересует еще одна «ипостась» А. Н. Оленина — его страстная увлеченность античностью и славяно-русскими древностями, в изучении которых он демонстрирует свои лучшие (фактически вполне профессиональные) качества ученого-исследователя, стремившегося в любом случае к использованию и взаимопроверке разнородных источников, к критическому изучению и изданию документов, к строго научной аргументации в выводах. Занимая весьма важное место в истории

отечественной археологии, и в частности «бытовой» археологии классического мира (с особой тщательностью он изучал историю античного костюма и предметов вооружения по произведениям вазопиσης, скульптуры, глиптики, вполне закономерно выступив своеобразным научным консультантом Н. И. Гнедича при переводе «Илиады» Гомера),² А. Н. Оленин, как оказывается, не остался в стороне и от византиноведческих штудий — факт жизни Оленина, практически неизвестный как его биографам, так и всем исследователям прославленной «петербургской школы византиноведения».³

Да и мог ли быть в стороне от них такой человек, как А. Н. Оленин, когда в его время в научных кругах Петербурга возникла подлинная эйфория в связи с первоизданием в Париже — по поручению и на средства русского канцлера графа Николая Петровича Румянцева (1754–1826) — «Истории» одного из крупнейших византийских писателей X в. Льва Диакона, ценнейшего источника не только по истории Византийской империи, но и Болгарии и Древней Руси, содержащего, в частности, уникальные сведения о балканских войнах киевского великого князя Святослава Игоревича в 968–971 гг. и о нем самом.⁴ Именно А. Н. Оленину доверил Н. П. Румянцев связаться с парижским эллинистом (немцем по происхождению) Карлом Бенедиктом Газе (1780–1864), открывшим рукопись с текстом сочинения Льва Диакона, на предмет того, чтобы «приобрести за деньги простую копию греческого текста с правом напечатать ее здесь (т. е. в Петербурге. — И. М.) в сопровождении русского перевода»,⁵ что А. Н. Оленин и постарался сделать как при посредстве академика Филиппа Ивановича Круга, так и через своего двоюродного брата князя Сергея Григорьевича Волконского (будущего декабриста), находившегося в 1813–1814 гг. во Франции в рядах русского оккупационного корпуса.⁶ Когда же Газе отказался передать права на издание Петербургу и было условлено, что издание будет осуществляться в Париже на русские деньги (труд вышел в свет в 1819 г.), то А. Н. Оленин (по согласованию с Н. П. Румянцевым) высказал идею об осуществлении в Петербурге русского перевода византийского историка как неотъемлемой части француско-русского научного проекта по первому изданию «Истории» Льва Диакона и предложил кандидатуру переводчика — петербургского филолога-эллиниста и сотрудника Публичной библиотеки Дмитрия Прокопьевича Попова (перевод, начавшийся до выхода в свет парижского оригинала по корректурным листам, появился уже в 1820 г., причем финансирование также осуществлялось за счет средств Н. П. Румянцева).⁷

О том, что А. Н. Оленин проявлял жгучий интерес к осуществлявшемуся изданию памятника (очень возможно, что он испытывал некоторую ревность к Н. П. Румянцеву, несомненно игравшему «первую скрипку» в этом деле, и в какой-то момент сделал даже попытку перехватить инициативу), говорит тот факт, что он, не дожидаясь выхода в свет оригинала и его перевода на русский язык и пользуясь предварительной публикацией «русских» фрагментов из него,⁸ решил первым «снять сливки» хотя бы в том, что касалось «облика или портрета» самого Святослава, и опубликовал еще в 1814 г. весьма скромную и, я бы даже сказал, «затрапезную» брошюрку в 14 страничек.⁹ «Сей любопытный отрывок, относящийся к древней российской истории, был уже напечатан в II нумере „Сына Отечества“ на 1814 год, — пишет в ней А. Н. Оленин. — Но как перевод с греческого был слишком скоро сделан и в нем замечены некоторые недостатки против буквального смысла подлинника, то ныне, пересмотрев оный с помощью любителей словесности, знающих греческий язык,¹⁰ а именно: г.г. Грефе и Уварова,¹¹ я спешу вновь издать сей отрывок в особых от журнала листках».¹² «Драгоценный отрывок

византийских деписаний Льва Дьякона Калознского с 959 по 975 год от Р. Хр., — продолжает Оленин в «Предуведомлении» к брошюре, — находится еще рукописным в Парижской публичной библиотеке. Г-н Газе, служащий при оной и занимающийся описанием имеющихся в сей библиотеке рукописей, намеревался издать в свет „Историю”, писанную Львом Дьяконом, и, поправя текст, готовился приступить к напечатанию оно-го с латинским переводом, но, к сожалению, другие занятия отвлекли его от сего полезного для русской (sic!) истории намерения.¹³ А потому г-н Газе довольствовался ныне изданием краткого только известия о сочинении Льва Дьякона, с приложением к оному VI книги его „Истории”.¹⁴ Из сего известия выписан для любопытствующих прилагаемый при сем на греческом языке облик или портрет великого князя Святослава Игоревича с буквальным, так сказать, переводом оно-го на руской (sic!) язык и с некоторыми примечаниями». ¹⁵

Разумеется, выход в свет «русского Льва Диакона»¹⁶ был встречен А. Н. Олениным с подлинным энтузиазмом, как раз и явившись своеобразным катализатором его византиноведческих штудий.¹⁷ Получив в подарок от своего «протезе» (переводчика Льва Диакона на русский язык) Д. П. Попова экземпляр «русского Льва Диакона»,¹⁸ А. Н. Оленин пишет ему в ответ весьма развернутое и содержательное письмо (цитируется по черновику): «Экземпляр перевода Вашего Истории Льва Диакона, которым Вы меня почтили, доставил мне много удовольствия. Вы порадовали меня книгою, которую давно желательно было видеть на русском языке, и вместе с тем Вы подали мне новый способ заняться самым приятнейшим для меня делом, а именно: археологическими исследованиями и в особенности о древней России (добавлю: и о древней Византии. — И. М.). Наконец, она же открыла мне средство употребить в пользу давно мною заготовленное приложение к собранию разных сведений о великом князе Святославе Игоревиче. Побужденный Вашим трудом, я решился приложить к нему и собственный мой труд, сколько мне позволит малый досуг и весьма слабое мое знание греческого языка. Работу мою расположил я под названием „Примечания на некоторые места в истории Льва Диакона”. К ним я старался присоединить ясные доказательства моим заключениям посредством выписок и ссылок на других писателей, а более еще того, верными изображениями памятников искусства тех самых времен, относящихся к предметам моих примечаний; для этого я рассудил поместить, между сими последними, приготовленные мною еще в 1813 году три гравированные доски. На них изображен Святослав по описанию Льва Диакона и найденный в днепровских порогах (уповательно в том месте, где Святослав был убит печенегами) церковный старинный греческий сосуд, наполненный монетами императора Никифора Фоки и Иоанна Цимиския, с изложенным древним медным ключом. Памятники, современные Святославу, изображены на тех досках с самою тщательною точностью <...>». ¹⁹

Действительно, в личном архиве А. Н. Оленина до сих пор хранится рукопись указанной в письме работы, причем даже в двух вариантах — в первоначальном, с заглавием «Археологические и технические примечания к Истории Льва Диакона»,²⁰ и в переработанном и дополненном (автограф А. Н. Оленина), датированном 1821 г., с заглавием «Примечания к Истории Льва Диакона, перебеленные и исправленные». ²¹ И хотя этот неопубликованный труд (его, вопреки скромному названию «Примечания» и исходя из содержания, следовало бы озаглавить «История Льва Диакона как исторический источник») остался незавершенным (как по количеству указанных в предисловии

сюжетов, подлежащих рассмотрению, так и по лишь частичному оформлению обозначенных автором звездочками по всему тексту сносок, да и вообще по недоведению до «кондиции» всего текста), он по своему содержанию несомненно заслуживает того, чтобы его изучить и оценить, а, может быть, в будущем и опубликовать.²²

Изложив во «Вступлении» все уже известные нам обстоятельства появления парижского издания Льва Диакона и его петербургского перевода на русский язык, Оленин формулирует свою задачу в следующих выражениях:²³ «Перечитывая полезный труд г-на Попова (т. е. его перевод. — *И. М.*), изданный по недостатку времени без всяких замечаний, я просматривал притом и самый подлинник.²⁴ При сей проверке мне показалось, что многие места во Льве Диаконе достойны прилежного исследования; что сравнение сличенного им с тем, что о таковых предметах говорено в других византийских сочинениях, а равным образом и в некоторых восточных и европейских писателях, открывает новые и верные доводы по части археологии и техники тех времен. Но в особенности я желал исследовать некоторые установления, обычаи или обряды византийских греков, чтоб сравнить их с таковыми же бывшими тогда в употреблении у славянороссов, о коих Лев Диакон отчасти упоминает. Я полагал, что сие исследование может послужить к лучшему познанию степени просвещения и образованности современных тогда греков и русских, а следственно покажет и причины преимущества первых над последними: в войне — искусством и урядством в ратном деле, а в мире — познаниями и просвещением, оставшимися у византийцев от древних еще греков. На сем основании я поспешил положить на бумагу некоторые примечания мои по сим предметам и решился представить оные ученому совету в том самом виде, в каком недостаток мой во многих нужных к тому познаниях и недосуг по службе позволили мне оные изложить. Повод к столь смелой с моей стороны решимости основан на искреннем желании возбудить истинно ученых людей к дальнейшим основательнейшим изысканиям. <...> Примечания мои будут касаться до следующих предметов: 1) О морской византийской силе; 2) О морской русской силе; 3) О греческом огне; 4) О сухопутном византийском войске; 5) О сухопутном русском войске; 6) О некоторых византийских обычаях; 7) О некоторых особенных греческих выражениях; 8) О некоторых русских обычаях; 9) О великом князе Святославе Игоревиче; 10) О смерти Игоревой; 11) О миссиях или болгарях; 12) О некоторых обычаях у агарян или аравитян; 13) О некоторых обычаях пачинаков или печенегов; 14) О императоре Иоанне Цимискии; 15) О местоположении Переяславля Задунайского. Вот все, что мне, собственно, показалось любопытнейшего к исследованию во Льве Диаконе. Определяя здесь число сих предметов, я однакож не обязуюсь выполнять весь круг предположенной мною работы, но буду писать по сему порядку, сколько мои способы и свободное время мне то позволят» (л. 1–8 об.).

Так, в сущности, и получилось. Лишь три первых пункта начертанной Олениным программы достаточно основательно освещены в его труде, до остальных пунктов, видимо, так и «не дошли руки». Тщательному рассмотрению подвергнуты данные Льва Диакона о типах военных судов византийцев, особенно «огненосных» судов, их устройство, оснащение, функционирование, наименования (триеры, дромоны, катергоны, «левмы» — лодьи, «акатии» — челноки и т. д.), причем все это в сопоставлении с данными такого крупного и, пожалуй, главного памятника византийской «полемологии», как «Тактика» Льва VI Премудрого (используется Олениным в первом издании Меурсия, 1612 г.); приняты во внимание и другие византийские источники, в частности,

«ненапечатанный еще Георгий Амартол»,²⁵ Константин Багрянородный, Иоанн Зонара (в парижском издании Дюканжа), хроника Феофана (цитируется по сочинению Дюканжа «Histoire de St. Louis» (Paris, 1668)), хроника Константина Манасси (в венецианском издании 1729 г.) и т. д.

«Византийский флот, — пишет А. Н. Оленин, — тогда (т. е. в X в. — *И. М.*) был составлен, как и в наши времена составляется морская сила, а именно: из больших и малых военных гребных судов, олькадами, дромонами, галейми и монериями называемых, вроде нынешних наших галер. Первые из сих судов были вооружены орудиями для бросания греческого огня. Сверх того, для снарядов и тяжестей были также большие грузовые суда, как-то: те же олькады, да еще фортиги, иппагоги и порфми (перевозные) <...> Наконец, византийские флоты имели легкие боевые лодки (следует вычеркнутое: И тяжелые транспортные или грузовые суда. — *И. М.*), между коими находились род нынешних „брандеров” или зажигательных судов, известных византийцам под именем *κακκαβοτүрфорος*. Из всего здесь сказанного можно заключить, какое превосходство сей флот долженствовал иметь над нашею морскою тогда силою, хотя и составленную из великого числа судов, но все вообще самого малого рода, а именно: из „однокрязных” лодок (вместо вычеркнутого: однодревных челнов. — *И. М.*), которые по сей самой причине греками и назывались *μονοξύλοι* («однодревки» или «однокрязки»)» (л. 25 об.–26 об.).

Уделив особое внимание устройству дромонов, количеству «ярусов» (палуб), расположению скамей (понятие «банки» чуждо Оленину) и гребцов на них, а также «ратников», кормчих и т. д., автор констатирует, что у Льва Диакона «никаких подробностей по сим предметам не имеется» (л. 26 об.) и полностью сосредоточивается на данных «Тактики» Льва Премудрого; им переведены и прокомментированы несколько пространных параграфов XIX главы памятника, которые, по мнению Оленина, «буквально, сколько можно, переведенные с греческого подлинника, так ясно определяют расположение ярусов, в которых были помещены гребцы в два ряда от воды, один над другим, что никакого дальнейшего объяснения не требуют» (л. 29–29 об.). То же самое наблюдается в следующем разделе, который озаглавлен «О способах к нападению и к защите, и о морских движениях или эволюциях» (л. 31 об.), т. е. о морских маневрах и о боевом порядке судов при нападении на неприятеля и при защитных действиях.

Демонстрируя весьма утонченную интерпретацию греческого источника, Оленин в одном месте убедительно исправляет латинский перевод Меурсия²⁶ («Я это для того только здесь упоминаю, — смущенно оправдывается он, — чтоб читателей склонить на большее снисхождение к собственным нашим ошибкам. Если столь великие филологи так сильно погрешают, то нам, мало знающим, и грубейшие ошибки простительны»); в другом месте сведения Льва Премудрого о наступлении кораблей «прямо фрунтом» он сравнивает с «искусной и смелой маневрой» Лукуллова кормщика Дамагораса из Плутарха, ссылаясь на устную подсказку «нынешнего нашего генерального консула в Смирне г-на Дестуниса, занимавшегося тогда переводом Плутарха на русский язык»,²⁷ но присовокупляя при этом свой собственный «буквальный» перевод²⁸ соответствующего фрагмента (гл. III) из жизнеописания Лукулла (л. 38 об.–40).²⁹

Переходя к вопросу о «морской русской силе в IX–XI вв.», А. Н. Оленин сразу же констатирует, что «предки наши, несмотря на все опасности пускаться в море, просто сказать, на больших корытах или челнах, неоднократно приходили на них под самые

стены Царя града и заставляли трепетать разнеженных византийцев, несмотря на благоустроенные их сухопутные и морские силы и на страшный их тогда греческий огонь» (л. 43 об.). В качестве источников по этой теме в работе используются, помимо Льва Диакона, «Нестерова летопись» (т. е. Повесть временных лет по списку Императорской Публичной библиотеки конца XV в., приобретенному от П. К. Фролова) и «славянорусский» Георгий Амартол. По-видимому, у Оленина еще не сложилось представления о Георгии Амартоле как основном первоисточнике «нашего преподобного Нестора», хотя от А. И. Ермолаева ему известна знаковая фраза Нестора «глаголет Георгий в летописании», в связи с чем А. Н. Оленин замечает: «Пытливый в сем случае дух г-на Ермолаева был совершенно оправдан, ибо он в сей рукописи нашел то же самое место, которое после означенных слов Нестор из сочинения сего Георгия выписывает», после чего следует вычеркнутое: «Таким образом, убедившись в сем предположении, оставалось узнать, к какому из византийских писателей, именуемых Георгиями, сей хронограф мог принадлежать: звание и эпитет, им принятый, скоро его открыли» (л. 16 об.—17). Далее цитируются византийский историк XI в. Георгий Кедрин (как по парижскому изданию 1647 г., так и по венецианскому 1729 г.), Иоанн Зонара, Лиутпранд (по Карамзину), никоновская летопись, Слово о полку Игореве, Русская Правда и т. д., но, пожалуй, основное внимание уделено знаменитому пассажу из 9-й главы «De administrando imperio» Константина Порфирогенета (в издании Меурсия 1611 г.) о «росах», прибывавших на своих моносилах из «внешней России» в Константинополь (т. е. по «пути из варяг в греки») (л. 46 об.—52).

«Русские того времени, — пишет А. Н. Оленин, — те именно, которые в договорах своих с греками сами себя называют „Мы от рода рускаго“ или „варязи, русь“, как именует их Нестор, составляли тогда особой совсем народ от новгородцев и других славян, прозванных потом уже русскими. Но сей народ, собственно, принадлежал готфским или скандинавским племенам, известным под общим именем „варягов“. Сие доказывается именами их князей и вельмож, сохранившихся в договорах Олега и Игоря с греками, разностью между русских и славянских имен (sic!), данных порогам днепровским, по словам Константина Порфирогенета,³⁰ некоторыми их жестокими обычаями и поверием, упоминаемыми Львом Диаконом и арабским писателем Якутом, по словам современника Игорю и Святославу аравитянина Ибна Фоцлана.³¹ Сии то русские варяги (!) по старой привычке разъезжать по Балтийскому или варяжскому морю и другим северным, западным и даже средиземным морям под именем норманов, спускались по Днепру в Черное море для торговли и для войны с византийцами. Равным образом, ходили они и по Волге и даже в Каспийское море с тем же намерением к живущим там народам» (л. 51–52).

Следует отметить, что идентификация и интерпретация Олениным топонимов русских городов, если не ошибаюсь, вполне соответствуют данным новейшей историографии. А дальше — снова возврат к «настоящему нашему предмету — к русским водоходным судам» (л. 58), к кораблям, скедиям, лодьям, «ключам» и «уключинам», к двум сменам гребцов (одни гребут, другие отдыхают) и т. д. «Соображая, — говорит он, — все сии места в греческих, русских и восточных писателях можно несомненно заключить, что русские в IX, X и XI веке других водоходных судов не имели, кроме однокрыжных (вместо вычеркнутого: однодревных. — И. М.) больших лодок, в то время как лодьями и кораблями именуемых или лучше сказать, огромных челн (sic!) с набитыми

по краям бортами. Сии челны ныне в Малороссии дубами называются, а в великой России и в Сибири насадами, набойницами или набойными лодками» (л. 60 об.). На этих-то «простых открытых челнах, — еще раз констатирует он, — (наши предки) не-трепетно вступали в бой с огромными византийскими дромонами, вооруженными страшным греческим огнем. Так точно, как в новейшие времена флибустьеры на лодках своих сражались и одолевали большими кораблями. Равным образом, в XVII и XVIII столетиях потомки, может быть, тех же самых славяно-россов, под именем запоросцев (sic!), часто ходили на таких же точно утлых челнах, „дубами” называемых, устрашать и разорять берега Черного моря! Итак, „что было, тожде есть еже будет <...> и ничтоже ново под солнцем”» (л. 63 об.—64).

Отметив, что русские «ходили по морю не токмо на гребле, но и на парусах» (собран интересный материал, см. л. 64 об.), А. Н. Оленин в то же время самым решительным образом отверг представление о том, что русским мог быть известен состав греческого огня (более того, что они им пользовались), впервые неопровержимо доказав, что такое представление основывалось на ошибке в латинском переводе Карлом Бенедиктом Газе соответствующего пассажа из кн. VI, § 10 «Истории» Льва Диакона.³² «Просматривая прилежно сие прекрасное издание, — пишет Оленин, — которое столь много чести делает знаниям и трудам издателя и тому русскому вельможе, который столь деятельно способствовал к скорейшему исполнению похвального и полезного предприятия г-на Газе; просматривая, говорю я, сию любопытную книгу для истории русской (sic!), я нечаянно нашел в приложенном к ней „Указателе предметов, имен и речений в Истории Льва Диакона” под словом *πυρφοροι τριπρεις* сказано: *Πυρφοροι naves in classe Russorum* 65 В («огненосные суда во флоте русских», смотр. 65 стр. В подлинника), а под словом *Russi* то же самое упомянуто сими словами: *in Russorum classe naves igniferae* 65 В («во флоте русских суда огненосные», смотр. там же, стр. 65 В). По сему указанию я тотчас отыскал надлежащее место в подлиннике, которое, впрочем, меня и прежде уже заставляло искать объяснения оному в приложенных г-м Газе общих филологических и исторических замечаниях к Истории Льва Диакона и других при том изданных им византийцев (sic!). Но в сих замечаниях я ничего не мог найти касательно того речения, которого перевод на латинский язык дал повод к заключению, что русские имели огненосные суда в своих лодейных флотах, так точно, как у греков тогдашнего времени, — обстоятельство, которое бы, конечно, было новое и важнейшее для нашей истории! Сие самое побудило меня обратить прилежнейшее внимание на то место в самом подлиннике Льва Диакона, которое в латинском переводе открывало нам вовсе неизвестное доселе обстоятельство» (л. 69 об.—71).

Опуская здесь следующее затем целое исследование Олениным указанного выше отрывка из Истории Льва Диакона (см. л. 71 об.—82 об.),³³ отмечу лишь приведенное им в качестве доказательства его тезиса о неупотреблении русскими греческого огня положение о том, что все, относящееся к проблеме греческого огня, составляло у византийцев предмет государственной тайны. «Приготовление и употребление оногo, — пишет А. Н. Оленин, — сохранялось в величайшей у них тайне, под опасением смертной и даже душевной казни, как то явствует из следующего официального, можно назвать, предписания Константина Порфирогенета, современника великого князя Святослава Игоревича. Сей император в наставлениях сыну своему о управлении империею, в XII главе (в новейшем издании — в XIII главе. — И. М.) сего сочинения

(«О соседствующих с турками народах»), исчисляя предметы, в которых должно им отказывать, еслиб они что-либо у оных стали себе просить, говорит, между прочим, следующее», и далее идет собственный перевод Олениным данного знаменитого отрывка из XIII главы «De administrando imperio» Константина Багрянородного — перевод, вполне профессиональный и лишь своей ярко выраженной стилистикой отличающийся от новейшего перевода памятника на русский язык (л. 76 об.—79 об.).³⁴

Наконец, последний и весьма внушительный раздел из того, что Оленину удалось оформить в своем труде, целиком посвящен разгадке самого этого явления — «греческого огня».³⁵ Увлеченность, с которой он пытается разобраться в сложном и противоречивом материале византийских, арабских, русских и старофранцузских источников, станет понятной, если вспомнить, что сам А. Н. Оленин был выпускником Дрезденского артиллерийского училища и носил звание капитана от артиллерии. В сущности, именно позиция артиллериста здесь оказалась, по-видимому, определяющей: ведь для Оленина «греческий огонь» — не что иное, как огонь артиллерии, с использованием пороха, пушек с медными стволами — сифонами, ядрами и т. д. Об этом говорят, по его мнению, наподобие «ономатопеи», те слова источников, которые «созвучны самому действию» (стук, гром, взрывы, будившие, по словам Жуанвиля, по ночам Людовика Святого, находившегося на достаточном расстоянии от поля боя крестоносцев с сарацинами; пламя, «яко молния», по Нестору; глагол «пущать» того же Нестора, обозначающий, по мнению Оленина, действие пушки; и т. д.). Серьезным препятствием к такому толкованию было, конечно, одно из определений греческого огня как «жидкого» (υγρον) или, как предпочитает переводить этот эпитет Оленин, «влажного», но он выходит из положения, предлагая (не знаю, насколько убедительно) видеть в этом определении «не свойство, а место» применения огня, т. е. морскую стихию, доказывая это отсутствием в текстах, описывающих действие огня, глаголов со значением «лить» и, напротив, употреблением глаголов со значением выбрасывания некоего сухого вещества, которое, по его мнению, обладает каким-то сходством именно с порохом (л. 85–87, 115 об., 140 об.). «Мне кажется, вспоминая старую мою артиллерийскую службу, — говорит А. Н. Оленин по поводу одного из таких случаев применения греческого огня, — что по законам баллистики и механики весьма бы трудно было произвести другим каким-либо орудием, кроме некоторого рода мартыры» (л. 122).³⁶

Во всяком случае А. Н. Оленин считает (и мы в данном случае имеем все основания прислушаться к нему), что ничего чудесного в греческом огне, вопреки некоторым средневековым авторам, не было. «Как лучшие византийские дееписатели, — говорит он, — так и русские летописцы, а равно и очевидные свидетели действия греческого огня и даже действующие притом лица (sic!), как-то Сир де Жуанвиль, ни слова не говорят о каких-либо чудесных свойствах сего составного огня, кроме того, что, по словам Льва Диакона, он мог даже и камни превращать в пепел. Напротив сего, некоторые европейские писатели много об нем чудес рассказывают и главнейше, что был не угасаем простыми средствами» (л. 123). «Греческий огонь, — заключает Оленин, — по-видимому, когда об нем писали без преувеличения, жег то, что и простой огонь может сжигать; если же он железо и камень превращал в пепел, то и на это можно согласиться, ибо строение каменное, на котором стропилы, потолки, полы и рамы деревянные, и оконные и даже лестницы будут деревянные, при дружном и сильном пожаре превращаются в пепел, ибо камни пережигаются в известку или в дресву. Я сам был здесь очевидцем,

когда горели на Васильевском острове каменные лавки Андреевского рынка, что листы железной ее крыши от чрезвычайного пыла текли, как растопленный чугу́н. Хотя, впрочем, причиною сего пожара был простой, а не греческий огонь. И так, я заключаю, — говорит А. Н. Оленин, — что все невероятные рассказы о сем составном огне произошли, по русской пословице, от того только, что „у страха глаза велики“, и в самом деле, мало ли что могло чудесного показаться в сем огненном составе, если другого не было способа от него избавиться, по совету г-на Готьера дю Корелля, доброго рыцаря, как только тем, что на землю лечь лежа и творить молитву» (л. 131 об.–133).

Предоставляя специалистам в области византийской «полемологии» право решать, насколько убедительными, с их точки зрения, были высказанные А. Н. Олениным взгляды, хотелось бы напоследок указать еще на один документ, в котором интересы Оленина-византиста сформулированы достаточно отчетливо — его письмо к Д. И. Языкову от 9 января 1837 г.³⁷ Одоблив разработанный Российской Академией во главе с ее президентом Александром Семеновичем Шишковым «византийский проект», предусматривавший перевод трудов византийских историков и хронистов на русский язык,³⁸ и охотно согласившись принять в нем участие, Оленин напомнил, что «имел счастье положить первый, смею сказать, опыт, предложив в 1820-м году библиотекарю Императорской Публичной библиотеки, бывшему экстраординарным профессором греческого и латинского языков при С.-Петербургском университете, г. статскому советнику Попову перевести с греческого языка историю Льва Диакона Калойского» (излагаются все уже известные нам обстоятельства этого издания). «В этом виде я бы желал, — продолжает Оленин, — чтобы и прочие византийские писатели были переведены и напечатаны, буде можно, с греческим текстом. К сим *pia desideria* я присовокупляю еще одно, состоящее в том, чтобы знающие греческой древней (*sic!*) язык, которым важное дело перевода на русский язык византийских авторов будет поручено, изучились бы предварительно не токмо греческому византийскому наречию, чтоб ясно, сколько можно, понимать византийских писателей <...> Я здесь осмеливаюсь повторить, что без знания греческого византийского и нынешнего наречия нет возможности верно перевести сочинения византийских авторов», — мнение, к которому трудно не «присовокупить» и наше собственное.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См. об этом: Тимофеев Л. В. В кругу друзей и муз: Дом А. Н. Оленина. Л., 1983; Голубева О. Д. А. Н. Оленин. СПб., 1997; см. также литературу, указанную в последующих примечаниях.

² Подробнее об этом см.: Тункина И. В. 1) Оленин и древности Южной России // Санкт-Петербург и отечественная археология: Историографические очерки. СПб., 1995. С. 18–28; 2) Русская наука о классических древностях юга России (XVIII — середина XIX в.). СПб., 2002 (см. Имен. указ.: Оленин А. Н.);

Жабрева А. Э. «Страстный любитель точности в костюмах»: Штрихи к творческому портрету А. Н. Оленина // Российская Национальная библиотека и отечественная художественная культура: Сб. статей и публикаций. СПб., 2002. Вып. 2. С. 127–151.

³ В частности, имя А. Н. Оленина блестяще отсутствует и в замечательном во всех прочих отношениях очерке нашего дорогого юбиляра. См.: Цамутали А. Н. Петербургская школа византиноведения // ВИД. 1991. Вып. 23. С. 5–19.

⁴ Подробно об этом см.: *Медведев И. П.* Новые данные по истории первого издания Льва Диакона // *Византийский временник*. 2002. Т. 61 (86). С. 5–23.

⁵ Там же. С. 7.

⁶ Там же. С. 10.

⁷ Подробно об этом см.: *Медведев И. П.* К истории первого русского перевода Льва Диакона // *ANTIΔΩΡON: К 75-летию акад. РАН Г. Г. Литаврина*. СПб., 2003. С. 86–98.

⁸ *Notices et Extraits de manuscrits de la Bibliothèque Impériale et autres bibliothèques*. 1810. Т. 8. Р. 254–296.

⁹ *Оленин А. Н.* Облик или портрет великого князя Святослава Игоревича, писанный современником его, византийским историком Львом Дьяконом, по словам очевидца. СПб.: Тип. Ф. Дрехслера. 1814. 14 с.

¹⁰ Сам А. Н. Оленин, если верить О. Д. Голубевой, приступил к изучению греческого, «когда ему было за сорок», т. е. приблизительно в начале XIX в. (*Голубева О. Д.* А. Н. Оленин. С. 143). По своему опыту работы с текстами, вышедшими из-под пера Оленина, могу сказать, что отменным знатоком греческого его назвать, конечно, нельзя, но в то же время владение им у него было, на мой взгляд, вполне приличным.

¹¹ Имеются в виду: Федор Богданович (Христиан-Фридрих) Грефе (1780–1851), профессор Петербургского университета по кафедре греческой словесности, будущий академик; его ученик граф Сергей Семенович Уваров (1786–1855), будущий президент Академии наук.

¹² *Оленин А. Н.* Облик или портрет... С. 1.

¹³ Внизу страницы к этому месту А. Н. Оленин делает следующее примечание: «Его Сиятельство Государственный Канцлер граф Николай Петрович Румянцов, ревностно усердствуя успехами отечественной нашей истории, выписывает из Парижа на свое иждивение точную копию с сей рукописи, дабы оную здесь издать в свет с верным руским (sic!) переводом. Ответа из Парижа еще не получено». Следует отметить, что главной причиной невозможности для Газе издать труд Льва Диакона были не его «занятия», а отсутствие у него средств.

¹⁴ Внизу следует примечание Оленина: «В скором времени сия VI книга будет напе-

чатана на греческом языке с буквальными переводами, латинским и руским (sic!), и некоторыми примечаниями».

¹⁵ *Оленин А. Н.* Облик или портрет... С. 2–3.

¹⁶ История Льва Диакона Калойского и другие сочинения византийских писателей, изданные в первый раз с рукописей Корол. парижской библиотеки и объясненные примечаниями Карлом Бенедиктом Газе, профессором новейших восточных языков в особенном Корол. училище, агентом по части греческих и латинских рукописей в вышеозначенной Библиотеке, членом Берлинской Академии наук и проч., орденна Св. Владимира 4-й ст. кавалером / Переведенные с греческого на российский язык Д. Поповым. В Санкт-Петербурге, печатано при Императорской Академии наук. [СПб.], 1820.

¹⁷ Было бы интересно узнать, обсуждалось ли это событие на «приютинских посиделках», как это было принято. Прямых данных об этом как будто не сохранилось, но, может быть, сохранились хотя бы косвенные? Сообщая, например, о посещении этих «посиделок» Пушкиным, археолог А. А. Формозов замечает, что при написании поэмы «Руслан и Людмила» и других своих стихов поэт, по-видимому, получил квалифицированную помощь от Оленина в ознакомлении со старинным русским оружием и его правильными наименованиями. Если такие названия вооружения, полагает исследователь, как щит, меч, шлем — это «обычные слова из поэтического лексикона, то уже шипак, броню, бердыш мог упомянуть лишь человек, несколько знакомый со средневековым доспехом и оружием» (*Формозов А. А.* Пушкин и древности: Наблюдения археолога. М., 2000. С. 21). Но ведь именно о «шипаке» пишет А. Н. Оленин в недавно мною обнаруженном и опубликованном письме к Д. И. Языкову от 9 января 1837 г. (см.: *Медведев И. П.* К истории создания первого русского перевода Льва Диакона // *ANTIΔΩΡON: К 75-летию акад. РАН Г. Г. Литаврина*. СПб., 2003. С. 97), указывая, правда, что это «русское речение» встречается в сочинении Константина Порфирогенета «о чиноположении двора византийского» (т. е. в *De cerimoniis*), а не у Льва Диакона. Но вот описание Пушкиным в конце поэмы нашего гостя на Киев печенегов, мне кажется, весьма напоминает по своей стилистике описание

Львом Диаконем многочисленных схваток ромеев (Д. П. Попов предпочитает переводить: «Римлян») с тавроскифами (упоминаются, впрочем, и печенеги, устроившие засаду войску Святослава и убившие его, см. гл. 9, § 12), да и сам мотив появления «чудесного воина на коне» (=воскресшего Руслана), который «как божий гром», «грозою несется, колет, рубит, в ревущий рог, летая, трубит», тоже встречается у Льва Диакона, например, в гл. 9, § 9, где перед «россами», терпящими поражение от ромеев-римлян, появляется «некий воин на белом коне», который, обратившись к войску и побуждая его «идти на врагов, чудесным образом рассекал и разстраивал их ряды». Наконец, эта sacramентальная финальная пушкинская фраза из «Бориса Годунова»: «Народ безмолвствует». Что это, находка гения или калька текста из гл. 6, § 4 Льва Диакона, где эта фраза также появляется, причем в совершенно аналогичном контексте: наблюдая «возню» вокруг константинопольского престола, сопровождавшуюся после убийства императора Никифора Фоки Иоанном Цимисхием мятежами и беспорядками, «народ, — говорит Лев Диакон (в переводе Д. П. Попова), — не понимаю каким образом, сохранял совершенный порядок и глубокое молчание»? Впрочем, не удивлюсь, если все это лишь плод моего воображения.

¹⁸ Хранится в архиве Олениных: ОР РНБ. Ф. 542. Д. 66. Судя по тому, что среди бумаг Оленина встречаются отрывки рукописи перевода Д. П. Попова (Там же. Д. 65), последний снабжал своего патрона материалами уже по ходу работы над переводом.

¹⁹ Там же. Д. 24. Л. 28–39.

²⁰ Там же. Д. 25. Л. 23–115.

²¹ Там же. Д. 29 (141 л.). В личном архиве А. Н. Оленина также хранится составленный им (на карточках) предметный указатель к греческому подлиннику и к русскому переводу Льва Диакона (Там же. Д. 30. Л. 1–65; на архивной обложке дела неверно указано, что это указатель только к русскому переводу).

²² Мне немного совестно, что в статье «К истории создания первого русского перевода Льва Диакона» я назвал автора этого труда «высокопоставленным ученым дилетантом», оговорившись, со ссылкой на О. Д. Голубеву, что А. Н. Оленина частенько обвиняли в научном

верхоглядстве (с. 95). Более внимательное ознакомление с текстом труда убедило меня в том, что мы имеем дело с вполне профессиональным серьезным исследованием, хотя и не завершенным.

²³ Вычеркивания автора, которых немало, не отмечаются. Листы указываются в тексте статьи.

²⁴ Здесь уместно привести полные выходные данные парижского издания: Leonis Diaconi Caloensis Historia, scriptoresque alii ad res Byzantinas pertinentes, e Bibliotheca Regia nunc primum in lucem edidit, versione latina et notis illustravit Carolus Benedictus Hase. Parisiis, 1819. Интересно было бы узнать, каким образом заполучил Оленин экземпляр парижского издания. В списке лиц и учреждений, которым полагался экземпляр из присланных 50 (по поручению Н. П. Румянцева составлен акад. Ф. И. Кругом), А. Н. Оленин не фигурирует (упомянут Д. П. Попов). См.: *Медведев И. П.* Новые данные по истории первого издания Льва Диакона. С. 22. Правда, в письме к Румянцеву от 23 мая 1820 г. Газе обещал прислать еще 50 (там же, с. 21), но прислал ли и, если прислал, как они были распределены, сведений мы не имеем.

²⁵ Отметив, что «подлинный греческий текст в первый еще раз печатается ныне в Париже трудами почтенного г-на Газе, при ревностном пособии государственного канцлера графа Румянцева» (л. 17 об.), А. Н. Оленин использует для своих целей два списка славянорусского перевода хроники, сообщая о них ценные сведения. См.: *Медведев И. П.* Неизвестные страницы в ранней истории изучения славяно-русской версии Хроники Георгия Амартола (в печати).

²⁶ Речь идет о § 53 гл. XIX «Тактики» Льва Премудрого, где говорится о «маленьких стрелах, называемых мухами» (σάγittaς μικράς τὰς λεγόμενας μυίας). Переведя это фразой «Quas sagittas musculos vocant», Меурсий тем самым превратил мух в мышей. «В сем переводе, — уточняет Оленин, — нельзя предположить и опечатки, т. е. musculos=мышонками вместо musculus=мушками, ибо в греческом тексте предложение “муха”=μύια просто написано в положительном множественном числе τὰς μυίας, а не в уменьшительном от μυῖδιον — τὰ μυῖδια, и потому следовало сказать: quas muscas vocant» (л. 34).

²⁷ Имеется в виду, конечно, Спиридон Юрьевич Дестунис (1782—1848), о котором см.: Белоброва О. А. С. Ю. и Г. С. Дестунисы: Рукописное наследие // Архивы русских византистов в С.-Петербурге. СПб., 1995. С. 22–33.

²⁸ Использовано женеvское издание 1642 г.

²⁹ Текст перевода переписан почему-то даже дважды, причем с рисунками пером «сходки» двух кораблей и схемы их движений (л. 38 об.—40 об.). Мне было любопытно сравнить перевод Оленина и ныне находящийся в «обиходе» перевод С. С. Аверинцева (см.: *Плутарх*. Сравнительные жизнеописания. М., 1963. Т. 3. С. 175). Различия, скорее, в стиле, а не в содержании. Правда, аверинцевское «таранить корабль» Оленин предпочитает переводить словами «направить к удару», «окованный медью нос» — «медным бодилом», и т. д.

³⁰ Подробно излагая описание Константином Багрянородным днепровских порогов, Оленин интенсивно пользуется и известным трудом акад. А. Х. Лерберга («к великому для древности и истории российской сожалению, покойного», — замечает он, л. 49). Лерберг умер 23 июля 1813 г.

³¹ Анализируя этот источник, Оленин сообщает любопытные сведения о его изучении другими исследователями. «Член С.-Петербургской Императорской Академии наук г-н академик Френ (Ch. M. Frähn, 1782–1851), — говорит он, — первый, который сие любопытнейшее для нас место отыскал. В оном упоминается о некоторых обычаях рускаго (sic!) племени, как они были в X веке, по описанию очевидца. Г-н Френ издает сию выписку с подробными к тому замечаниями. Честь и слава ученому, который свои знания и примернейший труд употребляет на приобретение новых и полезных сведений» (л. 51 об.). И в другом месте: «Отрывок сего писателя о русских времен Игоря, найденный досужим и неутомимым г-м академиком Френом в географическом сочинении Якута, арабского писателя XIII в., издается ныне г-м Френом с переводом на немецкий язык и с большим количеством любопытных к тому примечаний. Знаменитый Н. М. Карамзин получил от г-на Френа список с первого его перевода сей статьи и воспользовался оною во втором издании „Истории Российского государства“» (л. 69).

³² У меня, правда, сразу же возникает подозрение: ошибка ли это Газе, а не очередная попытка ввести в заблуждение «господ петрополитанцев», еще раз подыграть, так сказать, их национально-патриотическим чувствам? Как-то не верится, что столь выдающийся ученый-филолог мог допустить столь «знаковую» ошибку. О его непростых отношениях с своим «спонсором» и «работодателем», каким был для него граф Н. П. Румянцев, см.: *Медведев И. П.* К вопросу о неподлинности так называемой «Записки готского топарха» // Мир Александра Кадана: К 80-летию со дня рождения. СПб., 2003. С. 160–172. Газе, впрочем, весьма рисковал здесь своей научной репутацией, и мне непонятно, как могли не обратить внимания на эту ошибку его переводчик Д. П. Попов и позднейшие исследователи (включая В. Г. Васильевского и Н. К. Панайотакиса). В новейшем русском переводе Льва Диакона ошибка Газе исправлена, естественно, без учета того, что это было сделано уже А. Н. Олениным в 1821 г. См.: *Лев Диакон*. История / Под ред. Г. Г. Литаврина. М., 1988. С. 57, 200 (примеч. 70).

³³ Думаю, что по крайней мере данный раздел труда А. Н. Оленина заслуживает скорейшего опубликования, чем мы и планируем в ближайшее время заняться.

³⁴ Ср.: *Константин Багрянородный*. Об управлении империей / Под ред. Г. Г. Литаврина и А. П. Новосельцева. М., 1989. С. 55–59.

³⁵ До сих пор точный состав и механизм выталкивания огня остаются невыясненными. Некоторые авторы предпочитают видеть в нем взрывчатую смесь, воспламеняющуюся от селитры, наиболее вероятным ингредиентом которой была сырая нефть, добывавшаяся на восточном побережье Азовского моря, в Тмутаракани, Зихии или же в скважинах восточной Армении и смешанная со смолой и серой; будучи разогретой, эта смесь выталкивалась насосом (сифоном) через бронзовую трубу (стептон); жидкость поджигалась, скорее всего, уже по выходе ее из трубы. См.: *McGeer E. M.* Greek Fire // *The Oxford Dictionary of Byzantium*. New York; Oxford, 1991. Vol. 2. P. 873 (с указанием литературы).

³⁶ Разумеется, идея о том, что «греческий огонь» — это не что иное, как огонь артиллерии

с использованием пороха и пушек, не могла не прийти на ум и историкам новейшего времени. Ее, например, отстаивали такие специалисты в истории артиллерии, как немецкий исследователь М. Дильс (*Diels M. Antike Technik. Leipzig; Berlin, 1914*), грек К. Зенгелис (*Zenghelis C. Le feu grégeois et les armes á feu des Byzantins // Byzantion. 1931. Т. 7. Р. 265–286*) и др. И хотя у них есть немало оппонентов (см., например: Корреэ Θ. *Ὁ προβληματισμός γύρω ἀπὸ τὸ υὔρο πυρ τῶν Βυζαντινῶν // BYZANTIAKA. 1983. Φ. 3. Р. 123–134*), нам важно отметить, что

они имели и неизвестного им русского предшественника — А. Н. Оленина.

³⁷ Полностью письмо опубликовано в ст.: *Медведев И. П.* К истории создания первого русского перевода Льва Диакона. С. 96–98.

³⁸ Подробно об этом проекте см.: *Файништейн М. Ш.* Из истории отечественной византистики: Забытый проект Российской Академии // *Рукописное наследие русских византистов в архивах С.-Петербурга.* СПб., 1999. С. 521–536.

И. Г. Воробьева

ТРУДЫ СЛАВИСТА Н. А. ПОПОВА ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

Во второй половине XIX — начале XX в. в русской исторической науке произошли качественные изменения, отмеченные современной отечественной историографией.¹ Однако, несмотря на продолжающееся активное введение в научный оборот архивных эпистолярных материалов, мемуаров и сочинений русской эмиграции, создание новых теоретических трудов, время глобального синтеза еще не пришло.² Одной из причин, полагаю, стала необоснованная специализация в истории исторической науки. Отдельно заседают русисты, слависты, медиевисты, новисты, византинисты и т. д. Давно не собирались всероссийские конференции по проблемам преподавания историографии в вузах, творческие сообщества внутри страны оказались изолированными. Судя по справочному аппарату, коллеги друг друга читают редко и имеют очень смутное понятие о делах в соседнем цехе. Так, к примеру, в освещении динамики исследовательских процессов в столичных университетах XIX — начала XX в. абсолютно не учитывается тот факт, что русские историки-слависты читали лекции и писали статьи и по славистике, и по русской истории, и по истории Византии.³ Историко-юридическое направление в русской историографии изучается вне трудов историков-славистов.⁴ Государственная школа представлена в новейших исследованиях лишь несколькими известными именами.⁵

Наша задача — выявить роль историков-славистов в развитии историографических знаний, в частности, обратить внимание отечественных ученых на вклад профессора Московского университета Н. А. Попова (1833–1891) в историю русской исторической науки.⁶

Нил Александрович Попов — ученик и коллега С. М. Соловьева. Его исторические исследования следует отнести к государственной школе в русской историографии (по терминологии XIX в. — историко-юридическая), так как он полностью разделял концепцию С. М. Соловьева, К. Д. Кавелина и Б. Н. Чичерина и развивал ее на материале истории зарубежных славянских народов. Попов изучал историю чехов, поляков, сербов,

боснийцев, болгар в XVIII–XIX вв. Основным объектом анализа для него стала история сербского народа, которой он посвятил несколько книг. Попов — автор монографии «Россия и Сербия. Очерк исторического покровительства с 1806 по 1856 гг.», первой в науке на эту тему и не потерявшей до сих пор своего научного звучания.⁷ В истории сербов начала XIX в. ученый увидел борьбу старых, архаичных форм жизни и новых, государственных. Он был убежден, что государство — цель и смысл общественного развития, выразитель всех проявлений народной жизни, «высшее назначение народа и его исторического призвания». История политического возрождения сербов предоставляла возможность проверить концепцию государственников. В своих лекциях по русской истории, которые он читал в Московском университете с 1860 по 1888 г.,⁸ Попов следовал логике изложения и толкования фактического материала, опираясь на «Историю России с древнейших времен» С. М. Соловьева, что оценили современники.⁹

Одно из центральных мест в его творчестве занимала история науки. В наследии Попова есть работы по историографии истории зарубежных славян,¹⁰ хотя чаще ученый анализировал труды по отечественной проблематике. Его работы по истории русской исторической мысли и их современное понимание помогают выяснить не только эволюцию всего творчества ученого, но и определить уровень историографических знаний и российской исторической науки второй половины XIX в.

Попов заинтересовался историей исторической науки еще в студенческие годы. Выпускную работу он подготовил по теме, предложенной факультетом для соискания медали, — «История вопроса о русской начальной летописи». Работа заслужила золотую медаль, а ее автор удостоился степени кандидата. Тему предложил, вероятнее всего, С. М. Соловьев, чьим тогдашним научным интересам она напрямую отвечала. В лекциях 1850-х гг. он обращал внимание на особенности русского летописания и знакомил студентов с историей вопроса.¹¹ Сохранился и введен Р. А. Киреевой в научный оборот текст его лекции 1848/49 учебного года «Обзор русской исторической литературы», которую вполне мог слушать и Попов.¹² Возможно, Соловьев стремился отреагировать на требования тогдашней критики, высказывавшей нарекания в его адрес, будто историографические экскурсии в комментариях и приложениях к отдельным томам «Истории России с древнейших времен» носили разрозненный характер.¹³ Можно предположить, что он физически был не в состоянии справиться с обзором множества трудов по русской истории и мог поручить их выполнение студентам. Как известно, I том «Истории России» вышел в 1851 г., а Попов выполнял выпускную работу в 1853–1854 гг.

К сожалению, текст этой работы не сохранился, и мы не можем оценить и проанализировать ее. Но вполне очевидно, что осознание важности глубокого знания трудов предшественников пришло к Попову еще в университетские годы. Так, на «классических беседах», устроенных С. П. Шевыревым, он прочитал реферат «Биография Байера и очерк его ученой деятельности».¹⁴ В ту же пору имя Попова становится известным и читающей публике по ряду критико-библиографических заметок. Первая из них, «Древние и новые греки», была посвящена разбору книги И. Тельфи, вышедшей в 1854 г. в Лейпциге.¹⁵ По окончании университета Попову удалось опубликовать около 20 рецензий и заметок на страницах газеты «Московские ведомости» и журнала «Русский вестник». Уже в те годы историк высказывал соображения о необходимости специального периодического издания, «посвященного критике научных сочинений», аргументируя это тем, что «ничто так не вредит развитию науки, как оставление без надлежащей

оценки тех трудов, которые двигают ее вперед или, по крайней мере, готовят средства для этого движения, дают источник для ее жизни».¹⁶

Газетные публикации Н. А. Попова нередко были довольно обширными и печатались с продолжением в нескольких номерах. В ряде случаев автор ограничивался библиографической характеристикой издания, приводя краткий пересказ содержания.¹⁷ Иногда он, видимо, не решался высказывать замечания в адрес авторитетных историков. В частности, так было в рецензии на вторую книгу «Ученых записок» II отделения Академии наук, в отзыве на VI том «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева, на издание «Актов, относящихся до юридического быта древней России» Н. В. Калачова.¹⁸ Ряд его статей имел характер рефератов, где внимание читателей обращалось на наиболее яркие эпизоды из жизни страны. В таком жанре Попов писал о книге Э. Голицына «Русское посольство в Испанию и Францию в 1668 г.», изданной в Париже, о публикации записок путешествия в 1586 г. в Архангельск француза Иоанна Соважа, о книге А. Н. Попова «Русское посольство в Польшу в 1670–1677 гг.», где рассказывалось о миссии Василия Михайловича Тяпкина.¹⁹

Писал Попов и полемические, задиристые работы, как и положено молодому исследователю. Он резко критиковал книги И. Е. Андреевского «О правах иностранцев в России до вступления Иоанна III Васильевича на престол» и «О договоре Новгорода с немецкими городами в 1270 г.», статью А. Богдановского «Судебные преследования колдунов и ведьм в Германии».²⁰ В обеих критических заметках он обращал внимание на недостаточное знание авторами фактического материала и на их неумение пользоваться сравнительно-историческим методом; обстоятельней он рассуждал об этом, рецензируя вышедший в Казани под редакцией Дм. Мейера «Юридический сборник».²¹

Наиболее серьезной критике Попов подверг книгу С. Горского «Жизнь и историческое значение князя Андрея Михайловича Курбского», изданную в Казани. Статью объемом почти в 40 страниц он напечатал в только что созданном журнале критики, современной истории и литературы «Атеней».²² Она содержала основные методологические принципы, которые и тогда, и позже исповедовал Попов. Он настаивал на том, что нельзя впадать в «недостойную историка роль уголовного судьи своего героя», и цитировал С. М. Соловьева: «Историк не должен быть адвокатом того или другого исторического лица; его обязанность при описании подобной борьбы состоит в том, чтобы, основываясь на актах несомненных, уяснить смысл борьбы, ее значение в истории народа».

Первые пробы Попова, пытавшегося оценить труды современников, показывают, что начинающий ученый уяснял для себя методы и приемы описания исторического прошлого России. Но при этом его работы носили публичный характер: учась сам, он давал и новую информацию для читателей. Его статьи в периодике — форма живого отклика на свежие историографические факты. «Московские ведомости» и «Русский вестник» имели значительный круг читателей, а критические отклики на вновь вышедшие книги получали особое общественное звучание в России середины XIX столетия. Так произошло и со статьями в «Московских ведомостях», подписанной псевдонимом «Н. Челышевский», положившей начало активной полемике университетских профессоров со славянофильским журналом «Русская беседа».²³

В 1858–1860 гг. Попов был адъюнктом кафедры русской истории Казанского университета. Там он читал обзор русской историографии, продолжая традиции местных

профессоров кафедры русской истории Н. А. Иванова и С. В. Ешевского.²⁴ Как лектор русской истории Попов размышлял о задачах исторической науки, пытался определить ее методы, выявить основные периоды в становлении русской исторической науки. В Московский университет он вернулся к осени 1860 г., и важно отметить, что его первая лекция, прочитанная 13 октября 1860 г., называлась «По поводу современных вопросов в русской исторической литературе».²⁵ В ней он обращался к студентам: «При нынешнем состоянии науки я считаю вполне дозволительным самостоятельные суждения лишь по ознакомлению Вас с мнениями уже существующими. Лишь под этим условием будет возможен для каждого из нас собственный труд; лишь тогда он сделается для нас не только нравственной обязанностью, но и гражданским правом».²⁶ Таким образом, Попов считал, что историографические знания есть фундамент самостоятельного исследования. Мысль не оригинальная, но, как показывают его дальнейшие сочинения, возвышенные слова вступительной лекции оказались не просто риторической фигурой, а научным кредо. Текст лекции важен как один из первых в России историографических опытов, который напрасно не учитывается современными историографами. Для историков русской науки было бы результативным в познавательном отношении сравнение текста лекции Попова со статьей Н. И. Надеждина «Об исторических трудах в России», опубликованной в 1837 г., и лекцией И. Е. Забелина «Размышления о современных задачах русской истории и древностей»,²⁷ прочитанной в 1860 г.

В университетских лекциях Попов подробно и регулярно рассказывал о творчестве русских историков. Его бывшие студенты вспоминали, что профессор «основательно знакомил слушателей с различными отделами русской истории, придерживаясь капитальных исследований и трудов в этой области русской науки. Особенно были интересны и богаты его курсы по историографии».²⁸ В других мемуарах отмечается, что на семинарских занятиях профессор «сопровождал чтение рефератов внимательным и подробным разбором со стороны содержания и отношения к литературе... Эти беседы давали ему возможность входить в библиографические подробности. Нельзя было не удивляться редкому знакомству его с русскою историческою литературой, за которой он тщательно следил, его памяти и умению быстро раскрыть перед слушателями историю разработки отдельных вопросов, определить известное направление в науке».²⁹

Нам удалось прочитать тексты двух литографированных курсов лекций Попова по русской истории, содержащих историографические сюжеты.³⁰ В фонде В. О. Ключевского в НИОР РГБ есть недатированный текст, в котором имеется лекция в двух частях по историографии, записанная на пяти страницах. В курсе, датированном 1882/83 г. и находящемся в фондах фундаментальной библиотеки МГУ, историографический материал изложен в пяти лекциях.

В первых лекциях профессор употреблял словосочетание «русская историческая литература», позднее чаще встречается термин «историография». Его программа курса лекций 1886 г. по истории южных славян имела раздел «Историография», здесь этот термин употреблялся для обозначения обзора источников и литературы.

В исследованиях Попова по русской историографии главный сюжет связан с творчеством В. Н. Татищева. Книга о русском историке XVIII в. Василии Никитиче Татищеве по своей значимости и собранному автором материалу занимает особое место в историографических исследованиях Попова, к тому же это было первое монографическое исследование о жизни и творчестве Татищева, положившее «начало научному

татищеведению».³¹ Все последующие биографы великого историка, полемизируя или соглашаясь с Поповым, обойтись без нее не смогли.

Анализируя книгу «Татищев и его время» и опираясь на историографические знания Попова, оговоримся, что автор ни разу не назвал свою работу историографической, а разбору собственно литературных и научных сочинений Татищева посвятил лишь одну из восьми глав книги. Таким образом, возникает вопрос: правомерно ли считать книгу Попова историографическим исследованием?

Обратим внимание на полное название книги — «Татищев и его время. Эпизод из истории государственной, общественной и частной жизни в России первой половины прошедшего столетия». Судя по названию, Попов исследовал историю России XVIII в., и прочтение книги свидетельствует о жесткой увязке биографии Татищева с биографией государства. Попов рассуждал так: эпоха преобразований Петра Великого требовала просвещенных людей, но их было еще мало, поэтому таким, как Татищев, пришлось одновременно заниматься многими делами: политикой, наукой, культурой. Признав за энциклопедистом Татищевым право называться «первым русским историком», Попов решил выяснить условия становления его именно как ученого-историка. В предисловии он писал: «Теперь, когда после государственной истории России обращено внимание в нашей ученой литературе на историю общественной и народной жизни, я считаю далеко не лишним изучение биографическое... И государство, и общество, и сам народ представляется тогда лишь средою, в которой развивалось, жило и действовало лицо».³² Попытка оценить особенности эпохи, в которую трудился герой исследования, не есть изобретение Попова. Процитированный пассаж близок абзацу, которым начинал в 1856 г. статью «Писатели русской истории XVIII века» С. М. Соловьев: «Чтобы понять характер деятельности Татищева, нужно обратиться к характеру той знаменитой эпохи, к которой принадлежал он, — эпохи преобразования».³³

Но и С. М. Соловьев не был в этом оригинален. В европейской исторической науке первой половины XIX в. наблюдался значительный интерес к выдающимся личностям прошлого. В середине 1850-х гг. шумный успех в России имела книга английского историка Т. Карлейля «Герои, почитание героев и героическое в истории», русский перевод которой в 1856 г. опубликовал «Современник». Как утверждает Н. И. Цимбаев, Соловьев, знакомый с этой книгой, решительно отвергал взгляды Карлейля и настаивал на существовании связи «великого человека» с его временем и народом.³⁴ Эту же идею в своих лекциях, которые слушал Попов, отстаивал и Т. Н. Грановский. Вслед за ними В. И. Герье, коллега Попова по университету, в «Очерке развития исторической науки» подчеркивал, «что всякое историческое сочинение должно рассматривать в связи с тою средой, из которой оно вышло, объяснять причины, вызвавшие его, указывать потребности, которым оно удовлетворяло, и то хорошее или дурное влияние, которое оно имело со своей стороны».³⁵ Такая методическая установка отражала общие тенденции развития русской историографии середины XIX в., что видно и по многим сходствам в названиях книг: Н. Г. Чернышевский «Лессинг, его время, жизнь и деятельность» (СПб., 1857); В. С. Иконников «Максим Грек и его время» (Киев, 1865); В. И. Герье «Лейбниц и его век» (М., 1868). Название оказалось удачным, им воспользовался даже А. Ф. Лосев, написав книгу «Владимир Соловьев и его время».

В сочинении Попова великим человеком, чье время следовало изучать, оказался историк В. Н. Татищев. Описывая особенности эпохи, в которой жил, действовал и

творил русский энциклопедист, Попов пытался обнаружить факты и события, побудившие Татищева обратиться к осмыслению истории России. В изложении Попова становление Татищева-историка выглядит так. Усилиями Петра I в Россию стали поступать новые книги, а с ними и новые знания. Любознательность таких людей, как Татищев, могла быть удовлетворена за счет обширных библиотек, возникших именно в это время. Татищев тоже имел библиотеку, но она сгорела. Попов попытался восстановить ее состав и круг чтения историка, опираясь на цитированные Татищевым сочинения. Другим путем приобретения Татищевым исторических знаний могли стать его многочисленные путешествия, считал Попов, подробно описывая их. Кроме того, он обратил внимание на разыскания Татищева в архивах, а также на «метод устного опроса», как бы сейчас сказали. Попову удалось, идя по вехам жизни историка, составить подробный перечень мест, где самоучка Татищев получил новые знания, каких не мог дать ни один университет Европы.

Внимательно изучив доступные ему в то время труды первого историка новой России, Попов впервые составил их полный список с указанием местонахождения рукописей. Кроме того, он перечислил те сочинения историка, которые еще не были обнаружены в архивах, но сведения о которых имелись. Тем самым Попов поставил задачу их поиска перед собой и другими исследователями. «Разговор двух приятелей о пользе наук и училищ» В. Н. Татищева он разыскал сам. Лишь спустя век, в советское время, были сделаны новые находки и издано полное собрание сочинений Татищева. Таким образом, Попов накапливал историографические источники для изучения творчества Татищева.

Этим, однако, не ограничивалось исследование Попова. Текст главы VII посвящен чисто историографической проблематике. Достаточно назвать план этой главы: «Ученое направление русской литературы при Петре и после него. Страсть Татищева к книгам. Его любознательность. Географические занятия в России во времена Татищева. Собственные географические труды Татищева. Исторические занятия Татищева. Рукописи исторических сочинений его. Вопрос об источниках „Истории России” Татищева. Вопрос об Иоакимовской летописи. Некоторые из сомнительных мест в его истории. Критические приемы Татищева. Богословские, политические и исторические мнения его. Антропологические и этнографические сведения. Юридические труды Татищева. Примечания к Русской правде и Судебнику. Сочинения Татищева о ревизии, о беглых, об обязанностях управления. Что не дошло до нас из сочинений Татищева? Где он кончил свою историю? Писал ли он мемуары? Разговор о пользе наук Татищева».

Мы видим, что Попов проделал скрупулезное источниковедческое исследование «Истории» В. Н. Татищева. Его методика схожа с суждениями С. М. Соловьева, который писал: «Заслуга Татищева состоит в том, что он первый начал дело так, как следовало начать: собрал материалы, подверг их критике, свел летописные известия, снабдил их примечаниями... указал на многие важные вопросы, послужившие темами для позднейших исследований».³⁶

Вслед за Соловьевым Попов привел расширенную аргументацию, настаивая на добросовестности Татищева-историка, которая в те годы ставилась под сомнение некоторыми учеными.³⁷ Самое большое недоверие вызывала Иоакимовская летопись. Работая над диссертацией, Попов писал из Казани в Петербург академику А. А. Кунику: «Я думаю: судьба будет благословенна и даст Вам возможность открыть в Архиве

Академии наук следы знаменитой Иоакимовской летописи, этого камня преткновения для всех занимающихся историей Татищева». Его влекла тайна Иоакимовской летописи, о которой он впервые написал еще в 1856 г. в рецензии на работу П. А. Лавровского, высказав убеждение в добросовестности Татищева и надежду на обнаружение текста летописи, датируя ее XI в.³⁸ Как вспоминали ученики Попова, у профессора имелась особая папка с надписью «Бизюков монастырь и Иоакимовская летопись», куда собирался новый материал, часть которого после смерти историка была опубликована.³⁹

Однако и для современных исследователей этот источник остается загадкой: летопись сегодня рассматривается только как историко-культурный факт.⁴⁰ Наблюдения же Попова над приемами исторической критики и мировоззрением В. Н. Татищева выглядят довольно поверхностными, возможно, потому, что важный философский трактат Татищева «Разговор о науках», а также его духовное завещание в то время ему не были известны. Тем не менее необходимо подчеркнуть, что магистерская диссертация Попова была первой по проблемам истории исторической науки. Автора более всего занимал вопрос, как В. Н. Татищев стал историком русского государства.

Отметим, что Н. А. Попов, как впоследствии и его младший коллега по университету В. О. Ключевский (в то время студент 1-го курса), искали в истории науки ответы на многие тревожившие их вопросы. Но разница в том, что Ключевский обратился к историографии, уже будучи известным историком, а Попов с нее начал. Работа над книгой «Татищев и его время» позволила Попову избежать излишних колебаний и сомнений, придала оптимизм его разысканиям. Он открыл для себя жанр научной биографии ученого-историка. Впоследствии Попов создал биографические очерки о Н. И. Надеждине, О. М. Бодянском, М. П. Погодине, о зарубежных славистах Ф. Палацком, Ф. Ригере, Й. Юнгмане, написал книгу о венгерском историке Ласло Салаи. Однако это не означало, что он отказался от собственно историографической проблематики, которая в 1870-е гг. все чаще становилась предметом науки. Н. А. Попов внимательно следил за изысканиями коллег-историков, что видно из переписки с известным историком отечественной науки К. Н. Бестужевым-Рюминым, а также по постоянным деловым контактам с В. О. Ключевским, читавшим курс русской историографии в Московском университете. В направлении совершенствования историографических методов работала и научная мысль Попова. В архивохранилищах и у частных лиц он продолжал выяснять факты биографии В. Н. Татищева.⁴¹

В результате многолетних упорных разысканий ему удалось, как упоминалось, найти и опубликовать в 1887 г. рукопись философского труда Татищева «Разговор двух приятелей о пользе наук и училищ».⁴² Многие факты обнаружились при общении с правнуком историка Алексеем Никитичем Татищевым, владевшим имением на родине Попова, под г. Бежецком (Тверская губерния), и с помощью Д. А. Корсакова, жена которого находилась в родстве с Татищевыми. О постоянных поисках татищевских материалов свидетельствует переписка Попова с академиками А. А. Куником и А. Ф. Бычковым.

Итогом исследования творчества Татищева стал доклад, прочитанный Поповым 19 апреля 1886 г. на торжественном заседании Академии наук, посвященном 200-летию со дня рождения В. Н. Татищева. Еще в 1883 г. через директора Тверского музея А. К. Жизневского к нему обратился А. Н. Татищев с предложением издать собрание сочинений своего знаменитого прадеда. Он писал: «Вполне понимаю, что никто лучше Вас не знаком с этим делом и никому оно не может быть поручено с большею надеждою на

успех, как Вам».⁴³ Попов энергично откликнулся на предложение и приступил к обследованию Московского архива Министерства иностранных дел на предмет обнаружения бумаг Татищева.⁴⁴ О результатах поиска он сообщал А. Н. Татищеву и директору Публичной библиотеки в Петербурге А. Ф. Бычкову, с помощью которого удалось получить несколько важных копий с рукописей, хранящихся в библиотеке.⁴⁵ Попов к тому времени был уже избран членом-корреспондентом Академии наук и получил после смерти Н. В. Калачова должность управляющего Московским архивом Министерства юстиции.

О подготовке речи на юбилейном заседании повествует обстоятельная и обширная переписка Попова с секретарем Академии наук К. С. Веселовским. В марте 1886 г. Попов писал из Москвы: «Речь моя продвигается вперед, но боюсь, что мне не уложит ее в надлежащие рамки — уж больно обилен, а главное, разнообразен материал! Татищев был энциклопедистом в практической жизни, как многие из учеников Петра Великого. С деятельностью такого человека не сладишь в отрезке, который не может продолжаться более 1.5 часа. Я всячески опущу биографические подробности и остановлюсь на ученом и писателе, но ведь нельзя совсем оставить и другие стороны жизни».⁴⁶ Веселовский в свою очередь давал Попову «ясные указания относительно личных исследований над Татищевым». Однако тот очень переживал за свое выступление: «Чем больше сижу над Татищевым, тем более убеждаюсь, что именно в Архиве и Библиотеке самой Академии еще много не выписанных материалов для его биографии, не говоря уже о государственном архиве и некоторых других питерских».⁴⁷

Поразительно: магистерская диссертация писалась с меньшим напряжением, чем речь в 60 страниц. Спустя 25 лет Попов чувствовал гораздо большую научную ответственность. Стил, логика, система доказательств, языковые обороты в речи были иными, чем в книге. Она лишена юбилейного пафоса, громких фраз, пышных выражений, полностью выдержана в академическом стиле. Что касается новых историографических суждений, то они довольно существенны.

Приступая к анализу исторических трудов Татищева, в юбилейной речи Попов сделал краткий, но очень точный обзор уровня исторических знаний в России к началу XVIII в. В частности, он показал беспомощность аббата Ивана Крушала, историографа при дворе Петра, в осознании русской истории. Попов обратил внимание слушателей на трудности в занятиях историей, которые чинились со стороны Синода, полагавшего, что от исторических известий может «произойти соблазн в народе».⁴⁸ На этом фоне усилия самоучки Татищева выглядели гигантскими, а результаты его научного поиска поразительными. Не желая вскользь, поверхностно оценивать «Историю» Татищева, Попов остановился на замечаниях историка «по части археологии», чтобы выяснить «пути и приемы, с помощью коих он расширял свои сведения».

Обратился он и к изучению Татищевым истории русского права, подчеркнув, что и здесь тот не имел предшественников. Центральное место в речи уделялось выяснению мировоззрения Татищева, сюжету, который в книге был описан поверхностно. Попов обстоятельно разъяснил обширные философские познания Татищева, назвав его последователем Декарта и Томазия, а в политических убеждениях — сторонником Пуфендорфа, Гуго Гроция, Христиана Вольфа.

Выяснив источники знания Татищевым новых правовых и политических учений, получивших признание в Европе, Попов видел в них не базу для компиляций и бездумного заимствования, а средство передать на русском языке философские понятия и определения.

Работа над «Разговором двух приятелей» позволила Попову пересмотреть свое прежнее суждение, что «философские учения Татищева не могли быть ни самостоятельны, ни глубоки». На это следует обратить внимание, потому что в отечественной литературе было высказано обвинение в адрес Попова (как, впрочем, и Бестужева-Рюмина, и Пекарского), основанное только на изучении его книги и не учитывавшее эволюцию взглядов русских историков.⁴⁹

Исследуя сочинения Попова о Татищеве, можно заметить отсутствие в них оценочных моментов типа «ошибся», «неправильно понял», «недооценил». Профессор Попов не ставил оценок и не подвергал суду труды предшественников. Он писал: «Уголовная точка зрения неприложима к истории. Понимать и в то же время обвинять гораздо нелепее, чем не понимать и казнить».⁵⁰ Попов задумался о принципах построения научной биографии и сформулировал их так: «Если для историка главной задачей должно быть объяснение государственного развития России, то для биографа столь же важно указать на характер того влияния, которое оказывало это развитие на действовавшие лица».⁵¹ Итак, биография ученого, политика или деятеля культуры рассматривается только в контексте времени. Попов сформулировал еще один принцип, положенный в основу его биографических очерков. Ему оказалась близка позиция Т. Н. Грановского: «Тот не историк, кто не способен перенести в прошедшее живого чувства любви к ближнему».

Попов испытывал глубокое уважение к тем, о ком писал, и искреннее восхищение ими. Это обстоятельство особенно заметно по его отношению к Татищеву, в чьем творчестве и деятельности Попов почувствовал духовное родство, увидел те направления мысли русского историка, каких не было у профессоров Московского университета даже в начале XIX в. Одно из них, как мне кажется, — осознание Татищевым необходимости синтеза исторических и географических знаний. Казалось бы, С. М. Соловьев и В. О. Ключевский тоже заботились о выяснении географического фактора в истории России, но для них огромные пространства Русской равнины остались лишь фоном для происходящих исторических событий. Татищев предполагал иное, что и подметил Попов. Он писал, что Татищев не только досконально знал все географические карты и «Российский атлас», изданный Академией наук, но и сам составил подробную программу по описательной географии и этнографии, содержащую 198 вопросов.

В юбилейной речи Попов назвал 21-ю главу «Предъизвещения к Истории» Татищева «Причины разности знаний народных» «одной из лучших в научном отношении». Татищев, по мнению биографа, «при объяснении вопроса о происхождении народных названий сразу стал на верную почву — на сравнение этих названий при помощи корней, принадлежащих различным языкам народным».⁵² Он заметил, что именно Татищев впервые рекомендовал привести в порядок все местные архивы и описать их «для получения сведений о древних и новых названиях земель и урочищ и о времени перехода их под русское владычество». Позднее Попов развивал эту мысль Татищева в ряде своих статей.⁵³

В тексте речи с одинаковой тщательностью анализировались и исторические, и географические труды Татищева и подчеркивалось, что «географический обзор Татищев считал полезным пособием при обработке русской истории». С такой позицией Попов был полностью согласен и настойчиво объяснял ее студентам в своих лекционных курсах по русской истории и коллегам на заседаниях факультетского совета. Современная историческая наука немыслима без анализа фактов, добытых географами, но для русской науки середины XIX в. это было новостью. В Московском университете велись

споры, к какому факультету отнести кафедру географии, и многие сомневались, нужна ли она на историко-филологическом отделении. Попов как декан факультета в этом не сомневался. Упорная борьба декана за включение в программу обучения географических знаний по достоинству была оценена Д. Н. Анучиным — учеником Попова, а затем его коллегой по университету, величайшим русским географом и этнографом.⁵⁴

К разряду работ по историографии следует отнести статьи Попова по истории научных обществ в России. Впервые к этому сюжету историк обратился, находясь еще в Казани.⁵⁵ В 1884 г. он опубликовал исторический очерк о деятельности Общества истории и древностей российских при Московском университете (ОИДР), в члены которого был избран 27 октября 1875 г.

Благодаря архивным разысканиям Попова открылись новые факты в истории Общества. Так, вопреки точке зрения О. М. Бодянского, было доказано, что первым председателем ОИДР был ректор университета профессор Х. А. Чеботарев, а не Н. Е. Черепанов. Именно на Чеботареве лежала обязанность по изданию русских летописей, но за шесть лет работы он напечатал только 80 страниц. Попов показал, что коллективное участие членов общества в предпринятом издании скоро сделалось фиктивным, заседаний не бывало иногда по целому году. Общество не выполнило возложенные на него задачи, в 1810 г. оно было официально закрыто. Закулисную историю этих событий и представил Попов. Он опубликовал также несколько документов, показывающих нелицеприятную роль в ней своих земляков, и тут же получил из Твери от директора музея А. К. Жизневского письмо: «Приношу Вам мою сердечную благодарность... за большое удовольствие, доставленное мне чтением этой крайне занимательной и художественно написанной книги. Жаль только, что наши тверичи, П. И. Голенищев-Кутузов и О. А. Поздеев, представлены в крайне непривлекательном виде».⁵⁶ Причины закрытия ОИДР в 1810 г. очень занимали Попова, потому что деятельность Общества в 1870-е гг. была слабой, и оно могло прекратить свое существование.⁵⁷ Попов, анализируя прежние ошибки, искал выход из кризиса и видел его, в частности, в принятии нового устава. Известно, что он входил в состав комиссии по пересмотру устаревшего устава.⁵⁸ Таким образом, занятия историей науки представляли для профессора и практическую значимость.

Научная ценность труда Попова состояла в публикации вновь найденных в столице архивных материалов по истории Общества первых лет его существования, ведь в Москве все документы сгорели при пожаре 1812 г.⁵⁹ История ОИДР в изложении Попова интересна и как очерк состояния образования в России в начале правления Александра I. В планах ученого значилось и написание истории Общества после 1812 г.⁶⁰ Но работа над историей ОИДР оказалась незавершенной, судьба текстов неизвестна, в фонде профессора их нет.

Занимался Попов и историей родного Московского университета. Имея возможность читать документы в университетском архиве, он в отличие от других профессоров ею воспользовался. Попов написал более 10 работ, имевших документальную основу и представлявших собой аннотированные публикации текстов источников. Значительный материал был собран в архиве к биографии Н. И. Надеждина.⁶¹

Термин «историография» использовался Поповым и как синоним исторической литературы, и как знание источников и пособий по проблеме, что соответствовало уровню развития науки того времени. В. С. Иконников, автор «Опыта русской историографии», писал: «Критическое изучение источников и литературы в их постоянном развитии

составляет предмет историографии». Но Попов раздвигал рамки предмета истории исторической науки, изучая историю научных обществ, учреждений, периодических изданий, как российских, так и зарубежных.

Разработка и чтение университетских курсов по отечественной истории, включающих историографические разделы, позволяли Н. А. Попову постоянно быть в курсе широких проблем исторического знания, использовать лучший отечественный историографический опыт в раскрытии сложных вопросов зарубежного славяноведения. Монография о В. Н. Татищеве, став первым в России опытом исследования по истории исторической науки, одновременно положила начало освоению Поповым непростого жанра научной биографии, давшему впоследствии результаты, получившие признание. Значительным вкладом Попова в развитие истории науки следует считать выявление и накопление историографических источников и их публикацию. Не менее существенна в теоретическом отношении и отработка им на отечественных материалах методики историографического исследования.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Вандалковская М. Г. О традициях дореволюционной науки // Россия в XX веке: Судьбы исторической науки. М., 1996. С. 96–109.

² См.: Мягков Г. П. Научное сообщество в исторической науке: Опыт «русской исторической школы». Казань, 2000.

³ Шаханов А. Н. Русская историческая наука второй половины XIX—начала XX века: Московский и Петербургский университеты. М., 2003.

⁴ Иллерицкая Н. В. Историко-юридическое направление в русской историографии второй половины XIX века. М., 1998.

⁵ См., например: Китаев В. А. Государственная школа в русской историографии: Время переоценки? // Вопросы истории. 1995. № 3; Шаханов А. Н. Русская историческая наука...

⁶ О научной биографии Н. А. Попова см.: Лаптева Л. П. Славяноведение в Московском университете в XIX—начале XX века. М., 1997; Воробьёва И. Г. Профессор-славист Нил Александрович Попов. Тверь, 1999.

⁷ См.: Слиејнчевић Ђ. Историја српске православне цркве. Београд, 1991; Поповић Н. Б. Србија и Царска Русија. Београд, 1994.

⁸ Подробно см.: Воробьёва И. Г. Н. А. Попов как профессор и организатор науки // Российские университеты в XVIII–XX веках. Воронеж, 1998. Вып. 3. С. 115–134.

⁹ Сторожев В. Н. Памяти отца наместника Леонида, А. А. Гатцука, Н. А. Попова и А. А. Котляревского. М., 1893. С. 375.

¹⁰ См. подробно: Воробьёва И. Г. История российского славяноведения в трудах Н. А. Попова // Вопросы истории славян. Воронеж, 2001. Вып. 15. С. 134–155.

¹¹ Колесник И. И. Конспект лекций С. М. Соловьева по русской историографии // Археологический ежегодник за 1988 год. М., 1989. С. 201–209.

¹² Киреева Р. А. Изучение отечественной историографии в дореволюционной России с середины XIX в. до 1917 г. М., 1983. С. 100–104.

¹³ Цамутали А. Н. Я родился историком: С. М. Соловьев // Историки России. XVIII — начало XX века. М., 1996. С. 226–227.

¹⁴ Шимко И., Голомбиевский А. Памяти Нила Александровича Попова. М., 1892. С. 7.

¹⁵ Московские ведомости. 1854. № 39, 46, 54.

¹⁶ Там же. 1855. № 23.

¹⁷ Там же. 1856. № 119, 137.

¹⁸ Современная летопись. 1856. № 8, 12; Московские ведомости. 1857. № 70, 73, 75.

¹⁹ Московские ведомости. 1856. № 38, 39; 1855. № 47, 60, 62, 147.

²⁰ Там же. 1855. № 39, 40; 1857. № 147.

²¹ Там же. 1857. № 24.

- ²² Атеней. 1858. № 46. С. 131–168.
- ²³ Чельшевский Н. Литературные заметки: «Русская беседа». 1856. 3 кн. // Московские ведомости. 1856. № 153. 22 дек. Эта статья была написана В. Коршем вместе с Любимовым и Поповым в декабре 1856 г. Ее подписали: «Н. Чельшевский», «вследствии того, что Нил Попов жил тогда в нумерах Чельшева, на Театральной площади», — сообщал Б. Н. Чичерин (см.: Русское общество 40–50-х гг. XIX в.: Воспоминания Б. Н. Чичерина. М., 1991. С. 181).
- ²⁴ Корсаков Д. А. Рец. на кн.: Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. СПб., 1884 // Исторический вестник. 1885. № 3. С. 685–707.
- ²⁵ Текст лекции был опубликован в «Московских ведомостях», подробнее см.: Воробьева И. Г. Постановка профессором Н. А. Поповым курса истории славян в Московском университете // Вопросы истории славян. Воронеж, 1998. Вып. 13. С. 7–76.
- ²⁶ Московские ведомости. 1860. № 225.
- ²⁷ См.: Забелин И. Е. Современные взгляды и направления в русской истории // История и историки. М., 1995. С. 41–442.
- ²⁸ Кулаковский П. А. Три утраты русской науки в прошлом 1891 году. Н. А. Попов // Варшавский дневник. 1892. № 24–26.
- ²⁹ Шимко И., Голомбиевский А. Памяти Нила Александровича Попова. С. 44.
- ³⁰ К сожалению, остался непрочтенным текст лекций Н. А. Попова, находящийся в фонде П. Н. Милюкова, на который указал мне П. А. Трибунский.
- ³¹ Каменский А. Б., Шохин Л. И. Об участии Н. А. Попова в подготовке издания сочинений В. Н. Татищева // Археографический ежегодник за 1986 год. М., 1987. С. 185. Приоритет Попова в изучении рукописей «Истории Российской» Татищева признавал С. Н. Валк. См.: Татищев В. Н. Собр. соч. М., 1994. Т. 1. С. 56–57.
- ³² Попов Н. А. Татищев и его время. Эпизод из истории государственной, общественной и частной жизни в России первой половины прошедшего столетия. М., 1861. С. 1.
- ³³ Соловьев С. М. Писатели русской истории // Архив историко-юридических сведений о России. М., 1855. Кн. 2. С. 199.
- ³⁴ См.: Соловьев С. М. Избранные труды. Записки. М., 1983. С. 392.
- ³⁵ Герье В. И. Очерк развития исторической науки. М., 1865. С. 6.
- ³⁶ Соловьев С. М. Писатели русской истории. С. 217.
- ³⁷ Сегодня вековой спор о субъективной «добросовестности» историка Татищева, видимо, уже завершен, историки заняты текстологическим анализом его сочинений, что обнаруживает академическое издание сочинений русского историка.
- ³⁸ См.: Русский вестник. 1856. Т. 1. С. 94–98.
- ³⁹ См.: ЧОИДР. 1892. Кн. 2. С. 3–5.
- ⁴⁰ Вышегородцев В. И. Иоакимовская летопись как историко-культурное явление: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1986. Работы Н. А. Попова оказались неизвестны автору диссертации.
- ⁴¹ В этом отношении интересна переписка Попова с его учеником, в дальнейшем профессором русской истории в Казани Д. А. Корсаковым. См.: НИОР РГБ. Ф. 239. П. 11. Д. 5.
- ⁴² Татищев В. Н. Разговор о пользе наук и училищ. С предисловием и указателями Нила Попова // ЧОИДР. 1887. Кн. 1. С. 1–171. Современный историк, изучая историю публикации «Разговора» Татищева, сожалел, что «столь богатый идеями памятник остался недоступным большинству мыслителей 18 века» (См.: Кузьмин А. Татищев. М., 1981. С. 210). Хотя Попову остались неизвестными некоторые списки, его издание высоко оценивается отечественными историками (См.: Татищев В. Н. Собр. соч. М., 1994. Т. 1. С. 13).
- ⁴³ НИОР РГБ. Ф. 239. П. 19. Д. 37. Л. 1.
- ⁴⁴ Подготовительные материалы объемом в 700 листов, собранные Н. А. Поповым, ныне хранятся в РГАДА, в фонде «Канцелярия МАМЮ». Сохранился и черновик юбилейной речи Н. А. Попова.
- ⁴⁵ ОР РНБ. Ф. 120. Д. 1139.
- ⁴⁶ Там же. Ф. 124. Д. 3451. Л. 18.
- ⁴⁷ Там же. Л. 19 об.
- ⁴⁸ Попов Н. А. Ученые и литературные труды В. Н. Татищева: Речь, произнесенная в торжественном собрании Императорской Академии наук 19 апреля 1886 года. СПб., 1886. Отд. оттиск из Журнала Мин-ва нар. просвещения. (Далее — ЖМНП). 1886. Июнь. С. 37.

⁴⁹ *Переверзenceв С. В.* Мировоззрение В. Н. Татищева в оценке советских историков // Идеология и культура феодальной России. Горький, 1988. С. 63.

⁵⁰ Атеней. 1858. № 46. С. 149.

⁵¹ Там же. С. 165.

⁵² *Попов Н. А.* Ученые и литературные труды В. Н. Татищева. С. 40.

⁵³ См. подробнее: *Воробьева И. Г.* Некоторые источники обоснования идеи славянского единства в русской историографии // Славянский вопрос: Вехи истории. М., 1997. С. 70–77.

⁵⁴ См.: НИОР РГБ. Ф. 239. П. 4. Д. 19. Л. 15.

⁵⁵ *Попов Н. А.* Общество любителей отечественной словесности и периодическая литература в Казани с 1805 по 1834 год // Русский вестник. 1859. Т. 17. С. 52–98.

⁵⁶ НИОР РГБ. Ф. 239. П. 9. Д. 1. Л. 9.

⁵⁷ См.: *Воробьева И. Г.* К предыстории первого издания тверской рукописи Юрия Крижанича // Переписка славистов как исторический источник. Тверь, 1995. С. 83–94.

⁵⁸ В письме к В. О. Ключевскому от 25 января 1889 г. Попов настаивал, «чтобы к чтению проекта приступили безотлагательно» (См.: НИОР РГБ. Ф. 131. П. 33. Д. 41. Л. 1).

⁵⁹ *Демидов И. А., Ишутин В. В.* Общество истории и древностей российских при Московском университете // История и историки. 1975. М., 1978. С. 250–280.

⁶⁰ См.: ОР РНБ. Ф. 120. Д. 1139. Л. 28 об.

⁶¹ *Попов Н. А.* Н. И. Надеждин на службе в Московском университете в 183–1835 гг. // ЖМНП. 1880. № 1. С. 1–43.

С. В. Сафронова

«РУССКАЯ СТАРИНА» И ЦЕНзуРА (Эпизод с Н. Ф. Дубровиным и И. А. Бычковым)

В Санкт-Петербургском филиале Архива Российской Академии наук в фонде Афанасия Федоровича Бычкова мною было обнаружено письмо Николая Федоровича Дубровина, адресованное историку Ивану Афанасьевичу Бычкову: «Многоуважаемый Иван Афанасьевич. Книжку Русской Старины задержали и Вашу статью не пропускают. — Поеду сейчас объясняться. — Не найдете ли возможным зайти ко мне сегодня часов [в] 8 вечера и тогда переговорим. Искренно преданный. [Подпись]. 29 января [1]903 [г.]».¹

Являясь редактором журнала «Русская старина» (1896–1904), Н. Ф. Дубровин тесно сотрудничал с Бычковыми: отцом (Афанасием Федоровичем) и сыном (Иваном Афанасьевичем). Об этом свидетельствуют его письма к Бычковым, которые в основном связаны с научными изданиями в «Русской старине».

В обнаруженном мною письме речь идет о статье И. А. Бычкова «Александр I и его приближенные до эпохи Сперанского. Неизданная глава из „Жизни графа Сперанского“ барона М. А. Корфа. (Из бумаг академика А. Ф. Бычкова)», первая корректура которой впоследствии осталась в фонде А. Ф. Бычкова.² На корректуре надпись синим карандашом: «Статья в том виде, как она не пропущена цензурою». На некоторых страницах корректуры таким же карандашом подчеркнуты слова и целые предложения. Сравнение текста этой корректуры с публикацией в февральском номере журнала «Русская старина» (1903. № 2. С. 211–234) свидетельствует, что в окончательном варианте статья издана без тех мест, которые были подчеркнуты цензором.

Надо сказать, что это — не единственная публикация в журнале «Русская старина», так или иначе связанная с именами М. А. Корфа и М. М. Сперанского. В разные годы

(1899, 1900, 1902, 1903, 1904) И. А. Бычковым и Н. Ф. Дубровиным были опубликованы документы и материалы, касающиеся этих двух государственных деятелей.³

В работе И. В. Ружицкой, посвященной деятельности М. А. Корфа, об упомянутой выше главе сказано следующее: «Правда, существует такая статья Корфа „Александр I и его приближенные до эпохи Сперанского”. Но после названия указано: „Неизданная глава из «Жизни графа Сперанского»»; кроме того, *слишком уж небольшой у нее объем* (курсив мой. — С. С.) — РС. 1903. № 2. С. 224–234».⁴ Однако И. В. Ружицкая не обратила внимания на то, что статья является второй частью (т. е. продолжением) главы, первая часть которой была опубликована в № 1 журнала «Русская старина» за тот же год. Объем статьи в целом составляет 41 журнальную страницу и соответствует главе книги.⁵

Но именно вторая часть этой главы вызвала нарекания цензуры. Обращает на себя внимание тот факт, что места, которые вызвали замечания цензора, относятся в основном не к суждениям самого автора, а к использованным им источникам (документам). Причем эти документы и исторические труды, на которые ссылается М. А. Корф, к 1904 г. уже были известны и не являлись чем-то запретным.

Мы не ставили перед собой задачи исследовать все опубликованные в «Русской старине» материалы к труду М. А. Корфа. Интерес вызван самим случаем, связанным с деятельностью Н. Ф. Дубровина (как редактора) и И. А. Бычкова (как публикатора). И хотя сомнения И. А. Бычкова в отношении самого текста имели место,⁶ а Н. Ф. Дубровин, безусловно, был ознакомлен с публикуемым материалом,⁷ надо отдать должное этим историкам, которые все-таки *попытались* издать статью так, как она была написана автором.

Нельзя не согласиться с мнением И. В. Ружицкой, что «даже в самом начале 1860-х гг. <...> Корф не мог придать гласности все факты, собранные им: из своей рукописи Корф изъясил несколько глав, в том числе об удалении Сперанского и „виновниках” этого удаления», понимая, «что „выговори [он] все [ему] известное, то книга совсем и не могла бы явиться в свете”». Тогда, «в 1861-м году <...> книга подверглась жесткой цензуре (некоторые ее главы просматривал сам император)».⁸ И спустя 43 года после выхода в свет «Жизни графа Сперанского» взгляд автора на отношение цензуры к его труду получил свое подтверждение.

Ниже публикуются отрывки из второй части главы «Александр I и его приближенные до эпохи Сперанского» (по тексту 1-й корректуры, подготовленной И. А. Бычковым). Места, удаленные по требованию цензуры, выделены курсивом; пропущенные или исправленные И. А. Бычковым — отмечены в примечаниях под буквами. Публикация подготовлена в соответствии с правилами издания 1994 г., стилистика языка автора сохранена.

Александр I и его приближенные до эпохи Сперанского
Неизданная глава из «Жизни графа Сперанского» барона М. А. Корфа
(Из бумаг академика А. Ф. Бычкова)

Первым по времени сотрудником и наперсником Александра в этих мерах, как после Палена, так еще и при нем, был Дмитрий Прокофьевич Трошинский. Самого низкого происхождения (родился в 1754-м году), не зная ни одного иностранного языка,

учившись и русской грамоте, как он нисколько ^атого не скрывал^а, только у приходского дьячка,¹ Трощинский начал службу с нижних чинов в бывшей Малороссийской коллегии; но хорошею головою, прилежанием, большою деятельностью и самообразованием себя посредством чтения всего, что только в то время можно было читать по-русски, вскоре проложил себе путь к возвышению. Приобретя покровительство Репнина и потом Безбородки, он в 1793-м году, уже был секретарем при императрице Екатерине.

«Все доклады сенатские по тяжбыным и уголовным делам, — говорит Грибовский,² — коих разрешение от государыни зависело, он (т. е. Трощинский) рассматривал и по оным указы заготовлял, которые Безбородко только к подписанию ее подносил. Во время поездки сего последнего в Яссы на мирный конгресс все бывшие у него дела препоручены были Трощинскому для поднесения чрез П. А. Зубова; при мирном же торжестве получил он ^бв бывшей Польше 1700 душ, а притом велено ему находиться^б при императрице у принятия прошений... Он был (в 1792-м году) около пятидесяти лет, но казался сего старее; роста средственного, имел вид несколько угрюмый. Другьям был друг, а врагам был враг. Он никогда не изменял прежнему своему начальнику и имел вместе с ним в комнатах государыни сильную партию, состоявшую из Марьи Савишны (Перекусихиной), ее племянницы Торсуковой, Марьи Степановны Алексеевой, камердинера Зотова и некоторых других, которых дни рождений и именин граф (т. е. Безбородко) твердо помнил и никогда без хороших подарков в сии дни их не оставлял».

В царствование Павла Трощинский состоял президентом Главного почтового правления и, по вступлении на престол Александра, был назначен главным директором почт, сенатором и — что было всего важнее — докладчиком и главным редактором при лице государя. Участвовал ли он, и в какой степени, в заговоре 12-го марта, еще не разъяснено ^вв тех рапсодических и тусклых рассказах об этом мрачном событии, которые, покамест, одни заменяют у нас историю.^в Известно, однако ж, что в роковую ночь Трощинский, вопреки общему тогдашнему обычаю,³ именно велел не запираť ворот своего дома,⁴ и когда, *после совершившегося злодеяния*, в ту же самую ночь за ним прискакал фельдъегерь, он поехал во дворец *с манифестом о восшествии на престол, в перед уже у него заготовленным*. Александр в первые месяцы своего царствования употреблял его перо по всем почти частям управления. По его же мысли был упразднен (26-го марта) Совет, существовавший дотолѣ при дворе в виде временного установления, и учрежден, вместо того, Совет неперменный, для рассмотрения — как сказано было в указе (30-го марта) — «важных государственных дел». Быв назначен членом этого Совета, Трощинский имел,

^{а-а} В ркп.: в том не скрывался (л. 134 об.).

¹ «Вы смеетесь, — писал он Л. И. Голенищеву-Кутузову 7-го марта 1821 г., — приписывая мне способность ездить рысью на семь крылатом коне (Пегасе), а я и подходить к нему не смею; да и какое я право мог бы на него иметь, когда и русской грамоте (признаюсь, не стыдѣсь) учился только у приходского дьячка».

² Записки А. М. Грибовского в «Русском Архиве» 1899 года. Кн. 1. С. 14.

³ Передано Павлом Ивановичем Авериным, находившимся тогда при Трощинском.

^{б-б} В корректуре пропущено.

^{в-в} Пропущено.

⁴ Он жил близ Синего моста, в доме, где потом помещалось правление российско-американской компании.

вместе, и главное заведование его канцелярией, правителем которой определили тайного советника Вейдемейера. Но милость к Трошинскому была очень кратковременна. В публике стала носиться молва о лихоимственных поступках,⁵ не столько его самого, сколько жившей у него женщины Прасковьи,⁶ и он, вероятно вследствие этих наговоров, хотя и не был прямо удален, но лишился доверия и влияния. При учреждении в 1802-м году министерств,⁷ Трошинский не только уже не участвовал нисколько в этой мере, но и был поражен ею как совершенною нечаянностью.⁸ План сказанного установления⁹ был предложен государю несколькими молодыми людьми, занявшими в деятельности государственной и в доверии императора место павшего Трошинского.

<...> Люди, из которых могли бы выйти порядочные ученики, сами вдруг были призваны учить и руководствовать; управление было для них школою; но в этой школе шла речь не об отвлеченной науке, а о жизни, о бытии, о счастии огромной империи.

Прочими министрами были: малоспособный к делу поэт Державин (юстиции); умный и более других сведущий и опытный Васильев (финансов); бездарные Вязмитинов (военный) и Румянцов (коммерции и путей сообщения); Мордвинов (морской), которого популярность возникла уже позже; наконец Завадовский (народного просвещения), умная украинская голова, некогда столь же славившийся красотою, как и умом.

Ни один из них не находился ни в каких ближайших соотношениях с вышеприведенными союзниками. Еще менее питали к ним расположения: Трошинский, который, после потери милости, оставался только при управлении уделами и почтами; Гурьев, в то время еще праздный, но сильный светскими своими связями товарищ министра финансов; граф Христофор Андреевич Ливен, заведовавший докладами по военной части, и синодальный обер-прокурор князь Александр Николаевич Голицын, также один из друзей детства Александра, оставшийся домашним поверенным его и на престоле, — человек, который умел занимать и рассеивать своего государя, как никто другой. Наконец, в явной оппозиции против триумвирата стоял обер-гофмаршал граф Николай Александрович Толстой, который, всегда находясь при государе и видясь с ним ежедневно, так сказать, ежеминутно, был в тесной дружбе с Голицыным и Гурьевым. Человек без всяких высших видов, даже довольно ограниченный, Толстой с самого начала, а впоследствии еще более, умел достигнуть величайшей милости средствами, противоположными обыкновенным: вместо коленопреклонения и раболепства, он был дерзок и груб со всеми, *с своим повелителем более еще, нежели с другими, доходя даже нередко до прямых ругательств*.¹⁰ г-В своем месте мы будем иметь случай подробнее о нем говорить.^г

Но, как же шел и двигался государственный механизм с этими разнородными, частною и враждебными, элементами?

⁵ Передано графом Н. Н. Новосильцовым.

⁶ От этой связи он имел дочь, бывшую впоследствии за князем Хилковым.

⁷ Слышано от Петра Сергеевича Кайсарова.

⁸ Некоторые об этом подробности в «Жизни графа Сперанского». Т. I. С. 95.

⁹ Слышано от Якова Александровича Дружинина.

¹⁰ Слышано от графа А. А. Закревского. — Memoires du comte Stedingk. Т. II. P. 257.

г-г Пропущено.

Ответим на это сперва словами двух современников: Шишкова и Дмитриева.

«Участовавшие и не участвовавшие в сей перемене (т. е. ^дв событии 12-го марта^д), — писал первый, — сблизилась с двором и заступили важные должности. Все ожидали восстановления прежнего в правительстве духа и устройства. Может быть, не взирая на трехлетнюю, при неопытной молодости, привычку к новизнам, и сбылось бы сие ожидание, если б окружающие юного царя пожилые люди и старики составили единодушную окрест его стражу, не отлучаясь от него, а особливо при самом начале, ни на одну минуту; если б, сравнивая два последние царствования, твердили ему, как первое из них долговременно процветало и величием, и славою, и благоденствием, и как, напротив, второе, оставившее с ненавистию пути великой Екатерины и устремившееся с любовью по путям предшествовавшего ей царствования Петра Третьего, продолжалось столь же кратковременно, еще более мятежно, и кончилось, равно как и то, таким же преступлением, ужасным, но до такой степени для всех возжеланным, что виновники оного не могли быть ни осуждаемы, ни обвиняемы; если б, говорю, истребляя мало-помалу все нововведенные худости, прежде нежели они возрастут и усилятся, и приведя все гражданское и нравственное в прежний порядок и устройство, приучили они государя, еще не искусного и младого, обращать внимание свое на важные государственные дела и занятия, а не на те, которых существенная часть состоит в одной только наружности и увеселении зрения: тогда бы, вероятно, принесли они великую пользу ему и царству. Но вместо сего, обаянные радостью перемены и безопасностью своею, пустились они в многоядные пиршества, на которых, за пышными столами, с шумом и криком распивали шампанские и венгерские вина, били рюмки и стаканы, читали стихи, прославляли, при всех служителях, гласно и громко, низвержение тиранства и восстановление спокойствия. Шумные празднества сии устрешили двор и дали время оставленному царю сблизиться с подобными себе молодыми людьми, заступившими место веселящихся и празднующих. Чарторыжский, Строганов, Новосильцов, Чичагов и другие сделались его наперсниками.

<...> В быстром нашем очерке мы уже видели, сколько произошло перемен и внутри и вне Александра со времени его воцарения; но мы видели также, сколько они были — не в его пользу. Колеблемость и безуспешность внутренних мер и преобразований; неудачные выборы и замещения; несчастные войны; еще более несчастный Тильзитский мир; наконец, слабая, прекословившая общему мнению и общим пользам политика внешняя, — все это более и более возбуждало умы против правительства и, разумеется, преимущественно против его главы. Связывая эту эпоху с несколько позднейшею, Карамзин, в отважном чистосердечии, писал самому государю:¹¹ «Россия наполнена недовольными. Жалуются в палатах и хижинах. Не имеют ни доверенности, ни усердия к правлению; строго осуждают его цели и меры... Не будем обманывать себя и государя, твердя, что люди обыкновенно любят жаловаться и всегда недовольны настоящим: сии жалобы разительны их согласием и действием на расположение умов в целом государстве». Шведский посланник Стединг, который перед своим монархом, мог быть, в этом

^{д-д} В ркп.: в низвержении Павла (л. 160).

¹¹ В записке «О древней и новой России». См.: Пытин А. Н. Общественное движение в России при Александре I. 3-е изд. СПб., 1900. С. 499.

отношении, еще откровеннее, доносил ему, в письме от 28-го сентября 1807 года: «Неудовольствие против императора все возрастает, и на этот счет говорят такие вещи, что страшно слушать. *Не только в частных обществах, но и в публичных собраниях, нима-ло не таясь, толкуют о необходимости перемены правления, даже в таком смысле, что следовало бы изгнать всю мужескую линию царствующего дома, а как и обе императрицы не имеют нужных для престола качеств, то возвести на него великую княгиню Екатерину Павловну*».

И Вигель в своих Записках долго останавливается на перемене в расположении умов, произведенной Тильзитским миром, хотя и извиняя Александра и более порицая его народ. «На Петербург, — писал он, — даже на Москву и на все те места в России, коих просвещение более коснулось, мир сей произвел самое грустное впечатление: там знали, что союз с Наполеоном не что иное может быть как порабощение ему, как признание его над собою власти. *И вот эпоха, в которую нежнейшая любовь, какую только могут иметь подданные к своему государю, превратилась вдруг в нечто хуже вражды, в чувство какого-то омерзения. Я не хвалюсь великою мудростью; но в этом я увидел жестокую несправедливость русских; мне за них стало стыдно: так презираемые ими черемисы и чувашаи секут своих богов, когда они не исполняют их желаний*.

Все, что человек, не рожденный полководцем, может сделать, все то сделал император Александр: что оставалось ему, когда он увидел бесчисленную рать неприятельскую, разбитое свое войско, подкрепленное одною только свежюю, новосформированною дивизиею князя Лобанова, и всем ужасного Наполеона, стоящего уже на границе его государства? Что сказали бы русские, если б за нее впустил он его? И в этом тяжком для его сердца примирении разве не сохранил он своего достоинства? Разве не умел он, победенный, стать совершенно наравне с победителем и тут явиться еще покровителем короля Прусского? Таким ли бедствиям, таким ли унижениям подвергал себя император Франц II? Что делали его подданные? Делили с ним горе и, с каждым новым несчастьем, крепче теснились к нему и сыновнее его любили».¹²

Будем, однако же, справедливы. Если *в то время* разрушилось очарование; если порвалась цепь взаимного доверия, связывавшая народ с царем; если Россия изменила любви своей к Александру, — то все вины были потом искуплены кровию в годину 1812 года, а Александр в дни своей славы вспомнил только прежнее, *и, когда вместе с счастьем, возвратилось к нему обожание подданных, он не нашел в своем сердце ничего более, как холодное равнодушие, скажем более — презрение к своему народу!*

В описываемое нами теперь время, при таком брожении умов, при разрыве между народом и царем и потерянной доверенности к правительству, при таких трудных и опасных обстоятельствах в жизни государства, и выступил на высшее поприще — Сперанский...

Сообщил И. А. Бычков

¹² Записки Ф. Ф. Вигеля. М., 1892. Ч. II. С. 232–233.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Санкт-Петербургский филиал Архива РАН (далее — СПбФ Архива РАН). Ф. 764. Оп. 5. Д. 15. Л. 17.

² Там же. Ф. 764. Оп. 4. Д. 10. 16 л. В фонде А. Ф. Бычкова хранится и один экземпляр материалов к книге М. А. Корфа (Ч. I — Д. 28; Ч. II — Д. 28а: *Корф М. А. Жизнь графа Сперанского: Материалы к труду*). Интересующая нас статья опубликована из II части материалов (Глава I: О развитии служебной карьеры графа Сперанского. Л. 131–202).

³ **1899:** Из записок барона (впоследствии графа) М. А. Корфа. Сообщ. И. А. Бычков — № 5. С. 71–395; № 6. С. 511–542; № 7. С. 3–30; № 8. С. 271–295; № 9. С. 481–515; № 10. С. 25–58; № 11. С. 267–299; № 12. С. 481–521. **1900:** № 1. С. 25–56; № 2. С. 317–354; № 3. С. 545–588; № 4. С. 27–50; № 5. С. 261–292; № 6. С. 505–527; № 7. С. 33–55; Записка М. М. Сперанского о вероятностях войны в Францию после Тильзитского мира. Общее обозрение дела. Сообщ. Н. Ф. Дубровин — № 1. С. 57–65. **1902:** Несколько данных к истории книги барона М. А. Корфа «Жизнь графа Сперанского» (Из бумаг акад. А. Ф. Бычкова). № 1. С. 141–174; К биографии графа М. М. Сперанского. Материалы. Заметки барона М. А. Корфа. № 2. С. 283–306; Деятели и участники в падении Сперанского. № 3. С. 469–508; Ссылка Сперанского в 1812 году. № 4. С. 5–44; Пребывание Сперанского в Нижнем Новгороде и Перми. № 5. С. 231–249; Сперанский в Великополье и Пензе. № 6. С. 467–468; № 7. С. 45–59; М. М. Сперанский генерал-губернатором в Сибири и возвращение его в Петербург. № 10. С. 35–56; Письма графа В. П. Кочубея к М. М. Сперанскому. 1823–1825. № 11. С. 301–322. **1903:** Александр I и его приближен-

ные до эпохи Сперанского. № 1. С. 5–36; № 2. С. 211–34; Сперанский в 1808–1811 г. № 4. С. 29–40; Четыре письма М. М. Сперанского [А. Д. Балашову: 16 февр. 1810; Александру I: 1 янв. 1817, 28 февр. 1817; кн. А. Н. Голицыну: 20 февр. 1817]. № 6. С. 85–88; Дополнительные заметки и материалы к «Жизни графа Сперанского». № 9. С. 497–518. **1904:** Из дневника барона М. А. Корфа. № 1. С. 59–98; № 2. С. 275–302; № 6. С. 35–568.

⁴ *Ружицкая И. В.* М. А. Корф — историк: По материалам его архива. М., 1996. С. 23, примеч. 63.

⁵ Ее название в рукописи «Великий князь Александр Павлович. Император Александр I и его приближенные до эпохи Сперанского». На полях рукой автора написано: «Эта глава должна бы быть 1-ю во Второй части нашей книги, а за нею могла бы следовать нынешняя Первая, но с разными изменениями и, частью, пропусками, так как некоторые из ее предметов изложены — и гораздо подробнее — в настоящей» (СПбФ Архива РАН. Ф. 764. Оп. 4. Д. 10. Л. 76–202).

⁶ Об этом можно судить по пометам карандашом на полях рукописи, некоторые из них в дальнейшем совпали с пометами цензора на корректуре.

⁷ О том, что Н. Ф. Дубровин был знаком с текстом публикации, можно понять из письма И. А. Бычкову от 20 января 1903 г.: «Многоуважаемый Иван Афанасьевич. Буду ждать Вас в среду между 8 и 9-ю часами вечера. Если Вас не затруднит, то захватите с собою то, что Вы мне показывали о Сперанском» (СПбФ Архива РАН. Ф. 764. Оп. 5. Д. 15. Л. 16).

⁸ *Ружицкая И. В.* М. А. Корф — историк. С. 24–25.

А. Е. Иванов

РОССИЙСКАЯ АБИТУРА НАЧАЛА XX в.

Каждое лето по завершении последнего учебного года выпускников средней школы Российской империи конца XIX — начала XX в., а точнее тех из них, кто намеревался продолжить образование в школе высшей, охватывала, как и сегодня, абитуриентская лихорадка. Потоки абитуриентов — выпускников классических гимназий, реальных, технических, сельскохозяйственных, коммерческих и даже военных училищ, кадетских корпусов, духовных семинарий со всех концов необъятной страны устремлялись в города — центры высшего образования. Самые полноводные потоки изливались в «старую» и «новую» столицы, где дислоцировалось 35 (54%) государственных высших учебных заведений (65 — в 1917 г.): в Петербурге — 25, Москве — 10, притом самых престижных и крупных. Следом за ними шли Харьков (4), Киев и Казань (по 3). 21 учебное заведение распределялось по одному–два между 15 городами Европейской России и двумя городами азиатской ее части (Томск — 3, Владивосток — 1). В этих же городах нашли прибежище и 59 (по состоянию на 1917 г.) неправительственных высших учебных заведений, предназначенных в первую очередь для обучения женщин, которым государственная высшая школа, в целом мужская, предоставляла только два института — Женский педагогический и Женский медицинский в Петербурге (принимались женщины «вольнотруженицами» и в Высшее художественное училище живописи, скульптуры и архитектуры Академии художеств). Правда, в круг негосударственных школ входили и учебные заведения для лиц обоего пола. При этом выпускников мужских средних учебных заведений привлекали в первую очередь государственные. Юноши обращались к услугам общественных и частных высших учебных заведений либо за неимением в государственной высшей школе интересующей их специальности, например музыкальной и драматической, либо из-за отсутствия иной возможности получить высшее образование.

Соискателей высшего образования государственная школа притягивала к себе и чиновничьими перспективами. Диплом государственного высшего учебного заведения давал право на стартовый чин от XIV до X классов при поступлении на коронную службу, а для молодых людей, принадлежавших к «мещанскому сословию и состоянию сельских обывателей», еще и повышение их сословного статуса до «личного почетного гражданства» с перспективой выбиться в дворяне при удачливой чиновничьей карьере.

Следует заметить, что только 51 из 65 государственных высших учебных заведений было доступно питомцам мужских средних учебных заведений. Вне их досягаемости находились привилегированные «закрытые» дворянские школы — Александровский (бывш. Царскосельский) лицей, Училище правоведения в Петербурге и всесословный, но чрезвычайно дорогостоящий Лицей цесаревича Николая (катковский) в Москве. Курс обучения в них включал обязательную среднешкольную ступень. Не принимались абитуриенты и в высшие военные школы — академии Генерального штаба, Артиллерийскую, инженерную, интендантскую, морскую, Морское училище (бывш. Морской кадетский корпус). Для поступления в Московский педагогический институт им. П. Г. Шеллутина требовался любой диплом о высшем образовании, а в Учебное отделение восточных языков Восточного департамента МИД — непременно высшее востоковедное.

Наиболее популярными среди соискателей высшего образования были университеты в Москве, Петербурге, Киеве, Казани, Харькове, Юрьеве, Московское техническое училище, технологические институты в Петербурге, Харькове, Томске, политехникумы в Петербурге, Киеве, Варшаве, Риге, петербургские Горный и Путей сообщения, Московский сельскохозяйственный институт.

Среди животрепещущих вопросов, терзавших тогда и мучающих сегодня души юных неофитов, устремленных к счастливому будущему, «вечным» был один: «Куда пойти учиться?». В сущности главный на него ответ предопределяла сформированная в 70–80-х гг. XIX столетия трехуровневая имперская система среднего и высшего образования.

Ее «конструкторы» — министр народного просвещения Д. А. Толстой и публицист, редактор проправительственных «Московских ведомостей» М. Н. Катков были одержимы стремлением создать эффективный механизм сословно-охранительного регулирования состава будущих чиновников ради укрепления грозившего пошатнуться господства «первенствующего сословия» в государственных службах империи и еще более эффективного ограждения коридоров власти от выходцев из непривилегированных сословий. Сердцевинная идея воздвигнутой ими образовательной системы заключалась в социальном, по сословному признаку, расслоении средней и высшей школы. И все ради того, чтобы превратить в пустую декларацию провозглашенный самодержавным государством в эпоху либеральных реформ 60–70-х гг. XIX в. буржуазный принцип всесословности всей сферы народного образования, включая «классическое» среднее и университетское — базовое для чиновников-исполнителей среднего звена аппарата имперского управления.

Вот почему выпускникам классических гимназий и равнозначных им по учебным программам учебных заведений предоставлялись особые преференции в выборе типа высшего образования. «Классики» обладали правом поступления во все гражданские высшие учебные заведения, в первую очередь в университеты, на любой их факультет, и в школы университетского типа (юридические, востоковедные, педагогические). Это был верхний уровень толстовско-катковской народно-образовательной системы. И абсолютное большинство обладателей гимназических аттестатов зрелости (стабильно 70–80%)¹ следовало этой профессиональной традиции. Классические гимназии были «передней» университетов. Поэтому-то их администрации предписывалось при ежегодном наборе студентов, а он был конкурсным, отдавать предпочтение отпрыскам дворянско-чиновничьих семей и только с большим разбором детям из непривилегированных сословий, но непременно состоятельных родителей. В таком сословном составе будущих университетов адептам самодержавия виделась порука политической благонамеренности главной его опоры — чиновничьего корпуса.

Не возбранялось «классикам» вместо мягкого вхождения в университеты поступать в инженерные и сельскохозяйственные институты, хотя там их ждал изнурительный экзаменационный конкурс, успешность прохождения через который была более чем проблематичной. Неуклонный их рост в 1913/14 учебном году — 27% абитуриентов в пяти ведущих народнохозяйственных высших учебных заведениях² был знамением времени: капитализм ломал сословно-профессиональные стереотипы, формируемые у гимназистов особым строем учебно-воспитательного процесса, стержнем которого была латинская и древнегреческая филология.

Совершенно иным был правовой статус аттестата выпускников реальных училищ, предназначенных изначально для юных выходцев из непривилегированных сословий. Их ежегодный выпуск в 1905–1913 гг. колебался между 3 и 5 тыс.³ Они имели право становиться студентами только народнохозяйственных институтов. Всех без исключения. Дорога в университеты им была законодательно заказана. Тем из них, кому мечталось стать универсантами, необходимо было запастись свидетельством о сдаче экстерном экзаменов по всему курсу классической гимназии. Желающих подвергнуться такому испытанию оказывалось немного: в 1905–1913 гг. — от 5 до 18%.⁴ Особенно отпугивающими были экзамены по латыни, а для дерзавших поступать на историко-филологический факультет — еще и по древнегреческому. Внедрение «реалистов», в большинстве своем состоявших из представителей сословного «демоса», в университеты, а по окончании оных, возможно, и в сферу имперского управления, в глазах хранителей самодержавия было чревато подрывом монополии правящей дворянско-чиновничьей элиты, а также ростом оппозиционных политических настроений в государственном аппарате. На авансцене общественной жизни они были желательны и менее опасны политически в качестве инженеров, агрономов, торгово-промышленных деятелей. От 56 до 72% питомцев реальных училищ ежегодно включались в жестокую конкурсную борьбу за студенческие вакансии в 16 инженерных и 10 институтах аграрного профиля.⁵

Одинаковыми с «реалистами» абитуриентскими правами обладали выпускники коммерческих, средних военных училищ и кадетских корпусов. А вот владельцы свидетельств об окончании механико- и химико-технических, горных, сельскохозяйственных училищ могли поступать только в институты «соответственной специальности». Но эта группа соискателей студенческих вакансий была незначительна.

И наконец, третий, корпоративный, уровень толстовско-катковской системы народного образования: православные духовные семинарии — духовные академии (Петербургская, Московская, Казанская, Киевская). Далеко не каждый семинарист мог стать студентом-«академиком» — только 3–4 кандидата от семинарии из окончивших с отличием (по 1-му разряду) дополнительные «богословские» классы (V и VI), «назначенные» семинарским правлением по согласованию с академией на казенный счет направлялись к месту конкурсных экзаменов. Став студентами, они поступали на полное государственное обеспечение. Таковых было немного: в 1914 г., например, всего 218 человек из 2,5 тыс. выпускников семинарий.

Семинаристы, не попавшие в число кандидатов, могли самостоятельно, на свой счет поступать в академии, как например будущий патриарх Всея Руси Сергей (И. Н. Старогородский). Эта категория абитуриентов составляла ничтожное меньшинство. Студентами духовных академий могли быть и выпускники светских средних, высших, военных учебных заведений.

Со второй половины 80-х гг. XIX в. семинаристы каждый раз по особому правительственному распоряжению стали допускаться в некоторые университеты: в германизированный Дерптский и полонизированный Варшавский с целью их русификации; в Петербургский, на восточный факультет, и Томский — с целью заполнения пустующих студенческих вакансий. Семинаристы стали учиться и в таких непопулярных среди гимназистов высших учебных заведениях, как Варшавский, Юрьевский, Казанский, Харьковский ветеринарные, Петербургский и Нежинский историко-филологические

институты, Демидовский юридический лицей. С 1903 г. их стали допускать в инженерные институты. Ранее с их помощью был русифицирован Рижский политехникум.

Итак, ежегодное распределение выпускников по высшим учебным заведениям выливалось в процесс социального регулирования студенческого контингента российской высшей школы. Толстовско-катковская доктрина осталась незыблемой до февраля 1917 г., хотя сословная ситуация во всероссийском студенческом контингенте динамично менялась и не в пользу дворянско-чиновничьего сословия. Ее следствием был переизбыток студенческих вакансий для гимназистов в университетах и их недостаток для «реалистов» в народнохозяйственной высшей школе.

И действительно, если столичные и киевский университеты были переполнены местными и приезжими студентами, то бичом провинциальных университетов был их хроническая незаполненность. В 1910 г. в Казанском университете на 1120 вакансий было подано всего 400 прошений.⁶ В 1912 г. в Томском университете популярный среди «классиков» юридический факультет был заполнен всего на 60%. Вовсе пустовали Петербургский и Нежинский историко-филологические институты.⁷

В совершенно иной, неблагоприятной, ситуации оказывались абитуриенты — выпускники реальных средних учебных заведений, не имевшие права на университетское образование. Вот они-то в полной мере познавали, что такое дефицит студенческих мест в предназначенных для них инженерных и агрономических школах. Он нарастал год от года, начиная с 80-х гг. XIX в. В 1897 г. заведующий отделом промышленных училищ Министерства народного просвещения И. А. Анопов констатировал факт постоянной нехватки мест в специальных институтах даже для одних только «реалистов».⁸ А ведь на них вместе с новыми выпускниками реальной средней школы ежегодно претендовали их старшие собратья, не сумевшие стать студентами в прошлые годы, но не оставившие надежды осуществить свою мечту. В круг последних по преимуществу входили питомцы реальных, коммерческих, сельскохозяйственных, промышленных училищ, классических гимназий, поступавшие в народнохозяйственные институты. Своей численностью и опытом вступительного конкурсного соперничества, часто неоднократного, они составляли серьезную конкуренцию новичкам.

Такой абитуриентский напор на инженерно-промышленные и аграрные институты не оставлял для них ничего иного, кроме усиления экзаменационно-конкурсных требований к поступающим, в результате которых абсолютное большинство конкурсантов не получали проходных баллов. Так, в 1897 г. они составили 72%.⁹

Следует иметь в виду, что численность прошений не соответствовала числу подававших их лиц. Пользуясь разновременностью конкурсных испытаний в различных учебных заведениях, большинство абитуриентов в расчете на удачу подавали прошения о приеме сразу в несколько из них. Например, в том же 1897 г. в петербургские специальные институты было подано 3612 прошений от 1884 человек, в том числе (по количеству прошений): в 1-й институт 785 человек, или 41.6% реальных абитуриентов; во 2-й — 600 (32%) человек; в 3-й — 382 (20%); в 4-й — 103 (5.5%); в 5-й — 13 (0.7%); в 6-й — 1 (0.05%) человек.

В конечном счете экзаменовалось 1782 подателя прошений. Удача сопутствовала 731 (39%) из них.¹⁰ «Наплыв поступающих повсюду был огромный, превышая число вакансий в десятки раз», — вспоминал академик С. Г. Струмилин о своем абитуриентском опыте того времени. Сам мемуарист пытался поступить сразу в три петербургских

института — Горный, Технологический и Электротехнический. И только в последнем сумел преодолеть конкурсный барьер.

Не изменилась ситуация и в начале XX в., хотя высшая специальная школа приросла новыми крупными учебными заведениями. В 1910 г. во все специальные институты Петербурга, исключая местный политехникум, было подано 4600 прошений о приеме от 2300 человек. Фактически же на 1140 студенческих вакансий реально претендовали 1836 человек, сдававших вступительные экзамены. 700 человек оказались аутсайдерами.¹¹ Тогда же в Петербургском политехническом институте на 1292 вакансии был 4001 претендент.¹² Этот политехникум и в дальнейшем оставался бесспорным лидером по популярности среди абитуриентов. В 1915/16 учебном году его студентами пожела-ли стать 6130 человек, из которых было принято 1362, или 22%.¹³ Еще более разительное несоответствие между спросом на студенческие места и предложением их сложилось, например, в провинциальном Екатеринославском горном институте. Там в 1915/16 учебном году на 96 вакансий претендовали 2466 абитуриентов.¹⁴

С течением времени круг институтов, куда можно было поступать одновременно, по нотариально заверенным копиям аттестатов, был административно сужен. Это снизило номинальный конкурс, но не уменьшило численность реальных абитуриентов, ежегодно все более обгонявшую количество предлагаемых им студенческих вакансий. Несоответствие спроса и предложений превращало процедуру вдумчивого отбора наиболее достойных (каковой ей должно было быть) в форменное «избиение младенцев» на «состязательных» экзаменах.

Наибольшей жестокостью своих конкурсных ристалищ отличались петербургские институты Путей сообщения, где особая опасность для абитуриента исходила от экзамена по тригонометрии, и Горный, где решение весьма трудных математических задач сочеталось с повышенными требованиями к знанию теории.¹⁵ Следом за ними шли Петербургский институт гражданских инженеров, Московское техническое училище, Морское инженерное училище в Кронштадте.¹⁶

Но и в прочих специальных институтах экзамены были нелегкими. Их успешность зависела не только от подготовки абитуриента, но и от того, насколько придерживался экзаменатор предписания Министерства просвещения спрашивать только в пределах той программы предмета, по которой учился экзаменуемый. Академик М. А. Павлов вспоминал о своем поступлении в Петербургский технологический институт: «Приемные экзамены мне здесь понравились... Вызывая по алфавиту к доске, профессора осведомлялись: “Где вы кончили курс? По какому учебнику учились?” и спрашивали, придерживаясь именно этого учебника. Это было своего рода джентльменством, потому что в других институтах попадались, как нам рассказывали, такие экзаменаторы, которые, узнав, что экзаменуемый учился по Малинину-Бурину, заявляли: “А я требую по Давыдову”».

И это не было досужим вымыслом. Тот же М. А. Павлов, сдававший одновременно вступительные экзамены в Горный институт, в полной мере на себе испытал экзаменаторский произвол профессора физики Краевича, который откровенно проваливал всех подряд. Его манера экзаменовать столь возмутила абитуриентов, и выдержавших, и провалившихся, что они пожаловались директору института князю Ливену. Тот предложил Краевичу повторить экзамен.¹⁷ Абитуриент Московского технического училища, сдававший в 1899 г. математику профессору Шапошникову, мог и не ведать, что тот

знания программы требует только по своим учебникам и «режет» экзаменующихся головоломными задачами. Такую информацию имел юный Н. М. Щапов от своего репетитора — студента Училища.¹⁸

«Камнем преткновения» абитуриентов составитель популярного среди них справочника для поступающих в высшую школу Д. Марголин назвал русский язык и арифметику, предупредив будущих конкурсантов, что именно по этим предметам экзаменуемые получают больше всего двоек. Он рекомендовал им обратить побольше внимания на правописание, поскольку во всех институтах к русскому языку «предъявляют высокие требования».¹⁹ И действительно, сочинение было тем подводным рифом, о который разбивались надежды доброй части абитуриентов.

Иному абитуриенту немудрено было споткнуться о сочинение на тему «Великих нет, но подвиги их живы», с которым, правда, успешно справился Василий Шулейкин. А вот С. Г. Струмилин срезался именно на сочинении (как он утверждал, из-за неблагонадежного направления мыслей) в петербургских Технологическом и Горном институтах. И только в Электротехническом, избрав «наиболее нейтральную тему», получил нужную оценку. В своих мемуарах он писал по этому поводу, что сочинение давало возможности «отсеять и отсеять избыточных и “нежелательных” по национальному и любому иному признаку конкурсантов путем простого снижения им отметки...».²⁰

Для многих абитуриентов поступление в высшие специальные учебные заведения, особенно в престижные, оборачивалось чередой бесконечных неудач, как например для выпускника Зарайского реального училища В. Проселкова, сына преподавателя (статского советника). В 1899 г. он в третий раз не был принят в Московское техническое училище. Как правило, это были добротнo подготовленные молодые люди, желавшие учиться в строго определенной инженерной школе, которых фатально преследовал рок конкурсного невезения (для достижения желанной цели обычно не хватало 1–2 баллов).

Устрашающая молва о предстоящих вступительных экзаменах заставляла будущих абитуриентов энергично к ним готовиться. Все начиналось ознакомлением со справочниками для поступающих в высшие учебные заведения, ежегодно издаваемыми в больших количествах.²¹ Они содержали обстоятельную и самую свежую информацию об условиях приема во всевозможные высшие учебные заведения, экзаменационных программах, а также множество прочих полезных сведений о документах, которыми должен запастись поступающий, о профессорско-преподавательском составе, факультетах, студенческих организациях, о материально-бытовых условиях, в которых жили студенты.

Помимо информационной, абитуриентская инфраструктура имела и репетиторскую службу. К ее услугам прибегали наиболее состоятельные из абитуриентов. Например, поступавший в 1899 г. в Московское техническое училище Н. М. Щапов вспоминал: «Как и в других школах, существуют целые предприятия по подготовке желающих к поступлению. Там опытные специалисты изучили уже все подходы экзаменаторов, их вопросы, их задачи и “дрессируют” кандидатов за крупные деньги с гарантией на успех». Одного из таких репетиторов из студентов наняли и мемуаристу, притом по личной рекомендации директора училища И. В. Аристова.²²

В 1916 г. открылись «Новые петроградские общедоступные подготовительные курсы ассистентов и помощников инженера П. К. Шмулевича под его личным наблюдением»

(продолжали действовать и «старые курсы» на Сиверской). За астрономическую для среднестатистического абитуриента сумму в 325–550 р. (в зависимости и количества институтов, в которые намеревался поступать одновременно курсант) они за шесть еженедельных часов в течение двух с половиной месяцев готовили с известными гарантиями абитуриентов к конкурсным экзаменам.²³ Абсолютное большинство абитуриентов, естественно, не могли воспользоваться услугами репетиторов и полагались только на свои силы. Они-то и претерпевали сокрушительный провал на конкурсных экзаменах.

В интересах пополнения студенческого контингента специальных институтов целеустремленными молодыми людьми министр народного просвещения П. С. Ванновский в 1901 г. издал циркулярное распоряжение, которым администрации высших специальных учебных заведений предписывалось: в спорных случаях, когда предстояло сделать выбор между абитуриентами, набравшими одинаковое количество баллов, отдавать предпочтение тем из них, кто поступал в институт второй раз подряд. Исправного исполнения это распоряжение, однако, не получило. В известной мере интересы этой категории абитуриентов были учтены в «высочайшем повелении» от 30 сентября 1897 г. «О замещении 10 вакансий в высших специальных учебных заведениях сыновьями лиц, известных своей деятельностью на поприще отечественной промышленности, а также молодыми людьми, приехавшими из отдаленных мест и окраин, и лицами, неоднократно уже державшими испытания, но не прошедшими по конкурсу».²⁴

Все 10 вакансий предоставлялись Московскому техническому училищу, испытывавшему наибольшие среди народнохозяйственных институтов, подведомственных Министерству народного просвещения, проблемы с переизбытком абитуриентов. Фактически они (вакансии) сразу же стали объектом жесткой конкуренции. Естественно, победителями таких ставших ежегодными «скрытых» конкурсов становились те абитуриенты, о которых имелись, по бюрократической терминологии, «особые ходатайства».²⁵ В 1900 г. среди ходатаев были: известная московская миллионерша и филантропка М. Ф. Морозова; директор Петербургского технологического института кн. А. Т. Гагарин; начальник инженеров Московского военного округа А. П. Воронцов-Вельяминов; профессора училища — Я. Я. Никитский и Московского университета А. С. Алексеев, пристав 2-го участка Басманной части, член Общества вспомоществования нуждающимся студентам Московского технического училища М. В. Шварцман. Среди кандидатов на льготный сверхнормативный прием 1903 г. были дети промышленников В. Крашенинников, А. Кузнецов, А. Панфилов. За К. Второва, сына портнихи, ходатайствовали «представители мануфактурной промышленности Московского района».²⁶

Антипедагогическая сущность системы приема в народнохозяйственные институты, изнурявшей физически и интеллектуально абитуриентов, не оставалась незамеченной в заинтересованных государственных инстанциях. В 1901 г. товарищ министра народного просвещения Н. А. Зверев направил попечителям учебных округов «циркулярное письмо», в котором констатировал, что «главнейшими, крайне нежелательными и прямо вредными сторонами» этого порядка в ведомстве просвещения считали: «Во-первых, переутомление молодых людей, вынужденных вслед за выпускными экзаменами из гимназий и реальных училищ без необходимого отдыха усиленно готовиться к конкурсным испытаниям, часто в несколько высших специальных учебных заведений, что вызывает в свою очередь дальнейшую, по существу непроизводительную напряженность нервной деятельности; во-вторых, при постоянно возрастающем числе

желающих поступить в высшие специальные учебные заведения требования на состязательных испытаниях необходимым образом повышаются, если не по объему научных предметов, то по детальности частных, относящихся к ним вопросов, и происходящая вследствие этого неоднородность требований служит отчасти причиной случайности состава лиц, удовлетворяющих условиям конкурса; в-третьих, выдержавшие испытания часто оказываются, вопреки ожиданиям, не более способными и в значительном числе случаев настолько утомленными, что ведут свои занятия в высших учебных заведениях вяло и не вполне успешно».

Из цитируемого письма явствует также и то, что вышеуказанные пороки системы отбора свежих студенческих пополнений ведомство просвещения тщетно пыталось излечить паллиативными средствами. Еще в 1884 г. в министерстве обсуждалась идея замены вступительных испытаний специальными сочинениями абитуриентов, которые оценивались бы особой комиссией. На основании полученных оценок конкурсанты, согласно их желаниям, могли бы быть распределены по специальным институтам. Привлекательный на первый взгляд проект сразу же обнаружил свою техническую трудноисполнимость даже в условиях 1880-х гг., когда число абитуриентов в каждом народнохозяйственном институте не превышало 600–700 человек, и абсолютную нереальность в условиях конца XIX—начала XX в., когда средняя численность конкурсантов в каждом высшем учебном заведении превышала тысячу человек, а в отдельных случаях и в несколько раз больше.²⁷

В недрах ведомства народного просвещения рождались и иные проекты усовершенствования приемной системы в народнохозяйственные институты: учреждения в Петербурге профессорской испытательной комиссии, единой для шести наиболее привлекательных для абитуриентов столичных институтов (1896); перехода от состязательных экзаменов к оправдавшему себя в Лесном институте и Военно-медицинской академии конкурсу аттестатов (1898). И тот, и другой проекты канули в бюрократическую пучину. Первый из-за ведомственных противоречий. Второй был торпедирован подозрениями, что учителя средней школы начнут завышать оценки своим ученикам.

Все охарактеризованные выше проекты, даже будучи внедренными, не привели бы к расширению приема абитуриентов в высшую специальную школу без увеличения числа учебных заведений и наращивания научно-лабораторной базы уже действовавших. «Так будет всегда, — писал обозреватель журнала «Техническое образование», — пока бюджет Министерства народного просвещения будет сохранять свой нынешний уровень, пока удовлетворение всеми осознанной, никем не оспариваемой нужды нашей в высших технических школах будет оставаться на точке замерзания всех соответственных проектов».²⁸ Написанные на исходе XIX столетия, эти слова оказались пророческими. Не изжитый и в начале XX в. критический дефицит научно-педагогических мощностей высшей народнохозяйственной школы побудил министра народного просвещения Н. Н. Игнатьева в 1916 г. доложить Совету министров: «Комплект в специальных высших учебных заведениях доведен до максимума и не может более увеличиваться». В целом, подытожил министр, 22 тыс. выпускников текущего года было предложено 20 тыс. учебных мест.²⁹

Каков же был состав студентов специальной высшей школы по типам полученного ими среднего образования? Сколько учебного пространства в ней отдавалось тем, для кого, собственно, она предназначалась — «реалистам», т. е. выпускникам реальных училищ и народнохозяйственных средних учебных заведений?

По нашим подсчетам, примерно 50% абитуриентов-«реалистов» не выдерживали конкурсных испытаний. Ежегодно неудачники присоединялись к новым конкурсантам. Главными конкурентами реалистов были выпускники классических гимназий. Моральный дух последних «поддерживался сознанием возможности в случае неудачи поступить в университет на любой факультет», который нередко был для них лишь временным пристанищем. В 1913/14 учебном году до 27.8% студентов горных и политехнических институтов торгово-промышленного ведомства приходилось на выпускников классических гимназий.³⁰ Ниже процентная доля последних была в сельскохозяйственных институтах (по данным на 1914 г.) — Московском сельскохозяйственном (13.6%), Новоалександринском сельского хозяйства и лесоводства (14.5%), Петербургском лесном (20%).³¹

Возможности поступления в высшую специальную школу для реалистов уменьшились также из-за внеконкурсного приема туда и обладателей диплома о высшем образовании. В 1913/14 учебном году в горных институтах и политехниках торгово-промышленного ведомства таковые составляли 5.1% их студенческого контингента (соответственно 2.9% и 2.2%).³²

Неизменной популярностью у дипломированных специалистов пользовался Московский сельскохозяйственный институт. В 1914 г. здесь учились выпускники университетов (158 человек), сельскохозяйственных и ветеринарных институтов (46 человек), инженерных школ (5 человек), Лазаревского института восточных языков (1 человек), иностранных высших учебных заведений, в совокупности составляя 19.8% его студенческого контингента.

В целом примерно 30% студенческих вакансий высшей специальной школы в 1913 г. оказывались вне досягаемости «реалистов», для которых создавался как бы дополнительный скрытый конкурс. Таким образом, налицо была откровенная дискриминация учащихся реальных училищ. Сужением и без того нешироких перспектив получения высшего образования предполагалось загнать эту «второсортную» молодежь в тупик узкоприкладных специализаций, предлагаемых в выпускном VII классе тем, кто отказывался от дальнейшей учебы.

«Реалисты», не попавшие в государственные специальные институты, поглощались частью общественными и частными высшими учебными заведениями. Но здесь их выбор был еще более ограничен, поскольку неправительственная высшая школа была, во-первых, по преимуществу женской, а во-вторых, кроме коммерческой и сельскохозяйственной, не предлагала никаких иных неуниверситетских специализаций для мужчин. Вот почему большинство обратившихся к ее услугам останавливало свой выбор на коммерческих институтах, в основном тех, что пользовались правами государственных (Московский, Киевский, Харьковский). Наконец, часть не принятых в специальные институты поступала в зарубежные инженерные школы, в которых обучалось около 9 тыс. студентов из России.³³

* * *

Неравные возможности выпускников средней школы в получении высшего образования как форма сословного регулирования состава студенчества находились в резком противоречии с потребностями социально-экономического развития капиталистической России. В 1896 г. Второй съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию вынес резолюцию-рекомендацию о необходимости допустить в

университеты выпускников реальных училищ.³⁴ На аналогичной точке зрения стояла и Комиссия по техническому образованию при Русском техническом обществе, которая, опираясь на анализ результатов вступительных экзаменов в 1897 и 1898 гг., пришла к заключению, что реальные училища дают своим питомцам более высокую, нежели классические гимназии, естественнонаучную подготовку, необходимую для учебы на физико-математическом и медицинском факультетах университетов.

Подобного рода резолюции объективно подрывали правительственную идею сословности образования. «Высшие учебные заведения должны быть доступны для всех, подготовленных к восприятию тех специальностей, для которых они назначаются, — писал Д. И. Менделеев. — Это значит, что лица, успевшие в прохождении курса средних учебных заведений, должны быть допускаемы в высшие учебные заведения всякого рода, без ограничения такими перегородками, как сословные или специализированные. Этим я хочу сказать, например, то, что из духовных семинарий, кадетских корпусов и реальных училищ необходимо допускать в высшие учебные заведения так же свободно, как в университеты допускаются свободно кончившие курс в гимназиях».³⁵

Такого рода воззрения находили приверженцев и среди дальновидных представителей царской бюрократии. В 1897 г. на заседании Комиссии по техническому и профессиональному образованию представитель Министерства финансов В. И. Ковалевский от имени министра С. Ю. Витте высказался за единую среднюю школу и упразднение «классицизма». Осуждал сословные привилегии и министр народного просвещения И. И. Толстой. Вскоре после отставки (апрель 1906 г.) он писал в своих мемуарах: «Неужели возможно утверждать, что высшие круги общества, аристократы и важные бюрократы, идеальнее и возвышеннее смотрят на образование и воспитание, чем остальная русская интеллигенция или даже менее развитые классы».³⁶

Эти воззрения, однако, не встречали сочувствия у Николая II. Еще в 1902 г., напутствуя нового министра народного просвещения Г. Э. Зенгера, он подчеркивал: «Только классические гимназии (с одним или двумя древними языками) дают право на поступление в университеты».³⁷ Позиция царя в конечном счете являлась непреодолимым препятствием к изменению порядка комплектования студенческого контингента. Лишь в период первой российской революции произошел кратковременный прорыв этой плотины. 14 декабря 1905 г. министр народного просвещения И. И. Толстой разрешил принимать в университеты семинаристов фактически наравне с гимназистами, а 18 марта 1906 г. — выпускников реальных и коммерческих училищ, сдавших дополнительные экзамены за курс гимназии. Однако попытка в 1908 г. вывести эти ведомственные нормативные акты на законодательный уровень не увенчалась успехом.

В 1913 г. в Государственном совете 78 голосами против 68 был провален законопроект «О представлении лицам, окончившим курс некоторых средних учебных заведений, права поступать в высшие учебные заведения». Главным оппонентом авторов законопроекта был министр народного просвещения Л. А. Кассо, объявивший его от имени правительства «неприемлемым». Речь министра была апологией «классицизма» и устоявшейся системы среднего и высшего образования.³⁸ Министру действующему вторил министр бывший — профессор А. Н. Шварц. Он настаивал на ограждении университетов от «отбросов», за допуск в них «только отборных молодых людей», окончивших классическую гимназию.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Иванов А. Е.* Студенчество России конца XIX—начала XX века: Социально-историческая судьба. М., 1999. С. 29.

² Там же. С. 34–35.

³ Там же. С. 54.

⁴ Там же.

⁵ Там же. С. 56.

⁶ Студенческая жизнь. М., 1910. 29 авг. С. 13.

⁷ *Иванов А. Е.* Высшая школа в конце XIX—начале XX века. М., 1991. С. 260.

⁸ *Анопов И. А.* По вопросу о мерах к наиболее быстрому, с наилучшими затратами, распространению в нашем отечестве высшего специального образования: Докл. общему собранию членов Имп. Русского технического общества 1 марта 1897 г. СПб., 1897. С. 3.

⁹ Техническое образование. 1897. № 6. С. 85.

¹⁰ *Струмилин С. Г.* Из пережитого. 1897–1917 гг. // Избранные произведения, воспоминания. М., 1968. С. 28, 29.

¹¹ Техническое и коммерческое образование. 1910. № 7. С. 59.

¹² Там же. С. 60.

¹³ РГИА. Ф. 33. Оп. 156. Д. 561. Л. 38.

¹⁴ Там же. Л. 27.

¹⁵ *Марголин Д.* Справочник по высшему образованию для поступающих во все высшие учебные заведения. Киев, 1909. С. 403.

¹⁶ *Шулейкин В. В.* Дни прожитые. М., 1976. С. 44.

¹⁷ *Павлов М. А.* Воспоминания металлурга. М., 1943. С. 38, 41.

¹⁸ *Щапов Н. М.* Я верил в Россию...: Семейная история и воспоминания. М., 1998. С. 247.

¹⁹ *Марголин Д.* Справочник по высшему образованию для поступающих во все высшие учебные заведения. Киев, 1911. С. 403; Центральный государственный исторический архив Москвы (далее — ЦГИАМ). Ф. 459. Оп. 2. Д. 5449. Л. 8.

²⁰ *Шулейкин В. В.* Дни прожитые. С. 44; *Струмилин С. Г.* Из пережитого. С. 29; ЦГИАМ. Ф. 459. Оп. 2. Д. 4947. Л. 57.

²¹ *Воротинцев Н. И.* 1) Полный сборник правил приема и программ высших, средних и низших общеобразовательных учебных заведений России, мужских, женских, правительственных и частных на 1908–1909 учебный год. СПб.,

1910; 2) Спутник конкурсанта и поступающих в высшие учебные заведения без конкурса. СПб., 1912; *Марголин Д.* Справочник по высшему образованию для поступающих во все высшие учебные заведения. Киев, 1909–1915; С.-Петербургский студенческий календарь. СПб., 1907–1916; Спутник конкурсанта: Подробный сборник сведений об учебных заведениях и курсах, подготовляющих к практической (профессиональной) деятельности. Пг., 1914; *Шмулевич П. К.* Справочная книга для поступающих в высшие учебные заведения. СПб., 1908–1917.

²² *Щапов Н. М.* Я верил в Россию... С. 317.

²³ *Шмулевич П. К.* Справочная книга для поступающих в высшие учебные заведения. СПб., 1916. С. 227–230.

²⁴ ЦГИАМ. Ф. 459. Оп. 2. Д. 4997. Л. 113.

²⁵ Там же. Л. 114.

²⁶ Там же. Д. 5450. Л. 23, 23 об.

²⁷ Там же. Д. 3359. Л. 1, 1 об., 2.

²⁸ Техническое образование. 1901. № 3. С. 86–87.

²⁹ РГИА. Ф. 1276. Оп. 12. Д. 1657. Л. 47.

³⁰ Статистические сведения о составе учебных заведений, подведомственных учебному отделу Министерства торговли и промышленности на 1913/14 учебный год. СПб., 1916. С. XV.

³¹ Отчет о состоянии Московского сельскохозяйственного института за 1914 г. М., 1915. С. 95; Отчет о состоянии Новоалександрийского института сельского хозяйства и лесоводства за 1914 г. Пг., 1916. С. 13; РГИА. Ф. 994. Оп. 6. Д. 203. Л. 37.

³² Отчет о состоянии Московского сельскохозяйственного института за 1914 год. С. 95.

³³ *Иванов А. Е.* Студенчество России конца XIX — начала XX века. С. 352–353.

³⁴ Техническое образование. 1898. № 4. С. 72.

³⁵ *Менделеев Д. И.* Соч. М., 1952. Т. 23. С. 184.

³⁶ Воспоминания министра народного просвещения графа И. И. Толстого. 31 октября 1905 г. — 24 апреля 1906 г. М., 1997. С. 107.

³⁷ Заметки Николая II о народном образовании // Былое. 1917. № 2/3. С. 65.

³⁸ Государственный совет. Стенографические отчеты. 1912–1913 годы. Сессия восьмая. СПб., 1913. Стб. 1675–1679, 1681–1682.

Б. С. Каганович

МАРГАРИТА КОНСТАНТИНОВНА ГРИНВАЛЬД. КОНТУРЫ БИОГРАФИИ

Маргарита Константиновна Гринвальд не была крупным историком, деятельностью которых обычно занимаются историографы. Но жизнь, прожитая ею, настолько характерна для петербургской интеллигенции определенного круга и эпохи, что данная статья, продиктованная желанием спасти от забвения следы благородного и незаурядного человека, может, как нам думается, иметь и несколько более широкое значение.

Маргарита Константиновна Гринвальд (в ранних документах фамилия иногда писалась «Грюнвальд») родилась 10 октября 1891 г. в Петербурге в семье (по-видимому) прибалтийско-немецкого происхождения. К сожалению, мы не располагаем сколь-нибудь надежными сведениями о ее родителях и молодых годах, несмотря на воспоминания, опубликованные в Париже ее старшим братом Константином Константиновичем Грюнвальдом.¹ В книге «Белые ночи Петербурга» он рассказывает, что его отец был адвокатом, состоятельным человеком, вращался в привилегированных сферах, но после ранней смерти жены, матери автора, уехал за границу, где несколько лет занимался предпринимательской деятельностью, вернулся в Петербург с женой американкой, не говорившей по-русски, и умер в начале XX в. Мачеха и сводный брат вскоре вернулись в США.² О сестре К. К. Грюнвальд в этой части своих мемуаров вообще не упоминает, и из его изложения не ясно, была ли она дочерью их отца от первого или от второго брака.

Сама М. К. Гринвальд в служебных анкетах, заполненных в 1940-х—начале 1950-х гг., сообщала, что ее отец Гринвальд Константин Михайлович, русский, служащий, кандидат права, умер в 1904 г., мать Елена Михайловна, русская, домохозяйка, к тому времени также умерла. Бывшее сословие родителей: отец дворянин, мать мещанка.³ На достоверность сведений, сообщаемых в такого рода документах, по понятным причинам не следует полагаться. Так, в анкетах М. К. Гринвальд отрицательно отвечала на вопросы о судебных репрессиях и наличии родственников за границей. Отметим также, что во всех анкетах на вопрос о национальности М. К. Гринвальд всегда отвечала: русская. Однако в свидетельстве об окончании Бестужевских курсов, находящемся в личном деле, вероисповедание ее определяется как евангелически-лютеранское, что едва ли свидетельствует об «исконно русском» происхождении. Можно предполагать, что мать М. К. Гринвальд была американкой. 16 ноября 1905 г. четырнадцатилетняя Маргарита Гринвальд писала из Парижа М. А. Волошину: «Приехала мама, и я стала американкой по своей хамелеонской натуре».⁴ До Первой мировой войны она с матерью подолгу жила за границей.

По окончании с золотой медалью гимназии Е. В. Стависской в Петербурге М. К. Гринвальд поступила на историко-филологический факультет Петербургских Высших женских (Бестужевских) курсов, которые и окончила в 1916 г. по группе философии. Едва ли не единственным отражением в печати ее занятий философией является перевод статьи «Введение в метафизику» знаменитого французского философа Анри Бергсона.⁵ По-видимому, М. К. Гринвальд в молодости не чужды были и литературно-художественные

интересы и тяготения. Лето 1909 г. она провела в Коктебеле на даче М. А. Волошина,⁶ где в это время гостили также Н. С. Гумилев, А. Н. Толстой с женой С. И. Дымшиц и художник К. Ф. Богаевский.⁷ Была она знакома и с художником Д. И. Митрохиным.

Вскоре после окончания Бестужевских курсов интерес к истории, очевидно, переселился у М. К. Гринвальд к философии. Возможно, здесь сыграл роль и личный момент — знакомство с проф. Е. В. Тарле, которое, судя по всему, что нам известно, сыграло очень большую роль в ее жизни. С 1920 г. М. К. Гринвальд стала аспиранткой (по тогдашней терминологии «оставленной») при кафедре новой истории Петроградского университета, с которым были объединены Бестужевские курсы, избрав своей специальностью историю Англии XIX в. В 1918–1920 гг. она работала библиотечным инструктором и давала уроки иностранных языков, а с 1920 г. являлась штатной преподавательницей английского языка в Институте народного хозяйства и Электротехническом институте в Петрограде, что и определяло ее, так сказать, «гражданское лицо» в 1920-е гг.

Маргарита Константиновна поддерживала дружеские отношения с дочерьми С. Ф. Платонова Ниной и Натальей, которые также занимались историей у Тарле, и в дневниках их матери Надежды Николаевны сохранилось несколько упоминаний о ней (из которых, между прочим, видно, что она считала М. К. еврейкой).⁸

М. К. Гринвальд приняла участие во всех четырех номерах журнала по всеобщей истории «Анналы», выходившего в 1922–1924 гг. в Петрограде под редакцией Ф. И. Успенского и Е. В. Тарле. Она опубликовала здесь цикл рецензий на освещавшие эпоху Первой мировой войны мемуары кайзеровского министра К. Гельфериха, американского государственного секретаря Р. Лансинга, английского морского министра лорда Фишера, жены английского премьер-министра Марго Асквит.⁹ К этой же категории принадлежит напечатанная в «Морском сборнике» статья М. К. Гринвальд о мемуарах министра иностранных дел Великобритании Эдуарда Грея.¹⁰

В 1920-е гг. М. К. Гринвальд много занималась и переводческой работой. С немецкого языка она перевела отрывки мемуаров К. Гельфериха и воспоминания австро-венгерского министра иностранных дел графа О. Чернина,¹¹ с французского — работу Шарля Шмидта о революции 1848 г.,¹² с английского — роман Джека Лондона «Маленькая хозяйка большого дома».¹³

В 1925 и 1927 гг. М. К. Гринвальд ездила для научных занятий за границу — в Англию и во Францию. Она работала в библиотеках и архивах Лондона и Парижа, но, к сожалению, мы не знаем каких-либо подробностей ее пребывания в Европе, где она, вероятно, встречалась с братом и другими старыми знакомыми и друзьями.

Как известно, в Ленинграде в 1920-е гг. существовали многочисленные неформальные кружки гуманитарной интеллигенции, возникавшие отчасти на профессиональной, отчасти на мировоззренческой основе. Они давали известную возможность профессионального общения, после того как важнейшие отрасли неказенной исторической науки были изгнаны из университета, и, кроме того, эти встречи и дискуссии являлись своеобразным духовным прибежищем для людей, не находивших себе места в новом обществе.

М. К. Гринвальд входила в несколько таких кружков. Наиболее известный из них — «Кружок молодых историков», участниками которого были С. И. Тхоржевский, Г. П. Федотов, Н. С. Штакельберг, Б. А. Романов, А. Н. Шебунин, С. Н. Валк, Н. С. Цемш, М. К. Гринвальд, Н. С. Платонова и Н. С. Платонова-Измайлова, А. Н. Насонов, С. М. Данини, П. А. Садиков и ряд других молодых тогда людей; некоторые из

них стали впоследствии выдающимися учеными. Патронами кружка были профессора Е. В. Тарле и А. И. Заозерский, изредка бывал С. Ф. Платонов. Кружок собирался в 1921–1927 гг. по большей части на квартирах своих членов. На заседаниях читались и обсуждались научные доклады, происходили дискуссии на разные темы; имела место и скромная «светская жизнь»: вечеринки с чаем, шуточными стихами и иногда с танцами.¹⁴ Н. С. Штакельберг пишет, что из «маститых» гостей наиболее «своим» был для членов кружка Е. В. Тарле: «Тарле был близок к университетской молодежи, очень неравнодушен к женской ее части вообще, был близок с М. К. Гринвальд и не казался нам старым».¹⁵ По ее словам, М. К. Гринвальд читала доклад «по проблемам истории Англии эпохи Питта»;¹⁶ выступала она и с рассказом о своей заграничной поездке. Н. С. Штакельберг приводит в своих воспоминаниях посвященные М. К. Гринвальд шуточные строки С. И. Тхоржевского, который был мастером этого жанра:

Здесь в лорнет глядит она,
А умом погружена
В мир вождей великих бриттов
Дизраэли, Фокса, Питта...
Это Гринвальд Маргарита.¹⁷

Гораздо меньше мы знаем о «Кружке новых историков», учеников Н. И. Кареева, собиравшемся у него на квартире, в котором тоже принимала участие М. К. Гринвальд.¹⁸ Посещала она и собрания известного религиозно-философского кружка «Воскресение», который возглавляли А. А. Мейер, Г. П. Федотов и Н. П. Анциферов, хотя нигде М. К. Гринвальд не фигурирует в качестве сколько-нибудь заметной его деятельницы.

Именно в связи с делом кружка «Воскресение», который ГПУ «раскрыло» как контрреволюционную монархическую организацию (в действительности он носил христианско-демократический характер), М. К. Гринвальд была арестована в конце 1928 или начале 1929 г. и после соответствующего «следствия» и пребывания в Доме предварительного заключения на (ДПЗ) Шпалерной приговорена к пяти годам заключения в концлагере.

29 июня 1929 г. Е. В. Тарле написал письмо директору Института К. Маркса и Ф. Энгельса Д. Б. Рязанову: «Маргарита Константиновна Гринвальд по слухам, находится под угрозой ссылки в концлагерь на пять лет!! Дело переслано в Москву и вся надежда на смягчение ее участи — это если Вы захотите замолвить о ней прокурору Республики Крыленко: теперь от него зависит все. Все, сколько-нибудь ее знающие, убеждены, что все дело в недоразумении... Давид Борисович! Никогда Вы не отказывались сделать доброе и справедливое дело. Не откажитесь и на этот раз».¹⁹ Но ни Тарле, ни Рязанов ничего сделать не могли; оба они вскоре — один через полгода, второй через два — сами были арестованы.

Заключение М. К. Гринвальд отбывала в Соловецком концлагере. По сообщению хорошо знавшего ее ленинградского историка С. В. Сигриста, попавшего туда несколько позже, «М. К. Гринвальд, мой близкий друг до ареста и в концлагере на Лей-Губе, Май-Губе и Сегеже <...> в лагере перенесла сыпняк, а после него работала медсестрой»²⁰ (она имела опыт работы в военном госпитале в годы Первой мировой войны). Н. П. Анциферов вспоминал, как в день его именин «моя одноделица Маргарита Константиновна Гринберг (ошибка памяти: Гринвальд. — Б. К.) угостила меня чашкой какао. Как это ей удалось, понять не могу».²¹ В 1930 г. Маргариту Константиновну, как и ряд других ранее осужденных, доставили в Ленинград, где разворачивалось «Академическое дело»,

одним из главных обвиняемых по которому был Е. В. Тарле, поместили в ДПЗ и вновь допрашивали, а затем отправили назад в Соловецкий лагерь досиживать свой срок.

Отбыв 5-летнее заключение, М. К. Гринвальд в 1934 г. вернулась в Ленинград. Несколько месяцев она преподавала английский язык в университете и перевела на английский язык путеводители по Ленинграду и Царскому Селу, которые были выпущены для интуристов Управлением дворцами и парками Ленсовета.²² Она возобновила контакты с Е. В. Тарле, который вернулся в Ленинград из алма-атинской ссылки в начале 1933 г., и, в частности, слушала курс его лекций по колониальной политике западноевропейских государств в XV–XIX вв.

Весной 1935 г., в период массовых высылки из Ленинграда после убийства Кирова «подозрительных элементов», М. К. Гринвальд была выслана на три года в Уфу. К сожалению, о последующих десяти годах ее жизни мы не знаем почти ничего, кроме кратких записей в анкетном листе. С 1936 по 1939 г. она преподавала английский язык в Башкирском сельскохозяйственном институте, а в 1939 г. ей удалось перебраться в Иваново, где она работала старшим преподавателем английского языка Ивановского пединститута и некоторое время даже исполняла обязанности заведующего кафедрой.²³ В 1944 г. М. К. Гринвальд сдала кандидатский минимум по истории в Московском университете, в чем, как можно предполагать, ей оказал содействие Е. В. Тарле, который в это время был профессором Московского университета.

В 1945 г. М. К. Гринвальд, награжденная медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», вернулась в опустевший после блокады Ленинград и с 1 сентября 1945 г., также несомненно по рекомендации Е. В. Тарле, была зачислена старшим преподавателем на кафедру английского языка Ленинградского университета. Ее давняя знакомая Любовь Васильевна Шапорина, к тому времени уже бывшая жена композитора Ю. А. Шапорина, записала 7 ноября 1945 г. в своем дневнике: «Вчера у меня была Марг. Конст. Грюнвальд, наконец вернувшаяся из своих 10-летних мытарств; я мало кого так уважаю, как ее. Вопиющие несправедливости ее никак и нисколько не озлобили, все такая же мягкость и любовь к людям, любовь к молодежи, светлый взгляд на жизнь. Она преподает английский в университете, пишет диссертацию по истории. Подлинный аристократизм духа».²⁴

Однако мытарства М. К. Гринвальд отнюдь не кончились, о чем свидетельствует запись в дневнике Л. В. Шапориной, сделанная через год, 5 ноября 1946 г.: «С неделю тому назад пришла ко мне Марг. Конст. Гринвальд. Весь прошлый год, вернувшись из Иванова, она преподавала английский в ун-те, составила блестящую историко-политическую хрестоматию для студентов, подготовила диссертацию, была прописана. И вдруг, в августе — приказ уехать из Ленинграда, жить не ближе 101 км. Кто-то (вероятно, Тарле) был у Шикторова,²⁵ долго его упрасивал, причем Шикт[оров] ему говорил — вы не все знаете. Наконец Ш[икторов] обещал разрешить ей остаться. Но через несколько дней Тарле позвонил секретарь Ш[икторова] Соловьев, что разрешения не последовало, М. К. уехала в Вишеру и там кончала диссертацию. Она приехала сюда за вещами, чтобы ехать в Иванов. Я стала ее уговаривать пойти самой к Шикторову или, по крайней мере, его секретарю, но она и слышать не хотела: слишком натянутые были нервы, чтобы вновь приниматься за бесплодные хлопоты. М. К. у меня ночевала, отдохнула на хорошей кровати и в конце концов поддалась моим уговорам. Решили, что она пойдет в НКВД и постарается добыть по телефону секретаря (надо сказать, что недели 2 тому

назад М. К. послала письмо этому самому Соловьеву, но ответа не получила). Через полчаса она вернулась ко мне. Капитан Соловьев назначил ей прийти на следующий день. Она захватила с собой свою хрестоматию и диссертацию. Соловьев взял ее “дело”, стал его перелистывать. „Бывает, бывает, — говорил он, — и из-за таких пустяков вас мучили... Когда это было, ведь это былем поросло”. Взяв у М. К. заявление, снес Шикторову на подпись — разрешили прописку на 6 месяцев и посоветовали вновь хлопотать о снятии судимости. А судили ее в 30-м году, сослали на Беломорканал на 3 года. Вернувшись, она была прописана здесь. В 35-м году высылка в Уфу на 3 года — затем переехала в Иванов. Следовательно, судимости ее уже 16 лет — и она все еще не снята!!! М. К. пришла прямо ко мне: „Вы моя благодетельница — если бы не вы, я бы ни за что не решилась бы на этот шаг”. А эти-то мерзавцы, отказывая Тарле, о чем думали?».²⁶

Мы не знаем, продолжали ли «органы» и далее окружать своим вниманием М. К. Гринвальд, по-видимому, ей пришлось еще заниматься продлением прописки, но во всяком случае она осталась в Ленинграде. В доме Тарле она была своим человеком, что показывают, в частности, письма Евгения Викторовича к сестре М. В. Тарновской.²⁷ Е. В. Тарле был для Маргариты Константиновны не только ее главным научным консультантом, но и обожаемым учителем и другом. Именно она после войны, по сообщениям М. Б. Рабиновича и Я. Л. Кранцфельда, вспомнила о курсе Е. В. Тарле по истории колониальной политики, читанном в 1933–1934 гг., и добилась того, чтобы он разыскал рукопись и передал ей для подготовки к печати.²⁸

К 1947 г. М. К. Гринвальд завершила диссертацию «Борьба либеральной партии против правительства Биконсфильда и внешняя политика Англии накануне и во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг.» объемом свыше 400 машинописных страниц. Кроме того, в списке ее трудов, датированном мартом 1948 г., указываются подготовленные к печати исследования «Англия в эпоху Французской революции и Наполеона», «Распад английской консервативной партии в 40-х гг.» и «Восточный вопрос и русско-английские отношения в памфлетах Кобдена», а также хрестоматия на английском языке для студентов-историков «Readings in Modern History».²⁹

Ни одна из научных работ М. К. Гринвальд не увидела, однако, света, и диссертация ее также имела нелегкую историю. Она была успешно защищена в конце 1947 г. на историческом факультете Ленинградского университета. Судя по опубликованным тезисам, работа М. К. Гринвальд представляла собой серьезное и тщательное исследование позиции английской либеральной партии и групп внутри нее по вопросам, связанным с Балканским кризисом 1875–1878 гг., и была выдержана в «объективистском» плане.³⁰ Диссертация долго рассматривалась в ВАКе и в конце концов не была утверждена. Очевидно, это решение было связано с борьбой против «буржуазного объективизма и космополитизма», развернувшейся в СССР в 1948–1949 гг. В июне 1949 г. Е. В. Тарле из-за обстановки, созданной этой кампанией, ушел из Ленинградского университета.³¹

8 июля 1949 г. аттестационная комиссия филологического факультета под председательством Г. П. Бердникова вынесла следующее решение относительно М. К. Гринвальд: «В работе со студентами нетребовательна, неинициативна, однообразна в занятиях <...> Не любит и не умеет заниматься с начинающими, но ведет занятия на старших курсах и с аспирантами. <...> Как старший преподаватель т. Гринвальд не оправдывает себя: ей нельзя поручать младшие курсы и экзамены. Занимаемой должности не соответствует. На работе в Лениградском гос. ун-те в дальнейшем использована быть не может».³²

С 1 сентября 1949 г. М. К. Гринвальд была переведена на полставки, а затем в отношении ее последовали следующие действия администрации: приказом от 21 июля 1950 г. она была с 5 сентября 1950 г. отчислена из университета «в связи с отсутствием поручений», 25 августа того же года принята на почасовую оплату, а с 1 ноября 1950 г. вновь зачислена в штат, но уже на должность ассистента.³³ Педагогическая нагрузка ее была огромной. М. К. Гринвальд достигла уже пенсионного возраста, но из-за пребывания в лагере ей не хватало для пенсии нескольких лет стажа, и она вынуждена была держаться за работу в университете.

Между тем Е. В. Тарле удалось организовать вторую защиту диссертации М. К. Гринвальд в Московском городском педагогическом институте им. В. П. Потемкина. Диссертация под несколько измененным названием «Отношение либеральной партии к агрессивной и реакционной политике кабинета Дизраэли (Биконсфильда) на Ближнем Востоке в 1875–1878 гг.» была защищена в Ученом совете института 28 января 1952 г. и утверждена ВАКом.³⁴ Оппонентами выступили акад. Е. В. Тарле и доцент И. А. Никитина. Сопоставление автореферата 1951 г.³⁵ с тезисами 4-летней давности приводит к выводу, что на защиту была вынесена по существу та же самая работа, обогащенная ссылками на «классиков марксизма-ленинизма», выпадами против «буржуазной историографии» и общим положением, что в основных вопросах внешней и внутренней политики либеральная партия отличалась от консервативной только тактикой и более искусной маскировкой своих устремлений. Таков был обязательный узус 1951–1952 гг.

Получение ученой степени не помешало, однако, некоторым деятелям вновь попытаться удалить М. К. Гринвальд из университета, и 15 июля 1952 г. Е. В. Тарле обратился к проректору ЛГУ И. И. Иванову-Омскому с письмом, в котором «всецело поддерживал» ходатайство М. К. «об оставлении ее в занимаемой ею должности до очень уже близкого срока выслуги ею пенсии», заявляя, что «ее устранение буквально без каких бы то ни было законных оснований и вопреки мнению факультета было бы актом поистине вопиющей несправедливости».³⁶ Хотя официально против М. К. Гринвальд политические обвинения не выдвигались, трудно отделаться от мысли, что в основе столь настойчивого стремления избавиться от этой скромной и высокообразованной женщины лежала ее биография, которая, конечно, несмотря на все анкетные умолчания, была известна соответствующим учреждениям. Вероятно, изменившаяся после смерти Сталина политическая обстановка способствовала тому, что М. К. Гринвальд смогла дослужиться в должности ассистента до пенсии и вышла на нее с 1 октября 1956 г.³⁷

Жизнь М. К. Гринвальд не исчерпывалась университетом, где — пора наконец называть вещи своими именами — ее постоянно унижали и эксплуатировали. По-видимому, у нее был круг друзей, в общении с которыми она находила опору и отдушину («многодонная жизнь вне закона», по словам Мандельштама). Одним из таких людей была Л. В. Шапорина, женщина умная, смелая и, как сказали бы позднее, настроенная диссидентски. 24 декабря 1950 г. Л. В. Шапорина записала в дневнике: «Я очень люблю Марг. Конст. Гринвальд. Очень ценю ее благородство, чистоту души, незлобивость. Она-то уж не предаст ни за что. Я была сегодня у нее. Скольким людям она помогала в своей жизни».³⁸ Среди наиболее интересных упоминаний Гринвальд в дневниках Шапориной следует отметить запись 21 октября 1952 г. о совместном посещении переводчика М. Л. Лозинского и беседе с ним и его женой,³⁹ а также рассказ о встрече у нее дома А. А. Ахматовой и М. К. Гринвальд 21 сентября 1955 г. «Первое, что ее спросила М. К.:

„Как дела ее сына”, — пишет Шапорина, и, передав рассказ Ахматовой о ее хлопотах за Л. Н. Гумилева, замечает: М. К. сказала, что предполагается амнистия по 58 ст.».⁴⁰ Очевидно, А. А. Ахматова и М. К. Гринвальд были достаточно хорошо знакомы, в противном случае такой разговор был бы невозможен.⁴¹

Интересна для характеристики умонастроения М. К. Гринвальд более ранняя запись в дневнике Л. В. Шапориной от 26 февраля 1954 г.: «На днях я была у Марг. Конст. и советовалась с ней. Все последнее время я мысленно сочиняла письмо Маленкову. Мне хотелось ему написать следующее: Берия казнен, его предшественников Ежова и Ягоду постигла та же участь. Все они оказались вредителями. Почему же дела их живы и апробированы тем самым правительством, которое их казнило. Почему не пересмотрены дела миллионов сосланных, сидящих в лагерях или после отбытия наказания оставленных пожизненно в таких углах, куда и Макара телят не гонял. Марг. Конст. на это мне ответила: „У вас есть сын, внуки, друзья, которым будет грустно, когда вас сошлют. Неужели они и без вас этого не знают?”. И она рассказала мне, что, когда она еще жила не то в Уфе, не то в Иванове, она приехала в Москву и, встретив у приятельницы ее большого друга, крупного коммуниста, рассказала ему все обстоятельства своего дела и просила совета, как хлопотать о снятии судимости. На это он ей ответил: „Не думаю, чтобы это вам удалось. Вы слишком ни в чем не виноваты, чтобы пересматривать ваше дело”».⁴² По-видимому, никаких надежд и иллюзий у М. К. Гринвальд не оставалось. Но доброта и верность моральному долгу были частью ее натуры. Так, она едва ли не единственная навещала в инвалидном доме в Калининской области свою приятельницу по кружкам 1920-х гг. и лагерю М. Э. Либталь, которая попала туда после инсульта и частичного паралича.⁴³

Огромной потерей для М. К. Гринвальд была смерть 6 января 1955 г. Евгения Викторовича Тарле, которого она горячо любила многие годы. После войны Тарле жил по большей части в Москве, сохранив свою квартиру на Дворцовой набережной в Ленинграде, где частой гостью бывала Маргарита Константиновна. Когда Тарле умирал после кровоизлияния в мозг, она приехала в Москву. Трогательным человеческим документом является письмо М. К. Гринвальд к сестре Е. В. Тарле Марии Викторовне Тарновской, датированное 28 марта 1955 г.

«Дорогая Манечка,
очень обрадовалась первой весточке от Вашей руки и жалею, что не ответила сразу... Про мое письмо первое, я думаю, Вы забыли в связи с Вашим состоянием в первые страшные дни... Я была очень удивлена и тронута, когда Ольга Григорьевна⁴⁴ в самом деле вдруг заявила мне, что часики с ее руки она завещает мне... Мне было утешением, что она была довольна моим приездом и присутствием, сама все время подзывала меня к нему в первые дни, когда я опасалась и того, что она будет мною недовольна, и того, как реагирует он в минуты сознания — и тогда и потом она много со мной говорила, обязательно хотела иметь комнату в Ленинграде... Кабинет я посетила только неделю тому назад, когда он уже опустел. Нева поднялась, вся в льдинах и снегу, утро было туманное — но вид, который он так любил, неизменно прекрасен. Как он, как его прекрасная, мятежная, впечатлительная и одинокая душа... Целую Вас, дорогая, и прошу верить в мою дружбу. Жду ответа. Маргарита».⁴⁵

Выйдя на пенсию, М. К. Гринвальд давала уроки языков и занималась переводами. Вышла в свет ее хрестоматия, составленная 10 лет назад.⁴⁶ Как вспоминает А. Н. Ца-

мутали, в Публичной библиотеке М. К. Гринвальд делала переводы с листа с разных языков и пользовавшиеся ее услугами исследователи называли ее «королевой перевода». Она принимала участие в деятельности объединения бестужевков, возникшего в Ленинграде в конце 1950-х гг. — одной из немногих действительно общественных организаций, существовавших в Советском Союзе.

В 1958 г. после 40-летнего отсутствия в СССР приезжал брат Маргариты Константиновны К. К. Грюнвальд. Свою встречу с сестрой он описал в книге «Белые ночи Петербурга»: «Долгие годы, со времени начала Второй мировой войны я не имел никаких известий от своей сестры; я даже не знал, где она находится. Достаточно было обратиться по телефону в справочное бюро, чтобы получить номер ее телефона; она села в такси и через полчаса я обнимал ее и слушал ее историю. После революции, хотя она и не имела соответствующего диплома, ей предложили в университете кафедру английского языка. Но вскоре начался период, который эвфемистически называют „культом личности“. Этот культ, как известно, относился только к одной единственной личности, все остальные и в первую очередь так называемые „бывшие“ подвергались преследованиям. Она разделила общую судьбу, пережив ссылку и концлагеря. Но это избавило ее от самого страшного: высланная на Урал, она была вдали от Ленинграда, когда его осаждали немцы и когда от голода и холода погибла половина его жителей. Теперь она вновь живет в городе, получает пенсию, окружена друзьями и молодыми учениками, которые называют ее „баронессой“, поражаясь, как смогла она сохранить не только свежесть ума, но и хорошие старые манеры. Она ни на что не жаловалась и, полная смирения, рассматривала перенесенные репрессии как „историческую неизбежность“».⁴⁷ Это единственное упоминание Маргариты Константиновны в книге брата, причем, как видим, он даже не называет ее по имени.

Наиболее важным делом М. К. Гринвальд в последний период ее жизни была подготовка к печати неопубликованных работ Е. В. Тарле. Как известно, в 1957–1962 гг. было выпущено 12-томное собрание его сочинений. Главный редактор издания А. С. Ерусалимский в ноябре 1960 г. обратился к М. К. Гринвальд со следующим письмом:

«Глубокоуважаемая Маргарита Константиновна!

Из беседы с проф. А. Л. Нарочницким членам редакционной коллегии по изданию Сочинений акад. Е. В. Тарле стало известно, что Вы в течение многих лет работаете над подготовкой к печати рукописи Е. В. Тарле, посвященной истории колониальной политики европейских держав в XVII и XVIII вв. Редакционная коллегия обращается к Вам с просьбой предоставить эту рукопись для ознакомления. Мы надеемся, что благодаря Вашему труду рукопись находится в таком состоянии, что она может быть включена в подготовляемый к печати XII (последний) том сочинений Е. В. Тарле».⁴⁸

23 мая 1961 г. М. К. Гринвальд писала секретарю редколлегии А. Г. Чернову: «На прошлой неделе послала в Москву проф. А. Л. Нарочницкому пять машинописных очерков Евгения Викторовича, каждый очерк от 50 до 55 страниц машинописи... Они представляют собой около половины всей работы. Называю ее очерки, а не лекции, потому что в данном виде ядро работы состоит из оригиналов Е. В., а лекционный материал привлечен для связи и дополнения их... Работаю по мере сил. Завет Е. В. для меня главное — и жалею, что этих сил не больше».⁴⁹ По-видимому, Ерусалимский просил известного ленинградского историка В. И. Рутенбурга помочь М. К. Гринвальд в работе и взять на себя редактирование книги. В. И. Рутенбург с готовностью согласился.⁵⁰ 28 ноября 1961 г. М. К. Гринвальд сообщала А. Г. Чернову: «Мы с Виктором Ивановичем

отнесли вчера на почту и отправили в Москву “Очерки” Е. В. Тарле четырьмя бандеролями». Очень трогательно звучат ее слова в том же письме: «Я бы очень хотела получить (во временное пользование) пачку фотографий Е. В. Тарле для соответствующего оформления их в альбоме». ⁵¹ Неизвестно, был ли собран такой альбом, а книга Е. В. Тарле «Очерки истории колониальной политики западноевропейских государств (конец XVI—середина XIX в.), составленная М. К. Гринвальд, вышла отдельным изданием в 1965 г. ⁵² М. К. Гринвальд также подготовила к печати статьи Е. В. Тарле «Пушкин как историк» и «Маццини и Гарибальди». ⁵³

В 1965 г., когда отмечалось 90-летие со дня рождения Е. В. Тарле, М. К. Гринвальд, по свидетельству очевидцев, присутствовала на юбилейном заседании, проходившем в Ленинграде в Малом конференц-зале Академии наук.

Маргарита Константиновна Гринвальд умерла 10 февраля 1968 г. в Ленинграде. ⁵⁴ По рассказу Д. П. Каллистова, переданному нам А. А. Фурсенко, ее отпевали в Никольском соборе.

Сохранился ли ее архив и где он находится, нам неизвестно.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Константин Константинович Грюнвальд (Constantin de Grunwald) (1881–1976) — русско-французский журналист, автор многих книг на исторические темы. Окончил юридический факультет Петербургского университета, до революции служил в Министерстве торговли и промышленности, издавал «Материалы для изучения внешних торговых рынков». С 1919 г. в эмиграции, с 1921 г. в Париже, где состоял сотрудником многих русских газет и журналов. С середины 1930-х гг. начал писать по-французски, выпустил биографии многих русских императоров, а также книги о Меттернихе, Бисмарке и т. д. В 1945–1970 гг. К. К. Грюнвальд был постоянным автором просоветской парижской газеты «Русские новости». Со 2-й половины 1950-х гг. он несколько раз приезжал в СССР. Одна из его французских книг переведена на русский язык. См.: *Грюнвальд К. Франко-русские союзы*. М., 1968.

² *Grunwald C. de. Les nuits blanches de Saint-Petersbourg*. Paris, 1968. P. 11, 31–32.

³ Архив СПбГУ. Ф. 1. Личное дело М. К. Гринвальд. Л. 1, 7, 31.

⁴ ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Д. 471. Л. 1–2.

⁵ См.: *Бергсон А. Время и свобода воли* / Пер. С. И. Гессена. С приложением статьи «Введение в метафизику» / Пер. М. Грюнвальд. М.; СПб., 1910. С. 195–238.

⁶ Сохранилось 13 коротких писем и открыток М. К. Гринвальд к М. А. Волошину за 1905–1914 гг. (ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Д. 471).

⁷ См.: *Лукницкая В. К. Николай Гумилев: Жизнь поэта по материалам архива семьи Лукницких*. Л., 1990. С. 88. В доме-музее Волошина в Коктебеле, как указывается в сборнике «Воспоминания о М. А. Волошине» (М., 1990. С. 714), сохранились очень краткие, на одной странице, воспоминания М. К. Гринвальд «Трудно говорить о человеке...».

⁸ РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 5700. Л. 24–25.

⁹ *Гринвальд М. К.* 1) Мемуары Гельфериха // *Анналы*. 1922. № 1. С. 221–225; 2) *Лансинг против Вильсона* // Там же. 1922. № 2. С. 296–298; 3) *Морская подготовка Англии пред мировой войною* // Там же. 1923. № 3. С. 293–296; 4) *Автобиография Марго Асквит* // Там же. 1924. № 4. С. 225–234.

¹⁰ *Гринвальд М. К. Английская дипломатия за 25 лет (1892–1916)* // *Морской сборник*. 1926. № 8–9. С. 190–204.

¹¹ Из воспоминаний К. Гельфериха / Пер. с нем. М. К. Гринвальд. Пг., 1922. 62 с.; *Чернин О. В дни мировой войны* / Пер. с нем. М. Константиновой. М.; Пг., 1923. 296 с.

¹² *Шмидт Ш. Июньские дни 1848 г.* / Пер. с фр. М. К. Гринвальд. Л., 1927. 108 с. В списке трудов М. К. Гринвальд, составленном ею,

значится также перевод работы А. Матъеза по истории Французской революции, но нам не удалось идентифицировать это издание. Возможно, что перевод был опубликован под другой фамилией.

¹³ Лондон Дж. Маленькая хозяйка большого дома / Пер. М. К. Гринвальд. Л., 1925. 328 с.

¹⁴ См. воспоминания одной из видных участниц кружка: Штакельберг Н. С. Кружок молодых историков и «Академическое дело» / Публ., послесл. Б. В. Ананьича // In memoriam: Исторический сборник памяти Ф. Ф. Перченка. М.; СПб., 1995. С. 19–86.

¹⁵ Там же. С. 36.

¹⁶ Там же. С. 37.

¹⁷ Там же. С. 40.

¹⁸ См.: Ананьич Б. В. О воспоминаниях Н. С. Штакельберг // Там же. С. 83.

¹⁹ Неизвестные письма российских ученых 20-х гг. / Публ. Я. Г. Рокитянского // Вестник АН СССР. 1991. № 1. С. 110.

²⁰ Ростов А. [Сигрист С. В.] Дело четырех академиков // Память: Ист. сб. Вып. 4. Париж, 1981. С. 477. Несмотря на позднейшую бесславную биографию С. В. Сигриста, который во время войны, оказавшись на оккупированной территории, стал видным коллаборационистом и нацистским пропагандистом, а позднее много лет скрывался за границей под различными псевдонимами (он умер в Италии в 1986 г.), у нас нет оснований не доверять этой информации.

²¹ Анциферов Н. П. Из дум о былом: Воспоминания / Подгот. к печ. А. И. Добкин. М., 1992. С. 339.

²² См.: Leningrad / Transl. M. Grinwald. Leningrad, 1934. 62 p.; Detskoye Selo: Parks and Palaces / Transl. M. Grinwald. Leningrad, 1934. 62 p.

²³ Архив СПбГУ. Ф. 1. Личное дело М. К. Гринвальд. Л. 1, 7–8, 31, 45.

²⁴ РНБ. Ф. 1086. Д. 13. Л. 34 об.

²⁵ Начальник ленинградской милиции в первые послевоенные годы.

²⁶ РНБ. Ф. 1086. Д. 14. Л. 20–21.

²⁷ Архив РАН. Ф. 627. Оп. 6. Д. 79. Passim.

²⁸ См.: Из литературного наследия академика Е. В. Тарле. М., 1981. С. 287, 320.

²⁹ Архив СПбГУ. Ф. 1. Личное дело М. К. Гринвальд. Л. 11 об.

³⁰ См.: Гринвальд М. К. Борьба либеральной партии против правительства Биконсфильда и внешняя политика Англии накануне и во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. (до Сан-Стефанского договора): Тез. дис. ... канд. ист. наук. Л.: ЛГУ, 1947. 3 с.

³¹ См.: Каганович Б. С. Е. В. Тарле: Новые разыскания // Русская наука в биографических очерках. СПб., 2003. С. 302–303.

³² Архив СПбГУ. Ф. 1. Личное дело М. К. Гринвальд. Л. 21.

³³ Там же. Л. 22, 23, 29.

³⁴ Там же. Л. 36, 39.

³⁵ Гринвальд М. К. Отношение либеральной партии к агрессивной и реакционной политике кабинета Дизраэли (Биконсфильда) на Ближнем Востоке в 1875–1878 гг. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1951. 15 с.

³⁶ Архив СПбГУ. Ф. 1. Личное дело М. К. Гринвальд. Л. 37.

³⁷ Там же. Л. 45, 48.

³⁸ РНБ. Ф. 1086. Д. 20. Л. 12.

³⁹ Там же. Д. 23. Л. 8.

⁴⁰ Там же. Д. 28. Л. 45.

⁴¹ Они были знакомы по крайней мере с 20-х гг. См.: Лукницкий П. Н. Встречи с Анной Ахматовой. Париж, 1991–1997. Т. 1–2 (см. по указателю имен).

⁴² Там же. Д. 26. Л. 23–24.

⁴³ Штакельберг Н. С. Кружок молодых историков... С. 58.

⁴⁴ Жена Е. В. Тарле. Умерла 27 февраля 1955 г.

⁴⁴ Grunwald C. de. Les nuits blanches de Saint-Petersbourg. P. 237–238.

⁴⁵ Архив РАН. Ф. 627. Оп. 6. Д. 62. Л. 37–39.

⁴⁶ Гринвальд М. К. Английские тексты для чтения. Методическое пособие. Л., 1957. 51 с.

⁴⁷ Grunwald C. de. Les nuits blanches de Saint-Petersbourg. P. 237–238.

⁴⁸ Архив РАН. Ф. 627. Оп. 6. Д. 48. Л. 72. А. Л. Нарочницкий являлся в то время главным редактором журнала «Новая и новейшая история».

⁴⁹ Там же. Л. 73.

⁵⁰ См.: Каганович Б. С. Е. В. Тарле: Новые разыскания. С. 309–310.

⁵¹ Архив РАН. Ф. 627. Оп. 6. Д. 48. Л. 92.

⁵² *Тарле Е. В.* Очерки истории колониальной политики западноевропейских государств (конец XVI — середина XIX в.) / Сост. М. К. Гринвальд; Отв. ред. В. И. Рутенбург. М.; Л., 1965. 428 с.

⁵³ См.: *Тарле Е. В.* Пушкин как историк / Предисл. М. В. Нечкиной // Новый мир. 1965. № 9. С. 211–220.

⁵⁴ Справка отдела ЗАГС Выборгского р-на С.-Петербурга, полученная автором настоящей статьи 13 июля 2004 г.

Ю. С. Сулаберидзе

М. А. ПОЛИЕВКТОВ И ЕГО ЛИЧНЫЙ ФОНД В ЦЕНТРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ИСТОРИЧЕСКОМ АРХИВЕ ГРУЗИИ

Михаил Александрович Полиевктов (1872–1942) окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. До революции — доцент Петроградского университета, профессор Высших женских курсов. В 1917–1920 гг. — заведующий секцией в Едином Государственном архивном фонде. Был женат на Расудане Николаевне Николадзе, дочери известного грузинского ученого и общественного деятеля Николая Яковлевича Николадзе. В 1920 г. переехал в г. Тбилиси и с тех пор до самой смерти жил в Грузии. В 1920–1924 гг. — профессор Тбилисского университета, в 1925–1934 гг. работал в Государственном архиве Грузии. Таким образом, в жизни М. А. Полиевктова были два периода: петербургский и тбилисский. Прожив в Грузии многие годы, М. А. Полиевктов тем не менее часто называл себя «старым петербуржцем». К этому были веские основания, прежде всего, его тесная связь с петербургской исторической школой. М. А. Полиевктов был учеником С. Ф. Платонова и Г. В. Форстена. Он также слушал лекции и занимался в семинарах И. В. Гревса, А. С. Лаппо-Данилевского, В. И. Сергеевича. К числу своих учителей М. А. Полиевктов причислял и П. Г. Виноградова.

М. А. Полиевктов был близким другом А. Е. Преснякова. В недавно изданной переписке А. Е. Преснякова с родными, начиная с 27 марта 1894 г. многократно упоминается М. А. Полиевктов.¹

Научные интересы М. А. Полиевктова в конце XIX — начале XX в. были обращены на историю России, в частности, на историю внешней политики России в XVIII в. В рамках этой тематики он подготовил магистерскую диссертацию, опубликованную в виде монографии «Балтийский вопрос в русской политике после Ништадтского мира (1721–1728)» (СПб., 1907). Много времени отдавая преподаванию, М. А. Полиевктов не оставлял исследовательских занятий. А. Е. Пресняков 19 сентября 1910 г. писал жене, что заходивший к нему в гости М. А. Полиевктов «в весьма рабочем настроении», что после статьи о Г. В. Форстене «примется за работу о русской торговой

политике после Петра В[еликого]», что, «если напишет, а материалу довольно много подобрано, доктором будет».² Со слов М. А. Полиевктова, А. Е. Пресняков писал и о других замыслах. Правда, докторскую диссертацию М. А. Полиевктов не написал. Но подготовил много других исследований и публикаций. В 1913 г. в свет вышла подготовленная М. А. Полиевктовым публикация «Остерман Андрей Иванович. Из переписки барона А. И. Остермана (письма к кн. Б. И. Куракину и гр. А. П. Головкину. 1727–1729)» (М., 1913). Привлекла внимание М. А. Полиевктова и история России XIX в. Интерес для современников представляли историографические обзоры М. А. Полиевктова, такие как «Литература по внешней русской истории XVIII–XIX вв. за 1900–1915» (Исторические известия. 1916. № 1. С. 42–68) и «Историческая литература по эпохе Николая I за 1900–1916 гг.» (Русский исторический журнал. 1917. Кн. 1. С. 230–255). Вскоре вышла в свет и монография «Николай I. Биография и обзор царствования» (М., 1918). Откликом на революционные события 1917 г. была брошюра М. А. Полиевктова «Родоначальники русской революции — декабристы» (1917. Изд. Н. Н. Карбасникова).

После переезда в Тбилиси М. А. Полиевктов много времени и сил посвятил изучению истории русско-грузинских отношений, усиленно занимался в архивах, готовил и издавал обзоры источников и исторической литературы. Были напечатаны статья «Кавказская археографическая комиссия и ее наследие в Центральном архиве Грузии», опубликованная в журнале «Саисторио Моамбе» (груз. — Исторический вестник. Тбилиси, 1925. Кн. 2. С. 105–119), книга «Старый Тифлис в известиях современников» (Тифлис, 1929). В 1930—начале 1940-х гг. М. А. Полиевктов издал работы «Русское академическое кавказоведение XVIII в.» (Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд. общественных наук. 1935. № 8. С. 759–774), «Экономические и политические разведки Московского государства XVII в. на Кавказе» (Тифлис, 1932), «Европейские путешественники XIII–XVIII вв. по Кавказу» (Тифлис, 1935). Расширились хронологические рамки тем, интересовавших М. А. Полиевктова. Издавал он и сборники документов. В 1937 г. были изданы «Материалы по истории грузино-русских отношений. 1615–1640» (Тбилиси, 1937). Сборник был подготовлен к печати М. А. Полиевктовым и включал документы посольств Веревкина, Харитона, Феодосия, Никифора, Гегенева и Волконского. Небольшие, но интересные работы М. А. Полиевктова появились незадолго до войны: «К вопросу о сношениях Ростом Карталинского с Москвою» (Тбилиси, 1940) и «Новые данные о московских художниках XVI–XVII вв. в Грузии» (Тбилиси, 1941).

В 1942 г. в дни Великой Отечественной войны М. А. Полиевктова не стало. Как видим, в свет вышло немало его работ, но не все замыслы были осуществлены. Многое осталось в рукописях. Тем большую ценность и интерес представляет фонд М. А. Полиевктова в государственном историческом архиве Грузии в Тбилиси.

Описание личного фонда профессора М. А. Полиевктова (1872–1942) (Ф. 1505)

Личный фонд профессора М. А. Полиевктова хранится в Центральном государственном историческом архиве (ЦГИА) Грузии. Всего в фонде 222 единицы хранения (по первой описи 218 ед. хр.). Материалы фонда охватывают период жизни и творчества ученого с 1928 по 1942 г. Составлено две описи фонда.

Опись первая составлена по тематическому принципу и имеет следующие разделы.

1. Библиографические сведения о профессоре М. А. Полиевктове;
2. Литературная деятельность;
3. Библиографические материалы;
4. Копии архивных материалов, собранные профессором М. А. Полиевктовым.

Первый раздел довольно подробно раскрывает биографическую канву жизни М. А. Полиевктова, дана автобиография ученого (на 10 листах), помещена фотография — портрет М. А. Полиевктова уже в зрелом возрасте. Ценность данного раздела заключается в том, что в нем имеется описание генеалогии рода Майковых (материнской линии М. А. Полиевктова), где воспитывался будущий ученый, так как он рано потерял отца.

Несомненно, традиции рода Майковых не могли не отразиться на творчестве М. А. Полиевктова.

Не исключено, что по линии отца род Полиевктовых вел родословную от татарских мурз, принявших христианство и перешедших на службу к русскому царю. Сама фамилия Полиевктовых переводится как «многомолящий». В связи с этим существует предание, что род мог вести родословную от основоположника нестяжателей Нила Сорского. Этим объясняется та особая духовность, которая царила в семье М. Полиевктова, самоотречение во имя духовного служения научному делу, избранному им.

Второй раздел личного архива ученого составляют как опубликованные, так и рукописные, черновые материалы, отражающие особенности его «научной лаборатории».

Особый интерес представляют неопубликованные материалы (с 1932 по 1940 г.), которые раскрывают процесс исследования истории русского кавказоведения с XVI по XVIII в. и начало XIX в. Начиная с послов Посольского приказа и завершая научными экспедициями Академии наук, вслед за С. Белокуровым, М. А. Полиевктов прослеживает методику и особенности исследования Кавказа и Грузии, отражая не только этапы взаимоотношений России и Грузии, но и развитие Российского государства.

Следует выделить те неопубликованные работы ученого, которые могут считаться основополагающими для характеристики его методологии.

1. Россия и Кавказ как проблема истории (1924, ед. хр. 12, л. 42);
2. Из истории русского кавказоведения в XVIII в. (1932, ед. хр. 14, л. 24);
3. По архивным следам Гильденштедта и его путешествие на Кавказ (ед. хр. 60, л. 48);
4. «Европейские путешественники по Кавказу (1800–1830)» (т. 1–2 — ед. хр. 29, 59; 3-й том исчез), 1-й и 2-й тома опубликованы, как и «Европейские путешественники XIII–XVIII вв. по Кавказу».

Итоговой работой М. А. Полиевктова по центральной теме исследования является работа, оставшаяся в рукописи, — «Очерки по истории русского кавказоведения в XVI–XVIII вв.» (ед. хр. 50). Она также осталась незавершенной, опирается на огромный материал, накопленный ученым в научных командировках в Москву и Ленинград с 1926 по 1939 г. Все это отражено в архиве (ед. хр. 97).

Одними из интереснейших документов фонда являются описание библиотеки видного русского ученого А. Е. Преснякова, составленное М. А. Полиевктовым (ед. хр. 104), и письма Ю. П. и Е. А. Пресняковых.

Ниже описание библиотеки А. Е. Преснякова и письма А. Е. и Ю. П. Пресняковых к М. А. Полиевктову приведены нами в оригинале. Исходя из содержания этих документов,

можно предполагать, что М. А. Полиевктов получил каталоги описаний библиотеки А. Е. Преснякова, хорошо ему знакомой. Но что стало с библиотекой в те тяжелые годы (начало 1930-х гг.), трудно сказать. К сожалению, в архиве недостаточно представлено эпистолярное наследие ученого. Из бесед с владелицей личного архива М. А. Полиевктова Зинаидой Леонидовной Николадзе-Полиевктовой тем не менее трудно понять причины исчезновения переписки между М. А. Полиевктовым и А. Е. Пресняковым. Необходимо продолжать поиск, хотя шансы найти библиотеку А. Е. Преснякова, видимо, небольшие.

В архивном фонде М. А. Полиевктова представлены материалы, отражающие его преподавательскую деятельность в вузах Тбилиси: рукописи лекций по истории международных отношений XIX–XX вв., истории России с древнейших времен, всеобщей истории, историографии, материалы к ним (ед. хр. 71–81). Сохранились отзывы на диссертационные работы учеников М. А. Полиевктова, в частности, на работу Я. З. Цинцадзе (ед. хр. 106). Имеется и рецензия Генко на работу М. А. Полиевктова «Европейские путешественники XIII–XVIII вв. по Кавказу» (ед. хр. 120).

Особый научный интерес представляет раздел библиографических материалов. М. А. Полиевктов накопил огромный архивный материал, до конца не оцененный в научной среде. Сам работавший продолжительное время в архивах, он оставил «Правила для издания архивного материала 16–18 веков» (ед. хр. 129), не потерявшие значения до настоящего времени.

Архив М. А. Полиевктова содержит копии грамот царя Теймураза (1652–1653), челобитные к царю Алексею Михайловичу, копии архивных документов по истории российских посольств в Грузию (ед. хр. 162–173). Кроме того, там находятся рабочие карточки к основным работам ученого, к диссертациям по русско-голландским, русско-английским, русско-французским, русско-датским отношениям, продолжающие тему: «Балтийский вопрос» (ед. хр. 137–154).

Значительный комплекс материалов в этом плане составляют письма Остермана к Петру I, Бестужеву, проект присоединения Голштинии к России (ед. хр. 175–196).

Ряд документов, хранящихся в фонде, уточняет некоторые детали биографии М. А. Полиевктова.

Как питомец Санкт-Петербургского университета, М. А. Полиевктов продолжал не только поддерживать, но и развивать связи с главой петербургской школы С. Ф. Платоновым и его преемником А. Е. Пресняковым по линии архивного дела. Благодаря сотрудничеству с ними были выявлены «дела грузинские» — документы из архивов не только Ленинграда, но и Москвы.

В своей рукописной работе «Как сложилась моя научная работа» (Тифлис, 1927) М. А. Полиевктов весьма благодарно отзывался о своих учителях. Он вспоминает, что под влиянием С. Ф. Платонова на 3-м курсе им было написано и защищено кандидатское сочинение «Наказы Екатерины II для составления проекта Нового уложения». Он получил золотую медаль и был оставлен для подготовки к профессорскому званию в Санкт-Петербургском университете.

В своих воспоминаниях М. А. Полиевктов особо выделяет влияние профессора Г. В. Форстена, обратившего его внимание на проблему международных отношений и во многом определившего круг интересов молодого ученого. Темой магистерской диссертации был избран «Балтийский вопрос в контексте системы международных

отношений XVIII века». В архивном фонде ученого находится значительное количество материалов, отражающих его работу по изучению балтийского вопроса. Научные поиски привели его к выявлению закономерностей внутреннего и внешнеполитического развития Российского государства с XVI в. до середины XIX в. М. А. Полиевктов пришел к выводу не только о взаимосвязи тенденций развития внутренней и внешней политики, но и о переключении векторности с балтийского направления на черноморское и каспийское. Сама логика научного исследования привела ученого к изучению восточного, и в частности кавказского, вопроса.

Еще несколько слов по поводу методологии автора. Представляется, что на творчество М. А. Полиевктова оказали огромное влияние методологические принципы В. О. Ключевского, определившие развитие не одного направления исторической мысли России. В. О. Ключевский заложил основы синтетического, социологического понимания истории, рассмотрения исторического процесса в конкретных географическом и личностном срезам. Его ученик, создатель «культурно-исторической школы» П. Н. Милюков предпринял попытку создания культурной истории, включавшей по сути дела все сферы общественной жизни. Не лишен был таких намерений и М. А. Полиевктов, автор «Очерков по истории русского кавказоведения в XVI–XVII вв.» — работы, завершавшей результаты исследований с начала 1920-х гг. до 1940 г.

На формирование концепции М. А. Полиевктова повлияла и «теория торгового капитализма» М. Н. Покровского, который под знаменем борьбы с буржуазными историками крушил своих противников. Однако можно утверждать, что огромный фактический материал, введенный в оборот М. А. Полиевктовым, не ложился в лоно ущербных догм первой марксистской интерпретации российской истории.

Методологический подход М. А. Полиевктова можно определить как «сетевой». В одной из своих методологических работ ученый подчеркивал: «Отношения России и Кавказа не есть отношения к какой-либо стране. Само собой разумеется, что отношения России к любой стране уясняются, вполне, лишь в контексте со всей сетью международных отношений за данное время».

В то же время М. А. Полиевктов подчеркивал самодостаточность кавказского культурного мира, отмечая, что «Кавказ является сложным комплексом отдельных миров, которые природа и история обрекли на совместное жительство».³

Изучая особенности восточной политики России, М. А. Полиевктов заострил внимание на поворотных этапах развития взаимоотношений России с Кавказом, в частности с Грузией. Здесь, несомненно, сказывалось влияние не только творчества Г. В. Форстена, но и С. Ф. Платонова, исследователя закономерностей «Смутного времени». «Узлы истории» послужили основой для периодизации российско-грузинских политико-культурных отношений.

Выделяя XVI–XVII вв., первую треть XVIII в. и конец XVIII—начало XIX в., М. А. Полиевктов обнаружил не только кардинальные повороты российской внутренней и внешней политики, отражавшей и стремление грузинских правителей к европеизации через Россию, но и выявил процесс институциональных изменений в их взаимоотношениях, анализируя «крестоцеловальные записи». Была создана целая галерея носителей политико-культурных связей, начиная с послов и дьяков Посольского приказа и завершая учеными Академии наук России, посетившими различные части Грузии накануне ее присоединения к Российской империи.

Основу концепции М. А. Полиевктова составляет положение о том, что Россия выполняет роль европейско-азиатского транзита. Ученый утверждает: «Вот это нужно иметь прежде всего в виду, говоря о такой тесной увязке в XVI–XVIII веках северо-западной европейской и юго-восточной азиатской политики России и о той роли, которую в этой увязке играет балтийско-волжско-каспийский путь».⁴

Им был собран огромный материал, получивший отражение в публикациях, но и оставшийся в основном в рукописном виде.

М. А. Полиевктов в значительной степени продвинул исследования предшественников — С. А. Белокурова, А. А. Цагарели, С. Буткова, Н. Ф. Дубровина.

Он сотрудничал со многими грузинскими учеными, закончившими также Санкт-Петербургский университет и сыгравшими огромную роль в развитии советской науки, становлении грузинской исторической науки — Н. Я. Марром, И. А. Джавахишвили.

В стенах Тбилисского университета, где долгое время преподавал М. А. Полиевктов, были воспитаны его ученики — Я. З. Цинцадзе, Г. Пайчадзе, В. Мачарадзе и др. Определилась область исследований — политико-культурные отношения России и Грузии, выявлена архивная база исследований.

М. А. Полиевктов, можно сказать, в значительной степени повторил роль выдающегося исследователя М. И. Броссе, посланного Российской Академией наук для становления научного кавказоведения Грузии. Он являлся продолжателем традиций сотрудничества российских и грузинских ученых, обогащавших друг друга ценностями национальных культур.

Творческое наследие М. А. Полиевктова не потеряло своей значимости в нынешнее время. Его идеи, труды, архивные материалы могут и должны послужить восстановлению и развитию культурно-научных взаимоотношений между Грузией и Россией.

Описание библиотеки профессора А. Е. Преснякова, составленное М. А. Полиевктовым

Поступающая в настоящее время в продажу библиотека покойного профессора А. Е. Преснякова (нынешний владелец библиотеки — вдова А. Е. Преснякова) состоит главным образом из книг по русской истории в широком смысле слова, включается сюда и история хозяйства, права, литературы и т. п., и вспомогательные исторические дисциплины, а также отчасти и книги по всеобщей истории Запада и Востока.

Главные отделы этой библиотеки:

1. Публикации исторических источников (до 300 названий, около 780 книг).
2. Труды и исследования по русской истории на русском и украинском языках (до 1900 названий, 2300 книг).
3. Далее следуют труды и публикации по всеобщей истории на русском, французском, немецком, английском и польском языках (до 1030 названий, около 1250 книг).
4. Кроме того, большой отдел периодических изданий, среди которых полные комплекты таких ценных и редких в настоящее время изданий, как «Русская Старина» и «Русский Архив» (всего по этому отделу — до 80 названий, около 1100 книг).

Полностью библиотека заключает в себе 3306 названий, 5821 книг. Составленный для продажи ее каталог передан мною тов. В. М. Беридзе.

Библиотека подобрана весьма полно и тщательно. В 1-м отделе собраны публикации исторических источников, начиная с издания Археографической комиссии 1830-х годов и кончая публикациями Центрархива РСФСР, Истпарта, Коммунистической Академии, Института Маркса и Энгельса, Коминтерна и Красного Профинтерна.

Во 2-м отделе — полный подбор главных представителей русской исторической науки, начиная с Карамзина (изд. 1842 г. Эйнерлинга), Соловьева, Ключевского, Платонова и кончая Плехановым, Лениным, Покровским и Рожковым, а также труды целого ряда крупных русских историков (Иконников, Антонович, Милюков, Павлов-Сильванский, Лаппо-Данилевский, Буслаев и многие другие). Целый ряд современных и умерших историков, полного собрания сочинений которых уже нет, представлен почти полностью (Марр, статистик А. Кауфман, Веселовский и др.).

С другой стороны, здесь же собрано много отдельных исследований, [которые] в настоящее время с большим трудом находят[ся] на книжном рынке. Следует отметить также большое количество дореволюционных провинциальных изданий, находить которые очень трудно, а для революционного периода — издания новых национально-политических образований СССР, за чем покойный А. Е. Пресняков следил с большим интересом. В отделе книг на иностранных языках обращает на себя внимание отдел исторических трудов и публикаций на польском языке: среди русских историков А. Е. Пресняков был одним из немногих выдающихся знатоков польской исторической науки.

Библиотека А. Е. Преснякова мне хорошо известна. Она создавалась у меня на глазах.

(Машинопись прерывается).

Центральный государственный исторический архив Грузии. Ф. 1505. Д. 104. Л. 1.

**Письмо Ю. П. Пресняковой к М. А. Полиевктову
от 19 февраля 1930 г.**

Дорогой Михаил Александрович. Только что получила Вашу открытку. Вы не имеете понятия, до какой степени я устала нервно от библиотеки. Я чувствую, что она стоит, и не могу сдвинуть: конечно, была большая ошибка, что я взялась за это дело сама, надо было давно кого-нибудь нанять, никто меня и не надоумил, что это сложное дело, чем я думала. Теперь уже некоторое время работает одна дамочка, на днях закончит...

А вообще у нас очень тяжелая атмосфера с Академией. Ну да, у нас недавно был Н. Марр, значит, все подробности до конца узнаете. Который раз назначенный вечер памяти А. Е. Преснякова срывается, потому что некому читать и слушать.

Что касается библиотеки, то это дело меня очень волнует, и крайне необходимо, чтобы дать возможность Славе окончить, ибо из пенсии 90 рублей не очень поможешь. У нас из Алма-Аты есть тоже телеграмма, что условия подходят, ждут каталога. Теперь посмотрим, кто перетянет. Напишите: какое учреждение в Самарканде, я туда адресовала на Университет. Письмо вернулось за ненахождением данного адресата. Привет Вам. Целую ваша Преснякова.

**Письмо Е. А. Преснякова М. А. Полиевктову
от 20 марта 1930 г.**

Сейчас можем выслать каталог иностранцев. На днях кончим русскую историю и русские книги по всеобщей истории. Немного позже — «Источники, фонды и периодика». Ориентировочно, по русской истории 16 полок, по всеобщей на русском — 4 полки. Из «Фондов» — полное собрание летописей, издания Археографической комиссии. Комплект русской истории за 47 лет, недостает № 1 [за] 1881 г., который можно купить за 5 руб. Комплект «Русского Архива», «Исторического вестника», «Свод законов», «Архив Шереметева», Тургеневых, Мордвиновых и т. д.

Подробный каталог через пять дней сдадим машинистке и вышлем к вам немедленно.

Сейчас заканчиваем практически составлять библиографию с включением в нее рецензий о работах А. Е. Она вместе с 2–3 фотографиями, биографической канвой и описанием рукописного наследства намечена изданием, возможно, через комитет по истории знаний, в виде отдельного сборника. Не могли ли Вы дополнить сведениями по Тифлису? Может быть, некрологе и т. д.

Гутик.

Из личного фонда Зинаиды Леонидовны Николадзе-Полиевктовой.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Александр Евгеньевич Пресняков. Письма и дневники 1889–1927. СПб., 2005. С. 135; см. также: Именной указатель // Там же. С. 945.

² Там же. С. 680.

³ Полиевктов М. Россия и Кавказ как проблема внешней политики России (ЦГИА Грузии. Ф. 1505. Оп. 1. Ед. хр. 12. Л. 14–15).

⁴ Полиевктов М. Очерки по истории русского кавказоведения в XVI–XVII вв. (Там же. Ед. хр. 50. Л. 67).

В. Г. Вовина-Лебедева

**А. А. ШАХМАТОВ-ТЕКСТОЛОГ
И «РУССКИЕ МЛАДОГРАММАТИКИ»**

Середина XIX в. в России ознаменовалась отходом в прошлое энциклопедического образования и возникновением отдельных научных школ и направлений, в том числе в области древнерусской истории и книжности. Первоначально они были заимствованы из Европы, но творчески усвоены и затем развиты несколькими поколениями русских ученых. На историю изучения текстов наибольшее влияние оказали мифологическая и культурно-историческая школы.

Идеи сравнительной мифологии приобрели необыкновенную популярность и вскоре стали известны в России после появления трудов знаменитых братьев Гримм. Они сильно повлияли на известного собирателя и исследователя русских сказок А. Н. Афанасьева, профессора Московского университета Ф. И. Буслаева, а в Петербурге — на О. Ф. Миллера и молодого еще тогда А. Н. Веселовского. Последний посвятил методу сравнительной мифологии одну свою раннюю работу,¹ и в дальнейшем пользовался ее приемами при сравнительном изучении западноевропейских литератур.² Для нас особый интерес в этой связи представляет влияние мифологической школы на Ф. И. Буслаева. Воспитанник Московского университета, затем его профессор, лингвист, впервые в России начавший читать курс научного языкознания, показавший необходимость изучения истории русского языка, он во второй половине своей научной деятельности отошел от вопросов лингвистики и целиком занялся проблемами истории древнерусской литературы и фольклора, впервые применив к этой области сравнительный метод. В это время популярны были труды Ф. Бенфея по фольклористике, его «теория заимствования» — новое ответвление старой гриммовской школы.³ Ф. И. Буслаев был сторонником именно бенфеевского направления. Влияние Ф. И. Буслаева на славистов его времени, как московских, так и петербургских, было весьма значительным. Его учениками в области изучения древнерусской словесности были Н. С. Тихонравов и А. Н. Веселовский, а в области лингвистики Ф. Ф. Фортунатов, учитель А. А. Шахматова. Последний, таким образом, был «внуком» Буслаева в научном плане. Другой выдающийся ученик Ф. Ф. Фортунатова лингвист Е. Ф. Будде, вспоминая о влиянии Буслаева на Фортунатова и ученых его круга, писал: «Мы все собственно — буслаевцы, его ученики и воспитанники...».

Н. С. Тихонравов (бывший много лет ректором Московского университета), так же как и А. Н. Пыпин (воспитанник Петербургского университета, ученик И. И. Срезневского), стали основоположниками культурно-исторической школы в России, идущей от трудов И. Тэна и Ф. Брюнетьера.⁴ Главная идея этого направления заключалась в изучении среды «породившей» литературные произведения. В конце XIX — начале XX в. культурно-историческое направление так прочно вошло в научное сознание и в университетские курсы, что можно говорить о засильи этой школы, вызывавшей «антиисторическую» реакцию, например у Ю. Айхенвальда и Д. С. Мережковского, намеренно стремящихся в своих критических работах оторвать художественное произведение от культурно-исторического контекста.⁵ В русле культурно-исторического направления сформировалось несколько поколений ученых, в том числе и специалистов по древнерусской письменности. Среди них можно выделить А. Н. Веселовского, его ученика И. Н. Жданова, а также В. М. Истрина и В. Н. Перетца. С течением времени для представителей этой школы все большее значение приобретало понятие «текста» и «критики текста» как в философском, так и в методическом плане. В европейской текстологии с середины XIX в. господствовала теория «общих ошибок» Карла Лахмана, хотя и подвергнутая в конце века критике со стороны Шарля Бедье.⁶ В России во времена Шахматова как раз в соответствии с этим стали появляться специальные исследования по методам текстологии древнерусской литературы. Особенно следует отметить работу киевского семинара В. Н. Перетца.⁷

Как видим, творчество Шахматова возникло на волне общего расцвета в изучении древнерусской письменности в конце XIX — начале XX в., и, конечно, это не может

считаться случайным. Ученый, несомненно, питался идеями, которые были усвоены и творчески развиты на русской почве еще поколением его учителей и продолжали быть в центре внимания его современников и коллег. Но у Шахматова как историка древних текстов, кроме того, была одна особенность — его лингвистическая выучка, полученная у Ф. Ф. Фортунатова и отличавшая его впоследствии от коллег, занимающихся тем же кругом тем, но подходивших к их изучению с позиций чистой текстологии на манер Лахмана. Шахматов проделал тот же путь, что и Буслаев, а до него — братья Grimm: перешел от сравнительного языкознания к сравнительному изучению литературного материала (в случае братьев Grimm — материала фольклора). Разница состояла лишь в том, что он не бросил занятий лингвистикой, обратившись к изучению летописей. В этом смысле его скорее можно сблизить с братьями Grimm, чем с Буслаевым. Начиная с 1890-х гг. Шахматов существовал одновременно в двух ипостасях: как лингвист и как специалист по летописям. Со временем он все больше склонялся в сторону собственно истории.

Шахматов сам осознавал зависимость подхода к исследованию летописей от своего лингвистического опыта. В некрологе Фортунатова он писал: «Подобно тому, как исследование языка ... становится научным только после привлечения к систематическому сравнению данных нескольких родственных языков ... так же точно исследователь литературного памятника должен, прежде всего, подвергнуть этот памятник сравнительному изучению с ближайшими, наиболее сходными, для того, чтобы определить последовательный ход в развитии исследуемого памятника и восстановить тот первоначальный вид, к которому он восходит».⁸

Это была московская лингвистическая школа. Ф. Ф. Фортунатов по праву считается основателем русской традиции сравнительного языкознания. Именно он разработал саму процедуру сравнения, превратившую лингвистику в самую строгую из гуманитарных наук. Он разработал как инструмент лингвистического анализа тот сравнительно-исторический метод, который потом Шахматов применил к летописанию, а, например, А. Н. Веселовский — к художественной литературе.⁹ Влияние Фортунатова на Шахматова было огромным в течение всей жизни. И многие его особенности как ученого и в исследовании русского языка, и в исследовании летописных текстов объясняются этим влиянием.

Фортунатов как лингвист стоял близко к так называемому младограмматическому направлению, распространившемуся в 70-х гг. XIX в. в Германии (К. Бругман, Б. Дельбрюк и др. — «лейпцигские языковеды»). Часто о нем пишут как о «русском младограмматике».¹⁰ От младограмматиков Фортунатов воспринял строгую методику сравнительно-исторических построений. Они полагали, что языкознание должно заниматься главным образом эмпирическими исследованиями, ведущими к конечной цели — воссозданию индоевропейского праязыка, чему сопутствует и изучение истории развития отдельных индоевропейских языков. Фортунатов видел задачу языковедения в том, чтобы «исследовать человеческий язык в его истории», что требует «определения родственных отношений между отдельными языками» и сравнительного изучения тех языков, которые «имеют в прошлом общую историю, то есть родственны по происхождению», благодаря чему должно открыться «то прошлое в жизни нашего языка, когда он вместе с другими славянскими языками составлял один общий язык».¹¹

Исследователи творчества А. А. Шахматова обычно изучают какой-либо один его срез: либо лингвистический, либо текстологический.¹² Это оправдано, если целью

исследования является изучение вклада ученого только в какую-то определенную сферу, но взгляд на творчество такого ученого, как Шахматов, получается односторонним. Между тем увидеть разный материал, к которому он прилагал свой метод, как раз — цель нашего исследования. Полагаем, что языковедческие занятия Шахматова влияли на методы изучения им летописей более, нежели принято считать. Попытаемся проследить черты школы Фортунатова, проявлявшиеся как в лингвистических, так и в летописных занятиях Шахматова.

Известно (сам Шахматов отмечал это), что Фортунатов в своих изысканиях считал крайне важным привлекать с возможно большей полнотой все доступные источники.¹³ И эту же черту мы наблюдаем у Шахматова и как у лингвиста, и как у историка летописания. Уже в своей критике И. А. Тихомирова он указывал, что «успешное изучение московских летописных сводов может начаться только тогда, когда к сравнительно-историческому исследованию будет привлечен весь необходимый для того материал».¹⁴ Его собственные научные построения всегда базировались на огромном летописном материале. И он был первым после Й. Добровского, кто для исследования первоначальной русской летописи считал необходимым привлекать все известные летописи, как ранние, так и поздние. Об этом свидетельствует найденный после его смерти труд, частично изданный впоследствии.¹⁵

Другой чертой, идущей, как кажется от Фортунатова, было внимание Шахматова к деталям. Фортунатов проводил сравнительные исследования языков не путем крупных сопоставлений, а путем сопоставления элементов их развития и изменения, вплоть до отдельного слова и его частей. Шахматов как лингвист делал то же. Сравнение летописных текстов он проводил как можно более подробно, исследуя изменения даже таких элементов, как например орфография. За это, кстати сказать, его многие критиковали. Так, С. А. Бугославский видел недостаток Шахматова в том, что он часто строил свои выводы о родстве текстов на основе анализа «мелких особенностей языка и орфографии».¹⁶ Примерно то же, хотя и без негативного оттенка, отмечал Готье, когда писал, что Шахматов при исследовании исторических явлений применял «микроскопический анализ явлений языка», в связи с чем «присутствие или отсутствие того или иного звука или слова в живом языке или в письменных источниках нередко является для него отправной точкой для целой цепи наблюдений и выводов».¹⁷ Блистательные образцы такого рода «микроскопического анализа» летописного текста можно обнаружить во многих трудах ученого. В наибольшей степени, быть может, это явление характерно для его «Разысканий о древнейших русских летописных сводах».¹⁸ В качестве примеров, ставших классическими, можно привести анализ текста об осенней дани Игоря и исследование множественного и двойственного чисел в рассказе о завоевании Олегом и Игорем Киева.

На следующий момент сходства с Фортунатовым также указывал сам Шахматов, отметив, что его учитель, «сосредоточивая внимание на отдельных явлениях ... без труда при анализе их, возвращался к пересмотру прежних своих положений, не стесняемый произвольно придуманными связями их с другими явлениями».¹⁹ Между тем именно эта черта, т. е. способность пересматривать свои старые построения, отказываясь от слабых звеньев, ясно видна в трудах самого Шахматова как лингвиста, так и текстолога. Д. В. Бубрих писал о методе Шахматова в исследовании славянской акцентологии: «...возникают все новые и новые вопросы и недоумения. Уже сложившееся было учение претерпевает все новые и новые изменения».²⁰ Исследователи творчества

Шахматова-лингвиста отмечали, что, если предложенная гипотеза с течением времени переставала объяснять все языковые факты, Шахматов обычно заменял ее, откуда происходило, как и у Фортунатова, несходство многих взглядов его, высказанных в начале научной деятельности и в конце.²¹ Это же, как известно, можно полностью отнести и к занятиям Шахматова летописями. М. Д. Приселков даже писал в связи с этим о некоторой «видимой неустойчивости» выводов Шахматова в глазах многих его читателей.²² Для коллег, занимающихся древнерусской литературой и историей, это создавало определенные трудности при жизни Шахматова. Как писал В. М. Истрин, «появлявшиеся одна за другой статьи автора по вопросам летописания приучили исследователей к мысли, что взгляды автора еще не установились окончательно, что процесс его творчества еще продолжается и что каждая следующая статья будет вносить новые данные в прежние положения».²³

Эта черта творчества Шахматова до сих пор не связывалась со школой Фортунатова. Д. С. Лихачев объяснял ее тем, что Шахматов «не декларировал принципов своих исследований», а потому «был внутренне свободен в них», а между тем «методические приемы исследований Шахматова также менялись по мере вовлечения им в круг своих интересов все нового и нового материала».²⁴ Причину «колебаний» оценок и выводов в работах Шахматова видели в огромном объеме летописного материала, который с неизбежностью нужно было сначала просто расставить в определенной последовательности, хотя бы и «начерно», чтобы потом все более и более скрупулезно исследовать отдельные элементы этой схемы, «оттачивая» мелкие детали. Он сам призывал в письме к В. А. Пархоменко относиться к его предположениям с большой осторожностью, так как многие из его гипотез «имеют часто временный характер», это «рабочие гипотезы», без которых он не может обойтись «для дальнейшей работы...».²⁵ М. Д. Приселков называл этот прием Шахматова «методом больших скобок», какими пользуются «при решении сложного алгебраического выражения», для того чтобы «потом, позднее, приступить к раскрытию этих скобок, т. е. к уточнению анализа текста». Как заметил Я. С. Лурье, это казалось странным тем исследователям, «которые привыкли и умели оперировать только над простым и легко читаемым текстом».²⁶ Признавая справедливость подобного объяснения, следует отметить, что для самого Шахматова эти стадии творчества возможно и не были так четко разделяемы, и приселковские «большие скобки» в самих текстах Шахматова не так уж ясно выступают. Вероятно, кроме соображений удобства исследования, здесь крылся для Шахматова и некоторый принципиальный момент, и можно связать эту особенность Шахматова с другой его чертой, а именно с его особым отношением к догадкам в научном исследовании. Еще в рецензии на работу И. А. Тихомирова Шахматов отмечал, что сравнительно-исторический метод должен быть признан единственно надежным и правильным путем исследования летописей даже в том случае, если «результаты такого исследования покажутся гадательными и окажутся впоследствии ошибочными».²⁷ Я. С. Лурье писал, что догадки у Шахматова были лишь дополнением к его обоснованным гипотезам. Думается, нельзя согласиться с этим во всех случаях. Для Шахматова, однако, не существовало такого четкого, как для Я. С. Лурье,²⁸ разделения на догадки и гипотезы. Кроме того, по свидетельству С. П. Обнорского, Шахматов «не любил типа ученых, корпящих над одними фактами и не решающихся из-за них к выводам, и, напротив, из малого количества данных требовал выводов, ждал предположений, пусть даже предварительных, но все же

развивающих путь к абсолютной истине», так как «гипотеза, даже неверная, будит мысль».²⁹ Н. К. Никольский подчеркивал также, что «к отличительным приемам его (Шахматова. — В. В.) изысканий принадлежит совместное пользование не только средствами Аристотелиевской логики, но и сетью гипотетических суждений».³⁰ На лингвистическом материале такой особый подход Шахматова виден на примере его полемики с Л. В. Щербой по вопросу об исторической фонетике лужицкого языка. Критикуя книгу Л. В. Щербы, Шахматов специально отметил, что автор «скуп» на гипотезы и «считает благоразумным воздержаться от гипотез о предшествующем языковом состоянии». Речь шла о возможности восстановить факты «общелужицкого единства», эпохи, о которой Щерба писал, что она «в значительной степени является предметом веры, но не знания», а Шахматов противопоставлял этому «ряд общелужицких явлений».³¹ На эту же черту обращал внимание В. В. Виноградов, указывая, что Шахматов-лингвист «не чуждался ни смелых гипотез, ни широких обобщений», привлекая для построения своей новой концепции истории русского языка и историко-литературные, и этнографические, и сравнительно-исторические соображения, но при этом сам «все яснее видел слабые стороны своих величественных построений, непрочность, недостаточность и бедность научного лингвистического материала, который был положен им в основу этих грандиозных сооружений».³²

Если мы обратимся к работам Шахматова по истории летописания, то столкнемся в какой-то мере с тем же явлением. В рецензии на книгу В. А. Пархоменко, он замечает по поводу сформулированной последним теории Азовской Руси: «Позволю себе предостеречь В. А. Пархоменко от слишком широких обобщений и слишком сложных гипотез. *Трудно, конечно, освободиться от влияния широких обобщающих построений*, но к этому освобождению надо пока стремиться», добавляя далее, что «путь для обобщений должен быть проложен, прежде всего, критическим изучением источников».³³ В своих собственных работах Шахматов многое строил как на гипотезах, так и на догадках, особенно, когда речь шла о раннем периоде летописания, о том времени, по которому беден сравнительно-текстологический материал. По существу, на серии гипотез и догадок построено его исследование древнейшего киевского и древнейшего новгородского сводов и многие другие построения. За это его многократно критиковали. Например, после выхода «Разысканий...» многим сразу бросилась в глаза искусственность построения сюжета о былинных предках князя Владимира. Ю. В. Готье охарактеризовал этот сюжет как «необычайно интересную, но почти фантастическую генеалогию» и как «здание, построенное на песке».³⁴ Резкой критике подверг это построение Шахматова в специальной статье польский историк А. Брюкнер,³⁵ охарактеризовав его метод как путь от фантазии к фантазии и отметив, что «starszy Dumas i młodszy Sienkiewicz mogliby Szachmatowu pozazdrościć» («старший Дюма и молодой Сенкевич могли бы Шахматову позавидовать»). Брюкнер указал на ряд совершенно неубедительных, по его мнению, посылок, на которых Шахматов строил свою концепцию первоначального вида текста о древлянской дани Игоря, в частности, на идею тождества имен «Мискины» (Длугошь), Мьстиши и Мала («Повесть временных лет»), тождества древлянского города Клеческа и легендарного Кольца, Мала Древлянского и Малка Любечанина (как «Малка Кольчанина»). Статья Брюкнера вызвала в свою очередь ответ со стороны А. И. Лященко.³⁶ Критикуя резкие высказывания Брюкнера в адрес Шахматова и подчеркивая заслуги последнего в области изучения русского летописания, Лященко тем не менее сам

признал, что «эта идея Шахматова — одно из его наиболее зыбких построений», и увидел причину в том, что «здесь А. А. Шахматов как бы отступил от принятого им пути критики текста, перейдя на другое поприще — критика-историка». С последним объяснением трудно согласиться, поскольку весь данный сюжет построен именно на трактовке летописного текста. А вот на историческую неправдоподобность шахматовской трактовки Брюкнер указал особо, заметив, что «свириная нормандка» Ольга не стала бы оставлять в живых убийцу своего мужа — князя Мала и его детей.

Нам представляется, что построение Шахматова о «былиных предках Владимира»³⁷ — не исключение из его творчества, а только отражение доведенного до предела его положения о том, что всякое недоумение, вызванное противоречиями в тексте, должно и может получить свое объяснение, пусть сугубо предположительное. Ведь текст «Повести временных лет» в рассматриваемом месте нельзя назвать логичным и полностью связным. Из него неясно, например, кто такие Мистиша и Мальфред (под этим именем Шахматов предлагает видеть Малушу), что случилось с князем Малом после взятия его города, наконец, как мог так долго жить воевода Свенельд, служивший трем поколениям киевских князей (Игорь–Святослав–Ярополк) и т. д. Шахматов же в итоге своего построения предложил читателю другой, «первоначальный», и при этом внутренне непротиворечивый текст, снимая те «искажения», которые умышленно или неумышленно были допущены, по его мнению, последующими редакторами. Здесь Шахматов исходил из представления, вообще ему свойственного, что текст изначально не может быть противоречивым, и всякого рода противоречия и непонятные места есть свидетельства его позднейшего присхождения. В некотором смысле он оказывался близок А.-Л. Шлецеру и немецкой науке его времени, для которой принципиально важным было положение о затемняющей первоначальный смысл древнего текста последующей его порче и извлечении «первоначального Нестора» как главной задаче текстологии. Сходство, возможно, поверхностное, но оно подтверждает, хотя, быть может, и с несколько неожиданной стороны, мысль М. Д. Приселкова о том, что Шахматов через головы своих предшественников мог «протянуть руку старику Шлецеру».³⁸

Я. С. Лурье писал, что Шахматов, работая с древнейшими летописными рассказами, был вынужден строить свои рассуждения на предположениях и догадках главным образом потому, что для этого периода отсутствуют параллельные тексты. Суть же шахматовского метода, по Лурье, проявилась в полной мере только на материале исследования сводов XIV–XV вв., представляющих богатый материал для сличения.³⁹ Поэтому нужно отличать выводы, сделанные Шахматовым на основе сравнения текстов летописей этого периода, выводы, ведущие к восстановлению их гипотетических общих протографов (Шахматов не употреблял понятия «архетип», как это делали и продолжают делать обыкновенно текстологи, а использовал исключительно понятие «протограф», это можно сказать и о других ученых его школы), от его же выводов, но полученных путем сравнительного изучения уже этих гипотетических протографов и ведущих к получению протографов второго ряда, а затем третьего и т. д. Еще меньшей степенью доказательности обладают выводы, полученные в том случае, когда материала для сравнительного исследования нет вообще или он крайне беден. Рассуждение это, конечно, справедливо. Однако необходимо сделать одну оговорку. Сам Шахматов не считал своей основной целью анализ поздних сводов, видя в нем лишь путь проникновения в толщу веков и в толщу летописных текстов, скрытых в их основании.

Восстановление первоначального вида «Повести временных лет» и ее источников, решение вопроса о происхождении русской летописи — вот в чем заключался важнейший смысл его творчества в области летописания. В области лингвистики он поделился в разрешении проблемы происхождения русского языка, его наречий и говоров. В совокупности языковедческих и источниковедческих работ это был, конечно, вопрос о происхождении русского народа, т. е. вопрос, по масштабу своему как раз соответствующий масштабу творческого дарования Шахматова. Стремясь к его разрешению, Шахматов и на материале древнейшего летописания, верный своим принципам, высказанным еще в отзыве на работу И. А. Тихомирова и заключающимся в том, что исследователь любого литературного памятника должен прежде всего подвергнуть его сравнительному изучению с другими, близкими, чтобы восстановить его первоначальный вид, стремился найти и находил этот материал для сравнения даже, когда речь шла о древнейшем периоде летописания. Поэтому для анализа древнейших этапов летописания им были привлечены кроме текста «Повести временных лет» Новгородская 1 летопись Старшего и Младшего изводов, Новгородская 4 и Софийская 1 летописи, Сказание мниха Иакова, различные варианты Жития Бориса и Глеба, наконец, как в рассмотренном случае, — хроника Длугоша и даже былины. И его выводы относительно древнейших русских летописных сводов с его точки зрения должны были вполне соответствовать требованиям сравнительной текстологии. Поэтому речь должна идти не только о бедности материала, имевшегося у Шахматова, когда он писал о начале летописания, т. е. не только об объективных трудностях исследования этого периода, но и об особенностях отношения Шахматова к тексту, в котором сочетались моменты одновременно идущие от его школы и присущие ему лично, его творческой индивидуальности.

Думается, что такой подход Шахматова объясняется присущей ему убежденностью в неограниченных возможностях сравнительно-исторического метода как при исследовании явлений текста, так и при исследовании явлений языка. С. П. Обнорский отмечал, что характерной чертой Шахматова-лингвиста было «не обходить, не бояться трудных, даже неразрешимых научных вопросов, а пытаться найти хотя бы гипотетическое разрешение».⁴⁰ Об этом очень хорошо написал М. Д. Приселков, когда указывал на поразительные результаты трудов Шахматова и на «побежденные в них списки всех русских летописных сводов, до того совершенно не тронутые взаимным сличением».⁴¹ Определение «побежденные» в отношении летописных текстов кажется в этой связи знаменательным. Идеей «победы» над текстом, над временем, этот текст затуманившим, над чередой летописцев, его сознательно изменявших, проникнуты работы Шахматова. М. Д. Приселков с восторгом писал о том, что «из истории нашей умственной жизни рукою А. А. удален надуманный и пустой образ летописца-монаха, далекого от жизни и мирской суеты».⁴² И это же весьма едко, а потому, конечно, и несколько утрированно подметил И. П. Еремин, писавший, что у Шахматова уже «отчетливо намечен» образ летописца — «многоопытного литератора-чиновника» «политической канцелярии» князя, его официозного апологета и послушного исполнителя его поручений по части идеологической «обработки» общественного мнения, образ — окончательно дорисованный последователями Шахматова (т. е. М. Д. Приселковым, против которого в основном и направлена критика И. П. Еремина, и у которого действительно этот мотив разработан более глубоко).⁴³

Стремление Шахматова дать объяснение абсолютно всем имеющимся у него фактам (как языковым, так и касающимся летописей) обусловило и особый способ построения им своей аргументации. Л. В. Щерба писал, что «его исследование не походило на стройный полет одинокой стрелы, ...оно все шумело бесчисленными стрелами мысли, ...бывало полно гипотетических звеньев, предположений». При этом он отмечал, что у Шахматова «решительно все факты находят себе место и объяснение в его системах и притом зачастую оказываются нанизанными на разветвления одной и той же идеи». Слабость этого подхода заключалась в том, что достаточно было поколебать какой-то элемент его построения, чтобы разрушить всю систему. Этим же, по мнению Щербы, объяснялось и то уже отмеченное нами обстоятельство, что он был вынужден неоднократно перестраивать свои конструкции.⁴⁴

Строгость логических построений Шахматова несомненно идет от Фортунатова. В работах последнего был очень силен элемент формальной логики и часто используются цепи логических рассуждений, нанизанных одно на другое. Если мы обратимся к работам Шахматова по летописанию, то увидим картину, во многом сходную. Именно так, например, он строил рассуждения о существовании древнейшего новгородского свода, о редакциях «Повести временных лет» и т. п. К одной и той же мысли Шахматов подходит с разных сторон, то ближе, то дальше, но двигаясь к единой цели. Причем взятые по одиночке аналитические цепи его рассуждений не являются достаточными, но в совокупности создают впечатление нерушимого монолита, который невозможно поколебать.

Его учителя Фортунатова часто называли «формалистом». Действительно, он занимался в основном формой языка, т. е. его звучанием и графикой, а не его значением. Именно в этих областях были созданы его выдающиеся труды по сравнительной морфологии, сравнительной грамматике и сравнительной фонетике индоевропейских языков. И Шахматова на этих же основаниях вслед за Фортунатовым можно назвать «формалистом», поскольку он также в основном интересовался развитием формы, т. е. движением текстов. Вопрос, который два столетия был основным для исследователей русских летописей, вопрос о достоверности летописных сообщений, не занимал его в том смысле, в каком он занимал «скептиков» и «антискептиков». «Исторические факты дошли до нас в литературной традиции, они светят через тусклую призму литературных памятников», — писал он В. А. Пархоменко.⁴⁵ Нельзя не согласиться с Д. С. Лихачевым, отмечавшим, что Шахматов «занимался историей русского летописания не в узкоутилитарных целях, а потому, что история летописных сводов имеет глубоко самостоятельное значение, как часть истории культуры русского народа». Именно поэтому Шахматов «никогда не называл свои работы источниковедческими, а себя источниковедом». Для него «летопись была достойна изучения сама по себе».⁴⁶ Поэтому и достоверность Шахматов понимал как достоверность реконструкции, восстановления исчезнувших текстов. В этом смысле вопрос о достоверности был для него очень важен. А критерием достоверности тогда оказывалась мотивированность того или иного движения текста. Другими словами, сличая тексты летописей, Шахматов стремился не только определить моменты сходства и различия и выделить общую основу, но объяснить причины, которые побудили древнерусского книжника выбросить один эпизод, вставить другой или сознательно переделать третий. Бесчисленные примеры таких объяснений можно найти во всех работах Шахматова, как и высказы-

вания типа: «...летописец упустил из внимания одно обстоятельство...», «...после этой вставки... продолжал списывать текст...», «...когда он вспоминал древнейшие судьбы родной земли...», «...новгородский летописец выходит с честью из тех затруднений, которые создавались темным и запутанным рассказом киевского свода...» и т. п.⁴⁷ В результате создавалось абсолютное ощущение достоверности. Шахматов ясно, зримо, выпукло представлял читателю те возникающие из его логического анализа и умозаключений этапы истории летописного текста, которые описывал. Сам летописец оказывался живым человеком, который «упускает из виду», «вспоминает» и «выходит из затруднений». Столь же достоверными представлялись ему и гипотетически восстанавливаемые древние тексты, настолько достоверными, что их можно было публиковать.

Склонность к реконструированию — еще одна черта Шахматова, идущая от школы Фортунатова. Для последнего было свойственно постоянное стремление к реконструкции праязыковых форм.⁴⁸ Оно проявлялась и в лингвистических работах Шахматова. В. В. Виноградов считал, что основной задачей Шахматова в области лингвистики было «восстановить общерусский праязык подробно и точно как живой, и сделать ясным весь процесс его диалектных дроблений и скрещений во всех частях и во все эпохи».⁴⁹ В. М. Истрин отмечал, что «язык под пером А. А. оживал» и, «взятый даже в доисторическую эпоху, он являлся перед нами живым организмом, где все члены движутся, видоизменяются, влияют друг на друга, умирают, оставляя после себя потомство, которое продолжает жить таким же способом».⁵⁰ А. И. Соболевский, критикуя одну из ранних работ Шахматова, подчеркивал преувеличение им реальности реконструкции общеславянского языка, превращающегося под его пером в «нечто в роде говора Саратовского уезда, который г. Шахматов ежедневно слышит, и все эти ö, ä, ie ... могут быть наблюдаемы всяким, кому вздумается посетить Саратовский уезд».⁵¹ Конечным звеном исследования летописного текста Шахматов видел реконструкцию древнейших этапов его существования или же реконструкцию его составляющих.⁵² Причем эти реконструкции, хотя и помещенные в приложения к его «Разысканиям...», по сути своей не воспринимались автором как нечто дополнительное, а прямо расценивались им как «главный результат... исследования».⁵³ Весь же основной текст книги оказывался развернутым комментарием к данным реконструкциям. Но нужно отметить, что Шахматов, как и Фортунатов, при этом подчеркивал различие между фактами реконструкций и фактами, полученными в результате сравнительного анализа реальных свидетельств. Ярким примером такого понимания является выступление Шахматова на обсуждении магистерской диссертации М. Д. Приселкова. Шахматов критиковал Приселкова за то, что он использовал в своей работе не текст летописи, а его, Шахматова, реконструкции. «Я, — прибавлял Шахматов, — дал фикцию, а не текст», нужно, когда это возможно, «давать источник», а не комментарий и избегать «нажима на источники».⁵⁴

Отдельно можно анализировать введение Шахматовым момента «психологизма» в свои научные построения. Очень многие выводы о происхождении текстов делались им в конечном счете на основании именно психологической невозможности, с его точки зрения, смотреть на имеющийся в нашем распоряжении текст как первоначальный. Напомним, например, как, анализируя текст «Повести временных лет» о принятии князем Владимиром крещения, Шахматов увидел в нем совмещение двух рассказов:

версии о киевском крещении и так называемой «Корсунской легенды». И натолкнули его на этот вывод некоторые фразы, психологически в противном случае необъяснимые, прежде всего, известные слова «...пожду еще мало...», сказанные Владимиром в ответ на призыв Философа принять крещение. Важно посмотреть, что в этой связи может дать нам обращение к фортунатовской школе. Как известно, она противопоставляла себя другому направлению, выразителями которого были Л. В. Щерба и казанская школа И. А. Бодуэна де Куртенэ. Последние считали, что развитие языка обусловлено психологическими причинами и направляли свои усилия на поиск именно психологических решений многих лингвистических задач. Так, И. А. Бодуэн де Куртенэ полагал, что «сущность человеческого языка исключительно психическая, существование и развитие языка обусловлено чисто психическими законами», как и фонема — это «постоянно в нашей психике существующее представление звука».⁵⁵ Р. О. Якобсон, учившийся у учеников Фортунатова, отмечал, что «освобождение от психологизма» было частью лингвистической концепции последнего, ратовавшего за «эмансипацию лингвистики от психологизма и логицизма, а диалектологии от этнографизма» с ориентацией на поиск чисто лингвистических закономерностей.⁵⁶ Он вспоминал, что его учителя по этой причине запрещали читать книгу Л. В. Щербы «Русские гласные в качественном и количественном отношении». Известный основатель копенгагенской школы структурализма Луи Ельмслев высоко оценил фортунатовскую школу за эти ее качества и подчеркивал, что ей «принадлежит заслуга в постановке проблемы существования чисто формальных категорий и в протесте против смешения грамматики с психологией и логикой».⁵⁷ Сложнее обстоит дело с определением отношения к этим проблемам Шахматова-лингвиста. Так, В. И. Журавлев считал, что Шахматов «продолжил освобождение морфологии от бодуэновского психологизма».⁵⁸ Ф. М. Березин, напротив, полагал, что Шахматов впоследствии вышел в этом отношении за рамки фортунатовской школы и пришел к необходимости психологического объяснения явлений языка.⁵⁹ С. И. Бернштейн также отмечал эволюцию взглядов Шахматова на синтаксис русского языка, указывая, что ученый ушел от «чисто лингвистического историзма» и добился сочетания его с «психологическим генетизмом». Бернштейн подчеркивал даже, что Шахматов «в конце своего пути... пришел к построению системы, прямо полярной по отношению к учению Фортунатова».⁶⁰ Мы, разумеется, отдаем себе отчет в том, что в данном случае использование психологического метода в лингвистике и психологических объяснений в текстологии — вещи в значительной степени различные. Однако, как нам кажется, для Шахматова, применявшего свой лингвистический опыт при изучении летописей, и эта часть его также имела определенное значение.

Сказанного, думается, достаточно для утверждения, что Шахматов-лингвист и Шахматов-исследователь летописей — это одно явление в истории русской науки. Различается в его работах по языкознанию и по текстологии главным образом характер материала, диктующий и определенные особенности работы с ним. Как писал Н. К. Никольский, «Шахматов применил фортунатовский метод к изучению историко-литературных явлений, т. е. явлений более сложных, чем данные языка».⁶¹ По свидетельству П. А. Лаврова, Шахматов сознавал, что главное его призвание — лингвистика. С. Ф. Платонов также называл основной его специальностью историю русского языка. А А. Е. Пресняков писал, что «в лице Шахматова к изучению летописных сводов подошел не историк, а филолог...».⁶² Можно, видимо, сказать, что Шахматов был не просто лингвистом, занимаю-

щимся летописанием, а исследователем-историком в очень широком диапазоне, так как и к лингвистике в большинстве своих работ он подходил как к исторической дисциплине. Можно согласиться с В. М. Истриным, который писал: «Занимаясь и лингвистикой и историей летописания, он закладывал фундамент для построения грандиозных зданий, которые ... должны будут стоять друг от друга поодаль, но которые чем-то между собой будут связаны».⁶³

Мы коснулись, по сути, вопроса о том, что такое научная школа, какую роль она играет в жизни ученого. Разумеется, Шахматов не был просто учеником Фортунатова. Он был отдельной, очень крупной фигурой, может быть — самой крупной среди поколения выдающихся ученых рубежа XIX–XX вв. Но все же, приведенные данные показывают, что полученная в юности выучка с ее сильными и слабыми чертами — это то, что не всегда возможно изжить, что продолжает влиять в течение всей жизни, даже если предметом исследования является другой материал.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Веселовский А. Н. Сравнительная мифология и ее метод. СПб., 1873.

² О влиянии братьев Гримм и мифологической школы на развитие сравнительного метода в России см.: Буслаев Ф. И. Мои воспоминания. М., 1897. С. 298, 299, 311, 366 и др.; Азадовский М. К. История русской фольклористики. М., 1963. Т. 2; Vasmer M. Bausteine zur Geschichte der deutsch-slavischen geistigen Beziehungen. I. Berlin. 1939 // Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Jahrgang 1938. № 6. S. XVII–XXXI.

³ См.: Азадовский М. К. История русской фольклористики. С. 156, 159 и др.

⁴ Депретто К. Литературная критика и история литературы в России конца XIX — начала XX века // История русской литературы. XX век: «Серебряный век» / Под ред. Ж. Нива, И. Сермана, В. Страды, Е. Эткинда. М., 1995. С. 242–257.

⁵ Там же. С. 253–254.

⁶ Подробнее см.: Лихачев Д. С. Текстология : На материале древнерусской литературы X–XVII вв. Л., 1983. С. 10–24.

⁷ Перетц В. Н. Из лекций по методологии истории русской литературы. Киев, 1914; Бугославский С. А. Несколько замечаний к теории и критике текста. Чернигов, 1913.

⁸ Шахматов А. А. Разбор сочинения И. А. Тихомирова «Обозрение летописных сводов Руси

Северо-восточной» // Отчет о сороковом присуждении наград графа Уварова. СПб., 1899. С. 103–236.

⁹ О Фортунатове см. подробнее: Щепкин В. Н. Ф. Ф. Фортунатов // Русский филологический вестник. 1914. № 3, 4. С. 417–420; Поржезинский В. И. Филипп Федорович Фортунатов. М., 1914; Чемоданов М. С. Сравнительное языкознание в России. М., 1956. С. 58 и др.; Сидоров В. Н. Развитие фонетики современного русского языка. М., 1971; Перельмутер И. С. Труды Ф. Ф. Фортунатова по типологии: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1983; Журавлев В. К. Ф. Ф. Фортунатов и фонология // Сравнительно-исторические и сопоставительно-типологические исследования: [Докл. Фортунатов. чтений]. 1979 г. М., 1983. С. 62–67; Березин Ф. М. Очерки по истории языкознания в России (конец XIX — начало XX в.). М., 1968. С. 28–99.

¹⁰ Чемоданов М. С. Сравнительное языкознание... С. 58, 78 и др.

¹¹ Фортунатов Ф. Ф. Сравнительное языковедение. Общий курс // Фортунатов Ф. Ф. Избранные труды. М., 1956. Т. 1. С. 25.

¹² См., например: Чемоданов М. С. Сравнительное языкознание в России. С. 58 и др.; Березин Ф. М. Очерки по истории языкознания... С. 28–99; Обнорский С. П. Академик А. А. Шахматов : К 25-летию со дня смерти // Вестник АН СССР. 1945. № 10–11.

- ¹³ *Шахматов А. А.* Ф. Ф. Фортунатов (некролог) // Изв. Академии наук. 1914. № 14. С. 967–974.
- ¹⁴ *Шахматов А. А.* Разбор сочинения И. А. Тихомирова... С. 18.
- ¹⁵ *Шахматов А. А.* Обзорение русских летописных сводов XIV–XVI вв. М.; Л., 1938.
- ¹⁶ *Бугославский С. А.* «Повесть временных лет» (списки, редакции, первоначальный текст) // Старинная русская повесть. М.; Л., 1941. С. 9.
- ¹⁷ *Готье Ю. В.* Шахматов-историк // ИОРЯС. Пг., 1922. Т. 25. С. 250.
- ¹⁸ *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1907.
- ¹⁹ *Шахматов А. А.* Ф. Ф. Фортунатов (некролог). С. 968.
- ²⁰ *Бубрих Д. В.* О трудах А. А. Шахматова в области славянской акцентологии // ИОРЯС. Т. 25. С. 199.
- ²¹ *Березин Ф. М.* Очерки по истории языкознания... С. 139.
- ²² *Приселков М. Д.* История русского летописания XI–XV вв. СПб., 1996. С. 45.
- ²³ *Истрин В. М.* Замечания о начале русского летописания: По поводу исследований А. А. Шахматова // ИОРЯС. Л., 1924. Т. 27.
- ²⁴ *Лихачев Д. С.* Шахматов-текстолог (Доклад на сессии Отделения литературы и языка АН СССР и Института русского языка АН СССР, посв. памяти А. А. Шахматова. 25 июня 1964) // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. М., 1964. Т. 23. Вып. 6. С. 483.
- ²⁵ *Пархоменко В. А.* Из листування з акад. О. О. Шахматовим // Україна. Науковий двохмісячник українознавства. Київ, 1925. Кн. 6. С. 126.
- ²⁶ *Приселков М. Д.* История русского летописания XI–XV вв. С. 45.
- ²⁷ *Шахматов А. А.* Разбор сочинения И. А. Тихомирова... С. 16.
- ²⁸ *Лурье Я. С.* О гипотезах и догадках в источниковедении // Источниковедение отечественной истории : Сб. статей. 1976 г. М., 1977.
- ²⁹ *Обнорский С. П.* Памяти академика А. А. Шахматова // ИОРЯС. Т. 25. С. 463.
- ³⁰ *Никольский Н. К.* Памяти А. А. Шахматова // ИОРЯС. Т. 25. С. 160–161.
- ³¹ *Шахматов А. А.* Заметки по истории звуков лужицких языков : По поводу книги Л. В. Щербы «Восточно-лужицкое наречие». Т. 1. (С приложением текстов). Пг., 1915 // ИОРЯС. 1916. Т. 21. С. 258.
- ³² *Виноградов В. В.* А. А. Шахматов как исследователь истории русского литературного языка : (К 100-летию со дня рождения) // Вестник АН СССР. 1964. № 10. С. 119.
- ³³ *Шахматов А. А.* Рецензия на кн.: Пархоменко В. А. Начало христианства Руси. Полтава, 1913 // Журнал Министерства народного просвещения. Новая сер. 1914. Ч. 52. С. 352.
- ³⁴ *Готье Ю. В.* Шахматов-историк. С. 281.
- ³⁵ *Bruckner A.* Rozdział z «Nestora» // Записки Наукового товариства імені Шевченка. У Львові, 1925. Т. 41–42. С. 1–15.
- ³⁶ *Лященко А.* Летописное сказание о мести Ольги древлянам. (По поводу статьи проф. А. Брюкнера) // ИОРЯС. Л., 1929. Т. 2. Кн. 1. С. 320–336.
- ³⁷ В дальнейшем она была частью историков принята, а частью отвергнута, предлагались и новые объяснения сделанных Шахматовым наблюдений. См. об этом: *Соловьев А. В.* Был ли Владимир Святой правнуком Свенельда? // Записки Русского научного института в Белграде. 1941. Вып. 16–17. С. 37–64; *Поннэ А. В.* Родословная Мстиши Свенельдича // Летописи и хроники. 1973. М., 1974. С. 64–91.
- ³⁸ *Приселков М. Д.* Русское летописание в трудах А. А. Шахматова // ИОРЯС. Т. 25. С. 131.
- ³⁹ *Лурье Я. С.* О шахматовской методике исследования летописных сводов // Источниковедение отечественной истории. С. 97–107.
- ⁴⁰ *Обнорский С. П.* Академик А. А. Шахматов. С. 79.
- ⁴¹ Там же. С. 129
- ⁴² Там же. С. 134.
- ⁴³ *Еремин И. П.* «Повесть временных лет» : Проблемы ее историко-литературного изучения. Л., 1947. С. 37–39.
- ⁴⁴ *Щерба Л. В.* Методы лингвистических работ А. А. Шахматова // ИОРЯС. Т. 25. С. 315.
- ⁴⁵ *Пархоменко В. А.* Из листування з акад. О. О. Шахматовим. С. 127.
- ⁴⁶ *Маркелов Г. В.* Совещание в Институте русской литературы АН СССР, посвященное памяти А. А. Шахматова. (Вступительное слово академика Д. С. Лихачева. Хроника заседания) // Археографический ежегодник за 1970 год. М., 1971. С. 391.

⁴⁷ Все примеры взяты нами из одной только главы «Разысканий...», но они представляют типичные для Шахматова обороты. См.: *Шахматов А. А. Разыскания...* С. 312, 315, 317.

⁴⁸ *Чемоданов М. С. Сравнительное языкознание...* С. 66.

⁴⁹ *Виноградов В. В. А. А. Шахматов как исследователь русского литературного языка.* С. 42.

⁵⁰ *Истрин В. М. А. А. Шахматов как ученый* // ИОРЯС. Т. 25. С. 32.

⁵¹ *Соболевский А. И.* (рец.). *А. А. Шахматов. Исследования в области русской фонетики.* Варшава. 1893 // Журнал Министерства народного просвещения. 1894. № 4. С. 424.

⁵² *Шахматов А. А. Разыскания...*

⁵³ Там же. С. 532.

⁵⁴ Магистерский диспут М. Д. Приселкова в С.-Петербургском университете // Научный исторический журнал, издаваемый под редакцией проф. Н. И. Кареева. 1914. Т. 2. Вып. 1–3. № 3. С. 137.

⁵⁵ *Русское языкознание в Петербургском–Ленинградском университете.* Л., 1971. С. 69.

⁵⁶ *Журавлев В. И. Ф. Ф. Фортунатов и фонология.* С. 65.

⁵⁷ *Березин Ф. М. Очерки по истории языкознания...* С. 90, 100, 188.

⁵⁸ *Журавлев В. И. Ф. Ф. Фортунатов и фонология.* С. 66.

⁵⁹ *Березин Ф. М. Очерки по истории языкознания...* С. 247–284.

⁶⁰ *Бернштейн С. И. Основные вопросы синтаксиса в освещении А. А. Шахматова* // ИОРЯС. Т. 25. С. 231, 233.

⁶¹ *Никольский Н. К. Памяти А. А. Шахматова* // Там же. С. 160.

⁶² *Лавров П. А. Первые годы научной деятельности А. А. Шахматова* // Там же. С. 56; *Платонов С. Ф. А. А. Шахматов как историк* // Там же. С. 139; *Пресняков А. Е. А. А. Шахматов в изучении русских летописей* // ИОРЯС. Т. 25. С. 164.

⁶³ *Истрин В. М. А. А. Шахматов как ученый.* С. 26–27.

С. Г. Беляев

С. Ф. ПЛАТОНОВ, Б. В. АЛЕКСАНДРОВ, Б. А. РОМАНОВ И ПЕТРОГРАДСКИЕ АРХИВЫ В 1918 г.

Биография и научное наследие С. Ф. Платонова, как и судьба всей петербургской исторической школы, были предметом исследовательского внимания Алексея Николаевича Цамутали на протяжении многих лет.¹ Публикуемое письмо из фонда С. Ф. Платонова в Отделе рукописей Российской Национальной библиотеки (Ф. 585) отражает отношения историка с Б. В. Александровым и Б. А. Романовым, которые называли его своим учителем, а себя — членами его «дружины». В то же самое время оно является свидетельством участия его авторов и адресата в формировании комплекса исторических архивов Петрограда в первые месяцы после Октябрьской революции.

В 1918 г. С. Ф. Платонов стал во главе Петроградского отделения Главархива, к работе в котором привлек многих замечательных представителей петербургской исторической школы, среди которых были и авторы публикуемого письма. Оно написано рукой Б. А. Романова и только подписано Б. В. Александровым. Письмо введено в научный оборот и неоднократно цитировалось,² что также является аргументом в пользу его публикации целиком.

Глубокоуважаемый и дорогой Сергей Федорович,

мы несколько раз пытались повидать вас в служебные часы в Архивном управлении,¹ но условия и темп нашей работы не позволяли нам долго ждать возможности проникнуть в Ваш кабинет, и мы всякий раз уходили до следующего случая. А суть дела в том, что мы по прежнему доброму обычаю хотели просить Вас назначить нам время для свидания в Вами с глазу на глаз. И нам очень жаль, и они бы пожалели, что в этом налете на Вас не приняли бы участия, как всегда прежде бывало, Павел Григорьевич² и Сергей Николаевич.³ Этот более чем год так перекопывал нашу жизнь и так был неблагоприятен для коллективных посещений, что нам ни разу не удалось, даже вдвоем, стовориться и выбрать вечер ехать к Вам. Странно подумать, что полтора года мы не были у Вас на Каменноостровском⁴ и, если бы не «после диспута» у Павла Григорьевича,⁵ не видели бы Вас. Теперь же нам, наконец, положительно невозможно не повидать Вас и не поделиться своими архивными и иными горестями. А горести эти, вкратце, вот какие.

1 июля мы были прикомандированы к Архиву финансов, торговли и промышленности для его организации под руководством Мих[аила] Гр[игорьевича] Курдюмова, и нам сейчас совершенно и болезненно ясно видны все недостатки и неправильности как в основе дела, так и в его частностях. Самое болезненное для нас — это крайняя формальная неопределенность нашего положения в архиве, в строящейся части которого фактически мы (кроме нас двоих, еще Сиг[измунд] Нат[анович] Валк и Конст[антин] Дав[идович] Гримм) являемся единственными работниками. Сами понимаете, что ярость нашей работы поддерживалась тем давно жданным чувством, что мы вьем гнездо для себя и своей научной работы, и то обстоятельство, что собственными руками и по собственному плану из пустого места через хаос создаем космос от А до Ижицы, было особенно нам драгоценно. Но вот подходит к концу второй месяц и от этого чувства почти ничего грозит не остаться. Работы по перевозке архивов⁶ катастрофически внезапно оборвались, в воздухе носится, что надолго. Помещение, которое нам было отведено и нами было распланировано для приема дел, теперь рискует стать сплавным местом для любого предприятия, ищущего куда приткнуться. А между тем первый этаж Поляковского дома и без того был бы нам тесен, если бы действительно серьезно отнестись к мысли об организации Историко-экономического архива. При таких условиях нам представляется лучшим исходом из топографического затруднения — поиски другого помещения, изолированного и такого, что стены его укроют все содержание архива. Что бы Вы сказали, напр[имер], если бы речь зашла о служебной половине усадьбы Мраморного дворца, той, где имеется, помнится, манеж? Мож[ет] быть, не занятый никаким крупным учреждением этот служебный корпус и мог бы быть очищен для нашего архива.

¹ Имеется в виду Петроградское отделение Главархива.

² П. Г. Любомиров.

³ С. Н. Чернов.

⁴ С. Ф. Платонов жил по адресу: Каменноостровский пр., д. 73/75.

⁵ Возможно, речь идет о защите диссертации П. Г. Любомирова «Очерк истории нижегородского ополчения 1611–1613 гг.».

⁶ Имеется в виду перевозка ведомственных архивов в здания на Сенатской пл., д. 1 и Английской наб., д. 4 (Поляковский дом).

Только тогда, разумеется, с этим надо спешить и, добившись успеха, следует начать с приспособления здания к приему архива и перевозить дела в готовые уже гнезда.

Если бы так разрешился вопрос о помещении, то далее работа должна бы быть ведена отнюдь не так, как до сих пор. Именно потому, что наш архив, один из немногих, строится заново, он требует значительной рабочей группы, подобранной, однако, из подходящих людей нами, а не произвольно и без знания работников и дела третьим лицом. До 1 августа нам была предоставлена группа человек в 15–20, в общем работавшая хорошо и за месяц вошедшая во вкус и в детали дела. Из нее выделились особенно человека 2–3, потеря которых теперь крайне огорчительна. А, как слышно, в группу, подбираемую ныне где-то вовне, как раз эти 2–3 не войдут, а войдут туда как раз такие, напр[имер], из наших же работников, которые по нашему опыту к данной работе наименее оказались пригодны: дурной знак, который бросается с первого же взгляда на всю организацию института временных работников в глаза и показывает, как в корне неправильно вся эта организация. Неправильность ее сказывается — другой пример — и в том, что мы лишены возможности согласовать технически разнородные работы, которые в действительности органически взаимно неразделимы. Сейчас у нас идет установка полок, и условия места с экономическими соображениями вряд властно требуют совместной работы плотников и переносчиков; иначе плотники вынуждены будут надолго прервать свою работу (а когда мы их допросимся вторично?!), пока нам не будут предоставлены переносчики (кем? когда? какие?) или пока мы сами в шесть рук не произведем непосильной почти для шести рук установки части дел на полки, чтобы очистить место для плотников. Вчера мы уже потеряли плотников и не ведаем, получим ли переносчиков. Наконец, третий пример: мы даже не очень жалеем, что потеряли плотников! Работали они медленно, по какому-то своему родному финскому твердо усвоенному плану, упорно не желая считаться с тем, что полки все-таки устанавливаются для архива и по плану, который им надлежит только выполнить. И они, конечно, были сильнее нас, п[отому] что от нас не зависят нисколько. А работа дрянная. Не умножая примеров, стоит ли даже формулировать вывод, что благодаря применявшемуся и применяемому способу ведения работ, который, видимо, и впредь будет применяться, расходы на них были и будут едва ли производительны. Если бы и нужно было сохранить центр прежней организации г. Селюка, то функции его следовало бы в интересах архивного дела ограничить денежной стороной и исполнением поручений и заданий отдельных архивов. Что бы Вы сказали, если бы подбор личного состава временной рабочей группы (в пределах разверстываемого по отдельным архивам кредита) был предоставлен отдельным же архивам?

Подобная же странность, чтобы не сказать больше, и в подборе личного состава постоянных служащих. Здесь тоже принцип, положенный в основу, как будто в корне подсекает блестящую мысль о постановке архивного дела на научную и деловую высоту. Всякому же ясно, что в данный момент за малыми исключениями и в значительной своей части люди, которые себя называют и которых считают прежними архивными служащими, распадаются на две одинаково бесполезные для научных архивов группы: 1) действительно прежние служащие ведомственных архивов, попадавшие туда в порядке «сдачи в архив» или по признаку «от противного», и 2) т[ак] наз[ываемые] члены ликвидационных коллегий, оставшихся в Петербурге при скарге, не нужном в Москве, т.е. люди, с архивом никогда и в нелестном для себя порядке соприкосновения не имевшие. А между тем мы имеем основания думать, что существует презумпция их полной

неприкосновенности; а это значит для нас, что архивное дело неминуемо обрекается на жалкое существование. Во всяком случае для нас, воодушевленных именно научными заданиями «архивного возрождения», перспектива попасть маленькой кучкой в скопище людей, не способных отнестись к делу *bona fide*⁷ и с чистым чувством, тяжела в высшей степени. Что бы Вы сказали, если бы в случае, подобном нашему, весь фонд документов был разделен на две части: одна составила бы наш исторический архив, другая (в виде $n + 1$ ведомственных придатков) — архивы текущих дел при соответствующих учреждениях. Учреждения эти и впитали бы, как сумеют, личный состав, который теперь в каком-то роковом порядке навязывают историческому архиву, а этот последний обставлялся бы по признакам, взятым из самого существа исходной мысли о научной организации архивного дела?

Наконец, чтобы не забыть, правильно ли поступили, когда не включили в состав Историко-экономического архива архивов крупных петербургских заводов, теперь национализированных и пребывающих, вероятно, в жалком состоянии. И нельзя ли было бы и этот вопрос поднять в настоятельной форме и спешном порядке?

Как видите, Сергей Федорович, у нас много было о чем побеседовать самым доверительным образом и именно в эти тяжелые дни. Два месяца подобные вопросы мучили нас неотвязно и наболели до того, что нет возможности больше молчать. И нам думалось, что просто час-другой личного свидания и теплой беседы сняли бы значительную долю наболевшего, как это всегда за то время, что мы Вас близко знаем, бывало, и дали бы существенный деловой результат. Потому что, конечно же, Вам сверху и в зоне кипения не могут быть видны будничные, но потому и чрезвычайно существенные потребности и червоточины, неудовлетворение и неискоренение которых оставит весь план без прочного фундамента.

Из всей нашей дружины нас осталось только двое. Это не значит, что распалась дружина. Вы не видели у себя этой дружины более года. Но, дорогой Сергей Федорович, это не значит, что порвалась эта глубокая, хотя и своеобразная, личная связь, которая сложилась у дружины с Вами. В ней было и остается многое, почти все, невысказанным: как раз то в ней, что было каждым из нас по-своему в свое время выстрадано и тем прочнее завоевано. Когда Вы говаривали, что мы Вам близки и Вы нам верите, как себе, Вы как будто ее твердо чувствовали и думали, что понимали. Но мы все еще (и уже издавна) лелеем мысль как-нибудь при случае выразить в точных и полных эмоциональной жизни терминах существо и живые подробности этого куска нашей биографии и Вашей творчески-учительской жизни.

Ваши Борис Александров
Борис Романов

Наш почтительный привет Надежде Николаевне⁸ будьте добры передать вместе с объяснением столь длительного отсутствия.

25 августа 1918 г.
СПб.

⁷ Добросовестно (*лат.*).

⁸ Супруга С. Ф. Платонова.

P.S. М[ожет] б[ыть] то, что мы пишем об архиве, знакомо Вам из бесед с Мих[аилом] Гр[игорьевичем] Курдюмовым. Это от того, что с Михаилом Григорьевичем у нас, при дружной работе, идет почти ежедневный обмен мыслей. Во всяком случае то, что изложено здесь, неоднократно и целиком было предметом наших с ним разговоров.

ОР РНБ. Ф. 585. Д. 2069. Л. 1–4

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Цамутали А. Н. Борьба направлений в русской историографии в период империализма: Историографические очерки. Л., 1986. С. 66–133; Академическое дело 1929–1931 гг. Вып. 1: Дело по обвинению академика С. Ф. Платонова. СПб., 1993.

² Валк С. Н. Борис Александрович Романов // Исследования по социально-политической истории России: Сб. статей памяти Бориса Александровича Романова. Л., 1971. С. 17, 18; Панях В. М. Творчество и судьба историка: Борис Александрович Романов. СПб., 2000. С. 46, 49.

Б. В. Ананьич, Л. И. Толстая

ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ЯНВАРЕ–ФЕВРАЛЕ 1911 г. (Власть и профессура)

Известно, что Петербургский университет в начале 1911 г. был охвачен забастовкой. Студенты бойкотировали занятия в знак протеста против консервативного курса правительства П. А. Столыпина и политики Министерства народного просвещения, возглавляемого Л. А. Кассо. Студенческое движение в России в 1910–1911 гг. и в частности в Петербургском университете изучалось. Однако публикуемая переписка приват-доцента университета филолога-классика Ивана Ивановича Толстого (1880–1954) со своим отцом Иваном Ивановичем Толстым (1858–1916) и сестрой Людмилой Ивановной Толстой (1882–1948) (в письмах Лилечка, Дюдю) существенно дополняют картину событий. И. И. Толстой-старший был известным специалистом по древнерусской и византийской нумизматике, археологом, почетным членом Академии наук. С 1893 по 1905 г. он занимал пост вице-президента Академии художеств, а с октября 1905 по октябрь 1906 г. — министра народного просвещения в кабинете С. Ю. Витте. Со второй половины января и до середины марта 1911 г. И. И. Толстой-старший вместе с дочерью путешествовал по Европе и находился вначале в Австрии, а затем в Италии. По семейной традиции сын ежедневно писал отцу о петербургских новостях. А его всегда и особенно живо интересовало все, что происходило в университете и в сфере образования. Итак, письма И. И. Толстого-младшего — ежедневный отчет о жизни университета и поведении студентов и преподавателей в дни забастовки.

Однако этим не ограничивается, на наш взгляд, ценность публикуемых документов.

Сам источник уникален. И. И. Толстой-младший оставил заметный след в отечественной науке и в истории Петербургского университета. После окончания университета

в 1903 г. И. И. Толстой готовился к профессорской деятельности при кафедре классической филологии, с 1908 по 1918 г. он преподавал в университете в звании доцента, а с 1918 по 1953 г. — профессора. В 1939 г. он был избран членом-корреспондентом, а в 1946 г. — действительным членом Академии наук СССР. Перед нами семейная и совершенно доверительная переписка. Достоверность сообщаемых сведений не вызывает сомнений. И. И. Толстой рассказывает о душевных переживаниях и унижении своем и большинства представителей университетской профессуры из-за неуклюжих и нелепых попыток правительства заставить преподавателей продолжать занятия в аудиториях под охраной полицейских штыков. В этом эпизоде из университетской жизни отчетливо отразилось (независимо от отношения преподавателей к студенческому движению) расхождение в представлениях о моральных и нравственных ценностях между официальной властью и университетской профессурой. Казалось бы, факт незначительный, но в то же время и опасный признак нарастающего недоверия между властью и обществом. Об этом свидетельствуют и рассуждения И. И. Толстого-старшего в письмах к сыну, и сделанная И. И. Толстым (по поводу событий в Петербургском и Московском университетах) ироничная запись в дневнике: «Милая у нас правительственная система! А главное, умелая!» (Толстой И. И. Дневник. 1906–1916. СПб., 1997. С. 353).

Публикуемые подлинники писем сохранились в личном архиве Людмилы Ивановны Толстой, дочери И. И. Толстого-младшего. К сожалению, удалось обнаружить не все упоминаемые корреспондентами письма.

1

С. Петербург
26 января 1911 г.

Милый папусинька!

Из прилагаемой вырезки (сегодняшняя вечерняя «Биржевка») ты узнаешь о последних событиях, имевших место в университете. В дополнение к ней могу сообщить, что та «летучая сходка», которая собралась сегодня в коридоре университета, постановила забастовку с химической обструкцией до конца семестра: только что узнал об этом по телефону от Михаила Ивановича.¹ На мой вопрос, что думают делать профессора, он ответил «будем читать лекции, пока это будет возможно»...

К чему-нибудь в этом роде давно готовились, кризис наступил совсем неожиданно, и все же произошло это как-то вдруг. Еще утром сегодня лекции шли обычным порядком, правда, при незначительном, как все эти дни, количестве слушателей. Но что будет дальше теперь? По слухам, закрывать университет правительство не намерено, не закроет его, вероятно, и совет: по крайней мере, судя по словам очень осведомленного во всех этих делах Мих. Ивановича, пока делать этого не собирается. Между тем химическая обструкция вызовет активное противодействие со стороны союзников, и могут разыгаться весьма тяжелые картины. Недаром вчера в коридоре же Шенкен² грозил, что в случае обструкции в Петербурге будет повторена одесская история. Если профессора

¹ М. И. Ростовцев (1870–1952), с 1903 г. профессор кафедры классической филологии.

² Г. Шенкен, лидер «академистов».

отнесутся ко всему этому пассивно, кто поручится, что к аудиториям для охраны порядка не будет поставлена полиция: но кто же из уважающих себя лекторов согласится излагать свои лекции, опираясь на защиту штыков?

Завтра, в четверг — день моей лекции. Именно завтра я предполагал начать чтение курса. Разумеется, отправлюсь, а там — что Бог даст! Из солидарности с товарищами необходимо взойти на кафедру, и речь может идти лишь о том, чтобы сойти с нее, не уронив своего достоинства. А для этого требуется прежде всего самообладание и такт. Час моей лекции между 11 и часом — самое, так сказать, «горячее» время университетского дня. Впрочем, весьма возможно, что слушатели мои попросту не соберутся и в аудитории я никого не застану. Так или иначе, завтра я тебе напишу, как все это произойдет и какое впечатление произведет на меня обстановка небывалой еще по определенному (целый семестр!) сроку забастовки.

И все же, и теперь еще, и сегодня, после того, как студенты уже постановили забастовку, я не уверен, что в весеннем семестре занятий вовсе не будет. Хорошего я ничего не жду, может быть, произойдут массовые аресты и высылки, и мятеж будет подавлен жестокими средствами, а так называемая академическая жизнь снова войдет через некоторое время в правильное, будничное, русло, и я спокойно буду излагать студентам особенности музыки Эсхила и таланта Аристофана.³

Обнимаю тебя и милую Лиличку и крепко целую вас.

Твой преданный сын Иван.

2

С. Петербург
27 янв. 1911

Милый папусинька!

Только что вернулся из университета. Типичная картина волнений. У калитки, через которую проходит студент, стоят два городских и дворники, пропускающие только тех студентов, которые имеют билет. В профессорской профессора и прив[ат]-доценты волнуются и делятся впечатлениями: кого уже «сняли», кто только готовится испить чашу. Эрвин Гримм колеблется, идти ли вторично в аудитории, на следующий час: первую лекцию у него сорвали. Ректор Гримм читает; в профессорской все ждут его возвращения.⁴ Наконец, он появляется. Лекция состоялась: по выходе из аудитории союзники устроили ему овацию. Известие это принимается с довольно смешанным чувством. Беру свой портфель и направляюсь по длинному коридору, в самый конец его, в XI аудиторию, где должна состояться моя лекция. Студентов в коридоре сравнительно не так много; отчасти такое впечатление происходит оттого, что студенты толпятся тесными кучками, горячо споря между собою. Перед некоторыми аудиториями стоят значительные сборища. Проталкиваюсь через них. В XI аудитории застаю всего одного слушателя, кроме того, встречаю в коридоре студента Клау: кроме них никого нет. А помещение

³ Эсхил (ок. 524–456 до н. э.), поэт, драматург; Аристофан (ок. 450–385 до н. э.), афинский драматический поэт.

⁴ Э. Д. Гримм (1870–1940), историк, профессор историко-филологического факультета, ректор Петербургского университета (1911–1918); Д. Д. Гримм (1864–1941), профессор римского права, ректор Петербургского университета (1910–1911).

XI аудитории огромное. Втроем соглашаемся, что ввиду отсутствия слушателей, лекция состояться не может: для двоих не стоит читать курса, который обычно слушает человек тридцать или сорок. Таким образом, для меня дело обошлось наиболее счастливо, без всяких столкновений и осложнений. Это делает, во всяком случае, честь моим постоянным слушателям, которые не пожелали подводить меня. На возвратном пути по коридору останавливаюсь у двери на восточный факультет, чтобы поговорить с одним коллегой (юристом, тоже прив[ат]-доц[ентом]). В это время один из обструкционистов благим матом орет на весь коридор, грозно призывая товарищей идти на восточный факультет, где происходит чья-то лекция, — снимать профессора.

Самая обструкция происходит таким порядком: забастовщики входят в аудиторию и предлагают разойтись, ссылаясь на постановление сходки. Профессор обыкновенно обращается тогда с замечаниями, что постановление не обязательно, или предлагает забастовщикам спросить слушающих, желают ли те подчиниться или же продолжать занятия. Пока идут переговоры или пререкания, в задних рядах начинается пение, которое идет все *crescendo*, заглушая речи, так что дальнейшее чтение лекции оказывается невозможным.

В 12 часов я покинул университет. От Клау узнал, между прочим, что вчера была сорвана лекция Сергея Александровича.⁵ Он читал классикам в количестве шести человек. Вошла толпа и потребовала прекращения лекции, угрожая применить силу. С. А. сказал тогда, что с подобными предложениями следует обращаться не к профессору, а к слушателям. Тогда Радлов⁶ заявил, что раз угрожают силой, то ввиду того, что слушателей всего шесть человек, приходится подчиниться.

Среди профессоров, по-видимому, господствует мнение, что, если не будет никаких эксцессов со стороны союзников, которые во главе с Шенкеном именуют себя «беспартийной группой противников забастовки», или вмешательства со стороны правительства, движение мало-помалу уляжется.

Крепко целую вас обоих. Твой преданный сын Иван.

3

С. Петербург
30 января 1911

Милый папусинька!

Сегодня в утренних газетах опубликовано постановление вчерашнего заседания совета профессоров Петер[бургского] университета. Т[ак] к[ак] ты получаешь «Речь», то — разумеется — ты уже с этим постановлением ознакомился.⁷ Меня лично оно не особенно удовлетворяет. Во-первых, самое начало: «принципиально и безусловно осуждая учебную забастовку» — для студентов в этом ничего нового нет, они и без того это знают. Кажется, будто этой начальной фразой совет желает указать не студентам, а высшему начальству, что профессура отрешивается от «крамолы». Дальнейшие слова «как бы они (т. е. забастовки) ни мотивировались», глухо выражают, что профессура понимает

⁵ С. А. Жебелев (1867–1941), историк, филолог, археолог, академик с 1927 г.

⁶ Очевидно, В. В. Радлов (1837–1918), историк, этнограф, академик с 1884 г.

⁷ См.: Речь. 1911. 30 янв.

серьезность причин, вызвавших волнение, но совет обижен, он «с особой горечью констатирует совершенные студентами в университете акты грубого насилия».

Следующий абзац звучит, по-моему, чрезвычайно пошло: «памятуя о своем нравственном долге стоять при всяких, даже очень тяжелых условиях на страже вечных и непреложных интересов науки» (должно быть, эти непреложные интересы заключаются в чтении лекций? и только?); «памятуя о том, что просвещение всегда является факторами общественного прогресса» (трусизм! какая пустая и пошлая фраза!), совет университета предлагает студентам возобновить занятия. Но «собака зарыта в конце». После хороших слов вот и угроза: «Во все время своего автономного (?) управления (как не стыдно говорить об «автономии»!) совет пытался (!) действовать не путем силы (?), а путем нравственного авторитета (где он, увы!). Если теперь этот нравственный авторитет (да, когда он был, спрашивается) окажется бессильным, — (и вот следует грозное предупреждение:) неотвратимо станет вмешательство посторонней для университета власти («авторитет», стало быть, по боку!), на действия которой совет никакого влияния оказать не может (ну, еще бы!)». Из Москвы сообщают, что там «вмешательство полиции позволило профессорам окончить лекции. У входа в аудитории везде были расставлены городовые с винтовками. Желających слушать лекции было немного». Что же это такое? «Фактор общественного прогресса, просвещение» поддерживается полицейскими штыками? Неужели, в самом деле, думают, что таким способом упрочивается нравственный авторитет профессуры?

Как бы то ни было, в понедельник университет снова откроется и мы, грешные, опять разбредемся по аудиториям с портфелями под мышкой. Как встретят нас слушатели, не знаю. Возможно, впрочем, что движение само собою уляжется, благоразумие общей массы студентов возьмет перевес, и занятия понемногу наладятся. Ну, а если вновь начнут бить банки с удушливыми жидкостями, что же тогда? Неужели действительно погонят и слушателей и лекторов в аудитории красноречивые винтовки городовых?

С двух часов у меня завтра практические занятия в университете: интересно, состоятся ли они и если состоятся, то при каких условиях. Завтра, разумеется, опять пошлю тебе письмо.

Целую тебя и Лиличку. До свидания.

Твой преданный сын Иван.

4

С. Петербург
31 января 1911 г.

Милый папусинька!

Вчера на журфиксе у нас были, между прочим, Сергей Александрович и Марр (кроме них, обедали — Гинцбург, Филатов, Орбели, Кандауров и Коля).⁸ После игры в лото мамуша отправилась спать, а гости засиделись со мною до половины первого.

⁸ Н. Я. Марр (1865–1934), филолог, лингвист, археолог, академик с 1912 г.; И. Я. Гинцбург (1859–1939), скульптор или Д. Г. Гинцбург (1857–1911), банкир, востоковед; И. А. Орбели (1887–1961), востоковед, академик с 1935 г.

Говорили, разумеется, о делах в университете. Рассказывали подробности о заседании профессоров в субботу (Жебелев, впрочем, на нем не присутствовал, а Марр ушел до голосования известной резолюции, о которой я писал тебе вчера). По их словам, вопрос о том, что полиция будет допущена в помещение университета, уже решен. Пользуясь временным закрытием университета (с пятницы по сегодняшний день), полковник Галле посетил университет и подробно ознакомился с его топографией.⁹ Говорят, сегодня в университетском коридоре будут расставлены городовые с ружьями, и лекции будут читаться под этой воинской охраной. Ростовцев произнес на совете речь, в которой говорил, что профессора должны принести эту жертву... В том же духе высказывались и другие. Возражали только Введенский и Стеклов.¹⁰

Положение создалось крайне тяжелое, мы пришли к какой-то мертвой петле, выхода из которой не видно. Испытываю ощущение стыда и унижения, и как-то хочется бежать вон из России, куда-нибудь за границу, в свободную страну. Жить в России становится омерзительно. Окончательно предаться «мещанству» не позволяет совесть, а жизнь возвышенная представляется здесь невозможной или влекущей за собою трагическую развязку.

Профессора, взывающие к своему нравственному авторитету, пишут недостойные постановления, вроде вчерашнего, и соглашаются читать лекции под угрозой штыков, но хороши и студенты: Жебелев крайне раздражен. Дело в том, что в среду, когда в его аудиторию вошли забастовщики, и он вынужден был прекратить чтение лекции, вдогонку ему раздались аплодисменты. Это его возмутило, и он сделал замечание по поводу их неуместности. На это последовал ответ, что его замечания совершенно излишни, а один из обструкционеров подошел к нему и дал совет употребить забастовочное время на научные работы, так как имя его (Жебелева) в науке совершенно неизвестно. Другим говорили еще худшие дерзости: Пергаменту, когда удаляли из аудитории, кричали бранные слова, называя его «министерский холуй».¹¹

После завтрака отправляюсь в университет: в два часа должны происходить у меня практические занятия. Вероятно, положение к этому времени уже определится. По возвращении домой pošлю тебе новое письмо.

Целую крепко тебя и Лиличку.

Твой преданный сын Иван.

5

С. Петербург
31 января 1911 г.

Милый папусинька!

Исполняя свое обещание, пишу сегодня же о том, что видел, слышал и пережил в университете. В половине второго я был уже у его подъезда. У дверей профессорского

⁹ В. Ф. Галле (1862–?), полицейский чиновник.

¹⁰ А. И. Введенский (1856–1929), философ, профессор логики и психологии Петербургского университета; В. А. Стеклов (1863–1926), математик, с 1906 г. профессор Петербургского университета, академик с 1912 г.

¹¹ М. Я. Пергамент (1862–1932), юрист, профессор гражданского права юридического факультета Петербургского университета (1899–1911).

подъезда и у калитки, ведущей на университетский двор, я нашел дежурившую полицию. Кроме того, перед воротами находилось два конных городовых. Я прошел через калитку, направляясь в Музей древностей; никто меня не задерживал и не допрашивал. Вдоль всей галереи были расставлены городовые с винтовками. В Музее я застал Мясоедова и еще несколько других молодых людей из оставленных при университете или оканчивающих курс — моих приятелей.¹² Все возбуждены. На мой вопрос, что делается, предлагают мне самому посмотреть, выйдя в коридор. Выхожу и вижу следующую картину. Весь коридор занят полицией, городовые в шинелях и шапках с винтовками при штыках. Тут же суется полицейские офицеры, отдающие какие-то приказания. Весь коридор поделен на несколько застав — живые изгороди — толпа студентов, которая стиснута городовыми, затем свободное пространство и новая толпа студентов, окруженная городовыми. Холод в коридоре ужасный. На дворе сильный мороз, а в коридоре открыты форточки, чтобы вентилировать удушливые пары «химической обструкции». Разумеется, о своей лекции я и думать забыл. Чтобы добраться до аудитории, пришлось бы протискиваться сквозь полицейские наряды; сомнительно, чтобы при такой обстановке нашлись бы у меня слушатели, а кроме того, я все равно, войдя в аудиторию, отказался бы читать. Я прямо не мог представить себе, как возможно читать лекции в таком аду! А лекции между тем состоялись, но чего они стоили и как прошли! Встречаю в Музее Жебелева. От него и от других узнаю, что в 12 часов пошел на лекцию Пергамент. Студенты просили его не читать, но он твердо решил читать лекцию и проделал путь до своей аудитории вдоль всего коридора, а за ним с дикими воплями, криками и оглушительными свистками двигались студенты. Рев толпы был столь ужасен, свистки до того пронзительны, что, сидя в Музее древностей, Жебелев едва мог выносить этот шум и чувствовал себя совершенно разбитым. Освистанный, Пергамент вошел в аудиторию, двери которой тотчас же стали охраняться изрядным нарядом полицейских, оттеснившим протестантов далеко от аудитории. Через два часа, когда лекция кончилась, слушатели Пергамента пошли обратно, встречаемые по пути криками и свистками товарищей. Сам Пергамент проделать обратно путешествие по коридору, видимо, устрасился и ушел какими-то потайными выходами (или через библиотеку или через подъезд юридического кабинета). Слушатели Пергамента (довольно многочисленные, почти сплошь были «академистами»; среди них я заметил знаменитого Шенкена (филолог!)). У Сергея Александровича лекция прошла спокойно, но народу было очень немного: Диль, Клау, Радлов — эту публику ничем не прошибешь, да еще один подозрительный субъект из академистов. Пока он читал в аудитории Музея, я сидел в кабинете хранителя вместе с Петром Ивановичем, покуривая и обсуждая события.¹³ Поминутно в коридоре раздавались крики. Один раз послышались особенно резкие свистки. Мы выскочили в коридор: оказалось, по коридору шествовал сам полицеймейстер Галле, которого студенты провожали шиканьем и свистками.

В три часа я вместе с С. А. и Филатовым покинул здание университета.¹⁴ Всех задержанных студентов, свиставших и просто толпившихся в коридоре, полиция переписала.

¹² М. Н. Мясоедов (1887–?), студент юридического факультета Петербургского университета.

¹³ Очевидно, П. И. Филатов.

¹⁴ С. А. Жебелев и П. И. Филатов.

Были ли аресты, не знаю, но следует думать, что часть студентов была задержана. Рассказывают (передаю со слов Филатова, которому говорили это студенты), что Бенешевич,¹⁵ явившийся сегодня читать лекцию и заставший у дверей своей аудитории полицию, объявил слушателям, что читать не будет и, повернувшись, ушел. У Ростовцева было столкновение со слушательницами на курсах. Он вздумал читать им нотации и в ответ получил ряд оскорблений, ему кричали «черносотенец» и т. д.

Завтра, очевидно, будет повторение сегодняшних картин, если положение не изменится за ночь: дело в том, что сегодня вечером очередной совет профессоров университета.

Картина, свидетелем которой я был, навела меня на новую мысль, которой я не особенно доверяю, но которою хочу все же поделиться.

Ректор вышел утром к толпившимся в коридоре студентам и громко объявил им, что его власть прекратилась: власти ректора в университете больше нет, она перешла к полиции.

И вот мне приходит в голову, не есть ли это маневр: профессора выражают полную готовность читать лекции. Они готовы пережить позор, подвергнутся свисткам и оскорблениям со стороны студентов. Правительство упрекает их, что они ничего не могут поделать с беспорядками. Оно предлагает им помощь полиции. Хорошо: пускай придет и полиция. Что же из этого выйдет? Правительство воочию убедится, что и полиция не в состоянии будет принудить правильно слушать лекции, что она вносит лишь еще больший беспорядок. Это крупная и рискованная игра, участники которой, вроде Пергамента, должны согласиться на самопожертвование, но в результате она может привести к крупному выигрышу.

Или это мираж, пустая фантазия, и нет героев, а есть только дрожащие за свою шкуру люди? Решить отказываюсь.

При сем посылаю вечернюю «Биржевку».

Твой любящий сын Ваня.

Р. С. Очень извиняюсь за плохой почерк, неразборчивый. Спешил, желая поскорее поделиться волнующими меня событиями. И. Т.

6

1 февр[аля] 1911 г.

В дополнение к прилагаемой вырезке из сегодняшней вечерней «Биржевки» могу сообщить еще одну подробность. Из толпы студентов в то время, как Пергамент шел на лекцию, была брошена одним студентом, стоявшим на подоконнике, в Пергамента чернильница. Бросавший попал ею в ноги: штаны и сапоги Пергамента были облиты чернилами. Но это обстоятельство не остановило профессора. Он все-таки добрался до аудитории и прочел свою лекцию. У нас дома все, слава Богу, благополучно.

Крепко целую тебя и Лиличку.

Твой любящий тебя Ваня.

¹⁵ В. Н. Бенешевич (1874–1938), историк права, археограф, профессор церковного и гражданского права Петербургского университета.

С. Петербург
2 февраля 1911 г.

Дорогая Дюдю!

Был сегодня у Н. Я. Марра. На нем лица нет: как-то распухло, сделалось одутловатым. Впрочем, говорит спокойно, только не смеется, как это в его обыкновении.

В понедельник 31-го он отправился на лекции рано: он читает с 9 утра. У вешалки, на лестнице, в коридоре, даже в лектории он никого, кроме полиции, не встретил. Студенты, его постоянные слушатели запоздали, задержанные полицией. Вся эта обстановка его страшно взволновала, но он все же решился читать. Но ни он не мог приступить к лекции от волнения, ни слушатели его не были в состоянии вникать в фонетику армянского языка. Марр сказал им, что видит, что в таких условиях он не имеет сил читать, на что слушатели его заметили: «Да, уж какая тут лекция! Вы посмотрите, что делается в коридоре». Чувствуя, что волнение его все увеличивается, Марр отправился вниз искать ректора, которому хотел сообщить обо всем, сказать, что он не в состоянии читать, якобы принуждаемый к чтению посторонней университету властью. Но ректора, равно как и проректора в университете не было. И Марр потребовал у секретаря совета, Кривошеина,¹⁶ бумагу, чтобы письменно изложить все, что он желал лично сказать ректору. Но буквы стали прыгать, перо не слушалось и Н. Яков[левич] вдруг расплакался. Кривошеин стал успокаивать, принесли стакан воды, по телефону вызвали ректора. Когда приехал Гримм, он обратился к Марру с вопросом, что с ним произошло? «Со мной ничего, но что произошло с университетом?» На этом сам Гримм расплакался, а Марр разрыдался, и с ним сделалась настоящая истерика, настолько сильная, что пришлось вызвать врача. Он говорит, что пережил самый позорнейший день в своей жизни. Вчера на совете и Пергамент объявил, что дальше продолжать так не может, что дошел до пределов возможного. Решено просить министра об удалении из университета полиции. Но не поздно ли? Поправит ли это дело?

Ужасен также случай с проф. Ивановским.¹⁷ Вчера, около трех часов дня, один студент отправился в коридор с намерением оскорбить действием первого профессора, который ему встретится. Ему встретился Ивановский, который выходил из аудитории. Он ударил его рукой по лицу. Рука была смазана какой-то краской, так что на лице Ивановского остался след от пощечины. Студента задержала полиция и еще двух других, пытавшихся освободить товарища. Ударивший объявил, что оскорбление относилось не лично к Ивановскому, а всему совету. В лице Ивановского весь совет получил пощечину.

Узел затягивается все туже и выхода из него, по-видимому, нет. Целую крепко вас обоих.

Твой преданный сын Иван.

¹⁶ Кривошеин, секретарь Совета.

¹⁷ А. И. Ивановский, краевед, профессор.

С. Петербург
3 февраля 1911 г.

Милый папусинька!

Не могу не писать об университетских событиях, которые чрезвычайно меня волнуют. Из сегодняшних газет ты, в общем, уже должен быть ознакомлен с положением дела. Просьба совета была удовлетворена далеко не в полной мере: полиция удалена только из коридора университета, но на всех лестницах, в различных закоулках, не так бросающихся в глаза, городских по-прежнему целая куча. Словно желая успокоить нервы профессоров, полицию попрятали по углам, будто ее и нет, и университет прежний. Какая-то возмутительная комедия!

У меня сегодня лекция, но я твердо решил не читать. Я находил недостойным читать, якобы под охраной или, вернее, понуждаемый к чтению лекции какой-то посторонней силой, ничего с университетом общего не имеющей. Я понимаю, меня могут лишить возможности читать обструкционисты, но не понимаю, какая сила может принудить меня читать или заниматься в той обстановке, которая создалась за эти дни в университете, чтение лекции несомненно носит красноречивые признаки подобного принуждения.

В университет, однако же, я отправился, с намерением отказаться читать, если у меня найдутся слушатели. Но, к счастью, слушателей не оказалось вовсе. Да и вообще до 12 или до 1 ч. лекции почти ни у кого не состоялись. После часу студенты перешли к более активным действиям и сорвали несколько лекций: об этом я знаю из вечерней Биржевки. В 4 часа у меня собралась обычная компания классиков, читателей Эсхила; говорили об университетских делах (перед занятиями и после них). Лукианов¹⁸ бастует и на лекции не ходит. Завтра должна быть лекция Зелинского и мои классики рассуждали о том, идти или не идти.¹⁹ Лукианов советовал не ходить, говоря, что посещением лекции только подводишь профессора. Гриневиц и Казанский,²⁰ кажется, не согласны с ним; другие держат себя неопределенно.

Они же мне рассказали, между прочим, что на женских курсах Хилинскому²¹ устроили страшный скандал. Обыкновенно у него бывает всего четыре слушательницы, а тут к нему набралось человек сорок (академисток и забастовщицы) и разыгралась целая буря, в результате которой он был «вытурен» из аудитории «со страшным скандалом».

Я удручен зрелищем позора университета, с которым сжился со студенческой скамьи: ведь с 1899 года я почти ежедневно бывал в этом длинном старинном здании.

Политику совета я понимать совершенно отказываюсь. Закроют или не закроют университет? Вот главный вопрос, который всех мучает. Профессура была бы счаст-

¹⁸ Очевидно, С. С. Лукьянов, преподаватель кафедры античной литературы.

¹⁹ Ф. Ф. Зелинский (1859–1944), филолог-классик, в 1885–1921 гг. — профессор Петербургского университета.

²⁰ С. В. Казанский, историк, ученик Н. И. Кареева или Б. В. Казанский (1889–1962), литературовед и переводчик, окончил историко-филологический факультет в 1916 г.; А. В. Гриневиц (1891–1938), студент. В 1914 г. возглавлял студенческую организацию РСДРП.

²¹ К. В. Хилинский, приват-доцент кафедры классической филологии.

лива, если бы университет закрыли, но не решается даже просить о том после того, как получила уже раз отказ: просить о закрытии вновь, получить опять отказ и после этого явиться под угрозой штыков читать лекции — это уже черт знает что. Этого бояться.

Целую вас обоих.

Ваня.

9

С. Петербург
5 февраля 1911 г.

Милый папусинька!

Получил вчера твое письмо от 27-го по поводу университетских событий.²² Горячо благодарю за него. Меня поражает, как верно и точно оцениваешь ты создавшееся положение, находясь вдали от событий, живя в далеком Риме!

И это твое письмо так же, как и все предыдущие, принесло мне большую радость: в твоих письмах я черпаю подкрепление собственным принципам, оправдание которым я нахожу у тебя, а твое мнение для меня чрезвычайно дорого: помимо «сыновней привязанности», я ценю тебя, как человека умного и неподкупной честности. Под всеми твоими «пунктами», от 1-го до 6-го, я подписываюсь. Вполне согласен, что «главная мерзость в университете состоит в том, что а) заставляют читать под охраной полиции, каковой лектора не просили и б) читая лекции, профессора дают повод и возможность полиции отделять козлиц от овец». Письмо Трубецкого в «Речи» я читал, разумеется: что касается дискредитации профессоров,²³ соглашающихся читать при «всяких условиях», интересно отметить известие, напечатанное в сегодняшнем № «Речи»,²⁴ о постановлении вчерашнего собрания членов литературного общества: «в резолюции подчеркивается отрицательное отношение общества к правительственным мероприятиям, нарушающим автономию высшей школы, а также к тем профессорам, которые читали лекции в присутствии полиции».

Разумеется, правильный путь, по которому следовало идти, намечен тобою в 5 пункте: преподавательский персонал должен не сочувствовать насильственной забастовке (это с одной стороны) и выразить ясно непригодность и возмутительную грубость принятых правительством мер (с другой стороны). Эта правильная программа не была, к сожалению, выполнена.

Едва ли ты ошибаешься, предсказывая, что дело в университете не наладится до лета (кроме экзаменов, если до них допустят профессора и министерство), но что правительство станет скоро осторожнее, убедившись, что обмишурилось. Экзамен, несомненно, состоится: на это уже указывает вопрос о зачете семестра. Повестки, приглашающей прив[ат]-доцентов на совместное совещание с факультетом, я до сих пор не получал.

Лично про себя скажу, что в отношении своем к университету я замечаю в себе некоторую, если можно так выразиться, апатию. Ходить в университет избегаю: прямо

²² Письмо не обнаружено.

²³ В глазах как студентов, так и в общественном мнении.

²⁴ См.: Речь. 1911. 5 февр.

противно. Острый период возмущения во мне перегорел и на сердце остался осадок презрения и разочарования. Сидя дома, больше занимаюсь, и диссертацией своей и чтением. Лекций в университете не читаю, но продолжаю, если угодно, отчасти и преподавание: приходят классики, читаем Эсхила; приходят и молодые студенты заниматься греческим языком у меня на дому. Полагаю, что в этом духе я и закончу этот «академический год».

В письме к тебе я могу быть совершенно откровенным и говорить то, чего не решусь сказать, может быть, другим: правительственная власть меня возмущает, об этом нечего и распространяться (кстати, меня привел в восторг твой родительный падеж *Cassonis!*), но удручает и роль профессуры: в том, как реагировала и реагирует она на правонарушения, сказываются несравненно сильные «чиновники», чем «деятели науки». Идеальность отсутствует совершенно, вопрос переносится на какую-то тактическую почву. Слова о «служении чистому знанию» представляются мертвыми фразами, ибо верно твое замечание, что «нам еще неизвестны такие пророки и благодетели человечества, которые служили бы своей идее под охраною штыков». В этом я вижу роковые результаты всего того уклада правительственной опеки, в котором возрастали наши университеты. Люди идут на кафедры не по призванию, а просто в силу сложившихся обстоятельств. И в общем оказывается, что представители официальной науки у нас, в массе, либеральные и просвещенные чиновники, не больше. Служение науке для них это вроде манифеста 17-го октября для октябристов: пустой, красивый звук. Нет духовного, глубокого сознания в необходимости для страны светочей знания, а есть просто «профессорская карьера».

И я спрашиваю себя: может быть, пора признать банкротство правительственных университетов, не следует ли ожидать «спасения» от тех вольных университетов, вроде унив. Шанявского, которые создаются общественными силами?

В заключение прошу очень извинить меня за сбивчивость изложения и неразборчивость почерка: как то, так и другое объясняются тем обстоятельством, что письмо писано мною в состоянии «геморроидальном». Мой геморрой «разыгрался». На стуле поэтому сидеть было трудно, и я несколько раз во время писания переходил на постель, дабы «излечиваться», а затем опять принимался за перо.

Ввиду того, что во вчерашних открытках ты говоришь, что из Рима вы двинетесь около 12-го, я — если не получу от вас новых известий — пошлю вам письма еще завтра 6-го и послезавтра 7-го.

Получил ли ты посланные мною корректуры?

Целую крепко тебя и Лиличку. Всего хорошего.

Твой любящий и преданный сын Иван.

10

С. Петербург
7 февраля 1911 г.

Милый паpusинька!

Вчера, в воскресенье, у нас обедали — Герасимов, Жебелев, Кандауров, Ося и Коля. Сергей Александрович²⁵ разъяснил мне, что текст повестки, содержание которой я передал тебе позавчера, я понял неправильно: празднование касается только традицион-

²⁵ С. А. Жебелев.

ного 8-го февраля, а сегодня 7-го университет открыт. Значит, и сегодня будут повторяться прежние удручающие картины.

За обедом и после обеда вплоть до 10 часов говорили почти исключительно об университетских событиях. В 10 часов сели играть в лото, Герасимов также принял участие, причем оказался в наибольшем выигрыше. Во время лото, которое требует механического сосредоточения внимания, все как будто отдохнуло, прекратив на время обсуждение волнующих вопросов. Разошлись поздно, в 12½ часов.

Герасимова очень волнуют университетские события. Образ действий профессуры он осуждает, находя ошибкой согласие читать лекции при создавшейся обстановке. Но теперь выхода никакого из тупика не видит. Считает положение крайне серьезным, жалеет молодежь, которая массами выбрасывается за борт. Жалеет с болью в сердце и сверкает злобными глазами от негодования. Высылки учащихся считает политическим безумством, вспоминая слова Плеве о том, что эти высылки есть лучшее средство пополнения кадров революционеров.²⁶ Это уже не твердая политика, а просто дикое упорство власти, которая — не задумываясь над последствиями — желает просто настоять на своем. Сомневается, однако, чтобы сладить с университетами удалось. Беспорядки прекратить теперь невозможно. Будут лишь новые эксцессы, все сильнее и сильнее, и в конце концов для Столыпина университетские истории окажутся роковыми.

Со стороны все происходящее может быть предметом спокойного наблюдения, но войдя в шкуру университетского преподавателя. Сегодня опять — день новых унижений. Во мне лично борются два чувства: коллегиальности и личной чести. Отказываться от чтения лекций, когда старшие товарищи, да и целый ряд приват-доцентов, в конце концов — спасая свою шкуру — находят возможным читать, тяжело. Но все мое существо восстает против возмутительной обстановки этой кукольной комедии — чтения двум, трем слушателям в то время, как за дверями аудитории ежедневно происходит арест студентов непосредственно в здании университета, и «рассадник просвещения» действительно походит на какой-то «участок». До сих пор я еще ни разу не читал — слушателей у меня не находилось. Но если они найдутся, придется «решать». И решу я, конечно, так, как продиктует мне моя совесть и личная честь.

Постараюсь сегодня же послать тебе еще одно письмо. Целую.

Ваня.

11

С.Петербург
7 февраля 1911 г.

Милый папусинька!

В сегодняшней передовице «Речи», перечисляющей итоги событий за истекшую неделю, отмечает[ся], что университетские события отодвинули на второй план все остальные интересы. Ввиду такого категорического заявления кадетского органа, решаюсь вновь докучать своими рассказами и сеговетаниями на ту же тему. В письме к мамуше, таком милом, простом и искреннем, Лиличка рассказывает, как вы смотрели на приезд сербского короля и торжественную встречу короля, гостеприимством страны

²⁶ В. К. Плеве (1846–1904), директор Департамента полиции (1881–1894), министр внутренних дел (1902–1904).

которого вы пользуетесь в настоящее время: я искренно позавидовал вам возможности любоваться этим мирным зрелищем и порадовался от души за вас: как далеко это от нас, от той «русской действительности», в которой мы живем теперь. Хождение в университет — это какая-то нравственная пытка, но что-то неотразимо тянет к нему, заставляет ходить в этот длинный коридор. Был я и сегодня: у меня лекция от двух часов. Картина та же. В галерее, на лестницах битком набито полиции. На площадке перед входом в Музей несколько полицейских офицеров закусывают, завтракают бутербродами. Ружья, штыки. В коридоре полиции нет: комедия продолжается та же. В Музее застал Жебелева и Джавалова. Вступил в их беседу, конечно о положении дел в университете. И вот, в то время, как я произносил какую-то фразу, что-то горячо доказывая, в дверях появляется незнакомый мне студент с книжками в руках. «Виноват, г. профессор, я вас прерву», обращается он ко мне. — Что вам угодно? «Я бы хотел узнать, профессор, будете ли вы читать сегодня лекцию». (А у меня, надо сказать, сегодня — по понедельникам — прак[тические] занятия по чтению Ксенофонта,²⁷ и аудиторию свою я знаю наперечет) — Я вас совершенно не знаю, отвечаю я студенту, вы никогда не были на моих лекциях. «Да, но я на вас записался. Я занимался раньше у Гибеля,²⁸ а теперь собираюсь слушать вас». Я вынул часы и, посмотрев на них, увидел, что было без десяти два. — Еще рано, сказал я, лекция начинается обыкновенно двадцать минут третьего. «Я хочу узнать у вас, будете ли вы читать сегодня: может быть, вы сегодня читать не предполагали». Настойчивость вопросов этого субъекта, в которой слышался «союзник», меня раздражила. И я ответил ему: «да, сегодня я лекций читать не предполагал». После этого студент удалился. Может быть, под впечатлением этой сцены, и Жебелев решил не читать двум единственным из пришедших классиков — Дилю и Клау — уж слишком тяжела вся эта невыносимая комедия, и мы, накурившись в музее, пошли по домам. А между тем ведутся какие-то записи читаемых лекций, какая-то регистрация. Желаящие (а их очень много) расписываются у секретаря совета в том, что они читали лекции.

В 4 часа ко мне пришел Бенешевич: отвел с ним немного душу. Он так же, как и я, читать не в состоянии. Говорит, что выше всякой партийности и коллегиальности собственная совесть.

Вечером собираюсь в археологическое общество. Крепко целую тебя и Лиличку. Твой преданный и любящий сын Иван.

12

С. Петербург
11 февраля 1911 г.

Милый папусинька!

С какой радостью, с чувством какой отрады прочел я в сегодняшней вечерней Биржевке открытое письмо московского именитого купечества, услышал голоса настоящего русского человека: Москва заговорила.

Все эти дни собирался я написать вам подробно о своих чувствах, сомнениях и колебаниях по поводу переживаемых нами тяжелых событий университетской жизни.

²⁷ Ксенофонт (ок. 430–355 до н.э.), древнегреческий историк.

²⁸ К. В. Гибель, преподаватель кафедры античной литературы.

Разобраться в них подчас было нелегко, именно потому, что я был не только зрителем, но, так сказать, и второстепенным участником драмы. С грубостью и прямолинейностью правительственная власть открыла поход против крамольной кадетской профессуры. В лучшем случае она желала совсем истребить ее, удалить из стен университета, в худшем дискредитировать ее в глазах студенчества и общества. Как первое (отставка Мануйлова²⁹ и др.), так и второе (чтение в присутствии полиции) ей удалось осуществить лишь отчасти. Коллективный выход в отставку был бы, конечно, чрезвычайно убедителен, но этот шаг вообще неосуществим. Для многих из числа профессоров отставка почти равняется голодной смерти. И власть понимала это прекрасно. С другой стороны, все профессора все равно не ушли бы. А выход отдельных членов оказался бы жестоким донкихотством. Итак, пришлось остаться на своих местах и вступить в полосу того ада, в который попал университет. Профессора решили остаться на своих постах и «читать» даже в присутствии штыков, под перекрестным огнем студентов и полиции. Мы пережили обморок Жижиленко,³⁰ истерику Марра, пощечину Ивановскому, позор Пергаменту. Но власть была неумолима. И «занятия» продолжаются, правда лишь с формальной стороны. На самом деле учебная жизнь совершенно замерла: аудитории пустуют или читаются лекции для пяти, десяти слушателей, специалистов. Для иллюстрации скажу, что из 14 «классиков» (а народ это, кажется, достаточно спокойный) добрая половина на лекции не ходит.

Когда в предыдущие дни происходили, при посильном участии так называемых «академистов», многолюдные лекции у некоторых юристов (Озерова, Гессена и др.),³¹ то кончались они арестами. По выходе из аудитории профессор встречался в коридоре свистками, шиканьем и оскорблениями, и демонстрантов ловила дежурившая у дверей аудитории полиция. В результате около полтысячи загубленных молодых жизней: все они исключены из университета в административном порядке.

Пока нет никакой надежды, чтобы дело повернулось к лучшему, и вот мне лично, хотя и занимающему скромное место прив[ат]-доцента по кафедре греческой филологии, приходится все же считаться с создавшимся положением.

В первые дни я думал бросить все и подать в отставку, но ждал, что сделают это другие, мои старшие товарищи. Потом я убедился, что об отставке никто серьезно не думает и говорят о ней, как о красивом жесте. Но читать в обстановке полицейских шинелей и штыков, которые станут охранять мою особу от чернильницы и затем арестовывать ожидающих моего выхода обструкционеров, — я не был в состоянии. Так до сих пор я, после среды 26 января, и не прочел ни одной лекции. И, правду говоря, вряд ли решусь делать это и теперь. Между тем на «отставку» смотрят чрезвычайно косо, как на своего рода измену чувству товарищества. Уходя из университета, я показываю, что моя честь не позволяет мне в нем оставаться и тем самым как бы высказываю, что остающиеся коллеги страдают в моих глазах отсутствием этой чести.

Я решил поэтому поступить так: ждать, во всяком случае, ближайшей среды, когда в Думе предстоит обсуждение запроса. М[ожет] б[ыть], после этого наступит какая-нибудь

²⁹ А. А. Мануйлов (1861–1929), экономист, ректор Московского университета (1908–1911).

³⁰ А. А. Жижиленко (1873–не ранее 1928), правовед, юрист, юрист-криминолог, профессор Петербургского университета.

³¹ В. М. Гессен (1868–1920), правовед, профессор Петербургского университета.

перемена. Затем следует праздничное время Масляной. Таким образом, до Поста я, если не произойдет каких-нибудь новых событий, ничего «предпринимать» не стану. Но, если Постом в университете будет продолжаться прежняя картина, я постараюсь уйти из университета. Трудиться в нем на пользу кучки академистов и для поддержки «совета» я нахожу прямо нелепым. Я готов жертвовать временем и силами на пользу университетской науки, но для игры в кукольную комедию — не хочу. Естественно, что, собираясь на подобный шаг, я колеблюсь: с университетом я близко сроднился, он мне дорог, и расстаться с ним будет мне больно. А уходя теперь, я не знаю, попаду ли в него я потом. Ведь это выйдет так, что в трудную минуту университета, я — пользуясь тем, что материально обеспечен, — брошу его, а потом представлю свою диссертацию тем же лицам, которых теперь я покинул. Жалко мне и Сергея Александровича, которого я, что называется, подведу, взвалив на него всецело и экзамен, и курс, и практические занятия.

Но так или иначе, все эти соображения, пожалуй, отступят на второй план, если окончательно выяснится, что университета, в сущности, нет больше и не будет, а есть какие-то обломки его.

Еще два слова. Кассо послушный помощник нашего премьера.³² Хорошо исполняет поручения и проявляет твердость. Но фатально, кажется, то, что взят он из Москвы, и задумал сводить свои личные счета с Мануиловым. Главный удар обрушился на Москву. И в то время, как наш университет молчал, в Москве произошли коллективные отставки, известное постановление совета профессоров, а теперь открытое письмо в газеты именитого купечества. А с Москвой, коренной, русской Москвой, приходится ведь считаться: как бы не оказался действительно прав Герасимов; может быть, именно на Москве-то и споткнутся? Хотелось бы верить в это.

Слышал стороною (от Мясоедова) мнение Никодима Павловича.³³ Он в восторге от Кассо и говорит, что Кассо нашел верного помощника в лице Шевякова, «который всегда терзался на университетских советах». Приписывает, насколько я понял, отчасти и себе некоторое участие через Шевякова³⁴ в текущих событиях. Говорит, что мысль об иностранных семинариях, о которых Кассо распространялся в нововременском интервью — его, Кондакова, мысль. У Мясоедова волосы дыбом встанут от всего, что он услышал от Никодима, и он без смеха не мог передавать его беседы, до того казалась она ему нелепой. Тут я искренно порадовался, что ты находишься в Риме и выслушиваешь речи г-жи Набоковой: все-таки, я думаю, легче, чем академик?

Однако я чересчур заболтался. Прошу извинения. Крепко целую.

Твой преданный сын Иван.

³² Л. А. Кассо (1865–1914), историк права, управляющий Министерством и министр народного просвещения (1910–1911).

³³ М. Н. Мясоедов (1887–?), студент юридического факультета Петербургского университета; Н. П. Кондаков (1844–1925), историк византийского и древнерусского искусства, академик с 1898 г.

³⁴ В. Т. Шевяков (1859–1930), зоолог, член-корреспондент АН с 1908 г., с 1899 г. профессор Петербургского университета, в 1910–1915 гг. — товарищ министра народного просвещения.

Grand hotel Quirinal
Rome
13 февр. 1911 г.

Дорогой Ваня,

Благодарю тебя еще раз за подробных два письма от 7 февраля, которые я вчера утром получил. Ты уже, в общем, знаешь, мое мнение, если ты получил мое первое письмо по университетскому вопросу. Вчера прочел речь Маклакова в Думе,³⁵ с сущностью которой вполне согласен и которая, кажется, совпадает с тем, что я тогда писал: Столыпин — недалекий, но властолюбивый временщик,³⁶ а Кассо — *je m'en fichiste*, сделавший неожиданную карьеру, продав себя вышереченному временщику. Я вполне одобряю твой ответ незнакомому студенту, спросившему 7-го февр., будешь ли читать лекцию: мне кажется, что читать лекции при данных обстоятельствах и обстановке нельзя было. Понимаю вполне некоторую неловкость твоего положения при решении вопроса о собственном поведении, ввиду, во-первых, существования менее тебя привилегированных — товарищей (в смысле обеспеченности), и во-вторых (но только во 2-х), солидарности с профессурою. Вполне согласен с тобою, и даже подчеркиваю это согласие, что лучше всего в таких случаях руководствоваться собственной совестью и не забывать человеческой чести. В конце концов нельзя позволять, чтобы люди делали с вами все, что хотят, не спрашивая вашего на то согласия. Я смотрю на дело так: правда, что правительство платит профессорам деньги (жалованье), чтобы учить, читать лекции; но проучившись для этого известное количество лет, доказавши на экзаменах и диссертациями, что они овладели наукою и могут преподавать, профессора не давали обязательства за жалованье читать везде, где прикажут и как прикажут.

Ну, а если превратят университет в кадетский корпус — обязаны ли нравственно профессора читать лекции? Ведь они шли на чтение лекций в ун-т, а не в участок... Я понимаю, что очень трудно быть героями, но есть же предел всему. Правительство и его присные ведь абсолютно же неправы: нельзя следовать в политике меньшековским рецептам,³⁷ и если правительство этого не понимает, то тем хуже для него и для всех, от него зависящих; делать, однако, нечего, и если правительство вступило на неправильный и нелепый путь, то приходится всем считаться с его последствиями. Я понимаю это так, что как профессорам, так и приват-доцентам нет нужды самим подавать в отставку (хотя и в этом, смотря по обстоятельствам, не было бы никакого позора, а была бы иногда и честь), но не следует бояться быть прогнанным. В таких случаях, когда действуешь по совести и обдуманно, «позорное» изгнание, отставка без прошения или предложение подать в отставку — есть мученичество, которое так или иначе зачтется. Нужно только действовать не по наитию, а сознательно, отнюдь не боясь последствий, раз совесть чиста и ни в чем не укоряет. Тебе это, конечно, даже легче, чем

³⁵ В. А. Маклаков (1869–1957), присяжный поверенный, один из лидеров кадетской партии, член Государственной думы.

³⁶ П. А. Столыпин (1862–1911), министр внутренних дел и председатель Совета министров (1906–1911).

³⁷ М. О. Меньшиков (1859–1918), публицист, литературный критик, сотрудник суворинского «Нового времени».

другим, так как ты, благодаря Бога, человек независимый и пользующийся уважением, думаю, со всех сторон.

Ведь вся правительственная авантюра нелепа с начала до конца! Против чего борются, чего хотят? Чтобы молодежь не рассуждала? Чтобы юноши между 19 и 26 годами не интересовались политикою, ничем, происходящим в России? Чтобы профессора за плату, даваемую правительством, не только читали лекции, но и симпатизировали ретроградному правительству? Да ведь все это нелепость, совершенно недостижимо само по себе. И для достижения этой нелепости какие меры принимаются? Да именно такие, что если б молодежь ни о чем не рассуждала и ничем не интересовалась, то должна бы начать рассуждать и интересоваться. Профессора, наименее интересующиеся политикою, ввергнуты в нее насильно!.. Поистине, *quem vult perdere...*

Если чего боялись — ну, закрыли бы университет, а если не боялись, то дали бы перебеситься. Нет, им нужен не только всероссийский, но всемирный скандал!..

Будь здоров и бодр (хоть печально, но интересно).

Твой любящий отец.

14

С. Петербург
13 февраля 1911 г.

Милый паpusинька!

Вчера я писал вам о том, что получил приглашение от бюро младших преподавателей на собрание, посвященное текущим событиям академической жизни. Я сказал также, что я колебался, отправляться мне или нет. В конце концов я решил пойти и не раскаиваюсь в этом: было очень интересно. Собрались на квартире одного лаборанта, который предложил собравшимся чай и скромное угощение (разумеется, спиртные напитки отсутствовали). Сошлось человек двадцать пять исключительно «левых», самых, так сказать, «надежных». Приглашения посланы были с большим разбором: созвали только таких людей, отношение которых к текущим моментам довольно определено. В числе таких лиц оказался и ваш покорный слуга. Из приглашенных не явился, кажется, один только Бенешевич, которого что-то задержало дома. Тут были не только университетские, но представители (не делегаты, конечно) и других высших учебных заведений. Из филологов, кроме меня, были Тарле, Шишмарев и философ Лосский.³⁸ Собрание носило анкетный характер: делились впечатлениями и подсчитывали силы, рассуждали о возможных формах защиты советами, на которые возлагаются надежды. Многое для меня на этом собрании выяснилось и определилось. Так, например, я с чувством удовлетворения отметил общую тенденцию поддерживать старших товарищей (профессорские коллегии), хотя все единодушно осуждали или недостаточно энергичный образ действий и малодушие. Относительно чтения под охраной полиции, кажется, не было двух мнений: все без исключения относились к этому отрицательно, и я рад был найти в этом отношении единомышленников. Многие, подобно мне, после 31-го

³⁸ Е. В. Тарле (1874–1955), историк, в 1903–1917 гг. — приват-доцент Петербургского университета, академик с 1927 г.; В. Ф. Шишмарев (1875–1957), филолог, академик с 1946 г.; Н. О. Лосский (1870–1965), философ, приват-доцент Петербургского университета с 1900 г.

января лекций не читали вовсе, другие (и это, конечно, слабая сторона) читали, хотя и терзались нравственно. По вопросу об отставке говорили о необходимости, быть может, потом коллективной отставки и о возможности единичных отставок, в зависимости от тех или иных условий положения. Решили, наконец, послать открытое письмо московским товарищам, подавшим в отставку (некоторые из них буквально теперь голодают). Текст письма будет выработан и под ним будут собираться подписи. Произносились и речи. Наиболее спокойную, так сказать «правую», речь произнес сидевший рядом со мной Кузьмин-Караваев.³⁹ Он говорил очень умно, хотя в нем сказывался скорее политический деятель, нежели представитель академической среды. Он осуждал студенческое движение с тактической точки зрения: забастовка, говорил он, будет подавлена, студенты будут побеждены, а быть побежденным в политике равняется утрате того, что имелось до начала борьбы. Он советовал доцентам не выступать за свой страх, т[ак] к[ак] это только повредит делу, а идти в хвосте за советами. Но говорились и очень «левые» речи, подвергавшие очень жестокой критике поведение советов и указывавшие на то, что иначе поступить, как оно поступило, студенчество не могло. Особенно тронула меня вдумчивая речь философа Лосского. Маленький человечек, лысый, в очках, с большой русской бородой, очень скромный, он твердо заявил, что для него вопрос важен не с политической стороны, а чисто с академической. Он сам занимается наукой (а ученый он превосходный) и старается ввести в науку студентов. И вот он думает, что это святое дело можно творить лишь в той обстановке, какую вообще это дело требует: он бы сравнил это требование с требованием истинно верующего священника, для которого нужен чистый храм. Вопрос имеет моральную сторону, прежде всего. Но где выдвигается моральная сторона, там выступает индивид. Вот почему, если его моральное чувство продиктует ему необходимость вовсе устраниваться от преподавания, он не задумается сделать это даже вопреки коллегиальности: после 31-го и он не читал. В этих словах Лосского, уважаемого и как человека, и как ученого, я услышал подкрепление своих собственных взглядов. Выступал на собрании и наш приятель Генкель.

В половине 12-го я покинул общество вместе с двумя другими товарищами, и домой вернулся в 12 часов. Мамуша уже лежала в постели и засыпала, когда я вошел к ней в спальную.

Никаких решений, программ и т. п. на собрании не принималось, кроме решения послать письмо москвичам.

Из частной беседы с некоторыми лицами на этом собрании я узнал про слух, будто в коалиционном студенческом совете произошел раскол, появилась тенденция к прекращению этой длительной забастовки и что будто бы 19 февраля, в юбилейный день великой даты освобождения крестьян, коалиционный совет собирается выпустить воззвание, которое констатирует, что забастовка удалась, достаточно произвела впечатление и что теперь ее необходимо прекратить. Насколько этот слух соответствует действительности, проверить трудно.

Как курьез, могу сообщить, что спрашивал вчера вечером у Шишмарева, как идут дела на женских курсах. Он ответил, что положение приблизительно то же, что и в

³⁹ Д. В. Кузьмин-Караваев (1886–1959), юрист, выпускник Петербургского университета.

университете: слушательниц еще меньше, чем студентов. Только один человек собирает человек 14 — это Хилинский, который уверяет, что в числе их имеются человека четыре его постоянных слушательниц. «Но лекции у него, заметил Ш[ишмарев], постоянно проходят с какими-то прениями. Происходят вечные пререкания и столкновения». Х[илинский] объясняет это тем, что он принципиальный враг забастовки, а потому столкновения неизбежны.

В университете каждый день ведется регистрация читаемых лекций и соответствующая рапортничка передается полиции, очевидно, для передачи в министерство внутренних дел.

В результате весьма возможно, что меня попросту выгонят из университета, не дожидаясь «отставки»: такой исход дела для меня, разумеется, был бы самым простым. Думаю, впрочем, что до этого дело все-таки не дойдет и все эти предположения относятся к области шуток. С другой стороны, я не верил и вводу полиции в университет и тоже считал, что этим нас только пугают. Извиняюсь за пространность и сбивчивость послания и помещаю его в качестве бесплатного приложения к заказному пакету с бумагами.

Целую крепко тебя и Лиличку. Мы с мамушей, слава Богу, здоровы. Напиши, пожалуйста, о своем насморке, несомненно приключившемся, как справедливо, думается мне, предположила Лиличка, от несносной пыли, о которой вы нам писали. Надеюсь, однако, что ко времени получения настоящего моего послания твой насморк уже пройдет.

Еще раз всего хорошего.

Твой преданный и любящий сын Иван.

14 февраля 1911 г.

Письмо было написано вчера. Сегодня сдавая его на почту, хочу сделать еще маленькую приписку.

Прежде всего, от всей души благодарю за твое длинное письмо касательно университетских событий, которое я вчера получил от тебя: оно помечено 9 февраля.⁴⁰ Я прочел его, между прочим, и Жебелеву, бывшему вчера в воскресенье у нас вечером. Со всем, что ты говоришь в нем, я совершенно и безусловно согласен. Особенно успокоил меня конец письма, в котором я прочел оправдание моему образу действий: признаюсь, меня мучили на этот счет сомнения. Еще раз — большое, большое спасибо.

Завтра, 15-го во всех учебных заведениях постановлено начать масляничные каникулы: со вторника до воскресенья (почти полная неделя). Событий надо ожидать, стало быть, не раньше начала Великого Поста. Оказывается, Сергей Александрович также слышал о намерении коалиционного совета 19-го февраля прекратить забастовку. Но можно быть почти уверенным, что снятие забастовки дела существенно не изменит, так как полицейские наряды из университета вряд ли будут удалены впредь: присутствие полиции у аудиторий может сделаться постоянным.

В среду ожидается в Г[осударственной] Думе речь Столыпина по университетскому вопросу (запрос о высшей школе); по слухам, он выкажет твердость, будет говорить на ту тему, что никаких уступок со стороны правительства не будет. Центр его поддержит, конечно. И в Великий Пост мы вступаем окончательно униженные и побежденные.

⁴⁰ Письмо не обнаружено.

Если слух о прекращении забастовки окажется ошибочным или, если профессура не пожелает окончательно примириться с тем положением, которое намерена создать для нее правительственная власть, мы вступим в новую фазу разразившейся над высшей школой бури.

До свидания.

По-прежнему буду писать вам о происходящем, если вообще будет, о чем писать.

Ваня.

Р. С. При сем прилагаю: рескрипт Марии Павловны с препроводительной бумагой Голицына и письмо Бороката.⁴¹

И. Т.

15

С. Петербург
21 февраля 1911 г.

Милый папусинька!

Пишу все на ту же, наболевшую и начинающую уже и мне самому надоедать, тему: об университете. Лиличка в последнем своем письме говорит, что ты, зная, что она пишет мне, просишь ее передать мне, чтобы я не торопился своими решениями: «напиши ему, чтобы он не торопился решением и еще раз хорошенько обдумал все и не увлеклся». Да, действительно, приходится мне теперь поломать голову. Конечно, дело не во мне и нечего мне особенно беситься: ведь я прекрасно сознаю, что я — что называется — десятая спица в колеснице. Когда вопрос идет о положении всей высшей школы в России, то как-то комически-мизерным звучат «вопли» о собственной судьбе. Это-то я отлично понимаю. Но все же я человек, «индивид» и, как таковой, принужден думать и о собственной своей особе. Может быть, потому именно я так и «беспокоюсь», что тут замешана и моя личность. В конце концов, это и естественно.

В письме от 13-го ты говоришь, что как профессорам, так и приват-доцентам нет нужды, по твоему мнению, самим подавать в отставку, но не следует бояться быть прогнанным. Последний исход для меня лично был бы, конечно, наиболее приятным. «Нужно только действовать не по наитию, говоришь ты далее, а сознательно, отнюдь не боясь последствий, раз совесть чиста и ни в чем не упрекает». За последние прекрасные и твердые слова мысленно обнимаю тебя и шлю горячее спасибо! Письма твои, вообще говоря, явились для меня великим подспорьем. Я так привык проверять себя, пользуясь твоими советами, а тут пришлось «действовать самостоятельно». Во многом события опередили твои письма. И это обстоятельство еще больше увеличило для меня их ценность, т[ак] к[ак] я с радостью прочел в них оправдание своих действий уже *post factum*. Не сговариваясь, мы оказались солидарны с тобою во взглядах на главнейшие стороны происходящего. Мамуша предоставляла мне, так сказать, полнейшую «свободу действий». То, что она высказывала, почти дословно совпадает с текстом последней твоей открытки (от 17-го):⁴² «конечно, если ты по совести найдешь, что оставаться нельзя,

⁴¹ Приложение не обнаружено. Мария Павловна (1854–1920), великая княгиня, жена великого князя Владимира Александровича, президент Академии художеств (1909–1917).

⁴² Открытка не обнаружена.

то уходи, но во всяком случае следует обдумать зрело и спокойно такой решительный шаг, и не только по отношению к самому себе, но и по отношению к коллегам». Правда, последнее мамуша не так подчеркивала, как ты. Но я вполне сознаю, что именно в «отношении к коллегам» и заключается вся «хитрость вопроса».

Если бы события в петербургском университете приняли тот оборот, какой они приняли в московском, и если бы целый ряд профессоров и доцентов вышел в отставку, как то имело место в Москве, — разумеется, я уже давно был бы в числе этих последних. Но в Петербурге дело обстоит совсем иначе. В Москве университет встретил горячую поддержку со стороны общества; в чиновном Петербурге этой общественной поддержки, на которую университет мог бы опереться, не было. И мы стоим теперь в тупике.

Недавно я был у Марра и беседовал с ним по поводу всего происходящего и творимого. «Да, вам можно позавидовать, сказал мне Марр: вы можете бросить все, уехать куда-нибудь за границу, и там работать и заниматься тем, что вас интересует». — Это верно, возразил я, но я никогда не решусь экспортироваться. Добровольно бросать свою страну только потому, что жить в ней тяжело, я нахожу неправильным. А вот из университета я действительно хочу бежать. — «Но ведь совершенно то же можно приложить и к университету, возразил мне Марр. Если все мы бежим, кто, спрашивается, нас заменит? Маргариновые профессора новой формации? На наше место сядут господа, которые в конце разрушат даже то, что есть. И впоследствии нам, может быть, придется бороться лишь для того, чтобы вернуть хоть то положение, которое заставило нас бежать». На это я не нашел возражений. Теперь, обдумывая общую идею слов Марра, не заключающих в себе ничего особенно мудреного, но правдивых и благородных, я полагаю, что есть существенная разница между моим положением и его. Раз вопрос переносится, так сказать, на практическую почву, то тут выступает уже ценность отдельной личности. Скажу яснее: для него, для Марра, например, безусловно, важно сохранить кафедру, в интересах самой науки. Спешу подчеркнуть, что с будущего года, когда утверждаются новые штаты Академии, он материально от ухода своего из профессоров ущерба абсолютно не понесет. Итак, продолжаю: ему важно не покидать кафедры потому, что необходимо поддержать на факультете его школу, обеспечить своим присутствием на факультете дальнейшее развитие научных работ в области иафетической лингвистики. С его уходом, все начатое им, вся его научная школа рискует в университете погибнуть. Но у меня дело обстоит совсем иначе: я только «помощничая», не больше. И буду ли я или вместо меня другой прив[ат]-доцент, от этого дело особенно не изменится.

Переходя к фактической стороне вопроса, положение, в которое я теперь попал, сводится к следующему. Как я уже сказал, мы — насколько вообще возможно судить по первому дню возобновившихся в университете занятий — стоим в тупике. Полиция из университета не уходит и, по всей вероятности, так и не уйдет до конца семестра. Лекции в этой позорной обстановке читаться тем не менее будут. До сих пор я от чтения лекций уклонялся, принципиально расходясь в этом отношении с большинством своих коллег. Приступить к ним теперь мне довольно трудно, ибо наличность условий остается прежней. Те курсы, которые я в этом году читаю, сложились, с этой точки зрения, довольно удачно: практические занятия обязательного характера не носят, т[аким] о[бразом] зачета их не полагается. Равным образом, читавшийся мною курс по истории греческой драмы с экзаменом не связан, слушатели его на экзамене не сдают.

Таким образом, с формальной стороны, от устранения моих курсов с программ преподавания (уйду ли я совсем из университета или просто временно прекращу чтение лекций), студенты никакого урона, в смысле зачетов или экзаменов, не понесут. Эта сторона очень облегчает дело.

Далее, внутренний голос подсказывает мне, что если бы я ушел теперь из университета и отдался всецело научной работе, то года два или три правильных занятий (последовательного чтения книг и писания ученой работы) сделали бы, может быть, из меня порядочного ученого и, во всяком случае, были бы несравненно полезнее преподавательской деятельности.

Заглядываю я и в будущее. Убежден, что критическое положение высшей школы лишь временное, что мы рано или поздно дождемся светлых дней. Но, спрашивается, скоро ли? Что через пять или шесть лет все уладится, что университет опять вернет свою физиономию свободной научной школы, в этом для меня лично, с эгоистической точки зрения, пока мало еще утешения: стремиться к профессуре при тех порядках, какие, по-видимому, желают насадить в университетах, я нахожу для себя прямо-таки нелепым. Таковы выводы, говорящие за отставку. Против нее говорит одно принципиальное соображение: уйти из прив[ат]-доцентов, это значит — до известной степени порвать с университетом. Делать мне это тяжело, как ввиду прошлого, так и будущего. В прошлом меня связывают с университетом те чувства привязанности к нему, какие я питаю со времен моего студенчества; в будущем — возможность плодотворно трудиться в нем, когда настанут лучшие времена. Своим уходом я никакого «эффекта» не произведу, это явится только моим личным делом, которое покажет лишь, что я отказываюсь пребывать в том тяжелом и сомнительном положении, в каком решаются оставаться мои «коллеги». И вопрос, буду ли я иметь нравственное право вернуться в их среду, когда «лучшие времена» наступят. К этому присоединяется еще одно, побочное, соображение личного характера: мне не хотелось бы «подводить» Сергея Александровича, которого мне ужасно жаль. Поэтому я бы готов был продолжать делить вместе с товарищами тяготу общего положения в надежде, что положение, может быть, и улучшится, и рассматривая свое пребывание в университете как своего рода «крест». Но в таком случае, я не уверен, насколько это окажется совместимо с уклонением от лекций. Пожалуй, последовательнее было бы тогда принять на себя и тяжесть чтения лекций при существующей обстановке. А это не больно весело.

Итак, выражаясь языком официальным, ввиду всего изложенного, заключаю свое письмо довольно-таки слабым заявлением: хочу еще немного «выждать». За последнее слово мне, сознаюсь, немного совестно. Но выждать я хочу потому, что таково вообще свойство моего характера: я человек осторожный. А затем, я ничего не могу поделать со свойственным моей натуре «оптимизмом» (?): в моем сердце все еще теплится слабый огонек надежды, что жизнь создаст, быть может, иные условия; кто знает, может быть, через неделю новые события укажут совершенно ясно тот путь, по которому надо идти. Послушаю, что будет говориться в Думе, дождусь речи Столыпина и присмотрюсь к дальнейшему образу действий нашей профессуры. И лишь тогда только, когда все мои иллюзии лопнут и отношение мое к происходящему станет для меня самого отчетливо ясным, тогда я поговорю по душе с моим другом, Сергеем Александровичем, и направлю, выражаясь языком пиитическим, свою жизненную ладью по новому руслу, но к прежней, неизменной цели — образованию собственного дела и

сообщению своих знаний другим. Прости за лирику, излишние длинноты и, в конце концов, бесплодное нытье. Но я просто ощущал потребность, в некотором роде, «излиться» перед тобою. И еще два слова: прошу тебя и Лиличку не думать на основании тона моего письма, что я утратил свою жизнерадостность. По-прежнему, я верю в жизнь и стараюсь не падать духом. И обо мне не беспокойтесь: решение в ту или иную сторону я приму сознательно и буду всегда готов дать в нем ответ. «Нужно только действовать не по наитию, а сознательно, отнюдь не боясь последствий, раз совесть чиста и ни в чем не упрекает». Этими словами, заимствованными из твоего письма, я и хочу закончить свое послание.

Крепко целую тебя и милую Лиличку.

Твой любящий и преданный сын Иван.

16

Hotel Quirinal
Rome

27 февраля 1911 г.

Получил сегодня твое длинное письмо с мыслями об университетских делах от 23-го.⁴³ Нахожу, что все твои рассуждения совершенно верны и соответствуют создавшемуся положению. Мне лично издали кажется следующее:

1. Главная мерзость в Университете состоит в том, что: а) заставляют читать под охраной полиции, каковой лектора не просили, и б) читая лекции, профессура дает и повод, и возможность полиции отделять козлиц от овец, подвергая первых разным мучительствам (выражаюсь кратко).

2. При таком положении дел, дозволено ли уважающему себя человеку активно помогать правительству в установлении невероятного режима в Университете, а полиции в избрании своих жертв?

3. Состав слушателей играет тоже известную роль: если значительное число постоянных слушателей настойчиво требует продолжения занятий и притом не подводит сознательно товарищей, то читать им можно и даже, пожалуй, следует. Но если в числе их находятся люди незнакомые, приходящие на лекцию ради манифестации, то соглашаться играть роль в ней для лектора унижительно и даже непозволительно.

4. Профессора и доценты не могут и не должны соглашаться на чтение лекций при всяких условиях, которые угодно будет установить правительству, и я вполне согласен с Трубецким (см. письмо его в № 52 «Речи»), что такое их поведение может их окончательно дискредитировать в глазах как студентов, так и в общественном мнении, какое у нас даже как-никак существует.

5. Преподавательский персонал Университета должен: а) не сочувствовать насильственной форме забастовки, но б) выразить ясно непригодность и возмутительную гибкость принятых правительством мер: правительство обязано было прежде всего узнать мнение профессорской коллегии и ясно убедиться, что она не сочувствует забастовке и готова принять свои меры против нее. Раз этого не сделано (пусть даже по ошибке), нравственная ответственность с профессуры снимается и члены ее перестают быть исполнителями приказаний правительства и получают нравственно свободу действовать

⁴³ Письмо не обнаружено.

по совести, как ученые, как частные люди, перестав быть агентами правительства, которое их не желает признавать.

6. Я нахожу, что пока совершенно правильно поступаешь, так как не поступаешься ни своими принципами, ни воззрениями на смысл событий. Боюсь, что дело примет затяжную форму, так как не могу себе представить, как студенты, после того, как сотни и сотни их товарищей сосланы или засажены в тюрьмы (легко при этом предвидеть и самоубийства, и голодовки, а м. б., и экзекуции), начнут опять спокойно заниматься *ad maiorem Stolypini et Cassonis gloriam*. Очевидно, этого не будет, а следовательно... вам всем придется стоять перед дилеммой: потерять «лицо» или положение. Опять повторяю, что тебе спешить нечего: ты обеспечен и не только можешь, а должен поступать по совести, не нуждаясь ни в каких «красивых» жестах. Конечно, Марр прав, когда говорит о своих и, конечно, тоже твоих обязанностях по отношению к науке и ее насаждению, но только до тех пор, пока служение науке и ее распространению не наносит вреда самому «храму» науки, так как нам еще неизвестны такие пророки и благодетели человечества, которые служили бы своей идее под охраною штыков и грубой силы, признавая возможность такой охраны своего служения, выражаясь возвышенно, человечеству. Уход по своей воле я признавал бы пока, если не случится чего-либо неожиданного и особо возмутительного, непрактичного, но не боялся бы изгнания за исполнение своих человеческих обязанностей. Именно люди, занимающиеся своей наукой и вводящие в нее слушателей, нужны и всегда будут нужны Университету, а не те, которые отбарабаивают свои лекции ради положения и жалованья. Поэтому, первые, что ни болтают черносотенцы, гораздо сильнее и могут ждать, не поступаясь совестью, гораздо спокойнее вторых. Думается, что дело в Ун-те не наладится до лета (кроме экзаменов, если до них допустят профессора и м-ство), но что правительство станет скоро осторожнее, убедившись, что обмишурилось.

Целую, будь здоров и бодр.

Твой любящий отец.

Трубецкой, с коим мы встречаемся, не профессор.

В. А. Соломонов

**«УСТРАНЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ СИЛ — ФАКТ
НЕПОСТИЖИМО БЕСПРИМЕРНЫЙ В ЖИЗНИ ПРОСВЕЩЕНИЯ!»
(Министр Л. А. Кассо и судьбы российских университетов)**

Вместо неожиданно ушедшего в отставку А. Н. Шварца — автора нашумевшего и агрессивно встреченного научной общественностью проекта университетской реформы,¹ министром народного просвещения в 1911 г. был назначен Лев Аристович Кассо, бывший до этого профессором Московского университета. С приходом его в министерство, «в академических кругах, — по отзыву Н. В. Сперанского, — затеплилась надежда, что университеты в ближайшем, по крайней мере, будущем останутся в покое. Кассо в качестве министра был встречен, правда, с недоумением, но это чувство не носило недоброжелательного оттенка. <...> Кто мог бы думать, — вопрошал далее

автор, — что это — “провиденциальный человек”, какого реакция давно себе желала, что университеты накануне катастрофы?».²

Но, приняв должность министра, он оказывался вынужденным действовать в интересах своего ведомства. Первыми произвол власти ощутили на себе студенты и профессора Московского университета. Для многих из них 1911 г. стал жизнеопределяющим, вынудившим сделать трудный выбор: «или бросить свою науку, или забыть о своем человеческом достоинстве».³ В итоге 131 профессор и преподаватель старейшего университета страны был вынужден уйти в отставку, выразив тем самым решительный протест против проводимой в высшей школе реакционной политики.⁴

Известие об этом многими образованными членами российского общества было встречено с болью и тревогой за судьбы университетской науки и просвещения. Обращало на себя внимание и то, что разыгравшаяся в стенах Московского университета драма совпала с отмечавшимся в том же году 200-летним юбилеем со дня рождения его основателя, М. В. Ломоносова. «По злой иронии судьбы, — писал по этому поводу Н. В. Сперанский, — в год чествования памяти Ломоносова было разгромлено его создание, — разгромлен первый из русских университетов, — этот важнейший из очагов науки, этот питомник, так широко снабжавший научными силами другие менее счастливо поставленные высшие школы».⁵ П. П. Подъяпольский, окончивший в свое время два факультета Московского университета — медицинский и физико-математический, — в письме к своему учителю, профессору Д. Н. Зёрнову, с нескрываемой болью констатировал: «...устранение целой академии собственных научных выдающихся сил — факт непостижимо беспримерный в жизни просвещения и справедливости!».⁶

Подобное настроение, полное безграничной тревоги и неумеренного беспокойства за будущность российской науки, присутствовало и в частной переписке Дмитрия Николаевича и Марии Егоровны Зёрновых с сыном — профессором Саратовского университета В. Д. Зёрновым, учеником и последователем знаменитой русской школы физиков, во главе которой стоял П. Н. Лебедев. Хотя, справедливости ради, следует подчеркнуть, что их реакция на творимые правительством в стенах родной alma mater беззаконие и произвол была далеко не однозначной. С одной стороны, они отнюдь не принадлежали к сторонникам массовых отставок и, не разделяя подобного метода протеста, резко осуждали его, а с другой — открыто и нелюбезно высказывались в адрес как непосредственно министра Кассо и армии его добровольных подручных, так и проводимой им в области высшей школы политики «жесткой руки».

Вот, к примеру, как в феврале 1911 г. о московских событиях отзывалась мать ученого, М. Е. Зёрнова.

«Дорогой Володя! В университете творится что-то ужасное. Вчера вечером я узнала, что и твой П. Н. Лебедев подал в отставку. Что Умов и Соколов — это еще Бог с ними, но Петр Ник[олаевич]... Ведь это что же такое? Хотя бы ты написал ему. Что же их, т. е. его, никто не разговаривает, что же они думают сделать с Московским университетом, — совсем его разорить? Такого разгрома никогда в университете не было. <...>

Вчера в совете был Тихомиров. Огнев передал папе заседание, которое было у них, что будто Тихомиров в совете потребует от профессоров выражения верноподданнических чувств. Мы, конечно, возмутились; что же это, вылавливать профессоров, которые на это не пойдут? Воображаю, как волнуется бедный Комаровский. Слава Богу, до этого еще не дошло и то хорошо.

Меня ужасно волнует это повальное бегство, когда и чем это кончится; как какая-то эпидемия. Я думаю, если б ты был здесь, ты бы уговорил Лебедева. Что же это они не подумают и не пожалеют свой университет? Ходят слухи, что все это творится под влиянием из Петербурга кадетской партии, как, напр[имер], подача в отставку Мануйлова, Мензбира и Минакова и всего их хвоста. Необъяснимые, непонятные происшествия творятся». «Сегодня папа читал мне о делах в Саратовском университете. Здесь (в Москве. — В. С.) эпидемия все еще продолжается. Ты пишешь, Вова, чтоб я поменьше занималась политикой. Ну, разве тебя самого не волнуют дела университета? Я же 40 лет живу в университете и не могу хладнокровно относиться к его разрушению».⁷

В мае того же года, извещая Владимира Дмитриевича о приглашении П. Н. Лебедева после его выхода из состава профессоров Московского университета на работу в Стокгольм, она не преминула заметить: «А наши дураки думают, что ученых можно, как в булочной калачи, купить. И взяли же такого министра-истребителя. Он ничего не понимает, ничего ему не жаль. Возмутительно, что терпят такого. А Боголепова убили».⁸

Переживания супруги гулким эхом отдавались и в посланиях Д. Н. Зёрнова. В одном из них с горьким разочарованием за свой родной медицинский факультет он писал: «У нас в Университете хорошего мало. Наши медики, назначенные на место ушедших, образовали шайку с довольно скверными манерами. Так сегодня я получил, видимо, от одного из них анонимный донос, что некоторые старые профессора производят экзамены вне экзаменационного срока и тем отвлекают студентов от посещения клиник.

Челинцев прибыл и сразу показал неестественную прыть, даже не представившись ректору».⁹

Другой эпизод из жизни ученой династии Зёрных, имевший прямое касательство к описываемым событиям и документально отразившийся в материалах их семейного архива, был связан с мучительными раздумьями по поводу возникшей перспективы переезда из Саратова в Москву.

Впервые реальная возможность занять кафедру в Московском университете у В. Д. Зёрнова появилась еще в 1912 г., когда в личной беседе с Д. Н. Зёрновым министр народного просвещения Л. А. Кассо вдруг неожиданно выразил сожаление о том, что его сын не имеет докторской степени, а является лишь магистром. В противном случае он-де перевел бы его своей властью в первопрестольную столицу. У Д. Н. Зёрнова подобное замечание министра, которого иначе как «проклятым цыганом» он не называл, особого восторга не вызвало. В письме сыну от 3 июня 1912 г., касаясь сути своего разговора с Кассо, он недвусмысленно советовал ему не обольщаться данной перспективой: «...перевод в Москву наподобие Челинцева едва ли был бы тебе приятен, да и кафедра-то свободная по теоретической физике, которую ты не возьмешь. Компания же с Соколовым и Станкевичем едва ли приятна. <...> Конечно, перевод в Москву для нас [с] мамой был бы желателен и приятен, но для тебя, при настоящих обстоятельствах, едва ли удобен».¹⁰

Отказаться от аналогичного предложения Д. Н. Зёрнов посоветовал сыну и накануне Первой мировой войны. В письме от 14 января 1914 г. он писал ему: «...все дело становится в зависимость от Станкевича, который, вероятно, идет навстречу, чтобы досадить Соколову, выдвигающему Яковлева. Таким образом, дело о переходе твоём обставляется

неприятными обстоятельствами и, кажется, лучше оставить это, хотя на время и тем более, что пребывание в Саратове тебе, по-видимому, не так уж противно. Что же касается меня, то есть моего одиночества, то, разумеется, оно не может быть решающим моментом. <...> Можно будет сказать Лахтину, что в настоящее время ты, во-первых, считаешь более удобным работать на диссертацию в Саратовской лаборатории, а, во-вторых, боишься попасть между Соколовым и Станкевичем, которые ссорятся».¹¹

Узнав из очередного письма сына о его назначении преподавателем Высших сельскохозяйственных курсов, открытых в Саратове в 1913 г., Д. Н. Зёрнов с явным удовлетворением констатировал: «Приглашение в новый институт как с неба свалилось и дает выход из скверного положения, которое может создаться, если затея этого проклятого цыгана (Л. А. Кассо. — В. С.) с изменением положения профессоров удалась бы. Хорошо также, что новый институт будет, конечно, состоять в ведомстве Министерства земледелия, а не в цыганском».

И далее, сетуя на бесцеремонность и коварство министра и его приспешников, добавлял: «В этом году этот цыган сделал мне пакость, не назначил дополнительного содержания (1200 р[ублей]), которое я получал с 1900 года. Говорят, наградил кого-то удобного ему в Харькове. Любавский устраивает теперь замену этого содержания, а именно предполагает взять его из остатков от личного состава. Это дело прошло в факультете и в Правлении. Завтра будет докладываться в Совете. Вероятно, пройдет. Но оно должно пройти еще попечителя и министерство. Если не удастся, мне будет очень чувствительно лишиться зараз этого дополнительного содержания, да деканского, да квартиры.

Что касается освободившейся кафедры общ[ей] патологии, то у нас еще ничего не предпринято. Завтра поговорю с ректором. С тех пор, как цыган стал насаждать своих ставленников, мы перестали ходатайствовать о поручении выбора профессоров факультету. Теперь мы, вероятно, только донесем, что кафедра свободна, как это полагается по уставу».¹²

Из приведенных выше документальных свидетельств видно, с какой клокочущей болью в сердце воспринималась реакционная политика министра Л. А. Кассо в отношении старейшего в России «рассадника просвещения» всеми теми, кому судьба его богатых и славных традиций была далеко не безразлична. Обрушившееся на русскую науку несчастье трактовалось этими людьми как сугубо личная трагедия.

Однако сам Кассо, этот, по меткому определению К. А. Тимирязева, «суперарбитр, поставленный у Чернышева моста ведать русскую науку...», «...авторитет которого измеряется только титулом и окладом, присвоенным случайно занимаемому им служебному месту...», оценивал дело рук своих совершенно иначе. Он был тверд и непоколебим в мысли, «что потери Московского университета <...> невелики и русским ученым остается или преклониться перед этим приговором, или устранить...».¹³

Аналогов подобному изуверству трудно было сыскать во всей истории российской науки и просвещения. Даже ретроградные действия министра народного просвещения Н. П. Боголепова, являвшегося, как известно, одним из авторов «Правил» об отдаче студентов, принимавших участие в революционном движении, в солдаты, казались в сравнении с политикой Л. А. Кассо безобидной оплошностью. Эту мысль, в частности, подтверждают и воспоминания крупного государственного и политического деятеля России С. Ю. Витте. Попытавшись сопоставить деятельность этих двух фигур в области

народного образования, он невольно дивился тому, «каким образом такой режим, режим полнейшего произвола и усмотрения, мыслим после 17 октября 1905 г.». И сам же давал вполне разумное тому объяснение: «...Кассо есть продукт общей распутной политики, внедренной Столыпиным, которая и породила Кассо».¹⁴

Проводимая в эти годы Министерством народного просвещения политика «усмирения и устрашения» нашла свое проявление и в жизни Саратовского университета. Замещение вакантных кафедр в нем проходило теперь так же, как и в других университетах, исключительно по прямому указанию министра,¹⁵ а неугодные ему профессора подвергались унижительным преследованиям и гонениям.

В мае 1912 г. в местных газетах появились сообщения об отказе профессора В. И. Разумовского вновь баллотироваться на пост ректора университета.¹⁶ На состоявшемся 7 мая заседании Совета университета, объясняя причины своего отказа, он заявил: «Я имею право не выставлять свою кандидатуру на выборы тем более, что среди членов Совета находятся лица, работавшие вместе со мной с основания Саратовского университета и, следовательно, с такой же опытностью, как и у меня; не сомневаюсь, — подчеркивал ученый, — что при их участии (в случае выбора их) дальнейшее развитие Николаевского университета пойдет правильно. Насколько могу, в качестве члена Совета, буду всеми силами способствовать этому, но быть в администрации университета я отказываюсь».¹⁷ И все же основная причина отказа от баллотировки, думается, крылась в том, что в условиях постоянной слежки и доносов со стороны полиции, усиливающегося давления из Министерства народного просвещения В. И. Разумовский, в силу своих передовых убеждений, не мог мириться с происходящим. Идти же против собственных принципов в угоду реакции ученый не хотел и не мог. В министерстве же такой отказ восприняли с холодным молчанием и, естественно, препятствий для отставки заслуженного профессора не чинили.

Вслед за В. И. Разумовским гнев Кассо пал и на ближайшего его друга и сподвижника в деле организации и строительства нового университета — профессора В. В. Вормса. Попечитель Казанского учебного округа при посещении Саратовского университета дал понять В. В. Вормсу, что такой проректор, каким является он, в министерстве считается «неблагонадежным» и симпатиями, конечно же, не пользуется. В создавшихся условиях Владимиру Васильевичу ничего другого не оставалось, как подать прошение об отставке. 1 ноября 1913 г. оно было удовлетворено.¹⁸

Но и после увольнения профессора В. В. Вормса с должности проректора он продолжал оставаться для правительства одним из опаснейших и неугодных профессоров. В одном из донесений саратовского губернатора князя А. А. Ширинского-Шихматова в Министерство народного просвещения говорилось, что профессор В. В. Вормс, «будучи сам безусловно левого направления и сочувствуя всякого рода выступлениям учащейся молодежи, оказывает на студенчество весьма отрицательное влияние, ввиду чего оставление его в числе преподавателей Саратовского университета представляется нежелательным».¹⁹

После решительного отказа В. И. Разумовского выставить свою кандидатуру на ректорских выборах, Совет университета тайным голосованием, как того требовали старые академические традиции, избрал на этот пост профессора И. А. Чуевского.²⁰ Но такой исход выборов не встретил одобрения в Министерстве народного просвещения, и результаты их были аннулированы.

По распоряжению министра Л. А. Кассо временно исполняющим обязанности ректора был назначен профессор Н. Г. Стадницкий, «для этой роли совершенно неподходящий».²¹ С самого начала своей деятельности в новой должности он повел решительную и бескомпромиссную борьбу с любыми проявлениями либерализма. В его «черный актив» в этом плане с полным основанием можно отнести подготовленный им втайне от коллег доклад для министра народного просвещения с изложением конкретных мер, с помощью которых он намеревался окончательно пресечь в Саратовском университете даже самую мысль о студенческих беспорядках. В частности, он настаивал на прекращении развития в его стенах таких студенческих организаций, как общество взаимопомощи студентов-медиков (с бюро труда, библиотекой и потребительской лавочкой при нем), общество имени Н. И. Пирогова, студенческий хоровой кружок и строящиеся по территориально-национальному признаку кассы взаимоподдержки студентов-астраханцев, туркестанцев и евреев. Н. Г. Стадницкий выступал также против дальнейшего перевода в Саратов из Новороссийского университета студентов-кавказцев, составлявших, по его мнению, «особо беспокойный элемент».²²

Своими угодническими действиями Н. Г. Стадницкий очень скоро завоевал расположение как министерских, так и полицейских чиновников. Достаточно привести некоторые отзывы о нем жандармской охраны, чтобы стало понятно, что за человек возглавил университетскую администрацию и в каком невыносимо тяжелом положении в связи с этим оказалась свободолюбивая молодежь и передовая профессура Саратовского университета.

«Стадницкий, — говорилось в одной из таких характеристик, — известен всем, как человек, безусловно, правых убеждений, с неистощимым запасом энергии и силой воли, строго стоящий на почве законности и умеющий охранять порядок».²³ «...Человек большой воли, строго определенного направления, согласующий свою деятельность с видами правительства, — отмечалось в следующей, — он всегда неуклонно придерживается закона и университетского устава, ввел надзор за студентами в стенах университета, увеличив с этой целью число смотрителей зданий, имеет всюду сам постоянное наблюдение и успешно устраняет из университета все, что не относится к прямым его задачам. Лишь благодаря его решительности, энергии и смелости, — подчеркивалось в заключение, — в Саратовском университете до сих пор предотвращались забастовки и другие разного рода осложнения, сделавшиеся обычными в других высших учебных заведениях». Выделив в характере Н. Г. Стадницкого перечисленные выше качества, местные власти с уверенностью заявляли, что из всех членов профессорской корпорации Саратовского университета он является «единственным лицом, вполне достойным занять должность ректора и способным повести университет по верному пути».²⁴

Надо признать, что отношение к Н. Г. Стадницкому большинства саратовской профессуры, и без того весьма натянутое, после назначения его временно исполняющим обязанности ректора усугубилось. Особенно заметно это проявилось накануне и во время проведения 23 сентября 1913 г. повторных выборов ректора.

Непосредственно перед началом баллотировки, как и полагалось в подобных ситуациях, члены Совета записками наметили возможных кандидатов на ректорский пост. Ими стали профессора: Н. Г. Стадницкий, получивший 10 записок, П. П. Заболотнов — также 10 записок, В. А. Павлов и А. Ф. Преображенский (тут же снявшие свои

кандидатуры) — оба по одной записке. Состязание состоялось между основными претендентами. Результаты выборов показали, что большинством голосов (14 против 10) новым ректором Саратовского университета был избран профессор патологической анатомии Петр Павлович Заболотнов (1858–1935), по определению В. Д. Зёрнова, «человек, довольно провинциальный, но старых академических правил», который «без блеска, но вполне благополучно правил университетом до сентября 1918 года <...> после чего абсолютно отказался от вторичного избрания».²⁵

Для выяснения ряда важных особенностей, характеризующих внутреннюю жизнь Саратовского университета, ректорские выборы 1913 г. сыграли большую и определяющую роль. Прежде всего (и это самое, пожалуй, главное) они помогли раскрыть общественно-политическую сущность местной профессуры, особенно ярко заявившей о себе во время предвыборной кампании, активно проводившейся накануне баллотировки. В отчете саратовского губернатора за ноябрь 1913 г. сообщалось по этому поводу: «Профессорская коллегия, состоящая из 25 лиц, резко разделилась на правых, с исполняющим обязанности ректора Стадницким во главе, и левых, в числе коих главную роль играют бывший ректор университета Разумовский и профессор Вормс».²⁶

Сторонников жесткого курса в деятельности университетской администрации насчитывалось 10, а приверженцев демократических принципов в академической жизни — 15 человек.

О причинах раскола саратовской профессуры на «левых» и «правых», о господствовавших в той или другой группе настроениях свидетельствуют многочисленные источники, хранящиеся как в государственных, так и в личных архивах. Интересно в этом плане письмо профессора В. Д. Зёрнова жене от 18 сентября 1913 г.: «Голубка, ты нас бранишь за политику; но когда на каждом шагу встречается тупость в соединении с нахальством, да еще приправленная стремлением половить в мутной воде рыбку, поневоле все нервничают. Устраниться совсем — ты знаешь, это нелегко».²⁷

Не обращать внимания в создавшейся ситуации на лицемерие и ханжество, действительно, было непросто. И большинство саратовских ученых это хорошо понимали. Но, пожалуй, более чем кто-либо другой, надвигавшуюся опасность университетским традициям и устоям сознавали бывший ректор университета профессор В. И. Разумовский и профессор В. В. Вормс. Подчеркивая это обстоятельство, начальник Саратовского губернского жандармского управления на запрос губернатора сообщал: «Во главе оппозиционной группы несомненно стоит бывший ректор, профессор Разумовский, неоднократно нарушавший ныне действующий университетский устав 1884 года, а равно и циркуляры министра народного просвещения, статьи закона. Профессор Разумовский сильно противодействовал при выборах профессора Стадницкого в члены Правления университета, в деканы медицинского факультета и в ректоры, хорошо зная правые убеждения <...> Стадницкого...».²⁸ Последний в свою очередь тоже не сидел сложа руки и, как вспоминала дочь первого ректора Саратовского университета Ю. В. Разумовская, постоянно «доставлял отцу немало неприятностей своими происками и доносами».²⁹

Если согласиться с тем мнением, что В. И. Разумовский выступал в роли своеобразного призывного стяга оппозиции, то В. В. Вормс в таком случае являлся главным связующим звеном всех ее сил. Его авторитет ученого и общественного деятеля помог ему объединить вокруг себя значительное большинство университетской профессуры.

«В настоящее время, — говорилось в одном из донесений, поступавших из Саратова в Департамент полиции, — среди последних (имеется в виду группа левых профессоров. — *В. С.*) профессор Вормс является объединяющим лицом. С целью сплотить своих единомышленников, он устраивает теперь вместе с ними товарищеские ужины, носящие, видимо, характер частных совещаний, так как в последний раз счел почему-то нужным об устройстве такого ужина уведомить запиской полицмейстера».³⁰

Противостояние между «правой» и «левой» группировками внутри профессорской корпорации Саратовского университета не исчезло и после ректорских выборов. Стремясь превратить российские университеты в надежный форпост самодержавной власти путем насаждения в них верноподданических элементов, Л. А. Кассо, грубо вмешиваясь в жизненные планы отечественных ученых, самолично определял, кому и где следует служить русской науке. Судьба профессора ботаники А. Я. Гордягина, стоявшего у истоков создания университета в Саратове, лучшее тому подтверждение.

Будучи крупным ученым и человеком высоких моральных и нравственных принципов, Андрей Яковлевич сразу оказался в центре внимания саратовской профессуры и студенчества, завоевав среди них «всеобщие симпатии как друг молодежи, опытный преподаватель, прекрасный товарищ. Не меньшие симпатии, — отмечал В. И. Разумовский, — снискал он и в саратовском обществе, для которого его перевод из Саратова (в 1914 г. — *В. С.*) чувствителен, тем более что он имелся в виду как директор Сельскохозяйственных курсов»,³¹ в организации которых он активно участвовал с 1913 г.

В переводе А. Я. Гордягина снова в Казанский университет не последнюю роль сыграл попечитель Казанского учебного округа Н. К. Кульчицкий, который еще до 1914 г. намеревался заменить его в Саратовском университете на одиозного К. С. Мережковского, чтобы последний смог «одновременно занять там (в Саратове. — *В. С.*) и должность ректора».³²

Описывая от третьего лица всю эту закулисную «игру», Андрей Яковлевич констатировал: «Кульчицкий еще и до попечительства имел основания для неприязни против некоторых саратовских профессоров, в том числе и Гордягина; может быть, главным из этих оснований был отказ участвовать в съезде правых профессоров, организатором которого был Кульчицкий в 1909 г. Став попечителем, Кульчицкий разными способами добился ухода неугодных ему профессоров из Правления Саратовского университета, а, следовательно, и из Строительной комиссии, учреждения, которое существовало на основании особого закона и доставило немало неприятностей и казанским попечителям, и министерству. Гордягин тоже состоял членом Правления Саратовского университета, но по избранию от Совета, и удалить его из Правления было труднее, чем других, тем более что в законе о Саратовском университете по недосмотру не был оговорен срок, на который избираются такие члены Правления. Законный срок для расчета с Гордягиным, который, по отзыву Кульчицкого, „поддерживал каждое выступление против министерства“, открывался лишь в 1914 г., когда исполнялось двадцатипятилетие службы Гордягина: министерство имело право „освобождать“ от службы профессоров по истечении этого срока».³³

На состоявшемся по случаю юбилея (совпавшего с проходами ученого из Саратова) торжественном заседании Саратовского университета каждый из присутствовавших на нем мог выразить юбиляру свои радостные и одновременно в связи с предстоящим его отъездом грустные чувства. И все же, несмотря на то что Андрей Яковлевич «недолго

проработал в Саратовском университете и против его воли при министре Кассо был возвращен в Казань», он неизменно остался в памяти всех саратовцев — современников и потомков — как «один из самых симпатичных товарищей. Большая умница, широко образованный, настоящий большой естествоиспытатель и превосходный лектор».³⁴

Подобный правительственный курс в области высшего образования, конечно, не мог прибавить симпатии к Л. А. Кассо ни в университетских кругах, ни в русском образованном обществе в целом. Наглядным подтверждением может служить то, как были в Саратове восприняты слухи о возможном визите в город в апреле 1914 г. министра народного просвещения и попечителя Казанского учебного округа, едущих «мирить профессоров (они все переругались) уни[версите]та».³⁵

Так, например, студент Саратовского университета Д. Д. Гуров с язвительной иронией по этому поводу писал: «...к нам жалует милейший Лев Аристархович (так в перлюстрированном полицией оригинале; правильно — Аристидович. — В. С.) Кассо. Видимо, Господь Бог не хочет обойти нас своей милостью и ниспосылает нашему университету счастье и радость лицеизреть в стенах alma mater столь незабвенное историческое лицо. Кассо, видишь ли, едет в Казань по поводу Г[осподи]на Мережковского, ну оттуда заглянет и к нам, дабы примирить правых и левых профессоров. Меня прямо в ярость приводит одна мысль, что и я, быть может, удостоюсь этой великой милости, т. е. увижу Л. Ар. Кассо. Меня поражает дерзость и нахальство подобных лиц. Грязные, неопрятные они еще смеют учить чистоплотности других лиц. Это ведь сплошной ужас».³⁶

Тогда же среди местных обывателей возникли опасения, что в Саратове на жизнь министра может быть совершенно покушение.

«Сейчас ждут <...> в Саратов Кассо, а потому все еще резче сказывается. Я очень не хочу, чтоб он приезжал, помимо того, что все эти встречи, маскарады всего — противны, я боюсь (и многие этого бояться), что с Кассо может что-нибудь случиться в Саратове. Саратов ведь из буйных городов, хотя дела и не делает толком, а Кассо здесь терпеть не могут. Мне деятельность его, хотя тоже не очень-то по душе, но все-таки недовольство его деятельностью не дает никому права лишать его жизни. А вряд ли в Саратове дело пройдет без покушения на него...»,³⁷ — читаем в одном из перлюстрированных охранным отделением писем.

Однако эти тревоги, скорее всего, были надуманными. Как замечал Д. Д. Гуров, изнутри знавший молодежную среду, «на посещение университета Кассо я глубоко уверен, что студенчество ничем не будет реагировать. Принимая во внимание лояльность нашего университета, Кассо, пожалуй, вздумает посетить и лекции. При встрече как-нибудь расскажу один факт характерный для нашего студенчества. Писать не хочется, так как заняло бы много места и времени...».³⁸

Как бы многосложно ни реагировали современники на трагические события, разыгравшиеся в 1911 г. внутри и вне стен Московского университета и грозным эхом отозвавшиеся в скором времени во всех крупных университетских центрах Российской империи, конечный их вердикт был однозначно осуждающим. Действия полицейско-административной машины царизма, надежным защитником и оплотом которой в области народного просвещения являлся министр Л. А. Кассо, иначе как разрушительными и откровенно циничными по отношению к отечественной высшей школе назвать было невозможно.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ У современников нисколько не вызывало сомнения, что «децентрализация университета, предложенная в проекте, неизбежно <...> сделает профессорские корпорации гораздо более „достижимыми” для различных воздействий на них с „высоких мест”, что она превратит почти что в призрак формально оставляемую за университетом автономию» (*Сперанский Н. В.* Борьба за школу: Из прошлого и настоящего на Западе и в России. М., 1910. С. 208). Негодующее отношение в обществе и прохладную реакцию в высших эшелонах власти вызывал также вопрос об университетских приставках (Саратовский листок. 1909. 6 дек. № 274).

² *Сперанский Н. В.* Кризис русской школы: Торжество политической реакции. Крушение университетов. М., 1914. С. 122.

³ *Тимирязев К. А.* Наука и демократия: Сб. статей 1904–1919 гг. М., 1963. С. 58.

⁴ См.: История Московского университета. М., 1955. Т. 1. С. 376.

⁵ *Сперанский Н. В.* Кризис русской школы. С. 125–126.

⁶ П. П. Подъяпольский — Д. Н. Зёрнову 24 июня 1915 г. (Коллекция документов по истории Саратовского университета В. А. Соломонова (Саратов); далее — Коллекция В. А. Соломонова).

⁷ М. Е. Зёрнова — В. Д. Зёрнову 11 и 12 февраля 1911 г. (Коллекция В. А. Соломонова).

⁸ М. Е. Зёрнова — В. Д. Зёрнову 5 мая 1911 г. (Там же).

⁹ Д. Н. Зёрнов — В. Д. Зёрнову 9 февраля 1912 г. (Там же).

¹⁰ Д. Н. Зёрнов — В. Д. Зёрнову 3 июня 1912 г. (Там же).

¹¹ Д. Н. Зёрнов — В. Д. Зёрнову 14 января 1914 г. (Там же).

¹² Д. Н. Зёрнов — В. Д. Зёрнову от 30 апреля 1913 г. (Там же).

¹³ *Тимирязев К. А.* Наука и демократия. С. 61–62.

¹⁴ *Витте С. Ю.* Избранные воспоминания, 1849–1911. М., 1991. С. 391.

¹⁵ Были, правда, и исключения; например, назначение по выбору Совета университета С. И. Спасокукоцкого и А. А. Богомольца. Подробнее об этом см.: 1) *Соломонов В. А.* «Празднику был придан всесоюзный и политический

размах» : (проф. С. И. Спасокукоцкий о праздновании 25-летия Саратовского университета и медицинского института) // Отечественные архивы. 1995. № 6. С. 80–81; 2) Они были первыми // Четыре века. Саратов, 1991. С. 165–169.

¹⁶ Саратовский вестник. 1912. 13 мая. № 103.

¹⁷ Государственный архив Саратовской области (далее — ГАСО). Ф. 393. Оп. 1. Д. 271. Л. 3 об.

¹⁸ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9210. Л. 28 об.

¹⁹ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9210. Л. 56; Российский государственный исторический архив (далее — РГИА). Ф. 733. Оп. 155. Д. 812. Л. 47.

²⁰ ГАСО. Ф. 393. Оп. 1 Д. 271. Л. 4 об. (Выборы состоялись 7 марта 1912 г. За И. А. Чуевского проголосовало 14 человек, против — 2).

²¹ *Зёрнов В. Д.* Записки русского интеллигента / Публ., вступ. ст., коммент. В. А. Соломонова // Волга. 1994. № 3–4. С. 122.

²² Государственный архив Российской Федерации (далее — ГАРФ). Ф. 102. ДП-ОО. 1914. Д. 59. Ч. 69. Л. 5–5 об.

²³ ГАРФ. Ф. 102. ДП-ОО. 1914. Д. 59. Ч. 69. Л. 15.

²⁴ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9210. Л. 54 об.; РГИА. Ф. 733. Оп. 155. Д. 812. Л. 46.

²⁵ *Зёрнов В. Д.* Записки русского интеллигента // Волга. 1994. № 3–4. С. 123.

²⁶ РГИА. Ф. 733. Оп. 155. Д. 812. Л. 46.

²⁷ В. Д. Зёрнов — Е. В. Зёрновой 18 сентября 1913 г. (Коллекция В. А. Соломонова).

²⁸ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9210. Л. 59 об.

²⁹ *Разумовская Ю. В.* Воспоминания о моем отце — профессоре хирурге В. И. Разумовском и о нашей семье. С. 16. Машинопись. (Коллекция В. А. Соломонова).

³⁰ ГАРФ. Ф. 102. ДП-ОО. 1913. Д. 59. Ч. 69. Л. 4.

³¹ ГАСО. Ф. 393. Оп. 1. Д. 467. Л. 17.

³² *Гордягин А. Я.* Из истории Ботанического кабинета Казанского университета // Учен. зап. Казан. ун-та. 1933. Т. 93. Вып. 6. С. 59.

³³ Там же. С. 58–59.

³⁴ *Зёрнов В. Д.* Записки русского интеллигента // Волга. 1993. № 11. С. 138.

³⁵ ГАСО. Ф. 51. Оп. 1. Д. 70 а. Т. II. Л. 64 об.

³⁶ Там же. Л. 79–79 об.

³⁷ Там же. Л. 81 об.

³⁸ Там же. Л. 79 об.

А. П. Купайгородская

**ИНСТИТУТ ИСТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
(1929–1936)**

Начало существованию Ленинградского отделения Коммунистической академии было положено в 1927 г. организацией в Ленинграде (под эгидой городского партийного руководства) Института методологии марксизма; в 1928 г. он стал Ленинградским научно-исследовательским институтом марксизма (ЛИМ); в феврале 1929 г. секретариат Ленинградского обкома ВКП(б) постановил сосредоточить в этом институте «подготовку научных работников в области общественных наук (истории, социологии, экономики, философии)».¹ В 1929 г. Коммунистическая академия включила ЛИМ в свой состав, таким образом он стал Ленинградским отделением Коммунистической академии (ЛОКА). В том же году в составе Коммунистической академии был организован Институт истории — что было, как сказано в решении Президиума Академии, «настоятельно необходимым». Новому институту поручалась роль «основного научно-исследовательского центра марксистской исторической науки в СССР и базы научно-исследовательской работы Общества историков-марксистов».² Председатель Президиума Комакадемии М. Н. Покровский стал и директором Института истории.

В конце 1920-х гг. Коммунистическая академия приступила к организации филиалов в крупнейших городах страны — Ленинграде, Свердловске, Ташкенте, Тифлисе, Ростове-на-Дону, Воронеже, Новосибирские, Минске, Саратове, Владивостоке, Самаре.³ Продолжалось укрепление позиций и усложнение структуры Коммунистической академии. В нее был включен Институт красной профессуры. В начале 1930-х гг. в составе Академии было двенадцать институтов (аграрный, экономики, истории, философии и др.). Комакадемии и ее филиалам и институтам поручалось ведение научно-исследовательской и агитационно-пропагандистской работы в русле основных направлений деятельности коммунистической партии и советского правительства на всех уровнях — от всесоюзного до отдельных фабрик, заводов, цехов, колхозов. Все институты были обязаны принимать практическое участие в проводившейся по решению ЦК ВКП(б) (май 1931 г.) производственно-технической пропаганде.

Организация ЛОКА строилась в соответствии со структурой Комакадемии. Были учреждены научно-исследовательские институты: экономики; философии; истории; аграрный; литературы, искусства и языка; советского строительства и права; подготовки красной профессуры; Комиссия по изучению национальностей. Одновременно в системе ЛОКА создавался целый комплекс соответствующих ее направленности и содержанию работы учреждений, называвшихся по уже закрепившейся традиции «обществами» (что, очевидно, должно было подчеркивать их неофициальный, добровольный статус): историков-марксистов, воинствующих материалистов-диалектиков, марксистов-востоковедов, марксистов-государственников, экономистов-марксистов.

Аналогичные образования создавались не только в области обществоведения — были общества врачей-материалистов, марксистов-биологов, математиков-материалистов и т. д.

Система этих объединений, охватывавших буквально все области науки и просвещения, указывала на решимость партийно-государственного руководства подчинить все сферы теоретической и практической деятельности единой материалистической, марксистской методологии, не только не оставлявшей места для независимой исследовательской работы, но ставившей вне закона любые попытки ее реализации; монополия на определение соответствия «единственно верному» учению была у власти предрешающих, и, следовательно, от злобещих обвинений не был застрахован никто.

Преобразование ЛИМ в ЛОКА не было формальным. При этом был пересмотрен личный состав Института истории. Из числа действительных членов было исключено 8 человек, из списка научных сотрудников 1-го разряда — 7. В отчете о работе Института истории ЛОКА (апрель 1929—март 1930) было записано, что «исследователи типа Б. Д. Грекова и В. В. Струве выведены из состава Института и привлечены к работе в качестве ученых специалистов».⁴ По-видимому, таким образом подчеркивался более высокий ранг названных ученых, они освобождались от повседневных (разнообразных и многочисленных) обязанностей в институте, выполнения срочных идеологических заданий и неукоснительного соблюдения всех пунктов трудовой дисциплины.

Институт истории ЛОКА начал работать в апреле 1929 г., под руководством президиума: Г. С. Зайдель — председатель, З. Д. Лозинский — ученый секретарь; члены президиума — С. Г. Томсинский, И. С. Фендель, Х. Г. Лурье, А. Г. Пригожин, О. А. Лидак, И. М. Меламед, Попов. В составе института значилось 13 действительных членов, из них 10 членов ВКП(б), 18 старших научных сотрудников (из них членами партии были 7) и 15 младших научных сотрудников.⁵

В конце 1929 г. утверждался списочный состав научно-исследовательских институтов ЛОКА. На заседании правления ЛОКА 16 декабря 1929 г. (8 человек: Гониман, Кирпотин, Зайдель, Уваров, Булат, Путрайм, Вольпе, Левит, Драбкин) рассматривался список Института истории. Он состоял из двух частей: действительные члены и старшие научные сотрудники. По докладу Г. С. Зайделя были утверждены действительными членами: Зайдель, Тюменев, Томсинский, Молок, Балабанов, Валк, Воробьев, Райский, Фендель, Лозинский, Лурье, Пальвадре, Пригожин, Викторов, Лидак; в списке старших научных сотрудников были: Мартынов, Вознесенский, Щеголев, Булкин, Розенберг, Ковалев, Кудрявцев, Введенский, Розенталь, Крюгер, Малышев, Кашин, Горловский, Меламед, Владимиров, Дренк, Францевич.⁶ Дополнения и изменения состава работающих начались уже вскоре после этого заседания. Весной 1930 г., отчитываясь за первый год своей деятельности, руководство института подчеркивало, что оно привлекло все основные кадры научных работников — марксистов-коммунистов Ленинграда и наиболее близких к ним беспартийных, «усваивающих марксистскую методологию», и одновременно «очистило свои ряды от ученых с буржуазной идеологией».⁷

Институт истории ЛОКА вначале работал по планам, разработанным еще ЛИМом. Сотрудники делились на группы по следующим темам: 1) история рабочего движения эпохи империализма; 2) история Великой французской революции; 3) история революционного движения и социальных конфликтов в древнем мире; 4) история аграрных отношений в России; 5) история народничества; 6) история рабочего движения в России, 1895–1916; 7) история профсоюзов в России; последними были созданы группы: 1) история Востока; 2) история гражданской войны и вооруженного восстания; специальная группа (или секция) методологии истории концентрировала усилия на «критике

псевдомарксистских концепций» — в тот момент в центре внимания были дебаты о сущности феодализма, торговом капитале, работах Дубровского; группа занималась также «критической разработкой» трудов Вебера, Допша, Трельча и проч.; идеологические баталии не были привилегией только этой группы — доклады, направленные «против Ростовцева» и «антимарксистской вылазки С. Лурье», были поставлены в группе истории революционного движения и социальных конфликтов в древнем мире.⁸

В целом по институту в 1929–1930 гг. значилось в работе 43 темы — почти у каждого сотрудника была своя, а у некоторых и две темы; лишь единичные проблемы разрабатывались двумя, редко — тремя исследователями; в списке запланированных докладов (с 1 января 1929 г. по 1 июня 1930 г.) значилось 55 пунктов; их тематика охватывала исторический процесс от глубокой древности до современности на всем пространстве развития цивилизации; отдельные темы носили принципиальный, обобщающий, теоретический или полемический характер («Методология истории эпохи торгового капитализма» — Малышев и Кудрявцев; «Проблемы конституирования рабочего класса» — Меламед, Балабанов, Оранский; «Спорные проблемы эпохи империализма» — Зайдель; «Что делало политику русского самодержавия на Дальнем Востоке боевой» — Романов; «О книге Лурье» — Ковалев; «Спорные вопросы борьбы течений в Парижской коммуне» — Молок; «История материальной культуры, ее предмет и задачи» — Кипарисов; «Идейные предшественники марксизма-ленинизма в России» — Кирпотин; «О книге Петрушевского» — Розенталь; «Социальный вопрос в Египте к концу среднего царства» — Струве и т. д.); многие конкретно формулировали определенный сюжет («Армия в Великой Французской революции» — Фендель; «История вотчинных отношений в XVI и XVII вв.» — Греков; «Пугачевщина» — Мартынов; «Классовый состав участников крестьянских восстаний в XIX в.» — Кашин; «Молодая партия Народной воли» — Валк; «Разинщина» — Томсинский; «Хозяйственная жизнь Греции в IX–VII вв. до н. э.» — Крюгер; «Античный способ производства» и «Македонская оппозиция в армии Александра» — Ковалев и т. д.).⁹ Немногим более половины исполнителей осуществили своевременно доклады по своим темам. В это же время шла спешная подготовка к печати коллективной монографии по истории стачечного движения в 1905 г., «Путеводителя по мировой истории», серии учебных пособий.

С самого начала своего существования Научно-исследовательский институт истории ЛОКА был обязан в устной и письменной форме (в виде докладов, лекций, написания общедоступных статей и брошюр) содействовать партийной агитационно-пропагандистской работе, в духе последних решений центральных руководящих органов.

В отчете о работе Института в 1929–1930 гг. отмечалось, что она ориентирована «в сторону текущих задач» периода социалистической реконструкции, сплошной коллективизации и ликвидации кулака как класса; центр тяжести переносится «на боевые проблемы современности» в плане подготовки к XVI партсъезду; для этого, в частности, создана группа по изучению пролетариата Ленинградской области в период социалистической реконструкции (1925–1930); из отчета явствует, что выполнять это задание должна была не только означенная группа — «на эту работу, имеющую срочный характер, брошены все основные силы института».¹⁰ Вести ее надлежало на основе выборочных обследований наиболее типичных предприятий Ленинграда и области, совместно с Ленинградским статоделом, с привлечением работников вузов и т. д.; были направлены две бригады — на Путиловский завод и фабрику Халтурина — «для изучения вопросов на месте».

Также придавался «ударный характер» работе групп по изучению рабочего движения на Западе и в России; следуя утверждению М. Н. Покровского об устарелости и ошибочности деления истории на западную и русскую было принято решение об объединении группы по изучению истории рабочего движения в России с группой по истории рабочего движения на Западе в эпоху империализма. Следовало не только перенести центр тяжести на изучение проблем послевоенного мирового рабочего и коммунистического движения, но и «организовать теоретическое разоблачение фашистов и социал-фашистов, и современных буржуазных историков».¹¹ В проекте резолюции о работе Института истории ЛОКА в 1930 г. особо отмечалось, что он почти совсем не уделял внимания этим актуальным проблемам.

Переводу научной работы на новые рельсы должна была содействовать ее стандартизованная организация, соответствующая новым внутривластным канонам. Научные учреждения были обязаны принимать тот же распорядок, что и все народно-хозяйственные структуры. Разговоры об особой специфике расценивались как проявление антисоветских, контрреволюционных настроений. Ученые должны были участвовать в социалистическом соревновании — как и все трудящиеся. В сентябре 1930 г. бригады по проведению соцсоревнования между Археографической комиссией (АК) и Архивом АН постановили, что введение марксистского метода как обязательного отмечается двумя новыми печатающимися изданиями АК (материалами по истории тульских, каширских и олонечских заводов) — в этих работах проведена марксистская классификация; кроме того, в АК составлена марксистская хронология истории России.¹²

Перед институтом также ставилась задача в ходе «поворота к социалистической практике» осуществлять «подготовку марксистско-ленинских теоретических кадров и высококвалифицированных партийно-советских работников». Фиксировалось внимание и на том, что в первую очередь необходимо этим кадрам в данной ситуации, когда ЛОКА осуществляет «новый курс, меняет содержание и формы работы: сокращение общетеоретических дисциплин и поворот в сторону современности».¹³

Руководство Института истории ЛОКА, фиксируя в Объяснительной записке к отчету за 1929–1930 гг. недостатки в работе (было отмечено, что их много), определяло установки на будущее. В ряду недостатков первым делом отмечалось, что изучение актуальных проблем, «связанных с переживаемым этапом борьбы международного пролетариата и строительства социализма в СССР», «занимало незначительное место в работе», а «центр тяжести лежал в изучении тем, относящихся к более ранним эпохам».¹⁴ Также были признаны недостаточными: «работа над методологией истории», разработка дискуссионных проблем исторического фронта, указано на «слабое участие» в дискуссии о «Народной воле». В то же время было подчеркнуто, что институт «оживил историческую мысль Ленинграда» участием в обсуждении ряда спорных проблем, в частности — в дискуссии по поводу книги Дубровского, имевшей «большое политическое значение».

Принципиально важным для постановки работы Института истории ЛОКА был порядок составления планов работы — и об этом в Объяснительной записке к Отчету было сказано особо; указывалось, что при составлении планов исходили главным образом из индивидуальных заявок научных работников, а «элемент активного планирования научной работы отсутствовал»; сотрудники выносили темы на обсуждение института,

минуя группу или секцию;¹⁵ при большом количестве внеплановых докладов почти совсем не было коллективных работ.

К недостаткам в работе Института истории ЛОКА было отнесено нечеткое разграничение работы института и Общества историков-марксистов (ОИМ). Таким образом подтверждается близость, родственность статуса и функций подразделений ЛОКА: официальных — институтов и как бы неформальных, добровольных — обществ. После закрытия Научного общества марксистов (НОМ) в начале 30-х гг. его имущество перешло к ЛОКА.

Работники Института истории ЛОКА выполняли дополнительные задания не только на своей основной работе; за редкими исключениями почти все они несли научную и преподавательскую нагрузку в других учреждениях, выполняли разнообразные партийные поручения. Таким образом, они имели постоянные деловые, служебные контакты с коллегами по специальности и научной работе вне института. В декабре 1930 г. директор института, он же заместитель председателя президиума ЛОКА, Г. С. Зайдель преподавал в Ленинградском университете и в Ленинградском коммунистическом университете (ЛКУ). Его заместитель по институту С. Г. Томсинский помимо преподавания в Коммунистическом университете и в Ленинградском государственном историко-лингвистическом институте (ЛГИЛИ или ЛИЛИ) был членом Архивной комиссии АН, руководил кафедрой в Нарвском Комвузе (коммунистическом вузе) и кружком на заводе. Заведующий кадрами института И. С. Фендель преподавал в Военно-политической академии им. Толмачева (ВПАТ), районном Комвузе, ЛИЛИ, был пропагандистом во ВПАТ и в Василеостровском и Петроградском районах; Н. С. Балабанов (беспартийный) работал также в ЛИЛИ и в Институте потребкооперации; О. А. Лидак — в Комвузе и Институте им. Герцена; Х. Г. Лурье работал также в Институте им. Герцена, Институте им. Крупской, выполнял задания Василеостровского райкома, руководил активом Балтийского завода; Л. Г. Райский преподавал в ЛИЛИ и Институте им. Крупской, руководил кружком текущей политики, группой беседчиков, выступал с докладами по заданиям Обкома ВКП(б); А. И. Молок (беспартийный) работал в ЛИЛИ и в Институте им. Крупской; А. Г. Пригожин преподавал в Комвузе; А. А. Алимов работал также в Ленинградском восточном институте им. А. С. Енукидзе (ЛВИ); В. Н. Кашин (беспартийный) преподавал на сельскохозяйственном рабфаке; М. И. Мартынов (беспартийный) работал в Комвузе, в ЛИЛИ, в Институте им. Герцена; С. И. Ковалев (беспартийный) преподавал в ЛГУ, Комвузе, ЛВИ, ВПАТ; И. М. Меламед работал в ЛИЛИ, Школе профдвижения (был там же докладчиком при коллективе коммунистов), вел кружок по диалектическому материализму при Объединенном драматическом театре, был агитатором Октябрьского райкома. В ряде случаев работа по совместительству была не менее ответственной и трудоемкой, чем основная. Возглавляли кафедры: Н. С. Балабанов — в Институте потребкооперации, З. Б. Лозинский — в Институте им. Герцена, С. Г. Томсинский — в ЛКУ, И. С. Фендель в ВПАТ, С. И. Ковалев в ЛГУ; Я. К. Пальвадре, работая в Институте истории ЛОКА, одновременно не только руководил кафедрой в ЛИЛИ, но был директором этого института.¹⁶

В январе 1931 г. Президиум ЛОКА, обсуждая работу Института истории, постановил предложить ему «в связи с развернувшейся дискуссией о положении на историческом фронте начать проработку ряда дискуссионных тем».¹⁷ Очевидно, это был сигнал к развертыванию массовой проработочной кампании в отношении преследуемых

органами политического руководства бывших коллег и сотрудников, их учеников, друзей, единомышленников и т. п. Президиум выделил специально и особо актуальную проблематику — сущность фашизма и социал-фашизма; ее должна была разрабатывать соответствующая специальная секция, к которой был обращен упрек в недостаточной активности. В начале 1931 г. для оглашения обвинительных речей историков против их осужденных коллег было организовано объединенное заседание Института истории ЛОКА и отделения Общества историков-марксистов. Материалы этого заседания были вскоре опубликованы в известном издании «Классовый враг на историческом фронте: Тарле и Платонов и их школы» (М.; Л., 1931); на титульном листе авторами были обозначены докладчики: Г. Зайдель и М. Цвибак. Зайдель говорил о вредительстве на фронте исторической науки, «тарлевщине» как синониме контрреволюции, о Тарле, который «никогда не был марксистом», а выполнял «социальный заказ буржуазии» и т. п. Цвибаку было поручено развенчание Платонова (главы «политически реакционного объединения», «защитника интересов помещиков и капиталистов» и т. п. и «старых черносотенцев типа Лихачева»). Около десяти сотрудников института с энтузиазмом поддерживали филиппики докладчиков. На общем безрадостном, агрессивном, обличительном фоне заметно выделялись выступления С. Н. Валка и В. Н. Кашина, пытавшихся сохранять академический стиль в содержании и форме выступлений, оставаться в русле аргументированной критики, не вовлекаясь в стихию безудержного политиканствующего злословия; за это и были обруганы в заключительных выступлениях докладчиков, рассчитывавших на то, что у «марксистского учреждения» не будет надобности исполнять «функции погребения научных покойников» — следует «предоставить им самим погребать друг друга».¹⁸

С ноября 1931 г. работа всех научных и учебных учреждений, общественных организаций шла под знаком проработки известного письма В. И. Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция» «О некоторых вопросах истории большевизма». Письмо открыло кампанию «против оппортунистов всех мастей», за неукоснительное соблюдение принципа партийности в науке, конкретных установок большевистского руководства. На трех заседаниях Ленинградского отделения общества историков-марксистов, проходивших с 21 по 26 ноября 1931 г., после доклада Пригожина все положения этого документа с энтузиазмом одобрили около тридцати выступавших.¹⁹

Конкретные формулировки для применения в подобных «обсуждениях» были предоставлены принятым в декабре 1931 г. Постановлением Президиума ЦКК ВКП(б) об ошибках Ем. Ярославского при редактировании «Истории ВКП(б)». 20–22 декабря на пленуме совета Общества историков-марксистов (ОИМ) были названы «троцкистскими контрабандистами» Слуцкий и Волосевич, а четырехтомная «История ВКП(б)» под редакцией Ярославского — «троцкистской контрабандой». В разной степени приближались к этим определениям изобретательно сформулированные характеристики многих других функционеров ЛОКА. С. Покровский «смыкался» с «троцкистскими контрабандистами»; Цвибак был «заражен идеями, почерпнутыми из буржуазной и троцкистской историографии»; Томсинский «по-троцкистски разрешал основные проблемы революции 1905 г.» и «не дал критики своих ошибок»; «принципиальные ошибки» обнаружили выступавшие в работах Малышева, Зайделя, Горловского, Райского. Критикуемые не оставались в долгу и, как правило, покаявшись в своих «ошибках», обращали полемические стрелы против своих обвинителей, не забывая и других коллег.

Зайдель говорил о «политических ошибках» Корнатовского, Томсинский — в основном о своих, Шелавин — о своем «гнилом либерализме» при редактировании книги С. Покровского.²⁰ Было обращено внимание и на недопустимо замедленную реакцию партийной организации Института истории партии — полтора месяца она не реагировала на публикацию письма Сталина, не ставила его на обсуждение.

Фракция (коммунистическая) Общества историков-марксистов ЛОКА приняла обширную резолюцию по докладу Кнорина «О политических уроках письма Сталина и задачах исторического фронта» — они формулировались как часть государственной политической программы и должны были соответствовать ее основным актуальным направлениям; историки были обязаны своей работой участвовать в развертывании «социалистического наступления по всему фронту», в ликвидации «остатков капиталистических элементов, оказывающих бешеное сопротивление», «остатков враждебных классов, идущих ко дну», «меняющих формы и методы подрыва пролетарской диктатуры». В этой ситуации партия усиливала «огонь по оппортунизму, ставшему на путь прямого буржуазного перерождения», пособничества мировой буржуазии, которая в союзе с социал-фашистами «под прикрытием буржуазной демократии готовит интервенцию против СССР». К уже названным ранее «троцкистским контрабандистам» Слуцкому и Волосевичу присоединились «полутроцкисты» — Фридлянд, Баевский, Бантке, Зайдель и др. С ярлыками контрреволюционеров фигурировали фамилии Радека и Троцкого, с обязательным упоминанием его ошибок — Ярославский, а М. Н. Покровский — напротив — как боец с Тарле, Яворским, Слепковым, «самим Троцким».

Общество историков-марксистов не оставило без внимания и ситуацию в Институте истории партии. Партийное собрание Института истории уже отметило «гнилой либерализм» в деятельности его парторганизации. К этой оценке теперь присоединилось ОИМ — на том основании, что его руководство и сотрудники (Ульянов, Корнатовский, Аввакумов) недостаточно объяснили и неудовлетворительно квалифицировали недостатки в своей работе; обнаружилось и нежелание одной из сотрудниц «отказаться от троцкистских взглядов на основные вопросы истории большевизма»; в резолюции выдвигалось требование — в связи с тем что т. Цвибак «не разоружился перед партией, продолжал отстаивать свои троцкистские взгляды», более того — проводил «групповую деятельность... на основе неизжитых троцкистских позиций» считать необходимым «поставить вопрос о пребывании Цвибака в партии».²¹

Давая обзор работы ЛОКА за пять лет (1928–1932), его Президиум определил характеристику ее направленности и содержания; они заключались в борьбе за генеральную линию партии, «против контрреволюционного троцкизма и правого оппортунизма, меньшевистствующего идеализма, механистов и разных вредителей в области философии марксизма». В обзоре констатировалось, что в процессе этой борьбы «коллектив научных работников ЛОКА очистил в основном свои собственные ряды от всякого рода оппортунистов и в основном отобрал кадры идеологически выдержанных научных работников».²²

Максимальная идеологизированность научной работы должна была обеспечиваться ее соответствующей строгой организацией, установленным свыше порядком, обязательным для всех учреждений. Академия наук, реализуя всеобщий для всех отраслей производственной и интеллектуальной деятельности принцип детального планирования работы, с 1930 г. приступила к составлению и обсуждению подробных планов

на предстоящий год. Для этой цели была создана Планово-организационная комиссия. Стержнем ее работы должно было стать неукоснительное следование принципу партийности науки, преодоление антимарксистских, антиленинских установок во всех ее областях, общественных и естественных — в соответствии с формулировками принятого ЦК ВКП(б) 25 января 1931 г. постановления о журнале «Под знаменем марксизма».

В апреле 1931 г. Общее собрание Академии наук приняло Постановление об основных проблемах плана работы на 1932 г. В перечне проблем социально-экономических было записано: «Разыскание, систематизация и издание материалов по истории пролетариата в феодально-крепостническую эпоху в связи с историей общественных формаций и развитием производительных сил; разыскание, систематизация и издание материалов по истории народов СССР в связи с вопросом колониальной политики эпохи царизма; смена стадий в докапиталистическом обществе на основе развития производительных сил; этнический состав населения СССР; история книги, документа и письма с марксистской точки зрения».²³ С предельной определенностью в этом плане (принятом по докладу В. П. Волгина) установлены и перечень приоритетных проблем и директивно рекомендуемое направление их разработки; отчетливо слышатся (даже в таких кратких формулировках) отзвуки недавних идеологических проработок на фронте исторической науки.

В начале 1931 г. в резолюции Общего собрания научных сотрудников ЛОКА были отмечены приоритетные темы работы обществоведов: II пятилетний план, XV годовщина Октября, 50-летие смерти К. Маркса. При выполнении заданий предписывалось соблюдать строгую очередность, «контролировать выполнение рублем», бороться с «самотеком и недисциплинированностью, не останавливаясь перед отчислением уклоняющегося от выполнения в срок работы научного сотрудника и передачи его для соответствующего партвызыскания в партийные органы». Всю научно-исследовательскую работу требовалось перестроить, для чего профсоюзные организации должны были «взяться за внедрение методов соцсоревнования и ударничества в научной работе», завести черные и красные доски для «идущих впереди и отстающих», публиковать в газете ЛОКА («За ленинские кадры») портреты лучших и худших научных работников.²⁴ Сроки сдачи плановых работ указывались не в кварталах или месяцах, а в днях. Подводя итоги I квартала 1933 г. администрация Института истории ЛОКА отметила как нарушителей (в их числе были и ответственные, руководящие работники) даже тех, кто сдал работу с опозданием всего на 5–6 дней.

О серьезности намерений администрации Института истории ЛОКА относительно сроков выполнения плановых заданий свидетельствует затянувшийся инцидент с работами А. И. Молока. Александр Иванович Молок был одним из наиболее образованных, авторитетных, интенсивно работающих (так отмечалось в одной из его деловых характеристик) сотрудников института. После окончания Петроградского университета (в 1922 г.) он вел научную и преподавательскую работу в научных и учебных заведениях города; с 1927 г. — сотрудник ЛИМа; стал доктором наук; в партию не вступил, но был членом Общества историков-марксистов; специализировался по истории нового времени, конкретно — изучал события 1848 г., Парижскую коммуну; свободно говорил и читал на французском языке, читал также на немецком и английском; в 1928 г. три месяца был в научной командировке в Париже; в апреле 1933 г. директорат Института истории постановил выдавать научным сотрудникам «продукцию

научно-технических работников (видимо, выписки, рефераты, переводы и т. п.) только после просмотра их т. Молоком»; тогда же именно ему поручил директорат выработать образец аннотации обсуждаемых работ.²⁵

В сентябре 1932 г. Молок должен был предъявить администрации текст плановой работы. 3 сентября ему было отправлено (по почте) извещение (на машинописном бланке, с вставленной датой и названием, с обращением «дорогой товарищ», без фамилии, она была только в адресе): «Согласно заключенному Вами с Институтом истории трудовому договору, Вам надлежит к 20 сентября представить статью на тему «Германская социал-демократия и Парижская коммуна». В противном случае выплата обусловленных договором сумм механически будет прекращена во второй половине сентября». 15 сентября Молок письменно попросил разрешения передвинуть срок подачи на 25 октября, так как нужны еще три недели для сбора материала, и, кроме того, необходимо написать и о массовом рабочем движении, т. е. расширить тему.²⁶ 2 мая 1933 г. Молок подал в директорат Института истории ЛОКА заявление, в котором объяснял причину задержки представления другой рукописи тем, что запланированная статья «разрослась в брошюру» (5–6 листов), работа над ней затянулась и оказалось под угрозой своевременное написание следующей статьи. Далее сообщалась и еще одна причина задержки — «расстроенное здоровье»; автор предлагал и некоторую компенсацию — внеплановую подготовку к печати комплекса архивных документов.²⁷ Вскоре, 26 мая, заявление Молока обсуждалось на заседании директората института. В постановлении отмечалось, что «т. Молок более кого-либо затянул сроки» и все же не представил статью «Маркс и июньское восстание 1848 г.»; ему предлагалось сдать статью размером не более двух листов (т. е. не только завершить ее, но сократить более чем вдвое) до летнего отпуска (вердикт выносился в конце мая!). Постановление завершалось суровым, категорическим заключением: «Вторично указать т. Молоку, что он является одним из самых недисциплинированных сотрудников и нарушает план Института».²⁸ Но даже через несколько лет на отчетном собрании Института истории А. И. Молок все еще упоминался как не выполнивший план.

Не только тематика и содержание, сроки выполнения, но и распорядок ведения научно-исследовательской работы в институтах ЛОКА подвергались скрупулезно детализированной регламентации. С 1932 г. основными обязательными местами занятий сотрудников стали кабинеты ЛОКА, оснащенные необходимой литературой, периодикой, справочниками, картотеками и т. д. Был установлен обязательный минимум времени работы в кабинетах (не менее 60 часов в месяц). Руководство ЛОКА требовало от сотрудников графики посещаемости, в случае несоблюдения — справки о причинах (болезнь, командировка); фамилии образцовых посетителей отмечались на красных досках, недисциплинированных — на черных. В кабинетах запрещались не только разговоры и курение, но и чтение литературы, не относящейся к теме работы (свежих газет и т. д.). Выполнять планы работы в кабинетах были обязаны все сотрудники, не исключая руководителей. Последним давались сниженные нормы; но их выполнение требовалось неуспевающе; в результате обследования, проведенного в октябре 1934 г., обнаружилось «совершенно недопустимое отношение директоров, ученых секретарей институтов к работе в кабинетах».²⁹ Строго регламентировались и обязательные нормы выработки. В 1934 г. научный сотрудник института ЛОКА должен был по истечении производственного года (10 рабочих месяцев) представить 8–10 авторских листов

монографии по профилю института или выполнить другие виды работ, приравниваемых к 8–10 листам монографии (но все же в этом объеме должно было быть не менее 5 листов монографии). Была составлена подробная таблица коэффициентов, в которой были учтены все возможные виды работ, поручаемых сотрудникам. Наибольшей ценностью обладал печатный лист монографии или статьи, являющейся частью монографии — 10 единиц; печатный лист статьи для БСЭ ценился в 8 единиц, учебника — 6, научно-популярной работы, критической статьи или рецензии — 5; редактирование 1 п. л. — 0,5 единиц, отзыв о работе объемом в 1 п. л. — 0,3 ед. и т. д.³⁰

Детальной регламентации и усиленному контролю работы научных сотрудников сопутствовали растущие трудности доступа исследователей к первоисточникам — документам, хранящимся в архивных фондах. Курс на приоритет проблем и тематики новейшего времени не поддерживался свободным доступом ученых к отражающей эти сюжеты документации. Напротив. Формировалась жесткая система ограничений и запретов. Поскольку в начале 1930-х гг. она была в стадии становления, исследователи еще не воспринимали ее как проявление государственной политики, нередко писали и говорили вслух о своих неудачных с ней столкновениях. В начале 1933 г. сотрудник Института истории ЛОКА Л. Г. Райский обратился в дирекцию с заявлением о том, что не получил в ИМЭЛ документы, требующиеся ему для выполнения планового задания. Аналогичная жалоба поступила и от академика Тарле. В другом архиве научный сотрудник института В. Н. Кашин не получил требуемых документов, так как не мог указать номер дела, при этом в выдаче описей ему было отказано.³¹

Резко сужались и возможности ознакомления с литературой — по откровенно политическим мотивам. Библиотеки и магазины получали списки подлежащих немедленно изъятию книг, к изданию которых были причастны перечисленные лица — авторы текстов, предисловий, редакторы, комментаторы и т. д. Над составлением этих списков с 1922 г. усиленно трудился Главлит (Главное управление по делам литературы и издательств). В период разворачивания преследований бывших корифеев борьбы за торжество коммунизма в стране центральное место в перечнях запрещенных изданий заняли их сочинения. В списке, разосланном в октябре 1936 г., значились все книги Г. Зиновьева, Л. Каменева, Г. Евдокимова, И. Вардина. В. Невского, Г. Зайделя и др. — всего 27 фамилий.³² Любознательность студентов, недоумевавших, почему они не могут непосредственно, читая писания «врагов народа», убедиться в их вредоносности, наказывалась жестко: исключением из комсомола, партии, учебного заведения, арестом (нередко прежде всего вышеперечисленного).

В ноябре 1935 г. на сессии АН СССР было принято решение о создании в системе Академии Института истории. Организационный период нового института проходил в напряженной атмосфере многократных публичных слушаний по поводу постановлений руководства ВКП(б) и СНК о преподавании истории, учебниках по истории, положении в исторической науке. Одним из центральных объектов разгромной «критики» был директор Института истории ЛОКА, только что занявший пост декана восстановленного в 1934 г. исторического факультета ЛГУ Г. С. Зайдель. Менее чем через полгода после открытия истфака он был обвинен в пособничестве троцкистам, зиновьевцам, уклонистам, прочим «проходимцам». 15 января 1935 г. директор ЛГУ М. Лазуркин подписал приказ о снятии с работы декана Г. С. Зайделя «как не оправдавшего доверия партии» и об исключении его из списков профессорско-преподавательского

состава. Соответственно поступило и руководство ЛОКА — партком ЛОКА постановил исключить его из рядов ВКП(б), а общее собрание партийного коллектива ЛОКА одобрило это решение единодушно, предварительно обвинив одного из своих бывших руководителей в недопустимом, гнилом либерализме по отношению к работам представителей дореволюционной исторической науки, отсутствии партийной бдительности, в беспринципности, «проявлении меньшевистского нутра» и т. п.³³

В феврале 1936 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли решение, знаменующее новый этап в истории советского государства — о ликвидации Коммунистической академии и передаче ее институтов и учреждений в состав Академии наук СССР.³⁴ Было признано нецелесообразным существование двух академий. Понадобилось около двух десятилетий на приведение АН в полное соответствие с принципами советской политической системы. Теперь она могла, сохраняя внешне академический облик, успешно выполнять и функции Коммунистической академии — тем более что основные кадры последней были переведены в АН; им поручалась ответственная миссия — они должны были «значительно укрепить состав» Отделения общественных наук.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Центральный Государственный архив историко-политической документации в СПб. (ЦГАИПД). Ф. 24. Оп. 1. Д. 159. Л. 64.

² Информационный бюллетень Коммунистической академии. 1928. № 9. С. 46; Организация советской науки в 1926–1932 гг. Л., 1974. С. 252.

³ Организация советской науки в 1926–1932 гг. С. 258–259.

⁴ Санкт-Петербургский филиал архива РАН (далее — СПбФА РАН). Ф. 225. Оп. 1. Д. 10. Л. 23.

⁵ Там же.

⁶ Там же. Д. 51. Л. 2.

⁷ Там же. Д. 12. Л. 26.

⁸ Там же. Д. 10. Л. 23, 23 об., 25.

⁹ Там же. Д. 12. Л. 27–29; Оп. 5. Д. 4. Л. 34–36.

¹⁰ Там же. Д. 10. Л. 25; Д. 12. Л. 8, 9.

¹¹ Там же. Д. 51. Л. 274.

¹² Там же. Ф. 175. Оп. 19. Д. 8. Л. 1.

¹³ Там же. Ф. 225. Оп. 1. Д. 12. Л. 10.

¹⁴ Там же. Л. 26.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же. Д. 24. Л. 152, 159.

¹⁷ Там же. Д. 51. Л. 11.

¹⁸ Зайдель Г., Цвибак М. Классовый враг на историческом фронте: Тарле и Платонов и их школы. М.; Л., 1931.

¹⁹ СПбФА РАН. Ф. 225. Оп. 1. Д. 4. Л. 55.

²⁰ Там же. Л. 55–62.

²¹ Там же. Л. 36–39.

²² Там же. Д. 17. Л. 1, 2.

²³ Вестник АН СССР. 1931. № 6. Стб. 51–52.

²⁴ СПбФА РАН. Ф. 227. Оп. 1. Д. 24. Л. 1.

²⁵ Там же. Д. 77. Л. 23; Ф. 227. Оп. 1. Д. 13. Л. 43; Д. 73. Л. 12 об.

²⁶ Там же. Ф. 227. Оп. 1. Д. 13. Л. 30, 31.

²⁷ Там же. Д. 16. Л. 40.

²⁸ Там же. Л. 41.

²⁹ Там же. Ф. 225. Оп. 1, Д. 9, Л. 40.

³⁰ Там же. Л. 21, 22.

³¹ Там же. Ф. 227. Оп. 1. Д. 16. Л. 79; Д. 71. Л. 11–11 об.

³² ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 8. Д. 407. Л. 45.

³³ Там же. Ф. 984. Оп. 5. Д. 15. Л. 36–38.

³⁴ Вестник АН СССР. 1936. № 2. С. 57–58.

В. М. Панях

**БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ РОМАНОВ
И НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ РУБИНШТЕЙН**

В 2003 г. А. Н. Цамутали опубликовал статью, в которой несколькими штрихами обрисовал облик известного ученого-историка и незаурядного человека Н. Л. Рубинштейна.¹ Опираясь на его автобиографический очерк «О путях исторического исследования», А. Н., в частности, упомянул, что знакомство Н. Л. Рубинштейна с Б. А. Романовым состоялось во второй половине 20-х гг. XX в. во время его приезда из Одессы в Ленинград для занятий в Центрархиве. В нем Б. А. Романов заведовал отделом экономики и финансов, и с его стороны молодой историк встретил, как он написал, «исключительно внимательное и предупредительное отношение».²

Вскоре, в начале 1930 г., Б. А. Романов был репрессирован за якобы принадлежность к мифической антисоветской контрреволюционной монархической организации «Всенародный союз борьбы за возрождение свободной России».³ По отбытии срока заключения и возвращении в середине 1933 г. в Ленинград он надолго (вплоть до 1941 г.) оставался безработным и безуспешно искал возможность возобновить каким-то образом свою профессиональную деятельность. Надежда ученого отчасти была связана с попыткой приступить к изданию рукописей умершего в сентябре 1929 г. его учителя А. Е. Преснякова, в частности некоторых его статей.⁴ Но эта идея так и не была реализована.

В сентябре 1934 г. с Б. А. Романовым был подписан договор, предусматривавший подготовку к печати первого тома лекционного курса по русской истории А. Е. Преснякова, читавшегося в дореволюционном Петербургском университете.⁵ Он сразу же приступил к этой работе и уже в 1935 г. был готов сдать его в издательство. Этот курс не предназначался самим А. Е. Пресняковым к опубликованию. Он сохранился в двух редакциях в виде нескольких записных книжек, заполненных мелким почерком, с большим количеством сокращений и без аппарата. Потребовалось провести исключительно кропотливую работу по транскрибированию и редактированию текста, а также написанию примечаний. Но два года подготовленная рукопись лежала без движения.

Лишь к концу 1937 г. ею заинтересовалось Издательство социально-экономической литературы (Соцгиз), где уже несколько лет плодотворно работал переехавший из Одессы в Москву Н. Л. Рубинштейн. Он хорошо помнил беседы в Ленинграде с А. Е. Пресняковым, которые, по его словам, имели для него «особое значение», в частности по поводу интерпретаций Правды Русской.⁶ Не забывал он и о своих встречах с Б. А. Романовым, который помогал ему в архивных поисках необходимых источников. Н. Л. Рубинштейн и стал инициатором опубликования всего трехтомного курса А. Е. Преснякова и привлечения к этой работе Б. А. Романова. Несомненно этому способствовали политический и идеологический поворот, связанный с дискредитацией Сталиным М. Н. Покровского и его школы, и новый курс — на отказ от национального нигилизма и выдвижение в качестве государственной идеологии патриотизма. Ярким его проявлением стало переиздание в 1937 г. знаменитых «Очерков по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв.» С. Ф. Платонова, репрессированного по тому же делу,

как и Б. А. Романов, и умершего в ссылке в 1933 г., курса лекций по русской истории В. О. Ключевского. В 1939 г. Соцэгиз переиздал также книгу «Очерк истории Нижегородского ополчения 1611–1613 гг.» скончавшегося в 1935 г. П. Г. Любомирова, ученика А. Е. Преснякова и давнего друга Б. А. Романова. Готовилась к напечатанию монография Н. П. Павлова-Сильванского «Феодализм в удельной Руси».

Намечаемая публикация лекций А. Е. Преснякова стала следствием этих идеологических перемен в партийно-государственной политике. С Б. А. Романовым был заключен договор, теперь уже с поручением подготовить к изданию всех трех томов лекционного курса и аппарата к ним. Работа велась в тесном контакте с Н. Л. Рубинштейном, в процессе ее возникла взаимная дружеская симпатия. В конце 1930-х гг. между ними завязалась переписка, продолжавшаяся до кончины Б. А. Романова в 1957 г., в которой они (особенно Б. А. Романов) сообщали друг другу о своей текущей работе, о трудностях, препятствиях, чинимых им, выражали радость успехами друг друга.⁷ Кроме того, Н. Л. Рубинштейн нередко приезжал в Ленинград, где жили и работали два его брата, иногда отдыхал летом после войны на Карельском перешейке. В этих случаях он бывал дома у Б. А. Романова, познакомился с его женой Еленой Павловной, которой он неизменно передавал приветы в своих письмах.

В результате этого сотрудничества в 1938 г. вышел в свет первый, а в 1939 г. второй том курса лекций А. Е. Преснякова.⁸ Правда, автором предисловия к первому тому был назван только Н. Л. Рубинштейн, а имя Б. А. Романова даже не упоминалось, хотя он провел большую работу над текстом лекций, написал археографическую часть предисловия, а также составил предметный указатель. Это связано с тем, что на упоминание в печати фамилии ранее репрессированного ученого был наложен запрет. К 1939 г. он, как видно, был отменен и в предисловии ко второму тому отмечена вся работа, выполненная Б. А. Романовым в обоих томах. Третий том тоже был им подготовлен, но в ноябре 1939 г. в связи с началом советско-финской («зимней») войны он получил предписание в кратчайший срок покинуть Ленинград и поселиться за 100-километровой зоной восточнее города, из-за чего работа по изданию этого тома была приостановлена.

В марте 1940 г. Б. А. Романову удалось вернуться в Ленинград благодаря хлопотам руководства Института истории материальной культуры, по заказу которого он работал над главой для ответственного издания — «История культуры древней Руси». В самом конце 1940 г. (28 декабря) Н. Л. Рубинштейн написал ему письмо, в котором сообщил, что третий том лекций А. Е. Преснякова «идет в набор», в связи с чем просил «как и в отношении прежних [томов] держать корректуру, чтобы обеспечить надлежащее качество издания и для этой, 3-й части». Далее Н. Л. Рубинштейн спрашивал: «Работаете ли сейчас над чем-нибудь?», и сетовал на то, что не имеет о нем свежих сведений.

В ответном письме (от 10 января 1941 г.) Б. А. Романов, намекнув на вполне реальную опасность новой высылки, грозящей ему, осторожно отметил, что он «пока вновь в Ленинграде». «Работал этот тревожный год (1940 г. — В. П.), — продолжал он, — очень много и не без интереса для 1 тома „Истории русской культуры“. А из этой статьи-главы о людях и нравах домонгольской Руси вышла целая книжечка о том же, ласкают надеждой, что напечатают и ее. В результате со всей этой работой покончено и в наследство осталось тягостное переутомление мозгов и нервной системы. Кочевой

тарантас — неподходящая площадка для литературных упражнений и исследовательских инвенций. Тема была не тема, а вопль: дайте живых людей, чтобы камни заговорили. Теперь находят, что люди зажили и что камни говорят. Но, очевидно, что это далось мне ценой внутреннего перенапряжения, и к старту 1941 г. я пришел без сил для дальнейшего бега <...> Эскапада с „людьми” обращается и дальше на мою голову. Людей хотят и в III том истории культуры (XVI в.), и в историю Петербурга XVIII в. Можно подумать, что у меня пруд для разведения раков, которыми я могу торговать на все века, живьем! К сожалению, это не так. Налицо разрушительное действие подобных эскапад».

20 января 1941 г. Н. Л. Рубинштейн сообщил Б. А. Романову, что послал ему отредактированную им рукопись («дублет») третьего тома лекций А. Е. Преснякова: «Редактирование это я произвел в свое время — года два тому назад <...> дело ограничивается небольшой стилистической правкой». После дополнительного просмотра Б. А. Романовым этой рукописи, текст третьего тома был набран, и Н. Л. Рубинштейн приступил к работе над ним. Через некоторое время Б. А. Романов получил известие от Н. Л. Рубинштейна о том, что вскоре должна выйти в свет его книга «Русская историография». В ответ Б. А. Романов 31 мая 1941 г., накануне начала войны, написал ему письмо, в котором изложил свое мнение о значении историографических исследований: «с нарастающим интересом жду выхода Вашей книги. Пожалуй, трудно назвать сейчас более актуальную, в подлинном значении этого, к сожалению, затасканного слова, тему — для вдумчивых историков. Не думаете ли Вы, что собственный путь к повышению теоретического уровня (тоже в подлинном смысле слова) лежит через осознание себя в историографическом плане — что касается историков, которые действительно бы хотели отделить в себе пшеницу от плевел? Я думаю, что <...> следовало бы начать с этого, а не просто с шельмования Покровского: нет такой мичуринизации, которая из шакалов вырастила бы льва».

Далее Б. А. Романов откровенно поведал о своей неудаче: «А у меня новое огорчение. Моя книга „Люди и нравы домонгольской Руси” натолкнулась на такой византийский отзыв Б[ориса] Д[митриеви]ча [Грекова], который рискует похоронить ее. Впечатление такое, что он хочет оградить свою опришнину, „ать нихто не вступается в нее”. А отзыв такой: книга „оригинальна и интересна”, но есть „выводы, с которыми я согласиться не могу” (мало ли что!) и „формулировки”, которые требуют „замены”. А какой замены и какие формулировки — не пишет. Издательство и вернуло мою рукопись с просьбой — вступить лично в переговоры с Б. Д-чем! Но что бы осталось от „оригинальности” книги, если бы выводы и формулировки обратились в „грековские” <...> Таковы тернистые пути современной нам историографии! Вы думаете, что Б. Д. делает вывод, что книгу не надо печатать? Ничуть. Наоборот: ее „следует напечатать”. Вот уж легкость движений, которой могла бы позавидовать любая Лепешинская-Уланова!». Это письмо безусловно свидетельствует о том, что между Б. А. Романовым и Н. Л. Рубинштейном установились к этому времени доверительные отношения.

Что же касается издания третьего тома лекций А. Е. Преснякова, то оно было приостановлено из-за начавшейся войны. Н. Л. Рубинштейн уехал из Москвы в эвакуацию в Саратов, где стал работать в университете, а Б. А. Романов, чья жена, как врач, была мобилизована и направлена на Волховский фронт, пережил первые месяцы блокады Ленинграда и 6 ноября 1941 г., когда была организована эвакуация докторов наук — «золотого фонда» — его, заболевшего дистрофией, на самолете «перекинули из кольца»,

после чего он, по его словам, оказался «один, как перст». «Мой путь был долог, извилист и неверен, — писал позднее Б. А. Романов А. И. Андрееву, — без всякой надежды на успешное и осмысленное его окончание, не говоря уже о том, что только чудо спасло меня от германских лап при проезде по Тихвинскому району». Пересаживаясь с теплушки на теплушку, Б. А. Романов «докатился до Вятки за отсутствием путей на Казань»,⁹ куда он был направлен в распоряжение эвакуированного из Москвы Президиума Академии наук.

Здесь, в Вятке, его положение стало вовсе отчаянным, и 25 ноября он послал в Саратов Н. Л. Рубинштейну фактически прощальную открытку, полную трагизма и безысходности: «Отправили без денег, кроме очередной зарплаты. Она кончается через несколько дней. Ленинград обещал платить, но не знает, где я. Казань молчит. Греков в Ташкенте. Вместо спасения „золотого фонда“ — болезнь и нищенство; я еле двигаюсь и жду краха. Я лететь не хотел, но нажали, обещали, что директораты возьмут попечение. Вместо этого заброшенность и одиночество, оторванность от всех пуповин. Хочу в Ташкент, там есть друзья. Но нет денег на поезд и сил на проезд — здесь уже самолетов не предлагают. А ехать в эшелоне — 1½ месяца — верная смерть. Пишу эту открытку на прощанье, чтобы поблагодарить Вас за все хорошее, что видел от Вас и чтобы Вы знали, при каких обстоятельствах я погибаю <...> Прощайте, дорогой мой». Эта короткая записка ясно свидетельствует о том, насколько Б. А. Романов в критические для него дни осознавал свою душевную близость с Н. Л. Рубинштейном.

Все же он через два месяца с трудом добрался до Ташкента, где находились в эвакуации академические институты гуманитарного профиля. Война надолго прервала их контакты. Б. А. Романов вернулся в Ленинград летом 1944 г., а Н. Л. Рубинштейн — в Москву в 1942 г. К этому времени была выпущена в свет подписанная к печати накануне начала войны ставшая знаменитой его книга «Русская историография»,¹⁰ которую автор сумел послать Б. А. Романову только после войны. О своем впечатлении Б. А. Романов написал 27 сентября 1945 г. Е. Н. Кушевой: «С удовольствием прочитал „Историографию“ Николая Леонидовича — от доски до доски без отрыва», и тут же запрашивал о новом московском адресе автора.¹¹

Адрес, в частности, пригодился Б. А. Романову для того, чтобы отправить ему в 1948 г. только что изданную монографию «Очерки дипломатической истории русско-японской войны».¹² Н. Л. Рубинштейн 13 ноября 1948 г. в ответ писал Б. А. Романову: «Хочу от души поздравить с выходом Ваших „детищ“, притом в таком большом числе! Раньше всего раздобыл II том „Русской Правды“: книга является ценным материалом для каждого научного работника, занимающегося Киевской Русью <...> Большое спасибо за „Русско-японскую войну“; пока только <...> посмотрел ее, но с большим интересом <...> Кажется, от С. Б. Окуня слышал, что вышел третий Ваш опус — „Люди Киевской Руси“». Отвечая на это письмо уже через десять дней, 23 ноября 1948 г. Б. А. Романов, откровенно и, как всегда, образно сообщил о своей роли в издании Правды Русской. Он проделал после войны всю работу по редактированию этого издания, хотя оно вышло в свет под редакцией Б. Д. Грекова;¹³ «... меня очень тронуло, что Р[усскую] П[равду] Вы относите к „моим“ детищам. Не Вы первый, но я тщательно коллекционирую эти причисления, потому что, если есть в этом „слоне“ чья-нибудь кровь и чей-нибудь пот (и нервы), то это мои кровь и пот и мои нервы, хоть тому нет внешнего следа в книге. Издание это, конечно, чисто „служебное“, но я придаю ему значение „всесоюзное“».

Оно рассчитано на широкую периферию, как „библиотечка” Р[усской] Правды, незаменимая по всему необъятному пространству страны».

В 1948 г. Б. А. Романов отправил по почте Н. Л. Рубинштейну также недавно вышедшую в свет книгу «Люди и нравы древней Руси»,¹⁴ о злосклонии с изданием которой он писал ему накануне войны. Именно в это время развернулась травля Н. Л. Рубинштейна. Объектом нападок стала его книга «Русская историография», изданная за несколько лет до этого. Его шельмовали за то, что он, якобы отрицая самостоятельное значение русской исторической науки, указывал на ее западные истоки, антинаучно, нигилистически характеризовал достояние русской средневековой культуры (летописи), игнорировал советскую историческую науку как принципиально новый высший этап развития мировой науки.¹⁵ В результате Н. Л. Рубинштейн был уволен из Московского университета и вообще отовсюду и с трудом нашел приют в Московском библиотечном институте.

Б. А. Романову он написал в сентябре 1948 г. и сообщал, что «усиленно» занимается новым исследованием — по истории XVIII в., и «хотел бы в 1949/50 уч[ебном] году закончить первую часть монографии». «Со своей стороны, — продолжал Н. Л. Рубинштейн, — думал в Ленинграде поговорить с Вами о моих впечатлениях от „Людей и нравов”. Как всегда, книга написана остро и интересно, но, на мой взгляд, односторонне. Да и можно ли не стать мизантропом, если смотреть на мир сквозь призму судебных тяжб и „полицейских дел”? <...> Что касается смердов, то здесь у нас с Вами спор особый».¹⁶

Б. А. Романов сразу же (27 сентября 1948 г.) ответил, написав прежде всего о идущих и в Ленинграде идеологических проработках: «В университете начинаются заседания с откликами на биологические дискуссии — во всеуниверситетском масштабе. В связи с рецензиями на В. М. Штейна, Равдоникаса и Вайнштейна — некоторая настороженность. С другой стороны, здесь слушали разгромный доклад А. Д. Люблинской о французской работе Б. Ф. Поршнева». Далее Б. А. Романов откликнулся на оценку Н. Л. Рубинштейном книги «Люди и нравы древней Руси»: «Если это не просто комплимент <...> то мне приятно, что она заинтересовала даже Вас. Свою аудиторию я видел не в столь высоких слоях атмосферы. Отсюда открывается для меня возможность обсуждения ее (с Вами) в профессиональном плане. К сожалению, у нас сейчас все обернулось так, что негде работникам исторической науки поговорить лабораторно — точно наш брат выскакивает на сцену, как Венера из пены морской или как мать родила, а не проходит его жизнь и работа в „репетиционном зале”. Это пренебрежение именно к лабораторной части в науке отдаст расточительностью и барством и пренебрежением к технике научной работы. Тут какое-то искривление самого пагубного свойства».

Незадолго до этого обмена письмами Н. Л. Рубинштейну казалось, что вскоре можно будет издать оставшийся с довоенного времени в корректуре третий том лекций А. Е. Преснякова, о чем он написал Б. А. Романову в постскрипуме к письму от 13 ноября 1947 г.: «3-я часть лекций Преснякова намечается в план 1948 г.». Но травля Н. Л. Рубинштейна в 1948–1949 гг. и начавшаяся в апреле 1949 г. травля Б. А. Романова в связи с его книгой «Люди и нравы древней Руси»,¹⁷ а также ряд резко критических статей с оценкой творчества А. Е. Преснякова¹⁸ положили конец этим попыткам. Корректурa же сохранилась и находится в Архиве С.-Петербургского института истории.

В 1949 г. и в дальнейшем Б. А. Романов подолгу болел. Обострились прежние недуги. В частности, еще в Ташкенте у него был поврежден глазной нерв. Из-за этого время от времени он терял возможность читать и писать и все же продолжал усиленно работать — одновременно над комментированием Судебника 1550 г. и над исправленным и расширенным переизданием книги «Очерки дипломатической истории русско-японской войны».

Н. Л. Рубинштейн время от времени писал Б. А. Романову, пытаясь поддержать и подбодрить его, рассказывал о своих исследованиях по истории сельского хозяйства в XVIII в. Отвечая 31 декабря 1952 г. на одно из его писем, Б. А. Романов поблагодарил за доброе желание его поддержать и далее писал: «Так называемое выздоровление мое идет очень медленно и для меня почти незаметно. Во всяком случае мне уже разрешено читать и писать <...> Самое тяжелое время было, когда висел вопрос о зрении, и это длилось все лето! <...> На днях выходят в продажу „Судебники“¹⁹ <...> Это издание было последним толчком к моему заболеванию <...> Я вел вычитку текста комментария с двумя редакторами <...> а затем, когда затронуты были глаза, я провел правку корректуры <...> С другой стороны, под влиянием гонки в работе над переизданием дипломатических очерков мозг мой не выдержал перегрузки и ответил „запредельным торможением“ (в виде спазм мозговых сосудов), с чего все и началось с апреля [19]52 г. <...> Но мне хотелось бы все же довести это дело до конца и при себе издать Очерки <...> Опасаюсь, что это только мечта».

Весной 1953 г. на Б. А. Романова обрушились новые тяжелые переживания: в марте-апреле 1953 г. Ленинградское отделение Института истории, которое было основным местом его работы, было упразднено.²⁰ Причиной (скорее поводом) этого решения стало, в частности, облыжное обвинение научного коллектива в бесплодности. И хотя Б. А. Романов не был уволен и стал сотрудником Отдела древних рукописей и актов Института истории (с правом проживания в Ленинграде), созданного на базе Архива ЛОИИ, он болезненно переживал этот удар, тем более что знал о первоначальном намерении его уволить.²¹ Летом он повидался в Ленинграде с Н. Л. Рубинштейном, последний рассказал об этой встрече по возвращении в Москву Е. Н. Кушевой, с которой Б. А. Романов постоянно переписывался. Она и откликнулась на это сообщение, написав ему, что «отзыв» Н. Л. Рубинштейна об его «хорошем виде» ее «радует».²²

Вскоре, когда состоялись очередные выборы академиков,²³ на вопрос Н. Л. Рубинштейна о его отношении к этому событию, Б. А. Романов 7 ноября ответил подробным письмом, связав его с ликвидацией ЛОИИ: «Заседания в бывшем ЛОИИ — пока только суррогат. Да они и не людны, так что прежней коллективности пока нет. Сказать, как приняли в Ленинграде выборы, поэтому не могу. По личному моему мнению, выборы погоды не сделают (в судьбах нашей науки). В частности, ничто не изменится в наших здесь судьбах: мы прокляты и отлучены, ни за что, ни про что, окончательно, и по-видимому, к полному удовлетворению избранных. Конечно, было бы хорошо, если бы на наших трупах выросли новые всходы в Москве, но для этого надо верить в чудеса, к чему я с детства не приучен <...> А что произойдет от охотников обвинять нас в бесплодии по случаю собственного бесплодия, — сказать не берусь. Это уже дело будущих историографов — подвести итог происшедшей смене двух „эпох“. Только автоисториография всегда была и будет кривым зеркалом, с оглаживанием собственного живота».

Этой же осенью Н. Л. Рубинштейн участвовал в прениях по докладу Н. М. Дружинина (о конфликте между производительными силами и производственными отношениями), и Е. Н. Кушева сразу же написала об этом Б. А. Романову, отметив, что Н. Л. Рубинштейн выступил, «как обычно, умно, но несколько трудно». Кроме того, сообщила она, «только что вышла в свет его статья в 31 выпуске „Вопросов географии“». Видно, что он работает над своей большой темой.²⁴ Б. А. Романов живо на это отозвался в ответном письме Е. Н. Кушевой: «...рад, что появился на эстраде Н. Л.». Этот факт, как и ряд других, писал он, «точно обдали меня проточной водой».²⁵ Вскоре, отвечая Н. Л. Рубинштейну на новогоднее поздравление, Б. А. Романов сообщил ему 5 января 1954 г.: «...поговаривают о той или иной форме восстановления ленинградского коллектива ученых. Состояние рассеянной мануфактуры, видимо, показало себя как наименее удобное практически. Жизнь возьмет свое».

Через год, 31 декабря 1954 г., в поздравительном письме Н. Л. Рубинштейну с наступающим 1955 годом, он возвратился к этой теме: «ЛОИИ хотят возродить в 19[55] г. <...> с секцией Ученого совета <...> История описала круг — и вернулась к исходной точке». За два месяца до этого, продолжал Б. А. Романов, он «поставил точку» в конце последнего параграфа переиздания его «Очерков дипломатической истории русско-японской войны»: «Это просто чудо, что удалось дотянуть до конца <...> могу спокойно умереть — доделать могут и другие. Теперь по опыту могу сказать, что писать на международные темы — это вроде исполнения нескольких ролей в один вечер в одном спектакле. А у меня в данном случае было шесть ролей: шесть стран и шесть национальностей, за которые отдувался один я». Далее Б. А. Романов познакомил Н. Л. Рубинштейна со своими дальнейшими планами: комментирование «Воспоминаний» С. Ю. Витте и подготовка сборника документов «Внешние займы самодержавия в конце XIX — начале XX в.».

В свою очередь поздравляя Б. А. Романова с новым годом, Н. Л. Рубинштейн выразил свою радость — «обрадован вдвойне» «Вашим письмом»: «Прежде всего, его содержанием, говорящем об успешном продвижении новых научных работ и начинаний и обычном для Вас неизменном стилем <...> Во-вторых, доброй памятью обо мне». «Вспоминаю о Вас часто», — продолжил Н. Л. Рубинштейн и сообщил о близком завершении им крупного исследования: «...за истекший год я поработал неплохо и сейчас заканчиваю работу над разделом» о сельском хозяйстве в XVIII в. «Мне кажется, получается нечто новое, что, впрочем, нетрудно, учитывая, что в этой области у нас для XVIII в. вообще ничего не сделано <...> в результате этот раздел <...> перерос сам в целую книгу объемом около 30 листов». Н. Л. Рубинштейн поделился также своими соображениями о текущем состоянии исторической науки: «Очерки истории СССР» более чем скучны и бесцветны. Лучше очерки по истории Москвы. Интересных монографий что-то не видно. Институт истории полностью ушел в свои многотомники, а научной жизни как-то не стало. В отношении «Вопросов истории» нередко вспоминаю Ваши мрачные прогнозы. Попытки организовать интересные дискуссии уводят в схематическую теоретизацию».

До того как это письмо было получено в Ленинграде, выяснилось, что в руководстве Академии наук, курирующем общественные науки, возникло гонение на «пухлые книги» и это грозило значительным сокращением объема последней книги Б. А. Романова, которая уже проходила редакционную подготовку в издательстве. Он впал в отчаянье и

одновременно сообщил об этом нескольким московским коллегам, с мнениями которых он считался и которые относились к нему с глубоким уважением, — Н. М. Дружину, А. С. Ерусалимскому, Е. Н. Кушевой, И. У. Будовницу, а также одному из ближайших учеников, находящемуся в это время вне Ленинграда, — А. А. Фурсенко. Среди адресатов был также и Н. Л. Рубинштейн, которому Б. А. Романов написал 19 января 1955 г., резко и горько высказавшись по поводу существовавших порядков: «...я не питаю никаких иллюзий, пока творческие работники моего типа находятся целиком и полностью в зависимости от аппаратчиков <...> а в верхах <...> царствует боязнь „пухлых книг” и взгляд на книгу, как на мешок с лапшой, которую можно из одного отсыпать по нормам вокзального весовщика». Далее Б. А. Романов поведал, что в его институтском плане объем работы был определен в «55–60 а. л.», а «нарушение плана все строже квалифицировалось как чуть ли не преступление <...> И вот, оказывается, вся трескотня об исполнении государственного плана превращается в словоблудие, которое самым зверским образом обращается на голову автора и на его „детище”. Самый лучший способ искоренить вообще „деторождение” в нашей стране». В заключение Б. А. Романов вспомнил о критическом замечании Н. Л. Рубинштейна по поводу книги «Люди и нравы древней Руси», и связал свою оценку древнерусского социума с современностью: «Твержу себе в утешение, что все равно осталось недолго жить, а „нравы” и „людей” тебе все равно не изменить, а потому и рыпаться нечего. Я упомянул эти два слова потому, что когда-то Вы упрекнули меня в том, что я не смотрю на жизнь (в прошлом) через розовые очки. Но откуда, как не из прошлого, идет то, что вгоняет тебя во мрак при описанных выше гримасах жизни».

Впрочем, эту атаку на книгу, которую тяжело больной Б. А. Романов с трудом дотягивал до издания, удалось отбить. Но его поджидала еще одна атака. Об этом он тоже с негодованием написал Н. Л. Рубинштейну (31 августа 1955 г.): «Издательство передало мне контрольную рецензию генерала Сорокина, разнесшего меня в пух за отсутствие патриотизма, недружелюбие ко всему русскому, за пристрастие к „болтовне” дипломатов и за краткость в отношении всего военного (хочет батальной патриотической книги с разносом Стесселя и Куропаткина). Приходится отписываться в дирекцию Института, тратить уйму сил». Ответ Б. А. Романова на эту рецензию, о котором он упомянул в письме к Н. Л. Рубинштейну, был признан исчерпывающим, снимающим с автора вздорное подозрение в антипатриотизме, и последняя его книга — второе исправленное и дополненное издание монографии «Очерки дипломатической истории русско-японской войны», — ставшая его лебединой песней, вышла в свет в самом конце 1955 г.²⁶

В это же самое время Н. Л. Рубинштейн сообщил Б. А. Романову, что сдал в издательство книгу о сельском хозяйстве России в XVIII в.,²⁷ и Романов сразу с радостью написал об этом в декабре 1955 г. Е. Н. Кушевой.

Жить ему оставалось недолго, и в июле 1957 г. Б. А. Романов скончался. Н. Л. Рубинштейн отозвался на это печальное известие письмом к Елене Павловне Романовой: «Не могу Вам сказать, как взволновало меня известие о смерти дорогого Бориса Александровича. Ведь несмотря на жизнь в разных городах, у нас с ним установились необычайно близкие, интимно-дружеские отношения, позволявшие мне так глубоко почувствовать все его душевное обаяние <...> и глубоко человеческое отношение к людям».

Пожалуй, в этих словах точно и емко выражена суть отношений между двумя незаурядными личностями и крупнейшими историками.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Цамутали А. Н. «У меня, как всегда, много работы...»: Несколько штрихов к облику Николая Леонидовича Рубинштейна // Страницы российской истории: Проблемы, события, люди: Сборник статей в честь Бориса Васильевича Ананьича. СПб., 2003. С. 278–285.

² Рубинштейн Н. Л. О путях исторического исследования // История СССР. 1962. № 6. С. 96–97.

³ Панеях В. М. Творчество и судьба историка: Борис Александрович Романов. СПб., 2000. С. 123–143.

⁴ Там же. С. 145.

⁵ Там же. С. 149.

⁶ Рубинштейн Н. Л. О путях исторического исследования. С. 96; Цамутали А. Н. Рубинштейн Николай Леонидович (1894–1963) // Историки России: Биографии. М., 2001. С. 698.

⁷ Письма Б. А. Романова Н. Л. Рубинштейну хранятся в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки (Ф. 521 [Н. Л. Рубинштейн], К. 26. Д. 251); письма Н. Л. Рубинштейна — в Архиве Санкт-Петербургского института истории (Ф. 298 [Б. А. Романов]. Оп. 1. Д. 251). Некоторые письма Б. А. Романова Н. Л. Рубинштейну цитируются по отпускам, хранящимся в фонде автора (Д. 191). Далее в тексте письма цитируются без ссылок на архивохранилища.

⁸ Пресняков А. Е. Лекции по русской истории. М., 1938. Т. 1; М., 1939. Т. 2.

⁹ Б. А. Романов — А. И. Андрееву. Из Ташкента в Казань. 3 июня 1941 г.: ПФА РАН. Ф. 935. Оп. 1. Д. 296. Л. 11 об.

¹⁰ Рубинштейн Н. Л. Русская историография. М., 1941.

¹¹ Панеях В. М. Творчество и судьба историка. С. 206.

¹² Романов Б. А. Очерки дипломатической истории русско-японской войны. 1895–1907. М.; Л., 1947.

¹³ Правда Русская. Комментарии / Сост. Б. В. Александров, В. Г. Гейман, Г. Е. Кочин, Н. Ф. Лавров и Б. А. Романов; Под общей ред. Б. Д. Грекова. М.; Л., 1947. Т. 2.

¹⁴ Романов Б. А. Люди и нравы древней Руси (Историко-бытовые очерки XI–XIII вв.). Л., 1947.

¹⁵ См.: Вотинов А. Обсуждение книги Н. Л. Рубинштейна «Русская историография» // Вопросы истории. 1948. № 6. С. 126–135.

¹⁶ О расхождении во взглядах Б. А. Романова и Н. Л. Рубинштейна по вопросу о смердах и закупах древней Руси см.: Правда Русская. Т. 2. С. 179, 202, 315–316, 470, 480–481, 492–497, 505, 514–515, 713–715.

¹⁷ См.: Панеях В. М. Творчество и судьба историка. С. 274–288.

¹⁸ См., например: Черепнин Л. В. Об исторических взглядах А. Е. Преснякова // Исторические записки. 1950. Т. 33. С. 203–231.

¹⁹ Судебники XV–XVI веков / Подгот. текстов Р. Б. Мюллер и Л. В. Черепнина; Комментарии А. И. Копанева, Б. А. Романова, Л. В. Черепнина; Под общей ред. акад. Б. Д. Грекова. М.; Л., 1952 (Б. А. Романову в этом издании принадлежит комментарий к Судебнику 1550 г. С. 181–340).

²⁰ Панеях В. М. Упразднение Ленинградского отделения Института истории АН СССР // Вопросы истории. 1993. № 10. С. 19–27.

²¹ См.: Панеях В. М. Творчество и судьба историка. С. 321–324.

²² Е. Н. Кушева — Б. А. Романову 4 сентября 1953 г.: Архив СПбИИ. Ф. 298. Оп. 1. Д. 238. Л. 231.

²³ На этих академических выборах действительными членами АН СССР стали Н. М. Дружинин, А. М. Панкратова, П. Н. Поспелов и М. Н. Тихомиров.

²⁴ Е. Н. Кушева — Б. А. Романову 17 ноября 1953 г.: Архив СПбИИ. Ф. 298. Оп. 1. Д. 238. Л. 240–240 об.

²⁵ См.: Панеях В. М. Творчество и судьба историка. С. 404.

²⁶ Романов Б. А. Очерки дипломатической истории русско-японской войны. 1895–1907. 2-е изд., испр. и доп. М.; Л., 1955.

²⁷ Эта книга вышла в свет через два года: Рубинштейн Н. Л. Сельское хозяйство России во второй половине XVIII в. М., 1957.

Л. И. Ивина

«РАБОТАЮ, ПОКА ЕСТЬ СИЛЫ...»:

А. А. ЗИМИН В ЕГО ПИСЬМАХ ДРУЗЬЯМ

(Из переписки А. А. Зимина с Л. И. Ивиной и А. Н. Цамутали)

Александр Александрович Зимин, со дня кончины которого прошло почти 25 лет,¹ в моей памяти остался не только как выдающийся ученый и неординарный человек, но прежде всего как внимательный и заботливый учитель, добрый и сердечный друг. А. А. Зимина я узнала еще в бытность студенткой первого курса Московского историко-архивного института (МГИАИ). Под его руководством я писала сначала курсовую, а затем и дипломную работу. Благодаря его хлопотам я была в 1958 г. принята на работу в Институт истории АН СССР, где стала участвовать в подготовке к изданию «Актów Русского государства».

В 1963 г. я познакомила А. А. Зимина с Алексеем Николаевичем Цамутали, за которого вышла замуж. При первом знакомстве несколько настороженное отношение к Алексею Николаевичу сменилось затем у А. А. Зимина на искренне доброжелательное, которое и сохранилось до конца его жизни.

В июне 1965 г. у нас родилась дочь, а в декабре того же года я переехала в Ленинград. Переезд в Ленинград и перевод на работу в Ленинградское отделение Института истории АН СССР оказались сопряжены для нас с большими трудностями и переживаниями. А. А. Зимин был в числе тех, кто очень нам сочувствовал и всячески старался подбодрить и поддержать. Дружеские отношения с ним не только не прервались, но и стали еще более сердечными. Бывая в Москве, мы навещали Александра Александровича, встречали его в Институте истории. Несколько раз, пока ему это позволяло здоровье, он приезжал в Ленинград на научные конференции и защиту диссертаций. Мы часто разговаривали с ним по телефону. Реже писали друг другу письма. 22 письма, написанных А. А. Зиминим, у нас сохранились.

Письма Александра Александровича в значительной части носили деловой характер, содержали просьбы о наведении справок в архивах и библиотеках. Вместе с тем в них были не только сведения о нем самом и его семье, но и представляющие интерес, хотя и краткие, суждения о событиях в научной жизни и нашей работе.

Первое из сохранившихся писем А. А. Зимина адресовано в поселок Парголово, расположенный вблизи Ленинграда, где мы снимали на лето дачу. Полученное 30 июля 1966 г., оно было ответом на мое письмо. Александр Александрович писал, что «рад доброму письму» и продолжал: «Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, как будто жизнь у вас входит в колею. Это уже хорошо. Трудитесь, деточка, и на научном поприще! У вас ведь работа в значительной части сделана». Он имел в виду мои занятия историей землевладения московского Симонова монастыря, начало которым было положено еще во время учебы в МГИАИ, где на эту тему я защитила дипломную работу. В первый год работы в ЛОИИ мне приходилось описывать документы из фондов архива ЛОИИ. В нерабочее время я продолжала заниматься Симоновым монастырем. Это было нелегко, и поэтому поддержка со стороны А. А. Зимина имела для меня очень большое значение.

В письме, на которое отвечал Александр Александрович, я, по-видимому, что-то писала об оживленных спорах, касавшихся природы черносозного землевладения, происходивших на заседаниях и в секторе истории СССР периода феодализма в ЛОИИ, и на кафедре истории СССР на историческом факультете Ленинградского университета. В этих спорах участвовали А. Л. Шапиро, Н. Е. Носов, ученики И. И. Смирнова А. И. Копанев, Ю. Г. Алексеев.² А. А. Зимин свое отношение к этой дискуссии выразил кратко: «В споре Черепнин–Смирнов я занимаю особую позицию: по-моему, речь идет о словах, а не о существе дела. А раз так, мне на это дело наплевать».

А. А. Зимин, занятый в середине 1960-х гг. подготовкой второго тома «Истории СССР с древнейших времен до наших дней»,³ в которой он был автором нескольких глав и членом редколлегии, тем не менее продолжал свои изыскания, касавшиеся «Слова о полку Игореве». «Я весь в хлопотах, — писал он. — Сижу над вышедшими сборниками ленинградцев о Слове и издаваюсь над коллегами Д. С. Л[ихаче]ва».⁴ Уведомлял он и о том, что «в № 2 „Рус[ской] лит[ературы]”» вышла его «первая статья по Слову»⁵ и добавлял: «При случае можете заглянуть. Забавно». Упомянул Александр Александрович и о семейных заботах: «У нас сейчас страдная пора. Наташа готовится в Архивный ин[ститу]т. Конкурс огромный, и чем кончится эта афера, пока неясно». Наталия Александровна Зимина (в замужестве — Козлова) поступила в МГИАИ, а затем стала успешно в нем преподавать. Сообщал об общих знакомых: «[С. М.] Каштанова давно не видел — он на даче». Несмотря на неважное здоровье, в 1960-е гг. А. А. Зимин еще совершал длительные поездки в дни отпуска. «Ездил в Соловки на экскурсию — опять хорошо», — писал он на этот раз. Письмо завершалось сообщением о предстоящей поездке в Ленинград «где-то около октября с. г.» в связи с защитой кандидатской диссертации И. Я. Фрояновым «Зависимое население на Руси IX–XII вв. (Челядь, холопы, данники, смерды)». Александр Александрович писал, что живет на даче, «все там же, в деревне», но раз в неделю бывает в Москве «по текущим заботам дома». Среди прочих забот — помимо внуки и сына Сережи — кот Марсик, которого надо кормить. О себе сообщал: «Чувствую себя как будто лучше, но не то, чтоб очень хорошо, мог бы летом чувствовать и лучше. Заниматься ничем не занимаюсь».

Возвращаясь к институтским делам, А. А. Зимин отмечал, что «в институте сейчас летний передых». «Все отдыхают, — писал он. — Ася [А. Л. Хорошкевич] провела месяц с родными в Прибалтике. Вернулась полная энергии и запаса солнца. [Е. П.] Маматова — в Крыму, [С. М.] Кашт[анов] — в Москве...». Понимая, что неизбежны перемены, и задумываясь над тем, «что будет осенью», приходил к выводу: «сказать трудно», после слов: «Я думаю, что затишье перед бурей», он заключал: «Хотя сам директор [А. Л. Нарочницкий] и не склонен обострять ситуацию, но ведь дело зависит не от него. [В. И.] Бовыкин же стремится укрепить свое положение наверху. Создана комиссия по сектору по империализму ([В. С.] Васюкова будут менять, но кем?), копает [В. И.] Б[овыкин] и против [Н. И.] Павленко. ([Л. Г.] Бескровный предлагает создать 2 сектора по источ[никоведению]: досов[етский] и сов[етский]). Словом цыплят считают по осени...». Одним из поводов для освобождения П. В. Волобуева в 1974 г. от обязанностей директора были адресованные ему упреки в защите работавших в секторе истории СССР периода капитализма А. Я. Авреха, К. Н. Тарновского и др. В одном из писем Александр Александрович сообщал: «Н. И. Казаков сделал доклад о междоусобице (перед 14 декабря 1825 г.), где выдвигал какие-то новые соображения о роли [вдовствующ-

шей императрицы] Марии Фед[оровны] как сторонницы Константина». Н. И. Казаков был не только сослуживцем, но и близким другом А. А. Зимина. Их сближало и то, что друзьями были их отцы, и то, что Н. И. Казаков, большой знаток истории России XIX в., не раз выступал с докладами, выходившими за рамки положений, считавшихся «обще-принятыми» и «устоявшимися», особенно по истории Отечественной войны 1812 г., истории декабристов, полемики славянофилов и западников.

В декабре 1969 г. А. А. Зимин приехал в Ленинград и присутствовал на заседании Ученого совета ЛОИИ, на котором состоялась защита моей диссертации «Крупная вотчина Северо-Восточной Руси конца XIV—первой половины XVI в. По материалам московского Симонова монастыря». Официальными оппонентами были Л. В. Черепнин, приехавший из Москвы, и А. И. Копанев. Отзыв ведущего учреждения — кафедры истории СССР исторического факультета Ленинградского университета был подготовлен В. В. Мавродиным. Вскоре от Александра Александровича пришло поздравление с наступающим 1970 годом. В 1970-е гг. он стал чаще писать нам письма.

В письме, отправленном из Москвы 29 ноября 1973 г. и полученном в Ленинграде 30 ноября, содержалась просьба снять копии со списка послания Курбского, хранящегося в Отделе рукописей Государственной Публичной библиотеки. Указав шифр списка, А. А. Зимин писал, что «это все», что ему «необходимо, если не для счастья, то для работы». О себе и о близких несколько коротких фраз, из которых первая: «Мы хвораем».

18 июля 1974 г. на наш дачный адрес в Парголово пришло письмо: «Лето в полном разгаре, — писал Александр Александрович и продолжал: — 2 июля утвердили на секторе мою работу о Вол[околамском] м[онасты]ре. Выступали [С. М.] Кашт[анов], В. Б. Кобрин, М. [Е.] Бычкова и Е. Н. Кушева. Прошло все очень спокойно. Несколько раз вспоминали Милочку (предлагали учесть ее работу, как параллель)». В последней фразе идет речь об упомянутой выше моей кандидатской диссертации о Симонове монастыре. Имея в виду то, что в 1973 г. рукопись диссертации еще не была опубликована, и А. А. Зимин заботился о судьбе моей работы: «В историографии-то я, конечно, сослался в общей форме, а на рукопись как-то неудобно. Как у Вас дело с перспективой издания? М. б., если с книгой туго, еще статью издать в „Истор[ических] записках“?». Зная, что я начала работу над новой книгой по истории монастырской колонизации, он писал: «О работе над северными монастырями надо поговорить подробно. Вообще-то нужно было бы сделать доклад на Агр[арном] симпозиуме и связаться с П. [А.] Колесниковым и Вологдой. П. А. [Колесников] дядька хороший и любит науку».

А. А. Зимин выразил свое отношение и к состоявшейся защите докторской диссертации «История крестьян русского Севера в XVI в.»⁶ А. И. Копаневым: «О защите А. И. К[опанева] я тоже кое-что слышал. Очень рад за него, что все кончилось благополучно. Работа, конечно, превосходная, но (и) вместе с тем копаневская. Это гимн (как А. И. Клиб[анов] сказал бы „крестьянская утопия“) его дедам и прадедам. Земной поклон от благодарного потомка. А отсюда и многие положительные и отрицательные стороны. Восторги не всегда проистекают из реальных данных. Очень уж все умильно. Копанев образца 74 не тот ученик И. И. Смирнова, которым он был на рубеже 50–52. Взгляды его резко изменились, а он „по скромности“ умолчал об этом». А. А. Зимин всегда с большим уважением, более того, искренне по-дружески относился к

А. И. Копаневу. Вместе с тем, как видим, он находил у него, выходца из крестьян, всегда об этом помнившего и этим гордившегося, некоторую идеализацию крестьянства.

Перед новым 1975 годом пришло поздравление от А. А. и В. Г. Зиминых на открытке с изображением Спасо-Преображенского и Никольского соборов Соловецкого монастыря.

В середине 1970-х гг. А. А. Зимин загорелся желанием написать книгу о своем предке по материнской линии фельдмаршале М. Ф. Каменском, роде Каменских и их родне. В письме, полученном нами 3 июля 1975 г. и отправленном из Москвы 1 июля, Александр Александрович просил разыскать в архиве ЛОИИ письмо М. Ф. Каменского «повидимому 1784 г.». Судя по заметкам, сделанным мною, кое-что удалось найти в кол-лекциях Н. И. Шенига и Г. А. Потемкина.

Также он спрашивал, «нельзя ли узнать название книги о ленингр[адской] губ[ернской] парт[ийной] организации в начале 20-х-гг., вышедшей лет пять назад».

Краткая фраза касалась домашних дел: «У нас особых перемен нет». Далее шла речь о работе в Институте истории СССР АН СССР: «Утрясли с [И. А.] Булыгиным и Сережей [С. М. Каштановым] предисловие к Актам. Много работаю». А. А. Зимин и другие коллеги держали меня в курсе дел с состоянием затянувшейся работы над «Актами Русского государства», в которой я продолжала принимать участие и после перевода на работу в ЛОИИ. В конце письма были вопросы: «А как Ваши дела? Как Лешина книга?». Последний вопрос касался плановой монографии А. Н. Цамутали «Борьба течений в русской историографии второй половины XIX в.». Помимо того что Александр Александрович интересовался содержанием этой книги, поскольку сам много занимался русской историографией, его беспокоила и ее судьба. Дело в том, что пришедший в 1974 г. на смену попавшему в опалу П. В. Волобуеву новый директор А. Л. Нарочницкий подчеркнуто демонстрировал борьбу с любыми проявлениями отступлений от марксизма-ленинизма. Объектом его повышенного внимания стали работы, как тех, кто работал в Москве (А. Я. Аврех, К. Н. Тарновский и др.), так и научных сотрудников в ЛОИИ. А. Л. Нарочницкий ввел практику «дополнительного рецензирования», предусматривавшую рецензирование в Москве уже принятых в издательство «Наука» рукописей, а иногда и корректурных листов. В результате уже готовые работы застревали, побывав в руках порой нескольких рецензентов. Рекорд был поставлен многократным рецензированием книги О. Н. Знаменского «Всероссийское Учредительное собрание».

Примерно через три недели 25 июля 1975 г. мы получили письмо от А. А. Зимина, который благодарил за сведения о «документах из ф[онда] Потемкина», но добавлял, что они ему «пока не нужны». «По Вашим данным, Милочка, мне все ясно», — писал он. О своих изысканиях, связанных с родом Каменских, сообщал: «Как Вы поняли, я увлечен своей работой безумно. Находки очень интересны (семейный архив XVIII в. с письмами — ок[оло] 100 шт[ук] — героев), а также еще один архив, более поздний, не менее интересный — о нем при встрече».

Объяснял А. А. Зимин и свой интерес к книге о ленинградской партийной организации. «Мария Николаевна Мино (она меня интересуется, как и отчасти ее муж В. П. Оборин) рассказывала, что она де видела книжку на эту тему. Но, конечно, могла перепутать (ей около 80-ти лет)... М. Н. Мино я повидаю (она живет под Москвой). Интересует персонально она в нач[але] 20-х гг. в Петрограде. Во всяком случае до 1928 г. Но дело деликатное. Дальнейшая ее судьба сложна. Да и прямого отношения она к моей теме не имеет».

После фразы: «У нас особых новостей нет» А. А. писал: «Акты как будто сдали. Никаких „скандалов” в последние дни (после «разговоров» по предисловию) не было». «Акты Русского государства 1505–1526 гг.»⁷ в том же году вышли в свет. А. А. Зимин продолжал интересоваться рукописью книги Алексея Николаевича, находившейся в Ленинградском отделении издательства «Наука»: «Что слышно с Лешинной книжкой? Послали ли ее на рецензию?».

Во второй половине 1970-х гг. здоровье А. А. Зимина заметно ухудшилось. В осенние месяцы он стал проводить время в Крыму в поселке Форос. Письмо, отправленное из Фороса 27 ноября 1976 г., было получено в Ленинграде 1 декабря. Это был ответ на мое письмо. «Спасибо за доброе письмо», — писал Александр Александрович, радуясь тому, что погода «этот месяц была прекрасная». В Крыму он был особенно доволен, получая письма от родных и друзей. «Мне так было хорошо, когда я слышал Ваш живой голос в письме, хотя новости были и невеселые». Среди последних, видимо, были известия о том, что рукопись книги А. Н. Цамутали «Борьба течений...» таки стала объектом «дополнительного рецензирования». Сочувствуя ему, А. А. Зимин делился своими мыслями о предмете исследования: «Алешина тема меня очень волнует — 30–90-е гг. XIX в. в общественной мысли и исторической науке для меня дороги. Тут много и загадочного (возникновение сл[авянофилов] и зап[адников]; роль в становлении [М. Т.] Каченовского Николая I и ответ на декабристскую идеологию и многое другое)».

На риторический вопрос: «Что сказать о себе?», А. А. Зимин отвечал: «Барахтаюсь. Дней восемь те нормальная, но легкие все в мокроте. Тяжело. Состояние как у боксера, которого измучили. Слабость. Лечусь всеми силами, гуляю и пр.».

А. А. Зимин, как видно из письма, не сдавался, продолжал работать и в Крыму: «Начал редактировать нашу поп[улярную] книгу с Асей [А. Л. Хорошкевич] о Грозном».⁸ А там — работа аналогичная над „Гос[ударственным] архивом”⁹ (он в 77-м также должен выйти на ротапринте), нужно сделать указатель и пр. Впереди „Дума”.¹⁰ Родились „идеи” по переделке этого текста, но все зависит от сил. Обсуждали в Ин[ститу]те [Истории СССР АН СССР] „Финансы” [С. М.] Каштанова.¹¹ Все хорошо».

Возвращаясь к своему пребыванию в Крыму, Александр Александрович писал: «А так тоскливо в одиночестве очень. Что делать? Иногда хочется все бросить и уехать в Москву. Тут еще сложности с пропиской (1.5 мес[яца] — курортная, а там надо оформлять временную в Ялте — а ехать?). Несколько раз была жена [В. Д.] Королюка (она до 12/XII в Семейзе)».

В поздравительной новогодней открытке с изображением красот Фороса, отправленной 21 декабря 1976 г., вместе с добрыми пожеланиями А. А. Зимин сообщал, что погода в Крыму «дивная». «Солнышко. От 6–12° тепла», что к нему приехал его «старый друг (75 лет) Михаил Сергеевич Баев недельки на две», что сам он занимается «Архивом», что чувствует себя «увереннее, но все же тяжело дышать и ходить».

16 апреля 1977 г. Александр Александрович писал из Москвы, что «рад был получить об Алеше добрую весточку от Вас», но что «огорчен» тем, что «не удалось повида[ться]». Поскольку в письме Алексея Николаевича сообщалось о поездке в Италию, А. А. Зимин высказывал надежду на то, что «в скором времени» мы побываем в столице («раз уже Алеша посетил Вечный город), и мы обо всем поболтаем». Он писал, что его «Монастырь» (т. е. монография «Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России (конец XV–XVI вв.)» (М., 1977)) «уже в сигнале — так что

должен скоро выйти». В основе новой книги А. А. Зимина лежала его кандидатская диссертация «Землевладение и хозяйство Иосифо-Волоколамского монастыря в конце XV—начале XVI в.», защищенная им еще в 1947 г. Поэтому понятны его слова: «Никакой радости от этого не испытываю — книга безнадежно устарела (1947 год!)». В этом было и строгое отношение к своим работам, и некоторое преувеличение. Основанная на архивных материалах и написанная на должном научном уровне книга сохранила свою ценность и до настоящего времени.

А. А. Зимин сообщал о работе, начатой после возвращения из Фороса: «В Москве занимаюсь всякой ерундой — главным образом перепечатаваю то, что было написано от руки». За этой короткой фразой стоит очень многое. Сознавая, что он смертельно болен, Александр Александрович, сколько хватало сил, приводил в порядок свои рукописи. Уже после его кончины вышли в свет монографии: в 1982 г. — «Россия на рубеже XV–XVI столетий», в 1986 г. — «В канун грозных потрясений: Предпосылки первой крестьянской войны в России», в 1988 г. — «Формирование боярской аристократии во второй половине XV — первой трети XVI в.», в 1991 г. — «Витязь на распутье: Феодальная война в России XV в.». До сих пор остаются неизданными полностью монография о «Слове о полку Игореве», книга воспоминаний.

Все это будет много позже. Пока же А. А. Зимин писал: «Началась работа (перепечатка) по подготовке „Архива“ на ротاپринте. Если все будет в порядке, книга должна выйти месяца через три–четыре. „Думу“ я свою завершил вчерне в Форосе. Опять вопрос — а кто же перепечатает? И когда?».

С беспокойством писал он об институтских делах: «У нас в Институте болото. Лев [Л. В. Черепнин] в больнице (как будто к маю выберется в Узкое) — состояние среднее. Не знаю, что с ним будет дальше... В секторе работа утихла (без Льва). Каштан [С. М. Каштанов] еще не вошел в колею после отпуска (в январе был в Кисловодске)».

Беспокойство Александра Александровича о здоровье Л. В. Черепнина не было напрасным. Л. В. Черепнин действительно «перебрался» в «Узкое», но там его вскоре настиг инсульт, он был отправлен в больницу, где и скончался 12 июня 1977 г. Писал А. А. Зимин и о домашних делах. О состоянии здоровья хворавшего сына Сережи. Радовался за дочь Наташу: «Лучше всех живут Наташа с семейством. Она должна сдавать в июне месяце минимум. У них в Институте [историко-архивном] перемены к лучшему — ректором стал ... Красавченко (ученик П. А. Зай[ончковского]), но что ему удастся сделать, не ясно».

Кончалось письмо словами: «Но обо всем не напишешь — хотелось бы поговорить, в частности о Милочкиной работе». 19 ноября 1977 г. Александр Александрович писал из Крыма, что вместе с Валентиной Григорьевной и Сережей находится в Форосе, куда они прибыли 9 ноября. Радовался тому, что устроились «идеально», что в Крыму тепло («не менее 14–16°»), «снабжение прекрасное». После фразы «о здоровье не пишу — мне бы сохранить то, что осталось...», он переходил к рассказу, над чем в Крыму будет работать: «Взял с собой материалы (страниц 200 выписок на машинке) к книге „Юрьев день“ (1573–1598) (осенью закончил «Возрожденную Россию» — 1480–1505). Но как все это получится (книг нет — кое-что пришлют) — во всяком случае какой-то „скелет“ попытаюсь соорудить». В конце письма спрашивал: «А как Ваши дела?» и затем добавлял: — «Рад, что книга Алеши уже на выходе (мой Архив не ранее января–февраля). Надеюсь, что обсуждение Милиной книги пройдет успешно. Желаю ей всего доброго». Книга Алексея Николаевича «Борьба течений в русской историографии во второй

половине XIX века» через несколько дней после получения письма 1 декабря 1977 г. была подписана к печати.

5 января 1978 г. в ответ на наше новогоднее послание Александр Александрович писал, что благодарит за «дружеские поздравления и обстоятельные письма». Добавлял, что «нотки грусти» ему «сейчас особенно понятны», так как в Крыму «остался в одиночестве, а впереди „полсрока“, целых два месяца». Часть письма занимало описание зимы в Крыму: «Она здесь необычная, зима. Прежде всего — зелень — и вечно зеленая, и травка, и цветы. И чистота идеальная. Погода — разная. Как правило, серая, но теплая. Иногда моросит дождик. Иногда (редко) день-два от силы дуют ветры. t° в среднем около $+6 +8^{\circ}$ (в январе). Сырость почти не чувствуется (почва жадно впитывает влагу). Иногда горы покрываются желтым туманом. Снега практически пока не было (один день) в декабре, в прошлом году всего дня три. Но что характерно — погода все время меняется (на дню иногда раза три). Занудности нет. Караваны бакланов и гусят. В парке — белочки, всякая птичь, золотые рыбки — и причудливые кедры, пихты, сосны; как заколдованные великаны. Вот очень сумбурно о зиме». Письмо заканчивалось просьбой, чтобы мы писали и не забывали «форосского заточника».

В январе 1978 г. А. А. Зимин, видимо, получив в Форосе бандероль с книгой Алексея Николаевича, послал письмо такого содержания: «Дорогой Алеша! От всей души поздравляю Вас с выходом в свет прекрасной книги. Благодарю Вас также за дружескую память. Ваша книга свидетельствует о серьезных сдвигах в лучшую сторону в нашей историографии. В чем ее значение? Впервые в нашей науке ученые-историки прошлого столетия заговорили своими словами, а не формулами их почтенных истолкователей. Это очень большое дело. Прокурорский тон изложения постепенно заменяется голосом обвиняемых, но заслуживающих снисхождения. Впервые в науке сделана попытка показать динамику развития взглядов представителей различных школ и направлений (особенно в середине XIX в.) в отличие от принятого рассмотрения „в общем и целом“ (у Вас же становление и развитие взглядов). Впервые показаны не отдельные теории и школы, а их содружество (или противоборство) в реальной умственной жизни страны. Их взаимовлияние и взаимоотталкивание. Наконец, впервые взгляды мы можем проследить не по каноническим трудам историков, а рассыпанные подчас в „мелких“ статьях, переписке и т. п., т[ак] ч[то] это также очень важно. В книге есть и недочеты. Вы их знаете, мы о них говорили. Но... что поделаешь, такова жизнь. Важно, что сделано. А дальнейшее — пусть придут те, кто смогут сделать лучше, мы этому будем только рады».

Выше уже говорилось, что рукопись, а затем и корректура книги были посланы на дополнительное рецензирование. В обоих случаях рецензентом был профессор Московского университета А. М. Сахаров. Оба его отзыва, хотя и содержали критические замечания, однако, вопреки ожиданиям недоброжелателей, положительно оценивали книгу и поддерживали предложение о ее рекомендации к печати. А. А. Зимин прочел корректуру книги, и некоторые наиболее существенные его суждения были учтены Алексеем Николаевичем.

После слов «еще раз горячо поздравляю» Александр Александрович писал о себе: «Я тоскую. Считаю дни и недели до возвращения. Здесь холоднее, чем в прошлом году. Стараюсь терпеть. Немного занимаюсь Борисом [Годуновым] — все очень трудно». В конце письма задавал вопрос: «Как с защитой перспективы?» и просил «передать поклон Милочке».

В начале лета 1978 г. (точной даты нет) А. А. Зимин сообщал, что в июне он и его близкие собираются ехать на дачу и просил навести в архивах и в библиотеках справки, необходимые в связи с подготовкой очередного тома «Актów Русского государства».

В письме, отправленном из Москвы 7 октября 1978 г., есть такие строки: «Дорогая Милочка! Рад Вашим успехам. Огорчаюсь Вашими печальями. Все-таки хорошо, что книга идет, а А. Н. движется к защите». Книгой, «движению» которой радовался А. А. Зимин, был переработанный и расширенный вариант моей кандидатской диссертации о землевладении московского Симонова монастыря.

Коротко он информировал о домашних делах: о здоровье Сережи, о сложностях на работе (в рукописном отделе Гос. Библиотеки им. Ленина) у В. Г. Зиминой. Утешением для А. А. было то, что «Наташа и Володя процветают».

Переходя к делам академическим, А. А. Зимин после фразы «В секторе все спокойно» продолжал с ноткой явной тревоги: «Изредка посещают ленинградцы. Огорчен побоищем в Ростове. Мне на „свободу” землевладения наплевать, но вот за ЛОИИ боюсь». Под «погромом в Ростове» он имел в виду жаркие споры, разгоревшиеся на происходившей в Ростове на Дону XVII сессии Всесоюзного симпозиума по изучению проблем аграрной истории в сентябре 1978 г.¹² На одной из секций был представлен написанный научными сотрудниками ЛОИИ Ю. Г. Алексеевым, А. И. Копаневым и Н. Е. Носовым доклад, в котором они доказывали, что «черная земля» является «свободной крестьянской собственностью», а «черные крестьяне» — «свободными частными земельными собственниками». При этом феодализм признавался «только как частновладельческий». Эта точка зрения встретила резкие возражения со стороны ряда участников симпозиума, главным образом московских историков (А. Д. Горского и др.).¹³ Опасения А. А. Зимина за судьбу ЛОИИ можно объяснить тем, что и в 1978 г. между директором Института истории СССР А. Л. Нарочницким и ЛОИИ по-прежнему сохранялись напряженные отношения.

Рассказ о собственной работе Александр Александрович начинал со слов «толком ничего не делаю», но уже из продолжения первой фразы было видно, что на самом деле он готовит сразу несколько монографий: «редактирую написанное (книга о Думе — сдал в сектор — Ивана III и Бориса). Думаю (по просьбе-предложению В. Т. П[ашу]то) заняться Русской правдой».¹⁴

С оттенком добродушия писал он об общих знакомых: «[С. М.] Каштан[ов] дремлет. Аська [А. Л. Хорошкевич] суется. У обоих книги в Из[дательст]ве».

31 октября 1978 г. А. А. Зимин извещал: «Оба письма получил». В этих письмах содержались ответы на вопросы, относившиеся к документам, которые хранились в архивах и библиотеках Ленинграда. Александр Александрович просил уточнить детали, касавшиеся Каменских «Н. М. или С. М.» и интересовался, от кого поступил в Публичную библиотеку фонд 333 (Каменского), «не от А. А. Закревского ли?». Он также сообщал, что «вопрос о нашем отъезде в Форос решен» и добавлял: — «И погода непонятная, и боязно, и сейчас плохо с почками...». Post scriptum поздравлял нас с наступающими октябрьскими праздниками.

Весной 1979 г. вышла в свет моя книга «Крупная вотчина Северо-Восточной Руси конца XIV — начала XVI в.», которую я тотчас отослала А. А. Зимину, и он поспешил с ответом: «От души поздравляю Вас с выходом в свет превосходной книги. Благодарю и за дружеское внимание. В книге много привлекательных идей. В нее заложен, прежде

всего, огромный труд, окрашенный жадой познания и любовью к своему детищу. Умная и интересная генеральная мысль в книге соседствует со множеством конкретных наблюдений, которые всем специалистам будут очень полезны. Ну, что и говорить — Вы — молодец. Милочка! Желаю Вам новых таких же успехов. Только вперед!». После вопроса: «Как Ваша жизнь?» — Александр Александрович замечал: «У нас она складывается трудно, да Вы это прекрасно знаете... Я стараюсь держаться, хотя это трудно. Работаю, пока есть силы».

Последняя фраза передает мужество А. А. Зими́на, не прекращавшего работу, несмотря на смертельную болезнь, до последних дней и минут. До его кончины оставалось меньше года.

В письме, отправленном из Москвы 9 октября 1979 г., он поздравлял Алексея Николаевича: «Дорогой Алеша! От всей души поздравляю Вас с завершением хлопот по „степени“. И через это надо было, — увы! — пройти. Хорошо уже [то], что подобные формальности не будут повторяться...». Помимо известия об утверждении в ученой степени доктора исторических наук Алексей Николаевич писал А. А. Зимину о своей новой монографии. Первоначально он предполагал написать книгу о С. Ф. Платонове, однако в ходе рассмотрения планов в ЛОИИ и в дирекции Института российской истории РАН была утверждена более широкая тема: «Борьба направлений в русской историографии в период империализма. Историографические очерки». Александр Александрович по этому поводу отмечал: «Тема Вашей следующей работы, конечно, очень интересна. Думаю, что Вы нашли верный ключ к ней («Очерки», т. е. широкое название и конкретное, более узкое содержание). Тема интересна уже тем, что она имеет в основе архивную базу (Платонов и, думаю, кое-что еще из московских архивов — Любавский, Богословский и пр.) и может быть по-новому освещена». Далее Александр Александрович писал, что «лето прошло не лето», о здоровье сына Сережи, о том, что «с Форосом неясно». Вновь сообщал о работе и о планах: «Занимался много Василием I — подробнее при встрече. Обсуждалась в секторе плановая работа о „Думе“. Прошло скучно, но и это необходимо». Обращаясь к домашним делам: «Наташино семейство более или менее. Аленка пошла в школу. Рисует слегка (в кружке в доме пионеров). Валя [В. Г. Зими́на] написала для „Записок“ [Отдела рукописей ГБЛ] обзор фонда Каменских».

В письме, отправленном из Москвы 2 ноября 1979 г., А. А. Зимин вновь поздравлял Алексея Николаевича с утверждением в ВАКе: «От всей души поздравляю с завершением затянувшихся формальных хлопот». То, что А. А. возвращался к завершению «хлопот» с диссертацией, можно объяснить тем, что он внимательно следил за сложностями, которыми сопровождалось издание книги. Кроме упомянутого выше А. М. Сахарова и самого А. А. Зими́на в Москве очень помогли В. И. Буганов, в то время заместитель директора Института истории СССР АН СССР, А. М. Иванов и Покровский, работавшие в издательском отделе, в Ленинграде — Б. В. Ананьич, являвшийся ответственным редактором книги, Н. Е. Носов, возглавлявший ЛОИИ, Р. Ш. Ганелин, заведовавший группой истории СССР периода капитализма, В. М. Панях и Е. К. Пиотровская, представлявшие ЛОИИ в Ленинградском отделении издательства «Наука», заведующий редакцией Ленинградского отделения издательства «Наука» Е. П. Сидоренко, заместитель директора Ленинградского отделения издательства «Наука» А. А. Коссой.

Продолжая письмо, Александр Александрович восклицал: «Как быстро течет время!». Это было вызвано тем, что у него сложилось ошибочное впечатление о сроках

написания новой книги Алексея Николаевича. «Неужели же Вы заканчиваете книгу на будущий год?» — спрашивал он и дальше комментировал письмо Алексея Николаевича, в котором тот писал о замысле книги, впоследствии вышедшей в свет под названием «Борьба направлений в русской историографии в период империализма. Историографические очерки» (Л., 1986). А. А. Зимин, всегда уделявший большое внимание историографии, писал: «Занимаясь своим „Витязем на распутье“, я возвращаюсь к монографии — и в диком восторге от Карамзина. Это, конечно, вместе с В[асилием] Ос[иповичем] К[лючевским] — вершина историографии (Пушкин нашей науки). Да, в конкретике Полевой его кусал здорово (в частности и в Шемякином деле), но он же Моська по сравнению с Н. М. [Карамзиным]! Дело не в „концепции“, а в том, что Н. М. К[арамзин] осмеливался судить историю и при этом с точки зрения моральной. Пусть не всегда (увы, все мы люди), но все же». О своих делах он сообщал: «У нас все средненько. Прихварываю. Мечтаю (если Бог даст силы) где-то около 9–10 ноября отплыть в Форос. Валя [В. Г. Зиминой] очень устала: написала обзор фонда Каменских для „Записок“ [Отдел рукописей ГБЛ]». В связи с работой В. Г. Зиминой над этим «Обзором» А. А. Зимин просил навести ряд справок в ленинградских архивах.

После перечня номеров и дел, которые необходимо было проверить, он возвращался к домашним и служебным делам: «Дома блаженствуют только Козловы (дочь Наташа, ее муж Владимир Петрович. — Л. И.), хотя Аленка (внучка. — Л. И.) не всегда собрана на занятиях в школе. В Институте все ждут перемены. Я написал (вчерне) своего „Витязя на распутье“. Что дальше? Не знаю, м[ожет] б[ыть] Василий I. Вот пока и все. Крепко жму руку. Поклон Милочке. Ваш А. Зимин». 28 ноября 1979 г. Александр Александрович отправил открытку с известием, что он и Валентина Григорьевна «с запозданием, но все же... выбрались в Форос».

К новому 1980 г. мы получили новогодние поздравления, отправленные из Москвы. После добрых пожеланий и сведений о состоянии здоровья самого Александра Александровича, Валентины Григорьевны, Сережи и внучки Аленки, которая «прихворнула (грипп)», в письме сообщалось: «После Вас[илия] Темн[ого] сделал себе перерыв — кое-что редактирую и пр. Сажу сиднем дома, принимаю уйму лекарств. Как ваши дела? Не забывайте. Пишите. Ваш А. Зимин».

Последнее письмо Александра Александровича Зиминой, обращенное к Алексею Николаевичу: «Дорогой Алеша! Спасибо за дружескую помощь. Все Ваши материалы нужны Вале [В. Г. Зиминой] для обзора, который д[олжен] б[ыть] напечатан в „Записках“ О[тдела] Р[укописей]. О фонде 333 интересно было бы узнать две вещи: 1) когда поступил в ГПБ (и откуда), 2) когда образован и кем (очевидно А. А. Закревским после смерти Н. М. [Каменского]). Жизнь у нас не сладкая. Болезнь делает свое дело (все-таки — не Форос). Лечусь. Двигаюсь с трудом и т. п. Желаю Вам всего лучшего. Поклон Милочке. Ваш А. З.».

В Ленинград его последнее письмо пришло 20 февраля. Письмо датировано 15 февраля 1980 г. Жить ему оставалось ровно 10 дней. 25 февраля 1980 г. А. А. Зиминой не стало. Конверт, который оказался под рукой Александра Александровича, был с новогодним поздравлением и изображением празднично наряженной елки, окруженной ярким сиянием.

Как видим, А. А. Зимин не напрасно написал в одном из ранее упомянутых писем: «Работаю, пока есть силы».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ О А. А. Зимине см.: *Каштанов С. М., Чернобаев А. А.* «Ученый с мировым именем»: А. А. Зимин // *Историки России XVIII–XX веков*. М., 1998. Вып. 5. С. 133–148; *Кобрин В. Б.* Александр Александрович Зимин // *Историческая наука России в XX веке*. М., 1997. С. 353–368.

² Более подробно точку зрения А. А. Зимина по поводу этой дискуссии см.: *Зимин А. А.* Россия на рубеже XV–XVI столетий. М., 1982. С. 37–38.

³ История СССР с древнейших времен до наших дней. Первая серия. Т. 2: Борьба народов нашей страны за независимость в XIII–XVII вв. Образование единого Русского государства. М., 1966.

⁴ Слово о полку Игореве и памятники Куликовского цикла: К вопросу о времени написания Слова о полку Игореве / Отв. ред. Д. С. Лихачев, Л. А. Дмитриев. М.; Л., 1966.

⁵ Приписка к Псковскому Апостолу 1307 года и «Слово о полку Игореве» // *Русская литература*. 1966. № 2. С. 60–74.

⁶ Впоследствии по теме диссертации А. И. Копанев издал монографии: *Крестьянство русского Севера в XVI в.* (Л., 1978); *Крестьяне русского Севера в XVII в.* (Л., 1984).

⁷ Акты Русского государства 1505–1526 гг. / Редкол.: А. А. Новосельский, Л. В. Черепнин (отв. редакторы), И. А. Булыгин, А. А. Зимин, С. М. Каштанов, С. И. Котков; Сост. акад. С. Б. Веселовский. Доп. и подгот. к печати Р. В. Бахтурина, И. А. Булыгин, Л. И. Ивина, С. М. Каштанов, Л. З. Мильготина, В. Д. Назаров, Л. А. Никитина. М., 1975.

⁸ *Зимин А. А., Хорошкевич А. Л.* Россия времени Ивана Грозного. М., 1982.

⁹ *Зимин А. А.* Государственный архив XVI столетия: Опыт реконструкции. М., 1978. Кн. 1–3. (Ротапринт).

¹⁰ А. А. Зимин имел в виду задуманную им монографию, которая впоследствии вышла под названием «Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в.» (М., 1988).

¹¹ *Каштанов С. М.* Финансы средневековой Руси. М., 1988.

¹² *Тюрина А. П.* Место и роль крестьянства в социально-экономическом развитии общества: XVII сессия Всесоюзного симпозиума по изучению проблем аграрной истории в Ростове на Дону // *История СССР*. 1979. № 2. С. 214–218.

¹³ Там же. С. 218.

¹⁴ *Зимин А. А.* Правда Русская. М., 1999.

II. ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

Т. В. Андреева

М. М. СПЕРАНСКИЙ И ДЕКАБРИСТЫ*

Истории связей декабристов с государственными деятелями александровского царствования посвящено несколько работ,¹ в том числе статья и монография А. В. Семеновой «Временное революционное правительство в планах декабристов».² В монографии высказывается предположение, что Сперанский «в какой-то мере знал о существовании тайного общества», своей роли в планах декабристов и, возможно, имел с ними конспиративные политические связи. Поэтому 14 декабря 1825 г. он «вел тонкую игру» и выжидал, чем закончится «дело». По повелению Николая I, было проведено тайное секретное расследование, которое сам же император, убежденный в виновности Сперанского, «в силу собственных интересов» прервал.³ Однако, думается, не все было так однозначно.

В контексте данной проблемы возникает несколько вопросов, ответы на которые, возможно, дадут несколько иное представление об отношении декабристов к реформатору и Сперанского к тайному декабристскому обществу.

1) Почему в качестве кандидата во Временное правительство был избран именно Сперанский?

2) На чем основывали декабристы надежды на поддержку Сперанским своих преобразовательных планов, существовало ли реальное сходство их реформаторских программ?

3) На каком этапе эволюции декабризма возникла идея создания Временного революционного правительства и менялась ли ее содержание?

4) Знал ли Сперанский о существовании тайного декабристского общества, его политических целях и способах их достижения?

5) В чем причина снисходительности Николая I по отношению к Сперанскому?

Почему именно Сперанский? Как справедливо отмечает А. В. Семенова, зарождение интереса будущих декабристов к фигуре Сперанского относится к ранней весне 1812 г., когда они стали свидетелями борьбы правительственных группировок, завершившейся его отставкой.⁴ В центре этой борьбы было стремление различных политических сил влиять на процесс формирования официального курса. При этом консервативно

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ («После декабристов: власть, общество, реформы»), проект № 06-01-00103а.

настроенная «патриотическая партия» во главе с Ф. В. Ростопчиным и Н. М. Карамзиным для усиления «натиска» на Александра I и устранения Сперанского использовала негативное отношение к нему дворянского общества. Ведь, по мнению большинства консервативного дворянства, Сперанский являлся не только виновником «всеобщего расстройства в государстве вследствие учреждения министерств», «вдохновителем» «позорного» Тильзитского мира, создателем ненавистных указов от 3 апреля и 6 августа 1809 г., но и «изменником родины», предавшим интересы России в угоду Франции.⁵ Кроме этого, еще в ноябре–декабре 1809 г. при дворе и в обществе ходило много толков о «Плане Всеобщего государственного образования», авторство которого приписывали единолично Сперанскому. «План...» рассматривали как реформу главным образом Государственного совета, видели в нем введение широкого представительства и покушение на избранность и корпоративность дворянского сословия. Об этих слухах доносили Александру I, вначале не придававшего им никакого значения. Так, когда князь А. А. Чарторыйский попытался обратить внимание государя на опасность неправильных интерпретаций предполагаемых преобразований, Александр Павлович, смеясь, сказал: «Есть много людей, которые, не отдавая себе отчета в значении слов, воображают, что будущее устройство Совета есть народное представительство, как будто может быть народное представительство, избранное не страной и зависимое от короны».⁶

Однако в начале 1812 г., в обстановке внешнеполитического кризиса и реальной угрозы войны с Наполеоном, Александр I все же считал наиболее целесообразным приостановить реформаторский процесс и убрать на время с государственного поприща его главного деятеля. Надо думать, император принял трудное для себя решение об отставке Сперанского и ссылке в Нижний Новгород, а затем в Пермь, стремясь сохранить его для России и уберечь от еще более тяжких обвинений и испытаний. После Отечественной войны и заграничных походов при первой же возможности царь возвратил Сперанского на государственную службу: 30 августа 1816 г. он стал пензенским гражданским губернатором, 22 марта 1819 г. был назначен на высший в Сибири пост сибирского генерал-губернатора, а 22 марта 1821 г. после девятилетнего отсутствия возвращен в Петербург.

Искупительной жертвой Александра I в «ужождение тогдашнему общественному мнению»,⁷ считали опалу Сперанского и будущие декабристы. В своих дневниках, автобиографических записках и сочинениях И. Д. Якушкин, В. Ф. Раевский, В. И. Штейнгейль, М. А. Фонвизин, А. В. Поджио, П. Н. Свистунов, М. С. Лунин указывали, что именно доверие императора и подготавливаемые преобразования явились главными причинами его отставки и ссылки.⁸ Эти события встревожили и взволновали их, как и всех передовых современников, ожидавших «обновления, улучшений» в системе государственного управления и экономике. С. Г. Волконский был даже непосредственным свидетелем последней аудиенции Сперанского у Александра I 17 марта 1812 г. В этот день он дежурил в Зимнем дворце и описал этот эпизод в своих записках. По его словам, «удаление... и ссылку» Сперанского в большей степени приписывали «замыслам изменить образ правления из деспотического в демократическое начало».⁹ Так, образ «тираноборца», пострадавшего за свои взгляды и государственную деятельность, вероятно, остался в памяти будущих руководителей и членов Союза благоденствия, когда возникла идея о создании Временного правительства.

Кроме этого, анализ эпистолярной, мемуарной наследия и сочинений декабристов позволяет сделать вывод, что основной труд Сперанского «Введение к Уложению

государственных законов», в котором изложен упомянутый выше «План...», а также некоторые записки 1802–1804 гг. были известны членам тайных обществ. Еще в доопальное время проекты Сперанского имели широкое обращение в столичных кругах. С эпохи Союза спасения они стали распространяться и среди будущих декабристов, как справедливо отмечает А. В. Семенова, через Н. И. Тургенева. В 1816 г. в качестве помощника статс-секретаря он принял из кабинета Сперанского его рукописи, и прежде всего «Введение...».¹⁰ Позже в своих сочинениях М. С. Лунин и Н. И. Тургенев продемонстрировали осведомленность о главных идеях труда, а М. А. Фонвизин весьма обильно цитировал не только его, но и знаменитое пермское письмо Сперанского Александру I.¹¹ Это свидетельствует о том, что данные документы ходили в декабристской среде в списках. Самого Сперанского декабристы характеризовали как «умного и достойного советника» императора, а «План...» 1809 г. как «проект конституционной хартии для России, написанной им по воле и мысли Александра». Именно «План...», по их мнению, являлся негласным доказательством «свободолюбивого направления» первой половины александровского царствования, а его «официальным» подтверждением — варшавская речь императора 15 марта 1818 г.¹² Таким образом, декабристы не приписывали Сперанскому единоличное авторство «Плана...», прекрасно осознавая, что инициатива в формировании идеологии реформаторской программы принадлежала Александру I.¹³ Тем не менее они надеялись, что Сперанский поддержит их преобразовательные мероприятия — уничтожение абсолютизма и отмену крепостного права.

Важными основаниями для этих надежд были — благоприятная информация о его деятельности во время ссылки и личные связи с будущими декабристами после возвращения в столицу. Борьба Сперанского в годы генерал-губернаторства Сибири с коррупцией сибирского чиновничества, ревизия дел и подготовка реформы административного управления края¹⁴ вызывали положительную оценку не только его ближайших сотрудников — будущих членов декабристской организации, но и «старых» деятелей движения.¹⁵ Особняком в этом ряду стоит П. И. Пестель, имевший личную неприязнь к Сперанскому. Ведь после ревизии Сибири, выявившей огромные размеры злоупотреблений, именно Сперанский был назначен на место И. Б. Пестеля, обвиненного ревизором в коррупции. Почти сразу в Петербург и по Петербургу, при дворе поползли слухи, уничтожавшие Ивана Борисовича как человека и администратора. Обида за отца, негодование на его оппонента стали основой пестелевской ненависти к Сперанскому.¹⁶

Однако отношение к Сперанскому большинства членов тайных обществ, с которыми он после возвращения в Петербург весной 1821 г. поддерживал светские, служебные, финансовые связи, было весьма благожелательным. Прежде всего это контакты с Д. И. Завалишиным и особенно с К. Ф. Рылеевым по акционерной Российско-американской компании, которые, по словам генерала Д. А. Кропотова, «выходили из разряда официальных».¹⁷ Весьма тесными были и служебные связи с Н. И. Тургеневым до его отъезда в 1824 г. за границу. Являясь сотрудником Сперанского во второй Комиссии составления законов и помощником статс-секретаря в Государственном совете, Тургенев виделся с ним почти ежедневно и был знаком с его взглядами на пути развития России. Сблизился Сперанский и с отставным генералом, обер-прокурором 1 отделения Сената и членом Сибирского комитета С. Г. Краснокутским.

Самым же близким человеком для Сперанского среди будущих декабристов, безусловно, был Г. С. Батеньков. Будучи с 1819 г. ближайшим помощником сибирского

генерал-губернатора, сопровождая его во время ревизии края и работая над сибирской реформой, он находился с ним в постоянном контакте и, как сам признавался, «любил его душою».¹⁸ Судя по письмам Батенькова к друзьям, их взаимоотношения носили в большей степени приватный, человеческий, чем служебный характер: «Я торчу при Сперанском в качестве таком, какого и сам не знаю. Называюсь инженером, находящимся при нем по особым поручениям, но ничего не делаю инженерного. План преобразования сибирского управления во всех почти частях и даже мало-мальски соседственная политика — вот что занимает меня под руководством сего истинно великого человека. Он привык уже ко мне и ко всем моим странностям, так что я вовсе не прячусь, не кривляюсь, не жеманюсь и отношусь прямо, как человек к человеку».¹⁹ Поэтому неудивительно, что после возвращения из Сибири в Петербург в 1821 г. Батеньков поселился в доме Сперанского на Невском 42, по его протекции получил место правителя дел Сибирского комитета и считал его семью своей.²⁰ Позже во время ссылки он переписывался с дочерью Сперанского Е. М. Фроловой-Багреевой. Узнав из ее письма о смерти Михаила Михайловича только через несколько лет, он тяжело переживал эту «великую потерю», постоянно возил с собой его портрет и даже в 1856 г., уже после амнистии, в письме Н. Д. Свербееву называл Сперанского своим «вторым отцом».²¹ В начале же 1820-х гг. дом Сперанского около Армянской церкви кроме Батенькова посещали Н. А. Бестужев, В. И. Штейнгейль, Ф. Н. Глинка, А. О. Корнилович. Был знаком со Сперанским и С. П. Трубецкой.²²

Безусловно, будущих декабристов привлекала реформаторская направленность политического мировоззрения Сперанского. Но существовало ли реальное сходство их преобразовательных программ? Следует признать, оно присутствовало и касалось приоритетности кардинальных преобразований. На первое место как Сперанским, так и идеологами движения была выдвинута реформа политическая, а социальные изменения, носившие, по их мнению, подчиненный характер, отодвинуты на второй план (исключая Н. И. Тургенева, в концепции которого все политические вопросы оказались подчиненными идее освобождения крестьян).²³ Однако ее стратегические цели в программах Сперанского и тайного декабристского общества на протяжении всей его истории были различны.

Еще В. В. Леонтович призывал «не переоценивать радикализм Сперанского до 1812 года».²⁴ Современные философские, правоведческие и исторические исследования подтверждают, что его политический либерализм, нашедший отражение во «Введении...» и примыкающих к нему проектах, которые составляли «План Всеобщего государственного образования» 1809 г., носил весьма ограниченный характер.²⁵ Прежде всего это было связано с тем, что Сперанский воплощал на бумаге идеи самого Александра I. Ведь сегодня не вызывает сомнения, что «План...» принадлежал двум авторам — Александру I и Сперанскому.²⁶ Проанализировав государственное устройство стран, «имеющих истинную монархическую конституцию» в соотношении с Россией, они пришли к выводу, что в стране не созрели еще социально-экономические и политические условия для ограничения властных полномочий абсолютного монарха. Авторы полагали, что на данном историческом этапе следует идти по пути установления такого «образа правления», который должен быть только приближен к западному образцу: «Он (т. е. образ правления. — Т. А.) должен быть весь расположен на настоящей самодержавной конституции государства, без раздела власти законодательной от

власти исполнительной».²⁷ Таким образом, стратегическая цель «Плана...» состояла в том, чтобы создать условия для перехода от традиционного самодержавия к более прогрессивной и стабильной форме правления — рационально и четко организованной «законной» абсолютистской или «смешанной» монархии, при которой власть государя ограничена законодательными установлениями. Необходимость правового обеспечения абсолютизма Нового времени требовала, чтобы «Российская империя как государство нераздельное, монархическое» управлялась «державною властью» по «коренным государственным законам, то есть конституции». Под конституцией авторы понимали «права верховной власти..., права подданных, образ составления законов», а также «устройство тех высших государственных учреждений, коими закон составляется и исполняется», т. е. систему законодательных норм, установленных монархом и закрепляющих единые правовые принципы регламентации общественной жизни и деятельности органов государственного управления.²⁸ Итак, речь действительно шла о «конституционной хартии для России», но абсолютистского толка.

При этом «коренной» политической реформе, как считали Александр I и Сперанский, должен предшествовать подготовительный этап, в ходе которого следовало создать законосовещательные и в определенной мере сословно-представительные органы. Модернизация существующего государственного строя предполагала усовершенствование и унификацию прежде всего высшего управления и приспособление его к новым историческим условиям. Это достигалось созданием высшего законосовещательного органа при императоре, четким разграничением функций центральных учреждений и ответственностью их перед законом, определением места старого государственного органа — Сената — в системе управления. Конкретный же порядок выполнения «Плана» предусматривал создание Государственного совета и Государственной думы, преобразование Сената и министерств.

Как известно, большая часть «Плана...», т. е. намеченные преобразования государственного управления были выполнены. За рамками его реализации оказалась лишь Государственная дума. Сами авторы очень скоро осознали, что в России отсутствовали элементы гражданского общества и не сформировался «средний класс», который мог бы стать необходимой основой системы представительства. Сохранявшееся крепостничество, время для уничтожения которого, как считали Александр I и Сперанский, еще не пришло, тесно связанное со всеми «частями государственного тела», также являлось преградой на пути реального представительства. Однако сама постановка вопроса об учреждении, сочетающем в себе его элементы с авторитаризмом, для авторов «Плана...» была чрезвычайно важна. По их мнению, в данный исторический момент в России следовало установить образ правления, содержащий в себе «разные постановления, которые, постепенно раскрываясь, приготавлили бы истинное монархическое правление и приспособляли бы к нему дух народный».²⁹

Что же касается крестьянского вопроса, то в ранних проектах 1802–1804 гг. и во «Введении...» Сперанский, будучи искренним противником крепостного права, считал, что при его решении нужны последовательность и постепенность. В 1818 г., прочитав варшавскую речь Александра I в газетах и увидев, что все поместное дворянство восприняло ее как угрозу возможности освобождения крепостных крестьян, он писал из Пензы А. А. Столыпину: «Опасность не в существе дела, ибо нельзя себе представить (хотя и представляют многие), чтоб правительство пустило на отвагу дело столь важное

и не приуготовило бы все пути его установлениями постепенными и твердыми, без колебания и торопливости».³⁰ Программа Сперанского, как и Александра I в последний период его царствования, а также Николая I в начале его правления, заключалась в постепенном смягчении крепостнических отношений путем паллиативных мер и поэтапного приближения крестьян, сначала государственных, а затем помещичьих к свободному податному сословию.

Таким образом, не только стратегия, но и тактика преобразовательных планов тайных обществ после 1821 г. отличались от правительственных реформаторских поисков 1802–1810 гг., отражением которых было творчество Сперанского. При этом, если политическая и социальная программы руководства Северного и Южного обществ были направлены на единовременное и форсированное уничтожение абсолютизма и крепостного права путем «военной революции», то «План...» 1809 г. предусматривал только переход к абсолютной «законной» монархии, законодательное регулирование крестьянских повинностей и отмену крайних форм личного рабства постепенными преобразованиями, производимыми сверху.³¹

Сама же идея создания Временного правительства была сформулирована еще в Союзе благоденствия в 1820 г. Этот период в истории декабризма характеризуется стремлением к диалогу с властью и обществом, к социальному расширению и политическому усилению Союза. Руководители видели в нем не тайное общество, подготавливавшее государственный переворот, а политическую организацию, деятельность которой должна протекать параллельно с правительственной. Главными задачами были поставлены, с одной стороны, навязывание верховной власти проведения реформ, а с другой — проникновение во все слои общества. Серьезные надежды возлагались на продвижение по службе своих членов и единомышленников, а также привлечение на свою сторону лиц, находящихся на высоких гражданских и военных постах.³² Поэтому постановка проблемы Временного правительства была вполне логична и вписывалась в явную и тайную цели Союза благоденствия, нашедшие отражение в первой и второй частях «Зеленой книги».³³

После 1821 г. проблема Временного правительства решалась уже по-разному на Севере и Юге. Пестель видел в правительстве, которое, по его мнению, должно было состоять только из членов тайного общества, орудие диктатуры для установления в России республики. В Обществе Московского съезда, т. е. в «Восстановленном Союзе благоденствия», а позже в Северном обществе господствующей была идея созыва после переворота «представителей России от всех свободных сословий», т. е. Великого собора, для определения «будущей ее судьбы и образа правления». Это влекло за собой иной взгляд на функции Временного правительства и его состав. «Первым его действием» определялся созыв в кратчайшие сроки Собора, а главной обязанностью — руководство жизнью страны, «пока съедутся делегаты». В состав правительства предполагалось включить наряду с членами общества и авторитетных государственных деятелей, имевших репутацию передовых людей своего времени.³⁴

Первое упоминание в Северном обществе имени Сперанского в этой связи, согласно следственным показаниям К. Ф. Рылеева, относится к началу 1821 г. По его словам, когда при разговоре о созыве Великого собора встал вопрос о Временном правительстве, то Трубецкой предложил в его состав «М. М. Сперанского и Н. С. Мордвинова», как «людей уже известных всей России».³⁵ Действительно, после возвращения

в Петербург Сперанский стал весьма популярен. Об этом свидетельствует его переписка за 1821–1825 гг., отложившаяся в личном фонде в ОР РНБ. Ее участниками являлись как видные государственные деятели этой эпохи — министры иностранных и внутренних дел К. В. Нессельроде и В. П. Кочубей, юстиции Д. И. Лобанов-Ростовский, государственный секретарь А. Н. Оленин, президент Академии художеств С. С. Уваров, иркутский губернатор И. Б. Цейдлер, которые чаще всего консультировались со Сперанским по различным правовым вопросам, — так и провинциальные помещики, чиновники, офицеры, обращавшиеся к нему с просьбой об устройстве на службу, с ходатайствами об определении на учебу детей, даже с личными вопросами.³⁶ Вполне объективной в этой связи представляется характеристика, данная Сперанскому в 1827 г. руководителями III Отделения А. Х. Бенкендорфом и М. Я. фон Фоком: «На г. Сперанского надо смотреть как на опору всех умных и даровитых людей среднего класса (например, литераторов, купцов и средних чиновников). Он доступен, популярен, по-видимому, вполне предан Его Величеству государю императору и существующему строю, поддержанию которого он посвящает все свои силы. Он не общителен, но, тем не менее, его влияние на общественное мнение очень благотворно».³⁷

Возвращаясь к проблеме Временного правительства, следует сказать, что окончательное решение она получила в программном документе декабризма — проекте «Манифеста к русскому народу». К работе над проектом «Манифеста» были привлечены К. Ф. Рылеев, Н. А. Бестужев, И. И. Пущин, С. П. Трубецкой, В. И. Штейнгейль, Г. С. Батеньков,³⁸ которые, вероятно, в разное время написали несколько его вариантов. Как известно, сохранился только один вариант в виде чернового наброска, найденного 15 декабря 1825 г. при обыске в кабинете Трубецкого. Именно этот набросок фигурировал в ходе следствия и был опубликован в первом томе «Восстания декабристов».³⁹

В данном документе от имени Сената объявлялось «уничтожение бывшего правления», т. е. абсолютизма, и учреждение «Временного правления из 2-х или 3-х лиц», которое «подчиняет все части высшего управления, то есть все министерства, Совет, Комитет министров, армию, флот. Словом, всю верховную исполнительную власть, но отнюдь не законодательную и не судную». Его деятельность осуществлялась только «до установления постоянного» правительства «выборными». «Временное правление» должно было произвести немедленную отмену крепостного права, а также осуществить ряд реформ — военную, судебную, административную, ввести равенство всех сословий перед законом, гражданские свободы, уничтожить цензуру.⁴⁰

Между тем, согласно прибавлениям к запискам Трубецкого, написанным уже в 1840-е гг., срок деятельности «Временного правления» заканчивался не избранием постоянного правительства «выборными», а утверждением «нового императора общим собранием выборных людей». При этом именно Временное правительство должно было составить проект конституции, т. е. «проект Государственного уложения», «главными пунктами» которого определялись — «учреждение представительного правления по образцу просвещенных европейских государств и освобождение крестьян от крепостной зависимости».⁴¹ В этой связи следует отметить два важных момента. Во-первых, сохранение в России монархической формы правления и, во-вторых, более широкий характер политических полномочий Временного правительства предоставлением

ему права создания конституции, которая, как и в работах Сперанского, названа «Государственным уложением».

Можно предположить, что эти отличия от варианта проекта «Манифеста», найденного в кабинете Трубецкого, были связаны с различным авторством и временем написания документа. Надо думать, более радикальный вариант был написан Рылеевым при содействии Бестужева и Пущина ранее ноября–декабря 1825 г., а более либеральный, создание которого было обусловлено династическим кризисом, — Штейнгейлем при посредстве Трубецкого и Батенькова до 9–10 декабря 1825 г. Тот факт, что именно первый вариант был найден в доме Трубецкого при обыске, не становится определяющим, поскольку последний мог просто скопировать его для себя. Важнее другое — оба варианта отражали «победу» северян в вопросе о Временном правительстве. В этой ситуации основной тактической установкой Северного общества становилось укрепление политического авторитета правительства включением в его состав людей, которых, как писал один из участников восстания А. П. Беляев, «уважало общественное мнение». ⁴² Поэтому логично, что общество в состав «Временного правления», по словам Трубецкого, «намеревалось предложить Мордвинова, Сперанского и Ермолова». ⁴³

В канун 14 декабря состав правительства был уже четко определен. В него должны были войти члены Государственного совета Сперанский и Мордвинов, находившиеся на тот момент в Петербурге, а в качестве помощника от общества назначался Батеньков. То, что взгляды всех трех кандидатов сильно отличались от намеченных революционных мероприятий «Манифеста» Рылеева, т. е. форсированного и единовременного уничтожения абсолютизма и крепостного права, а потому не гарантировали их осуществления, ⁴⁴ вероятно, не меняло сути дела. Для декабристов вопрос о «Временном правлении» в большей степени носил тактический, чем стратегический характер. Кроме этого, вращаясь в основном только в своем организационном и возрастном кругу, они слабо чувствовали настроения как умудренных государственным и жизненным опытом советников, так и в целом дворянского общества. ⁴⁵ Ведь, несмотря на тяжелую социально-экономическую ситуацию, доминирующим было общее убеждение, что единственной силой, способной рационально преобразовать государственное управление, стать гарантией стабильности и соблюдения интересов всего народа, а также «регулятором» сословных отношений, является власть просвещенного абсолютного монарха.

Хотя расчет на Сперанского был только тактический, он являлся важнейшей составной частью планов руководства Северного общества. «Надежды на успех основывали они, — писал А. Д. Боровков, — на содействии членов Государственного совета графа Мордвинова, Сперанского и Киселева...». ⁴⁶ Дело было не только в том, что их позиция в случае победы восстания сыграла бы определяющую роль в Государственном совете и Сенате, ⁴⁷ но и в бюрократическом опыте Сперанского. З. Г. Чернышев в своих показаниях утверждал, что Сперанский прежде всего рассматривался «как имеющий государственный опыт чиновник, необходимый для приведения в совершенный порядок и исполнения всего, обществом предпринятого». ⁴⁸ Подогревая друг друга его именем — «Сперанский принимает участие в обществе», «Сперанский наш», «Он наш, мы на него действуем через Батенькова», «Сперанский не откажется занять место во Временном правлении» ⁴⁹ — что, вероятно, придавало им большей устойчивости

и уверенности в себе, руководители Северного общества со второй декады декабря готовили государственный переворот.

Знал ли Сперанский о существовании тайного декабристского общества и той роли, которая отводилась ему в планах северян? Сами декабристы в своих мемуарах и сочинениях не раз высказывались не только об его осведомленности о существовании общества, но и планах переворота. Но, думается, это было связано с необходимостью продемонстрировать, что Север якобы имел такое влияние на правительственные сферы, что члены Государственного совета были связаны с ним. Так, Штейнгейль в своих записках указывал, что будто бы Сперанский, смотревший на события 14 декабря из Зимнего дворца (откуда вряд ли можно было что-то увидеть⁵⁰), сказал стоявшему рядом с ним Краснокутскому (который вряд ли мог стоять рядом с ним, поскольку как обер-прокурор присягал в Сенате): «И эта штука не удалась!». «Обстоятельство это, сколь ни малозначашее, — продолжал Штейнгейль, — раскрывает, однако ж, тогдашнее расположение духа Сперанского. Оно и не могло быть инаково: с одной стороны, воспоминание претерпенного невинно, с другой — недоверие к будущему».⁵¹

Согласно «Запискам» Д. И. Завалишина, Сперанский мог иметь сведения о существовании и целях «либеральной партии» до 1825 г., но совершенно точно знал «о предстоящем перевороте... в самый день 14 декабря». Ссылаясь на рассказ А. О. Корниловича, услышанный им, вероятно, только в 1827 г., он указывал, что рано утром 14 декабря до начала «движения» Александр Осипович был послан к Сперанскому, чтобы «объявить ему о предстоящем перевороте и испросить его согласие на назначение его в число членов регентства». И будто бы Сперанский ответил ему: «С ума вы сошли..., разве делают такие предположения преждевременно? Одержите сначала верх, тогда все будут на вашей стороне».⁵²

Последняя фраза представляется апокрифом, поскольку, по свидетельству большинства современников, после опалы Сперанский был весьма осторожен и вряд ли мог позволить себе столь рискованную откровенность. В целом же, как и многие современники, в атмосфере вакуума власти и ожидания перемен в период междоусобицы он мог связывать свои надежды на стабилизацию социально-политической ситуации в стране с тайным обществом. Тем более что, по мнению Завалишина, достоверность рассказа Корниловича основана на историческом опыте, когда в периоды дворцовых переворотов в Петербурге «все самые значительные люди» «легко подчинялись... всякому перевороту».⁵³

Кроме приведенных свидетельств, осведомленность Сперанского о «существовании тайного общества и сокровенной его цели» зафиксирована в сочинении М. А. Фонвизина,⁵⁴ не являвшего членом Северного общества, не участвовавшего в подготовке выступления и событиях на Сенатской площади, а также в воспоминаниях генерал-майора Д. А. Кропотова.⁵⁵ Поскольку это были люди, далеко стоящие от Сперанского, то следует признать факт широкого распространения в декабристской среде и обществе версии, что он знал о конспирации.

Опосредованно информированность Сперанского о тайном декабристском обществе подтверждается двумя автографами его подписки 1822 и 1826 гг. о непринадлежности к тайным обществам. Отложившиеся в личном фонде реформатора, они даны Сперанским по одной из двух предложенных форм. Одна форма предназначалась для тех, кто «к каким-нибудь ложам или обществам принадлежали» и потому должны были указать

их название и место бытования, а другая — для тех, кто никогда не был членом никаких конспиративных организаций и потому должен был только расписаться в этом, указав свое имя, фамилию, чин. Сперанский дал обе подписки по второй форме. В первой подписке от 11 сентября 1822 г. он объявлял, что «ни в какую учрежденную Массонскую ложу, Думу, Управу и, словом, ни в какое тайное общество никогда принят не был, не посещал, не знал и никакие сношения с ними не имею». Прежде всего ложью было отрицание вхождения в масонскую ложу. Но более всего поражает употребление Сперанским слов «Дума» и «Управа», что свидетельствовало об его осведомленности о структурной системе тайного декабристского общества. Вторая подписка относится к 8 июня 1826 г. В ней Сперанский, подтверждая свою непричастность к любым видам конспирации, указывал, что не принадлежит «ныне», а главное и впредь обязывался «ни к какой Массонской ложе и ни какому тайному обществу ни внутри империи, ни вне ее» «не принадлежать и никаких сношений с ними не иметь».⁵⁶

Реально же о деятельности декабристской конспирации и своей роли в планах ее руководителей Сперанский мог узнать только от Батенькова. Однако Гавриил Степанович вернулся в Петербург ранней весной 1821 г. и только догадывался о существовании какого-то тайного союза, к участию в котором его приглашал В. Ф. Раевский.⁵⁷ Да и со Сперанским Батеньков, по его собственным словам, в течение 1821–1822 гг. виделся редко.⁵⁸

Первые контакты Батенькова с людьми, связанными с Северным обществом, относятся к январю 1825 г. Во время своего пребывания в отпуске в Москве он познакомился с одним из директоров Российско-американской компании И. В. Прокофьевым, на приеме у которого велись разговоры о тяжелом положении страны.⁵⁹ Знакомство с Прокофьевым, который в Петербурге жил на Мойке в одном доме вместе с Рылеевым и другими служащими компании, способствовало сближению Батенькова с членами тайного общества. Он стал часто бывать в квартире Рылеева, где собирались братья Бестужевы, приезжавший часто из Москвы Штейнгель. Однако поначалу члены общества не говорили при Батенькове о своей организации, ее названии, целях, а вели лишь общие разговоры «про правительство», демонстрировали свое «негодование на оное», использовали «остроты, сарказмы».⁶⁰

Лишь в сентябре–октябре 1825 г. Батеньков был принят Рылеевым и А. А. Бестужевым в Северное общество. Но еще «в январе 1825 года», по его собственным словам на следствии, «пришла мне в первый раз мысль, что поелику революция, в самом деле, может быть полезна и весьма вероятна, то непременно мне должно в ней участвовать и быть лицом историческим».⁶¹ Однако Россия «вследствие ее географического положения» не представляла «никакой удобства к восстанию», что заставило Батенькова обратиться к анализу деятельности тайных обществ. «Это ужасное средство атаки на правительства и что они не изобрели еще против сих мин достаточных средств», — писал он и пришел к выводу о необходимости создания «контрмин», которые «могут состоять только в таковых же обществах». Им был разработан «план атакующего общества», которое должно было иметь следующие функции: «деловую», «ученую», «служебную». Любопытна четвертая функция: привлечение фанатиков, «более для того, что лучше их иметь с собою, нежели против себя».⁶²

Как справедливо отмечает биограф Батенькова А. А. Брегман, эти его показания Следственной комиссии до сих пор по-разному интерпретируются исследователями. По

мнению же самого биографа, Гавриил Степанович предлагал повторить уже пройденный декабристским обществом этап его развития в виде создания тайной организации, схожей по целям и тактике с Союзом благоденствия.⁶³ В самом деле, функции «атакующего общества» очень схожи с «отраслями» деятельности Союза, описанными во второй части «Зеленой книги». Думается, Батеньков, не зная истории декабристской конспирации, предлагал создать общество, которое должно было действовать параллельно с властью, воздействовать на нее в целях усиления правительственных преобразовательных инициатив, а также дезавуировать деятельность других тайных союзов. Таким образом, оставаясь истинным учеником Сперанского, он верил в реформаторский потенциал монархической власти и пытался убедить своих новых друзей в возможности добиться «всеобщего благоденствия» путем усовершенствования законов и с помощью «бескровной революции» сверху, говоря, что «горсть солдат все разрушить может». Так же, как и его учитель, Батеньков считал, что фундаментальной политической реформе должно предшествовать формирование системы общественного строя. В своих следственных показаниях он подчеркивал: «Я неоднократно говорил Трубецкому и Рылееву, что в России утверждение гражданского порядка несравненно настоятельнее, нежели политического, что у нас еще нет уездных судей, исправников и прочее».⁶⁴

Умеренность политического мировоззрения Батенькова⁶⁵ дает основание предположить, что он мог участвовать в составлении именно либерального варианта проекта «Манифеста русскому народу». Как уже отмечалось, согласно этому варианту, деятельность «Временного правления» должна была закончиться утверждением нового императора и составлением проекта конституции, т. е. «Государственного уложения» (термин Сперанского). Поэтому неудивительно, что, когда 27 ноября со смертью Александра I «Россия сделалась свободна от присяги, данной самодержавию», и «представилась законность искать чего-либо в пользу отечества», Батеньков попытался подтолкнуть Сперанского к действию постановкой вопроса в Государственном совете об ограничении законами власти нового императора, т. е. Константина Павловича.⁶⁶ Надо думать, это было связано с различными вариантами плана заговорщиков, которые находились в зависимости от быстроменяющейся ситуации междуцарствия. Руководство Северного общества, стремившееся не упустить любой возможности, любых средств и путей к введению конституции, использовало армию, особенно гвардейские части и либеральных членов Государственного совета и Сената. Причем Рылеев и его сподвижники разрабатывали различные варианты своих действий в соответствии с поступающей информацией. Поэтому, получив известие о смерти Александра I, они дали указание своим членам присягать только Константину Павловичу и оказывать сопротивление любой попытке иного решения вопроса о престолонаследии.

Что касается Сперанского, то 27 ноября он так и не поставил вопрос о конституции в Государственном совете. На упрек же своего ученика он будто бы ответил: «Я один, что же мне прикажешь делать; одному мне нечего было говорить».⁶⁷ Но и после присяги императору Константину Батеньков имел долгие беседы со Сперанским, пытаясь найти возможные пути к установлению «законной» монархии. Это подтверждает версию о том, что до 9–10 декабря продолжал действовать первый вариант плана декабристов, направленный на конституционное ограничение власти

монарха мирным путем. Вероятно, именно в это время Штейнгейлем при содействии Трубецкого и Батенькова велась работа над либеральным вариантом проекта «Манифеста», согласно которому сохранялась монархия. Сам же Сперанский, по словам Батенькова, «человек осторожный и умный, от него ничего не узнаешь», даже в данный исторический момент считал «всякую мысль» об ограничении законами власти нового монарха «бесполезною и всякое покушение невозможным». ⁶⁸ Причем все результаты этих разговоров передавались Рылееву.

Весьма важными в данном контексте являются свидетельства Трубецкого в прибавлениях к его запискам: будто бы некоторые члены Государственного совета (имен он не указывал), под которыми он, вероятно, имел в виду Мордвинова и Сперанского, были готовы поддержать восставших 14 декабря при условии отказа войск присягать Николаю и вывода их из города. ⁶⁹ После объявления «Манифеста к русскому народу» (либерального толка) в свои права должно было вступить «Временное правление», назначенное высшими государственными учреждениями империи — Сенатом и Государственным советом. Эти указания Трубецкого, вероятно, отражали элементы второго варианта плана, разработанного после 9–10 декабря, когда в столице распространился слух о возможном отречении Константина Павловича и было принято решение в случае новой присяги, т. е. присяги Николаю, оказывать сопротивление, «распространить действия в полках» и вывести их на Сенатскую площадь. На месте же требовать выдачи завещания Александра I, хранящегося в Сенате и Государственном совете и будто бы содержащего обещания сократить срок военной службы до десяти лет. ⁷⁰ Главные же надежды руководителей северян возлагались на выступление гвардии и «содействие» сенаторов и советников. Причем важнейшим условием «содействия», как писал Трубецкой, будто бы поставленным и переданным советниками через Батенькова, было, «чтобы их имена остались неизвестными». ⁷¹ Однако это свидетельство о поддержке и условиях советников более никем из декабристов не подтверждается.

По мнению большинства исследователей, в конце ноября–начале декабря дом Сперанского, вероятно, являлся наиболее осведомленным в столице, а 13 декабря — уже, по-видимому, единственным, в котором знали о запланированной на 14 декабря присяге Николаю. Дело в том, что утром 13 декабря, после того как Николай Павлович накануне подписал отредактированный Сперанским манифест о своем вступлении на престол ⁷² и сообщил, что на завтрашний день намечена присяга, Михаил Михайлович по возвращении домой известил об этом Батенькова. Последний тотчас отправился к Рылееву с этой важной новостью. В седьмом часу вечера того же дня, согласно материалам следствия, к Сперанскому от тайного общества были направлены Батеньков, Краснокутский, Корнилович, которым поручалось выяснить его отношение к предстоящей присяге, уговорить его помешать ей и войти во «Временное правление». Однако им это не удалось. В тот же день поздно вечером состоялось последнее решающее совещание у Рылеева, итогом которого явилась установка на государственный переворот путем «военной революции». При его удаче «Временное правление» должно было приступить к своим обязанностям, поэтому вопрос о нем становился наиважнейшим. Между тем Батеньков, хорошо зная твердый характер своего учителя и его политические взгляды, уверял своих друзей, что Сперанский «ни во что не войдет» и «не примет в таких случаях никакого места», и даже предложил его кандидатуру заменить Трубецким. ⁷³

Что же происходило 14 декабря? Рано утром, согласно запискам Завалишина, а также следственным показаниям Батенькова и Корниловича, они оба снова побывали у Сперанского,⁷⁴ вероятно, с той же целью — повлиять на его решение в отношении присяги и Временного правительства. В восемь часов утра Сперанский поехал в Зимний дворец на принесение присяги Николаю I членами Государственного совета, состоявшееся около девяти часов, после чего ненадолго заехал домой, где встретил вернувшуюся с прогулки дочь.⁷⁵ Однако, услышав ружейную пальбу, отправился во дворец, в котором и провел весь день. Вечером, возвратясь к себе домой, он позвал своего ближайшего сотрудника К. Г. Репинского, жившего в его доме, который и рассказал ему «все, что видел».⁷⁶

Таким образом надежда декабристов, что Сперанский, оппозиционность которого, по их мнению, носила политический и личный характер, их поддержит, не оправдалась. Да и могла ли оправдаться? Легитимист и государственный, всю свою жизнь Сперанский содействовал усилению России путем реформ сверху и потому не мог поддержать государственный переворот в виде «военной революции» даже во имя прогресса. И в Сибири, где Сперанский с 1819 по 1821 г. занимал высшую должность генерал-губернатора, провел ревизию Сибирского края и работал над формированием новой системы его законодательства и реформой управления, и в Петербурге, где с 1821 г. был членом Государственного совета и управляющим Комиссией составления законов, главной целью его деятельности было административное и правовое укрепление российской абсолютистской государственности.

Безусловно, прежней близости с Александром I уже не было. С одной стороны, это было связано с недоверчивостью к людям и мизантропией, которые развились у императора в последний период его царствования, а с другой — с «обидой» Сперанского, что его «дело» не было рассмотрено гласно. Еще будучи пензенским губернатором, он во всеподданнейшем письме просил государя «суда и решения», которые так и не состоялись. «Ни оправданный, ни обвиненный» Сперанский «мирился» и со службой, и «с Петербургом», тем более что отношение к нему прежних коллег по государственной службе — В. П. Кочубея, Н. С. Мордвинова, Д. А. Гурьева и других оставалось доброжелательным. Да и со стороны императора было «милостивое внимание», выраженное в рескриптах, носящих более личный, нежели служебный характер.⁷⁷

После возвращения Сперанского в Петербург Александр I вновь приблизил его ко двору, называл «своим человеком», но важнейших государственных дел и разработку крупных преобразовательных проектов уже не поручал. И тем не менее, судя по дневниковым записям Сперанского, он весьма часто встречался с государем и имел с ним разговоры о российских недостатках и главном из них — отсутствии «способных, деловых людей», — что приводило Александра Павловича к заключению «не торопиться преобразований».⁷⁸

Да и сам Сперанский, в эту эпоху продолжая оставаться приверженцем постепенных, подготовленных «коренных» преобразований сверху, был весьма осторожен как в человеческом, так и политическом аспектах.⁷⁹ Думается, это было вполне закономерно и находило отражение в его дневнике и характеристике, данной ему Батеньковым. Так, в октябре 1821 г. Сперанский писал: «Я полагаю одно условие, установленное мною в виде заключения. Я не могу подать повод ни к какому-либо

сомнению в моих начинаниях: ибо, быв поставленный в сношения с разными людьми, я должен принимать разные выводы, не всегда могущие быть положительными». ⁸⁰ Батеньков в своих показаниях Следственной комиссии также подметил, что после возвращения «Сперанский стал осторожен... охотно обещает, но часто не исполняет..., дорожит каждым словом и кажется неискренним и холодным..., при появлении каждого нового лица может легко переменить свой вид». ⁸¹

И последний вопрос: почему Николай I, несмотря на причастность Сперанского к делу о тайных обществах в России, не приказал провести полноценного расследования? Ведь в фондах Следственной комиссии и Верховного уголовного суда не сохранилось никаких документов на этот счет. Между тем Николай Павлович еще в период междоусобицы был уверен, что заговор против него «восходит до Государственного совета, именно до Мордвинова», ⁸² личные и служебные связи которого со Сперанским были всем известны. Когда же начались допросы, то Сперанский был в числе лиц, на которых показывали «мятежники», но «без достаточных улик». Причем чаще всего в показаниях декабристов его имя было связано с составом «Временного правления» или тактическими расчетами на влияние в высших сферах. По словам самого Николая I, «подобные показания рождали сомнения и недоверчивость, весьма тягостные, и долго не могли совершенно рассеяться». ⁸³

И все же император удовлетворился отрицательными ответами Батенькова и Трубецкого, что Сперанский не только не принадлежал, но и не знал о заговоре. Надо думать, это было связано прежде всего с задачами внутренней и внешней политики, поскольку причастность к тайному обществу членов Государственного совета для монархов ведущих европейских стран и европейского и русского общества означала кризис государственной власти в России. Кроме этого, Сперанский, по мнению Николая I, «самый дельный и самый умный» из сановников александровской плеяды, был нужен для реализации его широких планов по кодификации законов и подготовке необходимых преобразований в государственной деревне, системе финансов, местном управлении. ⁸⁴ Думается, что император и просто поверил ему. Об этом свидетельствуют слова, сказанные Николаем Павловичем 11 февраля 1839 г. в день кончины Сперанского, приехавшему с этим трагическим известием М. А. Корфу: «И я, и ты, по близким к нему отношениям, и все мы понесли потерю ужасную, неизмеримую. Сперанского не все понимали, и не все довольно умели ценить; сперва, и я сам, может быть, больше всех был виноват против него в этом отношении. Мне столько было наговорено о его либеральных идеях; клевета коснулась его даже и по случаю истории 14 декабря! Но потом все эти обвинения рассыпались как пыль. Я нашел в нем самого верного, преданного и ревностного слугу с огромными сведениями, с огромною опытностью. Теперь все знают, чем я, чем Россия ему обязаны, и клеветники умолкли». ⁸⁵

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Муравьев М.* Идея Временного правительства у декабристов и их кандидаты // *Тайные общества в России в начале XIX столетия*. М., 1926; *Алданов М. А.* Сперанский и декабристы // *Современные записки*. Париж, 1925. Т. 26.

тия. М., 1926; *Алданов М. А.* Сперанский и декабристы // *Современные записки*. Париж, 1925. Т. 26.

² Семенова А. В. 1) М. М. Сперанский и декабристы // Исторические записки. М., 1978. Т. 102; 2) Временное революционное правительство в планах декабристов. М., 1982.

³ Семенова А. В. Временное революционное правительство в планах декабристов. С. 7, 26–31, 46–54.

⁴ Там же. С. 17.

⁵ Ф. В. Ростопчин — Александру I 28 февраля и 4 марта 1812 г. (Копии начала XIX в.): ОР РНБ. Ф. 73 (А. А. Краевский). Д. 343. Л. 5–7.

⁶ Разговоры князя А. Чарторыжского с императором Александром. 26 декабря 1809 г. // Русский архив. М., 1871. № 1 (12). С. 758.

⁷ Фонвизин М. А. Обзорение проявлений политической жизни в России // Фонвизин М. А. Сочинения и письма. Т. 2: Сочинения. Иркутск, 1982. С. 148.

⁸ Раевский В. Ф. Материалы о жизни и революционной деятельности. Т. 1: Документы о революционной деятельности и судебном процессе. Иркутск, 1980. С. 10; Фонвизин М. А. Обзорение проявлений политической жизни в России. С. 148–149; Штейнгейль В. И. Сочинения и письма. Т. 1: Записки и письма. Иркутск, 1985. С. 136; Лунин М. С. Разбор Донесения Тайной Следственной комиссии Государю императору в 1826 году // Лунин М. С. Письма из Сибири. М., 1988. С. 79; Поджио А. В. Записки и письма. Иркутск, 1989. С. 95; Свистунов П. Н. Сочинения и письма. Т. 1: Сочинения и письма (1825–1840). Иркутск, 2002. С. 179, 189;

⁹ Волконский С. Г. Записки. СПб., 1901. С. 139–145; см. также: Семенова А. В. Временное революционное правительство в планах декабристов. С. 18.

¹⁰ Семенова А. В. Временное революционное правительство в планах декабристов. С. 19.

¹¹ Фонвизин М. А. Сочинения и письма. Т. 2. С. 148–149; Тургенев Н. И. Россия и русские. М., 1915. С. 382–383; Лунин М. С. Разбор Донесения Тайной Следственной комиссии... С. 79. Судя по письмам М. С. Лунина к сестре от 12 апреля и 2 июня 1838 г., в своей работе по истории русского законодательства он использовал и поздние труды Сперанского, в том числе «Обзорение исторических сведений о Своде законов», составленное под его руководст-

вом и выпущенное в свет в Петербурге в 1833 г. (Там же. С. 11–12, 381).

¹² Фонвизин М. А. Сочинения и письма. Т. 2. С. 149–150.

¹³ М. А. Фонвизин даже был осведомлен, что «Введение к Уложению государственных законов» опубликовано в 1832 г. за границей (Там же. С. 150).

¹⁴ См. об этом: Вагин В. И. Исторические сведения о деятельности Сперанского в Сибири. СПб., 1872.

¹⁵ Письма Г. С. Батенькова А. А. и А. П. Елагиным от 6 июня 1819 г. и 9 октября, 4 декабря 1820 г.; Ф. Ф. Риддеру от 26 июня 1819 г. (Батеньков Г. С. Сочинения и письма. Т. 1: Письма. 1813–1856. Иркутск, 1989. С. 139–142, 147–148); Свистунов П. Н. Возражения А. Е. Розену и С. В. Максимова // Свистунов П. Н. Сочинения и письма. Т. 1: Сочинения. Письма. 1825–1840. Иркутск, 2002. С. 179, 189, 194.

¹⁶ См. об этом: Чернов С. Н. Декабрист П. Ив. Пестель: Опыт личной характеристики // Чернов С. Н. Павел Пестель. Избранные статьи по истории декабризма. СПб., 2004. С. 63–182.

¹⁷ Кропотков Д. А. Несколько сведений о Рылееве // Декабристы в воспоминаниях современников. М., 1988. С. 75.

¹⁸ Уже 6 июня 1819 г. Батеньков писал своим друзьям А. А. и А. П. Елагиным: «Сибирь должна возродиться, должна воспрянуть снова. У нас уже новый властелин, вельможа добрый, сильный, и сильный только для добра. Я говорю о генерал-губернаторе Михаиле Михайловиче Сперанском» (Батеньков Г. С. Сочинения и письма. Т. 1. С. 139).

¹⁹ Письмо Г. С. Батенькова А. А. Елагину от 4 декабря 1820 г. (Там же. С. 148).

²⁰ Письмо Г. С. Батенькова А. А. и А. П. Елагиным от 20 августа 1825 г.: «Наши (т. е. семейство Сперанского. — Т. А.) из Ревеля вернулись, но и это не веселит: а) потому, что они за городом; б) потому, что к ним ездить некогда» (Там же. С. 200); Иванов А. И. Один из декабристов: Гавриил Степанович Батеньков (из воспоминаний старого сибиряка) // Декабристы в воспоминаниях современников. С. 167–170.

²¹ Письма Г. С. Батенькова А. П. Елагиной от 27 октября 1846 г., Е. М. Фроловой-Багревой от 12 марта 1847 г., Е. И. Елагиной от

18 февраля 1856 г., Н. Д. Свербееву от 2 мая 1856 г. (*Батеньков Г. С.* Сочинения и письма. Т. 1. С. 215, 220–220, 381, 499).

²² *Семенова А. В.* Временное революционное правительство в планах декабристов. С. 19, 40, 44.

²³ На различия в последовательности кардинальных преобразований Н. И. Тургенева и Сперанского обратила внимание и А. В. Семенова (Там же. С. 24).

²⁴ *Леонтович Н. Я.* История либерализма в России. 1762–1914. М., 1995. С. 120–132.

²⁵ *Медушевский А. Н.* Конституционный вопрос в России // Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические науки. 1996. № 4. С. 11–27; *Пустарнаков В. Ф.* Либеральный консерватизм и либерализм в России XIX — начала XX в.: Различия и сходства // Либеральный консерватизм: История и современность. М., 2001. С. 14; *Андреева Т. В.* Александр I и М. М. Сперанский: Еще раз о «Плане Всеобщего государственного образования» 1809 года // Английская набережная, 4. СПб., 2001. С. 41–74; *Слобожникова В. С.* М. М. Сперанский о формах государственной власти // Проблемы истории культуры, литературы, социально-экономической мысли. Саратов, 1984. С. 86–91; *Осипов И. Д.* Философия политики М. М. Сперанского. СПб., 2002. С. 17–20

²⁶ В данном случае не могу присоединиться к положению А. В. Семеновой, что «План...» являлся «плодом личного творчества Сперанского, вынужденного, однако, в какой-то мере учитывать мнение Александра». См.: *Семенова А. В.* Временное революционное правительство в планах декабристов. С. 27.

²⁷ *Сперанский М. М.* Проекты и записки. М.; Л., 1960. С. 120.

²⁸ Там же. С. 216–222, 225–227, 231–237.

²⁹ Там же. С. 120.

³⁰ Цит. по: *Мироненко С. В.* Самодержавие и реформы: Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989. С. 160. В этой связи тезис А. В. Семеновой, что «ограниченность крестьянских проектов Сперанского была в известной степени вызвана пониманием демагогичности всех рассуждений при дворе об отмене крепостного права», не представляется обоснованным. См.: *Семенова А. В.* Временное революционное правительство в планах декабристов. С. 25.

³¹ А. В. Семенова, отмечая несходство социальной программы декабристов с «предложениями Сперанского», все же считает, что их политические программы, основанные на принципе разделения властей и идее представительного правления, были схожи. См.: *Семенова А. В.* Временное революционное правительство в планах декабристов. С. 25, 29.

³² Восстание декабристов : Материалы и документы. М.; Л., 1925. Т. 2. С. 73.

³³ См. об этом: *Чернов С. Н.* Из работ над «Зеленой книгой» // Чернов С. Н. У истоков русского освободительного движения. Саратов, 1960. С. 261–329.

³⁴ Восстание декабристов. Т. 1. С. 324; *Фонвизин М. А.* Обзорение проявлений политической жизни в России. С. 191.

³⁵ *Фонвизин М. А.* Обзорение проявлений политической жизни в России. С. 176.

³⁶ ОР РНБ. Ф. 731 (М. М. Сперанский). Д. 1890, 1901, 1919, 1958, 1972, 2139, 2143, 2185.

³⁷ Ежегодные отчеты III Отделения и корпуса жандармов. Граф А. Х. Бенкендорф о России в 1827–1830 гг. // Красный архив. М., 1929. Т. 6 (37). С. 143.

³⁸ Декабристы: Биографический справочник. М., 1988. С. 22, 178, 203.

³⁹ Восстание декабристов. Т. 1. С. 107–108. Другая публикация: *Семенова А. В.* Временное революционное правительство в планах декабристов. С. 181–182.

⁴⁰ Цит. по: *Семенова А. В.* Временное революционное правительство в планах декабристов. С. 181–182.

⁴¹ Из прибавлений к запискам С. П. Трубецкого // 14 декабря 1825 года: Воспоминания очевидцев. СПб., 1999. С. 257.

⁴² Из «Воспоминаний декабриста о пережитом и перечувствованном» А. П. Беляева // Там же. С. 290.

⁴³ Из прибавлений к запискам С. П. Трубецкого // Там же. С. 257.

⁴⁴ На «здоровый консерватизм» всех кандидатов во Временное правительство и прежде всего Сперанского и Мордвинова обратила внимание В. М. Бокова, по словам которой, «в ключевых же вопросах — об образе правления и крепостном праве — всех их в отличие от „друзей 14-го“ отличал несомненный скепсис и здоровый консерватизм». Она же подчеркнула «сла-

бое присутствие намерения» у декабристов «захватить власть и править самим». См.: *Боккова В. М.* Эпоха тайных обществ: Русские общественные объединения первой трети XIX в. М., 2003. С. 250–253.

⁴⁵ «Есть основание считать, — пишет В. М. Боккова, — что их “вылазки” во “взрослый мир” демонстрировали главным образом снисходительно-насмешливое отношение к ним тех, кого они считали своими единомышленниками» (Там же. С. 251).

⁴⁶ Из воспоминаний правителя дел Следственной комиссии А. Д. Боровкова // *Декабристы в воспоминаниях современников*. С. 299.

⁴⁷ См.: *Семенова А. В.* Временное революционное правительство в планах декабристов. С. 45–46.

⁴⁸ Восстание декабристов. М., 1980. Т. 15. С. 228, 231, 252.

⁴⁹ Восстание декабристов. Т. 1. С. 344, 374.

⁵⁰ К этому тексту имеется примечание С. П. Трубецкого: «Из дворца нельзя было видеть» (Из записок В. И. Штейнгеля // 14 декабря 1825 года: Воспоминания очевидцев. С. 317).

⁵¹ Там же.

⁵² Из «Записок декабриста» Д. И. Завалишина // Там же. С. 345–346.

⁵³ Там же. С. 346.

⁵⁴ *Фонвизин М. А.* Обзорение проявлений политической жизни в России. С. 191.

⁵⁵ *Кропотов Д. А.* Несколько сведений о Рылееве. С. 75.

⁵⁶ Подписки Сперанского в 1822 и 1826 годах о непринадлежности к тайным обществам (ОР РНБ. Ф. 731. (М. М. Сперанский). Д. 2143. Л. 3–10).

⁵⁷ Восстание декабристов. М., 1978. Т. 14. С. 94.

⁵⁸ В следственных показаниях Г. С. Батеньков говорил: «К Сперанскому едва мог добиться с делами, ибо он окружен был большою толпой и более жил в Царском Селе, куда ездил я только в собрания Сибирского комитета... В течение зимы 1821–1822 мы виделись только по четвергам пред собранием и в собрании Сибирского комитета» (Там же. С. 142). Это подтверждается словами Батенькова в письме С. Т. Аргамакову от 25 ноября

1821 г.: «Побывать у людей знатных и сильных часто значит потерять целый день» (*Батеньков Г. С.* Сочинения и письма. Т. 1. С. 161–162).

⁵⁹ Восстание декабристов. Т. 14. С. 95.

⁶⁰ Там же; см. также: *Брегман А. А.* Декабрист Гавриил Степанович Батеньков // Батеньков Г. С. Сочинения и письма. Т. 1. С. 50.

⁶¹ Восстание декабристов. Т. 14. С. 92.

⁶² Там же. С. 82–84, 96; см. также: *Брегман А. А.* Декабрист Гавриил Степанович Батеньков. С. 39–41.

⁶³ *Брегман А. А.* Декабрист Гавриил Степанович Батеньков. С. 40.

⁶⁴ Восстание декабристов. Т. 14. С. 96; *Брегман А. А.* Декабрист Гавриил Степанович Батеньков. С. 42–45, 61.

⁶⁵ См. об этом: *Брегман А. А.* Декабрист Гавриил Степанович Батеньков. С. 50–51.

⁶⁶ Восстание декабристов. Т. 14. С. 80, 99.

⁶⁷ Там же; *Семенова А. В.* Временное революционное правительство в планах декабристов. С. 46–47; *Батеньков Г. С.* Сочинения и письма. Т. 1. С. 56–57.

⁶⁸ Восстание декабристов. Т. 14. С. 80, 99, 102.

⁶⁹ Из прибавлений к запискам С. П. Трубецкого. С. 257.

⁷⁰ Восстание декабристов. Т. 2. С. 390; Т. 14. С. 390.

⁷¹ Из прибавлений к запискам С. П. Трубецкого. С. 257.

⁷² Кроме данного манифеста Сперанский был редактором важнейших манифестов нового царствования, написанных самим Николаем I — от 19 декабря 1825 г. и 13 июля 1826 г.

⁷³ Восстание декабристов. Т. 14. С. 85, 92, 100; *Брегман А. А.* Декабрист Гавриил Степанович Батеньков. С. 63–66.

⁷⁴ Восстание декабристов. Т. 12. С. 107; Т. 14. С. 80.

⁷⁵ Из книги В. Дюре «Русский портрет: Творчество и „Книга женщины” г-жи Багреевой-Сперанской» (14 декабря 1825 года: Воспоминания очевидцев. С. 442).

⁷⁶ Из заметок Николая I на рукописи книги М. А. Корфа «Восшествие на престол императора Николая I-го» (14 декабря 1825 года: Воспоминания очевидцев. С. 49).

⁷⁷ М. М. Сперанский — В. П. Кочубею 21 сентября 1818 г. (ОР РНБ. Ф. 731 (М. М. Сперанский). Д. 1890. Л. 2–6).

⁷⁸ Дневник М. М. Сперанского с марта 1821 по апрель 1828 г. Июнь 1821 г. (Там же. Д. 42. Л. 3–3 об., 18).

⁷⁹ М. М. Сперанский — В. П. Кочубею 21 сентября 1818 г. (Там же. Д. 1890. Л. 8 об.).

⁸⁰ Дневник М. М. Сперанского с марта 1821 по апрель 1828 г. Июнь 1821 г. (Там же. Д. 42. Л. 18 об.).

⁸¹ Восстание декабристов. Т. 14. С. 143, 145.

⁸² Междуцарствие в России с 19 ноября по 14 декабря 1825 года // Русская старина. 1897. Т. 89. № 2. С. 168–169.

⁸³ Из записок Николая I. Из четвертой тетради (14 декабря 1825 года: Воспоминания очевидцев. С. 47).

⁸⁴ На это обратила внимание А. В. Семенова. См.: *Семенова А. В.* Временное революционное правительство в планах декабристов. С. 54.

⁸⁵ *Корф М. А.* Записки. М., 2003. С. 74–76.

Е. Л. Рудницкая

ПРОСВЕЩЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОГО ИНТЕЛЛИГЕНТСКОГО СОЗНАНИЯ

Проблема становления русской интеллигенции — часть кардинальной для русской истории проблемы, которая обозначается как «русское Просвещение — русская революция». Ключевой фигурой, стоящей у истоков этой проблемы, является Н. М. Карамзин. Именно он попытался приложить отвлеченный идеал к русской действительности. Идеал пришел в столкновение с ней. Продолжением этого столкновения стало для Карамзина создание мифа о России: теперь он подставил под этот идеал русскую историю и создал утопию, идеологию, позволяющую преодолеть, «снять» дурную действительность. Так им конструируется консервативная идеология, которая по своему типу становится образцом для всей последующей русской культуры. Ее суть — сочетание различных культур: «традиционной» и современной (культуры Просвещения).

Русская культура, русское Просвещение соединили в себе миф о России и миф о Западе и определили природу исторического субъекта, носителя русской культуры — русской интеллигенции. В далекой перспективе именно она подготовила революцию.¹

Однако начало формирования этого исторического субъекта, типа сознания — созданной Карамзиным модели независимого человека, которую впитала в себя русская интеллигенция, — далеко отстояло от идеи революции. Скорее, генезис интеллигенции связан с противостоянием этой идее. По времени он совпадает с декабризмом.

Совпадение это не случайно. Оно порождено самым смыслом декабризма, его исторической сущностью. Декабризм был крупной вехой «петровского периода русской истории», ее движения по пути, начатому Петром, овладения источниками и средствами духовной и материальной силы европейских народов.

Именно волевой характер исторического акта Петра определил пути и средства первоначального движения России в направлении к Европе. Декабризм в этом смысле как бы завершил начатую Петром «революцию сверху». «Революционера на троне», говоря словами Герцена, сменили революционеры из дворянской элиты. Между обозначенными

гранями не было принципиального разрыва. Об этом свидетельствует родовая близость реформаторских устремлений правительственного либерализма царствования Александра I и содержательного наполнения «заговора реформаторов», какими предстают декабристы. Намерения императора внести в русскую политическую жизнь начала европейского конституционализма, правового гражданского общества, как и попытка декабристов реализовать свои идеи посредством «военной революции», потерпели крах. Россия была явно не готова идти путем европейского политического опыта ни в его либеральном — реформаторском, ни в революционном обличье. Вместе с тем декабризм дал мощный импульс нравственно-философской ориентации, включающей широкий идеологический спектр: от жизненных позиций до политических пристрастий.

Еще до открытого противостояния на Сенатской площади возникает осязаемый поворот в характере приобщения духовной элиты к европейской культуре, ее духовным ценностям. Он знаменовал начало серьезной историко-философской работы в осмыслении судеб России, целенаправленного формирования национального самосознания. Как и декабризм, свой изначальный импульс этот мыслительный процесс получил в событиях 1812 г., породивших мощный подъем национальных чувств. Но интеллектуальное наполнение оказалось иным, чем у декабристов. Мысль прокладывает себе новое русло, истоки которого — в философских веяниях первой четверти XIX в. Они сосуществуют с декабризмом, определяя дальнейшее содержание поиска, который вобрал в себя идеи европейского Просвещения и их преодоление.

Случилось так, что новое направление родилось в среде почти мальчиков, младших современников декабристов, в ряде случаев связанных с ними родственными и семейными узами. Их немногочисленному объединению — «Обществулюбомудрия» — суждено было сыграть значительную роль в истории становления русского самосознания. Формально его хронологические рамки достаточно узки: 1823–1825 гг. Оно прекратило свое существование с разгромом декабристов. Фактически же любомудры, как устойчивая идейная группировка, сохраняют свое единство до начала 1830-х гг.

Подобно декабризму, любомудрие вписывается в общеевропейские исторические и идеологические реалии, доминантой которых был подъем национального самосознания, торжествовавшего в Европе после крушения Наполеона, и кризис Просвещения, теснимого романтизмом, получившим философскую санкцию в немецкой идеалистической философии, философии раннего Шеллинга прежде всего. Она питала определяющую суть романтизма — идею национализма, идею универсализма как конечной цели истории.

В русском романтизме отчетливо просматривается генетическая связь романтизма с просветительством, общее для них индивидуалистическое начало. Его рационалистическое обоснование в просветительстве сменяется в романтизме абсолютизацией свободы духа, его метафизическим утверждением. Явившись в мир с отрицанием рационализма Просвещения, романтизм по существу был его продолжением: он преломил политические завоевания рационализма — демократию, свободу личности — через философское обоснование абсолюта личности, присущее системе Шеллинга.

Русская историософская мысль характеризовалась синтезом складывавшегося национального самосознания и философских идей Шеллинга, которые противостояли отвлеченным идеям просветительской философии, идеям общечеловеческого духа. Этот синтез в своей творческой теоретической разработке был связан с напряженным

личным интересом к новым истинам.² Данное обстоятельство во многом объясняет феномен формирования русской интеллектуальной генерации — превращение ею философской теории в дело жизни и общественного служения.

«Общество любомудрия» кладет начало «русскому философствованию» (термин Г. Г. Шпета), отмеченному тесным слиянием умозрительного и этического, поиском единого начала Бытия, движением мысли к постижению судеб России как его части. При этом в теоретических размышлениях любомудров просматриваются вполне ощутимые социальные и политические мотивы, которые в конечном счете питали их видение пути России. Возглавивший общество — оно возникло из числа воспитанников Московского университетского Благородного пансиона и Московского университета — князь В. Ф. Одоевский, двоюродный брат поэта-декабриста Александра Одоевского, и его идейный лидер, талантливый молодой поэт Д. В. Веневитинов, сосредоточили в себе его интеллектуальный потенциал. Созданное ими в 1824 г. периодическое издание «Мнемозина» явилось первым в России журналом философского направления. Под редакцией В. Одоевского и Вильгельма Кюхельбекера оно своеобразно соединило тираноборческий настрой будущего декабриста и философскую устремленность российских прозелитов Шеллинга. Их объединяла убежденность в великом будущем России, питавшаяся высокой оценкой духовных потенций русского народа. Но именно Одоевскому принадлежит творческая разработка воззрений любомудрия, его центральной идеи — понимание философии как целенаправленной деятельности человека в постижении Абсолюта и противопоставление исходного смысла Просвещения в его историческом значении узко утилитарному подходу к нему. Необходимость просвещения должна исходить не «от мелких вещественных польз»; утверждаться «на той зыбкой основе, что науки должны иметь единою целию — удовлетворение мирским нуждам».³ «Мнемозина» была лишь частью капитального замысла философского оснащения русского Просвещения, понимаемого как наследие ценностей европейской цивилизации, неотделимости от нее России. Убежденность в особости характера русской культуры и ее роли в судьбах Европы появится у них несколько позже. В развитии смысла философского просветительства, его преломлении в феномене русского интеллигентского сознания ведущая роль принадлежала Веневитинову. Им был сформулирован нравственный императив: обязанность «мыслящего гражданина» «содействовать благу общему», «действовать для пользы народа, которому он принадлежит». В формуле «мыслящий гражданин» заключалась суть приложения теории познания действительности к самой действительности, целенаправленное воздействие на нее. Мы видим на теоретическом уровне по существу сближение идейного смысла декабризма и историософского направления общественной мысли, которое выступало в то же время как бы в противовес ему: не политическая конфронтация с правительством, а осмысление глубинных пластов духовного бытия личности, культурной элиты, народа, самой России и судеб мировой цивилизации как главного условия воздействия на них путем просвещения.

Историософские разработки Веневитинова сфокусировали идейные импульсы развития постдекабристских представлений: французское Просвещение, лежавшее в основе мировоззрения декабристов, переосмысливается через призму шеллингианства. При этом нащупываются свои национальные проблемы: фиксируется болевая точка в судьбах русского Просвещения — его изначальная несамостоятельность. Именно философия может и должна вызвать самобытную деятельность русской мысли, развить в

обществе самосознание, критическое освоение воспринятого Россией Просвещения. Отсюда два фундаментальных положения, наложивших глубокий отпечаток на последующее идейное движение. Первое: необходимость возвращения к самобытности. И здесь Веневитинов столь радикален, что считает необходимым «некоторым образом устранить Россию от нынешнего движения других народов». Самостоятельное освоение прошлого, сосредоточение на нем — условие и предпосылка самобытного русского Просвещения. И второе: в силу того «что от самой России не должно ожидать никакого участия», путь к Просвещению связывается исключительно с усилиями мыслящей элиты. Так отчетливо проявляются контуры интеллигентского самосознания, фактически реализовавшегося в русской общественной жизни независимо от политической ориентации его носителей.

«Любомудрие» как реакция на неоправдавшиеся идеи Просвещения было первой попыткой выработки теоретического фундамента самобытного культурного развития России. Внесенные в его доктринальные построения нравственно-этические начала, их сопряженность с историческим самосознанием личности, ее ответственности за историю определили значимость «любомудрия» в становлении русского интеллигентского сознания.

Трагически ранняя смерть прервала искания блистательного ума Веневитинова. Иван Киреевский органично продолжил их. Не будет преувеличением сказать, что он генерализовал теоретические концепции любомудров в осмыслении проблемы «Россия и Запад», их представления о характере отечественного Просвещения.

В основе конструировавшегося Киреевским здания русского Просвещения — «стремление к лучшей действительности». Мысль Киреевского учитывает трагический опыт декабристов, но отнюдь не перечеркивает их идеалов. Однако исходный историзм его позиции требует соответствия идеала своему времени. Суть историзма, по Киреевскому, — понимание, что «семена желанного будущего заложены в действительности настоящего... в необходимости есть Провидение, и если создание мечты гибнет как мечта, то из совокупности существующего должно образоваться лучшее будущее».⁴

Таким образом, романтизм преодолевается историзмом мышления, обращение к действительности как единственному источнику идеала питает оптимизм в отношении будущего. Одним из первых придя к мысли «о великом назначении нашего отечества», Киреевский первоначально основание для этого видел не в каких-либо преимуществах русских начал, а в общеевропейском характере русского Просвещения, дающем возможность будущего влияния на Европу. От него же зависит судьба России: «Оно есть условие и источник всех благ. Когда же все эти блага будут нашими, мы сами поделимся с остальною Европою и весь долг наш заплатим ей сторицею».⁵ Однако постепенно акценты смещаются. Путь от любомудрия к славянофильству, проложенный Киреевским, лежал в преодолении интеллигентского сознания через религиозную идею. Погружаясь в нее, Киреевский шел к обоснованию противостояния двух систем Просвещения, к убеждению об изжитости западного Просвещения и необходимости, «чтобы православное Просвещение овладело всем умственным развитием современного мира, доставшимся ему в удел от прежней умственной жизни человечества».⁶ В иерархии духовных ценностей религия — не только главенствующая для Киреевского, но она становится в его историософии определяющим началом, смыслом истории человечества, ее движущей силой и самоцелью.

Привнесенная любомудрами в русскую мысль рефлексия интеллигентского сознания — феномен нравственного императива, синтезирующего понимание хода истории и долг мыслящей личности, способствующей реализации абсолютных законов бытия, — вытесняется у нарождающегося славянофильства сознанием исключительно религиозным, основанным на духовных ценностях православия.

Вместе с тем типология русского интеллигентского сознания, заложенная Карамзиным, оставалась присущей и славянофильству. Одно из ее проявлений — острый интерес его ведущих идеологов к идеям западного социализма, питавшийся в конечном счете нараставшей антибуржуазностью новой доктрины, имевшей в свою очередь и социальные, и идеологические корни. Отрицание ценностей правового государства, «гражданственности», как они говорили, стыковалось с негативным отношением к государственному началу как таковому, несло в себе элементы анархизма, отражало разрыв с реальностью. Именно в этом, считает Г. П. Федотов, право славянофилов на место в истории русской интеллигенции.

Противостояние, вернее разрыв, который определился в 30–40-е гг. XIX в. между дворянской интеллигенцией и властью, нашло свое выражение в таком ярком явлении русской мысли, как Чаадаев. Созданная им первая русская историософская система с ее религиозной первоосновой противостояла не только русской социально-политической действительности, но была совершенно уникальна по отношению к другим векторам общественного сознания. Парадоксальность феномена Чаадаева в том, что роль интеллектуального стимулятора в продвижении к идейно-теоретическому оформлению русской национальной идеи выпала на долю мыслителя, высказавшего самое уничижительное суждение о России как факте мировой истории. Написанные в глубоком уединении, при полном отрешении от внешнего мира на протяжении 1828–1830-х гг. восемь «Философических писем» стали вершинными в идейном самоопределении Чаадаева. Философский цикл Чаадаева был не только итогом его личных постижений. Ему суждено было стать точкой отсчета для всех дальнейших обретений, блужданий и трагических исканий русского самосознания. При этом следует подчеркнуть неразрывность философского наполнения писем с пониманием Чаадаевым собственного назначения: «...дать ход той мысли, которую я считаю себя призванным дать миру... главная забота моей жизни, это довершить ту мысль в глубинах моей души и сделать из нее мое наследие».⁷ Его философскому видению присуще теургическое понимание истории, включенное в цельную религиозно-философскую систему, в которой сочетались две равноценные составляющие: рационализм и элементы мистицизма. При этом рационалистическая парадигма все более доминирует. Христианство рассматривается им теперь в первую очередь с точки зрения его роли в образовании новой мысли, назначение которой — раскрыть смысл Божественного откровения в самой науке. С этим общим подходом, вытекающая из него, связано утверждение проповеднического начала, заново, с учетом исторического опыта человечества, переосмысливающего христианский догмат. Из понимания современной эпохи как гибели существующего мира и «предчувствия нового мира, имеющего возникнуть на месте старого», следовало убеждение Чаадаева в действенной силе Провидения и проповеди, роли в этом мыслителей. Таким образом, реализуется единство науки и религии, выводящее из кризиса.

Эта общая идея в приложении к России сопрягалась с трактовкой Чаадаевым русской истории, которую можно определить как отвержение русского прошлого и русского на-

стоящего, убежденность в потенциальности, непрявленности русского народа при заключающихся в нем огромных, непочатых силах. Но как постижение абсолютного разума, что составляет смысл и цель существования человечества, реализуется не общим разумом людей, не массами, «не здравым смыслом народа», так и понимание будущего России дано лишь «известным силам, стоящим у вершин общества». Человеческий интеллект обнаруживает себя «во всем своем могуществе и блеске» только в «одиноким уме». Массы, писал Чаадаев, «непосредственно не размышляют. Среди них имеется известное число мыслителей, которые за них думают, которые дают толчок коллективному сознанию нации и приводят ее в движение». «Как можно искать разума в толпе?», — вопрошал Чаадаев. «Где видано, чтобы толпа была разумна? — Was hat das Volk mit der Vernunft zu schaffen?.. Возможно ли отыскать глас Божий в этом разногласном говоре мыслящего и не мыслящего народа...». Истина «возникает не из толпы, а из среды избранных или призванных».⁸ И именно на них возлагает он реализацию великого исторического назначения России — поставленной ей Провидением миссии представлять интересы всего человечества: «В этом наше будущее, в этом наш прогресс». И Чаадаев вновь указывает на свою провидческую роль, завещает «грядущим поколениям» достигнутое им осознание миссии России в мире. Вряд ли стоит ставить под сомнение сугубо интеллигентский тип сознания Чаадаева.

Ярчайшим представителем менталитета русского интеллигента предстает Виссарион Григорьевич Белинский, властитель дум нескольких поколений русских радикалов. Страстный искатель истины, сменивший на протяжении жизни взаимоисключающие идейные приверженности, он оставался неизменным и цельным в основополагающей своей сути: верности императиву нравственного долженствования. Пройдя через апологику просвещения, насаждаемого самодержавной властью, через убежденность, что просвещать Россию следует насильственно, через апологику примирения, а затем пафос отрицания «гнусной российской действительности», «отрицания», в котором он видит созидательную силу, Белинский приходит к утверждению идеала гражданского общества, «ибо гражданское общество есть средство для развития человеческих личностей, которые суть — всё, и в которых живут природа, и общество, и история...».⁹ Через признание исторической законосообразности буржуазности, ее действительной роли в деле общественного прогресса Белинский сочленяет прогресс с темой индивидуализма как основного свойства буржуазного миропонимания, с темой освобождения личности. Будущее России он видит в союзе «ничтожного меньшинства», способного мыслить, с действующей, реформирующей властью, притом что русский народ, каким он является на сегодня, не может быть активным участником общественной жизни. И как бы перекликаясь с Чаадаевым, но перенося его мысль о роли народа в истории из плоскости духовной в плоскость исторического действия, Белинский писал: «Где и когда народ освободил себя? Всегда и все делалось через личности».¹⁰ Носитель прогресса — интеллигенция. Роль народа — уравнивать своим консерватизмом темп этого прогресса.¹¹ Убежденный западник, он принадлежал, по справедливому заключению В. Соловьева, к тому типу западничества, которое практически определяется как либерализм. Самой своей личностью он, как никто другой, воплотил тип интеллигентского сознания, с его абсолютной доминантой нравственного императива, поиска своего общественного места, в его неразрывной связи с чувством ответственности за судьбы всего сущего. В этом смысле он не только определил на долгие годы направление литературного творчества в России, но и социальную направленность убеждений своих по-

следователей, пафос борьбы за духовную и гражданскую свободу. Однако гуманистическая суть идейных устремлений Белинского при этом все более заслонялась утилитаризмом и прагматизмом, санкционировавших не только привнесение в общественную деятельность совсем иных принципов, но и радикально изменивших и само ее наполнение и ее задачи.

В силу бескомпромиссности, страстности, устремленности к общественному идеалу Белинский стал одним из основателей революционно-демократической традиции в русской общественной мысли. По существу он вписал интеллигентское сознание в объективный ход истории, стремился найти равнодействующую между идеалом, который представлял перед ним в индивидуализме как синтезе демократизма и гуманизма, и действительностью.

Следует обратить внимание на то, что в данном основополагающем мировоззренческом постулате пересеклись пути стоявшего у истоков любомудрия князя В. Одоевского и столь мучительно прорывавшегося к истине разночинца Белинского. Они сходятся не только в утверждении действенного начала как доминанты истории и роли в этом просвещения. «История обществ есть история их просвещения», — писал Одоевский в своем философском романе «Петербургские ночи» (его замысел возник еще в 1820-е гг., а был завершен в 30-е), подводившем черту под русским философским романтизмом вообще и его собственными идейными исканиями предшествующих лет. При этом во взглядах Одоевского происходит перенесение центра тяжести из плоскости общественной в плоскость индивидуальную. Он обращает свой взор к человеку, придает личностному началу абсолютную нравственную ценность, сопрягая ее с действием, деянием, как душой мира. Личное совершенствование, совершенствование каждого — условие движения к всеобщему благоденствию. При несомненном мировоззренческом отличии Одоевского от Белинского, различии их отношения к западной цивилизации их сближало признание единства человечества, которое идет к слиянию путем просвещения и научно-технических достижений. Индивидуализмом, «суммой отдельных деяний каждого человека, образуемой общей деятельностью всего человечества, произошло бы нечто более стройное, нежели то, что существует донныне в мире», — утверждал Одоевский.¹²

Выдвижение на первый план человека продолжало и утверждало гуманистическую линию в русской мысли. Счастье — ключевая проблема социально-философских взглядов Одоевского — связывается им воедино с проблемой знания. Он не приемлет современного западного общества, пошедшего по ложному пути утраты основного в самом содержании просвещения — его нравственного нерва. Он не приемлет общества, лишенного интуитивного, поэтического постижения жизни. Первым в русской общественной мысли — в середине 1830-х гг. — Одоевский заявляет о гибели Запада. Его приговор западной цивилизации вытекал из убеждения в рациональной сухости европейского сознания, отсутствии идеалов. Формула Одоевского о соединении европейского «ума» и «русского духа» была частным приложением общего у него историософского постулата, утверждавшего действенную жизненную силу только того просвещения, которое проникнуто превосходством «невольного побуждения сердца... над наукой без чувства религиозной любви».¹³ Просвещение в таком идейном наполнении выступает у Одоевского универсальным началом слияния человечества, России и Запада. Общие судьбы человечества — доминанта, которая определяла путь Одоевского к истине. Преодолевая собственные славянофильские представления, совмещая в своих построениях

общемировое просвещение и активное деятельное начало каждого индивидуума и народа в целом, Одоевский видит на этом пути историческую перспективу для России — достижение материального благоденствия, культурного расцвета и нравственного достоинства. Наука решит, полагал Одоевский, социальные проблемы — «примирение людей с людьми... Все мы дети одной матери — науки... Не все она знает, но, что знает, о том не лжет».¹⁴ Он не разводит науку и нравственность, напротив, считает науку, просвещение в целом главной созидательной силой в утверждении нравственного начала. Данный социологический постулат имел прямой выход в интеллигентское сознание, ярким представителем которого был Одоевский.

Через просвещение — к выработке достоинства человека. Фиксируя ущербность буржуазной цивилизации, русский мыслитель ищет выход в культурной эволюции, в одухотворении культуры поэтическим постижением мира, в ее освобождении от мертвящего рационализма.

В связи с этим следует отметить своеобразие решения Одоевским кардинальной для интеллигентского сознания проблемы соотношения интеллектуальной элиты и народа. Она выразительно раскрывается в созданной им в конце 1830-х гг. фантастической повести, утопии, озаглавленной «4338-й год. Петербургские письма». Он рисует государство будущего, социальная иерархия в котором определяется степенью учености и богатства. Аристократия богатства и аристократия таланта противопоставлены «толпе», хоть и просвещенной, но представляющей просвещение второго сорта. Так причудливо сочетаются у аристократа Одоевского стремление к всеобщему просвещению со снобистским отношением к «толпе». Здесь сказалось и его понимание истинного просвещения, реализующегося в поэтической форме сознания, в высших духовных воплощениях. Между тем своей собственной деятельностью Одоевский являл пример подлинного демократического просветительства. Он — один из первых русских интеллигентов, который практически начал заниматься делом народного просвещения, целенаправленно отдавшись ему уже в 1830-е гг. Его популяризаторские книги о науке для народа были совершенно небывалым для России делом. Четыре книги «Сельских чтений», созданных им совместно с А. П. Заблоцким-Десятовским в 1843–1848 гг., выдержали бесконечные переиздания и прослужили вплоть до революции. Белинский писал вслед за их выходом, что они «оставят целую эпоху в истории начинающегося у нас образования низших классов».

Отнюдь не случайно сближение к концу 1830-х гг. Одоевского с Белинским, с западниками, его деятельное участие в новой редакции «Отечественных записок».

И тем не менее нельзя однозначно определить место Одоевского в движении русской мысли постдекабристского времени, четко идентифицировать присущий ему тип интеллигентского сознания. Связано это с неоднозначностью его мировоззренческой позиции. Сам Одоевский определил ее как «узкий путь, который один ведет к истине».¹⁵ Путь этот пролегал между религией разума, рационализмом и постижением смысла мироздания через Божественное откровение. Его устремленность к единству, синтетичности знания и интуиции, науки и искусства, отражалась в энциклопедизме собственных интеллектуальных интересов. Принимая данность современного мира и в то же время отвергая «железный путь», по которому пошла цивилизация Запада, совмещая в своей политической позиции консерватизм, непреклонный, последовательный монархизм и полное отрицание сословности, ратуя за утверждение равенства прав всех граждан перед законом — он все эти идеологические, политические максимы воплощал в своей

деятельности крупного государственного чиновника и интеллектуала, воздействующего на формирование общественного сознания. В этом смысле можно сказать, что в личности Одоевского как бы персонифицировался тип интеллигентского сознания; его определяет доминирующее в его историософии чисто действенное, деятельное начало.

Способом преодоления антиномии между «идеальным» и «реальным», которая изначально определила становление и развитие отечественного интеллигентского сознания, стал социализм. Тому были исторические предпосылки.

Европейский революционный опыт начала 1830-х гг. отозвался в исканиях русской мысли. Для Чаадаева это был удар по его вере в Европу — «это всеобщее бедствие, столь непредвиденно постигшее мою Европу». «Необъятное злополучие старого... общества» рождало мысль о неминувости нового «движения, имеющего завершить судьбы рода человеческого».¹⁶ Направление движения ассоциируется им с именем Сен-Симона, с христианским социализмом Ф. Ламенне. Те же имена привлекли участников студенческого кружка Герцена и Огарева. Для нового постдекабристского поколения революционные события 1830–1831 гг. стали решающими в повороте от приверженности политическим идеалам Французской революции XVIII в. к социальному аспекту. В историко-религиозной концепции Ламенне они нашли созвучие «любимой мысли своей» о «полном усовершенствовании рода человеческого». В русле идей Сен-Симона, его системы, пронизанной социальным оптимизмом, построенным на историко-философском постулате о прогрессивности развития человечества, о закономерности наступления гармоничного общества, шло в кружке осмысление прошлого и настоящего человечества. Молодой Герцен уверен в «гармоническом развитии человечества».¹⁷ Мысль о принадлежности России к Европе, необратимости начатого Петром приобщения к европейской цивилизации (это доказывалось в статье Герцена 1833 г. «Двадцать осьмое января») представляла возможность включить решение социального вопроса в России в общеевропейский контекст. В историко-философском обосновании предпосылок социализма в качестве основополагающей рассматривалась идея необходимости «сохранить при высочайшем развитии общности полную свободу индивидуальную» — изначально присущий социалистическим убеждениям Герцена абсолютный приоритет личностного начала, эстетический гуманизм, к которому пришел, как помним, и Белинский.

Для движения русской мысли, генетически связанной с декабризмом, существен сдвиг, сопровождавший ее обращение к социализму: устремленность к таким ценностям, как просвещение и нравственность. Революционность сталкивалась с проповедью просветления, просвещения массы, ее нравственного возвышения.¹⁸ Это была явственная перекличка, сближение изначально политически ориентированных воззрений с философским просветительством, историософским направлением. Однако момент очевидного сближения все же был только моментом. Погружение в гегелевскую философию, которым отмечена жизнь участников позднего кружка Станкевича, будущих западников и славянофилов, ставшего для Герцена и Огарева с конца 1830-х гг. ближайшей средой идейного обитания, вывела их на новый виток отрицания действительности с позиций рационализма. Развитие социальной философии Герцена последовательно шло к секулярной мысли, сочетавшейся между тем с остро переживаемым этическим идеализмом, утверждением нравственного начала и с философией действия. «Идеальная» цель и ее деятельное достижение — исходные слагаемые интеллигентского сознания с несомненностью включают Герцена в плеяду русской интеллигенции. В поисках пути

реалистического решения идеала Герцен нащупывает в русской поземельной общине исторически подготовленную и требующую лишь осознанной реализации предпосылку для избежания капиталистической колеи и социалистического преобразования России.

Здесь обнаруживается один из ведущих моментов в решении проблемы пути России, над которым билось интеллигентское сознание. Направление поиска Чаадаева, который утверждал ценности модернистского общества, укорененного на духовных началах христианского универсализма, спровоцировало апологию русской православной традиционности. А отрицание Чаадаевым самоценности русской истории способствовало созданию концепции, согласно которой возможен «выбор» пути, включающий Россию в общеисторический процесс, «выбор», не осложненный сопротивлением устоявшегося правового сознания, но с опорой на традиционный институт — русскую сельскую общину.¹⁹ При отлучении концептуального содержания традиционности в «русском социализме» Герцена запечатлено родовое единство, связывающее русское западничество и славянофильство.

От «любомудров» до Герцена Просвещение как духовно-цивилизационная первооснова общественного бытия не только оставалось определяющим в историософских построениях, но и присутствовало как практическая задача, как двигатель общественного прогресса. Ограниченность французского Просвещения преодолевалась обогащением его духовностью, выходом из узкого рационализма, утверждением нравственно-этических ценностей. Если русское Просвещение постдекабристских лет в целом было направлено на «спасение личности», утверждение ее самоценности, духовной неподвластности, а через нее — на формирование национального самосознания, то Герцен, Огарев, обратившись к учению социализма, фокусировали Просвещение на исторической инициативе народа. Однако при этом фундаментальным завоеванием русского Просвещения 1830-х гг. оставалась разработка проблемы внутренней свободы человека. Восходя к Карамзину, она проходит от Пушкина и Чаадаева до Герцена, от социального христианства, идеи которого были близки философским воззрениям того времени, до демократического социализма, связанного прежде всего с именем Герцена. Именно начиная с Герцена интеллигентское сознание обретает то радикальное наполнение, которое станет родовой чертой русской революционной интеллигенции, полагающей себя силой, призванной преобразовать действительность в соответствии с идеалом.

Что касается самого Герцена, то, пройдя трудный путь идейных исканий и практического участия в общественной борьбе, он пересматривает к концу жизни свой взгляд на революцию, на ближайшую социалистическую перспективу. Герценом был обозначен другой, «гуманный и цивилизованный» (Исайя Берлин) вектор движения революционного сознания. Его «итоги» оказались созвучны либеральной составляющей русской политической мысли, т. е. в конечном счете сомкнулись с изначальными идейно-политическими представлениями постдекабризма.

Напряженнейшая умственная работа русских интеллигентов 20–30-х гг. XIX в., когда, по словам Белинского, «мы перечувствовали и пережили всю умственную жизнь Европы», не ослабевая, определила содержание всего последующего интеллектуального процесса во всем многоцветье его философских, социальных, политических течений. Наличие в нем «утопически-мифологического измерения» сочетается с позитивным моментом: выработкой инструмента самопознания, историко-философского осмысления настоящего и будущего своего отечества.²⁰ Такова исторически востребованная роль интеллигентского сознания, этого российского феномена, возвращенного Просвещением.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См.: *Пивоваров Ю.* Очерки истории русской общественно-политической мысли XIX — первой трети XX столетия. М., 1997. С. 14, 25–29.

² См.: *Иванов И.* История русской критики. СПб., 1898. Ч. I. С. 395.

³ Мнемозина. 1824. Ч. II. С. 83–84.

⁴ *Киреевский И. В.* Полн. собр. соч. СПб., 1911. Т. 2. С. 88.

⁵ Там же. С. 78–79.

⁶ Там же. Т. I. С. 246.

⁷ *Чаадаев П. Я.* Полн. собр. соч. и избр. письма. М., 1991. Т. 2. С. 67.

⁸ Там же. С. 131.

⁹ *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953–1959. Т. 9. С. 714.

¹⁰ Там же.

¹¹ См.: *Тихонова Е. Ю.* В. Г. Белинский в споре со славянофилами. М., 1999. С. 53.

¹² Цит. по: *Кубасов Ив. В. Ф.* Одоевский // Русский биографический словарь. Т. 12. С. 125.

¹³ *Одоевский В. Ф.* Русские ночи. Л., 1975. С. 206.

¹⁴ Там же. С. 143.

¹⁵ Труды по русской и славянской филологии. Тарту, 1970. Вып. 51. Т. 15. С. 344.

¹⁶ *Чаадаев П. Я.* Полн. собр. соч. Т. 2. С. 71.

¹⁷ *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1954. Т. 1. С. 29.

¹⁸ См.: *Володин А. И.* Начало социалистической мысли в России. М., 1966. С. 132, 133.

¹⁹ См.: *Смирнова З. В.* Русская мысль первой половины XIX века и проблема исторической традиции (Чаадаев, славянофилы, Герцен) // Вопросы философии. 1995. № 5.

²⁰ См.: *Пивоваров Ю.* Очерки истории... С. 316.

П. В. Ильин

ОБМАНУВШИЕ СЛЕДСТВИЕ: К ИЗУЧЕНИЮ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ ЗАЩИТЫ ОБВИНЯЕМЫХ НА ПРОЦЕССЕ ДЕКАБРИСТОВ 1825–1826 гг.

Источники свидетельствуют о различных вариантах поведения обвиняемых на следственном процессе по «делу декабристов». Наряду с линией «откровенных» показаний, которая достаточно характерна для группы основных обвиняемых, в документальных свидетельствах содержатся прямые указания о предварительных соглашениях будущих подследственных с целью «запирательства» — отрицания, сокрытия подлинных обстоятельств.

Документально зафиксированы «советы» придерживаться тактики полного отрицания в письменных показаниях и на допросах, а также соглашения будущих подследственных о «молчании». Так, В. П. Зубков прямо свидетельствует о предложении держаться тактики умолчания на следствии; такое предложение высказал П. А. Муханов, уже будучи арестованным, по дороге из Москвы в Петербург. Зубков вспоминал: Муханов, «думая, вероятно, что я принадлежу к обществу, сказал мне, что не надо ни в чем признаваться».¹ Воспоминания Н. В. Басаргина содержат прямое указание на предварительный «сговор» об отказе от показаний, который был предложен Ф. Б. Вольфом.² Договоренность о полном отрицании существования тайного общества была заключена перед арестом группой офицеров штаба 2-й армии. Эта договоренность распространилась на широкий круг

участников Южного общества. Следствию о ней сообщил П. И. Фаленберг: договорившиеся перед арестом согласились ничего не говорить на допросах о тайном обществе. Они полагали, что «можно спастись, если не признаваться, ибо доказательств <...> быть не может...», а обвинителям «уличить нет возможности».³

Арестованные флотские офицеры (А. П. и П. П. Беляевы, В. А. Дивов и др.) согласовывали свои показания, находясь уже под арестом. Об этом узнали руководители следствия, после чего офицеров рассадили по одиночным камерам Петропавловской крепости.⁴

В деле П. Ф. Выгодовского сохранилось свидетельство о наличии у подследственных особых наставлений, которые заключали в себе основные правила поведения при допросах, очевидно, на случай ареста и привлечения к следствию. В письме П. Г. Дивова (разбравшего бумаги арестованных П. Ф. Выгодовского и Ю. К. Люблинского и переводившего их с польского языка) А. И. Чернышеву от 14 марта 1826 г. говорилось: «В присланных вашим превосходительством бумагах Юлиана Люблинского и Выгодовского не нашел я много замечательного, однако же черновой отпуск, или проект, наставления, как действовать при допросах, обратит, без сомнения, внимание ваше <...> Сие странное и непонятно в какой цели сочинение вероподобно откроет некоторые замыслы...».⁵ К сожалению, упомянутое «наставление» не обнаружено.

Приведенные факты сами по себе весьма примечательны и симптоматичны: они свидетельствуют о том, что будущие подследственные задумывались над выработкой системы защиты на случай ареста и расследования по делу о «государственном преступлении», в условиях начавшегося процесса пытались согласовать свои показания.⁶ Цель такого рода соглашений не вызывает сомнений: необходимо было, скрыв от расследования наиболее опасные факты и обстоятельства, не дать оснований к серьезным обвинениям и, таким образом, избежать тяжелого наказания.

Во многих случаях имевшие место соглашения о «запирательстве», попытки использовать тактику полного отрицания, как известно, оказались безрезультатными. Под напором обвинений подследственные, пытавшиеся придерживаться этой тактики, вынуждены были от нее отказаться и перейти к другим защитным линиям поведения. Хорошо известны первоначальные показания П. И. Пестеля, Н. А. Крюкова, А. П. Барятинского и других лиц, которые на первых допросах полностью отрицали существование конспиративных организаций. Наиболее характерный случай продолжительного «запирательства», несмотря на многочисленные обвиняющие данные, демонстрируют показания С. М. Семенова. В большинстве таких случаев тактика полного отрицания не увенчалась успехом — в первую очередь в силу множества уличающих свидетельств, заставлявших следствие настойчиво добиваться «раскаяния» и откровенности обвиняемого с помощью различного рода средств: очных ставок, ужесточения режима содержания, обещаний помилования или, напротив, угроз тяжкого наказания, других мер психологического и физического воздействия.

Итак, следы первоначальных соглашений о «молчании» должны были отразиться в первых показаниях. Действительно, степень откровенности арестованных на первом допросе была крайне незначительной. Об этом согласно говорят и мемуарные свидетельства бывших подследственных: как оказавшихся в Сибири, так и избежавших тяжелых наказаний. М. И. Пущин, согласно его воспоминаниям, вооружился перед первым

допросом «всевозможными отрицаниями». Сделал он это потому, что не знал, арестован ли старший брат, вовлекший его в заговор; по собственному признанию мемуариста, на первом допросе он скрыл свою осведомленность о заговоре.⁷ Михаил Пущин, разумеется, не был одинок в своем стремлении предельно ограничить сообщаемую информацию на первом допросе, в особенности о собственной осведомленности относительно целей и состава участников открытого правительством тайного общества и заговора; последний вопрос был одним из главных на первом этапе следствия. Характерны в этом смысле показания И. И. Пущина, который, по собственному утверждению, не мог назвать участников «Практического союза», поскольку, по его мнению, обстоятельства, связанные с этим обществом, не входили в круг расследуемых вопросов. Еще более показательна позиция, занятая И. Д. Якушкиным, который в начале процесса строго держался правила не называть никого, объясняя это тем, что связан честным словом.⁸ Нередко подследственные в качестве активных заговорщиков называли уже умерших сотоварищей, иногда — вводили следователей в заблуждение, сообщая вымышленные имена, как это сделал тот же И. И. Пущин (не желая назвать И. Г. Бурцова, принявшего его в Союз спасения, показал на вымышленного им капитана Беляева, которого тщетно разыскивало следствие).⁹ В большинстве случаев тактика отрицания (полного или частичного) наиболее отчетливо прослеживается именно в первых по времени следственных показаниях. Причины этого вполне понятны: очень часто арестованные еще не имели полного представления о степени информированности следствия и старались скрыть от его внимания как можно больше.

Количество известных случаев полного отрицания предъявленных обвинений существенно вырастает, если обратиться к недавно опубликованным следственным делам. Речь идет о лицах, не вошедших в число преданных суду и относящихся к другим категориям подследственных (наказанных без суда, прощенных и освобожденных от наказания, оправданных). Наказанный во внесудебном порядке А. Н. Фролов полностью отрицал свою принадлежность к декабристской конспирации на протяжении всего процесса, несмотря на показания целого ряда участников тайного общества. Следствие, однако, ему не поверило, признав полноправным членом Южного общества. А. Мартынов также не признал своего членства в Южном обществе, в то время как ряд участников Южного общества, включая Н. Ф. Заикина, принявшего его туда, свидетельствовали о противоположном.¹⁰

Очевидно, что применявшиеся на процессе методы воздействия оказывали гораздо меньшее влияние на старших по возрасту, имевших жизненный опыт. По нашим наблюдениям, они значительно последовательнее отрицали обвинительные свидетельства, в особенности те, которые могли привести к серьезному наказанию; тем самым в конечном счете они значительно смягчили свою участь. Представители старшего поколения, участники Союза благоденствия (наказанный без суда Ф. Н. Глинка и его ближайшие товарищи, освобожденные от наказания Ф. П. Толстой и Н. И. Кутузов) отрицали политический характер тайного общества, свое участие в политических намерениях и планах заговорщиков. Сходной тактики придерживались бывшие руководители Союза благоденствия И. А. Долгоруков и И. П. Шипов, но под напором уличающих показаний они были вынуждены признать, что на собраниях участников Союза обсуждались и политические вопросы. В ряду лиц, которым удалось «уйти» от самых опасных обвинений

в знании политических целей и планов заговора 1825 г., нужно упомянуть А. В. Семёнова: благодаря его последовательному отрицанию уличающие показания Е. П. Оболенского и И. И. Пущина были сочтены следствием «неосновательными».¹¹

Для лиц, не принадлежавших к руководящим кадрам тайных обществ, открывались пути для более категоричных «отрицаний». А. В. Капнист первоначально полностью отверг свое участие в тайном обществе политического характера, но затем был вынужден это признать, равно как и факт предложения о вступлении в Южное общество, сделанного ему М. П. Бестужевым-Рюминым. Участник одной из дочерних организаций Союза благоденствия сын известного флотоводца Н. Д. Сенявин, уже прошедший через испытание допросами во время расследования доноса А. Н. Ронова (1820), несмотря на имевшиеся показания о его членстве, категорически отрицал это до конца расследования (наказан без суда).¹² Таким образом, некоторые члены тайных организаций ставили задачей полностью отрицать свое участие в конспиративной деятельности, чтобы избежать наказания. Однако многие из них потерпели неудачу из-за имевшихся у следствия убедительных уличающих свидетельств.

В этом контексте вполне закономерной представляется постановка вопроса о тех членах тайных обществ, которым такого рода тактика «отрицаний» принесла положительный результат, способствуя освобождению от «подозрений» и «очищению» в ходе расследования. Пожалуй, наиболее известный в литературе случай «очищенного» в ходе следствия обвиняемого, против которого имелись прямые свидетельства о принадлежности к тайному обществу, представляет расследование «дела» А. С. Грибоедова. О его вступлении в Северное общество показали Е. П. Оболенский и С. П. Трубецкой, ссылаясь на сообщение третьего члена Думы К. Ф. Рылеева; последний давал противоречивые показания по этому вопросу, в них прозвучало признание в том, что Грибоедову делались «намеки» о существовании общества, и слова о его «несовершенном» принятии в тайное общество. Грибоедов последовательно отрицал показания о присоединении его к тайному обществу до конца следственного процесса, и следователи признали уличающие показания недостаточными для обвинения.

Какие приемы использовали обвиняемые, оправданные на следствии? Что позволило успешно преодолеть серьезные конкретные улики, предъявленные свидетелями-обвинителями? Исследователи констатируют, что ответы Грибоедова не касались наиболее опасных моментов, которые содержали задаваемые вопросы; зачастую он не отвечал по существу (игнорирование вопросов о том, что было ему известно о тайном обществе, его составе, цели, средствах и намерениях). В некоторых случаях обнаруживаются прямые подтасовки фактов: М. В. Нечкина привела примеры заведомо ложных показаний.¹³ Грибоедов, давая показания, не мог забыть недавних и памятных для него событий; он сознательно вводил в заблуждение Комитет. Надежда на то, что показания не будут проверяться, оправдалась. Есть показания Грибоедова, которые не выдерживают проверки другими источниками. Так, Грибоедов сообщил, что «почти не знал» Трубецкого, сделавшего одно из главных обвинительных показаний. В действительности, из сохранившейся переписки Грибоедова явствует совершенно противоположное.¹⁴ Проверка фактической стороны показаний Грибоедова вскрывает ряд ложных свидетельств. М. В. Нечкина пришла к выводу: «Сопоставление грибоедовских показаний с данными других источников опровергает утверждения Грибоедова»; они «рушатся под напором многих

и разнообразных по характеру свидетельств».¹⁵ Как показывает рассмотрение этих обстоятельств и анализ следственных материалов, Грибоедов сознательно не говорил правду, утаивая некоторые факты и обстоятельства, которые могли бы служить его обвинению. Он дал ложные показания, имевшие для следствия вполне убедительный вид.

Другой случай расследования, закончившегося оправданием, — дело Н. П. Воейкова, адъютанта командующего Кавказским корпусом А. П. Ермолова. В январе 1826 г. следствием были получены данные об участии Воейкова в тайном обществе (показания Е. П. Оболенского, Н. М. Муравьева, И. Г. Бурцова).¹⁶ После признания в принадлежности к тайному обществу Н. И. Лорер сообщал: «Я был принят 1824 года... принял меня поручик Воейков лейб-гвардии Московского полка».¹⁷ Лорер продолжил линию показаний о Воейкове на первом допросе в Петербурге, записанном В. В. Левашевым: «В 1824 году в мае месяце в Петербурге был я принят в тайное общество господином Воейковым и к[нязем] Оболенским...».¹⁸ Арестованный Воейков отрицал эти показания. В заданных ему вопросных пунктах значилось: «Комитет, имея в виду, что вы постоянно находились в тесных связях с некоторыми из числа ревностных членов тайного общества и что вам известно было о существовании оно́го, требует чистосердечного показания вашего». Следующие за этим вопросы раскрывали, какие «ревностные члены» имелись в виду: следствие интересовало контакты с А. И. Якубовичем и А. А. Бестужевым накануне и в день 14 декабря. Наконец, следствие интересовалось знакомством Воейкова с Нарышкиным: «Давно ли вы знакомы с Нарышкиным<...> Он ли первый или кто другой, при суждениях о положении России, склоняя разговор к цели своего общества, давал вам чувствовать, что есть люди, желающие лучшего порядка вещей и стремящиеся к достижению оно́го?». Воейков не согласился ни с одной из формулировок следствия: «В тесных связях с членами тайного общества я не был ни с кем, а что же касается до существования тайного общества, я никогда не знал и никогда и ни от кого об этом не слыхивал, в чем по чистой совести имею честь уверить».¹⁹ Как видим, Воейков отрицал любую степень участия или даже осведомленности о конспиративном обществе. Но и следствие, располагая прямыми свидетельствами об участии адъютанта А. П. Ермолова не в предполагаемом Кавказском обществе, а во вполне реальном Северном, включая показание Лорера об участии Воейкова в приеме самого Лорера, подкрепленное свидетельствами И. Г. Бурцова и Н. М. Муравьева, формулировало вопрос в весьма расплывчатой, «смягченной» форме («...вы постоянно находились в тесных связях с некоторыми из весьма ревностных членов...»), проявляя недостаточное внимание к участию Воейкова в конспиративных связях. Скорее всего, результатом этой двусмысленной ситуации стал выбор Воейкова тактики полного отрицания предъявленной информации, изложенной к тому же в неясной форме, и изложение фактов в выгодном для себя свете.

Другим методом заащиты подследственных являлась переинтерпретация обвинительных показаний, которая состояла в том, что подозреваемый «признавал» наличие исключительно дружеских и служебных связей с арестованными, полностью отвергая при этом политическое «наполнение» имевших место встреч, разговоров и в целом контактов с заговорщиками. Воейков писал: «Бывши в 1821-м году в С. Петербурге<...> с господином капитаном Нарышкиным<...> я был знаком. Но суждений о положении России и об улучшении порядка вещей, равно как и о людях, желающих перемен, я никогда

не слышал...». Категорически отверг Воейков и свое участие в тайном обществе в какой бы то ни было форме: «Ни от кого предложения вступить в тайное общество я не слышал... Никогда я не был принят ни в какое общество и о существовании оных равномерно никогда не слыхивал».²⁰ Встретив такое сопротивление, следствие обратилось к традиционному опросу главных свидетелей-подследственных. Опрошенные в большинстве отзывались неизвестностью об участии Воейкова в конспирации (Пестель, Волконский, Трубецкой, Рылеев, И. Пущин).²¹ Особое значение приобретали показания Оболенского и Нарышкина — тех участников Северного общества, которые оказывались непосредственно связанными с Воейковым: первый, согласно показанию Лорера, принимал его в тайное общество вместе с Воейковым, а второй, по собственному признанию Воейкова, входил в число его близких друзей. От этих наиболее осведомленных и тесно связанных с Воейковым лиц должны были поступить показания, проливающие свет на тайну принадлежности этого офицера к декабристской конспирации. Оболенский в ответах, данных в связи с показаниями Бурцова, осторожно заметил, что Николай Воейков, «кажется», состоял в тайном обществе; при этом Оболенский отказался быть уличающим свидетелем, ссылаясь на отсутствие личных контактов, что не соответствовало действительности. В отдельном показании о Воейкове Оболенский свидетельствовал: «По истине показать не могу, принадлежал ли к тайному обществу Воейков<...> но, кажется, известен был о существовании одного, но как был он принят и когда именно, сего не помню и показать не могу. О намерениях наших на 14-е декабря он никем из наших членов (насколько мне известно) извещен не был, разве от капитана Якубовича, но я от сего последнего не слышал, чтобы он извещал его о сем». Оболенский утверждал, что не был лично знаком с Воейковым, но «знал о нем единственно по прежним его дружеским сношениям с бывшим капитаном лейб-гвардии Московского полка Нарышкиным». Нарышкин отвечал категорическим отрицанием: «Честь имею уведомить, что мне неизвестно, принадлежал ли штабс-капитан Воейков к обществу и какое принимал в оном участие».²² Показание Нарышкина вступает в разительное противоречие с показанием Оболенского, который располагал данными о причастности Воейкова как раз по связям последнего с Нарышкиным. Следствие не придало этому значения, остановившись на выводе, благоприятном для Воейкова: уже 16 февраля в «журнале» Комитета появилась запись «представить<...> к освобождению с аттестатом». Император согласился, и 20 февраля бывший подозреваемый был освобожден с оправдательным аттестатом, как вполне оправданный.²³

Другой яркий случай переинтерпретации обвинительных показаний представляет расследование о подполковнике И. А. Арсеньеве. Он уличался показаниями А. З. Муравьева (своего полкового командира) и М. И. Муравьева-Апостола, прямо указавшими на его членство в Южном обществе. Полностью отвергая эти свидетельства, Арсеньев переинтерпретировал наиболее опасную с точки зрения обвинения информацию о своем разговоре с А. З. Муравьевым, содержащем предложение присоединить возглавляемый им полк к восставшим черниговцам. В показаниях Арсеньева это предложение представало как совет подготовить полк к походу против мятежников. Руководители тайного общества С. И. Муравьев-Апостол и М. П. Бестужев-Рюмин не подтвердили свидетельства о членстве Арсеньева. Следствие сочло уличающие показания недостаточными для обвинения, подполковник был признан «невинным» и освобожден.²⁴

Поручик Ф. Е. Врангель, согласно ряду показаний, в том числе принявшего его М. П. Бестужева-Рюмина, был присоединен к Южному обществу наряду с другими офицерами-артиллеристами. В отличие от своих товарищей, признавших либо формальное членство, либо осведомленность о существовании тайного общества и его цели, Врангель это упорно отвергал. Причем в своих показаниях Врангель не отрицал факта знакомства с лидерами Васильковской управы, близкого общения с ними. Каждое подобное утверждение он старался сопроводить различными оговорками, снижающими значение этих признаний. Сообщая, например, о своем знакомстве с Муравьевым-Апостолом и Бестужевым-Рюминым, Врангель одновременно замечал, что с ними «не был<...> близок», более того — избегал общения с последним, так как он производил «неприятное впечатление». Соглашаясь, что не раз посещал обоих, он уверял, что ни о чем, кроме текущих служебных дел, с ними не говорил. Признавая, что Бестужев-Рюмин сообщил ему о желательности для России конституции и представительного правления, Врангель одновременно свидетельствовал о своих возражениях на эти слова собеседника, настаивая на том, что имел «образ мыслей», противоположный настроениям лидеров тайного общества. Встретив такую интерпретацию «разговоров» с Врангелем в его оправдательных показаниях, С. И. Муравьев-Апостол и М. П. Бестужев-Рюмин в дальнейших показаниях о Врангеле предпочли ограничиться утверждением, что Врангель лишь приготавливался к вступлению в тайное общество, но полноценным членом не был.²⁵ Врангель был освобожден без всякого взыскания, как «непричастный к злоумышленным обществам». Между тем из свидетельств непосредственных участников собраний в Лещине явствовало, что Врангель присутствовал на этих собраниях в качестве члена общества, что он не раз посещал Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина, вел с ними политические разговоры, знал о тайном обществе и его политическом характере, понимал его опасность, знал о замысле военного выступления. Показания ряда членов прямо говорили о состоявшемся приеме Врангеля в тайное общество, причем из них вытекало, что процедура приема была достаточно длительной. Главным фактором, оказавшим влияние на следствие, по-видимому, оказалось поведение Врангеля на допросах и характер его оправдательных показаний. Завоевав доверие к своим словам откровенным признанием имевшихся контактов с руководителями тайного общества, он сумел своими показаниями убедить следователей, что являлся принципиальным противником цели декабристской конспирации и особенно средств ее достижения, — несмотря на опасный характер разговоров, бывших у него с лидерами Васильковской управы. В этих условиях следователи даже сочли излишним проведение очных ставок Врангеля с его обвинителями.

Первое показание полковника Ф. В. Вольского было крайне серьезным для поручика гвардейской артиллерии А. М. Голицына, поскольку Вольский сообщал, что самолично принял Голицына в тайное общество. Это показание стало основанием для ареста и допроса Голицына. Он полностью отрицал свою принадлежность к тайному обществу, настаивая на том, что только слышал о его существовании от Вольского, но не выражал согласия вступить в члены.²⁶ В повторных показаниях Вольский, явно противореча своему первому сообщению и в совершенном согласии с Голицыным, заявил, что не получал от него согласия на вступление. Оказывается, Голицыну, который сначала был назван им членом, Вольский лишь «говорил» о существовании тайного

общества, причем «только глухо». Интересно, что в журнале Комитета было особо отмечено это существенное изменение в показаниях Вольского. Следственный комитет, после рассмотрения поступивших показаний и составленной на их основе справки о Голицыне, решил освободить его от ответственности из-за отсутствия «вины». По мнению членов Комитета, следовало «представить государю императору, что князь Александр Голицын к обществу не принадлежал и даже по сведению, которое имел о существовании оногo, не мог подозревать противозаконной его цели»; резолюция императора гласила: «Выпустить».²⁷

Не отвергая установленный следствием факт разговора с Вольским и свою осведомленность о существовании общества и его цели, Голицын постарался сделать все, чтобы лишить эти факты обвиняющего значения. Прежде всего он настойчиво отрицал свое участие в тайном обществе и, следовательно, организационную принадлежность к нему. Утверждая, что ему только было открыто существование общества и сообщена его цель (что в действительности являлось необходимым элементом процедуры принятия), Голицын отводил вопрос о поступлении в число членов. Принципиально важным являлось и другое его утверждение: о том, что он не дал положительного ответа на предложение вступить в общество. Тем самым Голицын удостоверял, что его принятие не состоялось; одновременно демонстрировалось нежелание быть членом общества. Наконец, отрицание продолжительных контактов с Вольским показывало случайность «разговора» о тайном обществе, его единичность, говорило об отсутствии постоянных связей с заговорщиками. В итоге значение «разговора» с Вольским предельно ослаблялось; факт принятия в члены тайного общества заменялся расплывчатой формулировкой, согласно которой подозреваемому были только «открыты» существование общества и его «внешняя» «просветительская» цель, притом что он ответил отказом на предложение стать его членом. Категорическое отрицание Голицыным своего формального членства заслонило факт предложения, сделанного Вольским, равно как и первоначальное его свидетельство о приеме нового члена.

В данном случае, как и в ряде других, ощущается влияние посторонних для расследования факторов на исход дела. Такому выводу придает дополнительную основу то обстоятельство, что следствие немедленно «ухватилось» за изменение показаний Вольского, обвиняющих Голицына. Заметим, что основное содержание последующих показаний Вольского об этом эпизоде почти идентично главным элементам оправдательной линии защиты Голицына, что заставляет предположить согласование их показаний. Такого рода согласование оправдательных показаний и выработка общей линии защиты произошли, как представляется, после ознакомления Вольского с предъявленными ему на устном допросе показаниями Голицына. Увидев из них, с какой последовательностью Голицын отрицает организационную принадлежность к тайному обществу и сам факт принятия в члены, поняв, что следствие не имеет в своем распоряжении других улик против подозреваемого, кроме его свидетельства, Вольский решил изменить свои показания. Александр Голицын — один из наиболее ярких примеров участника тайного общества, избежавшего наказания благодаря занятой на следствии позиции «снижения» обвиняющего значения имевшихся против него показаний, благодаря сокрытию товарищами по тайному обществу действительного характера его конспиративных связей и, возможно, в результате воздействия на ход следствия родственных связей подозреваемого.

Еще одно свидетельство успешного применения тактики отрицания наиболее опасных обвинений мы находим в расследовании дела поручика И. Ф. Львова. Львов обвинялся в принадлежности к Северному обществу, знании плана 14 декабря; обвинительные показания были сделаны самим руководителем заговора Е. П. Оболенским. Арестованный вследствие показаний Оболенского, Львов занял позицию отрицания этих опасных улик. Оболенский поместил в представленный им обширный список членов тайного общества фамилию Львова и в пояснение сообщил: «Львов и Кожевников приняты за несколько дней до 14-го декабря и, не командуя ротами, должны были действовать лично». Речь, таким образом, шла, ни много ни мало, об участии в военном мятеже. Кроме того, один из руководителей тайного общества и заговора 14 декабря писал в своих показаниях, что о существовании тайного общества и его цели Львову сообщили сначала Н. П. Кожевников (товарищ Львова по службе в Измайловском полку), а затем Я. И. Ростовцев.²⁸ На допросе и в письменных показаниях Львов категорически отверг не только свое формальное участие в тайном обществе, но и какую-либо степень осведомленности о нем.²⁹ Комитет решил, что «хотя обвинение не сильно, однако для большего удостоверения, что он не ложно отрицается, уличить его очными ставками с князем Оболенским и Кожевниковым и, если его императорское величество дозволит, с поручиком Ростовцевым, бывшим адъютантом генерал-адъютанта Бистрома».³⁰ Это решение так и не было реализовано: очные ставки с Оболенским, Ростовцевым и Кожевниковым не проводились. В связи с имеющимися уличающими показаниями Львов был допрошен повторно; следствие пыталось выяснить меру его участия в заговоре и осведомленности в планах 14 декабря. Львов продолжал категорически отрицать свою принадлежность к тайному обществу. Он отверг главное уличающее показание Оболенского о вступлении в общество, знании планов заговорщиков и осведомленности о подготовке военного выступления. В результате после рассмотрения показаний Львова Кожевникова и Ростовцева Комитет постановил представить императору об освобождении Львова.

Уличающая Львова информация исходила от Оболенского. В его дополнительных показаниях речь вновь шла о том, что на квартире Ростовцева Оболенский лично объявил Львову о планах заговорщиков и намерениях на 14 декабря. Показания Оболенского прямо свидетельствовали о состоявшемся принятии Львова в тайное общество, осуществленном двумя лицами при его собственном участии. Позиция Львова, проявленная на допросах и в письменных показаниях, была неизменной на протяжении всего расследования: он полностью отрицал формальную связь с тайным обществом и заговором, переводя свидетельства о контактах с членами общества в плоскость служебных и личных дружеских отношений. Следует признать, что такая позиция в ситуации, когда другие два свидетеля отрицали главные уличающие показания (Ростовцев был вызван для допроса не арестованным, показания Кожевникова отличались тем, что вплоть до конца следствия он не признавал свою принадлежность к тайному обществу), была вполне эффективной, поскольку способствовала последующему официальному оправданию.

Таковы лишь некоторые случаи благоприятного для обвиняемых исхода следствия, несмотря на имевшиеся в его распоряжении конкретные улики. Анализ этих и других случаев³¹ показывает, что в подобных ситуациях главными слагаемыми успеха тактики полного отрицания являлись: отсутствие большого количества уличающих свидетельств, последовательно проведенное отрицание этих свидетельств или их умелая

переинтерпретация. Большое значение, помимо тактики защиты, избранной обвиняемым, имела также позиция основных свидетелей, опрошенных в ходе следствия.

Таким образом, материалы следствия по «делу декабристов» содержат недвусмысленные указания, которые правомерно интерпретировать как свидетельства о ложном отрицании уличающих данных или их сокрытии. Тактика полного отрицания уличающих показаний, о применении которой свидетельствуют источники нескольких видов, при наличии некоторых условий могла принести успех. Эта линия защиты оказалась результативной для тех подсудимых, которые были связаны конспиративными контактами с ограниченным числом лиц, занимали окраинное положение в декабристских организациях, были более опытны или прибегали к разнообразным приемам защиты. Определенную роль сыграло сокрытие обвиняющей информации основными свидетелями-обвинителями, их заинтересованность в ограничении количества уличающих данных. Эта заинтересованность, как можно считать, могла быть связана как с наиболее опасными с точки зрения обвинения событиями, так и с соображениями этического порядка. Значительное влияние на появление случаев оправдания лиц, против которых имелись конкретные уличающие показания о принадлежности к «злоумышленному» обществу, оказало фактическое прекращение расследования по ряду сюжетов, посторонние для расследования причины (близость обвиняемого к императорской семье, ходатайства родственников и т. д.). Главной же причиной признания целой группы арестованных, которым предъявлялось обвинение в принадлежности к тайному обществу, невиновными необходимо считать их собственную «линию защиты», благодаря которой имевшиеся обвинительные показания были признаны недостоверными. В этой связи есть все основания заключить, что значительной части подсудимых, оправданных на процессе, удалось обмануть следствие и избежать наказания.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Зубков В. П.* Рассказ о моем заключении в Санкт-Петербургской крепости // *Петропавловская крепость: Страницы истории.* СПб., 2001. С. 191.

² *Басаргин Н. В.* Воспоминания, рассказы, статьи. Иркутск, 1988. С. 82.

³ *Восстание декабристов: Документы.* М., 1969. Т. 12. С. 120, 124–125; М., 1975. Т. 13. С. 28; М., 1954. Т. 11. С. 385, 395. (Далее — ВД).

⁴ ВД. М., 1976. Т. 14. С. 302.

⁵ Там же. Т. 13. С. 389. М. В. Нечкина писала в связи с этим: «Конечно, принятые заранее правила не были осуществлены в условиях тяжелого заключения в Петропавловской крепости, допросов и очных ставок, но самый факт попытки предварительного сговора заговорщиков заслуживает внимания» (*Нечкина М. В.* Предисловие // Там же. С. 16).

⁶ Современные исследователи К. Г. Боленко и Н. В. Самовер считают, «что никто из них (арестованных. — П. И.) не готовился к процессу (не анализировал свои показания, не продумывал тактику защиты и т. д.)» (*Боленко К. Г., Самовер Н. В.* Верховный уголовный суд 1826 года: Декабристская версия в историографической традиции // *Пушкинская конференция в Стэнфорде. Материалы и исследования.* М., 2001. С. 156). Однако в свете изложенного выше, трудно согласиться с подобным мнением, высказанным в этой в целом интересной работе. Свидетельства источников говорят о другом: многие из подсудимых имели возможность в той или иной степени подготовиться к допросам и, кроме того, опирались на определенные сложившиеся традиции поведения на следственных процессах по «антигосударственным» делам.

⁷ Пушин М. И. Из «Записок» // Пушин И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1989. С. 408, 409.

⁸ ВД. М.; Л., 1926. Т. 3. С. 48, 51–54; Якушкин И. Д. Мемуары. Статьи. Документы. Иркутск, 1993. С. 134–136, 142–143.

⁹ ВД. М.; Л., 1926. Т. 2. С. 206, 210, 229. Ср.: Якушкин И. Д. Мемуары. Статьи. Документы. С. 134.

¹⁰ ВД. М., 2001. Т. 19. С. 205, 213.

¹¹ Там же. М., 2001. Т. 20. С. 391–392, 544–546.

¹² Там же. С. 101–102, 335–336, 422–423, 426, 433–434, 476–484. В отношении Ф. Н. Глинки и Н. И. Кутузова публикатор их следственных дел А. В. Семенова отмечает: «Кутузов и Глинка, старые товарищи, вероятно, согласовали заранее свои ответы на случай ареста Перетца и его возможных признаний... он [Глинка] и Кутузов одновременно находились на свободе более месяца». Основанием для этого вывода стало то обстоятельство, что «Кутузов дал ответы, полностью совпадающие с показаниями Глинки» (ВД. Т. 20. С. 507).

¹³ В ответ на показание Оболенского о времени приема Грибоедова в тайное общество («дня за три» до отъезда последнего из Петербурга) тот отвечал, что речь идет о приеме не в тайное политическое, а в разрешенное литературное общество. Грибоедов утверждал, что вступил в «Вольное общество любителей российской словесности» именно за три дня до своего отъезда, т.е. в мае 1825 г. Документы архива Вольного общества свидетельствуют о том, что Грибоедов был предложен в действительные члены 8 декабря 1824 г., а принят 15 декабря 1824 г., т.е. более чем за полгода до своего отъезда из Петербурга. См. об этом: Нечкина М. В. Следственное дело А. С. Грибоедова. М., 1982. С. 24 и след. Ср.: Щеголев П. Е. Грибоедов и декабристы // Щеголев П. Е. Декабристы: Сб. ст. М.; Л., 1926. С. 113–114; Базанов В. Г. Ученая республика. М.; Л., 1964. С. 336.

¹⁴ См. об этом: Нечкина М. В. Грибоедов и декабристы. М., 1977. С. 579–580.

¹⁵ Там же. С. 456.

¹⁶ Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 48. Оп. 1. Д. 243. Л. 5 об., 25, 39 об.; ВД. Т. 20. С. 195.

¹⁷ ВД. Т. 12. С. 34, 35 (запись допроса от 26 декабря 1825 г.)

¹⁸ Там же. С. 36, 53.

¹⁹ ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 187. Л. 4–4 об., 5.

²⁰ Там же. Л. 5 об.–6.

²¹ Там же. Л. 13–19.

²² Там же. Л. 9, 10–10 об., 11–11 об.

²³ ВД. М., 1986. Т. 15. С. 104, 109. Характерно, что уже в записи «журнала» от 16 февраля говорилось, что Н. П. Воейков «...был взят по показанию о тайном обществе в Кавказском корпусе...». Таким образом, след показаний об участии этого офицера в декабристской конспирации оказался затерянным и не отразился в главных документах следствия.

²⁴ ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 176. Л. 2, 7, 8, 10, 12–13, 14; ВД. М., 1950. Т. 9. С. 270; М., 1954. Т. 11. С. 105; М., 1986. Т. 16. С. 112.

²⁵ ГАРФ. Д. 114. Л. 3–7 об.

²⁶ Там же. Д. 209. Л. 1–3, 4–5; ВД. М., 1986. Т. 18. С. 211–213.

²⁷ ВД. Т. 16. С. 174, 290. Справка о А. М. Голицыне не сохранилась (Там же. С. 366).

²⁸ Там же. М.; Л., 1925. Т. 1. С. 239, 245, 249; М.; Л., 1926. Т. 2. С. 372; ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 196.

²⁹ ГАРФ. Л. 4–4 об.; ВД. Т. 16. С. 73.

³⁰ ВД. Т. 16. С. 86.

³¹ См. подробнее: Ильин П. В. Новое о декабристах. Прощенные, оправданные и необнаруженные следствием участники тайных обществ и военных выступлений 1825–1826 гг. СПб., 2004. Гл. 1, 2.

Т. Н. Жуковская

С. С. УВАРОВ И КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКОЕ ОБЩЕСТВО ИЛИ КРИЗИС «ОФИЦИАЛЬНОЙ НАРОДНОСТИ»

Взаимоотношения власти и общества в Николаевскую эпоху нельзя отнести к хорошо разработанной исследователями проблематике. До сих пор чувствуется инерция ограничительного подхода, свойственного не только советской, но и дореволюционной либеральной историографии, когда внутренняя политика представлялась хроникой усилий власти по борьбе с общественным движением, а под последним подразумевались только антиправительственные и антисамодержавные силы. Имперские традиции администрирования, социального управления, взаимодействие власти с просвещением, наукой, литературой привлекли научное внимание сравнительно недавно.

Что касается истории просвещения при Николае I, то оценки итогов школьного строительства, руководства наукой, регламентации литературы и публичной жизни не могут быть однозначными. С одной стороны, можно констатировать рост числа школ и высших учебных заведений, совершенствование преподавания, впечатляющие результаты государственного покровительства науке. С другой стороны, государственная опека в области просвещения проявляется в форме «жесточайшего контроля за духом и направлением преподавания»,¹ пронизывавшего практику Министерства народного просвещения. Выработка стратегической модели руководства просвещением и ее практическая реализация связаны с именем С. С. Уварова, в течение 16 лет (1833–1849) управлявшего министерством. Благодаря его теоретическим усилиям и административным талантам ведомство Уварова превратилось в «министерство идеологии», успешно совмещая выработку формулы государственной стабильности и воспитание молодого поколения в духе лояльности режиму. Фигура Уварова, в прошлом «либералиста» и «западника», писавшего и думавшего по-французски, и, между прочим, европейски признанного ученого, в роли главного идеолога царствования не выглядит случайной. Именно Уваров со свойственной ему гибкостью ума нашел и преподнес власти и обществу привлекательную формулу триединства («православие, самодержавие, народность»), на котором должны быть основаны не только прочность государственных институтов, но духовное и политическое здоровье общества. Власти, равно как и обществу, обеспокоенным в предшествующее десятилетие призраком «революционного хаоса», «развращения умов», напоминающим худшие времена якобинизма (в серьезности революционного заражения России наглядно убеждало «происшествие» 14 декабря) найденная Уваровым модель стабильности казалась надежным и, главное, глубоко национальным по форме ответом на исторический вызов времени.

Неоспоримо, что поиски официальной идеологии и ее использование отразили, может быть, как ни одна другая сфера государственной деятельности личные взгляды, установки Николая I, его представления об исторической судьбе самодержавия и культурной самобытности России. Кстати сказать, общепринятая периодизация николаевского царствования, внутренними рубежами которого стали 1830 и 1848 гг., осязаемо отражается в тех поправках и модификациях, которые претерпевала на исторических переломах, связанных с польским восстанием и европейскими революциями, теория «официальной народности». Не выдерживает критики точка зрения об исторической

обреченности этой «застывшей» и, как писалось, «мертвящей» доктрины, в прокрустово ложе которой надлежало укладывать всякую мысль, если автор не желал открытого противостояния с властью. Напротив, теория «официальной народности», видоизменяясь, во-первых, успешно соответствовала своему историческому назначению вплоть до конца 1840-х гг. и нарастания непреодолимых прежними методами кризисных явлений в политике; во-вторых, — и это главное — официальная идеология предлагала все же достаточно широкие рамки для развития общественности, литературы, исторической и философской мысли, а порой и ощутимо стимулировала это развитие.

А. Е. Пресняков когда-то весьма точно обозначил идейную основу внутренней и внешней политики Николая I как «казенный национализм».² Историк подчеркивал органичность совершенного Николаем I поворота в определении нового отношения России к Европе, который накладывал свой отпечаток не только на внешнеполитическую доктрину, но и на идеологическое обрамление внутренней политики. Однако в силу краткости своего очерка А. Е. Пресняков оставил в стороне вопрос о характере воздействия «казенного национализма» на общество, о неизбежных модификациях самой государственной доктрины, управлявшей сознанием современников на протяжении полутора десятилетий, ставшей привлекательным ориентиром для многих деятелей литературы и просвещения, наконец, о том, каким образом после длительного кризиса, завершившегося европейскими революциями 1848 г., исторически обреченная схема Уварова пережила стремительное и необратимое разрушение.

В царствование Николая, по наблюдению А. Е. Преснякова, «Россия и Европа сознательно противопоставлялись друг другу как два различных культурно-исторических мира, принципиально разные по основам их политического, религиозного, национального быта и характера».³ Конечно, попытки противопоставления всего европейского национальному мы обнаруживаем задолго до отыскания для официальной идеологии министром просвещения графом С. С. Уваровым доходчивой триединой формулы «православие, самодержавие, народность». Уже в манифесте, опубликованном по совершении казни и суда над декабристами 13 июля 1826 г., вполне отчетливо просматривалась новая националистическая парадигма. Дух мятежа и либерализма объявлялся здесь чуждым, наносным, проникшим с Запада и охватившим наиболее неустойчивую, воспитанную на западных же ценностях и впечатлениях молодежь. «Не в свойствах, не в нравах Русских был сей умысел, — говорилось в этом документе. — Составленный горстью извергов, он заразил ближайшее их сообщество, сердца развратные и мечтательность дерзновенную; но в десять лет злонамеренных усилий не проник и не мог проникнуть далее. Сердце России для него было и всегда будет неприступно».⁴ Авторы манифеста призывали в союзники общество, в массе своей отнюдь не ужаснувшееся факту казни пятерых «государственных преступников». Как писалось, вопреки истине, в этом документе, «зло» (т. е. декабризм) было укрошено свойственным русским подданным «единодушным соединением всех верных сынов отечества» вокруг законной власти.⁵ Далее в манифесте звучал закономерный призыв обратить особое внимание на воспитание юношества. Средство предотвращения «преступлений», подобных декабристскому выступлению, таким образом неразрывно связывалось со всемерным развитием начал «истинных», т. е. национальных, с опорой на собственные духовные ценности. В течение нескольких лет с 1826 г. до начала 1830-х гг. в правительственных сферах шел интенсивный поиск новых духовных опор, а главное, механизма внедрения их в общественное сознание, и людей, способных

возглавить этот процесс. Причем Николай I сразу же переводит эту работу из стадии «разоблачений» пагубных общественных явлений и «охоты на ведьм» в стадию конструктивную. Поэтому не имеют особого успеха многочисленные «соображения» доносительского толка об «иллюминатстве» и вольномыслии, исходившие от таких добровольных разоблачителей, как М. Л. Магницкий и Д. П. Рунич, архимандрит Фотий, а чисто полицейские средства борьбы с либеральным духом проходят отдельной строкой. Однако до назначения С. С. Уварова товарищем министра народного просвещения в марте 1832 г., а затем утверждения его в должности министра единство идейно-теоретических и административных усилий в сфере просвещения, народного образования, контроля за литературой и журналистикой не было достигнуто.

Функция С. С. Уварова как главного идеолога царствования определялась многими факторами, прежде всего острой потребностью подвести под складывающуюся систему военно-бюрократического управления органический и долговременный «нравственный» фундамент. Чувствуя эту потребность, С. С. Уваров, как никто другой, сумел ясно и законченно сформулировать основные задачи народного воспитания в «русском» духе, ставшие одновременно идеологическими рамками целого периода общественного и культурного развития. Действительно, впервые раскрывая смысл «краеугольных» понятий новой политики в сфере просвещения в своем отчете о ревизии Московского университета от 4 декабря 1832 г., Уваров по существу провозгласил законченную программу, рассчитанную на перспективу. Идейному ее содержанию соответствовала административная политика министерства.

Важно заметить, что средства, предложенные С. С. Уваровым в упомянутом отчете и последовательно им использованные, были совершенно противоположны репрессивным и ограничительным мерам, обрушившимся на российские университеты в последние годы александровского царствования. С. С. Уваров лучше других понимал невозможность сохранить в обстановке репрессий «здоровую школу» и подлинно научную атмосферу преподавания. В 1821 г. в должности попечителя Петербургского университета, в котором был обнаружен «дух безбожия и вольномыслия», он сам стал жертвой репрессий, а университет тогда надолго утратил значение центра науки и образования. Во второй раз — и уже навсегда — министра постигнет опала в связи с неспособностью созданной им системы цензуры и администрирования школы противостоять опасности проникновения революционных настроений в Россию. В 1849 г., когда напуганное европейскими событиями правительство обдумывает решение о закрытии всех русских университетов, Уваров, уже потерявший доверие и благосклонность монарха, оказывается в роли последнего защитника просвещения. «Неподобающее» поведение стоило Уварову отставки в сентябре 1849 г. и пошатнувшегося здоровья.

Однако еще за два года до этого сокрушительного фиаско министр столкнулся с враждебным его идеологической программе воспитания в духе «народности» явлением, тем более опасным, что культурно-национальная его оболочка скрывала радикальные политические цели. Речь идет о Кирилло-Мефодиевском обществе, раскрытом III отделением в марте 1847 г. Просветительское по духу и организационно незрелое общество не внушило тогдашнему шефу жандармов А. Ф. Орлову большого беспокойства. 2 мая 1847 г. Орлов конфиденциально сообщает С. С. Уварову о результатах следствия и определенных участникам общества мерах наказания, которые были весьма незначительными для всех, исключая Т. Г. Шевченко.

Уже после объявления приговора Уваров по собственной инициативе составляет пространную записку на высочайшее имя, где разъясняет императору, как следует толковать случившееся и какие разрушительные силы кроются в идеях Кирилло-Мефодиевского братства. Записка получила название «О славянстве» и уже 8 мая 1847 г. легла на стол императора. Этот пространный документ можно считать актом запоздалого самоопределения Уварова как официального идеолога по «славянскому вопросу» и косвенным признанием допущенной им недооценки славянских культурно-национальных влияний на духовное единство российского общества.⁶ Эта записка не включена в трехтомный сборник документов «Кирилло-Мефодиевское общество» (Киев, 1990). Исследователи, в частности П. А. Зайончковский, не выделили ее из комплекса правительственных документов, возникших в ходе следствия. Так или иначе, ее значение в истории политики просвещения не оценено должным образом.

Что же так встревожило министра и заставило его настаивать на «примерном наказании» отступников? Прежде С. С. Уваров никогда не был сторонником полицейских мер борьбы с крамолой и не требовал репрессий ради репрессий. В национальном вопросе до той поры он оставался «мягким» русификатором окраин, надеясь, что свет просвещения и постановка публичного воспитания в «русском духе» сами по себе постепенно искоренят враждебный всему русскому «дух национальности». Несколько раз, правда, Уваров оказался, так сказать, впереди реакции, спровоцировав в 1834 г. закрытие журнала «Московский телеграф», а в 1836 г. расправу над П. Я. Чаадаевым, автором «Философических писем».⁷ Но многие деятели культуры продолжали воспринимать просвещенного министра как гаранта просвещенной политики. Так, Н. В. Гоголь писал А. С. Пушкину в декабре 1833 г., приветствуя министерское назначение Уварова, «Уваров собаку съел... Я уверен, что он у нас более сделает, чем Гизо во Франции»,⁸ имея в виду деятельность известного историка Ф. Гизо в Палате депутатов и кабинете министров во Франции в годы Июльской монархии. Действительно, Уваров считался одним из образованнейших людей в России, был наделен энергией администратора, искушен в тонкостях придворной интриги, имел за плечами политический опыт двух царствований. Он понимал, что «в нынешнем положении вещей и умов» куда полезнее не запретительные меры, а, по его образному выражению, «умственные плотины», пропускающие «свет чистой науки», но задерживающие, насколько это возможно, «вредную примесь идей политических».⁹ Собственно говоря, провозглашенная им доктрина «народности», или соответствия национальному (т. е. государственному) благу и народному духу, т. е. традиции, и должна была стать таким чудодейственным фильтром. Эта конструкция явилась не случайной находкой, а выросшим из общественных ожиданий и общественных разочарований предшествующего десятилетия откровением. Об отношении общества к смене идеологической парадигмы — от «европеизма», космополитических, надконфессиональных утопий александровского времени к требованию исконно русских, национальных оснований политики, просвещения, культуры — свидетельствует восклицание тогдашнего «властителя дум» — В. Г. Белинского: «Да! У нас скоро будет свое русское народное просвещение, мы скоро докажем, что не имеем нужды в чужой умственной опеке».¹⁰ Общество в целом приняло ту форму «национальной идеи», которая была найдена Уваровым. Последующие дискуссии западников и славянофилов, ставшие основным содержанием публичной жизни московских салонов, были допущены, потому что те и другие не посягали на настоящее: идеал славянофилов

обретался в прошлом, идеал западников был лишь гипотетически достижим в отдаленном будущем. Негативизм же П. Я. Чаадаева в отношении ценности национального культурного и политического опыта был наказан и осмеян.

Однако Уваров как опытный политик понимает, сколь ненадежны наложенные им на общественное воспитание и просвещение скрепы охранительства. А. В. Никитенко воспроизводит его пессимистическую, но не лишенную пафоса, речь, произнесенную перед цензорами в 1835 г.: «Мы, то есть люди XIX века, в затруднительном положении: мы живем среди бурь и волнений политических... Но Россия еще юна, девственна и не должна вкусить, по крайней мере теперь еще, сих кровавых тревог. Надобно продлить ее юность и тем временем воспитать ее. Вот моя политическая система... Мое дело не только блюсти за просвещением, но блюсти за духом поколения. Если мне удастся отодвинуть Россию на 50 лет от того, что готовят ей теории, то я исполню свой долг и умру спокойно. Вот моя теория, я надеюсь, что я это исполню».¹¹

Теория «народности» оказалась востребована потому, что ко времени оформления ее Уваровым в ряде программных записок поиски идеологического комплекса «русскости», формулы национального развития занимали уже не одно поколение русской интеллигенции. На волне патриотизма 1812 г. и борьбы с французским и вообще инонациональным засильем эта тема звучит в «спорах о языке» карамзинистов и «архаистов», в декабристской публицистике. Кстати, термин «народность», объединивший понятия «publique» (общественный) и «national» (национальный), бытовавшие во французском языке, впервые использовал П. А. Вяземский.¹² Уваровское понимание «русского духа» предвосхитил М. Н. Загоскин в «Рославлеве». А. С. Пушкин в июне 1831 г. в письме к А. Х. Бенкендорфу, откликаясь на потребность правительства в идеологах, предлагал свои услуги в качестве консервативного политического публициста. «Пора кончать революцию в России», — заявлял он, предполагая разъяснить публике своевременность действий правительства по воспитанию в обществе «твердых понятий».¹³ Не понимая пушкинскую фразу буквально, отметим ее конкретно-историческую и личностную обоснованность. В 1831 г. после Июльской революции во Франции и польского восстания аристократические и национальные чувства поэта, «шестисотлетнего» русского дворянина оказались серьезно задеты.

Теория «народности» как программа политического и национально-культурного развития имела глубокие философские источники, поскольку сам Уваров еще в начале 1810-х гг. на фоне увлечения теориями Гердера, Лудена, В. Шлегеля связывал культурно-национальное своеобразие с историческим бытием народа.¹⁴ Роль истории для выработки «национального характера» и гармоничного взаимодействия власти и народа была показана Уваровым в специальном сочинении, изданном тогда, когда право истории называться наукой еще ставилось под сомнение.¹⁵ Преподаватель истории должен, как он писал, «возбуждать и сохранять, сколько можно, народный дух... Сие правило должно особенно быть чтимо преподающим историю. Он в сем отношении делается орудием правительственных намерений».¹⁶ В этом смысле едва ли не единственным прямым предшественником Уварова в его апелляции к возможностям истории выступает Н. М. Карамзин, с его эмоциональным призывом предохранить от разрушения самодержавие как не политическую только, но духовно-национальную основу бытия русского народа.¹⁷ Также Карамзин постоянно подчеркивает своеобразие русской истории в отличие от истории Европы и прямую политическую пользу от ее усвоения.

Таким образом, «теория народности», родившаяся в начале 1830-х гг., с которой надлежало согласовать дух литературы, содержание преподавания, рамки допускаемых общественных дискуссий, воспринималась органично. Однако программа воспитания и образования, основанная на уваровской схеме (а не сама схема!) стала естественным ограничителем общественной самостоятельности. Конфликт между уваровским министерством, которое возложило на себя функции министерства идеологии, и обществом должен был нарастать в силу невозможности вписать общественные дискуссии последующих лет в однажды найденные рамки. С другой стороны, правительство Николая I со временем охладевало к идеологическим формам воздействия на общество, убедившись в их слабой эффективности. В начале 1840-х гг. дискуссии в духе «народности» начинают явно приглушаться, поскольку в них все меньшим авторитетом пользуется официальная сторона.

В связи с уроками польского восстания 1830-1831 гг. Уварову удалось в короткий срок дать новое направление народному образованию в крае, согласное с духом «народности», не подавляя при этом духа «национальности». Установкой министерства стало внедрение закрытых учебных заведений на всех уровнях обучения с одновременным ограничением частного и пансионного образования. Польский язык в преподавании сохранился – однако с помощью мягкой лингвистической экспансии в следующее десятилетие он был почти полностью вытеснен из преподавания отчасти потому, что в состав преподавателей внедрялись неполяки.¹⁸ Сохранив кадры лояльных профессоров и материальную базу репрессированных после польского восстания Варшавского и Виленского университетов, Уваров открывает новый университет в «первопрестольном» и полурусском Киеве, рассматривая Киевский университет св. Владимира как «умственную крепость, воздвигнутую вблизи военной»¹⁹ (т. е. Варшавской цитадели, орудия которой были обращены на мятежный город). Киевский университет, в котором польская профессура и польская молодежь так и не стали доминирующей национальной группой, воспринимался как проводник духа «русской народности» наименее болезненными для населения окраин средствами. Уварову приходилось убеждать правительство отказаться от насильственного подавления поляков и наиболее репрессивных мер, как например, запрещение молодежи выезжать за границу или введение ограничений при вступлении в службу вне Царства Польского. Приходилось доказывать, что «воспитание не есть полицейская мера»,²⁰ и в то же время рекомендовать полякам забыть о национальном унижении. Для облегчения последней задачи воспитательные усилия предполагалось сосредоточить на «юношестве», отделив его от старшего поколения и изолировав в стенах закрытых учебных заведений: кадетских корпусов, гимназий, устроенных по образцу благородных пансионов, закрытых уездных училищ. Целью образовательной политики в западных губерниях было провозглашено «слияние русского и польского начал с надлежащим перевесом русского».²¹

Следование программе «мягкой русификации» в Западном крае и Царстве Польском не дало быстрых результатов, столь же медленно протекала культурная «русификация» Остзейских губерний и Малороссии. В какой-то момент Уварову показалось, что поставленная им цель «развить русскую национальность на истинных ее началах и тем поставить ее центром государственного быта и нравственной образованности» почти достигнута. Он гордился тем, что национальное сближение, «этот огромный перелом в мыслях, обычаях, чувствах... не требовал в пределах министерства ни одной жертвы,

что если в роковую минуту пострадало несколько юношей, то никакое подозрение не пало на наставников, ...и что последние плевелы уже исторгнуты из почвы, столь долго для нас неприступной».²² Так писал министр в 1843 г., подводя итог десятилетнему опыту администрирования. Увы! — «плевелы» польского сепаратизма не только не были «исторгнуты», но спровоцировали рождение украинского национализма. С другой стороны, в начале 1840-х гг. с уваровской формулой национального единства как условия политического спокойствия и культурного процветания империи стал опасно конкурировать «славянский вопрос» в двух его разновидностях: московского славянофильства и панславизма — идеологии, занесенной из Чехии, Словакии, Болгарии и приобретшей своих приверженцев в России. В спорах о праве славянских народов на политическое существование как условия национального возрождения виделся крах многолетних усилий по установлению духовного единства всех подданных русского императора, которое определялось усредненной «русскостью», не имевшей признаков национального. На почве «славянства», противопоставленного «русскости», возшли ростки украинского сепаратизма.

С. С. Уваров запоздал с определением своего отношения к славянской идее да, вероятно, и не мог найти точек соприкосновения теории о возможности «национально-государственного» единства на основе господствующей культуры и учения о культурном многообразии славянских народов, расцвет каждого из которых достигим при условии обретения национальной государственности. Тем более сильным потрясением стала для него развернутая в документах Кирилло-Мефодиевского общества аргументация исторической и культурной самобытности малороссов.

Какую бы позицию по отношению к заговорщикам Уваров ни занял, это уже не могло изменить их судьбы: его записка была подана через несколько дней после завершения дела. Уваров по существу воспользовался этим случаем как поводом к тому, чтобы еще раз защитить перед Николаем I уже сильно полинявшую «теорию народности». Именно в этом, как представляется, был главный мотив его откровенно реакционного выпада в адрес «заговорщиков» и идей общества.

В литературе высказывалась мысль о том, что Уваров, лично близкий к М. П. Погодину, разделял не только его взгляды на русскую историю, но и его панславистские иллюзии.²³ М. П. Погодин не скрывал своего панславизма, особенно после двукратной поездки по Европе. Тогда он обратился к министру просвещения с призывом отбросить условности и взять «взывающих о помощи» западных славян (чехов, словаков, болгар, поляков в том числе) под покровительство хотя бы в области национальных культур, науки и просвещения.²⁴ Этот призыв отклика не имел. Наоборот, будучи в начале 1842 г. в Праге и Вене, Уваров, по его собственному заверению, высказался против политических надежд западных славян на помощь России и против панславизма вообще.²⁵ Не будучи столь ревностным, как Погодин, приверженцем идеи о русской национальной исключительности, министр был серьезно обеспокоен тем, что в итоге такого культурно-национального сближения пострадает именно «русское начало». Попытка усиления политического влияния России среди западных славян не имела в его глазах (как и в глазах Николая I) никакого политического смысла, но могла создать препятствия для дальнейшей реализации его программы просвещения соотечественников под знаком «народности» в силу того, что усиление культурных связей с западным славянством неизбежно размывало prerogatives «русского духа» и русской культуры среди признанных

духовных ценностей. Негативное отношение к этой перспективе Уваров высказывает в своей записке «О славянстве». Утверждения его категоричны. Нужно вести речь, убеждает он, о двух разновидностях славянства: «Одно русское, другое нам неприязненное». Первое, собственно, не «славянство», а «русский дух», т. е. свойственное русским культурно-национально-государственное своеобразие, «тот краеугольный камень, на коем твердою пятою стоят трон и алтарь». Русское «славянство», продолжает Уваров, «одушевлено приверженностью к православию и самодержавию; все, что выходит из этой черты, не принадлежит к этому славянству: оно или примесь чужих понятий, или игра фантазии, или, наконец, личина, под которой злоумышленники стараются уловить незрелых юношей».²⁶ В замыслах обвиняемых «слово славянство служило только недобросовестною завесою, под коей скрывались иные мысли, готовые принять и всякую другую форму».²⁷ Уваров настаивает на том, что идея объединения славянских народов внутренне чужда националистической, украинофильской по духу и сепаратистской по своим политическим целям программе Кирилло-Мефодиевского общества. Доказательства господствующего «украинофильского воззрения» автор записки находит в программной статье «Закон Божий», навеянной польскими и французскими националистическими и мистическими писателями (Мицкевичем, Ламенне), опоэтизировавшей историческую древность, быт и нравы милого сердцу авторов Малороссийского края, страдающего «в его мнимом угнетении».²⁸ Уваров противопоставляет националистическую идею, возросшую в кружке киевской молодежи, как официальной «русской» идее, так и идее славянского единения. Он доказывает, что здесь, «наперекор господствующему славянскому направлению, мы видим следы какого-то сильного стремления провинциального духа к разъединению, когда, напротив, славянство, не ставя в счет ни географические, ни политические препятствия, неуклонно хочет соединения всех частей в одно, уничтожения всякого провинциального духа, слияния всех местных патриотизмов в один общий патриотизм, сосредоточение всех сил в руках одного вождя и в недрах одной Церкви».²⁹

Предостерегая от опасности сепаратизма, исходящего из «невинных» культурных увлечений ученой молодежи, и, скорее, выдавая желаемое за действительное, Уваров считает, что идеи кирилло-мефодиевцев не найдут поддержки не только в официальных кругах. «Осмеливаюсь утверждать, — пишет он, — что ни один восторженный, добродушный московский славянофил... по своим понятиям не согласился бы вступить в тайный союз, цель которого была бы раздробление России или отделение одной или нескольких ветвей от корня обожаемого им всеславянского единства».³⁰ Министрство сделало столько усилий, следуя программе возбуждения и укрепления «духа отечественного» в современниках, побуждая обращаться в том числе «к источникам ононого»: славянским древностям, языку и истории, что только незнанием общего корня и родства великорусского и малороссийского народов можно объяснить пробуждение «провинциального духа» или «отголоска украинских предрассудков».

С. С. Уваров совсем не стремится обвинить малороссов в природном сепаратизме. Романтизация времен сечевых вольностей и гетманства дает пищу литературе, но не представляет опасности, пытается он убедить читателя записки. «Малороссия, верная престолу, неколебимая в вере, действительно, в своих воспоминаниях хранит мысль о прошедшем; она на досуге жалеет о минувшей самобытности, о своем Гетмане, о разгильном казачестве, об обращении в крепостное право вольных ее жителей, может быть,

об утрате вольной продажи горелки, но нельзя украинскому духу ставить в вину преступные замыслы нескольких безумцев, с коими, без сомнения, ни высшие сословия, ни туземное духовенство, еще менее неисчислимое большинство мирных и покорных жителей не имеют ничего общего. Дух малороссийский не причастен никакого кровавого замысла; если он дорожит своей минувшей историей, то разделяет это чувство со всеми известными племенами, кои по ходу вещей слились с сильным племенем, потеряли свое отдельное значение. Легко молодым, неопытным умам плениться поэтическим этим воззрением и увлечь себя и других далее черты благоразумия», но в массе своей, убеждает Уваров, жители края никогда не дадут повода обвинить их в неверности престолу.³¹ Идеи политического сепаратизма, стремится подчеркнуть Уваров, на украинскую почву могли упасть только извне: от соседей-поляков, свою подрывную работу здесь наверняка совершил «мятежный дух польский». А «украинские предрассудки» можно простить, ибо они никогда не вызовут у малоросса желания отделиться от России. Если что-то довело до опасных политических требований зачинщиков Кирилло-Мефодиевского общества, то это внешние политические влияния. Но они тем более виновны, по убеждению Уварова, что сыграли на «сокровеннейших» национальных предрассудках.³²

Откуда в Уварове при неприятии западного «славянства» и подозрениях его в подрывных влияниях на Украине, такое снисхождение к «украинским предрассудкам»? Понятно, что украинский сепаратизм для русского правительства был менее опасен, чем польский, в силу своей патриархальности. Крестьяне-малороссы отразили свои мечтания о национальной государственности в «думах», преданиях о сечевой вольности, которые сами по себе не являлись политическими проектами, но были связаны с неопределенными очертаниями «казацкой республики» и ее славных преданий в романтическом сознании малоросса. Польское же дворянство, удерживая основные шляхетские права и привилегии, в том числе право владеть крестьянами, требовало вернуть «незаконно» отнятое право жить в национальном государстве.

Замеченные у Уварова этнографическая точность и лиризм в описании атрибутов «малороссийского духа» не случайны. Не придавая этому факту исключительного значения, вспомним пикантную подробность уваровской родословной. Министр, вельможа, впоследствии русский граф Сергей (он подписывался Сергій) Семенович Уваров подлинными аристократами по рождению (тем же Пушкиным) воспринимался как выскочка. Дело в том, что отец С. С. Уварова попал «в случай» и стал полковником лейб-гвардии Гренадерского полка главным образом потому, что умел развлечь двор Екатерины II искусством народных плясок и игрой на украинской бандуре. Прозванный за неосновательность «Сеней-бандуристом»,³³ Семен Федорович, умирая, не оставил малолетнему сыну ничего, кроме долгов. Таким образом, С. С. Уваров был малороссом по отцу, к тому же женатым на внучке последнего украинского гетмана Е. А. Разумовской.

Несмотря на то, что III Отделение уже вынесло свое заключение, находя, что «Украино-славянское общество ... не более как ученый бред трех молодых людей»,³⁴ Уваров настаивает на ином мнении. Он чувствует, что в любой разновидности идеи «славянства» расшатывают его концепцию «триединства» (православие, самодержавие, народность), в которой «народность» не может быть иной, кроме русской. Если допустить право иной славянской национальности, кроме русской, на культурную и политическую автономию в пределах России — Россия погибла! Уваров объявляет, что Кирилло-

Мефодиевское общество «пропитано идеями политическими», в то время как «славянству русскому чужда всякая примесь политических идей». ³⁵ Эта фраза будет повторена в циркулярном письме на имя начальников учебных округов, разосланном в связи с делом Кирилло-Мефодиевского общества. В послесловии к своей записке Уваров испрашивает разрешения время от времени представлять свои соображения по «славянскому вопросу», особенно ввиду ожидаемых за границей откликов на дело Кирилло-Мефодиевского общества. Необходимой мерой министр также считал ревизию Московского, Харьковского и Киевского университетов и других учебных заведений этих округов, в которую предполагал отправиться сам во второй половине лета. ³⁶

В течение последующих дней Уваров оформляет положения, изложенные в записке, адресованной императору, в отношении министра попечителям учебных округов, где понятие славянской идеи и национального сепаратизма разграничены и определены точнее, а также указано на то, каким мерам предосторожности надо следовать, чтобы не дать увлечься молодежи блестящими химерами. ³⁷

27 мая 1847 г. появляется министерский циркуляр, особый для каждого округа, на месте дополняемый и корректируемый. Неравная строгость предостережений, адресованных попечителям округов, очевидно, объяснялась различной долей польской молодежи в училищах того или иного округа. Так, попечителю Киевского округа Уваров предполагал «поставить на вид, что под личиною Славянства может скрывается мятежный дух польский, готовый уловить умы неопытного юношества», а попечителю Харьковского округа собирался лишь «указать слегка на провинциальный дух, который мог бы увлечь далее черты благоразумия, вопреки общего доброго направления умов туземных». ³⁸ Если вспомнить, что питомцами именно Харьковского университета были Н. И. Костомаров и П. А. Кулиш, то ясно, что в «направлении преподавания» здесь и в самом увлечении украинской историей и культурой было официально решено не усматривать крамолы. Попечителю Варшавского и Дерптского округа, кстати, о «славянском вопросе» вообще не поступило никаких разъяснений.

Казалось бы, авторитет государственной идеологии не мог ослабеть, оттого что ее творцу потребовалось конкретизировать свое отношение к комплексу идей украинской «народности», столь близкой к господствующей «русской». Однако поспешность изготовления и мелочный характер всех документов, составленных вслед за извещением о содержании «заговора братчиков», выдают не только осторожность, но и растерянность властей. Майский циркуляр министра в отличие от официальных разъяснений содержания понятия «народность», данных десятилетием ранее, стал «полуофициальным», т. е. не только не читался перед студентами с кафедр, но лишь избирательно разъяснялся некоторым цензорам и членам ученых обществ, «в круг занятий которых входят преимущественно словесность и история отечественная». ³⁹ В циркуляре, как можно заметить, прежняя официальная формула «народности» потеряла свои размытые очертания и зазвучала гораздо жестче, теперь она действительно выступила как голая апология российского самодержавия: «Народность наша состоит в беспредельной преданности и повиновении самодержавию, а славянство западное не должно возбуждать в нас никакого сочувствия. Оно само по себе, мы сами по себе. Мы сим торжественно от него отрекаемся». ⁴⁰

Собственно при этих словах и в этот час закатилось солнце «теории народности», переставшей быть залогом незыблемости государственных форм, который был отыскан

в национальном характере и культуре. Теперь государственный порядок силился утверждать себя, ни на что, кроме себя самого, не опираясь. Уваровская «ученость» и виртуозность идеолога переставали быть нужными. Перед лицом европейских потрясений 1848 г. обнаружилось, что та духовно-политическая изоляция России, о спасительности которой так долго твердил Уваров, оказалась абсолютно проницаемой для радикальных идей.

Все, что было сказано Уваровым в осуждение идей Кирилло-Мефодиевского общества, выдает в нем не последовательного просветителя, не «мягкого русификатора», каким он предстает в других ситуациях, а Уварова — апологета государственной доктрины перед лицом ее откровенной девальвации.

Как известно, стержнем государственной идеологии было положение о необходимости всемерного развития «истинно русских начал» путем воспитания через литературу и систему просвещения в соотечественниках русских патриотов — носителей «народного» духа. В рассмотренном инциденте проявилась неспособность объединительной «русской идеи» противостоять идее национальной украинской культуры и независимости, провозглашенной Кирилло-Мефодиевским братством. Исходя из этого Уваров предлагал ужесточить рамки официальной идеологии, однако его усилия не спасают ее от девальвации: после 1848 г. теория «официальной народности» сходит со сцены вместе с ее творцом.

Ни «добропорядочное» московское славянофильство, ни набиравшая приверженцев доктрина панславизма, ни даже польский мятежный сепаратизм не нанесли такого удара официальной доктрине, как дело Кирилло-Мефодиевского общества. И хотя «мирный» характер украинских мечтаний о самостийности Уваров постоянно подчеркивал, но сам он наверняка понимал, что, имея в тылу теоретиков «украинской» народности, сложно убедить малороссов в единстве их национального духа с «москалями». А значит, и прежний тезис о монолите «русской» народности как главной опоре порядка требовал существенного подновления. Подновление это означало изменение в определении содержания «русскости», и последняя превратилась в верноподданство и великодержавный монархизм, который теперь требовался от соотечественников без различия этнической и сословной принадлежности. Т. е. это была уже не «национальная идея», на которую общество уповало в начале 1830-х гг., а идея монархическая, привлекательная лишь для династии и бюрократической элиты. Это фактически означало кризис идеологии николаевского царствования и преддверие политического кризиса, довершенного через несколько лет Восточной войной.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Полиевктов М. А.* Николай I: Биография и обзор царствования. М., 1918. С. 237.

² *Пресняков А. Е.* Апогей самодержавия. Николай I // Российские самодержцы. М., 1991. С. 268.

³ Там же. С. 268.

⁴ Высочайший манифест о совершении казни над государственными преступниками. Подписано в Царском селе 13 июля 1826 г.:

Российский государственный исторический архив (далее — РГИА). Ф. 1329. Оп. 1. Д. 439. Л. 492 об.

⁵ Там же. Л. 493–493 об.

⁶ РГИА. Ф. 735: Канцелярия министра народного просвещения. Оп. 10. Д. 193. Л. 12–34.

⁷ *Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И.* «Сквозь умственные плотины...»: Очерки о книгах и прессе пушкинской поры. М., 1986.

⁸ Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. Т. 10: Письма. М.; Л., 1940. С. 290.

⁹ Из отчета о ревизии Московского университета от 4 декабря 1832 г. Цит. по: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. М., 1891. Т. 4. С. 83–85

¹⁰ Белинский В. Г. Литературные мечтания // Белинский В. Г. Собр. соч.: В 13 т. Т. 1. С. 88.

¹¹ Никитенко А. В. Дневник. М., 1955. Т. 1. С. 174.

¹² См.: Письмо П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу 22 ноября 1811 г. // Остафьевский архив. М., 1899. Т. 1. С. 357.

¹³ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 10. С. 123.

¹⁴ Эта проблема хорошо разработана А. Л. Зориным. См.: Зорин А. Л. 1) Теория официальной народности и ее немецкие источники // В раздумьях о России. XIX век. М., 1997. С. 112–148; 2) «Кормя двуглавого орла: Власть и русская литература в XVIII — первой половине XIX в. М., 2000.

¹⁵ См.: Уваров С. С. О преподавании истории применительно к народному воспитанию. СПб., 1813.

¹⁶ Там же. С. 2, 24.

¹⁷ Речь идет о знаменитой формуле Карамзина «самодержавие — есть палладиум России...», которую историк защищает в записке «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношении» (1811).

¹⁸ Десятилетие министерства народного просвещения (1833–1843). Записка, представленная государю императору Николаю Павловичу ми-

нистром народного просвещения графом Уваровым в 1843 г. Этот текст был возвращен с собственноручною надписью императора: «Читал с удовольствием». СПб., 1864. С. 38–40, 125–127.

¹⁹ Там же. С. 129–130.

²⁰ Там же. С. 127.

²¹ Там же. С. 36.

²² Там же. С. 46–47.

²³ Дьяков В. А. Славянский вопрос в общественной жизни дореволюционной России. М., 1993. С. 12–14.

²⁴ Погодин М. П. Два письма министру народного просвещения // Рус. беседа. 1861. № 7. С. 234.

²⁵ РГИА. Ф. 735. Оп. 10. Д. 193. Л. 17 об.–18.

²⁶ Там же. Л. 20–21 об.

²⁷ Там же. Л. 21 об.

²⁸ Там же. Л. 22–22 об.

²⁹ Там же. Л. 22 об.

³⁰ Там же. Л. 23.

³¹ Там же. Л. 29–30.

³² Там же. Л. 30 об.–31 об.

³³ Вигель Ф. Ф. Записки. М., 2000. С. 338.

³⁴ Зайончковский П. А. Кирилло-Мефодиевское общество. М., 1952. С. 130–131.

³⁵ РГИА. Ф. 735. Оп. 10. Д. 193. Л. 22–22 об.

³⁶ Там же. Л. 33–33 об.

³⁷ Там же. Д. 193. Л. 38–60. Опубл.: Рус. архив. 1892. Вып. 7. С. 334–359.

³⁸ РГИА. Ф. 735. Д. 193. Л. 38 об.–39 об.

³⁹ Рус. архив. 1892. Кн. 2. Вып. 7. С. 348.

⁴⁰ РГИА. Ф. 735. Оп. 10. Д. 193. Л. 37. Дьяков В. А. Славянский вопрос... С. 40–41.

А. А. Кононов

К ИСТОРИИ ПЕРЕВОДА И ИЗДАНИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ЗАПИСОК Н. А. САБЛУКОВА

Среди мемуарных текстов, посвященных царствованию императора Павла I, особое место принадлежит запискам Н. А. Саблукова. Сегодня едва ли есть необходимость доказывать значимость этих мемуаров как исторического источника. И хотя не все согласятся с мнением современного исследователя, утверждающего: «Общепризнанно, что записки Н. А. Саблукова являются едва ли не самым объективным свидетельством

о порядках при дворе и в армии в царствование Павла»,¹ — эта оценка вполне отражает то место, которое занимают мемуары Саблукова в современной историографии павловского царствования. В этой связи представляет интерес история их введения в широкий читательский оборот.

Записки Н. А. Саблукова о царствовании Павла I и царевубийстве 11 марта 1801 г., написанные в 1840–1847 гг. в Англии на английском языке,² впервые были опубликованы уже после смерти автора, анонимно, в журнале «Freser's Magazine...» в 1865 г.³ Спустя четыре года сделанный по этой публикации перевод на русский язык появился в извлечении на страницах журнала «Русский архив».⁴ По цензурным соображениям в публикации «Русского архива» были опущены многие эпизоды, в первую очередь все, что касалось заговора и убийства императора. Более 30 лет это издание оставалось единственным русским переводом записок Саблукова. Что касается последующей истории записок в русских изданиях, то практически вся она оказалась связана с именем Константина Адамовича Военского.⁵

По свидетельству самого Военского, перевод записок Саблукова был осуществлен им в 1901 г.⁶ Получив двухмесячный отпуск для лечения за границей, Военский в конце июля–середине сентября 1901 г. совершает путешествие по маршруту: С.-Петербург–Краков–Вена–Зальцбург–Мюнхен–Нюрнберг–Лейпциг–Берлин–Росток–Копенгаген–Мальме–Стокгольм–Гельсингфорс–Выборг–С.-Петербург.⁷ Остановившись «недели на три»⁸ на вилле С. А. Панчулидзевой в Траункирхене, он заканчивает перевод, пишет к нему предисловие, а 1 (14) сентября в Лейпциге подписывает контракт с Э. Л. Каспровичем об издании записок.⁹

Согласно контракту, при его подписании переводчик получал за свою работу 400 марок, а издатель, принимая на себя обязательство выпустить книгу в серии «Международная библиотека» тиражом 1500 экземпляров, приобретал владельческие права на издание, его возможные переводы на другие языки и т. п. Публикация в бесцензурной печати могла грозить чиновнику Военскому серьезными неприятностями, и он это хорошо понимал.¹⁰ Поэтому предисловие к запискам было подписано псевдонимом — S. Nagiba.

Судя по сохранившейся переписке, книга вышла из печати в феврале 1902 г. 10 октября¹¹ 1901 г. Каспрович писал Военскому: «Перевод г. Нагибы теперь печатается и как только книжка эта будет издана (кажется в начале будущего года, ибо зимою заграничные книгопродавцы ничего не издадут), pošлю тотчас первый экземпляр Господину Отдельному цензору и прочие экземпляры через господина Флейшера».¹² 1 марта 1902 г. Каспрович сообщал: «Касательно Саблукова могу дать ответ, что он укончен [sic!] на днях и pošлю экземпляр через Вольера, равно и прошу уведомить меня на счет большой поставки, надо ли ее экспедировать, как было прежде означено, через Марграбово?».¹³

Уже 7 марта Военский писал Шубинскому: «При сем прилагаю для просмотра только что полученную мною книгу, общее содержание которой, в оригинале, Вам известно. Не откажите пробежать 3 странички моего предисловия и сказать Ваше мнение. <...> На днях должен получить авторские экземпляры и первым долгом преподнесу конечно Вам. <...> Пока прошу Вас о выходе в свет этой книги никому не говорить».¹⁴ Позднее экземпляры этого издания Военский дарил своим знакомым.¹⁵

Сличение изданного перевода с английской публикацией позволяет сделать ряд небезынтересных наблюдений. При переводе Военским были опущены почти все комментарии английского публикатора, в том числе отчасти проясняющие некоторые

текстологические принципы английского издания (некоторая редактura рукописи Саблукова была предпринята уже в издании «Freser's Magazine...»). Отказался Военский и от структуры текста, отраженной в английской публикации (при переводе опущены заголовки частей и сопровождавшие их указания на даты написания той или иной части; кроме того, авторские примечания в ряде случаев включены непосредственно в текст и наоборот — некоторые фразы вынесены в примечания). В переводе записки оказались разделены на три главы, предваряемые краткими оглавлениями-аннотациями, традиционными для изданий того времени. В тексте произведены небольшие сокращения (судя по всему, опускались в основном второстепенные с точки зрения переводчика детали, ничего не прибавляющие к основному содержанию записок). Наконец, в самом переводе есть определенные отступления от оригинала, в частности в передаче художественных сравнений и т. п. Задача, которую ставил перед собой переводчик, очевидно, заключалась в литературной передаче смыслового содержания записок, а не в строгом следовании оригиналу, которого требует современный научный перевод. В целом сделанную Военским работу можно охарактеризовать как перевод, выполненный в основном в традициях XIX в. Однако для своего времени появление первого почти полного перевода этого источника, включая все неприемлемые для цензуры эпизоды и подробности, имело несомненное значение. (Стоит отметить, что нового перевода записок Саблукова не сделано до сих пор и продолжает использоваться перевод Военского.¹⁶)

В предисловии к книге, давая характеристику мемуарам Саблукова, Военский писал о них, как о «представляющих, по беспристрастности изложения и искренности тона, драгоценнейший материал для будущих историков и бытописателей Павловской эпохи, столь мало исследованной и едва ли беспристрастно оцененной». Причем выводил свою оценку именно из анализа личности мемуариста: «Саблуков — был джентельмэн [sic!] в полном смысле этого слова; это был рыцарь без страха и упрека... Вот почему Записки Саблукова, в которых каждая фраза, каждая строчка дышат правдой и благородством, должны иметь особое значение в глазах историка: в этих качествах автора он увидит несомненное доказательство как правдивости передаваемых им фактов, так и вполне беспристрастной оценки личности Императора Павла».

В предисловии Военский впервые высказал сомнение в добросовестности и беспристрастности английских издателей записок, указав в первую очередь на противоречие между отрицанием Саблуковым английского участия в заговоре и сообщаемым им фактом «предсказания» события 11 марта О. А. Жеребцовой, сестрой Зубовых и любовницей английского посла Уитворда. По мнению Военского, это противоречие объясняется тенденциозной редактурой записок. (Позднее эти его текстологические наблюдения будут развиты анонимным автором предисловия к сборнику «Цареубийство 11 марта 1801 года».¹⁷)

Не имея возможности самому держать корректуру издания 1902 г., Военский не устал извиняться за имеющиеся в книге опечатки.¹⁸ К тому же перевод был издан с минимальным комментарием. Продолжение же сбора материалов о Саблукове привело к интересным архивным находкам.¹⁹ И очень скоро Военский решает предпринять еще одно издание записок, теперь уже в России. Конечно, сделать текст Саблукова достоянием широкой публики при тогдашних цензурных условиях было невозможно. Но в 1903 г. в Петербурге записки Саблукова все же были переизданы. Тиражом 25 экземпляров на правах рукописи без обозначения места и времени издания, без

указания издателя книга была выпущена типографией А. С. Суворина при посредничестве С. Н. Шубинского.

9 сентября 1902 г. Военский писал находившемуся на даче Шубинскому: «Надеюсь на Ваше обещание о Саблукове».²⁰ Шубинский отвечал: «Печатание Саблукова надо отложить до моего переезда в город, в октябре».²¹ 3 декабря Военский сообщал тому же адресату: «Корректуру „Записок” получил и не замедлю вернуть ее в типографию, надо только немного изменить предисловие, т. е. биографию автора, прибавив некоторые сведения, найденные в „Записках Н. Н. Муравьева” о его деятельности в 1812 году»,²² 17 марта 1903 г.: «Вторую корректуру Саблукова получил, кончаю ее и приготавливаю алфав[итный] указатель. Примечания тоже окончил почти все...».²³ Однако работа над примечаниями затянулась, и 6 мая Шубинский торопит Военского: «Когда же будет конец Саблукова? Такую вещь нельзя долго держать в наборе. Разрешите печатать так, как есть, или придется разобрать».²⁴ В тот же день последовал ответ: «Саблукова присылаю для набора, но прошу Вас *убедительно* пробежать *примечания*, и, *если возможно*, только дать хоть какие-ниб[удь] сведения о *Скарятине* (стр. 65), *Волкове* (67), *Бибикове* (64), *Аргомакове* (стр. 64) и *Марине* (64) как деятелях и *участниках* драмы 11 Марта, дальнейшая судьба которых не может не интересовать читателей-специалистов, для которых печатается это издание für Wenige.²⁵ Если же ничего не найдется у Вас, что едва ли допускаю (иначе к кому же и обращаться), то просто вычеркните звездочки и их имена в выносках. Но это было бы *очень* досадно».²⁶ (Разыскать биографические сведения о Скарятине, Аргомакове, Марине и т. д., очевидно, так и не удалось. Примечания о них и в этом, и в последующих изданиях записок отсутствуют.) Судя по датам штемпелей типографии А. С. Суворина на корректурах именного указателя к запискам Саблукова (первая корректура — 19 мая, вторая — 29 мая 1903 г.²⁷) в начале лета 1903 г. книга вышла из печати.

В издании практически был сохранен перевод 1901 г. (с небольшими стилистическими поправками), но значительно расширен справочный аппарат. Биография Саблукова в предисловии была существенно дополнена на основе печатных и архивных материалов. Кроме того, в предисловии было особо отмечено, что «настоящее издание исключительно предназначено для небольшого кружка специалистов-историков и любителей отечественной старины».²⁸ Текст записок был снабжен примечаниями, в основном биографического характера. В книге появился указатель имен. Новое издание не было анонимным, предисловие к запискам было подписано полной фамилией Военского.

О судьбе отпечатанного тиража позволяет судить интересная запись, сделанная Военским на авантитуле экземпляра, оставшегося в его личной библиотеке: «Книга эта напечатана мною, в 1903 году, в Тип[ографии] Суворина, на правах рукописи, в количестве 25 экземпляров, розданных между прочим следующим лицам:

1. В Библиотеку Е[го] В[еличества]
2. В[еликому] К[нязю] Владимиру Александровичу
3. В[еликому] К[нязю] Михаилу Александровичу
4. В[еликому] К[нязю] Николаю Михайловичу
5. В[еликому] К[нязю] Конст[антину] Константиновичу
6. П. Я. Дашкову
7. Д. Я. Дашкову
8. С. А. Панчулидзеву
9. гр[афу] Л. Н. Толстому

10. Н. К. Шильдеру
11. В. А. Бильбасову
12. Е. С. Шумигорскому
13. С. Н. Шубинскому
- 14–20. А. С. Суворину
- 21–25. К. А. Военскому.²⁹ <...>».³⁰

Список этот довольно показателен. Если не считать великих князей — «кураторов» науки и культуры³¹ и Л. Н. Толстого, включение которых в список по своему тоже очень интересно, то перед нами основной круг профессионально-личного общения Военского в эти годы, каким он виделся и был важен самому Военскому. В этом отношении весьма характерно включение в список Н. К. Шильдера, в действительности умершего 6 апреля 1902 г.

После осуществления двух изданий записок Саблукова (заграничного и малотиражного) Военский, судя по всему, не терял надежды когда-нибудь напечатать свой перевод и для широкой публики. Во всяком случае, как только подобная возможность забрезжила (в 1905 г.), он предпринимает активные попытки выпустить такое издание.

29 июля 1905 г. он писал Шубинскому: «Затем два слова о „Записках Саблукова“, которые Вы выказали желание напечатать в сентябре или октябре в „Вестнике“. С цензурной точки зрения думаю, что они без сомнения теперь пройдут (исключая разве одной странички, где описано само событие 11 Марта 1801 г.)».³² Далее в том же письме Военский сообщал о своих новых находках, связанных с Саблуковым,³³ а когда Шубинский в ответном письме³⁴ не затронул эту тему, тут же обеспокоился: «...остались ли Вы при прежнем намерении напечатать в журнале Вашем эти „Записки“. В противном случае буду пытаться издать их отдельною брошюрою, хотя, конечно, было бы приятнее предварительно поместить их у Вас».³⁵ Шубинский, однако, относился к этой идее явно скептически: «Я убежден, что самое интересное в записках Саблукова не будет пропущено, в данное время, цензурою и она оставит лишь то, что уже напечатано в „Рус[ском] Архиве“».³⁶ Поэтому я предпочитаю отказаться от записок, нежели рисковать задержкой журнала, объяснениями с Катениным и Бельгардом, перепечатками и т. п.».³⁷

Военский должен был отступить. Другого издателя он, очевидно, не нашел. Однако уже через пять дней после манифеста 17 октября 1905 г. он писал Шубинскому: «Ввиду решенной в принципе и начавшей уже осуществляться фактически свободы печати, возобновляю Вам предложение напечатать в „Истор[ическом] Вестнике“ — „Записки Саблукова“ с имеющимися к ним иллюстрациями... Не настаиваю на этом ввиду того, что у меня уже *имеются* предложения издать эти Записки отдельною брошюрою... <...> Да и теперь конечно две-три резкие фразы придется уничтожить, но зато в общем „Записки“ вполне могут пройти».³⁸ Шубинский между тем продолжал сомневаться (и, как покажут дальнейшие события, во многом был прав). 24 октября 1905 г. он писал Военскому: «Правда, цензурные обстоятельства изменились, но не *отменились*. Я готов напечатать „Записки Саблукова“, но все же меня берет большое сомнение, можем ли мы напечатать подробное описание убийства Павла? У вас еще не порваны все связи с цензурой. Нельзя ли как-нибудь косвенно узнать ее мнение по этому поводу. Ведь, в описании смерти Павла суть дела».³⁹

Вероятно, консультации с цензурой были проведены. И в трех первых номерах (январь–март) «Исторического вестника» за 1906 г. появилась публикация записок Саблукова⁴⁰

с предисловием Военского, представляющим собою почти неизменный текст предисловия 1903 г. Небольшие изменения и дополнения были внесены также в примечания к запискам. Что же касается самого текста мемуаров, то он оказался в значительной степени испорчен произведенными в нем сокращениями и исправлениями (главным образом это относится к его третьей, последней главе, повествующей о заговоре и убийстве Павла).

Приведем наиболее характерные примеры подобных исправлений:

Текст записок в издании 1903 г.

«Будучи не особенно исправным офицером, он *был сделан камергером*, что ввело его в гражданскую службу и, *угоджая разным влиятельным министрам*, он *наконец сам сделался министром*, а в настоящее время он весьма снисходительный государственный контролер и вообще очень добрый человек» (с. 42).

«Однажды, впрочем, на одном параде он [Павел] так разгорячился, что ударил трех офицеров тростью и, увы, жестоко заплатил за это в последние минуты своей жизни» (примеч. автора; с. 45).

«Будучи *любовником матери* Лопухиной, Уваров...» (с. 50).

«Перехожу теперь к описанию *событий*, закончившихся *возмутительным убийством Павла*» (с. 51).

«Говорят, что за этим ужином лейб-гвардии Измайловского полка полковник Бибииков, прекрасный офицер, находившийся в родстве со всею знатью, будто бы, высказал, во всеулышание, мнение, что нет смысла стараться избавиться от одного Павла; что России не легче будет с остальными членами его семьи и что лучше всего было бы отделаться от них всех сразу. Как ни возмутительно подобное предположение, достойно внимания то, что оно было вторично высказано в 1825 году, во время последнего заговора, сопровождавшего вступление на престол Императора Николая I» (с. 66).

«...он подошел к камину (д), прислонился к нему и в это время увидел Императора, *спрятавшегося за экраном*. Указав на него пальцем, Бенигсен сказал *по-французски*: „le voila!“, по-

Текст «Исторического вестника»

«Будучи не особенно исправным офицером, он *получил придворное звание*, перешел в гражданскую службу, и в настоящее время весьма снисходительный государственный контролер и вообще очень добрый человек» (с. 451).

[Исключено] (с. 454).

«Будучи *в близких отношениях с матерью* Лопухиной, Уваров...» (с. 459).

«Перехожу теперь к описанию *происшествий*, закончившихся *трагическим событием 11 марта 1801 г.*» (с. 460).

[Исключено] (с. 835).

«...он подошел к камину (д), прислонился к нему и в это время увидел императора и главного руководителя заговора, который обратился к императору с речью» (с. 836).

сле чего Павла тотчас вытащили из его прикрытия.

Князь Платон Зубов, действовавший в качестве оратора и главного руководителя заговора, обратился к императору с речью» (с. 67).

«...без чувств повалился на пол. В ту же минуту француз-камердинер Зубова вскочил с ногами на живот императора, а Скарятин, офицер измайловского полка, сняв висевший над кроватью собственный шарф Императора, задушил его им. Таким образом его прикончили» (с. 67).

«Говорят (из достов[ерного] источника), что, когда дипломатический корпус был допущен к телу, французский посол, проходя, нагнулся над гробом и, задев рукою за галстух Императора, обнаружил красный след вокруг шеи, сделанный шарфом» (примеч. автора; с. 68).

«...без чувств повалился на пол, а Скарятин, офицер Измайловского полка, сняв висевший над кроватью собственный шарф императора, задушил его им» (с. 837).

[Исключено] (с. 837).

Из текста были убраны некоторые резкие детали или эпизоды, хотя вся основная канва повествования, тоже достаточно откровенная, особенно в описании ночи с 11 на 12 марта 1801 г., была сохранена неприкосновенной. Таким образом, издателями был найден некоторый компромисс с цензурой, а массовый читатель впервые получил «полный» общедоступный текст записок Саблукова (пусть и в смягченной редакции). (Если для своего времени публикацию «Исторического вестника» можно отчасти считать шагом вперед, то сегодня использовать ее для изучения мемуаров Саблукова конечно уже нельзя. Однако именно к этому тексту записок, как к одному из наиболее доступных, к сожалению, продолжают обращаться некоторые исследователи.)

Из переписки Военского видно, что по крайней мере большинство сокращений и изменений текста были произведены самим публикатором-переводчиком. 10 января 1906 г. Военский писал Шубинскому: «...постараюсь сделать ее [корректуру 3-й главы] удобочитаемой, сохранив всю суть рассказа и смягчив только некоторые, режущие ухо выражения».⁴¹ В том же письме, однако, Военский убеждает Шубинского, что на основании новых цензурных правил в исторических статьях допускается политическая свобода суждений о государях — до деда ныне царствующего императора, т. е. по Николаю I включительно.⁴²

После публикации в «Историческом вестнике» Военский ищет возможности для выпуска записок Саблукова отдельным изданием и в этой связи снова возлагает большие надежды на А. С. Суворина. Именно Суворину, по словам Военского, принадлежала мысль издать мемуарный сборник, посвященный убийству Павла I.⁴³ И Военский активно ухватился за эту идею. Однако на первых порах встретил стойкое сопротивление со стороны других представителей суворинского клана. По словам Шубинского,⁴⁴ один из сыновей А. С. Суворина, М. А. Суворин, выступил решительно против такого издания и указал на его тенденциозность для их издательской фирмы.

«Что касается *тенденциозности* такого издания, — писал в ответном письме Военский, — то теперь, когда сама цензура позволяет в исторических произведениях писать *решиительно все* до Александра II-го, то угрызения совести Михаила Алексеевича являются по меньшей мере неосновательными. Не показались ли скорее мои условия непосильными для скромного книгоиздательства. Хотелось бы знать *Ваше* личное мнение. Павел Яковлевич [Дашков], которому я говорил об этом предположении Вашем, — нашел эту идею превосходною и сказал, что такое издание пошло бы нарасхват, особенно если хорошо иллюстрировать его. <...> Хотелось бы только знать совсем ли А[лексей] С[ергеевич] отказался от идеи такой книги или только *до осени*. Вместе с тем я все-таки хотел бы переговорить с К. С. Тычинкиным⁴⁵ — надеюсь, что он не возьмет своего обещания, данного мне категорически, — обратно. Т. е. обещания напечатать мне на условиях рассрочки... Записки Саблукова — книжку в листов 10 с 5 иллюстрациями».⁴⁶

Шубинский, однако, отвечал, что оба Суворина «находят неудобным ставить свою издательскую фирму, в данное время, на книге, где собраны подробности об убийстве государя».⁴⁷ Военский пытался действовать через Тычинкина, но вновь встретил сопротивление М. А. Суворина.⁴⁸ На этом, однако, история издания записок Саблукова не остановилась. 30 ноября 1906 г. Военский сообщал Шубинскому: «Уже месяц тому назад Алексей Сергеевич *сам* выразил желание издать „Саблукова“ и „Чарторыского“ отдельн[ым] изданием и приобрести его у меня. *Сам* направил меня к К. С. Тычинкину, который категорически мне заявил, что *дело решено*, что обе вещи будут напечатаны и для совершения расчета просил зайти к нему. <...> Я *пять раз* был у него в *назначенное* время, из которых 3 раза не сподобился застать его, один раз он выразил удивление и спросил очень любезно о причине моего посещения!».⁴⁹

Несмотря на все эти перипетии, отдельное издание Саблукова было, очевидно, очень близко к своему осуществлению. Но тут в дело вмешалась конкуренция. В ноябрьской (1906) книжке журнала «Всемирный вестник» появилось рекламное сообщение, что в следующем 1907 г. в журнале будут напечатаны записки Саблукова по лейпцигскому изданию 1902 г. Схожее сообщение появилось на страницах журнала «Былое».⁵⁰ И уже 14 декабря Шубинский писал Военскому: «Многоуважаемый Константин Адамович. Возвращаю все, что относится к Саблукову. Вероятно, мы совсем не издадим его „Записок“. Два журнала: „Русская Историч[еская] Библиотека“ и „Всемирный Вестник“ объявили, что в них будет помещен перевод Записок Саблукова. Кроме того, только что вышло в переводе сочинение проф[ессора] Брикнера „Убийство Павла I“, где Записки Саблукова исчерпаны. При таких условиях, когда при том же Записки напечатаны в „Истор[ическом] Вестнике“, отдельное издание совершенно не нужно».⁵¹

Практически сразу Военский пишет письмо редактору «Всемирного вестника» С. С. Сухонину, в котором, информируя его об истории перевода и своем договоре с Каспровичем, предупреждает, что перепечатка является нарушением прав его литературной собственности и будет преследоваться судебным путем.⁵² На сегодняшний день нам не известно, было ли отправлено такое письмо и какова в этом случае была реакция Сухонина, но в следующем 1907 г. записки Саблукова появились на страницах «Всемирного вестника».⁵³ (Текст, не считая новых опечаток, повторяет издание 1902 г., включая предисловие с подписью: S. Nagiba.)

Сложнее обстоит дело с публикацией «Русской исторической библиотеки». Это периодическое издание довольно своеобразно. Разрешение на выпуск нового исторического

журнала было получено в марте 1906 г. через подставных лиц редакторами журнала «Былое» В. Я. Богучарским, В. Л. Бурцевым и П. Е. Щеголевым.⁵⁴ Фактически издание не являлось периодическим, а лишь выдавалось за таковое, чтобы избежать предварительной цензуры. 14-й выпуск «Русской исторической библиотеки», вышедший в марте 1907 г.,⁵⁵ составил сборник под редакцией П. Е. Щеголева «Убийство императора Павла», куда вошли 4 отрывка из мемуаров М. А. Фонвизина, А. Н. Вельяминова-Зернова, Н. А. Саблукова и князя А. Чарторыйского. Отрывок из записок Саблукова⁵⁶ (в переводе Военского) был помещен с некоторыми упрощениями: без примечаний, без схем, с заменой французских фраз их русским переводом и т. п. Однако наиболее интересны те сокращения и исправления, которые были внесены в этот текст.⁵⁷ На 95% они совпадают с достаточно большой правкой, сделанной на отдельных страницах издания 1903 г. (с. 52—79) и хранящейся в архиве Военского.⁵⁸ Что является серьезным основанием для гипотезы о подготовке им самим данного отрывка из записок Саблукова в сборнике «Убийство императора Павла».⁵⁹

Так или иначе, но на идее переиздать записки Саблукова отдельной книгой пришлось поставить крест. Однако крах этого начинания не означал автоматически окончательного отказа А. С. Суворина от издания мемуарного сборника, посвященного убийству Павла I. И в 1907 г. такое издание состоялось. Это было знаменитое «Цареубийство 11 марта 1801 года»,⁶⁰ включившее в себя и записки Саблукова в переводе, с предисловием и примечаниями Военского. Предисловие было полностью воспроизведено по изданию 1903 г. Примечания в основном (за некоторыми исключениями) тоже были возвращены к редакции этого издания, что, скорее всего, говорит о том, что их правка в «Историческом вестнике» была произведена по инициативе редакции, а не переводчика.⁶¹ Что же касается самого текста перевода, то он был воспроизведен полностью, без купюр и серьезных смысловых изменений. С этого же набора записки Саблукова были переизданы при втором издании сборника, последовавшем в 1908 г.

О материально-технической стороне отношений Военского с издателями отчасти можно судить по следующему отрывку из очередного письма Шубинскому: «В прошлом году у меня приобретены для книги „Событие 11 марта” мои „Записки Саблукова” и неск[олько] глав из „Записок Чарторыйского” за 400 рублей. Издание разошлось блестяще, менее чем в год. Приступая к новому изданию этой книги, мне не сочли даже нужным предложить какие-либо новые условия и включили мой материал без моего ведома».⁶²

Не останавливаясь подробно на очередном этапе борьбы историка за гонорар, отметим только, что переиздание записок Саблукова в сборнике «Цареубийство 11 марта...» явилось последним полным прижизненным изданием перевода Военского. В последующие годы Военский осуществит еще одно издание записок,⁶³ но текст этой публикации испорчен сокращениями и смягчениями практически в той же мере, как и текст «Исторического вестника». (Предисловие немного отредактировано, примечания незначительно дополнены.)

В заключение упомянем для полноты еще об одном издании записок Саблукова, хотя, насколько известно, сам Военский не имел к нему прямого отношения. Это вышедший в 1908 г. в Москве под редакцией Г. В. Балицкого сборник «Время Павла и его смерть». Составители сборника поступили очень оригинально. В сборнике переиздан (в сокращении) перевод «Русского архива» 1869 г., а имевшиеся в нем цензурные пропуски восполнены по переводу Военского.⁶⁴

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Сорокин Ю. А. Павел I: Личность и судьба. Омск, 1996. С. 130.

² Саблуков был женат на англичанке Юлии Ангерштин. Для нее он и начал писать свои воспоминания.

³ Reminiscences of the court and times of the emperor, Paul I of Russia, up to the period of his death. From the papers of a deceased Russian general Officer // Fraser's Magazine for town and country. 1865. Vol. 72, № 428 (Aug.). P. 222–241; № 429 (Sept.). P. 302–327.

⁴ Из записок Н. А. Саблукова // Русский архив. 1869. № 11–12. Стб. 1869–1951. Автором перевода был С. А. Рачинский. Часть этого перевода переиздана: Время Павла и его смерть: Записки современников и участников события 11-го марта 1801-го года / Предисл. Г. В. Балицкого. М., 1908. Ч. 1. С. 7–67.

⁵ К. А. Военский (1860–1928) — чиновник МИД, затем МВД, в 1907–1915 гг. начальник архива Министерства народного просвещения, автор работ по русской и зарубежной истории XVIII–XIX вв., издатель исторических документов, библиограф, переводчик. Подробнее о его работах, посвященных царствованию Павла I, см.: Кононов А. А. Историк К. А. Военский (1860–1928): Дис. ... канд. ист. наук (СПбИИ РАН. СПб., 2000).

⁶ «Перевод этих Записок с английского подлинника, напечатанного в английском журнале „Fraser's Magazine“ 1865 года, сделан мною в Августе 1901 года, в Траункирхене (Верхняя Австрия) в доме тетушки моей Софии Алексеевны Панчулидзевоу. В Сентябре того же года я был в Лейпциге у заведующего славянским отделом книгоиздательской фирмы Брокгауз–Каспровича, который и издал мой перевод в количестве 1500 экз. в XXXII томе своей „Международной библиотеки“» — владельческая надпись на экземпляре издания: Записки Н. А. Саблукова о временах императора Павла I и о кончине этого государя. Лейпциг, 1902 (РНБ. Шифр: Вп 3829/32а).

⁷ К. А. Военский — С. Н. Шубинскому 5 (18) августа 1901 г., Траункирхен: ОР РНБ. Ф. 874. Оп. 1. Д. 84. Л. 87 об.

⁸ Там же.

⁹ Автограф контракта (на немецком языке) вклеен в авторский экземпляр издания: РНБ. Шифр: Вп 3829/32а (коллекция автографов).

¹⁰ 3 декабря 1902 г. Военский писал Шубинскому: «...букинист В. И. Клочков рассказывает всем, что К. А. Военский издал в количестве NN экземпляров известные Вам „Записки“ и сказал, что узнал это от Вас! Неужели же это возможно? Ведь Вы прямо меня этим топите. Ведь если это, при нынешних обстоятельствах, дойдет куда следует, то ведь Вы понимаете, чем это может кончиться!!!» (ОР РНБ. Ф. 874. Оп. 1. Д. 88. Л. 147 об.; здесь и далее подчеркивания подлинника обозначены курсивом).

¹¹ Письма Э. Л. Каспровича датированы по новому стилю.

¹² ОР РНБ. Ф. 152. Оп. 2. Д. 380. Л. 2–3.

¹³ Там же. Л. 4. Механизм пересылки Военскому экземпляров книги до конца не прояснен. 19 марта 1902 г. Каспрович писал: «...послал прямо на Ваше имя один экземпляр Записок Саблукова и тоже два пакета по 5 килогр[амм] в Марграбово, как Вы желаете. Первый экземпляр кажется Вы уже получили. Так исполнив Ваш заказ имею честь писать...» (ОР РНБ. Ф. 152. Оп. 2. Д. 380. Л. 5). А затем 23 июня: «...я экземпляр Саблукова в бандероли послал по адресу цензуры 17 марта и того же дня почтовым пакетом *франко* 50 экземпляров в Марграбово по означенному адресу. Так как в цензуру все доходит не посылая я заказной бандеролей — ни почтовым пакетом в Марграбово по заказной росписке, ибо в Германии на пакеты росписок не дается» (Там же. Л. 6. Орфография подлинника).

¹⁴ ОР РНБ. Ф. 874. Оп. 1. Д. 88. Л. 142–143.

¹⁵ В Российской Национальной библиотеке в фонде Вольной печати хранятся три экземпляра «Записок» Н. А. Саблукова издания 1902 г. с дарственными надписями Военского: заведующему Русским отделением Императорской Публичной библиотеки В. П. Ламбину (25 января 1903 г.; РНБ. Шифр: Вп 7618), А. А. Суворину (7 февраля 1903 г.; РНБ. Шифр: Вп 3827/32) и Д. Я. Дашкову (без даты; РНБ. Шифр: Вп 7611). В архиве Военского сохранилось также

письмо И. Е. Стеблин-Каменского от 5 февраля 1903 г. с благодарностью за книгу (см.: ОР РНБ. Ф. 152. Оп. 1. Д. 463. Л. 2–2 об.).

¹⁶ Последнее переиздание: Записки генерала Н. А. Саблукова о временах императора Павла I и о кончине этого государя. М., 2002.

¹⁷ См. о нем ниже.

¹⁸ См. дарственные надписи на экземплярах книги, перечисленных в примеч. 15.

¹⁹ См.: ОР РНБ. Ф. 152. Оп. 1. Д. 463 (копии документов о службе Саблукова и т. п.).

²⁰ ОР РНБ. Ф. 874. Оп. 1. Д. 88. Л. 145 об.

²¹ С. Н. Шубинский — К. А. Военскому 10 сентября 1902 г.: ОР РНБ. Ф. 152. Оп. 2. Д. 797. Л. 11 об.

²² Там же. Ф. 874. Оп. 1. Д. 88. Л. 146.

²³ Там же. Л. 173.

²⁴ Там же. Ф. 152. Оп. 2. Д. 797. Л. 14.

²⁵ для немногих (*нем.*).

²⁶ ОР РНБ. Ф. 874. Оп. 1. Д. 88. Л. 176–176 об.

²⁷ См.: Там же. Ф. 152. Оп. 1. Д. 59. Л. 1–3.

²⁸ Записки Н. А. Саблукова о временах императора Павла I и о кончине этого государя. [СПб., 1903]. С. 6.

²⁹ В архиве Военского сохранились отдельные страницы (с. 31–84) одного из экземпляров издания 1903 г., использованные для редакции более позднего издания записок (см.: ОР РНБ. Ф. 152. Оп. 1. Д. 57. Л. 90–114, 151–152).

³⁰ РНБ. Шифр: 37. 75. 3. 50.

³¹ Напомним, что великий князь Владимир Александрович занимал в эти годы пост президента Академии художеств, великий князь Константин Константинович — президента Академии наук, а наследник престола великий князь Михаил Александрович как раз в августе 1903 г. (на встрече, организованной при содействии состоящего при наследнике полковника Д. Я. Дашкова) одобрил идею Военского по подготовке под покровительством великого князя исторического труда, посвященного Отечественной войне 1812 г.

³² ОР РНБ. Ф. 874. Оп. 1. Д. 100. Л. 88.

³³ От великого князя Николая Михайловича Военский получил фотоснимок с портрета Саблукова (1829), о существовании которого, по его словам, не подозревали даже такие знатоки, как Шубинский и П. Я. Дашков. Кроме того, Воен-

ский узнал, что Саблуков похоронен в Петербурге, разыскал его могилу с прекрасно сохранившимся памятником и сфотографировал его.

³⁴ С. Н. Шубинский — К. А. Военскому 1 августа 1905 г.: ОР РНБ. Ф. 152. Оп. 2. Д. 797. Л. 19–20.

³⁵ К. А. Военский — С. Н. Шубинскому 1 августа 1905 г.: ОР РНБ. Ф. 874. Оп. 1. Д. 100. Л. 91–91 об.

³⁶ Имеется в виду публикация 1869 г.

³⁷ С. Н. Шубинский — К. А. Военскому 4 августа 1905 г.: ОР РНБ. Ф. 152. Оп. 2. Д. 797. Л. 21.

³⁸ К. А. Военский — С. Н. Шубинскому 22 октября 1905 г.: ОР РНБ. Ф. 874. Оп. 1. Д. 100. Л. 92–92 об.

³⁹ ОР РНБ. Ф. 152. Оп. 2. Д. 797. Л. 22.

⁴⁰ Записки о времени императора Павла и его кончине // Исторический вестник. 1906. № 1. С. 98–123; № 2. С. 440–460; № 3. С. 820–848.

⁴¹ ОР РНБ. Ф. 874. Оп. 1. Д. 104. Л. 114–114 об.

⁴² Там же. Л. 114 об.

⁴³ К. А. Военский — С. Н. Шубинскому 29 или 30 апреля 1906 г.: Там же. Л. 123.

⁴⁴ С. Н. Шубинский — К. А. Военскому 29 апреля 1906 г.: ОР РНБ. Ф. 152. Оп. 2. Д. 797. Л. 33.

⁴⁵ Заведующий типографией А. С. Суворина.

⁴⁶ ОР РНБ. Ф. 874. Оп. 1. Д. 104. Л. 123–124.

⁴⁷ С. Н. Шубинский — К. А. Военскому 30 апреля 1906 г.: Там же. Ф. 152. Оп. 2. Д. 797. Л. 34.

⁴⁸ К. А. Военский — С. Н. Шубинскому 15 июля 1906 г.: ОР РНБ. Ф. 874. Оп. 1. Д. 104. Л. 127 об.

⁴⁹ Там же. Л. 132–132 об.

⁵⁰ См.: Былое. 1906. № 10. С. [364].

⁵¹ ОР РНБ. Ф. 152. Оп. 2. Д. 41. Л. 2.

⁵² К. А. Военский — С. С. Сухонину (Черновик письма): Там же. Л. 1–1 об.

⁵³ Всемирный вестник. 1907. № 2. С. 1–32; № 3. С. 33–86 (2-я паг.). Отд. отт.: СПб., 1907.

⁵⁴ Подробнее об истории «Русской исторической библиотеки» см.: Лурье Ф. М. Хранители прошлого: Журнал «Былое»: история, редакторы, издатели. Л., 1990. С. 95–99.

⁵⁵ Там же. С. 232.

⁵⁶ Из записок Н. А. Саблукова // Убийство императора Павла: Рассказы современников. Ростов н./Д., [1907]. С. 47–80 (Русская историческая библиотека. № 14).

⁵⁷ В основном они носят характер цензурного смягчения. Странно, что именно по этому тексту отрывок был переиздан Ф. М. Лурье: Смерть императора // Новый журнал. 1991. № 2 (август). С. 68–88.

⁵⁸ ОР РНБ. Ф. 152. Оп. 1. Д. 57. Л. 100 об.–114.

⁵⁹ Единственным указанием на его гипотетическое знакомство со Щеголевым является официальное письмо с приглашением на чествование С. Н. Шубинского по случаю 25-летия «Исторического вестника» (конец 1905 г.), подписанное наряду с Б. Б. Глинским и Е. С. Шумигорским и П. Е. Щеголевым, являвшимся некоторое время помощником редактора «Исторического вестника» (см.: ОР РНБ. Ф. 152. Оп. 2. Д. 251. Л. 1). Ничего не известно и о контактах Военского с другими создателями журнала «Былое».

⁶⁰ Цареубийство 11 марта 1801 года: Записки участников и современников. СПб., 1907. В последние годы это издание было дважды переиздано: в 1990 г. СП «Вся Москва» и издательским объединением «Культура» был сделан репринт, а в 1996 г. издательством «ТЕРРА» новый набор. Странно, что в обоих случаях для переиздания было избрано первое издание (1907), а не существенно дополненное второе (1908).

⁶¹ Единственное новое исправление было внесено в примечания, очевидно, с подачи Шубинского, писавшего Военскому о «крупном промахе» в биографическом примечании о княгине Ливен — в девичестве Шарлотте Поссе, а не Доротее Бенкендорф (см.: ОР РНБ. Ф. 152. Оп. 2. Д. 797. Л. 24).

⁶² ОР РНБ. Ф. 874. Оп. 1. Д. 108. Л. 126–126 об. (не датировано; написано не ранее конца ноября — не позднее 4 декабря [1907 г.]).

⁶³ Свет: Сборник романов и повестей. 1911. Т. 10. С. 1–76 (1-я паг.). Отд. отт.: СПб., 1911.

⁶⁴ См. примеч. 4.

Б. Ф. Егоров

В. В. БЕРВИ-ФЛЕРОВСКИЙ КАК УТОПИСТ

Вильгельм Вильгельмович Берви (1829–1918), русифицировавший свое имя в виде Василия Васильевича, был сыном известного (главным образом по яростной критике Н. А. Добролюбова) казанского профессора филологии В. Ф. Берви, убежденного антиматериалиста и консерватора. Сын же, воспитанный в радикальном студенческом окружении, особенно в кружке близких к петрашевцам братьев Бекетовых, пошел совсем другой дорогой. Вернее сказать, вначале перед ним маячил тоже академический, профессорский путь. Блестяще закончив юридический факультет Казанского университета в 1849 г., Берви был направлен на службу в Петербург, в Министерство юстиции. Через 10 лет он уже был чиновником особых поручений при министре в чине надворного советника (что аналогично военному званию подполковника) и стал задумываться о профессорской кафедре в Петербургском университете, хлопоча о научной командировке в Германию на два года. Однако живой и благородный характер молодого чиновника испортил перспективу: осенью 1861 г. он участвовал в петиции к царю, в поддержку студентов Петербургского университета, пострадавших при разгоне их митинга; а в феврале 1862 г., защищая либеральных тверских дворян, не согласившихся с ограниченностью царского указа об освобождении крестьян (дворянам грозила тюрьма), Берви

отправил петиции царю, всем губернаторам России — и письмо в английское посольство. За это Берви был отправлен в психиатрическую лечебницу (судьба Чаадаева почти полностью повторилась!), а потом по суду был уволен со службы и сослан в Астрахань.

Так начались многолетние мытарства ученого, который несгибаемо продолжал — фактически легальными средствами (статьи в газетах, участие в судах в качестве адвоката, письма) — бороться на местах с юридическими злоупотреблениями властей. С героически преданной ему женой и с подраставшими детьми Берви, после еще одного суда в Казани (были обнаружены его связи с революционными кругами города), отправился в сибирскую ссылку (Кузнецк, Томск), а затем — в города Европейской России (Вологда, Тверь, Кострома). В промежутках иногда удавалось перейти в ранг «свободного» человека (но поднадзорного и не могущего жить в Петербургской губернии). Нельзя не поражаться, как в условиях холода и голода (случайные заработки были мизерными) Берви умудрялся заниматься творческой научной деятельностью. Первая его книга «Положение рабочего класса в России» (СПб., 1869; 2-е издание 1872 г. было запрещено и конфисковано) имела громадный успех в России и за рубежом (например, весьма положительно отозвался К. Маркс). Помимо обширнейшего фактического материала книга насыщена радикальными воззрениями автора, укрывшегося под псевдонимом «Н. Флеровский». Берви в духе будущих народников недоволен концентрацией рабочих на крупных промышленных предприятиях (это приводит к разврату, безотцовщине и т. п.), отходничеством, многомесячным отсутствием крестьянина в деревне, в семье и ратует за крестьянскую общину и нормальную семью.

Большим успехом, особенно в формировавшихся тогда народнических кружках, пользовалась и вторая книга Берви (вышла анонимно) «Азбука социальных наук» (СПб., 1871; 3-я часть книги — Лондон, 1891).

Но наиболее обстоятельно мировоззрение и утопические идеалы Берви 1870-х гг. воплощены в автобиографическом романе «На жизнь и смерть. Изображение идеалистов».¹ Известно, что книга анонимно была напечатана в Женеве в 1877 г. Часть тиража имеет выходные данные: «С.-Петербург. Отпечатано в типографии В. Белогубова. 1877», но это чистая фикция, ни при какой тогдашней погоде невозможно было в России издать книгу, где описываются аресты и ссылка героев, распространение прокламаций и нелегальной литературы и т. п. Роман написан абсолютно свободно, бесцензурно — поэтому он особенно ценен.

В философском смысле автор — убежденный идеалист. Название романа содержит как бы двойной смысл: имеется в виду идеализм психологический (герои — возвышенные романтики, мечтатели, идеалисты) и идеализм философский (в основе мира, даже в неживой природе, лежит мысль, идея; мысль является причиной прогресса и усовершенствования). Наука как воплощение мысли — двигатель общественного развития. Древние религии, отражая веру людей в непоколебимые и основополагающие нравственные ценности, были источником древней цивилизации, но потом эти религии стали отставать от науки. Христианство повторило процесс, и теперь «религиозное мировоззрение людей цивилизации очутилось в полной дисгармонии с умственным развитием».² Необходимо создавать «новую человеческую расу», которая будет проповедовать «новую религию» (3, 8). «Человек, с теми свойствами, которые он унаследовал от животного и с которыми он развивался тысячелетия, исчезнет без следа и уступит место той человеческой расе, которую он должен был развить из себя — человеку органически связанного человечества» (1, 209).

В книге подробно излагаются черты этого нового. Человечество преодолет разобщенность и эгоизм (Берви считает эгоизм пережитком, идущим от «человека-животного», поэтому резко возражает против оправдания эгоизма, в том числе и против «разумного эгоизма» Чернышевского), в мире будет господствовать солидарность и единство: нужно «заменить борьбу симпатией и гармоническим действием» (1, 189).

Берви верит, что люди «новой расы» смогут удалить все формы антагонизма и погрузиться в мир любви и солидарности: «...там, где люди чувствуют возвышенно и прекрасно, они все между собою согласны; их вражда начинается там, где начинается в них низкое и грязное» (1, 129). Любопытно, что Берви большие надежды возлагает на свое отечество. Ныне, говорит он, Россия в области науки и промышленности лишь догоняет Запад. «Но если она ступит на путь религиозного преобразования, который заменит христианскую религию такою, которая из врага науки сделается живейшим источником ее развития, положение России по отношению к цивилизованному миру изменится радикально. Из ее рук цивилизованный мир получит тогда краеугольный камень своей будущей жизни и своего будущего развития» (3, 44).

Новый религиозный человек будет скромным в потребностях, поэтому Берви несколько не сомневался в осуществлении уравнительного коммунизма. «Пусть имущество, производимое руками человеческими, разливается между людьми равно и одинаково» (3, 182). «Общество только тогда удовлетворит человека, когда его жизнь будет пикник, куда всякий принес все, что он создал своими руками, по собственному своему стремлению для общего употребления, и где всякий берет из снесенного сколько он хочет, без всякого ограничения, кроме чувства деликатности» (1, 207). Главное же у Берви — пропаганда умственных занятий и нравственной высоты: «Умственно развитые люди будут все яснее понимать, как ничтожны матерьяльные наслаждения сравнительно с умственными, а чисто умственные сравнительно с возвышенно нравственными» (3, 184).

Поэтому двойник автора студент Павел Скрипицын откровенно спорит с знаменитыми идеалами Фурье: «Когда я читаю Фурье, я вовсе не желаю наслаждаться так, как наслаждаются в фаланстере; его вечный праздник и свобода любви вовсе меня не пленяют, да я и не мог бы так жить; мне нужно мыслить, а не плясать, мне нужны восторги идей, а не поцелуи и восторги сладострастия» (1, 45).

Естественно, Берви косвенно спорит и с Чернышевским, с его четвертым сном Веры Павловны из романа «Что делать?», где тоже чрезмерно выделены пляски и поцелуи. Любопытно, что отношение к Чернышевскому в книге двойственное: с одной стороны, «между нами Чернышевский самый серьезный и светлый человек» (1, 110), а с другой — «...я увидал, что он хочет меня переделать — в настоящем моем виде я диссонанс в их гармонии <...>. Чернышевский пропагандист, он всех людей хочет сделать по-своему. Наши все таковы» (1, 110).

Берви, как и его герой Скрипицын, оказывается чуть ли не белой вороной среди «наших», он стоит скорее за постепенный переход к гармонии и «новой человеческой расе», чем за скоростную ломку. Ломать надо, вся книга говорит о желании автора изменить социально-политический строй. Более того, известная ментальность радикалов о разрушении старого мира (не забудем, что в русском «Интернационале» строку «Весь мир насилия мы разроем» быстро заменили на «разрушим») проникала и в сознание Берви: «Разрушайте и в себе, и в других те чувства и ложные воззрения на счастье, из

которых они происходят, разрушайте те учреждения, которыми они питаются. Разрушайте всюду и везде, где вы можете их настигнуть, и наследственную власть, и наследственную собственность, и безотчетное распоряжение» (3, 182).

Но в целом к революциям Берви относится очень осторожно: «Революция не может быть целью — это средство, и притом такое средство, которое всего опаснее в руках людей, не имеющих определенных и совместимых целей» (1, 110–111). Размышляя о необходимости найти вождя современного радикального движения, Берви останавливается и на личности А. И. Герцена: «Хотя Герцен и не так односторонен, как другие, но он все-таки умеет только весьма искренно бить в революционный барабан; он явно не знает, что если возможно сделать революцию для какой-нибудь партии, то совершенно невозможно сделать партию для революции» (1, 110). Из контекста следует, что под «партией для революции» подразумевается не партия, а общенародная организация, созданная на принципах всеобщей солидарности, всеобщего единства. Только такую революцию Берви принимает, а и Чернышевского, и Герцена он считает партийными в узком смысле, т. е. выразителями идей и настроений определенной, достаточно узкой группы людей. Впрочем, к групповым, партийным идеалам разного рода радикалов Берви весьма толерантен. Он с сочувствием относится к интеллигентским коммунам «шестидесятников», к хождению в народ. Особенно он уважает народников, мечтающих не о бессмысленном бунте, а о просвещении и сплывающих крестьян для судебно-законного отпора наглým экономическим притязаниям помещиков и деревенских богатеев, сочувствует практическим коммерческим делам близкого к героям книги крестьянина-рабочего Ланшакова (строит водочный завод, а потом переходит к владению постоянным двором).

Однако Берви не скрывает великих трудностей даже «мирной» пропаганды в народе, постоянно описываются аресты, тюрьмы, ссылки, ранние смерти героев. И большой трехчастный роман объемом свыше 600 страниц заканчивается описанием тяжелого физического и духовного состояния Скрипицына, находившегося в далекой сибирской ссылке: «...тяжкая, давящая боль стискивала ему сердце и не оставляла его много часов, и в те часы ни одна мысль не проскользала по его голове. Умирай, несчастный, умирай скорее, пусть скорее успокоится твоя душа» (3, 190).

Берви в отличие от Чернышевского, надеявшегося на скорейшую социально-политическую «перемену декораций», показывает, насколько труден и многолетен путь к счастью и гармонии человечества. Советские исследователи, отдавая дань замечательным трудам экономиста и социолога, даже пытались «приподнять» его над либеральными народниками (на самом-то деле Берви очень близок к либералам во второй половине жизни), в то же время опускают его при сопоставлении с Чернышевским: «Флеровский стоял на целую голову ниже Чернышевского», разрабатывая методы борьбы с помещиками, ибо «предлагал умеренные реформы» вроде выкупа помещичьих земель и запрещения наследования.³ На самом деле и в своем крайне осторожном отношении к революции, и в скепсисе по поводу фурьеризма Берви, наоборот, стоял на голову выше Чернышевского. Любопытно ведь, что в справке III Отделения о позднем, 1890-х гг., Берви с одобрением сообщается, что он живет «особняком» от радикальных кругов «в качестве разочарованного революционера».⁴ Хотя Берви дожил до революционных бурь XX в., но, больной и немощный, он уже не участвовал в них как творческая личность. Скончался он, пригретый сыном, в 1918 г. в Юзовке (потом Сталино, Донецк).

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Литература о Берви очень велика, но специально этой книге посвящено всего одно исследование: *Зиновьева М. Д.* Роман В. В. Берви-Флеровского «На жизнь и смерть» // Русская литература. 1967. № 3. С. 174–183. К сожалению, автор скована советским («марксистским») мировоззрением.

² *Берви-Флеровский В. В.* На жизнь и смерть: Изображение идеалистов. Женева, 1877. Ч. 1. С. 40. Роман состоит из трех частей, пагинация

в каждой части отдельная. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием части и страницы арабскими цифрами.

³ *Подоров Г.* Жизнь и творчество В. В. Берви-Флеровского // *Берви-Флеровский В. В.* Избранные экономические произведения: В 2 т. М., 1958. Т. 1. С. 16–17.

⁴ Цит. по кн.: *Аптекман О. В.* Василий Васильевич Берви-Флеровский: По материалам б. III Отделения и Д.Г.П. Л., 1925. С. 146.

В. Н. Гинев

РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ ЭВОЛЮЦИЯ? СПОР БЫВШЕГО НАРОДОВОЛЬЦА ЛЬВА ТИХОМИРОВА С ВЕТЕРАНОМ НАРОДНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ ПЕТРОМ ЛАВРОВЫМ¹

В августе 1888 г. в Париже вышла из печати брошюра «Почему я перестал быть революционером», вызвавшая большой шок в среде российских революционных эмигрантов и одновременно большое удовлетворение во властных структурах России. И неудивительно. Ведь ее автором был один из руководителей легендарной «Народной воли», бывший член ее Исполнительного комитета Лев Александрович Тихомиров, находившийся с лета 1882 г. в эмиграции.

В первых же строках своего откровения Л. А. Тихомиров заявлял, что его «скептицизм в отношении различных основ нашего революционного мирозерцания <...> пробудился уже давно» и решение перестать быть революционером вызревало у него несколько лет. Первые признаки «скептицизма» он находил у себя, правда задним числом, чуть ли не с конца 1880 г. Его отход от активной революционной деятельности усиливался по мере нарастания неудач «Народной воли» после 1 марта 1881 г. В итоге за границу в 1882 г. он уехал, хотя и «с согласия товарищей, но без всяких поручений и вообще совершенно свободный». ² Некоторые обстоятельства, о которых Тихомиров рассказал в своих воспоминаниях, писавшихся во второй половине 1890-х гг. уже после возвращения в Россию, вернули его на несколько лет в деятельную эмигрантскую среду в связи с изданием заграничного «Вестника Народной воли», но известия о частых провалах в Петербурге и провинции, особенно после ареста Г. Лопатина в октябре 1884 г., возобновили и усилили его сомнения в достижении позитивных перемен в России революционным путем и ускорили коренной пересмотр прежних взглядов.

Доказывая, что это произошло не вдруг, Тихомиров привел в брошюре выдержку из своего дневника за март 1886 г.: «Я окончательно убедился, что революционная Россия,

в смысле серьезной сознательной силы — не существует».³ Эта запись, датированная 8 марта 1886 г., действительно есть в дневнике (часть дневника Тихомирова вперемешку с отдельными главами его позднейших воспоминаний Центрархив опубликовал в 1927 г.). Последующие приезды революционеров из России, так же как все, что приходилось узнавать о России, постоянно еще более подтверждали это убеждение. «Революционеры есть, они шевелятся и будут шевелиться, но это не буря, а рябь на поверхности моря. Народ страшно измельчал, они способны только рабски повторять примеры былых героев <...> Конечно, это не мешает им быть хорошими людьми, но этого в политике мало».⁴

По предыдущим и последующим записям в дневнике прослеживается настроение Тихомирова за несколько лет до его публичного отречения от революции.

Декабрьская запись 1884 г.: у Лопатина «попалась, пишут, масса адресов <...> Что делать? Голова трещит, жизненная сила тухнет в организме. Неужели конец <...> И если нет, где же то новое, живое, которое может принести победу?».⁵

За 1885 г. в дневнике всего четыре записи, Тихомиров объяснял это погруженностью в работу над книгой «La Russie politique et sociale» — в случае ее успеха он надеялся приобрести определенное общественное положение во Франции. Записи 1885 г. не дают сведений о настроении Тихомирова, но уже первая запись 1886 г., от 8 марта, приведенная выше, содержит глубоко пессимистическую оценку состояния революционных сил в России. В том же духе и запись 4 августа того же года. Из России приехал «поговорить о своих делах» «очень милый юноша». Тихомиров ему «советовал вести культурную работу, оставивши террор, который только их сбивает с толку». Здесь же резюме: «...по-видимому, партия Н.В. совершенно разбита». Характерен для Тихомирова этого периода его отклик на так называемое второе первое марта — попытку покушения на Александра III членов группы Александра Ульянова 1 марта 1887 г.: «В газетах известия о покушении 1/14 марта против царя <...> жаль, что революционеры тратят на это силы».⁶

В сентябре 1887 г. у Тихомирова состоялся принципиальный разговор со старым соратником по Исполнительному комитету «Народной воли» начала 1880-х гг. — М. Н. Ошаниной, продолжавшей в эмиграции народовольческую программно-тактическую линию первого предмартовского периода. На ее предложение попытаться реанимировать народовольческое дело Тихомиров ответил: «Теперь я бы с большей охотой видел возникновение кружка с здоровым (созидательным и антитеррористическим) направлением. Мне нужно создать партию серьезную, которая могла бы сделаться силой в стране, партию правящую. Для всего этого я не считаю нужным торопиться, я лучше бы хотел, чтобы новое направление назрело». Далее он передает ответ Ошаниной: «Я удивляюсь, — заметила она, — как ты можешь так рассуждать, находясь в такой крайности и в полном бессилии».

Заключительная часть записи этого дня (23 сентября) во многом объясняет последующие действия Тихомирова: решение печатно объявить о своем отказе от революционной деятельности и подать прошение о разрешении вернуться в Россию.

«Этот разговор освежил мне мои собственные мысли. Действительно. Я — ничто, нуль. Я существо даже уже пришибленное. И в то же время я не могу отказаться от желания серьезно, глубоко влиять на жизнь. С чистой совестью я мог бы совершенно отказаться от общественной деятельности, но раз уж ею заниматься, то заниматься серьезно».⁷

Желание влиять на жизнь, т. е. влиять на пути развития России, на ее внутреннюю политику, мечты о создании легальной правящей партии во главе с ним, Тихомировым, — вот что движет вчерашним народовольцем. Революционным, насильственным путем этого достичь не удалось, и в этом смысле перспектив для революционеров и соответственно для себя лично он больше не видит. Оставался другой путь: раскаяться в революционных заблуждениях, признать правомерность самодержавной власти, войти к ней в доверие и «влиять на жизнь» в союзе с ней, признавая при этом ее приоритетность. Разумеется, все это во имя блага России, русского народа. Похоже, что Тихомиров сам себя убедил в благотворности для России созревшего в его сознании плана действий и не считал его иллюзорным.

Высказывавшееся время от времени в дневниковых записях 1886—1887 гг. сожаление по поводу неразумности студенческих волнений в России или сетования в связи с неправильными с точки зрения Тихомирова действиями революционеров сменились в начале 1888 г. раздражением по этим поводам, резкостью личных и общих оценок. «Те, кто помоложе, — что за жалкий народ! Я теперь от них на 10 000 верст. Я безусловно ничего общего с ними не имею и просто начинаю ненавидеть то бунтовское направление и настроение, которые составляют существеннейшую прокладку нашего революционного движения». Правда, в этой же записи (от 5 января) есть и самокритичное признание: «Однако, — пока сам не сумел еще отрешиться от „революционных“ точек зрения, — мне трудно было понять всю нелепость этого слоя пены...».⁸

Перемены во взглядах Тихомирова не остались незамеченными в эмигрантской среде, и это нашло отражение в его дневнике. 5 января 1888 г. он записывает дошедшие до него пересуды. На одной из студенческих сходов «кто-то говорил против меня, что, дескать, Тихомиров проповедует, что студенты не должны мешаться в политику <...> Оратор, разумеется, находит это очень реакционным. Вообще меня <...> теперь очень ругают, и я этим горжусь: это положительно делает мне честь». 4 марта: «Против меня буря. Был Michel, рассказывал, как ругают меня С. А. и разная сволочь вроде Руб[ановича]».⁹

Обстановка вокруг Тихомирова накалялась. Весной 1888 г. наступил момент, когда надо было сделать радикальный и бесповоротный шаг: напрямую объяснить с бывшими товарищами и дать доказательство российским властям, что он, Лев Тихомиров, член Исполнительного комитета «Народной воли» в начале 80-х гг. и затем редактор заграничного «Вестника Народной воли», действительно отрекается от своего революционного прошлого. Без этого ни о какой надежде на легализацию и возвращение в Россию не могло быть и речи. Необходимо было покончить с двусмысленностью и неопределенностью своего положения. 4 марта 1888 г. он записывает в дневнике: «Я решил писать подробное объяснение, — русскую брошюру».¹⁰

В процессе написания Тихомиров получил, правда, пока еще слабый сигнал от русских властей о том, что его раскаяние может быть принято благосклонно. Знакомец Тихомирова, некий Исаак Павловский, в свое время обвиняемый на «процессе 193-х» (над участниками «хождения в народ» в 1874—1875 гг.), по суду оправданный, но затем административно сосланный на Север, бежал из ссылки за границу. Там в 1880-х гг., еще раньше, чем Тихомиров, он отказался от революционных взглядов и подал прошение о разрешении вернуться в Россию. Павловскому были известны перемены во взглядах Тихомирова, и он знал также о его намерении издать соответствующую брошюру,

обо всем этом он поведал чиновнику российского консульства в Париже. О реакции в консульстве Павловский тут же сообщил Тихомирову, который записал в своем дневнике 19 апреля: «Правительство было бы не прочь со мною примириться <...> Так неожиданно передо мной открывается просвет какого-то нового пути!». И далее: «Я объясняюсь с публикой посредством брошюры. Затем, — пустит ли меня правительство или нет в Россию, — я веду себя одинаково». Как именно? Такое впечатление, будто Тихомиров убеждает самого себя (а может, и будущих историков?) в бескорыстности своих новых воззрений: «Я их буду проводить, и они полезны для правительства, конечно, но не потому что я их провожу, а потому, что они верные, справедливые взгляды. Если правительство будет меня преследовать, это не изменит моих мнений, как не изменило и раньше. Раньше я, преследуемый или получающий милость, одинаково был против правительства; теперь, преследуемый или получающий милость, одинаково буду за легальный способ действия, за монархию, за поддержание порядка и за прогресс».¹¹

Работа над брошюрой заняла «около двух месяцев», для Тихомирова — это большой срок. Объяснение: «много было помех». Запись о готовности рукописи датирована 12 мая 1888 г. После этого Тихомиров с нетерпением ждет ее выхода из печати, волнуется, раздражается медлительностью издателя и наборщиков, подозревает их в сношениях с эмигрантами. 29 июня набор рукописи наконец был сдан в типографию. Но и «поведение типографии» кажется ему «двусмысленным». Дневник от 2 августа: «<...> ходил <...> в типографию ругаться». Очевидно, помогло. Ликующая запись следующего дня, 3 августа 1888 г.: «Брошюра вышла!».¹²

Рубикон был перейден.

* * *

Какие же доводы приводил Тихомиров, обосновывая свой отказ от революционного пути переустройства России?

Объяснив взгляды и действия революционеров, в том числе и свои, прежние, ошибочными, Тихомиров зачислил всех боровшихся и борющихся против самодержавия по существу во врагов России, русского народа, поскольку, писал он, самодержавная власть — «это такой результат русской истории, который не нуждается ни в чем признании и никем не может быть уничтожен, пока существуют в стране десятки и десятки миллионов, которые в политике не знают и не хотят знать ничего другого».¹³ И вообще: «Россия здорова», «Россия... идет своим путем»,¹⁴ отличным от того, на какой ее хочет направить революционная интеллигенция. Революционеры же ставят России «фантастический диагноз» — будто бы страна «находится на краю гибели и погибнет чуть ли не завтра, если не будет спасена чрезвычайными революционными мерами». В действительности «ни для баррикад, ни для ирландщины, ни для заговора в России не оказывается „материала“, т. е. сочувствия, желания народа и общества».¹⁵

Революционеры говорят о необходимости «вернуть венец народу», — писал Тихомиров. Но «народ об этом нисколько не просит, а, напротив, обнаруживает постоянную готовность проломить за это голову „освободителям“».¹⁶ В результате революционерам не остается ничего другого, как прибегнуть к террору, осуществляя его своими силами, без народа. О причинах особо негативного отношения Тихомирова к народовольческому террору будет сказано ниже.

Не ограничившись констатацией бессилия русского революционного движения, Тихомиров пошел дальше, объявив его вредным для России: «Конечно, наше революционное

движение не имеет силы своротить Россию с исторического пути развития, но оно все-таки очень вредно, замедляя и отчасти искажая это развитие».¹⁷

Вред революционеров, по Тихомирову, проистекает из их убеждения, что Россия находится «в каком-то периоде разрушения, который, как веруют, кончится страшным переворотом с реками крови...». Только затем у них «предполагается период созидательный». Он объявляет эту социальную концепцию совершенно ошибочной — «в действительной жизни разрушение и созидание идут рука об руку», т. е. путем эволюции. «Кто имеет силу разрушать, бессильный однако немедленно воссоздать новое, производит только омертвление части общественного организма». Русскими же революционерами, по утверждению Тихомирова, «революционное разрушение», «ниспровержение» рассматривается само по себе «как нечто полезное, содержащее зерно прогресса».¹⁸

Отвергая, по крайней мере для России, необходимость и возможность насильственного пути преобразований, Тихомиров должен был ответить на логически неизбежный вопрос: какой именно прогресс нужен России, какие политические и общественные силы и каким конкретно путем могут его реализовать.

В разных местах тихомировской брошюры в различном контексте имеются мало что разъясняющие формулировки о необходимости «выработать систему улучшений», «служить мирному прогрессу», «вести культурную работу», «культурную деятельность».¹⁹ При этом Тихомиров декларировал, что «не отказался от своих идеалов общественной справедливости».²⁰ Но если раньше у Тихомирова, как народника, общественная справедливость была равнозначна социализму, то в брошюре, написанной в 1888 г., о социализме не упоминалось. Во всеуслышание заявив о том, что перестал быть революционером, Тихомиров умолчал, что одновременно он перестал быть и социалистом.

Только на последних страницах брошюры можно найти, да и то в общей форме, раскрытие предлагавшейся Тихомировым «системы улучшений» для России: «Развитие русской мысли, науки, особенно в столь отставших областях социальной и политической, изучение страны, обновление русского образования, развитие и упорядочение прессы — это главнейшие задачи. Рядом с ними стоит развитие производительности труда, техники, улучшение форм труда, и т. п. Наконец улучшение в организации разных слоев населения, во главе чего стоит конечно — придание серьезного и строго практического характера местному самоуправлению».²¹ Ничего специфически социалистического в этом перечне «улучшений» не содержится.

Конкретное предложение Тихомиров высказал только по земству. Он находил, что «его современная организация явно неудовлетворительна и ставит его в неизбежную оппозицию с администрацией». Чтобы избежать этого, он предлагал «слияние земства с администрацией», подчинение его «необходимому контролю», вообще придать земству «значение низшего органа правительства»,²² т. е. по существу отказаться от земства как органа местного самоуправления.

Главную политическую силу, которая может осуществить намеченную программу реформ, Тихомиров образца 1888 г. видел только в самодержавии и его институтах. «...Русский должен признать установленную в России власть, и думая об улучшениях, должен думать о том, как их сделать с самодержавием, при самодержавии».²³

В обоснование этого утверждения Тихомиров приводит доводы — во-первых, о законности установления самодержавной власти Романовых, которую они получили «от торжественно избранных предков», а поставленное от царя правительство действует,

«признанное народом». Во-вторых, он старается убедить читателей своей брошюры в том, что российское самодержавие способно, может и желает проводить реформы, если в том назревает необходимость. Русская монархия «имеет в своей истории несколько блестящих реформационных эпох». Петр, Екатерина, Александр II — цари-реформаторы. Даже при Николае «развивались все общественные идеи, какими до сих пор живет русское общество». Пушкин, Гоголь, Толстой «составляют доказательство, что величайший прогресс литературы совместим с самодержавием». Возражение оппонентов, что это происходило не благодаря, а вопреки самодержавию, кажется Тихомирову «жалким»: «Но если бы даже и так: не все ли равно “благодаря” или “вопреки”, коль скоро прогресс и очень быстрый оказывается возможным?».²⁴

Российский самодержец, согласно Тихомирову, поддержит реформаторов и даже может поставить свое правительство «во главе реформы» при двух условиях: если реформаторы действительно выработают необходимую программу и убедят власти в ее полезности и если при этом у реформаторов не будет поползновений ограничить самодержавие и у самого самодержца не возникнет на этот счет никаких подозрений.²⁵ Россия, убеждал Тихомиров, «с ее далеко не законченными национальными задачами и с множеством внутренних неудовлетворенных запросов» более, чем какая-либо другая страна, нуждается в прочном и сильном правительстве. Какие именно задачи и запросы необходимо решить, не разъяснялось, но из вышеизложенного он делал безапелляционный вывод: «Сильная монархическая власть нам необходима, и думая о каких-либо усовершенствованиях, нужно прежде всего быть уверенным, что не повредишь ее существенным достоинствам».²⁶

Парламентаризм «как система государственного управления», по мнению Тихомирова, «неудовлетворителен». Поэтому в качестве реформаторов либералы, которые «постоянно надоедают правительству стопами об увенчании здания», не годятся. Для обоснования своих притязаний они прибегают «к самой тенденциозной пристрастной критике» любых мер правительства и тем самым «сами себя вытесняют из участия в управлении страной».²⁷

Тихомиров утверждал, что еще за несколько лет до написания брошюры у него появилось намерение и он делал попытки перестроить «Народную волю» из революционно-террористической партии в легально-реформистскую. Он желал «единения партии со страной» и «хлопотал» об этом. Революционная деятельность народовольцев должна была постепенно вытесняться «созидательной». Тихомиров, по его словам, требовал «уничтожения террора и выработки великой национальной партии», и в конечном итоге такая «разумность действия» должна была, как им задумывалось, «в логическом развитии сделать еще шаг вперед и совершенно отбросить революционность действия». Но неистребленная приверженность к террору «помешала партии превратиться в широкое общественное движение». Преобразовательные идеи Тихомирова в отношении «Народной воли» «оказались однако выше понимания революционеров».²⁸

Оставалась еще непартийная учащаяся молодежь. В специальном разделе своей брошюры Тихомиров убеждает ее не увлекаться фантастическими революционными теориями, не гибнуть без пользы для России, а выучившись в университетах, «служить мирному прогрессу». Но в то же время он считает, что наметить «собственной работой, собственной мыслью и исследованием главнейшие пункты устройства России» — «задача не по ее силам».²⁹

Кто же тогда должен выработать программу «устроения» России?

Прежде всего, пишет Тихомиров, это долг таких, как он, — «намутивших <...> столько революций», но затем много «передумавших» и почувствовавших «стремление к трезвости мысли». Но таких оказывалось очень немного. Однако среди «нашего» поколения, писал Тихомиров, приближающегося к сорокалетию, есть часть, не позволившая увлечь себя в революцию, и теперь среди них имеется много влиятельных членов «русского общества». «Средства мирного развития страны в их руках». Имеется также немало личностей, «давно пролагавших путь» так, как делает теперь он, Тихомиров, но до сих пор они мыслили и действовали в одиночку. Из всех перечисленных элементов Тихомиров, надеясь вернуться в Россию, предполагал образовать некую «партию законного прогресса». «Пусть ее люди служат, работают, пусть они имеют всегда готовую систему, приспособленную к нуждам положения, и практичность которой может быть доказана Государю. В минуту, когда Император решит призвать к власти прогрессивную партию (что он непременно будет делать от времени до времени, если только убедится, что эта партия искренно признает его верховные права), партия прогресса должна быть готова оправдать призыв и сделать по устроению России действительно все, что можно».³⁰ Тихомиров предусматривал и вариант, когда монарх по каким-либо соображениям не поручит «партии законного прогресса» проведение реформ. Проявляя безоговорочную лояльность к самодержавной власти, Тихомиров демонстрировал готовность к полному смирению перед монаршей волей и призывал своих сторонников «покориться» и готовиться «к следующему разу».³¹

* * *

Брошюра Л. А. Тихомирова вышла из печати 3 августа 1888 г., а 23-го ему сообщили, что П. Л. Лавров пишет на нее ответ. 17 сентября в дневнике Тихомирова появилась запись: «Получил брошюру Лаврова против меня».³²

Ответ П. Л. Лаврова имел название «Письмо товарищам в Россию по поводу брошюры Л. А. Тихомирова». По объему контрброшюры Лаврова (около двух печатных листов) не уступала сочинению Тихомирова, и можно подивиться оперативности Петра Лавровича и в ее написании, и в издании, тем более что в конце печатного текста стоит дата — 10 августа 1888 г.

Лавров был обеспокоен тем, что «отступничество» революционера с таким авторитетом, какой был у Тихомирова, «может вызвать <...> смуту <...> особенно в умах молодых», хотя тут же просил извинения за такое предположение, объясняя его давней оторванностью от Родины, которая не позволяет ему «вполне оценить степень жизненности в ней возмущения противу безобразий современных порядков». Тем не менее Лавров счел необходимым публично опровергнуть доводы Тихомирова своими «логическими рассуждениями».³³

В «Письме товарищам...» проявился типичный Лавров с его довольно тяжеловесным слогом обстоятельного и рассудительного философа и социолога, каким он был всегда со времен знаменитых «Исторических писем» (Неделя. 1868–1869). Так же, как и тогда, он предлагает «критически мыслящим личностям» самостоятельно, без преклонения перед авторитетами оценить аргументы спорящих сторон.

Первый логический удар Лавров нанес по тихомировским рассуждениям о революции и эволюции. Лавров теоретически не отдавал предпочтения ни тому, ни другому пути развития как «биологической особи», так равно и «социологической коллективности».

В одной из стадий развития «в обществе преобладают явления мирных реформ», но наступает период, когда становится необходимой хирургическая помощь революционеров. Ее отсутствие «может повести к общественной смерти, к невозможности прогресса на неопределенный период». Революционеры и «люди мирных реформ» спорят, какое средство надо применить для излечения общественных болезней. «Иногда правы те, иногда другие», каждый «в свое время». Здесь важно верно определить, какое время в данный период переживает общество, поставить правильный диагноз, но у Тихомирова вместо этого — неизменная «антипатия к насильственной революции вообще». У Лаврова антипатии к мирным реформам не было, но периодическую смену реформационного фазиса революционным (и наоборот) он считал закономерной. «Безусловное порицание <...> и мирного реформаторства, и революционизма выказывают одинаково смутное понимание социологической эволюции».³⁴

Тот же неоднозначный подход, который был применен Лавровым в вопросе о соотношении революции и эволюции, он применил при оценке роли самодержавия: не абсолютизировал его реакционность. Лавров отмечал, что и в ряде стран Западной Европы в XVIII в. самодержавие периодически было реформаторским, и тогдашняя интеллигенция была на стороне самодержцев, борющихся с «феодальной самовластью». Положение изменилось к концу царствования Александра I, а причисление Тихомировым «пресловутого государя» Николая I к царям-реформаторам вызовет у читателей тихомировской брошюры, по мнению Лаврова, лишь «улыбку». Да, писал Лавров, прогрессивные идеи «при Николае» развивались, но это были «идеи оппозиции самодержавию, крепостничеству, бюрократии...». В обществе возникла потребность в правовом строе, но «понятие о правовом строе и неограниченной власти рядом ужиться не могли», и «с тех пор неудержимо и фатально самодержавие должно было регрессировать».³⁵ Тем более оно несовместимо с принципами социализма, о котором Тихомиров умалчивает (и Лавров отмечает это упорное умолчание³⁶).

Однако рассуждения о несовместимости социализма с самодержавием — не главная тема в брошюре Лаврова. Его приоритетная практическая цель — опровергнуть утверждение Тихомирова о возможности реформ в России при самодержавии Александра III, его призыв проводить реформы «вместе с самодержавием» именно при этом монархе. «Трудно было выбрать минуту в эволюции русского самодержавия, когда подобный призыв резал бы уши бóльшим противоречием с существующими порядками, видимыми и ощущаемыми для всякого русского».³⁷

Лавров вопрошал: возможно ли сейчас в России свободное развитие социальной науки, «когда все университеты, один за другим, лишаются своих лучших профессоров», когда даже официальные статистические комитеты ограничены в функционировании. Возможен ли при правительстве Александра III серьезный характер местного самоуправления, может ли ныне царствующий самодержец и его окружение обеспечить, как утверждает Тихомиров, всем гражданам средства для физического и духовного развития, может ли молодежь при существующих условиях подготавливаться к роли будущих государственных и общественных деятелей?

Очевидно Лавров полагал, что однозначные ответы на все эти вопросы дает сама российская действительность и потому не приводил каких-либо конкретных примеров, кроме вышеупомянутого увольнения либеральных профессоров. Вместо этого он заключал: «Я ни минуты не сомневаюсь, что всякий развитый русский человек ответит на

эти вопросы отрицательно». А у Тихомирова — «добровольное закрытие глаз перед невозможными условиями культурной работы в нынешней России». При Петре и Екатерине «интеллигенция была тогда за самодержавие и отшатнулась от него, перешла к оппозиции все более и более решительной, и поставила, наконец, в своем меньшинстве вопрос о революции».³⁸

Лаврова несколько не смутил тезис Тихомирова о революционерах, идущих против многомиллионного народа, охотно признающего неограниченную царскую власть. «Печальная история» русского народа, — отвечает Лавров, — «не позволила ему надлежащим образом развиваться», поэтому сознательная революционная личность должна считаться только с «истинными потребностями большинства населения <...>, а вовсе не с привычными, хотя бы для „миллионов“, формами мысли и жизни».³⁹ На утверждение Тихомирова, что фантазерское состояние ума достигает высшей степени у революционеров, Лавров отвечал в том же духе: «Надежды на правительство Александра III <...> могут быть в глазах не одних революционеров несравненно большим фантазерством». В брошюре Тихомирова, по словам Лаврова, нарисована «совершенно уже сказочная картина будущей реформаторской деятельности русского самодержавия, чуть ли не при пособии бывших революционеров».⁴⁰

Нынешняя Россия, по убеждениям Лаврова, переживает революционный фазис. Существующие в стране условия делают «всякую серьезную культурную работу невозможной». С самодержавием Александра III «никакие сделки невозможны. Оно должно быть разрушено».⁴¹

Таковы основные доводы П. Л. Лаврова против основных тезисов брошюры Л. А. Тихомирова. Тихомиров не оставил их без ответа. Но сделал он это уже из России, со страниц «Московских ведомостей».

* * *

На последних страницах ответа Л. А. Тихомирову П. Л. Лавров в сильных выражениях дал прогноз дальнейшей судьбы своего бывшего соредактора по «Вестнику Народной воли». «Он — апостол „Самодержавия“ и ждет лишь торжественной минуты, когда его призовет его владыка и пригласит во славе воссесть одесную своего престола. Наступит ли для Л. А. Тихомирова эта минута забвения всего его прошлого со стороны самодержавной власти, сказать трудно. Он уже заслужил это забвение, но не всегда всем воздается по заслугам, даже со стороны русского самодержавия. Любопытен и грозен вопрос: до чего он дойдет?». Что ждет его в России, «если для него откроются ее пределы»? Отношение революционеров к нему понятно — он для них «чужой». Он отступник и в глазах либералов, их ряды «будут перед ним замкнуты». «Ему будут открыты, может быть, лишь ряды сторонников „Московских ведомостей“ и „Нового времени“». Ему будут открыты их салоны и их объятия».⁴²

Первые же действия Тихомирова, которые он предпринял после выхода своей брошюры, были призваны выразить его желание стать верноподданным российского императора, заслужить прощение властей и получить разрешение легально вернуться в Россию. В течение августа—ноября 1888 г. им было разослано около сотни экземпляров брошюры в редакции русских столичных и провинциальных газет и отдельным лицам, среди которых обращают на себя внимание фамилии И. И. Воронцова-Дашкова, К. Н. Победоносцева, П. Н. Дурново и В. К. Плеве.⁴³ Копию письма последнему от 7 августа, приложенного к брошюре, Тихомиров включил в свой дневник.

В письме В. К. Плеве Тихомиров с искренней убежденностью осуждал свои «страшные ошибки прошлого» и просил оказать посредничество в получении амнистии. Надежда на это в том тяжелом душевном состоянии, в каком он сейчас пребывает, писал Тихомиров, остается для него единственным лучом света.

Как бы ни относиться к Тихомирову, объективный историк должен отметить, что, желая «начать новую жизнь», он давал понять, что не будет «покупать» ее у правительства и не собирается делать что-либо «противного чести и обязанности порядочного человека». Вместо этого он заявлял о готовности посвятить свои способности публициста «уяснению и укреплению» в русском обществе «здоровых политических идей». Но делать это успешно, убеждал Тихомиров Плеве, можно, только живя в России.⁴⁴

Через несколько недель, в начале сентября, Тихомирова пригласили в русское консульство, где ему сообщили, что, по указанию В. К. Плеве, он должен подать прошение на высочайшее имя.

Разумеется, текст прошения на имя Александра III Тихомиров, так же как и письмо к В. К. Плеве, переписал в свой дневник. Рассказывая о своих взглядах и действиях в те годы, когда он был «охвачен революционной горячкой», Тихомиров писал, конечно в тоне самоосуждения, но, пожалуй, без утайки всего того, что по различным источникам знают о нем современные исследователи народничества. Правда, надо думать, многое о нем знала и тогдашняя тайная полиция, и утаивать что-либо в прошении о помиловании было опасно, так как могло вызвать сомнения у высочайшего адресата в искренности тихомировского раскаяния.

Самым трудным для Тихомирова стала самооценка своей роли в террористических актах «Народной воли». Он признал, что при расколе «Земли и Воли» в августе 1879 г. примкнул к более радикальному крылу, которое «стремилось перейти на почву политической борьбы, имея политические убийства, как средство действия». Тихомиров не отрицал, что редактировал народовольческие программные документы, в которых террор являлся значительной составной частью. Более того — он признавал себя участником обсуждений почти всех планов «преступных покушений» на царя. Но при этом подчеркивал, что «материально и лично не принимал участия ни в одном покушении».⁴⁵ Это было правдой. В. Н. Фигнер, прочитав изданные в 1927 г. воспоминания и дневники Тихомирова, свидетельствовала: «В осуществлении актов борьбы с самодержавием Тихомиров участия не принимал: у него не было темперамента для этого, и он не принадлежал к тем, которые по нравственным мотивам личным участием хотели „слово“ воплотить в „дело“».⁴⁶

Но и свою поддержку террора только словом Тихомиров старался смягчить в глазах властей, утверждая, что с его стороны это была неизбежная дань господствовавшим в революционной среде настроениям, «уступкой» им, «в высшей степени преступною», но все же только уступкой, на которую он пошел потому, что его ум и совесть, «хотя в меньшей степени, были тогда омрачены общим туманом». Однако «террористом в строгом смысле слова», по его мнению, он не может «быть назван».⁴⁷

Это, на мой взгляд, было уже полуправдой.

Действительно, народоволец Николай Морозов, крайний приверженец систематического террора, сохранил, спустя много лет, неприязнь к Тихомирову за то, что тот, будучи редактором печатного органа «Народной воли», отвергал его ультра-террористические статьи.⁴⁸ Но та же В. Фигнер в уже цитированных воспоминаниях писала:

«Как член Исполнительного Комитета, при обсуждении этого рода дел (о подготовке покушений на царя. — В. Г.) Тихомиров никогда не подымал своего голоса против».⁴⁹

Сам Тихомиров в прошении о помиловании в это утверждение В. Н. Фигнер по существу вносит поправку. Если принять его слова на веру, получается, что по крайней мере два раза он выступал против организации немедленного покушения на царя. Чувствуется, что более всего Тихомиров не хотел, чтобы Александр III увидел в нем одного из убийц своего отца: понятно — в этом случае никаких шансов на помилование и легализацию в России быть не могло. В своей брошюре Тихомиров писал, что «по совести и убеждению» служил революционному делу «до почти конца 1880 года». «Странная дата», — заметил по этому поводу Лавров.⁵⁰ Но ничего странного в этой дате нет, ибо именно с конца 1880 г. «Народная воля» начала подготовку к очередному покушению на Александра II, которое, как известно, 1 марта 1881 г. окончилось для нее удачей.

Тихомиров утверждал, что при обсуждении этого вопроса в конце 1880 г. он «высказался в том смысле, что начатое в 1879 г. злоумышление есть роковая ошибка, которая, вероятно, задушит партию». Его не послушали, подготовка продолжалась, участия в ней он не принимал, хотя и «не противоречил» и «знал, что мину ведут на Мал. Садовой». Но за две недели «перед роковым днем» он вообще уехал из Петербурга, а вернувшись как раз 1 марта, только тогда случайно узнал о свершившемся.⁵¹ После знакомства с этим рассказом становится более понятной его отчаянная разъяренность, отражившаяся в дневниковой записи 30 октября 1888 г.: «Получил от Savin'a статью „Matin” и еще другую, подлейшую, в „Cosmopolite”. Не знаю, что и делать: рассказывает, будто я участвовал в убийстве государя 1 марта 81 г. Опровергать, что ли? Мерзавцы!».⁵²

Но второй раз, сразу после убийства Александра II, Тихомирову, по его словам, удалось убедить товарищей в нецелесообразности немедленного покушения на нового царя, «не успевшего определить своей политики», и будто бы именно по его настоянию Исполнительный комитет ограничился открытым письмом к Александру III. Проект письма поручили составить Тихомирову.⁵³ Письмо было выдержано в вежливом, но ультимативном тоне: политическая амнистия, свободные выборы в Учредительное собрание — или продолжение террора.⁵⁴ Все же это было письмо, а не бомба, в чем Тихомиров, по-видимому, видел для себя смягчающее обстоятельство.

В брошюре «Почему я перестал быть революционером» самые резкие и, надо признать, самые сильные места те, где Тихомиров критикует террористическую тактику «Народной воли».

«Терроризм как система политической борьбы или — бессилен, или — излишен; он бессилен, если у революционеров нет средств низвергнуть правительство, он излишен, если это средство есть».

С этим тезисом Тихомирова можно согласиться, имея в виду, что он относится к индивидуальному террору в России второй половины XIX в., когда террор не был составной частью массового движения, еще не приобрел глобальных масштабов и был направлен преимущественно на представителей властной элиты.

Вполне убедителен и довод Тихомирова, что, как бы неуютно не чувствовали себя император и правительствующие лица, уступать в чем-либо существенном террористам они не станут: «во-первых, это было бы слишком малодушно», во-вторых, «подготовляло бы слишком много опасностей в будущем» — воодушевленные успехами террористы только умножат свои требования. Политические убийства, продолжал он свою

мысль, до сих пор приводили правительство только в «некоторое расстройство», пока оно не убеждалось, что против него не «какая-то грозная сила», а всего лишь «ничтожная горсть», «которая потому и занимается политическими убийствами, что не имеет силы на что-нибудь серьезно опасное».⁵⁵

«Чем меньше страна хочет революции, тем натуральнее должны прийти к террору те, кто хочет во что бы то ни стало оставаться на революционной почве, при своем культе революционного разрушения».⁵⁶

Этот выпад Тихомирова против народовольческого террора по смыслу, можно сказать, созвучен с известной позднейшей его характеристикой классиком марксизма, широко использовавшейся советскими историками: «Террор был результатом — а также симптомом и спутником — неверия в восстание, отсутствия условий для восстания».⁵⁷

Тихомиров эмоционально осуждал террор и с нравственных позиций: «горсть людей», сама сознающая себя «ничтожным меньшинством», присваивает себе право лишать других людей жизни по политическим мотивам! Теоретически он признавал, что «иногда самозванные революционеры нравственно более представляют народ, нежели его законные или хотя выборные представители». Но это, по его мнению, не относится к русским революционерам. В их утверждениях, что они выражают истинные интересы народа, Тихомиров видел только «иллюзию нравственного представительства». Опять-таки теоретически он допускал, что «третировать какого-нибудь узурпатора» или предавать смертной казни «тирана» — «позволительно». Но он не считал русских самодержцев ни узурпаторами, ни тиранами — ведь они, по мнению Тихомирова, получили свою власть законно и склонны прислушиваться к разумным советам мирных реформаторов.

Более убедителен Тихомиров, когда он пишет о негативном влиянии террора на общество и на самих революционеров — террор «воспитывает дух своеволия, не совместимый ни с каким общественным строем».⁵⁸ Об этом писали и говорили и самые стойкие народовольцы, в частности В. Н. Фигнер, А. И. Желябов.⁵⁹

Но, как уже говорилось, развенчивая народовольческий террор, Тихомиров выражал беспокойство не только о нравственном здоровье общества, он имел и личную практическую цель — показать властям свое скептическое отношение к террору с самого начала его возникновения в той организации, одним из руководителей которой он являлся. В своей брошюре Тихомиров разделил пережитый им «революционный период» на три этапа. В первом, донародовольческом, — он бунтарь, мечтает о подготовке крестьянского восстания. В годы успехов «Народной воли» — он сторонник государственного переворота посредством заговора, террор только «терпел», стараясь обуздать его, а деятельность «Народной воли» каким-то образом «подчинить созидательным идеям». Во времена упадка народовольческой организации после марта 1881 г. Тихомиров по-прежнему заговорщик, но к террору относится уже «с резким отрицанием» и опять-таки выступает с требованием усиления «культурной работы». Отсюда уже было недалеко до того, чтобы он, Тихомиров, «отбросил и самую революцию вообще».⁶⁰

Лавров, будучи убежденным сторонником пропагандистски-организаторской подготовки народного восстания, неодобрительно относился к террористической практике, с тех пор как она стала распространяться в народнической среде. Но в конце 1870-х гг. в России не было другой серьезной революционной силы, кроме «Народной воли», с которой стоило бы налаживать связь из-за границы. А без такой связи эмигрант Лавров оставался в изоляции, и его публицистическая деятельность не оказывала необходимого

влияния на русскую демократическую общественность. Террористический элемент в программных документах «Народной воли» занимал значительное место, и ее союзники должны были с этим, пусть с оговорками, но соглашаться. Тихомировское выражение «терпел террор» больше подходит не к нему, а к Лаврову, который четко определил свою позицию: «...раз вступив в союз с народовольцами, как с партией, успевшей наилучше концентрировать русское революционное движение, я считаю себя обязанным принимать все естественные следствия этого союза».⁶¹

Неоднозначное отношение Лаврова к террору должно было отразиться и отразилось на его критике абсолютного неприятия террора со стороны Тихомирова. Лавров не мог защищать террор от тихомировских нападок так, как он защищал революцию и социализм. Он напоминал, что еще в 1880–1881 гг., «когда вся молодая эмиграция была на стороне этих приемов, публично предупреждал слушателей об их опасностях» — о возможном возмущении общества против террористических актов, об опасности истощения сил революционной партии, о возможности появления в среде террористов недостойных личностей.⁶² «Дозволительны ли формы террора?». Вопрос Лавров ставил прямо, но ответил уклончиво: «Террор всегда есть оружие крайне опасное и остается опасным и в России; тяжелую ответственность берут на себя те, которые к нему прибегают; но не эмигрантам, давно уже оставившим отечество, можно произнести приговор о его целесообразности в том или другом случае».⁶³

Тихомиров и несколько его сторонников в Исполнительном комитете действительно представляли не столько террористическое, сколько заговорщическое течение в «Народной воле», особенно усилившееся после марта 1881 г. «Пользуясь своим положением в ИК после 1 марта, где уже не было виднейших руководителей партии, Тихомиров пытался направить всю деятельность ИК по пути заговора. Имелся в виду военный заговор, но он не исключал и дворцового переворота».⁶⁴

Подготовка заговора, знание и недонесение о подготовке покушения на царя были по российским законам вполне достаточным основанием для самого сурового наказания. Лев Тихомиров, если бы был арестован в марте 1881 г., вполне возможно оказался бы рядом с Андреем Желябовым и Софьей Перовской на одном эшафоте. Но в 1888 г., признаваясь в причастности к несостоявшимся планам заговорщиков и одновременно откровенно отрицаясь от совершивших царевубийство товарищей, он рассчитывал на помилование. Опасность отказа все же существовала, и Тихомиров мучительно размышлял, не должен ли он в этом случае, уже объявивши себя верноподданным, «отдаться в руки русской администрации».⁶⁵ Но шанс быть прощенным еще оставался. Четко заявив в своей брошюре: «Я мечтал то о баррикадах, то о заговоре, но никогда не был террористом»,⁶⁶ он дал возможность Александру III, сохранив лицо, амнистировать раскаявшегося заговорщика. Политическая целесообразность этого для русского правительства была очевидной — Тихомиров не ошибся. Однако путь на родину стал для него отнюдь не простым и гладким, да и масштаб деятельности в «русских пределах» оказался довольно далеким от той общественно-политической роли, на которую он надеялся, решившись на отречение от революции.

* * *

После отправления прошения на имя Александра III для Тихомирова потянулись томительно долгие дни и недели в ожидании ответа. Ожидание усугублялось постоянным безденежьем, болезнями жены и малолетнего сына. 1 января 1887 г. он записал в

дневнике: «Безденежье такое, что столько раз буквально голодали. Я совершенно упал духом...».⁶⁷ 1888 г. выдался еще более тяжелым и в материальном, и в моральном отношении, особенно его вторая половина. Записи в дневнике наглядно передают душевную надломленность автора брошюры «Почему я перестал быть революционером». Вот некоторые из них:

25 июня. «Мое положение нестерпимо. Гроша нет и взять негде. В желудке пусто».

26 июня. «Занял 12 фр. у Маринковича до первого».

18 сентября. «Мы проводим дни крайне тяжелые. Со всех сторон грызня. Денег ни гроша, да и не предвидится ниоткуда. На дозволение вернуться в Россию тоже как-то плохо надеемся».

1 октября. «Заложил часы <...> Мы остались без печки...».

3 октября. «Положение такое, что не хочется жить. Денег — ни гроша <...> Взять неоткуда, заложить нечего, просить в долг не у кого <...> Ночью, бьет 3 часа. Проснулся в каком-то ужасе, с мыслью, что только я буду делать, чем кормить семью. Вероятно, это потому, что желудок пустоват у самого, и ощущение голода довольно сильно».

5 октября. «Павловский дал 5 франков...».

17 октября. «Так худо, так безрассветно, что и не скажешь. Из Питера — ни слуху, ни духу, да и вообще ниоткуда ни ответа, ни привета, ни поддержки. Голод, холод, тоска, ни настоящего, ни будущего... ни прошлого!».

24 октября. «Все нет ответа на мое прошение государю... Вот уже почти два месяца. Если бы хотели меня простить, — могли бы сделать это уже несколько раз. Что значит?».

3 ноября. «Кампания против меня в газетах...».

7 ноября. «Скоро будемдохнуть с голоду. Страшно холодно. Топить нечем...».⁶⁸

К середине ноября наступило некоторое облегчение: «Получил от Павловского три франка», «Вандакурова дала 10 фр.», а 14 ноября целых 252 франка от доброжелательницы из России О. А. Новиковой. 5 декабря «получил письмо Суворина с предложением сотрудничества и денег вперед» (вскоре было передано 200 р.); вдобавок к денежным поступлениям до Тихомирова доходят слухи «о чтении государем брошюры». Наконец, 10 декабря в русском посольстве: «Получен ответ. Государь император меня амнистировал с отдачей под гласный надзор на 5 лет. Ура! Теперь начинаю новую жизнь. Нужно лишь стараться, чтобы эта новая жизнь загладила все глупости и грехи прошлого... Устал, нет мочи... Завтра куча писем во все стороны».⁶⁹

16 января 1889 г. (по старому стилю) Л. А. Тихомиров выехал из Парижа (жена и сын пока остались во Франции) и 20 января после почти семилетней эмиграции вновь оказался в столице Российской империи, куда в последние эмигрантские годы так стремился. В первые же дни визиты — П. Н. Дурново, А. С. Суворину, Д. А. Толстому, 23 января «был во фраке и т. п. у Плеве — благодарить за внимание». Но слишком долго поднадзорному Тихомирову проживать в Петербурге не полагалось: «Полиция находит, что я чересчур зажился». 25 февраля Тихомиров прибывает в определенное ему место жительства — Новороссийск, обосновывается в доме матери.⁷⁰

Хорошее настроение первых недель пребывания на родине скоро прошло. Зарабатывать на жизнь Тихомиров мог только литературным трудом, но из Новороссийска сноситься с редакциями столичных изданий было затруднительно. Сотрудничество с А. С. Сувориным не налажилось. Тихомиров предполагал, что его консерватизм оказался

слишком крайним даже для редактора «Нового времени». Непросто складывались отношения и с «Московскими ведомостями». Редакция хотела от Тихомирова воспоминаний, интересных для ее читателей, он же был настроен писать статьи «принципиальные». ⁷¹ Все же одна из таких статей — «Несколько замечаний на полемику эмигрантов» была напечатана в двух номерах «Московских ведомостей» за 16 и 18 марта 1889 г.

В своем ответе эмигрантам, прежде всего Лаврову, Тихомиров не стеснялся в выражениях: выдумка и клевета, архаизм, жалкие фразы, спутывание понятий, «много самохвальства и самомнения, и больше ничего». Подписчикам «Московских ведомостей», незнакомым с заграничными брошюрами Тихомирова и Лаврова, многое в тихомировской полемике вряд ли было понятно и потому малоинтересно. Но как защитник самодержавия Тихомиров на страницах «Московских ведомостей» продолжал выступать вполне определенно. Он убеждал в том, что самодержавие в России способно приспособиться к изменяющимся условиям, и это говорит о его жизнеспособности. ⁷²

Зная реальный ход европейской истории XX в., можно согласиться с тем, что монархия (но не «самодержавие», как у Тихомирова) в некоторых странах, действительно, «приспособилась» и потому кое-где сохранилась до наших дней. Но российское самодержавие вопреки прогнозам Тихомирова должным образом приспособиться не смогло.

Эмигранты, писал Тихомиров, полемикой против него стараются «повлиять на слои молодежи, еще доступные, к сожалению, их влиянию». Поэтому главную задачу своей контрполемики он видел в противодействии этим попыткам, надеясь воздействовать на учащуюся молодежь вообще и даже на молодых революционеров в России, призывая их «прогнать туман софизмов и общих мест, чтобы понять, как вся их деятельность не достойна трезвого, взрослого человека». ⁷³

Но искреннее желание Тихомирова помочь правительству в борьбе против «революционных фантазий» довольно долго реализовывалось плохо. Власти не использовали в полной мере с выгодой для себя факт отказа от революционной деятельности и революционных убеждений самого авторитетного лидера «Народной воли» после марта 1881 г. По ряду соображений (о которых ниже) МВД не стало распространять заграничную брошюру Тихомирова в России. Ее автору не было позволено постоянно проживать в Петербурге или Москве — правительство заняло по отношению к нему выжидательно-настороженную позицию.

Оставаясь поднадзорным, Тихомиров не мог проявить себя на общественном поприще в России так, как об этом мечталось во Франции. Вместо этого — прозябание в заштатном Новороссийске, вновь страдания от безденежья и необходимости жить в основном на содержании пенсионерки матери. Все это действовало на него угнетающе. Улучшение настроения после публикации в «Московских ведомостях» продолжалось недолго. Запись в дневнике 28 марта, всего через десять дней после появления в печати замечаний на полемику эмигрантов: «Как-то мне не идет впредь жизнь. Перемены, перемены, а ничего не лучше. Только вместо одних невидимых мук являются другие, такие же неисходные. Да не хуже ли? То была хоть звезда впереди, а теперь — ничего, кроме все большего сознания бессилья!». И тут же: «Нужно бы послать телеграмму Кате (жене. — В. Г.) — гроша нет». ⁷⁴

С течением времени пессимизм только усиливается. Запись 18 июня: «Моя жизнь проходит бессмысленно и тоскливо <...> Энергия падает. О писательстве хоть не думай. Негде. Да и нечего, без сношений с редакциями, без книг, без возможности выехать из

города». У Тихомирова возникает чувство изолированности и невостребованности: «Ненависть радикалов, ненависть либералов, недоверчивое безразличие консерваторов, отсюда отсутствие работы».⁷⁵

В октябре «Московские ведомости» напечатали одну корреспонденцию Тихомирова, но это оказалось эпизодической удачей. Вторую его корреспонденцию не печатают — «решительно к ним невозможно приспособиться», «черт их знает, что им только нужно!». Тихомиров мучительно анализирует свое положение, ищет причины своих неудач. Он приходит к выводу, что не сможет работать, до тех пор пока ему «не развяжут руки», т. е. не отменят гласный надзор и не дадут свободу местожительства. Но — «рук мне не развяжут, потому что недовольны моей бездеятельностью».⁷⁶ Круг замкнулся.

Первый год в России после возвращения из эмиграции принес Тихомирову почти одни разочарования, несколько скрашенные двумя позитивными событиями в личной жизни: 8 мая приехала жена с сыном, а 30 ноября пришло уведомление о царском распоряжении признать брак Тихомировых законным и соответственно законорожденность детей. Но отношения с двумя старшими дочерьми, воспитывавшимися в России у матери и сестры, складывались сложно. 31 декабря Тихомиров, подводя итоги 1889 г., записал: «Остаюсь без самых элементарных гражданских прав, что тяжелее особенно потому, что я на самом деле искренне предан государю», «остаюсь без работы, без малейших средств к жизни», «почти одинок, хотя и в отечестве».⁷⁷

В подавленном настроении 5 января 1890 г. Тихомиров пишет письмо директору Департамента полиции МВД П. Н. Дурново с вопросом, может ли он быть одобрительно аттестован для поступления на государственную службу, хотя бы в пределах Новороссийска. Через две недели приходит вежливый, но отрицательный ответ: «Поступление на государственную службу лицам в вашем положении воспрещается». Однако одновременно дается совет написать письмо лично государю с просьбой о снятии надзора.

Письмо, которое сам Тихомиров назвал «просьбой о доверии», было отослано 30 января — и вновь для него потянулись томительные дни ожидания. «Из Питера ничего. Пошел третий месяц, как я отправил свое прошение».⁷⁸

Положение Тихомирова изменилось к лучшему после напечатания в июне 1890 г. в нескольких номерах «Московских ведомостей» его большой статьи — «Начала и концы. Либералы и террористы». Либералы, по словам Тихомирова, своей постоянной критикой существующих в России порядков дезориентировали молодые незрелые умы, взрыхлили почву, на которой вскоре появились личности, посчитавшие обязательным для себя перейти от либеральных слов к революционным действиям, в конечном итоге — к террору. «Либеральная воркотня только готовила врагов правительства». «Никогда бы и террор не принял своих размеров, никогда бы он не дошел до своего слепого фанатизма, если бы не было объективной причины иллюзии в виде поведения известной части общества».⁷⁹

Итак, по Тихомирову, смута в России ведет начало с безответственной либеральной «воркотни» и кончается террором. Основная идея статьи и ее литературное исполнение произвели благоприятное впечатление на влиятельных людей в Петербурге. В начале июня Тихомиров получил приглашение приехать в столицу. «Статья оказалась замечена, — записал он в своем дневнике 11 и 12 июня. — Делянов сказал Московским ведомостям, что ее нужно отпечатать отдельной брошюрой. Победоносцев назвал ее замечательной и хочет со мной познакомиться». П. Н. Дурново сказал

Тихомирову, что «правительству нужны статьи» — статьи в «Новом времени» слабые, «просил меня», оплатил дорогу из Новороссийска в Петербург и обратно. «Взял, потому что нет ни гроша».⁸⁰

Вскоре после этого, 16 июля, было обнародовано высочайшее повеление о снятии с Л. А. Тихомирова гласного надзора. Неофициально ему сообщили об этом еще 4 июля, когда по пути в Новороссийск он остановился в Москве. Тогда же, уже не поднадзорный, Тихомиров договаривается с редакцией «Московских ведомостей» о зачислении в штат и вскоре переезжает в Москву, чуть позже вызывает к себе семью.

Пессимистический тон дневниковых записей на время прекращается. «Иногда» Тихомиров чувствует себя «счастливым». Подводя итоги 1890 г., благодарит Бога: «Из какой ямы вытащил меня Господь».⁸¹ Однако через некоторое время недовольство собой и обстоятельствами вновь проявляется на страницах дневника. Он неудовлетворен своим положением в «Московских ведомостях». «Эти люди вогнали меня в самую ничтожную роль», по своей глупости используют по минимуму его силы. К тому же — «денег маловато для семьи». Попытка устроиться на государственную службу (теперь в МВД) вновь оказалась неудачной. Тихомирову передали, что его доброжелатель в министерстве П. Н. Дурново «не считает возможным взять на себя инициативу в вашем определении на службу», но «вполне одобрит», если спросят его мнение об этом.

Общая оценка прошедшего 1891 года — «бледный год».⁸²

О 1892 г. итоговой записи нет. Первая оценочная запись следующего 1893 г. сделана 13 февраля: «Ничего особенно худого, да и хорошего ничего». Похоже начинался и 1894 г.: «Хороших видов у меня на новый год не имеется». Л. Тихомиров много работает, несмотря на нездоровье, сотрудничает в ряде журналов консервативного направления, пикируется с либералами, ненавидит революционеров — «этих людей нужно вырвать с корнем». И тем не менее — «сера жизнь, очень сера».⁸³

Российская действительность оказалась для Тихомирова гораздо прозаичней мечтаний 1888 г., когда он принял судьбоносное для себя решение. Определенное разочарование было, но сожаления о сделанном шаге в дневнике абсолютно не просматривается. Как бы подтверждая это, в августе 1895 г. Тихомиров подготовил к переизданию свою брошюру «Почему я перестал быть революционером». Осенью ее «исправленный текст 1888 года» (так значилось в подзаголовке) был напечатан в четырех номерах «Московских ведомостей», в 1896 г. вышел в издательстве Сытина отдельной брошюрой.

Любопытно сравнение двух изданий этого тихомировского сочинения — заграничного 1888 г. и легальных — 1895-го и 1896-го.

* * *

П. Л. Лавров в своем «Письме товарищам в Россию по поводу брошюры Л. А. Тихомирова» высказал «весьма возможное» предположение, что «русское правительство найдет для себя полезным хотя бы негласно позволить ей циркулировать в России, как удобному для себя оружию».⁸⁴ Но Лавров ошибся. Тихомиров в предисловии к изданию 1896 г. объяснил причину несостоявшегося распространения: «Некоторые отдельные места брошюры вызвали недопущение ее продажи в России».⁸⁵

Отмечен лишь один эпизод, когда МВД позаботилось о ее доставке читателям. Этими читателями были народовольцы, отбывавшие каторжные сроки в Шлиссельбургской крепости. В. Н. Фигнер вспоминала: «Не помню точно, но, должно быть, в начале 90-х годов начальство Шлиссельбургской крепости <...> подсунуло нам брошюру

Л. Тихомирова: „Почему я перестал быть революционером”. Хотело ли оно уязвить нас: „Посмотрите на вашего идейного выразителя!”, или преследовало практическую цель: „Не пойдет ли кто из нас по тому же пути?” — не знаю. Быть может, имелось в виду и то, и другое». ⁸⁶

Несколько десятков экземпляров Тихомиров сам разослал по редакциям российских газет и отдельным лицам, но неизвестно, сколько их дошло до адресатов. Тихомиров «даже не предполагал, чтобы она (брошюра. — В. Г.), вызвав против меня целую бурю за границей, могла остаться до такой степени неизвестной, как в этом мне пришлось убедиться через 2–3 года». ⁸⁷

В 1895 г. редакция «Московских ведомостей», полагая (очевидно, с подачи МВД), что «объяснение г. Л. Тихомирова, опубликованное за границей в 1888 г.», сейчас «едва ли не более своевременно», предложила ему «ознакомить читателей с высказанными им тогда соображениями». Но имелось в виду, что автором будут сделаны необходимые исправления текста, на что Тихомиров с готовностью согласился: «Само собою разумеется, что я исправляю все места, признанные в 1888 г. неудобными». ⁸⁸

Какие же места в издании 1888 г. оказались «неудобными» для русского правительства и как их изменил Тихомиров? Помимо довольно многочисленной редакционно-стилистической правки в изданиях 1895–1896 гг. (газетном и брошюрной) имеется около сотни смысловых изменений текста. Современные почитатели монархиста Тихомирова переиздали в 1997 г. его брошюру, но только по тексту 1896 г. ⁸⁹ Было бы интересно переиздать текст 1888 г. с подведением всех разночтений с текстом 1896 г. В данной статье приходится ограничиться приведением нескольких типичных примеров.

Текст издания 1888 г. претерпел изменения по двум основным параметрам. Во-первых, были вычеркнуты или изменены места, где Тихомиров еще в чем-то позитивно характеризовал революционеров или признавал масштабность оппозиционности общества.

Так, в издании 1888 г. (привожу уже цитированное выше место) написано: «Революционеры есть, они шевелятся и будут шевелиться, но это не буря, а рябь на поверхности моря... Они способны только рабски повторять примеры... *Конечно, это не мешает им быть хорошими людьми, но в политике этого мало* (курсив мой. — В. Г.)». Выделенное предложение в издании 1896 г. отсутствует. (Здесь и далее см. соответствующие страницы изданий 1888 и 1896 гг. В данном случае — с. 9 и 24).

Критикуя «Народную волю», Тихомиров в 1888 г. писал: «Но просто по справедливости отмечаю, что программа Н. В. была для своего времени большим шагом вперед». В соответствующем месте издания 1896 г. этого крамольного пассажа, конечно, нет (см. с. 11 и 29).

Формулировка «бессилие революции» заменена на «безнадежность революции» (с. 14 и 35). «Революционеры» (с. 16, изд. 1888 г.) — «бунтовщики» (с. 43, изд. 1896 г.).

В 1888 г. Тихомиров признавал, что «наше революционное движение подчас привлекало настолько выдающиеся силы, что они могли немножко думать и работать при такой противуестественной жизни» (с. 18, изд. 1888 г.). Читатели издания 1896 г. могли прочесть это место только в обезличенном варианте: «Нужны особо выдающиеся силы, чтобы хоть немного думать и работать при такой противуестественной жизни» (с. 46). Тихомиров озабочен судьбой участников волнений студентов — «сотен и тысяч молодых людей» (с. 20, изд. 1888 г.). В издании 1896 г. «тысяч» убрано, зато появились

злостные «подстрекатели» (с. 50). В 1896 г. конкретное указание Тихомирова на то, что «рефлекторные вспышки» студентов вызываются «безобразным поведением <...> администрации» (с. 23, изд. 1888 г.) заменено на безликое — волнения вызываются «чем-нибудь неприятным или ненормальным» (с. 59).

Забываясь о том, как привлечь молодежь на сторону правительства, Тихомиров в 1888 г. считает это невозможным «без упорядочения обстановки студенческой жизни». «Подавляя беспорядки <...>, конечно, следует однако удовлетворить законным потребностям молодости <...> Нужно, чтобы молодежь могла учиться, рассуждать, собираться <...>» (с. 31, изд. 1888 г.). Правительство и местное студенческое начальство всегда опасались студенческих сходок, они были незаконны. Тихомиров покорно убирает в 1896 г. опасное слово «собираться» (с. 80–81). Подобные примеры можно умножить.

Вторым основанием для «недопущения» распространения брошюры Тихомирова в России в 1888 г. явились места, где употребление слов «царь», «самодержец», «император» и т. п. оказывалось в контексте, очевидно, признанном цензурой недопустимым.

«Без сомнения, личная жизнь императора и разных правительственных лиц <...> испорчена постоянным ожиданием покушений» (с. 15, изд. 1888 г.). «Императора» в 1896 г. изъяли (с. 40). Нет никакого права у какой-либо партии «на политические убийства, а тем менее на убийство Верховного правителя страны» (курсив мой.— В. Г.)». Выделенное изъято (см. с. 17 и 44).

«Раз человек против царя и толкует о его низвержении — он „свой”» (с. 24–25, изд. 1888 г.). «Раз человек против абсолютизма — он „свой”» (с. 63, изд. 1896.). «Критики самодержавия» заменено на «критики политических основ русского строя» (соответственно с. 27 и 69), «врагов самодержавия» — «врагов нашего строя» (там же) и далее в том же духе.

Выпустив в свет второе, легальное издание своей брошюры, Тихомиров утверждал, что, несмотря на исправление неудобных мест, он не выставляет «себя теперь хоть несколько иным, нежели был», и свои объяснения, почему он перестал быть революционером, воспроизводит «в подлинности». ⁹⁰ Можно согласиться с тем, что суть причин отказа от революции сохранена в издании 1896 г., но облик автора на их страницах все же несколько иной — более враждебный к своему прошлому и более приспособленный к своему настоящему.

* * *

В данной статье не ставилась цель проследить весь жизненный и общественный путь Л. А. Тихомирова после 1888 г.; она ограничена временным промежутком между двумя изданиями его брошюры «Почему я перестал быть революционером». Но в процессе занятий в РГИА, несколько лет тому назад мне попались два документа, касающиеся Тихомирова более позднего времени, эпизода, имевшего место в феврале–марте 1908 г. Хотелось бы, что называется, ввести их в научный оборот. К этой дате Тихомиров приобрел в глазах властей неоспоримые заслуги на поприще идеологического и исторического обоснования самодержавия в России, за что, по представлению П. А. Столыпина, заслуживал быть отмеченным самодержцем Николаем II.

21 февраля 1908 г. во «всеподданнейшем докладе» П. А. Столыпин дал следующую характеристику Л. А. Тихомирову.

«Литературная и публицистическая деятельность потомственного дворянина Льва Александровича Тихомирова, в течение последних 20 лет сотрудничающего в различных

петербургских и московских изданиях умеренного направления («Новом времени», «Московских ведомостях», «Свете», «Русском обозрении» и других) обращает на себя особое внимание. Обладая широким образованием и выдающимся литературным талантом, Тихомиров в своих историко-политических исследованиях выясняет с неопровержимой доказательностью особые условия развития русской государственности и возникновения и укрепления Верховной Царской власти. Значительное влияние на выработку русского политического идеала, выразителем которого является Царь, оказало, по мнению Тихомирова, присущее русскому народу глубокое религиозное чувство, этическое начало и особенности его социального быта. Идеал этот, которому Россия всегда оставалась верной и который помогал русскому народу с честью выходить из всех тяжелых испытаний <...> долгое время не находил для себя вполне определенного и ясного истолкования с исторической и научной точки зрения.

Тихомиров всю силу своего таланта направил на <...> научное обоснование русской государственности: заслуги его в этом отношении имеют несомненное значение.

Эти редкие способности и литературное дарование Тихомирова, в связи с приобретенным им опытом в вопросах публицистических, особенно могут быть полезны в занятиях Совета Главного Управления по делам печати и потому я признавал бы в интересах службы, необходимым назначить его Членом названного Совета.

Вследствие этого, всеподданнейшим долгом поставляю испрашивать Всемилютейшее соизволение ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА в назначение, в изъятие из закона, причисленного к Министерству внутренних дел, потомственного дворянина Тихомирова Членом Совета Главного Управления по делам печати, сверх штата, и на производство его, вне правил, — во внимание к свыше двадцатилетней литературной и публицистической деятельности его, направленной к честному и беззаветному служению Престолу и Отечеству и в соответствие с должностью Члена Совета, положенной по штатам в IV классе, — в статские советники <...>

Министр Внутренних Дел Статс-Секретарь Столыпин

21 февраля 1908 г.

Собственною Его Величества рукою начертано: «С» (согласен) 22 февраля 1908 г. в Царском Селе Министр Внутренних Дел Столыпин».⁹¹

В 1891 г. Тихомирову посчастливилось быть в толпе москвичей, приветствовавших посетившего «первопрестольную» Александра III. Восторженная запись об этом в дневнике 17 мая: «Приехал государь. Я был на встрече и прекрасно, — очень близко видел. Толпы, „ура“. Очень хорошо. Вечером с детьми на иллюминации».⁹²

Через 17 лет верноподданный Лев Александрович Тихомиров удостоился личной аудиенции у сына Александра III, что явствует из всеподданнейшего доклада П. А. Столыпина от 17 марта 1908 г.:

«Член Совета Главного Управления по делам печати, сверх штата, Статский Советник Тихомиров, по случаю назначения на настоящую должность, испрашивает ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕЕ разрешение иметь счастье представиться ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ».

«Собственною Его Величества рукою начертано «С» (согласен). В Царском Селе 18 марта 1908 г. Статс-Секретарь Столыпин».⁹³

Как известно, после этого, в январе 1909 г. Тихомирову было доверено редактирование «Московских ведомостей»; в этой должности он проработал до конца 1913 г.

По словам современного издателя философско-религиозных и монархических сочинений Тихомирова М. Б. Смолина, после смерти Столыпина «в правительственных кругах Л. А. Тихомировым более никто не интересовался».⁹⁴ Для Тихомирова руководство «Московскими ведомостями» стало, таким образом, вершиной его служебной карьеры. Но это ли было пределом его «мечтаний» в 1888 г.?

Тот же М. Б. Смолин в предисловии к другому переизданию трудов Тихомирова опровергает мнение его бывших товарищей по «Народной воле» и советских историков, которые называют Тихомирова ренегатом и объясняют его поступок трудностями жизни во Франции, расстройством психики, а также «низменными желаниями» — соблазном «занять в правительственном лагере место умершего М. Н. Каткова». «Искренность его новых убеждений, — пишет М. Б. Смолин, — легко проследить по его дневнику и воспоминаниям».⁹⁵

Внимательное прочтение дневника Л. А. Тихомирова не оставляет сомнений в искренности его служения самодержавию. Но кое в чем Лев Александрович, думается, лукавит.

В предисловии к брошюре издания 1888 г. Тихомиров заявляет о скромности своих планов на будущее. «Покидая революционный путь — чем я остаюсь? По своим желаниям, стремлениям — я обыкновенный, скромный работник мирного прогресса».⁹⁶ Так ли это?

Выше говорилось, что Тихомиров, еще будучи формально революционером, имел намерение преобразовать «Народную волю» из революционно-террористической организации в мирное легальное широкое общественное движение.⁹⁷ Подразумевалось, что во главе этого движения будет стоять он, Лев Тихомиров. Ранее в дневнике он пишет об этом более откровенно: «Мне нужно создать партию серьезную, которая могла бы сделаться силой в стране, партию правящую». «Я не могу отказаться от желания серьезно, глубоко влиять на жизнь».⁹⁸ Закончив свою брошюру, но еще не издав ее, Тихомиров в отчаянии записывает 12 июля 1888 г.: «Я уже почти не имею времени что-нибудь сделать, мне уже — страшно сказать — тридцать шесть лет <...> И сгинуть в бессмысленном изгнании <...>».⁹⁹

Прошло около двух лет. Тихомиров в России, но под надзором. Время меж тем течет неумолимо: «<...> Мне 38 лет <...> неужто все мечты, все иллюзии, всё перст, всё тлен, всё осень <...>» (запись 28 марта 1889 г.).¹⁰⁰ Это ли скромные желания скромного работника мирного прогресса? Тихомиров уговаривает сам себя смириться с положением одного из сотрудников «Московских ведомостей», куда он только что устроился на постоянную работу, пытается усмирить свою гордыню. «Иногда у меня ни на чем не основанное „возмечтание“ о себе, но Бог живо показывает мне грехи мои <...> Теперь у меня задача, которую я бы должен был исполнить, — она состоит не в том, чтобы что-нибудь сделать крупное, а в том, чтобы остаться маленьким, ничего крупного не делающим, а только исполняющим маленький ежедневный долг. Ужасно трудно это. Воспитался на стремлении к грандиозному». К 1892 г. он почти справился с «возмечтаниями»: «В прежние годы я все не мог отрешиться от мысли, что должен что-то такое сделать. Теперь у меня почти исчезла мысль эта <...>».¹⁰¹ Но не так-то просто отогнать от себя мечтания, время от времени они возвращаются. 16 июля 1892 г.: «Перелистал кое-какие страницы своего дневника за прошлые годы. Презамечательная дрянь я был всегда, и с тем остаюсь. Малодушные и мечтания о себе — вот два постоянные качества».¹⁰²

Выше приводились примеры изменений в тексте брошюры «Почему я перестал быть революционером», охотно сделанные Тихомировым по предложению цензуры. Но есть одно место в первом издании брошюры, где явно видна самоцензура автора, и это место наводит на размышления. В издании 1888 г. Тихомиров цитирует свою дневниковую запись от 8 марта 1886 г.: «В моих глазах уже более года несомненно, что отныне нужно всего ждать от России, от русского народа, почти ничего не ожидая от революционеров» — и на этом месте обрывает цитату. А в дневнике примечательное продолжение: «...по крайней мере на долгое, неопределенное время».¹⁰³ Возникает вопрос: а перестал бы Тихомиров быть революционером, если бы «Народная воля» оставалась в силе, и можно было бы рассчитывать на захват ею власти в ближайшее время?

Но это было нереально, и Тихомиров ищет другой путь: «Мне кажется, что я так мог бы еще многое сделать, если бы был легальным <...>», — записывает он 12 июня 1888 г., только что закончив свое объяснение, почему он перестал быть революционером.¹⁰⁴

* * *

Представляется, что к Л. А. Тихомирову не следует относиться однозначно: ренегат или прозревший, одумавшийся революционер. Возможно, он по-своему искал путь прогресса для России — сначала революционный, потом мирный. Оба ему не удалось, но только ли его в этом вина? Однако самолюбие ему явно было не чуждо.

Мирный эволюционный путь для России искал не только Тихомиров. Были в России не только революционные, но и легальные народники. Они пытались провести некоторые реформы при самодержавии, и сегодня многие историки и публицисты их не осуждают. Правда, они в отличие от Тихомирова были все же в разной степени, но оппозиционны по отношению к самодержавной власти. В начале XX в. пробовала легализоваться неонародническая партия народных социалистов — не получилось. Российское самодержавие ни разу не призвало к власти ни одну из партий мирного прогресса, появившихся в России в начале XX в. России пришлось пережить три революции. Но какова была их роль в прогрессе страны? И всегда ли революционеры правильно определяют «истинные» интересы народа, им самим неосознанные?

Более десяти лет я читаю спецкурс по истории народничества в одном провинциальном университете и на семинарах вместе со студентами IV курса исторического факультета сопоставляю обе брошюры 1888 г. — Л. А. Тихомирова и П. Л. Лаврова. Спрашиваю: почему Тихомиров отказался от революции, а Лавров остался революционером, кто из них прав? Обсуждение обычно получается неоднозначным, мнения разделяются. Была ли возможна в России второй половины XIX в. мирная реформаторская деятельность по инициативе общественных сил? Большинство склоняется к тому, что «невозможна». И все же они как-то нелогично отдают предпочтение эволюции. По-видимому, на их мнение влияет реальный исторический опыт страны. Тем более для почти всех неприемлем террор, даже в народовольческой форме в условиях царившего в стране полицейского режима. Только немногие оправдали бы, доведись им быть присяжными, историческую и современную Веру Засулич.¹⁰⁵ Радоваться этому или огорчаться? Проблема, открытая для обсуждения.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Алексей Николаевич Цамутали известен не только своими трудами по историографии; у него есть интересные работы по истории русской общественной мысли и российского революционного движения. Поэтому мне кажется логичным дать в сборник, посвященный юбилею, статью, которая своей тематикой, возможно, осветит в его памяти то время (конец 80-х гг. прошлого века), когда мы вместе готовили к печати сборник воспоминаний народовольцев и чернопеределцев. У меня об этом остались положительные воспоминания.

² *Тихомиров Л.* Почему я перестал быть революционером. Париж, [1888]. С. 8–9.

³ Там же. С. 9.

⁴ Воспоминания Льва Тихомирова. М.; Л., 1927. С. 188–189.

⁵ Там же. С. 186.

⁶ Там же. С. 188, 189, 193, 196.

⁷ Там же. С. 200.

⁸ Там же. С. 214, 215.

⁹ Там же. С. 219.

¹⁰ Там же. С. 219.

¹¹ Там же. С. 221–222.

¹² Там же. С. 223, 225, 229.

¹³ *Тихомиров Л.* Почему я перестал быть революционером. Париж, [1888]. С. 25.

¹⁴ Там же. С. 8, 12.

¹⁵ Там же. С. 13, 22.

¹⁶ Там же. С. 16.

¹⁷ Там же. С. 15.

¹⁸ Там же. С. 13.

¹⁹ Там же. С. 12, 13, 14, 18, 24, 25.

²⁰ Там же. С. 14.

²¹ Там же. С. 30.

²² Там же. С. 31. В 1896 г. в примечаниях к этому месту во втором издании своей брошюры Л. А. Тихомиров с удовлетворением отметил, по-видимому подразумевая корректировку реформы 1864 г. в 1890 г.: «Как известно, на этот путь и вступило правительство» (*Тихомиров Л.* Почему я перестал быть революционером. М., 1896. С. 82).

²³ *Тихомиров Л.* Почему я перестал быть революционером. Париж, [1888]. С. 25.

²⁴ Там же. С. 16, 25, 26, 31.

²⁵ Там же. С. 13, 31.

²⁶ Там же. С. 27.

²⁷ Там же. С. 27, 28, 29.

²⁸ Там же. С. 11–13.

²⁹ Там же. С. 19–24, 30.

³⁰ Там же. С. 31–32.

³¹ Там же. С. 32.

³² Воспоминания Льва Тихомирова. С. 238, 254.

³³ *Лавров П. Л.* Письмо товарищам в Россию по поводу письма Л. А. Тихомирова. Париж, 1888. С. 5, 7, 8.

³⁴ Там же. С. 11–13.

³⁵ Там же. С. 16, 17, 22.

³⁶ Там же. С. 23–24. П. Л. Лавров, со своей стороны, не дал оценки правлению Александра II. Можно лишь предположить, что рассуждения Лаврова о несовместимости права и самовластья относятся и к этому самодержцу. Во всяком случае в 1873 г. в журнале «Вперед» Лавров писал: «Мы зовем к себе, зовем с собою всякого, кто с нами сознает, что императорское правительство — враг народа русского, что настоящий общественный строй — гибелен для России». Лавров требовал «господства народа, настоящего народа <...> Это господство может быть достигнуто только народным восстанием» (Революционное народничество семидесятых годов XIX в. М., 1964. Т. 1. С. 19).

³⁷ Письмо товарищам в Россию... С. 21.

³⁸ Там же. С. 17, 20, 21, 26.

³⁹ Там же. С. 10–11.

⁴⁰ Там же. С. 9, 25, 26.

⁴¹ Там же. С. 26–27.

⁴² Там же. С. 30–32.

⁴³ Воспоминания Льва Тихомирова. С. 230–231.

⁴⁴ Там же. С. 231–234.

⁴⁵ Там же. С. 242–243.

⁴⁶ *Фигнер В.* Полн. собр. соч.: В 7 т. М., 1932. Т. 5. С. 283.

⁴⁷ Воспоминания Льва Тихомирова. С. 242–243.

⁴⁸ Научно-исторический архив СПб ИИ РАН. Ф. 297. Оп. 1. Ед. хр. 151. Подробнее см.: *Гинев В. Н.* С. Н. Валк и народовольцы // Историко-графический сборник. Саратов, 1980. Вып. 8.

⁴⁹ *Фигнер В.* Полн. собр. соч. Т. 5. С. 283.

⁵⁰ Тихомиров Л. Почему я перестал быть революционером. Париж, [1888]. С. 8; Лавров П. Л. Письмо товарищам в Россию... С. 27.

⁵¹ Воспоминания Льва Тихомирова. С. 244–245.

⁵² Там же. С. 261. 31 марта Тихомиров отнес «опровержение» в «Liberté» и «Cosmopolite». Нам не известно, было ли оно напечатано.

⁵³ Там же. С. 245.

⁵⁴ Исполнительный комитет — Александру III // Революционное народничество семидесятых годов XIX в. М.; Л., 1965. Т. 2. С. 191–195.

⁵⁵ Тихомиров Л. Почему я перестал быть революционером. Париж, [1888]. С. 14–16.

⁵⁶ Там же. С. 14.

⁵⁷ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 180.

⁵⁸ Тихомиров Л. Почему я перестал быть революционером. Париж, [1888]. С. 16–17.

⁵⁹ Фигнер В. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 250–255; Желябов А. И. Речь на суде // Революционное народничество семидесятых годов XIX в. М.; Л., 1965. Т. 2. С. 255–258.

⁶⁰ Тихомиров Л. Почему я перестал быть революционером. Париж, [1888]. С. 11.

⁶¹ Лавров П. Л. Письмо товарищам в Россию... С. 28.

⁶² Там же. С. 18. Подробнее об этом см.: Гинев В. Н. Об одном неизданном сборнике документов о «Народной воле» // Освободительное движение в России. Саратов, 2001. Вып. 19. С. 150–151.

⁶³ Лавров П. Л. Письмо товарищам в Россию... С. 18.

⁶⁴ Волк С. С. Народная воля. М.; Л., 1966. С. 243.

⁶⁵ Воспоминания Льва Тихомирова. С. 259. Дневниковая запись 24 октября 1888 г.

⁶⁶ Тихомиров Л. Почему я перестал быть революционером. Париж, [1888]. С. 11.

⁶⁷ Воспоминания Льва Тихомирова. С. 194.

⁶⁸ Там же. С. 225, 254, 256–259, 261, 262.

⁶⁹ Там же. С. 263–265.

⁷⁰ Там же. С. 343–345.

⁷¹ Там же. С. 345–346.

⁷² Московские ведомости. 1889. № 76. 18 марта.

⁷³ Там же. № 74, 76. 16, 18 марта

⁷⁴ Воспоминания Льва Тихомирова. С. 348–349.

⁷⁵ Там же. С. 356–357.

⁷⁶ Там же. С. 370–372.

⁷⁷ Там же. С. 373.

⁷⁸ Там же. С. 375–376, 381.

⁷⁹ Тихомиров Л. Критика демократии. М., 1997. С. 79, 107.

⁸⁰ Воспоминания Льва Тихомирова. С. 386.

⁸¹ Там же. С. 386–389.

⁸² Там же. С. 391, 392, 396, 399.

⁸³ Там же. С. 411, 417, 431, 434.

⁸⁴ Лавров П. Л. Письмо товарищам в Россию... С. 8.

⁸⁵ Тихомиров Л. А. Почему я перестал быть революционером. М., 1896. С. 3.

⁸⁶ Фигнер В. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 282.

⁸⁷ Тихомиров Л. А. Почему я перестал быть революционером. М., 1896. С. 4.

⁸⁸ Там же. С. 4–5.

⁸⁹ См.: Тихомиров Л. Критика демократии. С. 23–67.

⁹⁰ Тихомиров Л. А. Почему я перестал быть революционером. М., 1896. Предисловие. С. 5, 16.

⁹¹ РГИА. Ф. 1284. Оп. 241. Ед. хр. 125. Л. 78 об., 79.

⁹² Воспоминания Льва Тихомирова. С. 394.

⁹³ РГИА. Ф. 1284. Оп. 241. Ед. хр. 125. Л. 109.

⁹⁴ Смолин М. Б. Всеобъемлющий идеал Льва Тихомирова // Тихомиров Л. Религиозно-философские основы истории. М., 1997. С. 9 (предисловие).

⁹⁵ Смолин М. Б. О демократии и критике ее Львом Тихомировым // Тихомиров Л. Критика демократии. С. 9–10 (предисловие).

⁹⁶ Тихомиров Л. Почему я перестал быть революционером. Париж, [1888]. С. VI.

⁹⁷ Там же. С. 12.

⁹⁸ Воспоминания Льва Тихомирова. С. 200. Запись 23 сентября 1887 г.

⁹⁹ Там же. С. 224.

¹⁰⁰ Там же. С. 349.

¹⁰¹ Там же. С. 390, 399. Записи 13 апреля 1891 г. и 1 января 1892 г.

¹⁰² Там же. С. 404.

¹⁰³ Тихомиров Л. Почему я перестал быть революционером. Париж, [1888]. С. 10; Воспоминания Льва Тихомирова. С. 189. Кстати, на указанном месте обрывает цитату и современный

издатель монархического Тихомирова М. Б. Смолен.

¹⁰⁴ Воспоминания Льва Тихомирова. С. 224.

¹⁰⁵ См. подробнее: *Гинев В. Н.* Оправдали бы современные студенты Веру Засулич // История глазами историков. СПб., 2002.

А. В. Гоголевский

КАДЕТЫ В ПЕРВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

«Партия народной свободы» возлагала особые надежды на первое народное представительство, намереваясь законодательным путем осуществить собственную политическую программу, предполагавшую широкие реформы, способные обеспечить эволюционное преобразование самодержавной власти в конституционно-правовое государство. Еще в 1902 г. журнал «Освобождение» исходил из того, что наиболее целесообразной тактикой в борьбе с самодержавием было бы добиваться от властей проведения свободных выборов в законодательное однопалатное народное представительство с правом контроля над исполнительной властью. Первый Всероссийский земский съезд в ноябре 1904 г. высказался за безусловную замену самодержавия представительным строем, опирающимся на законодательную Государственную думу.

Требование созыва законодательного народного представительства путем всеобщих выборов стало главным политическим лозунгом либерального демократического движения в 1905 г., под которым сплотилась вся оппозиционная самодержавию Россия, включая социалистов и социал-демократов. Именно отказ властей от созыва законодательной думы, ставший очевидным после Манифеста 6 августа, побудил оппозицию организовать октябрьскую политическую стачку, вырвавшую из рук императора Манифест 17 октября.

Первый съезд кадетов, состоявшийся одновременно с выходом Манифеста 17 октября, определенно высказался в пользу парламентской тактики партии в противостоянии с самодержавием. Руководство партии вполне понимало решающее значение для судеб страны исхода выборов в Первую Государственную думу и определение ее компетенции. Как верно заметил при встрече с С. Ю. Витте В. М. Гессен, именно вопрос о компетенции Первой Государственной думы должен был решить судьбу революции и самодержавной власти в целом.¹

Между тем едва только были объявлены выборы в Первую думу, на пути парламентской тактики кадетов возникли серьезные препятствия. Партийная программа исходила из безусловной необходимости всеобщих равных выборов с тайной подачей голосов. Однако избирательный закон 11 декабря 1905 г. устанавливал цензовые выборы по четырем куриям. Низы партии, вкушившие плоды побед в ходе октябрьской стачки, в отличие от верхов не хотели принимать участия в цензовых выборах, предпочитая им революционный натиск на власть в союзе с социалистами. У них была своя логика. Согласно ей цензовая дума, во-первых, не могла полноценно отражать интересы всех слоев населения России, во-вторых, через нее было бы невозможно законодательным путем осуществлять партийную программу. И наконец, в-третьих, в программе кадетов

утверждалось, что наилучшим способом осуществления партийных требований является созыв всеобщим голосованием Учредительного собрания.

Руководству партии, особенно П. Н. Милюкову, пришлось приложить значительные усилия, чтобы на Втором съезде кадетов добиться принципиального решения об участии в цензовых выборах. Съезд открылся 5 января 1906 г. Вечером того же дня с докладом «Об отношении к избирательной компании и к Государственной думе» выступил П. Н. Милюков. Как он заявил, поскольку партия кадетов является парламентской, постольку она обязана участвовать в выборах, которые единственно способны укрепить местные партийные комитеты и развернуть широкую агитацию в массах в пользу партийных лозунгов. Как сказал докладчик, правительству не удастся одержать верх на выборах даже при цензовом избирательном законе и у кадетов есть хорошие шансы занять в думе лидирующее положение.² Более определенно отношение партийного руководства к Первой думе выразил в своем докладе Ф. Ф. Кокошкин. Он не мог не признать ущербность цензовой думы и подчеркнул приверженность руководства партии лозунгу Учредительного собрания. Вместе с тем Ф. Ф. Кокошкин призвал делегатов съезда понять невозможность для оппозиции принудить власть объявить всеобщие выборы и созвать Учредительное собрание. А раз так, то необходимо идти в думу, для того чтобы в ней прежде всего принять закон о всеобщем избирательном праве. Далее, как сказал докладчик, необходимо было не столько проводить законодательным путем партийную программу, сколько принять самые неотложные законы: гарантировать объявленные в Манифесте свободы, установить ответственность министров перед думой, решить аграрный вопрос на началах конфискации помещичьих земель. Кроме того, Государственная дума, по мнению Ф. Ф. Кокошкина, должна была объявить политическую амнистию и отправить в отставку правительство.³

Разумеется, с точки зрения формальной логики Ф. Ф. Кокошкин оказался полностью прав. Но в его докладе было обойдено весьма существенное обстоятельство: что делать партии, если правительство не станет сотрудничать с думой, а, воспользовавшись своими prerogативами, добьется у царя ее роспуска.

Несмотря на полемику вокруг внесенной руководством партии резолюции по докладу Кокошкина, съезд высказался за участие кадетов в Первой Государственной думе и работу в ней. Резолюция поручала партии заняться в думе «законодательными мерами неотложного порядка, необходимыми для успокоения страны».⁴

Как известно, кадетам удалось одержать на выборах в Первую думу блестящую победу. От Санкт-Петербурга по городской курии все депутаты прошли по спискам кадетов. Успех им сопутствовал и в Москве. Из общего числа выборщиков во всех городах кадеты завоевали 83% мест. А всего из 412 депутатов, избранных от 20 городов и 50 губерний Европейской России, 42,9% составляли кадеты или их кандидаты,⁵ а остальные в большинстве своем поддерживали «Партию народной свободы» в ее противостоянии властям. Можно было бы думать, что перед кадетами открывается блестящая перспектива парламентской деятельности и предоставляется редкая возможность добиться политических и социальных преобразований путем парламентских реформ. П. Н. Милюков весной 1906 г. заявил, что только кадеты способны вывести Россию из кризиса.⁶

Однако реальное соотношение сил власти и оппозиции ставило под сомнение столь оптимистичный вывод. Предчувствуя неминуемую победу оппозиции на выборах, двор

и правительство предприняли решительные меры, с тем чтобы не позволить Первой Государственной думе законодательным порядком изменить существующий государственный строй. Казалось бы, подобная задача не имела решения, так как, согласно Манифесту 17 октября, ни один закон не мог вступить в силу без одобрения его в Государственной думе. Тем не менее правительство пошло на установление компетенции первого народного представительства путем издания высочайшего указа. Акты 20 февраля 1906 г. запрещали Государственной думе касаться по своему почину пересмотра основных государственных законов, а также воздвигли перед народным представительством непреодолимый барьер, введя вторую законодательную палату — Государственный совет, имевший право отклонять законопроекты, прошедшие через думу. Последняя не имела возможности преодолевать вето Госсовета квалифицированным большинством голосов. Кроме того, воздвигалось еще одно серьезнейшее препятствие на пути законотворческой деятельности Государственной думы. Даже если бы принятый ею закон получал одобрение в Государственном совете, царь имел право не подписывать его без объяснения причин. Таким образом, с выходом актов 20 февраля и их закреплением в новой редакции основных законов 23 апреля 1906 г. победившая на выборах оппозиция утратила законную возможность для осуществления своей социальной и политической программы парламентским путем.

Разумеется, руководство партии кадетов не питало иллюзий по поводу законодательных возможностей оппозиции в Первой Государственной думе. И все же оно собиралось заняться в думе законодательной работой, а не превращать думскую кафедру в агитационную трибуну. Оставалось лишь убедить в правильности подобного выбора партийные низы, чему во многом и был посвящен Второй съезд партии кадетов, состоявшийся накануне открытия Первой Государственной думы.

С докладом «О тактике партии в Государственной думе» к делегатам обратился П. Н. Милюков, призвавший на помощь все свое красноречие и остроумие, с тем чтобы убедить их в верности партийной тактики преобразования монархии путем законодательной процедуры в Государственной думе. Как полагал докладчик, фракция кадетов вполне могла добиться принятия думой закона о всеобщем голосовании, а также провести через народное представительство социальные и политические реформы, в том числе решить и аграрный вопрос. По мнению Милюкова, хотя закон и стеснял законодательные полномочия думы, с ним необходимо было считаться и законодательствовать не вопреки, а опираясь на него. Милюков убеждал делегатов: правительство не решится блокировать принятые первым народным представительством законопроекты, поскольку в противном случае оно столкнется с протестом всей страны. А раз так, то законы 20 февраля становятся пустой формальностью.⁷ Как ни старался П. Н. Милюков, но его доводы мало убедили участников съезда. Большинство из них выступило против положений доклада лидера партии. По мнению выступивших в дискуссии, законодательная деятельность кадетов в думе не имела перспективы, так как двор и правительство непременно воспользовались бы своим законным правом отклонить любые реформаторские проекты, одобренные думской оппозицией. Как полагали выступавшие, единственно верная тактика кадетов должна была заключаться не в законотворческой деятельности в думе, а в решительном натиске на власть с целью добиться от нее согласия на созыв Учредительного собрания, избранного всеобщим голосованием. Тем не менее руководство партии во главе с Милюковым сумело переломить настроения

делегатов и добиться одобрения внесенной ЦК резолюции. В ней говорилось, что целью деятельности кадетов в ближайшей сессии думы станет осуществление задач партийной программы: обеспечение законодательными нормами неприкосновенности личности; равенство всех перед законом; введение всеобщего прямого тайного голосования; разрешение земельного вопроса и др.⁸

Таким образом, несмотря на акты 20 февраля и новую редакцию основных законов 23 апреля, руководство кадетов собиралось в Первой Государственной думе только законодательствовать и стремилось во чтобы то ни стало избежать конфронтации с властью на законодательном поле. Расчет кадетов строился на том, что правительство и император под угрозой разрастания революции не решатся блокировать законодательные инициативы первого народного представительства и тем более никогда не пойдут на его роспуск.

Однако действительность опрокинула все расчеты оппозиции. Еще накануне созыва Первой Государственной думы большинство министров сомневалось в возможности конструктивного сотрудничества с депутатами. По их мнению, оппозиционная дума непременно выставила бы невозможные требования, связанные с изменением существа государственного строя, после чего его роспуск стал бы неизбежным. У правительства имелся законодательный пакет, который мог бы составить хорошую почву для сотрудничества с оппозицией (законопроекты о гражданских свободах, местном самоуправлении, местной юстиции, по рабочему вопросу). Тем не менее оно не имело ни малейшего желания идти навстречу думе в главном — пересмотре актов 20 февраля, установлении ответственности министерства перед нижней палатой, разрешении аграрного вопроса путем конфискации помещичьего землевладения. Вместе с тем и оппозиция в думе не собиралась отступить.

Программа ее законодательной деятельности была сформулирована в ответном адресе Государственной думы на тронную речь императора, единодушно принятом депутатами 5 мая 1906 г. В нем указывалось, что дума намеревается законодательным путем добиться ответственного министерства, изменить основные государственные законы, конфисковать помещичье землевладение.⁹ Разумеется, подобные меры не могли вызвать одобрение правительства. 13 мая председатель Совета министров И. И. Горемыкин с думской кафедры отвергнул основные положения адреса. В ответ дума объявила вотум недоверия правительству. Таким образом, из попытки кадетов приступить к законодательной деятельности в итоге вырос конфликт между думой и кабинетом, который разрешился роспуском первого народного представительства.

Несмотря на отчаянные усилия фракции кадетов вернуть думу на путь законодательства, она в своей деятельности все более склонялась к политическим декларациям и критике властей. В течение двух месяцев своей работы дума приняла только один законопроект — об отмене смертной казни. Да и тот не поступил в Государственный совет в связи ее роспуском. Свершилось то, чего наиболее опасался П. Н. Милюков: Первая Государственная дума превратилась в учреждение по подаче ходатайств. Причина такого положения вещей очевидна. Во-первых, нормальная законодательная деятельность Государственной думы оказалась невозможной, потому что ей не удалось достичь компромисса с правительством по аграрному вопросу. Аграрные прения шли в думе до последнего дня ее деятельности. Однако каждая из сторон стояла на своем. Кадеты не могли поступиться лозунгом конфискации крупного частного землевладения, поскольку опасались потерять

поддержку крестьянства. Правительство охраняло права частной собственности из принципиальных соображений. Представляется малоубедительным утверждение Д. Ф. Трепова, будто бы Николай II мог согласиться на раздел земли помещиков.¹⁰ Ведь именно разногласия между депутатами и министрами относительно судьбы крупного землевладения и привели к роспуску Первой Государственной думы. Во-вторых, руководство кадетов воспринимало колебания правительства по поводу роспуска думы как очевидную слабость власти. П. Н. Миллюков к середине июня намеревался ею воспользоваться и принял попытку создания сугубо кадетского ответственного перед думой кабинета. Именно борьба за власть не позволяла лидерам фракции кадетов полностью сосредоточиться на законодательной деятельности. В-третьих, на руководство кадетов в существенной степени «давили» партийные низы. Рядовые члены думской фракции кадетов не собирались законодательствовать, а рассматривали думу исключительно как агитационную трибуну в борьбе против самодержавия. В-четвертых, кадеты могли консолидировать депутатов и добиться единства думы только путем эскалации борьбы с правительством. Большинство депутатов не понимало законодательной работы, не хотело ею заниматься, а стремилось бороться за власть, намереваясь объявить думу Учредительным собранием.

Таким образом, сочетание различных неблагоприятных факторов не позволило руководству кадетов направить думскую фракцию по пути сугубо законодательной деятельности. Следовательно, устойчивая длительная работа первого народного представительства не могла быть обеспечена. Его роспуск оказался предрешенным.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Гессе И. В. В двух веках: Жизненный отчет // Архив русской революции. Берлин, 1937. Т. 21. С. 210.

² Второй Всероссийский съезд делегатов конституционно-демократической партии: Отчет о заседании 5 января. Б. м., б. г. С. 2–3.

³ Второй Всероссийский съезд делегатов конституционно-демократической партии: Бюллетень № 2. 7 января 1906 г. Б. м., б. г. С. 3.

⁴ Там же. Бюллетень № 4. С. 2.

⁵ Сидельников С. М. Образование и деятельность Первой Государственной думы. М., 1962. С. 162.

⁶ Миллюков П. Н. Год борьбы: Публицистическая хроника. 1905—1906 гг. СПб., 1907. С. 247.

⁷ Протоколы III съезда партии народной свободы (конституционно-демократической). Б. м., б. г. С. 4–20.

⁸ Там же. С. 56–60.

⁹ Государственная Дума: Стеногр. отчеты. 1906 год. Сессия первая. Т. 1. С. 139–141.

¹⁰ Мое свидание с генералом Треповым // Речь. 1909. 17 февр.

М. Г. Вандалковская

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ЭМИГРАЦИИ: ЛИБЕРАЛЬНЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ (20–30-е гг. XX в.)*

Как отмечали современники, из России в эмиграцию был перенесен весь спектр политических убеждений и настроений. Воззрения либералов-радикалов, либералов-консерваторов, социалистов разных мастей, евразийцев, сменовеховцев, младороссов существенно разнились по своим истокам, содержанию и программным положениям. В иных исторических условиях они трансформировались и приобретали новые черты. Это относилось прежде всего к либеральным и социалистическим идейным направлениям; евразийство, сменовеховство и течение младороссов — это явления уже эмигрантской действительности.

Чрезвычайная интенсивность общественно-политической мысли эмиграции объяснялась, по выражению М. Осоргина, «неистребимой энергией боли за Россию», стремлением понять и осмыслить причины падения Российской империи, краха государственности, деятельности дум, несостоятельности российского либерализма.

Идеи, опыт общественно-политической и публицистической деятельности, которые оставила эмиграция, представляют большой научный интерес, они особенно актуальны в современной России. Между тем изучение их велось неравномерно. Если евразийству и сменовеховству посвящена довольно значительная литература, то социалистическим течениям и либерализму в его разных формах уделялось недостаточное внимание. Либеральный консерватизм, представленный такими блистательными именами, как П. Б. Струве, В. А. Маклаков, Н. С. Тимашев, практически не изучался.¹

Сохранение традиционных ценностей, их преемственность в процессе государственного, культурного и духовного развития, неотъемлемость прав личности, свобода во всех областях ее деятельности — характерные черты либерального консерватизма. При этом свобода понималась как личная ответственность и способность к самоограничению, как «законное самоограничение лица», основанное на признании не только своих, но и прав всех окружающих. По мысли либеральных консерваторов, осуществление свободы личности зависит не только от законодательства, но и от внутренних духовно-нравственных и религиозных устоев личности, способной осознавать права другой личности. Гарантацией свободы личности должно выступать государство. «„Установка“ либерального консерватизма, — писал Струве, — нам всегда дорога... она неразрывно связана с практически-политическим содержанием и государственного западничества и государственного славянофильства».²

Своими предшественниками либералы-консерваторы признавали М. М. Сперанского, Б. Н. Чичерина, Н. А. Милютина, П. А. Столыпина, Д. Н. Шипова, воплотившими в своей деятельности черты консерватизма и либерализма. Чичерин отстаивал экономическую и гражданскую свободу: экономическую — от социализма, гражданскую — от абсолютизма. Столыпин, по словам Струве, верно понял «смысл и правду» правового государственного преобразования России. «И разве трагические борения Столыпина,

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта № 06-01-00142а.

который прозревал неизбежные формы новой России и готов был железной рукой пролагать им путь, — размышлял Струве, — не являются какими-то современными психологическими „миниатюрами” трагедии Сперанского!? И Витте, и Столыпин в формах ежедневно-банальных как-то испили горькую чашу Сперанского». ³ Истоки либерально-консервативных взглядов Струве видел и в творчестве Пушкина. В статьях, написанных к столетней годовщине со дня гибели поэта в 1937 г., Струве писал: «Пушкин знал, что всякая земная сила, всякая человеческая мощь сильна мерой и в меру собственного самоограничения и самообуздания. Ему чужда была нездоровая расслабленная чувствительность, ему претила пьяная чрезмерность, тот прославленный в настоящее время „максимализм”, который рождается в угаре и иссякает в похмелье». ⁴

Существенной особенностью эмигрантского либерального консерватизма является обращение к опыту западноевропейского либерализма. В эмиграции Струве и Маклаков имели возможность ближе и глубже познакомиться с европейской демократией, парламентаризмом и практикой взаимодействия власти и оппозиции.

Развитие либеральных ценностей — гражданских свобод и правового устройства, идей национальной солидарности, неприятие классовых и партийных принципов осуществления государственной политики импонировали русским либерально-консервативным деятелям. Струве, уделявший этому предмету особое внимание, глубоко ценил британский и французский парламентаризм, отмечал «политическое дарование» и «нравственное величие» лидера лейбористской партии и премьер-министра Великобритании Д. Р. Макдональда, который во имя государственных целей пренебрег партийными интересами; с величайшим уважением относился к Р. Пуанкаре, президенту Франции и премьер-министру в 1920-е гг., стремившемуся укрепить государственное величие Франции в Европе, национальное единство в своей стране и проявлял непримиримость по отношению к советской власти. Проводимые лидерами этих двух стран идеи национального единства, национальной солидарности Струве рассматривал как высокую «зрелость подлинной демократии».

Размышляя о государственной власти, «хранильнице традиций», Струве писал о том, что «все режимы и все власти падают от неспособности к разумным и необходимым компромиссам и никакие широкие политические движения не удаются, пока в них на той или иной основе не возобладает и не восторжествует дух соглашения... В основе духа соглашения и практики согласия лежит уважение к праву». ⁵ Это высказывание в равной мере он относил как к власти, так и к общественным течениям, в том числе оппозиционным.

В прошлом России Струве видел «пагубные и тлетворные стихии» — крепостное право, тиранический произвол, но полагал, что либеральные консерваторы умели отличать «самовластие» и «тиранство» от самодержавия. Понятие самодержавия он считал «многомысленным», означающим и «суверенную», «державную» и неограниченную власть. Сам он был сторонником самодержавия как национальной власти, свободной от деспотизма.

Большим завоеванием самодержавной власти, помимо экономических и политических достижений, либеральные консерваторы считали защиту культурных ценностей. Гениями русской культуры и сторонниками государственной власти они справедливо признавали Пушкина и Достоевского. Симптоматично замечание Струве, сопровождающее эту мысль: в юности вольнолюбивый и радикальный Пушкин в зрелом возрасте стал охранителем и «царистом»; Достоевский — социалист в молодости стал «страстным» и «упорным» приверженцем русской государственности. «Было бы глупо и пошло, —

заключал Струве, — отмахиваться от этих реальных и многозначительных перемен в умонастроении величайших русских гениев как от каких-то не то причуд, не то ренегатства». ⁶ Это высказывание помимо защиты государственности и ее сторонников содержит, к сожалению, в наше время не всеми признаваемую мысль: изменение ситуации влечет за собой и трансформацию восприятия.

Либерализм либеральные консерваторы рассматривали как «самую государственную, отнюдь не революционную доктрину, как политическую программу, устанавливающую начала законодательства и управления». ⁷ По мысли Маклакова, либерализм должен угрозой революции побуждать власть идти на уступки, воплощать в себе те идеи, которые могли остановить революцию. ⁸ «Русскую общественность, — писал Струве, — нужно приучить к мысли, что либерализм, чтобы быть почвенным, должен быть консервативен, а консерватизм — для того, чтобы быть жизненным, должен быть либерален». ⁹ И только консервативный либерализм может обеспечить проведение социальных реформ.

Этому «идеальному» либерализму, в той или иной мере осуществленному в западноевропейских странах, Струве и Маклаков противопоставляли российский либерализм, который они подвергали резкой критике и возлагали на него значительную долю вины за крушение Российской империи.

Характерной чертой российского либерализма они считали «порочную установку» на разрушение монархии. Русский либерал, писал Маклаков, «представлял из себя как бы сообщающийся сосуд; в меру его принципиального недоверия к власти шло столь же принципиальное доверие к народной мудрости и к спасительности всех народных учреждений», он «пасовал» перед революцией «во имя высоких идей и моральной высоты революционеров». Русский либерализм не захотел рискнуть соединиться со старым порядком против революции, т. е. «пойти на самую привычную и естественную комбинацию». ¹⁰

Либеральное и радикальное движение в России Струве также рассматривал в едином потоке, за которым «стояла дремавшая, не укрощенная историческим народным опытом народная же стихия революционного максимализма», ¹¹ которая впоследствии вылилась в большевизм.

Ценным наследием либерально-консервативной мысли была программа возрождения России, которая включала в себя идеи объединения эмигрантских сил, прогнозы политического устройства России после падения власти большевиков.

Свою программу либеральные консерваторы противопоставляли концепции П. Н. Миллюкова об эволюции советской власти. В полемике с Миллюковым они высказывали удивительно точные определения событий российской истории, российского кадетизма, выявляя его сущность и особенности. Тем самым этот материал включался в арсенал идей и мыслей о России.

Российских эмигрантов Струве воспринимал как представителей «подлинной национальной России», как хранителей национальных и культурных традиций. Он считал необходимым объединить все усилия как зарубежья, так и «подъяремной России» для свержения коммунистической власти.

Газеты Струве «Возрождение», «Россия», «Россия и славянство» призывали сплотить все политические силы эмиграции вне зависимости от политических пристрастий.

Представления о формах помощи России эмиграцией по существу не были достаточно определенными: интервенция отрицалась, «активизм» в его различных проявлениях

разделялся не всеми. В действительности речь шла о сплочении эмиграции и призыву к активной и непримиримой позиции по отношению к советской власти.

Вместе с тем и Струве, и Маклаков предостерегали от иллюзий, что эмиграция сможет изменить положение России. Эмиграция должна лишь способствовать ее возрождению. «Наша эмигрантская роль, — считал Маклаков, — могла бы заключаться в одном: облегчить эти трудные роды, сыграть роль акушера».¹² С этой точки зрения, общей для Маклакова и Струве, не соглашался Тимашев, полагая, что вопрос о будущем России во многом зависит от интеллектуальной деятельности эмиграции, а устранение от нее представлялось ему большой ошибкой, повторением бездействия интеллигенции накануне захвата власти большевиками.¹³

Будущая Россия мыслилась либеральными консерваторами экономически развитым, цивилизованным правовым государством с «широчайшей» свободой личности и «непреложными религиозными началами».

Одним из главных условий нового государственного устройства должно быть восстановление частной собственности. Понятия «свобода» и «собственность», по словам Маклакова, войдут в «будущую идеологию» и определяют «новую расценку людей и идей».¹⁴

Лицо возрожденной России определяют «две творческие идеи — национальная и крестьянская»: сильная единоличная национальная власть на крестьянском основании.¹⁵

На русское крестьянство Маклаков смотрел «не в очки народолюбия и демократизма», он много размышлял о его бесправии и жизни вне закона, чем объяснял то, что русский крестьянин в революции не стал оплотом консерватизма, а проявил пролетарскую психологию. Природа крестьянина как буржуазного собственника, полагал он, в итоге спасет Россию, поэтому в постбольшевистской России земля должна быть передана в собственность крестьянам.

Будущее российское государство связывалось либералами-консерваторами с решением национальной проблемы. Они предсказывали, что в процессе возрождения России произойдет распадение отдельных национальных территорий России, а затем возможное воссоединение (в непредсказуемой форме), обусловленное экономическими соображениями. Но как государственники они постоянно выражали опасения о расчленении России, хотя и считали закономерным обособление отдельных национальных районов от большевистского центра.

В возрожденном российском государстве не должно быть вмешательства государственной власти в национальное управление, влияния партийной власти. Тимашев, много писавший об этом, считал необходимым законодательно обеспечить свободное развитие наций, права граждан, образование, судебное устройство, сохранение культурных традиций и языка.¹⁶

Понимание задач эмиграции и идей построения новой России адептами либерального консерватизма существенно отличалось от их толкования либералами-радикалами, особенно Милюковым.

Пресса тех лет, газеты «Возрождение», «Россия и славянство», «Россия» Струве и «Последние новости» Милюкова наполнены острой и страстной полемической борьбой по этим вопросам.

Следует иметь в виду, что к Милюкову и Струве, и Маклаков относились весьма критически не только как к политику, но и как к человеку. Признавая его талант как

общественного деятеля, публициста, его значительную роль как политического борца в самом начале его деятельности, Струве вместе с тем отмечал его неумение «мыслить непартийными категориями». Он считал, что к Милюкову очень подходит определение «ум по преимуществу распорядительный». Милюков, по словам Струве, «исключительно умел располагать идеи, аргументы, „аранжировать” „вещи”, но он не способен был видеть и ощущать живых людей, сострадать и сочувствовать им».¹⁷ Именно в этом Струве усматривал причину его «роковых неудач» как политика. Кстати, об отстраненности Милюкова от проявлений человеческих эмоций и известной жестокости по отношению к людям писали многие современники.

С именем Милюкова либеральные консерваторы связывали характер российского либерализма и его пагубную роль в уничтожении Российской империи. Критика деятельности Милюкова относилась как к дореволюционному, так и к эмигрантскому периодам. Струве считал, что «в борьбе с большевиками» следует идти «рука об руку с идейными республиканцами» (имеется в виду Милюков), что «можно быть разных мнений о методах борьбы с большевиками», но это исключает «приемы морального дискредитирования какой бы то ни было реальной по форме и приемам борьбы» с ними.¹⁸ Милюков же отрицал объединение либералов-радикалов с монархистами. Из этого Струве делал вывод, что Милюков отказывается от активной борьбы с советской властью и тем самым невольно становится на сторону «врагов» России.

Резкой критике со стороны либералов-консерваторов подвергались «новая тактика» Милюкова, коалиция с эсерами, участие в совещании членов Учредительного собрания. Как справедливо заметила современная исследовательница: союз кадетов с эсерами диктовался возможностью влияния с помощью эсеров на крестьянство, где позиции кадетов были слабы, и расчетами на связи с внутренней Россией. По существу это означало желание «въехать в Россию на левых ослах».¹⁹

В объединении с эсерами Струве видел «недопустимый союз» и отступление от принципов либерализма.

Абсолютное неприятие либеральных консерваторов вызывала концепция Милюкова об «эволюции советской власти», суть которой состояла в том, что советская власть сама эволюционирует к своей гибели и утрате своих принципиальных установок.²⁰

Струве считал эту концепцию утопией, «неумной конструкцией» и отказом от активной борьбы с большевиками, полагая, что эволюционные процессы, происходящие в самой России, нельзя смешивать с эволюцией большевистской власти, которая «не способна к изменению своей деспотической природы». «Те, кто внушает русским людям, находящимся за рубежом, эволюционные иллюзии и примиренчески-соглашательские настроения по отношению к большевикам, — писал Струве, — поражают отсутствием всякого исторического воображения»²¹ и способности научно оценивать явления и события истории.

«Вред» концепции Милюкова Маклаков усматривал и в ее влиянии на европейское общественное мнение, для которого Милюков был авторитетным политическим деятелем и мог сеять ошибочные мысли о происходящем в России и о борьбе с большевизмом.

Темпераментный диалог либеральных консерваторов с Милюковым оттачивал и корректировал представления обоих течений общественной мысли, ярко вырисовывал атмосферу идейной жизни эмиграции. Либеральный консерватизм, как очевидно, играл в этом процессе активную и значительную роль.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Исключение составляет лишь диссертация М. А. Федоровой «Либерально-консервативное направление общественно-политической мысли русского зарубежья 20–40-х гг. XX в.» (М., 2003) — ценная исследовательская работа, не лишенная в то же время ряда односторонних трактовок.

² Возрождение. 1925. 18 окт.

³ Там же. 3 окт.

⁴ *Струве П.* Дух и слово: Сб. статей. Париж, 1981. С. 10.

⁵ «Совершенно лично и доверительно!»: Б. А. Бахметев — В. А. Маклаков. Переписка. 1919–1951. Т. 3. С. 437.

⁶ Россия и славянство. 1929. 29 янв.

⁷ «Совершенно лично и доверительно!» Т. 3. С. 437.

⁸ Там же. Т. 2. С. 89.

⁹ Возрождение. 1925. 18 окт.

¹⁰ «Совершенно лично и доверительно!» Т. 3. С. 373, 437.

¹¹ Возрождение. 1926. 26 сент.

¹² «Совершенно лично и доверительно!» Т. 1. С. 377.

¹³ *Тимашев Н. С.* Возможно ли предвидение завтрашнего дня // Возрождение. 1929. 15 окт.

¹⁴ «Совершенно лично и доверительно!» Т. 2. С. 193

¹⁵ Возрождение. 1926. 30 янв.

¹⁶ *Тимашев Н. С.* Центр и места в послереволюционной России: (К проблеме федеративного устройства России) // Крестьянская Россия: Сб. статей по вопросам общественно-политическим и экономическим. Прага, 1923. V–VI. С. 57–59.

¹⁷ Россия. 1927. 8 окт.

¹⁸ Там же.

¹⁹ *Канищева Н. И.* Разработка П. Н. Милюковым тактического курса эмигрантских кадетских групп // П. Н. Милюков: историк, политик, дипломат. М., 2000. С. 145.

²⁰ *Александров С. А.* К истории русского либерализма в эмиграции: (Возникновение и деятельность РДО) // История и историки. М., 2003; *Вандалковская М. Г.* П. Н. Милюков, А. А. Кизеветтер: История и политика. М., 1992; *Сперкач А. И.* П. Н. Милюков против правых кадетов: («Новая тактика» и идеологические аспекты раскола конституционных демократов) // П. Н. Милюков: историк, политик, дипломат.

²¹ Возрождение. 1925. 25 сент., 5 июля; 1927. 21 июня; «Совершенно лично и доверительно!» Т. 2. С. 192–193, 362–363, 410.

III. ИСТОРИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

П. В. Лизунов

БИРЖЕВЫЕ АРТЕЛИ ПЕТЕРБУРГА: ДВА ВЕКА ИСТОРИИ (XVIII — НАЧАЛО XX в.)

Слово «артель», по всей видимости, происходит от тюркского «орта», что означает «середина» или «община». Это понятие, пришедшее на Русь с Востока, со временем превратилось в одно из характерных, самобытных явлений русской хозяйственной жизни.

Зарождение артелей на Руси относится к XIII в. В ряде древних грамот и актов упоминаются разные артели или ватаги, именуемые также дружиной, складчиной, товарищами. О «ватагах помытчиков», занимающихся соколиным промыслом, и охотничьих артелях за кречетами, говорится в грамоте 1460 г. белозерского и верейского князя Михаила Андреевича. Артелями рыбачили и били морского зверя, моржей и тюленей поморы. Известны артели каменщиков, кузнецов, пахарей и др.

Собственно биржевые артели сложились в Петербурге в начале XVIII в., при Петре I. Поводом для их образования послужило быстрое развитие торговли и большое количество кораблей, приходящих в петербургский порт, вследствие чего возник спрос на разные работы по разгрузке и погрузке, а также по досмотру за привозимыми и отпускаемыми товарами. Из-за отсутствия достаточного количества свободного населения в Петербурге, потребность в рабочих удовлетворялась либо из доставляемых по правительственным распоряжениям крестьян, либо за счет артелей, приходивших на заработки из северных и центральных районов: из-под Архангельска, Вологды, Ярославля, Костромы, Москвы, Владимира. Некоторые такие артели нанимались к купцам для производства различных временных работ. По своей организации и деятельности биржевые артели имели черты, общие для всех артелей.¹

Из корабельных грузчиков примерно в 1714 г. образовалась одна из первых биржевых артелей в Петербурге — Ярославская артель. У истоков зарождения артелей стоял голландский купец, московский, а затем петербургский банкир петровского времени Еремей (Герман) Мейер. Об этом упоминает курский купец и историк-самоучка И. И. Голиков в своем сочинении «Деяния Петра Великого», но в чем заключалось участие Мейера, к сожалению, не указывается.

Согласно сенатскому указу 1722 г., артельщики были обязаны записываться в цех. До конца XVIII в. биржевые артели существовали без каких-либо юридических оснований. Впервые в российском законодательстве определение понятия артели встречается в «Уставе цехов» высочайше утвержденном 12 ноября 1799 г. В главе XIV «О работах,

производимых артелями», говорится: «Несоразмерные силам одного человека служения и работы, производятся некоторым числом людей по добровольному их между собою согласию, и таковые общества называются артелями» (§ 1). Таким образом, закон признавал за артелями значение обществ, т. е. лиц юридических. Определяя некоторые правила для артелей вообще в «Уставе цехов», законодательство упоминало и об артелях, «отправляющих непрерывно свой промысел на бирже при таможене, при городских амбарах, торговых рядах и тому подобном».²

Заимствованное из Германии цеховое устройство встретилося с чисто бытовыми особенностями артельного начала в России. Наши артели носили земляческий, родовой и даже семейный характер. Артели Ярославская, Заугорская или Смоленская и другие были несомненными землячествами. В ноябре 1758 г. после летних работ среди ярославцев возникла распря из-за «дувана» (дележа прибыли). Деревня встала на деревню, и недовольные образовали свою Полуярославскую артель. Она имела своих патронов — ярославских чудотворцев: Федора, Давида и Константина — и собиралась у их образов в Старом гостинном дворе в Петербурге. Поскольку Петербургская биржа находилась в приходе церкви во имя Святой Великомученицы Екатерины, то каждая биржевая артель имела в этом храме свой образ и во время богослужения молилась перед ним.

Первые артели занимались в основном разгрузкой и погрузкой кораблей, приходивших для торговли в Петербург. За воровство или оплошность своих членов ответственность несла вся артель. Общая артельная казна и круговая порука давали купцам гарантию их услуг. Первоначально артели работали на одного хозяина, но вскоре стали наниматься одновременно к нескольким купцам. Если объем работ превышал возможности артели, то нанимали себе в помощь поденщиков. Очень скоро они получили довольно широкое распространение как «вспомогательные учреждения при С.-Петербургской бирже». Биржевые артели появились во многих городах России, даже в тех, где не было биржи.

К концу XVIII столетия в Петербурге уже насчитывалось около 20 таких артелей, в которых состояло от 15 до 200 человек: Дрягильская (1724), Спасская (1725), Вульфова (1727), Мейерова (1729), Томсина, или Томская (1730), Непорова (1739), Пинежская (1740), Новокорпусная (1742), Шляпкина (1745), Калужская (1746), Шилинская (1750), Кокорина (1756), Полуярославская (1758), Метелкина (1763), Гленова (1767), Амбургерская (1778), Портерова (1790), Московская (1795). Назывались они по имени хозяина-работодателя или по названию местности, из которой прибыла артель.

В донесении Петербургской палаты министру финансов в марте 1822 г. отмечалось, что «все состоящие в здешней столице биржевые артели, не имея на сие законного утверждения, существуют и занимаются промыслами по добровольному между собой условию». Считается, что петербургскими биржевыми артелями ведал Департамент таможенных сборов. «Резиденцией» артелей были тогда амбары близ таможи на Васильевском острове, куда артельщики приходили утром и обязательно с крюком, ножом, иглой, при переднике и в рукавицах, с бляхой на груди или фуражке. За неимением хотя бы одной принадлежности их штрафовал таможенный чиновник.³

11 сентября 1823 г. было издано высочайше утвержденное положение Комитета министров «О взыскании 40-рублевой пошлины с артельщиков, находящихся при Санкт-Петербургской бирже и буянах».⁴ В нем подтверждались прежние постановления об

обязанности артельщиков из крестьян брать установленные свидетельства, с платежом в казну пошлин 40 р. Состоящие при Петербургской бирже артельщики из крестьян, уклонялись от сей обязанности под самыми разными предложениями, входили с прошеньями в разные инстанции, Министерство финансов, Правительствующий сенат об освобождении от платежа пошлин. Обстоятельства дела рассматривались в Общем присутствии департамента разных сборов и в Совете Министерства финансов, где признано было взимать пошлину со всех артельщиков за исключением «новиков и мальчиков», которые освобождаются от уплаты пошлины в первые 6 лет.

Эти положения с другими незначительными дополнениями, изданными в 1823 г., были внесены в «Устав Торговый» (Т. XI. Гл. X. Ст. 2409–2426) под названием «О биржевых артелях».

В XIX—начале XX столетия в Петербурге были учреждены новые биржевые артели: Коломбьевская (1810), Козухина (1820), Баронская, или Штиглицова (1833), Георгиевская (1840), Стерватова, или Стюартова (1852), Владимирская (1852), Николаевская (1867), Купорная (1869), Ответственная (1875), Петровская (1909), Северная (1909), Торгово-промышленная (1909), Трубная артель (Городская), Крюшная, Штуровая.

Знаменитая «образцовая Штиглицова биржевая артель» возникла после слияния двух ранее существовавших при Петербургской бирже Шараповой и Бетлинговской артелей. Объединенная артель приняла свое новое название в честь придворного банкира, владельца банковского дома «Штиглиц и К^о» барона Л. И. Штиглица, который был ее главным доверителем (работодателем). Артель имени барона Штиглица обслуживала банки, кредитные и взаимные общества, а также железные дороги. Дальнейшему развитию этой артели способствовал А. Л. Штиглиц. В его банковском доме служило около 40 артельщиков, и когда барон А. Л. Штиглиц был назначен первым управляющим Государственным банком, то потребовал назначить туда своих артельщиков. В 1864 г. открылся Петербургский частный коммерческий, а в 1869 г. — Петербургские учетный и ссудный банки. По ходатайству артельщиков через А. Л. Штиглица они были приглашены для кассовых работ в эти банки: в частный банк — артельщик В. Никитин «вкупа» (взнос за вступление) 1852 г., в Учетный и ссудный банк И. С. Селиванов «вкупа» 1848 г., в Петербургский Международный банк А. Сидоров «вкупа» 1861 г. Они были внукам и правнуками артельщиков.

Крупными доверителями биржевых артелей были петербургские банкиры Гинцбурги. Основатель семейного банковского дома «И. Е. Гинцбург» Е. Г. Гинцбург, а также его сын и продолжатель дела Г. О. Гинцбург в большом количестве использовали труд артельщиков.

В 1832 г. в Петербурге существовало 29 биржевых артелей, в 1835-м — 28. Согласно лексикону Плюшара, в 1873 г. в столице насчитывалось 24 артели, в которых состояло 2622 человека. Самой многочисленной была Баронская артель, в которой трудился 261 человек, в артели Козухина — 229, Полуярославской — 46, Кокорина — 49 и Шляпкина — 54 человека. В 1898 г. артели Шляпкина и Томсона слились в Российскую артель, артели Вульфо́ва, Портерова и Шилинговская объединились в Коммерческую артель. С артелью Корзухина слились в 1893 г. Непорова, в 1896 г. Пинежская и в 1899 г. Новокорпусная артели. К Владимирской артели присоединились в 1894 г. Метелкина, в 1899 г. Коломбьевская и Стюартова артели.⁵

О московских биржевых артелях документальное упоминание встречается с 1836 г. При Гостином дворе было разрешено работать двум артелям — Ильинской и Варварской.

Массовое появление биржевых артелей в Москве относится к началу 1860-х гг. Торгующее при Московской бирже купечество обратилось в Биржевой комитет с заявлением, в котором объясняло, что в Москве — Гостином дворе, рядах и на подворьях — существуют артели, «которым купечество вверяет приемку и отпуск товаров, получение денег и другие поручения; что артели эти имеют весьма небольшие средства; что у артелей, которые успели образовать хотя небольшой капитал, гарантирующий миллионное доверие купечества, капитал отдается для хранения в частные руки; что между хозяевами и артелями никаких условий не существует, правил об обязанностях артелей не имеется и плата за труд и услуги произвольные; что при такой неурядице артелей биржевое купечество не может оставаться невнимательным к делу, которое его интересует, — а потому просило Комитет избрать из среды купечества нескольких лиц для совместного составления правил об артелях, чтобы эти правила имели законодательную силу как для артельщиков, так и для хозяев, чтобы артели были подведомственны Биржевому комитету, состояли из лиц, внесших обеспечение, какое определено будет правилами, и капитал обеспечения хранился бы в Комитете». Это было заявление, которое произвело впечатление на многих, его ждали. Московский биржевой комитет совместно с представителями артелей начали работу по составлению проекта устава, позволяющего улучшить работу биржевых артелей, дать возможность им развиваться. Но бюрократические препоны отодвинули официальное появление первых правил на долгие годы.⁶

В ведении Московского биржевого комитета в 1881 г. было 26 биржевых артелей, в 1894 г. — 34, в 1899 г. — 33 артели, в которых состояло 6314 человек (паев), в 1912 г. — 51.⁷ Наиболее известными были: Шестовская биржевая артель, Новогостинодворская, Усачевская, Ляминская, Мазуринская, Посольская, Чижевская, Кокоревская, Голяшкинская, Московская, Богоявленская, Пассажа Солодовникова, Ильинская, Украинская, Хрустального ряда, Зеркального ряда, Ветошнорядская, Северного общества, Теплорядская, Московско-Ярославской железной дороги, Шуйского подворья, Ветошнорядская-Казанская, Хлудовская, Средне-ветошнорядская, Верхнего зеркального ряда, Третьяковская, Коммерческая, Медно-москательного ряда, Городская рядская сторожевая, Мурашевская, Компании Богородско-Глуховской мануфактуры и большого юхотного ряда, Знаменская, фон-Мекковская.

По мнению современников, в начале XX в. в первопрестольной столице народилось немало артелей «московского пошиба», т. е. капиталистического, отличавшихся от петербургского кооперативно-трудового образца.⁸ С середины 1890-х гг. петербургские биржевые артели стали публиковать свои годовые отчеты, в начале 1900-х гг. они появились и у московских артелей.⁹

Дела петербургских биржевых артелей ухудшились в годы Крымской войны из-за блокады России. Ни один торговый корабль не приходил в балтийский порт, разгружать и грузить артелям было нечего. Устройство железных дорог в России также серьезно отразилось на положении биржевых артелей. Спрос на их работы резко упал. Вскоре деятельность артелей понемногу стала утрачивать «дрягильский» характер, и артельщики стали находить применение своего труда в других сферах: в конторах, банках, складах, частных и казенных учреждениях.

Промысел артели вели на основании 92 статьи «Устава Торгового» (Т. XI. Ч. 2. Свода Законов, изд. 1887 г.)¹⁰ и установившихся обычаев, которые строго запрещали

артельщикам «производство торговых оборотов». Все артельное делопроизводство находилось под надзором Биржевого комитета, в ведении которого они находились. Все артельные договоры, как и другие документы биржевых артелей, скреплялись печатью этого органа и подписью председателя Биржевого комитета. Это требовало огромного количества подписей и постоянного присутствия, особенно в конце года, когда происходило возобновление договоров.¹¹

На новом этапе развития биржевых артелей определились две основные сферы их деятельности: работы складские (товарные), заключающиеся в досмотре за доверенными артели товарами, в их хранении, перевозке, укладке, упаковке и т. д.; и работы конторские, заключающиеся в исполнении различных поручений купеческих и банкирских контор по получению и передаче денежных сумм, векселей, писем и пр. Честность и добросовестность, а также невысокая стоимость работ снискала биржевым артелям очень широкую известность в коммерческих кругах.

Известный журналист и издатель А. С. Суворин в одной из своих статей в «Биржевых ведомостях» воспроизвел подслушанный им разговор двух купцов, в котором один жаловался на то, что не знает, за что братья в своей конторе, поскольку его артельщик всерьез разболелся. Автор «Москвы купеческой» П. А. Бурыйшкин отмечал, что «биржевые артели представляли своего рода особенность русской торгово-промышленной жизни».¹² С особым чувством о биржевых артелях и артельщиках вспоминал В. П. Рябушинский. В своих мемуарах «Купечество московское», опубликованных в эмиграции, он целый параграф посвятил артелям. Рябушинский писал: «Этот замечательный элемент русской деловой жизни, бесценный помощник и сотрудник русского хозяина заслуживает особого внимания». И добавлял: «Запад не знает такой организации — то особенность нашего хозяйственного уклада».¹³

Часто в биржевых артелях работали семьями по несколько поколений, сын по наследству заступал на место отца. Сохранились воспоминания А. Ф. Калинина — члена Полуярославской артели, проработавшего в ней 60 лет. Много лет он прослужил в торговом доме «Вогау и К°». Воспоминания Калинина дают представление об обычаях и нравах артельной среды. В 1850-е гг., когда Калинин «вкупился» в артель, заплатив за «вкуп» 3500 р. ассигнациями (в начале XX в. платили столько же, но серебром, что составляло уже значительно большую сумму), ему было всего 13 лет. К 6 часам утра, встав с петухами, артельщики собирались в Старом или Новом гостином дворе. На внутренних открытых «вольных галереях» гостиного двора каждая из петербургских артелей имела свой образ. Отсюда происходила старая традиция проводить артельные собрания «у образа». Помолвившись, артельщики принимались за дела. Работа была на бирже, при таможене, в порту и на буянах. Биржевые артели принимали и грузили товары, причем артельщикам приходилось зачастую выполнять то, что позже делали наемные служащие артели. Калинин вспоминал, что работали до позднего вечера, пока не разойдется по домам биржевое купечество. Жили артельщики на своих квартирах по несколько человек и кормились из общего артельного котла. Вообще в укладе жизни артельщиков долгое время сохранялось много бытовых, чисто русских глубоко патриархальных черт.

Во главе артели стояли артельные староста, бухгалтер и писарь, авторитет которых был непререкаем. Их избирали общим собранием артели на срок один год с правом переизбрания. От имени артели им доверялось действовать совместно друг с другом

в сношениях с посторонними лицами. Притом, кроме самых экстренных случаев, они могли принимать решения обязательно по заблаговременному согласию артели. Работы артель исполняла по предварительному устному соглашению или письменному договору, заключаемому с каждым из доверителей.

Пополнялись артели только совершеннолетними лицами мужского пола разных сословий из разных местностей и только русскими подданными. Двое членов артели должны были за него поручиться. Исключения делались только в пользу детей членов артелей, которые могли быть «вкуплены» в артель с более раннего возраста, но не иначе как при поручительстве своего отца, а в случае его смерти одного из членов артели.

«Вкупом», по общепринятому обычаю, называлась денежная сумма, которую каждый вступающий в артель был обязан уплатить в пользу артельщиков, вступивших в артель раньше него, в качестве вознаграждения за участие в артельном промысле и доходах, которое они предоставляют нововступающему и подобно тому, как они сами в свое время таким же взносом купили свое право на пребывание в артели.

Размер «вкупа», или «новизны», определялся артелью особо для каждого нововступающего. Сумма колебалась весьма сильно, начиная с 200 р. и доходя до 3400 р., в среднем она составляла 2000 р. До полной уплаты всей «вкупной суммы» артельщик назывался «новик», уплатившего весь «вкуп» величали «старик». Взносы каждого артельщика в капитал обеспечения составляли его частную собственность, записывались на его личный счет. Проценты с этих бумаг (в сроки их получения) выплачивались ему на руки.¹⁴

Отбор в артели, — вспоминал Рябушинский, — проходил по принципу «известной зажиточности, а главное, личной годности». Не всякого брали в хорошую артель. Претендент должен был внушать доверие, его должны были знать. Поскольку артель отвечала имущественно за своих членов, то слабых, пьяниц, кутил не брали. Но и положительные люди могли портиться, потому существовал известный надзор. Артельные старосты время от времени посещали клубы и ипподромы. Сами они не играли, а высматривали среди игроков членов своей артели.¹⁵

Постепенно старые обычаи утрачивались — «собрания у образа», клятвенные обещания «новиков» при «вкупе в артель», общая жизнь на артельных квартирах и столование из «артельного котла». Былые корабельные грузчики становились кассирами, бухгалтерами, заведующими складами, сборщиками денег на железнодорожных станциях и с винных лавок. Казенные учреждения, земские, городские, торговые фирмы и заводы приглашают служащих из артелей, которые стали развиваться на началах акционерных обществ.¹⁶ Между артелями появилась конкуренция.

К началу XX в. петербургские биржевые артели изменились до неузнаваемости. Они превратились в довольно сложную организацию, в подобие акционерных обществ со своими правлениями, канцеляриями, иногородними конторами, основными капиталами. В артелях были организованы взаимовспомогательные, похоронные и пенсионные кассы. Тем не менее оставались некоторые принципы и традиции прежнего артельного труда.

У каждой артели был свой собственный устав, рассмотренный Биржевым комитетом и утвержденный министром финансов. Например, за безукоризненно разработанный устав и образцовую отчетность Полуярская биржевая артель в 1905 г. на международной сельскохозяйственной выставке в Антверпене получила диплом и золотую медаль. Однако все уставы биржевых артелей считались временными до утверждения общих для всех петербургских артелей правил. Еще в 1870 г. было подготовлено общее

положение о биржевых артелях, но оно не было принято. В 1908 г. артели предоставили в Петербургский биржевой комитет новый проект общего устава, который, однако, также не был утвержден.

В начале 1910-х гг. в среде артельщиков возникла идея создания Союза биржевых артелей, активно обсуждавшаяся на страницах специальных журналов «Биржевой артельщик» (СПб., 1909–1914), «Артельный мир» (СПб., 1913–1914) и «Вестник биржевых артелей» (СПб., 1911–1913). В апреле 1912 г. в Петербурге состоялся Первый Всероссийский съезд представителей биржевых артелей, на котором было принято немало разных резолюций и положений.¹⁷

Изменения, произошедшие в обществе, сказались на артелях. В начале XX в. биржевой артельщик превратился в универсального специалиста. Артельщиков нанимали в качестве конторщиков, бухгалтеров, счетчиков, вояжеров, управляющих, денежных рассыльных, заведующих товарными складами. Они работали приемщиками и сдатчиками товаров, караульными, сборщиками денег на железнодорожных станциях и пристанях, в казенных винных лавках по всей России. Артельщики сидели в водопроводных будках, на возах с ситцем, они работали вокзальными носильщиками, в городских управах, в подвалах магазинов ворочали тюки с товарами, в шикарных помещениях банков распоряжались деньгами. Вообще все кассиры, исполнители денежных поручений, хранители товарных складов, как правило, являлись биржевыми артельщиками, и за их действия артель отвечала материально.¹⁸ Кассу, склад и товары артель брала на свой «страх» и отвечала за целостность. Не существовало отрасли промышленности или торговли, где обходились бы без услуг биржевых артельщиков. «Артельщик из Бурдье», выведенный Л. Н. Толстым в «Плодах просвещения», который всю сцену стоит разинув рот, не являлся типичной фигурой биржевого артельщика.

Крупный капитал (до 1 500 000 р.), сохраняющаяся круговая порука всех членов давали биржевым артелям возможность гарантировать свои услуги и состоятельность. Все капиталы артели (капитал обеспечения, запасной капитал (если он был), выводной капитал (если он был)) должны были быть обращены в государственные и правительством гарантированные бумаги. За растраты и ошибочные действия своих членов ответственность несла вся артель. Если все же случались растраты, как например в Таганрогском металлургическом обществе, где по вине одного артельщика была обнаружена недостача на сумму 63 000 р., артель полностью их покрывала.¹⁹

Впрочем, время от времени в газетах встречались сообщения об исчезнувших артельщиках с присвоенными чужими деньгами. Так, артельщик С. Я. Куличев «вкупа» 1904 г. (Гленова артель в Одессе), состоявший заведующим главной кассой Николаевского отделения Северного банка со дня его открытия, присвоил 68 000 р. и бесследно исчез. Правление банка было им недовольно и ждало прибытия нового артельщика из Гленовой артели. Накануне, воспользовавшись отсутствием директора банка Ландау, Куличев скрылся. Исчезновение было обнаружено спустя сутки.

Другой случай произошел в Одесском ломбарде, где было обнаружено крупное мошенничество. Выяснилось, что главный артельщик ломбарда Дм. Максимов подменивал драгоценности. Камни, которые сдавались в ломбард, он отдавал ювелирам. Те вставляли вместо драгоценных камней поддельные. В Москве в ювелирном магазине купца Невежина в Верхних торговых рядах произошла кража драгоценностей на 33 000 р. Верхнерядской биржевой артели, несущей охрану, пришлось уплатить всю стоимость

украденного.²⁰ Растраты, связанные с артельщиками, случались Екатеринославе, Виндаве, Херсоне и других городах, но биржевые артели возмещали все потери. В таких случаях артель была беспощадна к виновному. Артельщик, причинивший артели материальные убытки, обязан был возместить их полной мере, ответствуя в том всем своим достоянием, как находящимся в артели, так и прочим имуществом.

Благодаря такой постановке дела спрос на артельщиков постоянно рос. Их приглашали на службу не только частные лица, торговые фирмы, но и разные учреждения городские и казенные.²¹ Русских артельщиков приглашали на работу за границу. Петербургские артельщики служили в парижском Лионском кредите.

Артель за исполненные работы получала плату по взаимному соглашению с доверителями. Плата эта поступала в общий «дуван» т. е. в раздел между всеми членами, и на руки отдельным артельщикам или не выдавалась вовсе или только частью в определенном артели размере. В этом последнем случае остальная часть вносилась доверителями в артель по особым представляемым счетам. На руки отдельным артельщикам (без зачисления в дуван) поступала так называемое положение, т. е. квартирные, харчевные, проездные и тому подобные особые вознаграждения и праздничные награды, которые по существующим у разных торговых учреждений и купцов обычаям полагались в пользу служащего сверх вознаграждения, платимого за него артели. «Дуваны» были обыкновенные (ежемесячно) и коренные (один или два раза в год), причем определение времени выплаты тех и других и указание, какие именно доходы подлежат разделу на тех и других, производились годовым общим собранием артели.²²

В начале XX столетия, как и 15–20 лет назад, артельщики получали в Петербурге и Москве, кроме прочих выплат, обыкновенно по 40–50 р. жалованья в месяц и на 10 р. меньше в провинции. Банки платили артельщикам чуть больше, по 50–60 р. в месяц, тогда как обыкновенному частному служащему гораздо больше.

Действия артели прекращались в следующих случаях: артельным приговором; решением суда о признании артели несостоятельным должником; по особому распоряжению правительства.

В эти годы наметился процесс сокращения биржевых артелей. В 1909 г. в Петербурге осталось всего 13 биржевых артелей. На 1 января 1911 г. в столице насчитывалось 14 биржевых артелей с общим числом членов в 9214 человек, в среднем по 658 человек в каждой. В них преобладали лица крестьянского происхождения, затем мещане, в редких случаях — купцы и еще реже — дворяне. Штиглицова биржевая артель насчитывала до 1600 человек по отчету 1907 г. Это была самая крупная биржевая артель в России. На службе в ней только в провинции находилось более 900 человек, ее артельщики работали даже в Сибири и Средней Азии.

Ни одна из биржевых артелей не примкнула к революционным забастовкам ни в 1905–1907 гг., ни в 1917 г. Только так называемые трудовые артели, ничего общего не имеющие с биржевыми, участвовали в революционных событиях.²³ Некоторые биржевые артели сохранились и при советской власти. Штиглицова артель просуществовала до середины 1920-х гг., пережив не только самого Людвига Штиглица, но и его сына Александра, сохраняя все время свое название. В 1914 г. она была переименована в Петроградскую, а в 1924 г. — Ленинградскую артель ответственного труда имени Штиглица.²⁴ В конце 1920-х — начале 1930-х гг. со свертыванием нэпа биржевые артели исчезли.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Литература о биржевых артелях насчитывает более десятка наименований. В основном это юбилейные брошюры, посвященные разным артелям, отмечающим знаменательные даты или практические руководства: *Дергачев А. П.* Биржевые артели: Очерк закулисной жизни современных биржевых артелей и их руководителей (старост-заправил). Воронеж, 1912; *К. Д., В. Л.* Биржевые артели при С.-Петербургском порте. СПб., 1873; *Кузнецов И.* Очерк возникновения и развития биржевых артелей в С.-Петербурге: В память пятидесятилетнего юбилея Владимирской артели. 1852–1902. СПб., 1902; 1758–1908. Празднование 150-летнего юбилея С.-Петербургской Полуярославской биржевой артели. 16 ноября 1908 г. СПб., 1909; *Немиров Г. А.* Биржевые артели в С.-Петербурге: (Очерк их организации и современного состояния). СПб., 1876; *Максимов В.* Артели биржевые и трудовые. СПб., 1907; *Мошков П. И.* Краткие сведения о происхождении и организации биржевых артелей в России: К 175-летию Санкт-Петербургской биржевой Спасской артели. СПб., 1900; Петербургская биржевая Амбургерская артель: Краткий очерк 125 лет существования артели при С.-Петербургском порте. 1778–1903. СПб., 1904; *Полянский С.* Артельный азарт: (Расценка мест в биржевых артелях). М., 1912; *Полянский В. С.* Биржевые артели по действующему закону. М., 1910; *Строчилов Н. О.* О биржевых артелях и степени гарантии ими доверителей. СПб., 1910; *Уваров И. В.* Служба биржевых артелей в конторах разного рода торговых банков, в правлениях и общественных учреждениях, в учреждениях ипотечного кредита, на железных дорогах, в учреждениях заклада движимости, в обществах страхования, в конторах разного рода заводов и фабрик, в конторах торговых домов и частных лиц. Руководство для членов биржевых артелей. СПб., 1910; *Ульянов М. В.* Петербургская биржевая Ярославская артель: Празднество по поводу 175 лет... СПб., 1889 и др.

² ПСЗ I. Т. 25. № 19187. С. 881–882.

³ *Строчилов Н. О.* О биржевых артелях и степени гарантии ими доверителей. СПб., 1910. С. 11.

⁴ ПСЗ I. Т. 38. № 29607. С. 1211–1217.

⁵ Труды Первого Всероссийского съезда представителей биржевых артелей. СПб., 1912. С. 4–5.

⁶ См.: Биржевые артели // Материалы Музея ММВБ (<http://forum.micex.ru/museum/collect>); Правила для биржевых артелей в Москве, действующие с разрешения правительства с 1866 г. М., 1866.

⁷ *Бурыйшкин П. А.* Москва купеческая. М., 1991. С. 346.

⁸ Биржевой артельщик. 1909. № 3. С. 6.

⁹ *О-иев С. А.* Заметки артельщика-петербуржца // Биржевой артельщик. 1909. № 7. С. 8–9.

¹⁰ Согласно 92 ст. «Устава Торгового», артельный промысел заключался: «1). В производстве, общими силами артели, по поручению оптового купечества а равно разных торговых домов, обществ, товариществ, компаний, банков и других торгово-промышленных учреждений и лиц всякого рода ответственных работ по уход за товарами (как-то: их охранение, выгрузка, нагрузка, перегрузка, переноска, перевозка, укладка, упаковка и проч.) при бирже, таможнях, буянах, амбарах, биржевых и гостиных дворах, пристанях, станциях железных дорог и разных местах оптовой продажи или склада товаров. 2). Поставке отдельных лиц, из среды своих членов, по требованиям купечества, торгующих домов, обществ, товариществ, компаний, банков и разных учреждений как правительственных, так и частных, для разного рода услуг или службе в должностях: счетчиков, кассиров, денежных рассыльных, конторских рассыльных, приемщиков и сдатчиков товаров, амбарных, караульных и других подобные должности... Работы означенные в пункте 1 называются работами товарными, а служба по 2 пункту работами конторскими».

¹¹ *Бурыйшкин П. А.* Москва купеческая. М., 1991. С. 231.

¹² Там же.

¹³ *Рябушинский В. П.* Купечество московское // Былое. 1991. № 2. С. 8.

¹⁴ См.: *Сиверс Е. Е.* Лекции по общему счетоводству, читанные в Торговых классах при обществе распространения Коммерческого образования. Ч. 2: Теория счетоводства в применении к отдельным операциям. СПб., 1897–1898.

¹⁵ *Рябушинский В. П.* Купечество московское. С. 8.

¹⁶ Биржевой артельщик. 1909. № 2. С. 11.

¹⁷ См.: Всероссийский съезд биржевых артелей. О мерах к поднятию образовательного уровня в артелях. О всероссийских съездах биржевых артелей. Доклад комитета. СПб., 1912; Труды Первого Всероссийского съезда представителей биржевых артелей, состоявшегося 3, 4, 5, 6, 7 и 8 апреля 1912 г. в С.-Петербурге. СПб., 1912.

¹⁸ Там же.

¹⁹ Новое время. 1909. 9 июля.

²⁰ Биржевой артельщик. 1909. № 10. С. 19–20.

²¹ Биржевой артельщик. 1909. № 1. С. 7.

²² См.: *Сиверс Е. Е.* Лекции по общему счетоводству... СПб., 1897–1898.

²³ Новое время. 1909. 9 июля.

²⁴ См.: Устав Санкт-Петербургской биржевой барона Штиглица артели. СПб., 1893. Ленинградская артель ответственного труда им. Штиглица. Отчет за 1925 год. Л., 1925.

Л. Е. Шепелев

М. М. СПЕРАНСКИЙ И ЧИНОВНИКИ

Более 40 лет тому назад под редакцией С. Н. Валка была издана книга с текстами «проектов и записок» М. М. Сперанского, касающихся актуального ныне сюжета: преобразования органов государственного управления Российской империи в начале XIX в. и вызванных этим изменений условий государственной службы. Опубликованные материалы — важный исторический источник, изучение которого еще будет продолжено. Задачей этих заметок является отметить наиболее существенные из предложений Сперанского по реорганизации органов управления России, а главное — рассмотреть его проект изменения самих условий гражданской службы, в особенности касающихся дворян.

Еще в 1803 г. в «Записке об устройстве судебных и правительственных мест» Сперанский намечал разделить Правительствующий Сенат на две части: Сенат законодательный (из сенаторов «по избранию государя») и Сенат исполнительный («составляется единственно из министров»). Пояснялось, что «Сенат законодательный не есть корпус внешний политический, но отделение государева Кабинета»: «никакого внешнего акта» он «издать не может». Сенат исполнительный разделялся «до времени на две части: судную и управления». Первая часть (Сенат судный) «оставляется в настоящем ее положении». Вторая часть иначе называлась «Сенатом управляющим».

В функции Сената исполнительного входило:

«1) Рассмотрение и соображение новых мер, каждым министром принимаемых <...>

4) Определение чиновников.

5) Производство в чины.

6) Хранение актов...».

Сенат исполнительный (управления) должен был заменить собой Комитет министров (хотя прямо об это не говорилось).

Позже (1809) Сперанский предлагал административные функции Сената «разместить по министерствам», сохранив за ним лишь судебные. В записке «Краткое начертание государственного образования», датированной 1809 г. (к сожалению, точная дата ее

написания не известна), Сперанский предлагал «образование Государственной думы», состоящей «из депутатов от всех свободных состояний (сословий) по избранию дум губернских». В компетенцию Думы входило «уважение» законов, «предлагаемых правительством» и «утверждаемых государем». «Никакой новый закон не может быть издан без уважения Думы. Установление новых податей, налогов и повинностей уважаются в Думе. Закон, уваженный в Думе, вносится на высочайшее утверждение. Закон, признанный большинством голосов неудобным, оставляется без действия». (Кроме губернских дум предусматривалось также существование дум волостных и окружных.)

Позднее Сперанский разъяснял, что Дума нужна, в частности, для того, чтобы проведение непопулярных мер (финансовых и др.) не лежало бы на ответственности только власти. Сам процесс выборов в Думу и опыт ее работы будут полезной школой для российских избирателей и законодателей.

Как известно, ни разделение Сената на судебный и административный, ни образование законосовещательной Думы (и местных дум) не было реализовано и даже официально не обсуждалось.

Создание Думы не меняло того, что «рассмотрение законов, уставов и учреждений» возлагалось, по Сперанскому, на Государственный совет.

В той же записке 1809 г. Сперанский предлагал некоторые изменения в составе министерств и их функций. Так, к «предметам» ведения Министерства внутренних дел он относил, во-первых, «земледелие, фабрики, внутреннюю торговлю, почту»; во-вторых, «пути сообщения» и, в-третьих, «Главное управление училищных заведений». «Предметами» Министерства финансов, по Сперанскому, должны были быть «источники доходов: сбор податей и налогов; управление горное, лесное, таможенное и проч.», а также «движение капиталов и кредита» и «ревизия всех отчетов». Отметим также, что предусматривалось образование Министерства духовных дел во главе с обер-прокурором Синода. Наконец, предлагалось существование самостоятельного Министерства полиции с функцией «охранения внутренней безопасности».

В «Общем обозрении всех преобразований и распределении их по времени» (1809) Сперанский предлагал «прежде всего определить разум коренных государственных законов, то есть начертать план конституции», а «начало преобразований» «положить... открытием Совета», который должен будет рассмотреть «Гражданское уложение» (Закон «о правах подданных») и «план финансов». Под конституцией имелся в виду закон, не изменяемый в течение длительного времени, фиксирующий существующую политическую систему самодержавной власти в стране и ее организационное устройство. Кроме того, Совет должен был рассмотреть «общий план министерств, общий министерский наказ и учреждение об управлении губерний».

Во «Введении к Уложению государственных законов» (1809) Сперанский высказывается за то, чтобы в ходе намечаемых преобразований «не внешними только формами покрыть самодержавие, но ограничить его внутреннею и существенною силою установлений и учредить державную власть на законе не словами, но самим делом». Заметим, что слово «ограничить» в начале XIX в. означало не «сузить» (как мы иногда понимаем его теперь), а «установить границы, точно определить пределы». Выступая против «самовласти» Сперанский полагает, что «законодательное сословие (власть. — Л. Ш.) должно быть так устроено, чтоб оно не могло совершать своих положений без державной власти, но чтоб мнения его были свободны и выражали бы собою мнение народное». А «власть

исполнительная должна быть вся исключительно вверена правительству» и «поставлена в ответственность власти законодательной». К этому делается примечание: «На сих... главных правилах основано настоящее политическое устройство Франции».

В 1809 г. Сперанский считал план предстоявших реформ настолько подготовленным, что намечал на 15 августа следующего года созыв Государственной думы («депутатов из всех сословий»), «не намечая срока ее продолжения».

Реальные действия властей не вполне соответствовали предложениям Сперанского. В 1810 г. был реформирован Государственный совет. Думы не были созданы. Сенат не подвергся реорганизации (разделению на Судебный и Исполнительный). Лишь система министерств, установленная в 1802 г., в 1810 и 1811 гг. была существенно реформирована. В предвидении этого выявилась проблема состава и численности чиновничества, точнее: проблема «мобилизации» дворянства на гражданскую службу.

Было ясно, что реорганизация системы государственного управления оправдывает себя лишь при условии увеличения общего числа государственных служащих (чиновников) и повышения их делового уровня. Все это решалось расширением сети учебных заведений в стране и введением экзаменов при переходе чиновников из IX класса в VIII (первый штаб-офицерский чин, дававший потомственное дворянство) и из VI класса в V (первый генеральский чин).

Еще 24 января 1803 г. Александром I был подписан указ Сенату «Об устройстве училищ». Им предусматривалось, в частности, что в связи с предстоящим открытием университетов, гимназий и других училищ и устранением тем самым препятствий к получению образования представителями всех свободных «состояний», прежде всего дворянством, может быть выдвинуто требование, чтобы через пять лет все должности по гражданской государственной службе, где необходимы правовые и другие специальные познания, начали замещаться лишь лицами, окончившими курс обучения в казенных или частных учебных заведениях. Однако надежды на то, что возможность получить образование будет широко использована дворянством и лицами других сословий, не оправдывались. «Обманутые ожидания, — пишет по этому поводу В. А. Евреинов, — указывали на необходимость приискать средство более понудительное, и притом такое средство, которое уже невозможно было бы обойти, не отказавшись от всякой служебной будущности для своих детей».

Таким средством и должен был стать закон 6 августа 1809 г. В его преамбуле указывалось, что главная причина низкой образованности чиновничества «есть удобность достигать чинов не заслугами и отличными познаниями, но одним пребыванием и счислением лет службы». «Между тем, — говорилось далее, — все части государственного служения требуют сведущих исполнителей, и чем далее отлагаемо будет твердое и отечественное образование юношества, тем недостаток впоследствии будет ощутительнее... В отвращении сего и дабы положить наконец преграду исканиям чинов без заслуг, а истинным заслугам дать новое свидетельство нашего уважения», было признано необходимым установить, что производству в чин коллежского асессора (VIII класс) впредь могли подлежать лишь лица, имеющие высшее образование либо выдержавшие экзамен по установленной программе (помимо соответствующей выслуги лет).

Столь крутая мера вызвала и в целом, и в деталях неблагоприятный отклик современников. В частности, подверглась осуждению программа экзаменов. Одним из выступивших с ее критикой был известный историк Н. М. Карамзин. Он представил записку, в которой

не без юмора, хотя и не совсем по существу дела, писал: «...отныне никто не должен быть производим ни в статские советники, ни в асессоры без свидетельства о своей учености. Доселе в самых просвещенных государствах требовалось от чиновников только необходимое для их звания: науки инженерной — от инженера, законоведения — от судьи и проч. У нас же председатель гражданской палаты обязан знать Гомера и Феокрита, секретарь сенатский — свойства кислорода и всех газов, вице-губернатор — пифагорову фигуру, надзиратель в доме сумасшедших — римское право, или умрут коллежскими и титулярными советниками. Ни сорокалетняя деятельность государственная, ни важные заслуги не освобождают от долга узнать вещи, совсем для нас чуждые и бесполезные. Никогда любовь к наукам не производила действия столь несогласного с их целью...».

Указ 1809 г. не стал достаточным стимулом для повышения образовательного уровня чиновничества. К тому же в скором времени возникла необходимость делать исключения из установленных правил, ввиду того что министры жаловались на затруднения в замещении должностей, и каждый из них стремился доказать, что в работе его министерства опыт для служащих имеет преимущественное значение перед общим образованием. Предоставление разрешений не соблюдать предписанный указом порядок применительно к отдельным категориям чиновников и целым ведомствам приняло в результате столь широкий характер, что уже через три года после издания закона соблюдение его требований можно было считать исключением.

Многие гражданские чиновники, не имея аттестатов о науках, переходили на службу в военные департаменты и другие ведомства, по которым сделаны были изъятия из указа 1809 г., для того только, чтобы получить чины, которых они не могли получить на прежней своей службе. Комитет постановил поэтому, что во всех таких ведомствах при производстве в VIII и V классы отдаваемо было старшинство не иначе, как тогда, когда представляемый выслужит срок в том самом ведомстве и затем по таким ведомствам никого не представлять к производству в VIII и V классы без выслуги срока.

Важно отметить, что заполнение вакансий в государственных учреждениях было особенно желательно за счет дворянства. Хотя оно еще во второй половине XVIII в. официально было освобождено от обязательной государственной службы, такая служба считалась моральной обязанностью дворян. Привлекательной для них была и возможность выслужить высокие чины, достигнуть заметного положения в обществе и во власти.

Привлечение дворянства на службу было необходимо потому, что оно давало более образованный и материально обеспеченный (в целом) контингент чиновников. Последнее было важно ввиду недостаточного размера жалованья чиновников. Другая важная причина предпочтительности комплектования государственных служащих из дворянской среды заключалась в нежелательности пополнения состава родового дворянства социально чуждым ему служилым элементом. Напомним, что уже XIV класс гражданской службы давал личное дворянство, а VIII класс — потомственное, распространявшееся на членов семьи и на потомство. Новый дворянский род в большинстве случаев оставался в положении, близком к нищете.

В записке «Введение к Уложению государственных законов» (1809) Сперанский предложил оригинальное решение проблемы привлечения дворянства на государственную службу. Приведем соответствующий текст из названной записки, а затем прокомментируем его.

«Права дворянства:

1) Дворянство пользуется всеми гражданскими правами, поданным российским вообще принадлежащими.

2) Сверх сих общих прав, дворянство имеет то особенное право, что оно свободно от личной службы... но обязано непременно отправлять оную в гражданском или воинском звании не менее 10 лет по своему выбору, но без перехода, исключая случаев, особенным законом определяемых.

3) Дворянство имеет особенное право приобретать недвижимые имущества населенные, управляя ими по закону.

4) Дворянство имеет политические права в выборе и представлении, но не иначе, как на основании собственности.

5) Все свободные промыслы, дозволенные законом, отверзты дворянству. Оно может вступать в купечество и другие звания, не теряя своего состояния.

Состав дворянства:

6) Дворянство разделяется на личное и потомственное; личное не простирается далее одного лица.

7) Дворянство потомственное приобретается по праву родом, со службою сопряженным.

8) Дети дворянина потомственного до совершения положенных лет службы суть дворяне личные. Окончив службу, они приобретают дворянство потомственное по праву.

9) Дворянство личное без рода приобретается службою.

10) Дети личных дворян суть люди среднего состояния.

11) Но личное дворянство не превращается в потомственное одним совершением службы; к сему потребны особенные заслуги, по уважению коих императорскою властью в течение службы или по окончании ее даруется потомственное дворянство и удостоверяется особым дипломом.

12) Титла дворянские личные производят дворянство личное, а потомственные дают дворянство потомственное.

13) Но сохранение сих титулов зависит также от продолжения службы, как и сохранение прав дворянских.

14) Дворянство потомственное пресекается и превращается в личное уклонением от службы...».

Итак, подтверждая, что вообще дворянство «свободно от личной службы», Сперанский предлагает установить, что оно «обязано непременно отправлять оную в гражданском или воинском звании не менее 10 лет по своему выбору, но без переходов...» из одного рода службы в другую.

Даже поступая на службу IX классом (в связи с полученным образованием) дворянин за 10 лет мог дослужиться лишь до VII класса. Ясно, что расчет был на то, что, вступив в службу, дворянин захочет ее продлить за 10 лет, чтобы дослужиться хотя бы до VI класса, а то и до V (общий титул «ваше высокородие») и даже до первого «генеральского» чина («ваше превосходительство») и занять более высокую должность с ее внешним обозначением в виде все более эффектного мундира.

Вместе с тем, «дети дворянина потомственного до совершения положенных (10-ти) лет службы суть дворяне личные». Лишь «окончив службу, они приобретают дворянство потомственное по праву». «Но личное дворянство не превращается в потомственное

одним совершением службы: к сему потребны особенные заслуги, по уважению коих императорскою властью в течение службы или по окончании ее даруется потомственное дворянство...». Не ясно, означало ли это ликвидацию права чиновников VIII класса на автоматическое получение потомственного дворянства. В связи с этим следует учитывать, что заслуги по службе могли быть отмечены орденом, которая сама по себе давала право на потомственное дворянство.

Последний (14-й) пункт касался всех потомственных дворян (в том числе молодых, которые по совершеннолетию уже получили этот статус), не желавших служить или намеренных выйти в отставку ранее 10 лет службы. Фактически 10-летняя государственная служба дворян вновь становилась обязательной.

В то время все эти предложения Сперанского не были не только реализованы, но даже санкционированы и стали известными лишь очень немногим его коллегам. Все же они получили огласку в правительственных верхах, где вызвали возмущение и послужили едва ли не главной причиной последовавшей вскоре опалы автора.

П. Д. Николаенко

КНЯЗЬ В. П. КОЧУБЕЙ — УЧРЕДИТЕЛЬ ИМПЕРАТОРСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

История формирования современного облика Ботанического сада Санкт-Петербурга непосредственно связана с деятельностью первого министра внутренних дел России Виктора Павловича Кочубея (1768–1834).

Вся его сознательная жизнь и полувековая государственная деятельность неразрывно связаны со столицей Российской империи. Будучи приближенным императора Александра I, граф В. П. Кочубей в годы его царствования дважды возглавлял МВД. При Николае I он получает пост председателя Государственного совета и Комитета министров, звание Государственного канцлера по внутренним делам, а также княжеский титул.

Занимая столь ответственные посты в государстве, В. П. Кочубей тем не менее много внимания уделял вопросам развития и благоустройства северной столицы, от строительства известнейшего памятника архитектуры начала XIX в. Казанского собора до сооружения первых в городе каменных мостов и общественных бань.

С именем В. П. Кочубея как главы МВД связана история коренной реорганизации Ботанического сада на Аптекарском острове и наименования его «Императорским».

Прообраз сада появился в годы петровского правления. В 1712 г. Петр I передал в распоряжение главной аптеки один из прилегающих к центру города островов. Отсюда его название — «Аптекарский». Главное предназначение заложенного там сада («Аптекарского огорода») заключалось в разведении лекарственных трав.

По указу Петра I на Аптекарском острове «посторонним людям никому, кроме аптекарских служителей строица не вельно».¹ Для работников Аптекарского огорода нарезались участки земли, строились дома. Со временем возникла так называемая

Карповская слобода. Лишь император Павел I разрешил застройку Аптекарского острова. При Александре I его освоение стало еще более массовым.

Что же касается Аптекарского огорода, то с 1735 г. он стал называться Медицинским садом, который с учреждением Медико-хирургической академии (1798) перешел в ее ведение для использования в лечебных целях.

Вот как описывает сад исследователь И. Г. Георги: «Аптекарский сад... занимает восточную часть ... острова, имеет в длину около 300, а в ширину около 200 сажен. Он определен для лекарственных растений. Есть, однако ж, в нем рощи, аллеи, пруды, а особливо ботаническое деление для преподавания прозябословия (ботаники. — *П. Н.*) при хирургическом училище. В большом деревянном доме живет настоятель и профессор ботаники... Здесь построена также химическая лаборатория Медицинской коллегии, в которой приготавливаются в большом количестве разные лекарства... Жилища садовников ... имеют вид небольшой деревни. По левую сторону Невы ... построены с 1789 по 1791 гг. каменные дома для ... врачебного училища».²

В 1803 г. Медицинская коллегия на правах экспедиции вошла в МВД.³ Новое ведомственное подчинение существенно улучшило руководство Аптекарским садом и создало более благоприятные условия для его развития. Его территория расширялась за счет присоединения земельных участков, ранее занятых усадьбами. Сад получил те границы, в которых существует по настоящее время.⁴

В начале 20-х гг. XIX в. Ботанический сад стал научным учреждением и одним из известнейших в мире. И в этом прежде всего заслуга В. П. Кочубея. Уже в первый год существования МВД мы встречаем сведения о том, что 13 февраля 1803 г. Виктор Павлович направил в Медицинскую коллегия письменное распоряжение о принятии необходимых мер по созданию нормальных условий профессору ботаники Григорию Федоровичу Соболевскому для его работы в Ботаническом саду.

Данный вопрос возник не случайно. По установившемуся правилу профессор академии, читавший курс ботаники, являлся одновременно директором Медицинского сада. Министр внутренних дел, знакомясь во время приема с положением дел в Медицинском ведомстве, пришел к выводу о необходимости со стороны директора «усилить наблюдение за ботаническим садом». Об этом он напомнил профессору ботаники Г. Ф. Соболевскому, порекомендовав при этом чаще посещать вверенный ему сад. В ответ профессор заявил, что он «не может исполнять сего с надлежащей деятельностью» из-за «отдаленности жительства его и неимения экипажа».

Потребовалось более решительное вмешательство министра. Он обязал руководство Медицинской коллегии обеспечить профессора Г. Ф. Соболевского транспортом для его поездок в сад. Для этой цели было рекомендовано выделить две лошади и содержать их за счет средств суммы, предусмотренной для нужд сада.⁵

В это же время при содействии министра коллекция сада пополнилась семенами многих новых растений, приобретенных за границей. Продолжался сбор семян для сада и в различных районах России. Однако развитие Ботанического сада шло крайне вяло. Сказывалось отсутствие должного финансирования, твердости в руководстве. Часто болевшего профессора Г. Ф. Соболевского замещали другие преподаватели, естественно уделявшие мало внимания саду.

В 1806 г. директором сада был назначен доктор медицины Ф. Х. Стефан (Стефани), приглашенный из Москвы сроком на три года по инициативе В. П. Кочубея. Однако в

1807 г. Виктор Павлович ушел в отставку и его связь с Ботаническим садом прервалась на долгие годы. И лишь в ноябре 1819 г., вступив в должность управляющего МВД, граф Кочубей получил возможность серьезно заняться реорганизацией Ботанического сада, пришедшего в запустение. О состоянии сада в начале 1820-х гг. его директор Я. Петров доносил, что «в строениях крыша дырявая, стены оседают, штукатурка отваливается, трубы текут. Не лучше обстоит дело с помещениями для растений. Прежде насчитывалось 20 оранжерей и 34 парника, теперь число оранжерей сократилось до 5, а парников — до 6. Оранжереи готовы рухнуть от малейшего сотрясения ... от холода погибло 130 растений».⁶

Удручающая картина состояния сада требовала принятия срочных мер. Помог случай. В 1822 г. умер граф Алексей Кириллович Разумовский, родной дядя супруги министра МВД В. П. Кочубея. Граф А. К. Разумовский стал в эпоху Александра I министром народного просвещения, попечителем Московского университета, а также членом Государственного совета. Но главным увлечением Алексея Кирилловича была ботаника.

В подмосковном имении Горенки он устроил замечательный ботанический сад, который пользовался широкой известностью не только в России, но и во многих странах Европы.

На содержание сада граф ежегодно тратил более 100 тыс. р. На его средства профессор Московского университета Х. Ф. Стефани (учредитель сада Разумовского), Ф. Б. Фишер и другие совершали экспедиции в районы Сибири и Урала, Камчатки и Кавказа в целях пополнения различных коллекций сада, которые в 1812 г. до нашествия французов насчитывали 12 тыс. видов растений.⁷

Во время войны с французами немного пострадал лишь господский дом в Горенках, оранжереи и теплицы были спасены. В послевоенные годы управляющим садом был известный ботаник и опытный администратор Ф. Б. Фишер (1782–1854). Он родился в Пруссии. В 1804 г. окончил университет и защитил диссертацию на степень доктора медицины. По прибытии в Россию был зачислен адъюнкт-профессором ботаники Московского университета. Вскоре после этого он стал заведовать Ботаническим садом А. К. Разумовского.⁸

После смерти владельца Московского сада для управляющего МВД В. П. Кочубея открылась возможность воплотить в жизнь свою давнюю мечту — создать в Санкт-Петербурге государственный сад наподобие известного во всем мире «сада Разумовского».

В 1822 г. он встретился с приехавшим в столицу профессором Ф. Б. Фишером и предложил ему возглавить управление Ботаническим садом на Аптекарском острове, поступив профессором ботаники в Медико-хирургическую академию.

Заручившись согласием Ф. Б. Фишера, Кочубей попросил его от имени Министерства внутренних дел выступить покупателем растений Горенского сада у наследников покойного А. К. Разумовского. Профессор согласился выполнить просьбу министра, которая предварительно была одобрена императором.

Получив в канцелярии военного генерал-губернатора столицы подорожную на трех лошадей от Санкт-Петербурга до Москвы и обратно, а также прогонные деньги в сумме 356 р. 4 к., профессор Ф. Б. Фишер в конце августа 1822 г. выехал в Москву «по особому поручению, относящемуся до покупки ботанических растений» у наследников графа А. К. Разумовского.⁹

Фишер вез с собой в столицу рекомендательное письмо В. П. Кочубея на имя графа П. А. Разумовского. В письме министр сообщал о том, что, узнав о продаже в Горенках ботанических растений, «имел счастье докладывать государю императору, не угодно ли будет позволить мне войти в сношение с вами ... о продаже растений сих для Ботанических казенных садов. Получив на сие высочайшее соизволение с тем, если таковое приобретение может быть учинено за цену умеренную...». Свое письмо В. П. Кочубей закончил сообщением о том, что профессор Фишер знает о тех условиях, «на коих казна может сделать таковое приобретение», поэтому необходимо высказать ему свои условия, «если решиться изволите войти с правительством по сему делу в согласие».¹⁰

Однако задуманная В. П. Кочубеем сделка в силу ряда причин в полном объеме не состоялась. Дело ограничилось лишь приобретением библиотеки Разумовского. Что же касается намерений перевезти живые растения сада в Санкт-Петербург, то от этого пришлось отказаться. Виной тому были различные затруднения — неговорчивость наследников, затяжка и медлительность в переговорах. Но главное — отсутствие железной дороги не позволяло в сжатые сроки перевезти на большое расстояние огромное количество растений без ущерба для них.

Но министр, имея поддержку Александра I, не отступал от намеченного плана, стремясь как можно полнее использовать сад Разумовского. Здесь важно заметить, что В. П. Кочубей руководствовался в этом деле не только служебной обязанностью министра, которому подчиняется Ботанический сад, но и своей любовью к живой природе. В саду его имения в селе Диканька были устроены огромные оранжереи, в которых цвели многочисленные кусты роз и камелий необычной формы и величины. В теплицах и парниках выращивались овощи и ягоды. В открытом грунте росло огромное число фруктовых деревьев. Внизу сада имелся большой водоем, который сообщался с протекавшей рядом небольшой речкой. Летом вдоль широкой центральной аллеи выставлялись кадки с пальмами, кипарисами и лавровыми деревьями.

В годы второго правления МВД, изредка приезжая в Диканьку, В. П. Кочубей всегда находил там отдых среди благоухающих цветов и экзотических растений.

В очередной раз находясь в Диканьке, Виктор Павлович в письме к М. М. Сперанскому между прочим радостно сообщал: «Я нашел здесь все в самом восхитительном виде. Деревья сада моего, коего я так давно не видел, разрослись чрезвычайно. Цветов множество, дом отделан вновь как можно лучше. Мы живем довольно уединенно и потому весьма приятно».¹¹

В. П. Кочубей не расставался с природой, и проживая в петербургских домах. Так, в 1814 г., купив дом на Моховой, В. П. Кочубей принял меры к благоустройству участка. Реконструировал сад, построил новую оранжерею, парники, колодец, беседку.

Писатель граф В. А. Сологуб, живший в этом доме после переезда Кочубеев на Фонтанку, так вспоминал о своем детстве: «Удобства здесь было много: прекрасная домовая церковь, обширный сад... В квартире, между прочим, была и теплица для тропических растений...».¹²

В общем, разведение экзотических растений и цветов в столичных квартирах и дачная жизнь сделались страстным увлечением министра и его супруги графини Марии Васильевны Кочубей. В их городском доме была собрана обширная коллекция гиацинтов, резеды и герани. Посетив дом Кочубеев в день Рождества Христова, их дальний родственник граф М. Д. Бутурлин вспоминал: «Меня особенно поразила у княгини Кочубей

роскошь гиацинтов в полном цвету в ее кабинете, в декабре месяце: вещь небывалая и в Италии в этом сезоне».¹³

Некоторые исследователи утверждают, что В. П. Кочубей, будучи коллекционером экзотических растений, в 1820-е гг. на свои средства организовал специальную экспедицию в Америку за кактусами. В знак признательности Виктору Павловичу, бывшему истинным знатоком и ценителем кактусов, были привезены в подарок три экземпляра совершенно нового и ни на что похожего растения. Один экземпляр министр передал в Санкт-Петербургский ботанический сад, другой оставил в своей коллекции, а третий продал за баснословную сумму золотыми рублями. Вес вырученного золота во много раз превышал вес самого кактуса. Это была одна из самых дорогих сделок в истории кактусоводства.

Однако вернемся к истории реорганизации Ботанического сада на Аптекарском острове. Как уже упоминалось, по рекомендации главы МВД к этому делу был привлечен бывший директор сада Разумовского профессор Ф. Б. Фишер. К концу 1822 г. он разработал проект переустройства Аптекарского сада, который был представлен императору Александру I вместе с докладом В. П. Кочубея.

В докладе министра, в частности, отмечалось, что по обращении Медико-хирургической академии в 1822 г. в управление МВД он «не оставил обратить внимание на ботанический сад и нашел его в самом невыгодном положении и не соответствующим ни пользе..., ни приличию. Ботанический сад ... и теплицы оного более ... похожи на какое-либо маленькое заведение частного человека, нежели на учреждение такого Правительства, которое никогда ничего не щадило для учебных заведений и других общественных заведений». Поэтому он считает, что ничто не должно препятствовать тому, чтобы МВД могло довести Ботанический сад и теплицы до «того совершенства, без коего самое существование оных делается бесполезным».¹⁴

22 марта 1823 г. Александр I утвердил доклад управляющего МВД «Об устройстве Ботанического сада на Аптекарском острове, с наименованием его Императорским»¹⁵ и повелел принять к исполнению намеченные меры.

Все изменения в устройстве бывшего Аптекарского сада осуществлялись согласно плану, предоставленному руководством МВД. Так, оба отдела — медицинский и ботанический — объединились в один сад, который получил наименование «Императорский Ботанический сад».

По рекомендации графа В. П. Кочубея управление новым садом поручалось профессору Ф. Б. Фишеру, который согласно штату именовался «директором». Специальным указом императора ему как директору сада назначался годовой оклад в 5 тыс. р. и еще 3 тыс. р. в год за исполнение обязанностей профессора ботаники при Медико-хирургической академии.¹⁶

На устройство оранжерей и теплиц, домов и других строений отпускалось 250 тыс. р. из сумм накоплений Медицинского департамента МВД. На содержание сада за счет казны предусматривалось выделять в год 73 тыс. р., что было почти в три раза больше, чем до его преобразования. Кроме того, на приобретение живых и сухих растений, семян в день открытия Сада была высочайше пожалована единовременная денежная помощь в размере 100 тыс. р.¹⁷

На основании предписания главы МВД В. П. Кочубея от 30 марта 1823 г. началась передача Ботанического сада из ведения Медико-хирургической академии, что и было

сделано к концу мая 1823 г. Ботанический сад был передан со всеми чиновниками, служителями и строениями в непосредственное подчинение МВД. 23 мая 1823 г. профессор Ф. Б. Фишер представил В. П. Кочубею справку о приеме Ботанического сада (речь идет о двух садах: медицинском и ботаническом. — *П. Н.*). При садах имелось 17 казенных служителей, в том числе 3 садовника, помощник садовника, 13 учеников.¹⁸

На день передачи в обоих садах было «всего 970 названий растений, 6 каменных оранжерей, 17 парников деревянных, 707 оранжерейных рам со стеклами, 311 парниковых рам со стеклами, 151 садовая кадка, 18 бочек для воды и другой мелкий инвентарь». ¹⁹ Администрация сада имела двухэтажный деревянный дом. При приеме сада в нем не оказалось ни библиотеки, ни гербария, который остался при Медико-хирургической академии. Вот такой скудной материальной базой располагал сад на Аптекарском острове на момент принятия статуса «Императорского Ботанического сада».

Итак, благодаря усилиям графа В. П. Кочубея Ботанический сад, выйдя из подчинения Медико-хирургической академии, превратился в самостоятельное учреждение. До 30 марта 1830 г. Императорский Ботанический сад находился в ведении Медицинского департамента МВД. Затем он был подчинен Министерству Императорского двора.

За указанный период заметно окрепла материальная база сада, выросли кадры. Уже в 1824 г. число растений достигало 5682 штук. В 1836 г. сад насчитывал более 15 тыс. растений, имел обширную ботаническую библиотеку. Как уже отмечалось, при основании Ботанического сада в нем вообще не было книг. И только в 1824 г. по инициативе В. П. Кочубея приобретением книг покойного профессора Х. Ф. Стефани было положено начало библиотеке.

К решению этого вопроса граф В. П. Кочубей подошел достаточно ответственно. 12 июня 1823 г. он получил всеподданнейшее прошение вдовы покойного Х. Ф. Стефани, которая просила принять библиотеку ее супруга в количестве 2 тыс. книг по ботанике и гербарий редких растений за какое-либо вознаграждение. Глава МВД поручил профессору Ф. Б. Фишеру изучить содержание библиотеки и гербария и доложить свое мнение. Директор Ф. Б. Фишер предложил купить 1185 наиболее ценных книг, что будет для Ботанического сада «не только полезно, но и необходимо». В отношении гербария он заявил, что его приобретение «также необходимо для сада, как для лучшего познания редких растений, единственно Стефаном описанных, так и для приличного сохранения оных при столь важном заведении». ²⁰ Решением Комитета министров от 29 января 1824 г. собрание книг профессора Х. Ф. Стефани в количестве 1185 томов было куплено вместе с гербарием за 20 тыс. р. ²¹

Вслед за этим за 30 тыс. р. была приобретена ботаническая часть библиотеки графа А. К. Разумовского, насчитывавшая 403 сочинения в 900 томах. ²² Вошло в практику выписывать книги из-за границы. Множество книг, а также растений было привезено из Англии, Германии и Франции директором Ботанического сада Ф. Б. Фишером во время его командировки за границу в 1824 г. ²³

Имея главной целью научную деятельность и продолжая заниматься разведением аптекарских трав, Ботанический сад в то же время служил местом обучения учеников садоводству и огородничеству, а также имел отделение для практических занятий студентов. По новому штату, утвержденному 15 июня 1823 г. императором Александром I, число служителей сада во главе с его директором состояло из 51 человека. Это были «директор сада, его помощник старший и помощник младший, секретарь, он же

библиотекарь, письмоводитель для иностранной переписки, живописец, старший садовник, два младших садовника, 12 помощников садовников, 12 учеников садовых из кантонистов, караульная служба в составе 15 инвалидов, два унтер-офицера и два стекольщика».²⁴

Забываясь о подготовке младших медицинских служащих для своего ведомства, граф В. П. Кочубей добивается учреждения на базе Ботанического сада школы для приготовления аптекарских и лекарских учеников. 17 апреля 1821 г. было утверждено «Положение» и штаты школы.²⁵

На Медицинский департамент МВД возлагалось решение всех вопросов, связанных со строительством школы, комплектованием ее учителями и слушателями, организации в ней учебного процесса.

7 июня 1821 г. была создана «Комиссия по строительству школы на Аптекарском острове». Председателем назначили директора Медицинского департамента статского советника А. К. Крыжановского. Одним из членов комиссии утвердили начальника отделения этого же департамента действительного статского советника Д. И. Ермаковского, ведавшего счетными делами, а делопроизводителем — помощника начальника стола губернского секретаря Н. Н. Самгина.²⁶

Школа предназначалась для обучения за счет государства 50 воспитанников из числа питомцев Приказов общественного призрения к «различным должностям для врачебного ведомства потребным». Сверх указанных лиц разрешалось учиться в школе и детям служащих, относящихся к Медицинскому департаменту, но — за счет средств своих родителей.

В школе изучали закон Божий, русский, латинский и немецкий языки, арифметику, естественную историю относительно садоводства и фармации, всеобщую географию, особенно подробно российскую историю и географию, рисование. Срок обучения был рассчитан на три года.

За шесть месяцев до окончания школы ученики с учетом своей будущей профессии проходили практику в аптекарском магазине или аптекарском саду, военных и гражданских госпиталях.

Выпускники, успешно окончившие курс обучения, распределялись по губерниям с зачислением в аптекарские или лекарские ученики. В указанных должностях они были обязаны прослужить 12 лет и лишь затем, при желании, могли определиться на другую службу. Те, кто по уровню знаний или поведению признавались не пригодными к профессии младших медицинских работников, направлялись в аптечные сады, типографию, на заводы по изготовлению медицинских инструментов и другие места, где «надобность в них может быть». И лишь после 18 лет непрерывной службы они могли уволиться в отставку.²⁷

Потребовалось почти два года для проведения строительных работ, создания учебно-материальной базы, комплектования коллектива учащихся и учителей, чтобы в 1823 г. в школе начались занятия. Первый набор насчитывал 50 воспитанников из числа питомцев заведений Приказов общественного призрения и 5 вольноприходящих из числа детей мастеровых и служителей сада. Если воспитанники содержались за счет казны, то вольноприходящие получали лишь денежное пособие: 3 р. в месяц тем, кому 9 лет, а старшим по 5 р. в месяц.²⁸ Остальные расходы, связанные с обучением детей служащих сада в школе, оплачивали родители.

Из 50 казеннокоштных воспитанников лишь 40 человек окончили 3-летний курс обучения. Из числа выбывших 4 человека отчислены по состоянию здоровья, а 6 питомцев умерли во время учебы.²⁹

В 1826 г. состоялся первый выпуск воспитанников школы на Аптекарском острове, которые своими успехами порадовали руководство МВД. Как отмечается в отчете о деятельности Медицинского департамента МВД за 1826 г., по результатам экзамена, сданного воспитанниками школы, «успехи оказались чрезвычайные». Поэтому руководство Медико-хирургической академии удостоило принять в академию 10 человек для приготовления в высшие степени по медицинской и ветеринарной части. Из прочих 35 воспитанников 2 выпускника, особо проявившие отличные способности, были оставлены репетиторами при школе, 5 человек получили назначение в типографии Медицинского департамента, по 5 человек были зачислены в аптекарские и лекарские ученики. Остальные 18 учащихся по причине своего малолетства были оставлены при школе.³⁰

Учредитель Императорского Ботанического сада оставил память о себе потомкам и в камне, который по его рекомендации стал активно применяться при строительстве новых зданий сада.

К этому ответственному делу в 1823 г. был привлечен известный архитектор, член Строительного комитета Департамента государственного хозяйства и публичных зданий МВД О. И. Шарлеман.³¹ По рекомендации министра он разработал для сада проект постройки комплекса административных и жилых зданий, оранжерей и теплиц.

15 июня 1823 г. управляющий МВД В. П. Кочубей внес в Комитет министров вопрос «О строениях Императорского Ботанического сада». Комитет на своем заседании 19 июня одобрил представленные план застройки сада и смету расходов. Было решено уже в текущем году приступить к строительству каменной оранжереи, израсходовав на эти цели не более 250 тыс. р.³²

Возведение новых оранжерей по проекту архитектора Шарлемана продолжалось вплоть до 1826 г. К этому времени основные виды строительных работ были завершены и во всех оранжереях высажены растения. Затраты на сооружение превысили 540 тыс. р. Оранжереи были возведены из кирпича и представляли собой три параллельные линии, концы которых соединялись друг с другом перемычками.³³ Весь этот огромный четырехугольный комплекс оранжерей высотой до 15 м и протяженностью 1.5 км, выходивший на Садовый переулок (часть современной улицы профессора Попова), сохранил свою планировку и поныне, хотя большинство оранжерей перестроено.³⁴

На 1 декабря 1826 г. на устройство нового Ботанического сада было израсходовано более 989 тыс. р. Согласно плану, представленному В. П. Кочубеем, предстояло еще строительство здания для музея, других вспомогательных помещений и строений. На их сооружение было отпущено казной более 830 тыс. р.³⁵

Несмотря на то что граф В. П. Кочубей с февраля 1825 г. находился по болезни в отставке, его начинания по превращению сада на Аптекарском острове в «Императорский Ботанический сад» продолжали воплощаться в жизнь.

В 2004 г. исполнилось 290 лет со дня основания Петром I Аптекарского огорода, который по воле первого министра МВД В. П. Кочубея был реорганизован в Императорский Ботанический сад. Прошли годы. Сегодня Ботанический сад Санкт-Петербурга является крупнейшим научно-исследовательским и культурно-просветительским учреждением Российской Федерации.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Цит. по: *Столянский П. Н.* Старый Петербург: Аптекарский, Петровский, Крестовский острова. Пг., 1916. С. 5.

² *Георги И. Г.* Описание Российско-Императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопамятностей в окрестностях оног. СПб., 1794. С. 148.

³ ПСЗ. Т. 27. 20852. С. 781.

⁴ *Грибанов В. И., Лурье Л. Я.* Аптекарский остров. Л., 1988. С. 14.

⁵ *Липский В. В.* Императорский Санкт-Петербургский Ботанический сад за 200 лет его существования (171–1913). СПб., 1913. Ч. 1–3. Юбил. изд. Ч. 1. С. 229.

⁶ *Столянский П. Н.* Старый Петербург. С. 18.

⁷ *Липский В. В.* Императорский Санкт-Петербургский Ботанический сад.... Ч. 1. С. 296.

⁸ Там же. Ч. 3. С. 109.

⁹ РГИА. Ф. 472. Оп. 12. Д. 86. Л. 19, 23–24.

¹⁰ Там же. Л. 20 об.

¹¹ Русская старина. 1902. Т. 112. № 11. С. 312.

¹² *Сологуб В. А.* Воспоминания. М., 1998. С. 82.

¹³ Русский архив. 1901. Кн. 3. С. 397.

¹⁴ РГИА. Ф. 1341. Оп. 24. Д. 1041. Л. 2–2 об.

¹⁵ ПСЗ. Т. 38. № 29377. С. 858–859.

¹⁶ РГИА. Ф. 472. Оп. 12. Д. 86. Л. 18.

¹⁷ ПСЗ. Т. 38. № 29377. С. 859.

¹⁸ РГИА. Ф. 472. Оп. 12. Д. 86. Л. 87–88.

¹⁹ Подсчитано автором по: РГИА. Ф. 472. Оп. 12. Д. 86. Л. 89–99.

²⁰ Там же. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 368. Л. 885–887.

²¹ Там же. Л. 888.

²² *Траутфеттер Е. Р.* Краткий очерк истории Императорского Санкт-Петербургского Ботанического сада. СПб., 1873. Т. 2. С. 6.

²³ См.: РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 370. Л. 1246–1251.

²⁴ Там же. Ф. 472. Оп. 12. Д. 86. Л. 111 об.

²⁵ ПСЗ. Т. 37. № 28612. С. 695–696.

²⁶ РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. Д. 18. Л. 6, 11, 56.

²⁷ См. подробнее об этом: ПСЗ. Т. 37. 28612. С. 696.

²⁸ РГИА. Ф. 1630. Оп. 1. Д. 181. Л. 27.

²⁹ Там же. Л. 27 об., 28.

³⁰ Там же. Л. 28 об.

³¹ Там же. Ф. 1349. Оп. 4. Д. 23. Л. 121.

³² Там же. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 330. Л. 503.

³³ См.: *Липский В. В.* Императорский Санкт-Петербургский Ботанический сад... Ч. 2. С. 280.

³⁴ См.: *Грибанов В. И., Лурье Л. Я.* Аптекарский остров. С. 14.

³⁵ РГИА. Ф. 1630. Оп. 1. Д. 181. Л. 25–25 об.

В. Г. Чернуха

ИЗ ИСТОРИИ ПАСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ: СТОЛИЧНЫЕ АДРЕСНЫЕ КОНТОРЫ (1809–1888)

Основы паспортной системы в России были заложены Петром I, который стремился к тому, чтобы подданными большого государства было максимально легко управлять. Для этого было провозглашено, исходя из постулата о всеобщей несвободе, прикрепление каждого к месту постоянного жительства и запрет на свободное передвижение по стране. Документом, разрешающим временный уход по делу, являлся паспорт: типографски отпечатанный бланк, куда заносились сведения о его предъявителе и одновременно срок действия этого документа и пункт назначения. В месте прибытия этот документ предъявлялся властям, и только отметка администрации давала владельцу

паспорта право отправиться в обратный путь. Подразумевалось, что паспорт станет единообразным универсальным документом для всех подвластных, легко с его помощью удерживаемых на месте проживания, либо месте работы, в том числе принудительной, облегчит актуальную задачу отлавливания в пути или дальнейшего поиска беглых, военных и гражданских лиц. Паспорт выдавался обывателю только на время отсутствия и по усмотрению либо владельца (если речь шла о крепостном), либо начальства (если подданный состоял на службе), либо главами корпоративных организаций (если дело касалось городского населения). Свободно передвигаться российский подданный по закону мог только в пределах 30-верстной черты.

Однако неудобства получения каждый раз такого разрешения на отлучку вскоре стали давать о себе знать и потому стихийно порождали множество злоупотреблений, с одной стороны, и дополнительных распоряжений, с другой. Государственная власть тоже вскоре ощутила издержки обязательности такого общего документа. Повседневные реалии: множество сословий с разными отношениями к государству, сословных групп, особых хозяйственных и вообще текущих обстоятельств, диктующих свободу передвижения, стали причиной и поводом для разного рода отступлений или уточнений. Паспортное законодательство повседневно дополнялось указами, разрешавшими передвигаться или проживать с особыми, выдаваемыми только одной группе населения документами.

Попыткой государственной власти России как-то примирить универсальную норму обязательности паспорта с потребностью существования специфических документов для отдельных групп населения явилось создание в начале XIX в. в Петербурге и Москве адресных контор.

Учреждение в столичных городах адресных контор падает на 1809 г. и связано с именами императора Александра I, петербургского военного губернатора А. Д. Балашова и министра внутренних дел А. Б. Куракина. К этому времени обе столицы уже устойчиво стали центрами притяжения пришлого населения, стремившегося туда на временные заработки. По существовавшим правилам пришельцы непременно должны были иметь паспорт, с которым они немедленно являлись в полицию. Там паспорт регистрировался и возвращался владельцу, после чего тот мог заняться приисканием работы и проживать в столице вплоть до истечения срока действия паспорта. Затем, получив отметку в паспорте, отходник возвращался в свою деревню или другой город.

Среди большой группы временных работников существовала одна многочисленная, рассеянная по городу и, как считал Александр I, требующая уже поэтому особого внимания. Это была прислуга, находившая себе работу в частных домах.

Петербург в начале XIX в. был городом с более чем 200-тысячным населением. Быт горожанина того времени был суровым и требовал большого числа обслуживающего персонала. Нужно было заготавливать дрова, топить печи, чистить трубы, носить воду, содержать дом, готовить пищу, ухаживать за многочисленными детьми.

В богатых дворянских домах проблема домашней прислуги могла решаться и решалась преимущественно за счет дворовых, принадлежавших им на основе крепостного права, людей, знакомых хозяевам и годами ими отбиравшихся для исполнения той или другой деятельности. Но даже и в такие дома было принято нанимать людей со стороны. Другие сословия или сословные группы такой возможности не имели, а потому должны были прибегать к вольному найму, иногда случайному, порождавшему массу

недоразумений и недовольства. Чиновничество, купечество, интеллигенция нуждались в прислуге, иногда многочисленной и как бы делившейся на две категории. Одна, ее часто называли просто «верхней», составляла некую часть семейного круга общения. Это были секретари, управляющие, компаньонки, учителя, гувернеры. В официальных документах они назывались «служащими по договору», оговаривавшему и обязанности, и плату за работу. Но дом требовал еще и «нижней» прислуги или прислуги «по найму», т. е. неквалифицированной, выполнявшей черную домашнюю работу: дворники, лакеи, горничные, кухарки, повара, кучера и пр. Именно эта вторая категория и поглощала основную массу пришлого деревенского населения, пришедшего на заработки. Прислуга, как правило, и жила в домах своих хозяев, не имея не только своей комнаты, но и своего угла.¹

Император Александр I, осознавший наличие многочисленной домовой прислуги как общегородскую проблему, решил создать этим вчерашним деревенским жителям совершенно особый, некий воспитательный режим существования. Ему был нужен старательный исполнитель его замысла, и он нашел его в лице Александра Дмитриевича Балашова. Балашов — фигура малоизвестная. Его обычно упоминают в связи с арестом и высылкой М. М. Сперанского, а также переговорами с Наполеоном в начале войны 1812 г. Между тем исследователь, специально занимавшийся реалиями управления страной со стороны верховной власти, отнес А. Д. Балашова к «агентам влияния» Александра I, обратив внимание на ту роль, которую при нем играл институт генерал-адъютантов.²

А. Д. Балашов был фигурой заурядной для военной среды начала XIX в. Будучи в малолетстве записан в Преображенский полк, он затем учился в Пажеском корпусе, был выпущен и служил в Измайловском полку, после чего занял пост ревельского губернатора. Когда Александр I занялся приисканием подходящего человека для занятия должности московского обер-полицейстера, то в своих поисках он набрел на Балашова. Тот был ему рекомендован — через В. П. Кочубея — графом Е. Ф. Комаровским. Встретивший случайно Балашова в Петербурге Комаровский сообщил ему о заинтересованности монарха в подходящем человеке на московскую должность. И хотя Балашов понимал, что формально это понижение по служебной лестнице, и объяснил Комаровскому, что согласие его означало бы перевод «из попов в дьяконы», ибо в Ревеле ему подчиняется вся та самая полиция, которую ему предлагают возглавить в Москве, но отказываться не стал.³ Около года он был главой московской полиции, затем был переведен на такую же должность в Петербург, тут же стал военным губернатором и генерал-адъютантом Александра I (с 1809 г.). Тогда-то ему и было поручено вместе с А. Б. Куракиным составление особого «положения» для домашней прислуги столичных городов.⁴ Доклад министра и губернатора готовился в спешке. Достаточно сказать, что 6 сентября 1809 г. Куракин пересылает Балашову свои предварительные соображения по этому поводу, а 15 октября им был подан уже готовый текст доклада.⁵ Государственного совета в то время еще не существовало, поэтому проект правовую экспертизу не проходил, а был немедленно подписан императором, заботившимся о наведении идеального порядка. 15 октября 1809 г. на свет появился закон об одновременном учреждении в Петербурге и Москве адресных контор.⁶

Несколько принципиальных соображений легли в основание этого указа. Несомненная забота императора о том, чтобы поставить нанимающуюся в частные дома прислугу под

особый полицейский контроль. При этом им могли двигать как еще не изжитые патерналистские идеи воспитания вышколенной прислуги из необразованной, недисциплинированной и совершенно непривычной к общению с нанимателем крестьянской массы, так и одновременно поддержка ее посредством некоторой правовой защиты от временных хозяев. Возможно, что им руководили и бабушкины наставления, и неосуществленные планы. В «Уставе благочиния, или полицейском» (1782), развертывая свои представления о плавном течении городской жизни, Екатерина II стремилась решить, глядя на европейские обычаи, примерно такую же задачу.⁷ Не учреждая немедленно особых должностей, занимающихся вообще пришлыми в города людьми, она предусмотрела — если приток в города будет массовым — случаи, когда городские власти (городничий или магистрат) оказывались вправе учреждать должность явно неказенную, а из лиц свободных профессий — «частного маклера слуг и рабочих людей». Городничий или магистрат помещали по этому поводу объявление о месте и времени работы маклера, последний вывешивал на своем доме вывеску и начинал прием посетителей. Маклер должен был заниматься регистрацией пришедших на работу в город людей и составлять договоры об условиях найма. Только эти документы могли служить основанием для судебного разбирательства в конфликтных ситуациях, если одна из сторон усматривала нарушение условий договора. Таким образом, создавалась правовая основа для решения спорных дел: сторонам указывался цивилизованный путь выхода из конфликта. Городская власть при этом приобретала весьма важное для нее право: возможность высылать из города лиц, не прошедших регистрацию у маклера, и тем самым освобождать город от потенциально опасных в криминальном отношении людей, а себя от забот о «благочинии». Но это был еще и шаг к созданию в пределах города организованного, а не стихийного рынка труда.

Нечто в этом роде попытался вслед за Екатериной II осуществить и Александр I. Его закон об адресных конторах отличала более узко поставленная задача: он имел в виду не общероссийские правила (оправданием может служить тот факт, что екатерининский закон не был отменен и продолжал действовать), но единственно территорию двух столичных городов, которые почему-то не удосужились создать должности маклеров, несмотря на ежегодный приток жаждущих заработка сельчан. В качестве причины можно назвать незаинтересованность нанимателей и правовую беспомощность нанимающихся. К тому же имела в виду только одна часть поступающего на работу населения.

Согласно закону 15 октября 1809 г. в Петербурге и Москве учреждались особые конторы. (Их могли называть по-разному: адресная контора, контора адресов, адрес-контора, адресс-контора. В официальных бумагах Петербургскую контору чаще называли Адресная контора, московскую — Контора адресов). Это были казенные учреждения, занимавшиеся только одной категорией (группой) пришедшего на заработки населения — ориентирующейся на поступление в услужение в частные дома. Пришедшие в столицу с паспортом, за который они заплатили сбор в уездном казначействе, они должны были явиться в Адресную контору, где паспорт регистрировался, отбирался, а их самих заносили в специальные книги. Вместо паспорта им выдавали особый «адресный билет», обретавший значение паспорта и являвшийся своеобразным видом на жительство. В адресный билет отчасти вносились данные из паспорта, дополненные сведениями о прибытии в столицу. В зависимости от того, нашел ли обладатель паспорта работу или еще не нашел, в книгу заносились данные о работе и месте жительства.

Если фиксировался факт отсутствия работы, тогда в книгу помещались сведения о характере предлагаемых услуг. В таком случае Адресная контора превращалась в посреднический офис, который сводил нанимателя и нанимающегося. «Билеты» уже работающего и только поступающего на работу рознились формой. Всякое изменение работы или перемена жительства (они у этой группы, как правило, совпадали) должно было фиксироваться в Адресной конторе.

Дисциплинирующей мерой (это прямо оговаривал закон) должна была служить «аттестация» работника: характеристика, выдаваемая ему хозяином при перемене места работы. Считалось, что аттестация будет выдаваться в форме свободной записи на билете.

Одновременно военный губернатор получал право через полицию высылать из города лиц, не определившихся на работу. На полицию возлагалась обязанность постоянного наблюдения за этой группой временного населения столицы. Это должно было осуществляться, в частности, с помощью обязательной явки прислуги в полицию дважды в год (в январе и июле) для проверки данных, продления билета, повторного взятия адресного сбора за следующий год. Если у регистрирующегося паспорт был кратковременный или срок паспорта вскоре истекал, то адресный билет выдавался только на соответствующий срок действия паспорта.

При уходе из города регистрирующийся был обязан заявить об этом заранее, а затем возвратить билет, предъявить аттестацию, после чего ему возвращали паспорт с отметкой о разрешении на уход, а в книгу учета заносили сведения об убытии из города. На этом обязанности столичной полиции по отношению к ушедшему заканчивались. Поначалу предполагалось даже, что в Адресной конторе будет оставляться также снятая ею копия паспорта, от чего вскоре отказались.

Адресные билеты были не только средством учета населения, но и источником дохода: за адресный билет взимался особый адресный сбор. Он отличался от паспортного и суммой сбора, и его принадлежностью. Это был сбор не государственный, шедший прямо в казну, а городской, направляемый в существовавшую уже городскую думу. Последняя не была тогда свободна в распоряжении своими доходами, а должна была делать значительные отчисления в казну, на содержание полиции, учреждений общественного призрения и пр., по усмотрению власти. Но считалось, что городские сборы идут на городское благоустройство. Адресные конторы не прямо, а через целевые ассигнования городской думы, в итоге тоже содержались из сумм адресного сбора. Адресный сбор был дифференцирован в зависимости от доходов прислуги и от полового признака (мужчины за билет платили больше женщин).

Этим первым законом об адресных конторах поступающая в услужение в частные дома прислуга была разделена на два разряда, в зависимости от которого и производился сбор в годовом исчислении. Лица, исправляющие «должности по договорам»: управляющие, секретари, метрдотели, гувернеры, учителя платили по 10 р. в год ассигнациями, соответственно женщины, традиционно оплачиваемые меньше, чем мужчины, платили по 5 р.; вторая категория («разряд»), куда входили домашние «слуги и рабочие» соответственно 3 р. в год — мужчины и 1 р. в год — женщины.

Уже в этом первом законе об Адресной конторе был определен и ее штат. Это были два правителя канцелярии, русский и иностранный (кстати, последний мог быть и русского происхождения, но тогда должен был обладать знанием иностранных языков).

Конторе полагалось иметь двух секретарей, четырех писарей и казначея. В штат входили и два переводчика. Наличие иностранного правителя в конторе, как и включение в штат переводчиков, отражало хорошо известный факт большого количества иностранцев среди домашней прислуги. Именно в это время, когда образование юношества еще не было организовано государством, многие подростки и дети получали домашнее образование и воспитание с помощью учителей и гувернеров из иностранцев, далеко не всегда имевших хоть какую-либо специальную подготовку. Однако главным признаком образования считалось тогда знание иностранного языка или языков, а уж общеобразовательные предметы преподавались по усмотрению учителя, оговоренному устно или в договоре.

В таком виде закон и был утвержден как для Петербурга, так и для Москвы.

Обратим внимание на одно обстоятельство, через некоторое время сыгравшее роль в преобразовании Петербургской конторы: ответственным за деятельность адресных контор являлся военный губернатор. Он должен был через своих чиновников постоянно осуществлять проверку действий Адресной конторы. Контора ежемесячно была обязана представлять ему книги учета прибывших, которые губернатор визировал, а раз в три месяца он направлял в контору проверяющих.

О том, что не следует в одном месте принимать и записывать как российских крестьян, так и иностранных подданных, претендующих на более высокий ранг в домовых иерархиях, городская администрация спохватилась немедленно, и уже через неделю, 23 октября того же года, А. Д. Балашов испросил у императора разрешение на создание особого Иностранного отделения. И хотя с них тоже вносили адресный сбор, регистрировались они особо.⁸

Прекрасно, но отвлеченно задуманный закон, ориентированный на образцовое, законопослушное поведение и хозяев, и прислуги, и отеческую воспитательную роль столичной полиции, пекущейся о благочинии, оказался, и очень скоро, чужеродным растением на российской почве. Его в значительной мере постигла судьба «маклеров», ставших невостребованными. Внедрения права, благонравия и толерантности в российскую среду не состоялось, игнорирование «воспитательной» стороны закона шло с трех сторон: со стороны полиции, отличавшейся даже в столицах низким уровнем подготовки и ответственности, со стороны хозяев, склонных видеть в прислуге крепостного («нанялся, значит, продан») — гласила давняя российская пословица), и со стороны необразованной не только в правовом, но и в смысле обычной грамотности прислуги.

Что неукоснительно делала полиция, и похоже, это было пределом ее профессиональных возможностей, так это то, что она исправно регистрировала пришедших и не менее исправно вносила адресный сбор. Случаи уклонения от регистрации, записи в несоответствующий работе разряд, как и иные нарушения правил, требовавшие специального расследования, усилий, поисков, выяснений, были крайне редки. Зато жалобы на переобремененность обязанностями и низкое жалованье стали общим местом и оправданием ее плохой работы. Кстати, принадлежность адресного сбора формально не государственной, а городской казне тоже была сразу же замечена полицией и не способствовала особо рьяной деятельности по наполнению городского кошелька.

Полиция, через которую должна была действовать Адресная контора, немедленно обнаружила свое стремление по возможности сбросить с себя обязанности по делам Адресной конторы. А их поддержание могло быть связано только с фигурой А. Д. Балашова,

создавшего это учреждение и, очевидно, связанного какими-то взятыми на себя перед Александром I обязательствами. Но даже и он в краткий период своего губернаторства в Петербурге, а затем и руководства Министерством полиции в большей степени был склонен прислушиваться к жалобам полицейских, нежели к заботам хозяев и прислуги.

Уже в 1811 г. А. Д. Балашов, в то время возглавлявший Министерство полиции, с помощью высочайше утвержденного всеподданнейшего доклада, осуществил корректировку обязанностей Адресной конторы.⁹ Обязанности адресных контор были упрощены. Требование о полугодовой действительности билета было снято, и отныне адресные удостоверения выдавались на год. Изменение места службы и места жительства теперь уже не требовало явки в Адресную контору, а осуществлялось поближе к месту проживания, у квартального полицейского. Выдачи аттестации при уходе вследствие конфликта или завершения службы больше не требовалось, хотя в это время данное требование не было снято окончательно: для упрощения дела разрешалось ставить краткую оценочную помету на адресном билете. Вскоре и это правило было заменено условием начертания обычной хозяйской подписи на адресном билете в знак того, что хозяин не имеет претензий к бывшему слуге. Зато тем же законом на Адресную контору была возложена обязанность заниматься взаимными претензиями нанимателя и нанимающегося. Законом 1826 г. содержание адресных контор было полностью и прямо возложено на счет адресного сбора.

В таком виде и при таком круге обязанностей столичные адресные конторы существовали до конца 1830-х гг., когда петербургская контора подверглась реорганизации.

Связано это было с тем, что новый император, Николай I, задумал проведение реформы петербургской полиции, и началось обсуждение вопроса и по существу и в частности. В обсуждение были вовлечены Государственный совет, Комитет министров, министерский корпус, но дело не двигалось с места в значительной мере из-за необходимости увеличения ассигнований. И тогда Д. Н. Блудов, тогдашний министр внутренних дел, предложил, чтобы вывести ситуацию из тупика, не дожидаясь общей реформы полиции, преобразовать Адресную контору. Петербургский военный губернатор П. К. Эссен, в ведении которого она числилась, не желал нести ответственности за Адресную контору и вознамерился вообще передать ее столичной полиции. Между прочим, уже в это время в Государственном совете прозвучал вопрос о том, что взимание адресного сбора можно передать, по принадлежности, городской думе. Подчиненный П. К. Эссена обер-полицмейстер С. А. Кокошкин не стал противоречить патрону и согласился на понижение статуса Адресной конторы столицы. По закону 21 декабря 1838 г.¹⁰ Адресная контора была передана в Управу благочиния и обосновалась там. (Управа благочиния находилась на Садовой улице в доме 55 — таков был ее адрес до 1903 г.).

Московское начальство с преобразовательными инициативами не выступило, о конторе было забыто, и потому она сохранила прежнее название и структуру «разрядов».

В итоге штат петербургской Адресной экспедиции (так стала называться прежняя контора) был расширен до 37 человек, что вполне понятно, так как в это время она регистрировала почти 100 тыс. человек.

Наступил последний, но затянувшийся этап существования Адресной экспедиции. Идея передачи городской думе взимания адресного сбора, а с тем вместе регистрации и надзора за прислужкой частных домов, если он был необходим, и регулирования споров

по делам о найме, постоянно имелась в виду. За 30 лет существования Адресной конторы число обслуживающего город населения росло не только количественно, но и качественно. Появлялись все новые профессии, обслуживающие частные дома, но там не нанимающиеся: это были модистки, аптекари, извозчики и пр. Заботясь об учете новых работников и не менее того о возрастании адресного сбора, власть целым рядом законов обязывала то одну, то другую категорию работников регистрироваться в Адресной конторе. Поэтому в законе 1838 г. уже оказалось не два разряда нанимающихся, а целых пять. Если раньше исключения делались для сезонных рабочих, лиц, короткое время находящихся в городе, то теперь регистрироваться должны были и так называемые чернорабочие: люди строительных специальностей, разного рода ученики ремесленников. Адресный сбор поэтому был более дифференцированным, составляя от 25 р. до 90 к. с работников-мужчин.

Середина XIX в. — для Петербурга время быстрого разрастания города и городского населения, и одновременно серьезного испытания для городских властей. Администрация все хуже справлялась с благоустройством и бытовыми проблемами города и обдумывала процесс развития самоуправления, на которое можно было бы возложить эти хлопотные чисто хозяйственные обязанности. Эта озабоченность выразилась и в проведенной Н. А. Милютиным городской реформе 1846 г., по которой Петербург получил городскую думу с расширенным составом выборных от населения и несколько расширенными правами. Но, разумеется, решающим в деле строительства городского самоуправления явилось уже Городовое положение 1870 г., с которого идет отсчет создания городского самоуправления по всей России. Уже в 1871 г. первый московский городской голова, кн. В. А. Черкасский выразил от имени московской городской думы готовность принять на себя сбор адресной пошлины.

Но Контора адресов в Москве, как и петербургская Адресная экспедиция, продержались еще относительно долгое время, поскольку администрация не любила ломать установленный порядок. В 1840-х гг. эти учреждения как бы продлили свою жизнь за счет того, что на них были возложены новые обязанности, связанные с медицинским обслуживанием населения.

В начале 1840-х гг. Николай I, озабоченный благоустройством столицы, создал специальную комиссию для ответа на вопрос о нуждах городской бедноты, и комиссия (ее возглавлял жандармский генерал П. Ф. Буксгевден) высказалась за то, чтобы городские низы получили свои бесплатные больницы, поскольку лишенные врачебной помощи временные рабочие пытались уйти домой, бросая работу и нередко умирая по дороге. Поэтому возникла мысль не просто о больницах для народа, но о больницах для самой бедной и трудящейся его части. Первоначально предполагалось, что средства на содержание будут поступать от нанимателей «чернорабочих». Однако у хозяев немедленно нашлись заступники, доказывавшие, что такой способ организации медицинской помощи несправедлив, неудобен, невозможен. Гораздо более надежным и справедливым был признан порядок обложения сбором на содержание больниц самих наемных рабочих. Вспомнили, что такой сбор уже существует в Кронштадте и составляет 1 рубль серебром в год. И тогда, рассчитав во что обойдется содержание большой больницы и сопоставив ее с приблизительным числом «чернорабочих», вывели цифру сбора — 60 к. серебром. К «чернорабочим» отнесли четвертый и пятый, самые многочисленные разряды регистрирующегося через Адресную экспедицию населения.

Такой сбор был введен в 1842 г.¹¹ Известно, что в 1866–1870 гг. он составлял от 124 до 200 тыс. р. ежегодно.¹² Сразу же было оговорено, что от обложения больничным сбором освобождаются «чернорабочие» из удельных крестьян, поскольку Удельное ведомство уже имело свою больницу и лечило там подведомственных ему крестьян. Больничный сбор взимался в Адресной экспедиции одновременно с адресным сбором, о чем делалась помета на билете, но взимался только с этих двух низших по его оплате категорий. Вслед за этим такое же положение о больничном сборе было распространено и на Москву с той только разницей, что там больничным сбором облагались все регистрирующиеся, и, кроме того, особым законом сбор могли вносить и те постоянные или пришлые жители, которые желали получать бесплатную медицинскую помощь, предварительно ими оплаченную.

Из-под опеки Адресной экспедиции больница для «чернорабочих» была вскоре выведена и передана вместе со сбором в Медицинский департамент Министерства внутренних дел. Экспедиция продолжала собирать больничные деньги, но перечисляла их непосредственно на содержание больницы.

В таком виде эти адресные учреждения и дожили до эпохи преобразований, когда их участь стала зависеть от того, как решится вопрос о реформе полиции, потом о реформе городского самоуправления, потом о надолго затянувшейся выработке закона о найме рабочих и прислуги. Российское правительство очень долго пыталось создать кодекс законов о найме рабочих, найме сельскохозяйственных рабочих и прислуги, и все тянулось десятилетиями.

Поворотный момент наступил в середине 1880-х гг., когда в очередной раз заговорили о необходимости реформировать полицию, а заодно и изыскать возможность экономии государственных средств. Это заявление было сделано в Государственном совете и прямо адресовано министру внутренних дел Д. А. Толстому. Он довольно быстро составил несложный проект, собрал отзывы в поддержку. Реформированные столичные городские думы уже встали к этому времени на ноги, и Толстой через Государственный совет провел закон, по которому и Адресная экспедиция, и Контора адресов в Москве упразднились, адресный сбор, как и больничный, пока сохранялись, но заниматься им теперь должны были городские думы впредь до принятия ими решения об отмене или замене.¹³

Так, в самом конце XIX в. закончили свое существование учреждения, созданные в начале века под влиянием, с одной стороны, ускоренного процесса разрастания городов, а с другой стороны, архаичных патерналистских идей о контроле государства за всем и каждым.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹¹ См.: Очерки истории Ленинграда. Л., 1954. Т. 1. С. 294.

¹² Мустонен П. Собственная его императорского величества канцелярия в механизме властвования института самодержца. 1812–1858: К типологии основ имперского управления. Хельсинки, 1998. С. 60.

¹³ Записки графа Е. Ф. Комаровского. СПб., 1914. С. 139–140.

¹⁴ Об А. Б. Куракине подробнее см.: Борисов А. В. Министры внутренних дел России. СПб., 2002. С. 18–23.

¹⁵ Письма А. Б. Куракина А. Д. Балашову хранятся в Архиве СПБНИИ РАН. Ф. 16. Оп. 2. Д. 85.

⁶ ПСЗ I. Т. 30. № 23911.

⁷ ПСЗ I. Т. 31. № 15379.

⁸ ПСЗ I. Т. 30. № 23911. (Нового закона по этому поводу принято не было, а ранее принятый учел распоряжение о создании отдельного Иностранного отделения).

⁹ ПСЗ I. Т. 21. № 24931.

¹⁰ ПСЗ II. Т. 13. № 11869.

¹¹ ПСЗ II. Т. 18. № 17018.

¹² Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции. 1871. № 8.

¹³ ПСЗ II. Т. 18. № 17018.

Т. М. Китанина

НА ПОДХОДЕ К РАБОЧЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ: ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ И БУРЖУАЗНАЯ «КОНЦЕПЦИИ» РАБОЧЕГО ВОПРОСА 30–50-х гг. XIX в.

Среди проблем, связанных с изучением экономического, социального и правового положения рабочих России в завершающий период генезиса капитализма и неизменно вызывающих интерес отечественных исследователей, остается малоизученным сложный вопрос о взаимоотношениях предпринимателя и рабочего как субъектов капитализировавшегося производства. Одна из основных причин — слабое отражение этих взаимоотношений в государственном законодательстве предреформенных десятилетий.

Вероятно, ни одна эпоха исторического развития России не знала столь впечатляющей пестроты социальных категорий рабочих, как период глубокого кризиса системы феодально-крепостнических отношений.

Поступательный ход развития промышленности требовал все новых трудовых «вложений». Отвечая этим требованиям, на протяжении многих десятилетий верховная власть оказывала решающее влияние на формирование рабочей силы насильственным методом, методом внеэкономического принуждения за счет зависимых категорий населения — рекрутов, приписных и пожалованных заводчикам в собственность крестьян, солдат и солдатских детей-кантонистов, за счет беглых и деклассированных элементов (нищих, бродяг). Привлечение беглых и бродяг к принудительному труду осуществлялось на основании юридических актов, принятых еще в XVIII в. и аналогичных соответствовавшему законодательству стран Западной Европы (указы 1744 г., 1754 г. и другие российские правительственные постановления). Следует принять во внимание, что некоторые законодательные ограничения, вступавшие в силу в разное время и касавшиеся прав предпринимателей на рабочую силу, носили незавершенный характер и принципиально не ущемляли привилегий заводчиков.¹

Методы формирования промышленных рабочих определяли качественные характеристики этой категории рабочей силы:

во-первых, наличие в стране огромного отряда зависимых работников, занятых преимущественно в крупном казенном производстве;

во-вторых, нивелировку состава рабочих промышленных предприятий с точки зрения социального происхождения — 90% крестьяне;

в-третьих, интенсивный процесс раскрепощения, т. е. принудительный отрыв от земли массы сельских производителей. В процессе формирования рабочих кадров особенно проявилась регулирующая роль государства как активной экономической силы.

Принудительное обезземеливание значительного отряда государственных крестьян, пролетаризация, насильственная экспроприация и прикрепление к предприятиям неизбежно оказывали влияние как на процесс формирования разных категорий рабочей силы, так и на темпы их развития. Возмещение недостатка рабочих рук капитализирующегося производства крепостническими методами с целью создания рабочих отрядов свидетельствовало о противоречивом характере промышленного развития, о стремлении государства в новых экономических условиях сохранить устои крепостнических отношений. Это ярче всего проявилось в государственном секторе производства, где преимущественное использование зависимого труда определялось прямой связью с общим направлением правительственной промышленной политики и объективными условиями, прежде всего доступностью и дешевизной рабочих рук.

Частновладельческая промышленность, все тверже завоевывая позиции, в основном ориентировалась на приток крестьянства по вольному найму, используя избыток сельскохозяйственной рабочей силы как результат аграрного перенаселения.

Отходничество, «огороживание» крестьянина на срок его отхода в город играло важную роль в обеспечении частного сектора производства вольнонаемной рабочей силой и в конечном счете способствовало более быстрому, чем в государственном секторе промышленности, развитию капиталистического производства. Вместе с тем временная личная свобода крестьянина-отходника, его городской быт содействовали пробуждению инициативы и предприимчивости, влияли на изменение крестьянской психологии в сторону большей самостоятельности и ответственности.²

Развитие капиталистических элементов в экономике и заинтересованность предпринимателей в техническом усовершенствовании производства создавали условия для применения квалифицированной рабочей силы, усиливали потребность в использовании подготовленных рабочих кадров, обладавших навыками не только элементарной грамотности (большинство ею не владело в силу самих условий существования), но и высокого профессионализма. Создавая условия для обучения рабочих, предприниматели могли рассчитывать на положительный отклик со стороны занятых в производстве, ибо для рабочих начала XIX в. квалифицированное мастерство оставалось единственным средством утверждения своего профессионального достоинства и официального повышения в должности.

Отчетливо проявившееся в дореформенный период несоответствие экономических условий труда значению рабочих в производстве, их трудовому вкладу (нередко технической подготовленности и профессиональному мастерству) усиливало общую неудовлетворенность рабочих. В сочетании с социальными бедствиями, неизменно сопровождавшими весь длительный и сложный период формирования рабочего сословия в России, это несоответствие отложило глубокий отпечаток на развитие общественного самосознания, на содержание и формы выступлений различных категорий промышленных рабочих, складывавшихся под влиянием противоречивого характера переходной эпохи и эволюционировавших в условиях усиления этих противоречий.

Вытекавшее из совокупности многих факторов экономическое положение промышленных рабочих России в период кризиса феодально-крепостнической системы

свидетельствовало о резком несоответствии уровня эксплуатации рабочей силы возмещению ее стоимости, чрезмерных затрат труда — его материальному вознаграждению, отвечавшему необходимым условиям самого существования рабочего и его занятости в производстве.

Пестрота форм промышленных предприятий, многослойность занятых в них социальных групп трудового населения влекли за собой неоднородность форм рабочего движения в рамках единого общедемократического потока со сложным переплетением и слиянием усиливавшихся антифеодальных выступлений и первых стачек. Движение это, возросшее накануне отмены крепостного права, обуславливалось рядом экономических и социальных причин. И одна из таких причин заключалась в почти полном отсутствии в России в первые десятилетия XIX в. (в отличие от западноевропейских стран) трудового законодательства.

Как же регулировалась производственная жизнь на предприятиях российской промышленности в первой половине XIX в.?

Сложная структура национальной экономики предреформенного периода обусловила разнообразие условий труда на промышленных предприятиях, унифицированных в известной степени лишь в пределах отдельных групп заводов, объединенных не столько по отраслевому признаку, сколько по принадлежности тому или иному ведомству или владельцу. В этом отношении государственный сектор промышленности подвергался более строгому контролю, хотя и здесь установление ряда правил, регулировавших производственный режим, было передано в компетенцию заводской администрации.

Условия труда рабочих на казенных заводах с конца XVIII в. регламентировались сводом особых правил — «Положениями», подготовленными специально для предприятий соответствующими министерствами и ведомствами. В этих документах фиксировались характер производимых работ, продолжительность рабочего дня, размер провианта, сумма вознаграждения в праздничные дни, а подчас и заработная плата (ее минимальный уровень) занятых в производстве работников. Вместе с тем «Положения» для казенных заводов определяли режим производства, следовательно, дисциплину труда, которая на предприятиях государственного сектора отличалась чрезвычайной строгостью.

Суровая регламентация особенно отражалась на положении рабочих военизированных предприятий. Мастерские военных заводов в правах и обязанностях были приравнены к нижним воинским чинам и находились под строжайшим дисциплинарным надзором, осуществляемым офицерским составом, специальными чиновниками (надзирателями благочиния и др.) и отчасти вольнонаемными мастерами.

Жесткий механизм режима труда, еще более усиленный дисциплинарной строгостью вне стен промышленного предприятия, был вызван стремлением заводской администрации интенсифицировать производительность труда в условиях сохранения крепостнических отношений, вывести промышленность государственного сектора на новую ступень технического развития. Но полуфеодальные формы эксплуатации не достигали поставленных целей уже в силу того, что насильственные методы и низкий уровень материального вознаграждения резко снижали заинтересованность рабочих в повышении эффективности труда.

Не менее строгими были режимные ограничения на предприятиях Удельного ведомства. Законом здесь являлось беспрекословное подчинение распоряжениям

администрации. Всякие нарушения дисциплины немедленно пресекались, а виновные подвергались суровым наказаниям. Среди мер дисциплинарного и материального воздействия наиболее распространенными были понижение в категории и окладе, перевод на удаленные смежные предприятия. Но нередко применялись и суровые административные меры, в том числе отдача в рекруты и ссылка в Сибирь. Разного рода ограничения в сочетании с социальной зависимостью, правовой неполноценностью подавляли в рабочем личность, снижали трудовую инициативу.

По отношению к владельцам посессионных предприятий государственная власть применяла минимум регулирующих актов. По существу эти акты означали лишь отдельные шаги по пресечению грубых злоупотреблений со стороны владельцев, в том числе и запрещение использования рабочих в личном услужении, эксплуатации вне заводских условий (по законодательству посессионные рабочие принадлежали предприятию, а не его владельцу).

На фоне строгой правительственной регламентации производственных отношений в государственном секторе промышленности административная самостоятельность частновладельческого сектора проявлялась особенно отчетливо. Условия труда рабочих на частных заводах определялись исключительно их владельцами, что влекло за собой разнородность в определении правил, регулировавших труд и быт наемных рабочих. В большинстве случаев мелочная регламентация условий труда и повседневной жизни порой сопровождалась круглосуточным надзором за поведением рабочих (посменное дежурство часовых и специально назначаемых чиновников). Все это сковывало и ограничивало свободу рабочего, унижало его достоинство и усиливало внеэкономическую зависимость от владельца предприятия. Особенно ощутимо это было на вотчинных мануфактурах, где господствовал полный произвол в отношениях труда и капитала, где взаимоотношения работника и владельца фактически строились по принципу зависимости крепостного от помещика.

Производственные режимы на владельческих предприятиях промышленных центров свидетельствовали о том, что попытки регулирования отношений труда и капитала, предпринимаемые время от времени правительством, не достигали желаемых результатов. К числу таких попыток следует отнести усилия правительства по реализации «Предписания» 1835 г., обязавшего заключать письменные договоры между работодателем и рабочим (или вводить систему расчетных листов с указанием срока найма и перечня его условий).³ Практической силы правительственное распоряжение почти не имело, оно по-прежнему оставляло место устным соглашениям, чему способствовал и низкий уровень грамотности рабочих.

Отставала Россия от западноевропейских стран и в регулировании эксплуатации детского труда. Известно, что в 1802 г. в Англии был издан один из первых в Европе законов, ограничивавший применение детского труда в отдельных отраслях, прежде всего в текстильной промышленности (рабочий день детей сокращался до 12 часов). В развитие трудового законодательства о несовершеннолетних британское правительство утвердило указы 1819 и 1833 гг., первый из которых запрещал ночную работу детям, не достигшим 9-летнего возраста, тогда как второй указ устанавливал 8-часовой рабочий день для 9–13-летних подростков. В 1840–1850-х гг. подобные законы регулировали (с некоторыми вариациями) труд подростков в Германии, Австрии, Франции и других странах.

В России же законодательные нормы использования детского труда были введены в практику по существу лишь в начале 80-х гг. XIX в. — указ 1882 г. К этому времени использование труда малолетних (до 12–14 лет) на промышленных предприятиях во многих западноевропейских государствах было уже законодательно запрещено (по указу 1848 г. в Германии запрещался труд детей до 14 лет, согласно указу 1874 г. в Англии — до 12 лет и т. д.). Любопытно, что в соответствии с законодательством ряда европейских стран рабочее время подростков, занятых фабричным трудом, дифференцировалось в зависимости не только от отрасли производства, но и от степени их общеобразовательной подготовки. Для знавших грамоту детей во Франции, к примеру, продолжительность рабочего дня существенно продлевалась. Показательно также, что при разработке законопроектов учитывались материальные обстоятельства продажи детской рабочей силы, отчасти и пределы физиологических нагрузок (но не социальное положение подростка в обществе).⁴

В России подобные вопросы даже не обсуждались. Еще в 1840 г. к русскому правительству обратился британский посол с официальным запросом по поводу причин отсутствия в России законодательства о детском труде. Ответ был однозначен: необходимость в регулировании подобного рода отсутствует ввиду все еще недостаточного развития фабричного производства, а следовательно, и слабого использования труда подростков.⁵

7 августа 1845 г. с санкции Комитета министров было принято «Положение», запрещавшее ночную работу детей, не достигших 12-летнего возраста.⁶ Основные положения российского указа о малолетних перекликались по содержанию со статьями западноевропейского законодательства. Однако применения на практике утвержденный правительством законодательный акт не нашел, поскольку отказ от детского труда был не в интересах фабрикантов, а инспектирующего или наблюдательного органа создано не было.

Незадолго до отмены крепостного права, в 1859 г., при Министерстве финансов была учреждена Комиссия для пересмотра фабричного и ремесленного уставов. Комиссия сочла необходимым «поставить ограничительные правила как относительно возраста детей, так относительно времени и часов их работы». В представленном Комиссией проекте устава о промышленности содержалось несколько пунктов, регулировавших детский труд. Проект запрещал работу детей, не достигших 12 лет, ночной труд подростков до 18-летнего возраста и ограничивал двенадцатью часами продолжительность рабочего дня для подростков до 18 лет.⁷ В случае осуществления этого проекта положение детей на промышленных предприятиях могло значительно измениться.

Проект был передан на рассмотрение Мануфактурного совета, где долго и основательно обсуждался. Согласившись в принципе с необходимостью ограничения продолжительности рабочего дня, Мануфактурный совет отверг все прочие положения законопроекта, в том числе и безусловный запрет ночной работы детей.

Материалы Комиссии для пересмотра фабричного и ремесленного уставов перекликались с решениями созданной в том же 1859 г. при петербургском генерал-губернаторе Комиссии для осмотра фабрик и заводов в Петербурге и Петербургском уезде под председательством А. Ф. Штапельберга. И этой комиссией были высказаны рекомендации относительно ограничений использования детского труда в промышленном производстве, рекомендации, не нашедшие отклика ни в высоких официальных кругах, ни в среде

предпринимателей.⁸ Таков был финал правительственных начинаний, так и не получивших в предреформенные годы силу закона.

Но при всем том поступательный ход промышленного развития России заставлял правительство вновь и вновь возвращаться к проблеме трудоустройства рабочих. И в правящих кругах, и в предпринимательской среде все более возрастал интерес к функциональному значению рабочего в производстве. Далеко не случайно еще в период промышленного подъема 1830–1840-х гг. наблюдалось заметное оживление споров вокруг проблемы рабочих кадров, пока не выходявших по сути дела из русла ведомственных разногласий, но уже отражавших столкновение различных социальных групп, связанных с промышленным производством. Об этом свидетельствовали разного рода официальные документы, в том числе ведомственная переписка с администрацией и владельцами заводов и фабрик, содержащая сведения о положении рабочих. В официальных кругах того времени представления о статусе рабочего ограничивались признанием его роли в качестве примитивного исполнителя и необходимого атрибута самого промышленного производства.

Обратимся к свидетельству влиятельного представителя официальной точки зрения на рабочий вопрос министра финансов николаевской эпохи Е. Ф. Канкрин. В представленной им правительству записке «О распространении мануфактурной промышленности в разных городах», датированной ноябрем 1834 г. и косвенно связанной с предпринятой им попыткой государственного регулирования размещения промышленности и рассредоточения предприятий по уездным городам России, нашли отражение взгляды министра финансов на положение рабочих и их социальное предназначение в развивавшемся производстве.

Сравнивая положение рабочих на промышленных предприятиях России и ряда государств Западной Европы и развивая мысль о необеспеченности «класса» европейских фабричных пролетариев ввиду непредсказуемости поведения владельцев, сохранения постоянной угрозы увольнения или снижения заработка, Е. Ф. Канкрин противопоставляет западноевропейского рабочего российскому, отдавая дань силе влияния на фабричный труд патриархальных отношений, прежде всего связи с деревней. «У нас, — поясняет он, — положение дела в сем отношении есть совсем другое, ибо работники на городских фабриках почти исключительно состоят из приходящих крестьян, кои, имея у себя дома хлебопашество, хотя бы и ограниченное, находятся в гораздо лучшем положении, потому что... при остановке в работах возвращаются домой, не оставаясь вовсе без пропитания».⁹

По мнению министра финансов, причины особой остроты социального протеста западноевропейских рабочих кроются в лишении их минимальных средств к существованию вне границ фабричного производства, которое в свою очередь не дает им гарантий ни постоянной занятости, ни экономического обеспечения. Следовательно, согласно его представлениям, реальные возможности роста производства в городах Западной Европы постоянно таят в себе опасность социальной неустойчивости. В России же, напротив, «умножение... фабрик гораздо выгоднее и безопаснее, нежели в других государствах», ибо владельцы предприятий «привязаны везде к существующему порядку», тогда как сами рабочие «не составляют опасного целого».¹⁰

В этом весьма характерном высказывании Е. Ф. Канкрин как бы сфокусированы взгляды на рабочий вопрос, отдана дань надеждам на известную нейтральность буржуазии

в рабочей политике, на возможность социального мира в системе производственных отношений. Иллюзорность подобных представлений может быть объяснена прочно укоренившимися в общественных кругах представлениями «о благонамеренности» рабочего по отношению к верховной власти и убеждением в отсутствии более или менее сформировавшейся социальной структуры рабочего сословия.

Лишь с течением времени под влиянием растущего самосознания рабочих, активизации их участия в общественном движении в качестве самостоятельной социальной силы происходит, наконец, разрушение традиционных представлений. На смену им приходит осознание необходимости юридического вмешательства государственной власти в отношения труда и капитала, стремление сгладить крайние проявления беззакония. Но при этом речь идет отнюдь не о твердых законодательных гарантиях, а лишь о принятии отдельных правовых актов, не столько регулировавших нарушения юридических норм, сколько ослаблявших попрание элементарных нравственных устоев. И фактически до начала 80-х гг. XIX в. (до рабочего законодательства министра финансов Н. Х. Бунге)¹¹ обозначившийся еще до реформы 1861 г. правительственный курс в рабочем вопросе никаких существенных изменений не претерпел.

Буржуазная «концепция» законодательного оформления рабочего вопроса сложилась позднее, в 1860-х гг., что определялось самим положением частновладельческого сектора промышленности в условиях генезиса капитализма.

Поскольку в России, как и во всех странах позднего развития капиталистических отношений, при недостатке накопления капиталов и известной слабости частного предпринимательства роль государственных институтов была чрезвычайно велика, все экономические преимущества оказались на стороне государственного сектора производства. Насаждая промышленность «сверху», с помощью особых экономических методов, т. е. по сути дела принимая на себя ряд функций третьего сословия (учредительные, финансовые и проч.), государство осуществляло избирательную социальную политику.

Разного рода льготы представлялись дворянской вотчинной мануфактуре и смешанным дворянско-купеческим предприятиям. Что касается чисто купеческой и тем более крестьянской промышленности, то она была лишена финансовой и прочих видов государственной поддержки. Однако именно купеческое и крестьянское предпринимательство со временем заняло ведущее место в формировании частновладельческого сектора промышленности (сектора «автономного развития», по терминологии американских исследователей),¹² становление которого быстрыми темпами наблюдалось уже в пореформенное время. Реальное положение русской буржуазии в условиях развивавшегося капитализма не могло не сказаться на замедлении темпов формирования буржуазного самосознания и буржуазного права.

Законодательно лишенная государственной поддержки, располагавшая в целом сравнительно скромными капиталами купеческая и особенно крестьянская промышленность встречали многие трудности на пути освоения производства, что отразилось и на отношении к занятым рабочим, определив методы и степень эксплуатации как вольнонаемного труда (крестьяне-отходники), так и (в меньшей мере) труда подневольного (приписные крестьяне). Да и сам характер использования рабочей силы юридически зависимых категорий населения со всеми вытекавшими отсюда ограничениями препятствовал выработке определенной, более или менее оформившейся системы трудовых отношений.

Известный стимул к использованию вольнонаемного труда был дан еще указом от 8 августа 1762 г., разрешившим свободный наем (по паспортам) рабочей силы купечеству и разночинцам. В начале XIX в. рядом соответствующих правительственных распоряжений возможности найма были расширены для других социальных категорий владельцев. Однако в целом законодательные акты, издававшиеся правительством в предреформенные десятилетия в отношении частновладельческих промышленных предприятий, фиксировали, как правило, привычный, эмпирически установившийся характер отношений труда и капитала, юридически лишь закрепляя практику этих отношений.

В 1850–1860-х гг., в преддверии и ходе буржуазной трансформации экономики, в предпринимательских кругах и в среде русской технической интеллигенции, особенно среди представителей возникшего в 1866 г. Русского технического общества, чрезвычайно возрос интерес к практическим проблемам использования рабочей силы. Интерес этот вытекал прежде всего из производственных потребностей предпринимателей. Владельцы промышленных предприятий в сущности исходили из утилитарных требований повышения рабочей квалификации и профессионализма в узкотехническом их понимании. Поэтому, вероятно, не следует преувеличивать значение в предреформенный период «просветительской» работы буржуазии, связанной с организацией профессионального обучения рабочих на частновладельческих предприятиях и носившей патерналистские черты, как фактора социального прогресса.

Вместе с тем необходимо обратить внимание на прямолинейную позицию в рабочем вопросе молодой российской промышленной буржуазии, не «связанной» в первой половине XIX в. регулирующим рабочим законодательством и действовавшей в русле традиционной для феодального периода политики прямого подавления рабочего движения. Этой линии, наметившейся еще в начале столетия, российская буржуазия твердо придерживалась на протяжении последующих десятилетий. Это отнюдь не противоречило ряду ее патерналистских актов по отношению к рабочему классу, вызванных жизненной необходимостью в обеспечении цикла воспроизводства капитала.

В западноевропейских странах к этому времени социальная напряженность рабочего вопроса в известной мере приглушалась законотворческой деятельностью буржуазии (имеются в виду прежде всего рабочие законы 1830–1840-х гг. в Англии и 1840–1850-х гг. во Франции).

Связь российской буржуазии с феодально-крепостнической системой через откупы, подряды, государственные заказы, т. е. заинтересованность в консервации отдельных феодальных институтов, ослабляла ее политическую активность, а следовательно, и роль в антифеодальной борьбе. Применение широкого арсенала средств подавления, порою скорее крепостнического, чем капиталистического характера, явилось логическим следствием особенностей генеалогии и эволюции русской буржуазии, ее известной экономической слабости, вызванной отчасти «болезнью» стремительного роста и политическим бессилием.

В результате вопрос о рабочем законодательстве в первой половине XIX в. оказался вплетенным в тугой клубок сложных и противоречивых социальных проблем, связанных со степенью подготовленности царизма к принятию реформ, идущих по пути буржуазных преобразований экономики, с характером его взаимоотношений с промышленниками, наконец, с политикой и правительства, и буржуазии по отношению к формирующемуся российскому пролетариату.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Подробнее см.: Китанина Т. М. Рабочие Петербурга. 1800–1861. Л., 1991. С. 102–114.

² Договор между работодателем и социально зависимым, но вступившим в добровольное соглашение о найме рабочим содержал в себе начала, выведившие отношения заводчика и рабочего за границы феодальных отношений (Китанина Т. М. Рабочие Петербурга. С. 117).

³ Рабочий класс России от зарождения до начала XX века. М., 1989. С. 178.

⁴ Тильк М. Г. Городские ремесленники Эстонии во второй половине XIX века (на материалах Эстляндской губернии). Дис. ... канд. ист. наук. Таллин, 1988. С. 22–56.

⁵ Тильк М. Г. О положении ремесленных учеников во второй половине 19 века в Эстонии // Изв. АН ЭССР. 1989. С. 47.

⁶ ПСЗ-П. Т. 20. № 19262.

⁷ Андреев Е. Работа малолетних в России и Западной Европе. СПб., 1884. С. 12.

⁸ Проект правил для фабрик и заводов в С.-Петербурге и уезде. СПб., 1860. С. 128–129.

⁹ РГИА. Ф. 40. Оп. 1. Д. 12. Л. 48–49 об.

¹⁰ Там же.

¹¹ См.: Степанов В. Л. Н. Х. Бунге: Судьба реформатора. М., 1998. С. 210–227.

¹² См.: Маккей Дж. Развитие экономики и региональное предпринимательство в последний период Российской империи // Реформы или революция? Россия 1861–1917. СПб., 1992. С. 210–211.

А. А. Дорская

ИЗУЧЕНИЕ ВЕРОИСПОВЕДНОГО ВОПРОСА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.: НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИХАИЛА ЕГОРОВИЧА КРАСНОЖЕНА*

Правовое регулирование положения представителей неправославных исповеданий началось в Российской империи в XVIII в. Еще в петровское время закон провозгласил свободу вероисповеданий в России для иностранцев, старообрядцев (правда, при условии записи в двойной подушный оклад), было разрешено заключение браков между пленными шведами и православными русскими девушками. Однако именно в это время православная церковь окончательно была включена в состав государственной машины и стала неотъемлемой ее частью. И хотя каждый император и императрица после Петра I подтверждали свою приверженность идее свободы вероисповеданий, любое посягательство на положение православия жестоко наказывалось. Например, в 1738 г. в Петербурге были сожжены иудей Лейба Борухов и капитан-лейтенант Возницын за то, что первый обратился в свою веру второго. Именно в XVIII в. власти наравне с миссионерской деятельностью стали использовать регламентирование местных религий.

* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования (грант по фундаментальным исследованиям в области гуманитарных наук (общественных, педагогических, экономических наук и информатики) Б-9/03).

Во второй половине XVIII в. ситуация несколько изменилась. При Петре III и Екатерине II в Россию были приглашены бежавшие от преследований старообрядцы, им возвращались гражданские права. На некоторое время было запрещено употребление слова «раскольники». Екатерина II, а затем Павел I дали широкие привилегии иезуитам, которые были сохранены при Александре I. Расцветало сектантство, мистицизм.

Полностью данный курс изменился в царствование Николая I, когда официальную идеологию стала отражать формула «православие–самодержавие–народность». Начался новый нажим на иноверцев и даже массовые гонения. Именно этот курс был закреплён в Своде законов Российской империи, который с небольшими изменениями действовал до 1917 г. В Своде законов Российской империи существовала строгая градация вероисповеданий, которые подразделялись на три основные группы: первенствующая господствующая религия, терпимые, гонимые.¹

Первенствующей и господствующей в Российской империи признавалась «вера христианская православного кафолического восточного исповедания».²

Ко второй группе — «терпимых» — относились четыре категории вероисповеданий. Во-первых, инославные, т. е. христианские исповедания, признанные в России: римско- и армяно-католическое, армяно-григорианское, евангелическо-лютеранское и евангелическо-реформатское.

Во-вторых, иноверные исповедания, или нехристианские: мусульманство, иудаизм, буддизм (ламаизм) и языческие верования. Часто и в законодательстве, и в литературе все вероисповедания, кроме православного, назывались «иноверными», термин «иноверец» был «размыт».³

В-третьих, сюда относились некоторые секты, признанные законом: гернгутеры,⁴ меннониты,⁵ баптисты, шотландские колонисты в Каррасе (Терская область), братские общества аугсбургского исповедания.

В-четвертых, на практике было допущено существование еще некоторых сект, но без признания их особым вероисповеданием и с разрешением им лишь производить богомоления по их обрядам.⁶

Согласно данным переписи населения 1897 г., по вероисповедному принципу российское население распределялось следующим образом: православных было 87 123 604 (69.3 %), староверов — 2 204 596 (1.75 %), приверженцев армяно-григорианской церкви — 1 179 241 (0.9 %), католиков — 11 506 834 (9.15%), лютеран — 3 572 653 (2.83 %), прочих христиан — 198 238 (0.2 %), иудеев — 5 215 805 (4.2 %), мусульман — 13 906 972 (11.1 %), буддистов — 433 863 (0.34 %), остальных нехристиан — 298 215 (0.23%).⁷ Т. е. даже по официальным данным приблизительно 30 % населения составляли неправославные.

Однако сами современники мало верили этим цифрам. Так, известный исследователь старообрядчества А. Пругавин в буквальном смысле вышучивал официальную статистику, указывая, что она забывает один очень существенный факт русской жизни — невозможность открыть безопасно для себя свое истинное исповедание.⁸

Изучение правового положения представителей разных исповеданий началось в рамках науки церковного права. Мысль о необходимости его преподавания в России впервые была высказана митрополитом Платоном в его «Инструкции», написанной в 1776 г. для Московской славяно-греко-латинской духовной академии, преобразованной затем в Московскую духовную академию.⁹ В 1798 г. появился указ Святейшего Синода,

согласно которому во всех духовных академиях вводилось чтение и объяснение Кормчих книг и Книги о должностях приходского священника.¹⁰ В духовных академиях для богословских классов были введены такие новые науки, как герменевтика, церковная история, пасхалия, пастырское богословие и каноническое право.¹¹ При Александре I церковное право вошло в курс богословских наук и стало преподаваться в духовных академиях в систематическом виде.

С 1835 г. преподавание церковного права было введено в университетах. Однако оно преподавалось только для студентов-юристов православного вероисповедания. Преподавание церковного права поручалось профессорам богословия.

На развитие церковного права серьезно повлиял процесс систематизации российских законов, активно начатый в царствование Николая I. В марте 1835 г. обер-прокурор Святейшего Синода С. Д. Нечаев испросил у императора разрешения извлечь из синодального архива и собрать воедино все постановления, касающиеся церковного управления, начиная с введения синодальной системы в 1721 г. Фактический руководитель работы по систематизации российского законодательства во Втором отделении Собственной Его Императорского Величества Канцелярии М. М. Сперанский поручил реализацию данного проекта А. П. Куницыну. Следующий обер-прокурор Н. А. Протасов посчитал эту работу полезной, чтобы Святейший Синод мог получать справки при рассмотрении различных дел, но неудобной для опубликования. М. М. Сперанский с этим согласился. Работа по систематизации духовных узаконений в рукописном варианте была доведена до конца. Кроме того, граф Н. А. Протасов предложил Святейшему Синоду возобновить работу, начатую в 1734 г., но затем остановленную, по изданию важнейших канонических постановлений православной церкви на русском и греческом языках. Эта работа была закончена в 1839 г.¹² В результате определением Святейшего Синода от 10 мая 1840 г. церковные законы были введены в духовных академиях и семинариях как самостоятельный предмет.

Университетский устав 1863 г. ввел преподавание церковного права на всех юридических факультетах империи и сделал этот курс обязательным для всех студентов-юристов. Согласно § 16 Устава, для «церковного законоведения были назначены особые кафедры на юридических факультетах».

Эта тенденция сохранилась и в Университетском уставе 1884 г. По § 57 нового Устава, кафедры церковного законоведения были переименованы в кафедры церковного права. Кроме духовных академий и университетов церковное право стало преподаваться в Училище правоведения, Военно-юридической академии и Ярославском Демидовском лицее.

В 1884 г. высшая богословская степень была разбита на три вида: степень доктора богословия в строгом смысле слова, степень доктора церковной истории и степень доктора церковного права. Окончательно утверждал решения о присуждении данных ученых степеней Святейший Синод.¹³

Сначала исследователи уделяли мало внимания изучению положения представителей неправославных исповеданий. Однако постепенно ученые обратились к вопросу о свободе совести. В 1882 г. Н. С. Суворов осуществил перевод с немецкого и издание книги доктора римского и канонического права в Венском университете, члена Академии наук Ф. Б. Х. Маасена (1848–1909) «Девять глав о свободной церкви и о свободе

совести» (Ярославль, 1882). После этого данный вопрос стал более активно изучаться в России: на следующий год в свет вышла книга В. Кипарисова «О свободе совести: Опыт критического исследования вопроса в области церкви и государства с I по IX в.» (М., 1883. Вып. 1). При этом уже Н. С. Суворов понимал, какую неоднозначную реакцию он может вызвать: «Необходимость сравнительного изучения права и государства настолько признана в принципе, что всякий перевод ценного сочинения по вопросам юридическим и политическим не потребовал бы общих соображений относительно его полезности... Совсем не в таком положении находится у нас переводчик иностранного научного исследования, трактующего тот или другой вопрос церковный, а тем более такой вопрос, как регулирование отношений между государством и церковью. Он весьма легко может встретиться именно с принципиальным отрицанием самой уместности подобных переводов: если где возможны у нас ссылки на западную жизнь, как на нечто не касающееся нашего Отечества и нашей отечественной науки, так это в сфере церковных вопросов. Мало того, кроме упрека в бесполезности, переводчика может ожидать нечто худшее — обвинение в каких-либо тенденциях и т. п.»¹⁴

В начале XX в. начался новый этап в изучении вопроса о положении иноверцев, связанный с возрастанием общественного интереса к проблеме свободы совести в России. Как отмечал архимандрит Сильвестр, «светские... мыслители заговорили о свободе совести со времени отлучения (от церкви. — А. Д.) графа Л. Н. Толстого»,¹⁵ когда определением Святейшего Синода от 20–22 февраля 1901 г. русская православная церковь объявила, что «не считает его своим сыном и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею».¹⁶

Особая роль в изучении положения неправославных исповеданий принадлежит Михаилу Егоровичу Красножону (1860–?), ставшему главным представителем науки церковного права в Прибалтийских губерниях и одним из крупнейших исследователей правового положения различных исповеданий в России.

В отличие от большинства специалистов в области церковного права он не принадлежал к духовному сословию. В 1881 г. с серебряной медалью он окончил Калужскую гимназию и поступил на юридический факультет Московского университета. С IV курса стал заниматься церковным правом под руководством известного русского канониста, профессора Алексея Степановича Павлова и получил золотую медаль за свое студенческое сочинение по данному предмету. Позже М. Е. Красножен посвятил своему учителю две работы: «Знаменитый русский канонист А. С. Павлов. Посвящается его памяти» (Юрьев, 1899) и «Профессор А. С. Павлов» (Юрьев, 1909).

По окончании университета М. Е. Красножен был оставлен на кафедре церковного права для приготовления к профессорской деятельности. Таким образом, хотелось бы отметить, что он пришел в науку церковного права совершенно сознательно и имел юридическое, а не богословское образование. Это был редчайший случай: большинство специалистов в данной сфере стали заниматься церковным правом только под воздействием обстоятельств.

В 1889 г. он сдал магистерский экзамен и был отправлен в командировку за границу для подготовки магистерской диссертации на тему: «Толкователи канонического кодекса Восточной церкви: Аристин, Зонара, Вальсамон». М. Е. Красножен много работал в архивах и библиотеках Вены, Мюнхена, Рима и Флоренции. Вернувшись через два с половиной года в Россию и защитив магистерскую диссертацию, М. Е. Красножен стал

приват-доцентом кафедры церковного права Московского университета и читал обязательный курс лекций для студентов IV курса юридического факультета. Параллельно в течение пяти лет он был помощником присяжного поверенного (у А. К. Вульферта и Ф. Н. Плевако).

В 1893 г. М. Е. Красножен получил приглашение занять должность экстраординарного профессора церковного права в Юрьевском университете, а через два года стал ординарным профессором. Переезд из Москвы в Юрьев был серьезным шагом. На Юрьевский, бывший Дерптский, университет не распространялись университетские уставы 1804, 1835, 1863 и 1884 гг., он всегда имел свой устав. Одной из его особенностей было то, что Юрьевский университет не имел кафедры церковного права. Зато наряду с четырьмя обычными факультетами, которые были в других университетах (историко-филологическим, физико-математическим, юридическим и медицинским),¹⁷ здесь был еще и богословский факультет, как в католических и протестантских университетах. На преподавателя церковного права ложилась дополнительная нагрузка также в связи с тем, что значительное число студентов были неправославными. Например, в 1907 г. в университете обучалось 2734 человека: 1536 православных, 635 лютеран, 272 католика, 11 протестантов реформатского исповедания, 19 евангелистов аугсбургского исповедания, 11 представителей армяно-григорианской церкви, 243 иудея, 1 старообрядец, 2 единоверца, 2 караима, 1 баптист, 1 мусульманин.¹⁸ Затем эти цифры стали значительно меняться в пользу неправославных. В 1912 г. в университете обучалось 2467 студентов, из которых 919 были православными, 952 — лютеранами, 295 — католиками, 19 — протестантами реформатского исповедания, 20 — евангелистами аугсбургского исповедания, 40 — представителями армяно-григорианской церкви, 209 — иудеями, 4 — старообрядцами, 1 — единоверцем, 1 — караимом, 3 — англиканами, 1 — мусульманином, 1 — армяно-католиком, 2 — меннонитами.¹⁹

Юрьевский университет испытывал серьезные кадровые проблемы. Сначала для преподавания церковного права в Юрьевском университете был приглашен Лев Аристидович Кассо. Он получил степень бакалавра в Парижском университете, затем являлся слушателем в Гейдельбергском и Берлинском университетах. В 1889 г. в Германии он получил степень доктора права. 29 июля 1892 г. Л. А. Кассо был назначен исполняющим обязанности доцента по церковному праву в Дерптском университете, но уже 1 июля 1893 г. перешел на кафедру местного права, действующего в Лифляндской, Эстляндской и Курляндской губерниях. Затем он полностью посвятил себя цивилистике. Таким образом, найти преподавателя по церковному праву было достаточно сложно. Михаил Егорович Красножен стал ценным кадровым приобретением Юрьевского университета.

В 1899 г. М. Е. Красножен стал деканом юридического факультета, но при этом не оставлял серьезную научную деятельность: в 1897, 1901 и 1902 гг. он ездил в научные командировки за границу для продолжения изучения греческих рукописей канонического содержания.²⁰ При этом М. Е. Красножен активно занимался общественной деятельностью: с 1898 г. он был старостой университетской церкви Святого благоверного великого князя Александра Невского, с 1902 г. — председателем учебно-литературного общества при Юрьевском университете.²¹

Особого внимания заслуживает докторская диссертация, защищенная М. Е. Красноженом 22 апреля 1901 г. в Казанском университете. Диссертация называлась «Иноверцы

на Руси: Положение неправославных христиан». Главный ее вывод состоял в том, что в России наблюдается полная веротерпимость по отношению к инославным исповеданиям. Официальные оппоненты дали высокую оценку данной работе, но затем началась дискуссия. Известный профессор по истории русского права Н. П. Загоскин признал диссертацию неудовлетворительной. Из публики слово взял князь П. Л. Ухтомский, который указал, что недавние выселения из России тысяч духоборов, отлучение от церкви Л. Н. Толстого совершенно не соответствуют выводам диссертации. Тем не менее М. Е. Красножону была присуждена искомая ученая степень.²²

Несмотря на критику в свой адрес, М. Е. Красножен повторил свой вывод и в последующих изданиях своей диссертационной работы: «Большей веротерпимости к иноверцам чем та, которой пользуются они у нас, не может быть».²³

Спокойными жизнь и творчество профессора М. Е. Красножена и в дальнейшем назвать было нельзя.

Ему постоянно приходилось сражаться за место церковного права на юридическом факультете. Отношение к этой дисциплине становится понятным при анализе «Биографического словаря профессоров и преподавателей...» Юрьевского университета, изданного к столетию университета: всего юридическому факультету посвящено 179 страниц, среди которых церковному праву — пять последних страниц.²⁴ М. Е. Красножен пытался придать своей дисциплине другой статус, пытаясь создать кафедру церковного права.²⁵ Он был готов на любые компромиссы. В частности, будучи активным противником существования в Юрьевском университете богословского факультета,²⁶ он допускал возможность его сохранения и настаивал на создании на нем кафедры церковного права, обосновывая это тем, что «многие из привлекаемых к ответственности за нарушение правил господствующей Православной Церкви пасторов объясняют это нарушение неведением церковно-гражданских постановлений».²⁷ Работа Михаила Егоровича Красножена в этом направлении закончилась успешно созданием в Юрьевском университете кафедры церковного права. Кроме того, на церковное право стало даваться большее количество часов. Если в 1912 г. в весеннем и осеннем семестрах М. Е. Красножен читал церковное право 5 часов в неделю и читал спецкурс по семейному праву (один час в неделю),²⁸ то в 1913 г. — весь год объем церковного права составлял 6 часов в неделю.²⁹

М. Е. Красножен был единственным специалистом по церковному праву в университете. Решить кадровый вопрос он предлагал следующим образом: «Молодым людям, окончившим курс первыми по оценкам (при отличном поведении) должно быть сделано со стороны факультета предложение остаться при университете (с назначением известного содержания) для приготовления к профессорскому званию, преимущественно по кафедрам, не богатым преподавательскими силами (как это ныне с успехом практикуется в наших духовных академиях)».³⁰ М. Е. Красножен много работал в этом направлении, причем пытался привлечь внимание студентов к церковному праву через изучение наиболее злободневных тем. Так, в 1909 г. юридический факультет предложил студентам написать научных сочинений на две темы: по уголовному праву — «Ошибка человека и ее значение при вменении деяния этого лица ему в вину» и по церковному праву — «О Высочайше утвержденном при Святейшем Синоде особом Присутствии для разработки вопросов, подлежащих рассмотрению Всероссийского собора».³¹ Эта тема, безусловно, с одной стороны, не могла вызвать сопротивления в

Святейшем Синоде, но, с другой — содержала огромное количество «подводных камней». Однако инициативы М. Е. Красножена, видимо, находили мало откликов. По воспоминаниям студентов, М. Е. Красножен являлся «непримиримым сторонником старого режима».³²

Находясь в Прибалтийском крае, М. Е. Красножен раньше, чем многие другие специалисты в области церковного права, почувствовал новые злободневные веяния, что отразилось в его работах: «Старые и новые вопросы о браке (по поводу 352, 440, 441 и 359 статей Проекта нового уголовного уложения)» (Юрьев, 1898), «О разводе в России» (М., 1899), «Эстонцы и немцы в Прибалтийском крае» (Юрьев, 1900), «Отношение Православной восточной церкви к лицам неправославным» (Юрьев, 1900), «Отношение Русской церкви и государственной власти к иноверцам» (Юрьев, 1900), «Иноверцы на Руси» (Юрьев, 1903), «Старые и новые законы о разводе: По поводу издания Проекта нового гражданского уложения» (Юрьев, 1904) и др. Однако его позиция относительно того, что в российском законодательстве в отношении иноверцев все принципиальные положения должны сохраниться, оставалась неизменной. При этом М. Е. Красножен отмечал, что, например, «вопрос о разводе является одним из наиболее жизненных вопросов, которые не перестают занимать общество и периодическую печать: постоянно слышатся жалобы на неудовлетворительность бракоразводного института в России и указывается на необходимость реформ в этой области».³³ Он предлагал вернуться в законодательстве к поводам для развода, которые существовали в допетровской Руси.

М. Е. Красножена очень волновала судьба Юрьевского университета. Еще в начале первой русской революции он провел исследование и констатировал, что из четырнадцати преподавателей юридического факультета, работавших в 1894 г., т. е. за десять лет до революции, к 1905 г. осталось только семеро. Остальные поспешили оставить службу.³⁴

События революции 1905–1907 гг. и последовавшие изменения в законодательстве напрямую касались М. Е. Красножена, так как он постоянно общался со студентами и вынужден был отвечать на их «каверзные» вероисповедные вопросы, чувствовал настроения, царившие среди населения Прибалтийского края после издания указа 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости». Интересным является и тот факт, что в мае 1905 г. М. Е. Красножен обратился к министру народного просвещения В. Г. Глазову с ходатайством поднести Николаю II свою книгу «К вопросу о свободе совести и о веротерпимости. Иноверцы на Руси», и книга действительно была передана императору.³⁵ Эта работа представляет значительный интерес, так как характеризует отношение М. Е. Красножена к происходившим изменениям в законодательстве. В предисловии он отметил: «В ожидании успешного законодательного разрешения указанных вопросов (обозначенных в указе от 12 декабря 1904 г. — *А. Д.*), сделаем, со своей стороны, хотя в малой степени, попытку содействовать этому разрешению».³⁶ Таким образом, вроде бы М. Е. Красножен приветствовал законодательные нововведения по свободе совести. Однако дальше предложил восемь пунктов, которые сводили на нет даже положения указа от 17 апреля 1905 г. В заключение М. Е. Красножен привел слова Александра III: «Православной вере господство; каждой вере почитание; русской народности подобает всеобщая и всеподчиняющая сила; но каждой народности да будет свобода во всем, что этому объединению и подчинению не препятствует».³⁷

С 1905 г. М. Е. Красножен активно занимался научной деятельностью, издав такие работы, как «Современные вопросы.—Брак и развод.—Прелюбодеяние.—Свобода совести и вероисповедания.—Наука и политика» (Юрьев, 1905), «Новейшее законодательство по делам Православной русской церкви» (Юрьев, 1909), «Университетский вопрос» (Юрьев, 1909) и др. В соответствии с его замечаниями были внесены поправки в статьи 411, 416, 418, 518, 519 Уголовного уложения 1903 г.³⁸

Последняя работа М. Е. Красножена, которую удалось найти, относится ко времени Первой мировой войны и называется «Судьбы Македонии» (Юрьев, 1915). В условиях военного времени он призывал православный мир объединиться, не упоминая о представителях других вероисповеданий: «Македония... заслуживает любовного отношения к себе всех верных сынов нашего культурного мира, независимо от того, называются ли они греками, албанцами, валахами, болгарами, сербами, русскими».³⁹ Т. е. даже в условиях войны вероисповедный ценз, с точки зрения М. Е. Красножена, играл существенную роль.

Дальнейшая судьба ученого неизвестна. Есть сведения, что М. Е. Красножена видели в Московском университете в 1930-е гг., однако опубликованных подтверждений данная информация не имеет.

Проанализировав всю научную деятельность М. Е. Красножена, можно констатировать, что он мало менял свои взгляды в зависимости от изменявшихся политических условий и считал, что русская православная церковь должна сохранять положение «первенствующей и господствующей» в Российской империи. Во многом позиция ученого объяснялась тем, что он работал в университете, находящемся в национальном районе Российской империи, где после указа 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости» происходили массовые «уходы» из православия. Несмотря на приверженность официальной точке зрения и тенденциозность некоторых выводов, работы М. Е. Красножена отличались глубиной исследования и до сих пор являются важным источником при изучении положения иноверцев в России и науки церковного права.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Свод законов Российской империи. СПб., 1906. Т. 1. Разд. 1. Ч. 1. С. 62.

² Там же. С. 62.

³ *Красножен М. Е.* Иноверцы на Руси // Учен. зап. Императорского Юрьевского университета. 1902. № 6. Приложения. С. 1–96; *Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А.* Энциклопедический словарь. СПб., 1894. Т. 13. С. 222.

⁴ Гернгутеры — протестантская секта лютеранского толка, возникшая в 1772 г. в Саксонии. В основе учения гернгутеров лежит частичное признание Аугсбургского исповедания, но они делают особый акцент на «религию сердца» — интимно-эмоциональное переживание верующим единства с Христом как хранителем и спаси-

телем мира. В Российской империи учение гернгутеров было распространено в Прибалтике.

⁵ Меннониты — последователи одной из старейших протестантских церквей, возникшей в 30-е гг. XVI в. в Нидерландах. В России меннониты появились при Екатерине II. Кроме общепротестантских принципов к их канонам относились: сознательное крещение по вере, отказ от военной службы, присяги и т. д.

⁶ Справка о свободе совести, составленная Департаментом духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел. СПб., 1906. С. 19.

⁷ Цит. по: *Рубакин Н. А.* Россия в цифрах: Страна. Народ. Сословия. Классы : (На осно-

вании официальных и научных исследований). СПб., 1912. С. 76.

⁸ *Пругавин А.* Старообрядчество во второй половине XIX века. М., 1904. С. 9.

⁹ *Смирнов С. К.* История Московской Славяно-греко-латинской академии. М., 1855. С. 294.

¹⁰ Полное собрание законов Российской империи. Т. 15. № 18726. П. 4.

¹¹ *Смирнов С. К.* История Московской Славяно-греко-латинской академии. С. 296.

¹² *Чистович И. А.* [Рец.]. История Московской духовной академии до ее преобразования (1814–1870) С. Смирнова. СПб., 1880. С. 12.

¹³ См.: *Бердников И. С.* Краткий очерк учебной и ученой деятельности Казанской духовной академии за пятьдесят лет ее существования (1842–1892). Казань, 1892. С. 79.

¹⁴ *Суворов Н. С.* Предисловие к кн.: Маасен Ф. Девять глав о свободной церкви и свободной совести. Ярославль, 1882. С. IV.

¹⁵ *Сильвестр, архим.* Современные искатели полной свободы совести перед судом православной церкви : Опыт критического решения этого вопроса. Харьков, 1903. С. 2.

¹⁶ Петербургский листок. 1901. 25 февр.

¹⁷ Свод законов Российской империи. Т. 11. Ч. 1. Ст. 403.

¹⁸ Личный состав Императорского Юрьевского университета. 1907 год. Юрьев, 1907. С. 68.

¹⁹ Отчет о состоянии и деятельности Императорского Юрьевского университета за 1912 г. Юрьев, 1913. С. 61.

²⁰ Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Юрьевского, бывшего Дерптского, университета за сто лет его существования (1802–1902 гг.). Юрьев, 1902. Т. 1. С. 651–654.

²¹ *Петухов Е. В.* Императорский Юрьевский, бывший Дерптский, университет в последний период своего столетнего существования (1865–1902 гг.): Исторический очерк. СПб., 1906. С. 109, 176.

²² Санкт-Петербургские ведомости. 1901. 27 апр.

²³ *Красножен М. Е.* К вопросу о свободе веры и о веротерпимости: Иноверцы на Руси. 3-е изд. Юрьев, 1903. Т. 1. С. 10.

²⁴ Подсчеты произведены по: Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Юрьевского, бывшего Дерптского, университета за сто лет его существования (1802–1902). Т. 1. С. 475–654.

²⁵ Заключение юридического факультета Императорского Юрьевского университета по вопросам, предложенным господином министром народного просвещения относительно желательного устройства университетов. Б/г. С. 4.

²⁶ Особое мнение декана юридического факультета М. Е. Красножена по вопросу 19-му (о богословском факультете). Юрьев, 1907. С. 1.

²⁷ Там же. С. 2.

²⁸ Отчет о состоянии и деятельности Императорского Юрьевского университета за 1912 г. С. 41.

²⁹ Отчет о состоянии и деятельности Императорского Юрьевского университета за 1913 г. Юрьев, 1914. С. 40.

³⁰ Особое мнение декана юридического факультета профессора М. Е. Красножена по некоторым вопросам, касающимся Университетского устава. Юрьев, 1905. С. 2–3.

³¹ Краткий отчет Императорского Юрьевского университета за 1908 г. Юрьев, 1909. С. 6.

³² *Красножен М. Е.* О разводе в России: Исторический очерк. М., 1899. С. 3.

³³ *Ганелин Р. Ш.* К истории революционных связей студентов Тартуского и Петербургского университетов (1899 и 1905 гг.) // Очерки по истории Ленинградского университета. Л., 1984. Вып. 5. С. 30.

³⁴ *Красножен М. Е.* Терния и плевелы в наших университетах: К вопросу об университетской реформе. Юрьев, 1905. С. 29.

³⁵ РГИА. Ф. 744. Оп. 1. Д. 220. Л. 113.

³⁶ *Красножен М. Е.* К вопросу о свободе совести и о веротерпимости. Юрьев, 1905. С. 3.

³⁷ Там же. С. 16.

³⁸ *Красножен М. Е.* Новейшее законодательство по делам Православной Русской Церкви. Юрьев, 1909. С. 70–71.

³⁹ *Красножен М. Е.* Судьбы Македонии. Юрьев, 1915. С. 3–4.

Н. С. Андреева

К ВОПРОСУ О РЕФОРМЕ ЛЮТЕРАНСКОГО ПРИХОДА В ПРИБАЛТИЙСКИХ ГУБЕРНИях В НАЧАЛЕ XX в.

В реформаторских планах правительства важное место отводилось преобразованию евангелическо-лютеранского прихода в Прибалтийских губерниях. Хотя вопрос о церковной реформе в Прибалтике назрел уже в конце XX в., к ее непосредственной разработке (так же как и ряда других преобразований) правительство обратилось только под влиянием революционных событий 1905–1907 гг.

Размах революционного движения в Прибалтийских губерниях вынудил правительство искать выход из создавшегося положения. В связи с этим Совет министров 26 ноября 1905 г. обсудил ситуацию в Прибалтике и принял решение о разработке необходимых преобразований. С этой целью по указу 28 ноября 1905 г. при временном прибалтийском генерал-губернаторе создавалось особое совещание для подготовки проектов реформ.¹ Правительство полагало, что их реализация наряду с репрессивными мерами позволит быстро и эффективно восстановить в крае порядок.

Это совещание должно было разработать предположения по улучшению быта крестьян, проекты земской и школьной реформ, а также реформы сельского евангелическо-лютеранского прихода. Министерство внутренних дел рассматривало ее как первый этап реорганизации всего строя лютеранской церкви края.

Потребность в этом преобразовании ощущалась весьма остро: беспорядки в церквях и убийства пасторов в 1905–1907 гг. свидетельствовали о падении авторитета лютеранской церкви среди населения. Тревожным фактом для Духовного ведомства и Министерства внутренних дел было сокращение числа причащавшихся Святых Тайн (особенно серьезное в 1908 г.), которое отмечали в своих донесениях местные консистории. Оно указывало на увеличение числа отпавших от веры и вместе с тем на рост аудитории, потенциально восприимчивой к антирелигиозной революционной пропаганде.²

Причиной этой неблагополучной ситуации послужили недостатки в организации религиозной жизни лютеран Прибалтийских губерний. Часть их обусловило несовершенство Устава евангелическо-лютеранской церкви от 28 декабря 1832 г., который к началу XX в. значительно устарел.

Так, отсутствие в нем правильной регламентации церковных повинностей приводило на практике к конфликтам между владельцами крестьянской и мызной недвижимости, в связи с тем что основная тяжесть этих повинностей приходилась на крестьянскую землю. Неудовлетворительными признавались способы отбывания церковных повинностей и система их распределения по гакемам или талерам, причем особую сложность представлял перевод этих мер в действовавшую систему единиц измерения.³

Другой серьезной проблемой являлось право патроната. Оно появилось в Прибалтике в конце XII—начале XIII в. вместе с распространением католичества и представляло собой совокупность прав и обязанностей определенного лица в отношении церкви. Наиболее важным из них было право предлагать высшей духовной власти кандидата на место проповедника. В связи с этим в общественном мнении патронат определялся как право помещика назначать пастора.⁴

На почве патроната нередко возникали серьезные столкновения между эстонцами и латышами, с одной стороны, и немцами, с другой. Прихожане считали, что он нарушает основополагающие догматы лютеранской церкви и умаляет их права. Они содержали церковь и духовенство вместе с патронами и требовали равного с ними участия в церковных делах.⁵

Случалось, что конфликты между патроном и приходом из-за кандидатуры пастора перерастали в беспорядки, как например, в 1892–1900 гг. в Эксе, Лубане, Шваненбурге, Оциенкалене и Гельмете, а в 1896 г. — в Обер-Паленском приходе Лифляндской губернии. Из-за этого имели место случаи, когда проповедник вводился в пасторат без совершения обряда интродукции и при этом применялись полицейские меры. В знак протеста против таких действий прихожане начинали бойкотировать церковь и переходили в баптизм.⁶

Учитывая отрицательные последствия патроната, Министерство внутренних дел уже в декабре 1881 г. пыталось его упразднить. Однако в 1885 г. дело было оставлено без последствий, так как Генеральная консистория не согласилась на эту меру. Спустя 20 лет, в феврале 1905 г. Министерство внутренних дел вернулось к проблеме патроната и возобновило разработку его отмены, объединив ее с подготовкой реформы лютеранского прихода.

К тому же за ликвидацию патроната и передачу выбора проповедника приходу выказалось в декабре 1905 г. эстляндское и 20 апреля 1906 г. лифляндское дворянство при условии, что новый порядок избрания пастора обеспечит прихожанам действительную свободу волеизъявления. Курляндское дворянство, напротив, считало, что главным образом патроны содержат местную церковь и поэтому возражало против упразднения патроната.⁷

Его отмена была призвана ослабить влияние прибалтийско-немецкого дворянства в церковных делах как противоречившего государственным интересам. В «Справке по вопросу об отмене права частного патроната в евангелическо-лютеранских приходах» за подписью вице-директора Департамента духовных дел иностранных исповеданий Н. И. Павлова (составлена в феврале 1905 г.) отмечалось, что патронат делал духовенство материально зависимым от дворянства и тем самым превращал его в «орудие для удовлетворения» сепаратистских устремлений остзейских дворян. Так, пасторы, назначенные патронами, нередко выступали в политической роли «антиправительственных агитаторов» при проведении в крае различных реформ.⁸

Кроме того, по данным департамента, значительное число частных патронатов существовало без юридического обоснования. Согласно Уставу 1832 г., приобрести право патроната можно было только с высочайшего разрешения. По данным лифляндского губернатора, в конце 30-х гг. XIX в. в Лифляндии существовал 41 казенный патронат, в 1887 г. их было уже 22, а остальные 19 стали частными. При этом ему не удалось найти ни одного указа с 1837 по 1887 г. о передаче кому-либо этого права.⁹

Патронатские приходы были весьма распространены в Прибалтийских губерниях. По сведениям Лифляндского губернатора, в 1903 г. в материковой части Лифляндии было 104 сельских прихода, из них 76 частных патронатов и 22 казенных (т. е. право патроната в них принадлежало казне); на Эзеле все сельские патронаты являлись казенными. В Эстляндии в 1906 г. действовало 50 лютеранских приходов: 43 частных патронатских и только в семи пастора назначал церковный конвент. В Курляндской

губернии все приходы были патронатскими.¹⁰ Таким образом, лишь в незначительном числе приходов проповедника избирали сами прихожане. Даже если принять во внимание, что казна не пользовалась своим правом патроната и передавала его церковным конвентам, то перевес все равно оставался на стороне частных патронатов.

Следует отметить, что не все группы приходского населения имели представительство в церковном конвенте, который избирал проповедника. В Эстляндии доступ в него крестьянам был серьезно затруднен. В Лифляндской губернии действовали правила о конвентах от 15 июля 1870 г. Они допускали в эти органы представителей крестьян-дворохозяев. Это была лишь небольшая часть местного крестьянства: по данным переписи 1897 г., более 60% сельского населения Лифляндии составляли безземельные крестьяне. Они были устранены от участия в церковной жизни, несмотря на то что несли часть расходов по содержанию духовенства.¹¹

Внимание лифляндских губернаторов привлекло к себе и то, что даже при одинаковом представительстве крестьян и дворян в конвенте руководящая роль всегда принадлежала последним. Департамент духовных дел объяснял это солидарностью депутатов от дворян, пастора и церковного попечителя (он как главный распорядитель по всем церковным делам в приходе председательствовал в конвенте).

К тому же крестьяне опасались открыто выступать против решения помещиков, поскольку материально все еще от них зависели. Так, на 1910 г. в Лифляндии была выкуплена только одна треть участков, находившихся в собственности крестьян. Большинство же из них имели долговые обязательства по отношению к помещикам. Еще в более сильной зависимости от дворян находились крестьяне-арендаторы. Более трети их (всего в аренде у крестьян состояло 4372 участка повинностной земли) не имели формальных контрактов и держали участки на основе словесной договоренности.¹²

Эти обстоятельства приводили к тому, что конвент решал все вопросы в интересах помещиков и избирал церковных попечителей преимущественно из дворян. По данным на 1899 г., из 136 церковных попечителей в Лифляндской губернии дворян было 112 человек (82.35%), не дворян — 24 (17.65%), причем из них немцев — 128 человек (94.12%), латышей — 6 (4.41%), эстонцев — 2 (1.47%).¹³

Принимая во внимание серьезные недостатки в организации лютеранской церкви Прибалтийских губерний, Министерство внутренних дел неоднократно признавало необходимость ее преобразовать — допустить широкие слои местного населения к участию в церковных делах и устранить преобладающее влияние в них дворян. В реформировании нуждались Генеральная консистория, центральные и приходские учреждения лютеранской церкви. Сложные проблемы существовали в городских приходах, где право патроната принадлежало купеческим гильдиям или магистратам, нередко состоявшим из представителей различных конфессий. В то же время реформу было решено начать с сельского прихода, поскольку именно там сосредоточивалась основная масса лютеран края.

Первую редакцию проекта реформы Департамент духовных дел иностранных исповеданий подготовил за короткий срок — в течение зимы 1907/08 г. В своих главных положениях она основывалась на проекте Особого совещания при временном прибалтийском генерал-губернаторе, разработанном 22 сентября 1907 г.

В отличие от проекта, выдвинутого этим совещанием, редакция Департамента духовных дел сохраняла право патроната. Однако при этом ликвидировалось право патронов

избирать проповедников. В сущности для самих патронов это сводило на нет весь смысл дальнейшего существования патроната.

Избрание проповедника передавалось приходу в лице церковного совета. Его членов — церковных старшин — выбирали прихожане. В соответствии с имущественным цензом они распределялись по трем избирательным собраниям: крупные и средние землевладельцы, арендаторы и безземельные, платившие добровольные взносы (не менее одного рубля в год в течение шести лет).¹⁴ От повинностей в пользу лютеранского духовенства освобождались казенные имущества и частные, принадлежавшие лицам иных исповеданий. Хотя департаментский проект в целом был умереннее проекта Особого совещания, все же он несколько расширил круг избирателей церковных старшин, допустив к их выборам различные категории арендаторов.

Одобренный Советом министров законопроект «Об упорядочении способов отбывания повинностей в пользу духовенства евангелическо-лютеранской церкви, о преобразовании церковно-приходских учреждений и об изменении порядка избрания пасторов в Лифляндской и Эстляндской губерниях» 7 декабря 1911 г. Министерство внутренних дел внесло в III Государственную думу.

Рассмотрение проекта приходской реформы началось только в IV думе, после того как 10 декабря 1912 г. он поступил в ее комиссию по вероисповедным вопросам. Там проект рассматривался с 30 марта по 23 июня 1913 г. Его предварительным разбором занималась подкомиссия в составе З. М. Благодна, барона Н. Б. Вольфа, К. Ю. фон Бреверна и сенатора И. А. Лаукайтиса под председательством епископа Анатолия.¹⁵

Комиссия внесла в проект поправки компромиссного характера, сделав некоторые уступки латышам и эстонцам, с одной стороны, и прибалтийско-немецкому дворянству, с другой. В интересах первых она сократила срок уплаты добровольных взносов до двух лет (как было установлено в проекте Особого совещания). Это несколько облегчало доступ в церковный совет арендаторам и безземельным крестьянам.

В интересах же прибалтийско-немецкого дворянства комиссия высказалась против освобождения имущества казны от церковных повинностей. Свое решение она мотивировала тем, что государственные земли несли их в течение длительного времени. Причем казна уплачивала эти повинности, несмотря на закон от 14 мая 1886 г., освободивший от них лиц нелютеранского вероисповедания.¹⁶

Эта поправка в итоге предопределила судьбу законопроекта. Департамент духовных дел считал принципиальным вопрос об обязанности казны уплачивать повинности лютеранской церкви. Как отмечалось в его справке, признание казны, обязанной платить эти повинности, создавало «крайне опасный и нежелательный прецедент», которым могли воспользоваться другие неправославные церковные организации. По мнению составителя справки, поправка вероисповедной комиссии противоречила интересам государства, поэтому в ее черновом варианте он высказался за отзыв законопроекта. Однако из окончательного текста справки, с которым ознакомился министр внутренних дел Н. А. Маклаков, это решение исключили.¹⁷

После того как 13 ноября 1913 г. законопроект одобрила Финансовая комиссия, он был представлен на рассмотрение общего собрания думы, но затем снят с очереди. Законопроект пролежал без движения вплоть до 23 декабря 1915 г., когда его отозвало Министерство внутренних дел. Оно намеревалось переработать проект реформы на новых основаниях, с учетом изменившейся политической ситуации в Прибалтике

и полученных «новых данных». Помимо этого, было решено распространить действие реформы и на Курляндию в связи с заявлением одиннадцати депутатов думы 21 мая 1913 г. о том, что реформу прихода желательно реализовать также в Курляндской губернии.¹⁸

Дальнейшая работа над ее проектом проходила в период Первой мировой войны.¹⁹ Условия военного времени радикализовали подход правительства к этому преобразованию и усилили его антинемецкую направленность.

Вторую редакцию проекта приходской реформы разработало Особое совещание, образованное при Департаменте духовных дел под председательством его директора Г. Б. Петкевича. Помимо чиновников департамента в качестве экспертов в него вошли управляющий митавским отделением крестьянского банка Н. Н. Бордонос и бывший директор народных училищ Лифляндской губернии А. В. Вильев. Эти лица, как свидетельствовал Г. Б. Петкевич 19 июля 1916 г. в записке о работе над законопроектом, по своей службе в Прибалтийских губерниях были хорошо знакомы с религиозным бытом лютеран.²⁰

Кроме того, для выяснения ряда связанных с реформой вопросов в феврале–марте 1916 г. в Прибалтику командировали составителя проекта 1911 г. чиновника особых поручений при министре внутренних дел А. С. Мамантова. В ходе этой поездки он обсудил с местной администрацией министерский проект и ознакомился с делопроизводственными материалами правительственных учреждений края. Полученные при этом данные позволили Департаменту духовных дел в июне 1916 г. выработать окончательную редакцию проекта реформы.²¹

Эта редакция сохраняла общую организацию прихода такой же, как в проекте 1911 г. (она включала в себя общее собрание прихожан, церковный совет как распорядительный орган и церковное попечительство — как исполнительный), но в остальном первая и вторая редакции существенно различались. Новая редакция распространяла реформу на все Прибалтийские губернии, включая Курляндию. В качестве ее главного принципа Департамент духовных дел провозгласил уравнивание в правах всех прихожан, участвовавших в материальном обеспечении церкви. В связи с этим была ликвидирована куриальная система выборов церковных старшин и минимальный размер добровольных взносов.

Все же провозглашенное уравнивание в правах не коснулось батраков. Их право голоса ограничил ценз оседлости — не менее двух лет проживания в приходе. По мнению департамента, они как «пришлый элемент» не могли серьезно интересоваться делами какой-либо конкретной церкви. Отстранение батраков от участия в церковных делах должно было предотвратить излишнюю демократизацию прихода и обеспечить, таким образом, выборы консервативно настроенного пастора.²²

Вторая редакция проекта отличалась выраженной антидворянской направленностью. Как отмечал сотрудник Департамента духовных дел — составитель записки к отдельным статьям этого проекта (она датирована августом 1916 г.), реформа должна была ликвидировать все привилегии остзейского дворянства «в деле устройства и управления» лютеранской церкви. Департамент считал необходимым устранить «отрицательное национальное влияние» остзейцев на прихожан, но вместе с тем обеспечить дальнейшее участие консервативного прибалтийско-немецкого дворянства в делах церкви. В нем виделся противовес эстонцам и латышам с их «узконационалистическими и революционными» тенденциями.²³

Руководствуясь этими соображениями, Департамент духовных дел предполагал упразднить институт патроната и органы церковного надзора — главные церковные попечительства, через которые рыцарство влияло на церковные дела. Вероисповедные функции главных церковных попечительств переходили к церковным советам, а административные — к губернскому правлению. Оно становилось апелляционной и ревизионной инстанцией в отношении церковных советов. Эта мера не только усиливала контроль правительственной администрации за приходской жизнью, но и, по мнению департамента, позволила бы эффективно урегулировать конфликты, возникавшие между прихожанами на национальной почве.²⁴ Хотя представляется сомнительным, чтобы губернское правление — сугубо светское учреждение без соответствующего опыта могло успешно разрешать проблемы в церковных приходах.

Департамент духовных дел пошел на некоторые уступки в отношении эстонского и латышского языков в приходских учреждениях. Их разрешалось употреблять в церковных советах и попечительствах с обязательным переводом протоколов заседаний на русский. Эти уступки отчасти вызывались практическими соображениями: знание государственного языка в сельских местностях Прибалтийских губерний было крайне слабым. В связи с этим церковному совету разрешалось избирать попечителя и его помощника без образовательного ценза (он соответствовал курсу высшего начального училища), если они достаточно владели русским языком.²⁵

В отличие от прежней редакции новый проект отменял все церковные повинности. Для финансового обеспечения лютеранского духовенства предполагалось определить минимальный доход пастора и выплачивать ему соответствующее ежемесячное содержание. Необходимые для этого средства должны были поступать от недвижимого имущества церкви и ее капиталов, которыми владели лютеранские приходы. Если же этих средств не хватало, то разрешалось установить особый сбор с прихожан. Распределять его было поручено церковному совету в соответствии с состоятельностью членов прихода.²⁶

Между тем законодательное утверждение законопроекта затянулось. По распоряжению министра внутренних дел его экстренно внесли 7 августа 1916 г. в Совет министров. Однако Совет министров не утвердил его и передал 9 сентября 1916 г. на заключение Министерства юстиции.²⁷

Вопреки мнению директора Департамента духовных дел законопроект был представлен и на отзыв Генеральной консистории. В своем заключении на проект 10 сентября 1916 г. она резко возражала по существу реформы — не соглашалась с новыми принципами организации прихода. По мнению консистории, намеченное преобразование передавало руководство церковными делами в руки лиц, не способных конструктивно вести общественные дела, а ликвидация повинностей делала материальное положение церкви нестабильным.

В действительности консисторию не столько беспокоил вопрос об эффективности реформы, сколько соблюдение интересов прибалтийско-немецкого дворянства в церковных делах. Министерство внутренних дел, со своей стороны, не согласилось с ее замечаниями. Оно рассмотрело их и опротестовало по существу. Не повлияли на его позицию и протесты предводителей прибалтийско-немецкого дворянства против намеченной реформы.²⁸

Для выполнения решения Совета министров 9 сентября 1916 г. министр юстиции А. А. Макаров в отношении 25 сентября предложил управляющему Министерством

внутренних дел А. Д. Протопопову обсудить проект приходской реформы в межведомственном совещании. Его прообразом послужило Особое совещание при Министерстве юстиции, разработавшее ранее законопроект об отмене особых привилегий владельцев дворянских вотчин в Прибалтийских губерниях.

Председателем этого межведомственного совещания стал товарищ министра юстиции А. Н. Веревкин, а в его состав, помимо сенаторов, чинов Департамента духовных дел и Министерства юстиции, вошли представители Государственной канцелярии, министерств земледелия и финансов, а также приглашенные лица. Это совещание собралось лишь на свое первое заседание — 18 февраля 1917 г., его дальнейшую работу прервала Февральская революция.²⁹

Она прервала подготовку и других преобразований для Прибалтийских губерний, которую вел Департамент духовных дел. К их числу относилась реформа городских и смешанных (с городским и сельским населением) приходов, а также реорганизация центральных и высших административных органов лютеранской церкви.³⁰

К 1 декабря 1916 г. был подготовлен проект «О реформе управления евангелическо-лютеранской церкви в России» для представления в думу. Эта реформа, по мысли Департамента духовных дел, должна была освободить лютеранскую церковь Российской империи от влияния немцев вообще и прибалтийского дворянства в частности и вместе с тем усилить контроль правительства за ее деятельностью. В связи с этим Генеральная консистория как «главный проводник» этого влияния ликвидировалась. Ее судебные функции переходили к Сенату, а административные — к Департаменту духовных дел.³¹ Разработка этой реформы в целом не была завершена.

Цели «дегерманизации» духовной жизни лютеран России преследовал и другой законопроект — «О языке переписки, делопроизводства, суждений и протоколов заседаний протестантских духовных учреждений и лиц и о пересмотре некоторых статей закона, связанных с этим вопросом» (его составителем был начальник отделения Департамента духовных дел А. В. Петров).³²

Проект предусматривал ввести русский язык вместо немецкого в делопроизводство протестантских церковных учреждений и исключить немецкую терминологию из «Устава иностранных исповеданий». Вместе с тем было сделано некоторое послабление национальным языкам. Родной для большинства населения язык позволялось употреблять в приходских учреждениях, а с разрешения министра внутренних дел и в заседаниях синодов при чтении богословских докладов. В то же время ограничивались права немецкого населения Прибалтийских губерний — богослужение на немецком языке в сельских приходах становилось необязательным даже при значительном числе прихожан-немцев. В результате они могли остаться без духовного окормления.³³

После того как 1 марта 1916 г. Совет министров одобрил этот законопроект, 29 марта 1916 г. он поступил в думу. Она в свою очередь передала его в вероисповедную комиссию, где он остался нерассмотренным.³⁴

В отличие от приходской реформы ни введение русского языка в делопроизводство лютеранской церкви, ни реорганизация ее управления не вызывались настоящей необходимостью. Их подготовка началась под влиянием антинемецкой кампании, и поэтому эти реформы в большей степени отвечали задачам «борьбы с германизмом», чем реальным потребностям лютеран. Хотя предусмотренное расширение употребления эстонского и латышского языков в церковных учреждениях несомненно было положительным фактом.

Реформа сельского лютеранского прихода, так же как и ряд других преобразований, намеченных правительством для Прибалтики в начале XX в., осталась нереализованной по ряду причин. Прежде всего правительство не могло решиться изменить традиционный баланс политических сил в Прибалтийских губерниях. Оно опасалось, что с уменьшением влияния дворянства усилится роль эстонцев и латышей в общественной жизни края. Это, по мнению правительства, привело бы к нежелательным последствиям — к возникновению автономистских тенденций и росту сепаратизма, в то время как целью реформ должно было стать усиление правительственного влияния в крае. В этом виде-лось единственно эффективное средство поддержания государственного единства.

Реформа лютеранского прихода не была реализована во многом по вине самого Департамента духовных дел иностранных исповеданий. Из-за его позиции прошедший думские комиссии законопроект в 1913 г. был снят с очереди на обсуждение в общем собрании думы. Он пролежал без движения два года вплоть до 23 декабря 1915 г., когда его отозвало Министерство внутренних дел для переработки. Однако объективные обстоятельства — условия военного времени и оккупация части Прибалтийских губерний Германией исключали возможность успешно осуществить эту реформу и в целом делали ее дальнейшую подготовку бессмысленной. Благоприятная возможность реализовать церковную реформу была упущена.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Российский государственный исторический архив (далее — РГИА). Ф. 821. Оп. 5. Д. 283. Л. 39 об.; Ф. 1276. Оп. 5. Д. 125. Л. 1 об.; Революция 1905–1907 гг. в Эстонии: Сб. документов и материалов. Таллин, 1955. С. 437–438. См. также: *Андреева Н. С.* Статус немецкого дворянства в Прибалтике в начале XX века // Вопросы истории. 2002. № 2. С. 44–61.

² РГИА. Ф. 821. Оп. 150. Д. 338. Л. 14; Оп. 133. Д. 1090. Л. 60.

³ Там же. Оп. 133. Д. 1041. Л. 1–2.

⁴ Там же. Оп. 150. Д. 309. Л. 3, 8, 13, 46. См. также: *Кропоткин Н. Д.* Патронат и церковные повинности в Прибалтийских губерниях. Рига, 1906.

⁵ РГИА. Ф. 821. Оп. 5. Д. 6. Л. 35, 121; Ф. 1291. Оп. 63. Д. 252. Л. 83; Ф. 1282. Оп. 2. Д. 1396. Л. 299.

⁶ Там же. Ф. 821. Оп. 5. Д. 165. Л. 25, 146–146 об.; Ф. 1282. Оп. 2. Д. 1396. Л. 302; Прибалтийский край. Рига // Ревельские известия. 1909. 7–10 янв. Цит. по: РГИА. Ф. 821. Оп. 5. Д. 176. Л. 18.

⁷ РГИА. Ф. 821. Оп. 150. Д. 309. Л. 60–61 об.; Оп. 5. Д. 165. Л. 191–191 об., 193 об.; Оп. 133. Д. 1041. Л. 10, 19 об.–20.

⁸ Там же. Оп. 150. Д. 309. Л. 67.

⁹ Там же. Л. 26.

¹⁰ Там же. Оп. 5. Д. 898. Л. 13, 60, 53.

¹¹ Там же. Оп. 133. Д. 1041. Л. 90, 92.

¹² Там же. Л. 91–92.

¹³ Там же. Л. 93; Оп. 5. Д. 898. Л. 16.

¹⁴ Там же. Оп. 5. Д. 898. Л. 273.

¹⁵ Там же. Оп. 133. Д. 1041. Л. 41; Д. 1090. Л. 173; Ф. 1278. Оп. 6. Д. 142. Л. 82.

¹⁶ Там же. Ф. 821. Оп. 133. Д. 1041. Л. 45 об.; Д. 1091. Л. 177 об.

¹⁷ Справка Департамента духовных дел иностранных исповеданий о платеже повинностей казенными имуществами. 10.03.1913 г.: РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 984. Л. 275–275 об.

¹⁸ Там же. Ф. 1278. Оп. 6. Д. 142. Л. 113, 164–164 об.; Ф. 821. Оп. 133. Д. 1090. Л. 173–173 об.; Д. 982. Л. 203–204; Д. 1121. Л. 38. См. также: *Стерсте А. П.* Правовое и имущественное положение евангелическо-лютеранской церкви в Курляндской губернии. Митава, [б. г.].

¹⁹ Ср. *Карьяхярм Т.* Эстонская буржуазия, самодержавие и дворянство в 1905–1917 гг. Таллин, 1987. С. 246–247.

²⁰ РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Д. 1396. Л. 239–240; Ф. 821. Оп. 133. Д. 1090. Л. 173 об., 318.

²¹ Там же. Ф. 821. Оп. 133. Д. 1090. Л. 173 об. 174; Д. 1089. Л. 2, 3 об., 8.

²² Там же. Д. 1090. Л. 61 об., 75–75 об., 50–50 об., 180 об. 181.

²³ Там же. Д. 1091. Л. 180; Ф. 1282. Оп. 2. Д. 1396. Л. 230 об.–231.

²⁴ Там же. Ф. 821. Оп. 133. Д. 1090. Л. 69 об., 73, 37 об., 44–44 об.

²⁵ Там же. Л. 63 об., 64 об.–65; оп. 133. Д. 1089. Л. 5 об.

²⁶ Там же. Ф. 821. Оп. 133. Д. 1090. Л. 67 об., 69, 78.

²⁷ Там же. Л. 53 об.; Ф. 1284. Оп. 190. Д. 107. Л. 66.

²⁸ Там же. Ф. 821. Оп. 133. Д. 1089. Л. 103; Д. 1090. Л. 164 об.–165 об.; Ф. 1405. Оп. 532. Д. 1301. Л. 7–7 об., 8; Объяснения Министерст-

ва внутренних дел по существу замечаний Генеральной консистории: Там же. Ф. 821. Оп. 133. Д. 1090. Л. 180–181 об.

²⁹ Там же. Ф. 1405. Оп. 532. Д. 1301. Л. 10 об.–11, 14–14 об., 38–40, 74; Ф. 821. Оп. 133. Д. 1089. Л. 149.

³⁰ Там же. Ф. 821. Оп. 133. Д. 1119. Л. 203.

³¹ Там же. Л. 23, 24 об., 131, 206а об.; Д. 1067. Л. 8–8 об., 62.

³² Там же. Д. 958. Л. 25.; Ф. 1022. Оп. 1. Д. 16. Л. 389.

³³ Там же. Ф. 821. Оп. 133. Д. 1091. Л. 16–17 об.; Ф. 1276. Оп. 11. Д. 1171. Л. 10 об.

³⁴ Там же. Ф. 821. Оп. 344. Д. 329. Л. 13, 30; Государственная дума: Указатель к стенографическим отчетам. Четвертый созыв. Сессия IV. 1915–1916 гг. Пг., 1916. С. 310.

В. А. Нардова

**ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
1905–1907 гг.**

К началу XX в. в числе важнейших реформ, давно ожидавших своего решения, оставалась реформа местного управления и самоуправления. Принятое в 1892 г. новое Городовое положение не сняло проблемы рациональной организации управления в городах, но в известной мере даже увеличило несоответствие между возросшей ролью органов самоуправления в жизни городов и правовой базой, регулирующей их деятельность. В конце 1904 г. активизировалось движение городских дум за созыв общероссийского городского съезда для обсуждения вопросов преобразования общественного управления. Надежды городской общественности на возможность скорого проведения реформы появились после обнародования 12 декабря 1904 г. высочайшего указа, в котором среди прочих декларируемых обещаний говорилось о предоставлении земским и городским учреждениям «возможно широкого участия в заведовании различными сторонами местного благоустройства» и даровании необходимой для сего «в законных пределах самостоятельности» (пункт 2). Определение способов разработки намеченных преобразований было возложено на Комитет министров.¹ Пункт 2 именного высочайшего указа, касавшийся земского и городского самоуправления, рассматривался Комитетом министров 31 декабря 1904 г., 4 и 25 января 1905 г.²

Комитет министров пришел к выводу, что задача преобразования местного самоуправления не может быть решена силами одних центральных учреждений, «не вполне

осведомленных непосредственно о всех подробностях местной жизни».³ Рассматривалось два возможных варианта привлечения местных сил к разработке реформы: передача проектируемых мер на обсуждение в земские собрания и городские думы или разработка проекта в особых совещаниях с приглашением туда представителей общественных (земских и городских) учреждений. В пользу первого варианта высказались председатель Департамента гражданских и духовных дел Государственного совета и министр финансов. Они считали, что вопросы, подлежащие разрешению, при участии широкого круга лиц «получат наиболее полное и всестороннее освещение».⁴ Иной точки зрения придерживался министр внутренних дел. Он полагал, что разработка предначертаний п. 2 указа 12 декабря в особых совещаниях больше соответствует «условиям и особенностям настоящего времени». Хотя говорилось и о неподготовленности земских собраний и городских дум к составлению «столь сложных законоположений, как проекты новых Земского и Городового положений», политические мотивы имели главенствующее значение.

Подводя итог дискуссии, Комитет министров признал, что «при нормальном течении жизни предпочтительнее было бы остановиться на передаче дела в земские собрания и городские думы». Однако было высказано сомнение, что «при повсеместном умственном брожении» работа, возложенная на местные учреждения, не выйдет из «нормальных деловых пределов». А публичность заседаний «делает обстоятельство это особенно серьезным, угрожая дальнейшим разнесением смуты и возбуждения». Правда, Комитет министров не исключал возможности «нежелательных отклонений» и при обсуждении дела в совещаниях в Петербурге, но рассчитывал, что сравнительно небольшое число участников, принятие некоторых предупредительных мер и назначение государем авторитетного и опытного руководителя совещания приведут «к значительному умалению остроты положения».

Исходя из названных соображений, Комитет министров принял решение произвести «разработку вопроса о переустройстве местного самоуправления в Петербурге при участии лиц, избираемых земскими и городскими учреждениями». Для составления проектов Земского и Городового положений учреждались два Особых совещания, но под председательством одного лица, назначенного царем.⁵

При установлении плана занятий совещаний Комитет министров руководствовался задачей «упорядочения деятельности совещаний и хотя бы некоторого ограждения их от нежелательных и непроизводительных уклонений».⁶ По мнению Комитета министров, такой задаче в наибольшей мере отвечала организация работы на основе доставляемых Министерством внутренних дел материалов и их обсуждение в той последовательности и порядке, который будет определяться министром. Комитет рассчитывал, что при таком порядке «хотя бы до некоторой степени гарантирован будет деловой и производительный характер суждений». Приводились и политические соображения. «Наконец, и с политической точки зрения избираемый способ представляется, по-видимому, наиболее безопасным, ибо, хотя при нем не устраняется возможность нежелательных осложнений, но они, надо надеяться, не будут иметь острого характера».⁷ Право представительства от городов по решению Комитета министров было предоставлено городам (из числа тех, где действовало Городовое положение 1892 г.), численность которых по Всероссийской переписи 1897 г. превышала 50 тыс. человек. 5 мест отводилось городам с упрощенным общественным управлением (они составляли 39% от общего числа городов).⁸

1 февраля Особый журнал Комитета министров о порядке выполнения пункта 2 указа 12 декабря 1904 г. получил высочайшее утверждение.

Городские думы откликнулись сразу же после появления в газетах сообщений о решениях, принятых Комитетом министров по пункту 2 указа 12 декабря. По имеющимся сведениям, в Министерство внутренних дел и Комитет министров поступили ходатайства от 28 городов,⁹ не соответствовавших предельной норме, установленной Комитетом министров. Городские думы высказывали несогласие с принятым порядком представительства от городов и в каждом отдельном случае обосновывали целесообразность присутствия на совещании представителя от данного города. Думы находили неверным принятие в качестве единственного критерия для участия в совещании численность населения города и особенно возражали против указанной нормы — 50 тыс. жителей. Во многих ходатайствах отмечалось, что городские центры с населением более 50 тыс. человек составляют незначительную часть российских городов. Приводились данные Всероссийской переписи населения: свыше 50 тыс. человек в 1897 г. имели только 42 города (5.7%) из 752. Подавляющее большинство городов принадлежало к средним с населением от 20 до 30 тыс. жителей и даже мелким, имеющим менее 10 тыс. человек. Все эти города живут особой жизнью, не похожей на жизнь крупных городов, их интересы во многом диаметрально противоположны. Поэтому представительство крупных центров не сможет всесторонне и правильно отразить нужды городского населения Российской империи. Обращалось внимание на то, что представительство на совещаниях от различных регионов окажется крайне неравномерным. Так, в ходатайстве новгородской думы отмечалось, что весь Север России не будет иметь своих представителей: в Архангельске 21 тыс. жителей, в Вологде — 28 тыс., Петрозаводске — 13 тыс., Новгороде — 27 тыс., Пскове — 31 тыс. Тобольская городская дума писала, что лишеными представительства оказались все сибирские города, кроме Томска и Иркутска. Указывалось на специфику развития черноморских портовых городов, которые не смогут принять участия в совещаниях. В ряде случаев губернское начальство поддержало просьбу городских дум о разрешении послать на совещания своего представителя.

Наряду с ходатайством о более широком представительстве городов на совещаниях по подготовке реформы, от некоторых городских дум поступили материалы с предложениями о «желательных изменениях» в действующем Городовом положении. Предложения вырабатывались в комиссиях и затем обсуждались и принимались на заседаниях городских дум. С весны и до конца 1905 г. свои соображения о реформе в Министерство внутренних дел и Совет министров направили думы Одессы,¹⁰ Чернигова,¹¹ Симбирска,¹² Костромы,¹³ Ставрополя,¹⁴ Риги¹⁵ и других городов. Материалы, поступившие в правительственные инстанции (доклады думских комиссий, журналы заседаний, постановления и проч.), отражали позицию городских дум по основным направлениям преобразования городского самоуправления: компетенция («предметы ведомства») дум, городское представительство, пределы самостоятельности, организационное устройство, финансы и др.

Формулируя свои предложения о предметах ведомства городского самоуправления, думы опирались на указ 12 декабря 1904 г. Высочайшим указом, писала ставропольская городская дума, возведено «предоставление земским и городским учреждениям возможно широкого участия в заведовании различными сторонами благоустройства». Это может означать только одно — расширение компетенции общественного управления.

По мнению думы, «пределами компетенции местного самоуправления должны быть границы всей местной жизни». Дума считала, что «местному самоуправлению не только должно принадлежать ведение местного хозяйства в полном объеме..., но в его руках точно также должно сосредоточиться и все местное управление». Черниговская городская дума также полагала, что «городскому общественному управлению необходимо предоставить заведование делами о всех пользах и нуждах городского самоуправления». Важно подчеркнуть, что думы настаивали на своем праве заботиться не только о материальном благе, но и о духовных потребностях горожан. В своих постановлениях многие думы отмечали, что деятельность органов самоуправления в духовной сфере не должна ограничиваться лишь материальной поддержкой образовательных и просветительных учреждений, и ставили вопрос о сосредоточении в их руках всего учебно-воспитательного процесса. В числе предложений, касающихся компетенции дум, следует особо отметить их пожелание о создании муниципальной полиции, которой была бы передана часть функций государственной полиции.

В своих предложениях об изменении избирательного закона городские думы ссылались на то место указа 12 декабря, где говорилось о намерении призвать к деятельности в общественных учреждениях «представителей всех частей заинтересованного в местных делах населения». «Указ может быть толкуем, — говорится в докладе ставропольской думы «О преобразовании городского общественного управления», — только в том смысле, что все существовавшие до сих пор ограничения относительно права участия в местном самоуправлении будут уничтожены и все население без различия имущественного ценза, пола, сословия, религии будет пользоваться избирательным правом, как и правом быть избираемым на должности по местному самоуправлению».¹⁶ Те же принципы отстаивала черниговская дума: в выборах в гласные могут участвовать все граждански правоспособные жители города без различия пола, национальности, вероисповедания, достигшие 25 лет и постоянно проживавшие в городе не менее двух лет.¹⁷

Костромская городская дума считала, что пользоваться избирательным правом должны все плательщики налогов в казну. Для уплачивающих налог с недвижимости и торгово-промышленных предприятий срок оседлости устанавливался 1 год, для всех остальных — плательщиков налога с личного труда — 3 года.¹⁸

Первостепенное значение в думских постановлениях придавалось изменению законодательных норм, регулирующих характер отношений общественного управления с административной властью. «Действующее в настоящее время Городовое положение ограничивает самостоятельность городского самоуправления в столь многочисленных и разнообразных случаях..., что о какой-либо самостоятельности городских учреждений в настоящее время говорить совершенно не приходится», — отмечалось в докладе комиссии ставропольской думы. Общим требованием всех дум были пункты об ограничении прав губернатора по надзору исключительно контролем за законностью действий общественного управления, а также об упразднении права утверждения избранных должностных лиц администрацией.

Помимо названных разные городские думы выдвинули ряд дополнительных пожеланий и в их числе: 1) нераспространение на органы общественного управления права губернатора осуществлять контроль за определением на службу лиц по найму (Общ. губ. учр. Ст. 511) (одесская дума); 2) освобождение от губернаторской цензуры публикаций

думских материалов (отчетов, журналов заседаний и т. д.) (черниговская, одесская думы); 3) расширение прав по изданию «Обязательных постановлений» (ставропольская дума); 4) разрешение периодических съездов органов самоуправления и издания их общего печатного органа (черниговская и ставропольская думы); 5) подтверждение права участия представителей дум в трудах всех совещаний, разрабатывающих законопроекты о городском самоуправлении, и др.

Некоторыми думами было высказано мнение о значении общественного контроля. Костромская городская дума полагала, что широкое проявление самостоятельности в делах городского хозяйства может быть регулируемо «свободным общественным мнением при условии свободы слова, печати, общественных собраний и личности». Ставропольская дума считала необходимым практиковать регулярные отчеты гласных перед избирателями: «Только при таком положении вещей население получит возможность оказывать действительное влияние на ход городских дел и думы будут работать в интересах населения».

Во всех думских материалах было обращено внимание на состояние городских финансов и высказан ряд пожеланий с целью их упрочения: снятие предельности обложения, введение новых налогов, освобождение общественного управления от немунципальных расходов и др.

В числе поднятых думами проблем следует отметить предложение об отстранении городского головы от председательствования в думе и о предоставлении думами права выделения из уездного земства.

После указа 18 февраля 1905 г. проявления думами инициативы по представлению в правительственные инстанции (Министерство внутренних дел, Совет министров) соображений относительно преобразования городского самоуправления признавались не выходящими за рамки закона. В ответ на представление губернатором постановления курской думы начальник Главного управления по делам местного хозяйства С. Н. Гербель сообщил: «На основании... Положения Комитета министров о порядке выполнения п. 2 именного высочайшего указа 12 декабря 1904 г. министру внутренних дел предоставлено безотлагательно выработать и сообщить председателю Особых совещаний материалы по вопросу о пересмотре ныне действующего Городового и Земского положения для обсуждения оных в Совещаниях».

При разработке в Министерстве внутренних дел всех имеющихся по сему предмету материалов будут приняты во внимание и предложения Костромской думы о желательных изменениях в Городовом положении 1892 г.¹⁹ Но в нашем распоряжении нет материалов, свидетельствующих о том, что Министерство внутренних дел в эти годы само обращалось в местные органы самоуправления с запросами.

Подготовительная деятельность по разработке земской и городской реформы началась весной 1905 г. Уже в марте 1905 г. был образован Комитет по собиранию и разработке материалов по пересмотру земского и городского положений под председательством С. Е. Крыжановского. Чтобы ускорить выполнение намеченной программы работ, комитету было выделено специальное финансирование.²⁰ Материалы, подготовленные комитетом, были использованы при выработке проекта главных направлений земской и городской реформы. В феврале 1907 г. в Совет министров поступило подписанное П. А. Столыпиным представление «Об установлении главных оснований преобразования земских и городских учреждений».²¹

Во вступительной части документа обосновывалась необходимость реформирования местного самоуправления одновременно и в органической связи с реформой местного управления. Было заявлено, что министерство представляет программу усовершенствования всех сторон действующих Положений о земских и городских учреждениях, но при этом оно отдает себе отчет в том, что в полном объеме программа подлежит лишь постепенному выполнению. Вместе с тем подчеркивалось, что «наиболее настоящим» министр считает осуществление следующих частей своей программы:

- 1) упорядочение отношений органов самоуправления к правительственной власти;
- 2) расширение компетенции органов самоуправления;
- 3) преобразование действующей выборной системы на началах бессловности и предоставления участия в самоуправлении более широким слоям населения.

Проект программы состоял из 8 разделов. Раздел I «Отношение органов самоуправления к органам правительственным» начинался с исторического экскурса, обращения к реформам Александра II. Констатировалось, что в основу земской и городской реформ 1864 и 1870 гг. была положена ошибочная концепция, отрицающая государственное значение характера деятельности выборных хозяйственных учреждений. Это привело к дуализму в местном управлении и неизбежно породило антагонизм между органами самоуправления и правительственными. А поскольку последствия изначально принятой неверной установки не были преодолены при последующем проведении реформ (1890 и 1892), первоочередной задачей признавалось устранение существующей обособленности органов самоуправления от правительственных, установление надлежащей связи и взаимодействия между ними. Для ее реализации был намечен ряд мер. Важная роль отводилась изданию уставов по отдельным отраслям управления с точным указанием пределов власти как правительственных, так и земских, и городских учреждений.

Решить задачу включения органов самоуправления в систему государственного аппарата власти Министерство внутренних дел рассчитывало посредством проведения комплекса мер.

1. Первоочередное значение придавалось созданию в губернии и уезде смешанных коллегий (губернских и уездных советов) из правительственных должностных лиц и представителей от земств и городов. Поскольку такой проект уже получил обоснование в записке Министерства «Об установлении главных начал устройства местного управления», представленной в Совет министров в декабре 1906 г.,²² в данном документе он подробно не развивался.

2. Намечалось преобразование Совета по делам местного хозяйства, учрежденного по закону от 22 марта 1904 г. На Совет наряду с Главным управлением по делам местного хозяйства было возложено высшее руководство, согласование и направление деятельности местных учреждений по удовлетворению хозяйственных «польз и нужд» населения. В состав Общего присутствия Совета, помимо представителей ведомств, входили также назначенные правительством «местные деятели» (из числа предводителей и членов земских управ, городских голов, членов городских управ, земских и городских гласных). Общее присутствие Совета должно было собираться один раз в год для рассмотрения внесенных министром внутренних дел предложений об издании новых законов, инструкций, распоряжений и т. д., а также ходатайств земских, городских и других учреждений, по которым министр находил нужным получить заключение

Совета.²³ Правда, как было отмечено в представлении, «ввиду обстоятельств, обусловленных событиями нашей внутренней жизни», за последние годы общее присутствие Совета фактически ни разу не собиралось.

Министерством П. А. Столыпина проектировалось преобразование Совета «на началах видного участия в нем выборных от земства и городов» и существенное расширение его компетенции при сохранении совещательного характера учреждения. Имелось в виду, что на предварительное обсуждение Совета будут поступать как законопроекты, так и общие распорядительные меры в области земского и городского хозяйства. По мысли Столыпина, преобразованный таким образом Совет мог бы стать учреждением центрального управления, объединяющим деятельность органов правительственных и самоуправления.

3. Проектировалась реорганизация и Главного управления по делам местного хозяйства. Помимо надзора за органами самоуправления предполагалось присвоить ему совершенно новую функцию — «оказывать содействие» земствам и городам «инструкционной» деятельностью по всем отраслям хозяйства. Это предложение может рассматриваться как попытка в известной мере возместить отсутствие в центральном аппарате власти органа по управлению местным хозяйством.

4. Наконец, имелось в виду предоставить губернаторам и начальникам уездных управлений (создаваемых в соответствии с реформой местного управления) возможность присутствовать на заседаниях земских собраний и городских дум и входить там со своими предложениями. До сих пор сношение представителей власти с органами самоуправления ограничивалось «по общему правилу» письменной формой. «Между тем, — говорилось в представлении, — непосредственные личные объяснения ... несомненно должны способствовать более живому взаимодействию между органами правительства и самоуправления, облегчить понимание взаимных требований и вообще устранить нежелательность обострения отношений между названными органами». Отмечалось, что, кроме того, это облегчит исполнение надзора за общественными учреждениями.

5. Немаловажная роль в укреплении связи между органами самоуправления и государственными учреждениями возлагалась на программу «финансового воспитания» земствам и городам со стороны правительства. В частности, шла речь об учреждении правительственного земско-городского банка для выдачи долгосрочных ссуд.

В связи с намечаемым расширением компетенции органов самоуправления особо важное значение в глазах министерства приобретал вопрос о надзоре. «Главными основаниями» (раздел II) предусматривались существенные изменения действующих правил о надзоре. Некоторые из них, безусловно, могут рассматриваться как уступка городской и земской общественности. Так, упразднялось право администрации отклонять постановления земских собраний и городских дум не только в силу их «незаконности», но также и «нецелесообразности». Теперь отмене подлежали лишь те постановления, которые были «не согласны с законом или состоялись с нарушением круга ведения, пределов власти и порядка действий общественного управления». Было объяснено, что правила о надзоре, введенные в 1880 и 1892 гг. с целью ограничения самостоятельности самоуправления, все равно не имели серьезного практического значения: в отношении городов за 14 лет было 32 случая такой отмены. Вносились изменения и в порядок утверждения постановлений земских собраний и городских дум: сокращались «предметы», по которым требовалось утверждение, устанавливался определенный срок для

их утверждения (или неутверждения). Из выборных должностных лиц земской и городской службы утверждению правительственной властью подлежали только городские головы и председатели земской управы. Органам общественного управления предоставлялась несколько большая самостоятельность в созыве земских собраний и назначении думских заседаний, в печатании постановлений и в некоторых других делах.

Но основная цель модификации правил о надзоре заключалась в наделении администрации более широкими возможностями для осуществления контроля над органами общественного управления. Для этого проектировалось принятие ряда новых законодательных норм. Так, министр внутренних дел, губернатор, начальники уездных управлений получали право производить ревизию земских и городских учреждений, запрашивать сведения по подведомственным делам, входить в земские собрания и городские думы «с предложениями». Предполагалось распространить на все города существующее по Положению об общественном управлении Петербурга (1903) право администрации осуществлять «исполнительные меры» за счет общественного управления.

Намечалось узаконить и такие репрессивные меры, как роспуск земских собраний и городских дум, а также замена на определенный срок органов общественного управления правительственными. В тех случаях, когда деятельность органов самоуправления, по мнению администрации, не соответствовала возложенным на них обязанностям, министр внутренних дел с высочайшего соизволения мог распустить земские собрания и городские думы с тем, чтобы не позднее чем через 3 месяца назначить новые выборы гласных. Подчеркивалось, что такая норма аналогична правилу о роспуске Государственной думы и «носит характер обращения правительства к самому народу».

Более того, при определенных обстоятельствах (в случае бездеятельности земства или города, угрожающей народным бедствием; неудовлетворения потребностей населения в насущнейших мероприятиях по благоустройству и длительного расстройств земского или городского хозяйства и финансов) Совету министров с высочайшего соизволения предоставлялось право заменять земские и городские исполнительные органы правительственными на срок до 3 лет. При этом правительственные чиновники наделялись всеми правами, принадлежащими общественному управлению, включая повышение налогов. Отмечалось, что названная мера, как и предыдущая, известна в российской административной практике. Но замена органов самоуправления правительственными чиновниками имела место главным образом по причинам политическим. В будущем такая мера может оказаться необходимой и в случаях хозяйственных беспорядков в земских и городских управлениях. Министерство внутренних дел полагало, что «испрошение» в каждом отдельном случае высочайших повелений «едва ли допустимо», проведение же такой меры каждый раз в законодательном порядке было бы делом чрезвычайно сложным и медленным. Поэтому оно считало целесообразным установить указанный порядок в самом законе. Большое место в представлении министерства было отведено вопросу о компетенции органов общественного управления (раздел III). Предусматривалось значительное расширение круга их деятельности, включая наделение органов самоуправления «понудительной» властью. Отсутствие у них таких прав действительно было одним из серьезнейших недостатков Городовых положений 1870 и 1892 гг. Необходимость для городских дум проводить свои постановления не непосредственно, а через полицейских чинов создавала серьезные трудности в их работе. Признавая это,

министерство посчитало целесообразным наделение органов самоуправления понудительной властью при точном определении пределов такой власти. Для реализации общественным управлением властных функций проектировалось создание особых исполнительных органов (раздел IV). Лица, входящие в состав такого рода исполнительных органов, должны были утверждаться правительственной властью.

Важное значение в преобразовательной программе Столыпина придавалось проблеме городского представительства (раздел VI).²⁴ Была поставлена задача расширения круга городских избирателей и выдвинуты конкретные предложения для ее решения. Предусматривалось снижение наполовину ценза по владению недвижимостью и на один разряд по платежу за производство торговли и промыслов. Кроме того, проектировалось предоставление избирательного права нанимателям квартир. (До сих пор эта категория горожан имела избирательные права только в Петербурге по закону 1903 г.). Размер квартирного ценза предполагалось приравнять к цензу с недвижимого имущества. Необходимость корректировки избирательного закона стала очевидна правительству почти сразу после принятия Городового положения 1892 г. комиссией А. Д. Оболенского (1898–1901). Намечалось распространить избирательные права на состоятельную часть квартирнанимателей. В проекте «Главных оснований» был сделан дополнительный шаг в этом направлении — предложено понижение ценза для прежних категорий избирателей. В новых политических условиях в стране Министерство внутренних дел было вынуждено учитывать требования либеральной общественности и самих дум о коренном изменении избирательного закона.

Министерством проектировался пересмотр правил об избирательных правах евреев. В городских поселениях черты оседлости евреи получали право участвовать в городских выборах, но число гласных из евреев не должно было превышать $\frac{1}{5}$ общего числа гласных. Кроме того, предполагалось восстановить действие правила Городового положения 1870 г., по которому лишь должность городского головы не могла быть занята евреем, а число членов управы из нехристиан не должно было превышать $\frac{1}{3}$ всего ее состава.

Проектом вводились некоторые ограничения пассивного избирательного права: для избрания в состав гласных требовалось быть грамотным, а для занятия выборных должностей устанавливался образовательный ценз в зависимости от административного статуса города.

Следует отметить также решение министерства о персональном разделении обязанностей по председательствованию в думе и управе. Соединение этих постов в руках городского головы являлось предметом острой критики со стороны общественности. Министерством были намечены некоторые меры по улучшению городских финансов, приняты во внимание ходатайства городских дум относительно возможности выделения городов из состава уездных земств.

Несмотря на отсутствие официальной информации, сам факт завершения Министерством внутренних дел работы над проектом преобразования городского самоуправления стал известен общественности 20 марта 1907 г. Уфимская городская дума приняла постановление ходатайствовать о сообщении ей «составленного правительством и вносимого на рассмотрение Государственной думы проекта Городового положения».²⁵ Недели раньше саратовская городская дума приняла решение возбудить ходатайство о передаче «законченной разработкой» проекта нового Городового положения на рассмотрение

городских дум губернских городов до его обсуждения в законодательных учреждениях. Было решено также обратиться к думам губернских городов с предложением возбудить аналогичные ходатайства.²⁶ Свое ходатайство саратовская дума мотивировала тем, что многолетняя практика городских дум во всех подробностях выяснила потребности городского общественного хозяйства и вместе с тем вскрыла все недостатки действующего Городового положения. Поэтому мнения городских дум по проекту нового Городового положения могли бы иметь весьма существенное значение для всестороннего освещения вопроса.

Получив отношение саратовского общественного управления (от 17 апреля), городские думы откликнулись незамедлительно. В течение апреля–мая постановления о возбуждении ходатайств приняли 20 дум губернских городов. Всего, по имеющимся в нашем распоряжении сведениям, в Министерство внутренних дел поступили ходатайства от 23 городских дум, в их числе и от столичной думы.²⁷ В большинстве ходатайств были повторены буквально доводы, приведенные саратовской думой.

В связи с проектом городской реформы весной–летом 1907 г. в Министерство внутренних дел поступили также ходатайства от некоторых сословных обществ и общественных организаций. Курское купеческое общество направило министру внутренних дел постановление в поддержку ходатайства городских дум о созыве съезда городских деятелей для рассмотрения министерского проекта Городового положения. Само купеческое общество выражало несогласие с предполагаемым расширением состава городского представительства за счет некоренного населения городов — нанимателей квартир.²⁸

В конце июня возбудил ходатайство Совет съездов представителей промышленности и торговли. В нем доказывалось, что отечественная промышленность и торговля должны занимать в делах местного (земского и городского) самоуправления положение, подобающее значению этих отраслей труда в общенациональном хозяйстве страны. Утверждалось, что действующее Городовое и особенно Земское положение не предоставляют промышленности и торговле справедливого представительства интересов. Совет съездов выражал «крайнюю озабоченность» тем, чтобы вновь вырабатываемые положения о местном самоуправлении были бы более справедливы, чем нынешние по отношению к отечественной промышленности и торговле. Совет съездов просил министра внутренних дел о содействии в том, чтобы: 1) Совету съездов представителей промышленности и торговли были предоставлены разработанные в министерстве материалы по реформе органов местного самоуправления и 2) чтобы представители Совета съездов были приглашены наравне с представителями земств и городов в те совещания при Министерстве внутренних дел, которые будут подготавливать законы об организации местного самоуправления. На документе резолюция министра внутренних дел: «Конечно, все готовые проекты надлежит предоставить в их распоряжение».²⁹

В поддержку думских ходатайств высказались многие руководители губернской администрации. Представляя ходатайство саратовской думы министру внутренних дел, губернатор написал: «Я со своей стороны полагал бы признать (ходатайство. — В. Н.) подлежащим удовлетворению». Калужский губернатор находил «целесообразным» передать проект нового Городового положения на рассмотрение городской думы. По мнению киевского, подольского и волынского генерал-губернатора, «предварительное обсуждение означенного проекта в собрании городской думы было бы желательно».

Ярославский губернатор считал весьма желательной «передачу вообще всех выработанных в Министерстве проектов по реформе местного самоуправления».

По решению Совета министров для предварительного обсуждения разработанной Министерством внутренних дел программы было созвано Особое межведомственное совещание под председательством начальника Главного управления по делам местного хозяйства С. Н. Гербея.³⁰ После завершения его работы Совет министров был намерен рассмотреть те пункты программы, по которым не будет достигнуто соглашение на Совещании. Заседания Особого совещания проходили в марте–апреле 1907 г. (7 заседаний). На обсуждение были представлены тезисы проекта программы «Главные начала преобразования земских и городских общественных управлений».³¹ В целом проектируемая П. А. Столыпиным реформа была одобрена. Однако по ряду положений прийти к единогласному решению не удалось.

Остановимся на вопросах, вызвавших наиболее серьезные возражения.

По поводу пункта проекта о проведении ревизии органов самоуправления по инициативе центральной власти большинство членов Совещания высказалось за необходимость обеспечить «гарантию правильности» такой меры. Предлагалось в самом законе перечислить те случаи, когда ревизия может иметь место, а также ограничить инициативу министра предварительным постановлением Совета по делам местного хозяйства. Представители Министерства внутренних дел с высказанными рекомендациями не согласились.

Развернулась дискуссия по вопросу о предоставлении министру внутренних дел права роспуска с высочайшего соизволения земских собраний и городских дум. Представители от министерств юстиции, военного, народного просвещения, Главного управления землеустройства и земледелия и ведомства православного вероисповедания, «не возражая вообще против возможности применения такой репрессивной меры», находили нужным обусловить ее применение разрешением Правительствующего Сената как верховного охранителя закона и высшей инстанции административного суда. Кроме того, представители названных ведомств предложили в самом законе указать на те случаи, когда возможен роспуск общественных собраний. «Такая постановка дела, — записано в журнале Совещания от 19 марта 1907 г., — являлась бы тем более правильной, что проектируемая мера не может быть при современном положении вещей рассматриваема в качестве политической, а принятие ее допускается лишь в тех случаях, когда деятельность земских и городских учреждений совершенно не отвечает возложенным на них задачам».³² Представителем Министерства внутренних дел была повторена аргументация, содержащаяся в представлении П. А. Столыпина в Совет министров: указанная мера преследует не пресечение отдельных отступлений от законного порядка, но «имеет своей целью путем обращения правительства к местному населению изменить самый состав выборных органов самоуправления, деятельность коих шла вразрез с интересами местного населения или с общей государственной пользой». Он настаивал на том, что в законе нельзя предусмотреть все случаи применения подобной меры, без чего не может осуществляться и надзор Правительствующего Сената. При этом представитель Министерства внутренних дел признал возможным в самом законе указать, что применение такой меры будет осуществляться по предварительному обсуждению вопроса в Совете министров. При этом условии остальные члены Совещания (от министерств финансов, торговли и промышленности, путей сообщения, императорского двора и уделов, морского и от

государственного контроля) высказались за проектированный министерством порядок роспуска земских собраний и городских дум.³³

Острую дискуссию вызвало и предложение министерства о возможности замены исполнительных органов городского и земского самоуправления правительственными на срок до 3 лет с предоставлением последним всех прав общественного управления, в том числе и налогообложения. Представитель Министерства финансов А. Вишняков, к мнению которого присоединилось большинство членов Совещания, полагал, что уже при реализации права роспуска земских собраний и городских дум правительство окажется настолько вооруженным по отношению к земским и городским учреждениям, что «едва ли представляется надобность в принятии столь исключительной меры, какой является проектируемая замена органов самоуправления правительственными чиновниками». При этом он отметил, что более чем за 40-летний период функционирования местного самоуправления мера эта применялась не больше 3–4 раз и касалась исключительно исполнительных, а не распорядительных органов, причем назначаемые чиновники не обладали правом налогообложения. Вишняков и присоединившиеся к нему члены Совещания высказались за исключение данного пункта из «Главных начал». При этом были предложены некоторые изменения предыдущей статьи: возможность одновременно с распорядительным роспуском и исполнительного органа, а также увеличение срока для проведения выборов с 3 до 6 месяцев. Представитель Министерства внутренних дел настаивал на сохранении данной статьи, доказывая, что ее необходимость «достаточно подтверждается прежней практикой». Увеличение срока для проведения выборов, по его мнению, не решает дела, поскольку за полгода невозможно наладить расстроенное хозяйство. Но он посчитал возможным отказаться от предоставления чиновникам, сменившим выборных должностных лиц, права обложения налогами.

При обсуждении вопроса о распространении избирательного права на квартиронанимателей выдвинули возражения представители Министерства финансов и Государственного контроля. Не отрицая целесообразности предоставления избирательного права нанимателям квартир, они заявили, что передача части квартирного налога городам лишила бы государственное казначейство 3.2 млн р., или 59% от всей суммы квартирного налога. Они полагали, что предоставление этого налога в пользу городов должно быть поставлено в зависимость от установления подоходного налога, с введением которого государственный квартирный налог подлежит отмене.

Отстаивая свою позицию, представитель Министерства внутренних дел привел следующие аргументы: 1) без привлечения квартиронанимателей не была бы достигнута заявленная в указе 12 декабря 1904 г. цель реформы — «привлечение возможно широких слоев местного населения к городскому самоуправлению» и 2) допущение квартирохозяев к участию в городских выборах без взимания с них городского сбора в корне противоречило бы основным началам городского представительства.

Совещание, за исключением представителей Министерства финансов и Государственного контроля, пришло к выводу о необходимости, не дожидаясь введения подоходного налога, передать городам соответствующую часть квартирного налога.

Предложения Министерства внутренних дел, касающиеся участия евреев, проживающих в черте еврейской оседлости, в выборах, поддержала часть членов Совещания. Другая считала, что то или иное разрешение вопроса находится в связи с пересмотром всех действующих правил об евреях и могло бы последовать одновременно с его завершением.

В июле 1907 г. «Сводный журнал основных положений преобразования земских и городских учреждений, по которым не последовало соглашения между членами образованного при Министерстве внутренних дел межведомственного Совещания» был представлен в Совет министров.³⁴

Согласно принятому правительством порядку, законопроекты, касавшиеся местных хозяйственных интересов, должны были предварительно обсуждаться в Совете по делам местного хозяйства и только затем через Совет министров поступать в законодательные инстанции. Однако в этом случае Совет министров нашел нужным до передачи «Главных начал» в Совет по делам местного хозяйства согласовать все ведомственные разногласия, чтобы представители министерств могли там «вполне солидарно поддерживать перед присутствующими в Совете местными деятелями намеченные правительством мероприятия».

К рассмотрению «Сводного журнала» Совет министров приступил в декабре 1907 г. Практически во всех случаях возникших разногласий Совет министров поддержал предложения министра внутренних дел в их первоначальной редакции или с поправками, на которые министр согласился сам в ходе работы межведомственного Совещания. Были одобрены все статьи проекта, направленные на ужесточение надзора в отношении органов общественного управления. Совет министров исходил из того, что «предстоящее расширение компетенции земских и городских учреждений неминуемо должно повлечь за собой установление и более действенного за ними контроля».

Совет высказался за включение в «Основные положения» статьи о праве министра внутренних дел «по собственному почину» производить ревизию местных выборных учреждений и не нашел «достаточных оснований» для внесения в нее предложенных некоторыми ведомствами ограничительных постановлений.

Статью о праве роспуска земских собраний и городских дум Совет министров принял с теми исправлениями, с которыми согласился сам министр в ходе работы межведомственного Совещания. Предложения ряда членов Совещания о точном перечислении в законе случаев, допускающих применение такой чрезвычайной меры, а также о санкционировании ее Сенатом, были отклонены.

Совет министров игнорировал то обстоятельство, что все члены межведомственного совещания высказались за «совершенное исключение» из «Основных положений» статьи о замене исполнительных органов правительственными сроком на 3 года. Их мотивировка о том, что право роспуска на 6 месяцев земских собраний и дум при одновременном устранении исполнительных органов исключает надобность замены общественных учреждений правительственными, была признана несостоятельной. Произведенные выборы «при известном обострении настроения местного общества, — говорится в Особом журнале, — могут и не дать ожидаемых результатов». Совет министров разделял мнение министра внутренних дел о том, что практика предшествующего времени дает достаточные основания полагать, что и в будущем принятие предлагаемой меры окажется в некоторых случаях совершенно необходимым.

При рассмотрении разногласий по вопросу о предоставлении избирательных прав евреям, проживающим в черте еврейской оседлости, Совет министров нашел целесообразным оставить без изменения постановления, проектируемые Министерством внутренних дел.

Только в одном случае Совет министров безоговорочно поддержал мнение министра внутренних дел — по вопросу о передаче городам квартирного налога. Против этого,

как уже было сказано, на межведомственном Совещании возражали представители от Министерства финансов и Государственного контроля. На заседании Совета министров министр финансов В. Н. Коковцов в устном выступлении повторил данные о потере средств Государственным казначейством и вновь предложил отложить передачу квартирного налога до введения подоходного. При этом он отметил, что квартиронаниматели могут быть наделены избирательным правом и без перечисления квартирного налога в пользу городов. Совет министров согласился с В. Н. Коковцовым.

Согласно первой редакции положения Совета министров «Главные основания преобразования земских и городских учреждений», дополненные и исправленные по его заключению, должны были поступить на предварительное обсуждение Совета по делам местного хозяйства. С такой резолюцией не согласился начальник по делам местного хозяйства С. Н. Гербель. В окончательной редакции на обсуждение Совета по делам местного хозяйства передавались проекты Положений о земских и городских учреждениях, составленные по «Главным основаниям». Таким образом, от участия в обсуждении готовящегося проекта были отстранены не только городские думы, но и местные деятели, представленные в Совете по делам местного хозяйства. Разработка проекта министерством, как известно, затянулась на многие годы.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Об истории составления указа 12 декабря и роли Комитета министров в определении порядка его реализации см.: Ганелин Р. III. Российское самодержавие в 1905 г.: Реформы и революция. СПб., 1991. С. 27–51.

² Журналы Комитета министров по исполнению высочайшего указа 12 декабря 1904 г. СПб., 1905.

³ Там же. С. 34.

⁴ Там же. С. 57.

⁵ Там же. С. 57–60, 74–75.

⁶ Там же. С. 63.

⁷ Там же. С. 65.

⁸ Там же. С. 69–71.

⁹ РГИА. Ф. 1288. Оп. 5. 1905. Д. 18а.

¹⁰ Там же. Л. 186–189.

¹¹ Там же. Л. 2–14.

¹² Там же. Л. 221–224.

¹³ Там же. Л. 172, 177–179.

¹⁴ Там же. Л. 25–51, 132–161.

¹⁵ Там же. Д. 186. Л. 158–170.

¹⁶ Там же. Д. 18а. Л. 139–141.

¹⁷ Там же. Л. 2–14.

¹⁸ Там же. Л. 177–179.

¹⁹ Там же. Л. 190.

²⁰ Там же. Оп. 2. 1905. Д. 15. Ч. 2.

²¹ Там же. Ф. 1276. Оп. 3. Д. 22. Л. 2–73.

²² Столыпинская реформа местного управления обстоятельно исследована в статье: Дякин В. С. Столыпин и дворянство: (Провал местной реформы) // Проблемы крестьянского землевладения и внутренней политики России. Л., 1972. С. 231–274.

²³ ПСЗ-III. Т. 24. № 24253.

²⁴ Проблема земского представительства (раздел V) в данной статье не рассматривается.

²⁵ РГИА. Ф. 1288. Оп. 5. 1907. Д. 54. Л. 2.

²⁶ Там же. Л. 1.

²⁷ Там же. Д. 54.

²⁸ Там же. Л. 36–37.

²⁹ Там же. Д. 186. Л. 172–173.

³⁰ В межведомственном совещании участвовали представители от министерств: финансов, путей сообщения, императорского двора и уделов, торговли и промышленности, народного просвещения, юстиции, военного, от Государственного контроля, Главного управления земледелия и землеустройства, Святейшего Синода.

³¹ РГИА. Ф. 1276. Оп. 3. Д. 22. Л. 74–81.

³² Там же. Ф. 1288. Оп. 8. 1907. Д. 12. Л. 200–207.

³³ Там же.

³⁴ Там же. Ф. 1276. Оп. 3. Д. 22. Л. 85–107.

А. М. Назаренко

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ И ОБЩЕСТВА ВЗАИМОПОМОЩИ С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГРАДОНАЧАЛЬСТВА И СТОЛИЧНОЙ ПОЛИЦИИ

В Российской империи существовала разветвленная система благотворительных обществ. Благотворительность понималась как комплекс «основанных на чувстве дружелюбия действий, имеющих целью оказание помощи слабым членам общества, лишенным, по той или иной причине, возможности собственными силами обеспечить себе минимум средств существования».¹

Контроль над организацией и деятельностью благотворительных организаций осуществляло Министерство внутренних дел, где в Главном управлении по делам местного хозяйства находился отдел народного здоровья и общественного призрения.

В соответствии с требованиями «Устава об общественном призрении» предметом призрения являлись: «1) установление, содержание и управление богоугодных и общественных заведений, как-то: сиротских и воспитательных домов, больниц и домов для призрения умалишенных, богаделен и работных домов для прокормления неимущих работою и 2) заведование подобными заведениями, от частных лиц и обществ учреждений».²

В Петербурге было зарегистрировано свыше 300 благотворительных обществ, деятельность которых была ориентирована на определенные социальные группы: сословные, профессиональные, религиозные, национальные.³ Существовали благотворительные организации и в столичном градоначальстве.

Первые попытки создания благотворительных фондов были предприняты в конце XIX в. В 1876 г. градоначальник Петербурга генерал-адъютант Ф. Ф. Трепов образовал фонд помощи для уволенных в отставку нижних чинов полиции, основу капитала фонда составили пожертвования петербургских обывателей. 29 апреля 1879 г. Министерство внутренних дел утвердило положение «О капитале, образованном генерал-адъютантом Треповым, для выдачи пенсий нижним чинам С.-Петербургской полиции».

В соответствии с положением денежные средства фонда предназначались:

а) «для обеспечения участи семейств нижних чинов полиции, умирающих вследствие полученных ими при исполнении обязанностей службы тяжких увечий или повреждений в здоровье»;

б) «для выдачи пенсий тем нижним чинам, которые по полученным ими повреждениям в здоровье, а также при долговременной службе по дряхлости и старости будут лишены возможности не только продолжать службу, но и приобретать себе средства к жизни каким-либо собственным трудом».

В ноябре 1894 г. был утвержден закон «О причислении к специальным средствам МВД капиталов С.-Петербургского градоначальства».⁴ С этого момента денежные средства фонда начали учитываться в «Смете прихода и расхода специальных средств МВД». На 1 января 1895 г. капитал фонда составлял 87 500 р.

Пенсии для бывших нижних чинов полиции делились на три разряда.

Пенсия I разряда составляла 96 р. в год и назначалась лицам, уволенным в отставку вследствие полученных во время службы неизлечимых увечий, требовавших постоянного постороннего ухода.

Пенсия II разряда составляла 72 р. в год и назначалась лицам, получившим во время службы увечья, лишавшие человека «возможности добывать средства к существованию».

Пенсия III разряда составляла 36 р. в год и назначалась лицам, получившим во время службы увечья, повлекшие увольнения из полиции и вызвавшие ограничения в их дальнейшем трудоустройстве.

В случае потери кормильца пенсия могла быть назначена вдове. Вдовы, имевшие малолетних детей (моложе 14 лет), могли получить 100%, а без детей — 50% пенсии I разряда. Ввиду того что выплата пенсий производилась не из бюджетных средств, а по линии благотворительности, то их назначение осуществлялось градоначальником по личным прошениям бывших нижних чинов полиции или же членов их семей.

На 1 января 1913 г. капитал фонда составлял 95 300 р., которые хранились в ценных бумагах (свидетельства 4%-ной государственной ренты и два билета 1-го внутреннего займа). Пенсию из фонда на общую сумму 3090 р. получали 72 человека, в том числе бывшие городовые — 24 человека, бывшие служители — 3, вдовы городских — 43, вдовы полицейских служителей — 2 человека.⁵

В 1878 г. Министерство внутренних дел разрешило учредить благотворительный фонд для оказания помощи в обучении детей классных чинов столичного градоначальства и полиции, присвоив ему имя генерал-адъютанта Ф. Ф. Трепова. Основу капитала фонда составили 6500 р. (3500 р. были собраны классными чинами градоначальства и столичной полиции и 3000 р. пожертвованы лично Ф. Ф. Треповым).

В приказе градоначальника от 11 июня 1898 г. № 160 указывалось: «...избрание и назначение стипендиатов предоставлено ... на усмотрение Санкт-Петербургского градоначальника, с тем, чтобы этими стипендиями могли воспользоваться преимущественно дети чинов градоначальства и полиции, которые служили при генерале Ф. Ф. Трепове».

Деньги были обращены в ценные бумаги, на проценты с которых и были учреждены две стипендии. Одна из стипендий в размере 250 р. шла на оплату обучения юноши в Первом кадетском корпусе, а другая в размере 200 р. — на оплату обучения девушки в институте принцессы Ольденбургской. На 1 января 1913 г. капитал фонда составлял 12 900 р.

В 90-е гг. XIX столетия в 1-м кадетском корпусе обучался сын бывшего смотрителя полицейского дома Петровской части — Илья Бобровский, а в институте принцессы Ольденбургской дочь брандмейстера Охтинской части — Мария Резванова. Количество классных чинов, стремившихся получить стипендии для обучения детей, намного превосходило число стипендий. Когда в 1898 г. Мария Резванова закончила обучение, то классными чинами было подано 34 прошения о направлении своих дочерей на обучение в институт принцессы Ольденбургской. Градоначальник удовлетворил прошение бывшего смотрителя полицейского дома коллежского асессора Филиппова, прослужившего 30 лет и имевшего семерых детей.⁶

Помимо фондов, оказывавших помощь бывшим нижним полицейским чинам, существовали фонды, помогавшие бывшим нижним чинам петербургской пожарной команды и их семьям. Один из фондов носил имя столичного обер-полицмейстера

генерал-адъютанта С. А. Кокошкина, а второй назывался — «Капиталом детей генерал-лейтенанта Ф. Ф. Трепова».

Названия были даны в честь основателей фондов. Сергей Александрович Кокошкин в 1847 г. пожертвовал 14 000 р., что послужило основой фонда помощи столичным пожарным. В начале 1876 г., к моменту утверждения МВД «Положения о капитале генерал-адъютанта С. А. Кокошкина», фонд располагал 62 292 р. Основу второго фонда составили 9 000 р., пожертвованных детьми Ф. Ф. Трепова. В октябре 1890 г. Министерство внутренних дел утвердило положение «О капитале в память генерал-адъютанта Ф. Ф. Трепова».

Фонды выплачивали пенсии:

нижним чинам петербургской пожарной команды, уволенным в отставку из-за полученного во время службы неизлечимого увечья или «после долговременной и усердной службы по болезни»;

вдовам и сиротам нижних чинов петербургской пожарной команды, «лишившихся жизни при исполнении служебного долга».

Пенсии из фонда Кокошкина делились на три разряда: I разряд — 96 р., II разряд — 72 р., III разряд — 36 р. в год. Вдовам погибших пожарных могли быть назначены пенсии в размере 48 р. в год. На 1 января 1913 г. капитал фонда составлял 43 900 р., хранившихся в ценных бумагах (свидетельства 4%-ной государственной ренты и один 4%-ный непрерывно-доходный билет государственной комиссии погашения долгов). Пенсию из фонда (1579 р. в год) получали 37 человек, в том числе помощники брандмейстера — 2, пожарные служители — 19, вдовы пожарных служителей — 16.⁷

Пенсии из фонда, образованного детьми Ф. Ф. Трепова, делились на два разряда: пенсия I разряда составляла 96 р., II разряда — 72 р. в год. Вдове пожарного служителя могла быть назначена пенсия 72 р. в год. На 1 января 1913 г. капитал фонда составлял 12 500 р., хранившихся в ценных бумагах (свидетельства 4%-ной государственной ренты). Пенсию из фонда (234 р. в год) получали 5 человек, в том числе 3 пожарных служителя, вдова брандмейстера и вдова пожарного служителя.⁸

По решению градоначальника пенсии из обоих фондов при наличии у пострадавших трех и более малолетних детей могли быть увеличены из расчета по 12 р. на каждого ребенка, но не свыше: по I разряду — 132 р., по II разряду — 108 р., по III разряду — 72 р. в год.

В 1892 г. обыватель Санкт-Петербурга Константин Иванович Иваницкий пожертвовал 1000 р. на учреждение премии имени генерал-лейтенанта П. А. Грессера, которая предназначалась «наиболее достойному городовому С.-Петербургской столичной полиции». Деньги были обращены в ценные бумаги. На проценты с этих ценных бумаг один раз в три года — в день смерти П. А. Грессера (29 апреля), выплачивалась премия — 114 р. Лучший городской определялся петербургским градоначальником по представлениям начальников полицмейстерских отделений.

Кроме перечисленных фондов в градоначальстве действовали благотворительные общества. 15 сентября 1902 г. состоялось первое заседание общего собрания «С.-Петербургского общества попечения об отставных нижних чинах и оставивших службу вольнонаемных служащих С.-Петербургской столичной полиции и Управления градоначальника».

В его работе приняли участие офицеры и классные чины Управления градоначальника и столичной полиции, пожелавшие стать членами общества. Общее собрание

избрало открытым голосованием правление в количестве шести человек и почетных членов общества. Председателем общества стал петербургский градоначальник — генерал-лейтенант Н. В. Клейгельс, почетными членами были избраны министр внутренних дел В. К. фон Плеве и градоначальник Санкт-Петербурга.

Помимо почетных членов в состав общества входили пожизненные члены, члены-благотворители и участники. Пожизненными могли стать лица, пожертвовавшие единовременно не менее 100 р., членами-благотворителями — вносившие ежегодно не менее 3 р. Участниками — околотовные надзиратели, полицейские надзиратели сыскной полиции и охранного отделения, вносившие ежемесячно по 15 к., а также городовые, полицейские служители и вольнонаемные служащие столичной полиции и Управления градоначальника, вносившие ежемесячно по 10 к.⁹

На 1 января 1906 г. членов-благотворителей насчитывалось 264 человека, а участников — около 4000 нижних чинов столичной полиции и вольнонаемных служащих градоначальства.¹⁰

Общество брало на себя обязательство оказывать благотворительную помощь участникам, предоставляя им бесплатное жилье, помещая в приюты, помогая в трудоустройстве и выдавая в исключительных случаях денежные пособия. Правом на попечение пользовались участники общества, уволенные со службы, а также вдовы и малолетние дети участников общества. Дети могли оставаться на попечении общества до 16 лет.

Денежные средства общества подразделялись на неприкосновенный и расходный капитал. Неприкосновенный капитал формировался за счет пожертвований, а также 10%-ных отчислений со всех доходов общества. Расходный капитал образовывался из всех прочих поступлений.

Основу капитала фонда составили 50 000 р., перечисленных градоначальником Петербурга. Помимо указанной суммы, министр внутренних дел В. К. фон Плеве выделил в фонд общества из средств министерства 5000 р. Николай II приказал в феврале 1903 г. перечислить обществу «единовременно 25 000 р. для содержания на проценты этой суммы 10 призреваемых». Императрица Мария Федоровна ежегодно переводила 750 р. на содержание в приюте 3 призреваемых. Великий князь Михаил Александрович в марте 1903 г. пожертвовал на нужды общества 3 000 р.¹¹

Капитал общества пополнялся за счет взносов членов и участников общества; пожертвований от частных лиц; доходов от концертов, спектаклей, лекций, устраиваемых обществом; процентов на неприкосновенный капитал.

Пожертвования поступали как от частных лиц, так и от организаций. Особую активность проявляли офицеры и классные чины Управления градоначальника и столичной полиции. Вот лишь некоторые примеры: в декабре 1903 г., после назначения генерал-лейтенанта Н. В. Клейгельса киевским генерал-губернатором, классные чины собрали по подписке 4138 р., которые составили «стипендию генерал-лейтенанта Н. В. Клейгельса». В январе 1905 г. подобным же образом было собрано 1048 р., получивших название «стипендия имени генерал-адъютанта И. А. Фуллона».

Помимо пожертвований важной статьей доходов являлись денежные средства, поступавшие от устройства благотворительных вечеров, спектаклей и балов. За шесть лет существования общества было собрано 26 000 р., в том числе в 1907 г. — 10 313 р., а в 1908 г. — 7435 р.

Активное участие в организации благотворительных вечеров и их проведении принимала петербургская артистка оперетты А. Д. Вяльцева, по мужу Бискупская, являвшаяся почетным членом общества. Анастасия Дмитриевна была эстрадной певицей (сопрано) и пользовалась огромной популярностью, что и привлекало к ее концертам многих почитателей. К большому сожалению, она слишком рано ушла из жизни (4 февраля 1913 г. умерла от белокровия). По завещанию Вяльцевой, ее дом на реке Карповке безвозмездно передавался «для устройства постоянного содержания городским ведомством больницы имени Анастасии Дмитриевны Вяльцевой-Бискупской».

В октябре 1903 г. большая часть денежных средств общества, насчитывавших к тому моменту 103 569 р., была направлена на строительство и оборудование приюта. Приют, заложенный 29 сентября 1902 г., стал первым подобным заведением для бывших нижних чинов полиции в России.¹² Он располагался за Нарвской заставой на Ушаковской улице (ныне улица Зои Космодемьянской). Участок земли под застройку площадью в 2 259,18 кв. саженей (1,03 га) обошелся обществу в 11 856 р. Составил проект здания и руководил строительством архитектор Лев Петрович Андреев.¹³

Приют представлял собой трехэтажное здание, состоявшее из двух корпусов, образовавших на местности букву «Г». Он был рассчитан на размещение 30 семейств, 30 одиноких женщин и 30 одиноких мужчин, с делением их на две категории «интеллигентных» и «неинтеллигентных», в зависимости от их происхождения и служебного положения.

В здании приюта находилась церковь святого Николая Чудотворца со звонницей. Средства на ее оборудование пожертвовал петербургский купец Александр Николаевич Васильев, избранный впоследствии старостой церкви. 18 декабря 1903 г. церковь была торжественно освящена протоиреем Иоанном Кронштадским. Церковь была приписана к приходскому храму святой великомученицы Екатерины, находившемуся на Старо-Петергофском проспекте.¹⁴

Из числа лиц, проживавших в приюте, абсолютное большинство составляли дети. В 1909 г. в приюте жили 93 человека (7 бывших городских и полицейских служащих, 7 одиноких женщин, 23 вдовы с 56 детьми).¹⁵ К концу 1913 г. в приюте находилось свыше 100 человек, в том числе 50 детей.¹⁶

18 января 1908 г. на общем собрании общества было принято решение о строительстве второго приюта, земля для которого была пожертвована городом, на острове Голодай (ныне остров Декабристов). Освящение приюта состоялось 18 июля 1910 г. На первом этаже приюта размещалось 16 комнат и 2 кухни. На втором этаже — 16 комнат и общий зал. На третьем этаже — 17 комнат и 2 кухни. На мансардном этаже находилась прачечная.¹⁷

Кроме двух приютов общество владело дачей-колонией, располагавшейся на берегу озера Разлив, под Сестрорецком. Дача была построена на земле, выделенной обществу императором из состава 7-го квартала сестрорецкой казенной лесной дачи. 14 мая 1903 г. произошла закладка дачи-колонии, а 8 июля она приняла первых постояльцев. Отдыхающие проживали в двух деревянных бараках, рассчитанных на 30 семейств. За лето 1906 г. на даче отдохнули свыше 200 человек. Однако дача просуществовала не долго, 7 мая 1907 г. дачные бараки сгорели. Выяснить причину пожара не удалось.

В 1912 г. на общем собрании общества было решено построить новую дачу и назвать ее в честь супруги тогдашнего петербургского градоначальника — Екатерины Павловны Драчевской, принимавшей активное участие в благотворительной деятельности.

Летом 1913 г. дачная колония приняла первых отдыхающих. Для их проживания было построено три рубленых здания. Общая площадь территории дачной колонии составляла 4 десятины (4,4 га). Кроме жилых помещений имелись кухня, ледник, пристань для лодок, фруктовый сад. Для каждой отдыхающей семьи предоставлялась отдельная комната с выходом на общую террасу. Одновременно на даче могли отдыхать 48 семейств нижних чинов полиции и низших служащих Управления градоначальника.¹⁸

Строительство дачи и ее обустройство обошлось обществу в 21 500 р. В течение лета 1913 г. на даче отдохнули 256 жен и детей беднейших и многосемейных членов — участников общества.¹⁹ С началом Первой мировой войны помещения дачной колонии были предоставлены для размещения раненых офицеров и солдат.

Ближайшими помощниками полиции в охране общественного порядка являлись дворники и швейцары. Именно они чаще всего получали ранения и гибли при задержании преступников. В марте 1907 г. градоначальник Петербурга генерал-лейтенант Д. В. Драчевский предложил организовать фонд для оказания помощи «дворникам и швейцарам, подвергшимся увечьям, и их семьям в случае потери кормильца».

В объявлении о создании фонда указывалось: «Бывшие в последнее время случаи вооруженных грабежей и нападений сопровождалось нанесением более или менее тяжких и иногда смертельных ран дворникам, которые смело и самоотверженно преследовали и задерживали грабителей, не щадя своей жизни на защиту жизни и имущества обывателей. Семьи таких дворников в большинстве случаев остаются без всяких средств к существованию».²⁰

Градоначальник предложил домовладельцам, хозяевам предприятий и обывателям столицы внести посильную лепту в формирование капитала фонда. В основу капитала фонда легли 1000 р., собранных классными чинами петербургского градоначальства и столичной полиции. Капитал фонда к концу октября 1907 г. составил 52 902 р. 70 к.²¹

Одной из первых, получивших деньги из фонда, была семья дворника Ивана Гомырова, погибшего от рук грабителей. Трагедия произошла 8 апреля 1907 г., когда шайка грабителей напала на склад мануфактурных товаров, находившийся по адресу: улица Сытинская дом № 3. Дворник, попытавшийся задержать одного из грабителей, был убит на месте ограбления. Приказом градоначальника семье погибшего было выдано единовременное пособие и назначена пенсия — 120 р. в год.

В апреле 1908 г. начальник Главного управления по делам местного хозяйства А. И. Гербель утвердил положение «О специальном благотворительном фонде для выдачи пособия столичным дворникам и швейцарам, подвергшимся увечьям и семьям погибших при исполнении долга». В соответствии с требованиями данного положения пострадавшим и оставившим службу дворникам и швейцарам могло быть назначено единовременное пособие в размере до 180 р. Однако на получение пособия могли претендовать только лица, пострадавшие «при исполнении долга». Под «исполнением долга» понималось противодействие «экспроприациям и другим политическим преступлениям».

Таким образом, дворники, получившие увечья при задержании грабителей или квартирных воров, не могли рассчитывать на получение пособий. Подобное противоречие между провозглашенными до официального утверждения положения целями фонда и его реальными возможностями не могло просуществовать долго.

В ноябре 1909 г. генерал-лейтенант Д. В. Драчевский дал указание совещательному присутствию при градоначальнике разработать поправки к положению о фонде

дворников. Суть поправок сводилась к тому, чтобы пособия могли получать все дворники и швейцары, получившие телесные повреждения от преступников при исполнении своих служебных обязанностей.

Министерство внутренних дел утвердило новое положение 18 мая 1910 г. Оно стало называться «О специальном благотворительном фонде столичных дворников, швейцаров и сторожей, исполняющих соответственные обязанности, подвергшихся увечьям, и семейств, пострадавших при исполнении обязанностей службы».²²

Было решено, что неприкосновенный капитал фонда должен составлять не менее 75 000 р. и храниться в ценных бумагах. Пенсии делились на два разряда. Пенсия I разряда составляла 180 р. в год и назначалась лицам, «получившим такие тяжкие увечья или неизлечимые повреждения, при которых и самое дальнейшее существование делается для пострадавших не возможным без постоянного постороннего ухода (лишение зрения, рук или ног)». Пенсия II разряда составляла 120 р. и назначалась лицам, получившим «повреждения, требующие оставления службы и ограничение в выборе занятий».

В случае потери кормильца пенсия могла быть назначена семье погибшего. Вдове с малолетними детьми полагалось 100%, бездетной 50% пенсии I разряда. Лица, желавшие получить пособие или пенсию от фонда, обязаны были обращаться с прошением к приставам участковых управлений, на территории которых они проживали. Для рассмотрения прошений дворников и швейцаров была создана специальная комиссия под председательством полицмейстера IV отделения В. Ф. Галле.

В октябре 1910 г. состоялось первое заседание указанной комиссии. Пенсия в размере 90 р. была назначена Феодосье Ефимовой — вдове дворника, убитого при оказании помощи полиции в задержании грабителей. Пенсию в размере 120 р. получил бывший дворник Василий Веселов, получивший увечья при попытке задержать фургон, преследуемый полицией.²³

В 1910 г. денежные средства фонда столичных дворников, швейцаров и сторожей были официально включены в специальные средства МВД. В 1911 г. на выплаты пенсий и единовременных пособий было израсходовано 1965 р., в том числе на единовременные пособия было выделено 1035 р. На 1 января 1916 г. капитал фонда в ценных бумагах по номинальной стоимости и в наличных средствах насчитывал 100 194 р. 40 к. (за год поступило процентов — 3808 р. 15 к.). На выдачу пенсий и пособий было израсходовано 1072 р. 50 к.²⁴

В октябре 1910 г. в столице было образовано «Общество взаимопомощи офицеров и классных чинов Управления С.-Петербургского градоначальника и столичной полиции». Главной целью деятельности общества провозглашалась выплата единовременных пособий «на погребение умерших участников его и на первоначальную помощь их семьям». Пособия выделялись из денежных средств общества, формировавшихся за счет членских взносов.

В состав общества входили:

почетный попечитель, осуществлявший покровительство над обществом;

почетный председатель;

почетные члены, оказавшие особые услуги обществу или пожертвовавшие единовременно не менее 500 р.;

члены общества, которыми могли стать только офицеры и классные чины Управления градоначальника и столичной полиции «занимавшие штатные должности не ниже

ХII класса (кроме чинов пожарной команды), а также не имеющие чинов, но занимающие те же должности»;

участники, не обладавшие правом голоса на собраниях общества. Ими являлись лица, служившие ранее в Управлении градоначальника или столичной полиции, но вышедшие в отставку, а также жены и вдовы членов общества, плативших взносы в двойном размере.

10 декабря 1910 г. в зале Кононова, набережная реки Мойки, д. 61, состоялось первое общее собрание общества. К этому времени в него вступил 461 человек. Собрание избрало правление, почетного попечителя — дворцового коменданта генерал-адъютанта В.А. Дедюлина и почетного председателя — генерал-майор Д.В. Драчевского.

В состав правления вошло шесть человек. Члены правления тайным голосованием избрали председателя — генерал-майора В. Ф. Галле, товарища председателя — полковника М. П. Шалфеева, казначея — надворного советника Д. М. Дикого и делопроизводителя общества — коллежского секретаря Н. Н. Мерлина.

Каждому классному чину, поступавшему на службу в Управление градоначальника или столичную полицию, направлялся Устав общества и специальное отношение. Это отношение представляло собой своеобразную анкету-заявление, содержащую следующие вопросы:

- «1. Желаете ли Вы вступить в общество?
2. Не желает ли вступить в общество Ваша супруга?
3. Ваше имя, отчество и время рождения?
4. Имя, отчество и время рождения Вашей супруги?»

Вопросы относительно возраста объяснялись тем, что членом общества мог стать мужчина не старше 45 лет. Для женщин предельный возраст приема в участницы общества составлял 35 лет. Первые три месяца со дня образования общества участниками и членами могли стать классные чины и офицеры, а также их жены вне зависимости от возраста.

Каждый человек, вступавший в общество, обязан был заплатить членский взнос, составлявший 5 р. в год, и взнос «по смертному случаю» — 1 р. 50 к. Женатым членам и участникам общества предоставлялось право выплачивать взносы в двойном размере. Это давало возможность получить наследникам в случае смерти супругов два пособия. За период с 1911 по 1915 г. единовременные пособия, в среднем по 656 р., были выплачены в 48 случаях.²⁵

В первый же год работы правление столкнулось с проблемой роста рядов. Не все классные чины стремились стать членами общества. Одни просто отказывались вступать в общество, а другие открыто заявляли, что вступят, «когда будут в преклонном возрасте». Даже близкие членов правления не были уверены в успехе, в 1911 г. супруга председателя общества — Софья Васильевна Галле была исключена из состава участников общества «за неуплату членских взносов».

В 1911 г. было собрано 13 294 р. 45 к. Членские взносы составили 2465, взносы по смертным случаям — 8283, пожертвования — 700 и деньги, собранные по подписке в отмену визитов, — 450 р.

В 1913 г. правление предложило пересмотреть содержание статьи 10-й Устава, регламентировавшей порядок приема в общество новых членов. В новой редакции этой статьи, лицо, принятое на классную должность в Управление градоначальника или столичную

полицию, могло вступить в общество в течение первых 6 месяцев службы. Если же человек не вступал в общество в указанный срок, то он был обязан при принятии в члены общества заплатить все взносы с момента поступления на службу. Данные поправки в устав были утверждены решением общего собрания, состоявшегося 22 декабря 1913 г.

В 1913 г. Российская империя отмечала 300-летие царствования дома Романовых. По традиции, по поводу юбилея осуществлялись различные благотворительные акции. Потомственный почетный гражданин Петербурга Федор Александрович Алферов передал в дар обществу 2 участка земли, общей площадью 260 кв. саженей (1108 м²), находившихся на Петербургской стороне, на пересечении улиц Уфимской и Вологодской (ныне улица Чапыгина). Правление общества предложило построить на этом месте дом-приют для членов и участников общества.

Для строительства требовались крупные капиталовложения, поэтому было объявлено о начале сбора денег в фонд общества. Первое крупное пожертвование сделал почетный попечитель общества генерал-адъютант В. А. Дедюлин. Он передал на строительство дома-приюта 1000 р.

22 мая 1913 г. в зале совещательного присутствия градоначальства состоялось чрезвычайное общее собрание общества. Собрание поддержало предложение правления о строительстве дома-приюта и утвердило проект здания. Проект, который создал техник III отделения градоначальства статский советник Н. Ф. Романченко, предусматривал строительство 6-этажного каменного дома общей площадью 529 кв. саженей (2401.6 м²), с водопроводом в каждой комнате и центральным отоплением.

12 октября 1913 г. состоялась торжественная закладка дома-приюта. Строительство дома продолжалось в течение года. Большая заслуга в успешном окончании строительства принадлежала приставу 1-го участка Рождественской части статскому советнику А. А. Калинину и командиру 4-й роты пешей полиции штабс-капитану И. О. Иванову. Они непосредственно наблюдали за строительством и руководили ходом работ. Способствовали строительству новые почетные попечитель и председатель общества. Почетным попечителем в 1913 г. был избран товарищ министра внутренних дел генерал-майор В. Ф. Джунковский, а почетным председателем стал градоначальник Петрограда генерал-майор А. Н. Оболенский.

Стоимость строительства и оборудования дома составила около 130 000 р., а капитал общества на момент окончания строительства насчитывал 70 000 р. Для того чтобы окончательно расплатиться с подрядчиком и оплатить расходы по оборудованию комнат, правление предложило заложить дом в страховом обществе. Деньги на выплату ссуды планировалось получить за счет сдачи в наем комнат дома. Это решение правления было единогласно принято на общем собрании общества, состоявшемся 15 сентября 1914 г. Дом был заложен в страховом обществе «Жизнь» на два года за 50 000 р., из расчета 6.25% годовых (3125 р.).

Дом-приют насчитывал 6 этажей и мансарду. В подвале разместились два магазина, с отдельным входом для каждого и котельная. На 1-м, 2-м, 4-м и 6-м этажах были оборудованы кухни и ваннные комнаты, а на 3-м разместился читальный зал общей площадью 15 кв. саженей (68.1 м²). В каждой комнате имелся умывальник, встроенный шкаф и стенные полки. Всего в доме насчитывалось 62 комнаты.

В ноябре 1914 г. состоялось освящение дома, на котором присутствовали товарищ министра внутренних дел генерал-майор В. Ф. Джунковский, директор Департамента

полиции действительный статский советник В. А. Брюн де Ипполит, градоначальник Петрограда генерал-майор А. Н. Оболенский, руководители структурных частей столичной полиции и другие члены общества. Дом наименовали: «В память 300-летия царствования Дома Романовых»

С целью увековечить это событие в здании была установлена памятная позолоченная доска, на которой были перечислены фамилии людей, внесших самые крупные жертвования на строительство дома. Комнаты были сданы в наем и в 1915 г. принесли обществу 17 707 р. После Февральской революции общество прекратило свое существование, так что его участники не сумели воспользоваться плодами своих трудов.

Таким образом, чины градоначальства и столичной полиции, а также их семьи в случае потери кормильца могли рассчитывать на получение пенсий и пособий из благотворительных фондов, существовавших под патронажем Санкт-Петербургского градоначальства. Не были забыты и главные помощники полиции, дворники и швейцары.

Деятельность благотворительных фондов и обществ преследовала глубоко нравственную цель — она вселяла в людей уверенность в то, что на старости лет они не будут забыты своими коллегами и лишены средств к существованию. К сожалению, подобная забота о чинах полиции не нашла широкого распространения в России и была скорее исключением, чем правилом.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Большая энциклопедия / Под ред. С. Н. Южкова и проф. П. Н. Милюкова СПб., 1901. Т. 3. С. 294.

² СЗ. Т. 13. Ст. 4.

³ Справочник о благотворительных учреждениях, действующий в городе Санкт-Петербурге. СПб., 1913. С. 11.

⁴ ПСЗ III. Т. 14. № 11078.

⁵ ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 17. Д. 2166. Л. 2.

⁶ Там же. Д. 21. Л. 83.

⁷ Там же. Д. 2165. Л. 5.

⁸ Там же. Д. 2164. Л. 2.

⁹ Устав С.-Петербургского общества попечения об отставных нижних чинах и оставивших службу вольнонаемных служащих С.-Петербургской столичной полиции и Управления градоначальника. СПб., 1902. Ст. 13–15.

¹⁰ Ведомости С.-Петербургского градоначальства. 1906. № 70. 29 марта.

¹¹ Краткий очерк о возникновении и деятельности «С.-Петербургского общества попечения об отставных нижних чинах и оставивших службу вольнонаемных служащих С.-Петербургской столичной полиции и Управления градоначальника». СПб., 1903. С. 12.

¹² Ведомости С.-Петербургского градоначальства. 1902. № 211. 1 окт.

¹³ Зодчие С.-Петербурга. XIX — начало XX века. СПб., 1998. С. 968.

¹⁴ Тихомиров Н. А. Путеводитель по церквям города С.-Петербурга и ближайших его окрестностей (с видами некоторых церквей). СПб., 1906. С. 141.

¹⁵ Ведомости С.-Петербургского градоначальства. 1909. № 213. 8 окт.

¹⁶ Там же. 1913. № 276. 29 дек.

¹⁷ Там же. 1910. № 155. 20 июля.

¹⁸ Там же. 1913. № 101. 12 мая.

¹⁹ Там же. № 217. 12 окт.

²⁰ Там же. 1907. № 90. 20 апр.

²¹ Там же. № 231. 26 окт.

²² Там же. 1910. № 120. 6 июня.

²³ 1910. № 222. 15 окт.

²⁴ ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 17. Д. 2037. Л. 74.

²⁵ Там же. Ф. 1977. Оп. 1. Д. 19. Л. 52.

И. В. Лукоянов

С. Ф. ШАРАПОВ И С. Ю. ВИТТЕ

В обширных воспоминаниях С. Ю. Витте С. Ф. Шарапову оказалось уделено всего полторы строки: «Шарапов был человек большого таланта и довольно слабой морали».¹ Так лаконично С. Ю. Витте отзывался о человеке, с которым его связывало более чем двадцатилетнее знакомство, непростые отношения и совместное участие в ряде предприятий, о которых мемуаристу явно не хотелось вспоминать. Однако история взаимоотношений этих людей важна для более полной картины политических событий в России рубежа XIX–XX вв.

Сергей Федорович Шарапов, чье имение Сосновка (338 десятин) находилось в Вяземском уезде Смоленской губернии, родился 30 мая 1855 г. В 1868 г. он был отдан во 2-ю московскую военную гимназию. Окончив ее в 1872 г. с отличием, С. Ф. Шарапов в августе 1872 г. поступил на службу в армию. Военная жизнь продлилась недолго: в 1877 г. он уволился в запас.² Первые журналистские опыты С. Ф. Шарапова относятся ко времени русско-турецкой войны 1877–1878 гг., когда он посылал корреспонденции в «Новое время» с театра боевых действий, однако постоянным автором газеты не стал из-за глубокого недоверия со стороны А. С. Суворина.³ В 80-е гг. С. Ф. Шарапов сблизился со славянофилами, активно сотрудничал в аксаковской «Руси». После смерти И. С. Аксакова он в марте 1886 г. основал свой первый печатный орган «Русское дело», объявив себя продолжателем традиций славянофильства. Однако за резкую и постоянную критику власти газета «Русское дело» к 1889 г. получила три предупреждения, а в 1891 г. была закрыта. «Русское дело» С. Ф. Шарапов использовал для изложения своих взглядов. Нельзя сказать, что они были оригинальны или глубоки, но отличались устойчивостью, а также крайним сумбуром. Позднее политические представления С. Ф. Шарапова были изложены им в брошюре «Самодержавие и самоуправление», изданной в Берлине в 1899 г.,⁴ а также в форме «частных» писем на имя М. М. Андроникова и В. Д. Белова, предназначавшихся на самом деле для широкого распространения.⁵ По общей направленности его рассуждений заметно влияние на С. Ф. Шарапова славянофильской доктрины, хотя и своеобразно им понимаемой. В целом же взгляды публициста представляли собой набор идей и взглядов, включавший необходимость сохранения неограниченного самодержавия в России, резкую антибюрократическую риторику и призывы к проведению реформ для передачи власти на местах в руки самоуправления. С. Ф. Шарапов пришел к удивительному выводу, отразившему всю хаотичность его воззрений: «Мне представляется идеальная Россия примерно в виде современной Северной Америки, с таким же полным и широким местным самоуправлением, но с неограниченным монархом вместо выбираемого каждые четыре года президента. Если около этого монарха современные американские Конгресс и Сенат будут совещательными, то, я думаю, что это будет нечто очень близкое к нашему историческому самодержавию», — писал он В. Д. Белову.⁶ Впрочем, такие суждения не помешали С. Ф. Шарапову быть востребованным в ряде важных политических интриг рубежа XIX–XX вв., в которых активно участвовал и С. Ю. Витте.

Знакомство публициста и С. Ю. Витте относится к середине 1880-х гг. и связано с их участием в газете И. С. Аксакова «Русь».⁷ В 1889 г. С. Ф. Шарапов неудачно просился

к С. Ю. Витте в качестве наемного пера.⁸ Его услуги были востребованы только в 1893 г., когда С. Ю. Витте взял С. Ф. Шарапова на службу в Министерство финансов и поручил ему составить записку о необходимости сохранения общины, чтобы выступить в Государственном совете против министра двора И. И. Воронцова-Дашкова.⁹ Однако что-то в их отношениях не сложилось, в результате записку заканчивал А. Н. Гурьев при помощи Г. П. Сазонова.¹⁰

Во второй половине 90-х гг. С. Ф. Шарапов основал свою следующую газету «Русский труд» и стал выступать с ожесточенной дилетантской критикой экономического курса С. Ю. Витте, сначала сосредоточившись на золотой реформе 1896 г. Условием финансовой независимости России он считал сохранение серебряного стандарта рубля, повторяя соображения ряда экономистов, выражавших интересы помещиков — экспортеров зерна. Проблему нехватки кредитов он предлагал решить с помощью неограниченной денежной эмиссии, одновременно запретив девальвацию рубля.

Критические усилия С. Ф. Шарапова не прошли мимо влиятельных оппонентов С. Ю. Витте. В конце 1897 г. И. Л. Горемыкин заметил публициста. Министру понравились его статьи в «Русском труде» против К. П. Победоносцева и церкви, хотя он и вынужден был дать их автору предостережение.¹¹ И. Л. Горемыкин поддержал С. Ф. Шарапова в полемике с «Новым временем», занимавшим тогда в основном провиттевскую позицию. Поощрял министр и все выпады публициста против С. Ю. Витте,¹² тем более что именно в это время — весной 1898 г. — разгоралась его схватка с Сергеем Юльевичем по вопросу о земстве.¹³

Антивиттевская риторика С. Ф. Шарапова вызвала интерес также и у великого князя Александра Михайловича. Его отношения с С. Ю. Витте испортились в середине 90-х гг., когда министр финансов не дал денег великому князю на гигантскую программу военного судостроения. К тому же Александр Михайлович считал, что его обделили при раздаче нефтеносных земель в районе Баку. С тех пор великий князь не упускал возможности сделать С. Ю. Витте какую-нибудь гадость. В частности, он был одним из инициаторов развернувшейся в 1898 г. ожесточенной полемики относительно иностранных капиталов и их роли в экономике России. В качестве одного из аргументов в этом споре Александр Михайлович в ноябре 1898 г. доставил Николаю II записку С. Ф. Шарапова с обвинениями С. Ю. Витте в организации государственного банкротства.¹⁴ Сделано это было в тот момент, когда антивиттевская интрига в верхах достигла своего апогея. С. Ф. Шарапов хвастался, что его сочинение произвело «очень сильное впечатление» на Николая II, однако никаких последствий оно не имело.¹⁵ Следующая записка С. Ф. Шарапова царю 15 сентября 1899 г. во многом дублировала предыдущую. Автор повторил свои инвективы против министра финансов, предрекая наступление в России острого финансового кризиса, потерю золотого фонда и разорение страны, обвиняя С. Ю. Витте в карьеризме и чрезмерном самолюбии.¹⁶

Вторая записка С. Ф. Шарапова была составлена тогда, когда антивиттевская интрига уже выдохлась. Александр Михайлович еще в январе 1899 г. договорился с С. Ю. Витте по наиболее острым вопросам. И. Л. Горемыкин к осени 1899 г. также проиграл полемику о земстве.¹⁷ Не надеясь на своих прежних покровителей, С. Ф. Шарапов обратился с беспрецедентно резким письмом к государственному контролеру Т. И. Филиппову, в котором повторил обвинения против С. Ю. Витте и просил государственного контролера донести «правду о Витте» до царя.¹⁸ Такое бесцеремонное обращение, да еще

и растиражированное по городу, испугало Т. И. Филиппова.¹⁹ После продолжительного раздумья он решил обратиться к И. Л. Горемыкину, «ища защиты от такого лукавого подвоха»,²⁰ и, вероятно, подстраховался, послав копии писем министру финансов.

С. Ю. Витте не оставил без ответа выпады С. Ф. Шарапова в свой адрес. По публицисту был сделан критический залп на страницах «Гражданина»²¹ (позднее сам С. Ф. Шарапов считал следствием доноса В. П. Мещерского закрытие в ноябре 1899 г. своего «Русского труда».)²² Князь не без удовольствия откликнулся на просьбу С. Ю. Витте — помимо прочего, он никак не сочувствовал земским симпатиям публициста.²³ Однако министр финансов остался недоволен недостаточно активной, по его мнению, критикой «Русского труда», обвинив В. П. Мещерского даже в восхвалении С. Ф. Шарапова.²⁴ Издатель быстро «исправился», и после этого на страницах «Гражданина» неоднократно помещались резкие отзывы о С. Ф. Шарапове, обвинения его во лжи, клевете, вымогательстве, мании величия и т. д. — в общем, в крайней непорядочности.²⁵ За этой перепалкой в печати пристально наблюдал Николай П. Д. Сипягин, находясь в должности главноначальствующего Канцелярии по принятию прошений, с начала 1899 г. неоднократно докладывая об этом царю.²⁶ Д. С. Сипягин, по-видимому, принял сторону С. Ю. Витте: обращение к нему С. Ф. Шарапова со своей брошюрой «Самодержавие и самоуправление» он оставил без последствий.²⁷

Крах интриги против С. Ю. Витте не удалил С. Ф. Шарапова с политической арены. Некоторое время спустя он нашел себе нового союзника против С. Ю. Витте в лице В. К. Плеве. В июне 1902 г. он уже обсуждал с новым министром внутренних дел, как удобнее свалить Витте, и уверял его, что именно он, В. К. Плеве, держит ключ от ситуации в своих руках.²⁸ Одновременно он предпринял попытку договориться с министром финансов. Надо отметить, что даже во время наивысшей конфронтации с С. Ю. Витте С. Ф. Шарапов, нападая на политику Министерства финансов, изображал министра как одинокого, заваленного делами сановника, неверные решения которому подсказывают его подчиненные.²⁹ 19 июня 1902 г. (за четыре дня до упоминавшегося письма к В. К. Плеве) он отправил министру финансов обширное послание, в котором, повторив свою критику золотой реформы, признал незаменимость С. Ю. Витте и в качестве компромисса предложил созвать совещание под председательством министра финансов для обсуждения золотого стандарта.³⁰ Неожиданным выглядит то, что С. Ю. Витте согласился с идеей совещания, правда, отказавшись председательствовать на нем. Посредником в этом перемирии выступил князь М. М. Андроников, в то время довольно близкий к С. Ю. Витте. За письмом С. Ф. Шарапова к С. Ю. Витте последовала их встреча, на которой, видимо, произошло выяснение отношений. Министр финансов согласился поддержать замысел С. Ф. Шарапова организовать посещение Николаем II показательной пахоты плугами, протезируемыми им, и субсидировать их производство, приобретя за счет казначейства акции шараповского предприятия на 50 тыс. р.³¹ Визит Николая II состоялся, вся история получила в общем благосклонное для С. Ф. Шарапова освещение на страницах провиттевского «Нового времени», после чего критика С. Ф. Шараповым С. Ю. Витте полностью прекратилась.

Несмотря на призрачность сближения С. Ю. Витте и С. Ф. Шарапова, оно получило дальнейшее развитие. Их отношения не ухудшила некоторая размолвка между С. Ю. Витте и М. М. Андрониковым осенью 1902 г.³² К началу 1903 г. они помирились, и возникшее трио занялось плетением интриг. С. Ф. Шарапов и М. М. Андроников

приняли активное участие в попытке заглушить дело о гутуевской таможне (крупное хищение казенных денег, косвенно ударявшее по С. Ю. Витте),³³ а летом 1903 г. министр финансов уже утверждал целую программу деятельности С. Ф. Шарапова.³⁴ Что это была за программа, точно не известно, но, вероятно, речь шла о борьбе с В. К. Плеве. М. М. Андроников еще летом 1902 г. пугал С. Ю. Витте слухом, что В. К. Плеве скоро станет премьер-министром и что этому можно и нужно противодействовать.³⁵

Косвенно об интригах С. Ф. Шарапова против В. К. Плеве свидетельствует противодействие министра внутренних дел публицисту. Именно В. К. Плеве настоял в Комитете министров на необходимости запретить в очередной раз издание в России главной шараповской книги «Самодержавие и самоуправление», обвинив автора во враждебном отношении «к существующему государственному строю».³⁶ Тенденциозность записки подчеркивало то обстоятельство, что С. Ф. Шарапов уже издал свое сочинение в 1899 г. тиражом 5000 экземпляров, правда в Берлине, но в России эту книгу нельзя было назвать редкой. На родине же он просил разрешения напечатать всего 300 экземпляров и не для продажи.

Однако усилия триумvirата 1902–1903 гг. ни к чему не привели: в августе 1903 г. С. Ю. Витте все же был отправлен в отставку, хотя и в связи с другими причинами (прежде всего, из-за неудач на Дальнем Востоке). Неудача развалила триумvirат, более они никогда не объединялись, несмотря на то что продолжили через некоторое время и с разным успехом свои политические карьеры и интриги.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Из архива С. Ю. Витте: Воспоминания. Т. 1: Рассказы в стенографической записи. СПб., 2003. Кн. 1. С. 429; Кн. 2. С. 746.

² Рукописный отдел Института русской литературы (далее — РО ИРЛИ). Ф. 357. Оп. 5. № 132.

³ Письма С. Ф. Шарапова А.С. Суворину (РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 1. Д. 4682).

⁴ Рассуждения С. Ф. Шарапова, изложенные в этой книжке, подробно проанализированы Б. В. Ананьичем (Власть и реформы: От самодержавной к советской России. СПб., 1996. С. 427–429).

⁵ *Арбузов А. Д.* Из близкого прошлого (1886–1917) (ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. № 54. Л. 7).

⁶ С. Ф. Шарапов — В. Д. Белову 18 декабря 1902 г. (ОР РНБ. Ф. 152. Оп. 3. № 264. Л. 6); аналогичное высказывание было опубликовано в кн.: *Шарапов С. Ф.* Диктатор. М., 1907. С. 5.

⁷ Сам С. Ф. Шарапов называл две разных даты: 1884 г. (Новое время. 1903. № 9653. 18 янв.) и 1885 г. (*Шарапов С. Ф.* Собр. соч. М., 1899. Т. 3. С. 201).

⁸ С. Ф. Шарапов — С. Ю. Витте 9 марта 1889 г. (РГИА. Ф. 1622. Оп. 1. Д. 484).

⁹ Подробнее об этом: *Лукоянов И. В.* Конец царствования Александра III: Была ли альтернатива «контрреформам»? // Проблемы социально-экономической и политической истории России XIX–XX веков: Сборник статей памяти В. С. Дякина и Ю. Б. Соловьева. СПб., 1999. С. 247–258.

¹⁰ *Сазонов Г. П.* Воспоминания (РГИА. Ф. 1659. Оп. 1. Д. 63. Л. 19–19 об.). Впоследствии С. Ф. Шарапов приписал составление этой записки целиком себе (Русский труд. 1899. № 2. 9 янв.) и опубликовал ее в 1897 г. под заголовком «Русская община».

¹¹ Дневник А. С. Суворина. М., 1992. С. 208. Запись 16 ноября 1897 г.

¹² Дневник В. В. фон Валя. Запись 8 ноября 1899 г. (ОР РНБ. Ф. 127. Оп. 1. № 6. Л. 14).

¹³ *Ананьич Б. В.* Самодержавие и земство: Земская реформа 1898–1903 гг. // Кризис самодержавия в России 1895–1917. Л., 1984. С. 106.

¹⁴ Эта записка опубликована (Источник. 1996. № 5. С. 6–12) вместе с письмом С. Ф. Шарапова Николаю П.

¹⁵ С. Ф. Шарапов — А. С. Суворину (РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 1. Д. 4682. Л. 69).

¹⁶ ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1027.

¹⁷ *Ананьич Б. В.* Самодержавие и земство. С. 111–113.

¹⁸ С. Ф. Шарапов — Т. И. Филиппову 29 сентября 1899 г. (РГИА. Ф. 1622. Оп. 1. Д. 388. Л. 2–3).

¹⁹ По сведениям Департамента полиции, письмо С. Ф. Шарапова Т. И. Филиппову было гектографировано студентами Лесного института в количестве 800 экз. и продавалось по 25 р. за копию (Справка о С. Ф. Шарапове: ГАРФ. Ф. 102. 3-е делопроизводство. 1901. Д. 9. Л. 34).

²⁰ Т. И. Филиппов — И. Л. Горемыкину 17 октября 1899 г. (РГИА. Ф. 1622. Оп. 1. Д. 388. Л. 1).

²¹ Например: *Гражданин*. 1899. № 81. Статья «Подвиг г-на Шарапова».

²² *Шарапов С. Ф.* Опыт русской политической программы. М., 1905. С. 41. «Русский труд» был закрыт 10 ноября 1899 г. формально за резкую критику власти (РГИА. Ф. 776. Оп. 1. Д. 32. Л. 29–39). Конечно, это было неизбежным следствием поражения противников С. Ю. Витте.

²³ С. Ф. Шарапов — К. П. Победоносцеву 8 февраля 1901 г. (ОР РНБ. Ф. 847. Оп. 1. № 1005).

²⁴ С. Ю. Витте — В. П. Мещерскому 2 октября 1899 г. (РГИА. Ф. 1622. Оп. 1. Д. 1018. Л. 61–62).

²⁵ Например: *Гражданин*. 1902. № 41, 48, 92 и др.

²⁶ Например, 18 февраля, 25 февраля, 4 марта 1899 г. (РГИА. Ф. 721. Оп. 2. Д. 243. Л. 46, 48, 55).

²⁷ С. Ф. Шарапов — Д. С. Сипягину 17 сентября 1899 г. (РГИА. Ф. 721. Оп. 2. Д. 417. Л. 1).

²⁸ С. Ф. Шарапов — В. К. Плеве 23 июня 1902 г. (РГИА. Ф. 1622. Оп. 1. Д. 488).

²⁹ *Шарапов С. Ф.* Собр. соч. Т. 3. С. 202–203.

³⁰ РГИА. Ф. 560. Оп. 22. Д. 258. Л. 37–51.

³¹ Новое время. 1903. № 9653. 18 янв.; *Арбузов А. Д.* Из близкого прошлого (ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. № 54. Л. 7). Речь идет о затеянном С. Ф. Шараповым предприятии по выпуску «усовершенствованных» плугов. Надо отметить, что запросы С. Ф. Шарапова после неудачной интриги сильно уменьшились: ранее он пытался шантажировать С. Ю. Витте, требуя от него 500 тыс. р.

³² М. М. Андроников — С. Ю. Витте 4 сентября 1902 г. (РГИА. Ф. 560. Оп. 22. Д. 258. Л. 75–76).

³³ М. М. Андроников — С. Ю. Витте 10 февраля 1903 г. (Там же. Л. 99–100).

³⁴ М. М. Андроников — С. Ю. Витте 7 июля 1903 г. (Там же. Л. 137).

³⁵ М. М. Андроников — С. Ю. Витте 4 июня 1902 г. (Там же. Л. 34–35).

³⁶ Записка В. К. Плеве 17 мая 1903 г. (ОР РНБ. Ф. 152. Оп. 3. № 264. Л. 15–22). За месяц до этого Главное управление по делам печати признало эту брошюру «в высшей степени вредной» за «умаление» самодержавия и высказывания автора «против начал русского государства» (РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 34. Л. 28–35).

П. В. Ерофеев

А. Г. РАФАЛОВИЧ — АГЕНТ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ ЮГА РОССИИ

Первые финансовые агенты российского правительства начали работать за границей еще в 30-е гг. XIX в. «Агенты Министерства финансов по мануфактурной части» были командированы в крупнейшие торговые и промышленные столицы Европы — Париж, Вену и Лондон — соответственно в 1829, 1830 и 1836 гг. Они должны были собирать полезную информацию «об улучшении по части промышленности фабричной, заводской и ремесленной», а также следить за изменениями во внешнеторговой политике этих стран. Вскоре число доверенных лиц Министерства финансов за границей было увеличено — агентства открываются в Константинополе, Берне, Брюсселе и Берлине. Институт коммерческих агентов русского Министерства финансов за границей официально был учрежден в 1848 г. В штат входили только 3 агента: в Лондоне, Париже и Берлине.

В 1893 г. во время дискуссий о необходимости увеличить число российских консульских работников за границей, С. Ю. Витте просил Государственный совет окончательно передать функцию наблюдения за экономической жизнью других государств уполномоченным чиновникам Министерства финансов. Он напомнил во время обсуждения, что заграничные агентства министерства способствовали развитию внешней торговли России, а также росту производительности сельского хозяйства и промышленности.¹ В декабре 1893 г. Витте получил право сам определять необходимое число агентов и устанавливать их «местопребывание и район деятельности».² В том же году было открыто еще одно агентство — в Вашингтоне, «в целях наибольшего развития торговых отношений» с набиравшими в то время экономическую мощь Соединенными Штатами³. Вслед за тем были учреждены агентства в Константинополе, Брюсселе, Йокгаме. В 1898 г. ввиду важности выполняемой агентами работы их статус повышается законодательно. Оставаясь чиновниками Министерства финансов, они были официально отнесены к штату российских посольств и миссий с распространением на них всех прав и преимуществ, которыми пользовались за границей военные и морские агенты.⁴

Самый стратегически важный и ответственный пост был в Париже. Его занял А. Г. Рафалович, с 1891 г. «безвозмездно, по собственному желанию» исполнявший там обязанности агента и получивший официальное назначение только в декабре 1894 г. Любопытно, что его отец Г. Ф. Рафалович во второй половине 1880-х гг., тоже на добровольных началах, неофициально, помогал российскому Министерству финансов, отправляя из Парижа подробные отчеты. Об этом упоминает П. П. Мигулин в своей монографии: «В 1888 г. один из корреспондентов И. А. Вышнеградского Герман Рафалович (sic!) сообщал из Парижа, что с марта все 60 агентов парижской биржи были завалены приказами о покупке русских фондов и о продаже фондов итальянских».⁵

В Лондон был отправлен историк и дипломат С. С. Татищев,⁶ в Берлин — В. И. Тимирязев. В Вашингтоне работал путейский инженер М. В. Рутковский, прежде занимавший там должность технического агента МПС. В 1904 г. М. В. Рутковский был переведен в Лондон вместо С. С. Татищева, а в Вашингтон агентом перешел Г. А. Виленкин,

зять одного из крупнейших американских банкиров Зелигмана. В этом была главная идея С. Ю. Витте — назначать агентами высокообразованных людей нового типа — из технической интеллигенции или из предпринимательских кругов, имевших обязательно хорошие связи в стране пребывания.⁷

В 1905 г., после образования в России отдельного Министерства торговли и промышленности, агенты автоматически стали числиться в этом министерстве. Реформа обосновывалась тем, что в сферу деятельности агентов входили именно «торговля и промышленность».⁸ Финансовые вопросы остались приоритетными только для А. Г. Рафаловича. В этом нет ничего удивительного. С конца 1880-х гг. Франция была основным финансовым рынком для русских ценных бумаг. В 1911 г. произошло упразднение должности агентов Министерства финансов. Вместо них были учреждены должности агентов Министерства торговли и промышленности. К этому времени С. Ю. Витте был уже в опале. Ему поставили в вину попытку завести личных дипломатических представителей за границей. По этому поводу в суворинском «Новом времени» 24 апреля 1910 г. даже появилась специальная заметка, в которой отмечалось, что в результате политики С. Ю. Витте «Министерство финансов оказалось ... государством в государстве. Оно командовало собственным войском, имело свой собственный флот под особым флагом, свои железные дороги за пределами империи, своих дипломатических представителей. Под скромным наименованием коммерческих или финансовых агентов Министерство финансов, начиная с 1893 г., держало за границей своих собственных посланников».

Главной задачей агентов Министерства финансов была подготовка русских финансовых операций за границей, прежде всего займов, жизненно необходимых для осуществления экономической программы С. Ю. Витте. Огромные затраты (развитие промышленности, железных дорог, активная экономическая политика на Востоке) можно было покрыть только с помощью европейских бирж.⁹

Задачи торговых агентов несколько отличались. В «Законе об учреждении должностей агентов Министерства торговли и промышленности за границей» от 1 июля 1912 г. были четко прописаны их обязанности: изучение иностранных рынков в целях осведомления российского правительства и заинтересованных учреждений, а также частных лиц с ходом торговли за границей; непосредственное содействие русским торговцам в местах их пребывания; производство особых экономических исследований за границей по поручению Министерства торговли и промышленности, а равно исполнение поручений Министерства финансов. Изменения коснулись и А. Г. Рафаловича, в том смысле, что его функции значительно расширились. Отныне он не только поставлял ценнейшую финансовую информацию, но и отстаивал интересы русской торговли.

Артур Германович Рафалович происходил из рода очень известных в XIX в. в Одессе банкиров Рафаловичей. Основатель банкирского дома Шлёма Рафалович — личность легендарная.

Кроме очевидных коммерческих талантов Ш. Рафалович имел еще родственные связи с влиятельными людьми, он приходился племянником Юлии Михайловне Сталинской,¹⁰ гражданской жене адмирала Алексея Самуиловича Грейга.¹¹

В 1816 г. А. С. Грейг был назначен командующим Черноморским флотом и всеми портами побережья. Адмирал принял полностью разложившееся хозяйство.¹² Он сам лично начал составлять новые чертежи кораблей,¹³ отправил учиться в Англию и Петербург способных молодых людей. При А. С. Грейге на Черноморском флоте появились

первые паровые суда — 3 парохода. В Севастополе была построена офицерская библиотека, сухие доки. В Николаеве — обсерватория, штурманское и артиллерийское училища, эллинги. Для дочерей нижних чинов устроены в Николаеве и Севастополе девичьи училища.¹⁴ В 1827 г. адмирал провел важную реформу на Черноморском флоте, на многие годы определившую будущее побережья, — начался перевод кораблестроения из Херсона в Николаев и полная ликвидация в 1829 г. херсонской верфи как неудобной из-за своего географического положения. А. С. Грейг стал привлекать к судостроению частный капитал, с помощью которого было построено несколько вольных верфей. Подряды на строительство получали известные купцы М. С. Варшавский,¹⁵ М. Ш. Серебряный,¹⁶ А. И. Перетц.¹⁷

В 1825 г. гражданская жена адмирала «прелестная Юлия» пригласила своего родственника Шлёму Рафаловича, никому пока не известного могилевского подрядчика-судостроителя еврея-купца 2-й гильдии, в город Николаев для поставок припасов и различных материалов для Черноморского флота. Такая протекция со стороны Юлии Михайловны не была чем-то странным. В то время ее влияние на мужа и на все дела Черноморского флота достигло небывалых размеров. По мнению М. П. Лазарева, предприимчивая Юлия Михайловна взяла в свои руки слишком много власти. Об этом в письме от 14 января 1833 г. М. П. Лазарев уже в качестве командующего Черноморским флотом писал начальнику Главного морского штаба А. С. Меншикову: «На другой же день отъезда моего из Николаева она, собрав совет, состоявший из Давыдки Иванова, Критского, Вавилова, Богдановича, Метаксы, Рафаловича и Серебряного, бранила меня без всякой пощады: говорила, что я вовсе морского дела не знаю, требую того, чего совсем не нужно, и с удивлением восклицала: „Куда он поместит все это? Он наших кораблей не знает, он ничего не смыслит“, и проч., и проч. ... Все их доходы зависят от неразрывной дружбы между собой. Критский в сентябре месяце, выпросив пароход, ходил в Одессу и, положив в тамошний банк 100 000, хотел подать в отставку, но министр двора здешнего Серебряный и прелестница наша уговорили его переждать...».¹⁸

Вообще конфликт между командующим флотом А. С. Грейгом и его начальником штаба был вызван теми же обстоятельствами, с которыми так долго и, казалось, успешно боролся А. С. Грейг — а именно разрухой и воровством на флоте. Смена начальства привела к полной замене почти всего аппарата управления флота. Изменились имена подрядчиков и поставщиков. М. П. Лазарев пишет своему другу А. С. Меншикову через два месяца после назначения командующим флотом: «Перемена главного здесь начальства произвела величайшее смятение... Правитель канцелярии главного командира Иванов переходит, как слышно, таможенным директором в Одессу, и чрез то в Николаеве одним из главных воров будет меньше. Критский подал в отставку... Паруса, с коими эскадра находилась в море, хотя и были при начале кампании новые, но теперь все изорваны, и многие из них не стоят починки, ибо были сшиты из парусины, поставленной Рафаловичем, чрез которую многие в Николаеве обогатились... Парусина, как заготовления Рафаловича, так и выделанная на Богоявленной фабрике, вовсе к употреблению негодна».¹⁹ Столь нелепые характеристики поставили крест на карьере всех купцов, работавших с А. С. Грейгом. Всех, кроме Ш. Рафаловича, который решил, что подряды на строительство военных кораблей и без плутовства дело выгодное.

В 1829 г. семья Рафаловичей вынуждена была переехать из Николаева в Кишинев — началось выселение евреев.²⁰ Только в 1838 г. предприимчивый купец получил наконец разрешение на жизнь в Николаеве. Здесь Ш. Рафалович в скором времени стал пользоваться большим уважением и получил должность ребе — главы всех местных евреев. В Николаеве он развернул активную деятельность, в 1838 г. восстановил эллинги Спасского адмиралтейства и получил выгодные подряды на строительство 84-пушечных военных кораблей.

Высоко оценивая деятельность Ш. Рафаловича, М. П. Лазарев в 1839 г. отмечал: «У Рафаловича построение двух кораблей идет весьма успешно и лучше, нежели предполагал я... и я решил воспользоваться предложением Рафаловича строить еще третий корабль...».²¹ Лучшим из построенных им кораблей стал новый 120-пушечный «Париж» — гордость Черноморского флота и правопреемник флагмана — старого «Парижа». В 1850 г. корабль впервые вышел в море. Однако еще задолго до этого о его качествах говорили многие. 24 ноября 1847 г. офицер по морской части при наместнике на Кавказе, капитан 2-го ранга В. И. Истомин так написал М. П. Лазареву о закладке корабля «Париж»: «Распространяться об этом прекрасном корабле считаю излишним, но не могу не поздравить в.в. пр-во тем, что постройкой этого нового корабля вся старая грейговская ветошь Черного моря окончательно вычеркнется из списков...».²² Правда, прослужил России великолепный «Париж» недолго. Он героически погиб в Синопском сражении в 1853 г.

Все четыре 84-пушечных корабля «Гавриил» (1839), «Уриил» (1841), «Ростислав» (1841) и «Святослав» (1845), построенные Ш. Рафаловичем, удостоились хороших отзывов во время учений в октябре 1849 г.²³ Контр-адмирал П. С. Нахимов отметил тогда, что вообще все 84-пушечные корабли имеют превосходные качества и трудно отдать предпочтение которому либо из них.²⁴ Впрочем, не все было гладко. В 1846 г., по постановлению суда, Ш. Рафалович был оштрафован на 365 р. 85 к. за то, что «неправильно сплавлял барки». Штраф был взыскан с наследников — в это время старик Рафалович уже отошел от дел.²⁵

К концу 1830-х г. в Одессе появился новый банкирский дом «Рафалович и К°». Через 30 лет дом имел ежегодные обороты до 50 млн р. и играл существенную роль в развитии промышленности и торговли Новороссийского края. При «обширных сношениях с Лондоном, Парижем и Петербургом ... дом поддерживал своим кредитом многие значительные фирмы края» и участвовал «в реализации почти всех русских и заграничных займов».²⁶ Что сыграло в конечном итоге большую роль в становлении одного из крупнейших банкирских домов, протекция Ю. М. Сталинской или торговые таланты купца второй гильдии Шлёмы Рафаловича, за давностью лет сказать трудно. Справедливости ради отметим, что если начинал свою деятельность корабельного подрядчика Ш. Рафалович все-таки под патронажем своей родственницы, то основной капитал он сделал уже при новом командующем Черноморским флотом адмирале М. П. Лазареве.

В конце жизни Ш. Рафалович принял православие, получив имя Федор. Дата его смерти тоже остается под вопросом. С. Ю. Витте в своих «Воспоминаниях» писал, что хорошо знал Федора Рафаловича, «который принял православие и был очень ревностным православным, состоял старостой церкви ... это был в высокой степени почтенный человек, фирма его была одна из самых больших, лучших фирм в Одессе».²⁷

В 1857 г. модный одесский архитектор Л. Ц. Оттон рядом с перекрестком Пушкинской и Греческой улиц в Одессе выстроил огромный особняк, стилизованный под французское барокко. В городе дворец так и называли — дом Рафаловича.

После смерти Федора (Шлёмы) Рафаловича дело перешло к его сыну Александру, активное участие в семейном бизнесе принимала и вдова Федора Ревекка. Фирма построила парусный 135-пушечный корабль «Цесаревич», царскую яхту «Тигр» и еще несколько военных корветов и шхун. Рафаловичи в то время слыли еще и крупными оптовиками — вели морскую торговлю с Италией, Англией и французскими средиземноморскими портами. Александр Рафалович долго жил в Николаеве и даже стал потомственным почетным гражданином города и членом попечительного о тюрьмах комитета. Последние годы, как и его отец, Александр Федорович провел в Одессе.

А. Ф. Рафалович был личным банкиром влиятельного в то время председателя Департамента государственной экономии Госсвета Александра Агеевича Абазы. Он вел многие дела А. А. Абазы, в частности продавал продукты из его имения. Их личные отношения даже можно назвать дружескими. С именами двух этих людей, кстати, был связан один из крупнейших в то время финансовых скандалов. С. Ю. Витте вспоминал, что на махинации А. Ф. Рафаловича подбил сам А. А. Абаза.²⁸ Последний знал, что накануне введения «золотого рубля» принято решение об искусственном повышении курса бумажного рубля. Однако на деле хороший урожай стал причиной падения курса рубля. Тем не менее А. А. Абаза приказывал А. Ф. Рафаловичу продавать свои и его рублевые сбережения. Оба каждый час несли убытки. И А. Ф. Рафалович, потеряв на этом около 800 тыс., не выдержал. Продолжая продавать активы Абазы, на свои собственные деньги он стал покупать рубли. Курс рубля резко пошел вверх. Абаза, используя служебное положение, в итоге получил прибыли 900 тыс. р., а Рафалович потерял 1 млн 700 тыс. р.

Банкирский дом Рафаловичей лопнул. Александр Федорович обратился в Министерство финансов и ему выдали ссуду, хотя император сказал, что «не видит, для чего выдавать различные ссуды жидам». За использование в личных целях служебной информации А. А. Абаза был уволен.²⁹ Помощь банкирскому дому со стороны государственных структур нельзя считать чем-то неожиданным. Рафаловичи были очень близки к высшим чиновникам Российской империи. Газеты отмечали, что одесский торговый дом «Ф. Рафалович и К^о» пользовался большим покровительством бывшего министра финансов И. А. Вышнеградского, действующего на тот момент министра С. Ю. Витте, который называется «старым другом Рафаловичей»,³⁰ и влиятельного члена Государственного совета Абазы.³¹ По иронии судьбы, председатель Департамента государственной экономии Госсвета А. А. Абаза, который виноват в банкротстве Александра Рафаловича, вел финансовые дела и с его братом — Германом Рафаловичем.

Герман Федорович Рафалович был известным в Новороссийском крае предпринимателем и ученым-экономистом, потомственным почетным гражданином Одессы и консулом Бразилии. Он финансировал промышленников и землевладельцев, участвовал в учреждении Петербургского учетного и ссудного, Одесского коммерческого, Киевского коммерческого и Русского для внешней торговли банков, вел крупнооптовую торговлю с Италией, Англией и французскими средиземноморскими портами.

23 июня 1853 г. в Одессе у Германа Рафаловича родился сын Артур. В 1860 г. семья переехала во Францию. Г. Рафалович очень скоро добился там признания в деловом

и научном мире. Он вел светский образ жизни, общался с французской богемой. С. Ю. Витте писал о Г. Рафаловиче как о «рантье, нажившем уже большое состояние и уже никакими делами не занимавшемся».³²

У Г. Ф. Рафаловича было еще двое детей. Сестра Артура — Софья Рафалович интересовалась экономикой.³³ Брат Андрей родился уже в Париже в 1864 г., а большую часть жизни прожил в Англии. Увлекался поэзией, писал стихи на английском.

С детства Артур говорил на двух языках: русском и французском. Позднее он в совершенстве изучил английский и немецкий. Учился в Париже, в колледже Saint-Barbe, потом в лицее Louis-le-Grand. Там регулярно побеждал в различных конкурсах. После окончания лицея поступил в парижскую Высшую школу политических наук. Потом учился в университете в Бонне. В это время Артур всерьез увлекся журналистикой. С 1874 г. он стал регулярно публиковаться во французской газете «Journal des Débats». В 1876–1879 гг. Артур Рафалович жил в Англии и работал уже лондонским корреспондентом этой газеты. Одновременно он выполнял функции личного секретаря князя Петра Шувалова, бывшего шефа III Отделения, на Берлинском конгрессе 1878 г., позднее работал секретарем Первой Гаагской конференции 1899 г.

В 1879 г. А. Г. Рафалович возвратился в Россию. Он продолжил заниматься своей любимой журналистикой, писал и регулярно отправлял статьи в «Temps», «Revue bleue». Однако появляются у молодого человека и новые интересы. В 1891 г. Рафалович начал издавать ежегодник «Le Marché Financier» — уникальную энциклопедию мировой экономической и финансовой жизни. До А. Г. Рафаловича никто не брался за столь масштабную задачу анализа мировых финансовых рынков. Последний номер ежегодника вышел в 1915 г. А через 6 лет, в 1921 г., вместе с Ивом Гюйо Рафалович издал еще один примечательный труд — двухтомный торгово-промышленный словарь.

Не позднее 1884 г. А. Г. Рафалович поступил на службу в Министерство финансов. Работал в Высшем совете по торговле и промышленности в рамках того же министерства. С 1891 г. фактически, а с 1894 г. официально — он агент русского Министерства финансов во Франции, окончательно обосновался в Париже и больше уже не покидал его. Одной из важнейших задач А. Г. Рафаловича была помощь правительству в организации займов во Франции. Как агент Министерства финансов он принимал непосредственное участие в организации займов, подкупал французскую прессу и регулярно встречался с высшими французскими чиновниками и писал монографии по экономике.³⁴ А. Г. Рафалович состоял в деловой переписке и пользовался большим доверием высших государственных чиновников, в частности министров финансов — С. Ю. Витте, В. Н. Коковцова и П. Л. Барка.

Работа агента была разнообразна, строго очерченного круга обязанностей у него не было. А. Г. Рафалович регулярно сообщал в Петербург о состоянии российских ценных бумаг, следил за маневрами биржевиков и изменением курса рубля по отношению к основным иностранным валютам. Но он не только наблюдал за колебаниями на бирже. Агент должен был активно влиять на рынок, лоббировать русские интересы. Наиболее известным примером такого вмешательства стали его кампании во французской печати в поддержку российских ценных бумаг, в частности многочисленных займов.³⁵ «Фигаро», «Голуа», «Эко де Пари» с 1895 г. систематически финансировались из кармана русского правительства. При этом вследствие недостаточности средств, писал А. Г. Рафалович 15 мая 1905 г. В. Н. Коковцову, пришлось отказаться от «сотрудничества» с популярной

«Матэн», которая находилась под японским влиянием.³⁶ Кроме того, агент вел секретные переговоры с французскими министрами и финансистами, анализировал в своих газетных статьях и секретных донесениях состояние французской экономики в целом. Приблизительно каждые две–три недели Рафалович писал на французском языке донесения министру финансов о положении дел.³⁷

Статьи А. Г. Рафаловича на экономические темы регулярно выходили как во французских «Journal des Débats», «Economiste français», «Journal des Economistes»,³⁸ «Agence Economique et Financière», так и в русской газете «Journal de Saint-Petersbourg». Он писал и о трестировании, о тейлоризме, о дешевом жилье для малообеспеченных. Артур Рафалович принадлежал к либеральной экономической школе, был убежденным фритредером.³⁹ Он аккуратно посещал заседания Парижского общества политической экономии наряду с Полем Леруа Болье, Гюйо, Молиниари, Дэшталем, Неймарком, Видалем. Модные в то время социалистические идеи для него были неприемлемы. Рафалович, как один из соратников Витте, участвовал и в формировании таможенной политики. После начала Первой мировой войны он принимал участие в совещаниях министров финансов стран Антанты, был председателем секции и представителем России в международной холодильной ассоциации. Когда в 1916 г. А. Г. Рафалович стал председателем Русской торговой палаты в Париже, работы у него прибавилось. Он представлял промышленникам и коммерсантам обеих стран информацию о ценах и товарах, способствовал устранению трудностей, которые могли возникнуть в сделках между Россией и Францией. Он стал своего рода связующим звеном между производителями и потребителями двух стран. В качестве председателя Русской торговой палаты он работал в комиссии Мелина и в сенатской комиссии Шарля Куиба⁴⁰ по вопросам развития русско-французской торговли, в русско-французской комиссии по проблеме реформирования таможенных взаимоотношений. После Октября 1917 г. А. Г. Рафалович активно участвовал в работе русского правительства в эмиграции. В рамках Русского политического совещания возглавлял Финансово-экономическую комиссию, своего рода Министерство финансов. Главным вопросом ФЭКа был вопрос финансирования белых армий. На эту тему А. Г. Рафалович вел многочисленные переговоры с французскими политическими деятелями. Кроме того, А. Г. Рафалович работал вице-председателем русского экономического бюро в Париже. До конца жизни агент оставался принципиальным противником большевизма. Уже в эмиграции А. Г. Рафалович написал монографию «La dette publique russe», напечатанную в сборнике «La dette publique de la Russie» и изданную в Париже в 1922 г.⁴¹ уже после его смерти. Ее содержание — это систематизированные данные о внутреннем и внешнем долге дореволюционной России. А. Г. Рафалович составил полный подробный список российских займов за границей. И несмотря на то что эти данные оспариваются некоторыми историками,⁴² большинство его подсчетов доверяет.

За свою жизнь А. Г. Рафалович удостоился множества правительственных наград и ученых степеней: действительный статский советник, кавалер орденов Св. Владимира 4-й степени, Св. Анны 2-й степени, Св. Станислава 2-й степени, бельгийского ордена Леопольда; также был членом-корреспондентом Совета торговли и мануфактур, членом-корреспондентом Французской Академии наук, членом-корреспондентом Русского экономического общества в Лондоне, членом Общества политической экономии в Париже, Парижского общества статистики, членом Кобден клуба,⁴³ Королевского общества статистики Лондона, Американской ассоциации социальных наук.

Как и его отец, А. Г. Рафалович вел в Париже светскую жизнь. Лишь в последние годы он отстранился от развлечений. Его дом всегда был открыт для друзей, в нем всегда было много гостей. А. Г. Рафалович поддерживал связи с французскими учеными и политиками. Этому, кстати, способствовало унаследованное Артуром Германовичем от отца довольно большое состояние.

О личной жизни агента Министерства финансов известно мало. У него была жена — Ида Эммануиловна, урожденная Вертгеймбер и дочь Александра. А. Г. Рафалович пользовался доверием и уважением первых лиц Российской империи. Известно, в частности, что его связывали хорошие не только деловые, но и личные отношения с С. Ю. Витте. А. Г. Рафалович слыл человеком с серьезными связями. В русском посольстве во Франции с ним советовались по всем важным вопросам.

А. Г. Рафалович умер 23 декабря 1921 г. Его похоронили в Париже 27 декабря. До последних дней он активно работал, выступал, писал статьи и книги. Как сообщила в некрологе эмигрантская газета «Общее дело», «за неделю до болезни он делал в течение 2-х часов доклад в Русском Национальном комитете о внешних долгах России, за 2 дня до болезни он активно участвовал в дебатах Парижского общества политической экономии по вопросу о фиксации франка, уже больной он заканчивал очерк по истории русского долга для выходящего в январе у Пайо сборника, посвященного русской финансовой проблеме».⁴⁴

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Семенов А. Ю. Российско-американские отношения на рубеже XIX и XX вв. в материалах российских финансовых агентов в Вашингтоне // Мир в Новое время: Сб. материалов. СПб, 2004. С. 76.

² Всеподданнейший доклад С. Ю. Витте «О причислении агентов министерства финансов к императорским посольствам и миссиям», 22 октября/3 ноября 1898 г. (РГИА. Ф. 40. Оп. 1. Д. 50. Л. 153–165 об.).

³ Там же. Д. 45. Л. 152–153.

⁴ Там же. Л. 153–165 об.

⁵ Мигулин П. П. Русский государственный кредит. Харьков, 1898. Т. 2. С. 242.

⁶ П. П. Мигулин писал, что С. С. Татищев не справляется со своей работой, ограничиваясь лишь составлением «конспектов английских газет о России» (Мигулин П. П. Русский государственный кредит. Харьков, 1907. Т. 3, вып. 5. С. 1079).

⁷ Ананьич Б. В. Россия и международный капитал. 1897–1914: Очерки истории финансовых отношений. Л., 1970. С. 27–28.

⁸ Семенов А. Ю. Российско-американские отношения на рубеже XIX и XX вв. ... С. 77.

⁹ Ананьич Б. В. Россия и международный капитал. С. 28.

¹⁰ Крючков Ю. С. Вольные подрядчики — судостроители // Вечерний Николаев. 2002. № 82. 23 июля. С. 3.

¹¹ Юлия Михайловна до конца дней оставалась иудейкой, поэтому жили они в гражданском браке. Иноверка вызывала постоянные нападки. В формулярном списке А. С. Грейга за 1831 г. сказано: «Английской нации и закона, холост» (Центральный государственный архив Военно-Морского флота (далее ЦГА ВМФ) Ф. 406. Оп. 7. Д. 8. Л. 1–6). В это время у Грейгов был уже малолетний сын.

¹² Асланбегов А. Б. Адмирал А. С. Грейг: Биографический очерк. СПб., 1873. С. 38.

¹³ Венцом его творений стал 100-пушечный корабль «Варшава». Корабль прослужил 15 лет (Асланбегов А. Б. Адмирал А. С. Грейг. С. 39).

¹⁴ Там же. С. 41.

¹⁵ Маркус Соломонович Варшавский (ок. 1775 — после 1830) — херсонский купец, поставлявший Черноморскому флоту лес, дрова и провиант. Он создал две «вольные верфи», одну — в Херсоне, другую — в Николаеве.

Построил в 1826 г. транспорт «Буг», в 1827 г. — первый товаропассажирский пароход «Одесса», позднее — еще два транспорта (*Крючков Ю. С.* Вольные подрядчики — судостроители. С. 3).

¹⁶ Михаил Шоломонович Серебряный (ок. 1780—ок. 1847) — одесский купец первой гильдии, поставлявший Черноморскому флоту лес и провиант. Впоследствии перебрался в Николаев и основал на Ингуле собственную «вольную верфь», которая получила название «Серебряный док». На этой верфи в 1821–1822 гг. М. Ш. Серебряный построил 12 канонерских лодок типа «Дерзкая», проект которых разработал А. С. Грейг. Впоследствии со стапелей этой верфи сошли 9 транспортных судов, 2 катера и 2 лоцманские лодки. В 1827 г. М. Ш. Серебряный на правом берегу Ингула соорудил новую «вольную верфь» для постройки 100-пушечных кораблей. С 1828 г. по 1831 г. с его эллингов сошли два 84-пушечных корабля «Память Евстафия» и «Андрианополь» и два 60-пушечных фрегата «Эривань» и «Бургас». Через несколько лет его верфи были выкуплены в казну, а сам подрядчик разорился (Там же).

¹⁷ Абрам Израилевич Перетц (1771–1833) — известный подрядчик и предприниматель. Занимался поставками крымской соли в Петербург, создал в 1814 г. первый «вольный эллинг» на Черном море. Построил около десяти кораблей, в том числе «Кульм», «Мария», «Ингул». Как корабельный подрядчик вызывал недовольство командующего Черноморским флотом А. С. Грейга. Проверив работу Адмиралтейства, Грейг обнаружил ряд переплат подрядчикам, в том числе и Перетцу. В приказе по Адмиралтейству Грейг отметил: «Перетцу денег задавали много лишних, а успеху в строении не было». В связи с этим у подрядчика изъяти 67 337 р. и 12 к., которые пошли в счет нового контракта на постройку транспортов. А. И. Перетц занимался и общественной деятельностью. Дружил с М. М. Сперанским, который некоторое время жил в его доме в Петербурге, с Е. Ф. Канкриным, был членом Комитета по благоустройству евреев. Впоследствии принял лютеранство. В конце жизни разорился (Там же).

¹⁸ РГАВМФ. Ф. 19 (фонд А. С. Меншикова). Отдел писем. Д. 121. Ч. 1. 1833 г. П. 4.

¹⁹ *Лазарев М. П.* Документы. М., 1955. Т. 2. С. 137.

²⁰ Высочайший указ от 20 ноября 1829 г.: «Евреи не должны иметь в Севастополе и Николаеве ни постоянного пребывания, ни заведений отправления обрядов веры их» (ПСЗ II. СПб., 1830. С. 790–791).

²¹ *Лазарев М. П.* Документы. Т. 3. С. 214.

²² РГАВМФ. Ф. 315. Оп. 1. Д. 1319 а. Л. 32.

²³ *Лазарев М. П.* Документы. Т. 3. С. 298–302.

²⁴ Там же. С. 299.

²⁵ *Крючков Ю. С.* Вольные подрядчики — судостроители. С. 3.

²⁶ *Ананьич Б. В.* Банкирские дома в России. 1860–1914 гг.: Очерки истории частного предпринимательства. Л., 1991. С. 9.

²⁷ *Vumte С. Ю.* Воспоминания: В 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 219.

²⁸ Александр Аггеевич Абаза — в то время председатель Департамента государственной экономии Госсовета.

²⁹ *Vumte С. Ю.* Воспоминания. Т. 1. С. 236; *Ананьич Б. В.* Банкирские дома в России. С. 10–11.

³⁰ Сергей Юльевич Витте как главный виновник нарушения Высочайшего повеления от 4-го марта 1891 года, совместного участия в деле ограбления крымского помещика К. А. Дуранте и хищения казенной земли. Одесса, 1908. С. 9.

³¹ Там же. С. 3.

³² *Vumte С. Ю.* Воспоминания. Т. 1. С. 237–238.

³³ Она перевела, в частности, том Морли из «Жизни Кобдена», опубликовала том из Джона Брайта, издала со своим предисловием Бентама.

³⁴ Основные труды А. Рафаловича: «L'annee Economique 1887–88 et 1888–89», «Le Logement de l'ouvrier et du pauvre» (1887), «Les finances de la Russie depuis la dernière guerre d'Orient» (1883), «Les finances de la Russie 1887–89», «Le Rouble 1768–1896», «La nouvelle loi sur les sociétés anonymes en Allemagne» (1894), «Le Wurtemberg» (1886), «La ligue pour la défense de la liberté et de la propriété en Angleterre» (1886), «Le monopole de l'alcool en Allemagne» (1886), «La nouvelle législation de l'alcool en Allemagne» (1887), «Le congrès mouetaire» (1889), «La crise de Londres» (1890), «Les associations cooperatives de consommation» (1891), «Les socialistes allemands» (1891);

В. Э. Гладстон. СПб., 1902; Русский вывоз во Францию: Справочная книга для русских экспортеров / Издание русской Торговой палаты в Париже. Париж, 1916; *La dette publique russe* // *La dette publique de la Russie*. Paris, 1922.

³⁵ В письме министру финансов С. Ю. Витте 15 октября 1895 г. Рафалович сообщает: «Я также сообщил в 18 газет мнение относительно абсолютного права конвертации, которым владеет русское правительство в отношении 4% займов» (РГИА. Ф. 560 (Общая канцелярия министра финансов). Оп. 22. Д. 185. Л. 10. Есть и другие примеры «работы со СМИ». В письме от 21 ноября 1895 г. Витте предоставляет в распоряжение своего агента 44 тыс. франков, которые тот должен передать в «Фигаро» (РГИА. Ф. 560. Оп. 22. Д. 185. Л. 24).

³⁶ Романов Б. А. Русские финансы и европейская биржа в 1904–1906 годах. М.; Л, 1926. С. 12. 20 июля 1905 г. В. Н. Коковцов пишет министру иностранных дел Ламздорфу: «Было признано необходимым ассигновать на первое время на субсидирование французской прессы 200 тысяч франков ... ввиду замеченного во французской прессе, под влиянием известий с театра войны, неблагоприятного для России направления, признано было целесообразным расширить дело субсидирования прессы, и отпущены осенью 1904 и в феврале 1905 года на сей предмет новые кредиты в общей сумме 537 700 франков» (Там же. С. 12–13).

³⁷ Недоброжелатели Витте часто подсмеивались над его плохим французским. Об этом он с обидой пишет в своих мемуарах. Ответные письма с инструкциями Рафаловичу, действительно, грешат ошибками. Кстати, министр и его агент нередко отправляли зашифрованные телеграммы. Удалось, например, установить, что число 3199 означает «Париж», 4130 — «ми-

нистр финансов», а 4126 — «министр иностранных дел» (Там же. С. 46).

³⁸ Из письма А. Рафаловича В. Н. Коковцову от 24 апреля 1904 г.: «...я опубликовал в *Journal des Débats* относительно проектируемой операции, и то, что я дал в *Petit Parisien* о стоимости войны. Эта последняя заметка, с некоторыми вариантами, появится в *Echo de Paris*, *Le Journal*, *Figaro* и др. ...что касается *publicité* нашей кредитной операции (субсидий газетам), следовало бы, чтобы она заключала в себе определенную ежемесячно отпускаемую сумму на возможно долгий срок. Для нас это очень важно» (Романов Б. А. Русские финансы и европейская биржа в 1904–1906 годах. С. 91).

⁴⁹ Фритредерство (от англ. *free trade* — свободная торговля) — направление в экономической теории и политике промышленной буржуазии, выдвигавшее требования свободы торговли и невмешательства государства в частнопредпринимательскую деятельность.

⁴⁰ Шарль Куиба — секретарь комиссии иностранных дел сената Франции.

⁴¹ *Rafalovich A. G. La dette publique de la Russie*. Paris, 1922.

⁴² Например, В. Г. Сироткин, который полагает, что не Россия должна западным странам, а наоборот — европейцы задолжали нам 400 млрд дол. (Сироткин В. Г. Золото и недвижимость России за рубежом. М., 1997. 288 с.).

⁴³ Ричард Кобден (1804–1865) — либеральный английский экономист. Выступал за свободу торговли, добился отмены протекционизма в Англии. Поддерживал такие реформы, как введение бесплатного начального образования и отмену налогов на издание газет.

⁴⁴ Речь идет о вышеупомянутом сборнике «*La dette publique de la Russie*».

М. Ф. Флоринский

НИКОЛАЙ II И КАБИНЕТ П. А. СТОЛЫПИНА (К истории взаимоотношений)

Проведенная самодержавием осенью 1905 г. реформа Совета министров создала в России, пользуясь тогдашней терминологией, «объединенное правительство» — орган, схожий по своей структуре и функциям с кабинетами министров в конституционных государствах и призванный под непосредственным главенством особого должностного лица — председателя Совета министров — направлять и координировать деятельность основных звеньев бюрократической машины империи — отдельных ведомств.¹ В результате претерпели известные изменения отношения между монархом и чиновничьей элитой. Преобразование Совета министров создало некоторые организационные предпосылки для усиления влияния последней на ход государственного управления, причем в какой-то степени в ущерб прерогативам короны. Временем, когда Совет министров играл наиболее значительную роль в системе властных структур империи, стал период премьерства П. А. Столыпина.

Как известно, предшественники Николая II на троне противились созданию «объединенного правительства», опасаясь уменьшить свое личное влияние на работу государственного аппарата. Николаю II тоже были свойственны эти опасения,² обусловленные во многом традиционным для российских самодержцев недоверием к бюрократии (надо сказать, не лишенным оснований).

Признав как будто бы в критические для власти дни первой русской революции необходимость образования в России «объединенного правительства», Николай II в данном случае все же, скорее, просто уступил давлению ряда высших сановников, ратовавших за такую меру. 19 октября 1905 г., т. е. в день подписания им указа о реформе Совета министров, Николай II, оценивая ситуацию, сложившуюся тогда в правящих кругах, отметил в письме к матери: «...г. министры, как мокрые курицы, собирались и рассуждали о том, как сделать объединение всех министерств вместо того, чтобы действовать решительно».³ Таким образом, реформа Совета министров вовсе не казалась царю столь уж необходимой. В его глазах управление империей разделялось на изолированные друг от друга отрасли, курировавшиеся отдельными ведомствами. Споры между ними обычно беспокоили царя лишь в каких-то конкретных ситуациях.⁴ Для предотвращения и пресечения этих конфликтов Николаю II казались вполне достаточными такие средства, как личные обращения монарха к министрам и неукоснительное соблюдение нерушимости границ между «сферами влияния» отдельных ведомств, что являлось, по свидетельству военного министра В. А. Сухомлинова, «строго-руководящим принципом» царя.⁵

Со своей стороны, П. А. Столыпин, возглавив в июле 1906 г. Совет министров, стремился всемерно повысить роль кабинета и свою личную (как его главы) в определении внутри- и внешнеполитического курса самодержавия. Как отмечала в своих мемуарах дочь П. А. Столыпина, М. П. Бок, «папа говорил, что сила правительства проявится лишь в том случае, если оно будет выносить свои решения „объединенным“ министерством и этим облегчит непосильную работу государя».⁶ И Николай II

во многом шел навстречу желаниям П. А. Столыпина. В результате последнему удалось, в частности, заметно усилить свой личный контроль и контроль кабинета за деятельностью Военного и Морского министерств, а также Министерства иностранных дел, которые поначалу мало зависели от Совета министров и его главы.⁷ Вообще проявления ведомственного сепаратизма в целом успешно пресекались П. А. Столыпиным, что способствовало росту влияния премьера и кабинета на ход государственного управления.

Это едва ли импонировало Николаю II. Однако П. А. Столыпин, особенно первоначально, пользовался у монарха значительным авторитетом. В письме Марии Федоровне в октябре 1906 г. Николай II писал о своем премьере: «Я тебе не могу сказать, как я его полюбил и уважаю».⁸ Правда, впоследствии царь, по-видимому, столь пылких чувств к П. А. Столыпину не питал и все больше прислушивался к критикам премьера из консервативного лагеря, которые, помимо прочего, активно обвиняли главу правительства в узурпации прерогатив короны. Если верить А. И. Гучкову, ссылавшемуся на рассказ близкого к Николаю II флаг-капитана К. Д. Нилова, на отношение монарха к П. А. Столыпину ощутимо повлияли результаты встречи Николая II с английским королем Эдуардом VII в Ревеле в 1908 г. Английский король «очень интересовался Столыпиным (глава правительства сопровождал царя во время его поездки в Ревель. — М. Ф.), всегда искал возможности с ним поговорить... Столыпин отлично говорил по-английски, кругом фотографии, получалось: грузная фигура Эдуарда, большая фигура Столыпина, затем все это в английских журналах было». Противники премьера «коллекционировали эти фотографии и незаметно подсовывали государю: так встреча с Эдуардом отражается в прессе английской — Столыпин, Столыпин, Столыпин».⁹

И все же П. А. Столыпин в целом пользовался расположением царя почти до самого конца своего премьерства. Правда, по свидетельству А. А. Вырубовой, Николай II как-то заметил: «Столыпин был бы рад занять мое место». Несмотря на это, констатировала она, «в общем, Столыпин ему (Николаю II. — М. Ф.) нравился».¹⁰ Незаурядность личности П. А. Столыпина, очевидно, рождала у царя не только недовольство «заслонявшим» его премьером, но и чувство уважения к последнему, сознание необходимости пребывания П. А. Столыпина у власти. В какой-то степени Николай II, вероятно, должен был считаться и с тем, что П. А. Столыпин обеспечил себе известную общественную поддержку в лице большинства III Государственной думы.

Согласно закону о Совете министров, принимавшиеся кабинетом решения по большей части в обязательном порядке представлялись потом на утверждение императору. История реформированного Совета знает сравнительно немного случаев отклонения монархом рекомендаций правительства. При этом уже опыт функционирования созданного сразу после реформы Совета кабинета С. Ю. Витте показал, что при известных условиях монарх, сталкиваясь с коллективной волей министров, вынужден был поступать своими желаниями.¹¹ Случаи такого рода имели место и во время премьерства П. А. Столыпина.

Как вспоминал впоследствии в своих мемуарах министр народного просвещения в правительстве П. А. Столыпина А. Н. Шварц, царь «при чтении... особого мнения», заявленного А. Н. Шварцем в Совете министров «по поводу процентной нормы для учениц-евреек женских гимназий», заметил, что он согласен с А. Н. Шварцем, а «не

с большинством Совета». Но хотя царю очень «не хотелось утверждать мнение большинства», он его утвердил.¹²

Несмотря на звучавшие в адрес П. А. Столыпина обвинения в стремлении «заслонять» собой царя, сам он считал одной из своих важнейших задач как главы правительства всемерное укрепление авторитета носителя верховной власти, хорошо понимая, что «значил для России (внутренне еще слабо и плохо связанной) исконный „обруч” монархии».¹³ Этим была, в частности, обусловлена позиция, занятая руководимым им кабинетом при обсуждении осенью 1909 г. предложений, сформулированных в адресованной царю записке главного управляющего Канцелярией его императорского величества по принятию прошений А. А. Будберга от 5 марта 1909 г., в которой последний затронул весьма щекотливый вопрос о процедуре рассмотрения просьб о смягчении приговоров лицам, осужденным на смертную казнь. При существующих порядках, подчеркивал А. А. Будберг, «все эти просьбы... передаются военному министру, а им, механически, командующим войсками (военных округов, утверждающих смертные приговоры. — *М. Ф.*) и, кроме редчайших случаев, участь этих просьб зависит не от монарха, а от командующего войсками округа».¹⁴ Ратуя за восстановление «в полной мере верховного права» монарха «в этом деле первостепенной важности», А. А. Будберг рекомендовал поручить рассмотрение всех ходатайств о смягчении участи лиц, приговоренных к смертной казни, «Особому секретному совещанию», членами которого должны были быть министры: военный, внутренних дел, юстиции и главный управляющий Канцелярией по принятию прошений, а председателем — премьер. Решения Совещания об удовлетворении обсужденных им ходатайств, по мнению А. А. Будберга, следовало направлять на утверждение императору; об отклоненных же просьбах Совещание должно было непосредственно информировать командующих округами, без доклада этих дел монарху.¹⁵

Рассмотрев предложения главного управляющего Канцелярией по принятию прошений 15 сентября 1909 г., столыпинский кабинет счел, однако, их неприемлемыми, ибо, как подчеркивали члены правительства, помимо прочего нежелательным результатом задуманного А. А. Будбергом «нововведения явилось бы... распространение в населении убеждения, что все судебные дела, оканчивающиеся смертными приговорами, повергаются на высочайшее благоволение, а следовательно, непосредственно от верховной власти исходят повеления не только о смягчении участи осужденных, но и повеления о приведении приговоров в исполнение».¹⁶ Таким образом, реализация рекомендаций А. А. Будберга, по мнению кабинета, привела бы не к укреплению веры народа в «монаршее милосердие» (как надеялся А. А. Будберг), а возымела бы прямо противоположный эффект. С точкой зрения правительства в итоге согласился и Николай II.

Хотя, как отмечалось, в одних случаях при несовпадении желаний монарха с позицией Совета министров приходилось «капитулировать» монарху, однако в других — это должен был делать кабинет. Убежденный в том, что «сердце царево в руцех божиих», Николай II никогда не считал себя связанным какими-либо особыми обязательствами в отношении своего правительства. Посылая флигель-адъютанта А. Н. Мандрыку в Царицын к скандально известному иеромонаху Илиодору, с которым остро конфликтовали и П. А. Столыпин, и обер-прокурор Синода С. М. Лукьянов, Николай II на замечание другого флигель-адъютанта Н. А. Княжевича, сказавшего,

что «это будет, пожалуй, неприятно Совету министров», ответил (по словам самого Н. А. Княжевича, воспроизведенным в записках А. Н. Шварца), вообще говоря, с несвойственной ему грубостью: «Это мне, простите, наплевать».¹⁷

Санкционировав поначалу одобренную кабинетом столыпинскую программу реформ, Николай II в итоге, скорее, поддержал ее противников, представителей консервативного крыла правительственного лагеря, что обернулось провалом большей части планов председателя Совета министров. «Ваше величество, хотите, по-видимому, опираться на крайних правых, имея умеренный кабинет», — заметил П. А. Столыпин в разговоре с царем.¹⁸ Сказав премьеру: «Нет, я отлично знаю крайних правых», царь, однако, явно не видел ничего ненормального в ситуации, при которой, он, сохраняя у власти «умеренный» кабинет, одновременно прислушивался к голосам критиков кабинета справа. Это полностью отвечало традициям самодержавия, ибо, как констатировал в свое время Н. М. Карамзин, «государь российский внемлет только мудрости, где находит ее...».¹⁹

Вынужденный так или иначе мириться со складывавшейся ситуацией, сам П. А. Столыпин считал ее явно ненормальной. Судя по всему, премьер в принципе полагал, что император не должен принимать каких-либо решений вопреки рекомендациям правительства, а в случае несогласия с ними царю следует призвать к власти новый кабинет, такой, который мог бы давать приемлемые для главы государства советы. Когда же царь, считал П. А. Столыпин, действует вразрез с мнением правительства, «ответственность перелagается на особу государя, чего вообще нельзя допускать».²⁰

Николай II придерживался тем не менее иного мнения. Едва ли не наиболее ярким примером этого явились его действия во время так называемого первого министерского кризиса, разразившегося весной 1909 г.²¹ Как известно, кризис был вызван обсуждением в марте 1909 г. в Государственном совете законопроекта о штатах Морского генерального штаба. Этот правительственный законопроект, одобренный и Государственной думой, резко критиковался правыми членами верхней палаты, доказывавшими, что «штатные дела» по Военному и Морскому министерствам должны решаться царем без участия думы и Государственного совета,²² уже однажды (летом 1908 г.) провалившимися проект. Хотя его вторичное обсуждение в Государственном совете весной 1909 г. завершилось победой правительства, однако защитники прерогатив монарха не сложили оружия и начали добиваться отклонения законопроекта Николаем II. Со своей стороны, П. А. Столыпин в ходе разговора с царем 21 марта 1909 г. попытался убедить его в обратном, а на следующий день (22 марта 1909 г.) направил монарху письмо, в котором подчеркнул, что отклонение императором злополучного законопроекта сделало бы «для правительства в настоящем его составе дальнейшее несение обязанностей невыполнимым».²³ Таким образом, П. А. Столыпин, хотя и в завуалированной форме, но совершенно недвусмысленно, в случае отказа царя санкционировать законопроект о штатах Морского штаба, пригрозил Николаю II как минимум своей отставкой.

Более месяца Николай II не решался вынести окончательный вердикт. В прессе появились сообщения о намерении царя, отклонив законопроект, вознаградить главу правительства в порядке компенсации «званием канцлера». Автор заметки, опубликованной 20 апреля 1909 г. в «Биржевых ведомостях», сообщил читателям о слухах, согласно которым «звание канцлера восстанавливается, но в ином виде. Вместо того, чтобы быть присвоенным исключительно министру иностранных дел, оно реформируется в германском смысле... и присваивается лицу, стоявшему во главе Совета министров», причем

«нынешний премьер получит такой титул». Впрочем, в цитированной заметке упоминалось и о других слухах: будто канцлером и министром иностранных дел планируется сделать И. Л. Горемыкина.²⁴ Трудно сказать, чем были вызваны эти сообщения. Близкий к придворным кругам генерал А. А. Киреев, побеседовав 20 апреля 1909 г. с министром двора В. Б. Фредериксом, записал в своем дневнике: «Из слов Фредерикса должно заключить, что Столыпин будет канцлером иностранных дел».²⁵ Спустя несколько дней, в записи за 25 апреля 1909 г., А. А. Киреев отметил: «Государь будто бы послал курьера за границу к Горемыкину, которому предлагается Министерство (и премьерство) внутренних дел, а Столыпину канцлерство».²⁶ Впрочем, есть сведения о том, что сам И. Л. Горемыкин весной 1909 г. «проводил» в премьеры А. В. Кривошеина.²⁷

Весьма осведомленный журналист Л. М. Клячко (псевдоним — Л. Львов) впоследствии в своих воспоминаниях утверждал, что Николай II, задумав отклонить законопроект о штатах Морского штаба, поначалу якобы вообще принял отставку П. А. Столыпина. При этом премьером царь будто бы решил назначить Б. В. Штюмерера, который весной 1909 г., по-видимому, всерьез готовился возглавить кабинет.²⁸

Возможно, в течение какого-то времени Николай II готов был пойти на увольнение П. А. Столыпина с занимаемых им постов. Между тем премьер сумел заручиться поддержкой своих коллег по кабинету. В ночь с 21 на 22 апреля 1909 г. сложившаяся ситуация рассматривалась Советом министров. В результате длительных дебатов, продолжавшихся с 10 часов вечера 21 апреля до половины третьего (по одним данным) или даже до 3 часов утра (по другим) 22 апреля, «все» министры «согласились уйти вместе со Столыпиным...».²⁹ Как отмечалось в одной заметке, помещенной в «Биржевых ведомостях» (информация об упомянутом заседании кабинета, весьма, впрочем, противоречивая, появилась в прессе), «в руки премьера все министры вложили свою судьбу и свои портфели».³⁰ Коллективная отставка министров, пусть даже не всех (ясно, что «свою судьбу» в руки П. А. Столыпина «не вложили» ввиду специфического статуса соответствующих ведомств, например, военный министр и министр двора), конечно в планы царя не входила. Показательно, что известный правый публицист М. О. Меньшиков, часто отражавший в своих статьях мнение «высоких сфер», в нашумевшей статье «Наши младотурки», появившейся незадолго до заседания кабинета 21—22 апреля и направленной в принципе против думских союзников П. А. Столыпина — октябристов, писал о том, как «трудно для монарха найти не только дюжину министров, но подчас одного вполне надежного». Несомненно обращаясь к П. А. Столыпину, М. О. Меньшиков замечал: «Настаивать, чтобы монарх непременно утверждал мнение своего правительства, „иначе мы уйдем“, — значит оказывать незакономерное давление на верховную власть».³¹

В конце концов в письме П. А. Столыпину 25 апреля 1909 г. Николай II сообщил о своем решении не утверждать законопроект о штатах Морского штаба. При этом царь подчеркнул, что он отвергает просьбу П. А. Столыпина «или кого-либо другого... об увольнении от должности».³² Таким образом, Николай II ясно и недвусмысленно продемонстрировал министрам полное нежелание считаться с их амбициями. Отметим, что В. Н. Коковцов утверждает в своих мемуарах, ссылаясь на заявление премьера по поводу этого письма, будто П. А. Столыпин даже хотя бы только о своей единоличной отставке и не помышлял.³³ В данном случае В. Н. Коковцов, несомненно,

вольно или невольно погрешил против истины. После заседания кабинета в ночь с 21 на 22 апреля 1909 г. (о нем В. Н. Коковцов в своих воспоминаниях вообще не сообщает) П. А. Столыпин заявить такое ему, очевидно, никак не мог.

Во всяком случае первый «министерский кризис» завершился в полном соответствии с традициями «классического» самодержавия. Правда, в течение нескольких дней после получения П. А. Столыпиным письма Николая II от 25 апреля 1909 г. собирались «частые и долгие совещания» членов кабинета,³⁴ которые, по-видимому, обсуждали вопрос о возможной реакции правительства на решение Николая II. В конце концов министры во главе с премьером сочли за благо подчиниться воле монарха. В решении Николая II они видели, однако, не проявление твердости носителя верховной власти, а, скорее, каприз человека, склонного поддаваться разного рода случайным влияниям. «Мне кажется, — сказал А. Н. Шварц П. А. Столыпину, ознакомившись с письмом царя от 25 апреля, — что писал это письмо человек, совсем лишенный воли». «Представьте себе, — ответил премьер, — это те же слова, которые я сказал жене при прочтении письма».³⁵ Проглотив обиду, члены кабинета ощущали себя униженными. «Я во всяком случае желал бы теперь уйти более, чем когда-либо... да и в Совете министров как-то у всех опустили руки», — в таких словах подвел итоги кризиса А. Н. Шварц.³⁶

Нежелание Николая II непременно считаться с «видами» премьера и его кабинета в сущности привело и ко второму «министерскому кризису» правительства П. А. Столыпина — драматическим событиям весны 1911 г., вызванными провалом в Государственном совете (при попустительстве царя) одобренного и Советом министров и думой законопроекта об учреждении земств в шести западных губерниях. Перипетии связанного с этим громкого политического скандала всесторонне освещены в литературе;³⁷ и на них нет необходимости специально останавливаться. Явившийся, как считается, началом конца политической карьеры П. А. Столыпина второй «министерский кризис» формально завершился, правда, его победой (царь отклонил просьбу об отставке и согласился удовлетворить все его требования). При этом дочь П. А. Столыпина в своих воспоминаниях, ссылаясь на рассказ отца, сообщает, что Николай II, убеждая П. А. Столыпина взять назад прошение об отставке, направил ему «удивительное письмо, не письмо даже, а послание в 16 страниц, содержащее как бы исповедь государя во всех делах, в которых он не был с папа достаточно откровенен. Император говорил, что сознает свои ошибки и понимает, что только дружная работа с его главным помощником может вывести Россию на должную высоту. Государь обещал впредь идти во всем рука об руку с моим отцом и ничего не скрывать от него из правительственных дел».³⁸ Если даже царь, действительно, послал главе кабинета такое «удивительное письмо», то об обещаниях, данных в нем премьеру, монарх забыл очень быстро.³⁹

Разрабатывавшаяся П. А. Столыпиным в последние месяцы его пребывания у власти обширная программа преобразований (о ней поведал в своих мемуарах А. В. Зеньковский) предполагала внесение корректив в закон о Совете министров. Ими помимо прочего предусматривалось назначение министров царем только по представлению премьера.⁴⁰ Насколько достоверно вообще свидетельство А. В. Зеньковского о реформаторских замыслах П. А. Столыпина, сказать трудно.⁴¹ Во всяком случае то, что он пишет по поводу планов П. А. Столыпина относительно Совета министров, вполне соответствовало взглядам главы кабинета и ранее стремившегося, как отмечалось, к укреплению своих позиций в механизме государственной власти.

В целом премьерство П. А. Столыпина показало, как сложно и противоречиво шел процесс встраивания реформированного Совета министров в систему управления империи. П. А. Столыпину удалось добиться заметных успехов в деле превращения Совета министров в весьма влиятельный центр власти, с которым должен был так или иначе считаться сам монарх. Эти результаты, однако, не имели под собой прочного институционального фундамента. Любые расчеты правительства в любой момент могли быть опрокинуты вследствие изменений в настроении носителя верховной власти, видевшего в министрах лишь исполнителей его повелений.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Подробнее см.: *Королева Н. Г.* Первая российская революция и царизм: (Совет министров России в 1905–1907 гг.). М., 1982. С. 27–44; Кризис самодержавия в России. 1895–1917. Л., 1984. С. 177, 179–188, 217, 219–221, 223–224, 226–227, 229–230.

² Власть и реформы: От самодержавной к советской России. СПб., 1996. С. 458.

³ Переписка Николая II и Марии Федоровны (1905–1906 гг.) // Красный архив. 1927. Т. 3 (22). С. 167.

⁴ См. например: *Коковцов В. Н.* Из моего прошлого: Воспоминания. 1903–1919 гг. М., 1992. Кн. 1. С. 320.

⁵ Воспоминания В. А. Сухомлинова. М.; Л., 1926. С. 250.

⁶ *Бок М. П.* Воспоминания о моем отце П. А. Столыпине. Л., 1990. С. 168.

⁷ Подробнее см.: *Флоринский М. Ф.* 1) Совет министров и Министерство иностранных дел в 1907–1914 гг. // Вестн. Ленингр. ун-та. Сер. 2. 1978. Вып. 1. № 2. С. 35–39; 2) Совет министров и военные ведомства в 1907–1914 гг. // Актуальные проблемы дореволюционной отечественной истории. Ижевск, 1993. С. 75–86.

⁸ Переписка Николая II и Марии Федоровны. С. 204.

⁹ Александр Иванович Гучков рассказывает...: Воспоминания председателя Государственной думы и военного министра Временного правительства. М., 1993. С. 116.

¹⁰ Николай II. Воспоминания. Дневники. СПб., 1994. С. 198.

¹¹ Кризис самодержавия в России. С. 271.

¹² *Шварц А. Н.* Моя переписка со Столыпиным. Мои воспоминания о государе. М., 1994. С. 61.

¹³ *Тхоржевский И. И.* Последний Петербург: Воспоминания камергера. СПб., 1999. С. 113.

¹⁴ Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1276. Оп. 5. Д. 81. Л. 3.

¹⁵ Там же. Л. 5–6.

¹⁶ Там же. Л. 21.

¹⁷ *Шварц А. Н.* Моя переписка со Столыпиным. С. 67.

¹⁸ *Поливанов А. А.* Из дневников и воспоминаний по должности военного министра и его помощника 1907–1916 гг. М., 1924. Т. 1. С. 70.

¹⁹ *Карамзин Н. М.* Записка о древней и новой России // Ретроспективная и сравнительная политология. М., 1991. С. 213.

²⁰ *Коковцов В. Н.* Из моего прошлого. С. 300.

²¹ Подробнее см.: *Дякин В. С.* Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907–1911 гг. Л., 1978. С. 135–140; Кризис самодержавия в России. С. 467–470.

²² О юридической природе этой коллизии см.: *Дякин В. С.* Сфера компетенции указа и закона в третьеиюньской монархии // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1976. Т. 8. С. 249–253.

²³ Цит. по: *Дякин В. С.* Самодержавие... С. 137.

²⁴ Биржевые ведомости. 1909. 20 апр. (3 мая). На следующий день «Биржевые ведомости» сообщили читателям о том, что П. А. Столыпин получит «звание канцлера», но сохранит за собой только должность председателя Совета министров. На посту же министра внутренних дел его якобы сменит П. Н. Дурново — один из главных оппонентов премьера в Государственном совете.

²⁵ Рукописный отдел Российской государственной библиотеки (РО РГБ). Ф. 126. К-15. Л. 30 об.

- ²⁶ Там же. Л. 32.
- ²⁷ *Поливанов А. А.* Из дневников... С. 65.
- ²⁸ Подробнее см.: *Куликов С. В.* Назначение Бориса Штюмерера председателем Совета министров: Предыстория и механизм // *Источник. Историк. История: Сб. науч. работ.* СПб., 2001. Вып. 1. С. 403–406.
- ²⁹ *Поливанов А. А.* Из дневников... С. 69; *Шварц А. Н.* Моя переписка со Столыпиным. С. 130.
- ³⁰ Биржевые ведомости. 1909. 23 апр. (6 мая).
- ³¹ Новое время. 1909. 15 (28) апр.
- ³² Переписка Н. А. Романова и П. А. Столыпина // *Красный архив.* 1924. Т. 5. С. 120.
- ³³ *Коковцов В. Н.* Из моего прошлого. С. 298–301.
- ³⁴ *Шварц А. Н.* Моя переписка со Столыпиным. С. 130.
- ³⁵ Там же. С. 73.
- ³⁶ Там же. С. 130–131.
- ³⁷ *Аврех А. Я.* Столыпин и Третья дума. М., 1968. С. 318–366; *Дякин В. С.* Самодержавие... С. 212–228; Кризис самодержавия в России. С. 494–495 и др.
- ³⁸ *Бок М. П.* Воспоминания о моем отце П. А. Столыпине. С. 326.
- ³⁹ *Зырянов П. Н.* Петр Столыпин: Политический портрет. М., 1992. С. 109–110.
- ⁴⁰ *Зеньковский А. В.* Правда о Столыпине. М., 2002. С. 101–102.
- ⁴¹ Подробнее см.: *Федоров Б. Г.* Петр Столыпин: «Я верю в Россию»: Биография П. А. Столыпина. СПб., 2002. Т. 2. С. 70–79.

Е. Е. Петрова

КОЛЛЕКТИВНОЕ ВЕЛИКОКНЯЖЕСКОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1916 г.: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

В ночь на 17 декабря 1916 г. в Петрограде был убит Г. Е. Распутин. Согласно общепринятой версии, непосредственными участниками заговора были великий князь Дмитрий Павлович, князь Ф. Ф. Юсупов-Сумароков-Эльстон, депутат Государственной думы В. М. Пуришкевич, врач санитарного поезда В. М. Пуришкевича С. Лазаверт и капитан А. С. Сухотин. Известно, что в наказание за участие в убийстве великий князь Дмитрий Павлович был отправлен по приказу императора Николая II в действующую армию, ведущую бои в Персии. Он отбыл к месту расположения войск 23 декабря 1916 г., а 29 декабря 1916 г., спустя 5 дней, было написано коллективное прошение великих князей с просьбой о смягчении наказания для великого князя и перемене места ссылки на одно из имений Дмитрия Павловича. В различных исторических исследованиях, рассматривающих проблемы взаимоотношений великих князей и последнего российского императора, о коллективном прошении великих князей упоминается как о попытке выступления в защиту Дмитрия Павловича. Однако настораживает тот факт, что со времени отбытия Дмитрия Павловича к месту своей ссылки прошло 5 дней и изменить что-либо в судьбе великого князя было уже практически невозможно. Детальное рассмотрение тех событий, которые предшествовали написанию великокняжеского прошения, а также следовали за ним, позволяют несколько по-иному взглянуть на данную проблему.

19 декабря 1916 г. в 6 часов вечера Николай II прибыл из Ставки в Царское Село, о чем свидетельствует запись в Камер-фурьерском журнале.¹ В 11 часов вечера царь

принимал великого князя Павла Александровича (отца великого князя Дмитрия Павловича. — *Е. П.*). Инициатива встречи исходила лично от Павла Александровича, поскольку, приехав в Петроград, он не имел времени переговорить с другими великими князьями.

Позднее великий князь вспоминал об этом разговоре: «„За что арестован мой Дмитрий?“ — задал я вопрос царю. Николай Романов ответил: „За убийство Распутина“. — „Надо сейчас же освободить его из-под ареста“, — заявил я. — „Хорошо, пока нельзя, завтра напишу, — а пока прощай“. Утром следующего дня мне вручили письмо. „Дорогой друг, Павел. Я не могу, к сожалению, отменить домашний арест Дмитрия, пока предварительное следствие не будет закончено. Приказал с этим поторопиться, а также, чтобы Дмитрия охраняли бережно... Молю Господа Бога, чтобы Дмитрий вышел честным и незапятнанным ни в чем. Сердечно твой Николай“».²

Можно предположить, что эта встреча не была столь краткой, как это представляет Павел Александрович. Однако даже в этом отрывке разговора прослеживается позиция великого князя: безусловное освобождение Дмитрия Павловича из-под ареста. С его точки зрения, на великих князей не распространялись нормы уголовного права. Того же мнения придерживались и другие великие князья.

Для того чтобы узнать о встрече Павла Александровича с Николаем II, а также о его свидании с Дмитрием Павловичем, 21 декабря во дворце великого князя Андрея Владимировича собрались великие князья: Мария Павловна, ее сыновья Кирилл и Борис Владимировичи, Павел Александрович и спешно прибывший из Киева Александр Михайлович. Хозяин дворца записал в своем дневнике: «Дядя Павел передал про свидание с Дмитрием, и как он на образе и портрете матери поклялся ему, что в крови этого человека рук не марал. Цель совещания заключалась в том, посылать ли Ники или нет заготовленный ответ, и прочел письмо, которое мы все одобрили».³ Об этом первом коллективном письме есть упоминание в статье, опубликованной в первые дни после Февральской революции в газете «Биржевые новости».⁴ Можно предположить, что это письмо являлось прообразом послания, подписанного и отправленного великими князьями 29 декабря. Однако доказать это невозможно. На встрече великие князья также обсуждали, что они будут делать в том случае, если Николай II не освободит Дмитрия Павловича и поведет следствие до конца. Однако, кроме опасения нежелательных осложнений, ничего не придумали.⁵ Великий князь Андрей Владимирович пишет в своем дневнике о решении вновь отправить к императору великого князя Павла Александровича, который должен был представить всю опасность создавшегося положения.⁶ Но к императору отправился не он, а великий князь Александр Михайлович.

Итак, на следующий день, 22 декабря в 11 часов утра Николай II принимал великого князя Александра Михайловича.⁷ С одной стороны, в своих воспоминаниях великий князь утверждает, что заступиться за Дмитрия и Феликса его просили члены императорской семьи.⁸ Андрей Владимирович записал в своем дневнике: «Разговор с Ники он вел в духе, как мы решили на совещании с дядей Павлом, что все надо прекратить и никого не трогать, в противном случае могут быть крайне нежелательные осложнения».⁹ С другой стороны, данный визит был, вероятно, также продиктован личным стремлением великого князя. Если следовать его воспоминаниям, то он единственный из великих князей воспринял убийство Г. Е. Распутина как «тяжкое преступление». Он был поражен, приехав в Петроград из Киева, «атмосферой обычных слухов и мерзких сплетен, к которым присоединилось злорадное ликование по поводу убийства Распутина и

стремление прославлять Феликса и Дмитрия Павловича».¹⁰ При таком отношении к убийству вряд ли великие князья просили бы Александра Михайловича оказать влияние на ход дела. Отметим, что воспоминания великого князя были написаны спустя годы после этой встречи, уже в эмиграции великий князь Александр Михайлович хотел представить себя сторонником императора, а не великих князей, поэтому он описывает этот визит как встречу двух старых друзей и родственников. «Я молил Бога, чтобы Ники встретил меня сурово. Меня ожидало разочарование. Он обнял меня и стал со мною разговаривать с преувеличенной добротой. Он меня знал слишком хорошо, чтобы понимать, что все мои симпатии на его стороне, и только мой долг отца по отношению к Ирине (дочь великого князя Александра Михайловича была замужем за Ф. Ф. Юсуповым. — Е. П.) заставил меня приехать в Царское Село». Александр Михайлович «произнес защитительную, полную убеждения речь», призвав Николая II «не смотреть на Феликса и Дмитрия Павловича, как на обыкновенных убийц, а как на патриотов, пошедших по ложному пути и вдохновленных желанием спасти родину», он сразу же согласился с императором, что «никто — будь то великий князь или же простой мужик — не имеет права убивать».¹¹

Однако Александр Михайлович был настроен более радикально, чем остальные представители императорской семьи, хотя впоследствии пытался это тщательно скрыть. Отправившись обратно в Киев, Александр Михайлович начал писать письмо, содержащее политические требования. Поэтому очень сомнительно, чтобы во время встречи он выступал только в роли просителя за судьбу заговорщиков. Он требовал большего. И об этом имеются свидетельства.

Так, согласно воспоминаниям А. А. Вырубовой, «великий князь заявился со старшим сыном во дворец. Оставив сына в приемной, он вошел в кабинет государя и от имени семьи требовал прекратить следствие по делу убийства Распутина, в противном случае, он грозил чуть ли не падением престола. Великий князь говорил так громко и дерзко, что голос его слышали посторонние, так как он почему-то и дверь не притворил в соседнюю комнату, где ожидал его сын. Государь говорил после, что он не мог сам оставаться спокойным, до такой степени его возмущало поведение великого князя, но в минуту разговора он безмолвствовал».¹² Косвенно такую версию событий подтверждает и сам Александр Михайлович в своем письме к Николаю II, которое он начал писать три дня спустя. В нем он пишет, что «просил разрешения говорить, как на духу», и, получив его, затронул в речи «почти все вопросы», которые, как он считал, волновали их обоих.¹³ Упоминание угроз содержится в цитировавшемся выше отрывке из дневника Андрея Владимировича о «нежелательных осложнениях». Поэтому визит Александра Михайловича вряд ли был любезной встречей родственников.

За свое недолгое пребывание в Петрограде Александр Михайлович встречался не только с Николаем II, но и с министрами — Н. А. Добровольским, министром юстиции, от которого требовал, чтобы дело было прекращено;¹⁴ с бывшим председателем правительства А. Ф. Треповым, который, по его же словам, в этом вопросе был «совершенно беспомощным».¹⁵ Наконец, он посетил и министра внутренних дел А. Д. Протопопова. Выбор посещенных им министров был не случаен.

Согласно дневнику Андрея Владимировича, лишь два министра — «Трепов и Макаров настаивали в Царском Селе на прекращении дела».¹⁶ Т. е. другими словами выступили союзниками великих князей.

Великий князь Николай Михайлович — известный историк, придерживающийся либеральных взглядов, еще в ноябре 1916 г. оказывал поддержку А. Ф. Трепову. Более того, А. Ф. Трепов частично обязан был своим назначением Николаю Михайловичу. Именно он информировал великого князя о событиях, связанных с убийством Г. Е. Распутина, пытался защитить Дмитрия Павловича от агентов А. Д. Протопопова. За свою позицию, по мнению великого князя Николая Михайловича, «Трепов пал...».¹⁷ «Не желая участвовать в судебных спекуляциях, оставил свое место Макаров. Именно с этого момента началось абсолютное царствование господина Протопопова».¹⁸ Министра юстиции А. А. Макарова сменил Н. А. Добровольский, ставший вслед за А. Д. Протопоповым яростным противником прекращения дела.

23 декабря 1916 г. вечером великие князья узнали о ссылке Дмитрия Павловича в Персию, в отряд генерала Баратова. Согласно записям в дневнике Андрея Владимировича, великие князья собрались для того, чтобы «решить, что предпринять. Попытаться ли спасти Дмитрия и помешать его отъезду или предоставить событиям идти своей чередой».¹⁹ Решили последнее. Это решение принимали великие князья Андрей и Кирилл Владимировичи, Гавриил Константинович и великая княгиня Мария Павловна. Позднее их поддержал и великий князь Александр Михайлович.

Единственное, что в этот момент предприняли великие князья, несмотря на позднее время (было около 12 часов ночи), — позвонили по телефону председателю Государственной думы М. В. Родзянко.²⁰ М. В. Родзянко отказался приехать из-за позднего часа, а также из-за боязни вызвать излишние толки. Председатель думы явно не хотел приезжать. Это подтверждается тем, что в своих воспоминаниях М. В. Родзянко говорит даже не об одном, а о двух последовательных звонках великой княгини Марии Павловны.

Настойчивость великих князей была не случайна. Андрей Владимирович называет лишь одну из причин: беспокойство за судьбу Дмитрия Павловича. Но была и другая. Великие князья только что потеряли своих союзников в правительстве в лице А. Ф. Трепова и А. А. Макарова и стали искать поддержки у М. В. Родзянко. Однако в своем выборе они явно ошиблись.

Отказавшись приехать 23 декабря в 12 часов ночи, М. В. Родзянко все же посетил великую княгиню Марию Павловну на следующий день в 2 часа 30 минут. Это подтверждает в своем дневнике близкий к председателю Государственной думы Я. В. Глинка.²¹ При разговоре присутствовали Кирилл и Андрей Владимировичи. «Родзянко стоял на своей точке зрения, что непосредственно он нам в этом деле помочь не может, не имея власти, но морально он, безусловно, на нашей стороне».²² В разговоре были также затронуты министерские перестановки. По мнению М. В. Родзянко, на эти назначения «в Думе будут реагировать очень серьезно».²³

Обещая великим князьям лишь моральную поддержку, М. В. Родзянко в свою очередь решил не упустить удобного случая и попросил их «оказать ему содействие в скорейшем приеме у императора», так как «12 января будет созвана Дума. Он предвидит, что заседание будет бурное, и во что выльется, он предусмотреть не может, но, во всяком случае, ему необходимо сперва видеть Ники, который до сих пор его еще не принял».²⁴ Сам М. В. Родзянко дает несколько иную трактовку разговора.

В своих воспоминаниях он называет это «странным свиданием». Вопрос о ссылке Дмитрия Павловича он даже не затрагивает. Согласно М. В. Родзянко, великая княгиня говорила о внутреннем положении, о бездарности правительства, об А. Д. Протопопове

и об императрице, намекнув даже на необходимость ее физического «устранения». Однако М. В. Родзянко не собирался устраивать подобный заговор.²⁵

Между тем мысли о новом заговоре бродили в умах многих великих князей. В ту же ночь, когда великая княгиня Мария Павловна звонила М. В. Родзянко, великий князь Николай Михайлович сделал следующую запись:

«23 декабря. Половина третьего утра. Только что проводил Дмитрия Павловича, Феликс уехал раньше в Ракитное. Мое почтение, кошмар этих шести дней кончился! А то и сам на старости лет попал бы в убийцы, имея всегда глубочайшее отвращение к убийству ближнего и ко всякой смертной казни.

Не могу еще разобраться в психике молодых людей. Безусловно, они невропаты, какие-то эстеты, и все, что они совершили, — хотя очистили воздух, но — полумера, так как надо обязательно покончить и с Александрой Федоровной и с Протопоповым. Вот видите, снова у меня мелькают замыслы убийств, не вполне еще определенные, но логически необходимые, иначе может быть еще хуже, чем было... С Протопоповым еще возможно поладить, но каким образом обезвредить Александру Федоровну? Задача — почти невыполнимая. Между тем время идет, а с их отъездом и Пуришкевича я других исполнителей не вижу и не знаю. Но ей-ей, я не из породы эстетов и еще менее убийц, надо выбраться на чистый воздух. Скорее бы на охоту в леса, а здесь, живя в этом возбуждении, я натворю и наговорю глупости».²⁶

«Глупости» Николай Михайлович вскоре «натворил и наговорил», но об этом речь пойдет ниже. Отметим желание великого князя поехать на охоту и тот факт, что главные идеи ночной записи Николая Михайловича во многом повторяют содержание разговора великой княгини Марии Павловны с М. В. Родзянко в передаче председателя Государственной думы. Этому не приходится удивляться, 23 декабря, видимо, еще до звонка великой княгини Марии Павловны М. В. Родзянко, Николай Михайлович встречался с председателем Государственной думы и имел с ним «большую беседу».²⁷

Брат великого князя Николая Михайловича, Александр Михайлович, направляющийся в Киев в поезде со своей дочерью Ириной и зятем Ф. Ф. Юсуповым, участником антираспутинского заговора,²⁸ на следующий день начал писать письмо императору. В отличие от других писем данное послание было написано в несколько приемов, в течение месяца, с 25 декабря 1916 г. по 25 января 1917 г. Оно было отослано только 4 февраля. Ниже рассмотрена лишь часть письма, написанная 25 декабря, т. е. сразу после декабрьских событий в Петрограде.

В этом письме Александр Михайлович как бы продолжает свою беседу с Николаем II, которая произошла в столице: «Я считаю, что после всего мною сказанного, я обязан говорить дальше».²⁹ Интересно, что главной темой для продолжения разговора является вовсе не судьба Ф. Ф. Юсупова и великого князя Дмитрия Павловича, а вопрос о составе Совета министров.

Александр Михайлович не предлагает никаких действенных мер, не называет каких-либо фамилий или ведущих идей программы. Главным принципом будущего правительства, с его точки зрения, является доверие между царем и председателем Совета министров, а также между народом и министрами. Единство всего Совета министров в политических вопросах он также считает одним из решающих факторов. Таким образом, выход из создавшегося положения, по мнению Александра Михайловича, — перестановки в Совете министров. Что касается программы действий, то единственное

требование к ней — чтобы «раз установленная программа ни в коем случае не менялась». Но несмотря на приблизительность мер, о которых пишет великий князь, его письмо явилось первым посланием, содержащим примерный план политических преобразований.

Такое содержание письма, вероятно, вызвано не столько убийством Г. Е. Распутина, сколько последовавшими вслед за этим министерскими перестановками. Общение Александра Михайловича с вновь назначенными министрами и с самим Николаем II побудило его написать о необходимости единства действий министров. Все это самым тесным образом перекликается с содержанием разговора между великой княгиней Марией Павловной и М. В. Родзянко. Внутреннее положение, бездарность правительства, А. Д. Протопопов, никак не согласовывавший свои действия с другими министрами, — вот темы, волнующие великих князей в эти дни.

Вернемся в Петроград. При анализе событий тех дней привлекают внимание факты, связанные с великим князем Николаем Михайловичем. Мы уже рассматривали выше его запись с замыслами о заговоре против А. Д. Протопопова и императрицы, написанную в ночь высылки Дмитрия Павловича, 23 декабря 1916 г. Однако свои мысли он доверил не только бумаге. 23 декабря он говорил об этом и с М. В. Родзянко.

И вообще, как отмечали многие его современники, великий князь Николай Михайлович не умел хранить секреты. В эти дни он встречался с полковником Б. А. Энгельгардтом, который вспоминал, что великий князь «в своих отзывах о царской семье был довольно несдержан».³⁰ Отметим, что Николай Михайлович говорил об этом практически с незнакомым человеком. Один из критиков великого князя А. А. Мосолов писал: «В яхт-клубе, где его любили слушать, едкая критика великого князя немало способствовала ослаблению режима. Всеразлагающий сарказм порождает в обществе болезненное отрицание авторитета царской власти».³¹

Сам Николай Михайлович в своих записках писал об этом клубе, что в нем «открыто критиковались поступки и поведение молодой императрицы, рожденной принцессы гессенской».³²

28 декабря вечером, т. е. за день до написания коллективного прошения великими князьями, Николай Михайлович был вызван по телефону прямо из яхт-клуба к министру двора, графу В. Б. Фредериксу. Сам великий князь так описывает их встречу в письме своему другу, французскому историку Ф. Массону: «Граф Фредерикс ... в сбивчивых выражениях уведомил меня о недовольстве Суверена речью, произнесенной мною в яхт-клубе и в других местах».³³ Некоторые подробности этой встречи со слов самого Николая Михайловича записал в своем дневнике великий князь Андрей Владимирович: «Гр. Фредерикс был бодр, но по его лицу видно, что он имел сообщить мне не что-то неприятное — нет, но нечто удивительное. Затем предложил мне сигару. После этого он прочел мне недавно полученное им письмо от государя, примерно следующего содержания: „До меня со всех сторон доходят сведения, что Николай Михайлович в яхт-клубе позволяет себе говорить неподобающие вещи. Передайте ему, чтоб он прекратил эти разговоры, а в противном случае я приму соответствующие меры”».³⁴

Министр двора попросил Николая Михайловича немедленно дать письменные объяснения императору, что тот и сделал. Сам великий князь пишет Ф. Массону о том, что он признавался в этом документе, что «поносил господина Протопопова», но отрицал другие вольности речи.³⁵ Дальнейший текст ответа более подробно передан в дневнике

Андрея Владимировича: «„Как раз в последнее время я редко посещаю яхт-клуб... Пороков у меня много, язык без костей. Единственная может быть моя вина, что еженедельно пишу Марии Федоровне (вдовствующей императрице. — Е. П.) подробное письмо о текущих событиях, по силе своего разума и совести. В этих письмах я пишу все, не стесняясь ничем, и говорю свое мнение, не стесняясь ни лицами, ни другими соображениями. Ежели, тем не менее, мое присутствие в столице будет признано нежелательным, то я уеду в свое имение. В заключение должен еще раз повторить, что возведенное на меня обвинение несправедливо и считаю себя невиновным”».³⁶

Ответ великого князя напоминает в чем-то ответ напроказившего ребенка. С одной стороны, он пытается снять с себя ответственность («Пороков у меня много, язык без костей»). С другой стороны, отстаивает свое мнение, но при этом дерзит, рассказывая, что обо всем пишет матери императора. Зная о длительном противостоянии жены и матери Николая II, он буквально подливает масла в огонь их вражды. Одновременно, упоминая мать-императрицу, он называет своего высокого покровителя. В письме также заметна определенная боязнь ссылки и повторения судьбы Дмитрия Павловича: «Я уеду в свое имение». При этом поражает сходство этой мысли с основным содержанием коллективного прошения великих князей, написанного на следующий день.

Граф В. Б. Фредерикс обещал послать ответ Николаю Михайловичу, или, как он сам его назвал, «бумажку», в тот же вечер,³⁷ но Николай II получил его лишь на следующий день, 29 декабря. Со слов министра двора Николай Михайлович потом напишет Ф. Массону, что «император ее (бумажку. — Е. П.) прочел и выразил желание сохранить; но граф Фредерикс ее забрал, опасаясь, что бумага попадет в руки гессенской тигрицы (императрицы Александры Федоровны. — Е. П.), сказав, что обязан поместить ее в архивы Императорского Двора».³⁸

Фраза из письма Николая II о «соответствующих мерах», видимо все-таки напугала Николая Михайловича. Причем испугался он не только за себя, но и за остальных великих князей, которые также говорили между собой об устранении императрицы. Это грозило положению всего великокняжеского окружения. Поэтому на следующий день, 29 декабря 1916 г. он без предупреждения приехал к великой княгине Марии Павловне.

Об этом визите сохранилось упоминание в двух источниках: дневнике Андрея Владимировича и воспоминаниях французского посла М. Палеолога. И хотя последний часто подвергается острой критике историков и источниковедов за многочисленные неточности, а порой и откровенные фантазии, в отношении данного эпизода оба источника во многом совпадают и частично дополняют друг друга.

Завтрак во дворце сына Марии Павловны, великого князя Кирилла Владимировича, начался около часу дня. Характерно, что, по воспоминаниям М. Палеолога, разговор касался «внутреннего кризиса, великой грозы, циклона, который начинается на горизонте».³⁹ После завтрака слуга доложил, что прибыл Николай Михайлович. И хотя французского посла оставили вместе с Андреем Владимировичем в другой комнате, сквозь приоткрытую дверь он увидел прибывшего великого князя: «Лицо его красно, глаза серьезные и пылают, корпус выпрямлен, грудь выпячивается вперед, поза воинственная».⁴⁰ Возможно, французский посол несколько преувеличил возбуждение Николая Михайловича, но его взволнованность можно понять. Его настроение подтверждают и замечание Андрея Владимировича о том, что великий князь громко говорил,⁴¹ и последовавшие затем события.

«Пять минут спустя великая княгиня вызывает сына», — вспоминает французский посол.⁴² По воспоминаниям Андрея Владимировича, Николай Михайлович рассказал о своем вызове к графу В. Б. Фредериксу, а затем стал говорить о ситуации в России как о движении к неминуемой катастрофе, о необходимости в грядущих тяжелых событиях «забыть семейные распри и быть всем солидарными», о том, что «последние назначения министров еще более подлили масла в огонь, при этих условиях открытие Думы будет невозможным».⁴³ Примечательна фраза дневника Андрея Владимировича, написанная вслед за этим: «В этом духе он развивал свои мысли, но все написать считаю пока неудобным».⁴⁴ О чем же считал неудобным написать Андрей Владимирович?

Согласно воспоминаниям М. Палеолога, великая княгиня передала ему, вернувшись в комнату, лишь вторую часть разговора, из которой посол сделал вывод, что среди князей зрел заговор. В этом французский посланник, конечно же, ошибался: о настоящем заговоре речи не шло, наоборот, великие князья вынуждены были расплачиваться лишь за свои разговоры о нем. Далее М. Палеолог приводит разговор с великой княгиней, в котором та, якобы, даже обмолвилась о возможности цареубийства:

«„Что делать! — воскликнула великая княгиня. — Кроме той, от которой все зло, никто не имеет влияния на императора. Вот уже 15 дней мы все силы тратим на то, чтобы попытаться доказать ему, что он губит династию, губит Россию, что его царствование, которое могло бы быть таким славным, скоро закончится катастрофой. Он ничего слушать не хочет. Это трагедия... Мы, однако, сделали попытку коллективного обращения, — выступления императорской фамилии. Именно об этом приходил говорить со мной великий князь Николай”».

Мы молча смотрим друг на друга. Она догадывается, что я имею в виду драму Павла I, потому что она отвечает с жестом ужаса:

„Боже мой! Что будет?”».⁴⁵

Их диалог прерывает слуга, сообщающий, что «вся императорская фамилия собралась в соседнем салоне и ждет только ее, чтобы приступить к совещанию».⁴⁶ Результатом его явилось создание коллективного послания.

Вряд ли можно согласиться с использованием этого диалога в «Истории Гражданской войны в СССР», изданной в 1936 г., как одного из доказательств существования заговора буржуазии. Наоборот, совершенно точен комментарий В. С. Дякина в его монографии «Буржуазия и царизм в годы Первой мировой войны» к этому разговору: «Великокняжеский заговор, если он вообще имел место, свидетельствовал больше о растерянности, чем о серьезных планах».⁴⁷

Однако в данном случае нас интересует то, что инициатором великокняжеского прошения был великий князь Николай Михайлович. Согласно дневнику Андрея Владимировича, к половине третьего во дворец «приехали Мари, Иоаннчик, Ellen, Гавриил, Костя, Игорь, Сергей Михайлович, Кирилл и Деки»⁴⁸ (великая княгиня Мария Павловна мл., князь Иоанн Константинович, княгиня Елена Петровна, князь Гавриил Константинович, князь Игорь Константинович, великие князья Сергей Михайлович, Кирилл Владимирович, великая княгиня Виктория Федоровна. — *Е. П.*). Если учесть, что завтрак начался в час дня, а Николай Михайлович приехал после его окончания, то эта запись означает, что во дворец прибыло 9 (!) великих князей самое большее за 45 минут! Великие князья не собирались в течение недели с момента высылки Дмитрия Павловича. Такая поспешность могла быть вызвана только одной причиной:

боязнью за собственную судьбу. Именно об этом испытанном им чувстве, страхе, и разговорах о нем и боялся Андрей Владимирович написать в своем дневнике. Зато он отметил, что «все семейство крайне возбуждено, в особенности молодежь, их надо сдерживать, чтобы не сорвались».⁴⁹

Характерным совпадением является и тот факт, что в тот же день, 29 декабря, из Москвы Николаю II направила письмо великая княгиня Елизавета Федоровна, сестра императрицы, в котором она предлагает рассматривать убийство Г. Е. Распутина как «дуэль, и считать актом патриотизма».⁵⁰

В страхе за собственную судьбу великие князья принимали решение о том, что делать. Выступить открыто не хватало смелости: «Во время сегодняшнего сбора обсуждали возможное приглашение на 1 января в Царское Село и что делать. Николай Михайлович заявил нам сегодня, что не поедет ни за что в Царское Село, так как не желает целовать руки... Но все же решили ехать».⁵¹ Писать коллективное письмо с политической программой для великих князей было немыслимо не только из-за того, что ее у них не было. Выступить в защиту Николая Михайловича, разгласившего великокняжеские разговоры, означало для великих князей опасность тоже быть высланными из Петрограда. Тогда, вероятно, и пришло решение возобновить старую попытку отправить коллективное прошение об изменении места ссылки для Дмитрия Павловича. Однако если подставить в письмо имя Николая Михайловича, а вместо названия имения Усово — имение Грушевка, принадлежавшее этому великому князю, тогда становится понятен истинный смысл письма. Теперь вместо имени «Дмитрий Павлович» каждый из великих князей мог поместить свое собственное имя.

Умоляя Николая II сменить гнев на милость, великие князья защищали в первую очередь самих себя. Они были против самой возможности ссылки кого-либо из них, понимая, что на следующий день может наступить черед следующего. Здесь явно проглядывает аристократический снобизм великокняжеской семьи: «Вашему Величеству должно быть известно, в каких тяжелых условиях находятся наши войска в Персии...» и «Пребывание там великого князя будет равносильно для него полной гибели...». Голубая кровь великих князей позволяла им проводить границу между собой и «пушечным мясом» рядовых солдат.

Разговоры и страх ссылки в великокняжеской среде дошли до великого князя Александра Михайловича, находящегося в Киеве. 2 января 1917 г. он писал своему брату великому князю Николаю Михайловичу: «Дошли слухи, что будто бы Государь желает во что бы то ни стало выслать меня из Киева, но этому противятся окружающие и даже А. (Александра Федоровна. — Е. П.), не особенно в это верю, но возможно, проживем-увидим».⁵² Слухи о высылке Александра Михайловича из Киева действительно были сомнительны.

Ни в одном другом великокняжеском послании так явно не выражена подобострастность и верноподданность, как в коллективном письме. Обращает на себя внимание и высокий слог прошения. «Горячо и усиленно», «смягчить ваше суровое решение относительно судьбы», «глубоко потрясен», «горячей любовью было всегда полно его сердце», «в каких тяжелых условиях», «ввиду... эпидемий и других бичей человечества», «горячо преданные и сердечно любящие» — ни одно предложение не обошлось без высокопарных оборотов. Все вместе звучит достаточно фальшиво, особенно для близко знавшего их человека, каким был Николай II.

Тогда не приходится удивляться сухости и строгости его резолюции в ответ на эту высокопарность: «Никому не дано право заниматься убийством. Знаю, что совесть многим не дает покоя, так как не один Дмитрий Павлович в этом замешан. Удивляюсь вашему обращению ко мне. Николай».⁵³

Намек Николая II на причастность многих великих князей если не к реальному заговору, то к разговорам о нем становится совершенно ясен в свете вышеприведенной версии о коллективном письме. Более того, в столь суровом ответе чувствуется и рука императрицы, всегда настаивавшей на том, чтобы ее муж был тверже в обращении со своими родственниками. Наконец, фраза «Удивляюсь вашему обращению ко мне» передает всю степень разочарования и возмущения Николая «предательством» великих князей, оставивших в тяжелую минуту императорскую чету в полной изоляции.

Поражение великих князей становится еще более очевидным, если учесть, что через день после написания письма был отправлен в ссылку Николай Михайлович, правда не в Персию, а в собственное имение Грушевку. Эта ссылка еще одного великого князя — отвержение коллективного прошения, притом, что местом ссылки было выбрано имение, — удовлетворение просьбы послания — являлась подлинным ответом Николая II на обращение великих князей. Этим он говорил им, что, признавая их родственную близость и принимая во внимание их просьбы, он не позволит им командовать собой.

Резкость ответа Николая II можно объяснить не только его осведомленностью о разговорах великих князей, но и тем, что Николай Михайлович продолжал вести себя вызывающе. 29 декабря 1916 г., т. е. в тот же день, когда было написано коллективное прошение, он вновь встретился с графом В. Б. Фредериксом. «Я объявил ему самым четким образом, что воздержусь от появления на встрече Нового года в Царском, чтобы не провоцировать, как всегда, инцидента с Мессалиной Дармштадской (Александрой Федоровной. — *Е. П.*). Старик стал смеяться и закончил заверениями, что все уладит», — писал великий князь в письме Ф. Массону.⁵⁴ Неудовлетворенный этим обещанием Николай Михайлович направил утром 31 декабря письмо Николаю II.

В письме Николай Михайлович просил распоряжений о подготовке будущей послевоенной конференции. «Это было достаточно умно придумано», — замечает он о собственной идее.⁵⁵ Фактически подобной просьбой он ставил Николая II перед выбором: либо он допускает Николая Михайловича к политической деятельности, либо полностью отвергает его.

В тот же день великим князьям было возвращено их прошение с резолюцией, которая была процитирована и проанализирована выше. А 15 минут спустя после Нового года фельдъегерь принес Николаю Михайловичу ответ императора на его личное письмо: «Очевидно, что граф Фредерикс все преувеличил: он должен был передать тебе мое устное распоряжение покинуть столицу и на два месяца поселиться в твоём имении Грушевке. Я прошу тебя сообразоваться с моими указаниями и не появляться на завтрашней встрече. Воздержись от занятий делами будущей конференции. Я возвращаю тебе бумаги, касающиеся комиссии по столетнему юбилею Александра II. Ники».⁵⁶

Николай Михайлович отстранялся от дел и высылался в имение. Все двусмысленности последних дней были свалены на престарелого министра двора. Скандал на новогоднем приеме из-за возможного отказа великого князя целовать руку императрице был предотвращен. Сам Николай Михайлович отмечал «авторитарный тон» в начале и

«Я прошу тебя» потом, так же как и подпись уменьшительным именем вместо Николая. «Заметно и психическое расстройство мужа Мессалины (Николая II. — Е. П.), но в этот раз записка выдержана в таких выражениях, в которых чувствуется отсутствие ее влияния».⁵⁷ И действительно: подпись «Ники» оставляла некоторую надежду на восстановление отношений в будущем.

Ссылка в имение Грушевку была по сути удалением из столицы человека, который не столько представлял угрозу для царствующих особ, сколько лишь подрывал их авторитет своими разговорами в yacht-клубе. Убежденность императорской четы в его причастности к событиям 17 декабря 1916 г. говорит не об их осведомленности, а лишь о большой неприязни и предубежденности против Николая Михайловича. Великий князь выехал в имение вечером 1 января.

Таким образом, великокняжеское послание лишь частично достигло своей цели. Если в 1916 г. великие князья выступали оппозиционно по отношению к императору и его политике, исходя из своих убеждений и личных мотивов, то к началу 1917 г. они превратились в оппозиционеров из страха за свою судьбу. Это во многом определило их позицию во время Февральской революции.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Камер-фурьерский журнал императора Николая II. Запись 19 декабря: Российский государственный исторический архив (далее — РГИА). Ф. 516 (доп.). Оп 1. Д. 21. Л. 94.

² Русская воля. 1917. № 10. 11 марта.

³ Из дневника А. В. Романова за 1916–1917 гг. // Красный архив 1928. Т. 1 (26). С. 187.

⁴ Вчера и сегодня // Биржевые новости. 1917. 9 марта. С. 1.

⁵ Из дневника А. В. Романова за 1916–1917 гг. С. 188.

⁶ Там же.

⁷ Камер-фурьерский журнал императора Николая II. Запись 22 декабря. Л. 97.

⁸ Великий князь Александр Михайлович. Книга воспоминаний. М., 1991. Т. 2. С. 219.

⁹ Из дневника А. В. Романова за 1916–1917 гг. С. 188.

¹⁰ Великий князь Александр Михайлович. Книга воспоминаний. С. 219.

¹¹ Там же. С. 220.

¹² Вырубова-Танеева А. А. Царская семья во время революции; Из книги «Страницы моей жизни» // Февральская революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев. М.; Л., 1925. С. 386.

¹³ Николай II и великие князья: Родственные письма к последнему царю / Под ред. В. П. Семенникова. М., 1925. С. 117.

¹⁴ Вырубова-Танеева А. А. Царская семья во время революции. С. 386.

¹⁵ Из дневника А. В. Романова за 1916–1917 гг. С. 188–189.

¹⁶ Там же. С. 188.

¹⁷ Grand Duc Nikolas Mikhalovitch: La fin du tsarisme: Lettres inedites á Frederic Masson. (1914–1918). Paris, 1968. P. 144.

¹⁸ Ibid. P. 144.

¹⁹ Из дневника А. В. Романова за 1916–1917 гг. С. 188.

²⁰ Там же. С. 189.

²¹ Глинка Я. В. Одиннадцать лет в Государственной думе. 1906–1917: Дневник и воспоминания. М., 2001. С. 171.

²² Из дневника А. В. Романова за 1916–1917 гг. С. 188.

²³ Там же.

²⁴ Там же.

²⁵ Родзянко М. В. Крушение империи. Харьков, 1990. С. 201–202. Автор по ошибке относит разговор к началу января («примерно в это ... время»), хотя он происходил 24 декабря.

- ²⁶ Записки Н. М. Романова // Красный архив. 1931. Т. 6. С. 97–98, 101–102.
- ²⁷ Глинка Я. В. Одиннадцать лет в Государственной думе. 1906–1917. С. 171.
- ²⁸ Великий князь Александр Михайлович. Книга воспоминаний. С. 220.
- ²⁹ Николай II и великие князья. С. 117.
- ³⁰ ОР РНБ. Ф. 1052. Д. 23. Энгельгардт Б. А. Л. 27.
- ³¹ Мосолов А. А. При дворе последнего императора. СПб., 1992. С. 146.
- ³² Записки Н. М. Романова. С. 106–107.
- ³³ Grand Duc Nikolas Mikhailovitch. P. 139.
- ³⁴ Из дневника А. В. Романова за 1916–1917 гг. С. 189–190.
- ³⁵ Grand Duc Nikolas Mikhailovitch. P. 139.
- ³⁶ Из дневника А. В. Романова за 1916–1917 гг. С. 189–190.
- ³⁷ Grand Duc Nikolas Mikhailovitch. P. 139.
- ³⁸ Ibid.
- ³⁹ Палеолог М. Царская Россия накануне революции. М., 1991. С. 294, 296.
- ⁴⁰ Там же.
- ⁴¹ Из дневника А. В. Романова за 1916–1917 гг. С. 189–190.
- ⁴² Палеолог М. Царская Россия накануне революции. С. 294, 296.
- ⁴³ Из дневника А. В. Романова за 1916–1917 гг. С. 189–190.
- ⁴⁴ Там же.
- ⁴⁵ Палеолог М. Царская Россия накануне революции. С. 294, 296.
- ⁴⁶ Там же.
- ⁴⁷ Дякин В. С. Буржуазия и царизм в годы Первой мировой войны. Л., 1967. С. 164.
- ⁴⁸ Из дневника А. В. Романова за 1916–1917 гг. С. 189–190.
- ⁴⁹ Там же.
- ⁵⁰ Письма великой княгини Елизаветы Федоровны // Источник. 1994. № 4. С. 37–38.
- ⁵¹ Из дневника А. В. Романова за 1916–1917 гг. С. 190.
- ⁵² Кудрина Ю. В. Императрица Мария Федоровна. М., 2000. С. 160.
- ⁵³ Из дневника А. В. Романова за 1916–1917 гг. С. 189–190.
- ⁵⁴ Grand Duc Nikolas Mikhailovitch. P. 139.
- ⁵⁵ Ibid.
- ⁵⁶ Ibid. P. 139–140.
- ⁵⁷ Ibid. P. 140.

С. В. Куликов

«В САМЫХ ЛУЧШИХ ОТНОШЕНИЯХ» БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА И ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО*

Один из наиболее важных аспектов истории всякой революции — проблема континуитета между правящими элитами старого и нового порядка. Освещение этого вопроса позволяет уточнить, а иногда и пересмотреть имеющиеся представления об уровне радикальности конкретной революции, который проявляется не только в системе органических мероприятий революционной власти, но и в ее самоопределении как относительно низвергнутого режима, так и относительно знаковых фигур, его персонифицировавших.

Экстраполяция поставленной проблемы на историю Февральской революции подразумевает анализ отношений между Временным правительством и бюрократической элитой.¹ Отношения эти во многом обуславливались исходившим со стороны

* Настоящая статья написана при поддержке Фонда содействия отечественной науке (Russia Science Support Foundation) 2005, номинация «Молодые кандидаты наук».

подавляющего большинства представителей бюрократической элиты признанием нового порядка. Не случайно, что при его рождении, в конце февраля—начале марта 1917 г., почти никто из них не погиб. Исключением был тверской губернатор Н. Г. фон Бюнтинг. Комитет общественной безопасности, созданный в Твери в ходе начавшейся революции, предложил губернатору сдать дела и заблаговременно скрыться. Но Н. Г. фон Бюнтинг отказался признать комитет и телеграфировал Николаю II, что «исполнил свой долг до конца, лишь бы жила Россия и благоденствовал царь». Когда Н. Г. фон Бюнтингу сообщили о приближении к его дому толпы солдат и фабричных, он исповедался по телефону у викарного епископа. Вопреки противодействию членов комитета А. А. Червен-Водали и полковника Г. П. Полковникова Н. Г. фон Бюнтинг был схвачен толпой и зверски убит, а его труп затоптан.²

Остальные «хозяева губерний» не проявили героизма. Большинство губернаторов внутренних губерний России, по наблюдениям великого князя Николая Михайловича, «вели себя жалким образом». Два правых администратора, которые прослыли «наиболее верными и энергичными людьми», курский губернатор А. К. Баговут и одесский градоначальник генерал Н. А. Княжевич, «спрятались первые». Остальные «печальные герои» «последовали их примеру, или подчиняясь новому правительству или покинув свои посты». Полную лояльность по отношению к новому порядку выказали и генерал-губернаторы: туркестанский — А. Н. Куропаткин, приамурский — Н. Л. Гондатти и иркутский — А. И. Пильц. Они «отличились все в поспешности отделиться от павшего режима».³

Не только местные администраторы, но даже члены Государственного совета по назначению, наиболее привилегированная категория бюрократической элиты, восприняли падение старого и возникновение нового порядка весьма прагматично и, в общем, достаточно безболезненно.⁴

Печать искренней лояльности лежала на отношении к новому порядку личного состава другого высшего учреждения — Сената. На заседании Временного правительства 5 марта министр юстиции А. Ф. Керенский сообщил о заседании высшего государственного органа, состоявшемся накануне, на котором министр передал Сенату для опубликования акты об отречении Николая II от престола и об отказе великого князя Михаила Александровича от верховной власти. В связи с этим сенаторы вынесли резолюцию с благодарностью Временному правительству «за почти бескровное установление внутреннего мира и переход к новому порядку в стране».⁵

Первоприсутствующий (т. е. председатель) Гражданского кассационного департамента Сената Я. Ф. Ганскау «в обращении с новой властью был всегда очень дружелюбен». Первоприсутствующий Крестьянского департамента В. И. Тимофеевский находился «в самых лучших отношениях» с товарищами революционного министра юстиции — А. А. Демьяновым и Г. Д. Скарятиним.⁶

Не меньшей лояльностью отличалось отношение к новому порядку и большинства представителей высшей министерской бюрократии. Все они после падения старого режима остались «на своих местах и, за редким исключением, работали с огромным энтузиазмом. Многие из них, — констатировал А. Ф. Керенский, — часто трудились ночами напролет, готовя проекты новых законов и предложения по реформам».⁷ По наблюдениям В. И. Гурко, личный состав царского административного аппарата «был готов верой и правдой служить России и после переворота, готов был всецело подчиниться

власти и указаниям своего нового начальства, выставленного общественностью».⁸ Таким образом, уже с первых дней существования Временного правительства бюрократическая элита, совсем недавно олицетворявшая, как никакая другая социальная группа, «блеск и нищету» старого порядка, пошла на сотрудничество с революцией. Неверно видеть в этой парадоксальной метаморфозе только проявление чиновничьего конформизма. По мнению А. А. Демьянова, «самое предупредительное отношение» бюрократической элиты к Временному правительству менее всего объяснялось «гуттаперчевой душой чиновника: слишком ясны были признаки доверия к новой власти и достаточно красноречивых данных для установления этого обстоятельства».⁹

Сотрудничество бюрократической элиты с революцией определялось по меньшей мере тремя причинами.

Первая из них — резкое неприятие значительной частью петроградского истеблишмента внутривластного курса, проводившегося императором накануне Февральской революции. Неприятие курса верховной власти переросло в недовольство личностью ее носителя, способствовавшее легкому восприятию сановниками отречения Николая II. «Я не хочу замалчивать своих слабостей и со стыдом должен сознаться, — вспоминал сенатор С. В. Завадский, — что отречение царя вызвало у меня вздох облегчения».¹⁰ После отречения Николая II недовольство сановников бывшим императором усилилось, что своим отречением не только за себя, но и за сына он, хотя и не по своей воле, нанес удар по будущности монархического принципа.¹¹

Свое отрицательное отношение к Николаю II представители бюрократической элиты переносили на всю династию Романовых. Показательно, что в МИДе, хотя по сравнению с остальными министерствами там служило самое большое количество носителей придворных чинов и званий, к экс-императору и династии относились «без всякого энтузиазма».¹²

Второй причиной легкости, с которой бюрократическая элита пошла на сотрудничество с революционерами, стало то, что вожди Февральской революции облекли его в относительно легитимные формы, не создавшие слишком резкого противопоставления нового режима старому. Формально отречение Николая II, как и Михаила, не было «вынужденным».¹³ Внешняя добровольность обоих отречений, более чем их содержание, давала искренним монархистам санкцию на признание режима, не венчанного короной, выводя их из безвыходной психологической ситуации, описанной С. В. Завадским. «А присяга? — восстанавливал сенатор ход своих мыслей, которым он предавался во время Февральской революции. — Ведь я присягал императору Николаю II. Но ему ли я присягал? Я присягал главе государства, которое является моим Отечеством, и если благо Отечества неосуществимо при сохранении за императором престола, то... Но кто с уверенностью скажет, что пути государя и Родины разошлись окончательно и непоправимо?».¹⁴ С новой властью бюрократическая элита не могла не примириться, потому что монархизм большей части сановников являлся беспартийным, а потому — пассивным.

Задолго до Февральской революции кадет В. Д. Набоков утверждал, что «огромное большинство бюрократии» нисколько не заражено стремлением быть «роялистами более чем сам король». Оно, по мнению В. Д. Набокова, охотно бы признало «свершившийся факт», подчинилось бы новому порядку и никаким «саботажем» заниматься бы не стало.¹⁵ В конце концов так и произошло.

Конечно, исчезновение монархии не привело к исчезновению монархических взглядов у представителей бюрократической элиты. Однако их монархизм, во-первых, носил инерционный характер, а во-вторых, ассоциировался ими с идеей конституционной, а не абсолютной монархии. Монархическая позиция сановников основывалась на «привычном представлении об исторических заслугах монархии и его неизжитости в глубине народных масс, да на полезности конституционно-монархической формы правления для международного положения России, ее целостности и устойчивости».¹⁶

Третья, глубинная причина сотрудничества сановничества и Временного правительства была связана с относящимся к началу XX в. превращением ее подавляющего большинства в «служилую интеллигенцию» — одну из групп российской интеллигенции. В политическом отношении бюрократическая элита была арьергардом интеллигенции, ее довольно специфической частью, резко отличавшейся от остальной приверженностью идее служения обществу через служение государству.¹⁷ Тем не менее, поскольку Февральская революция стала политическим триумфом радикального крыла интеллигенции, бюрократическая элита если и не могла полностью идентифицировать себя с буржуазно-демократическим режимом, то, с другой стороны, будучи частью интеллигенции, еще менее могла в силу своей глубинной сути отказаться от безусловного признания непривычного политического порядка и, подчас мучительной, адаптации к его реалиям.

Не следует, однако, слишком преувеличивать издержки этой адаптации: ее предпосылки закладывались еще в период III думы. Именно тогда конструктивное сотрудничество царских сановников и общественных деятелей на поприще подготовки и проведения либеральных преобразований стало свершившимся фактом. «Мы так легко договаривались, — характеризовал это сотрудничество директор 1-го Департамента МИДа В. Б. Лопухин, — такой у нас установился общий язык, что казалось, если и случится революция, но такая, которая приведет к смене царской власти властью правительства, составленного из Милюковых, то нам не придется начинать с этим правительством новый разговор, а предстоит лишь продолжать прежние, ставшие уже привычными беседы».¹⁸ Продолжением «привычных бесед» и была служба представителей бюрократической элиты новому порядку.

Даже консервативные сановники сознавали необходимость упрочения Временного правительства — хотя бы ради доведения войны до победного конца. Назначенный член Государственного совета А. К. Варженевский писал 13 марта своему единомышленнику, графу С. Д. Шереметеву: «Дай Бог, чтобы взявшиеся править Россией поддержали порядок, который более чем необходим для победы над немцем».¹⁹

Сотрудничество с революцией либеральных сановников имело более пространную мотивацию, в основе которой лежало мнение, что с упрочением нового порядка связано возрождение России. При встрече с Ж. М. Палеологом, состоявшейся 10 марта, назначенный член Государственного совета С. Д. Сазонов, который видел в «настоящих несчастьях России перст Божий», заявил: «Мы заслуживали кары... Я не думал, что она будет так сурова... Но Бог не может хотеть, чтобы Россия погибла... Россия выйдет очищенной из этого испытания».²⁰

Судьбу нового порядка и перспективы своего сотрудничества с ним либеральные сановники ставили в зависимость от хода войны. Как сообщал 15 марта на родину японский дипломат Уцида, назначенный член Государственного совета граф В. Н. Коковцов,

беседуя накануне с другим японским дипломатом, говорил, что «дальнейшее всецело зависит от хода войны». «Если будет достигнуто соглашение, — подчеркнул В. Н. Коковцов, — если нынешнее положение на фронте будет сохранено, если порядок, который теперь восстанавливается, будут поддерживать, положение прогрессивного правительства укрепитя». Причины невозможности контрреволюции либеральные сановники видели не только во внешних обстоятельствах, но и в полной несостоятельности лидеров черносотенного движения. Через четыре дня, 19 марта, В. Н. Коковцов говорил: «Ни в коем случае не будет контрреволюции старых монархических партий, так как у русских консерваторов нет силы настоящего убеждения».²¹

Самые непримиримые консерваторы, с углублением революции, делавшим достижения победы весьма проблематичным, оценивали внутривнутриполитическую ситуацию крайне пессимистично, считая сотрудничество с революцией бессмысленным. Назначенный член Государственного совета А. И. Соболевский, полагая, что все происходящее «один ужас» и что «Россия и ее народ проданы и преданы», констатировал 8 апреля: «Победа вырвана; мы были перед полной победой». А потому — и рабочие депутаты, и Временное правительство «никому не внушают доверия».²² После апрельского кризиса, в ходе дальнейшего обострения внутривнутриполитической ситуации, постепенно подтачивавшего веру во Временное правительство, сотрудничество как лево-, так и праволиберальных элементов бюрократической элиты с новым режимом начало давать первые трещины.

В мае, получив отставку с поста посла в Англии (куда он так и не выехал), С. Д. Сазонов «стал довольно открыто говорить, что свержение монархии было политической ошибкой». Впрочем, его слова относились «не к Николаю II, а к монархическому принципу вообще».²³ В конце весны среди знакомых назначенного члена Государственного совета генерала А. Ф. Редигера высказывались надежды «на восстановление монархии» и на то, что он «опять будет министром».²⁴ Однако, пока несостоятельность нового порядка в организации наступления на фронте не стала слишком очевидной, престижем у представителей бюрократической элиты пользовались даже такие левые министры, как А. Ф. Керенский. Когда в июне, в присутствии своего дяди, назначенного члена Государственного совета князя Б. А. Васильчикова, его племянница начала нападать на А. Ф. Керенского, обвиняя его «в разложении фронта», Б. А. Васильчиков, отмечала она, «так на меня рассердился и, несмотря на присутствие посторонних, наговорил мне таких вещей про мое старание разрушить престиж Керенского, тогда как его следовало использовать всем желающим России добра, что в нормальных условиях мне следовало бы встать из-за стола и уйти из дома».²⁵

В дни июльского кризиса Временное правительство не пошло до конца по пути применения к большевикам «энергичных мер». Поэтому после этого кризиса характерное для бюрократической элиты «единодушное положительное отношение к Февральской революции, обнаружившееся в первые дни ее, стало быстро падать, переходя уже прямо в оппозицию».²⁶ Нежелание правительства резко отмежеваться от левых вызывало недовольство у консервативных сановников. «Власть, — писал 9 августа А. К. Варжневский С. Д. Шереметеву, — говорит-говорит и на словах воспрещает насилие, но на деле, лишь только насилие производится, умывает руки и не оказывает никакой помощи вследствие своего действительного бессилия».²⁷ Двусмысленное поведение А. Ф. Керенского при подавлении выступления генерала Л. Г. Корнилова лишило новый порядок массовой поддержки со стороны бюрократической элиты.

Падение генерала «отвратило от Временного правительства ту массу, которая перестала быть монархической после Февральской революции и не стала республиканской».²⁸ После неудачи Л. Г. Корнилова внутри бюрократической элиты начинается постепенная реабилитация Николая II. В августе среди старорежимных сенаторов было уже «не принято» говорить о нем «непочтительно».²⁹ В чиновничьих массах Петрограда монархические настроения стали «заметно выявляться» лишь после Октябрьского переворота.³⁰ Именно с победой большевиков сенаторы Д. Н. Любимов, А. Г. Тимрот и Н. И. Туган-Барановский, которые еще год тому назад «корили царя и царицу за безрассудство, за политику, губящую весь строй», забыли о своих тогдашних суждениях «раз и навсегда».³¹ Реанимированный монархизм сановников не облекался, однако, как и до Февральской революции, в одежды какой-либо партийной доктрины.

Громадное большинство петроградского чиновничества осенью 1917 г. составляли «беспартийные люди». Даже наиболее популярная среди служилой интеллигенции того времени кадетская партия «не охватывала сколько-нибудь значительные массы служащих».³² Именно поэтому бюрократическая элита была готова поддержать любую попытку свержения Совета народных комиссаров, от какой бы политической силы она ни исходила. Представители высшей министерской бюрократии, назначенные на свои посты при царе, приняли участие во всеобщей забастовке, организованной Союзом союзов служащих правительственных учреждений, чиновничьим профсоюзом, появившимся после февраля 1917 г. Забастовка была объявлена 27 октября и продолжалась до февраля–марта 1918 г.

Только крайне правые сановники восприняли победу большевиков положительно, считая их за меньшее зло по сравнению с вождями Февральской революции. «Что такое новое, 2-е Временное правительство, не знаю, — писал А. И. Соболевский И. С. Пальмову 14 ноября 1917 г., — но представляю его себе более приятным, чем первое, германо-еврейское, мстительное и злобное».³³ Большинство же представителей бюрократической элиты отнеслись к победе В. И. Ленина крайне негативно.

Д. Н. Любимов, А. Г. Тимрот и Н. И. Туган-Барановский расценивали Октябрьский переворот как «бунт черни, не более, шаг назад в истории России, смутное время, за которым придут спасительные Минин и Пожарский». Вину за победу большевизма сенаторы возлагали на Временное правительство. Входившие в него «разные интеллигенты», «сущие политические хлестаковы, люди без прошлого, без традиций, разбудили чернь, вызвали духа и не сумели его заковать». Сравнивая Временное и царское правительство, сенаторы были склонны к реабилитации старого порядка, который, полагали они, «оправдал себя», так как «только он мог бы обеспечить России великодержавное процветание». Несмотря на то что большевики свергли Временное правительство, праволиберальные сенаторы, не говоря уже о леволиберальных, расценивали большевиков как «абсолютное зло».³⁴ Неудивительно поэтому, что 22 ноября Общее собрание Сената вынесло единогласное решение «о непризнании Совета народных комиссаров».³⁵

Итак, несмотря на проявившуюся осенью 1917 г. неоднозначность отношения бюрократической элиты к буржуазно-демократическому режиму, в это время оно, как и в марте 1917 г., в конце концов являлось исключительно лояльным. Отношение Временного правительства к бюрократической элите также не отличалось однозначностью и зависело от ее конкретной категории. Одни из этих категорий были фактически упразднены, что имело место в случае с губернаторами и вице-губернаторами.

На заседании Временного правительства 4 марта оно одобрило предложение министра-председателя и министра внутренних дел князя Г. Е. Львова «о реорганизации административной власти на местах» путем замены «хозяев губерний» и их заместителей председателями губернских земских управ.³⁶ О решении правительства Г. Е. Львов известил местные власти своей телеграммой от 5 марта. В. Д. Набоков расценил эту меру как «один из самых неудачных актов» нового режима. Если места губернаторов занимали председатели управ, утверждавшиеся еще царским министром внутренних дел, исполнение распоряжения Г. Е. Львова сводилось к лишенной всякого смысла замене одних чиновников другими, далеко не лучшими. Замена же губернаторов выбранными председателями управ оказывалась нецелесообразной не только с государственной, но и с политической точки зрения. Нередко выбранный председатель являлся ставленником реакционного большинства, а губернатор — лицом, не обладавшим никакой реакционной окраской.³⁷ Тем не менее по решению Временного правительства товарищ министра внутренних дел Д. М. Щепкин уже в конце апреля своим циркулярным письмом рекомендовал губернаторам и вице-губернаторам подать к 1 мая прошения об отставке. При этом они были лишены возможности получать заштатное содержание.³⁸

Вопрос о пенсионном обеспечении представителей высшей провинциальной бюрократии Временное правительство так и не решило. Состоявшееся 1 сентября заседание Совещания товарищей министров, которое начисляло пенсии уволенным чиновникам, рассмотрев поступившее в него представление МВД о начислении пенсий высшим и низшим чинам этого министерства, постановило дать пенсии только вторым. На заседании Совещания 27 сентября пенсию в 7000 р. получил бывший варшавский генерал-губернатор генерал князь П. Н. Енгальчев, однако как лицо, служившее не в МВД, а по Военному ведомству.³⁹

Фактическому упразднению подверглась и такая привилегированная категория бюрократической элиты, как назначенные члены Государственного совета. Впрочем, некоторые «лорды», главным образом выдвинувшиеся до революции в качестве лидеров «Прогрессивного блока», были востребованы новым режимом. Генерал А. А. Поливанов уже в марте по инициативе военного и морского министра А. И. Гучкова возглавил Особую комиссию по построению армии на новых началах. До самого Октябрьского переворота оставались на своих должностях товарищ министра иностранных дел А. А. Нератов и управляющий Государственным банком И. П. Шипов. В апреле–мае на посту помощника морского министра находился адмирал В. А. Канин. До мая обязанности помощника военного министра исполнял Н. П. Гарин.⁴⁰

В июне С. Ф. Вебер стал сенатором. К присутствию в Сенате были назначены также лидеры «Прогрессивного блока», до переворота являвшиеся сенаторами только по званию — барон Ю. А. Икскуль-фон-Гильденбандт, А. Ф. Кони, С. С. Манухин, П. А. Сабуров, Н. С. Таганцев и Н. Э. Шмеман. Однако в целом участие представителей назначенной части верхней палаты в деятельности высших и центральных органов нового режима проявлялось эпизодически. По большому счету, профессиональный потенциал этой категории бюрократической элиты Временное правительство так и не использовало, если учесть, что к 23 февраля 1917 г. в состав назначенной части входили 139 человек. Несмотря на то что формально двухпалатная система не была упразднена, всех их 5 мая Временное правительство уволило за штат, хотя по закону назначенные члены

подлежали увольнению только по прошению. Согласно неопубликованному закону, заштатным сановникам сохранили содержание на год, т. е. до 1 мая 1918 г.

Отказавшись от сотрудничества с членами Государственного совета, Временное правительство не решило проблемы пенсионного обеспечения тех из них, которые желали выйти в полную отставку. Когда вскоре после Февральской революции правительство вознамерилось, было, дать пенсию В. Н. Коковцову, то «шум», поднятый по этому поводу слева, произвел на министров «большое впечатление». Поэтому при последующем обсуждении вопроса о пенсионном обеспечении назначенных членов Временное правительство, потратив на него целых два заседания, «не могло прийти ни к какому определенному решению».⁴¹ В результате всем «лордам», добровольно подавшим в отставку, за исключением В. И. Мамантова, в ходатайстве о пенсии было «отказано».⁴² На состоявшемся 27 сентября заседании Совещания товарищей министров Н. П. Гарину и генералу Ф. Ф. Трепову начислили пенсию в 7000 р., но не как назначенным членам Государственного совета, а как лицам, находившимся на службе по военному ведомству.⁴³

Некоторые категории бюрократической элиты и прежде всего — министры и лица равного с ними служебного статуса (главноуправляющие), не будучи упраздненными, подверглись, однако, тотальному обновлению личного состава.

Почти все члены Совета министров перестали быть таковыми в дни Февральской революции. Причем опубликованный указ об отставке, датируемый 2 марта, был исполнен лишь относительно единственного члена последнего царского правительства — военного министра генерала М. А. Беляева. Формально дольше всех удержался на своем посту министр Императорского двора генерал граф В. Б. Фредерикс, официально ушедший в отставку только 28 марта. Что касается главнoуправляющих, то их судьба была решена в течение марта–апреля. Так, 13 марта последовало увольнение главнoуправляющего Собственной канцелярией царя А. С. Танеева, 21 марта — главнoуправляющего Канцелярией по принятию прошений В. И. Мамантова, 3 апреля — государственного секретаря С. Е. Крыжановского.⁴⁴

В. И. Мамантов, подавший, как и его коллеги, в отставку, получил от Временного правительства пенсию в 7 500 р. Всем остальным министрам и главнoуправляющим, которые подали в отставку, как и в случае с членами Государственного совета, в ходатайстве о пенсии было отказано.⁴⁵

После Февральской революции из начальников ведомств, назначенных Николаем II, на своей должности остался только главнoуправляющий государственным коннозаводством генерал П. А. Стахович.⁴⁶

Отказ от введения во Временное правительство царских министров и использования в целях устроения нового порядка их профессионального потенциала предопределил понижение общего уровня компетентности высшей власти в силу отсутствия у общественных деятелей способностей, необходимых для управления государством. «Большинство общественных ставленников, — указывал В. И. Гурко, — оказалось в нравственном отношении на уровне наихудших из их непосредственных бюрократических предшественников, а как администраторы-техники они были неизмеримо ниже их».⁴⁷ Даже участники Февральской революции пальму первенства отдавали министрам царского правительства. Барон Б. Э. Нольде, сам прошедший отличную бюрократическую школу, «с особенной любовью язвил» над Г. Е. Львовым, П. Н. Милюковым и другими членами Временного правительства по поводу того, что для них «искусство быть министром — книга за семью печатями».⁴⁸

Описывая свои ощущения от Временного правительства первого состава, Ю. В. Ломоносов отмечал: «Ну, какой министр финансов Терещенко, милый благовоспитанный юноша, всегда безукоризненно одетый, служивший по балетной части и пользовавшийся головокружительным успехом у корифеек. Но что он финансам, что ему финансы? А Некрасов, кадет, идеалист... Профессор статистики сооружений без трудов. Знакомый с путями сообщения по студенческим запискам и по Думе... Разве его можно сравнить с [Войновским-]Кригером?... Наконец Шингарев, бесспорно умный человек, но он по образованию врач, а в Думе занимался финансами. При чем же земледелие и землеустройство? Ведь тот же Кривошеин его за пояс заткнет... Нет, нехорошо».⁴⁹

Нелицеприятная характеристика, данная революционным министрам участником переворота, полностью соотносится с оценками бюрократов. По воспоминаниям одного из них, на посту министра финансов М. И. Терещенко «всегда ошибался в цифрах, говоря о миллионах вместо миллиардов, никак не умея приспособиться к финансам государства, все же превышавшим его миллионное состояние».⁵⁰ Вспоминая о деятельности М. И. Терещенко на посту министра иностранных дел, В. Б. Лопухин писал: «Голова его была менее всего занята ведомственными вопросами. Он плохо вникал в них».⁵¹ Министр путей сообщения Н. В. Некрасов немедленно по получении своего поста возложил «бремя технического руководства» на «одного молодого инженера», а сам «с искусством специалиста» начал ухаживать за дочерью видного кадета Д. С. Зернова.⁵² Министр земледелия А. И. Шингарев даже по признанию своего единомышленника мог претендовать «не на государственный, а на губернский или уездный масштаб».⁵³ По наблюдениям же выдающегося ученого-аграрника, А. И. Шингарев не имел «ни малейшего понятия» о сельском хозяйстве.⁵⁴

Если столь несостоятельными в качестве министров оказались деятели Временного правительства первого состава, все же имевшие некоторое представление о государственной деятельности благодаря работе в думе, то их ближайшие преемники, к думе непричастные, проявили еще большую несостоятельность. По мнению А. В. Тырковой, деятельность министров Временного правительства доказала, что «оппозиция не была подготовлена к руководству государством».⁵⁵ Тем не менее, вопреки функциональной, и в угоду политической, целесообразности, вплоть до октября 1917 г. министрами, как правило, назначали не профессиональных бюрократов, а деятелей, «заявивших себя чем-либо на общественной арене и непременно из принадлежавших к одной из доминировавших политических партий».⁵⁶

Примат политической целесообразности над функциональной проявился не только в отсутствии во Временном правительстве бюрократов, но и в кадровой нестабильности, затронувшей это правительство в еще большей степени, чем царское с его знаменитой «министерской чехардой». Если с июля 1914 г. по февраль 1917 г., т. е. за 31 месяц, министрами перебивали 39 человек,⁵⁷ то с марта по октябрь 1917 г., за 8 месяцев, — 42 человека. Следовательно, при Временном правительстве на высшем уровне исполнительной власти текучесть кадров возросла в 5 раз! «Министерская чехарда последних месяцев царского режима бледнеет перед свистопляскою „министров“ (с позволения сказать) Временного правительства», — отмечал В. Б. Лопухин.⁵⁸

Предпочтение, отдаваемое политической целесообразности, повлияло и на отношение нового режима к таким категориям бюрократической элиты, как высшее министерское чиновничество и сенаторы. Обе названные категории были инкорпорированы

в новый государственный строй, хотя и претерпев довольно заметное персональное обновление.

За март руководящий персонал министерств (товарищи министров, начальники главных управлений и директора департаментов) обновился почти на одну треть. В это время проявления кадровой нестабильности были характерны для Министерства внутренних дел, военного, Императорского двора, иностранных дел, морского, путей сообщения, финансов, юстиции, а также Государственного контроля и Синода. В апреле темпы обновления дореволюционного состава высшей министерской бюрократии уменьшились в 4 раза. В этом месяце царские сановники покинули руководящие посты в Министерстве внутренних дел, военном, Императорского двора, морском, торговли и промышленности и финансов.

К июню темпы обновления данной категории высшей бюрократии уменьшились более чем в 10 раз и приобрели тенденцию к стабилизации.⁵⁹ Тем не менее в целом за период с марта по октябрь 1917 г. на уровне товарищей министров, начальников главных управлений и директоров департаментов наблюдалась беспрецедентная степень кадровой нестабильности. Если обновление их состава на 50% Николай II провел за два с половиной года, предшествовавшие Февральской революции,⁶⁰ то Временное правительство подобное же обновление провело за 8 месяцев.

В результате к октябрю 1917 г. руководящий персонал Министерства внутренних дел, военного, земледелия, морского, путей сообщения и юстиции обновился по сравнению с февралем этого года более чем наполовину.⁶¹ В отличие от них руководящий персонал остальных министерств, обновившись менее чем наполовину, оставался сравнительно стабильным. В дипломатическом ведомстве Временное правительство «не совершило никакой революции, а, наоборот, так его сохранило, как это было бы трудно ожидать даже при обычной смене министров при царском строе».⁶²

Представители высшего министерского чиновничества, если они не переходили на другую должность, а подавали в отставку по сравнению с уже рассмотренными категориями бюрократической элиты имели намного больше шансов получить пенсию. Так, пенсионерами Временного правительства стали: председатель Главного военного суда С. А. Быков, начальник Главного тюремного управления Министерства юстиции П. К. Гран, товарищ министра земледелия Н. В. Грудистов, директор Департамента государственного казначейства Министерства финансов П. Н. Кутлер, управляющий Экспедицией заготовления государственных бумаг Министерства финансов Н. И. Та-вилдаров.⁶³

Поощряя выходы в отставку представителей высшей министерской бюрократии, назначенных еще при старом порядке, Временное правительство ставило препоны их карьерному росту. Только небольшому числу чиновников руководящего персонала ведомств победа Февральской революции открыла возможности для дальнейшего продвижения по службе – вплоть до постов товарищей министров и министров.

В марте заместителями глав министерств стали: начальник Управления по сооружению железных дорог Министерства путей сообщения А. В. Ливеровский (в сентябре вознесшийся до поста министра путей сообщения), начальник Главного артиллерийского управления Военного министерства генерал А. А. Маниковский (в октябре исполнявший обязанности военного министра), директор 2-го Департамента МИДа Б. Э. Нольде, начальник Канцелярии Военного министерства генерал Д. В. Филатьев.

В мае на посты товарищей министров были назначены управляющий Отделом торговли Министерства торговли и промышленности В. В. Прилежаев и генерал-контролер Департамента военной и морской отчетности Государственного контроля М. И. Скипетров, в июне — советник 2-го Политического отдела МИДа А. М. Петряев.⁶⁴ Но с июля, т. е. с момента появления во главе Временного правительства А. Ф. Керенского, назначения царских сановников на посты товарищей министров полностью прекратились.

Новый министр-председатель полагал, что на этих постах «теперь могут быть только общественные деятели».⁶⁵ Между тем без участия царских сановников нормальное функционирование даже второстепенных звеньев правительственного аппарата становилось иногда попросту невозможным. Это признавали, но не публично, сами представители новой власти. Когда в начале мая произошло назначение товарища государственного секретаря Н. Ф. Дерюжинского на пост сенатора, его непосредственный начальник, комиссар Временного правительства по Государственной канцелярии Д. Д. Grimm оказался вынужденным расписаться в своей неспособности управлять без Н. Ф. Дерюжинского этим несложным ведомством, хотя Государственный совет, делопроизводство которого оно обеспечивало, с февраля 1917 г. не функционировал. «Принимая во внимание исключительное знакомство» Н. Ф. Дерюжинского с делами канцелярии и «трудность для комиссара» «обойтись без сотрудничества этого опытного, просвещенного и хорошо знакомого с личным составом канцелярии деятеля», Д. Д. Grimm ходатайствовал перед Г. Е. Львовым 20 мая о возложении на Н. Ф. Дерюжинского «хотя бы на некоторое время исполнения его прежних обязанностей товарища государственного секретаря».⁶⁶

К числу категорий бюрократической элиты, инкорпорированных в политическую структуру буржуазно-демократического режима, относился и личный состав Сената. Инкорпорация затронула не всех сенаторов, поскольку многие из них имели репутацию, не устраивавшую революционное руководство судебного ведомства.

На заседании Временного правительства 4 марта министры постановили признать недействительными назначения сенаторов Первого департамента, последовавшие после издания закона 26 декабря 1916 г. о реформе Сената.⁶⁷ В течение марта–июня состоялись увольнения 24 присутствующих сенаторов, большинство из которых заседали в самых одиозных департаментах — Первом и Кассационном уголовном (6 и 9 человек). После этого пенсионерами Временного правительства стали сенаторы С. С. Андреевский, Н. И. Вуич, А. А. Глищинский, Н. Ч. Зайончковский, Н. П. Зуев, А. М. Кузминский, С. А. Линк, В. Д. Шидловский.⁶⁸

Одновременно в течение апреля–октября, личный состав Сената пополнили 74 человека. Последние назначения в это высшее судебное учреждение относятся к 16 октября 1917 г. После Февральской революции впервые за всю историю Сената в него назначаются члены Государственной думы (2 человека), начальники отделений ее Канцелярии (2 человека), присяжные поверенные (11 человек, в том числе лица «иудейского вероисповедания»), мировые судьи (2 человека), председатели и гласные губернских земских управ (3 человека). Новостью в истории Сената явилось и массированное пополнение его состава профессорами (21 человек).

Вместе с тем около двух пятых сенаторов от общего числа лиц, оказавшихся в Сенате в апреле–октябре, до назначения в него принадлежали к тем категориям бюрократической элиты, которые были традиционными поставщиками кандидатов на сенаторские

посты и до февраля. Это председатели, члены и прокуроры судебных палат, чиновники канцелярий департаментов Сената, члены Консультации, учрежденной при Министерстве юстиции, статс-секретари Государственного совета и директора министерских департаментов. Данное обстоятельство как нельзя лучше доказывает, что на протяжении всего периода деятельности Временного правительства его отношения с бюрократической элитой характеризовались преемственностью между старым и новым порядком. И это неудивительно — подавляющее большинство сановников с момента установления власти Временного правительства признали революционную власть и вполне сознательно стали ее опорой.

Врастание высшей бюрократии в новые реалии облегчалось ее собственным настроем на сотрудничество с буржуазно-демократическим режимом и едва ли не в большей степени заинтересованностью Временного правительства в использовании профессионального опыта царских сановников. Отсутствие минимума компетентности, необходимой для управления государством, у общественных деятелей, оказавшихся во власти, довольно скоро стало притчей во языцех. Этот существенный недостаток нового порядка мог быть компенсирован только путем широкого привлечения в управленческие структуры и совещания по разработке реформ носителей государственного опыта. Ими являлись профессиональные бюрократы, «глубокие познания и подготовленность» которых «находились, — по оценке А. Ф. Керенского, — на самом высоком уровне».⁶⁹

Несмотря на явную заинтересованность Временного правительства в широком участии представителей элиты в управлении государством и его реформировании, потенциал бюрократов оказался востребованным новой властью не полностью, а фрагментарно, совсем не в той мере, в какой это было необходимо ей самой. Чем же объясняется такая ситуация?

Временное правительство, ставшее порождением не реформы, а революции, в силу этого было фатально обречено на следование в ее фарватере. Чем дальше, тем больше оно приносило в жертву политической целесообразности, которая ассоциировалась исключительно с углублением революции, функциональную целесообразность и прежде всего — эффективную работу руководящего звена государственной машины.

При самоопределении относительно сановничества Временное правительство считалось не «с действительными реальными интересами, а с требованиями революционной фразы, революционной демагогией и предполагаемыми настроениями масс».⁷⁰ Если действие политической целесообразности сказывалось на личном составе революционного Временного правительства, то тем более ее действие должно было отразиться на дореволюционной бюрократической элите. Вот почему некоторые ее категории Временное правительство упраздняло даже тогда, когда это вело к дезорганизации деятельности государственной машины.

В силу действия фактора политической целесообразности при назначении на чисто управленческие должности, отправление которых было возможно только при наличии специфического опыта, новая власть исходила из того, что «популярность делает больше, чем знание и умение».⁷¹ В этом смысле особенно преуспели министры-социалисты, заменявшие высокопоставленных чиновников коллегами по партии, не имевшими, по наблюдениям А. Ф. Керенского, «ни малейшего представления о работе правительственных учреждений».⁷²

Примером влияния политической целесообразности стала Чрезвычайная следственная комиссия (ЧСК). Перед комиссией поставили заведомо недостижимую цель — осуждение видных царских сановников согласно законам Российской империи, хотя в их свете почти все заключенные представлялись абсолютно невиновными.⁷³ Это было очевидно прежде всего для самих бюрократов. Так, 7 мая сенатор А. Ф. Кублицкий-Пиоттух отзывался о ЧСК А. А. Блоку как о «скандальном учреждении». В результате ее деятельности, полагал сенатор, «повесят» «людей юридически невиновных». Передавая логику дяди, А. А. Блок записал: «Предъявить обвинение можно к Протопопову, Сухомлинову, пожалуй, Щегловитову, но чем виноват, например, Стишинский? Просто крайне правый, хотя и неприятный».⁷⁴

Бесперспективность комиссии была очевидна и для ее сотрудников. По свидетельству следователя ЧСК, «наличность в деле хотя бы намеков на улики послужила бы основанием для привлечения в качестве обвиняемых всех бывших министров». Однако «набившие всем оскомину обвинения предъявлены не были, ибо не было даже намеков на улики».⁷⁵

Рассматривая политику нового порядка по отношению к царской бюрократии, современники разных политических ориентаций проявили полное единодушие. Соратник Г. Е. Львова приходил к выводу, что «ценнейший аппарат власти был нашими интеллигентами, дорвавшимися до власти, варварски разбит при Временном правительстве».⁷⁶ «Вместе с низвержением старой власти, — писал народный социалист, — началось быстрое разрушение и того механизма, при посредстве которого она осуществляла себя и при отсутствии которого никакой государственной власти быть не может».⁷⁷ Политика Временного правительства по отношению к бюрократической элите привела к тому, что континуитет между ней и правящей элитой нового порядка стал убывающим и частичным.

Радикальность Февральской революции проявилась не в одномоментном и полном разрыве со старым порядком, а в создании ее вождями условий, при которых этот разрыв из-за прогрессирующего размывания преемственных связей делался неизбежным уже в ближайшем будущем. Одним из таких условий и было принесение в жертву революционной политике функциональной целесообразности, что привело к уходу с исторической арены не только бюрократической элиты, но и Временного правительства.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ В этой статье развиты положения, опубликованные ранее. См.: Куликов С. В. 1) Временное правительство: Кадровые перестановки (март–октябрь 1917) // Из глубины времен. СПб., 1996 Вып. 7; 2) Временное правительство и высшая царская бюрократия // The Soviet and Post-Soviet Review. Idyllwild, 1999. Vol. 24. N. 1–2.

² Вениамин, еп. На рубеже двух эпох. М., 1994. С. 144–148. Согласно подсчетам В. И. Старцева, из сотни губернаторов аресту подверглись только пять. Тем не менее, противоречия самому

себе, он утверждал, что «к 2–3 марта 1917 г. деятельность большинства губернаторов была парализована, многие из них были арестованы, некоторые убиты, а часть ожидала своей судьбы» (Старцев В. И. Внутренняя политика Временного правительства первого состава. Л., 1980. С. 198). Вряд ли правомерно слова «многие» и «некоторые» употреблять по отношению к 5% и одному человеку.

³ Записки Н. М. Романова / Публ. А. А. Сергеева // Красный архив. М., 1931. Т. 49. С. 111.

⁴ См. об этом: Куликов С. В. Временное правительство и высшая царская бюрократия. Р. 67–68.

⁵ Журнал заседания Временного правительства № 5. 5 марта 1917 г. // Февральская революция 1917 г.: Сб. документов и материалов / Сост., предисл., примеч. О. А. Шашковой. М., 1996. С. 173.

⁶ Демьянов А. А. Моя служба при Временном правительстве // Архив русской революции. Берлин, 1922. Т. 4. С. 67, 68.

⁷ Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте: Мемуары. М., 1996. С. 134.

⁸ Гурко В. И. Черты и силуэты прошлого: Правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современника. М., 2000. С. 427–428.

⁹ Демьянов А. А. Моя служба при Временном правительстве. С. 67.

¹⁰ Завадский С. В. На великом изломе: (Отчет гражданина о пережитом в 1916–1917 гг.): Под знаком Временного правительства // Архив русской революции. Берлин, 1923. Т. 11. С. 9.

¹¹ Назначенный член Государственного совета С. Д. Сазонов уже 10 марта «в суровых выражениях» говорил французскому послу Ж. М. Палеологу о Николае: «Вы знаете, как я люблю императора, с какой любовью я служил ему. Но никогда не прошу ему, что он отрекся и за сына. Он не имел на это права... Существует ли какое бы то ни было законодательство, которое разрешило бы отказываться от прав несовершеннолетних? Что же сказать, когда дело идет о самых священных, августейших правах в мире! Прекратить таким образом существование трехсотлетней династии, грандиозное дело Петра Великого, Екатерины II, Александра I! Какая слабость, какое несчастье!» (Палеолог Ж. М. Царская Россия накануне революции. М., 1991. С. 274–275).

¹² Михайловский Г. Н. Записки: Из истории российского внешнеполитического ведомства. 1914–1920 : В 2 кн. М., 1993. Кн. 1. С. 452.

¹³ Набоков В. Д. Временное правительство // Архив русской революции. Берлин, 1921. Т. 1. С. 32. По свидетельству Б. А. Энгельгардта, «агенты правительственной власти, гражданские и военные, оставались на своих местах, и почти никто из них не пытался объявлять о том, что его убеждения не позволяют ему работать в

новых условиях». Эти настроения Б. А. Энгельгардт объяснял тем, что «хоть царская власть и была свергнута, старые порядки, старая законность продолжала существовать» (Энгельгардт Б. А. Февральская революция / Публ. А. Б. Николаева // Клио. СПб., 2003. № 20. С. 189).

¹⁴ Завадский С. В. На великом изломе. С. 9.

¹⁵ Набоков В. Д. Временное правительство. С. 26.

¹⁶ Михайловский Г. Н. Записки. С. 452.

¹⁷ См. об этом: Куликов С. В. Российская интеллигенция и высшая царская бюрократия в начале XX в. // Российская интеллигенция на историческом переломе: Первая треть XX в.: Тез. докл. и сообщ. науч. конф. С.-Петербург. 19–20 марта 1996 г. СПб., 1996.

¹⁸ Лопухин В. Б. Люди и политика: (конец XIX — начало XX в.) // Вопросы истории. 1966. № 11. С. 118.

¹⁹ «Все рушится и тонет в море анархии»: Письма члена Государственного совета А. К. Варженевского графу С. Д. Шереметеву // Источник. 1994. № 6. С. 30.

²⁰ Палеолог Ж. М. Царская Россия накануне революции. С. 274–275.

²¹ Иностранные дипломаты о революции 1917 г. / Публ. А. Л. Попова // Красный архив. М.; Л., 1927. Т. 24. С. 121, 126.

²² А. И. Соболевский — И. С. Пальмову 8 апреля 1917 г.: РО РНБ. Ф. 558 (И. С. Пальмова). Д. 202. Л. 38–39, 39 об. Приношу благодарность И. В. Лукьянову, указавшему автору на этот источник.

²³ Михайловский Г. Н. Записки. С. 436, 452.

²⁴ Редигер А. Ф. История моей жизни: Воспоминания военного министра: В 2 т. М., 1999. Т. 2. С. 451.

²⁵ Только несколько месяцев спустя Б. А. Васильчиков признался племяннице, что она была права ([Васильчикова Л. Л.] Исчезнувшая Россия: Воспоминания княгини Л. Л. Васильчиковой. 1886–1919. СПб., 1995. С. 395, 396).

²⁶ Михайловский Г. Н. Записки. С. 427.

²⁷ «Все рушится и тонет в море анархии». С. 38.

²⁸ Михайловский Г. Н. Записки. С. 459.

²⁹ Любимов Л. Д. На чужбине. Ташкент, 1965. С. 73.

³⁰ Михайловский Г. Н. Записки. С. 436.

- ³¹ Любимов Л. Д. На чужбине. С. 87–88.
- ³² Лопухин В. Б. После 25 октября // Минувшее. М., 1990. Вып. 1. С. 14.
- ³³ А. И. Соболевский — И. С. Пальмову 14 ноября 1917 г. (РО РНБ. Ф. 558 (И. С. Пальмова) Д. 202. Л. 50–51 об.).
- ³⁴ Любимов Л. Д. На чужбине. С. 89.
- ³⁵ Глазами петроградского чиновника // Нева. 1990. № 10. С. 195.
- ³⁶ Постановление Временного правительства о возложении обязанностей губернаторов и уездных исправников на председателей губернских и уездных земских управ и сохранении на местах старого административного аппарата. 4 марта 1917 г. // Революционное движение в России после свержения самодержавия. М., 1957. С. 422.
- ³⁷ Набоков В. Д. Временное правительство. С. 27. В. И. Старцев, опровергая мнение В. Д. Набокова, писал: «Губернаторы уже были вчерашним днем. Спасти их было невозможно, и единственно реальный шаг — их замена». Временное правительство, по мнению В. И. Старцева, в данном случае считалось не с «предполагаемыми настроениями масс», а с реальными фактами «арестов и убийств губернаторов», а потому «не имело никакой возможности поступить иначе» (Старцев В. И. Внутренняя политика Временного правительства... С. 199, 201). Но факты «арестов и убийств» были настолько малочисленны, что принимать их в расчет Временному правительству не было никакого резона.
- ³⁸ Друцкой-Соколинский В. А. На службе Отечеству: Записки русского губернатора (1914–1918 гг.). Орел, 1994. С. 321.
- ³⁹ Пенсионная практика Временного правительства // Красный архив. М.; Л., 1925. Т. 8. С. 249.
- ⁴⁰ Куликов С. В. Временное правительство. С. 36, 37.
- ⁴¹ Набоков В. Д. Временное правительство. С. 29.
- ⁴² Мамантов В. И. На государственной службе: Воспоминания. Таллин, 1926. С. 245.
- ⁴³ Пенсионная практика Временного правительства. С. 249.
- ⁴⁴ Куликов С. В. Временное правительство. С. 33, 34, 35, 36.
- ⁴⁵ Мамантов В. И. На государственной службе. С. 245.
- ⁴⁶ Куликов С. В. Временное правительство. С. 30. А. Б. Николаев выделил четыре формы установления контроля Временного комитета Государственной думы над правительственными учреждениями. По поводу первой из них он отмечал, что «часть министерств и ведомств продолжали возглавлять старые министры, комиссаров ВКГД здесь не было» (Николаев А. Б. Государственная дума в Февральской революции: Очерки истории. Рязань, 2002. С. 80). Однако буквально на следующей странице оказывается, что речь идет только об одном ведомстве — Главном управлении государственного коннозаводства. Действительно, его начальник П. А. Стахович довольно долго оставался на своем месте, не имея около себя комиссаров. Но это был уникальный случай, на основании которого вряд ли оправданно выводить какую-то особую «форму».
- ⁴⁷ Гурко В. И. Черты и силуэты прошлого. С. 427–428.
- ⁴⁸ Михайловский Г. Н. Записки. С. 445.
- ⁴⁹ Ломоносов Ю. В. Воспоминания о мартовской революции 1917 г. // Станкевич В. Б. Воспоминания. 1914–1919; Ломоносов Ю. В. Воспоминания о мартовской революции 1917 г. М., 1994. С. 260.
- ⁵⁰ Михайловский Г. Н. Записки. С. 364.
- ⁵¹ Лопухин В. Б. Люди и политика. С. 125.
- ⁵² Михайловский Г. Н. Записки. С. 349.
- ⁵³ Набоков В. Д. Временное правительство. С. 50.
- ⁵⁴ Кофод К. А. 50 лет в России. 1878–1920. М., 1997. С. 256.
- ⁵⁵ Тыркова А. В. То, чего больше не будет: На путях к свободе. М., 1998. С. 433.
- ⁵⁶ Демьянов А. А. Моя служба при Временном правительстве. С. 113.
- ⁵⁷ Куликов С. В. «Министерская чехарда» в России периода Первой мировой войны: Хроника событий (июль 1914–февраль 1917) // Из глубины времен. СПб., 1994. Вып. 3. С. 43.
- ⁵⁸ Лопухин В. Б. Люди и политика. С. 125.
- ⁵⁹ Куликов С. В. Временное правительство и высшая царская бюрократия. Р. 78. По мнению А. Б. Николаева, полномочия Временного комитета думы нашло свое выражение в институте его комиссаров, наделенных чрезвычайными полномочиями. Они стали «важнейшим элементом функционирования механизма

временной власти» (Николаев А. Б. Государственная дума в Февральской революции. С. 92). Для нее, полагал А. Б. Николаев, характерно «стремление сохранить, насколько это было возможно, старый правительственный аппарат». Представляется, однако, что это утверждение нуждается в существенной оговорке. Сохранение «старого аппарата» было для Временного комитета не самоцелью, а необходимостью. При первом удобном случае старые чиновники увольнялись. Неудивительно, поэтому, что только в течение марта высшая ведомственная бюрократия обновилась почти на треть.

⁶⁰ Куликов С. В. «Министерская чехарда» в России периода Первой мировой войны. С. 43, 44.

⁶¹ Куликов С. В. Временное правительство. С. 30. Неправ поэтому, В. И. Старцев, утверждавший, что Временное правительство «всячески стремилось хоть что-нибудь спасти из старой системы управления. Это особенно удалось ему в области сохранения старых кадров чиновничества, в том числе и самого высшего» (Старцев В. И. Внутренняя политика Временного правительства первого состава. С. 169). Как раз именно сохранение «старых кадров» «самого высшего» чиновничества Временному правительству не удалось, поскольку такой цели оно перед собой не ставило.

⁶² Михайловский Г. Н. Записки. С. 260.

⁶³ Пенсионная практика Временного правительства. С. 249, 250.

⁶⁴ Куликов С. В. Временное правительство. С. 33–35, 36, 38.

⁶⁵ Завадский С. В. На великом изломе. С. 13.

⁶⁶ Куликов С. В. Временное правительство и высшая царская бюрократия. Р. 82.

⁶⁷ Журнал заседания Временного правительства № 3. 4 марта 1917 г. // Февральская революция. 1917 г. С. 166.

⁶⁸ Пенсионная практика Временного правительства. С. 250.

⁶⁹ Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. С. 134.

⁷⁰ Набоков В. Д. Временное правительство. С. 27.

⁷¹ Демьянов А. А. Моя служба при временном правительстве. С. 96.

⁷² Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. С. 134.

⁷³ Подробнее о деятельности Чрезвычайной следственной комиссии см.: Аврех А. Я. Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства: Замысел и исполнение // Исторические записки. М., 1990. Т. 118.

⁷⁴ Блок А. А. Записные книжки. 1901–1920. М., 1965. С. 321.

⁷⁵ Романов А. Ф. Император Николай II и его правительство (по данным Чрезвычайной следственной комиссии) // Русская летопись. Париж, 1922. Кн. 2. С. 11.

⁷⁶ Трубецкой С. Е. Минувшее. М., 1991. С. 162.

⁷⁷ Пешехонов А. В. Почему я не эмигрировал. Берлин, 1923. С. 51.

Е. Ю. Дубровская

СИМВОЛИЧЕСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ ИМПЕРИИ В ФИНЛЯНДСКОЙ СТОЛИЦЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОРОДСКОЙ СИМВОЛИКИ ГЕЛЬСИНГФОРСА В 1917 г.

Изучение армейской и флотской повседневности российских военных, оказавшихся в период Первой мировой войны в Финляндии, представлений рядовых и офицеров об этносах-соседах (финнах и шведах), исследование вопроса о социально-нравственных нормах поведения военных позволяют представить ту реальность, в которой в 1914–1918 гг. оказались тысячи в недавнем прошлом гражданских людей, мобилизо-

ванных под ружье и служивших на северо-западном рубеже воюющей Российской империи. Одним из аспектов окружавшей их реальности стало городское пространство столицы Великого княжества Финляндского — г. Гельсингфорс (Хельсинки).

Уже в первые дни революции 1917 г. топографический текст финляндской столицы наполнялся новым символическим содержанием, вбирал продиктованную временем символику преобразования действительности. В годы Первой мировой войны в Финляндии осуществлялось сразу несколько «имперских» национальных политик. «Гражданская» в большей степени учитывала специфику региона и опиралась на традиции управления краем в мирное время. Политика же командования войск, располагавшихся в Великом княжестве, формировалась под влиянием военного времени и предполагала вторжение военных в важнейшие сферы государственного управления.¹

Война разрушала традиции имперской политики, а параллельное существование в Финляндии гражданских и военных властей вело к постоянным столкновениям и противодействию финляндской гражданской администрации всех уровней начинаниям и требованиям военных. В обстановке революционных потрясений 1917 г. многое во взаимоотношениях жителей Гельсингфорса и военнослужащих определялось стихийными настроениями матросов и солдат, сошедших с кораблей, вышедших из казарм на улицы столицы Финляндии.

Цель настоящего исследования — взглянуть на пространство «своего»—«чужого» города глазами российских военных, проследить за стремлением матросов и солдат к символическому освоению этого пространства в обстоятельствах, когда место их службы осталось прежним, но изменилось само время. Это позволяет не только сделать наблюдения над многолетним семиотическим присутствием империи в городской среде финляндской столицы, но и увидеть, как политический переворот сопровождался переворотом символическим, как в новой ситуации ритуализировалось поведение военных.

История русских войск, располагавшихся в Финляндии, восходит к событиям начала XIX столетия, когда при Александре I Финляндия была присоединена после войны со Швецией к Российской империи, получив статус автономного Великого княжества. Водружение в мае 1808 г. флага с двуглавым орлом над шведской твердыней — Свеаборгской крепостью ознаменовало начало «русского» периода финляндской истории. Гельсингфорс в 1812 г. был избран Александром I в качестве столицы княжества как город, ближе расположенный к Санкт-Петербургу и, следовательно, более подходящий для этой роли по сравнению с прежней столицей Турку (Або), городом, близким к Швеции и по духу, и географически.²

С приобретением большой гавани достигалась одна из целей завоевания Финляндии, а с перенесением столицы в Гельсингфорс Россия тверже закрепилась на северном побережье Финского залива. Крепость Свеаборг прикрывала подступы к новой столице благодаря трем глубоким гаваням, береговым и островным укреплениям и батареям. Гельсингфорс обещал превратиться в крупнейшую базу русского флота, что и произошло к началу мировой войны.³

Первоначально российские войска располагались в островной крепости, откуда и началось «освоение» пространства города. Затем рядом со Свеаборгским портом на острове Скатудден (Катаянокка) появились морские казармы. Под влиянием Петербурга город виделся его строителям и как морской порт России, и как «военная столица» княжества, и как центр административного управления. Идеал военной столицы,

обусловивший ее претензии на олицетворение имперской власти в Финляндии, требовал, чтобы, подобно Петербургу, «город строился, как полк на параде, по струнке».⁴

Частью архитектурного облика города и монументальным выражением могущества империи стали казармы. Вместе с армией в Гельсингфорс прибыла специальная инженерная команда для проектирования и строительства казарм. В конце 1820-х гг. в районе Круунунхака появились казармы для жандармов и казаков, а в начале 1830-х — Абоские казармы на тогдашней окраине города. Самым значительным среди гражданских зданий, возведенных при участии военных инженеров, стал русский Александровский театр.⁵ Из-за сходства в росписи потолка зала с петербургским прототипом театр называли «малым Мариинским».

Унионская улица, находившаяся в центре города, получила название в честь унии, заключенной в 1809 г. между российским монархом и Великим княжеством. На ней по соседству с казармами был построен русский военный госпиталь в неоклассическом стиле, действовавший в этом качестве до конца апреля 1918 г.⁶ Казарменная улица получила имя от здания гвардейских казарм, на ней располагался и Гвардейский манеж.

Главным символом императорской власти стал один из красивейших городских ансамблей Европы — монументальный комплекс в стиле ампира — административный центр Сенатской площади. Ансамбль формировался почти полвека с 1818 г., включив здания Императорского Сената и Императорского Александровского университета (канцлерами университета были русские монархи), а также находящуюся чуть поодаль старейшую православную церковь Гельсингфорса — Храм Святой Троицы. С 1852 г. над площадью возвышается здание лютеранского Николаевского кафедрального собора, напоминающего Исаакиевский собор в Петербурге.

В конце XIX в. на Сенатской площади установили памятник Александру II, чье правление было отмечено расширением автономных прав Великого княжества и улучшением положения финского языка. К площади примыкали улицы, носившие имена членов императорской фамилии — Николаевская, Константиновская, Мариинская, Екатерининская, Еленинская. Их пересекала главная «парадная» улица — Александровская, названная в 1833 г. в честь Александра I. Увековечению его памяти служил бронзовый бюст императора у университетской библиотеки, которая также выходит фасадом на Сенатскую площадь.

Среди достопримечательностей, отмеченных на плане предреволюционного Гельсингфорса, можно обнаружить «Дом сословий», построенный в 1891 г. для собраний недворянских депутатов финляндского сейма (до 1906 г. сейм состоял из четырех палат и сохранялся таким, каким он был в «шведский» период финляндской истории). Российских военнотружущих, не знакомых с традициями финляндского парламентаризма, военные власти информировали об этом государственном институте с помощью специальных пособий. К ним относится и «Краткий очерк истории Финляндии и нынешнего ее устройства», подготовленный ротмистром Ильиным для унтер-офицеров.⁷

Фронтон «Дома сословий» украшает барельеф, изображающий сцену провозглашения Александром I на сейме в Борго (Порвоо) в 1809 г. автономного статуса Великого княжества, когда представители Финляндии присягнули на верность императору, а тот обещал сохранять законы шведского времени и лютеранское вероисповедание.

На Торговой площади города с ее Эспланадной пристанью, являвшейся водными воротами Гельсингфорса, приезжего встречали Мариинский дворец — резиденция

русского императора и дом генерал-губернатора края. В центре площади возвышался «Камень (или Обелиск) императрицы», увенчанный позолоченным двуглавым орлом — первый городской монумент, установленный в 1835 г. в память о посещении Гельсингфорса императором и императрицей. Торговая площадь стала традиционным местом появления перед финляндцами русских царей. Площадь приобрела статус особого, освященного присутствием монархов городского пространства, что в 1917 г. делает ее особенно притягательной для солдат и матросов.

Уроженка Гельсингфорса вспоминала церемонию встречи Николая II и цесаревича в феврале 1915 г. Финских школьников расставили шпалерами, через которые прошли августейшие гости. «Помню, как нужно было стоять на Торговой площади, напротив нынешнего президентского дворца, из него вышли царь с сыном, шагали важно, отдавая честь, а мы приветствовали их здравицей в честь Великого князя Финляндского и наследника».⁸

С площади открывался вид на величественный православный Успенский собор из красного кирпича, построенный на скале в конце XIX в. по проекту архитектора А. М. Горностаева, автора многих строений на острове Валаам. У подножия храма можно было видеть еще один монумент имперской культуры города — «часовню мира», установленную в честь заключения мирного договора в 1809 г., по которому Швеция уступила Финляндию России. Часовня должна была служить мерилom исторической памяти подданных Российской империи, подобно упоминавшимся объектам городской среды. Однако этот символ имперской власти нельзя обнаружить на карте современного Хельсинки. Разрушенный после гражданской войны 1918 г. он, по-видимому, больше других ассоциировался с русской властью, которая ушла в прошлое, но была подвергнута уничтожению, теперь уже ритуальному. Сходная судьба постигла и православный собор Александра Невского в Свеаборгской крепости, перестроенный сначала в маяк, а затем в лютеранскую церковь.

В августе 1914 г., в первые дни войны, среди населения княжества возникли слухи о том, что Выборг и половина Гельсингфорса сожжены, крепость Свеаборг, по одной версии, подверглась нападению и взята, по другой — сама расстреливает Гельсингфорс, а его жители «вследствие невероятных притеснений и лишений бегут, причем все это происходит по вине русских, объявивших войну Финляндии».⁹

Восприятие Свеаборга как символа «русскости» и «имперства» отразилось в апрельской 1918 г. публикации на страницах гельсингфорсской шведоязычной газеты «Hufvudstatsbladet». Заметка, появившаяся после занятия Гельсингфорса немецким экспедиционным корпусом, свидетельствует о том, что Свеаборг в восприятии жителей города был связан с постоянной военной угрозой со стороны России. Автор с удовольствием отмечал: «Свеаборг уже не русский. Весенние ветры с Финского залива обвевают Эренсвардовские бастионы, и потрепанный бело-красный флаг, последний признак русских, указывает на это подчинение». Территория, которая прежде не могла служить местом прогулки репортеров финляндских газет и, вероятно, увиденная автором впервые, даже после вывода войск воспринималась как чужеродный анклав: «Местность производит заметно русское впечатление: церковь и большие белые казармы и офицерские здания. Небольшие низкие дома разбросаны повсюду без всякого плана, часто помещая в себе какую-нибудь лавку и едва ли усиливая собой мощь крепости. Сельская идиллия перемешивается с крепкими военными сооружениями. Громадные, типично

русские кучи отбросов с массою пустых банок из-под консервов близ казематов и погребов с боевыми припасами... На наружных бастионах, откуда видно открытое море, за окопами скрываются замысловатые лафеты, дальнобойные пушки, с которых заблаговременно были увезены замки, побежденной нации. Некоторые из колоссов еще остаются и глядят в бессильной ярости вдаль за горизонт. Немецкая комендатура железною рукою восстанавливает порядок».¹⁰

А. И. Куприн в начале войны служил офицером в Великом княжестве (он посещал Финляндию более десяти раз в различные периоды жизни, неизменно относился к ней с любовью).¹¹ В 1933 г. в последней статье, посвященной стране Суоми, он отметил переплетение «своего» и «чужого» в культуре независимой Финляндии и перечислил те явления, которые «будут надолго, если не навсегда напоминать ее жителям о русской культуре»: «Это, во-первых, лиственная аллея, посаженная Петром I в Куоккала, во-вторых, Сайменский канал, где на последнем шлюзе выгравирована четкая надпись „Построен русскими солдатами по повелению Николая I в таком-то году“, в-третьих, Свеаборгская морская крепость, в-четвертых, памятник императору Александру II против Сената и в-пятых, Александровская улица, Александерсгатан».¹²

Примечательно, что литератор, хорошо знакомый с историей края, упомянул крепость, построенную шведами в XVIII в., как памятник русского военно-инженерного искусства. Рядовые же военнослужащие безоговорочно воспринимали Свеаборг как «освоенное» пространство, «островок» России, защищенный от внешнего, подчас враждебного мира.

И в то же время для армейцев и экипажей кораблей Гельсингфорс был самым желанным местом отдыха. Матросы, получившие увольнение на берег, сначала попадали в порт, а затем расходились по знакомым им в городе местам. Самым привлекательным из таких мест являлся парк — Брунс-парк, располагавшийся вблизи порта и предлагавший военнослужащим широкий выбор развлечений.¹³

«Иностраннный» характер города беспокоил армейское и флотское командование. По воспоминаниям капитана 1-го ранга С. Н. Тимирева, флаг-капитана командующего Балтийским флотом, Гельсингфорс считался среди русских офицеров «центром германского шпионажа и разрушительной революционной работы». Одной из причин такого предубеждения стал «состав населения», говорящего «на чуждом языке» и «в некоторых своих слоях настроенного германофильски». Опасение вызывала и «продолжительная стоянка больших кораблей (1-я и 2-я бригада линкоров, 2-я бригада крейсеров, эсминцы и миноносцы, всего более ста кораблей действующего флота. — Е. Д.) в Гельсингфорсе». По словам С. Н. Тимирева, частые посещения матросами берега давали агитаторам «полную свободу ведения самой широкой революционной пропаганды среди команд».¹⁴

Однако возможностей сойти на берег у матросов было не так много, в частности, на 1-й бригаде линейных кораблей их увольняли в город раз в 7–10 дней. Один раз в неделю команда того или иного корабля в качестве поощрения за службу выводилась в Гельсингфорс «на прогулку», и это становилось настоящим парадом моряков, проходивших через весь город.¹⁵

Зачастую парады русских войск, призванные демонстрировать силу режима, воздействовали на эстетические чувства населения, не искушенного в политике, вдохновляли эмоционально, а военные оркестры оживляли жизнь гарнизонных городов, влияли на музыкальную культуру великокняжеской столицы.¹⁶

Однако проявлявшееся русскими властями в разгар борьбы с так называемым пан-феннизмом пренебрежительное отношение к ценностям национальной культуры не оставалось незамеченным жителями Гельсингфорса. Заложниками в этих столкновениях становились российские военные. Финская интеллигенция, прежде всего шведоязычная, настроенная антирусски, обвиняла их в непочтительном отношении к национальным святыням.

В марте 1914 г. в газете «Nya Pressen» появилась заметка «Русские войска поют на улицах». Автора возмущало, что в финляндской столице «русские военные, кажется, считают ул. Рунеберга подходящей для своих променадов»: «... в двенадцатом часу дня команда солдат, распеваящих во все горло, прошла по северной Эспланаде мимо памятника Рунебергу на Казарменную ул. Нужно бы как можно скорее положить конец этому, почти что ежедневному пению и оранию войск на улицах нашей столицы».¹⁷

В «Hufvudstadsbladet» некий «Гражданин» выражал негодование по поводу того, что русские моряки стали пользоваться Железнодорожной (Вокзальной) площадью для своих занятий: «Движение на самых оживленных частях города прерывается на несколько часов к большому неудобству публики и к весьма малому удовольствию тех, кто живет у нашей центральной площади». Полемизируя с автором, правительственная «Финляндская газета» писала: «Добрая часть этих мест учений бывает заполнена толпой городских обывателей, которым, судя еще и по доброжелательному выражению их лиц, учения эти вовсе не неприятны».¹⁸

Так или иначе, Гельсингфорс оставался для военнотружущих особым, отчужденным от русского культурного контекста миром, и не только в силу иноязычного окружения. Оппозиция «восток/запад» на уровне восприятия символов остро ощущалась выходцами из России, несмотря на государственную и имперскую семиотику центра великокняжеской столицы. С конца XIX в. в Гельсингфорсе строились здания с высокими башнями и толстыми стенами из серого гранита в национально-романтическом направлении северного модерна. Этот стиль получил, как и в Германии, название «югенд». Над городом возвышалась католическая церковь Св. Генриха в Кайвопуйсто, немецкая кирха, огромная Бергхальская церковь. Необычными казались здание Рыцарского зала в неоготическом стиле, украшенные растительным и животным орнаментом здания Национального музея и Национального театра, «Фонтан Вальгрена» — скульптурный комплекс «Хавис Аманда» на Торговой площади, ставший символом города, и монумент жертвам кораблекрушения на холме вблизи Обсерваторской горки. С пьедесталов памятников смотрели незнакомые изваяния — собиратель рун эпоса «Калевала» Элиас Леннрут, Фредрик Пациус, написавший музыку национального гимна «Наш край», поэт-классик Йохан Людвиг Рунеберг, автор текста гимна.

К весне 1917 г. концентрация войск в финляндской столице значительно увеличилась. Еще в марте 1915 г. в Свеаборге насчитывалось 4 тыс. военнотружущих. В казармах на территории Гельсингфорса, в его окрестностях и на островах, составлявших линию обороны города и крепости, — до 5 тыс. человек. Согласно же приказу № 92 по Свеаборгской крепости, к 4 марта 1917 г. численность сухопутных войск, размещенных в городе и крепости, выросла до 20 698 человек.¹⁹

Из-за недостатка казарменных помещений они занимали здания финских народных школ. В них размещались все батальоны 510-го Волховского и 511-го Сычевского, роты

428-го Лодейнопольского и 509-го Гжатского полков.²⁰ Военнослужащие «осваивали» новые городские пространства. Иногда «освоение» приводило к курьезам, подобно тем, о которых рассказала уроженка Гельсингфорса А. Йортикка в воспоминаниях о своем детстве (предположительно они связаны с солдатами 2-го Свеаборгского артиллерийского полка, одна из его рот стояла в районе городского кладбища): «Поскольку кладбище Хьетаниеми располагалось поблизости, то солдаты заходили туда — посмотреть и полюбоваться красивыми траурными лентами на венках. Мы ходили поглядеть, как они живут в лагере. Видели, как они разожгли костер, спилили дерево, увидев нас, они заулыбались, так как смогли обратиться к нам по-фински»: солдаты произнесли расхожее финское ругательство, по-видимому, единственное из известных им выражений, «а потом пришел еще один солдат, на шее которого красовалась ленточка от венка с надписью „Последний привет от семьи Лунден“».²¹

Военные «осваивали» территорию мест погребения и в прямом, и в переносном смысле. Дети наблюдали церемонию проводов простых деревянных гробов, «в сопровождении 6–8 русских солдат и команды трубачей, игравших русский боевой гимн», на близлежащее кладбище.²²

С начала войны в больницах Великого княжества выделили несколько сотен коек для раненых. Солдат и офицеров с фронта привозили на лечение в Гельсингфорс.²³ Умерших же хоронили на русском военном кладбище. По воспоминаниям А. Йортикка, погребение «знати и офицеров» проходило на русском православном кладбище в Лаппинлахти. Гельсингфорс был городом многонациональным и поликонфессиональным. Среди мигрантов из России русские составляли самую многочисленную этническую группу. Но вместе с войсками в Финляндию прибывали уроженцы Прибалтийских губерний, поляки, евреи, татары. Мусульманские и еврейские кладбища, однако, в отличие от православных не разделялись на «офицерские» и «солдатские». За более чем вековой период кладбища, где покоились сотни соотечественников,²⁴ становились для военнослужащих «кусочком» российской территории и неофициальным местом поклонения далекой родине.

Другим местом, напоминавшим солдатам о России, но не наделявшимся сакральным смыслом, стали безлюдные скалы в живописных окрестностях города, которые солдаты и матросы называли «Карпатами». Это было излюбленное место досуга, которое в 1917 г. в обстановке наступившей «свободы» стало символом веселого времяпровождения с игрой в «орлянку» и алкогольными излишествами.²⁵

«Карпаты», как и другие городские пространства, удаленные от парадных улиц и площадей (парки Кайсаниеми, Цисперия), воплощали представления военнослужащих о «периферии», оппозиционной официальному «центру», с допустимыми для маргинальных территорий нарушениями поведенческих норм, функционированием бытовых практик социальных низов, криминогенностью. Об этом сохранилось множество свидетельств. Показательны звучавшие весной 1917 г. призывы читателей гельсингфорских и абоских «Известий» не допускать действий, позорящих «революционные войска и юную обретенную свободу».²⁶

С маргинальным статусом жителей окраин и девиантным поведением ассоциировались у военнослужащих разные «кофейни», воспринимавшиеся как «нечистые» места городского пространства. В письмах в редакцию «Известий Гельсингфорского совета» приводятся адреса таких заведений, где собирались и финны, и русские солдаты, и

матросы. Невзирая на запреты, там производилась продажа крепких напитков, процветала проституция, а бродячие торговцы сбывали всевозможные вещи, преимущественно краденые. Авторы заметок предостерегали от посещения таких мест, где заражена «атмосфера спиртом», советовали не ходить на знаменитый гельсингфорсский рынок возле Абоских казарм, на котором из-под полы велась торговля обмундированием и казенным имуществом.

Примечательно, что обсуждение матросами и солдатами первых неофициальных сведений о революции в Петрограде происходило 3 марта 1917 г. в «известных столовых и кофейнях», в этом маргинальном пространстве города. Здесь нижние чины собирались группами в 5–12 человек, договаривались выступить на следующий день по орудийному сигналу.²⁷ Такое же постановление вынесли участники матросского митинга за Петроградским мостом.²⁸

Однако восстание на линкоре «Андрей Первозванный» в ночь на 4 марта опередило эти намерения. Стихийное выступление команд 2-й бригады линкоров сопровождалось страшными расправами над офицерами. Упоминание об этих расправах впоследствии табуировалось, и в речи матросов и солдат заменялось датой, хорошо всем понятной. Гельсингфорсский совет депутатов армии, флота и рабочих, взявший на себя руководство политической жизнью военнослужащих в Финляндии, уже 10 марта по ходатайству особой цензурной комиссии постановил уничтожать письма, «восхвалявшие убийства во время революции вообще и в частности убийства офицеров».²⁹

С «периферии» Гельсингфорса, какой оставались в представлениях военнослужащих разбросанные по городу казармы, кофейни и отдаленные места проведения митингов, восставшим предстояло двинуться в центр финляндской столицы, воспринимавшийся как двойник имперского Петрограда, который надо было завоевать.

Первые сведения о событиях в имперском центре России просачивались в виде слухов и порождали страх, тревогу и неуверенность. Поиск «врага» переносился извне во внутрь окружения военных, и врагом мог оказаться каждый. Еще в полдень 3 марта матросы береговой роты минной обороны, не получавшие официальных сведений о происходившем в Петрограде, собрались во дворе казарм, чтобы выйти в город на демонстрацию. Однако командующий флотом вице-адмирал А. И. Непенин запретил любые манифестации, мотивируя это распоряжение тем, что в городах Финляндии «население нерусское», и демонстрации военных могут «послужить соблазном для населения».³⁰ Именно матросы в первые мартовские дни 1917 г. воспринимались офицерами как главная угроза порядку и спокойствию в городе.

С утра 4 марта в центр великокняжеской столицы стали стекаться колонны рядовых военнослужащих. Их прохождение через «сакральные» точки пространства города стало явным нарушением приказа высшего флотского начальства. Это была демонстрация символической «сопричастности» к революционным событиям в Петрограде и формой протеста против недостаточного информирования о них командующим, который попытался удержать матросов и солдат «вне политики».³¹

Прежнее противостояние имперского–финляндского в политической топографии Гельсингфорса усиливалось новой оппозицией буржуазного–демократического, и эта оппозиция проявлялась как на уровне символического пространства, отделявшего центр города от его окраин, так и на уровне ритуала-шествия, в который вовлекались «свои» и которым отторгались «чужие».

В контексте событий, осмысливавшихся как символически переходные, поведение людей — групповое, индивидуальное, на уровне лидеров — было повышено семиотичным. Поэтому особый смысл покушения на завоеванное пространство и восстановления того, «что было прежде», военнотружущие усматривали, казалось бы, в привычных и знакомых картинах повседневной жизни городского центра. Летом 1917 г. к этой будничной жизни кто-то относился с яростным негодованием, кто-то с иронией и сарказмом, которые чувствуются в стихотворении В. Фролова. Автор, служивший писарем в Свеаборге, в 1917 г. опубликовал в Гельсингфорсе несколько стихотворных сборников. В стихотворении «Штрихи», написанном в форме шуточного послания «дядюшке», он нарисовал картинку повседневной жизни крепости и показал беспокойную обстановку в Гельсингфорсе:

...Если в город приезжаю,
То брожу по Эспланадной
Среди публики нарядной.
Вечно ясная погода.
Много праздного народу.
Повергают в умиление
Мою душу, наслаждение
Навевает мне бряцанье
Шпор военных.
...Ах, забыл, со дня восстанья
В Петрограде к нам вниманья
Здесь немало проявили.
Офицеры порешили
На другой же день согласно,
Что служить без них (погон. — Е. Д.)
— ужасно,
И с девизом «Единенье!»
Нацепили украшение
Все зараз к себе на плечи,
Но... опасны эти речи...

В стихотворении звучат отголоски перипетий «погонной революции», потрясавшей Балтийский флот в апреле 1917 г. и ставшей едва ли не самым ярким проявлением разрушительных действий восставших по отношению к прежним символам господства/подчинения.³² Ношение погон балтийскими моряками было отменено приказом № 125 командующего флотом А. С. Максимова от 15 апреля. Отчасти это было продиктовано необходимостью избежать новых случаев насилия над офицерами, подобных тем, что стали печально известны всей стране в связи с расправами на кораблях и в городе 4–5 марта.

Жители финляндской столицы обнаруживали последствия нововведений буквально «под ногами» на улицах Гельсингфорса. Согласно апрельской дневниковой записи И. И. Ренгартена, «командующий флотом и комендант крепости издали приказы, и это было приведено в исполнение. Но при этом сделали уличный беспорядок: улицы Гельсингфорса полны груд матросских и солдатских погон — они снимают их с себя и друг с друга и бросают на мостовую. Со встречных офицеров, еще не знавших о приказе, тоже снимали погоны — вообще, это явное желание унижить».³³

Обращаясь к солдатам и матросам, свеаборгский артиллерист Д. Усов убеждал: «Мы теряем достоинство, останавливая на улицах Гельсингфорса своих товарищей — солдат, матросов и офицеров, срезая с плеч погоны без всякого на то основания от представителей наших депутатов. Почему бы не вынести распоряжение снять погоны через комитет? Совестно это делать свободному гражданину, портить своему же товарищу одежду», ведь «через постановление депутатов погоны сняли бы все без исключения сами».³⁴

Однако ритуализированный характер девиантного поведения на улицах Гельсингфорса, все-таки воспринимавшегося военными как «чужое» пространство, строился на отрицании обычных этических норм. Стратегия такого поведения, ориентированная на нанесение оскорбления явным или мнимым приверженцам самодержавной власти, должна была «принизить» социальный статус противника. Срезание погон и демонстративное их выбрасывание подразумевало не только «очищение» от символов прошлого.

Границы между «своим» и «чужим», установившиеся в первые дни революции, по прошествии времени утрачивали силу и оказывались размытыми. Наряду с семантикой разграничения «освоенного» и «неосвоенного» пространства и десакрализацией морально устаревших символов царской армии в виде срезания погон и их бросания на мостовую (сходное с популярным в плакатной символике мотивом «попирания разбитых цепей») служило восстановлению нарушенных связей внутри сообщества моряков и армейцев перед лицом враждебного внешнего мира.

Нежелание соблюдать правила этикетного поведения, в том числе и поведения на улице, приобретало особую значимость в упорядоченной жизни финляндской столицы. Шокировавшее очевидцев стремление рядовых двигаться по проезжей части, а не по тротуарам достигало такого эффекта потому, что прежде контроль за соблюдением порядка передвижения в великокняжеской столице возлагался именно на военных.

Подобное поведение, входящее в кодекс захватчика на оккупированной территории, все же не было типичным для солдат и матросов, остававшихся в бывшей великокняжеской столице вплоть до вывода российских войск из Финляндии весной 1918 г. Их больше беспокоила пусть даже мнимая опасность утраты уже «освоенных» ими городских пространств и объектов. Подозрения в «покушениях» такого рода вызывали ярость рядовых по отношению к офицерам и военным чиновникам. Осенью 1917 г. перипетии возникли между членами гельсингфорского матросского клуба и врачами морского госпиталя.

В представлениях рядовых военных «освоенные» городские объекты бывшей великокняжеской столицы тесно связывались с завоеваниями революционного времени и становились символами этих завоеваний, которые необходимо было уберечь от поглощения «чужой» средой. Угроза им виделась не столько со стороны внешнего противника, сколько от «внутреннего врага» в собственном окружении. Вражеские аэропланы и опасность, которую нес неприятель городу, воспринималась как намного меньшее зло, чем «происки» командного состава российской армии и флота, а любые действия офицеров неизбежно предполагали «презумпцию виновности».

Подводя итог исследованию вопроса о том, какое влияние оказывала имперская символика Гельсингфорса на восприятие российскими военными места прохождения их службы в годы Первой мировой войны и в период революционных потрясений 1917 г.,

а также, как в обстановке первых месяцев революции символы прежней власти трансформировались и заменялись новыми, нужно отметить следующее.

Гельсингфорс, ставший столицей Финляндии вскоре после ее присоединения к России, изначально строился как город, не связанный с памятью о шведском прошлом. К концу XIX в. он сам стал символом имперской власти в Великом княжестве, противопоставлявшимся прежней древней столице Або (Турку). В его архитектуре и планировке имперская и административная символика поддерживали друг друга и должны были напоминать российским военным о могуществе и величии государства, на страже которого они призваны были стоять здесь, в Финляндии, прикрывая с моря столицу империи.

Служившим в Гельсингфорсе офицерам, солдатам и матросам во время увольнения в город приходилось «обживать» незнакомую территорию с ее площадями, улицами, парками, привыкать к иноязычным топонимам и выстраивать свои отношения со зданиями, памятниками и другими объектами городской среды. Многие из пространств города носили русские названия, другие же неофициально переименовывались военными по ассоциации со знакомыми местами, прежде виденными в России (знаменитые «Карпаты» в Брунс-парке).

Постепенное освоение города позволяло военным составить семиотическую «шкалу ценностей» различных точек на плане Гельсингфорса. Символические противостояния, в том числе и на уровне городского пространства финляндской столицы, стали частью Первой мировой войны наряду с конфликтами между военными и гражданской администрацией Великого княжества, с насаждением чрезвычайных мер военного времени в качестве государственной политики и общей атмосферой взаимного недоверия между российскими военными и жителями Финляндии.

В дни Февральской революции 1917 г. в Гельсингфорсе матросы и солдаты придавали первостепенное значение символическому завоеванию особо отмеченных знаками «имперского присутствия» мест города, таких как его центральные площади и улицы, здание бывшего царского дворца, дом финляндского генерал-губернатора, Александровский театр.

В ритуализированном поведении нижних чинов во время шествий, демонстраций и митингов тенденция к расширению «своего» пространства проявлялась в спонтанно избираемых маршрутах из периферии «освоенного мира» в центр города. Превращению сферы «чужого» в «свое» способствовало использование музыкальных и графических символов революции, клишированных жестов, таких как обмен красными лентами и бантами, что позволяло россиянам и финнам без перевода понимать друг друга, а также намеренные нарушения норм поведения (попытки разрушить памятники, напоминавшие о рухнувшей империи, срезание погон с форменной одежды офицеров и рядовых и т. п.).

Весной 1917 г. на митингах на Сенатской площади или в «Рабочем доме» в Сернесе российские военнопленные объединялись с финскими рабочими, которые пытались привлечь радикально настроенных рядовых к своей борьбе за установление 8-часового рабочего дня или за принятие сеймом закона о коммунальном самоуправлении. Места проведения их совместных манифестаций и митингов все чаще совпадали с дореволюционной топографией протестных действий горожан, а маршруты демонстраций становились более упорядоченными.

Однако шествия, спланированные финнами, не предполагали прохождения мимо главного из прежних имперских символов города — бывшего царского дворца, что

обязательно предусматривалось во время парадов, организованных русскими военными. Финляндцы сохранили и свои традиционные места проведения митингов, на которые предпочитали собираться без участия солдат и матросов (таким стал сквер на Эспланаде возле памятника выразителю финских национальных устремлений Й. Л. Рунебергу).

Наряду с символическим разрушением «имперского наследия», имевшим место весной–летом 1917 г. в Финляндии, как и по всей стране, особенности революционного процесса, вызванные национальным составом гражданского населения города и сохранявшимся автономным положением бывшего Великого княжества в составе России, накладывали отпечаток на умонастроения военных, служивших в Гельсингфорсе.

Символический переворот, сопровождавший переворот политический, воздействуя на эмоциональную сферу участников этих событий безусловно способствовал повышению конфликтности социальных и этнических отношений в Финляндском княжестве.

Наряду с уже «освоенными» семиотизированными объектами городского пространства, каким стали Мариинский дворец — место нахождения Исполкома Гельсингфорского совета, высшего выборного органа власти военнослужащих, или бывшая царская яхта «Штандарт», на которой разместился Центральный комитет Балтийского флота, появлялись и новые, практически лишенные связи с прежней имперской символикой. Летом одним из объектов «повышенной значимости», требующим совместного «освоения» радикально настроенными финнами и военнослужащими, неожиданно оказался главный лютеранский собор города. Новой «святыней» для солдат и матросов становились здания матросского и Артиллерийского клубов, позже — клуба анархистов вблизи гельсингфорсского порта.

В условиях снижения привычной воинской дисциплины и в соответствии с представлениями рядовых о наступившей «свободе» пространство города подчас воспринималось ими как место проведения ежедневного праздника с импровизированными представлениями, привлекавшими как военнослужащих, так и горожан. Подобные «карнавальные» представления с участием казаков-кубанцев летом 1917 г. в течение нескольких дней разворачивались вблизи артиллерийских казарм и завода Николаева.

Один из трех казаков, «испачкавших лица сажей», по свидетельству очевидца, «одевал на себя искусственное изображение лошади» и «представлял коня и всадника одновременно», «показывал, как лошадь пьет», двое других «погоняли его хворостиной», пытаясь продать «хорошую кобылку» проезжавшим мимо на извозчике финнам, а те «торговались», зараженные общим весельем.³⁵

И горожане, и российские военнослужащие — недавние подданные империи, почувствовавшие себя гражданами, зачастую воспринимали политический переворот как ритуальное праздничное «действие», в которое включалось городское пространство финляндской столицы.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См. об этом: Дубровская Е. Ю. Первая мировая война в Финляндии: Империя против нации, российская армия против финляндцев // *Ab Imperio*. 2001. № 4. С. 169–194.

² Расила В. История Финляндии. Петрозаводск, 1996. С. 64–65; Кетولا Э. Русская революция и независимость Финляндии // *Анатомия революции. 1917 год в России: Массы,*

партии, власть. СПб., 1994. С. 292–293; *Хяккинен И., Цеттерберг С.* Финляндия вчера и сегодня: Краткий исторический очерк. Йошкар-Ола, 1997. С. 72.

³ *Баишакофф Н., Лейнонен М.* Из истории и быта русских в Финляндии. Helsinki, 1990. С. 6–7.

⁴ Подробнее см.: *Лотман Ю. М.* Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 208–220; Санкт-Петербург: 300 лет истории. СПб., 2003. С. 230–231; *Hellberg-Nim Å.* Символика Петербурга: Тема пространства // *Studia Slavica Finlandensia*. 1996. Т. 13. С. 68–88.

⁵ *Byckling L.* Aleksanterin Teatteri 120 vuotta. Helsinki, 2000; *Pakarinen R.* The Russian builders of Helsinki // *Venäläisyys Helsingissa 1809–1917*. Helsinki, 1984. S. 99; *Käsänen A.* Bulevardin ooperatalo tyhjenee ensi kesänä // *Helsingin Sanomat*. 1993. 13.01.

⁶ *Bonsdorf Å., Smedslun T.* Helsingin Venäläinen Sotilassairala. Helsinki, 1969. S. 46.

⁷ *Kahsallisarkisto (КА)* — Национальный архив Финляндии. Фонд «Русские военные бумаги». Д. 17247; См. об этом: *Дубровская Е. Ю.* Российские войска в Финляндии накануне Первой мировой войны // *Скандинавские чтения* 2000 г. СПб., 2001. С. 467–478.

⁸ SKS Arkisto (Архив Финского литературного общества). «1918» kokoelma. Side 41. S. 92. *Anni Jortikka*.

⁹ КА. ККК Fb 916 («Бумаги финляндского генерал-губернатора»).

¹⁰ Цит по: *Русский вестник*. Гельсингфорс, 1918. 24 апр.

¹¹ *Хеллман Б.* Александр Куприн в Хельсинки // *Куприн А. И.* Мы, русские беженцы в Финляндии... СПб., 2001. С. 7–22.

¹² Цит. по: Там же. С. 344, 424.

¹³ *Бажанов Д. А.* Матросы и берег: 1-я бригада линейных кораблей Балтийского флота в Гельсингфорсе (1914–1917 гг.) // Санкт-Петербург и страны Северной Европы: Материалы ежегодной международной научной конференции. СПб., 2004. С. 155–164.

¹⁴ *Тимирев С. Н.* Воспоминания морского офицера. СПб., 1998. С. 71.

¹⁵ *Бажанов Д. А.* Матросы и берег. С. 155–157.

¹⁶ *Luntinen P.* The Imperial Russian Army and Fleet in Finland 1808–1918. Helsinki, 1997. P. 406.

¹⁷ *Den Rysska militärens sjungande på gatorna* // *Nya Pressen*. 1914. 6 Mars.

¹⁸ Цит по: Обыкновенная история // Финляндская газета. 1914. 8 (21) марта.

¹⁹ *Eerola Ja.* «Siunattu olkoon turvamme tuoja...»: Upseereihin kohdistunut väkivalta Helsingin venäläisessä varuskunnassa helmikuun vallankumouksen 1917 aikana. Helsingin yliopisto. Hunianistinen tiedekunta, Historian laitos. Pro gradu työ, 1995. Liite 2; *Дубровская Е. Ю.* Роль Балтийского флота в обеспечении безопасности Петрограда в 1914–1917 годах // *Петербургские чтения* 98–99. СПб., 1999. С. 639.

²⁰ *Eerola Ja.* «Siunattu olkoon turvamme tuoja...» Liite 7; *Звонарев Г.* Наши пехотные части в Гельсингфорсе: (Из личных впечатлений унтер-офицера Свеаборгского пехотного полка, выделенного из 428-го Лодейнопольского). Гельсингфорс, 1917. С. 2.

²¹ SKS Arkisto. «1918» kokoelma. S. 95.

²² Ibid.

²³ Наши гости // Гельсингфорсский приходской листок. 1914. № 1. С. 7–8; Больницы // Там же. № 3. С. 19; Среди больных и раненых воинов // Там же. № 9. С. 7–8; *Соломещ И. М.* Финляндская политика царизма в годы Первой мировой войны (1914–февраль 1917). Петро-заводск, 1992. С. 24.

²⁴ *Halen H.* Helsingin venäläinen sotilashautausmaa Taivallahdessa 1826–1918. Helsinki, 2001.

²⁵ Карикатура «Веселье на Гельсингфорских Карпатах» // *Моряк*. 1917. № 4. С. 95.

²⁶ КА. «Русские военные бумаги». Д. 11970. Письма в редакцию «Известий Гельсингфорского совета депутатов армии, флота и рабочих (РГА ВМФ. Ф. Р-315. Оп. 1. Д. 21. То же).

²⁷ Гри-Кри. Две встречи // *Моряк*. 1918. № 6. 2 марта. С. 127.

²⁸ РГА ВМФ. Ф. Р-315. Оп. 1. Д. 120. Л. 36.

²⁹ Известия Гельсингфорского совета депутатов армии, флота и рабочих. 1917. 22 марта.

³⁰ Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистической революции: Сб. док. М.; Л., 1957. С. 29.

³¹ Подробнее об этом см.: *Дубровская Е. Ю.* Русский Гельсингфорс в 1917 году: Политичес-

кие топографии города // Культуры городов российской империи на рубеже XIX–XX веков: Междунар. colloquium: Научные доклады. СПб., 2004. С. 200–221.

³² Эта тема нашла отражение как в обширной мемуарной литературе, так и в новейших исследованиях. См.: *Колоницкий Б. И.* 1) Погоны и борьба за власть в 1917 году. СПб., 2001;

2) Символы власти и борьба за власть: к изучению политической культуры российской революции. СПб., 2001. С. 162–197.

³³ РГАВМФ. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 220. Л. 22.

³⁴ Известия Гельсингфорского совета. 1917. 20 апр.

³⁵ Там же.

А. Н. Чистиков

БУДУЩИЕ УПРАВЛЕНЦЫ: СТУДЕНТЫ КОММУНИСТИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА им. тов. ЗИНОВЬЕВА в 1920-е гг.

Расстановка своих сторонников на руководящие посты в органах власти и управления стала для большевистской партии с Октября 1917 г. ключевой задачей. Это гарантировало обладание властью и облегчало распространение коммунистической идеологии в стране. Старые управленцы не были надежной опорой нового режима, поэтому с самого начала большевики обратили пристальное внимание на создание собственных кадров, в частности через сеть партийных учебных заведений.

Советские историки обращались к этой теме при изучении как общих вопросов партийного строительства, так и конкретной истории разных типов партийных учебных заведений¹ и были единодушны в главном: эти заведения дали «многочисленную и квалифицированную армию партийных и советских работников»² из рабочих и крестьян.

Высшее место в структуре партийных учебных заведений занимали коммунистические университеты. Возникшие в большинстве своем в начале 1920-х гг., они явились, по признанию современников, главным резервом выдвижения работников.³ Выпускники коммунистических университетов направлялись на руководящие должности в государственные, партийные, профсоюзные, хозяйственные и иные органы и организации. Что представляли собой будущие руководители? На кого опиралась центральная власть в годы первых пятилеток, индустриализации, коллективизации и большого террора?

В какой-то степени ответ на эти вопросы можно получить при изучении материалов Петроградского коммунистического университета им. тов. Зиновьева (Ленинградского коммунистического университета) первой половины—середины 1920-х гг., времени, когда шло становление системы подготовки и воспитания кадров.

Зиновьевский университет, как его порой называли в обиходе, вел начало от инструкторской школы, основанной по инициативе заведующей иногородним отделом при исполкоме Союза коммун Северной области С. Н. Равич в 1918 г. Вскоре после открытия школа стала называться Первым рабоче-крестьянским университетом им. тов. Зиновьева и до начала 1921 г. успела сделать несколько выпусков «зиновьевцев».

Новый этап в развитии университета наступил в 1921 г., когда его реорганизовали по типу московского Коммунистического университета им. Свердлова (Свердловского

университета). Видимо, одним из первых шагов в этом направлении стало постановление Оргбюро ЦК РКП(б) от 4 февраля 1921 г. о командировании 10 студентов лекторской группы и сотрудника Свердловского университета С. И. Канатчикова для работы в Петроградском комвузе.⁴ 12 мая в Доме Совета под председательством В. И. Невского в присутствии Г. Е. Зиновьева и при участии пяти представителей Свердловского университета во главе с зав. учебной частью З. Н. Гайдебуровой состоялось организационное собрание. Было решено продолжить летом обучение лекторской группы, слушатели которой осенью, не прекращая своих занятий, одновременно стали бы руководителями кружковых занятий, проводимых с новым составом студентов.

В первые два года набор в университет шел весьма интенсивно. Было принято 2052 человека на восьмимесячные (первого созыва) и годовые (второго созыва) краткосрочные курсы, в восьмимесячную подготовительную группу и на два трехгодичных (долгосрочных) курса первого и второго созывов. Наличие краткосрочных курсов можно объяснить необходимостью срочно подготовить более или менее квалифицированные кадры для расширяющихся партийного и советского аппаратов, для профсоюзных, хозяйственных и иных органов. Переход с 1922 г. к трехгодичному обучению знаменовал собой новый этап. Наступило время задуматься о долгосрочной перспективе, ибо краткосрочные курсы могли дать и кратковременный эффект «затыкания дыр». Поэтому с января 1922 г. был установлен трехгодичный срок обучения, а требования при приеме повышены. На улучшение качества подготовки нацеливал и циркуляр ЦК РКП(б) и Главполитпросвета от 16 февраля 1922 г. о сокращении числа советско-партийных школ. На практике, как отмечает Л. С. Леонова, это привело к снижению численности курсантов, а не школ.⁵ Действительно, и в Петроградский (Ленинградский) комвуз в 1923–1926 гг. было принято всего 796 человек.

С самого начала Зиновьевский университет был сориентирован на прием во всероссийском (всесоюзном) масштабе. 10 ноября 1921 г. Северо-Западное бюро ЦК (СЗБ) постановило принимать слушателей и из других губерний, так как «вмещается больше, чем нужно для области»,⁶ т. е. для Мурманской, Новгородской, Петроградской, Псковской, Череповецкой губерний и Карелии. 2 декабря членам СЗБ было доложено, что ЦК положительно отнесся к просьбе Бюро, превратил университет в областной и предоставил 60–100 мест для обучения в нем посланцам Урала и Сибири.⁷ Возможно, тогда это было сделано из-за отсутствия в этих регионах собственных комвузов. Но и впоследствии, как показывают источники, Коммунистический университет им. тов. Зиновьева оставался кузницей управленцев для всей России и СССР, ибо обладал лучшими по сравнению с другими регионами преподавательскими кадрами. Исключение составлял лишь Свердловский университет, считавшийся первым по значимости партийным вузом. Это подчеркивалось разными способами, в том числе и такими, которые можно отнести к разряду курьезных. Так, в отчете СЗБ за ноябрь 1922 г. указывалось, что в октябре в Университет им. тов. Зиновьева было принято 165 человек: 50 — из Университета трудящихся Востока, остальные — кто по каким-то причинам не поступил в Университет им. Свердлова.⁸

Кто же становился слушателем Зиновьевского университета? Ответ на этот вопрос дают имеющиеся в распоряжении исследователей сведения о социальном положении, уровне образования, партийности и принадлежности к полу 2848 студентов, принятых в 1921–1926 гг. на долгосрочные курсы семи созывов, два краткосрочных курса, а также

в подготовительную и лекторскую группы. Они приводятся в статье И. Вавилина в сборнике, изданном в 1926 г.

Таблица 1

Социальный состав студентов (%)⁹

Название курсов	Рабочие	Крестьяне	Служащие и прочие
Лекторская группа	44.87	18.9	36.23
Краткосрочный курс 1-го созыва	48.9	21.2	29.8
Краткосрочный курс 2-го созыва	47.6	35.0	17.3
Подготовительная группа	43.17	41.57	15.26
Трехгодичный курс 1-го созыва	63.49	15.96	20.55
Трехгодичный курс 2-го созыва	52.57	27.77	19.66
Трехгодичный курс 3-го и 4-го созывов	56.9	14.8	28.2
Трехгодичный курс 5-го созыва	66.6	21.8	11.6
Трехгодичный курс 6-го созыва	57.1	21.3	21.6
Трехгодичный курс 7-го созыва	64.4	22.6	13.0

Прежде всего бросается в глаза непомерно большое число служащих и «прочих»¹⁰ в составе лекторской группы. Объяснение простое — их набирали как будущих преподавателей, поэтому одним из важных критериев был уровень образования, который у этих категорий был выше, чем у рабочих и служащих. Действительно, в лекторской группе законченное или незаконченное среднее образование имели 26% слушателей, низшее — 74%. На других курсах процент имевших среднее образование колебался от 4.2% (подготовительная группа и «трехгодичники» 7-го созыва) до 16.5% («трехгодичники» 6-го созыва). Подавляющее большинство имело низшее образование, вполне удовлетворяя одному из требований для поступления в коммунистические университеты: наличию элементарной грамотности. Естественно, учебные курсы и программы строились с учетом этого фактора, и слушатели изучали не только общественные дисциплины, но и общеобразовательные предметы.

Второй существенный момент — резкое повышение доли рабочих на долгосрочных курсах. Это достигалось исключительно анкетным способом, рабочие имели преимущество при зачислении. Однако И. Вавилин, анализируя эти данные, высказывался за дальнейшее увеличение приема рабочих, ибо группа прочих «все еще составляет слишком большую долю». Как видно из табл. 1, «большая доля» колебалась от 11.6% до 29.8% (исключая лекторскую группу). Выявить какую-либо закономерность в этих колебаниях невозможно, но важно другое: несмотря на предварительный целевой (в социальном плане, в частности) отбор кандидатов в рабоче-крестьянский университет, в него приходилось принимать значительное число нерабочих и некрестьян. Действительность диктовала свои условия. Добавим, что эти слушатели отрицательно влияли на статистику руководящих кадров, среди которых, по определению партийной верхушки, должны были преобладать представители рабочих и крестьян. Но руководство все больше «разбавлялось» служащими, и одним из каналов их проникновения во власть было обучение в университете.

Если поток служащих ограничить было невероятно трудно, то с беспартийностью справиться оказалось легче. По данным И. Вавилина, начиная со второго созыва (осень 1922 г.) на трехгодичных курсах беспартийных не числилось вообще. Более того, на них принимали слушателей, имевших не менее трех лет партийного стажа. С. Драницын утверждал, что в этом году было принято специальное решение о запрещении принимать в Зиновьевский университет беспартийных.¹¹ Однако Л. С. Леонова, опираясь на сведения, отложившиеся в архивном фонде партийной организации комвуза, пишет о наличии на 1 октября 1924 г. среди «зиновьевцев» 1.2% беспартийных.¹² Так что исключения из правила все же делались.

Вместе с тем налицо тенденция не просто к увеличению числа коммунистов среди слушателей университета, но к росту численности партийцев со стажем. И то и другое вызывалось тем, что подавляющее большинство выпускников долгосрочных курсов направлялись в партийную сферу, и это само по себе подразумевало партийность будущего чиновника. Тем показательнее, что и в иные области деятельности: на советскую, профессиональную, хозяйственную работу стремились направлять также коммунистов. И в этом отношении 1922 г. оказывался рубежным.

Нельзя забывать о том, что в рядах партии или комсомола оказывались все служащие, которые обучались на трехгодичных курсах со второго созыва. Таким образом, во власть приходили не просто служащие, а служащие-коммунисты.

Наличие трехлетнего партийного стажа как условия для поступления соблюдалось не всегда. Это хорошо видно из данных, приводимых И. Вавилиным. Среди «трехгодичников» первого созыва, принятых в мае 1922 г., 22.5% стали коммунистами в 1920 г., а 3.7% — в 1921 г. Среди студентов 6-го созыва, начавших обучение в сентябре 1925 г., было 5.1% членов партии с 1923 г. и 2.9% — с 1924 г. Для других созывов картина аналогичная, разница только в процентном отношении. Возможное объяснение, на мой взгляд, в том, что в течение учебы состав студентов менялся, и на курсы приходили более молодые коммунисты, для которых делалось исключение. Поэтому в процентном отношении их было немного.

Мало было и членов партии с дореволюционным стажем, а основной костяк составляли коммунисты с 1919–1920 гг.: от 44.5% до 64.5%. То, что они стали большевиками в период гражданской войны, сказывалось на их мировоззрении и методах руководства в тех сферах деятельности, в которых они работали после окончания университета.

Формировалась среди студентов Ленинградского комвуза и следующая по возрасту партийная группа. В первых созывах «трехгодичников» «нэповские» коммунисты составляли малую толику, зато среди поступивших осенью 1925 г. их было 20.5%, а осенью 1926 г. — 37.3%. Реальную власть они получили уже в 30-е гг. Впрочем, следует учитывать несколько обстоятельств. Во-первых, влияние новой экономической политики на формирование мировоззрения «нэповских» коммунистов было не только положительным, но и отрицательным. Во-вторых, они становились членами партии в период дискуссий, уклонов и тому подобных явлений, и им изначально приходилось вырабатывать определенную линию поведения. Одни искренне пытались разобраться во всех хитросплетениях верхушечной борьбы, другие учились подстраиваться под колебания «генеральной линии партии».

Что касается пола, то подавляющее большинство курсантов составляли мужчины, женщин же на долгосрочных курсах насчитывалось от 5.2% до 16.6% (в среднем — около 10.5%). Профессия руководителя по-прежнему оставалась мужской.

В целом статистические данные рисуют тот образ студента комвуза, который ожидало видеть руководство партии и для создания которого предпринимались конкретные административные меры. Благодаря условиям приема в университете преобладали мужчины средних лет, имеющие небольшой партийный стаж, низшее образование и рабочее происхождение. Однако те отклонения от этого «идеала», которые мы отметили (особенно наличие значительной группы служащих и «прочих»), нельзя игнорировать, ибо они также сказывались в будущей работе.

Некоторые оценки будущих руководителей, в том числе и их психологические характеристики, содержат материалы распределения «зиновьевцев». Своих выпускников университет направлял в различные регионы СССР, не ограничиваясь Северо-Западом. В связи с этим в комиссию по распределению ЦК направлял своего уполномоченного. Сообщая об этом в июне 1922 г., накануне распределения краткосрочного курса первого созыва, секретарь ЦК В. В. Куйбышев в телеграмме указывал, что при распределении надо иметь в виду готовящуюся очередную плановую переброску «на окраины для укрепления губкомов ответственными работниками».¹³ Такие переброски партийных работников проводились уже не раз, начиная с 1920 г.

Стоит обратить внимание на то, что Куйбышев приравнял выпускников университета к ответственным работникам. Сотрудники агитпропотдела СЗБ, подготовившие отчет о своей деятельности за ноябрь 1921—июнь 1922 г., конкретизировали это определение. Одним из факторов успешной работы они считали «влитие в область свежих подготовленных работников губернского масштаба», имея в виду выпускников Зиновьевского университета.¹⁴ Таким образом, определялась планка и подготовки, и распределения. Правда, не всегда эта планка теоретически и практически совпадала. В отчете СЗБ за июль 1922 г. отмечено, что из 163 распределенных выпускников упомянутого выше курса краткосрочников, «активными и вполне подготовленными работниками можно считать 30–35 человек (22%) — преимущественно по парт[ийной] и хоз[яйственной] линии».¹⁵ Тем не менее, по-видимому, все они получили назначение. Во всяком случае 139 выпускников обрели новые должности: 84 были отправлены в распоряжение Петроградского, 22 — Псковского и Новгородского губкомов. В профорганы ушли 11 человек, в хозяйственные — тоже 11 «наиболее сильных и подготовленных». И столько же — 11 (в том числе 7 «хорошо подготовленных») — получили комсомольские должности. Через месяц 6 «зиновьевцев» уехали по дополнительному распределению в Мурманскую губернию. Здесь надо обратить внимание на два обстоятельства. Во-первых, в основном выпускники комвуза пополнили ряды управленцев губерний Северо-Запада. Во-вторых, треть из «вполне подготовленных» была «брошена» на хозяйственные должности. Позже акцент сместится в сторону сугубо партийной работы, а география распределения существенно расширится.

Весной—летом 1924 г. через учетно-распределительный отдел Бюро прошли 139 выпускников (65 — из лекторской группы, 74 — из досрочного выпуска) и 7 студентов-практикантов. Все они получили назначения «от ЦК до Якутской области». Точное число выпускников, уехавших в Северо-Западные губернии, неизвестно, но в общей массе их было уже меньше, чем раньше. Действительно, за апрель—июнь 1924 г. учетно-распределительный отдел направил в Ленинградскую, Мурманскую, Псковскую, Череповецкую губернии и Карелию всего 73 коммуниста,¹⁶ и к тому же не все из них были бывшими студентами Университета им. Зиновьева. Тем не менее подчеркивалось в

отчете о работе СЗБ, выпускники комвуза вместе с партактивом составляют «руководительские кадры» в городах Северо-Западных губерний.

Дефицит руководящих кадров оставался, что приводило к принятию порой необычных решений. 6 июня 1924 г. бюро Ленинградского губкома обязало исключенных из Зиновьевского университета в результате чистки студентов прибыть в орготдел СЗБ ЦК, чтобы «нужные для работы в Ленинграде товарищи были направлены в распоряжение Л[енинградского] К[омитета], остальных — в те губкомы, откуда были присланы».¹⁷ Таким образом, наказание не предусматривало каких-либо административных мер и возможно даже отлучения от руководящей работы.

Другое решение, объясняемое недостатком управленцев, было принято также в эти дни. 20 мая из СЗБ в ЦК ушел запрос с пометой «срочно»: что делать с выпускниками лекторской группы В. А. Муравьевым и Е. М. Фрумкиной, распределенными в Вотский обком и Брянский губком. Губернская контрольная комиссия и комиссия по очистке партии выявили у Муравьева «мещанский уклон и партневыдержанность», а у Фрумкиной «отсутствие политических знаний в вопросах советского строительства». Со своей стороны СЗБ предлагало оставить их «для работы в пролетарском центре Ленинграда на предмет проверки и исправления»¹⁸ недостатков. ЦК согласился с мнением Северо-Западного бюро.

Более подробно процесс распределения можно изучить по документам 1925–1926 гг. В 1925 г. было два выпуска: первый в начале лета, когда выпускались 133 студента долгосрочного курса 1-го созыва. Из них пятеро оставались в университете «для усиления аппарата», еще пятеро уезжали в Якутск по распоряжению ЦК. Таким образом, к общему распределению пришли 123 студента: 13 молодых людей 1902 г. рождения через ЦК направлялись в Красную Армию, 25 — в распоряжение СЗБ и Ленгубкома, а остальные 85 — в распоряжение ЦК РКП(б). География выпускников уже традиционно была обширной: Севкрайком, Сиббюро, Астраханская, Вятская, Курская, Пензенская, Орловская, Сталинградская, Тверская и другие губернии. Однако посты им были приготовлены не слишком значительные. В протоколе комиссии по предварительному распределению указывалось, что им предлагается «деревенская низовая работа», агитационно-пропагандистская или организационная работа в провинции, работа в деревенских пропгруппах ЦК РКП(б).¹⁹ Это весьма показательно. Первый «бюрократический голод» был утолен. Губернский и уездный (в основном) уровни власти были заполнены, и требовалось укрепление низового звена. Наступал новый этап формирования бюрократического аппарата.

Второе распределение — долгосрочного курса 2-го созыва — состоялось в конце 1925 г. 12 ноября секретарь СЗБ И. М. Москвин направил запрос в ЦК — «дать указания (о) порядке распределения». К этому времени пятерых студентов уже ждали в полпредстве ОГПУ в Ленинградском военном округе, где их собирались назначить на ответственные должности. Спустя неделю пришел ответ от заместителя заворграспредотделом ЦК Козлова с предложением представить сначала характеристики выпускников, после чего ЦК обещал прислать разнарядку. 4 декабря 137 характеристик поступили в СЗБ.²⁰ Они были построены по одной схеме: фамилия, имя, отчество; партийная выдержка; область рекомендуемой работы.

При анализе этих характеристик выясняется, что нередко выпускников рекомендовали сразу на несколько участков работы, поэтому из 133 студентов (четверо уже работа-

ли к этому времени в университете и не учтены при подсчетах) пришлось 185 предложений, которые сводились к следующим областям деятельности: агитационно-пропагандистская (67), организационно-партийная (32), женская (13), профсоюзная (12), советская (12), политико-просветительская (11), организационно-агитационно-пропагандистская (4), организационно-пропагандистская (4), кооперативная (4), пропагандистская (3), низовая массовая (3), «в печати» (2), культурно-просветительная (2), низовая партийная (2), газетная (1), литературная (1). Как видно из списка, половину выпускников рекомендовали в сферу агитации и пропаганды, а еще почти четверть — на организационно-партийную работу. И те и другие при всех отличиях попадали в одну категорию — партийных чиновников. Гораздо меньше внимания уделялось профсоюзной и советской сферам работы, хотя влияние партии в них к этому времени было уже господствующим. Основная часть кадров советского и профсоюзного управленческого аппарата формировалась иными способами.

У нас будет еще возможность сравнить предполагаемые результаты этого распределения с более поздним — весны–лета 1926 г., а пока обратимся к характеристикам, которые получили выпускники конца 1925 г. Все без исключения характеристики были весьма краткими и выглядели примерно так: «Сравнительно выдержан, в исполнении партийных обязанностей не был достаточно аккуратен. В университетских организациях не участвовал и мало себя проявил. Взаимоотношения с товарищами удовлетворительные». Обладателя такой характеристики рекомендовали на газетную и советскую работу. Все кандидаты были достаточно или сравнительно выдержаны, дисциплинированы, у большинства сложились хорошие отношения с товарищами, они хорошо разбирались в политике или интересовались партийными вопросами, активно или просто участвовали в студенческих организациях. Из двух десятков отрицательных мнений, кроме упомянутых уже недостаточной аккуратности и неучастия в университетских организациях, можно выделить следующие: отсутствие достаточного опыта парторботы, слабование или, наоборот, излишняя самоуверенность в решении вопросов, высокомерие или замкнутость в обращении с товарищами. Одному выпускнику записали, что он «в партийной политике по крестьянскому вопросу имел неправильный уклон». Тем не менее все были признаны годными для работы в агитационно-пропагандистских или управленческих структурах. Какой-то закономерности между существованием отрицательных характеристик и сферой работы выявить не удалось за одним исключением: на низовую партийную и массовую работу получили направления только те лица, в характеристиках которых содержались перечисленные замечания.

Таким образом, случай с Муравьевым и Фрумкиной оказался в общем-то типичным. Те, кто доходил до распределения, без назначения не оставались.

Теперь проанализируем подобное распределение, которое состоялось летом 1926 г. Данные о нем содержатся в таблице, сохранившейся в одном из архивных дел,²¹ которую для краткости и удобства условно назовем «Списком». Он более информативен по сравнению с предыдущими документами, ибо кроме графы о предполагаемой сфере деятельности здесь имеются сведения и о том, куда, в какую сферу хотели бы распределиться сами выпускники. Сравнение этих данных дает возможность увидеть степень совпадения и различия самооценки и оценки руководства. Принимающая организация, как правило, учитывала рекомендации комиссии, поэтому несовпадение оценок потенциально способствовало снижению эффективности в будущей работе.

Выпускникам предоставлялось право указать также не одну, а несколько областей работы. 14 человек не смогли или не захотели самоопределиваться. Впрочем, часть из них собиралась в Красную Армию, поэтому они сознательно ставили прочерк в данной графе. Остальные 277 студентов высказали 343 пожелания. Диапазон был широк: от хозяйственной до комсомольской работы, 6 человек согласились ехать «по усмотрению администрации», а одна выпускница выразила желание «работать среди морозов». Все же большинство остановилось на двух направлениях: организационно-партийная работа — 167 человек и агитационно-пропагандистская — 83. Как видим, ориентиры несколько поменялись по сравнению с предыдущим выпуском. Там больше бывших студентов видели себя агитаторами и пропагандистами, здесь — партийными организаторами. Все остальные области приложения сил вызвали малый интерес: хозяйственная — 20, профсоюзная — 14, остальные (включая советскую) — менее 10 пожеланий.

Комиссия по распределению в университете распорядилась иначе, дав 435 рекомендаций 289 студентам. Правда, в 179 случаях мнения той и другой стороны совпали, но акцент был смещен в конце концов в сторону агитационно-пропагандистской деятельности (206 рекомендаций), за нею следовала организационно-партийная (152). Со значительным отрывом шли политпросвет — 32, советская — 22 и профессиональная работа — 14. Никого не рекомендовали на хозяйственную, комсомольскую, газетную работу и лишь одного человека — «по линии женотделов».

Сравнение с данными предыдущего распределения показывает, что руководство университета проводило политику, направленную на первенство агитационно-пропагандистской работы над организационно-партийной и на значительный отрыв их от остальных видов деятельности, что вполне согласовывалось с основными задачами, стоявшими перед комвузами.

«Список» дает еще редкую возможность сравнить три позиции: 1) из каких мест приехали «зиновьевцы»; 2) куда они хотели бы распределиться; 3) куда их направила комиссия университета. Сведя большинство сведений в несколько значимых территориальных и иных групп, получим следующую таблицу 2.

Сравним сначала данные, расположенные в первых двух колонках. Для этого содержащиеся здесь сведения объединим в три группы, отвечающие на вопросы: куда бывшие студенты меньше всего хотели возвращаться; куда возвращалось примерно столько же, сколько оттуда и прибыло; и наконец, куда стремилось большинство выпускников.

К первой группе относятся две организации: ЦК и СЗБ, и территория Северо-Запада, включая Ленинградскую губернию, но исключая Ленинград. Отсюда было направлено гораздо больше курсантов, чем оказалось желающих вернуться. ЦК обеспечивал всесоюзное распределение, поэтому можно было попасть в такие места, куда ехать не было никакого желания. Та же причина лежала в основе неприязни к СЗБ, с той лишь поправкой, что территория сужалась до пределов Северо-Запада, куда тоже ехать не хотелось, видимо, главным образом по причине не лучшего климата и продовольственного состояния. Игнорирование конкретных губерний этого региона только подтверждает это предположение.

Ко второй группе относится Украина, откуда приехали 32 человека и куда собирался 31 человек. Причем не все приехавшие хотели вернуться, так что стимулом к выбору этого места работы была, по нашему предположению, опять-таки возможность более удобной — с климатической и продовольственной точек зрения — жизни. В эту же группу

вошли военные органы. Количество прибывших и возвращающихся совпадает, но по-фамильное сравнение показывает также, что и здесь были замены.

Таблица 2

Распределение выпускников университета в 1926 г.

Наименование группы	Кол-во приехавших	Кол-во желающих ехать по распределению	Кол-во получивших направление
ЦК	46	15 (из них 12 — в Москву)	72
СЗБ	5	1	40
Северо-Запад (без Ленинграда и губернии)	22	4	1
Ленинград- ская губ.	26	3	45 (общее количество с Ленинградом)
Ленинград	13	93	
Украина	32	31	11
Юг России	3	26	2
Северный Кавказ	2	23	4
Урал	7	22	5
Сибирь и Дальний Восток	7	30	5
Политуправление и Красная Армия	16	16	45

Наконец, третья группа. Она очень различна по территории и по причинам притяжения. В Ленинград стремилась треть выпускников. Объяснять это только более приличной городской жизнью, вероятно, будет неправильно, хотя этот фактор играл существенную роль. Важно, что здесь можно было легче и разнообразнее приложить полученные знания, сделать карьеру. Наконец, кто-то просто обзаводился семьей и не желал покидать насиженное место.

Урал, Сибирь и Дальний Восток притягивали, с одной стороны, романтиков, готовых по зову партии строить новую жизнь в трудных условиях. Почему-то Север или Северо-Запад в данном случае таким критерием не обладали. Возможно, кто-то рассчитывал и на быстрое возвращение в европейскую часть России, благо работа на Урале и за Уралом могла стать неплохой ступенькой для будущей быстрой карьеры.

Хотя все это предположения, но, на мой взгляд, они не лишены оснований, а разнообразие желаний свидетельствует о имеющейся дифференциации среди выпускников Зиновьевского университета.

Сопоставление сведений, содержащихся в третьей колонке, с данными из первых двух приводит к выводу о том, что комиссия по распределению руководствовалась разрядкой ЦК и распоряжениями СЗБ, а не желаниями выпускников. Принцип обязательного возвращения новых управленцев в «родные пенаты», как это практиковалось раньше, тоже выдерживался не всегда. Период почти повсеместного хронического дефицита руководящих партийных кадров уже миновал.

Первоначальным распределением занималась комиссия из представителей университета, ЦК, СЗБ, Ленинградского губкома и студентов. Здесь указывалась общая разрядка (в ЦК, СЗБ, ПУР и т. д.), а конкретное место и должность определяли уже те организации, в ведение которых переходили выпускники. Так, из приложения к протоколу заседания секретариата СЗБ от 18 января 1926 г. явствует, что из 46 «зиновьевцев» 23 человека направлялись в Ленинградский, 5 — в Псковский, по 3 — в Череповецкий и Новгородский губкомы и в Карельский обком, 2 — в Мурманский губком. В агитпропгруппе СЗБ оставались пятеро выпускников и один распределялся сюда же на оргпарработку. Наконец, пять человек шли в ГПУ.²² Большинство выпускников получили те направления работы, которые были указаны в рекомендациях комиссии.

Не все выпускники и не всегда оставались довольны решением комиссии, и по этому поводу нередко возникала переписка. Причины недовольства были разными. В один и тот же день, 20 января 1926 г., в СЗБ поступило несколько заявлений от выпускников университета. С. А. Зельдин просил не направлять в Карелию, так как в Ленинграде находилась его семья: двое маленьких детей и работающая жена. Последнее обстоятельство было также немаловажным — в условиях значительной безработицы. «Имея в виду, что из остающихся в Ленинграде зиновьевцев вполне возможно заменить меня более подходящей кандидатурой, я бы просил секретариат меня оставить здесь в Ленинграде, притом на организационно-партийной работе», — писал Зельдин. Но в просьбе ему было отказано. Напротив, другое прошение секретариат удовлетворил. П. И. Михайлов, распределенный в агитпропгруппу СЗБ, желал уехать в распоряжение Каробкома, который, к тому же, поддержал просьбу бывшего студента. Свое желание Михайлов также мотивировал наличием семьи, но уже в Петрозаводске. Одновременно он просил перевести его из пропагандистов на оргпарработку, ибо до университета имел опыт хозяйственной, профессиональной и организационно-партийной работы, а во время учебы не руководил кружками и школами. Более того, университетская комиссия рекомендовала его именно на организационно-партийную работу.²³ К сожалению, из имеющихся документов нельзя определить, как секретариат отнесся к этой просьбе.

Эти материалы наглядно демонстрируют, что из коммунистического университета (и не только Ленинградского) выходили не бездушные «проводники линии партии», а живые люди со своими устремлениями, желаниями и запросами. Их психологические характеристики накладывали отпечаток на их деятельность в аппарате власти и управления, а значит, и на процессы, происходившие в стране.

Несмотря на наличие формальных ограничений, рабоче-крестьянский состав комвузовцев был заметно «разбавлен» служащими. В большинстве своем выпускники распределялись на партийную, а не на советскую работу. По мере укрепления бюрократического аппарата им приходилось начинать свою карьеру с более низких, чем раньше, ступеней чиновничьей лестницы.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См., например: *Чижова Л. М.* Из истории подготовки партийных работников (1921–1925 гг.) // Вопросы истории КПСС. 1968. № 6; *Андрухов Н. Р.* Партийное строительство после Октября. 1917–1924 гг. М., 1973; *Леонова Л. С.* 1) Из истории подготовки партийных кадров в советско-партийных школах и коммунистических университетах (1921–1925 гг.). М., 1972; 2) Исторический опыт КПСС по подготовке партийных кадров в партийных учебных заведениях. 1917–1975. М., 1979; Довольно полную библиографию по этой теме см. в работе Л. С. Леоновой «Исторический опыт...».

² *Леонова Л. С.* 1) Из истории подготовки... С. 180; 2) Исторический опыт... С. 171.

³ Руководящие кадры РКП (большевиков) и их распределение. 3-е изд. М.; Л., 1925. С. 165.

⁴ *Леонова Л. С.* Из истории подготовки... С. 92–93.

⁵ Там же. С. 32.

⁶ Центральный государственный архив историко-политических документов СПб. (далее — ЦГА ИПД СПб.). Ф. 9. Оп. 1. Д. 5. Л. 8.

⁷ Там же. Л. 10 об.

⁸ Там же. Д. 27. Л. 114 об.

⁹ *Вавилин И.* Наше студенчество и практическая работа // К пятилетию Коммунистического университета им. тов. Зиновьева. 1921–1926. Л., 1926. С. 18.

¹⁰ Под «прочими» обычно понимали интеллигенцию. Однако изучение материалов распределения «зиновьевцев» в 1926 г. показывает, что в «прочие» записывали себя некоторые партийные кадры.

¹¹ *Драницын С.* Из истории Коммунистического университета им. т. Зиновьева // К пятилетию Коммунистического университета им. тов. Зиновьева. С. 15.

¹² *Леонова Л. С.* Из истории подготовки... С. 47.

¹³ ЦГА ИПД СПб. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2798. Л. 6.

¹⁴ Там же. Д. 27. Л. 34.

¹⁵ Там же. Л. 45.

¹⁶ Там же. Д. 75. Л. 25.

¹⁷ Там же. Ф. 16. Оп. 1. Д. 115. Л. 47. Немного ранее, 26 февраля, бюро Ленинградского губкома по докладу ректора университета С. И. Канатчикова об оппозиционных группировках в Зиновьевском университете решило передать расследование по делу «Рабочей правды» в ГПУ. Вероятно, в июньском решении бюро речь идет о другой группе студентов.

¹⁸ ЦГА ИПД СПб. Ф. 9. Оп. 1. Д. 224. Л. 28.

¹⁹ Там же. Д. 2276. Л. 9.

²⁰ Там же. Д. 2472. Л. 6–21.

²¹ Там же. Л. 65–72 об.

²² Там же. Л. 39.

²³ Там же. Л. 51 об.

С. В. Яров

ОПРАВДАНИЕ ДИКТАТУРЫ: ПРОПАГАНДИСТСКИЕ ИМПРОВИЗАЦИИ В ПЕТРОГРАДЕ в 1917–1920-х гг.

Защита жестких мер власти, оправдание ее отказа сотрудничать с другими политическими силами, разъяснение необходимости диктатуры являлись важными элементами пропагандистских стратегий в первые послереволюционные годы. Форм, посредством которых осуществлялись эти стратегии, было много. Знакомясь с ними, можно обнаружить и умелую руку публициста, фабриковавшего сплошь заполненными клише листовки, и импровизацию дилетанта, чрезмерно упростившего попавший к нему

агитационный материал. Последняя представляет для историка особую ценность. Она яснее выявляет именно собственные представления агитатора о трактуемом им предмете — то, что мы едва ли уловим под напластованиями риторических штампов в текстах профессиональных агитпропработников, опубликованных в печати.

Типичными импровизациями можно счесть беседы со слушателями во время чтения на собрании «Огнесклада» 10 декабря 1920 г. «Азбуки коммунизма» — популярного пособия, в доступной форме излагавшего марксистское учение. Перед нами, конечно, лишь краткий «протокол беседы». Возможно, упрощенные ответы агитатора стенографом «беседы» еще сильнее огрублены и примитивизированы. Вместе с тем тут сохранены остоны интерпретаций, предложенных, правда в более усложненном виде, авторами «Азбуки коммунизма».

«Протокол беседы» представляет собой запись ответов и вопросов — без фиксации тех лиц, кому они принадлежали. «Почему нужна диктатура и нельзя мирно осуществить социализм, добившись большинства голосов в Учредительном собрании, как хотели мен[ьшевики] с[оциалисты]-р[еволюционеры]?»¹ — таков один из помещенных в тексте «протокола» вопросов. Соотнесенность первичного текста и его вульгаризированных вариантов здесь предельно обнажена. Вряд ли эсеры и меньшевики придерживались единой тактики по отношению к Учредительному собранию, едва ли они и столь открыто считали его путем к социализму. Возможно, автор вопроса передает только то, что он смог уловить и понять в прочитанном — в силу уровня своего кругозора и своей культуры. Медленный путь завоевания власти пролетариатом посредством получения большинства мест в представительных учреждениях он прямо оценил как путь к социализму, а в противниках диктатуры увидел эсеров и меньшевиков именно потому, что был свидетелем постоянного и целенаправленного шельмования в официальной пропаганде их и главным образом только их. Автору вопроса вся история «учредилки», видимо, не очень ясна — иначе он не мог бы не заметить, что социалистам ничего не надо было «добиваться»: они имели уже в Собрании свыше 60% мест.

На этом и сыграл агитатор, ответивший: «Потому, что это слишком длинный путь, а может быть бесконечный, что мы видим на примере рабочих других государств».² Дилемма сформулирована им так, что нужно выбирать между путем «длинным», хотя и «мирным», и диктатурой, которая этот путь сделает коротким — но и не таким мягким. Последнее подразумевалось, однако вслух высказано не было — и, может быть, неспроста. Трудно установить, знал ли агитатор о Сен-Жюсте, сказавшем: «Святая гильотина... и благотворительный террор творят чудеса, которых от... философии пришлось бы ждать целый век», но смысл его тезиса, как видим, не был утрачен и по прошествии века. Если агитатор именно такой довод счел убедительным и не пожелал дополнить его иными аргументами, то как раз потому, что версия о «засилье» буржуазии в Учредительном собрании уже тогда стала определяющим мотивом при объяснении его судьбы.

Тем парадоксальнее звучит его ответ на другой вопрос: «Как и когда кончится Дик[тату]ра пролетариата и когда наступит коммунизм?» Игнорируя вопрос, «Как?», он ничего не говорит и об условиях, при которых исчезнет диктатура. Его ответ краток и прям: «Дик[тату]ра пролетариата кончится по наступлении коммунизма».³ Коммунизм, в его представлении, видимо, и есть совокупность тех предпосылок, которые сделают излишним политический диктат. Сам термин, однако, никак не расшифровывался, возможно, учитывая, что он был у всех на слуху. Отсылка к понятию, всем известному

(хотя и не ставшему даже в силу этого достаточно ясным), освобождала агитатора от обязанности подробно рассказывать о механике смены одной системы другой. Тавтология его аргументов предельно обнажена: бесклассовым общество станет тогда, когда общество утратит классовый характер. Но это еще не все. Отметив, что диктатура кончится «по наступлении коммунизма», агитатор тут же добавляет, что время, «когда наступит коммунизм», никому не известно. Противоречие налицо: парламентский путь к социализму «бесконечен», но и о том, когда придет «светлое будущее», никто и ничего не может сказать.

Приемы агитатора кажутся излишне формальными. Никаких теоретических импровизаций он не допустил; может быть, только в «Азбуке» о сроках победы коммунизма сказано не столь анекдотически прямолинейно. Агитатор, однако, не пренебрег «формализмом» ради того, чтобы сделать свои аргументы более доходчивыми и убедительными. Он не убеждал, он просто рассказывал о том, что знал, всегда держась канонической колеи, но упрощая «канон» в зависимости от уровня своего кругозора. Этот «формализм» замечен и в его ответе на вопрос: «Почему ремесленник боится Дик[тату]ры проле[тариата], ведь его капиталисты эксплуатируют?».⁴ Едва ли ответ на него был «практически» важен для вопрошавшего. Его внимание привлекли скорее логические неувязки — естественным для уверовавшего в марксизм было желание увидеть теорию непротиворечивой, в чем и полагали ее научность.

Ответ на сей раз был предельно лаконичен и примитивен: «Потому что он не находится в рядах пролетариата» — и, значит, не может оценить своего положения. Ответ мог быть и другим («капитал» обманывает ремесленника, подкупает его, запугивает) — важнее то, что ответ был дан и что он по-своему логичен. В этом случае, сколь бы формальными ни являлись доводы, главным было то, что они могли легко усваиваться. Более сложный ответ мог и запутать слушателя, озадачить его непривычностью терминов и многоходовых причинно-следственных цепочек. Отметим при этом, что упрощенность ответа могла быть обусловлена и примитивностью вопроса. Сбитый с традиционной колеи неожиданной репликой и не нашедший в «Азбуке» привычного клише для ответа агитатор мог так же импровизировать, как и слушатель, задавший вопрос. Тем самым они начинали говорить на общем языке — поскольку в импровизациях чаще происходит апелляция к «житейским» формулам, незамысловатым, но одинаково понятным всем. Тем естественней было на вопрос: «Почему буржуй борется против коммунизма, ведь при коммунизме будет всем хорошо?», получить такой ответ: «Потому, что он привык только распоряжаться, указывать и повелевать, но не привык работать. Поэтому ему жалко расставаться со своим привилегированным положением».⁵

Нередко ответы на вопрос о том, для чего нужна диктатура, бывали еще упрощеннее, хотя, возможно, и здесь надо иметь в виду краткость протокольных записей. Иногда докладчик на собрании вообще никак не мотивировал свои утверждения, безапелляционно заявляя: «Диктатура пролетариата... бывает, правда, порой жестокой, но она необходима и будет продолжаться».⁶ Часто агитаторы смешивали диктатуру пролетариата с диктатурой партии, причем один из них, призывая избирать в Совет членов РКП (б), обосновывал это тем, что «при свержении царя и капиталистов главную роль сыграла коммунистическая партия»⁷ — этого казалось достаточно.⁸ Кое-где обходились и без объяснений: на собрании коллектива РКП (б) и «сочувствующих» Невской бумагопрядильной фабрики 9 августа 1919 г. один из выступавших требовал: «У нас не

должно быть никакой партии как только партия коммунистов большевиков»⁹ — и ведь это еще было время легализации социалистов.

Развернутую мотивацию необходимости диктатуры пролетариата чаще можно было встретить в выступлениях большевистских партийных работников среднего и низшего звена. Сам термин «диктатура пролетариата» стал употребляться не сразу, на первых порах предпочитали говорить о «диктатуре Советов», о «полновластии Советов». Защита «диктатуры Советов» в это время происходила в условиях борьбы с лозунгом «Вся власть Учредительному собранию». Все внимание поэтому было обращено на то, чтобы расширить круг полномочий советов и оградить их от притязаний «учредилки». В полемике с последней и обозначились контуры представлений о диктатуре. Потом они затверживались, повторялись как клише, нередко и видоизменялись, не меняя, правда, своего остова. Такое, например, оправдание необходимости «полновластия» (диктатуры) Советов мы можем найти в выступлении одного из активных работников Петроградского комитета РКП(б) А. Аменицкого: «...Перед Советами стоит колоссальная задача проведения в жизнь определенных политических административных положений Советской власти. Следовательно, нужны такие твердые аппараты, которые не имели бы над собой Дамоклова меча какой-то политической организации, которая бы с ними боролась. Необходима вся полнота власти такой, которая сама своими могучими руками могла бы дать определенное направление жизни... Власть Советов должна отличаться одним свойством — всей полнотой».¹⁰

Так подбирались аргументы, которые с разной долей детализации приводились и обосновывались в Петрограде во многих выступлениях устных и печатных — и Г. Зиновьева, и В. Быстрянского, и И. Гордона, и Б. Позерна, и Н. Анцеловича. Петроградские «агитки» нередко перекликались с «агитками» московскими, заимствуя многое из пропагандистских циркуляров ЦК и из писаний других «вождей». Так выстраивалась, хотя и не сразу и не последовательно, — но неуклонно, мотивационная цепочка: власть должна быть безусловной, поскольку призвана решать важные вопросы, ввиду этого власти не должны мешать, а если кто-нибудь осмелится на это, с ним необходимо бороться.

Обязательный атрибут диктатуры — ликвидация всех оппозиционных политических партий. Для мотивации этого использовалось несколько приемов. Часто обращалось внимание на то, что Советской России угрожали опасные и многочисленные враги, причем характеристики их являлись обнаженно плакатными, без каких-либо полутонов. Тем самым слушателя или читателя подводили к мысли о том, что в этих условиях только диктатура спасет «власть трудящихся» — иного пути нет. Идеологические гиперболы применялись даже там, где, казалось, они являлись неуместными — например, при рассказе о забастовках и других действиях рабочих, не имевших, как правило, отчетливо политической подоплеки. Приведем примеры. В июле 1919 г. в Петроград прибыла делегация от московских рабочих. Вот как это событие было оценено в обращении Комитета обороны, опубликованном на страницах «Петроградской правды»: «В Петроград нахлынуло много шпионов и провокаторов, подосланных сюда английскими агентами и русскими черносотенными генералами. Эти шпионы и провокаторы переодеваются рабочими, выдают себя за делегатов московских рабочих».¹¹ Другой пример: попытка организовать забастовки среди железнодорожников Петроградского узла в том же июле 1919 г. Такие забастовки возникали обычно вследствие мизерности

пайков, но в опубликованном в «Петроградской правде» воззвании Петросовета «Ко всем железнодорожникам Петроградского узла» виновниками стачки были названы «провокаторы и английские шпионы», которые «сеют среди железнодорожников самые нелепые и чудовищные слухи». ¹² В напечатанной в этом же номере газеты передовой статье «Контрреволюция и железнодорожники» также говорилось о том, что рабочих подстрекают не работать «агенты англо-французского империализма». ¹³ Однотипность лексики в обращениях двух разных организаций может свидетельствовать о том, что писала их одна и та же рука. Такая общность приемов проявлялась, однако, и там, где агитаторами были, по-видимому, разные лица. На собрании рабочих 26-й государственной типографии 7 марта 1921 г. причины волнений в Петрограде были объяснены в докладе представителя РКП(б) так: «Агенты Антанты не спали, они наводнили все учреждения, фабрики и заводы агентами контрразведки». ¹⁴ Его поддержал и другой выступавший, заявивший о том, что «частично выступления были по приказу из Берлина и Гельсингфорса». ¹⁵ Впрочем, и это не было пределом импровизационных упражнений агитаторов. Накануне, 6 марта 1921 г., в докладе о «текущем моменте» на собрании рабочих древесной фабрики и лесопильного завода № 2 было сказано следующее: «Белогвардейцы всех мастей подстрекали рабочих Питера... Рабочие поняли, кто их смущал, когда были им представлены арестованные 250 человек и которые оказались все старые жандармы». ¹⁶

Для того чтобы рабочие почувствовали, что значит лично для них торжество таких провокаторов, английских шпионов и бывших жандармов, публицисты и ораторы не скупились на рассказы о зверствах белых и их приспешников. Чаше прочего к ним прибегали тогда, когда к Петрограду приближались войска Юденича, но не пренебрегали ими и в других ситуациях. И в публикациях весны 1921 г. можно встретить тот же сценарий предупреждения, который был характерен для статей весны и осени 1919 г. Типичный пример — статья Н. Гордона «Черно-желтое трио». ¹⁷ «Если бы власть в Питере захватили с. р. банды с Козловским — ей-ей, не пахло бы белыми булками». ¹⁸ Таков был зачин статьи. Для вящей убедительности своего тезиса публицист не только решил обосновать его рядом доводов, но и предварить его, — сказав то, что не рисковали открыто высказать сами рабочие. С невысказанным, с намеками, с молчанием было бороться трудно — что здесь опровергать? Надо было заставить заговорить скептиков громко, а не шепотом — и заставить их произнести то, что и следовало оспорить. Но как это сделать? Выход был найден. Если сомневающиеся безмолвствуют, надо дать им знать, что их тайные мысли известны: «Беспартийный рабочий иногда думает: “ну что же, я не коммунист, на собраниях я постоянно первый горлопан против большевиков, меня не тронут”». ¹⁹ И уж затем следуют аргументы, которые, впрочем, новыми не являлись: там, где хозяйничали меньшевики и эсеры (в данном случае автор говорит о Казани), «несколько сотен беспартийных рабочих, недовольных политикой социал-предателей и выразивших свой протест, были загнаны в один из дворов и расстреляны из пулеметов». ²⁰ Очевидные неувязки (поскольку трудно представить, как могли именно социалисты, а не, скажем, монархисты загнать в один двор несколько сотен человек и сплошь именно беспартийных рабочих, т. е. тех, кого и хотели напугать в этой статье, и расстрелять их из пулеметов) — не смущали автора публикации. Возможно, к этому привычны были и читатели, узнававшие о зверствах белых из советской печати (другой не было) еще и не такое. Вместо Казани мог быть указан и другой город и даже другая

страна — содержание таких агиток от этого не менялось, но побуждало лишь к большей изворотливости их составителей. В статье «Что сулит нам Кронштадт»²¹ продолжалась та же тактика запугивания — только на месте социалистов оказались восставшие матросы. Поскольку о «зверствах» мятежников ничего известно не было (хотя они и захватили целый город, где было много рабочих), то намекали, что эксцессы могли бы произойти в будущем. Но нужны были, для усиления пропагандистского эффекта, яркие картины «зверств» — а где их взять, если в Кронштадте никого не расстреливали. Выход также был найден. Автор сообщил, что в случае полной победы кронштадтцев они устроили бы такой же террор, как в Венгрии, — и тут же сосредоточился на подробном описании венгерских событий и только их, подробно рассказывая о различных эпизодах царившего там террора и извлекая оттуда требуемые яркие картины.

Тема утраченных возможностей и личных потерь, понесенных «трудящимися» вследствие деятельности «врагов народа», также не раз затрагивалась в выступлениях ораторов и публицистов. Внимание при этом обращалось прежде всего на то, что именно действия оппозиции привели к голоду и нищете — т. е. на то, что сильнее всего волновало горожан. О других неприятностях, причиненных ими, говорилось значительно меньше. «Мы надеемся получить хлеба и другие продукты не менее, чем [в] прошлый год, а больше, если бы нам эти золотопогонники не мешали», — делился своими надеждами с рабочими один из агитаторов на фабрично-заводском собрании в начале марта 1921 г.²² Другой оратор, используя факт экстренной раздачи обуви и одежды с конца февраля 1921 г. с целью успокоения рабочих, дает ему такую мотивировку: «Вы даже сами замечали за это время, как мы кончили на фронтах вооруженную борьбу, как сразу стали получать обувь, спец и прозодежду и даже белье».²³ При этом был обойден молчанием вопрос о том, почему как раз в то время, когда вновь вспыхнула вооруженная борьба (в Кронштадте), число раздаваемых предметов обихода вдруг ощутимо повысилось.

О белогвардейцах как виновниках разрухи говорилось и в статьях Э. Леонтьева («Причина всех причин»)²⁴ и Н. Кузьмина («Причины наших невзгод»)²⁵. Правда, целью этих, как и других публикаций о «причинах» экономического хаоса, была попытка снять обвинения с большевиков. Место «виновников», однако, не могло пустовать. Нельзя было отказаться от обвинений одной партии, не предъявляя их партии другой. Чем более рьяно искали этих виновников, тем оправданнее становились жесткие меры борьбы с ними, тем настойчивее отстаивалась идея диктатуры. Это отчетливо проявлялось в идеологических акциях, направленных против социалистов.

Для дискредитации социалистов отчасти воспользовались приемами шельмования кадетов в конце 1917 г. Антикадетские кампании в силу разных причин в дальнейшем не получили размаха. Обвинения партии народной свободы в том, что она состоит из «врагов народа»,²⁶ что она провоцирует «с самого начала революции гражданскую войну»²⁷ по безапелляционности и грубости во многом сходны с обвинениями, которые предъявлялись чуть позднее социалистам. Жесткость обличений эсеров и меньшевиков в значительной мере оправдывалась тем, что им приписывалось сотрудничество с кадетами и белогвардейцами. И тогда казалось естественным, что те ругательства и оскорбления, которым подвергались последние, могли применяться и к тем, кто еще недавно считался революционером. «Революционный Петроград не виноват, если та плеть, которая бьет буржуа, задевает и тех, которые крепко держат его в своих объятиях», —

такое выступление можно было услышать на беспартийной районной конференции еще в 1918 г., хотя тогда оно и вызвало шум в зале.²⁸ Спустя несколько лет уже известный нам Н. Кузьмин без всяких оговорок, как о нечто бесспорном, писал о том, что война была поднята белогвардейцами и поддержана «„нашими друзьями“... меньшевиками и эсерами».²⁹ В обращении Петросовета Петроградского губсовета профсоюзов и Петроградского губкома РКП (б) «К рабочим и работницам Красного Петрограда», опубликованном в это же время, прямо уже сообщалось о том, что меньшевики и эсеры — «верные друзья» белогвардейцев. Здесь же предлагалось «гнать в шею подпольных врагов — белогвардейцев, их наемных слуг меньшевиков и эсеров».³⁰ Новые краски формируемого советскими пропагандистами образа эсеров и меньшевиков можно обнаружить в передовой «Петроградской правды», опубликованной в октябре 1921 г., когда тон печати мог стать более спокойным: «Ничтожные группы заговорщиков, финансируемые европейским капиталом».³¹

Можно еще долго говорить о всех перипетиях многочисленных кампаний по развенчанию социалистов, проводимых в 1918—начале 1920-х гг. Бесконечные рассказы об устройстве ими взрывов поездов и поджогах электростанций и заводов, о расстрелах рабочих и т. п. должны были привести читателя или слушателя к мысли о необходимости сильной власти, способной защитить «трудящихся» от их псевдодрузей. Эту мысль стремились подтвердить ссылками на мнения рабочих, в том числе побывавших на суде над эсерами в 1922 г. Разумеется, их отклики тщательно редактировались и в определенной степени должны были служить и идеологическим подспорьем для судей. Они интересны скорее тем, что показывают, как руками рабочих дискредитация социалистической оппозиции увязывалась с тезисом о значимости той системы, где не будет никаких партий, кроме коммунистической. Так, в переданном «Красной газетой» отчете присутствовавшего на суде рабочего нефтяных складов Нинова подчеркивалось: «Хотя вы и говорите, что суд неправильный — государственные обвинители коммунисты, так оно и должно быть, так как мы, беспартийные, больше никому не доверяем, как им, а не тем, которые продавали самих себя и тех, которые за ними шли».³² Примечательна и опубликованная в мае 1922 г. в «Петроградской правде» статья о собрании на Металлическом заводе. Здесь процитировано выступление беспартийного рабочего Тюльпина, так откликнувшегося на реплику о том, что суд — лишь эпизод в борьбе партий за власть: «Рабочие не могут оставаться в стороне при борьбе партий. Партии борются за рабочих или против рабочих».³³

Своеобразной концовкой этих агитационных импровизаций может служить более позднее (относящееся к 1923 г.) объяснение причин репрессий против социалистов на одном из собраний коммунистов «Нового Леснера»: «Обвиняют нас и в узурпаторстве: РКП загнала в подполье все другие партии, но ведь это делается в пользу трудящихся, т. к. ... эти беспокойные люди все время бы спорили и науськивали массы».³⁴ Слова «обвиняют», «загнала в подполье» сформулированы нарочито утрированно и хлестко, видимо, для того, чтобы легче их можно было опровергнуть. Совершив первую часть этой агитационной операции, выступавший, однако, не продолжил ее как полагалось — не задал вопрос «Так ли это?» или просто не назвал данное утверждение ложью. Он признал факт запрета партий — и получалось, что он соглашался и с тем, что их «загнали в подполье», а не с тем, например, что они «сами разоблачили себя», что «их отвергли массы» и т. д. Такие не очень умелые ходы или, вернее, ходы, не доведенные до

конца, были характерны именно для импровизаций. В пространных статьях, в воззваниях, в многословных листовках столь неожиданных обрывов и промахов в риторических упражнениях было меньше и следили за логичностью, хотя порой и внешней, причинно-следственной цепочки.

Один из элементов оправдания диктатуры в агитационных импровизациях — разъяснение вопроса о «свободе слова и печати». Первой, в своем роде «пробной» импровизацией можно счесть дискуссии на заседании Петроградского военно-революционного комитета (ПВРК) 6 ноября 1917 г. На нем присутствовала делегация печатников, протестовавшая против Декрета СНК о печати, грозившего репрессиями тем, кто сеял в прессе «клевету». Первым ответил печатникам А. Иоффе, заявивший, что «свобода печати не воспрещена, а ограничена, ... монополия печати должна принадлежать тому классу, который является выразителем настроения масс, ... буржуазные типографии конфискованы для того, чтобы справедливо распределить предмет производства».³⁵

Иоффе не оправдывается, а нападает. Мотивация его не столь формальна и казуистична, как может показаться на первый взгляд. Нападки на монополии, «антибуржуазские» выпады, требования справедливого распределения средств производства — это все язык 1917 г. Это язык не одного Иоффе, но даже и тех «буржуазных слоев», которые обижались после Февраля 1917 г., когда их называли «буржуями». Весьма риторичные и фальшивые для позднейших десятилетий, в 1917 г. данные тезисы вполне могли казаться тем, что должно было примирить печатников с Декретом СНК.

Этого не случилось, но примечательно, что, отвечая Иоффе, один из печатников словно не слышит его аргументов. Возможно, возразить против них было трудно, но и соглашаться с Декретом СНК печатники не могли, хотя бы потому, что это грозило снижением их заработков. В выступлениях представителя делегации внимание было обращено на другое: «...большевики насильно заставляют население читать газеты определенного направления, что не в этом социализм, что большевики законом о печати срывают Учредительное собрание, что, закрывая печать, Военно-революционный комитет должен был в первую очередь обратиться к представителям Союза печатников, выработать совместно с ними меры борьбы с буржуазной печатью, что если мы сильны, буржуазная печать не может быть страшна».³⁶

Печатники говорят на том же «революционном» языке, правда, также подбирая доводы, которые им более выгодны. Оспорить Иоффе с помощью этого языка было трудно, но и позиции печатников, защищенные броней риторики, казались в данном случае менее уязвимыми. Разговор в основном и пошел дальше при обращении к привычным идеологемам. Вопрос был лишь в том, кто сможет лучше ими воспользоваться и быстрее сделать выигрышный ход. Печатники имели перед собой сразу пять «игроков» — Иоффе, Свердлова, Дзержинского, Скрыпника и Лашевича — каждый из которых по своему жонглировал аргументами, почерпнутыми из «революционной» идеологии, хотя и преследовал одну цель.

Свердлов, возражая делегации, отмечал, что декрет «не является доказательством... боязни» и заявил, что его задача — «укрепить революционный порядок без лишних жертв, возможных в том случае, если дадим буржуазии возможность продолжать огромную агитацию путем печати».³⁷ Дзержинский употребил другой прием, впрочем, тоже не новый в арсенале «пролетарской» мифологии. Он ссылаясь на «пролетарскую классовую дисциплину» и допытывался, «считают ли печатники себя частью всей

семьи пролетариата».³⁸ Ему подыгрывал Скрыпник, спрашивая о том, «учитывает ли профессиональный союз печатников общее настроение всех профессиональных союзов».³⁹ Дискуссию закончил Лашевич. Подхватив мысль Дзержинского о том, что это такой серьезный вопрос, который грозит гражданской войной, он прямо заявил о том, что «печатники собираются объявить гражданскую войну» Петроградскому совету.

Могли ли печатники возражать против того, чтобы не было жертв? Едва ли. Кроме того они и сами в недавнем прошлом не препятствовали разгрому «монархической» прессы. Иоффе лишь призывал их быть последовательными, заметив, что, «когда победила первая, буржуазная революция, печатники нашли нормальным закрытие черносотенных газет».⁴⁰ И семьей пролетариата печатники себя считали, и гражданскую войну не хотели развязывать, и не могли они не согласиться с тем, что «общее настроение» профсоюзов было пробольшевистским.

Вступив в борьбу со своими оппонентами на общем поле социалистической догматики, печатники, очевидно, проиграли ее. Что же им остается? Остается молчать и отстаивать свою позицию, уже ничем ее не мотивируя: «Представитель делегации говорит о том, что для него ясно, что общего языка с Военно-революционным комитетом не найдет, а потому предлагает ограничиться именно формальным ответом».⁴¹ Их противники оказались более умелыми в идеологической казуистике. Эта казуистика в дальнейшем узаконивалась полемическими упражнениями, делавшими их победителей гораздо смелее и увереннее в своей правоте. Это еще не полная победа ПВРК, но «обезоруживание» достигнуто, а далее оправданными становятся и репрессивные меры и оказываются более эффективными приемы дискредитации.

Еще одним примером такой идеологической игры, правда, менее подробно отраженной в документе, можно считать дискуссию о «свободе печати» на заседании Президиума Петроградского губкома Всероссийского Союза рабочих металлистов (ПГК ВСРМ) совместно с представителями завода «Арсенал» 16 февраля 1921 г. Рассматривался помещенный в резолюции собрания арсенальцев следующий пункт: «Свободы слова и печати». Ход дискуссии на этом заседании в протоколе не отражен, но дополнительные пояснения, сделанные здесь арсенальцами, весьма примечательны: «Требуя свободу печати, мы не хотим этим сказать, что мы желаем, чтобы вновь выходили буржуазные газеты, которые рабочему классу совершенно не нужны, а чтобы в наших рабочих газетах была шире предоставлена возможность обличать разного рода безобразия».⁴²

Нельзя исключать, что такие пояснения были итогом разговора, в котором арсенальцы оправдывали свою позицию аргументами, приемлемыми для их собеседников. К таким оправданиям и к одобрению такого порядка вещей они, может быть, и были готовы. Отметим, что в том пункте резолюции «Арсенала», где требовали свободы печати, содержалась «лояльная» оговорка о том, что она нужна для борьбы с недостатками. Но это еще не значило, что арсенальцы были готовы произносить речи, которые повторяли софистические доводы, сформулированные уже в конце 1917 г. опытными партийными публицистами. Скорее их принудили к этому такими же приемами, какими заставили замолчать в 1917 г. делегацию печатников. Добившись необходимого им признания того, что «буржуазные» газеты вредны, члены Президиума ПГК ВСРМ перешли, опираясь на него, в наступление, приведя еще ряд эффектных и внешне логичных аргументов, чтобы достичь полного успеха. Доводы были следующими: 1) рабочим никто

не мешал обращаться в газеты, но они сами не хотели это делать; 2) для того чтобы рабочие могли выразить свои нужды, было предложено опубликовать их письма в профсоюзной газете «Маховик». Чтобы они не сомневались в том, дойдут ли их жалобы до адресата, предлагалось на каждом предприятии соорудить «специальный ящик» для них и снабдить его замком, ключ от которого должен был храниться в Союзе рабочих-металлистов. Против мер, предложенных ВСРМ, трудно было возражать и с ними легко было согласиться — ход выглядел явно выигрышно. Не говорилось, правда, о том, все ли было бы позволено печатать рабочим в советской газете, если бы они прежде обратились к ней, и не было ручательств, что все, помещенное в «специальных ящиках», будет опубликовано. Легкой победы дискуссии по таким вопросам не сулили, и потому их не замечали, не делали никаких оговорок, не допускали никаких оправданий. Простые, ясные меры, простой, ясный, понятный всем их эффект — зачем еще что-то комментировать?

Было ли в аргументах, прозвучавших на этом заседании Президиума ПГК ВСРМ, что-то новое? Отождествление свободной печати с буржуазной печатью новым точно не являлось. Мы встречались с этим уже в полемике ПВРК и печатников в 1917 г. Два года спустя этот же тезис, только в обрамлении уже более жестких безапелляционных утверждений, развил в своем выступлении на Первой конференции культпросветработников ее почетный председатель Гринберг: «Мы определенно против свободы печати для буржуазии, для той кучки, которая, нажив на эксплуатации рабоче-крестьянского класса миллиарды, печатала вредные для рабочего класса книги и газеты».⁴³ Когда на собрании завода «Дека» 5 апреля 1921 г. организатор коллектива РКП (б) заявил, что «свобода слова и печати для рабочих есть, а буржуазии мы не дадим»,⁴⁴ то он лишь следовал уже закрепившейся традиции — закрепившейся, видимо, настолько прочно, что считал естественным вообще отказаться от мотивации своего призыва.

Вред, наносимый буржуазной печатью обществу во все времена, и недопустимость ее существования в настоящий момент ввиду опасного положения республики — вот две доминанты аргументации, которой объясняли запрет независимой прессы. Дополнительным доводом стала ссылка на опыт работы «буржуазных» газет в капиталистических странах — для выявления их классовой сущности. Некоторые из этих аргументов прозвучали в импровизированных выступлениях на городских предприятиях почти в то же время, когда члены Президиума ПГК ВСРМ встречались с различными делегациями от заводов. На собрании завода «Новый Лесснер» один из выступавших, отвергая «свободу печати», «указал положение о свободе слова и действий с начала революции в России и в настоящее время в других странах, где управляют меньшевики и эсеры».⁴⁵ Речь его, правда, сумбурно и фрагментарно передана протоколистом, и в ней чувствуется обрыв логической цепочки: «Большевики приняли страну разоренной, все рудники России по добыче угля разорены белыми и то, что говорят, что у нас нет свободы, то это неправда».⁴⁶ Почему это неправда, он не сказал, но его намек на «демократические» государства импровизацией являлся лишь отчасти. О кризисе на Западе часто писалось тогда в прессе. Тем самым опровергались слухи о том, будто экономический хаос царил только в России — вследствие политики коммунистов. Выступление на «Новом Лесснере» показывает, что эта практика не исчерпывалась сравнением разных кризисов: недовольным зажимом прессы в Советской России можно было указать и на то, что делают с прессой за ее границами. Об этом, впрочем, говорили тогда не только

на собраниях. О гонениях на печать в веймарской Германии сообщалось, например, в статье В. Быстрянского «Свобода печати в “чистой демократии”», опубликованной «Петроградской правдой».⁴⁷

Как правило, закрытие «буржуазной» прессы объяснялось прагматическими соображениями; в 1917 г. даже обещали, что все ограничения свободы печати будут сняты, едва восстановится «революционный порядок». О запрещении «буржуазных» газет как акте социальной мести рискнул сказать только знакомый нам агитатор, разъяснявший в декабре 1920 г. «Азбуку коммунизма». К вопросу о том, «почему мы боролись всегда за свободу, а сами закрыли все газеты, кроме коммунистических», он, видимо, не очень был готов и потому из всей череды данных им импровизированных ответов этот был одним из худших, не очень мотивированный, не очень логичный и не очень убедительный: «Да, рабочий класс, как враг капиталистов, боролся за свободу печати, но он получал всегда отказ и рабочие газеты закрывались. Теперь после победы над капиталистами предоставляется право вести борьбу за свободу печати капиталистам».⁴⁸ Но даже и в этих, казалось, «доморощенных» упражнениях видно то же сближение непартийной печати исключительно с печатью «буржуазной», какое наблюдалось и в других агитационных выступлениях.

Подведем итоги. Агитационные импровизации возникали в рамках канонических трактовок «диктатуры пролетариата», но к ним примешивалось многое, почерпнутое оратором из своего «житейского опыта». Это делало порой их более понятными для слушателей. Платой за это была их фрагментарность, утрата в ряде случаев логической связи и незаконченность аргументации. В импровизациях нет четкого соблюдения всей канвы той «доказательной» цепочки профессиональных пропагандистов, которая, по тогдашней традиции, кончалась безальтернативным и потому казавшимся «научным» выводом. Акцент мог быть сделан на каком-то одном сюжете, более знакомом агитатору. Отмечая лишь один из аспектов вопроса, он и мог сосредоточиться только на нем, игнорируя другие доводы. В том, как он отстаивал свою позицию, нет четкой систематичности и последовательности, нет той внутренней дисциплины, которая позволяет, несмотря на неожиданность вопроса, сохранить устойчивость диалога. Есть быстрота ответа, скрадывающая его бесхитростный формализм, есть апелляция к клише, привычным и не вызывающим протеста, позволяющим именно привычностью перепрыгнуть через ряд звеньев в цепочке трактовок «за и против». Есть, наконец, и обращение к чувствам аудитории, простым и основанным на «житейских» правилах. «Прокладывай дорогу к разуму человека через его сердце. Дорога, ведущая непосредственно к разуму, сама по себе хороша, но, как правило, она несколько длиннее и, пожалуй, не столь надежна» — едва ли импровизаторы знали об этом правиле Честерфилда, но в своих поступках нередко следовали именно ему.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга (далее — ЦГАИПД СПб). Ф. 2. Оп. 1. Д. 142. Л. 12. Здесь и далее при цитировании документа сохранены его стиль и синтаксис.

² Там же.

³ Там же.

⁴ Там же.

⁵ Там же.

⁶ Протокол общего собрания завода им. Козицкого 1 августа 1923 г.: Центральный госу-

дарственный архив Санкт-Петербурга (далее — ЦГА СПб). Ф. 4591. Оп. 7. Д. 12. Л. 381.

⁷ Протокол общего собрания завода «Русский Дизель» 27 октября 1921 г. (Там же. Оп. 5. Д. 12. Л. 203).

⁸ Предложенный после этого выступления на собрании «Русского Дизеля» 27 октября 1921 г. подготовленный ПК РКП(б) наказ для выборов в Петросовет был принят единогласно и без поправок, а депутатом от рабочих стал представитель коллектива РКП (б) (Там же. Оп. 5. Д. 12. Л. 203).

⁹ ЦГАИПД СПб. Ф. 2106. Оп. 1. Д. 145. Л. 98 об.

¹⁰ Первая конференция рабочих и красноармейских депутатов 1-го Городского района (стенографические отчеты 25 мая–5 июня). Пг., 1918. С. 265–266.

¹¹ Обращение Комитета обороны «Ко всем рабочим и работницам Петрограда и окрестностей» // Петроградская правда. 1919. 10 июля.

¹² Там же. 21 июля.

¹³ Там же.

¹⁴ ЦГА СПб. Ф. 4804. Оп. 5. Д. 77. Л. 60.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же. Ф. 6276. Оп. 6. Д. 175. Л. 64.

¹⁷ Петроградская правда. 1921. 12 марта.

¹⁸ Там же.

¹⁹ Там же.

²⁰ Там же.

²¹ Там же. 8 мая.

²² Протокол общего собрания 2-й государственной фабрики производства одежды 30 марта 1921 г.: ЦГА СПб. Ф. 600. Оп. 5. Д. 5. Л. 16.

²³ Протокол общего собрания древесной фабрики и лесопильного завода № 2 6 марта 1921 г. (Там же. Ф. 6276. Оп. 6. Д. 175. Л. 64).

²⁴ Красная газета. 1921. 6 марта.

²⁵ Там же. 12 февр.

²⁶ Известия. 1917. 6 дек.

²⁷ Там же. 14 дек.

²⁸ Первая конференция рабочих и красноармейских депутатов 1-го Городского района. С. 72.

²⁹ Красная газета. 1921. 18 февр.

³⁰ Петроградская правда. 1921. 25 февр.

³¹ Там же. 28 окт.

³² Красная газета. 1922. 4 июля.

³³ Петроградская правда. 1922. 23 мая.

³⁴ Протокол общего собрания членов РКП (б) завода «Новый Лесснер» 29 мая 1923 г. (ЦГАИПД СПб. Ф. 376. Оп. 1. Д. 4 а. Л. 23).

³⁵ Петроградский Военно-революционный комитет: Документы и материалы. М., 1966. Т. 2. С. 144.

³⁶ Там же.

³⁷ Там же.

³⁸ Там же.

³⁹ Там же. С. 145.

⁴⁰ Там же.

⁴¹ Там же.

⁴² ЦГА СПб. Ф. 4591. Оп. 6. Д. 6. Л. 6–8 об.

⁴³ Протокол Первой конференции культпросветработников Петроградской губернии. Сентябрь 1919 г. (Там же. Ф. 6276. Оп. 4. Д. 140. Л. 6).

⁴⁴ Там же. Ф. 4591. Оп. 5. Д. 14. Л. 52.

⁴⁵ Там же. Д. 12. Л. 168 об.

⁴⁶ Там же.

⁴⁷ Петроградская правда. 1921. 28 апр.

⁴⁸ ЦГАИПД СПб. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1426. Л. 12.

IV. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

В. С. Парсамов

Ф. В. РОСТОПЧИН И ИДЕОЛОГЕМА «НАРОДНАЯ ВОЙНА»¹

Вопрос о том, имела ли Отечественная война 1812 г. народный характер или нет, в настоящей статье обсуждаться не будет. В такой постановке он вряд ли вообще имеет решение, так как само понятие «народная война» принадлежит к языку описания и не может быть выведено из имеющихся в распоряжении исследователя фактов без их предварительного отбора. В данном случае нас будут интересовать *идеологические* истоки историографического представления о войне 1812 г. как войне народной. Речь пойдет об одном из таких идеологов — московском генерал-губернаторе Ф. В. Ростопчине. Ростопчин — фигура сложная, сочетающая в себе безапелляционность и резкость суждений с отсутствием в них постоянства. Вместе с тем театральность принимаемых им поз, страсть к переодеваниям как в буквальном, так и в переносном смысле, нарочитая идеологизация собственных поступков делает его благодатным материалом для культурологического анализа.

«Народная война» идеологически не только фиксировала участие народа в борьбе с внешним врагом, но и могла интерпретироваться как война национально-культурная, доказывающая превосходство одной культуры над другой. Людьми типа Ростопчина, воспитанными на французской культуре, думающими и говорящими по-французски едва не лучше, чем на родном языке, Французская революция была воспринята не только как страшное социальное бедствие, постигшее Францию и всю Европу, но как глобальная культурная катастрофа, вызвавшая серьезные мировоззренческие изменения. Связь с французской культурой XVIII в. в силу ее универсального характера для образованного слоя европейцев, будь то немец, итальянец, англичанин или русский, означала принадлежность к некоему общечеловеческому наднациональному пространству, в котором идеи космополитизма преобладали над идеями национальными. Поэтому катастрофа, вызванная Французской революцией, ощущалась ими как разрушение этого пространства, следствием чего стала смена идей универсализма идеями партикуляризма. В этом смысле и национализм Ростопчина, и католицизм его жены Екатерины Петровны, урожденной Протасовой, были различными проявлениями общего культурного процесса.

Для идеологов национально-патриотического толка война с французами являлась составной частью и своего рода кульминацией в развитии их галлофобских идей. Участие народа в этой войне безусловно служило важным аргументом в их народническо-шовинистической пропаганде, но в то же время их консервативно-монархические взгляды накладывали определенные ограничения на понимание народного характера войны.

В манифестах А. С. Шишкова народ неизменно упоминается на последнем месте как низшее, а следовательно, последнее по значению сословие, принимающее участие в войне. С. Н. Глинка прямо писал: «Войну 1812 года нельзя в полном смысле назвать *войною народною*. (И слава Богу)! Война народная за Россию была у предков наших в *трехлетнее междуцарствие*, когда по словам грамот и летописцев того времени: *престол вдовствовал*. Но в наш *двенадцатый* год, Россия, под щитом Провидения, восстала за Отечество в полноте жизни своей; в недрах ея действовали: *Царь, войско и народ*; действовали нераздельно мыслию, душою и мышцею».²

Таким образом, с одной стороны, народ является тем здоровым началом, которое сохраняет основы национальной культуры, а с другой стороны, он лишь вспомогательное средство в вооруженной борьбе, которую ведет русский царь с иноземной скверной.

Важно еще раз подчеркнуть, что подобного рода русофильские идеи зарождались именно в среде европейски образованного дворянства, которое при всей своей любви к национальной культуре и народному языку практически не было с ними связано, а поносимая ими европейская (французская) культура была хорошо знакома им с детства. Их восприятие народа, как и понятие народной войны, имело характер идеологического конструкта, рассчитанного в первую очередь на европейскую или европеизированную аудиторию. Не случайно, что наиболее полную и развернутую трактовку народной войны в 1812 г. встречаем в письме немца Г.-Ф. Фабера к француженке мадам де Сталь.³

Особенность позиции Ростопчина заключалась в том, что он, не ограничиваясь обсуждением роли народа в 1812 г. в своей культурной среде, пытался говорить с самим народом на народном языке. По воспоминаниям Д. П. Рунича, «тотчас после назначения и по приезде в Москву Ростопчин стал разыгрывать из себя друга народа. <...> Полиция распространяла каждое утро по городу бюллетени, печатаемые по его приказанию и написанные площадным языком. <...> Занимая, с одной стороны, этими глупыми шутками празднующихся, он вселял, с другой стороны, ужас, проявляя свою власть такими жестокими мерами, которые заставляли всех трепетать».⁴

То, что дворянство в основном смеялось над ростопчинскими афишами,⁵ неудивительно. Они были рассчитаны отнюдь не на образованное меньшинство московского общества. О том же, как их воспринимали те, кому они были адресованы, — грамотная часть городских низов — судить трудно ввиду отсутствия прямых источников. Для самого же Ростопчина сочинение афиш было отнюдь не второстепенным делом. Он стремился таким образом вступить в прямой диалог с народом и придавал этому весьма серьезное значение. П. А. Вяземский, вспоминая, как Ростопчин отказался от предложения проживающего в его доме Н. М. Карамзина писать эти афиши вместо него, объяснял это авторским самолюбием московского генерал-губернатора.⁶ Однако дело было не только в этом. По замыслу Ростопчина, автором мог быть только человек, облеченный верховной властью в Москве. Важна была не столько содержащаяся в этих афишах информация, сколько сам факт диалога народа с властью. Как вспоминала дочь Ростопчина Наталья Нарышкина, «в отличие от предшествующих ему старых губернаторов Москвы, которые обращались к крестьянам и ремесленникам только в приказном тоне, мой отец хотел, чтобы все были в курсе происходящих событий, с этой целью он публиковал маленькие письма (*petites lettres*) или дружеские объявления (*annonces amicales*), написанные простым и непринужденным (*badin*) стилем, который мог быть понятным и соответствовать вкусам простой (*humble*) аудитории».⁷

Не углубляясь в вопрос о том, насколько удачно Ростопчин решал проблему народного языка, следует отметить, что в данном случае не было традиции, на которую он мог бы опереться. Шишковские манифесты с их славянизмами и библеизмами были не просто далеки от реального народного языка, но и практически непонятны народу. Ростопчин, по воспоминаниям Нарышкиной, «думал, что прокламации Шишкова были слишком длинны и слишком высокопарны».⁸ В отличие от Шишкова, который стремился к закреплению языка своих манифестов в качестве нормативного языка империи,⁹ Ростопчин подходил к этой проблеме функционально. Он действительно полагал, что народ говорит именно таким языком, каким написаны афиши, и рассчитывал, обращаясь к народу на «его» языке, манипулировать народным настроением. Нормативность Ростопчина проявлялась не в языке, а в том образе народа, который конструировался содержательными средствами.

В своих многочисленных обращениях к жителям Москвы он стремился представить народ как организованную и патриотически настроенную силу, в первую очередь послушную начальству: «Должно иметь послушание, усердие и веру к словам начальников, и они рады с вами и жить и умереть». Страх перед реальным народом отнюдь не мешал Ростопчину конструировать идеологему народа как природную неиспорченную иностранным воспитанием силу, хранящую в себе древние традиции. «Очень радуюсь, — писал он А. Д. Балашеву 4 августа 1812 г., — что правила мартинистов не поселены еще в головы народа».¹⁰

Масонов, и особенно уже опального Сперанского, Ростопчин старался представить в глазах властей как внутренних врагов государства, плетущих свои заговоры за спиной государя. Не имея отношения к реальности, это убеждение было неотъемлемой частью патриотической позиции, артикулируемой Ростопчиным. Идеологизированное народолюбие предполагает наличие врага народа, от которого народ должно защищать. Собственно говоря, защита народа от внутреннего и внешнего врага и есть форма выражения любви к нему. Поэтому образ врага часто конструируется параллельно с образом народа как его антипод. При этом враг коварен и для гибели народа может одевать на себя маску его друга. И только истинный патриот умеет отличать подлинных и мнимых друзей народа. Так, например, Ростопчин рассказывает в своих записках о том, как им был разоблачен коварный замысел трех московских сенаторов-масонов И. В. Лопухина, П. В. Рунича и П. И. Кутузова, которые «намеревались уговорить своих товарищей не покидать Москвы, окрашивая такой поступок в чувство долга и самопожертвование для отечества, по примеру римских сенаторов во время вступления галлов в Рим. Но намерение их состояло в том, чтобы, оставшись, играть роль при Наполеоне, который воспользовался бы ими для своих целей».¹¹ Наиболее «эффективной» формой борьбы с таким «врагом», как правило, являются доносы правительству и распространение слухов о якобы готовящихся заговорах. Письма Ростопчина Александру I буквально пестрят постоянными жалобами и предупреждениями относительно опасности уже сосланного Сперанского и московских масонов для государства и народа. Сам же он делает все от него зависящее (аресты, допросы, ссылки), для того чтобы врагам народа не удалось овладеть народным сознанием.

Государственная идея, по мнению Ростопчина, должна питаться не зыбкими европейскими истоками, а основываться на прочном народном фундаменте. Поэтому не европеизированное дворянство, а русский народ, контролируемый со стороны власти,

в союзе с императором способен одержать победу над внешним врагом. Все время Ростопчин всячески старался преуменьшить роль дворянства в победе над Наполеоном за счет царя и народа. Нарышкина явно со слов отца писала: «Александр и его народ исполнили свою благородную миссию, но дворянство проявило себя не на уровне задачи, поставленной перед ним Провидением. Только оно имело бесстыдство, руководствуясь ничтожными личными интересами, чернить и клеймить тот пылкий патриотизм, который подготовил московским пожаром гибель французской армии». ¹² Но главную роль спасителя Отечества Ростопчин отводил себе. В письме к царю от 2 декабря 1812 г. он прямо писал: «я <...> спас Империю». ¹³ Было ли это дерзкое бахвальство, эпатазирующее двор, или же за этим стояли пусть субъективные, но в то же время вполне искренние представления о характере войны 1812 г. и о своей роли в ней?

Думается, что Ростопчин в данном случае вполне искренен. Он был третий по масштабу власти человек в стране во время боевых действий после царя и главнокомандующего М. И. Кутузова. Д. П. Рунич даже уравнивает его по полномочиям с Кутузовым: «Он был переименован из отставного действительного тайного советника в генерала-от-инфантерии, назначен московским генерал-губернатором и облечен такою же властью, какую имел главнокомандующий действующей армии». ¹⁴

Вся роль Александра I в 1812 г. свелась по сути дела к тому, что он упорно не желал заключать мир с Наполеоном, и в этом Ростопчин вполне мог считать себя одним из тех, кто, если и не оказал прямого влияния на царя, то всяком случае послужил ему опорой. «О мире ни слова, — писал он царю через две недели после оставления Москвы, — то было бы смертным приговором для нас и для вас». ¹⁵

Особую роль в формировании идеологемы «народная война» сыграло назначение М. И. Кутузова главнокомандующим, последовавшее 8 августа 1812 г. По воспоминаниям Н. Н. Муравьева-Карского, «известие сие всех порадовало не меньше выигранного сражения. Радость изображалась на лицах всех и каждого». ¹⁶ Даже Ростопчин, еще не ведая, как сильно изменится его мнение о Кутузове, 13 августа 1812 г. писал А. Д. Балашеву: «Все состояния *обрадованы* поручением князю Кутузову главного начальства над всеми войсками, и единое желание, чтоб он скорее принял оное на месте». ¹⁷

Кутузов, видимо, с самого начала понимал, что не только армия решит исход войны, которая после Смоленска все больше приобретала народный характер. Следовательно, участие армии в боевых действиях по мере продвижения противника вглубь страны становилось все менее необходимым. В 1812 г. Кутузов дал гораздо меньше сражений, чем мог бы и чем от него ждали. Между ним и русским народом установилось какое-то особое взаимопонимание, позволившее ему фактически разделить тяжесть войны между армией и народом.

Разумеется, народный характер войны понимал не только Кутузов. Но Кутузов видел в нем особую прагматику. Для официальной пропаганды народ в войне занимал последнее место, что в общем-то было не так уж и мало, если учесть, что во всех предшествующих со времен Смуты войнах народ вообще не участвовал. Шишков в своих манифестах давал четкую иерархию степеней участия всех сословий в войне: «Войско, вельможи, дворянство, духовенство, купечество, народ, словом, все государственные чины и состояния, не щадя ни имуществ своих, ни жизни, составили единую душу вместе мужественную и благочестивую, толико же пылающую любовью к отечеству, колико любовь к Богу». ¹⁸ Итак, войска на первом месте, народ на последнем.

Кутузов практически перевернул эту иерархию ценностей и на деле, а не на словах превратил народ в активно действующую боевую силу, стараясь по возможности прятать за его плечами армию. Такая позиция выглядела парадоксально: не армия защищает народ, а, наоборот, народ спасает армию, которую Кутузов всячески старается вывести из-под удара противника.¹⁹

Одновременно идею народной войны он превращает в некий жупел для французов. 23 сентября Кутузов принял приехавшего к нему в качестве парламентаря генерала А.-Ж. Лористона, уполномоченного вести переговоры о перемирии. Миссия Лористона успеха не имела, и вскоре после его отъезда из походной типографии Кутузова вышла листовка, излагающая суть переговоров: «Лористон жаловался на жестокость, которую проявляют крестьяне к французам, гибнущим от их рук. Кутузов отвечал с иронией: “Возможно ли в течение трех месяцев цивилизовать народ, на который сами французы смотрят не иначе, как если бы это были орды Чингиз-хана”». И далее: «Эта война становится *народной* (курсив мой. — В. П.) и принимает характер, подобный борьбе в Испании. Русские крестьяне, вооруженные пиками, окружают со всех сторон французов, которые производят грабежи и оскверняют церкви». Народную войну Кутузов старается представить не только как жестокую и варварскую, но и как акт огромного самопожертвования, наивысшим проявлением которого стал московский пожар. На заверения Лористона, «что французы не поджигали Москву <...> Кутузов возразил: “Я хорошо знаю, что это сделали русские; проникнутые любовью к родине и готовые ради нее на самопожертвования, они гибли в горящем городе”». ²⁰ Эту же мысль Кутузов чуть позже выразил в письме к маршалу А. Бертье: «Трудно остановить народ, который в продолжение двухсот лет не видел войн на своей земле, народ, готовый жертвовать собою для родины и который не делает различий между тем, что принято в войнах обыкновенных». ²¹ В народной войне Кутузов видел не просто пропагандистский конструкт, но и реальную самостоятельную силу, способную победить Наполеона.

Ростопчина такая позиция совершенно не устраивала. На Кутузова московский генерал-губернатор смотрел как на человека, способного своим бездействием спровоцировать народные мятежи. В вопросе о том, должна ли армия спасти Москву или же Москва должна быть принесена в жертву во имя спасения армии, Ростопчин занимал позицию, противоположную Кутузову. Исходя из здравого смысла, московский генерал-губернатор писал главнокомандующему: «Армии собраны и выведены были для защищения пределов наших, потом должны были защищать Смоленск, и теперь спасти Москву, Россию и Государя». Москву Ростопчин рассматривал не просто как русскую столицу, воплощающую в себе национальную сущность, но и как организующее начало народной жизни. Пока она не сдана неприятелю, «народ русский есть самый благонамеренный». Но как только «древняя столица делается местом пребывания сильного, хитрого и счастливого неприятеля», прекратятся не только «все сношения с северным и полуденным краем России», но и разрушится само народное тело, и тогда уже за народ «никто не может отвечать». ²²

Ростопчин избегает слова «бунт», но оно явно подразумевается, как и то, что ответственность за народные волнения, вызванные потерей Москвы, полностью ляжет на главнокомандующего русской армией. Шантажируя таким образом Кутузова, Ростопчин не переставал всячески чернить его в глазах царя и общественного мнения. В своих письмах того периода к Александру I он называет Кутузова «старой бабой-сплетницей»,

пишет, что он «потерял голову и думает что-нибудь сделать, ничего не делая».²³ В письме к П. А. Толстому Кутузов представлен как «самый гнусный эгоист, пришедший от лет и разврата жизни почти в ребячество, спит, ничего не делает». И далее: «Я опасаясь, чтобы терпение народа не уступило место отчаянию, и тогда Россия погибнет неизбежно».²⁴

Последствиями «бездеятельности» Кутузова как главнокомандующего Ростопчин пытался представить дезорганизованность регулярной армии и возможность народного мятежа. «Солдаты уже не составляют армии, — писал Ростопчин царю 8 сентября 1812 г., — Это орда разбойников, и они грабят на глазах своего начальства».²⁵ В своих письмах-донесениях царю и другим корреспондентам он фиксирует случаи мародерства и неподчинения солдат: «В имении Мамонова явились мародеры для грабежа. Их прогнали, и два мужика начали взывать к мятежу», «во время службы человек 20 солдат пришли грабить церковь. Если наши крестьяне начнут драться с нашими солдатами (а я этого жду), тогда мы накануне мятежа». Все это делается с попустительства Кутузова, которого «никто не видит; он все лежит и много спит. Солдата презирает и ненавидит его». Поэтому Ростопчин предлагает царю «отозвать и наказать этого старого болвана и царедворца».²⁶

Нападая на Кутузова, Ростопчин тем не менее не сомневается в том, что «неприятель должен здесь погибнуть», но при этом добавляет «не Кутузов выроет ему могилу».²⁷ Разлагающейся армии Ростопчин противопоставляет народ, который «есть образец терпения, храбрости и доброты»,²⁸ но главное то, что этот народ послушен начальству и в первую очередь самому Ростопчину.

Кутузов же стремился представить народную войну прежде всего в глазах неприятеля, как реальность, изначально не предусмотренную командованием, не нуждающуюся в командовании и не зависящую от командования. Она спровоцирована самим неприятелем и закончится лишь тогда, когда тот покинет пределы России. Это война, ведущаяся не по правилам военного искусства и сопровождающаяся особой жестокостью. Вооружившись против Наполеона, русский народ реализует присущее народу вообще право на вооруженное восстание в случае, если его права попораны.

Не будучи посвященным в стратегический замысел Кутузова, Ростопчин эту пропагандистскую модель принял за чистую монету и всячески старался ей противодействовать. А. Г. Тартаковский в свое время обратил внимание на то, что Ростопчин самовольно изменил в приказе Кутузова от 19 октября по случаю оставления французами Москвы фразу о народной войне. Вместо слов о том, что Наполеону «не предстоит ничего другого, как продолжение ужасной *народной* (курсив мой. — В. П.) войны, способной в краткое время уничтожить всю его армию», Ростопчин поставил «ужасной *неудачной* войны».²⁹ Лишнее упоминание народной войны на фоне «бездействующей» армии казалось Ростопчину опасным.

Участие народа в войне Ростопчин представлял себе иначе. До приближения неприятеля к Москве главную свою задачу он видел в сохранении спокойствия в столице: «Прокламации, мною опубликованные, имели единственно в предмете утишение беспокойства».³⁰ Особое беспокойство генерал-губернатору внушало намерение Наполеона освободить русских крестьян от крепостной зависимости: «Иной вздумает, что Наполеон за добром идет, а его дело кожу драть; обещает все, а выйдет ничего. Солдатам сулит фельдмаршалство, нищим — золотые горы, народу — свободу; а всех ловит за виски,

да в тиски и пошлет на смерть: убьют либо там, либо тут».³¹ Но к счастью и к гордости Ростопчина, московский люд не внял слухам о готовящейся свободе и прочих благах. В письме к Балашеву от 30 июля 1812 г. он писал «слово *вольность*, на коей Наполеон создал свой замысел завоевать Россию, совсем в пользу его не действует. Русских проповедников свободы нет, ибо я в счет не кладу ни помешанных, ни пьяных, коих слова остаются без действия».³² «Но что приятно, — писал он 6 августа тому же адресату, — это дух народный, на него положиться можно; и я всякий день имею доказательства, что внушения его ни мало не колеблют».³³

Когда же Наполеон подошел к Москве, Ростопчин планировал выступить во главе вооруженного народа и принять участие в обороне столицы. К этому его призывал П. И. Багратион: «Мне кажется иного способа нет, как не доходя два марша до Москвы всем народом собраться и что войска успеет, с холодным оружием, пиками, саблями и что попало соединиться с ними и навалиться на них, а ежели станем отступать точно к вам неприятель поспешит».³⁴ 30 августа появилась афиша с призывом к народу готовиться к вооруженной обороне столицы: «Вооружитесь, кто чем может, и конные, и пешие; возьмите только на три дни хлеба; идите со крестом; возьмите хоругви из церквей и с сим знаменем собирайтесь тотчас на Трех Горах; я буду с вами, и вместе истребим злодея».³⁵ Помощник правителя Особенной канцелярии Министерства полиции М. Я. Фон-Фок доносил своему патрону А. Д. Балашеву: «Рассказывают, что Граф Ростопчин укрепляется с собранным им ополчением в Кремле, что сам одет в кафтане Русском и намерен защищать Москву до последней капли крови».³⁶

Ростопчин вынашивал более широкие замыслы, чем оборона столицы. В его намерения, видимо, входила организация широкой народной войны наподобие испанской, о чем писала впоследствии его дочь: «Мой отец хотел организовать войну гвेलирасов³⁷ или партизан, инициатива которой принадлежала селянам, но ему не дали ни времени, ни средств».³⁸

После того как Кутузов неожиданно для Ростопчина оставил Москву без боя у ее стен, Ростопчин пытался сыграть новую роль народного героя, которая еще раньше приходила ему в голову на случай захвата французами древней столицы. Речь идет о пожаре Москвы. Вопрос о реальной роли Ростопчина в этом деле хорошо исследован А. Г. Тартаковским.³⁹ Нас в данном случае интересует не событийно-фактический ряд сам по себе, а ростопчинская мотивировка и эволюция его признаний на этот счет. Сожжение собственного имущества хорошо вписывалось в концепцию народной войны. Само слово «пожар», перекликающееся с популярным в 1812 г. именем «Пожарский», открывало возможность для каламбуров, к которым ухо Ростопчина было особенно чутко.⁴⁰

Ростопчин это хорошо понимал, и еще до того, как вопрос об обороне столицы встал в повестку дня, он писал своему близкому другу П. И. Багратиону: «Народ здешний по верности к государю и любви к отечеству, решительно умрет у стен московских, а если Бог не поможет в его благом предприятии, то, следуя русскому обычаю: не доставайся злодею, обратит город в пепел, а Наполеон получит вместо добычи место, где стояла столица».⁴¹ Багратион был солидарен со своим корреспондентом, которого он считал «истинным русским вождем и барином»: «Истинно так и надо: лучше предать огню, нежели неприятелю».⁴²

Подобного рода заявления и последовавший за ними пожар навсегда связали имя Ростопчина с этим грандиозным событием: «Что касается до моего имени, — признавал он, —

то оно служит припевом к пожару, как припев Мальбруга в песне». ⁴³ При этом Ростопчин то приписывал себе, то отрицал участие в московском пожаре. 2 сентября он писал жене: «Когда ты получишь это письмо, Москва обратится в пепел. Прости мое желание сделаться римлянином, но если бы мы не сожгли город, его бы разграбили». ⁴⁴ Но уже через несколько дней в письме к Александру I Ростопчин высказывал предположение: «Виновниками этого пожара либо Французы, либо Русские воры; но я больше склонен думать, что это сами сторожа лавок, руководимые правилом: коль скоро не мое, так будь ничье!». ⁴⁵ Перечисление различных версий свидетельствует о том, что московский генерал-губернатор пока еще только прощупывал почву для наиболее выигрышной позиции по отношению к пожару: следует ли присоединиться к французской версии о русских злоумышленниках-поджигателях, или же списать все на самих французов и в таком случае лишиться себя национально-героического ореола самопожертвования, или же дать понять, что пожар есть проявление народного патриотизма, и тогда можно будет приписать себе честь инициатора этой величественной акции.

Версия о том, что французы сожгли Москву, продержалась довольно недолго, как в виду ее абсурдности (зачем французам жечь место собственного пребывания?), так и ввиду соблазна представить московский пожар актом величайшего народного самопожертвования. Но здесь «подвиг» Ростопчина остался неоцененным в полной мере. Одни не могли ему простить уничтожения собственного имущества, другие не верили в то, что московский генерал-губернатор по собственному почину мог решиться на столь масштабную акцию. Имя Ростопчина, если и связывалось с пожаром Москвы, то, как правило, в негативном смысле. Когда же речь заходила о великой жертве, принесенной народом, то о московском главнокомандующем предпочитали не вспоминать.

Зато в Европе Ростопчин в полной мере мог наслаждаться славой победителя Наполеона и вызывать шумный интерес как прямой потомок Чингиз-хана и представитель варварского народа, не останавливающегося ни перед какими жертвами во имя своей внешней независимости. «Но хотя, — писал он, — Бонапарте и сделал своими ругательствами имя мое незабвенным; хотя в Англии народ желал иметь мой гравированный портрет; в Пруссии женщины модам дают мое имя; хотя честные и благоразумные люди оказывают мне признательность: со всем тем есть много Русских, кои меня бранят за то, что они от нашествия злодея лишились домов и имущества, и многие, ничего не имевшие — миллионов!». ⁴⁶ Трудно сказать, что было обиднее для «русофила» Ростопчина: хвала иностранцев или хула соотечественников. Но как бы то ни было, в 1823 г. в Париже он решил опубликовать «Правду о пожаре Москвы». Эта «Правда» должна была убедить европейцев, что московский главнокомандующий не имеет отношения к поджогу столицы. Доказывая стратегическую бессмысленность этого мероприятия (пожар не мог истребить все, припасы почти все были вывезены, уничтоженная столица могла не задержать в себе Наполеона, а заставить его преследовать русскую армию и т. д.), Ростопчин склоняется к версии о самопроизвольном характере пожара: «Не могу я приписать ни русским, ни неприятелям исключительно». Правда, далее он снова возвращается к идее народного сожжения столицы: «Главная черта Русского характера есть некорыстолюбие и готовность скорее уничтожить, чем уступить, оканчивая ссору сими словами: не доставайся же никому. В частных разговорах с купцами, мастеровыми и людьми из простого народа я слышал следующее выражение, когда они с горестью изъясняли свой страх, чтоб Москва не досталась в руки неприятеля: *лучше*

ее сжечь. Во время моего пребывания в главной квартире Князя Кутузова я видел многих людей, спасшихся из Москвы после пожара, которые хвалились тем, что сами зажигли свои дома».⁴⁷

Этими словами Ростопчин навсегда, как ему казалось, снимал с себя печать поджигателя Москвы. В «Записках о 1812 году» (1825) он уже не возвращается к этой теме, но по-прежнему отводит народу решающую роль в победе над Наполеоном. Он считает, что если бы даже Наполеону удалось завоевать Россию, то русский народ не признал бы прав завоевателя. «Народ этот — лучший и отважнейший в мире — нашел бы бесконечные ресурсы в обширности страны, им обитаемой, в ее климате и даже в ее бедности».⁴⁸

Итак, конструируя идеологему «народная война», Ростопчин преследовал в первую очередь две цели. С одной стороны, он стремился всячески принизить роль Кутузова в победе над Наполеоном, с другой стороны, как человек, претендующий на управление народным настроением в 1812 г., он отводил себе главную роль в спасении империи. Ростопчину, видимо, и в голову не могло прийти, что с течением времени, не он, а именно Кутузов, войдет в историю как организатор и вдохновитель народной войны.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Настоящая статья является фрагментом монографии, посвященной идеологии наполеоновских войн.

² Глинка С. Записки о 1812 году. СПб., 1836. С. 263.

³ Фабер Г. Ф. Русские люди в 1812 году: Отзыв современника-иностранца // Русский архив. 1902. № 1. С. 31–41.

⁴ Русская старина. 1901. № 3. С. 600.

⁵ Narishkine, m-me. 1812. Le comte Rostopchine et son temps. SPb., 1912. P. 125.

⁶ Вяземский П. А. Мемуарные заметки // Державный сфинкс. М., 1999. С. 421–422.

⁷ Narishkine m-me. 1812. Le comte Rostopchine... P. 125.

⁸ Ibid. P. 124.

⁹ Подробнее см.: Sandomirskaja I. «A heavy fatherland and a cruel language»: Admiral A. S. Shishkov and imperial symbolism in modern Russian language philosophy // Slavic Almanac. 2003. Vol. 9. P. 82–97.

¹⁰ Отечественная война в письмах современников (1812–1815) / Под ред. Н. Дубровина. СПб., 1882. С. 80.

¹¹ Ростопчин В. Ф. Ох, французы. М., 1992. С. 302.

¹² Narishkine m-me. 1812. Le comte Rostopchine... P. 120.

¹³ Русский архив. 1892. № 8. С. 562.

¹⁴ Русская старина. 1901. № 3. С. 598.

¹⁵ Русский архив. 1892. № 8. С. 539.

¹⁶ Там же. 1885. № 10. С. 244.

¹⁷ Отечественная война в письмах современников. С. 94.

¹⁸ Краткие записки адмирала А. Шишкова, веденные им во время пребывания его при блаженной памяти Государе Императоре Александре Первом в бывшую с Французами в 1812 и последующих годах войну. СПб., 1832. С. 70.

¹⁹ Ср.: Епанчин Ю. Л. Н. Н. Раевский и М. И. Кутузов // Военно-исторические исследования в Поволжье. Саратов, 2000. Вып. 4. С. 73.

²⁰ Листовки Отечественной войны 1812 года: Сб. документов. М., 1962. С. 47–48. Ср. со словами пушкинской Полины из «Рославлева»: «Вселенная изумится великой жертве! Теперь и падение наше мне не страшно, честь наша спасена; никогда Европа не осмелится уже бороться с народом, который рубит сам себе руки и жжет свою столицу» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М., 1938. Т. 8 (1). С. 157).

²¹ Кутузов М. И. Письма. Записки. М., 1989. С. 358.

²² Русская старина. 1870. № 9. С. 305.

²³ Русский архив. 1892. № 8. С. 536.

²⁴ Несколько писем графа Ф. В. Ростопчина к графу П. А. Толстому 1812 года. Отд. отт. С. 189.

²⁵ Русский архив. 1892. № 8. С. 535.

²⁶ Там же. С. 535–536, 542.

²⁷ Там же. С. 539.

²⁸ Там же. С. 438.

²⁹ См.: Тартаковский А. Г. Военная публицистика 1812 года. М., 197. С. 67.

³⁰ Ростопчин Ф. В. Соч. СПб., 1953. С. 244.

³¹ Ростопчин В. Ф. Ох, французы. С. 212.

³² Отечественная война в письмах современников... С. 69.

³³ Там же. С. 82.

³⁴ Там же. С. 75.

³⁵ Ростопчин В. Ф. Ох, французы. С. 218.

³⁶ Архив СПбИИ РАН. Ф. 16. Оп. 1. Ед. хр. 232. Л. 32–33.

³⁷ Правильное написание — гверильясы от исп. «guerrilles».

³⁸ Narishkine m-me. 1812. Le comte Rostopchine... Р. 179. Ф. В. Ростопчин демонстрировал свое испанофильство. Близкий к нему А. Я. Булгаков в письме к жене от 23 октября 1812 г. писал: «Говорили о храбрых Испанцах; граф сказал: „Что касается до меня, то я кланяюсь два раза тому, кто чихает, понохавши Испанского табаку... Я сам сжег Вороново”, — прибавил он. — Что такое Вороново? — спросил Jean Bart. — „Вороново, милостивый государь, мой загородный дом, под Москвой; а теперь буду строить свои замки только в Испании, сколько из любви к Испанцам, столько и по необходимости”» («Французское выражение: *batir des chateaux en Espagne* — равносильно русскому: строить воздушные замки» <примеч. П. Бартенева>) (Русский архив. 1866. С. 719).

³⁹ Тартаковский А. Г. Обманутый Герострат: Ростопчин и пожар Москвы // Родина. 1992. № 6–7. Историю вопроса см.: Горностаев М. В. Генерал-губернатор Ф. В. Ростопчин: Страницы истории 1812 года. М., 2003. С. 35–52.

⁴⁰ Так, например, после Бородинского сражения полковник Закревский говорил: «Если победа нам не достанется, то другой *Пожарский* придет к нам на помощь». Внук Ростопчина А. Сегюр, цитируя, по воспоминаниям Вольцогена, эти слова, пояснял французскому читателю: «*Пожарский* — имя освободителя Москвы в 1612, но в то же время это слово, происходящее от *пожар* (*incendie*), означает поджигатель (*un incendiaire*)» (*Ségur A. de. Vie du comte Rostopchine, gouverneur de Moscou en 1812. Paris, 1871. P. 189*).

⁴¹ Русская старина. 1883. № 12. С. 651.

⁴² Отечественная война в письмах современников... С. 98, 108.

⁴³ Ростопчин Ф. В. Соч. С. 236.

⁴⁴ Narishkine m-me. 1812. Le comte Rostopchine... Р. 171. В семье Ростопчиных сохранялось устойчивое представление, что пожар Москвы есть результат хорошо спланированного замысла Ростопчина. Так, его дочь писала о «нескольких гражданах, наделенных героической душой, которых выбрал мой отец для того, чтобы поджечь магазины, лавки и дома» и добавляла, «все это было сделано без беспорядка и шума» (*Ibid. P. 157*).

⁴⁵ Русский архив. 1892. № 8. С. 535.

⁴⁶ Ростопчин Ф. В. Соч. С. 301. О популярности Ростопчина в послевоенной Европе см.: *Ségur A. de. Vie du comte Rostopchine... P. 309–312*.

⁴⁷ *Ségur A. de. Vie du comte Rostopchine... P. 212–213*.

⁴⁸ Ростопчин Ф. В. Ох, французы. С. 294.

А. И. Сапожников

ВОЕННО-ЦЕНЗУРНЫЕ БАТАЛИИ ВЕТЕРАНОВ 1812 ГОДА: А. И. МИХАЙЛОВСКИЙ-ДАНИЛЕВСКИЙ И В. С. НОРОВ

В середине 30-х годов XIX в. в отечественной военной историографии произошло знаменательное событие: генерал-лейтенанту А. И. Михайловскому-Данилевскому высочайше было поручено описание войн александровского царствования. Должности официального военного историографа, каковым в действительности являлся Михайловский-Данилевский, в государственном аппарате не существовало, поэтому специально для него в 1836 г. при Военном министерстве был создан Военно-цензурный комитет, председателем которого его и назначили. Совмещение в одном лице двух должностей — военного цензора и историографа — изначально заключало в себе противоречие. Отныне Михайловский-Данилевский, будучи сам плодовитым автором, должен был давать оценку творчеству своих коллег — военных историков и мемуаристов, в большинстве своем ветеранов наполеоновских войн. Он с рвением принялся за дело и быстро заслужил репутацию придирчивого цензора. Вот как отзывался о нем один из его подчиненных, производитель дел Военно-цензурного комитета А. А. Харитонов: «Нельзя сказать, чтобы генерал-историк представлял собою симпатичную личность: льстивый угодник перед начальством, он держал себя гордо перед подчиненными. <...> Строг он был и к авторам статей и книг, поступавших на его просмотр. Хорошо еще, что его цензурскую ретивость сдерживали члены комитета: Веймарн, Философов, Траскин и какой-то моряк (фамилии не помню) — все флигель-адъютанты».¹ Многие ветераны (Ф. Н. Глинка, Д. В. Давыдов, Р. М. Зотов, князь Н. Б. Голицын), решившие заняться литературным трудом, не избежали малоприятного для них общения (очного и заочного) с военной цензурой.

Одним из них был декабрист Василий Сергеевич Норов. Будучи офицером лейб-гвардии Егерского полка, он принял участие в сражениях 1812–1813 гг., был тяжело ранен под Кульмом. В 1823 г. он вышел в отставку в чине подполковника. Его имя неожиданно всплыло во время допросов декабристов, и хотя в момент восстания на Сенатской площади он находился в Москве, его арестовали и осудили как одного из самых опасных заговорщиков по 2-му разряду к 15 годам каторжных работ, но впоследствии срок был сокращен до 10 лет. Находясь в заключении, Норов написал мемуары о походах 1812–1813 гг. и отослал их брату Аврааму Сергеевичу, чиновнику для особых поручений при Министерстве внутренних дел, который благодаря петербургским связям сумел провести мемуары осужденного декабриста через цензуру. В 1834 г. они вышли в свет под названием «Записки о походах 1812 и 1813 годов, от Тарутинского сражения до Кульмского боя», без указания имени автора.

«Записки» Норова являются самым крупным мемуарным произведением, посвященным эпохе 1812 г., вышедшим из декабристской среды.² Несмотря на название, они более соответствуют историческому труду, поскольку в них рассматриваются действия всей русской армии, включая армию П. В. Чичагова, корпуса П. Х. Витгенштейна и Ф. Ф. Эртеля. Несмотря на анонимность издания, личность мемуариста безусловно присутствует на страницах книги, более того — он узнаваем, хотя основное содержание

посвящено действиям всей армии. Впоследствии в предисловии ко второму изданию Норов ответил на вопрос, который ему, вероятно, неоднократно задавали: «Как мог частный офицер, служивший во фронте, иметь сведения о действиях армий?». В ответ он написал: «По прошествии нескольких лет после кампании, по прочтении своих и неприятельских реляций, соображая рассказ других свидетелей с собственными своими наблюдениями, всякой офицер, любящий свое ремесло и предварительно приготовленный изучением правил военной науки к здравому суждению о военном деле, не только может, но и должен из любви к истине, к славе отечественного оружия и к науке рассказывать, что знает для опровержения хвастовства иностранных и своих писателей».³

В Отделе рукописей Российской Национальной библиотеки хранятся «Записки» Норова, подготовленные ко второму изданию, представляющие собой своеобразный книжный памятник истории военной цензуры.⁴ Автор расплел экземпляр первого издания, между печатными листами проложил чистые листы бумаги, после чего вновь переплел. На этих чистых листах он сделал обычными чернилами исправления и дополнения для второго издания. Когда книга поступила в военную цензуру, Михайловский-Данилевский внес свои замечания красными чернилами. Затем переплет вернули Норову, который письменно ответил на все замечания цензора на тех же листах. Так в печатной книге появились три слоя рукописных записей, и теперь в распоряжении исследователей имеется уникальный документ — полемика между автором и цензором, зафиксированная на бумаге.

В большинстве случаев Михайловский-Данилевский отсылал мемуариста к своему официальному труду: «Объяснено в Истории 1812 года» или «Поверить с Историєю». В одном из таких мест Норов не удержался и съязвил в ответ: «Писано прежде издания Истории г-на Данилевского». Правка чужих мемуаров по собственному историческому сочинению достаточно ярко характеризует пристрастность Михайловского-Данилевского. Некоторые его замечания были справедливы: в них устранялись фактические неточности — и с эти автор согласился. Например, в значительной части пришлось переписать описание Бауценского сражения.

Наибольший интерес для историков представляет их заочная полемика, достаточно горячая, если принять во внимание ту форму, в которой она велась. Например, по поводу описания сражения 4 ноября под Красным.

Замечание	Ответ
А. И. Михайловского-Данилевского	В. С. Норова
Описание сего сражения надобно сличить с нашею Историєю, основанною на русских документах, а здесь списано оно с французских бюллетеней.	Это взято не из бюллетеней, но из Истории Шамбре, по сих пор лучшего писателя о сей войне и согласно описанию русского сочинителя генерала Бутурлина. Я чужого ни откуда не списываю, и в замечании указал, на чьем сочинении основываю свой рассказ. Шамбре, как и я, никогда не верил бюллетеням и во многих местах уличал их во лжи.

Не менее принципиальная полемика разгорелась по поводу исхода Люценского сражения. Это один из многочисленных примеров, когда каждая из противоборствовавших сторон считала сражение выигранным. Беспристрастный Норов утверждал, что сражение при Люцене выиграли французы, но цензор воспротивился такой трактовке:

Текст В. С. Норова	Замечание А. И. Михайловского-Дани- левского	Ответ В. С. Норова
Напротив того, мы видим, что неприятель выиграл сражение искусным употреблением артиллерии, которую он успел скоплять большими массами на решительных пунктах, и особенно превосходным движением вице-короля к Эйсдорфу.	NB. Неприятель не выиграл сражения.	Если неприятель не выиграл сего сражения, то мы его выиграли, а если мы остались победителями, то как же мы очутились чрез несколько дней за Эльбою вместо того, чтоб идти к Рейну?

Интересно, что в своих мемуарах, не публиковавшихся при жизни, Михайловский-Данилевский, как это ни удивительно, солидарен с Норовым в оценке Люценского сражения. Он писал, что главнокомандующий граф Витгенштейн проявил себя с худшей стороны, но «за сие сражение получил Андреевскую ленту, ибо хотели представить дело в реляциях в виде победы». Далее он пессимистично заметил по поводу этой победной реляции: «Какова должна быть история, основанная на подобных материалах, а к сожалению, большая часть историй не имеет лучших источников».⁵ Эти слова оказались пророческими и применительно к собственному, тогда еще ненаписанному историческому труду.

Еще одним источником, свидетельствующим о трудной цензурной судьбе второго издания «Записок», служат письма автора к младшему брату, также хранящиеся в архиве А. С. Норова в Отделе рукописей Российской Национальной библиотеки (ОР РНБ, ф. 531, ед. хр. 477).

Первое письмо, в котором идет речь о «Записках», не датировано, вероятно, оно относится к 1828 г.: «Об издержках, касательно моих записок, пишу маменьке. Надо же, чтоб остался какой-нибудь памятник после моей смерти. Я все пересмотрел и поправил. Но в предисловии ты должен, как издатель, непременно сказать, что записки сии вверены были тебе автором в 1824 году, что они большею частью писаны на память и не литератором, но фронтовым офицером».⁶ Замысел В. С. Норова понятен: предвидя возможные осложнения с цензурой, он называл более раннюю дату написания мемуаров — до восстания декабристов и ареста.

Опубликовать мемуары государственного преступника, находящегося в заключении, было трудной задачей, этот процесс занял несколько лет. В письме от 22 октября 1832 г. В. С. Норов еще раз подчеркнул, что писал свои мемуары «совершенно на память», причем вторая их часть была написана «наскоро несведущим писарем под мою диктовку». В конце письма имеется приписка: «Впрочем, говоря о моих записках, я скажу тебе, что не гонясь за совершенством слога, я ручаюсь за истину и беспристрастие рассказа и не страшусь критики». В этом же письме он говорит о мотивах, побудивших его засесть за мемуары: «Впрочем, несмотря на их несовершенство, я бы желал, по многим причинам, чтоб они вышли в свет, хотя бы только для того, чтоб после моей смерти остался хоть какой-нибудь по мне памятник и чтоб кто-нибудь из моих сослуживцев, узнавая меня по сим строкам, уронил хотя одну слезку сожаления на забытую и бесславную мою могилу».

Очень быстро Норов стал готовить второе издание и вскоре выслал брату исправленный и дополненный экземпляр. В конце 1836 г. он уже не сомневался, что новое

издание «Записок» находится в печати, но, к его несчастью, именно в декабре 1836 г. создали Военно-цензурный комитет, что чрезвычайно затруднило публикацию.

В феврале 1835 г., после десяти лет содержания в крепости, В. С. Норова отправили рядовым в 6-й линейный Черноморский батальон, а спустя два года он получил унтер-офицерский чин за отличие в сражениях на Кавказе. Теперь он хотел, чтобы мемуары вышли с указанием его авторства: «Имя мое поставить необходимо надо и не думаю, чтоб с сей стороны ты встретил затруднения, особливо теперь, когда я солдат».⁷

Первоначально мемуарист отнесся достаточно легкомысленно к известию о необходимости прохождения военной цензуры: «Данилевского замечания ко мне не пересылай: 1-е, потому что покуда они ко мне дойдут, пока я их разберу и мой ответ дойдет до тебя, надо ждать целый год и более. 2-е, потому что во многом не смогу быть с ним согласен. В 3-х, потому что если я внесу в мое сочинение его мысли и суждения, то это будет не мое, а его сочинение».⁸

В 1836–1839 гг. современники с нетерпением ожидали, когда же будет опубликована история Отечественной войны 1812 г., над которой работал А. И. Михайловский-Данилевский. Норов, будучи на Кавказе, также с нетерпением ждал ее выхода в свет: «Коль скоро выйдет Данилевского История 1812 года, тотчас пришли мне; но сам посуди: покуда я ее получу и покуда ты получишь мой ответ на его замечания, пройдет непременно два года. А в два года я непременно сделаюсь жертвою здешнего климата. По смерти моей, к чему мне послужит издание моей книги? Сверх того, если я переделаю мою книгу по Данилевскому, то это будет его сочинение, а не мое. Прошу тебя, милый друг, выдать мою книгу так, как она есть теперь, после доставленных тебе исправлений и дополнений, а замечания Данилевского ты можешь, как издатель, поместить сам в конце книги. Еще скажу тебе, что у меня не осталось более ни одного экземпляра моего старого сочинения и мне не на чем делать новые исправления. Займись сам этою работою, собери все мои поправки и поступи, как я тебя просил, лишь только распродадутся последние экземпляры. Пусть Данилевского сочинение имеет свое достоинство, а мое — свое. Если б я был в Петер[бурге], то мог бы воспользоваться его замечаниями, но я за 3 000 верст и при столь затруднительных сообщениях наши пересылки будут вояжировать несколько лет, а тогда меня не будет на свете. <...> В заключение скажу тебе, что мое сочинение не есть полная история, но простой рассказ очевидца, сделанный на память, все важнейшие ошибки исправлены, а суждений своих я не могу переменить для господина Данилевского. Словом, моя книга должна остаться так, как она есть после последних исправлений, тобою полученных, и ты меня много бы утешил, если б издал ее в нынешнем году».⁹

Военно-цензурный комитет не спешил с выдачей разрешения, и рукопись пришлось править еще раз. В январе 1838 г. В. С. Норов был уволен от службы и ему позволили поселиться в Ревеле. Именно там он наконец-то получил в руки книгу А. И. Михайловского-Данилевского, по прочтении которой написал брату в Петербург:

«Вообрази мое удивление, что в IV томе на 18 странице сверху донизу нашел почти буквально выписанный мой рассказ о Красненском деле, на 21-й тоже, наконец вся 173 страница совершенно моя.

Бесспорно прямое и собственное назначение исторических записок состоит в том, чтоб служить материалами для истории, но ежели г-н Данилевский думал сделать мне честь ввести мой рассказ во многих местах, то по крайней мере справедливость требовала

в примечаниях указать на эти материалы où il a puisé (откуда взято. — *фр.* — А. С.). Впрочем, натурально об этом ни слова не говоря ему, а только из любопытства возьми у кого-нибудь его IV часть 12 года и сличи указанные страницы с моим рассказом о Красном, о преследовании к Борисову и другие места, ты сам увидишь.

О пристрастии нечего говорить, но одно нестерпимо смешно для военного. Он уверяет, что Кутузов не помог Милорадовичу под Вязьмою, от которой он был вечером в 8 верстах, оттого, что получил ложное известие, что Милорадович не теснит неприятеля, но сам тесним им и отступает, но именно этот слух не должен ли бы его понудить удвоить шаг и подкрепить Милорадовича?? Но Данилевский врет, я сам помню, как 22 октября в 3-м часу пополудни мы все офицеры с наших бивок близ Быкова не только слышали, но даже собственными глазами своими видели ружейный огонь стрелков и всю массу французскую, отступающую от Милорадовича, и бесились от досады, что явно открывают дорогу бегущему неприятелю. Спроси об этом, кого хочешь из свидетелей. Наконец к вечеру побужденный кем-либо из генералов, или по укоризны собственной совести Кутузов отдал повеление двум егерским полкам, и двум батальонам нашего 3-му и 1-му идти на подкрепление Уварова, который с отборною кавалериею, дойдя до ручья, стал как в пень и ограничивался одной канонадой издали, уверяя, что без пехоты ничего не может делать. В это самое время наши варили кашу для ужина, Бистром, получа приказание, велел опрокинуть котлы и становиться в ружье, как вдруг приезжает сам Лавров с контрордером составить ружья и оставаться на месте, между тем каша была уже вылита! Я помню, как карабинер нашей роты Таубер Шмит, вольноопределившийся из курляндцев и потом убитый под Кульмом — сказал смеючись: „Ну ребята! Пропала каша и слава наша, француз пошел на серетир,¹⁰ а мы смотрим на него как вороны, разиня рот!” Но таких примеров много. Беннигсен, сидя на барабане, просто бранил Кутузова. Но такие анекдоты, хотя характеризуют эпоху, не могут быть еще описаны. Nous autres contemporains et acteurs nous ne lirons jamais la véritable histoire de cette guerre (Но нам, современникам и участникам, уже не доведется прочесть истинную историю этой войны. — *фр.* — А. С.). <...> Я не очень здоров, пришли мою книгу, увижу, чего они от меня требуют?».¹¹

2 октября 1839 г. Михайловский-Данилевский возвратил А. С. Норову экземпляр «Записок» для исправления мест, отмеченных красными чернилами.¹² А. С. Норов переслал его автору, быстро ответившему на все замечания цензора и выславшего книгу обратно в Петербург вместе с подробной инструкцией:

«Здравствуй милый и любезной брат Абрам, возвращаю тебе мою книгу, и прошу тебя:

1-е. Потрудиться пересмотреть мои ответы на замечания Данилевского, и мои поправки, и выкинутые места и, не переменяя ничего самому, показать ему как можно скорее.

2-е. По возможности узнать правила цензуры и что Данилевский имеет право требовать и чего не вправе переменить?

3-е. Те места, где ты увидишь, что ничего нет противного правилам цензуры, а только потому не нравятся г-ну Данилевскому, что я другого с ним мнения, — те места по возможности настаивай оставить как есть (они означены сими словами карандашом). Буде он будет и в этих местах упорствовать, то мой ultimatum вот какой: чтоб он или ты (как издатель), внизу страниц присовокупил замечания, основанные на его суждении, а мой текст не трогать.

4-е. Ни под каким видом не оставляй более мою книгу у Данилевского. Вот почему: открыв в его Истории, что он многие страницы целиком взял у меня бессовестно, я имею причину подозревать, что он разными проволочками, пересмотрами, перемараниями хочет воспрепятствовать второму изданию моей книги и потому не выпускай ее из рук — а предварительно попроси его, чтоб он назначил тебе время, когда ты можешь показать ему мою книгу — и тогда на месте уже, показав ему мои поправки, окончательно реши с ним печатание оной. Для тебя он будет снисходительнее, нежели для меня, ибо я должен по всему думать *qu'il me deteste comme son rival me voyant sur son chemin* (что он ненавидит меня, как соперника, оказавшегося на его пути. — *фр.* — А. С.).

5-е. Дай ему учтивым образом почувствовать, что никто не обязан платить 50 р., чтоб читать его Историю, и что он не имеет права, чтоб все верили ей, как Священному Писанию — что кроме него есть Бутурлин, такой же русский генерал, на коем я во многих местах основываю свои суждения, и Жомини, другой русский же генерал, *mais bien d'une autre réputation que la*¹³ (но имеющий совсем другую репутацию. — *фр.* — А. С.).

6-е. Приступи к литографированию карт и планов по моим прежним указаниям, коих ты верно не затерял. Не страшись и не сетуй на меня, что я возложил на тебя поневоле труд поверить число убитых и проч. в Бородине и общий итог (того и сего) после кампании, потому что со мной здесь нет Бутурлина, а Данилевского Историю Гейден кому-то отдал, но на все сие тебе довольно час времени. Возьми последние страницы 4-й части Данилевского, или 2-ой Бутурлина и поставь это число, по той или по другой, и если можно оставя мой счет, сказать в замечании, что Данил[евский] вот так показывает, а Бутурлин так, и, пожалуй, можешь сказать, что их счет должен быть вернее, потому что мои записки писаны на память.

7-е. Пожалуста, мой друг и брат, взгляни, что говорит Данилевский о причине, почему Барклай остановился у Каспли, начав наступательное движение, и согласно его описанию, помести это в замечании и ставь всегда прим. Издат.

8-е. Настаивай, если можно, чтоб в заглавии было мое имя так:

Василия Норова.

9-е. Сюда из Любека пришел пароход с книгами и эстампами для Болизара. Пожалуста, съезди к нему или кому другому и посмотри, нет ли у него гравюры или литографии, виденной мною у Гейдена *le passage de la Bérésina* (переправа через Березину. — *фр.* — А. С.), или с нем[ецкой] надписью *Ubergang uber die Bérésina*, та самая, *en grand*, которая находится в 3-й части Шамбре, и уведошь меня о цене.

Прошу тебя для меня, не ссорься с Данилевским, а старайся à l'amiable (любезно. — *фр.* — А. С.) все с ним кончить при первом с ним свидании и уведошь меня скорее об успехах твоей Дипломатики, будь Меттернихом и не горячись, где настаивай, а где уступай — и главное покажи ему, что все, что он требовал об австрийцах — уничтожено, а о Кутузове — смягчено или переменено, и что я о нем говорю с большим уважением, как и в самом деле я его уважаю не менее Данилевского, но что правда, то правда; а правду надо уважать более всего. <...>

P.S. De grâce donnez moi une journée pour vérifier les nombres, et une autre journée pour finir avec Danilevsky — j'ai fait toutes les corrections possibles — le reste. Arrangez je vous en prie vous même, je souffre des maux de tête (Будь милосерден, посвяти мне день, чтобы проверить цифры и еще один, чтобы закончить с Данилевским; я внес все возможные исправления. Прошу тебя, согласуй все сам, у меня болит голова. — *фр.* — А. С.).

Очень бы ты меня обрадовал своим приездом и изданием книги к Новому году. Если Данилевский будет упорствовать, что Наполеон не выиграл Люц[енского] сраж[ения], то, черт его возьми, поставь так в том месте: мы видели, что неприятель устоял против наших атак...

NB. При печатании не смешай моих ответов Данилевскому с моими поправками, для чего я думаю, показав ответы ему, после их вымарай, а оставь только поправки».¹⁴

Спустя неделю он пишет вдогонку очередное письмо, свидетельствующее о том, насколько его тревожили изменения текста по замечаниям Михайловского-Данилевского:

«Напиши мне, получил ли ты обратно мою книгу с ответами на замечания Данилевского и с поправками, по его требованию или по моему усмотрению сделанными. Сделай одолжение, скорее кончи с ним; но для этого надобно, чтоб ты сам со вниманием рассмотрел книгу, чтоб удостовериться в справедливости моих ответов, и в необходимости удержать те места, кои я прошу его оставить неприкосновенными, ибо не заключают ничего противного правилам цензуры, равно необходимо, чтоб ты знал, что он имеет право требовать и чего не имеет справедливой причины переменить. Если ты согласишься его описание Красненского сражения 5 ноября, преследования французов к Березине и самую Березинскую переправу, то ты сам увидишь, что покрыв бессовестно у меня целыми страницами, немудрено, что он ищет, исказив своими несправедливыми вымарками мой рассказ о Люценском сражении и другие места моего сочинения, единственно имеет в виду воспрепятствовать второму изданию, полагая, что первое уже забыто à fin de cacher son vol (чтобы скрыть свою кражу. — *фр.* — А. С.).

В прошлом письме я изъяснил тебе, как прошу я тебя действовать, но забыл указать на одно место:

При конце первой части, оспаривая у франц[узских] писателей мнимое нравственное превосходство их армии над нашею и приводя доказательства из самых событий первой эпохи кампании 1812 года, я между прочим говорю: „и везде неустранимостью своею отвращали несчастные последствия некоторых распоряжений”. Данилевский это вымарал и поставил: „и везде отражали неприятеля”.

Но если так оставить как он хочет, то следующая моя фраза: „но война рождает генералов” (им оставленная), не будет иметь смысла. Следовательно, прошу тебя это с ним уладить, и если необходимо будет заменить это твоим выражением, соображая с моею мыслью: что войска наши, не имея столь искусного предводителя, как Наполеон, храбростью своею и твердостью отвращали бедствия, кои могли бы воспоследовать от ошибок генералов. Дела под Островною и Валутиным в 1812 году и под Кульмом в 1813 году служат тому неоспоримыми доказательствами — взгляни на карту и посуди сам.

Движение Барклая к Дрисе, когда Багратион был в Слуцке, позволило Наполеону проникнуть между ними, и он был уже в Бешенковичах, когда Барклай, постигнув намерение и свою ошибку, спешил форсированным маршем из Полоцка к Витебску, чтоб упредить тут Наполеона и успеть соединиться с Багратионом в Орше или в Смоленске. Для сего Барклай послал вперед авангард под начальством Остермана чрез Витебск в Островну навстречу французам. Здесь Остерман целый день держался против превосходных сил и, хотя принужден был отступить к речке Лучесе, где подкреплен был Коновницыным, с потерей нескольких орудий, однако, дал время Барклаю прийти в Витебск прежде Наполеона, чего нельзя было ожидать. Вот первый пример.

После Смоленского сражения Барклай, оставя сей город, пошел по Петербургской дороге, а Багратиона отправил по Московской. Ошибка важная, ибо часть французской армии под начальством Нея и Мюрата опять проникла между двумя нашими армиями и дошла уже до Лубина близ Валутиной горы, когда Барклай проселком спешил во всю мочь из Горбунова к Бредихину, чтоб прежде французов успеть выйти на Московскую дорогу и не быть отрезану опять от Багратиона. Для этого он опять посылает авангард под начальством Тучкова навстречу неприятелю, чтоб Тучков у Валутиной горы удерживал французов, пока он (Барклай) успеет выдвинуть свою армию из проселочной дороги на Московскую. Авангард Тучкова долго держался один против четверых у Валутына и дал время Барклаю выйти прежде неприятеля на Московскую дорогу. Другой пример.

Наконец, третий пример — Кульмское дело, которое ты хорошо знаешь. Вот три примера, служащие доказательством, что войска наши неустрашимостью своею и твердостью отвращали несчастные последствия некоторых распоряжений. Растолкуй это Данилевскому, да напomini ему, пожалуйста, как Докторов был брошен на жертву под Дирнштейном (1805), а Багратион под Шенграбенем, чтоб прикрыть отступление вечно отступающего Кутузова. Как Милорадович с двумя дивизиями (Паскевича и Чоглокова) сбил три неприятельские корпуса (принца Евгения, Нея и Понятовского) и отрезал, и заставил бежать четвертый (Даву) под Вязьмою, между тем как Кутузов и Уваров, сложа руки, смотрели на всю эту потеху — растолкуй ему все это и пусть он по совести скажет, справедливы ли мои упреки некоторым генералам.¹⁵

Действительно, текстуальные совпадения имеются, но серьезного повода обвинять А. И. Михайловского-Данилевского в плагиате нет. Безусловно, он использовал мемуары Норова, но сослаться в книге, изданной по высочайшему повелению, на воспоминания государственного преступника не мог. Единственный из декабристов, упоминаемый на страницах его «Истории Отечественной войны в 1812 году», — М. Ф. Орлов, к тому времени был уже прощен императором.

Норов не мог успокоиться, считая замечания цензора придирадками и написал очередное письмо, на этот раз об ошибках Кутузова.

«В предисловии поставь число и место, где я писал его и откуда он послано. Это удостоверит Данилевского, что я за Кавказом и два года прежде издания его Истории не мог знать его объяснений о непостижимых маневрах Кутузова и что теперь, не имея его книги, не обязан платить 50 руб. и верить его изъяснениям, которые, впрочем, ничего не поменяют, и что по сих пор остается истиною то, что Кутузов упустил Наполеона из рук три раза:

1-е, под Вязьмою: не подкрепил Милорадовича;

2-е, под Красным: не ударив на него со всею армиею и приостановив движение Торماسова;

3-е, на Березине: оставшись сам в Копысе, вместо того, чтоб отправиться к действующим войскам и наблюдать за направлением Наполеона.

Когда же все кончилось, и Наполеон ушел, Кутузов прибыл к армии Чичагова!

Что впрочем там, где ему что-нибудь не нравится и кажется несправедливым, пусть он внизу страницы поставит свои замечания, не вымарывая мой текст.

Что везде, где он имел какую-нибудь причину требовать перемены, я сделал по его требованию, например о Шварценберге и проч...».¹⁶

Второе издание «Записок» Норова так и не вышло в свет. Причина этого не только в придирчивости цензора, его предвзятости по отношению к конкурентам, писавшим об эпохе 1812 г. В 30-е годы XIX в. принципиально изменилось направление развития русской военной историографии. От публикаций исследований в духе А. Жомини, Д. П. Бутурлина, П. П. Сухтелена, проникнутых «идеями общегражданства», авторы которых «забывали, в чьих рядах сражались», постепенно отказались. Правящие круги поощряли сочинения патриотические и описательные, преследующие более идеологические, нежели научные цели. В. С. Норов был последователем Жомини и Бутурлина: так же, как и они, мемуарист-историк призывал «забыть, к которой стороне мы принадлежали», для того чтобы сделать военно-историческое исследование действительно беспристрастным. Поэтому переиздание его книги было уже не ко времени.

На первый взгляд победу в военно-цензурной баталии двух ветеранов 1812 г. одержал Михайловский-Данилевский, причем исключительно благодаря своему служебному положению. Однако последний залп или отголосок этого сражения последовал спустя почти двадцать лет, когда победителя уже не было в живых: в 1858 г. по инициативе министра народного просвещения А. С. Норова Военно-цензурный комитет упразднили. Вероятно, его предложение основывалось на собственном печальном опыте общения с военной цензурой.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Из воспоминаний А. А. Харитоновой // Русская старина. 1894. № 1. С. 117–118.

² Тартаковский А. Г. 1812 год в воспоминаниях современников. М., 1995. С. 46.

³ ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 477. Л. 68.

⁴ Там же. Q.IV. 321.

⁵ Михайловский-Данилевский А. И. Журнал 1813 года // 1812 год. Военные дневники. М., 1990. С. 335–337.

⁶ ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 477. Л. 61.

⁷ В. С. Норов — А. С. Норову 10 марта 1837 г. (ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 477. Л. 14–15).

⁸ В. С. Норов — А. С. Норову 4 июля 1837 г. (Там же. Л. 27–28).

⁹ В. С. Норов — А. С. Норову 3 сентября 1837 г. (Там же. Л. 32–35 об.).

¹⁰ Серетир — от фр. *se retirer* (отступать).

¹¹ В. С. Норов — А. С. Норову б./д. (ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 477. Л. 59–60 об.).

¹² А. И. Михайловский-Данилевский — А. С. Норову 2 октября 1839 г. (РГВИА. Ф. 494. Оп. 1. Д. 40. Л. 2).

¹³ Если он скажет, что и в правках есть ошибки, скажи ему что таким образом *les corrections n'auront plus de fin, qu'il n'y a que Dieu qui est infallible* (исправлениям не будет конца, только Господь Бог непогрешим. — фр. — А. С.), что за ошибки пусть меня критикуют, а не его (примеч. В. С. Норова).

¹⁴ В. С. Норов — А. С. Норову 16 ноября 1839 г. (ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 477. Л. 40–40 об.).

¹⁵ В. С. Норов — А. С. Норову 23 ноября 1839 г. (Там же. Л. 42–43 об.).

¹⁶ В. С. Норов — А. С. Норову б./д. (Там же. Л. 74).

В. В. Лапин

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ ЕРМОЛОВ — ПОКОРИТЕЛЬ КАВКАЗА **(Размышления перед портретом)**

Подобно тому как имена А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова прочно связаны с турецкими войнами второй половины XVIII столетия, а образы М. И. Кутузова, П. И. Багратиона и М. Б. Баркляя де Толли обязательны при создании картины эпопеи 1812 г., имя генерала Алексея Петровича Ермолова неотделимо от Кавказской войны. В исторической памяти российского общества именно он значится покорителем этого края.

Почему именно Ермолов стал «брендом» Кавказской войны? Почему остальные генералы прикрыты дымкой забвения, несмотря на усилия официальной историографии и действительные заслуги в деле расширения имперских границ?

В полуторавековой истории завоевания Кавказа от персидского похода Петра Великого (1722) до подавления восстания в Терской области (1877) «десятилетие Ермолова» (1816–1826) составляет довольно скромный временной отрезок. Более солидно выглядит время его командования, если считать началом войны основание крепости Грозная (1817), а окончанием — прекращение организованного сопротивления горцев Западного Кавказа (1864). Однако традиционные хронологические рамки этого самого затяжного военного конфликта вызывают множество вопросов, поскольку сами по себе являются следствием мощного идеологического давления на отечественную историографию.¹

Он был одним из тринадцати главнокомандующих за период с 1802 по 1864 г. После того как человек, получивший неофициальный титул покорителя Кавказа, навсегда покинул Тифлис, само это покорение продолжалось еще несколько десятилетий. Все племена, которые он вынудил принести присягу, впоследствии неоднократно брались за оружие, и русским войскам не раз приходилось проливать кровь там, где Ермолов проезжал с символическим конвоем.

Формированию подобной устойчивой точки зрения способствовал целый ряд обстоятельств. До 1820-х гг. горцев считали не противниками, а разбойниками. Соответственно действия против них — полицейскими, а не военными акциями. История Кавказско-горской войны, как ее стали называть, писалась как бы с чистого листа, и на первой строке значилось — Ермолов.

Признание этого генерала победителем позволяло считать Чечню и Дагестан российской территорией, а горцев, вновь взявшихся за оружие, не воюющей стороной, а бунтующими подданными, нарушившими ранее данную присягу.

Неудачи 1830-х — начала 1850-х гг. объяснялись «фанатизмом» противника, а также отступлением от ермоловской стратегии, представлявшей собой комбинацию рубки леса, экономической блокады, карательных экспедиций и основания опорных пунктов на территории Чечни и Дагестана. Именно возвращение к этой системе обеспечило перелом, наступивший в начале 1850-х гг., а князь А. И. Барятинский, пленивший Шамиля, изображался преемником легендарного героя. Кроме того, заслугой Ермолова считают приведение обмундирования в соответствие с местными требованиями и отказ от масштабных и бесплодных экспедиций, характерных для последующих десятилетий.

Все эти положения нуждаются в комментировании. Массированная рубка леса вовсе не была «изобретением пороха»: еще в XVIII в. крымские татары собирались таким образом покорять жителей Западного Кавказа. До начала XIX столетия командование не планировало масштабных действий в лесных районах и, что более важно, не имело достаточно сил для прокладки и периодической прочистки широких просек. Кроме того, при Ермолове рубка леса была не составной частью общего стратегического плана, как при М. С. Воронцове и А. И. Барятинском, а только способом избежать больших потерь и проводилась только в рамках конкретной военной операции, что являлось существенным различием. Не был пионером Ермолов и в плане адаптации армейского обмундирования к условиям горной войны: его предшественники также видели нелепость киверов и тяжелых ранцев за пределами парадного плаца.

Общим местом в истории Кавказской войны является описание тревожной жизни гарнизонов, постоянно ожидавших внезапного нападения горцев. Ограничение русской власти линиями крепостных валов часто связывают с ошибочной стратегией 1830–1840-х гг. Но и крепость Грозная, в которой долго сохранялась мемориальная землянка Ермолова, три десятилетия спустя после своего основания в 1817 г. подвергалась обстрелам и налетам.

Ермолов был далеко не безгрешен как военачальник. Неудачи русских войск на первом этапе войны с Персией 1826–1829 гг. — во многом на его совести, поскольку он явно недооценил противника, не принял мер к тому, чтобы собрать в один кулак части, рассеянные вдоль границы. Не обнаружено прямых свидетельств саботажа Ермолова, оскорбленного тем, что его поставили в положение «провиантмейстера» при Паскевиче, но его деятельность по организации закупок хлеба и поставок его в войска в 1826 г. — ниже всякой критики. Преступные (другое определение трудно подобрать) упущения в интендантской сфере поставили на грань катастрофы гарнизон осажденной персами крепости Шуша, сковывали действия русских войск в Азербайджане, заставили надолго отложить решительное наступление на Тебриз.² Только отказ выполнять приказы Ермолова позволил командирам некоторых частей избежать полного уничтожения.³

Крупнейшей стратегической ошибкой Ермолова явились его действия по подрыву власти местной знати, в результате чего в 1830–1840-е гг. русское правительство оказалось перед лицом военно-демократического общества горцев, аморфного, неконтролируемого и абсолютно неспособного к политическим контактам, по крайней мере в том формате, который был приемлемым для России. Он называл себя преемником П. Д. Цицианова, также считавшего ханов и беков главными противниками.⁴

Почти все главнокомандующие на Кавказе грешили составлением химеричных планов покорения края, но при упоминании о штабных фантазиях И. Ф. Паскевича, М. С. Воронцова, Г. В. Розена и Е. А. Головина крайне редко вспоминают о том, что и Ермолов собирался «решить проблему» за два года силами двух дивизий.

Действительно, Ермолов в нескольких сражениях разгромил ополчения чеченцев и дагестанцев, фактически не имевших опыта боев с регулярными войсками и понесших огромные потери от картечных залпов. Горцы оказались толковыми учениками, и уже его преемники — Г. В. Розен, А. И. Нейдгардт, Е. А. Головин и М. С. Воронцов на себе испытали, насколько хорошо они усвоили уроки 1820-х гг.

Правила войны на Северном Кавказе во многом отличались от правил европейских. Здесь едва ли не единственным типом операции был набег — быстрое вторжение на

территорию противника, грабеж и возвращение в исходную точку. Даже нашествия персов, турок, крымских татар были не чем иным, как массированными набегами, поскольку пришельцы не делали попыток обосноваться в горах и не навязывали местным жителям своих норм существования. Изъявление покорности в таких условиях было средством избежать больших человеческих и материальных жертв, поскольку действенных механизмов порабощения и эксплуатации в специфических условиях горного Кавказа не могло существовать в принципе. Присяга в такой ситуации была вариантом перемирия, заключавшегося для выжидания времени, когда его можно будет без особых проблем нарушить. Походы Ермолова 1817–1819 гг. не выходили за рамки того, что Кавказ переживал не единожды, чем во многом и объясняется сравнительно слабое сопротивление чеченцев и дагестанцев. Однако его дальнейшие действия противоречили всем представлениям о войне, которые в силу огромной роли военной составляющей в жизни горского общества являлись едва ли не основой местной картины мироустройства. Русские добились присяги и не ушли! Более того, они стали вмешиваться во внутренние дела горцев, что последние считали совершенно недопустимым. По мере того как население Дагестана и Чечни осознавало весь радикализм перемен, возрастало и сопротивление.

Действительно, удары 1817–1819 гг. настолько шокировали горцев, что к 1821 г. прекратились массированные набеги на грузинские и русские поселения, практически все общества восточного Кавказа «изъявили покорность». Но уже вскоре появились грозные признаки того, что присяги, данные Ермолову, ничуть не прочнее тех, которые получали от горцев на протяжении предшествующего столетия. Однако это, как мы видим, не помешало считать его покорителем Кавказа и победителем в войне с горцами.

Очевидная для такого опытного военачальника неустойчивость уже достигнутого покорения горцев толкала Ермолова на усиление репрессивного курса. Он все чаще стал делать ставку на устрашение. Вот одна из его «инструкций»: «...по открытии, где прошла партия (отряд горцев. — В. Л.), исследуется, точно ли защищались жители и были со стороны их убитые в сражении или они пропустили мошенников, не защищаясь; в сем последнем случае деревня истребляется, жен и детей вырезают».⁵ Создается впечатление, что сам Ермолов верил, что дело не дойдет до масштабных репрессий, что «примерные» экзекуции и экономическая блокада вынудят горцев принять его условия.⁶ Можно согласиться с утверждением М. Блиева, что главнокомандующий «не смог подняться до понимания того, насколько он отдаляется... от успеха в „усмирении” и „преобразовании” Кавказа. Бессильный перед стихией набегов, А. П. Ермолов постепенно превращался в „грозу горцев”, кавказского Чингисхана. Он не гнушался этой роли. Напротив, чем больше загадок ставили перед ним „вольные” общества, тем азартней велась игра».⁷ Однако генерал не понимал или отказывался понимать, что подобные действия в условиях института кровной мести не могут не вызвать ответной жестокости. Дробность горского социума сильно снижала эффективность устрашения как такового: известия о расправе над одним аулом «принималась к сведению» в другом, мужчины которого считали себя более храбрыми и удачливыми. Если даже молва о репрессиях достигала адресата, уstraшенные соседи в лучшем случае приносили присягу, собираясь соблюдать ее не дольше необходимого. С точки зрения горцев требование не пропускать через свои земли отряды, идущие в набег, вообще было абсурдно:

Ермолов толкал их на войну с соплеменниками, не располагая возможностями для реальной военной помощи.

В армии всегда существовал культ «настоящего» генерала, располагавшего благодаря этому неограниченным доверием своих подчиненных. «Кавказские войска с восторгом узнали о назначении главою их Ермолова, героя Бородина и Кульма, любимца народной молвы, стяжавшего себе громкую славу и качествами опытного и талантливово вождя, обходимого официальными реляциями, но популярнейшего в войсках, и своей неподкупной честностью и своей истинно русской душой, и меткими злыми остротами над господствовавшими тогда всюду в России „немцами“, народное нерасположение к которым усилилось недавней народной войной 1812 года. Даже в блестящей плеяде деятелей того недавнего прошлого нашей народной и государственной жизни Ермолов принадлежит к числу тех немногих, на которых во все грядущие века с удивленным вниманием и глубоким сочувствием остановится взор всякого русского, кому дорога русская национальная слава».⁸

Восторг кавказских полков понять легко, памятуя о том, что его предшественником был 62-летний Н. Ф. Ртищев, который за свое пятилетнее правление (1811–1816) не понял специфики края и часто попадал в нелепые ситуации, пытаясь внедрить свою систему в отношениях с горцами: подарки, подкуп и «человеческое обхождение». Войска были угнетены бездействием и фактическим запрещением наносить ответные удары. Такие боевые генералы, как И. П. Дельпоццо, П. С. Котляревский, Г. Д. Орбелиани и Д. Т. Лисаневич, делали свое дело фактически на свой страх и риск. Явный крах «мирной» политики Ртищева стал весьма выгодным фоном для деятельности Ермолова.

Формированию мифа о Ермолове — покорителе Кавказа способствовала своеобразная ностальгия кавказских солдат и офицеров по тем временам, когда их походы имели видимый конечный результат: горцы терпели одно поражение за другим, и часто при одном появлении русских войск изъявляли покорность. Это было представление о своеобразном «золотом веке». На формирование имиджа Ермолова работала и динамика боевых потерь. В 1801–1817 гг. Кавказский корпус потерял убитыми 1738 нижних чинов, что составляло в среднем по 102 человека в год. Пассивность войск при его предшественнике Ртищеве отразилась на потерях: за пять лет (1811–1817) было убито 86 солдат (по 17 в год). За восемь лет активных боевых действий (1818–1825) погибло 1208 солдат (151 в год). Несмотря на ощутимое увеличение потерь, они психологически легче переносились войсками, поскольку был видимый результат — покорение горцев (тогда еще не знали, что оно временное). В 1830–1840 гг. ежегодные потери Кавказского корпуса вдвое превысили показатели «ермоловского» времени (350 убитых нижних чинов)⁹ и в глазах многих были бесплодными: покорение горцев по-прежнему выглядело весьма далеким.

Отсутствие понимания того, почему в лесах Чечни и в горах Дагестана в 1830-е гг. стала буксовать такая мощная военная машина, как русская армия, порождало обвинение военачальников в бесталанности. Тема бездарных генералов, «ослов, руководивших львами», которые погубили тысячи храбрых солдат и офицеров, — одна из любимых в военной устной традиции, в ее письменном варианте — мемуаристике, а также в исторической литературе всех уровней — от ангажированной публицистики до серьезных академических сочинений. Это — следствие естественного стремления придавать любой абстракции (победа, поражение) узнаваемое человеческое лицо. Поиск «козла отпущения» успешно заменял трудный анализ действительных причин неудачи.

В России это явление усиливалось вследствие заметного уже в начале XIX столетия противостояния государства и общества: ограниченное в правах общество напрочь отказывалось признавать свою ответственность за что-либо. При этом наблюдалось интересное явление: люди, сами имевшие классные чины и составлявшие административный аппарат, себя считали «обществом» и критиковали «государство» прежде всего в образе вышестоящего начальства генеральского ранга. Генералы-строевики в свою очередь не упускали случая побороть «государство» в лице высших должностных лиц в военном ведомстве. В этой ситуации под огнем критики оказывался каждый, принимающий ответственное решение, и, чем значительнее это решение было, тем жестче и пристрастнее становились оценки. На войне же полководец обречен на ответственность, поскольку активность противника превращает в поступок даже его полное бездействие.

Военачальники оказывались в западной европейской схеме приобретения знания, основанной на аккумуляции и творческой обработке опыта предшествующих поколений. Не случайно становым хребтом науки, именуемой «военным искусством», является история вооруженных конфликтов, топонимы Фермопилы и Канны стали военными терминами. Всегда и везде готовились к войне будущей, но учились воевать в войне минувшей. Если условия боевых действий резко изменялись (революционные изменения в технике, принципиально иные природные условия, «необычный» противник и т. д.), генеральский опыт оказывался ничемным, распоряжения — нелепыми, а их последствия — трагичными. В такой ситуации недостаточно было адекватно оценить ситуацию, надо было найти в себе силы на слом собственных стереотипов, научить и заставить подчиненных действовать по-новому, найти ответы на ранее неслыханные вопросы. Военным гениям это удавалось, но обвинение в отсутствии гениальности абсурдно само по себе.

Официальная историография, адекватно оценивая статус Ермолова в общественном сознании, сочла полезным представить всячески ею возвышаемого Бярутинского его «наследником». Соединение этих двух имен можно рассматривать как своеобразный мостик между двумя либеральными «александровскими» эпохами. Все главнокомандующие на Кавказе от И. Ф. Паскевича до Н. Н. Муравьева-Карсского были «никалаевскими» и расплачивались за то, что служили «душителю свободы».

Жертвой симпатий историков и мемуаристов к «проконсулу» стал не только И. Ф. Паскевич, представляемый как соучастник свержения Ермолова, но даже граф И. В. Гудович (главнокомандующий на Кавказе в 1790–1796 и 1806–1809 гг.), поскольку Ермолов называл П. И. Цицианова своим единомышленником, строителем фундамента русского господства на Кавказе, а графа (недруга Цицианова) — «гордейшим из всех скотов».¹⁰ Если Гудович действительно не отличился большими воинскими успехами (хотя взял Анапу в 1789 г.), то Паскевич действительно выиграл войну с Персией, причем в очень сложных условиях. Подверглись в 1828–1829 гг. в Закавказье разгрому и турецкие войска. Но либеральная историография не могла простить этому человеку участие в суде над декабристами, подавление восстания в Польше 1831 г., поход против восставших венгров в 1849 г.

Кавказ во многом повторял Российскую империю «в миниатюре». Подобно тому как тысячи верст, отделявшие Тифлис от Петербурга, определяли особые формы отношения наместников с центральными учреждениями и верховной властью России, отсутствие круглогодичной, надежной и безопасной связи между Тифлисом и другими

административными центрами края, предполагало большую независимость и фактическую бесконтрольность местных начальников. При неопределенности законодательной базы, специфической системе налогообложения, при сохранении традиций произвола власти предержащих это способствовало их превращению в местных князьков с почти неизбежными злоупотреблениями властью. Были такие князьки до Ермолова, при нем и после него.

При оценке деятельности главнокомандующих на Кавказе следует учитывать то обстоятельство, что они не занимались рутинной управленческой работой, формальными инспекциями расквартированных там войск и не участвовали в протокольных дипломатических мероприятиях. На их плечи легла колоссальная нагрузка по административному обустройству огромной имперской окраины, руководство боевыми действиями в сложнейших условиях и принятие решений, способных оказать огромное влияние на развитие отношений России с сопредельными государствами и Европой. В результате даже правление таких даровитых людей, как Цицианов, Ермолов, Паскевич, Воронцов и Барятинский, отмечено разного рода конфузами. Если же первым лицом оказывался человек, не способный выйти за рамки стереотипов своего времени, то в истории Кавказа он оставался как неудачник (Гудович, Розен, Нейдгардт, Головин).

Усилиями отечественной историографии Ермолов вырисован едва ли не единственным светлым пятном на тусклом фоне прочих кавказских главнокомандующих. Ермолов не потерпел в Кавказско-горской войне ни одной серьезной неудачи, ушел непобежденным. Можно сказать, Николай I стал невольным соавтором его возвеличивания. Худшим наказанием для генерала-фрондера могло стать продолжение службы на Кавказе с неизбежной жатвой того, что он сам там посеял. Ермолов силой своего обаяния, за счет своих действительных талантов и заслуг преодолел тот порог, за которым человеку прощаются любые грехи, а неудачи переводятся в разряд успехов. Он пролонгировал сладкое чувство победы 1812–1814 гг. своими викториями на Кавказе. Он сумел до самой своей кончины, не занимая никаких видных государственных постов, сохранить представление о себе как о человеке значительном, его мнением дорожили, похвалы жаждали, а порицания боялись. Визиты к Ермолову считались едва ли не обязательными для всех, кто ехал на Кавказ. Отставного «проконсула» навещали А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов, будущий военный министр Д. А. Милютин, десятки офицеров, продолжавших его дело. Шамиль, привезенный в 1860 г. после пленения в Москву, свой первый визит нанес Ермолову. После смерти генерала сохранению славы покорителя Кавказа стали служить его мемуарные «Записки», представляющие собой ценнейший исторический источник.

История знает немало примеров того, как некая персона усилиями биографов, уступающих напору общественного мнения, симпатизирующего ей, вбирает в себя черты нескольких людей, абсорбирует их поступки, слова и т. д. Люди, совершавшие не менее значимые поступки, оказываются в глубокой тени такого баловня историографии. Промахи героя затушевываются, а удачи представляются по меньшей мере во всем их величии. Формирование исторического образа Ермолова вполне может быть включено в число таких примеров.

Трактовка и оценка действий А. П. Ермолова на посту главнокомандующего в 1816–1826 гг. является составной частью общей историографии присоединения Кавказа, испытывавшей на себе огромное давление со стороны доминировавших в разные времена идеологических схем.

Предложенное читателям эссе вовсе не является попыткой «развенчать» героя. Действительные великие заслуги А. П. Ермолова перед Россией не подлежат ревизии. Речь идет о своеобразной трансформации образа этого человека, об искажении образов его предшественников и преемников, об элементах агиографии в изображении деятельности и личности реально существовавшей фигуры, о процессе создания во многом фантастического портрета А. П. Ермолова и приобретения им статуса покорителя Кавказа. Данная статья — «развернутый вопрос» о механизмах и причинах формирования мифических изображений прошлого.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См. подробнее: *Лапин В. В.* К вопросу о хронологических рамках Кавказской войны XVIII–XIX вв. // *Страницы Российской истории: Проблемы, события, люди: Сб. статей в честь Бориса Васильевича Ананьича.* СПб., 2003. С. 94–100

² *Щербатов А. С.* Генерал-фельдмаршал князь Паскевич: Его жизнь и деятельность. СПб., 1890. Т. 2. С. 66, 97–98, 113, 137–139.

³ *Гржегоржевский И. А.* Генерал-лейтенант Клюки-фон-Клюгенау: Очерк военных действий и событий на Кавказе. 1818–1850 // *Русская старина.* 1874. Т. 11. С. 140.

⁴ См.: *Гордин Я. А.* Кавказ: земля и кровь: Россия в Кавказской войне XIX века. СПб., 2000. С. 86.

⁵ *Акты Кавказской Археографической Комиссии.* Тифлис, 1874. Т. 6. Ч. 2. С. 250.

⁶ *Блиев М. М.* Россия и горцы Большого Кавказа на пути к цивилизации. М., 2004. С. 154.

⁷ Там же. С. 137.

⁸ *Потто В. А.* Кавказская война. М., 1996. Т. 2. С. 7.

⁹ Подсчитано по: *Гизетти А. Л.* Сборник сведений о потерях Кавказских войск во время войн Кавказско-горской, персидских, турецких и в Закаспийском крае. 1801–1885 гг. Тифлис, 1901.

¹⁰ *Гордин Я. А.* Кавказ: земля и кровь. С. 68.

Б. И. Колоницкий

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ В ОСКОРБЛЕНИЯХ И СЛУХАХ ЭПОХИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В годы Первой мировой войны все большую роль стали играть слухи. Житель российской столицы уже в августе 1914 г. записал в своем дневнике: «В такие минуты люди должны питать свое воображение хоть какими-нибудь фактами, и, не имея сведений, они сами измышляют всякий вздор, который, переходя из уст в уста, достигает геркулесовых столпов глупости. За последние дни петербургская молва повесила нескольких командиров армий, расстреляла нескольких командиров дивизий, бригад и полков и убила всех командиров гвардии, плодя опасные в это время страхи».¹

Военный цензор в Финляндии отмечал в 1916 г.: «Октябрь текущего года может быть назван месяцем слухов. Никогда еще за два года войны эти „слухи“ не были

распространяемы в печати и обществе в таких огромных размерах и разнообразных вариациях, как в последнее время. Девяносто процентов общественных разговоров начинаются фразами „Вы слышали?“, „Вы знаете?!“ ... Далее следует передача какой-либо фантазии на тему из так называемых злоб дня в новой редакции и с новыми прибавлениями».²

Среди фантастических слухов этой эпохи можно, например, упомянуть слух о прибытии войск Японии на Восточный фронт. Генерал Н. Н. Головин в своем исследовании цитирует письмо командира лейб-гвардии Гренадерского полка, посвященное коллективным «видениям» и слухам военного времени: «Армия, насколько мы можем судить, ожидает какого-то события, которое должно повернуть войну в нашу пользу. Один слух, якобы самый достоверный, сменяется другим. По последней версии к нам перевозится японская армия, и тогда война решится одним ударом. Многие уже видели японцев в тылу. Массовая галлюцинация».³ Действительно, в своих письмах российские военнослужащие сообщали о прибытии азиатских союзников: «К нам пришли японские артиллеристы с орудиями, вес снарядов коих до 35 пудов».⁴

Но гораздо большее значение имели «политические» слухи. Власти это прекрасно осознавали еще до войны. Администрация и полиция внимательно следили за распространением слухов. Циркуляр министра внутренних дел от 11 ноября 1911 г. предписывал губернаторам «обязательно и своевременно» доставлять сведения о настроении различных групп населения, при этом, в частности, требовалось указывать «волновавшие крестьянские массы» «ложные и неосновательные слухи». Показательно, что в перечне данных, характеризующих настроение рабочих и «интеллигентных слоев общества», упоминание слухов отсутствует. Возможно, в это время чиновники МВД считали слухи чем-то архаичным, присущим в основном деревне. Слова «слухи», «неосновательные слухи», «извращенные толки», «вздорные, возбуждающие и злонамеренные слухи» нередко появлялись в жандармских донесениях и губернаторских отчетах эпохи Первой мировой войны. С другой стороны, и Департамент полиции запрашивал губернские власти, требуя подтверждения (или опровержения) информации о слухах на местах, которая поступала в Петроград. Уже 31 июля 1914 г. министр внутренних дел Н. А. Маклаков отмечал в своем циркуляре: «Время войны есть время особой возбудимости и нервности населения, лишенного правдивого осведомления о текущих событиях и потому легко воспринимающего всякие слухи, чем и пользуются злонамеренные лица». Указывалось на серьезное воздействие различных слухов на поведение сельских жителей. Под влиянием слухов, например, крестьяне уклонялись от платежа повинностей и арендных денег за землю.⁵

Борьба со слухами была одной из важных задач, которые ставились перед местными властями министерством. За распространение «ложных слухов о войне» в административном порядке подвергали аресту при полиции.⁶

Но в годы войны власти столкнулись и с множеством слухов, распространявшихся в «интеллигентных слоях». В отчете Охранного отделения за ноябрь 1916 г. отмечалось: «Слухи заполнили собою обывательскую жизнь: им верят больше, чем газетам, которые по цензурным условиям не могут открыть всей правды. ... Общество ... жаждет вести разговоры на “политические” темы, но не имеет никакого материала для подобных бесед. Всякий, кому не лень, распространяет слухи о войне, мире, германских интригах и пр. Не видно конца всем этим слухам, которыми живет изо дня в день столица».⁷

Известный исследователь истории войны и революции генерал Н. Н. Головин, характеризуя общественные настроения того времени, впоследствии писал: «Все эти сложные слухи являлись одним из характернейших симптомов того патологического состояния общественной психики, первой причиной которого являлись тяжелые жертвы и напряжение, вызванное войной. Социологу, пожелавшему понять назревание Русской революции, приходится обратить большое внимание на ту роль, которую сыграли эти слухи. Ложные сами по себе, они, тем не менее, широко воспринимались благодаря создавшейся атмосфере всеобщего разочарования и недовольства, и вместе с этим способствовали еще большему нарастанию этих настроений, так как в корне подрывали моральный авторитет Царской власти. В результате Государь оказался морально изолированным».⁸

Задача изучения слухов историками в целом до сих пор не реализована. В многочисленных исследованиях, посвященных политической истории Первой мировой войны, слухи нередко упоминаются, но лишь как некий фон для действий основных участников политического процесса. Предметом самостоятельного изучения они еще не стали.

Это связано не только с недооценкой темы многими историками. Изучение слухов представляет сложную исследовательскую проблему. Трудности ее решения связаны как с выбором адекватных источников, так и с их обработкой и интерпретацией. Ниже мы попытались рассмотреть слухи о великом князе Николае Николаевиче, который был назначен Верховным главнокомандующим 20 июля 1914 г. Главным источником слухов дела по оскорблению членов императорской фамилии.

Было изучено 1216 случаев оскорбления различных членов императорской семьи в 1914–1916 гг. В данной группе присутствуют оскорбления четырех членов императорской семьи. Прежде всего это сам император (1025 случаев), великий князь Николай Николаевич и вдовствующая императрица Мария Федоровна (соответственно 68 и 65). Далее следует императрица Александра Федоровна (37 случаев). К подсчетам следует подходить весьма осторожно. Но показательно, что в 1914 г. вдовствующую императрицу оскорбляли чаще, чем дядю царя, а в 1915 и 1916 гг. Николай Николаевич «обгоняет» Марию Федоровну.

Использовались не только те дела, где оскорблялся Николай Николаевич, но и те, где он упоминался. Дядя императора предстает в некоторых слухах как положительный персонаж, как строгий, но справедливый воитель и правитель. Он противопоставлялся бездеятельному и неспособному царствующему племяннику.

В марте 1915 г. 28-летний крестьянин Томской губернии в пьяном состоянии обратился на улице к односельчанам, сопровождая почти каждое слово площадной бранью: «У нас ГОСУДАРЬ и правительство спят, только старается один НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. Если бы меня взяли на войну, я там бы все перевернул — все законы, ЦАРЯ и ЦАРЯТ». Пьяным был и 49-летний астраханский мещанин, который в мае того же года заявил в парикмахерской: «НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ у вас строгий, а ЦАРЬ ... (непристойное слово)». Но те же мысли высказывались и трезвыми людьми. Неграмотный 44-летний крестьянин Самарской губернии, привлеченный к ответственности за оскорбление императора, признавал: «Николаю Николаевичу, может быть, доверяют, но ГОСУДАРЮ никто не доверяет. Он баба, даже хуже бабы». 57-летний донской казак в июне 1915 г. говорил: «Наш ГОСУДАРЬ глупого рассудка и если бы не было НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА, то война давно уже была бы проиграна». О том же в октябре

1915 г. говорил и 43-летний оренбургский казак: «... (брань) наш ГОСУДАРЬ слабо правит государством. Зачем Сам на войну пошел? Не могли избрать из Великих князей. Спасибо НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ: если бы не ОН, то германец пробрался бы в Россию». Крестьянин Тобольской губернии заявил в июле 1915 г.: «Нужно молиться за воинов и великого князя Николая Николаевича. За Государя же чего молиться. Он снарядов не запас, видно прогулял да проб...чал». В слухе, относящемся к тому же месяцу, дядя царя даже карает предателя-племянника: «Государь Император продал Перемышль за 13 миллионов рублей и за это Верховный главнокомандующий Великий князь Николай Николаевич разжаловал царя в рядовые солдаты». Показательно, что обвиняемый, наделявший в своем воображении Верховного главнокомандующего такой властью, признал себя виновным.⁹

В других оскорблениях с могущественным великим князем связываются надежды на наказание императрицы-изменницы. В июне 1915 г. 46-летний неграмотный воронежский крестьянин сказал односельчанам: «Говорят, наша Государыня передает письма германцам. Если бы я был на месте НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА, я бы ей голову срубил (брань)».¹⁰

Даже в 1916 г., несмотря на тяжелые поражения прошлого года, встречаются высокие оценки полководческого мастерства великого князя. В одном доносе указывалось, что начальник разъезда Омской железной дороги в апреле сказал подчиненным: «Таким Главнокомандующим, как Николай II, дураком Николашкой, дела не поправятся; сюда, на этот фронт нужно Великого Князя НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА».¹¹

Люди приобретали портреты популярного великого князя и вешали их в своих домах. Иногда затем эти портреты создавали повод для оскорбления военачальника и последующего возбуждения уголовного дела: «Дурака повесил к образам Ему место за порогом».¹²

Косвенным свидетельством популярности Верховного главнокомандующего в русской среде служат факты привлечения за его оскорбление подданных враждебных держав, оказавшихся в России.¹³ Очевидно, для них Николай Николаевич олицетворял военные усилия противника. Можно предположить, что русские доносчики отождествляли себя с популярным военачальником и были особенно возмущены оскорблениями в его адрес.

Положительное отношение к Верховному главнокомандующему подтверждается и другими источниками. Уже в ноябре 1914 г. современники фиксируют появление анекдотов о Николае Николаевиче — быстрого в расправе, жестокого, но справедливого.¹⁴ В слухах он стремительно передвигается по фронту, срывает с виновных офицеров погоны, бьет их по лицу.¹⁵ Иногда он прямо на месте круто расправляется с предателями. Рядовой солдат Р. П. Петрукович писал в марте 1915 г.: «Германцы наступали с трех сторон на нашу крепость Осовец, повредили два форта, и крепость уже готова была сдать, как приехал Верховный главнокомандующий, зарубил шашкой коменданта, начал сам командовать, и немцы не только были отбиты, но было взято в плен два неприятельских корпуса и ... тяжелых орудий». На выписке из письма имеется пометка военного цензора: «Здорово! Вот так пишется история!».¹⁶

В некоторых же слухах чрезмерная жестокость великого князя способствует поражениям российской армии. В июне 1915 г. некий мещанин г. Лида утверждал: «...казнены и многие другие генералы, имена которых станут известны лишь после войны...

Нельзя так жестоко обращаться с генералами — толку не будет... Генералы разозлились и не стали выполнять планов Главнокомандующего... поэтому нас немцы и бьют».¹⁷

О легендарной суровости полководца писала и дружественная ему печать: «Верховный главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич весьма популярен среди наших казаков. В их глазах он является легендарным народным вождем-героем, его правдивость, честность, смелый открытый характер и строгость к нерадивым и изменникам создали целые легенды».¹⁸

С именем великого князя были связаны и слухи об освобождении от тягостных платежей. Показательно, что они циркулировали даже после его смещения. Тамбовский вице-губернатор сообщал в феврале 1916 г. в Департамент полиции: «... солдаты в письмах сообщали женам, что будто бывший верховный главнокомандующий вел. кн. Николай Николаевич объявлял им, что семьи солдат освобождаются от платежа всех податей за землю; в связи с этим во вверенной мне губернии были попытки к отказу от платежей податей и подстрекательству к неплатежу таковых».¹⁹

Фигура Верховного главнокомандующего рассматривалась и как подходящая кандидатура на роль «хорошего царя». В феврале 1916 г. нетрезвый 49-летний крестьянин Уфимской губернии заявил односельчанам: «К ... (брань) войну вашу и ЦАРЯ вашего; не ему, а НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ нужно быть царем».²⁰

Упоминания о таком отношении к дяде царя мы встречаем и в другом источнике. Описывая настроения участников антинемецкого погрома в Москве в мае 1915 г., французский посол записал в своем дневнике: «На знаменитой Красной площади ... толпа бранила царских особ, требуя пострижения императрицы в монахини, отречения императора, передачи престола великому князю Николаю Николаевичу, повешения Распутина и проч.».²¹

Носители такого сознания явно были патриотами и своеобразными монархистами. Но великий князь иногда был и положительным персонажем некоторых «республиканских» слухов. После смещения великого князя с поста Верховного главнокомандующего появились слухи о его казни. Так, в начале 1916 г. двое ссыльных в Сибири говорили односельчанам, что «был один хороший человек — это вел. кн. Николай Николаевич, да его наш кровосос государь повесил, так как он стоял за правду, и в России только тогда будет хорошо жить, когда не будет царя, как в Америке».²²

Однако Николай Николаевич предстает во многих слухах и как отрицательный персонаж. Прежде всего это касается тех дел, где в качестве «фигурантов» выступали «иностранцы». А именно они нередко привлекались к ответственности за оскорбление великого князя. Так, нам известно 54 случая оскорбления великого князя в 1915 г. В 13 случаях к ответственности привлекались немцы (преимущественно русские подданные, а также военные и гражданские пленные), в 10 случаях — евреи. В то же время известно 4 случая оскорбления Николая Николаевича в 1914 г., но ни немцы, ни евреи не привлекались в качестве обвиняемых.

Это объяснимо. Депортации еврейского и немецкого населения, производимые в 1915 г. по инициативе Ставки Верховного главнокомандующего, не могли прибавить великому князю популярности в этих этнических группах.

Правда, в некоторых случаях явно имели место оговоры. Можно предположить, что жертвой ложного доноса стал и 68-летний Г. В. Нейгауз, преподаватель музыки. Он приехал в Россию из Германии еще в 1870 г., был женат на русской подданной, его сын

находился во время войны в действующей армии. Сам Нейгауз подал прошение о переходе в русское подданство. Квартирная хозяйка донесла на него властям, она показала, что при чтении газет ее постоялец порицал русское высшее военное командование, называл великого князя Николая Николаевича «большой свиньей». Но домашняя прислуга утверждала, что она не слышала этих слов. Она также рассказала, что Нейгауз неоднократно делал замечания по поводу неряшливости и плохого приготовления обедов в доме. Хозяйка приписывала его влиянию уход других нахлебников. Тогда, по словам прислуги, она решила отомстить: «Ей все поверят, а ему нет, т. к. он немец».²³

Очевидно, с помощью ложного доноса разрешались и иные конфликты. Однако для изучения слухов важны и оговоры. Доносители желали, чтобы судебные и полицейские власти поверили в саму возможность существования такой редакции оскорбления. Возможно, они приписывали обвиняемым слова, услышанные в другой ситуации.

Обвиняемым приписывались следующие слова: Николай Николаевич «только пьянствует, разбойничает и вешает мирных евреев».²⁴ Он описывается как главный «поджигатель войны»: «Это неправда, что немцы режут наших пленных. Сам Николай Николаевич режет наших солдат».²⁵

Великий князь считается главным виновником войны.

58-летняя еврейка и ее дочь говорили о Верховном главнокомандующем: «Из-за него одного столько народу пропадает». 63-летний еврей так отреагировал на слух о том, что в Петрограде сгорел дворец Николая Николаевича: «Лучше бы было, если бы Великий Князь сгорел с душою и телом. Скорей бы конец войны был». 51-летней еврейке приписывали слова, сказанные русскому крестьянину: «Наше дело пропащее, — дали власть НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ, сидит Он там, старый черт, только народ кладет». Ее сверстница, жившая в другом городе, также считала великого князя виновником войны, она заявила знакомым, купившим его портрет: «Что вам НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, вы и без Него можете обойтись, кабы не Он и войны бы у нас не было. Он самый бунтовщик». 76-летней еврейке приписывали такие слова: «Да, Главнокомандующий хороший человек, только Бог смерти Ему не дает. Если бы Сам Государь воевал, то давно был бы мир, а этот только знает воевать, да людей убивать».²⁶

Последние слова весьма показательны: миролюбивый император противопоставляется свирепому дяде-военачальнику. Можно предположить, что оскорбительница продолжала сохранять известное уважение к царю.

О том же говорил уже в январе и 44-летний немец, поселянин Самарской губернии: «ГОСУДАРЬ хочет мира, а НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ не хочет, за это Его давно следовало бы убить... (площадная брань)». Аналогичные слова приписывались и 37-летнему поселянину-немцу той же губернии: «Великого Князя НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА надо убить — так как ваш ГОСУДАРЬ давно бы помирился, а он мучает народ». О том же говорил и 61-летний немец, крестьянин Бессарабской губернии: «Это не виноват ГОСУДАРЬ, что война, а виноват ЕГО ГОСУДАРЯ ДЯДЯ, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. Когда немец просил мира, так НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ не хотел, а теперь пускай поцелует его в задницу... (брань)». 30-летней немке, русской потомственной дворянке, приписывались такие слова: «Этого мерзавца Великого Князя НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА следовало бы застрелить, или отравить, и война кончилась бы». Поселянка же Таврической губернии, 41-летняя немка была настроена критично по отношению к императору, в то же время она, говоря о великом князе, утверждала:

«ГОСУДАРЬ ничего не знает, это тот седой черт наставляет». 20-летний немец, поселянин Бессарабской губернии, призванный в армию, сказал при свидетелях: «Через эту сволочь... (брань) пропадает много народа и я должен идти на войну».²⁷

Все высказывания относятся к весне–лету 1915 г. Но и в некоторых оскорблениях русских крестьян этого времени Николай Николаевич порой предстает как циничный «поджигатель войны». Солдатка, крестьянка Владимирской губернии заявила уже в апреле 1915 г. крестьянам, ждавшим газет: «А вы верите, что вам напишет пастух Николай Николаевич. Сам он на войне не бывает, а только пьянствует, войска своего не видит, посылает туда наших мужей, да бьет их». 56-летний крестьянин Пермской губернии в июне 1915 г. говорил односельчанам: «...(площадная брань) нашего главнокомандующего НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА, давно бы его, пса, надо убить, сколько он народа сварил без толка. Наш ГОСУДАРЬ худая баба, не может оправдать Россию, сколько напустил немцев». Крестьянка Самарской губернии после последней панихиды, совершенной по убитом муже в августе 1915 г., сказала священнику, что наших бьют на войне по вине великого князя Николая Николаевича, которому «все равно, так как он нанят». В июле 1915 г. 54-летний крестьянин заявлял: «Надо Николая Николаевича расстрелять, так как он затягивает войну. Если бы не он, то Государь давно бы мир заключил».²⁸

В народных суждениях под вопрос ставится и полководческое мастерство великого князя. Одному фронтовику приписывались такие слова: «А ... ли такой Главнокомандующий НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. Он сидит верст за 30–40 от передовых позиций в бараках и пьет шампанское; побывал бы Он на передовых позициях, узнал бы тогда, что там делается; а мы за них проливаем кровь; счастье Его, что закрыты казенки, а то бы солдату была первая чарка, а Ему первая палка от солдата».²⁹

Весьма вероятно, что в данном случае имел место оговор (у доносителя и обвиняемого был имущественный конфликт). Но такой образ великого князя, некомпетентного военачальника, ведущего аморальный образ жизни, создается и в других слухах. Известен и еще один случай, когда крестьяне доносили на односельчанина-солдата, которому приписывались критические высказывания в адрес Верховного главнокомандующего.³⁰

И в крестьянской среде критика носила оттенок ксенофобии. 15 августа 1915 г. 38-летний ярославский крестьянин заявил в трактире: «Верховный Главнокомандующий наш Великий Князь НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ неправильно ведет войну; Он из евреев, боится немцев и находится в их руках; ГОСУДАРЫНИ наши также из евреев». Свидетели описали обвиняемого как человека ненормального, болтуна и хвастуна, страдающего расстройством умственных способностей. Это, однако, не помешало дознавателям избрать мерой пресечения арест, примерно месяц обвиняемый провел под стражей.³¹ После 23 августа 1915 г., когда император принял на себя звание Верховного главнокомандующего, а великий князь был назначен наместником царя на Кавказе и главнокомандующим Кавказской армией, самые невероятные слухи о Николае Николаевиче стали распространяться с новой силой.

Так, 62-летнему неграмотному крестьянину Харьковской губернии приписывали следующие слова: «Там НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ воюет так, что бодай Его черт воевать. Он вместе с матерью ГОСУДАРЯ за германцев стоит. Вот теперь ГОСУДАРЬ сам и стал командовать, НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА сослал на Кавказ. Мать же ГОСУДАРЯ ... (брань) еще в церквах поминают». Правда, сам обвиняемый это отрицал. Он де только передал слух со слов какого-то солдата, будто великий князь и вдовствующая

императрица поддерживают немцев.³² Интересно, что в этом слухе Николай II предстает как положительный персонаж.

Появляется и слух о взяточничестве, иногда он связывается с предательством: «Верховный Главнокомандующий Великий Князь НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ взял миллион и уехал домой»; «Николай Николаевич продал пол-России»; «Колька продал немцам три тысячи солдат» (речь шла о Николае Николаевиче); «Один край обобрал, а теперь поехал на другой фронт обирать и там».³³ Интересно, что в некоторых оскорблениях использовались одни и те же выражения. 50-летний житель г. Верного так прокомментировал перевод великого князя на Кавказ: ««Обобрал германцев (взял с них взятку), а потом поехал на турецкий фронт, где оберет, и уедет за границу, как Стессель»».³⁴ Николай Николаевич сравнивался с комендантом Порт-Артура, которого общественное мнение считало предателем.

Другая грань образа великого князя — пьяница и развратник, забывший служебный долг. 20-летней крестьянке приписывали такие слова: «ОН, мерзавец, прогулял с ... Варшаву, за что ЕГО перевели на Кавказский фронт, и опять ОН мерзавец».³⁵ 25-летний грузин оправдывал пьянство своего знакомого: «Мало ли кто бывает пьяным. НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ во время боя напивался и валялся в канаве».³⁶

Некоторые слухи соединяли образы предателя и развратника. Протоиереев из Калуги приписывали слова о том, что во время войны великий князь «...пьянствовал и развратничал с графиней Потоцкой, вследствие чего отдал немцам Варшаву и всю Польшу...».³⁷

Правда, первые слухи об измене Верховного главнокомандующего зафиксированы уже осенью 1914 г. Некий волостной писарь и его помощник рассказывали крестьянам в волостном правлении, что Николай Николаевич де «сделал измену» и продал Варшаву за 16 пудов золота, но один солдат на него донес, и великого князя будут судить. На следствии помощник волостного писаря ссылался на своего начальника. Тот же признал свою вину, но указал, что сведения эти ему сообщила жена учителя.³⁸ Мы не знаем точно, каков был путь распространения этого слуха, но показательно, что на следствии обвиняемые выстраивали цепочку ссылок на более авторитетного и интеллигентного информанта.

Слухи о «пудах золота» появлялись и потом. Пьяный тамбовский торговец убеждал посетителей трактира в ночь на 1 января 1916 г., что «бывший Верховный Главнокомандующий Великий Князь НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ продал Карпаты и Россию за бочку золота и теперь война проиграна».³⁹

В том же году зафиксированы и слухи, в которых дядя императора обвиняется наряду с императором. Пьяный 17-летний служитель при банях говорил на московской улице: «ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II ... (брань), не воюет, а только карман набивает, так же как и НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, прогнанный на Кавказский фронт, ничего не делал... (брань)». А 27-летний крестьянин Тамбовской губернии заявил инвалиду войны: «Вас бы всех нужно было перевешать, а в первую голову ЦАРЯ Николашку ... (ругательство) и другого вояку, командующего Николашку, за то, что продали Россию».⁴⁰ Показательно, что в предшествующие годы мы такого соединения не встречали. Напротив, как уже отмечалось, царь и великий князь противопоставлялись друг другу.

Многие современники и историки полагали, что антидинастические слухи распространялись «сверху вниз»: их генерировали образованные социальные верхи, «общество». Затем слухи, меняясь, адаптируясь, воспринимались «массами», «народом». Хорошо

информированный жандармский генерал А. И. Спиридович вспоминал: «...что тогда „говорили“ в столице, что передавалось в провинцию и что, с другими слухами и сплетнями, подготовило в конце концов необходимую для революции атмосферу... Здесь все упрощалось, делалось более понятным, вульгарным, скверным».⁴¹

Современник событий и известный историк революции С. П. Мельгунов также писал об ответственности образованной элиты, фабриковавшей домыслы: «И если то, что „говорили шепотом, на ухо, стало общим криком всего народа и перешло ... на улицу.., то в этом повинно само общество. Оно само революционизировало народ, подчас не останавливаясь перед прямой, а иногда и довольно грубой демагогией».⁴² Нельзя, впрочем, не отметить, что историк в свое время сам способствовал распространению антидинастических слухов.

Между тем генерал Н. Н. Головин указывал и на другое возможное движение слухов. Он писал в своем исследовании: «В многомиллионной солдатской массе росли слухи об измене. Эти слухи становились все сильнее и сильнее и проникали даже в среду более интеллигентных лиц. Причиной, дающей особую силу этим слухам, являлось то обстоятельство, что происшедшая катастрофа в боевом снабжении как бы оправдывала те мрачные предположения, которые нашли сильное распространение еще в конце 1914 г.».⁴³

Изучение дел по оскорблению императорской фамилии позволяет утверждать, что в народной среде распространялись такие слухи, которые редко встречаются в переписке и дневниках современников. Это, в частности, относилось и к слухам о великом князе Николае Николаевиче.

Современный историк И. К. Кирьянов характеризует оскорбления императора как «антицаристские высказывания». О. С. Поршнева считает, что дела по привлечению к ответственности за оскорбления членов императорской фамилии дают материал, характеризующий антицаристские и антиправительственные настроения народных низов.⁴⁴

Действительно, ряд лиц, обвинявшихся за оскорбления царя, были противниками монархии. Иногда они прямо заявляли о себе как о сторонниках республиканского образа правления. Но во многих случаях можно определенно утверждать, что изучаемый источник, скорее, говорит о сохранении монархического сознания среди лиц, привлекавшихся за оскорбления членов царской семьи. Сам жанр доноса (в том числе и оговора) предполагал наличие такого сознания. Возможно, доносители не всегда были искренними монархистами, но они представляли себя таковыми. К тому же «плохим» членам императорской семьи противопоставлялись «хорошие». В разных слухах они выступали в разном качестве. Напомним, что в некоторых случаях «хороший» император противопоставлялся Николаю Николаевичу.

В некоторых случаях прямо указывалось, что Николай II не соответствовал образу идеального ЦАРЯ. Поэтому он должен быть заменен более достойным кандидатом (в одних случаях желательным царем считался великий князь Николай Николаевич, в других — Михаил Александрович).

Но дела по оскорблению царской семьи важны в ином отношении. Они позволяют точнее описать ситуацию политической изоляции Николая II. В условиях войны даже люди консервативных взглядов, носители разных типов монархического сознания переставали быть прочной опорой режима. «Царь-дурак» не соответствовал их патриархальному идеалу могучего, мудрого и справедливого государя.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Врангель Н. Н., бар. Дни скорби. Дневник 1914–1915 годов. СПб., 2001. С. 43.

² Kansallisarkisto (Helsinki). Русские военные бумаги, № 17230: Особая финляндская военно-цензурная комиссия. Гельсингфорский военно-цензурный пункт. Рапорты и отчеты.

³ Головин Н. Н. Военные усилия России в мировой войне. Жуковский; М., 2001. С. 311.

⁴ РГА ВМФ. Ф. 1340. Оп. 1. Д. 763. Л. 106. Ходили слухи и о том, что русскими войсками, сражающимися под Либавой, командовал японский генерал (Там же. Л. 113).

⁵ Крестьянское движение в России в годы Первой мировой войны (июль 1914 г.–февраль 1917 г.): Сб. документов / Ред. А. М. Анфимов. М.; Л., 1965. С. 21, 44, 231, 260, 336, 343, 431.

⁶ РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 201 об., 202.

⁷ Буржуазия накануне Февральской революции / Подгот. Б. Б. Граве. М.; Л., 1927. С. 125–126.

⁸ Головин Н. Н. Российская контрреволюция в 1917–1918 гг. Ч. 1: Зарождение контрреволюции и первая ее вспышка. Таллин, 1937. Кн. 1. С. 15, 24.

⁹ РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 53 об., 223–223 об., 319 об., 321 об., 420 об.–421, 530.

¹⁰ Там же. Л. 310.

¹¹ Там же. Л. 357 об.–358.

¹² Там же. Л. 246, 258 об.–259.

¹³ Там же. Л. 172–172 об., 331 об., 372 об., 419 об.–420.

¹⁴ Каррик В. Война и революция: Записки, 1914–1917 гг. // Голос минувшего. 1918. № 4–6. С. 9.

¹⁵ РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 89.

¹⁶ РГА ВМФ. Ф. 1340. Оп. 1. Д. 762. Л. 377а.

¹⁷ РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 167 об.

¹⁸ Кривошеков А. И. Легенды о войне // Ист. вестник. 1915. Окт. С. 207–209. За публикацию этой заметки на журнал был наложен штраф. Возможно, это было связано с упомянутой оценкой Николая Николаевича, который к этому моменту был заменен на посту Верховного главнокомандующего императором.

¹⁹ Крестьянское движение... С. 378–379.

²⁰ РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 244.

²¹ Палеолог М. Дневник посла. М., 2003. С. 308.

²² Крестьянское движение... С. 306.

²³ РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 172–172 об.

²⁴ Там же. Л. 56 об.

²⁵ Там же. Оп. 530. Д. 1035. Л. 21 об.

²⁶ Там же. Оп. 521. Д. 476. Л. 73, 141, 222, 246, 268 об.–269.

²⁷ Там же. Л. 231, 290, 307 об.–308, 369 об., 371 об., 372, 396 об., 397.

²⁸ Там же. Л. 2, 138 об., 146–146 об., 177 об., 178.

²⁹ Там же. Л. 210 об.–211.

³⁰ Там же. Л. 441–441 об.

³¹ Там же. Л. 403 об., 404.

³² Там же. Л. 317 об., 318.

³³ Там же. Л. 123, 243 об., 518 об.; Оп. 530. Д. 1035. Л. 17 об.

³⁴ Там же. Оп. 521. Д. 476. Л. 364 об., 365.

³⁵ Там же. Л. 427.

³⁶ Там же. Л. 439 об.

³⁷ Там же. Л. 204 об., 205.

³⁸ Там же. Л. 325.

³⁹ Там же. Л. 181.

⁴⁰ Там же. Л. 403–403 об.; Оп. 530. Д. 1035. Л. 4 об.

⁴¹ Спиридович А. И. Великая война и Февральская революция, 1914–1917 гг. Нью-Йорк, 1960. Кн. 2. С. 123.

⁴² Мельгунов С. П. На путях к дворцовому перевороту: (Заговоры перед революцией 1917 года). М., 2003. С. 38.

⁴³ Головин Н. Н. Военные усилия России в мировой войне. С. 309.

⁴⁴ Кирьянов И. К. Политическая культура русского крестьянства в период капитализма: (По Уральским материалам) // Общественная и культурная жизнь дореволюционного Урала: Межвуз. сб. науч. тр. Пермь, 1990. С. 102; Поршнева О. С. Менталитет и социальное поведение рабочих, крестьян и солдат России в период Первой мировой войны (1914–март 1918 г.). Екатеринбург, 2000. С. 71.

В. М. Ковальчук

ЛЮБАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ВОЛХОВСКОГО И ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТОВ

В январе 1942 г. была предпринята операция по прорыву блокады Ленинграда. Она являлась составной частью общего наступления советской армии, которое Ставка Верховного Главнокомандования запланировала для развития успеха, достигнутого в контрнаступлении под Москвой, Ростовом и Тихвином. Войска Ленинградского, Волховского и правого крыла Северо-Западного фронтов при содействии Балтийского флота должны были разгромить группу армий «Север» и снять блокаду Ленинграда. Решающая роль отводилась Волховскому фронту. Сталин, придавая большое значение предстоящим действиям, 29 декабря 1941 г. писал в личной записке командующему Волховским фронтом К. А. Мерецкову: «Уважаемый Кирилл Афанасьевич! Дело, которое поручено Вам, является историческим делом. Освобождение Ленинграда, сами понимаете, великое дело. Я бы хотел, чтобы предстоящее наступление Волховского фронта не разменивалось на мелкие стычки, а вылилось бы в единый мощный удар по врагу. Я не сомневаюсь, что Вы постараетесь превратить это наступление именно в единый и обший удар по врагу, опрокидывающий все расчеты немецких захватчиков. Жму руку и желаю Вам успеха. И. Сталин».¹

Особенностью планируемой Ставкой операции являлось то, что наступление Волховского фронта должно было явиться продолжением контрнаступления, начатого под Тихвином. Однако этого не получилось. Практическое осуществление намеченного Ставкой плана деблокады Ленинграда нашло свое выражение в проведении войсками Волховского фронта и 54-й армии Ленинградского фронта Любанской наступательной операции с 7 января по 30 апреля 1942 г.

В связи с тяжелым положением Ленинграда, в котором к жертвам артиллерийских обстрелов и бомбардировок с воздуха прибавились жертвы голода и холода, и Ставка, и командование Волховского фронта торопились с наступлением. Однако, как признавал командующий Волховским фронтом К. А. Мерецков, «к назначенному сроку фронт не был готов к наступлению». В 59-й армии прибыли и успели развернуться только пять дивизий, остальные три находились в пути. Во 2-й ударной армии исходные для наступления позиции заняли только немногим более половины соединений, не прибыла армейская артиллерия, не сосредоточилась авиация, не были накоплены боеприпасы, продовольствие и горючее. Фронт по существу не имел своего тыла.²

Причинами медленного сосредоточения войск и техники были и большие растяжки путей подвоза, слабо развитые сети автомобильных и железных дорог, изношенность и недостаток автотранспорта, сильные морозы и снежные заносы, нарушавшие график движения транспорта.

Но Мерецков приказал начать наступление 7 января. Он сделал это даже несмотря на предложение Сталина отложить наступление, если 2-я ударная армия к нему не готова.³

Завязавшиеся бои носили ожесточенный характер. Но наступление успеха не имело. Советские части, встреченные сильным минометным и пулеметным огнем противника,

отошли в исходное положение. К. А. Мерецков вынужден был признать, что «боевые действия показали неудовлетворительную подготовку войск и штабов. Командиры и штабы теряли управление, взаимодействие отсутствовало, атака началась неодновременно и неорганизованно».⁴

Не дало результатов и наступление в начале января войск 54-й армии Ленинградского фронта, которой в это время командовал генерал И. И. Федюнинский. Продвинувшись на 4–5 км, они под нажимом противника отошли в исходное положение. И 10 января командование Волховского фронта с разрешения Ставки приостановило наступление.

Судя по переговорам по прямому проводу Сталина с К. А. Мерецковым, А. И. Запорожцем и Л. З. Мехлисом 10 января, наступление предполагалось возобновить на следующий день, 11 января. «По всем данным у вас не готово дело наступления к 11 числу, — говорил Сталин. — Если это верно, надо отложить еще на один или на два дня... У русских говорится: поспешишь — насмешишь. У вас так и вышло. Поспешили с наступлением, не подготовив его, и насмешили людей. Если помните, я вам предлагал отложить наступление, если ударная армия Г. И. Соколова (2-я ударная армия. — В. К.) не готова. Вы отказались отложить, а теперь пожинаете плоды своей поспешности». Мерецков предложил наступление 2-й ударной, 4-й и 59-й армий начать 12 января, а 52-й армии — 13 января. Сталин согласился с этим предложением, но заметил: «Обдумайте хорошенько, может быть, отложить еще на день, то есть на 13 с тем, чтобы все армии выступили вместе с 52-й армией. Не нужно хорохориться, а нужно сказать честно — готовы будете к 12 или нет».⁵

Наступление Волховского фронта после полуторачасовой артиллерийской подготовки возобновилось 13 января, хотя за три дня мало что удалось исправить. Войска фронта, имевшие над противником превосходство в людях в 1.5 раза, в орудиях и минометах в 1.6 раза, в самолетах в 1.3 раза,⁶ продолжали уступать ему в обеспечении боеприпасами, всеми видами снабжения. Части 59-й и 2-й ударной армий не имели опыта ведения боевых действий.

Наступление Волховского фронта проходило на местности, покрытой громадными лесными массивами, заболоченность ее из-за обилия малых рек и озер доходила до 60%. Почти полное бездорожье, так как дороги мирного времени были выведены из строя еще осенью 1941 г., глубокий снег сильно затрудняли маневрирование войск. Противник, зная о предстоящем наступлении советских войск, приготовился к нему и оказывал сильное сопротивление.

Войска 4-й армии (командующий генерал П. А. Иванов), наступавшие в направлении Кириши, Тосно, и 52-й армии (командующий генерал В. Ф. Яковлев), наступавшие в направлении Новгород, Сольцы, уже 14–15 января перешли к обороне. Причиной этого было не только сильное сопротивление противника, но и просчеты командования фронта в подготовке наступления. В войсках ощущался недостаток боеприпасов и продовольствия. В 52-й армии, например, во второй половине января не было хлеба, муки, соли и фуража. В качестве фуража были использованы даже соломенные крыши всех домов в ближайших населенных пунктах. Происходил падеж лошадей. Только с 12 по 25 января пало 120 лошадей.⁷

Причиной неудач в действиях 4-й и 52-й армий являлись также недочеты в организации наступления, выразившиеся в равномерном распределении сил на всем фронте наступления.

Советские воины, несмотря на тяжелейшие условия, в которых им пришлось вести борьбу с врагом, проявляли исключительное упорство и массовый героизм. Одним из ярких образцов мужества и самопожертвования явился групповой подвиг, который совершили 29 января на западном берегу р. Волхов воины 229 стрелкового полка 225-й стрелковой дивизии 52-й армии сержант И. С. Герасименко и рядовые А. С. Красилов и Л. А. Черемнов. Израсходовав свои гранаты, они одновременно бросились на амбразуры изрыгавших огонь вражеских огневых точек и закрыли их своими телами. Их подвиг позволил уничтожить вражеское гнездо, мешавшее продвижению наших войск. И. С. Герасименко, А. С. Красилору и Л. А. Черемнову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.⁸

Успех обозначился в полосе наступления 2-й ударной армии (командующий генерал Н. К. Клыков) и левого фланга 59-й армии (командующий генерал И. В. Галанин). Ударные группировки этих армий уже на второй день наступления пересекли р. Волхов и на ее левом берегу овладели несколькими населенными пунктами.

К концу января 2-я ударная армия и введенный в прорыв входивший в состав армии 13-й кавалерийский корпус (командир генерал Н. И. Гусев) углубились в расположение противника на 40–45 км.⁹ В феврале, продвинувшись на 75 км, советские войска с юга и юго-запада охватили Любанско-Киришскую группировку врага, насчитывавшую 7 дивизий. Однако дальнейшие попытки 2-й ударной армии наступления с целью овладеть Любанью успеха не имели.

Наступление 54-й армии Ленинградского фронта, начавшееся одновременно с войсками Волховского фронта, встретило упорное сопротивление и не дало существенных результатов. Лишь к 17 января ей удалось захватить населенный пункт Погостье. Главной причиной неуспеха действий армии явилось равномерное распределение сил на всем 30-километровом фронте наступления. В феврале наступление войск 54-й армии продолжалось. Вместе с ней на ее правом фланге на фронте Ладожское озеро — ст. Малукса вела борьбу с врагом 8-я армия (командующий генерал А. В. Сухомлин). Она была создана приказом Ставки 26 января в основном за счет соединений 54-й армии, а также переброшенных из Ленинграда управления и армейских частей 8-й армии.¹⁰

Прорвать оборону противника и выйти к Любани с севера соединениям 54-й и 8-й армиям не удалось. Их действия заставили немецкое командование перебросить сюда с других участков фронта две пехотные дивизии, что способствовало наступлению войск Волховского фронта.

В феврале на Волховский фронт был командирован в качестве представителя Ставки маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов по его просьбе. Как записано в постановлении политбюро ЦК ВКП(б) от 1 апреля 1942 г., «пребывание товарища Ворошилова на Волховском фронте не дало желаемых результатов. Желая еще раз дать возможность товарищу Ворошилову использовать свой опыт на фронтовой работе ЦК ВКП(б) предложил товарищу Ворошилову взять на себя непосредственное командование Волховским фронтом. Но товарищ Ворошилов отнесся к этому предложению отрицательно и не захотел взять на себя ответственность за Волховский фронт, несмотря на то, что этот фронт имеет сейчас решающее значение для обороны Ленинграда, сославшись на то, что Волховский фронт является трудным фронтом и он не хочет проваливаться на этом деле».¹¹

Ставка Верховного Главнокомандования, несмотря на неудачу наступления с целью овладеть Любанью, считая, что глубокий прорыв 2-й ударной армии в оборону противника

дает возможность полностью ликвидировать немецкую любань-чудовскую группировку, 28 февраля приказала командующему Волховским фронтом главные усилия сосредоточить на наступлении на любанском направлении и «станцией и городом Любань безусловно овладеть и прочно закрепиться не позднее 4–5 марта».¹²

Ленинградский фронт, согласно директиве Ставки от 26 февраля, должен был содействовать Волховскому фронту наступлением 54-й армии на Любань.¹³

54-я армия, усиленная 4-м гвардейским стрелковым корпусом, прорвала оборону немецких войск, продвинулась на 22 км, выйдя на рубеж Погостье, Кородыня, Посадников Остров. Но из-за возросшего сопротивления немецких войск прорваться к Любани не смогла.

Войска 2-й ударной армии вели бои на всем фронте. Они действовали стойко и мужественно. Однако, как докладывал Мерецков в Ставку 30 марта, «наступление 2-й ударной армии на Любань... развития не получило. Многодневные наступательные бои в исключительно трудных условиях бездорожья, лесистой местности положительных результатов не принесли. На этом направлении противник успел создать сильную систему опорных пунктов в лесу и дальнейшие попытки прорвать оборону противника повлекли за собой еще большее истощение войск».¹⁴ Лишь 15 км отделяло 2-ю ударную армию от Любани и 30 км от войск 54-й армии.

Неудачные действия армий Волховского и Ленинградского фронтов объяснялись и тем, что гитлеровское командование за счет перегруппировки своих войск под Ленинградом и переброски из Западной Европы в период января–марта усилило 18-ю армию семью дивизиями и одной бригадой.¹⁵

Завязывавшиеся у основания прорыва 2-й ударной армии бои с перешедшими в наступление немецкими частями носили ожесточенный характер. Воины 52-й и 59-й армий Волховского фронта мужественно отбивали атаки врага, но противостоять ему не смогли. 19 марта противнику удалось закрыть горловину прорыва 2-й ударной армии западнее Мясного Бора и тем самым перерезать ее коммуникации. Это очень осложнило положение армии, оказавшейся в окружении. Снабжение армии всем необходимым теперь было возможно только самолетами. Направленный К. А. Мерецковым во 2-ю ударную армию генерал А. А. Власов¹⁶ 23 марта доносил: «...подача армии и эвакуация из нее полностью прекращены... Армия имеет запасы: хлеба по 25 марта 1942 г., жиров, сала, овса, сена, сахара, соли нет. Начался падеж конского состава. Боеприпасы на исходе. Особенно нужны патроны к ППШ. Приняты меры для сокращения норм потребления и ограничения огнеприпасов и зернофуража до доставки авиацией. В ночь на 23 марта прибыло во Вдичко 8 самолетов „У-2“ с продовольствием и медикаментами. В армии скопилось до 3000 раненых».¹⁷

«В предвидении длительной борьбы в условиях окружения, — вспоминал командующий 2-й ударной армией генерал Н. К. Клыков, — мы приняли меры по заготовке продовольствия: порезали на колбасу лошадей, убавили выдачу хлеба, заложили в неприкосновенный запас сухари. Авиация помогла нам боеприпасами и небольшим количеством продовольствия».¹⁸

Командование Волховского фронта особое внимание обратило на участок прорыва. Сюда были подтянуты все возможные резервы. «Мы вынуждены были, — писал К. А. Мерецков, — ввести в бой все, что было под рукой: весь состав курсов младших лейтенантов и учебную роту младших командиров».¹⁹

И в результате тяжелых боев, руководство которыми по указанию Ставки осуществлял К. А. Мерецков, советским войскам удалось 27 марта очистить от противника горловину, связывавшую 2-ю ударную армию с фронтом. По ней снова пошел транспорт с продовольствием, фуражом и боеприпасами.

Однако положение армии продолжало оставаться тяжелым, так как горловина, по которой осуществлялось ее снабжение, не превышавшая 3–5 км, насквозь простреливалась огнем врага. Попытки уничтожить противника в этих районах, предпринимавшиеся авиацией, не дали результатов. Авиация Волховского фронта в марте месяце произвела всего 7600 самолетовылетов.²⁰

В середине апреля командование группы армий «Север» решило провести новое наступление против 2-й ударной армии. Командующий группой Кюхлер, докладывая 13 апреля Гитлеру общую обстановку, просил его выделить для этого новые силы, так как не считал, «что противник сам погибнет в своих плохо снабжаемых районах». Однако, как записано в дневнике Верховного главнокомандования вермахта, Гитлер заявил, что рассчитывать на выделение новых сил ни в коем случае не следует, так как они необходимы для решения других важных задач на юге Восточного фронта (нефтяные районы Кавказа). Поэтому группе армий необходимо отказаться от планируемых наступательных действий с целью ликвидации котлов и ограничиться медленным изматыванием противника, постепенно выбивая его с командных высот, расположенных в котлах, «выкуривая его из убежищ и все более лишая противника возможности снабжения путем недопущения наводки мостов через Волхов». Он приказал авиации беспокоить противника сбрасыванием бомб замедленного действия на его коммуникации и дал согласие на выделение группе армий дополнительных противотанковых средств.²¹

Положение войск Волховского фронта, особенно 2-й ударной, 52-й и 59-й армий стало еще более трудным, когда в результате наступившего в конце марта потепления раскисли проложенные по болотам дороги. О строительстве новых дорог в этих условиях не могло быть и речи. Поэтому, чтобы обеспечить войскам грузовые и эвакуационные перевозки, дорожники занимались в основном постройкой гатей на болотах и укреплением разбитых грунтовых участков земель и хворостом. Перебои в снабжении войск, острый недостаток боеприпасов и продовольствия, возросшее сопротивление противника явились причиной временного затишья, наступившего на всех участках Волховского фронта. То же самое имело место и в полосе наступления 54-й армии Ленинградского фронта.

Положение 2-й ударной армии не могла не осложнить и происшедшая в это время смена командующего армией. 17 апреля Военный совет Волховского фронта в связи с тяжелой болезнью генерала Н. К. Клыкова допустил к командованию армией генерала А. А. Власова.²²

Командование Волховского фронта приступило к подготовке нового наступления на Любань.

Но нового наступления не произошло. «В конце апреля в Ставку прибыл командующий Ленинградским фронтом М. С. Хозин, — пишет А. М. Василевский, — и доложил, что неудача Любанской операции произошла вследствие отсутствия единого командования войсками, защищавшими Ленинград. Он предложил объединить войска Ленинградского и Волховского фронта, а командование объединенным фронтом возложить на него. Б. М. Шапошников сразу выступил против такого предложения. И. В. Сталин, напротив, встал на позицию Хозина».²³

21 апреля Ставка приняла решение с 24 апреля объединить Ленинградский и Волховский фронты в единый Ленинградский фронт в составе двух групп: группы войск Ленинградского направления и группы войск Волховского направления.²⁴ Командующим Ленинградским фронтом и командующим группой войск Волховского направления был назначен М. С. Хозин, командующим группой войск Ленинградского направления — генерал Л. А. Говоров.²⁵

В мае 1942 г. советские воины продолжали бои на Любанском плацдарме, но развить наступление на Любань не удалось. «С середины марта 2-я ударная армия и войска 59-й и 52-й армий, расположенные западнее р. Глушица, — писал Хозин Сталину 11 мая 1942 г., — испытывают большие трудности в продовольственном и материально-техническом обеспечении. Вся эта группировка общей численностью до 62 382 человек базируется на единственную дорогу, проходившую в узком коридоре шириной 3 км. Этот коридор находится под постоянным минометным обстрелом и ударами авиации противника. Постройка в этом коридоре узкоколейки Мясной Бор–Новая Кересть не обеспечивает устойчивого подвоза, так как узкоколейка регулярно выводится из строя наземным огнем и бомбометанием с воздуха».²⁶

Немецкое командование, сосредоточив крупные силы у путей подвоза 2-й ударной армии, поставило ее под угрозу полного окружения. В связи с этим Ставка приказала генералу М. С. Хозину вывести 2-ю ударную армию из занимаемого ею плацдарма. Однако приказ не был выполнен. Ее воинам пришлось с боями пробиваться через узкую горловину у основания прорыва. Сталин признал, что «мы допустили большую ошибку, объединив Волховский фронт с Ленинградским. Генерал Хозин, хотя и сидел на Волховском направлении, дело вел плохо. Он не выполнил директивы Ставки об отводе 2-й ударной армии. В результате немцам удалось перехватить коммуникации армии и окружить ее». 8 июня 1942 г. Сталин и Василевский подписали следующий приказ Ставки Верховного Главнокомандования:

«Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

1. Разделить войска Ленинградского фронта на два самостоятельных фронта —
 - а) Ленинградский фронт в составе войск ныне существующей Ленинградской группы войск;
 - б) Волховский фронт в составе существующей Волховской группы.
2. Ленинградскую и Волховскую группы упразднить.
3. Разграничительной линией между Ленинградским и Волховским фронтами оставить существующую линию между Ленинградской и Волховской группами войск.
4. За невыполнение приказа Ставки о своевременном и быстром отводе войск 2-й ударной армии, за бумажно-бюрократические методы управления войсками, за отрыв от войск, в результате чего противник перерезал коммуникации 2-й ударной армии и последняя была поставлена в исключительно тяжелое положение, снять генерал-лейтенанта Хозина с должности командующего войсками Ленинградского фронта и назначить его командующим 33-й армией Западного фронта.
5. Отстранить от должности члена Военного совета Ленинградского фронта тов. Тюркина как не справившегося с работой и передать его в распоряжение Военного совета Ленинградского фронта.
6. Назначить командующим войсками Волховского фронта генерала армии тов. Мерцкова, освободив его от командования 33-й армией.

7. Утвердить в должности командующего войсками вновь выделенного Ленинградского фронта командующего Ленинградской группой генерал-лейтенанта тов. Говорова».²⁷

Командование Волховского фронта принимало все меры для вывода из окружения 2-й ударной армии, в результате чего был пробит коридор шириной 2–3 км, через который до 10 июля выходили остатки армии.

«Командующий 2-й ударной армией Власов, — пишет А. М. Василевский, — не выделяясь большими командирскими способностями, к тому же по натуре крайне неустойчивый и трусливый, совершенно бездействовал. Создавшаяся для армии сложная обстановка еще более деморализовала его, он не предпринял никаких попыток к быстрому отводу войск».²⁸ 11 июля Власов добровольно сдался гитлеровцам в плен. Член военного совета 2-й ударной армии дивизионный комиссар И. В. Зуев погиб при выходе из окружения: он застрелился, когда у него остался один патрон.

Советские войска потеряли в Любанской операции 308 367 человек, из которых безвозвратные потери составили 95 064 человека.²⁹

Таким образом, операция советских войск на северо-западном направлении зимой 1941/42 г. не привела к разгрому немецкой группы армий «Север» и к деблокаде Ленинграда.

Одной из причин этого явились просчеты Ставки Верховного Главнокомандования в планировании боевых действий. Для общего наступления страна еще не имела достаточных стратегических резервов и боевых средств, а развернувшееся наступление на всем советско-германском фронте привело к распылению имевшихся сил.

Одной из основных причин неудовлетворительного развития операции явился также длительный, больше месяца, без достаточной маскировки период подготовки войск Волховского фронта и начало операции до завершения сосредоточения войск, предназначенных для наступления. Это привело к потере оперативной внезапности и удару слабыми силами. Противник раскрыл намерение советского командования и усилил свою группировку, что заставило армии Волховского фронта вместо продолжения наступательных действий, которые они вели в декабре 1941 г., прорывать немецкие оборонительные полосы. Затягивали развитие операции и ввод в бой сил по частям, и частые перегруппировки в ходе наступления. В результате операция фронта превратилась в наступательную операцию только 2-й ударной армии, правда, значительно усиленной. Но и эта операция, как писал Сталину 3 марта 1942 г. Ворошилов, побывавший в районе действия 2-й ударной армии, «была совершенно неподготовлена, и это сказывается до сих пор. Большинство сил 2-й ударной армии по мере продвижения вперед растягивались и отвлекались на сковывание противника на большом пространстве и для Любанской оставалась слабая, наскоро собранная, а главное, плохо организованная и слабо материально обеспеченная группа».³⁰

На действиях 2-й ударной армии отрицательно сказалось и отсутствие четкого и твердого руководства войсками. Распоряжения командования доходили до частей с опозданием. Начальник оперативного отдела штаба 2-й ударной армии неправильной информацией вводил в заблуждение штабы армии и фронта. Практически отсутствовал учет убитых и раненых. Некоторые подразделения пропадали из виду и не обеспечивались продовольствием и боеприпасами. В результате Ставке пришлось отстранить от обязанностей начальника штаба 2-й ударной армии генерала В. А. Визжилина и начальника оперативного отдела полковника Пахомова.³¹

Серьезной причиной неуспеха наших войск являлись перебои в снабжении в ходе операции основными видами материального обеспечения. «Положение с боеприпасами в армиях фронта из-за несвоевременности прибытия транспортов создалось угрожающее», — доносил 20 февраля в Главное артиллерийское управление начальник штаба Волховского фронта Г. Д. Стельмах. — По 19 февраля из 70 транспортов, запланированных на февраль, было получено только 24. Минометы и артиллерия на 18 февраля имели боеприпасов всего 0.2–0.9 боекомплекта». ³² Для налаживания снабжения на Волховский фронт в конце января 1942 г. прибыл заместитель наркома обороны, начальник тыла Красной армии генерал А. В. Хрулев.

Перебои в снабжении были связаны и с объективными трудностями. Железная и автомобильная дороги, по которым двигались транспорты для наступающих войск, были слишком перегружены. По ним одновременно шло снабжение для Ленинграда и для севера страны.

Вследствие понесенных потерь и несвоевременного их восполнения как в людях, так и в вооружении и особенно в автоматическом оружии, советские силы уменьшились, а противника значительно возросли.

Одной из причин неудачи советских войск было и то, что между Ленинградским и Волховским фронтами не было настоящего взаимодействия, что позволяло фашистскому командованию с помощью маневра живой силой и техникой ослаблять и заставлять перейти к обороне наступательные группировки фронтов. «Мы действовали разрозненно, — докладывал в Генеральный штаб М. С. Хозин 18 апреля 1942 г. — В январе начал наступление Волховский фронт, Ленинградский фронт его не сумел по-настоящему поддержать, потому что войска 54-й армии были истощены в людском и материальном отношении. В феврале и марте начал наступление Ленинградский фронт, но не поддержанный Волховским фронтом тоже выдохся. На днях вновь начал наступать Волховский фронт; Ленинградский не в состоянии поддержать, так как дивизии 54-й армии выдохлись». ³³

Однако войска Ленинградского и Волховского фронтов в Любанской операции добились крупных успехов. Советские воины, наступая в лесисто-болотистой местности, без дорог, часто по пояс в снегу или по колено в воде, проявляя невиданный героизм, вышли в район Любани и поставили противника в критическое положение. Они сковали группу армий «Север», что лишило ее возможности организовать новое наступление на Ленинград и не позволило немецко-фашистскому командованию за ее счет усилить свои войска на других направлениях, и в частности на западном, где в это время шло наступление советской армии. Любанская наступательная операция привела даже к тому, что врагу пришлось усиливать группу армий «Север» соединениями, переброшенными из Западной Европы.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Цунц М. В огне четырех войн. М., 1972. С. 47.

² Мерецков К. А. На службе народу. М., 1988. С. 248, 249.

³ Великая Отечественная война. 5(2). Ставка ВГК: Документы и материалы 1942 г. // Российский архив. М., 1996. 16/5(2). С. 36.

⁴ Оборона Ленинграда. 1941–1944: Воспоминания и дневники участников. Л., 1968. С. 190.

⁵ Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (далее — ЦАМО РФ). Ф. 96-Ф. Оп. 2011. Д. 26. Л. 22–24.

⁶ Оборона Ленинграда. 1941–1944. С. 190.

- ⁷ ЦАМО РФ. Ф. 48. Оп. 3408. Д. 140. Л. 109.
- ⁸ *Барбашин И. П. и др.* Битва за Ленинград в 1941–1944. М., 1964. С. 140, 141.
- ⁹ ЦАМО РФ. Ф. 204. Оп. 89. Д. 98. Л. 13–16.
- ¹⁰ ЦАМО РФ. Ф. 132-А. Оп. 2642. Д. 32. Л. 15, 16.
- ¹¹ Там же. Оп. 2642. Д. 233. Л. 286.
- ¹² Там же. Д. 95. Л. 29–31.
- ¹³ Институт марксизма-ленинизма. Документы и материалы отдела истории Великой Отечественной войны. Инв. № 9484. Л. 368.
- ¹⁴ ЦАМО РФ. Ф. 48. Оп. 3408. Д. 141. Л. 111.
- ¹⁵ Сборник материалов по составу, группировке и перегруппировки войск фашистской Германии и войск бывших ее сателлитов на советско-германском фронте за период 1941–1945 гг. Б. м., б. г. Вып. 2. С. 9, 19, 35.
- ¹⁶ Генерал-лейтенант А. А. Власов 8 марта 1942 г. Ставкой был назначен заместителем командующего Волховским фронтом.
- ¹⁷ ЦАМО РФ. Ф. 204. Оп. 97. Д. 89. Л. 12–14.
- ¹⁸ Вторая ударная армия в битве за Ленинград: Воспоминания, документы. Л., 1983. С. 20.
- ¹⁹ *Мерецков К. А.* На службе народу. С. 261.
- ²⁰ Операции советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне 1941–1945. М., 1958. Т. 1. С. 485.
- ²¹ *Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtführungsstoss). Bd 2: Ester Halband.* Frankfurt a. M. 1963. S. 500.
- ²² ЦАМО РФ. Ф. 48. Оп. 3408. Д. 141. Л. 537. 20 апреля 1942 г. Ставка утвердила назначение заместителя командующего Волховским фронтом генерал-лейтенанта А. А. Власова командующим 2-й ударной армией по совместительству (ИМЛ. Документы и материалы отдела истории Великой Отечественной войны. Инв. № 9485. Л. 201).
- ²³ *Василевский А. М.* Дело всей жизни. М., 1988. Кн. 1. С. 183.
- ²⁴ С 3 мая 1942 г. группы стали именоваться: Волховской группой войск и Ленинградской группой войск Ленинградского фронта (ЦАМО РФ. Ф. 48-А. Оп. 1640. Д. 179. Л. 215).
- ²⁵ ЦАМО РФ. Ф. 132-А. Оп. 2642. Д. 41. Л. 122, 123.
- ²⁶ Там же. Ф. 204. Оп. 97. Д. 91. Л. 7–11.
- ²⁷ *Мерецков К. А.* На службе народу. С. 279; Великая Отечественная война. 5(2). С. 244; Ставка ВГК: Документы и материалы. 1942 г. С. 244.
- ²⁸ *Василевский А. М.* Дело всей жизни. Кн. 1. С. 184.
- ²⁹ Гриф секретности снят. М., 1993. С. 224.
- ³⁰ ЦАМО РФ. Ф. 19. Оп. 2729. Д. 5. Л. 62, 63.
- ³¹ *Мерецков К. А.* На службе народу. С. 256; *Дынин И. Мерецков // Коммунист вооруженных сил.* 1990. № 11. С. 71.
- ³² ЦАМО РФ. Ф. 48. Оп. 3408. Д. 140. Л. 372.
- ³³ Там же. Ф. 217. Оп. 1227. Д. 46. Л. 111–112.

Н. А. Ломагин

УПРАВЛЕНИЕ НКВД ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Одной из наименее изученных тем в историографии Великой Отечественной войны является деятельность периферийных органов внутренних дел и госбезопасности. Особенный интерес представляет перестройка работы этих ведомств в новых условиях в Ленинграде, который вскоре после нападения нацистской Германии на СССР оказался в непосредственной близости от театра военных действий, а с начала сентября 1941 г. был блокирован войсками противника.

Война с Германией, особенно крайне неудачное ее начало и возможность нанесения противником бомбовых ударов по центрам власти и управления в Ленинграде, привела к существенному усложнению условий работы Управлений наркоматов внутренних дел (УНКВД) и госбезопасности (УНКГБ) в городе и области. 25 июня 1941 г. был установлен особый порядок действий сотрудников УНКВД и УНКГБ на случай сигнала «воздушная тревога» и произведен отбор наиболее ценных оперативных материалов, которые следовало забирать с собой в чемоданах или мешках и перемещать на первый этаж здания. Речь шла об агентурных разработках, делах-формулярах, списках сотрудников, списках агентуры и т. п. Особо важные документы подлежали эвакуации в Москву.¹

5 июля 1941 г. было принято еще одно решение о разгрузке оперативных отделов от секретных и совершенно секретных материалов. Оно было связано с возросшей угрозой бомбардировок Ленинграда, в том числе и здания управления. Используемые или законченные производством агентурные материалы, а также дела общеканцелярского и оперативного характера передавались в архив. Что касается личных дел выбывших из сети агентов, а также наблюдательных дел по малоценным агентурным разработкам, то все они подлежали уничтожению. Решение по данным вопросам требовалось принять в течение суток.

Агентурные разработки, личные дела сети и другие оперативные материалы, постоянно требовавшиеся в работе, упаковали в пачки, поставив на них необходимые обозначения, и хранили в отделах в железных шкафах и сейфах. По агентурным разработкам были составлены меморандумы для пользования в текущей работе, а по личным делам агентов-осведомителей — списки с краткими характеристиками. Меморандумы и списки также хранились в железных шкафах и сейфах в именных папках сотрудников, за которыми эти материалы числились.

В случае реальной угрозы военного нападения и полной невозможности в создавшейся обстановке эвакуировать оставшиеся оперативные материалы их следовало уничтожить на месте. В отношении меморандумов и списков секретных сотрудников предпринимались все меры к их сохранению и вывозу из угрожаемой местности и только «в крайнем случае» они могли быть сожжены.² «Чемоданное» состояние оперативных материалов создавало дополнительные трудности для работы органов внутренних дел и госбезопасности.

С началом войны изменился порядок работы с арестованными. Допросы проводились во внутренней тюрьме и лишь в случае необходимости проведения очных ставок со свидетелями разрешался вывод арестованных в кабинеты к следователям.³ Все арестованные за «активную контрреволюционную деятельность» в городе и области подлежали немедленному этапированию во внутреннюю тюрьму Управления НКГБ по Ленинградской области для проведения там необходимых следственных действий и выявления всех их связей.⁴

Операции по арестам предлагалось проводить в кратчайшие сроки. С этой целью был введен новый порядок реализации агентурных материалов на аресты. Со 2 июля 1941 г. постановления на арест, об избрании меры пресечения и описи имущества передавались непосредственно в 3-й отдел УНКВД, который собственно и занимался проведением арестов. К постановлениям прилагалась справка, в которой указывалось, на что следует обратить внимание при обыске арестованного, а также содержалось

предостережение относительно того, с какими арестованными нельзя сажать в одну камеру. Агентурные материалы, включая агентурные дела и формуляры на арестованных, передавались непосредственно в следственную часть вместе со служебной запиской, а материалы на аресты подлежали реализации в день их поступления в 3-й отдел.⁵

В связи с тем что в начале июля 1941 г. активно шел процесс эвакуации арестованных из внутренней тюрьмы УНКГБ ЛО, с ними также проводилась оперативно-следственная работа с целью выявления лиц, которые проводили шпионскую, диверсионную или какую-либо организованную «контрреволюционную деятельность». В случае получения таких показаний от арестованных следователи были обязаны задержать их этапирование и продолжать работу с ними. Все следственные и агентурные дела, а также дела-формуляры на лиц, подлежавших эвакуации, сдавались в группу учета по спискам.⁶

Оперативное информирование в органах УНКГБ города и области тоже претерпело некоторые изменения. В целях упорядочения оперативной информации и «обеспечения своевременного реагирования на антисоветские проявления враждебных элементов на территории Ленинградской области и г. Ленинграда», а также для предупреждения активных антисоветских проявлений на начальников районных отделов НКГБ города и области, начальников межрайонных отделов НКГБ Ленинградской области возлагалась обязанность ежедневного представления в Оперативный штаб УНКГБ спецсообщений о настроениях, важнейших происшествиях и антисоветских проявлениях, выявленных по заявительским материалам как органами НКГБ, так и органами милиции в районах. Кроме этого, освещению в сводках подлежали такие вопросы, как наличие бандитских групп, задержание подозрительных лиц, обнаружение и изъятие взрывчатых и отравляющих веществ, радиопередающих устройств, организация работ по отбытию трудовой повинности, а также эвакуация населения из угрожаемых районов.

Данные о вновь завербованной агентуре, заведенных делах, об имевшихся в районных и межрайонных отделах НКГБ агентурных разработках и делах-формулярах в спецсообщениях в Оперативный штаб не включались.⁷ Ранее существовавший порядок представления районными и межрайонными отделами НКГБ в секретно-политический отдел (СПО) УНКГБ информационных сообщений о состоянии района сохранялся.⁸ Структура регулярных донесений секретно-политического отдела УНКВД в НКВД СССР также осталась без изменений. Донесения состояли из четырех частей. В первой части содержалась информация о приобретении новой агентуры, во второй — в целом об агентурном аппарате и работе с ним, в третьей части приводились сведения о «реализации агентурных материалов», т. е. количестве арестованных, и наконец, в четвертой — о работе по розыску авторов антисоветских листовок и анонимных писем.⁹

Одной из характерных черт деятельности УНКВД и других правоохранительных органов в начале войны была их *относительная* публичность в расчете на обеспечение общей превенции. Основные печатные органы ленинградской партийной организации газета «Ленинградская правда», журнал «Пропаганда и агитация»¹⁰ и другие издания публиковали информацию не только о нормах, регулирующих поведение населения в условиях войны, но и о выявленной органами госбезопасности антисоветской деятельности и суровом наказании, которое понесли виновные. Средства массовой информации и особенно газета «Ленинградская правда» регулярно информировали ленинградцев о деятельности Военного трибунала, разъясняли вопросы правовой ответственности

за невыполнение законов военного времени, в том числе за ведение антисоветской агитации.¹¹ Такая пропагандистско-информационная составляющая политического контроля была особенно характерна для первого года войны.

В течение первого месяца войны деятельность органов госбезопасности и внутренних дел Ленинграда характеризует еще одна особенность. В отличие от центральных аппаратов НКВД и НКГБ, которые зафиксировали практически общий патриотический подъем среди всех категорий населения, включая подучетный элемент, а также в целом весьма спокойных по содержанию сводок партийных органов ленинградской организации ВКП(б) Управление НКГБ по Ленинградской области, напротив, констатировало значительную активизацию антисоветской подрывной работы со стороны «контрреволюционного элемента г. Ленинграда». Как отмечалось в приказе УНКГБ ЛО от 28 июля 1941 г. «Об агентурно-оперативной работе в военное время», в ряде случаев он «перешел к открытым формам борьбы против Советской власти».¹² Подрывная работа «пятой колонны» проводилась, по мнению УНКГБ, по четырем основным направлениям: совершение диверсионных актов; подача световых и радиосигналов вражеским воздушным силам в угрожаемых районах; распространение антисоветских пораженческих листовок, восхваляющих фашизм; ведение контрреволюционной, пораженческой, фашистской агитации, сеющей панику среди гражданского населения города и прифронтовой полосы.

Приведенные в документе примеры не создают ощущения «значительной» активизации противников советского режима. В нем отсутствуют какие-либо статистические данные, доказывающие появление опасной для режима динамики, зафиксированной органами НКГБ. За весь первый месяц войны, по сведениям органов НКГБ, было раскрыто всего четыре попытки совершения диверсионных актов. Так, например, сообщалось, что 22 июня 1941 г. уже после объявления о начале войны на заводе «Центролит» были обнаружены перерезанными электропровода, идущие к агрегатам, и приводной ремень трансмиссии. В тот же день на заводе «Пневматика» были найдены два капсюля и детонатор от гранаты. 4 июля на заводе «Электросила» была будто бы отравлена питьевая вода в баке, которой пользовался руководящий технический персонал завода. Диверсионный акт был предотвращен. Лица, которые его готовили, в содеянном сознались и были осуждены.¹³ Наконец, 22 июля был задержан бригадир одного из оборонных НИИ «Т». Совместно с работником того же института он наносил на стены в общественных местах НИИ знаки фашистской свастики, а после задержания признался в том, что также собирался вывести из строя электрохозяйство и оборудование института.

Подача световых и радиосигналов воздушным силам противника была зафиксирована органами госбезопасности впервые только 10 июля, когда во время воздушного налета на один из городов Ленинградской области немецким самолетам подавались сигналы белого и красного цвета. 14 июля в 23 ч. 10 мин. в районе Лигово были выпущены 4 ракеты белого цвета, а в 0 ч. 15 мин. в районе Стрельны была выпущена одна ракета красного цвета. Факты подачи световых сигналов были отмечены также в черте Ленинграда в районе Пулков, Дудердорфа, Петергофа, в районе угольной гавани Ленинградского торгового порта и в других местах.

Распространение рукописных листовок пораженческого характера было обнаружено в Куйбышевском районе, где удалось изъять 25 экземпляров. Автор листовок

восхвалял нацистскую Германию и призывал «подняться на войну против СССР, учинять еврейские погромы». 25 июня листовки аналогичного содержания распространялись в Кировском районе от имени «подпольного комитета анархистов». Кроме того, в адрес руководителей ВКП(б) и советского правительства поступали «отдельные анонимные письма контрреволюционного, повстанческого, пораженческого и террористического содержания».

На основании всех этих данных Управление НКГБ сделало вывод, что «целый ряд отмеченных за последнее время фактов антисоветской, пораженческой, контрреволюционной фашистской агитации со стороны отдельных лиц (особенно лиц немецкой национальности) серьезно сигнализирует об активизации деятельности так называемой “пятой колонны”». ¹⁴ По данным УНКГБ, в ряде случаев представители «пятой колонны» высказывались за координацию своих действий с командованием наступающих на Ленинград войск противника.

Обобщение новых угроз в военных условиях привело к постановке ряда задач в сфере агентурно-оперативной и розыскной работы, направленных на «своевременное выявление, вскрытие и ликвидацию представителей “пятой колонны” в Ленинграде и области». Эти задачи носили программный характер для деятельности органов внутренних дел. Прежде всего речь шла о необходимости максимального усиления агентурно-следственной работы по всем имевшимся в оперативных отделах УНКГБ, районных и межрайонных отделах разработкам и агентурным данным, которые свидетельствовали «о наличии отдельных групп и одиночек из лагеря “пятой колонны”». Оперативному составу вменялось в обязанность немедленно осуществлять тщательную проверку сигналов горожан о подрывной контрреволюционной работе «пятой колонны» и широко использовать все виды агентуры, а также работников спецотделов предприятий и учреждений. УНКГБ настаивало на проведении тщательной фильтрации задержанного подозрительного контингента, у которого не было при себе документов, а также тех, кто осел в городе и пригороде под видом беженцев из занятых противником районов. Одним из приоритетных направлений по-прежнему оставалось «четкое чекистское обслуживание оборонных заводов» с целью обеспечения их бесперебойной и безаварийной работы по выполнению новых задач, поставленных перед ними командованием Северо-Западного направления. На наиболее важных оборонных предприятиях (Кировский, Ижорский заводы, завод «Большевик», завод № 174) в кратчайшие сроки были созданы группы в количестве 3–5 оперативных работников.

Важнейшим подразделением, которое занималось осуществлением функции политического контроля в Управлении НКВД ЛО в годы войны, был секретно-политический отдел. На него в начале войны был возложен контроль за работой академической и технической интеллигенции, привлеченной для выполнения особо важных фортификационных работ по обороне Ленинграда. В связи с эвакуацией предприятий исключительное значение придавалось усилению работы транспортных отделений советских спецслужб, на которые возлагалась задача «исключить всякую возможность подрывной, диверсионной работы на железнодорожном транспорте со стороны отдельных контрреволюционных групп или одиночек из лагеря “пятой колонны”». Особое значение в условиях начавшейся войны придавалось также розыску авторов контрреволюционных листовок и анонимок «за счет применения более действенных чекистско-оперативных мероприятий с привлечением в необходимых случаях сотрудников оперативных

отделов УНКГБ, РО и МРО к активному участию в розыскных мероприятиях». В центре внимания по-прежнему оставались вопросы подготовки документации и оперативной ликвидации выделенных дел на немцев и другой подучетный контингент, намеченный ранее к выселению по особым спискам. Наконец, ставилась задача исключить всякую возможность проникновения в формируемые в Ленинграде дивизии народного ополчения, в истребительные батальоны и рабочие дружины контрреволюционно настроенных лиц, проявлявших пораженческие и изменнические настроения.¹⁵

Насколько адекватно оценивали на Литейном реальность угроз на «внутреннем фронте»? Материалы партийных органов, многочисленные источники личного происхождения свидетельствуют о том, что первые недели войны характеризовались патриотическим подъемом ленинградцев, стремлением внести личный вклад в разгром врага. Успешно проведенные мобилизационные мероприятия в городе, формирование многотысячной армии народного ополчения — все это свидетельствовало о желании защищать свою страну и город от вероломного нападения Германии. Случаи уклонения от мобилизации и нежелание идти в ополчение носили единичный характер.¹⁶

Документы партийных и правоохранительных органов почти не содержат свидетельств о каких-либо значительных негативных настроениях в связи с призывом в действующую армию, за исключением отдельных случаев проявления антисемитизма. Некоторые рабочие выражали радость по поводу призыва в армию лиц еврейского происхождения, «занимавших „теплые“ места на предприятиях (нормировщиков, кладовщиков и т. п.)». ¹⁷ Сообщалось также, что в некоторых учреждениях в начале июля отмечались проявления панических настроений среди части еврейского населения, что, вероятно, было связано в значительной степени с появлением в городе первых немецких листовок, носивших ярко выраженный антисемитский характер.

Хотя в июне–июле 1941 г. практически все мероприятия военных и партийных органов в Ленинграде находили положительный отклик у населения, а информаторы райкомов сообщали, что общее настроение рабочих было здоровое,¹⁸ в сводках о настроениях приводились примеры критики двойных отношений СССР и Германии. В частности, рабочие говорили, что «не надо было давать немцам хлеб и нефть», так как сами голодали и плохо подготовились к войне и, как следствие, оказались застигнутыми врасплох,¹⁹ что «зря кормили немцев — не русские люди нами управляют, а евреи, поэтому так и получилось». ²⁰ В конце июня появились первые слухи о том, что «Красной Армии воевать нечем», что на фронте дела плохи и «Гитлера не удержать», что сам Гитлер обладает рядом выдающихся качеств. ²¹ Основные тревоги женщин Ленинграда были связаны с эвакуацией детей, которая далеко не всегда проводилась организованно.

Чувства неизвестности и настороженности населения, отмеченные партинформаторами уже через две-три недели после начала войны, постепенно переросли в неуверенность. Ухудшение положения на фронте, введение карточек в середине июля 1941 г., отсутствие достоверной информации о развитии ситуации под Ленинградом и в целом в стране — все это способствовало распространению сомнений относительно способности власти защитить страну и отстоять Ленинград. Говоря о настроениях среди творческой интеллигенции, Э. Голлербах отметил, что никогда не бывает столько суесловия, как в период «массовой тревоги», что «у всякого свои „теории“, свои „гипотезы“». ²²

Появление в «Ленинградской правде» 12 июля 1941 г. статьи Н. Петрова «Воины Красной Армии в плен не сдаются», призванной подчеркнуть бескомпромиссность борьбы

с нацизмом («смерть или победа»), было также реакцией на слухи о неблагоприятии на фронте, подпитываемые как немецкой пропагандой, так и самими военнослужащими. В первой половине июля в городе получил распространение слух о том, что отступление Красной Армии связано с изменой маршала Тимошенко, «перешедшего к Гитлеру».²³ Вместе с тем среди части гражданского населения все еще сохранялась уверенность в превосходстве Красной Армии, особенно ее технической оснащенности. В городе распространялись слухи, что в боях за Псков и Остров наша авиация оказалась «куда лучше немецкой, а танки — не хуже».²⁴ Однако уже 30 июля информаторы одного из райкомов ВКП(б) Ленинграда отмечали, что «при призыве старших возрастов женщины вели себя особенно беспокойно».²⁵

В конце июля—начале августа напряжение в городе стремительно нарастало. Отсутствие вразумительной официальной информации о событиях на фронте привело к заметному ухудшению настроений и росту недоверия по отношению к власти. Июльские записи известной художницы А. Остроумовой-Лебедевой изобилуют констатациями, звучащими как упрек: «...мы иногда по целым дням ничего не знаем», «...мы ничего не знаем. Доходят всякие слухи. Не всему можно верить, а официального ничего не сообщают», «...от нас все скрывают». Настроение «у большинства» интеллигенции было тяжелое.²⁶ В создавшихся условиях информационный вакуум стремительно стал заполняться все новыми и новыми слухами,²⁷ носителями которых зачастую были беженцы, а также материалами немецкой пропаганды, главным образом листовок, которые уже в середине июля попали в город. Известный советский литературовед Ольга Фрейденберг²⁸ отмечала в первые месяцы войны, когда армия терпела одно поражение за другим, а сводки становились все скуднее и скуднее: «Голодной душе советского гражданина информбюро начало подносить формулы, почти гомеровские стоячие фразы, которые оставляли во рту вкус горечи и отвращения. Заработали слухи. Города оставались один за другим и слухами пробирались по всей России; была создана особая система вуалировать в сводках несчастье, но и своя система понимать и открывать эту вуаль... сводки-формулы привели к тому, что ими перестали интересоваться».²⁹

Достаточно быстро в городе стал распространяться антисемитизм, который вышел за рамки «кухонных разговоров» и записей в дневниках, а также отдельных высказываний в связи с мобилизацией. 5 августа 1941 г. на бюро Кировского РК ВКП(б) отмечалось, что «проверкой сигналов, поступивших в РК, установлены проявляющиеся в последнее время среди трудящихся фабрики „Равенство“ отдельные нездоровые антисемитские настроения вплоть до открытых выступлений некоторых работников».³⁰ Политорганизатор одного из домохозяйств Кировского района Орлов сообщал, что в августе 1941 г. в подведомственном ему доме «среди населения получили широкое распространение антисемитские настроения», источником которых была член ВКП (б) Родионова. Она рассказывала подросткам антисемитские анекдоты, под влиянием которых они «побили мальчика-еврея».³¹ Проблема антисемитизма стала вскоре настолько серьезной, что заставила Жданова высказаться по этому вопросу 20 августа 1941 г. на заседании ленинградского партактива, посвященном задачам ВКП(б) в связи с обороной города. В свойственной ему манере Жданов заявил, что «необходимо скрутить голову пятой колонне, которая пытается поднять ее, начинает шевелиться», что надо «решительно покончить с профашистской агитацией насчет евреев. Это конек врага: бей жидов, спасай Россию! Бей евреев и коммунистов!». Далее Жданов указал, что

обычными методами работы правоохранительных органов обойтись нельзя, что формальностям мирного времени не должно быть места, что надо действовать «по-революционному, по-военному, действовать без промедления».³²

На распространение антисемитизма в *общем* контексте ухудшения настроений в городе указывала и «Ленинградская правда». В передовой статье «Будем бдительны и беспощадны к врагу» содержался призыв «безжалостно разоблачать и сурово наказывать всех распространителей слухов, болтунов, трусов, маловеров, всех, сеющих панику, возбуждающих антисемитизм, всех, пытающихся подорвать монолитное единство трудящихся Ленинграда».³³

В специальном постановлении Кировского райкома ВКП(б) «Об антисоветских слухах, антисемитизме и мерах борьбы с ними», датированном 29 августа 1941 г., отмечались факты проявления антисемитизма среди рабочих Кировского завода, фабрики «Равенство», на ряде оборонных заводов, а также в домохозяйствах, а перед партийными и правоохранительными органами, включая НКВД, была поставлена задача «вести беспощадную борьбу с дезорганизаторами тыла, распространителями ложных слухов, агитаторами антисемитизма».³⁴

В конце августа 1941 г. настроения населения продолжали ухудшаться. Заведующий отделом пропаганды и агитации Кировского РК ВКП(б) вспоминал, что в домохозяйствах женщины открыто начали вести агитацию, заявляя, что «всем коммунистам скоро будет конец», что «с приходом немцев» они помогут уничтожить коммунистов.³⁵ По городу прокатилась очередная волна слухов. Широкое распространение получило мнение, что народ обманули, сказав, что есть запасы продовольствия на 10 лет. Появилось много очевидцев «фашистского рая» на оккупированной территории. «Часть этих очевидцев, — продолжал М. Протопопов, — просто изымали органы (НКВД)... Мы хорошо были осведомлены о том, что творится в домохозяйствах, наиболее отсталых мы убеждали».³⁶

В некоторых домохозяйствах были разбиты и выброшены бюсты Ленина и Сталина. Упаднические настроения получили некоторое распространение и среди коммунистов. В Кировский РК ВКП(б) обращались «несколько коммунистов» с просьбой изъять у них произведения Ленина и Сталина: «...придут, мол, немцы, и за такую литературу вешать будут».³⁷ Аналогичные факты засвидетельствованы Ленинским РК ВКП(б). Партийные функционеры сообщали, что «хоть и при закрытых дверях, но задавали вопросы о том, когда можно уничтожить партбилет, уничтожить ли книги Ленина и по истории партии, когда выдадут паспорта на другую фамилию, чтобы обеспечить переход на нелегальное положение».³⁸ Примечательно, что в сводках СПО УНКВД ЛО информации о развитии подобных настроений практически не имеется.

В конце августа пораженческие настроения под влиянием немецкой пропаганды приобрели вполне определенный характер — появились призывы к сдаче Ленинграда и превращения его в «открытый город». Так, инструктор по информации Дзержинского РК ВКП(б) 22 августа 1941 г. сообщил в горком партии о том, что в районе трижды расклеивались объявления, в которых содержались призывы к женщинам с целью спасения детей идти в Смольный и просить, чтобы Ленинград объявили «свободным городом».³⁹ Рабочие «Пролетарского завода» вспоминали, что «жизнь становилась хуже, немец подходил к Ленинграду, все наши пригороды были забраны, народ ходил панически настроенный, некоторые, да и большинство ждали его как Христа. Рабочие говорили, что придет немец и перевешает всех коммунистов».

Несмотря на все попытки исключить проникновение в город агитационных материалов противника, немецкие листовки читали и пересказывали их содержание знакомым. В этой связи характерно, что обращение к ленинградцам К. Ворошилова 21 августа не произвело ожидаемого эффекта, скорее, напротив, заронило еще большие сомнения в способности власти отстоять город. Наряду с этим в городе распространились слухи об обращении немецкого командования к горожанам оставаться дома и сохранять спокойствие. Ленинградцам обещали не бомбить город.⁴⁰ Наличие в городе значительного количества беженцев обусловило дополнительные трудности со снабжением города продовольствием. Действия властей, не предвидевших проблем, связанных с наплывом беженцев, вызывали у горожан сожаление и осуждение.⁴¹

Еще до начала блокады партийные информаторы сообщали о слухах относительно хорошего обращения немцев с жителями оккупированных районов. Были зафиксированы разговоры о том, что немецкие солдаты «покупают у населения яйца и кур», «хорошо относятся к пленным».⁴² Одна из работниц галошного завода со слов знакомой, бывшей на оккупированной территории, рассказывала о преимуществах жизни при немцах, а также об антисемитской пропаганде. Немецкие пропагандисты «показывают кино, как русские стоят в очереди, а евреи идут с заднего хода». Информатор одного из райкомов ВКП(б) подчеркивал, что в большинстве случаев источниками слухов, разговоров и нездоровых настроений были прибывающие в город с фронта и главным образом вышедшие из окружения.⁴³

В начале сентября в городе распространялось множество тревожных слухов, настроение у многих в связи с положением на фронте было подавленным. Военные выражали беспокойство о судьбе родных, оставшихся в городе, и «обо всем домашнем». В одном из дневников говорилось прямо о том, что «предвидится разруха, гибель и голод».⁴⁴ Некоторые скептически относились к военному обучению («берут одних инвалидов,⁴⁵ да и оружия для них нет»), а также целесообразности проведения оборонных работ («немец все равно обойдет»). В городе оказалось значительное количество немецких листовок. О. Фрейденберг признавалась, что «некоторые я сама читала»,⁴⁶ отмечая, что призывы сдаваться и начинать погромы («Бей жидов и комиссаров!») были лейтмотивом агитации противника.

Некогда большой интерес к международным событиям, который был характерен для настроений населения в довоенном Ленинграде, через два месяца войны практически полностью исчез, уступив место насущным вопросам борьбы за выживание. Ни альянс с Америкой, ни совместная операция с англичанами в Иране, должная убедить в искренности намерений союзников в совместной борьбе с Германией, не нашли соответствующего отклика у ленинградцев. По-прежнему по отношению к демократическим государствам доминировало недоверие.⁴⁷ Таким образом, на этом этапе войны внешний ресурс усиления борьбы с Германией не представлялся горожанам существенным. Союзники были далеко, в то время как события вокруг Ленинграда развивались стремительно. «...Кольцо все туже затягивается вокруг Ленинграда. Чувствуется большое напряжение... и среди коммунистов... Я не знаю, я могу ошибаться, но мне кажется, он [Ленинград] уже вполне окружен...», — пометила в своем дневнике А. Остроумова-Лебедева 1 сентября.⁴⁸ П. Лукницкий, работавший в то время в Ленинграде корреспондентом ТАСС, также отмечал, что «разговоры о разбомбленной, несколько раз занятой фашистами Мге по всему городу... Поскольку никаких официальных сообщений о том,

что происходит под стенами города пока нет, население, естественно, питается слухами... Но тот факт, что бои идут всюду за городом, что никакие дальние поезда не ходят и Ленинград не имеет железнодорожного сообщения с другими городами, представляется несомненным».⁴⁹

В конце августа–начале сентября 1941 г. ленинградское руководство оценивало ситуацию в городе как критическую. Готовясь к дальнейшему натиску со стороны противника, оно принимало меры к укреплению в городе порядка и общественной безопасности. Весьма показательной в этом отношении является передовая статья в «Ленинградской правде» от 2 сентября. В ней фактически говорилось о *возможности* беспорядков в городе и появлении новых видов асоциального поведения — мародерства, спекуляции и хулиганства. Уклонение от трудовой повинности стало уже настолько распространенным явлением, что редакция газеты сочла возможным и целесообразным публикацию материалов о привлечении трех женщин к уголовной ответственности.⁵⁰ 3 сентября 1941 г. передовая статья «Ленинградской правды» вновь была посвящена вопросу поддержания строжайшего революционного порядка и общественной безопасности. В очередной раз редакция газеты призвала всех выполнить «долг каждого советского патриота» — «разоблачать врагов, как бы хитро они ни маскировались». Далее, по-видимому, учитывая, что у населения понизился порог бдительности и оно стало весьма терпимо воспринимать носителей альтернативных официальным настроений, редакция подчеркнула, что «тот, кто *равнодушно* (курсив мой. — Н. Л.) относится к паникерам и распространителям слухов, не разоблачает и не пресекает предательских действий, тот создает угрозу общественной безопасности, тот делает тягчайшее преступление перед родиной».⁵¹

Таким образом, настроения населения Ленинграда в течение доблокадного периода менялись достаточно быстро в связи со стремительным развитием событий на фронте и приближением вермахта к городу, наличием в нем с августа значительного числа беженцев и дезертиров, а также весьма активной пропагандой противника.

На смену массовой лояльности горожан в начальный период войны у части ленинградцев пришли настроения, отличительной чертой которых были все большее беспокойство и подчас недовольство, в целом имевшее весьма аморфный характер. Широкий спектр гетерогенных настроений, существовавший до войны, выплеснулся наружу, включая критику довоенной внутренней и внешней политики. В условиях дефицита достоверной информации о положении на фронте все большее значение стала приобретать межличностная коммуникация, т. е. слухи. Они не только являлись источником информации о ситуации на подступах к Ленинграду и о причинах поражений, но и активным фактором формирования настроений, а соответственно поведения людей. Что же касается деятельности органов внутренних дел и госбезопасности в Ленинграде с момента нападения нацистской Германии на СССР до начала блокады, то она во многом исходила не из реально развивавшейся ситуации на «внутреннем» фронте, а из тех представлений об угрозах, которые сложились еще в довоенное время.

Несмотря на то что в силу множества факторов в Ленинграде в июле–августе 1941 г. широкое распространение приобрел антисемитизм, вызывавший озабоченность Смольного, органы внутренних дел и госбезопасности не относили борьбу с ним к приоритетным направлениям своей деятельности. По-прежнему в центре внимания оставалась работа среди лиц, находившихся на оперативном учете, в то время как новые угрозы безопасности в течение нескольких месяцев оставались без должного внимания.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Архив Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее — Архив УФСБ РФ по СПб. и ЛО). Ф. 8. Оп. 25. П.н. 18. Д. 257. Л. 171.

² Там же. П.н. 22. Д. 261. Л. 88 об.

³ Там же. П.н. 18. Д. 257. Л. 172.

⁴ Там же. Л. 204.

⁵ Там же. П.н. 16. Д. 250. Л. 33.

⁶ Там же. Л. 54.

⁷ 10 августа 1941 г. в соответствии с приказом НКВД фактически подтверждались функции первых специальных отделов НКВД, на которые наряду с другими возлагались задачи по ведению оперативного учета агентурно-осведомительной сети, агентурных дел, дел-формуляров, учетных дел, следственных дел и лиц, проходивших по делам, находившимся в разработке НКВД республик, УНКВД краев, областей и подчиненных им органов. Первые специальные отделы УНКВД также занимались статистической обработкой материалов оперативного учета и составлением периодических цифровых сведений о количестве и изменениях в составе агентурно-осведомительной сети, учете антисоветских элементов, выявленных агентурной разработкой, о количестве и движении следственных дел и арестованных и т. п. (Там же. П.н. 2. Д. 232. Л. 545).

⁸ Там же. П.н. 18. Д. 257. Л. 213.

⁹ В начале декабря 1941 г. были внесены некоторые изменения в последовательность изложения материала, содержание которого по-прежнему раскрывало четыре сюжета. Однако данные о вербовке новой агентуры приводились в завершении спецсообщений.

¹⁰ См.: Ленинградская правда. 1941. 1 июля; 6 июля; Большевик. 1941. № 14. С. 7–12; Пропаганда и агитация. 1942. № 14. С. 5–6, и др. По нашим подсчетам, за военные месяцы 1941 г. в «Ленинградской правде» было помещено более 150 статей, направленных на повышение бдительности и разоблачение пропаганды противника.

¹¹ Ленинградская правда. 1941. 3 июля.

¹² Архив УФСБ РФ по СПб. и ЛО. Ф. 18. Оп. 25. П.н. 18. Д. 257. Л. 217.

¹³ Там же.

¹⁴ Там же. Л. 219.

¹⁵ Там же. Л. 219–221.

¹⁶ ЦГАИПД СПб. Ф. 408. Оп. 2. Д. 377. Л. 86; об аналогичных патриотических настроениях в Москве см.: Barber J. Popular Reactions in Moscow to the German Invasion of June 22, 1941 // Soviet Union. 1991. 18. N. 1–3. P. 5–18.

¹⁷ ЦГАИПД СПб. Ф. 408. Оп. 2. Д. 377. Л. 86.

¹⁸ Там же. Ф. 4. Оп. 3. Д. 353. Л. 1–18.

¹⁹ Там же. Д. 350. л. 15.

²⁰ Там же. Ф. 408. Оп. 1. Д. 1115. Л. 31.

²¹ Там же. Л. 17; Д. 352. Л. 14; Д. 357. Л. 2–3.

²² Голоса из блокады: Ленинградские писатели в осажденном городе (1941–1944). СПб., 1996. С. 167.

²³ ЦГАИПД СПб. Ф. 415. Оп. 2. Д. 1124. Л. 22.

²⁴ Там же. Л. 21 об.

²⁵ Там же. Л. 22.

²⁶ Голоса из блокады. С. 169–170.

²⁷ Военный трибунал за распространение ложных слухов приговорил С. К. Дьячкова к 5 годам лишения свободы, а «бывшего активного меньшевика «А.» — к расстрелу (Ленинградская правда. 1941. 12 авг.).

²⁸ Ольга Михайловна Фрейденберг (1890–1955), двоюродная сестра Б. Л. Пастернака — разносторонний исследователь исторической поэтики, теории фольклора, ритуально-мифологических образов, античной литературы. Автор книг «Поэтика сюжета и жанра» (1936), «Миф и литература древности» (1978), многих статей.

²⁹ Фрейденберг О. М. Осада человека // Минувшее: Ист. альманах. № 3. М., 1991. С. 10.

³⁰ ЦГАИПД СПб. Ф. 417. Оп. 3. Д. 25. Л. 6–7.

³¹ Там же. Ф. 25. Оп. 10. Д. 324. Л. 16–16 об.

³² Ломагин Н. А. Настроения защитников и населения Ленинграда в период обороны города. 1941–1942 // Ленинградская эпопея: Организация обороны и население города. СПб., 1995. С. 211–212.

³³ Ленинградская правда. 1941. 23 авг. Днем раньше газета прямо указала на дезертирство как еще одну опасность, с которой необходимо

бороться. При этом важно подчеркнуть, что численно преобладавшая часть горожан, особенно молодежь, была по-прежнему настроена патриотически и буквально рвалась в бой. Высококвалифицированный рабочий А. Ф. Евдокимов, работавший на оборонном предприятии по брони, 22 августа выразил мнение многих своих сверстников, оставленных в тылу. В дневнике осталась запись: «Так дальше не могу. Уйду! Мои товарищи давно ушли на фронт... Настояю, чтобы быстрее отправили в действующую армию» (Гос. мемориальный музей блокады Ленинграда (ГММБЛ). Рукописно-документальный фонд. Д. 30. Оп. 1 р. Дневник Евдокимова Алексея Федоровича. 22 июня 1941 г. — 25 апреля 1944 г. Л. 66).

³⁴ Ломагин Н. А. Настроения защитников и населения Ленинграда в период обороны города. С. 212.

³⁵ ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 1380. Л. 4.

³⁶ Там же. Л. 16 об.

³⁷ Там же. Л. 17.

³⁸ Там же. д. 771. л. 4.

³⁹ Там же. Ф. 408. Оп. 2. Д. 39. Л. 7.

⁴⁰ Там же. Д. 1131. Л. 53 об.

⁴¹ «Наши коммерческие магазины, — писала А. Остроумова-Лебедева, — осаждаются огромным количеством народа, жаждущего купить хлеба. Хлеба! Это все беженцы... Жаль, не ожидали такого наплыва покупателей на хлеб

и потому не заготовили его достаточное количество, из-за чего около нас такие чудовищные очереди» (РНБ. Ф. 1015. Д. 1015. Л. 55).

⁴² ЦГАИПД СПб. Ф. 409. Оп. 2. Д. 294. Л. 97.

⁴³ Там же. л. 101.

⁴⁴ См., например, дневник красноармейца С. И. Кузнецова (Блокадные дневники и документы. СПб., 2004. С. 300–301).

⁴⁵ См., например, дневник красноармейца С. Ф. Путякова (Блокадные дневники и документы. С. 339).

⁴⁶ Немецкие листовки читали и преданные советской власти рабочие. Например, А. Ф. Евдокимов записал в дневнике, что «нацисты дали нам последний срок сдачи города. К 12 числу в случае отрицательного ответа они обещали стереть нас с лица земли. Сегодня и вчера фашисты сбросили листовки и снова требуют прекращения сопротивления. ... Врете гады! Нас не запугаете. Драться будем с тройной силой...» (ГММБЛ. Рукописно-документальный фонд. Д. 30. Оп. 1 р. Л. 67–68).

⁴⁷ А. Остроумова-Лебедева записала в своем дневнике: «Не очень я доверяю Англии! Придется за дружбу с нею тяжело расплачиваться» (РНБ. Ф. 1015. Д. 1015. Л. 61 об.).

⁴⁸ Там же. Л. 70.

⁴⁹ Лукницкий П. Сквозь всю блокаду. Л., 1964. С. 54.

⁵⁰ Ленинградская правда. 1941. 2 сент.

⁵¹ Там же. 3 сент.

В. А. Иванов

ВОЙНА И ЦЕНЗУРА (ФИЛЬТРАЦИЯ ЛОЗУНГА «О НЕРАЗРЫВНОЙ СВЯЗИ» ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА И ТЫЛА В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг.)

Не вызывает сомнений, что война придает контролю государства над обществом все черты глобальности. В тоталитарных системах, где без этой функции невозможно представить механизм государственного управления вообще, в чрезвычайных условиях войны по-особенному проявляется его способность к охранительному позиционированию.

Из содержательной части важнейших партийно-правительственных решений первых дней войны нетрудно заметить, с какой неприкрытой тревогой советское военно-

политическое руководство заявляло о необходимости решительного предотвращения внутренних угроз самой сути управления как военной машиной государства, так и общественными процессами внутри него.¹

Для властей всех уровней советское общество периода войны оказалось «великим незнакомцем» как в части героико-патриотической, так и оппозиционно-сопротивленческой. В обстановке военных действий контроль за умонастроениями армии и общества приобретал первостепенное значение. Его усиление связывалось прежде всего с организацией перлюстрации фронтовой и тыловой корреспонденции и постоянного прослушивания телефонных переговоров на международных, военных и гражданских линиях.

При этом придание политической окраски с ярко выраженной оперативно-розыскной направленностью обычной процедуре цензурирования всякого рода переписки признавалось как в центре, так и на местах самым необходимым и наиболее приемлемым решением.² Тем более что положение на Ленинградском фронте практически до весны 1944 г. оставалось крайне напряженным, а его командованию приходилось дополнительно решать неотложные задачи блокированного на длительный срок города.

В связи с военной обстановкой в сложившейся схеме контроля за всеми видами почтово-телеграфной корреспонденции и международной связи произошли существенные изменения. Их нормативно-правовые основания проистекали из вышедшего 26 июня 1941 г. приказа народного комиссара Государственной безопасности СССР В. Меркулова «О порядке осуществления политического контроля над всеми видами почто-телеграфной корреспонденции и международной связи СССР».³

Особое внимание в этом «строго секретном» документе обращалось на новый порядок организации военной цензуры, функции которой заметно расширились. Так, после создания на военное время военно-почтовых баз (ВПБ) и военно-сортировочных пунктов (ВСП) в действующих армиях и фронтах функции контроля воинской переписки с конца июня 1941 г. передавались 3-м отделам НКО и НКВМФ, которые были обязаны организовать при названных базах контрольные пункты (КП).

Таким образом, 4-е отделы НКГБ СССР, союзных и автономных республик, управления НКГБ краев и областей освобождались от осуществления прямого политического контроля всей почтовой корреспонденции, входящей и исходящей из РККА. Начальникам этих подразделений предписывалось в короткие сроки оказать эффективную помощь в формировании и организации контрольных пунктов при ВПБ и ВСП.

В принципе сама процедура создания названных контрольных пунктов не была какой-то неожиданной и трудоемкой задачей для большинства территориальных и армейских органов госбезопасности. К примеру, Ленинградское УНКВД еще в начале 1940 г., выполняя приказы НКВД СССР № 0017, 0074 и 0077, проделало большую организационно-методическую работу по цензурированию воинской корреспонденции.⁴ Во многом этому способствовала обстановка советско-финской войны. Тогда для реализации приказа НКВД СССР от 14 января 1940 г. при 2-м Спецотделе УНКВД ЛО было создано отделение цензуры исходящей корреспонденции из действующих частей РККА и ВМФ и определены задачи по ее обработке, проходящей через ВПБ Мурманска, Петрозаводска, Карельского перешейка и Ленинградский почтово-сортировочный пункт.⁵ Позже, в начале мая 1941 г. циркуляром НКГБ СССР № 17 «По обслуживанию лагерных сборов частей Красной Армии аппаратом „ПК”» уточнялись отдельные вопросы организации взаимодействия территориальных и армейских подразделений госбезопасности в особых условиях.⁶

К тому же 2 июня 1941 г. «в целях усиления военной цензуры в СССР ... и перевода цензуры на военный лад» учреждалась должность главного военного цензора при СНК СССР и утверждалось Положение о нем.⁷ Ему и его органам предоставлялось право не только воспрещать распространение сведений, разглашающих военные и прочие (экономические, политические и др.) тайны, а также «сообщения, взгляды и идеи, направленные против социалистического строя в СССР, ВКП(б), Советского правительства, Сталинской Конституции (основного закона) и основ марксизма-ленинизма», но и осуществлять просмотр всех почтовых отправок.⁸

Здесь речь шла не о специальных подразделениях 4-х отделов НКГБ СССР, осуществляющих до 26 июня 1941 г. контроль воинской корреспонденции, а об усилении аппарата военного цензора во всей структуре цензуры в СССР в этот период, придание ей функций «политического контроля» в чрезвычайных обстоятельствах. Поэтому уже 7 июля 1941 г. в приказе НКГБ СССР В. Меркулова «О введении военной цензуры в областях, объявленных на военном положении», говорилось о необходимости оперативного перевода территориальных подразделений органов госбезопасности, ведущих цензорский контроль, на выполнение заданий по «политическому контролю» всей внутренней корреспонденции.⁹

Что же касается органов цензуры, непосредственно ведущих контроль за корреспонденцией воинских частей действующих армий и органов, а также тыловых военных округов, то вышедшие 6 июля 1941 г. постановление ГКО и приказ НКО СССР от 13 июля 1941 г. вполне определенно классифицировали сведения, составляющие военную тайну, переписка по поводу которых тянулась еще с конца 1930-х гг.¹⁰ Например, в Наркомате обороны количество позиций таких сведений постоянно возрастало. Если в начале 1938 г. к сведениям, составляющим военную тайну, в НКО относили чуть более 10 позиций, то в условиях начавшейся войны — уже свыше 20.

Их анализ позволяет заключить, что фактически ни одна из деталей фронтового, армейского события (бои, сражения, операции и т. п.) и армейского быта (питание, здоровье и др.) не могла так или иначе не касаться того, что было установлено считать «военной тайной». Поэтому можно достаточно утвердительно заключить, что тыл страны не только в начальной, но и последующие периоды войны был закрыт от фронта в информационном плане весьма надежно. И в первую очередь посредством тотальной и тщательной перлюстрации всякого рода воинской корреспонденции (писем, телеграмм, бандеролей, посылок и т. п.).

К осени 1941 г. в силу увеличившегося потока корреспонденции и заметного отставания военно-цензорской работы от установленных нормативов не столько общего, сколько «политического» контроля было принято решение о создании при армейских ВПБ специальных отделений военной цензуры. В начале сентября такое отделение было сформировано при Ленинградской военно-почтовой базе — литер «АО».¹¹ Планировалось заметно улучшить «фильтрацию» корреспонденции на линии «фронт-тыл» и более предметно выстраивать схемы взаимодействия органов военной контрразведки и территориальных подразделений НКГБ.

Между тем к началу сентября 1942 г. в центральном аппарате НКВД сложилось устойчивое мнение о неудовлетворительном руководстве цензорской работой в войсках со стороны армейских служб контрразведки (3-и отделы — Особые отделы). Еще ранее, в июне 1941 г. такое опасение высказывал начальник 4-го отдела НКГБ СССР старший

майор госбезопасности Е. Лапшин, обеспокоенный в первую очередь их слабым кадровым составом, не умеющим работать в системе военной цензуры.¹² Хотя в сентябре Наркомат внутренних дел распространил свой циркуляр № 386 «О неудовлетворительной работе органов военной Цензуры и указания о дальнейшем улучшении работы и мерах к исправлению отмеченных недостатков», в котором пытался заметно «политизировать» процедуру цензурирования, тем не менее в действующей армии мало что изменилось.¹³

Как подчеркивалось в этом документе, «из многочисленных и разрозненных сведений, полученных в результате обработки исходящей корреспонденции из действующих армий..., не прослеживается общей политической линии..., общей тенденции в настроениях всех армейских структур».¹⁴ Другими словами, в длительной полосе военных неудач 1941–1942 гг. советское военно-политическое руководство пыталось через органы военной цензуры уловить устойчивые признаки сопротивления существующему режиму, найти гнезда тайного заговора в армии, понять, как работает механизм взаимодействия фронта и тыла в чрезвычайных обстоятельствах и как оперативно вскрывается, обрабатывается и доносится информация об этом и т. д.

Фактически с июня 1941 г. и весь 1942 г. органы военной цензуры решали, если можно так выразиться, «заградительные» задачи, фильтруя военную корреспонденцию и не проводя сколько-нибудь заметных оперативных комбинаций совместно с органами НКВД. В приказе НКВД СССР от 27 сентября 1942 г. «О мероприятиях по улучшению работы Военной цензуры» прямо говорилось о том, что цензорские подразделения, руководимые 3-ми отделами НКО, оказались не на высоте положения.¹⁵

К примеру, в Ленинграде органы военной цензуры упрекались и в том, что не смогли из общего характера контролируемой войсковой корреспонденции своевременно уловить тенденцию в действующих частях к массовому переходу целых подразделений на сторону врага и т. п. Так, если за период с 15 сентября по 27 октября 1941 г. по частям Ленинградского фронта безнаказанно перешло на сторону противника 268 человек, то только за ноябрь 1941 г. — 622 человека, в том числе в составе взводов и рот.¹⁶ Эта тенденция чуть в меньшем объеме проявилась и в 1942 г.

Передача в октябре 1942 г. отделений военной цензуры при армиях Особым отделам НКВД ознаменовала окончание процесса неопределенности в истинном предназначении органов военной цензуры в общей системе политического контроля над советским обществом в условиях войны. 25 октября этого же года отделения военной цензуры 8-й, 23-й, 42-й, 54-й, 55-й армий Ленинградского фронта, Ленинградского гарнизона и окрестного госпиталя были переданы в ведение Особых отделов НКВД СССР.¹⁷ С апреля 1943 г. общее руководство деятельностью армейских отделений и пунктов военной цензуры переходит в НКВД СССР через организованный на базе одного из отделений 2-го спецотдела НКВД СССР отдел «В» НКВД СССР под началом В. Смородинского.¹⁸ Позже, в мае 1944 г. все воинские отделения, ранее входящие в отдел «В», обслуживающий Ленинград и фронт, были переданы во фронтовой отдел военной цензуры НКГБ СССР при Ленинградском фронте в связи с его реорганизацией.¹⁹

Корреспонденция, идущая из тыловых районов на фронт, а это в основном личная переписка, в соответствии с приказом НКГБ СССР от 26 июня 1941 г. контролировалась исключительно 4-м отделом НКГБ СССР и его местными органами (отделениями и их пунктами). Введенная этим же приказом инструкция делила пункты «ПК» на три категории, отличающиеся друг от друга объемом выполняемых работ. Так, пункты «ПК»

г. Ленинграда относились к первой категории. В них осуществлялись все виды контроля почтово-телеграфной корреспонденции, как внутренней, так и международной. Соответствующим был и штат пунктов. К примеру, пункты «ПК» третьей категории (со штатом менее 3 человек) осуществляли только отборку корреспонденции по оперативным заданиям.

Основные правила чистки предусматривали подготовку специальных меморандумов, которые сводились в тематические спецсообщения. В свою очередь тематические сообщения должны были носить обобщающий, а не частный (сюжетный) характер и отражать такие проблемы, как переписка подучетного элемента с границей, отношение различных групп населения к событиям на фронте и внутри страны, политико-моральное состояние военнослужащих, работников тыла, перебои в отраслях народного хозяйства, происшествия и др. Определялся порядок и условия конфискации писем и других посланий. Описывались возможные приемы тайнописи, иные маскирующие тайнопись признаки и т. п. В пунктах 1-й категории создавались группы контроля за внутренней корреспонденцией, в обязанности сотрудников которых, помимо чистки и оперативной обработки документов, входил просмотр их по почеркам с целью обнаружения авторов контрреволюционных анонимок.²⁰

Некоторые исследователи, в том числе и автор, предпочитали более тщательный анализ исходящей с фронтов корреспонденции, надеясь понять истинное положение на них и масштабы «фильтрации» негативной информации (с точки зрения властей).²¹ Но общие итоги работы территориальных подразделений цензуры, которые вплоть до 10 ноября 1945 г. находились в системе военной цензуры,²² могут существенно расширить представления о специфике проявления большевистского лозунга о неразрывной связи фронта и тыла и др.

Безусловно, судьба советского государства решалась прежде всего на фронтах, в военных сражениях и операциях. Поэтому укрепление органов военной цензуры действующих армий и фронтов признавалось военно-политическим руководством приоритетным. Соответственно требовались и конкретные результаты.

Объемы проведенных мероприятий по контролю за исходящей воинской корреспонденцией на Ленинградском фронте, особенно в 1941–1942 гг., были действительно впечатляющими. Так, только с 22 июля по 6 августа 1941 г. военной цензурой Северного (с 23 августа — Ленинградского) фронта было подвергнуто обработке свыше 540 тыс. единиц корреспонденции. Не меньше работали с ней и в 1942 г. К примеру, за первые четыре дня февраля органы военной цензуры Ленинградского фронта обработали более 124 тыс. различных документов, а за семь последующих еще почти 257,5 тыс. единиц. За двадцать четыре дня марта 1942 г. им удалось пропустить через себя около 826 тыс. писем и телеграмм.²³

Нетрудно заметить, что увеличение отправок писем и открыток с фронта происходило накануне и в ходе крупных сражений и боев. Больше всего отмечалось и их изъятий в этот период. При этом неудачи боев незамедлительно отражались в содержании посланий бойцов и командиров и заметно увеличивали число изъятых посланий. В этом плане весьма характерна ситуация на Северо-Западном участке советско-германского фронта, связанная с попытками советских войск снять блокаду Ленинграда.

Мало кто из исследователей истории Великой Отечественной войны не высказывал предположения, что широко задуманная стратегическая операция по полному снятию блокады Ленинграда в начале 1942 г. и разгрому группы армий «Север» была обречена

на провал, еще не начавшись.²⁴ Предпринятые удары советских войск на всем Северо-Западном направлении, явившиеся составной частью общего наступления Красной Армии зимой 1941/42 г., оказались незавершенными. Немецкая группа армий «Север» не была разгромлена, а Ленинград продолжал оставаться в блокаде.²⁵

Неудача очередной попытки изменить положение блокированного города, огромные потери в войсках и среди гражданских лиц, а также решение ГКО о массовой эвакуации населения из Ленинграда вызвали в частях Ленинградского фронта рост недовольства, дезертирства и перехода целых подразделений на сторону противника. Резко возросло число писем военнослужащих, содержащих отрицательные сообщения и характеризующих общую обстановку безнадежности и отчаяния.

Если в период стабилизации обстановки на фронте показатели отрицательных изъятий едва превышали один процент, то в условиях боев в январе–феврале 1942 г. они увеличились в три раза. Эта зависимость наблюдалась и позже. Так, обработка 1.2 млн единиц корреспонденций в армиях Ленинградского фронта с 11 февраля по 31 марта 1942 г. зафиксировала более 39.2 тыс. (3.2%) отрицательных сообщений, тогда как в период относительного затишья в конце 1942 г. было отмечено около 10 тыс. отрицательных изъятий (1.5%).

Сообщения, сводки и спецсообщения о работе военной цензуры, составленные на основе меморандумов, готовились не только для оперативных подразделений органов НКВД–НКГБ, но в первую очередь для командования армий и фронта. В условиях Ленинграда и для его непосредственного руководства — А. Жданова и А. Кузнецова.

Можно утверждать, что взаимосвязь между умонастроениями на фронте и в тылу была более тесной, чем об этом думали ранее. Скорее всего, в этот период посредством военной цензуры наиболее адекватно осуществлялся контроль за состоянием умов как в армии, так и в тылу страны. Без преувеличения можно полагать, что это было возможно лишь при придании цензорской работе всех черт аналитической деятельности.

Тщательный анализ доступных для исследователей сообщений о работе военной цензуры при армиях Ленинградского фронта за период с июля 1941 г. по январь 1943 г. показал, что до лета 1942 г. основательная аналитика практически подменялась изъятиями при чтении писем военнослужащих фрагментами, не подлежащими, как полагали цензоры, для ознакомления адресатов. Например, военнослужащий А. Шуров в феврале 1942 г. писал своей сестре И. Чупаловой в Чкаловскую область следующие (изъятые) строки «Не знаю сестра, уцелею я или нет, уже стал пухнуть и много убивают наших красноармейцев немцы. Когда мы идем в наступление нами не дорожат, который не убит, а ранен, истекает кровью, на морозе, на холоде и умирает. Людей убитых горы, ходим через них, падаем, никто нами не дорожит...».²⁶

Лишь к началу 1943 г. в спецсообщениях о работе органов военной цензуры Ленинградского фронта стали появляться сведения, наиболее полно раскрывающие причинный комплекс некоторых негативных проявлений в действующих частях и в тыловых районах страны. Сообщения стали носить более содержательный характер и отражать практически все реалии фронтовой и тыловой повседневности. Благодаря этому улучшилась организация взаимодействия между различными органами военного, политического и народнохозяйственного управления.

Но в то же время сама система цензурирования в условиях войны тяготела к «политизации» процесса контроля, поиску элементов сопротивления существующему

режиму и т. п. Фактически за все годы Великой Отечественной войны, в частности на Ленинградском фронте, не было подготовлено ни одного сообщения органов военной цензуры, равно как и соответствующих территориальных подразделений, содержащего серьезные обобщения, раскрывающие проблемы укрепления действительно необходимой «неразрывной связи фронта и тыла» в интересах победы.

Факты свидетельствуют, что этот лозунг подвергся фильтрации совсем не случайно. Для властей, особенно высшего эшелона, советское общество периода войны стало еще и «непредсказуемым незнакомцем», возможно пожелавшим изменить некоторые векторы своего движения. В этих условиях превращение цензуры в рычаг управления, властвования и принуждения рассматривалось ими как самый эффективный путь.

Видимо, истина заключается в том, что цензура (ее содержание и направленность) в условиях войны нужна была постольку, поскольку «понятным» для властей являлось само воюющее с врагом общество. В сущности, величайшим его цензором в прошедшей войне выступило не государство, не носители власти, а сложный и противоречивый общественный дух, реальная и опосредованная сопричастность подавляющего большинства его граждан к общему делу Победы.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Имеется в виду Указ ПВС Союза ССР «О военном положении» от 22 июня 1941 г.; директива ЦК ВКП(б) и СНК СССР партийным и советским организациям прифронтовых областей от 29 июня 1941 г.; постановление ПВС Союза ССР, СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об образовании Государственного Комитета Обороны (ГКО)» от 30 июня 1941 г. и др.

² Горяева Т. М. Политическая цензура в СССР. 1917–1991 гг. М., 2002. С. 277.

³ Служба регистрации архивных фондов Управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее — СРАФ УФСБ РФ по СПб. и области). Ф. 8. Оп. 25. П. 7. Л. 369–371.

⁴ Там же. Ф. 8. Оп. 3. П. 273. Л. 36; Отдел специальных фондов Информационного центра ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее — ОСФ ИЦ ГУВД СПб. и области). Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 66. Л. 24–26, 61, 62.

⁵ Эти мероприятия были осуществлены по приказу Управления НКВД ЛО от 15 января 1941 г. «О введении цензуры на все виды почто-телеграфной входящей и исходящей корреспонденции действующих частей Красной Армии и Военно-Морского Флота и осуществлении цензуры над международной и почто-телеграфной корреспонденцией».

⁶ СРАФ УФСБ РФ по СПб. и области. Ф. 8. Оп. 3. П. 245. Л. 40.

⁷ Горяева Т. М. Политическая цензура в СССР. С. 276.

⁸ Цензура в Советском Союзе. 1917–1991: Документы / Сост. А. В. Блюм. М., 2004. С. 314–315.

⁹ СРАФ УФСБ РФ по СПб. и области. Ф. 8. Оп. 39. П. 241. Л. 392.

¹⁰ Иванов В. А. Механизм массовых репрессий в Советской России в конце 20-х — 40-х гг.: (По материалам Северо-Запада РСФСР). Дис. ... д-ра ист. наук. СПб., 1998. Л. 394.

¹¹ СРАФ УФСБ РФ по СПб. и области. Ф. 8. Оп. 39. П. 258. Л. 357.

¹² Иванов В. А. Органы государственной безопасности и массовые репрессии на Северо-Западе в 30–50-е годы: (Историко-правовой обзор репрессивной документалистики). СПб., 1996. С. 49.

¹³ О неудовлетворительном состоянии этой работы говорилось в приказе НКВД СССР от 27 сентября 1942 г. «О мерах по улучшению работы Военной Цензуры».

¹⁴ СРАФ УФСБ РФ по СПб. и области. Ф. 8. Оп. 39. П. 272. Л. 589.

¹⁵ Там же. Л. 589 об.; Приказ НКВД СССР от 13 июля 1942 г. «О введении военной Цен-

зуры во всех областях, краях и республиках Союза ССР», в частности, хотя и косвенно, характеризовал общее положение с руководством 3-ми отделами НКВД работой органов военной цензуры.

¹⁶ Отдел регистрации архивных фондов Управления ФСБ РФ по Омской области (далее — ОРАФ УФСБ РФ по Омской обл.). Ф. 40. Оп. 14а. П. 10. Л. 61, 69, 70, 71, 189, 192, 198, 199.

¹⁷ СРАФ УФСБ РФ по СПб. и области. Ф. 8. Оп. 39. П. 281. Л. 255.

¹⁸ Реорганизация и создание Отдела «В» НКВД СССР осуществлялась в соответствии с приказом НКВД СССР от 7 июня 1943 г. «С объявлением “Положения об отделе «В» НКВД СССР”». В изд.: Лубянка: Органы ВЧК—ОГПУ—НКВД—НКГБ—МГБ—МВБ—КГБ. 1917–1991. Справочник / Под ред. акад. А. Н. Яковлева. М., 2003 — подробно характеризуются этапы организационного укрепления НКВД СССР после решения Политбюро ЦК ВКП(б) № П40/91 от 14 апреля 1943 г., но ничего не говорится об упомянутом выше приказе НКВД от 7 июня.

¹⁹ ОСФ ИЦ ГУВД СПб. и области. Арх. № 146/5. Л. 2.

²⁰ СРАФ УФСБ РФ по СПб. и области. Ф. 8. Оп. 25. П. 7. Л. 381.

²¹ Иванов В. А. Миссия Ордена: Механизм массовых репрессий в Советской России в конце 20-х — 40-х гг.: (На материалах Северо-

Запада РСФСР). СПб., 1997. С. 281–285; Горяева Т. М. Политическая цензура в СССР. С. 276–288 и др.

²² В соответствии с постановлением СНК Союза ССР от 10 ноября 1945 г. «Об изменениях в системе Военной Цензуры почто-телеграфной корреспонденции» с 1 января 1946 г. отменялось официальное цензурирование международной и внутрисоюзной почтово-телеграфной переписки гражданского населения.

²³ Иванов В. А. Миссия Ордена. С. 284.

²⁴ Ленинград в борьбе месяц за месяцем 1941–1944 / Ассоциация историков блокады и битва за Ленинград в годы Второй мировой войны; Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. СПб., 1994. С. 93; Ленинградская эпопея: Организация обороны и население города. СПб., 1995. С. 32; Фролов М. И. Салют и реквием: Героизм и трагедия ленинградцев 1941–1944 гг. СПб., 2003. С. 82 и др.

²⁵ Непокоренный Ленинград. 2-е изд., доп. Л., 1973. С. 256; Тиннелскирх К. История второй мировой войны / Пер. с нем. М., 1956. С. 205–206 и др.

²⁶ ОРАФ УФСБ РФ по Омской обл. Ф. 40. Оп. 14а. П. 11. Л. 104.

V. РОССИЯ И ВНЕШНИЙ МИР

В. В. Носков

ЧАРЛЗ ЭМОРИ СМИТ — ПОСЛАННИК ДОБРОЙ ВОЛИ

В длинном ряду дипломатических представителей США в России совершенно уникальное место занимает посланник Чарлз Эмори Смит. А связано это с его активным и далеко не формальным участием в движении помощи жертвам катастрофического голода 1891–1892 гг. Ч. Э. Смит родился 18 февраля 1842 г. в г. Мэнсфилд (Коннектикут), в старинной новоанглийской семье, глава которой занимался производством шелка. В 1849 г. семья переехала в столицу штата Нью-Йорк г. Олбани. В период Гражданской войны Ч. Э. Смит начал успешную журналистскую карьеру в местной республиканской прессе, всемерно способствовал укреплению позиций партии в своем штате, в 1876 г. стал одним из основных авторов национальной программы республиканской партии. С 1880 г. он возглавлял редакцию влиятельной филадельфийской газеты «Press», на этом посту внес большой вклад в развитие партийной прессы в Пенсильвании и общее укрепление позиций республиканцев в стране. После их возвращения к власти в 1889 г. новый президент Б. Гаррисон за большие заслуги перед партией вознаградил Ч. Э. Смита дипломатическим постом. 14 февраля 1890 г. он был назначен посланником в России и 2/14 мая аккредитован при российском дворе.

Первой серьезной проблемой, с которой Ч. Э. Смит пришлось столкнуться в С.-Петербурге, стало ухудшение положения еврейского населения России, что стимулировало его быстро растущую эмиграцию за океан. Однако попытки посланника США воздействовать на ситуацию с целью уменьшения нежелательной для его страны иммиграции не принесли результатов. Более того, в начале 1891 г. император поручил министру иностранных дел Н. К. Гирсу в вежливой форме показать американскому дипломату неуместность его вмешательства в эту деликатную сферу. Советник министра В. Н. Ламздорф отмечал в своем дневнике 7 марта 1891 г.: «В среду на прошлой неделе американский посланник передал г. Гирсу своего рода резолюцию американских палат, запрашивающих, какие еще меры приняты в России против евреев. Министр, который не очень силен в английском языке, не сразу понял, в чем дело. В резолюции говорится, что если присутствие евреев нам неприятно, то массовая их эмиграция в Соединенные Штаты последним тоже не по вкусу. Я посоветовал министру немедленно возвратить эту бумагу американскому представителю, не давая никакого ответа, что и было сделано, но копия этого документа была вчера представлена государю; его величество вернул его с пометой: „Дело сводится к тому же, как и в Англии, т. е. боязни наводнения их страны еврейским пролетариатом”».¹ Проблема начала обостряться с весны 1891 г.,

когда выезд эмигрантов-евреев заметно увеличился. «С этого времени он превратился в растущий и устойчивый поток; и для нас становится вопросом особой важности, можно ли повлиять и видоизменить это движение и причины, вызывающее его», — докладывал Ч. Э. Смит госсекретарю Дж. Г. Блэну 8/20 октября 1891 г.² Летом того же года правительство США направило в Россию специальную комиссию для определения причин еврейской эмиграции из России, которая в результате своих изысканий пришла к выводу, что основная причина крылась в политике российских властей. К сходному заключению приходил и посланник, который указывал на ужесточение законодательства, регламентировавшего положение евреев в Российской империи. Однако ему не удалось добиться каких-либо успехов на этом направлении.

Тем не менее Ч. Э. Смиту было суждено занять особое место в истории русско-американских отношений благодаря той выдающейся роли, которую он сыграл в организации помощи жертвам голода, разразившегося в России в том же году. Первые признаки голода проявились летом 1891 г., однако долгое время заинтересованным лицам из числа бюрократов и хлебных экспортеров удавалось скрывать его масштабы. Под влиянием неопределенной и противоречивой информации американский посланник поначалу не стал спешить с выводами. Помимо того, Ч. Э. Смит ясно видел нежелание российских властей принять иностранную помощь. Впервые на серьезность ситуации он указал в своем донесении Госдепартаменту 10/22 октября 1891 г. Со ссылкой на «*Journal de St. Petersburg*» посланник сообщал, что голод охватил территорию в самом сердце России с населением в 20 млн человек, из которых около 14 млн нуждались в помощи. Ее масштабы он оценивал более чем в 25 млн долларов (примерно 50 млн р.).³ Американский дипломат подчеркнул, что неурожай 1891 г. не сводится к временным трудностям, а ставит под угрозу возможность засеять необходимые площади в течение нескольких последующих лет. Он указывал также, что власти были вовремя извещены о происходящем и имели возможность своевременно прийти на помощь страждущим.⁴ В российских портах, сообщал Ч. Э. Смит, скопились значительные запасы предназначенного на экспорт зерна, которые можно было перенаправить на помощь голодающим. К декабрю, после бесед с пастором британско-американской церкви в С.-Петербурге Александром Фрэнсисом, который посетил охваченные бедствием районы, посланник убедился в необходимости немедленных действий для спасения их населения. 24 декабря 1891 г. в «*New York Tribune*» была опубликована его первая статья о голоде в России, а в письме к издателю «*New York Times*» Ч. С. Смит он подчеркнул «крайнюю серьезность ситуации».⁵

В этот момент в конгресс США поступило обращение президента Американского Красного Креста Клары Бартон с призывом оказать помощь голодающим, вслед за которым «опубликовано было официальное донесение американского посланника в Петербурге, мистера Эмори Смита, о положении дел в голодном районе России. Этого было достаточно: везде закипела деятельность».⁶ С конца 1891 г. в адрес Ч. Э. Смита начали поступать денежные переводы от американских граждан. 29 ноября 1891 г. к посланнику обратился губернатор штата Миннесота, где зародилось массовое движение помощи голодающим, с просьбой оказать содействие в переговорах с российскими властями относительно поставок американского зерна. Ч. Э. Смит немедленно начал неофициальные переговоры с Н. К. Гирсом, который ставил решение в зависимость от позиции Министерства внутренних дел России. В донесении госсекретарю об итогах

состоявшегося обмена мнениями американский дипломат сообщал, что правительство России ни в коем случае не обратится за поддержкой к иностранному государству, но дало понять, что помощь со стороны «дружественного народа», оказанная частным образом, будет с благодарностью принята.⁷

«Важно понять прежде всего, — убеждал Ч. Э. Смит госсекретаря, — что большая часть крестьян не имеет никаких средств к существованию и полностью зависит от ежегодного урожая», который «является фундаментом всей экономической структуры». Зимой, продолжал он, крестьяне в массе своей не имеют дополнительных заработков, а бескормица привела к массовому забою домашнего скота. Хорошая одежда у многих ушла в обмен на хлеб, поэтому люди страдали от холода не меньше, чем от голода. Указав на слабое развитие транспорта в голодающих областях, американский посланник видел главную проблему в том, чтобы завести туда необходимое количество продовольствия в ближайшие два-три месяца, пока действовали зимние дороги. «Время, поэтому, — заключал он, — является наиболее важным фактором в деле помощи, и каждая неделя теперь на счету».⁸

3/15 января 1892 г. Смит писал секретарю комитета помощи русским голодающим штата Айова Б. Ф. Тиллингхасту: «Вы спрашиваете о размерах голода, о численности населения голодающих районов и о времени сбора нового урожая. Урожай не убирают раньше июля. До этого времени пораженные голодом районы должны поддерживаться извне. Они занимают территорию, равную всему Северо-Западу США от штата Огайо до западных границ Канзаса и Небраски. На этой территории проживает 30 миллионов человек, можно сказать, что большая половина этого населения осталась абсолютно без средств существования и полностью зависит от помощи извне. Трудно представить всю глубину страданий этих людей и подобрать достаточно сильные слова, чтобы описать трагизм ситуации. Если бы жители штата Айова смогли услышать леденящие душу рассказы очевидцев, которые доходили до меня в последние недели, они бы укрепились в своем благородном желании сделать все зависящее от них, дабы облегчить страдания этих людей. Движение помощи Вашего штата, так же как и филантропические движения, начатые в других штатах, известны в этой стране и вызывают ответное чувство огромной благодарности».⁹

Уже получив разрешение на возвращение в США, Ч. Э. Смит оставался в С.-Петербурге, чтобы оказать содействие в распределении американской помощи, которая направлялась в Россию. Узнав об отправке из Филадельфии первого «хлебного парохода» он телеграфировал госсекретарю 8/20 февраля 1892 г.: «Пароход „Индиана” будет по прибытии встречен американским генеральным консулом и другими. Будут сделаны все необходимые распоряжения по скорейшему распределению груза таким образом, как могли бы распорядиться жертвователи. Желательно заранее знать объем груза. Могу заверить в честном, добросовестном распределении всех американских даров в соответствии с тем, как пожелают дарители».¹⁰ Четыре дня спустя посланник докладывал: «Приму меры для быстрой разгрузки „Индианы” и бесплатной доставки грузов в голодающий регион. Российские власти готовы оказать всяческое содействие. Я могу заранее договориться через заслуживающие доверия организации, с одобрения правительства, о распределении грузов в наиболее нуждающихся районах; план подлежит санкции американского агента по прибытии. Это сэкономит много времени. Пожалуйста, сообщите филадельфийскому комитету и попросите их одобрить это и известить меня

как можно скорее, для кого предназначен пароход, об объеме и характере груза». «Организация по распределению американских пожертвований тщательно совершенствуется. Провожу ежедневные совещания по этому вопросу и остаюсь здесь до конца марта», — добавлял посланник.¹¹ 14/26 февраля Ч. Э. Смит известил Госдепартамент о своей договоренности с британско-американской церковью в С.-Петербурге относительно совместных действий по распределению американской помощи в голодающих регионах. Их план, заверял он, позволит сохранить контроль над распределением продовольствия в руках американцев и при этом не вызовет возражений со стороны российских властей.¹²

Помимо того, сотрудники дипломатической миссии США приняли участие в подготовке благотворительного альбома «Голодному на хлеб», изданного редакцией газеты «Русская жизнь». В альбоме было собрано около полутора ста автографов известных российских и иностранных поэтов, писателей, композиторов, художников, ученых, государственных и общественных деятелей, включая стихи «августейшего поэта» Константина Константиновича и королевы румынской Елизаветы, Д. С. Мережковского и А. А. Фета, заметки В. Г. Короленко и Н. С. Лескова, нотные наброски П. И. Чайковского и Ц. А. Кюи, рисунки И. К. Айвазовского и В. В. Верещагина. Свои автографы оставили и американские дипломаты: сам посланник, секретарь миссии Джордж У. Вертс, военный атташе лейтенант Генри Тэриман Аллен, генеральный консул США в С.-Петербурге Джон Мартин Кроуфорд. При содействии последнего было подготовлено также англоязычное издание альбома, предназначенное для распространения в Соединенных Штатах. Запись Ч. Э. Смита, датированная 3 марта 1892 г., гласила: «Россия и Америка всегда были друзьями. Когда Соединенные Штаты находились в опасности, Россия послала свои корабли в гавань Нью-Йорка, и мир понимал, что это значило. Теперь, когда несчастье постигло Россию, американские корабли доставляют помощь в русские порты. То небольшое, что мы можем сделать, является лишь скромным ответом на все то, что сделала Россия для нас. Но это, по крайней мере, есть знак доброй воли».¹³

Первый «хлебный пароход» «Индиана» прибыл в порт Либава 4/16 марта 1892 г. При активном участии американского посланника в России к тому моменту уже была создана распределительная сеть, опиравшаяся на организованные при содействии пастора А. Фрэнсиса местные комитеты помощи. По указанию госсекретаря половина поступавшего продовольствия направлялась в распоряжение британско-американской церкви, три десятых — Еврейского общества помощи, одна пятая — графа Л. Н. Толстого.¹⁴ По случаю прибытия первого «хлебного парохода» Ч. Э. Смит встретился с заместителем председателя Особого комитета по оказанию помощи голодающим, министром Императорского двора и уделов графом И. И. Воронцовым-Дашковым, в ходе беседы с которым убедился, что между американцами и российскими властями сложились «сердечное сотрудничество и полное взаимопонимание».¹⁵ 11/23 марта американский посланник был принят председателем Особого комитета, наследником престола Николаем Александровичем. Ч. Э. Смит дипломатично заметил, что сознает незначительность американских усилий по сравнению с мерами российского правительства и оценивает их лишь как выражение искреннего сочувствия и доброй воли американского народа в отношении народа России. Цесаревич подтвердил, что именно так и рассматривали дело в С.-Петербурге — «народное движение без правительственного содействия».¹⁶

Как вспоминал в связи с этим специальный представитель Особого комитета граф Андрей Александрович Бобринский, «американская миссия вступила в сношения с Высочайше утвержденным под председательством Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича особым комитетом, который, выразив искреннее сочувствие к предприятию американцев, изъявил согласие бесплатно перевозить хлеб до мест назначения и назначил от себя уполномоченного (сам А. А. Бобринский. — *В. Н.*) для приемки американских транспортов и отправки их по железным дорогам на станции, указанные в списках, составленных комитетом англо-американской церкви».¹⁷ В конце марта 1892 г. в С.-Петербург прибыла делегация штата Миннесота во главе с инициатором общеамериканского движения помощи голодающим в России Уильямом Эдгаром, который высоко оценил содействие, оказанное ему посланником, и большую эффективность проведенной им подготовительной работы.¹⁸

19/31 марта в Гатчине Александр III принял Ч. Э. Смита в прощальной аудиенции. Император вручил ему благодарственное послание президенту США и просил передать его особую благодарность американскому, как было подчеркнуто, народу за проявленные им «дружественные и гуманные чувства».¹⁹ В апреле 1892 г. Ч. Э. Смит направил отчеты о своей деятельности по организации помощи голодающим в Госдепартамент и в благотворительные фонды, созданные с этой целью в США. Специальное донесение американский дипломат посвятил также перспективам резко возросшей в связи с голодом еврейской эмиграции из России в США, указав на ее неблагоприятные последствия для своей страны и рекомендовав принять ограничительные меры в отношении растущего потока нежелательных иммигрантов.²⁰ В связи с обязанностями, порожденными американским движением помощи голодающим в России, отмечал он, его пребывание в С.-Петербурге затянулось более чем на два месяца по сравнению с первоначальными планами. Итогом, с удовлетворением заключал посланник, стало создание эффективной системы распределения, способной справиться с любым объемом поступающих грузов.²¹ Посчитав свою миссию выполненной, 5/17 апреля 1892 г. Ч. Э. Смит покинул столицу России.

По возвращении в США он продолжал убеждать соотечественников в необходимости помогать умирающим русским крестьянам. «Нынешний голод в России, — писал Смит во влиятельном американском журнале, — является одной из тех громадных катастроф, которым почти невозможно противостоять. Общие цифры достаточно потрясающи, но только тогда, когда вы видите несчастье каждого человека в его беспощадных подробностях, а затем умножаете его на миллионы, вы получаете верное представление о действительной серьезности этого бедствия». «Трудно представить, что в самом сердце одной из великих держав Европы от четырнадцати до шестнадцати миллионов людей абсолютно лишены необходимых средств к жизни и зависят от посторонней помощи, чтобы продлить свое существование. Тем не менее, это именно так».²²

На родине бывший посланник вновь занялся журналистикой. Получив признание в качестве одного из немногих в США экспертов по России, Ч. Э. Смит неоднократно выступал с посвященными ее проблемам статьями в периодической печати, способствуя лучшему пониманию американцами происходивших в далекой стране событий. В частности, в статье, посвященной воцарению Николая II, он отдал должное его отцу, отметив, что «Александр III был привержен миру ради мира». О новом российском императоре экс-посланник писал: «Во время великого русского голода молодой цесаревич, в рамках общего замысла по его выдвижению на авансцену, был поставлен во главе российского

комитета помощи, назначенного императором. Совместно именно с этим комитетом были распределены американские пожертвования на сумму более 100 000 \$ наличными и продовольственные грузы пяти пароходов. Его работа по руководству организацией и деятельностью добровольной благотворительности и помощи полностью отделялась от официального правительственного механизма, хотя и пересекалась с ним по некоторым пунктам. Председательство наследника престола придавало ему высочайшее достоинство, а его личное участие в движении, которое открывало возможность для независимых действий, приучало его к чувству ответственности. Его искренние и очевидные отзывы относительно американских даров и духа, выражаемого ими, обнаруживали ясное понимание и осознанный интерес. Не обладая выразительной индивидуальностью или выдающимися свойствами характера, он оставлял впечатление дружелюбного, уравновешенного, восприимчивого к советам и руководящегося чувством долга человека». ²³

С 21 апреля 1898 г. по 15 января 1902 г. Ч. Э. Смит занимал пост генерального почтмейстера США в кабинете У. Мак Кинли. Как член правительства он добивался расширения почтового сообщения и дорожной сети в сельской местности, стремясь сделать жизнь там более комфортабельной и привлекательной. 1 февраля 1899 г. Ч. Э. Смит подписал от имени США русско-американскую конвенцию об обмене почтовыми переводами. Согласно ее условиям, 1 рубль приравнивался к 51.46 цента. ²⁴ После отставки бывший посланник вернулся к руководству филадельфийской «Press»,

Его знания о России оказались особенно востребованными в период русской революции 1905 г., когда Ч. Э. Смит выступил с целой серией посвященных ей статей. «Россия в настоящий момент является в лучшем случае заманчивой, но опасной темой, — писал он в «National Geographic Magazine» в феврале 1905 г. — Через полвека станет возможным оглянуться назад через ясную перспективу прошедших лет и определить истинное отношение сегодняшних событий к новым успехам прогресса и величия. Но в настоящий момент мы видим предзнаменования без перспективы, а Россию — окутанной мраком без просвета». ²⁵ В другой своей статье, опубликованной месяц спустя в «New England Magazine», Ч. Э. Смит отмечал: «Россия является страной *чрезвычайных контрастов*: между имперской роскошью и широко распространенной нищетой; между величием двора и убожеством мужика; между исполненным достоинства величием С.-Петербурга и тоской, однообразием унылых и бескрайних просторов; между высочайшей культурой и широчайшим невежеством; между несчетными сокровищами несравненного Зимнего дворца... и беспредельной нуждой почти неисчислимых миллионов». ²⁶

В статье «Внутренняя ситуация в России», опубликованной в июле 1905 г., экс-посланник писал: «Россия представляет собой удивительный парадокс. Теоретически она сочетает самую крайнюю автократию и самую крайнюю демократию». Обращаясь к причинам бедствия, свидетелем которого он стал в России, Ч. Э. Смит заключал: «Налоги настолько тяжелы, что большую часть урожая приходится продавать для удовлетворения этих требований вместо того, чтобы использовать для собственного содержания. Политика России последнего времени требовала повышенного экспорта для обеспечения себя средствами к существованию. Результат заключается в том, что, хотя Россия производит зерна на душу населения меньше, чем потребляется на душу в любой другой стране, она занимает в то же самое время второе место в мире по экспорту зерна. Этот факт показывает, насколько мало остается для ее собственного пропитания и частично объясняет, почему Россия находится в состоянии почти хронического голода». ²⁷

Проявив себя искренним другом России в момент величайшего национального бедствия, Ч. Э. Смит оставался им до конца жизни. Глубокое понимание российских проблем и хорошее знание далекой страны позволило ему показать соотечественникам истинную Россию в тот период, когда в Америке целенаправленно формировался ее негативный образ, что серьезно способствовало его корректировке и сохранению симпатий американцев к традиционному союзнику. Талантливый журналист и способный дипломат, тонкий знаток России Чарлз Эмори Смит скончался в Филадельфии 19 января 1908 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Ламздорф В. Н. Дневник. 1891–1892. М., 1934. С. 70–71.

² Saul N. E. Concord and Conflict: The United States and Russia, 1867–1914. Lawrence, 1996. P. 294–295.

³ Ч. Э. Смит — У. Уортону 22 октября 1891 // Papers relating to the foreign relations of the United States. 1891. P. 746–747.

⁴ Ч. Э. Смит — Дж. Г. Блэну 30 октября 1891 // Ibid. P. 747

⁵ Saul N. E. Concord and Conflict. P. 339

⁶ Мак Гахан В. Письма из Америки. XXIII. Как американцы помогают России // Северный вестник. 1892. № 4. С. 95–96.

⁷ Ч. Э. Смит — Дж. Г. Блэну 6 января 1892 // Papers relating to the foreign relations of the United States. 1892. P. 365–366.

⁸ Ч. Э. Смит — Дж. Г. Блэну 11 января 1892 // Ibid. P. 366–368.

⁹ «Это вопрос не политики, это вопрос гуманности»: Документы о помощи американского народа во время голода в России 1891–1892 г. / Публ. В. И. Журавлевой // Исторический архив. 1993. № 1. С. 203–204.

¹⁰ См.: Ч. Э. Смит — Дж. Г. Блэну 25 февраля 1892 // Papers relating to the foreign relations of the United States. 1892. P. 370.

¹¹ Ч. Э. Смит — Дж. Г. Блэну 24 февраля 1892 // Ibid.

¹² Ч. Э. Смит — Дж. Г. Блэну 26 февраля 1892 // Ibid. P. 370–371.

¹³ Голодному на хлеб: Альбом автографов писателей, художников, артистов и общественных деятелей / Издание редакции газеты «Русская жизнь» в пользу голодающих. СПб., 1892. С. 4; For the Benefit of the Russian Sufferers. St.-Petersburg, 1892. P. 2

¹⁴ Дж. Г. Блэн — Ч. Э. Смит 26 февраля 1892 // Papers relating to the foreign relations of the United States. 1892. P. 371

¹⁵ Ч. Э. Смит — У. Уортону 23 марта 1892 // Ibid. P. 374–376.

¹⁶ Ч. Э. Смит — Дж. Г. Блэну 24 марта 1892 // Ibid. P. 376–377.

¹⁷ Бобринский А. А. Американская помощь в 1892 и 1893 годах // Русский вестник. 1894. № 2. С. 256.

¹⁸ Edgar W. C. Russian Famine of 1891 and 1892. Minneapolis, 1893. P. 23–25.

¹⁹ Ч. Э. Смит — Дж. Г. Блэну 1 апреля 1892 // Papers relating to the foreign relations of the United States. 1892. P. 377.

²⁰ Ч. Э. Смит — Дж. Г. Блэну 12 апреля 1892 // Ibid. P. 379–380.

²¹ Ч. Э. Смит — Дж. Г. Блэну 16 апреля 1892 // Ibid. P. 380–382. См. также: Журавлева В. И. Американская помощь России в период голода 1891–1892 годов // Американский ежегодник 1998. М., 1999. С. 158–160.

²² Smith Ch. E. The Famine in Russia // North American Review. 1892. Vol. 454. May. P. 541–542.

²³ Smith Ch. E. Young Czar and His Advisers // North American Review. 1895. Vol. 458. Jan. P. 22–23.

²⁴ Сборник действующих трактатов, конвенций и соглашений, заключенных Россией с другими государствами. СПб., 1906. Т. 2. С. 421–425.

²⁵ Saul N. E. Concord and Conflict. P. 480.

²⁶ Ibid. P. 490.

²⁷ Smith Ch. E. Internal Situation in Russia // Annals of the American Academy of Political and Social Science. 1905. Vol. 26. № 1. July. P. 93–94.

Н. Н. Смирнов

ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И РУССКИЕ ЭМИГРАНТЫ (1916–1917)

С конца 80-х гг. XX в. изучение истории российской эмиграции становится одним из ведущих направлений в российской исторической науке. В Москве и Петербурге, Владивостоке и Томске, Екатеринбурге, других университетских центрах созданы и успешно функционируют группы, объединяющие десятки исследователей. Отечественная историография проблемы насчитывает сотни монографий и статей.¹ Практически ежегодно проводятся всероссийские и международные семинары и конференции, на которых обсуждаются актуальные проблемы складывания и развития Русского зарубежья.² Многочисленные сайты всемирной паутины — Интернета — предоставляют возможность миллионной аудитории своих пользователей не просто познакомиться с уникальными документами и материалами, но и включиться в дискуссию с ведущими учеными-историками, социологами, философами.³

Отдавая должное достижениям отечественной историографии последних лет, отметим, что большая часть работ, посвященных истории российской эмиграции, хронологически связана с 1917-м и последующими годами. Во многом это дань традиции: в российской историографии, равно как и в зарубежной, отчет эмиграционных потоков («волн», как это принято именовать) ведется с октября 1917 г.

Подобный подход вряд ли можно считать оправданным. Политическая, религиозная, трудовая эмиграция россиян существовала задолго до революционных событий 1917 г., на что справедливо указывали участники международного семинара «Русская эмиграция до 1917 г. — лаборатория либеральной и революционной мысли» (Петербург, 1995). Несомненно, она не была настолько массовой, как в послереволюционный период. Тем не менее, по самым скромным подсчетам, только в 1913 г. из России в европейские страны и США выехало более 290 тыс. человек.⁴ Большая их часть обосновалась во Франции, Германии, Италии, США. В числе европейских стран, принимавших российских эмигрантов, была и Великобритания.

По своим масштабам русская эмиграция в Великобританию не может сравниться с такими признанными центрами, как Париж и Берлин. Однако здесь у нее были не менее, а, вполне вероятно, и более глубокие корни, чем в других европейских странах. В Великобританию стремилась оппозиционная к правительству российская интеллигенция, как политическая, так и культурная. Через Англию шел поток выезжавших из России духоборов и других инакомыслящих. Только в Лондоне накануне и в период Первой мировой войны имелись представительства около десятка фракций русских революционеров, крупнейшими из которых были анархистская и большевистская. Здесь же находили прибежище и представители либеральной русской антимонархической оппозиции. По неполным подсчетам, накануне Первой мировой войны в Великобритании находились более 300 политических эмигрантов из России.⁵ Что касается общей численности русских эмигрантов, то к 1917 г. она едва ли превышала 2,5 тыс. человек. Статистика русской эмиграции в Великобритании проводилась хаотично, об их количестве существуют самые различные сведения. Не случайно позднее, в 1922 г., В. Лебедев в

статье «Мысли о русской эмиграции» отмечал: «Рекорд малочисленности русской эмиграции побит самой богатой и могущественной страной Европы — Англией».⁶ К. Д. Набоков выделял две части, из которых состояла русская колония в Великобритании: правительственных чиновников и политических эмигрантов. Первая группа была немногочисленна и концентрировалась в Лондоне. Она насчитывала около 500 человек и в целом была настроена промонархически. Вторая группа была значительно многочисленнее, и в ней преобладали «эмигранты, нашедшие в Англии убежище от „охранки”». Численность этой группы, отмечал русский дипломат, определить было довольно сложно в силу отсутствия концентрации и «изоляции посольства и колонии».⁷

Отвечая на вопрос, почему русские оппозиционеры, диссиденты, революционеры выбирали Англию в качестве убежища и страны, где они могли отстаивать свои взгляды, можно выделить несколько причин. Прежде всего, влияние русской оппозиционной интеллигенции попадало на благодатную почву: здесь в левых кругах существовал определенный интерес к революционной борьбе в России, к попыткам русских изменить государственный строй. Правые круги также поддерживали борьбу либеральной русской интеллигенции с самодержавием. Одни делали это из уважения к абстрактно понимаемой демократии, другие из страха перед стремительно экономически крепнущей страной с непонятными жизненными ценностями, третьи в силу неосведомленности о том, что на самом деле происходило в России в эти годы.

События Первой мировой войны если не сблизили англичан и русских, то раскрыли необходимость более тесных человеческих связей и взаимопонимания. В начале войны Россия оказалась в апогее популярности. Ее солдаты на полях сражений воспринимались как «братья по оружию». Официальные сферы, в особенности военные, активно поддерживали просьбы российской стороны, предоставляя финансовую помощь, оружие, боеприпасы и снаряжение. Симпатии к России ярко проявлялись во всех слоях общества: издавались книги о России, образовывались англо-русские общества культурного сближения, в нескольких университетах на частные пожертвования открылись кафедры русского языка.⁸ К. Д. Набоков подчеркивал: «Не будет преувеличением сказать, что за первые два года войны на пути культурного сближения с Россией Англия пошла гораздо дальше, нежели Франция за 25 лет своего с нами союза. ...Тот патриотический подъем, который вызвала в России война, тот героизм, с которым шли на верную смерть несметные русские солдаты, показал англичанам “подлинный лик” России».⁹

После свержения самодержавия, по справедливому замечанию исследователя,¹⁰ Россия воспринималась в Великобритании как страна, покончившая не только с репрессивным режимом, но и с определенной экспансионистской традицией. Палата общин официально поздравила россиян с обретенной свободой и выразила надежду на продолжение совместной борьбы против «цитадели деспотичного милитаризма», угрожающей европейской свободе.¹¹ В это же время качественно изменилась роль Великобритании в судьбах русских эмигрантов, оказавшихся отрезанными от своей исторической Родины.

Отметим, что в период Первой мировой войны традиционные представления об эмиграции претерпели значительные изменения. Накануне войны, как обычно, тысячи граждан Российской империи выехали в Европу на отдых, лечение, на заработки, по служебным делам. С началом военных действий все они стали частью русской

эмиграции. К ним вряд ли применимо традиционное определение «эмигрант».¹² Законопослушные граждане, они в силу чрезвычайных обстоятельств оказались вдали от своих семей, были ограничены в средствах и лишены возможности возвращения в Россию традиционными (континентальными) путями. Скорее их можно назвать «случайными» апатридами — лишенными отечества, лишенными родины. Каждый из них по-своему должен был решать проблему репатриации. Уже в августе 1914 г. в МИД России, Великобритании, Франции и Швейцарии был направлен запрос Временного комитета помощи нуждающимся русским в Лозанне, в котором правительствам названных стран предлагалось проявить сочувствие к нуждам оказавшихся на чужбине граждан России и выработать меры, направленные на скорейшее их возвращение на Родину.¹³ В запросе, в частности, сообщалось, что Комитет берет на себя предоставление пособий для лиц, возвращающихся в Россию, и просит правительства указанных стран определить возможные пути и способы перемещения репатриантов. 22 ноября 1914 г. посол Франции в России М. Палеолог в телеграмме, адресованной председателю правительства и министру иностранных дел Франции, сообщал, что он и английский посол Дж. Бьюкенен имели беседу с министром иностранных дел России. В ходе беседы С. Д. Сазонов также обратил внимание на необходимость выработки процедуры репатриации русских эмигрантов из европейских стран.¹⁴ Обсуждалась возможность использования военно-транспортных кораблей Франции и Великобритании для указанных целей. В качестве возможного транспортного маршрута предлагалось использовать незамерзающие порты Швеции, Норвегии и порт Архангельска в России. Южный маршрут (через Средиземное море, Индийский и Тихий океан к порту Владивостока) не предлагался.

Судя по переписке МИД Франции и Великобритании, французская сторона считала предпочтительным вариант доставки русских репатриантов кораблями береговой патрульной военно-морской службы Франции в ближайшие порты Великобритании с последующим использованием ее военно-морских транспортов.¹⁵

Как представляется, французское правительство руководствовалось при этом не меркантильными соображениями, а учетом возможностей военно-морских сил собственного государства и Великобритании.

К октябрю 1914 г. принципиальное согласие между заинтересованными сторонами было достигнуто и с этого времени российские эмигранты получили возможность возвращения на Родину из континентальной Европы через островную Англию, Норвегию, Швецию и Финляндию.¹⁶ Документальные подтверждения фактов пересечения русскими эмигрантами сухопутной шведско-финской границы относятся к 20-м числам октября 1914 г.¹⁷ Канцелярия генерал-губернатора Великого княжества Финляндского и в дальнейшем получала информацию пограничников о фактах пересечения границы подданными Российской империи. По нашим подсчетам, в течение осени 1914—лета 1916 г. более 2000 русских эмигрантов вернулись на родину.

Правительство Великобритании не афишировало эту сторону своей деятельности. В определенной степени данный факт можно объяснить опасением привлечь внимание противника и обострить и без того сложную ситуацию на Северном море.¹⁸ В силу той же причины практиковалось изменение маршрутов движения транспортов, доставлявших российских репатриантов из Франции в Великобританию: из Гавра и Марселя транспорты направлялись в Портсмут, из порта Кале в Дувр, из Булони в Ньюкастл.

До осени 1916 г. правительство Великобритании не возражало против свободного перемещения репатриантов по территории государства. Русским эмигрантам предоставлялось право в случае необходимости получить вид на жительство, устроиться на работу, поправив тем самым свое материальное положение. К этому времени, по воспоминаниям К. Д. Набокова, русских граждан можно было встретить более чем в сотне крупных и мелких городов Великобритании.¹⁹ Свое новое место в английской жизни нашли русские деловые люди, инженеры, врачи, юристы, люди искусства.

Прибывающие в Великобританию русские эмигранты могли рассчитывать на содействие Русского правительственного комитета в Лондоне (основан в 1913 г., с 1915 по 1918 г. его председателем был генерал-лейтенант, инженер-металлург Эдуард Карлович Гермониус). Российское посольство до 1917 г. в работе комитета участие практически не принимало.²⁰

Весьма плодотворной была деятельность Комитета помощи русским военнопленным, созданного по инициативе английских либеральных политиков. Председателем Исполнительного комитета являлся лорд Дарби, вице-председателем — сэр Луис Маллет. Лорд Ровельстон исполнял обязанности казначея комитета. Россияне были представлены в комитете женой русского посла графиней Бенкендорф и профессором П. Г. Виноградовым. Последний считался почетным секретарем комитета. Графиню же доброжелательно именовали его «идейным руководителем». В. Д. Набоков, анализируя деятельность комитета, отмечал, что он существовал на английские средства, поддерживался разнообразными английскими учреждениями и лицами. Представители комитета выезжали с благотворительными миссиями в 12 лагерей для военнопленных нижних чинов, в 12 лагерей для военнопленных офицеров, в 4 лагеря для гражданских лиц.²¹

К 1916 г. для отъезжающих в Россию эмигрантов основными центрами становятся Эдинбург и Абердин. Портовые города Шотландии кратчайшим путем через Северное море связывали Великобританию с норвежскими и шведскими портами.

В июне 1916 г. МИД Великобритании через МИД Франции уведомил Парижский комитет по отправке эмигрантов в Россию, Центральный комитет помощи российским гражданам в Швейцарии, другие заинтересованные организации о том, что впредь начальным пунктом для российских репатриантов будет французский порт Кале, откуда «при первой возможности» корабли будут направлены в английские порты и затем, также «при первой возможности», к берегам Скандинавии.²² Однако никаких ограничений на перемещение репатриантов по территории Великобритании данное уведомление не содержало.

Ситуация стала иной с осени 1916 г. В октябре-ноябре качественно изменился состав репатриантов. Наряду с гражданскими лицами в Эдинбург все чаще перемещались военнослужащие из состава Русского экспедиционного корпуса, получившие в ходе боев тяжелые ранения или увечья и признанные негодными к дальнейшему нахождению в армии. Отчасти для того, чтобы не травмировать местное население видом изувеченных войной людей, правительство Великобритании приняло решение ограничить с ноября 1916 г. места возможного пребывания репатриантов. Французский МИД был поставлен в известность, что впредь русские эмигранты могут делать промежуточные остановки лишь в двух городах: Эдинбурге и Глазго. Французскую сторону просили сообщить всем заинтересованным русским организациям, обеспечивающим репатриацию своих соотечественников, что, учитывая экономическую и политическую ситуацию,

правительство его королевского величества ограничит выдачу видов на жительство и предпримет все необходимые меры к скорейшему возвращению российских граждан в Отечество.²³

Можно предположить, что изменение правительственной позиции в отношении русских эмигрантов в немалой степени было обусловлено известиями, поступающими в Великобританию как из России, так и из европейских стран, прежде всего из Франции. К осени 1916 г. обстановка на российско-германском фронте резко обострилась: неудача Брусиловского прорыва, стремительное продвижение противника вглубь российской территории породили всплеск антицарских и антиправительственных настроений. Прогрессирующий развал русской армии вынуждал британских политиков предпринять шаги, направленные на защиту прежде всего собственных интересов. Правительства лорда Г. Асквита, а затем и Дж. Ллойд-Джорджа предприняли ряд мер, направленных на ограничение деятельности русской политической эмиграции с ее антицарскими и, все чаще, антивоенными настроениями. По дипломатическим каналам европейские союзники Великобритании получили «просьбу» ограничить возможность репатриации политических противников самодержавия, равно как и пацифистов.²⁴

С другой стороны, из официальных источников становится известно о неблагоприятном положении дел в 1-й и 3-й бригадах Русского экспедиционного корпуса, расквартированного во Франции. Уже в октябре–ноябре 1916 г. информаторы сообщали о случаях нарушения воинской дисциплины, выражавшихся в отказе соблюдать форму одежды, неукоснительно выполнять приказы непосредственных командиров. Цитировался приказ № 7 от 22 октября 1916 г. по 3-й Особой бригаде, в котором отмечалось: «Люди начинают распускаться. Кивают головой, отвечая на приветствие, ходят расстегнувшись, поднимают воротник, а когда идет дождь, имеют несчастный, непотребный вид». Указывали на факты проявления «национальной слабости»: неумении ограничить себя в употреблении спиртных напитков. Подобные явления имели место и в 1-й Особой бригаде, о чем свидетельствовал приказ № 224 от 23 ноября 1916 г. Все чаще сообщалось о фактах проникновения в армейскую среду представителей революционной эмиграции, способствующей «разложению подразделений».²⁵ Британское правительство не без оснований опасалось, что русские солдаты-репатрианты, поселившись на английской территории, могут оказать определенное разлагающее воздействие на английскую армию. Ограничив возможность перемещения репатриантов, правительство тем самым предпринимало превентивные меры.

В декабре 1916 — январе 1917 г. репатриация русских эмигрантов из Великобритании в Россию практически приостановилась. В ответ на запросы заинтересованных русских организаций МИД Великобритании сообщал о наличии ряда объективных причин, препятствующих отправке судов из Эдинбурга и Абердина: тяжелая ледовая обстановка, активизация деятельности неприятельского флота, и т. д. К. Д. Набоков замечал по этому поводу: «Немцы были, разумеется, прекрасно осведомлены о том, какого сорта пассажиры переходят Северное море под конвоем английских миноносцев, и пароходы эти редко, весьма редко подвергались опасности».²⁶

Резкое снижение потока возвращающихся на родину эмигрантов констатировала и Канцелярия генерал-губернатора Великого княжества Финляндского: за два месяца зарегистрированы лишь 24 человека, прибывших в Финляндию через Швецию из Великобритании.²⁷ Среди прибывших эмигрантов отсутствовали гражданские лица.

Можно предположить, что власти Великобритании ограничили выезд из страны гражданских лиц из опасения увеличить число противников самодержавия и войны внутри России.

Февральские события 1917 г. породили две новые проблемы, в решении которых Великобритании предстояло сыграть не последнюю роль. Первая из них была связана с возвращением на Родину русских политических эмигрантов. Вторая — с судьбой солдат и офицеров Русского экспедиционного корпуса.

Известие о начале новой российской революции достигло британских берегов 15–17 марта 1917 г. В эти дни британская печать со ссылкой на информационные агентства сообщила о волнениях в Петрограде и отречении Николая II от престола. Русская эмиграция откликнулась на историческое событие незамедлительно. В Лондоне, Манчестере, Ливерпуле, Эдинбурге, Глазго, других городах силами различных русских политических групп были организованы собрания, в работе которых активное участие приняли и английские социалисты. Информация об этих собраниях была опубликована практически во всех британских газетах. Печать констатировала, что основными лозунгами, звучавшими на собраниях, стали здравицы в честь победившей революции и призывы немедленно отправиться в Россию на помощь единомышленникам. Подобная реакция наблюдалась и в других европейских странах.

Уже с 17 марта повсеместно создаются инициативные группы, призванные добиваться возвращения русских политических эмигрантов на Родину. Соответствующие ходатайства направлялись в континентальной Европе в МИД Франции и отдельно в МИД Великобритании.²⁸ Суть ходатайств сводилась к следующему: русская политическая эмиграция просила правительства Франции и Великобритании незамедлительно решить вопрос о выделении необходимых транспортов для их возвращения на родину. Показательно, что ряд ходатайств подписан совместно представителями различных политических течений: большевиками, меньшевиками, анархистами, эсерами и др. С каждым новым днем число подобных документов возрастало, однако позитивного ответа не последовало. На некоторых из документов красным либо синим карандашом была сделана пометка без подписи: «Отказать ввиду отсутствия возможностей и гарантий безопасности».

Принимая обязательство доставить революционно настроенную часть политической эмиграции в Россию, правительства Франции и Великобритании подвергали себя определенному риску. Вероятность гибели репатриантов была, как свидетельствует практика предшествующих полутора лет, сравнительно невелика, но она существовала. С другой стороны, правительства двух стран прекрасно понимали, что в Россию возвращались не просто противники монархии, но и те, кто реально был способен вывести страну из войны, заключив с Германией сепаратный мир. Подобного развития событий вряд ли ожидали власти предрекающие как во Франции, так и в Великобритании, стремившиеся любыми мерами добиться от Временного правительства гарантий продолжения участия России в войне. Известное решение означенной проблемы (возвращение политических эмигрантов в так называемых plombированных вагонах через территорию Германии в Россию) оказалось выгодным как Франции, так и Великобритании. Русская политическая эмиграция была дискредитирована из-за «преступной связи с общим врагом».

Показательно, что и в дальнейшем политическим эмигрантам отказывали в праве пересечь Северное море на английских кораблях. К. Д. Набоков по этому поводу замечал,

что в Лондоне вели борьбу с эмигрантскими комитетами в Париже, Риме и Берне. Они стремились сбывать в Лондон возможно большее количество возвращавшихся, полагая, что, если Англия откажет, эмигранты повторят путь Ленина — через Германию.²⁹ В правительственных кругах Франции, Италии, Великобритании считали, что в эмигрантских комиссиях преобладали большевики, которые усиленно «проталкивали» в Россию «членов своей партии», чьи пацифистские настроения были известны. Да и в российском посольстве были уверены, что большевики в эмигрантских комиссиях «контролировали все денежные средства» и нередко выдавали «своим» заведомо большие суммы, чем прочим.³⁰

Указанные причины отказа правительства Великобритании в репатриации политических эмигрантов «обычным путем» во многом надуманны и политизированы. Эти же причины не помешали позднее вернуться в Россию Г. В. Плеханову с семьей (в апреле 1917 г. он возвращался в Россию на одном корабле с французским министром-социалистом А. Тома), Л. Д. Троцкому, ряду других активных участников российской революции.

Маршрут возвращавшихся на родину через Великобританию русских эмигрантов детально описан другом и сподвижником П. А. Кропоткина С. П. Тюриным и в письмах самого Петра Алексеевича: «П. А. Кропоткин заранее перебрался на мою квартиру в Лондоне и уехал оттуда, незаметно, вместе со мной, на Север Англии, в Абердин, к месту стоянки парохода. Весь багаж П. А. Кропоткина был адресован на мое имя; в отеле, в Абердине, мы были прописаны с согласия полиции: „Профессор Тюрин с семьей“. Таким образом, П. А. Кропоткин превратился в проф. Тюрина, а я в его сына».³¹ 5 июня Кропоткин писал: «Мы уже недалеко от берегов Норвегии. Под вечер надеемся войти в более тихие воды. Море было сравнительно спокойное, но все-таки покачивает. <...> Публика на пароходе интересная и очень разнообразная. Вчера вечером (еще в порту) в передней части парохода пели хором всякие песни, очень недурно и мы перешли туда, а потом болтали обо всем. Сегодня утром опять шли беседы — конечно, о России и о войне. Мнения очень пестрые. Много интересных людей. Время идет незаметно. Качает, но милостиво. Только к утреннему чаю на столы накладывали перегородки для посуды. ... Обсуждаем, как ехать дальше. По всей вероятности, отдохнем в Бергене».³²

В письме из Стокгольма от 9 июня новые подробности: «...едем прекрасно. Не брадите, что не писал из Бергена и Христиании. Просто ни минуты не было свободной. Встречи, приемы, столько ласки от норвежцев и от русских Комитетов. Русские консулы в Бергене и Христиании просто с ног сбились, принимая всюду возвращающихся эмигрантов.

В отелях нет мест, и при всем добром желании, далеко не всем удастся найти кровати. Спят на полу по двое, на матраце, а консулы платят по 10 крон за такой матрац. Здесь нас посетил и Замещающий Русского Посланника. Разговоров интересных тьма. И в поездках, и на остановках, и в городах. В Стокгольме масса русских. Интервьюеры норвежских, шведских и русских газет. <...> С нами едет очень много русских — очень милые люди. Вы знаете их. Вчера в одном месте, в Норвегии, был перерыв дороги. Приходилось забрать свой ручной багаж и нести его, около четверти версты. Иду, тащу шубу и т. д. Вдруг навстречу четыре сестры Красного Креста. — “Кропоткины” <...> Наши сестры с фронта, из Минска и Киева. Милые, дорогие, умницы. Чуть не разревелся,

как дитя. И так рад я этой первой встрече. Они живут там в горном воздухе. Норвегия предложила это русскому и немецкому правительствам. Немецкие сиделки приедут, когда наши милые сестры уедут. Сегодня приехали в 9 ч., уезжаем в 6. Ехали из Христиании и поедом в спальном вагоне».³³

В письме от 10 июня П. А. Кропоткин сообщал: «Вот и в России мы, по крайней мере в Финляндии. Выехали вчера рано утром, но задержали нас там целых 12 часов. Из багажа, сданного в Бергене, ничего не получили. Все застряло, включая наши три вализы. Застряло где-то в Швеции. Б. оставил в Хапаранде Чупахина, чтобы занялся разыскиванием вещей. Из Торнео выбрались только в 7 вечера. В Христиании мы ночевали так же, как в Бергене, а в Стокгольме остановились только от 7 ч. утра до 4-х ч. после обеда. <...> В Торнео ужасно милые солдаты и офицеры. Солдаты пожелали поговорить со мной. <...> Я говорил не речь, а беседовал. <...> В Улеборге мы были уже ночью, но белая, или вернее розовая ночь. Депутация от финских рабочих с цветами: в Стокгольме розы, здесь, на дальнем, грустном севере тюльпаны, красивые — прелесть и более 100 солдат и офицеров и музыка (Марсельеза, а не *Deutsch uber Alles*). <...> До Петрограда, очевидно, доберемся не раньше 11 часов вечера, или позже, так что я пишу Вам теперь, иначе Бог знает, когда еще успеешь».³⁴

Вероятно, как никто другой, П. А. Кропоткин смог в одном из своих писем передать чувство искренней благодарности одного из русских изгнанников к приютившей их стране. 4 июня 1917 г. он писал одному из английских редакторов: «Разрешите просить Вас уделить мне на страницах Вашей газеты место для моего прощального слова Британскому народу и выражения моей сердечной благодарности за то дружеское отношение, которое я находил в Вашей стране с момента, когда я впервые вступил на берег Англии в 1876 г., как совершенно неизвестный иностранец, и до последних дней, когда я оставляю здесь так много своих личных друзей.

Их трогательная дружба сделала так много для облегчения всей горести долгого изгнания, и я глубоко сожалею о том, что не имею возможности выразить им лично моей благодарности; а организовывать прощальные собрания в настоящий момент было бы неуместно.

Я тем более сожалею об этом, ибо я хотел бы выразить мою благодарность не только за то теплое отношение, которое я и моя семья нашли в Англии, но также и за те чувства симпатии, которые были проявлены по отношению к России, и в особенности Новой России, со стороны значительной части английского народа и их политических вождей...

Другим показателем симпатий, проявившихся здесь по отношению к освободительному движению в России, являются те бесчисленные поздравительные письма по поводу русской революции и выражения надежд полного успеха, которые были недавно получены мною, как одним из старейших русских политических эмигрантов».³⁵

Показательно, что после возвращения в Россию через Германию группы русских политических эмигрантов, в составе которой был и В. И. Ленин, Временное правительство «вспомнило» о судьбе тех, кто все еще находился вне Родины. Союзники были поставлены в известность, что транзитом через Северное море могут воспользоваться «эмигранты без различия политических партий».³⁶

Что касается судьбы солдат и офицеров Русского экспедиционного корпуса, то вопрос об их возвращении на родину в значительной степени оказался нерешенным из-за

бездеятельности Временного правительства. В нашу задачу не входит анализ морального и политического состояния более чем 30-тысячного контингента Русского экспедиционного корпуса после свержения самодержавия. Известно, что уже к концу апреля 1917 г. русские солдаты выдвигали требования немедленного прекращения их участия в войне на французском фронте и отправки в Россию. Эти требования стали основными лозунгами первомайских демонстраций русских солдат. Однако услышаны они не были. Временное правительство находилось далеко и, по-видимому, не тяготилось судьбой заграничных войск. С июля 1917 г. французское правительство вступило в долгие переговоры с Временным правительством по поводу отправки частей экспедиционного корпуса в Россию через Великобританию. Судя по всему, правительство этой страны было готово к подобному развитию событий. Однако и к осени 1917 г. Временное правительство так и не предприняло реальных шагов, направленных на решение проблемы «новых апатридов».³⁷

Российская революция 1917 г. внесла радикальные изменения в русско-английские политические отношения. Свержение самодержавия привело к появлению в составе русской колонии в Великобритании некоторых членов царской семьи и лиц из ее ближайшего окружения, представителей известных русских фамилий. В этой среде было немало защитников монархии и именно вокруг них начали формироваться новые монархические кружки и партии. После октябрьских событий в России состав русской колонии в Великобритании пополнился противниками большевизма и советской власти. Среди знаковых фигур отметим П. Н. Милюкова, А. Ф. Керенского, П. Н. Игнатьева, М. И. Терещенко, П. Л. Барка (бывший министр финансов) и др. Известно, что к концу 1917 г. численность русских эмигрантов в Великобритании значительно возросла. Изменился и их состав. Однако это предмет уже другого исследования.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См.: *Бочарова З. С.* Судьбы российской эмиграции: 1917–1930-е годы. Уфа, 1998. 122 с.; *Вандаловская М. Г.* Историческая наука российской эмиграции: «Евразийский соблазн». М., 1997. 349 с.; *Кабузан В. М.* Эмиграция и реэмиграция в России в XVIII — начале XX века. М., 1998. 270 с.; *Назаров М. В.* Миссия русской эмиграции. 2-е изд., испр. М., 1994. Т. 1. 415 с.; *Пронин А. А.* Историография российской эмиграции. Екатеринбург, 2000. 188 с.; Эмиграция и репатриация в России. М., 2001. 49 с.; *Березина Т. А.* Русские в Финляндии: (Некоторые культурно-исторические аспекты) // Русские в современном мире. М., 1998. С. 331–347; *Бортневский В. Г.* Материалы по истории русской эмиграции в США // Новый часовой. 1998. № 6–7. С. 227–232; *Квакин А. В.* Россия–интеллигенция–

эмиграция: (О соотношении амбивалентности русского архетипа и российской эмиграционной системы) // Некоторые современные вопросы анализа российской интеллигенции. Иваново, 1997. С. 93–113; *Латин Б.* Миссия русской эмиграции // Звезда. 1992. № 7. С. 93–114; *Михайлов О. Н.* Миссия русской эмиграции // Дворян. Собр. Assembles de la noblesse. М., 1994. № 1. С. 233–241; *Морозан В. В.* Из истории русской экономической эмиграции конца XIX — начала XX в. // Новый часовой. 1996. № 4. С. 23–34; *Назаров М. В.* Эмиграция и война // Русский рубеж. М., 1991. № 10. С. 18–22; *Пивовар Е. И.* Российское зарубежье XIX — первой половины XX в.: Некоторые итоги изучения проблемы // Исторические записки. М., 2000. № 3 (121). С. 237–253; и др.

² См.: История российского зарубежья: Проблемы адаптации мигрантов в XIX–XX вв. / Редкол.: Поляков Ю. А. (отв. ред.) и др. М., 1996. 174 с.; Источники по истории адаптации российских эмигрантов в XIX–XX вв. / Под ред. Ю. А. Полякова, Г. Я. Тарле М., 1997. 191 с.; Русская эмиграция до 1917 года — лаборатория либеральной и революционной мысли: Сб. статей. СПб., 1997. 242 с.; Зарубежная Россия. 1917–1939 гг.: Сб. статей. СПб., 2000. Кн. 1; СПб., 2003. Кн. 2; Зарубежная Россия. 1917–1945: Сб. статей. СПб., 2004. Кн. 3; и др.

³ См.: Корнилов А. А. Серверы крупнейших организаций русской эмиграции в США // Международные отношения в XXI веке: Новые действующие лица, институты и процессы. М.; Н. Новгород, 2001. С. 96–108; Маркедонов С. В. Русское зарубежье в виртуальном пространстве. Сайт www.zarub.db.irex.ru // Библиография. 2001. № 6 (317). С. 129–132; Попов А. В. 1) Интернет для исследователей русского зарубежья // Вестник архивиста. 2001. № 4–5 (64–65). С. 206–218; 2) Русское зарубежье в Интернете // История белой Сибири: Тез. IV науч. конф. Кемерово, 2001. С. 251–257; и др.

⁴ См.: Морозан В. В. Из истории русской экономической эмиграции конца XIX — начала XX в. С. 27.

⁵ См.: Волков В. С. К вопросу о численности русской политической эмиграции (1905–1917 гг.) // Россия и современный мир. М., 1993. Вып. 2. С. 136.

⁶ См.: Воля России. Прага, 1922. № 2. С. 37.

⁷ Набоков К. Д. Испытания дипломата. Стокгольм, 1921. С. 61–62.

⁸ Там же. С. 36–37.

⁹ Там же. С. 37–38.

¹⁰ Vellacott Jo. Bertrand Russell and the Pacifists in the First World War. Brighton, 1980. P. 152.

¹¹ Ibid.

¹² Толковые словари дают следующие определения этого понятия: 1) *эмигранты* — лица, добровольно или вынужденно покинувшие страну, гражданами которой они являются, и поселившиеся в какой-либо другой стране; 2) *эмигрант* — лицо, выселившееся из своей страны в другую по тем или иным причинам (экономическим, политическим, религиозным и др.).

¹³ Здесь и далее будут использованы материалы Дипломатического архива МИД Франции (AD MAE France), f. Guerre 1914–1918, Dossier général, d. 42. Запрос Временного комитета помощи... от 27 августа 1914 г. Пагинация в этом и ряде других дел отсутствует.

¹⁴ Там же. Телеграмма М. Палеолога от 22 ноября 1914 г.

¹⁵ AD MAE France, f. Guerre 1914–1918 (Russie, Interets Français, Dossier General), d. 778. Телеграммы МИД Франции и МИД Великобритании от 17 марта 1915 г., 23 июля 1915 г., 12 февраля 1916 г., 7 марта 1916 г. и др.

¹⁶ Подобный маршрут описывает и современник. См.: Набоков В. Д. Из воюющей Англии: Путевые очерки. Пг., 1916. С. 88.

¹⁷ Национальный архив Финляндии, Хельсинки (Kansallisarkisto), f. KKK, Hd 48, d. 3 — Сводка канцелярии от 25 октября 1914 г.

¹⁸ См.: Тарас А. Е. Первая мировая война на море. Харвест, 2001.

¹⁹ См.: Набоков К. Д. Испытания дипломата. С. 80–81; Подтверждение данному факту приводится и в ст.: Казнина О. А. Русские в Англии: Из переписки Е. В. Саблина // Россия в США: Сб. статей. М., 2001.

²⁰ По признанию посла России в Великобритании графа А. Бенкендорфа, посольство в это время «выполняло исключительно свои дипломатические задачи». См.: Набоков В. Д. Из воюющей Англии. С. 97.

²¹ Там же. С. 107–114.

²² AD MAE France, f. Guerre 1914–1918 (Russie, Interets Français, Dossier General), d. 776. Телеграмма МИД Великобритании от 9 июня 1916 г.

²³ Ibid. Телеграмма от 16 октября 1916 г.

²⁴ Ibid. Телеграмма от 14 декабря 1916 г.

²⁵ Ibid. d. 678. P. 19, 22–24 и др. Секретные телеграммы в Министерство обороны и МИД о положении русских солдат во Франции.

²⁶ Набоков К. Д. Испытания дипломата. С. 91.

²⁷ Kansallisarkisto, f. KKK, Hd 48, d. 3. Сводка канцелярии от 19 февраля 1917 г.

²⁸ См.: Набоков К. Д. Испытания дипломата. С. 81–87.

²⁹ Там же. С. 85.

³⁰ Там же. С. 85–86.

³¹ На чужой стороне. Берлин; Прага, 1924. № 4. С. 216–217.

³² Там же. С. 221.

³³ Там же. С. 221–222.

³⁴ Там же. С. 223.

³⁵ Там же. С. 217–218.

³⁶ Набоков К. Д. Испытания дипломата. С. 86–87, 92.

³⁷ Подробнее об этом см.: *Remi A. Histoire des soldats russes en France, 1915–1920*. Paris, 1996.

В. И. Мусаев

«КРАСНЫЙ ТЫЛ РЕВОЛЮЦИИ»: ФИНЛЯНДИЯ И РУССКОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ В НАЧАЛЕ XX в.

Финляндия сыграла особую роль в развитии российского революционного движения. В 1905–1907 гг. ее называли «красным тылом революции». Такая характеристика, которая принадлежит перу одного из активных участников революционного движения В. М. Смирнова,¹ вполне справедлива: действительно, не только в годы первой русской революции, но и на протяжении всего периода конца XIX — начала XX в. территория Великого княжества Финляндского служила базой для русских революционных групп социал-демократического и (в меньшей степени) народнического направления. Здесь революционеры скрывались от преследований на территории коронной России, здесь же они проводили свои совещания и конференции, издавали нелегальную литературу, хранили оружие и занимались другими видами деятельности в относительной безопасности, чувствуя себя гораздо более вольготно, чем в собственно России. Активность русских революционеров в Финляндии развивалась зачастую при явном попустительстве местных властей: должностные лица Великого княжества не только сквозь пальцы смотрели на их деятельность, но подчас даже оказывали им содействие, скрывая от русских полицейских и жандармских властей информацию о нахождении и деятельности революционеров на финской территории или предупреждая последних о грозившей им опасности.

Такое парадоксальное на первый взгляд положение было связано с усилением недовольства политикой имперского правительства и ростом сепаратистских настроений в Финляндии. Финляндские власти ревниво относились к попыткам русской полиции пресекать активность революционных групп на территории Великого княжества, усматривая в этом вмешательство в пределы своей компетенции, и фактически саботировали усилия российских органов правопорядка по борьбе с противниками режима на территории Великого княжества. В одной из сводок о положении в Финляндии отмечалось: «Начальствующие лица полиции своим вызывающим поведением только разжигают страсти среди населения и поощряют всяким тайным организациям в крае. При подобном положении не только все враждебные империи лица и организации в Финляндии не обнаруживаются полицией, но, наоборот, все они с ее стороны встречают самую энергичную и деятельную поддержку. Поэтому здесь революционные организации и свили себе надежные гнезда и, устроившись, действуют на всю империю».² Попустительство по

отношению к личностям и организациям, занимавшимся противоправительственной деятельностью, было одним из способов лишний раз подчеркнуть свою самостоятельность, своего рода фрондированием. Чем сильнее обострялись отношения между Финляндией и имперским центром в так называемые «периоды угнетения»,³ тем более радужный прием встречали на финской земле русские оппозиционеры и тем с большими препятствиями сталкивались здесь российские полицейские и жандармские власти в борьбе с ними. Финские же радикальные оппозиционные организации различной направленности — от Красной гвардии до националистической «Партии активного сопротивления» — непосредственно сотрудничали с русскими революционерами. Последние, выступая против царского режима, оказывались естественными, хотя и временными союзниками сторонников финляндской независимости: срабатывал принцип «враг моего врага — мой друг».

Первые русские революционные группы возникали на территории Финляндии еще в последней четверти XIX в. Так, в сентябре 1882 г. финская пресса сообщала о том, что в Гельсингфорсе (Хельсинки) и Свеаборге раскрыто отделение «существующего в России преступного общества», членами которого были русские офицеры, гражданские чиновники и учителя русской Александровской гимназии.⁴ Проведенное расследование показало, что это была группа военно-революционной организации «Народная воля», основанная в Хельсинки тесно связанным с А. Желябовым членом организации Н. Рогачевым. Были арестованы шесть членов группы (позднее на территории России были разысканы и задержаны еще трое).⁵ При этом, как отмечала газета «Ууси Суометар», «прокурор финляндского сената сделал заявление относительно порядка, в котором были произведены эти аресты», в связи с тем что «и русские подданные, исключая военнослужащих, находятся под покровительством законов Великого Княжества; в данном случае аресты были произведены не финскими властями».⁶ Русские социалисты-революционеры сумели основать под Выборгом свою типографию, в которой в 1901 г. начали печатать подпольную газету «Революционная Россия». Об этом, однако, вскоре стало известно полиции, и министр внутренних дел Д. С. Сипягин лично распорядился принять меры для пресечения работы типографии. Но эсеры были вовремя предупреждены о замыслах полиции и успели перенести типографию в Томск.⁷ 15 апреля 1902 г. министр Сипягин был убит в Петербурге членом эсеровской боевой организации студентом С. Балмашовым, который за несколько дней до покушения останавливался в гостинице в Выборге и имел встречу с известным руководителем боевой организации Г. А. Гершуни, передавшим ему соответствующие инструкции.⁸

В дальнейшем активность русских революционеров на территории Финляндии усиливалась параллельно с развитием деятельности собственно финских оппозиционных групп. А. Мустонен, бывший член одной из подпольных финских революционных организаций, занимавшейся «экспроприацией» денежных средств на нужды революции, отмечал, что «члены тайных революционных организаций... действуют совместно с русскими революционерами в пользу русской и финляндской революций», и указывал на различные формы этого сотрудничества: помощь финской оппозиции при вооружении русских революционеров, агитация в среде войск и непосредственное вручение денежных сумм русским революционерам.⁹ В то же время тайное общество правого толка «Войма», образованное на основе «Партии активного сопротивления», также было готово сотрудничать с русскими оппозиционными организациями: согласно докладу

министра внутренних П. А. Столыпина от 2 июня 1906 г., центральный комитет общества разослал циркуляр, в котором призывал население Финляндии готовиться к вооруженной борьбе против царского правительства и, в частности, рекомендовал финнам «всячески поддерживать русских революционеров в борьбе их с правительством», «дабы по возможности ослабить Россию».¹⁰ Имелись и конкретные примеры связей «Воймы» с русскими противниками царского режима. Финляндский генерал-губернатор в конце августа (начале сентября н. ст.) 1908 г. сообщал статс-секретарю Великого княжества Финляндского о том, что действовавшие в Выборгской губернии отделения «Воймы» сотрудничали с русскими революционными кружками, а член общества Ойконен, имевший широкие связи по стране и за рубежом, получал контрабандное оружие, которое передавал приезжавшим на Иматру русским революционерам через содержателя местной гостиницы У. Сирениуса, члена организации «Карьялан кансан махти».¹¹

Русские, финские и другие национальные оппозиционные группы стремились скоординировать свои действия, договориться о сотрудничестве. 30 сентября 1904 г. в Париже состоялся съезд российских революционеров различных национальностей, на котором была подписана декларация о совместных действиях против царского правительства. Инициатива этого съезда исходила от финляндских политических деятелей, а принятая съездом декларация была подписана от имени известных лидеров финляндских сепаратистов Конни Циллиакуса и Арвида Неовиуса. В январе 1905 г., как отголосок петербургских событий 9 января, в различных городах Финляндии произошли демонстрации, совпавшие с днем возобновления занятий сейма 1904–1905 гг. Органы МВД констатировали частичный переход пассивного сопротивления в активное. Следует ряд политических покушений и убийств: были убиты прокурор финляндского сената Ионсон, жандармский подполковник Крамаренко, совершены покушения на тайного советника Дейтриха, выборгского губернатора Мясоедова, было отмечено усиление агитации и тайного провоза в край оружия.¹² Единение финской и российской оппозиции было продемонстрировано во время массовой демонстрации и митинга в Гельсингфорсе 21 мая (3 июня) 1906 г., организованных Красной гвардией и социал-демократическими группами. В демонстрации участвовали представители русских, эстонских и латышских социал-демократов. В числе выступавших на митинге были двое русских ораторов, представившихся депутатами Государственной думы. Они обратились к собравшимся с посланием от Думы следующего содержания: «Между Государственной Думой и Государственным Советом идет страшный разлад и потому, как полагают, Дума будет скоро распущена. Затем вспыхнет всеобщая революция, во время которой Финляндия должна организовать весь народ и помочь русским революционерам свергнуть царя с престола».¹³ Министерство внутренних дел располагало агентурными данными о том, что некоторые члены Думы предполагали, в случае если Дума будет распущена или депутаты разъедутся на летние каникулы, отправиться в Финляндию и здесь продолжать заседания.¹⁴ Как известно, именно так и произошло: 9 июля, после роспуска Первой думы, многие ее депутаты отправились в Выборг. Всю ночь в выборгской гостинице «Бельведер» продолжалось заседание, и на следующий день было принято знаменитое «Выборгское воззвание».¹⁵

После подавления первой русской революции ее участники, разыскиваемые полицией, нередко находили убежище на финской территории. Эсеровская боевая организация, которой руководил небезызвестный Е. Ф. Азеф, имела в Финляндии одну из своих баз.

Сам Азеф, как и связанный с боевой организацией Б. В. Савинков, неоднократно бывали в Финляндии. В частности, Савинков и Азеф некоторое время гостили у известного финского художника Ээро Ярнефельта.¹⁶ Неподалеку от Иматры скрывалась террористическая группа Зильберберга, имевшая целью убийство Столыпина.¹⁷ Летом 1905 г. в Финляндию, спасаясь от преследований, приезжал Л. Д. Троцкий.¹⁸ О пребывании В. И. Ленина в Финляндии, о ленинских местах на Карельском перешейке известно более чем хорошо.¹⁹ В 1906–1907 гг. штабом большевиков и местом основного пребывания В. И. Ленина была дача «Ваза» в поселке Куоккала. В поселке и его окрестностях, а также в Терийоки скрывались и другие революционеры. Помимо Куоккалы, Ленин неоднократно бывал также в Терийоки, Выборге, Гельсингфорсе и Тампере (Таммерфорсе), где, как известно, в декабре 1905 г. состоялась первая социал-демократическая партийная конференция, на которой Ленин впервые встретился с И. В. Сталиным. Всего в Финляндии состоялись четыре социал-демократические конференции: вторая конференция была проведена также в Тампере в ноябре 1906 г., третья — в Котке в августе 1907 г. и четвертая — в Хельсинки в ноябре того же года. Свои конференции проводили на территории Финляндии и социалисты-революционеры. Одна из них была организована в отеле «Валтио» на Иматре в 1906 г., другая в Тампере в феврале 1907 г.; ее организовал социалист Тимо Корпимаа при помощи местных активистов.²⁰ В Финляндии действовал комитет помощи политическим беженцам, который снабжал скрывавшихся здесь революционеров деньгами, участие в нем принимали, в частности, университетские профессора. Собранные денежные средства секретарь комитета В. М. Смирнов передавал Л. Б. Красину, жившему в Куоккале. В нескольких километрах от Куоккалы, на хуторе Хаапала, весной 1907 г. была основана большевистская лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, которая, однако, была вскоре раскрыта, 11 человек оказались под арестом. В 1908 г. в связи с событиями на хуторе Хаапала был арестован Красин, однако вскоре его пришлось выпустить на свободу за недостаточностью улик.²¹

Среди финских городов и поселков особое место в истории российского революционного движения наряду с Выборгом, Тампере и Куоккалой занимал Терийоки, который после 1905 г. был опорной базой революционеров в Финляндии. Здесь с конца лета 1907 г. располагалась конспиративная дача ЦК РСДРП. В 1906–1907 гг. здесь же проводились конференции петербургской организации партии.²² Кроме того, Терийоки в 1905–1907 гг. был известен как место проведения оппозиционных митингов, на которые приезжали многие петербуржцы. Один из таких митингов, состоявшийся в июне 1907 г., описан в донесении МВД: «4 сего июня в общественном саду у станции Териоки по Финляндской железной дороге состоялся митинг, устроенный по инициативе членов „трудовой группы“, представителей партий социалистов-революционеров, социал-демократов русских и финляндских и финляндской красной гвардии. После обоюдных приветствий толпа, выстроившись у вокзала и подняв красные флаги с разными революционными надписями на русском и финском языках, двинулась к общественному саду с пением „Марсельезы“, „Варшавянки“ и других революционных песен, а проходя мимо финского рабочего дома, остановилась на несколько минут и спела „Интернационал“. <...> Все речи отличались крайне революционным содержанием и почти каждый из ораторов заканчивал свою речь призывом к активной борьбе с правительством, после чего присутствующие аплодировали и кричали: „да здравствует вооруженное восстание“».²³

Финская территория служила не только убежищем для русских революционеров, но и транзитной базой для переправки в Россию революционной литературы. После того как в конце XIX в. стало невозможно использовать прежний путь переправки нелегальной литературы в империю через территорию Польши, революционеры начали искать новый маршрут через Скандинавию. Соответствующие переговоры велись в Лондоне с шведским профсоюзным представителем Ч. Линдли.²⁴ В 1902 г. была налажена транспортировка газеты «Искра» из Стокгольма в Петербург через Финляндию. Основную роль в организации ее перевозки из Швеции сыграли находившиеся в эмиграции в этой стране финские оппозиционеры К. Циллиакус и А. Неовиус, издававшие в Стокгольме газету «Fria Ord» («Свободное слово»), а с российской стороны — упоминавшийся выше В. М. Смирнов, действовавший по поручению Петербургского комитета РСДРП (Ленин в 1905 г. останавливался на квартире Смирнова в Хельсинки; позднее Смирнов организовал проезд через территорию Финляндии делегатов IV и V съездов РСДРП).²⁵ Железнодорожные станции и поселки Карельского перешейка служили перевалочными базами, местами временного хранения литературы. Оттуда нелегальные издания переправлялись в российскую столицу либо через Белоостров, либо через таможенный пост Кирьясало, находившийся на территории имения, сын владелицы которого, Н. Е. Буренин, был участником подпольной революционной работы и близким другом Смирнова.²⁶ Любопытно, что большевистской контрабанде деятельную помощь оказывал тогдашний помощник гельсингфорского полицмейстера Бруно Яландер, позднее в независимой Финляндии занимавший посты губернатора лена Уусимаа и затем министра обороны страны.²⁷

Помимо литературы на территории Финляндии хранились и затем переправлялись в Россию оружие и взрывчатые вещества; известны перевалочные базы оружия в Выборге и Терийоки. При этом отношение финляндских властей к контрабанде оружия было весьма своеобразным. Как отмечалось в одной из сводок МВД о положении в Финляндии, «постановления 9 сентября 1906 и 10 августа 1907 годов, запрещающие ввоз оружия в Финляндию, гельсингфорским ратгаузским судом толкуются лишь в смысле запрещения ввоза собственно оружия; так, К. Рант и В. Войнио, пытавшиеся провезти контрабандно 90 штук револьверных патронов, по постановлению этого суда оправданы и контрабанда им возвращена».²⁸ Бороться с провозом контрабанды служащим белоостровской таможни было крайне непросто, о чем свидетельствует рапорт начальника Петербургского таможенного округа, в котором, в частности, было записано: «Условия пассажирского досмотра поставлены в таможне в самые неблагоприятные условия... Не пассажиры являются в ревизионное помещение с багажом для досмотра, а чиновники производят его, проходя по вагонам, до того переполненным пассажирами и их ручным багажом, что переполненными оказываются не только проходы, но и площадки. При таких условиях необходимо производить досмотр не только багажа, но и самих вагонов, заглядывая под диваны, выдвигая и ощупывая сидения, приподнимая половники, так как, по заявлениям чинов Корпуса жандармов, такими способами может провозиться оружие и нелегальная литература. Все это должно быть проделано в течение 10–20 минутной стоянки поездов, состоящих весьма часто из 20 и более вагонов. Таким образом, на досмотр вагона, при трех досмотровых чиновниках, может быть затрачено в среднем не больше 1 1/2 до 3 минут. Выполнить это, добросовестно досматривая, нет физической возможности, задержать же поезд нельзя ввиду неоднократных письменных и словесных приказаний высшего начальства».²⁹

Во второй половине 1910-х гг., когда у русских социалистов прервались связи с Циллиаксом, «финляндский маршрут» для контрабандных перевозок перестал использоваться, однако вскоре начали предприниматься попытки по его восстановлению. Очевидная такая попытка имела место после начала Первой мировой войны. Осенью 1914 г. А. Шляпников отправился в Стокгольм для налаживания новых связей. Здесь он вошел в контакт с шведскими левыми и умеренными социал-демократами, совершал инспекционные поездки в район шведско-финского и норвежско-финского пограничья. Перевозки через финские порты Турку и Раума с наступлением зимы пришлось прекратить ввиду ледостава и ужесточения военно-полицейского контроля. Летом 1915 г. был, однако, открыт новый маршрут: сухопутным путем через шведско-финскую границу на севере, в районе Хапаранда–Торнио. Шляпникову оказали действенную помощь в организации этого маршрута финские социалисты Адам Лааксонен из Кеми и Ханнес Уксила из Оулу, которые также помогали финским добровольцам перебираться по этому же маршруту в Германию, где в это время формировался финский егерский батальон. Сам Шляпников в октябре 1915 г. использовал этот маршрут для возвращения в Россию. Основным помощником Шляпникова в Финляндии был Карл Виик, который в 1910 г. встречался в Копенгагене с Лениным, состоял в переписке с Александрой Коллонтай (возможно, именно она привлекла его к подпольной деятельности). Поначалу по тайному маршруту перевозилась как большевистская, так и меньшевистская литература, но с 1916 г. предпочтение стало отдаваться большевистским изданиям.³⁰

Подпольные периодические издания не только провозились через территорию Финляндии, но и издавались там. В августе—сентябре 1906 г. в Выборге началось издание большевистских газет «Пролетарий» и «Вперед», которые затем также транспортировались в Россию. Департамент полиции располагал сведениями о том, что русское революционное издание печатается в типографии финской газеты «Тюё», для чего специально были приглашены русские наборщики и приобретен запас русского шрифта (речь шла о газете «Пролетарий»), однако на просьбу департамента принять меры, обращенную к министру статс-секретарю Великого княжества Финляндского А. Ф. Лангофу, он дал характерный ответ: «Выборгский губернатор, с которым я входил по настоящему делу в сношение, сообщает, что хотя местной полицией было произведено тщательное по делу расследование, но никаких обстоятельств, подтверждающих сведения о печатании в упомянутой типографии революционных изданий, установлено не было».³¹ Весьма показательна и история с тайной типографией, обнаруженной в феврале 1907 г. в Гельсингфорсе на квартире инженера В. С. Аланне, в которой печатались подпольная газета «Вестник казармы» и разного рода листовки. Аланне, получив повестку в суд, скрылся из города, а задержанному наборщику, эстонскому уроженцу В. Г. Арману, ратгаузский суд вынес оправдательный приговор. Финляндский генерал-губернатор назвал действия суда «неизвинительной снисходительностью к политическим преступникам».³² В Выборге же осенью 1906 г. издавалась эсеровская газета «Труд». Владелец газеты «Выборгс Нюхетер» Г. Экхольм в 1908 г. был оштрафован за то, что разрешил печатание газет «За народ» и «Вперед» в своей типографии.³³ Позднее, в годы, предшествовавшие революции 1917 г., большевики основали в Гельсингфорсе собственную типографию, печатали здесь и затем перевозили в Петроград еще одну газету — «Волна».³⁴

Сотрудничество русских и финских радикалов проявилось и в Свеаборгском восстании 1906 г. Восстание планировали русские революционные организации, в частности

военная организация большевиков, отделения которой действовали в Хельсинки, Выборге, Лаппеенранте и других финских городах. Основная роль в организации восстания в Свеаборге принадлежала, однако, эсерам, которые настояли на том, чтобы форсировать подготовку к восстанию, тогда как большевики считали его преждевременным. Восстание должно было начаться одновременно в Свеаборге, Кронштадте, Ревеле и на Балтийском флоте, который должен был затем идти в Петербург, чтобы поднять восстание в столице. Восстание части свеаборгского гарнизона произошло 30 (17) июля, к нему также присоединились моряки, расквартированные в казармах на острове Катаянокка (Скатуудден). К восставшим морякам примкнули 250–300 финских красногвардейцев, которые на пароходе были перевезены на один из островов, находившихся в руках восставших, и участвовали в обстреле правительственных частей.³⁵ Красногвардейцы направили своих людей подорвать железнодорожное полотно, чтобы помешать подвозу войск, направленных на подавление восстания. Финны пытались также вести агитацию среди солдат, прибывших в Хельсинки, которая не прекращалась и после подавления восстания.³⁶ Полиция была вынуждена обратиться к военному командованию с просьбой издать приказ, запрещающий военным служащим посещение кафе и ресторанов, в которых они подвергались идеологической обработке.³⁷ Большевистская военная организация продолжала действовать и в дальнейшем, ведя агитацию в войсках, пока аресты в августе 1907 г. не опустошили ее ряды. Однако и в 1908 г. петербургский финн Адольф Тайми, командированный в Финляндию годом ранее Н. К. Крупской, активно работал среди военных моряков. В 1911 г. на некоторых кораблях снова началось брожение, а с начала следующего года «революционный комитет», созданный русским отделением финляндской социал-демократической партии, принялся готовить восстание на флоте.³⁸

Активность русских антиправительственных организаций на территории Финляндии и попустительство по отношению к ним со стороны местных должностных лиц вызывали объяснимое беспокойство имперских властей. Председатель российского правительства и глава МВД П. А. Столыпин 5 (18) декабря 1907 г. обратился с письмом к А. Ф. Лангофу, в котором с тревогой отмечал: «Поступающие уже с 1905 года в Министерство Внутренних Дел сведения свидетельствуют о том, что территория Великого Княжества Финляндского и в особенности Выборгская и Нюландская губернии сделались постоянным убежищем русских революционеров, которые не только занимаются систематически пропагандой среди местных войск, но сформировали там прочные организации для руководства агитацией и подготовки террористических актов в Империи».³⁹ По данным МВД, только за 1907 г. в Терийоки, Куоккале и Тампере было проведено около 15 заседаний и конференций русских социал-демократических и эсеровских организаций. В Финляндии были «организованы и подготовлены до мельчайших подробностей» террористические акты, включая убийство главного военного прокурора генерал-адъютанта Павлова и покушение на военного министра. Петербургская полиция установила «существование в м. Келломяки целого бюро террористов, готовящих убийства... и имевших карточки лиц, принявших на себя совершение политических убийств».⁴⁰ «В то же время, — продолжал Столыпин, — розыскные чиновники, пытаясь продолжать наблюдение за преступниками в пределах Великого Княжества, оказываются в исключительно неблагоприятной обстановке, не только не получая поддержки от местной власти, но встречая от некоторых ее представителей, а затем и от населения, явно враждебное отношение, доходившее уже во многих случаях до открытого

преследования. Благодаря этому, имперское правительство может ныне, на основании непреложных данных тяжелого опыта, констатировать, что во всех случаях, когда русские революционеры пожелают переехать в Финляндию, они делаются недостижимыми в значительно большей мере, нежели при выезде их в одно из иностранных государств, власти коих проявляют гораздо более существенное содействие упорной борьбе русского правительства с революционным движением, нежели органы финляндской администрации». ⁴¹ Когда в ноябре 1910 г. Особое совещание по делам Великого княжества Финляндского под председательством Столыпина поставило вопрос о присоединении части территории Выборгской губернии к России, в числе обстоятельств, диктовавших необходимость переноса границы, назывались потребности борьбы с революционными элементами, «могущими ныне находить себе... безопасное убежище в нескольких десятках верст от С. Петербурга». ⁴² Разработанный специальной комиссией законопроект о передаче в состав коронной России финляндских приходов Кивеннапа (Кивинеб) и Уусикиркко (Новая Кирха) не был, однако, претворен в жизнь.

Под нажимом центра финляндские власти были вынуждены отказаться от прежнего либерализма по отношению к противникам царского режима и продемонстрировать несколько большую активность при их преследовании. А. Ф. Лангоф, реагируя на письмо Столыпина, наметил ряд мер, которые должны были повысить эффективность работы органов охраны правопорядка на территории Великого княжества. Предполагалось «воспретить впредь до времени русским созывать и устраивать совещания, съезды и др. собрания в Финляндии без разрешения генерал-губернатора; вменить в обязанность финляндским властям немедленно принимать меры к удалению из края русских уроженцев, получивших право на пребывание в Финляндии, если от имперских властей поступит сообщение, что эти лица лишаются сказанного права; преобразовать или усилить полицию в Финляндии в такой мере, чтобы она могла с большей быстротой и большим успехом разыскивать русских политических преступников, укрывающихся в Финляндии, иметь за ними неослабное наблюдение, производить обыски и задерживать их». ⁴³ В начале 1908 г. в Финляндии были «предупреждены или закрыты восемь устроенных разными русскими революционными организациями собраний». ⁴⁴ Сообщалось также о произведенных арестах, конфискациях партий нелегальной литературы, обнаружении складов оружия и боеприпасов. Несмотря на это вплоть до 1917 г. территория Финляндии оставалась для русских революционеров более безопасным местом по сравнению с собственно российскими областями, хотя им и пришлось глубже уйти в подполье. Хорошо известно, что В. И. Ленин благополучно скрывался в Финляндии перед тем, как отправиться в Петроград для руководства вооруженным восстанием в октябре 1917 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Smirnov V. Suomi v. 1905 vallankumouksen punaisena selkäpuolena // Bolshevikkien toiminta Suomessa. Petroskoi, 1931.*

² РГИА. Ф. 1276. Оп. 18. Д. 162. Л. 79 об.

³ Финская историческая традиция связывает начало первого «периода угнетения» («sortokausi») с вступлением Н. И. Бобрикова в

должность финляндского генерал-губернатора в 1898 г. и выходом императорского манифеста от 15 февраля 1899 г., поставившего финляндское законодательство под контроль имперского правительства. Осенью 1905 г. в результате всеобщей стачки в Финляндии имперское руководство отменило все постановления, ограничивающие

автономии Великого княжества. Однако в 1910 г. Государственная дума приняла законопроект, знаменовавший собой начало нового наступления на финляндские свободы. Последующие годы оценивались позднее как второй «период угнетения».

⁴ РГИА. Ф. 1405. Оп. 82. Д. 9358. Л. 10–10 об.

⁵ Усыскин Г. С. Военно-революционная организация «Народная воля» в Гельсингфорсе // Санкт-Петербург и страны Северной Европы. СПб., 2003. С. 128–129.

⁶ Там же. Ф. 1405. Оп. 82. Д. 9358. Л. 10–10 об.

⁷ Kujala A. Venäjän sosialistivallankumouksellinen puolue ja Suomen aktivismin synty // Historiallinen Aikakauskirja. 1987. № 2. S. 85.

⁸ Ibid. S. 87.

⁹ Мустонен А. А. Разоблачение тайн: Взаимные отношения революционеров и социалистов в Финляндии. СПб., 1909. С. 44–45.

¹⁰ РГИА. Ф. 1328. Оп. 2. Д. 16. Л. 16–16 об.

¹¹ Там же. Ф. 1361. Оп. 1. Д. 60. Л. 1 об., 3.

¹² Там же. Ф. 1267. Оп. 18. Д. 2. Л. 11е.

¹³ Там же. Ф. 1328. Оп. 2. Д. 16. Л. 2 об.

¹⁴ Там же. Л. 3.

¹⁵ Черменский Е. Д. Буржуазия и царизм в революции 1905–1907 гг. М.; Л., 1939. С. 296–298.

¹⁶ Rislakki J. Hengitimme Suomen kautta // Suomi suuriruhtinaanmaa. Helsinki, 1991. S. 189.

¹⁷ Баумакофф Н., Лейнонен М. Из истории и быта русских в Финляндии 1917–1939 // Studia Slavica Finlandensia. 1989. Т. 7. С. 9.

¹⁸ Rislakki J. Hengitimme Suomen kautta. S. 193.

¹⁹ См., например: Коронен М. М. В. И. Ленин и Финляндия. Л., 1983; Усыскин Г. С. Из революционной истории Карельского перешейка 1820–1920. Л., 1987.

²⁰ Kirby D. Suomi ja Venäjän vallankumouksellinen liike // Historiallinen aikakauskirja. 1970. № 2. S. 110.

²¹ Усыскин Г. С. Из революционной истории Карельского перешейка. С. 163–164; Rislakki J. Hengitimme Suomen kautta. S. 196; Kirby D. Suomi ja Venäjän vallankumouksellinen liike. S. 116; Härmäläinen V. Karjalan kannaksen venäläinen kesäasutus. Tampere, 1983. S. 137.

²² Усыскин Г. С. Из революционной истории Карельского перешейка. С. 188–200, 204–206.

²³ РГИА. Ф. 1328. Оп. 2. Д. 16. Л. 29–29 об.

²⁴ Kirby D. Suomi ja Venäjän vallankumouksellinen liike. S. 108.

²⁵ Kujala A. Suomessa oleskelevat venäläiset vallankumoukselliset ja heidän vaikutuksensa 1890-luvun lopusta vuoteen 1905 // Venäläiset Suomessa 1809–1917. Helsinki, 1984. S. 315; Усыскин Г. С. В. М. Смирнов («Паульсон») в Петербурге, Финляндии и Швеции // Санкт-Петербург и страны Северной Европы. СПб., 2002. С. 41–42.

²⁶ Усыскин Г. С. Из революционной истории Карельского перешейка. С. 121–131.

²⁷ Rislakki J. Hengitimme Suomen kautta. S. 198; Björkengren H. Den ryska posten mellan Petersburg och Norden // Sverige och Petersburg. Vitterhetsakademiens symposium 27–28 april 1987. Stockholm, 1989. S. 53.

²⁸ РГИА. Ф. 1276. Оп. 18. Д. 162. Л. 10 об.

²⁹ Там же. Ф. 146. Оп. 1. Д. 133. Л. 274.

³⁰ Kirby D. Suomi ja Venäjän vallankumouksellinen liike. S. 109; Björkengren H. Den ryska posten mellan Petersburg och Norden. S. 54–55.

³¹ РГИА. Ф. 1361. Оп. 1. Д. 56. Л. 1, 6 об.

³² Там же. Д. 54. Л. 1–3.

³³ Kirby D. Suomi ja Venäjän vallankumouksellinen liike. S. 108.

³⁴ Rislakki J. Hengitimme Suomen kautta. S. 205.

³⁵ РГИА. Ф. 1361. Оп. 1. Д. 52. Л. 9.

³⁶ Восстание было подавлено 2 августа (20 июля).

³⁷ Kirby D. Suomi ja Venäjän vallankumouksellinen liike. S. 110, 113.

³⁸ Ibid. S. 114.

³⁹ РГИА. Ф. 1361. Оп. 1. Д. 59. Л. 1.

⁴⁰ Там же. Л. 1 об.–2 об. Еще раньше, в октябре 1906 г., товарищ министра внутренних дел А. А. Макаров сообщал А. Ф. Лангофу, что получены сведения о том, «что пребывающие в Финляндии революционеры решили организовать злодейское покушение на жизнь священной особы Государя Императора» (Там же. Л. 91).

⁴¹ Там же. Л. 5.

⁴² Там же. Ф. 560. Оп. 26. Д. 921. Л. 52.

⁴³ Там же. Ф. 1361. Оп. 1. Д. 59. Л. 21.

⁴⁴ Там же. Л. 73.

С. К. Лебедев

**ВОКРУГ КРИВОГО РОГА:
А. Л. ЖИВОТОВСКИЙ И ДРУГИЕ В 1920-х гг.**

К середине 1920-х гг. закачались финансовые империи, созданные в период инфляции, вызванной мировой войной. Национализированные было большевиками русские инфляционные группы¹ сумели перевести свои активы за границу и еще долго продолжали спекуляции, слияния и разделения. А. Л. Животовский — один из дельцов инфляционного периода в России (1914–1924), связанного с мировой войной и революцией. Советские политики оказались перед соблазном государственного социализма, поскольку на фоне известного упрощения структуры деловой жизни стала очевидна иерархия, которую возглавляли несколько лиц, овладевших крупными банками и контролировавших через них частную промышленность: А. И. Путилов, К. И. Ярошинский, Г. Д. Лесин, Н. Х. Денисов, И. Н. Стахеев, П. П. Батолин, И. П. Манус и др. Эти плутократы и спекулянты последнего периода существования Российской империи были гомерических размеров концентраторами банков и промышленности подобно Гуго Стиннесу, германскому стальному магнату. И. Ф. Гиндин заметил, что в России в период инфляции анонимный банковский капитал «пасует перед индивидуальным предпринимательским финансовым капиталом основательнее, чем в Германии», где даже Стиннесу не удалось захватить ни одного из крупнейших банков. Гиндин обратил внимание на тенденцию «выдвижения в России финансовых предпринимателей в ущерб влиянию банков», видя в ней начало концернов, ставших значительной силой в Европе в 1920-х гг.² Это явилось следствием того, что в России, где преобладала континентальная модель коммерческого банка, в годы мировой войны стала возможна наибольшая концентрация финансового капитала.

Во время Первой мировой войны А. Л. Животовский вел дела с Русским торгово-промышленным банком (РТПБ), а также за его счет.³ Его даже арестовывали за сотрудничество с врагом.⁴ Он (как и Лесин) был среди информаторов комиссии генерала Н. С. Батюшина, расследовавшей прогерманскую деятельность банкиров.⁵ Е. П. Семенов,⁶ располагавший документами и следивший за деятельностью концентраторов этого периода, указывает, что Ярошинский был побуждаем группой Лесина, Кона, Животовского в своем стремлении покупать все после Февральской революции. Лесин ликвидировал все дела в России и уехал в Стокгольм летом 1917 г.,⁷ туда же, по некоторым сведениям, направились и братья Животовские после прихода большевиков к власти. Если о деятельности Лесина после революции сведения отрывочны, то о Животовском мы знаем больше благодаря сохранившимся документам по делу концессии Кривого Рога (КР). Не задаваясь целью сравнения, взглянем на этот и другие характерные эпизоды, связанные с Животовским, а также с русскими деловыми структурами за границей, олицетворявшими конец прежней банковской системы. Одновременно часть из них стояла у начала экономического взаимодействия нового российского государства с Западом.

В апреле 1918 г. люди, считавшиеся хорошо информированными, заявляли, что большинство акций Русского общества пароходства и торговли (РОПИТ) (черноморских)

было продано немцам синдикатом, во главе которого стоял один из крупных акционеров компании — А. Л. Животовский. Факт тем более важный, что это была полуправительственная организация, основанная при поддержке власти и субсидируемая государством для поощрения национального торгового флота. По уставу, акционеры должны были быть русскими, а директор — адмиралом. Продажа контрольного пакета этой компании передала бы немцам почти весь русский коммерческий флот Черного моря и могла быть расценена как акт государственной измены. Французскому посланнику в Стокгольме новость была подтверждена в Париже в русских промышленных кругах, где она не вызывала сомнения. С сентября 1918 г. французский посланник в Стокгольме вел расследование деталей этой операции, которой он придавал особое значение.⁸ Он выяснил, что контрольный пакет компании действительно находился в руках синдиката, созданного Животовским. В первые месяцы 1918 г. бумаги были предложены датской группе. Когда переговоры стали известны публике, заинтересованные лица, напуганные шумом вокруг этого дела (по слухам, за датчанами стояла германская группа), прервали переговоры и сделали те же предложения американцам. Последнее было отмечено в докладе миссии США в Стокгольме. Пока шли переговоры, немцы заняли порты Черного моря и захватили корабли, что решило вопрос. Таким образом, акции РОПИТ никому не были проданы. Пытались ли люди, предлагавшие эту сделку, как они уверяли, передать суда под гарантию нейтрального флага, чтобы помешать немцам их захватить, или только хотели прибыльной спекуляции? Это вопрос оценки.

Другое дело, вызвавшее большой шум в Париже весной 1918 г., в котором был также замешан Животовский, — продажа германской группе части акций Русско-Азиатского банка.⁹ Речь шла о судьбе пакета акций, выпущенных во время мировой войны (50 тыс.), которые находились в руках русской группы во главе со Стахеевым. Эта группа также приобрела 23 тыс. старых акций банка, принадлежавших Животовскому. Говорили, что 73 тыс. акций были проданы немцам Батолиным, компаньоном Стахеева. Однако некоторые русские финансисты и деловые люди, к которым обращался французский дипломат в ходе своего расследования, утверждали, что, по их сведениям, никаких переговоров на эту тему не было.¹⁰

Парижское отделение РТПБ помещалось на rue Scribe, 11-bis. К. И. Ярошинский, владелец контрольного пакета акций банка, состоял членом совета. Отделение в Париже возглавлял В. Кон, банк имел также отделение в Лондоне, располагавшееся в собственном доме «довольно значительной ценности».¹¹ После национализации правлений коммерческих банков большевиками в декабре 1917 г. отделения в Париже и в Лондоне отказались признавать правление РТПБ, перебравшееся в Париж. В Лондоне правление выиграло суд в Палате лордов (третьей инстанции английского суда), однако за время процесса дом, в котором находилось лондонское отделение РТПБ, оказался проданным, а портфель отделения — пустым. В. Кон продал одному из парижских банков контракт на помещение парижского отделения РТПБ, а вырученные деньги вместе с другими активами отделения обратил на финансирование А. Л. Животовского под акции Общества Криворожских железных руд. Банк рассчитывал вернуть ссуду, после того как Животовский, используя свои родственные связи, получит в СССР концессию на Кривой Рог. В ожидании этого правление РТПБ усиленно реализовывало активы банка. По злому замечанию публициста, члены правления продали «даже стены банка».¹² Действительно, перераспределение собственности в эмиграции происходило

путем присвоения активов, принадлежавших акционерам и кредиторам. Наличие банковских касс поглощали фиктивные учредительство и купля-продажа акций. Остальное уходило после перерегистрации банков во вновь образованные французские общества.

* * *

Бассейн Кривого Рога — один из наиболее богатых минералами в Европе.¹³ Для эксплуатации его железорудных копей в 1881 г. была создана акционерная компания при широком участии парижского банка «Société Générale». Наряду с Обществом Дубовой балки Общество Кривого Рога было крупнейшим производителем железной руды на Юге России, поставляя на рынок также чугунное литье.¹⁴ Предприятие принесло в 1898 г. дивиденд в 10%,¹⁵ огромные прибыли и спекулятивный ажиотаж стали ключевыми факторами для иностранных инвесторов на пике индустриальной горячки перед кризисом начала XX в. В 1911–1913 гг. копи Кривого Рога снабжали почти исключительно Германию (в том числе через границу Силезии и через порт Николаева). Во время Первой мировой войны Германия пыталась через посредничество берлинского банка «Disconto-Gesellschaft» обеспечить контроль над акционерным обществом КР. Для металлургического рынка Германии, импортировавшей в год 6.5 млн тонн железной руды, Кривой Рог был очень важен, тем более что в Швеции были введены ограничения на экспорт сходных минералов, а производительность копей Бильбао в Испании значительно снизилась.

По оценкам крупных французских инженеров, Общество Кривого Рога владело около 41 млн тонн железной руды (с более чем 62%-ным содержанием железа) и 33 млн тонн коксующегося угля. Кроме сырья компания КР имела в портфеле бумаги предприятий, обеспечивавшие ей контроль над всем комплексом средств металлургического производства: прокат труб; железные скрепления; проволочно-гвоздильная фабрика; завод мостовых металлоконструкций, изготовление вагонеток и шахтового оборудования.

До 1919 г. капитал КР составлял 13.5 млн франков (27 тыс. акций по 500 франков). Акции котировались на бирже в Париже, пережив падение в результате кризиса начала века и снизившись во время войны. После 1917 г. рынок этих бумаг не рухнул, так как ожидался новый подъем в связи с попытками возобновить деятельность компании. В июле 1920 г. были выпущены 33 000 новых акций, и капитал компании вырос до 30 млн франков (60 000 акций по 500 франков).

25 000 этих акций принадлежали французским держателям и были распределены среди публики, из 35 000 остальных акций 8000 принадлежали французскому синдикату, а 27 000 — русской группе. Большинство акций русской группы находилось в руках клиента РТПБ А. Л. Животовского, который под их залог получил ссуды в этом банке на 13 млн франков. Отделение РТПБ было вынуждено выдать эти ссуды при следующих обстоятельствах: Животовский имел соглашение с КР на увеличение капитала общества до 6.5 млн франков на 13 000 акций. В момент этого соглашения он сделал первый и значительный взнос наличными, но, не имея возможности «в силу продолжения беспорядка в России реализовать из своих личных активов достаточные суммы для исполнения своих обязательств и не желая терять от них прибыль», он просил РТПБ о ссуде, дав в залог эти акции. Затем он передал банку в подкрепление залога часть из 20 тыс. акций, выпущенных при последующем увеличении капитала КР, представляющую

эквивалент двух пакетов акций, принадлежащих ему и дающих соответственно контроль над двумя заводами, соседними с предприятием Кривого Рога. Животовский заявил, что намерен оставить французским директорам большинство в правлении и что если он будет вынужден продать свои акции, то осуществит эту операцию лишь при посредничестве Парижской биржи.¹⁶

Котировка акций Общества Кривого Рога на Парижской бирже

Год	Французские франки
1898	2000
1899	3100
1900 (кризис)	2050
1912	1530
1913	1525
1914	1300
1915	1025
1916	1125
1917	1300
1918	1015
1919	1035
1920	1660

Источник: *Girault R. Emprunts russes et investissements français en Russie 1887–1914. Paris, 1973. P. 112–113; McKay J. P. Pioneers for Profit: Foreign Entrepreneurship and Russian Industrialization 1885–1913. Chicago, 1970. P. 222; AEF. В 32028.*

Чтобы освободить свои денежные средства, РТПБ пытался продать пакет акций. С тех пор как банк получил предложения Гуго Стиннеса, он дал о них знать французским ведомствам финансов и иностранных дел, которые немедленно заявили, что не могут дать хода этим предложениям, так как их принятие дало бы в руки врагов Франции один из самых крупных железных рудников в мире.

С июня 1921 г. Грюнера, председателя правления КР, вызывали в Фондовую канцелярию Министерства финансов, где Шаль (Chasles), шеф Русского отдела (la Section des Affaires Russes), просил его использовать все средства, чтобы под германский контроль не перешла значительная часть акций Общества. Шаль напомнил Грюнеру, что в противном случае моральная ответственность будет на нем ввиду заверений, которые он дал при эмиссии новых акций о сохранении французского большинства в Обществе (такие же заверения давал и Животовский). В июле Кон, директор РТПБ, дал знать в Фондовую канцелярию Министерства финансов Франции (MGF), что в случае, если французское правительство захотело бы покровительствовать операции, акции могли бы быть переданы надежным покупателям, а именно Русскому для внешней торговли банку и Французскому торгово-промышленному банку (Banque Française pour le Commerce et l'Industrie). Все же в конце 1921 г. РТПБ предложил 12 тыс. акций Кривого Рога из 60 тыс. немецкой инвестиционной группе.¹⁷

В ноябре 1921 г. германская группа намеревалась приобрести бумаги, если правительство Франции заявит о своем отказе от применения параграфа 18 приложения 11

части VIII Версальского договора, где речь шла о возможности применения санкций против Германии. Французское правительство могло вовсе провалить комбинацию. Министр финансов де Ластейри полагал, что Франция намеревается облегчить продажу акций Кривого Рога германской группе и таким образом французское правительство лишило бы себя возможности оказывать давление на Германию. Де Ластейри отметил, что было бы весьма достойно сожаления, если, не найдя покупателя, одобренного правительством Франции, РТПБ «оказался бы не в состоянии реализовать свой залог и попал бы в трудное положение, но это соображение, несмотря на его важность, может считаться второстепенным по сравнению с применением Версальского договора или выполнением условий, поставленных французским правительством при увеличении капитала общества КР. Я бы добавил, — заключил де Ластейри, — что Русский торгово-промышленный банк ни в коей мере не может рассматриваться как французский банк».¹⁸

О том, что Общество КР переходило под контроль германской группы во главе с банком «Disconto-Gesellschaft», свидетельствует переписка министра опустошенных войной территорий, ведомства иностранных дел и посольства Франции в Берлине в ноябре 1921 г., а также МИД и Министерства финансов Франции и РТПБ в марте 1924 г. Высокие чиновники этих ведомств неоднократно встречались с директором РТПБ. Вопрос контроля над Обществом Кривого Рога постоянно переводился в политическую плоскость поддержания зависимости германской металлургической промышленности от Франции в сырьевом отношении. Страх перед германской промышленной мощью пронизывает французские правительственные рассуждения начала 1920-х гг.: побежденная «Германия не отказывается от экономической гегемонии на Востоке.., она обращается к России, Малой Азии, Туркестану, Персии, Центральной Азии, Сибири, Китаю».¹⁹ Опасность для французской политики виделась в планах связать системой железных и водных путей сообщения сырьевые районы через Каспий, Волгу и Черное море с Дунаем и другими реками срединной Европы.²⁰ Вместе с тем соглашение французского сенатора Люберзак из «Société financière et de gérance»²¹ с Гуго Стиннесом 1922 г. (хотя оно и не имело последствий ввиду политического кризиса в связи с оккупацией Рурской области) было одним из свидетельств интеграционных попыток промышленников Германии и Франции на фоне еще не закончившейся политики «экономической войны» и блокады.²² Люберзак был администратором группы, в которую входило «Société Française pour le Commerce avec la Russie et les Pays de l'Europe du Nord».

5 февраля 1923 г. О. Биде (инженер, член правления Общества железомagnetных руд в Мокта-эль-Хадида) и В. Кон (директор парижского филиала РТПБ), представлявшие соответственно интересы французских и русских акционеров КР, встретились с полпредом РСФСР в Лондоне Л. Б. Красиным и заявили о готовности заключить окончательное соглашение по концессии в Москве. До конца июня 1923 г. произошел обмен письмами с агентом Красина в Париже, представлявшим Главконцесском, Скобелевым, действовавшим под фирмой Аркоса. Таким образом, была выработана база для договора. Красин настаивал на том, что правительство СССР не может платить компенсации за возможные повреждения оборудования компании, но что такие компенсации могут быть заменены разрешением эксплуатации месторождений минералов с небольшими обязательствами, понижением налогов и т. п. Оставалось лишь послать на место (Кривой Рог, Орловка, Екатеринослав, Дебальцево и Николаев) экспертов для оценки состояния

рудников и заводов Общества Кривого Рога. Выбор был остановлен на французском гражданине Жане Дюране, который знал русский язык и много лет прожил в России, где служил в Обществе Продуголь. Он ехал вместе с Животовским, «имевшим крупные металлургические интересы в России».²³

18 ноября 1923 г. в берлинской сменовеховской газете «Накануне» появилась статья «Первая французская концессия в России», в которой сообщалось, что «Общество криворожских рудников получает концессию на эксплуатацию рудных и угольных богатств Криворожского района и нескольких металлургических заводов... Значение концессии не только в предстоящем с весны будущего года возобновлении деятельности богатейших Криворожских рудников, угольных шахт и заводов, но и в том, что эта концессия, не уступающая по своим размерам Урквартовской, которая, как известно, не ратифицирована Советским правительством, является первой крупной производственной концессией французского капитала... А. Л. Животовский, везет в Париж ратифицированный Совнаркомом договор о концессии в Кривом Роге».²⁴

В Париже следили за судьбой дела в советских инстанциях. В августе 1923 г., после того как Животовский «уже как полтора месяца назад покинул Париж», деловая пресса называла его «серым кардиналом (l'émipence grise) этого дела».²⁵ 4 сентября сообщалось, что Животовский добился позитивного решения «в первых трех советских комиссиях». Дело находилось «на последней стадии, в комиссии под председательством Пятакова».²⁶ В конце месяца, по сведениям газеты «Cote de la Bourse et de la Banque», соглашение с Советами в принципе было достигнуто, и окончательный контракт находился в стадии подписания.²⁷ Но Животовский еще в ноябре оставался в Москве, откуда вернулся только в начале декабря и без договора. Все же в конце декабря, по сообщению одного «финансиста, прибывшего из Москвы» в Ригу, Животовский вновь был в советской столице, и, якобы, ему удалось достичь согласия на 40-летний срок концессии, передачу СССР половины процента произведенной продукции и на неограниченную свободу экспорта.²⁸

В январе 1924 г. Кон вел переписку с французским МИД о переговорах РТПБ и Животовского с советским правительством об обществе КР. В начале марта на аудиенции у де Перетти де ла Рокка, директора политического отдела Министерства иностранных дел, Кону и Животовскому было заявлено, что Министерство финансов просило МИД обратиться к концессионерам КР, чтобы преобладание французских членов в Обществе было сохранено после получения концессии. Оба министерства просили Кона сделать все необходимое, чтобы сохранить французское преобладание.²⁹ Со своей стороны Кон и Животовский заявляли, что удовлетворить Министерство финансов и МИД (сохранить контрольный пакет КР во Франции) возможно, лишь продлевая ссуды для РТПБ. Речь шла о репорте 2 млн франков на 6–9 месяцев. С этой целью Кон связался с банком «Bauer, Marchal et Cie»,³⁰ который согласился изучить комбинацию, чтобы прийти на помощь РТПБ при условии, что Министерство финансов или МИД попросит его об этом.

18 января 1924 г. Р. Пуанкаре представил министру финансов проекты контракта по концессии копей Кривого Рога и просил предоставить квалифицированных защитников французских интересов «ввиду теперешних переговоров с Советами». Было известно, что советская сторона не подпишет контракт, если концессионеры не внесут по меньшей мере 10 млн франков на расходы. Банк «Bauer, Marchal et Cie» был готов

сформировать вспомогательное общество, которое соберет капитал и письменно обязуется предложить правлению КР «опцион первого ранга» для создания этой (вспомогательной) компании. Грюнер заявил также, что в день подписания контракта с советским правительством компания может обратиться в Министерство финансов Франции с прошением об экспорте капитала.³¹ На что министр финансов заметил: «Разумеется, такое прошение не могло быть удовлетворено, даже если бы оно исходило от французского правления». Правительство Франции неизменно требовало возврата дореволюционных долгов, и рассуждения министра финансов облекались в формулу: «...если политическое и экономическое положение России позволит учесть известное вознаграждение капиталов, вложенных в промышленные дела». Не отрицалась и возможность принятия предложения, поскольку в случае отклонения Францией предполагаемой комбинации, «есть много шансов, что Советы реализуют ее с германской группой».³² Угроза сделок с немцами русских банков в Париже и советских учреждений была постоянным козырем, который использовался в игре русских банкиров с французскими ведомствами.

Вообще, дело встречало массу препятствий внешне- и внутривнутриполитического свойства, несмотря на то (а, возможно, и отчасти из-за того), что А. Л. Животовский был родственником наркомвоенмора Л. Д. Троцкого, а также зампреда СНК и председателя Моссовета Л. Б. Каменева.³³ В СССР весной 1924 г. опцион по концессии на Кривой Рог, данный Кону и Биде, не был возобновлен и прошли аресты лиц, которые были в контакте с Животовским во время его последней поездки в Москву.³⁴ Р. Пуанкаре, премьер-министр и министр иностранных дел, в письме министру финансов 18 мая 1924 г. подчеркнул, что французское правительство придавало большое значение делу о Криворожской концессии «как из видов на будущее экономических отношений с Россией, так и из противодействия немецким попыткам взяться за эксплуатацию Кривого Рога». Глава кабинета обратил внимание, что переговоры с французской стороны вели не администраторы компании, но представители группы акционеров, собранной, кажется, по этому случаю. Среди этих представителей — польский подданный (*ressortissant*) Ладислас Кон и русский беженец Животовский, названный в контракте о концессии «товарищ Абрам Животовский» (*le camarade Abraham Givatovsky*). Главу кабинета не устраивала и формулировка о возможности перехода прав собственности компании в пользу СССР до истечения 50-летнего срока.³⁵

9 апреля 1924 г., перед отъездом в Москву на переговоры с правительством СССР об обществе КР, Животовский в сопровождении Кона явился в МИД с запиской обоим французским ведомствам. Кон и Животовский просили «от имени правительства указать г-ну Бауэру (банк «Bauer, Marchal et Cie») на необходимость операции в национальных интересах» (при предоставлении в пользу РТПБ репорта на 2 млн фр. на 6–9 месяцев).³⁶ В МИД просителям было в устной форме заявлено, что дело находится в компетенции Министерства финансов. Р. Пуанкаре полагал, что правительству не следовало уступать просьбе. «Кон и Животовский не могут не знать, что наши оба департамента (МИД и МФ. — С. Л.) внимательно следят за развитием дела КР. Они отлично знают, что правительство испытало бы живое разочарование в случае ослабления французского влияния, преобладавшего до сих пор. Но из этого не следует, что правительство может отойти от сдержанности по отношению к частным делам и что оно должно принять инициативу, составляющую вмешательство в деятельность общества. Именно заинтересованным

лицам следует распорядиться в соответствии с национальными интересами, если они хотят учесть озабоченность французского правительства».³⁷ Пуанкаре был удивлен. Мы же заметим, что Кон и Животовский вели себя с французским правительством по привычной схеме отношений предпринимателя и власти в России, прикрывая казенным интересом свои частные дела.

Продажа группе Стиннеса акций Животовского означала бы передачу контроля над делом в германские руки. Де Нерво, вице-президент Общества КР, нанес визит в Министерство финансов, чтобы узнать мнение французского правительства о соглашении его группы с германской группой. 11 мая 1925 г. де Нерво сообщил в МИД о переговорах Животовского с группой Стиннеса о продаже этой группе акций Кривого Рога, принадлежавших Животовскому и депонированных в качестве залога в РТПБ.

В то же время Стиннесу «понравилось предложение» французов создать франко-германскую ассоциацию с равенством интересов ввиду практической эксплуатации предприятий КР. Для Франции это была попытка сотрудничества с бывшим врагом в третьих странах, что означало бы отказ от политики блокады. Главная забота ведомств иностранных дел и финансов Франции в этот период — сохранить французское преобладание в компании и после ее реорганизации с германским участием. Но детального единого правительственного плана, по-видимому, не было. МИД Франции признавал невозможным избежать частичного перехода концессии в германские руки, и франко-германское урегулирование позволило бы избежать германского контроля над обществом. Чтобы провести комбинацию такого рода, было необходимо новое увеличение капитала после уступки части акций русской группы. МИД предположил, что будут выпущены и распределены между французской и германской группами «многоголосые акции». Новые акции, переданные французской группе, остались бы блокированными во Франции. Вообще, МИД полагал, что заключенные французской и германской группами соглашения следовало приветствовать. Однако на соответствующем абзаце стоит резолюция министра финансов: «Нет».³⁸ Возможно, перед нами реакция французской бюрократии на план Стиннеса. Для России, вступившей на путь социального эксперимента, не было недостатка в планах не только изнутри, но и извне.³⁹

Идея международного консорциума для экономического проникновения в Россию принадлежала Г. Стиннесу, В. Ратенау и Ф. Дейчу, генеральному директору электротехнической фирмы АЭГ. Смысл плана Стиннеса 1921 г.⁴⁰ сводился к включению России в систему международного разделения труда в качестве сырьевого придатка,⁴¹ ибо «русская индустрия, как продукт искусственной политики, уже уничтожена войной и революцией». Политика индустриализации до 1917 г. при содействии европейских стран была признана отступлением от здоровых начал разделения труда, поскольку Россия закрывалась для ввоза, а протекционизм ложился бременем на мужика, уменьшая производительность земельного труда. О необходимости восстановления экономики России как подспорья экономического восстановления Европы неоднократно говорил и Д. Ллойд-Джордж.⁴²

За год, с октября 1924 г. по октябрь 1925 г., советское правительство частично эксплуатировало предприятие КР с уровнем добычи около 20% довоенного производства. Переговоры о концессии продолжались и в начале 1926 г., правда, уже без В. Кона, ушедшего в отставку с поста администратора компании 23 декабря 1925 г.⁴³ Уже минул год, как было достигнуто соглашение Животовского о концессии с советским прави-

тельством и акционеры КР с ним согласились, но ратификации в СССР так и не произошло. Позднее само советское правительство предложило другой проект соглашения, но значительно менее либеральный, чем предыдущий. На этой основе правление компании продолжало переговоры с целью сблизить пункты проекта с прежним соглашением. Переговоры о судьбе КР повели также немцы и американцы,⁴⁴ причем германская комбинация казалась «рациональной» французским капиталистам.⁴⁵ Все же вопрос о концессии так и не был решен.⁴⁶

В самой Германии со второй половины 1924 г. до лета 1925 г. ощущался временный перерыв в притоке американских займов, Рейхсбанк и другие банки делали более строгими условия кредитов. На этом фоне в деловом мире серьезное беспокойство вызвала новость, что концерн Стиннеса, который после смерти основателя в апреле 1924 г. управлялся его наследниками, оказался перед крахом и ликвидацией консорциумом крупных банков. Это были признаки серьезного «стабилизационного кризиса» в Германии, наступившего осенью 1925 г. и продолжавшегося до весны 1926 г.,⁴⁷ важной составной частью которого стали финансовые затруднения Стиннеса.

Действительно, состояния, возникшие в период инфляции распались в эпоху стабилизации европейских экономик к середине 1920-х гг. Часть инфляционных капиталов, созданных в период мировой войны и революции в России, как уже говорилось, удалось вывезти за границу, и они не были национализированы большевиками. Владельцы пытались их консолидировать и заставить работать в новых условиях. Один Животовский ввез во Францию 26 млн франков. Проблема концессий — проблема прямых иностранных инвестиций в экономику послереволюционной России. Вопрос о русских частных инвестициях за границей (до середины 1920-х гг., времени юридического признания СССР) примыкает также к проблеме русских государственных активов за границей после войны.⁴⁸

Взамен первоклассных финансовых фирм и групп, имевших дело с дореволюционной Россией, посредниками и агентами возобновления экономических отношений стали люди с весьма размытыми деловыми принципами, прошедшие школу предпринимательства в период войны и экономической блокады, т. е. в пору инфляции и гиперинфляции. Эти предприниматели познали опыт большевистской национализации, обернувшейся конфискацией. «Братья Ротшильд» отказались от корреспондентских отношений с советскими банками. Их место заняли посредники с сомнительной репутацией, такие как французский банк «Bauer, Marchal et Cie», который с октября 1923 г. стал корреспондентом Госбанка СССР в Париже. Расчет директоров РТПБ был на возобновление старого дела, на получение концессий от советского правительства в Кривом Роге.⁴⁹ Курсы акций компании вздувались перед поездками Животовского в Москву.

Россия потеряла статус великой державы. Ее государственный кредит понес невосполнимые потери. Вопрос о международных финансово-экономических расчетах после Первой мировой войны не был урегулирован в отношении России и СССР в полной мере, что имело далеко идущие последствия, в том числе в упомянутых выше планах деиндустриализации, где речь шла лишь о восстановлении земледелия и добычи руды. «Измена» России Антанте вызывала во Франции советофобию и стимулировала в 1920-е гг. дружбу с США. Лидеры русской эмиграции в эпоху «германофилии Советов» думали о разжигании германофобии во Франции, указывая, что план Стиннеса поможет создать новую Германию, которая в союзе с Россией станет хозяином Европы.

Вопрос, казалось, состоял в том, какую помощь большевизму и на какое время создаст солидарность Германии с Англией. Заметим, что С. Н. Третьяков (бывший член Временного правительства, министр торговли и промышленности омского правительства А. В. Колчака, с 1921 г. заместитель председателя Российского торгово-промышленного и финансового союза) признал в 1929 г., что «эмиграция потеряла какое-либо значение в смысле борьбы с Советской властью и в смысле влияния на политику иностранных государств».⁵⁰ Однако фикции новой стадии национализма в Европе, создаваемые с разных сторон, не могли не сыграть деструктивной роли между мировыми войнами.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Инфляционные группы изучались И. Ф. Гиндиным, Л. Е. Шепелевым, Т. М. Китаниной, Б. В. Ананьичем, А. А. Фурсенко, Ю. А. Петровым (см. ссылки на литературу в статьях: *Фурсенко А. А.* Концерн К. Ярошинского в 1917–1918 гг. // Проблемы социально-экономической истории России. СПб., 1991. С. 265–287; Конец «русского Вандербильта» // Проблемы социально-экономической и политической истории России XIX–XX веков. СПб., 1999. С. 333–337).

² *Гиндин И. Ф.* Банки и экономическая политика в России (XIX—начало XX в.). Избранное: Очерки истории и типологии русских банков. М., 1997. С. 113, 184, 223.

³ См. сумму операций Животовского в 1917 г.: *Гиндин И. Ф.* Банки и экономическая политика в России. С. 381. Тогда Животовский боролся, в частности, за контроль над Соединенным банком, но неудачно, о чем писал Е. Л. Грановский, ссылаясь на неопубликованную книгу Х. Раппопорта (*Грановский Е. Л.* Монополистический капитализм в России. Л., 1929. С. 84); *Островский А. В.* О родственниках Л. Троцкого по материнской линии // Из глубины времен. СПб., 1995. Вып. 4. С. 105–129.

⁴ РТПБ был обвинен в товарных сделках с Германией через Стокгольм, в связи с чем в конце января 1915 г. покончил с собой председатель правления В. П. Зуров (см.: Совет Министров Российской империи в годы Первой мировой войны: Бумаги А. Яхонтова (Записи заседаний и переписка) / Сост. Р. Ш. Ганелин, С. В. Куликов, М. Ф. Флоринский. СПб., 1999. С. 122).

⁵ *Семенов Е.* Русские банки за границей и большевики: (Из анкеты). Париж, 1926. С. 27;

см. также: *Куликов С. В.* Бюрократическая элита Российской империи накануне падения старого порядка (1914–1917). Рязань, 2004. С. 211, 320, 376.

⁶ Псевдоним С. М. Когана, журналиста и публициста, выступавшего также под псевдонимом Т. Veritas. До революции он был корреспондентом русских газет в Париже, писал о культуре, революции, по вопросу женской эмансипации. Его французская книга 1906 г. о погромах вышла с предисловием А. Франса. Он был сотрудником «Вечернего времени» в Петрограде, летом 1917 г. заведовал редакцией «Демократического издательства», в феврале 1918 г. передал Э. Сиссену более 50 документов, разоблачавших вождей большевиков как германских агентов. В 1925–1926 гг. он вел борьбу в печати с франко-русскими банкирами, расточавшими русские государственные и частные активы в филиалах русских банков за границей.

⁷ Кредит и банки в России до начала XX века: Санкт-Петербург и Москва. СПб., 2005. С. 507.

⁸ Стокгольм занимал исключительное место в осуществлении Францией политики блокады Германии и ее союзников на последнем этапе Первой мировой войны, став важным центром торгово-спекулятивной активности старой буржуазии периода инфляции и новой просоветской и просто советской буржуазии и чиновников-«комиссаров» (что видно по французским архивам; см. также: *Кан А. С.* 1) Питерцы Стокгольма на переломе эпох // История Петербурга. 2005. № 4 (26) С. 16–19; 2) Швеция и Россия в прошлом и настоящем. М., 1999).

⁹ См.: *Беляев С. Г.* 1) Русско-Азиатский банк в эмиграции. 1918–1928 гг. // Страницы российской истории: Проблемы, события, люди: Сб. статей в честь Б. В. Ананьича. СПб., 2003. С. 33–40; 2) Россия и Франция: Финансовое партнерство в 1910–1920-х гг. // Экономическая история: Ежегодник. 2005. М., 2005. С. 29–44. Прежде, с 1912 г., РТПБ находился в сфере влияния Русско-Азиатского банка, как отмечают В. Бовыкин и Ю. Петров со ссылкой на С. Л. Ронина в кн.: *Бовыкин В., Петров Ю.* Коммерческие банки Российской империи. М., 1995. С. 151.

¹⁰ Note sur les achats de titres russes effectués par les Allemands et les Anglais dans le courant de 1918. Стокгольм, 17 февраля 1919 г. (Archives économiques et financières (AEF). В 31977. Р. 2–4).

¹¹ *Семенов Е.* Русские банки за границей... С. 60.

¹² Там же. С. 60–63.

¹³ Записка «Société anonyme des minerais de fer de Krivoi-Rog», 27 мая 1925 г. (AEF. В 32028).

¹⁴ *McKay J. P.* Pioneers for Profit: Foreign Entrepreneurship and Russian Industrialization 1885–1913. Chicago, 1970. Р. 357.

¹⁵ В то время другие компании платили и больше: Днепровское металлургическое общество — 40%, Гута Банкова — 20, Общество Дубовой балки — 15 (Ibid. Р. 222).

¹⁶ РТПБ — Председателю Совета министров, министру иностранных дел 21 ноября 1921 г. (AEF. В 32028).

¹⁷ Там же.

¹⁸ Министр финансов Ш. де Ластейри — премьер-министру, министру иностранных дел Р. Пуанкаре 12 января 1923 г. (AEF. В 32028).

¹⁹ Справки французской армейской разведки о блокаде и экономической войне, № 50 [апрель–май 1920 г.] // Politisches Archiv des Auswaertigen Amtes. Bonn (PA). Paris. 788a.

²⁰ Там же.

²¹ Находился по соседству с РТПБ, по адресу 7, rue Scribe.

²² Блокада вступила в новую фазу весной 1920 г. с появлением британского флота на Балтийском море, когда «впервые стало возможным препятствовать торговле Германии через Балтику». Межсоюзнический комитет по блокаде в Лондоне решил, что судоходство нейтральных

стран в Германию должно производиться с разрешения Межсоюзнического комитета по торговле в Копенгагене, Стокгольме и в Христиании (РА. Paris. 788a).

²³ Копии писем: Ж. Биде и В. Кона — Л. Красину 5 февраля 1923; Скобелева — Ж. Биде и В. Кону 24 мая 1923 г.; их ответ 18 июня 1923 г. (AEF. В 32028).

²⁴ Цит. по: *Островский А. В.* О родственниках Л. Троцкого по материнской линии. С. 125.

²⁵ Agence économique et financière. 1923. 21.08.

²⁶ Ibid. 1923. 04.09.

²⁷ Ibid. 1923. 28.09.

²⁸ Ibid. 1923. 14.11; 12.12; 29.12.

²⁹ С 1921 г. Кон, по его словам, предпринимал меры, чтобы «ось этого дела оставалась во Франции», ссылаясь на обширную переписку с МИД о многочисленных в свое время собраниях с Лушером (Loucheur), министром опустошенных войной районов, и Думе (Doumer), министром финансов.

³⁰ Первоначально этот дом специализировался на турецких делах (*Hogenhuis-Seliverstoff A.* Les relations franco-soviétiques 1917–1924. Paris, 1981. Р. 220). Банк вел дела и с Советской Россией. Сам Кон, оставаясь директором отделения РТПБ в Париже, служил (вероятно, после 1923 г.) в советском банке (бывшем банке Высоцкого) на Avenue de l'Opéra (*Семенов Е.* Русские банки за границей... С. 62, 63). См. также: *Беляев С. Г.* Русско-Азиатский банк в эмиграции. С. 37, 40. «Лондонский банк Высоцких лопнул зимой (1925/26 г. — С. Л.), а парижский банк они продали большевикам!» (*Zenker A.* Geschäftiges Russland. Erinnerungen eines Bankiers — nach Briefen von 1926 / Hrsg., komment. W. Sartor. St. Petersburg, 2004. S. 112–113).

³¹ Министр финансов Ш. де Ластейри — Р. Пуанкаре, премьер-министру, министру иностранных дел 9 февраля 1924 г. (AEF. В 32028).

³² Там же.

³³ Материалы французских архивов и сообщения в эмигрантской печати о родственных связях братьев Животовских с Л. Д. Троцким подтверждают и родственники Л. Д. Троцкого. А. В. Островский отмечает, однако, что вопрос о степени родства остается открытым (*Островский А. В.* О родственниках Л. Троцкого. С. 125).

³⁴ Agence économique et financière. 1924. 01.05.

³⁵ АЕФ. В 32028.

³⁶ Записка от 9 апреля 1924 г. (АЕФ. В 32028).

³⁷ Р. Пуанкаре — министру финансов 18 апреля 1924 г. (АЕФ. В 32028).

³⁸ Министр иностранных дел — министру финансов 14 мая 1925 г. (АЕФ. В 32028).

³⁹ Один из них изложил Поль Клодель, известный писатель, а тогда посланник Франции в Копенгагене, в письме Филиппу Берглю, директору Политического и торгового отдела МИД Франции 18 января 1920 г. России, без сантиментов по поводу старого союзничества, предлагался полуколониальный рецепт, опробованный в Китае: гуманитарный и санитарный контроль; создание не посольства, а «французского экономического бюро»; ремонт железных дорог. Советское правительство взамен должно было признать долги России и принять меры к освобождению заключенных; в течение многих лет торговли с Россией осуществлялась бы лишь в малом числе *открытых портов*, под международным управлением смешанных трибуналов, что было необходимо «там, где контактируют две совершенно различные цивилизации». Союзники получали бы отчисления и контроль над таможенными для постепенного возвращения долгов. В качестве открытых портов предлагались Петроград (особый квартал), Одесса, Таганрог, Новороссийск и т. д. (*Rémy P.-J. Trésors et secrets du Quai d'Orsay: Une histoire inédite de la diplomatie française.* [Paris], 2002. P. 721–724). Удивительно, но китайская реминисценция попала даже в «китайскую» опечатку написания Кривого Рога в делах МИД: Kri-voï-Rog (Р. Пуанкаре — Кону 4 марта 1924 г. (в копии 9 апреля 1924 г.) — АЕФ. В 32028). Клодель писал: «Русский крестьянин нуждается в четырех вещах: в земле для производства зерна, в складах для хранения своего зерна, в железных дорогах для его перевозки и в мире и безопасности» (*Rémy P.-J. Trésors et secrets du Quai d'Orsay.* P. 724).

⁴⁰ Маклаков—Бахметеву 13 декабря 1921 г. // «Совершенно лично и доверительно!»; Б. А. Бахметев—В. А. Маклаков. Переписка. 1919–1951: В 3 т. Т. 2: Сентябрь 1921—май 1923 / Под ред. О. В. Будницкого. М., 2002. С. 115–117.

⁴¹ Прежде всего Германии, которая платила репарации победителям.

⁴² В декабре 1921 г. Стиннес обсуждал вопрос о консорциуме в Лондоне, но без видимого успеха (комментарий О. В. Будницкого) («Совершенно лично и доверительно!». Т. 2. С. 594–595).

⁴³ Agence économique et financière. 1925. 24.12.

⁴⁴ Ibid. 1925. 17.12; 28.12.

⁴⁵ Information financière. 1926. 05.01. Прежде РТПБ мог отдавать должное желанию французского правительства сохранять французское преобладание в КР. Но, ослабнув к весне 1925 г., банк не мог продолжать прежнюю профранцузскую линию. Министру финансов РТПБ предлагал одобрить обращение к финансовому учреждению, способному взять в залог большинство акций КР, либо к французской металлургии, чтобы она приобрела контроль над Обществом КР.

⁴⁶ О влиянии внутривнутриполитической борьбы на судьбы концессий в связи с изменениями внешнеторгово-политического курса СССР см. труды В. А. Шишкина: 1) Советское государство и страны Запада в 1917–1923 гг.: Очерки истории становления экономических отношений. Л., 1969; 2) В. И. Ленин и внешнеэкономическая политика Советского государства (1917–1923). Л., 1977; 3) «Полоса признаний» и внешнеэкономическая политика СССР (1924–1928). Л., 1983; 4) Цена признания: СССР и страны Запада в поисках компромисса (1924–1929). СПб., 1991.

⁴⁷ Die Deutsche Bank. München, 1995. S. 225. Гуго Стиннес умер 10 апреля 1924 г. в возрасте 54 лет. Старшие сыновья и вдова вели экспансионистскую политику отца до июня 1925 г., когда не смогли продолжать платежи. В 1925 г. уже были проданы крупные пакеты акций из ликвидационной массы Стиннеса, пока в конце 1926 г. Гуго Стиннес-младший смог получить заем у американцев и покрыть остаток долгов в марках и консолидировать концерн Стиннеса (*Seidenzahl F. 100 Jahre Deutsche Bank.* Frankfurt a./M., 1970. S. 274–281).

⁴⁸ См. о проблеме русских государственных активов во Франции: *Лебедев С. Л.* Е. Hoskier & Cie — банкир русского правительства во Франции // Проблемы всемирной истории. СПб., 2000. С. 250–251.

⁴⁹ В течение лета и осени 2005 г. решалась судьба комбината «Криворожсталь», денационализированного было прежним правительством Украины, а затем вновь выставленного украинским государством на торги. Среди интересовавшихся этим делом был Б. Березовский, один из героев новой русской приватизации, плутократ, обосновавшийся в Лондоне. 24 октября 2005 г. состоялся новый аукцион, победителем которого стала западноевропейская стальная группа «Миттелстил».

⁵⁰ Цит. по: Российские предприниматели в начале XX века: По материалам Торгово-промышленного и финансового союза в Париже: Публикация документов / Сост. Ю. А. Петров, М. К. Шацкило. М., 2004. С. 270. Составители публикации поставили в конце последнего

пассажа знак вопроса, однако аспект влияния на политику держав в интересах будущей свободной России был важнейшим стимулом деятельности в эмиграции представителей всех русских небольшевистских правительств. Мы это знаем по активности финансового агента в Париже А. Г. Рафаловича (см.: *Лебедев С. К. Е. Hoskier & Cie* — банкир русского правительства во Франции. С. 242—255), по переписке дипломатов («Совершенно лично и доверительно!»). Близкие мотивы были и у деятелей царского режима, переписывавшихся в эмиграции о судьбе империи (см.: Совет Министров Российской империи в годы Первой мировой войны: Бумаги А. Яхонтова (Записи заседаний и переписка)).

В. А. Шишкин

К ИСТОРИИ ПЕРВОГО ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОГО КРИЗИСА ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ РОССИИ И ЗАПАДА (АНГЛО-СОВЕТСКИЙ КОНФЛИКТ 1927 г.)

В 1926-м и первой половине 1927 г. наблюдался относительно либеральный курс советского правительства особенно по отношению к крестьянству (продолжение нэпа в новых условиях: разрешение арендовать землю зажиточным крестьянам и кулакам, чтобы стимулировать рост производства зерновых и других сельскохозяйственных культур; легальный наем дополнительной рабочей силы состоятельными середняками, иначе говоря, снятие препон для батрачества малоимущих и малоземельных крестьян; ликвидация запрета на покупку сельскохозяйственных машин, опять-таки способствовавшая прежде всего укреплению зажиточных хозяйств; получение значительно больших возможностей участвовать в выборах в местные, сельские и поселковые советы и т. п.).

Однако этот неонэп продолжался сравнительно недолго, точнее до хлебозаготовительной кампании зимы 1927/28 г., когда были введены самые жесткие карательные меры вплоть до применения к середнякам и кулакам статей уголовного кодекса для изъятия у них «хлебных излишков», что объяснялось необходимостью накормить рабочих в городах и красноармейцев.

На деле же страна столкнулась с острым экономическим кризисом: предметы первой необходимости, поставляемые промышленностью, были крайне скудны, цены на хлеб, сдаваемый или отбираемый у сельского населения, были искусственно занижены. В результате крестьянин не мог получить за свой хлеб и другие продовольственные товары не только денежного эквивалента в товарной массе, но зачастую у него просто очищали закрома, не давая ничего взамен.

Все это способствовало ужесточению партийно-государственной политики, росту недовольства крестьянского населения и переходу к авторитаризму более крутыми методами, чем первоначально предполагали правители России.

Одним из поводов для такого жесткого и быстрого перехода к авторитаризму следует считать и резкое обострение отношений с капиталистическими странами, прежде всего с Великобританией (при нежелании идти на серьезные политико-экономические уступки), которую правящие круги России рассматривали как внешнего врага, способного даже начать войну против советской России. Хотя эти страхи, как показывает серьезное изучение всего комплекса документов этого времени, и были несостоятельны, необоснованны и преувеличены, действия консервативных кругов правительства Великобритании играли на руку сталинскому руководству, способствовали утверждению генсеком авторитарного режима в России. Они, кроме того, давали повод закручивать гайки внутри страны под предлогом близящейся военной опасности, грозившей в 1927 г. со стороны правящих кругов Англии и ряда других стран.

Рассмотрение внешнеполитического аспекта с привлечением материалов о внутреннем и внутрипартийном развитии страны, обостренного ее международным положением, позволяет дать более полную картину, которую также дополняют новыми фактами материалы и донесения ряда иностранных дипломатов — очевидцев событий.

Утверждение сталинского авторитарного режима произошло при невольном содействии британских консервативных кругов, которые, по наблюдениям чехословацкого посланника в Лондоне Яна Масарика, делали все возможное, чтобы обострить до предела англо-советские отношения, взвинтить их напряженность до крайней точки кипения и создать невозможность возврата к нормальному, спокойному и умеренному буржуазно-либеральному политическому курсу в отношении России.

Даже попытки премьер-министра Великобритании и министра иностранных дел (соответственно С. Болдуина и О. Чемберлена) как-то умерить пыл лидеров консерваторов в этом процессе не привели к существенным результатам. В итоге с 1924 г. (заключение договора о взаимном признании де-юре) стороны неуклонно двигались к разобщению и близящейся катастрофе. В этих условиях какие-либо попытки российской дипломатии, включая энергичную деятельность в 1926 г. прежде всего по нормализации экономических взаимоотношений двух стран, не могли поставить предел надвигавшемуся разрыву. Этому также помешали тяжелая болезнь и смерть Л. Б. Красина в ноябре 1926 г., вследствие чего ситуация обострилась до последней степени.

По мнению Я. Масарика, прибытие Л. Б. Красина в Лондон еще могло сыграть позитивную роль в улучшении англо-советских отношений и, возможно, предотвратить разрыв, ускоривший поворот Сталина к установлению авторитарного режима в России, давшего понять, что все предпринятые советским правительством меры по улучшению торгово-политических отношений оказались тщетными.

Отношения между Великобританией и Россией все больше ухудшались, начиная с провала переговоров лейбористского правительства Макдональда с советскими представителями (Раковским, Красиным) в 1924 г. После победы на очередных парламентских выборах консерваторы стремились к разрыву политико-дипломатических отношений. Все соглашения 1924 г. между Россией и этим кабинетом, открывавшие некоторый путь для решения проблемы уплаты долгов царского и Временного правительств бывшим британским собственникам в России, как и возмещение дореволюционных

английских инвестиций в этой стране, предусматривали еще длительную процедуру соглашений и переговоров с самими бывшими собственниками или держателями акций.

Следует также отметить, что торговые отношения между двумя странами после взаимного признания де-юре несколько улучшились, но политические отношения становились все более напряженными, хотя и не грозили опасностью немедленной войны, о чем многократно заявляли правящие круги и средства массовой информации СССР.

Военная же угроза в это время трактовалась как возможное вторжение или нападение ряда западных стран, возглавляемых Англией, на Советское государство, приступившее к строительству социализма. Кроме того, в СССР вызывала тревогу все усиливавшаяся антисоветская пропаганда, в том числе и касающаяся таких важных для послереволюционной России способов торговли, как кредиты, преимущественно долгосрочные, в особенности займы, необходимые для восстановления и модернизации экономики.

Хотя шумная кампания британских консервативных кругов относительно несостоятельности «Советов» в отношении оплаты любых кредитов неуклонно нарастала с 1924 по 1927 г., под ней не было сколько-нибудь реальной основы, ибо даже на вопрос в парламенте министр торговли вынужден был признать, что ему неизвестно ни одного случая, когда обязательства русских обществ не были бы выполнены.¹ Если краткосрочные кредиты в Великобритании стали для советских внешнеторговых организаций достаточно обыденными и постоянными, то долгосрочное кредитование встретилось с огромными трудностями. Его реализация воспринималась скорее как вопрос отдаленного будущего, а не обычной торговой практики. Долгосрочное кредитование в эти годы становилось для Великобритании и ее правящих кругов политической картой в затяжной игре урегулирования всего комплекса англо-российских отношений. Полное признание всех довоенных долгов прежних русских правительств и возмещение или реституция бывшей британской собственности в России были краеугольным камнем английской внешней политики в отношениях с Советской Россией. Идти в этом вопросе на какой-либо компромисс правящие круги Великобритании, особенно когда у власти находились консервативные кабинеты, не хотели. Между тем ряд государств Европы, и в частности Германия, уже в 1926 г. пошли на предоставление если не долгосрочных, то среднесрочных кредитов под правительственную гарантию.

Посланник Чехословакии в Англии Ян Масарик в связи с этим сравнивал германский кредит «Советам» в 1926 г., полученный Россией под гарантию правительства этой континентальной европейской индустриальной державы, для стимулирования экспорта промышленного оборудования, произведенного в Германии, с весьма незначительными показателями кредитования со стороны Англии. Масарик указывал далее, анализируя советско-британский торговый баланс 1920–1925 гг., что в нем с английской стороны явно просматривалось ожидание крупных выгод от торговых связей с советской Россией, основанное на том, что пятилетний платежный баланс между двумя странами сводился с отрицательным сальдо для «Советов» в 17,5 млн ф. стерлингов.²

Заключая свой анализ советско-британской торговли, Я. Масарик добавляет, что «со стороны английских консервативных элементов часто указывалось не без тенденциозности на следующие моменты: торговля Англии с Россией, хотя и возросшая, является такой незначительной по общему объему экспорта и импорта, что не принимается во внимание как серьезная часть всего объема британской внешней торговли,

а те организации и их операции, что ведутся, сопряжены с большим риском, поскольку „русские не платят” (по утверждению ангажированных газет). Против этих утверждений советская торговая делегация в Великобритании («Аркос») и члены либерального и рабочего лагеря указывают на то, что русские закупки в Англии за последние пять лет достигли суммы в 70 млн ф. стерлингов, а русские запродали в ней всего 64.6 млн ф. стерлингов, что вместе составляет сумму, которая для британской внешней торговли имела в нынешней ситуации положительный результат. В особенности, если учесть при этом сумму, заплаченную Россией за английские перевозки (фрахт) и частично другие статьи „невыгодного экспорта”. Если торговля двух стран не достигла самого широкого размаха, упомянутые круги объясняют это теми обстоятельствами, что британская торговая политика не предприняла до сих пор ничего в пользу этой торговли, что английские кредитные учреждения и различные организации (например, союз держателей русских бумаг бывших русских правительств), наоборот, прилагали все усилия, чтобы этой торговле воспрепятствовать».³

Советское правительство предприняло еще ряд шагов, чтобы смягчить назревавший конфликт с Англией, который все более обострялся вплоть до мая 1927 г. К рубежу 1926—1927 гг. осложнения в британско-советской торговле и в их общих политико-экономических отношениях становились все более очевидными. Это мало способствовало нормализации внутреннего положения в России и, напротив, стимулировало ужесточение нового политического курса, ведущего к утверждению авторитаризма в политике и экономике страны. Определенные надежды на улучшение двусторонних отношений и предполагаемую либерализацию внутривнутриполитической жизни в России связывались, как отмечалось, с приездом в Англию в октябре 1926 г. нового полпреда Л. Б. Красина.

Надежды на деятельность Красина в Великобритании были отражены в донесении чехословацкого посланника в МИД ЧСР 7 октября 1926 г. Он сообщал о посещении полпредом России Foreign Office по своему возвращении из Праги в Лондон и о разговоре с сэром Уильямом Бэррелом Кеннеди, послом США в Великобритании, а также о беседе с референтом МИД Говардом Смитом.

Суть беседы сводилась к следующему. «Я уже указывал на возможность новых переговоров с Россией, — писал Массарик, — ибо, как известно, Л. Б. Красин приехал с большим шумом и с большими планами после лечения во Франции. Мое впечатление состоит в том, что Красина ожидает достаточно сдержанный и умеренный прием, чему способствует состав и общий подход нынешнего (консервативного. — *В. Ш.*) правительства, в котором преобладают реакционные элементы. Повторяю, что из своей сегодняшней беседы мое определенное впечатление состоит в том, что нельзя в обозримом будущем ожидать никакой новой ориентации Советов вопреки тому, что промышленные круги в последнее время, опять в противоречии с этим, проявляют повышенный интерес к возможности новых переговоров».⁴

Далее Я. Массарик отмечает, что торговля ведется лишь крупными британскими фирмами, иногда на основе трехлетнего кредита, и сроки платежей неуклонно выполняются «Советами», но фирмы эти ведут дела на свой страх и риск. Однако торгово-промышленные круги не пользуются никакой поддержкой (или гарантией при кредитовании) со стороны британского государства.⁵

Некоторое время казалось, что усилия советского правительства, которое пыталось показать Великобритании возможности смягчения монополии внешней торговли

России, увеличения вывоза товаров британской тяжелой индустрии, используя все возможности для получения кредитов в Англии (краткосрочных и среднесрочных) для активизации этой торговли и урегулирования тем самым отношений между двумя странами, стали продвигаться вперед особенно с приездом в Лондон Л. Б. Красина.

Однако серьезным осложнением в общественных настроениях обеих сторон, а также английских дипломатов, деловых кругов и полпредств СССР в Великобритании и Аркосе явилась ожидавшаяся и все же внезапная смерть видного советского дипломата, наркома внешней торговли и инженера-производственника, выдающегося организатора торговли и промышленности Л. Б. Красина.

Смерть Красина, посланного из Франции в Великобританию, чтобы смягчить напряженность между двумя странами и предотвратить назревавший разрыв между ними, последовала в ночь с 13 на 14 ноября 1926 г. До этого времени он прилагал все усилия для урегулирования отношений между двумя странами, достигших черты опасного конфликта, пытался убедить правительство и премьера С. Болдуина, а также торгово-промышленные круги Великобритании в возможности мирной договоренности и отказа от силовых действий британского консервативного кабинета, уже с осени 1924 г. готовившего разрыв с СССР, требуя всего того, что Великобритания не могла добиться за годы гражданской войны и интервенции: уплаты долгов российских дореволюционных правительств (включая военные), отмены декретов Октябрьской революции о национализации, отмены монополии внешней торговли, компенсации или полной реституции бывшей собственности британцев в России, замены государственного законодательства признанием права частной собственности бывших владельцев.

Смерть Красина, успевшего предварительно договориться с такими крупными банкирами и предпринимателями, как Мак-Кена, и рядом других, в том числе и в благожелательном духе по вопросу о кредитовании России Англией, явилась тяжелой утратой для попыток урегулирования англо-советских отношений.

Как писал в Прагу в одном из своих донесений Ян Масарик, «значительный переполох вызвала здесь смерть Красина, который хотя и был безнадежно болен.., как казалось, проживет еще год-два и смерть наступила действительно неожиданно вследствие сердечной слабости (он был болен малокровием). Со времени своего приезда в Лондон Красин был осмотрен лучшими здешними врачами, а в последние 14 дней и лечился лордом Доунсоном оф Рен, личным врачом короля, который также присутствовал при смерти Красина».⁶

В левых кругах, в особенности умеренно левых, восприняли кончину Красина как удар для англо-русских связей, поскольку Красин считался человеком западного склада и имел значительный опыт в финансово-экономической области, был склонен в отношениях с Англией к значительным компромиссам, хотя высказывался об этом с большой осторожностью.

Насколько велика была утрата Л. Б. Красина для возможного улучшения англо-советских отношений, свидетельствует и письмо поверенного в делах Чехословакии из Лондона в Прагу от 10 декабря 1926 г. «С кончиной Красина, — писал поверенный в делах, — Советы потеряли дипломатического представителя, который приобрел значительное доверие и уважение в кругах, стоящих на здоровом поле политических взглядов. Незадолго до своей смерти он сконцентрировал все свои усилия, хотя был тяжело больным, на получении кредита и имел длительный разговор с О. Чемберленом 10 октября.

Смерть Красина дала возможность крайним элементам консервативных правых для усиления ситуации за разрыв дипломатических отношений с Россией, которые бы в этом случае можно было осуществить путем отказа принять преемника Красина. Однако, насколько можно судить из разных источников, отражающих точку зрения правительства, оно не считало такой шаг подходящим для себя».⁷

Между тем положение в кабинете министров Великобритании в связи с состоянием англо-советских отношений становилось все более напряженным. Как сообщал временный поверенный Чехословакии в другом своем донесении 12 января 1927 г., было созвано секретное совещание членов кабинета, посвященное событиям в Китае.

Участниками были министры правительства Бальфур, Биркенхед, Черчилль, Джонсон-Хикс, Вортингтон-Эванс, Эмери. Все они хотя и были заявлены как присутствовавшие на совещании — на самом деле не находились в Лондоне и отсутствовали при обсуждении вопросов в кабинете. В принятом коммюнике отмечалось, что «ситуация тем сложнее, что в британском кабинете существует определенное различие во взглядах. Их предметом являются не столько китайские события, сколько связанная с ними основополагающая тема современной британской политики, т. е. отношение к России. На прошлой неделе в кабинете министров было решительно предложено немедленно разорвать связи с Советами, высказанные крайними консерваторами, которое собрало голоса всех членов кабинета за вычетом двух: Болдуина (премьер) и Чемберлена (министр иностранных дел). Первый из них был против немедленного решения, мотивируя своим постоянным стремлением не спешить при решении сложных вопросов; другой в связи с общим миролюбивым характером своей политики, стремлением не нарушать мирные настроения на континентах и утверждать дух Локарно, которому был всецело предан. Единое мнение всех остальных министров вызвало, однако, трудную ситуацию и утверждают, что Болдуин и Чемберлен окончательно вызвали бурю только тем, что стало официально известно, что Советы не помышляют о направлении преемника покойному Красину, благодаря чему исчез один из пунктов, на котором сосредоточила натиск оппозиция».⁸ Серьезным шагом на пути к разрыву отношений с Россией была более острая, чем предполагали Болдуин и Чемберлен, нота английского правительства правительству СССР, в сущности и приведшая отношения двух стран к опасной черте, за которой и последовало прекращение политических и дипломатических отношений.

Документы и донесения, посланные чехословацким посланником Я. Масариком в МИД Чехословакии в феврале–мае 1927 г., свидетельствуют об этом достаточно убедительно. Нота первоначально была названа «предупредительной», но по настоянию большинства консервативных членов кабинета министров оказалась составленной в более жестком варианте, чем первоначально подготовленная Foreign Office. Врученная 23 февраля 1927 г. исполняющему обязанности полпреда СССР в Великобритании А. П. Розенгольцу, она явилась документом, резким по тону, содержащим выдержки из различных речей и выступлений деятелей ВКР(б), Коминтерна, советского правительства (Н. И. Бухарина, Г. В. Чичерина, К. Е. Ворошилова, А. И. Рыкова, Л. М. Карахана и др.). В этих речах по разным поводам, в основном в партийных инстанциях или в печати, отражались оценки событий, связанных с революцией в Китае, колониальной политикой Великобритании на Востоке и т. д. Из этих оценок делался вывод, что подобные действия советских руководителей ведут к «неизбежному аннулированию торгового

соглашения, условия которого так явно нарушались, и даже к разрыву обычных дипломатических отношений».⁹

Ответная нота советского правительства от 26 февраля, подписанная М. М. Литвиновым, отвергала сам способ обвинений в антибританской деятельности советских лидеров с помощью цитат из их выступлений, было заявлено, что подобных высказываний не меньше и в речах и докладах британских политиков. В ней выражалось недоумение, что этот метод выставляется как предлог для разрыва отношений между странами.¹⁰

Весьма показательно, что несостоятельность позиции британского правительства сознавалась даже таким благожелательным к английской политике лицом, как посланник ЧСР Я. Масарик. В донесении в МИД от 28 февраля 1927 г. он следующим образом оценивает положение, сложившееся в англо-советских отношениях в связи с обменом указанными нотами.

«Общественное мнение (Великобритании. — *В. III.*) до сих пор занято нотой Foreign Office и ответом Советов. Насколько я могу судить о положении дел, нота успокоила очень малый процент народа и удовлетворила его еще меньше. Поскольку широко известно, что Чемберлен только после сильного нажима заострил ноту и теперь собственнo всем своим личным престижем ноту не поддерживает, так же как является „общественной тайной“, что Болдуин с текстом ноты тоже не согласился, а равным образом уступил нажиму правого крыла консервативной партии, mnoжятся с каждым днем вопросы, чего собственно хотело достичь этой нотой английское правительство. Неединодушный взгляд кабинета на русский вопрос естественно хорошо известен в Москве и несомненно это будет политически использовано для формирования общественного мнения России.

Инцидент используют и лейбористы, особенно то, что Чемберлен по принуждению подписал ноту. Ответ Литвинова искусно стилизован и некоторые пункты этого ответа вынуждают здешние круги призадуматься. Ясно одно, что англо-русские отношения еще должны будут переосмыслены. Для оценки этих отношений посылка данной ноты означает, что они не улучшатся. И если мы имеем противоположные политические, экономические, моральные и иные позиции обоих государств, то нельзя полагать, что найдется *modus vivendi*, который был бы по душе обеим сторонам и был бы им приятен.

Вся ситуация сводится к одному факту: Советы с III Интернационалом основываются на необходимости мировой революции, Великобритания изo всех сил будет обороняться от этой революции. Вопрос, которым обе стороны будут теперь заниматься и с которым не могут не считаться: это тип отношений между Англией и Россией. Промышленные круги не могут не считаться с фактом, что за прошедший год торговля с Россией достигла 45 млн ф. стерлингов, а может быть, и больше и что Советы выполнили при этом свои финансовые обязательства.

Требовать от Каменева, Зиновьева и т. д., чтобы они перестали нападать на „английскую империалистическую политику“, с одной стороны, и ожидать, что Уинстон Черчилль, Биркенхед и Джон Хикс перестанут бранить большевиков, с другой — является в целом детской игрой. Хотя известно, что большевики, представители III Интернационала поддерживают морально и материально революционное движение в Британской империи, не удалось все же английскому правительству доказать документально ни одного случая такой деятельности, и пока правительство Советов находится в такой

благоприятной ситуации, что может отвергнуть ответственность за деятельность III Интернационала, переговоры между двумя странами будут и остаются бесцельными».¹¹

Далее в заключение приведем телеграмму Я. Масарика от 14 мая 1927 г., которая свидетельствует о скандальном провале британской политики отыскать какой-либо компромат для создания предлога к разрыву дипломатических отношений между Англией и Россией. «Обыск, произведенный полицией в советском кооперативном обществе „Аркос“, вызвал сенсацию первого разряда. В современных кругах опасаются того, что министр внутренних дел не организовал бы обыск, если бы перед тем не посоветовался с Foreign Office».¹²

И в самом деле многие источники свидетельствуют о том, что англо-советский разрыв произошел с ведома и по согласованию с Министерством иностранных дел, чему были уже не в состоянии воспрепятствовать даже такие первые лица государственного управления, как премьер-министр С. Болдуин и министр иностранных дел О. Чемберлен.

Я. Масарик в связи с обыском в помещении «Аркоса» и нападением полиции на эту коммерческую структуру с иронией отмечает, что версия о якобы возможном хранении там некоего «важного документа», исходившая от министра внутренних дел Джонсона-Хикса, несмотря на четырехдневный обыск (с утра в четверг до полуночи в воскресенье), не принесла никаких результатов.¹³

Позднее Я. Масарик добавил еще ряд моментов к своему анализу скандальных событий, связанных с поисками серьезного документа в помещении «Аркоса». «В лондонских дипломатических кругах, — сообщал он, — в первые минуты сложилось мнение, что обыск начался по собственному почину министра внутренних дел или в сговоре с Эмери и военным министром, чтобы поставить умеренных членов правительства — Болдуина и Чемберлена — перед фактом, ведущим неотвратимо к разрыву с Россией».

Это впечатление было сглажено дальнейшим ходом событий. Сейчас уже стало ясно, что еще до начала этого дела имела место беседа с Чемберленом и было достигнуто его согласие. Если это так, можно говорить только о нажиме радикальных элементов в правительстве на умеренное крыло и уступках с его стороны. Эта афера вела к денонсации договора 1921 г. и прекращению торговых связей, которые могли бы быть единственным предлогом сохранения дипломатических отношений.¹⁴

В заключение описания этого скандального и не давшего результатов обыска в «Аркосе» Я. Масарик приходит к выводу, что все эти шаги британских политиков могли привести к разрыву торговых и, возможно, дипломатических отношений между двумя странами.¹⁵

Но последовавший вслед за «налетом на „Аркос“» разрыв коснулся только разрыва дипломатических отношений, восстановленных лишь в конце 1929 г. Британское правительство, учитывая интересы торгово-экономических кругов своей страны, сохранило торговые связи с Россией через «Аркос». Однако политика консервативного кабинета Великобритании тем не менее вела к резкому ухудшению англо-советских отношений. В целом же это немало способствовало также усилению антивоенных выступлений в СССР в 1927 г. Возможность военной угрозы рассматривалась как вполне реальная в контексте серьезного кризиса англо-советских отношений и разрыва дипломатических связей между двумя странами.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Parleametary Debater: House of Commons. 1926. N 197. Col. 803.

² Archiv Ministerstva zahranièních Vcí ÈR, Politické Zpra'vy (далее — AMZV, PZ). Londy'n. 1926. N 112. 7. X.

³ Ibid. N 127. 11. XI.

⁴ Ibid. N 112. 7. X.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid. N 97. 26. XI.

⁷ Ibid. 1927. N 1. 13. I.

⁸ Ibid.

⁹ Документы внешней политики СССР. М., 1966. Т. 10. С. 6–62.

¹⁰ Там же. С. 54–60.

¹¹ AMZV, PZ Londy'n. 1927. N 16. 28. II.

¹² Ibid. N 45. 14. V.

¹³ Ibid. N 46. 17. V; N 47. 19. V.

¹⁴ Ibid. N 45. 14. V; N 47. 17. V.

¹⁵ Ibid., № 47, 48, 17.V, 18.V.

А. А. Фурсенко

ОБ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ КУБИНСКОГО КРИЗИСА 1962 г.

Очерк-воспоминание

Мой интерес к Кубинскому кризису относится ко времени его возникновения в октябре 1962 г. Противоречивые советские заявления и сообщения иностранного радио породили тогда массу загадок. Интерес этот был затем подогрет ходившими по Москве слухами о выступлении Н. С. Хрущева на Пленуме ЦК КПСС 23 ноября 1962 г., в котором он рассказал, как был разрешен Кубинский кризис. В дальнейшем различные публикации в американской печати породили новые вопросы. Например, обозреватель телевизионной компании Эн-Би-Си Джон Скали поместил в 1964 г. в журнале «Лук» статью о своих переговорах с резидентом КГБ Александром Фоминым. Во время их встречи 26 октября 1962 г. в вашингтонском ресторане «Оксидентал» был якобы согласован план урегулирования Кубинского кризиса. В ресторане повесили даже мемориальную доску, на которой написано, что в результате встречи Скали с «загадочным русским мистером Икс» была предотвращена третья мировая война. Американский тележурналист усиленно подогревал интерес к своей встрече с советским разведчиком и прежде всего к собственной персоне.¹

В литературе последующих лет, в книгах А. М. Шлезингера, Т. Соренсена, Р. Хилсмана и других появились новые подробности.² Особое значение имела опубликованная в 1978 г. книга Шлезингера «Роберт Кеннеди и его время», содержащая специальный раздел по истории Кубинского кризиса, где рассказывалось о советско-американских переговорах по его урегулированию. Это замечательное по литературному исполнению и исследовательским приемам сочинение раскрывало многое из того, что ранее было неизвестно, а вместе с тем ставило новые вопросы.³

В 1983 г. я попытался свести появившиеся в печати данные в одном очерке, предложив его ленинградскому журналу «Звезда». Но цензура не дала разрешение на публикацию появившихся в американской литературе материалов. Вернуться к этой теме оказалось возможным только, после того как в 1989 г. в Москве прошла встреча участников

Кубинского кризиса и историков, занятых его изучением. Состоялась беспрецедентная по своей откровенности дискуссия за закрытыми дверями. Попасть на эту встречу было трудно. Достаточно сказать, что ее участником с советской стороны можно было стать только по решению Политбюро ЦК КПСС. Однако председателем оргкомитета конференции был академик Е. М. Примаков, тогдашний директор Института мировой экономики и международных отношений Академии наук, с которым я был хорошо знаком уже много лет. Он не только включил меня в список советских участников, но и пригласил на конференцию по моей просьбе Г. Н. Большакова, бывшего военного разведчика, служившего под крышей советского посольства в Вашингтоне в качестве атташе по делам культуры, а на деле игравшего роль связного между Хрущевым и президентом Кеннеди. Примаков знал о Большакове и пошел навстречу моей просьбе, хотя первоначально его приглашать не собирались. Сам я узнал о нем только из книг Шлезингера. В моих глазах Большаков стал живой легендой. На встречу уже был приглашен А. Фомин (А. С. Феклисов), участник тайных переговоров в ресторане «Оксидентал». В Москву приехал также их участник с американской стороны Джон Скали. Последовавшие встречи с этими людьми оказались прологом моей работы по истории Кубинского кризиса в советских архивах.

Конференция в Москве состоялась 27–28 января 1989 г. Основываясь на материалах прошедших на ней дискуссий, я в сентябре 1989 г. опубликовал документальный очерк в «Звезде», на этот раз немедленно принятый к печати новым редактором журнала Г. Ф. Николаевым.⁴ В ходе конференции я записал интервью с Большаковым, и мы условились с ним, что, после того как я закончу очерк, позвоню ему, чтобы начать работу над воспоминаниями, которые он готов был продиктовать стенографистке. Он оставил номер своего телефона. В конце сентября 1989 г. я позвонил, как условились. Соседка по квартире ошеломила своим ответом: «Вы опоздали. Он умер пять месяцев назад». Позднее я узнал, что вскоре после смещения Хрущева в 1964 г. Большаков потерял работу и многие годы нуждался материально, закончив жизнь в коммунальной квартире. Трудно себе представить, что человек, принимавший непосредственное участие в переговорах по урегулированию крупнейших международных кризисов (наряду с Кубинским 1962 г. Берлинского 1961 г.), чреватых мировой войной, окончил жизнь в таких лишениях. Соседка по квартире, ответившая на мой звонок, позднее при личной встрече рассказала, что Большаков жил в постоянной нужде. Дочь Хрущева, Рада Никитична Аджубей, говорила, что хорошо знала Большакова: «Юра (Георгий. — А. Ф.) был такой прекрасный человек». В последний раз она его видела как раз во время январской конференции 1989 г. А. И. Аджубей пригласил его к себе домой вместе с приехавшими в Москву на конференцию их общими американскими знакомыми, бывшим советником президента Кеннеди Т. Соренсеном и пресс-секретарем Белого Дома П. Сэлинджером. Большаков был в приподнятом настроении, рассказывал, что собирается работать над мемуарами.

В американской литературе Большакова считали сотрудником КГБ. Но он принадлежал к другому ведомству — Главному разведывательному управлению Генерального Штаба вооруженных сил СССР (ГРУ). Донесения о его службе нужно было искать там — в ГРУ, самом закрытом учреждении разведки. Этот путь оказался очень долгим.

Начинать пришлось с другого конца — с разведывательной службы КГБ, материалы которой по ряду причин, о которых еще пойдет речь, оказались более доступными.

Началось все с выяснения обстоятельств переговоров между резидентом КГБ Фоминым-Феклисовым и американским тележурналистом Скали. На конференции их версии не сошлись, и это вызвало серьезные сомнения. Скали наотрез отказался полемизировать с Феклисовым, заявив, что тот ничего не помнит и все перепутал. В апреле 1992 г. я отправил Феклисову письмо с просьбой встретиться и поговорить. Он сразу ответил, пригласив к себе домой и проявив заинтересованность во встрече. Принял меня весьма любезно. Лейтмотив его рассказа заключался в том, что вступил он в переговоры со Скали без какого-либо разрешения, сам на собственный страх и риск. Во время беседы со Скали, состоявшейся по его инициативе, Феклисов пригрозил вторжением в Западный Берлин. «Это был искренний порыв моей души», — заявил он. Зная о том, каковы были советские порядки, мне это показалось странным. Мог ли осмелиться кадровый сотрудник КГБ, прослуживший много лет в советской разведке, в разгар международного кризиса, грозившего войной, действовать сам по себе, без согласования с Москвой? Ответить на этот вопрос утвердительно трудно. Самостоятельные, партизанские действия могли грозить наказанием, вплоть до высшей меры — расстрела. Полковник КГБ об этом должен был знать.

После состоявшегося разговора оставалась еще одна возможность — добиться доступа к донесению Феклисова об итогах его встречи со Скали в архиве СВР — Службы внешней разведки (бывшего Первого главного управления КГБ). Обратившись в пресс-службу СВР, я наткнулся на глухую стену. Объясняли, что шифр, которым была закодирована телеграмма, действует до сих пор и потому ее показать не могут. На предложение дать перефразированный текст также последовал отказ. В течение нескольких месяцев я обивал пороги пресс-службы, пока не догадался обратиться к Е. М. Примакову, который стал к тому времени директором СВР. Он откликнулся сразу, пригласив меня к себе в штаб-квартиру СВР в Ясенево. Там он сказал, что я увижу не только телеграмму Феклисова, но и многие другие документы. Примаков объяснил, что по соглашению с американской издательской фирмой принято решение совместно с американцами разработать несколько исследовательских проектов, включая историю Кубинского кризиса. Он сообщил, что претендентов на участие в кубинском проекте много и назвал имена некоторых из них. Однако, зная о моем давнем интересе к этой теме, решил отдать предпочтение мне. Это была ни с чем несравнимая дружеская услуга. Примаков поделился своими соображениями и дал несколько советов по поводу малоисследованных сюжетов темы.

Через несколько дней в Москву приехал мой будущий соавтор, только что начавший преподавать в Гавайском университете Тимоти Нафтали, которого рекомендовал известный историк-публицист Джон Костелло. Этот выбор оказался удачным, тем более что книга должна была появиться сначала на английском языке. Хотя у нас с Нафтали бывали серьезные споры и преодолевать их приходилось с большим трудом, работать с ним было интересно. Он получил прекрасную подготовку в лучших американских университетах, Гарварде и Йеле, где прошел школу у знаменитых исследователей. Обладая незаурядными способностями и трудолюбием, Нафтали весьма способствовал успешному завершению нашего научного проекта. Через четыре года совместной работы мы опубликовали книгу по истории Кубинского кризиса, взяв в качестве заголовка к ней цитату из выступления президента Кеннеди.⁵

Материалы СВР я получал в Москве в помещении пресс-службы, куда после предварительной проверки они доставлялись из Ясенево. После просмотра архивных дел я

составлял список документов, нужных для работы. Если они подлежали рассекречиванию, изготавливалось 3 экземпляра ксерокопий — один для меня, второй для Нафтали и третий контрольный оставлял у себя архив. Мне разрешено было также делать выписки из документов, которыми я делился с Нафтали или использовал их в русском тексте, который далее переводился на английский язык.

Параллельно с работой над документами СВР я приступил к изучению материалов Президиума ЦК КПСС, хранящихся в Президентском архиве. Допуск туда был также затруднен. Президентский архив является вспомогательной частью Администрации Президента Российской Федерации, не подчиняется Архивной службе и потому на него не распространяется установленный законом 30-летний срок давности, после которого документы должны поступить в открытое хранение. Попасть туда можно было, только получив разрешение руководителя Администрации Президента РФ. Вероятно, известие о том, что Примаков допустил меня к работе над материалами разведки, способствовало положительному решению о допуске в Президентский архив. Вместе с тем большое содействие моей работе в Президентском архиве оказал тогдашний директор Государственной архивной службы Р. Г. Пихойя, которому в то время в какой-то мере подчинялся Президентский архив.

Президентский архив оказался главным источником информации. Все важнейшие решения принимались партийной властью — Президиумом ЦК, документы которого по сей день хранятся в Президентском архиве. Важные постановления выпускались также Секретариатом ЦК КПСС, материалы которого находятся в Российском государственном архиве новейшей истории (РГАНИ). Этот архив входит в состав Российской архивной службы. Впрочем многие материалы и там до сих пор засекречены. В середине 1990-х гг. они были более доступны, чем сейчас, и я успел их использовать.

Самым первым документом, который мне показали в архиве СВР, была перефразированная телеграмма Феклисова о его встрече со Скали. Позднее я получил в свои руки и дешифрованные телеграммы Каллистрата (кодовое имя Феклисова). Ни один из документов архива не подтверждал его рассказ. Мой американский соавтор Нафтали получил аудиенцию у Скали. Но и ему не удалось добиться сколько-нибудь вразумительного объяснения. Складывалось впечатление, что значение встречи в ресторане «Оксидентал» сознательно преувеличивалось ее обоими участниками.

Весьма серьезным основанием для возникших сомнений стала моя беседа с послом А. Ф. Добрыниным, который весьма скептически отозвался о версии Феклисова. Кроме того, появилась статья бывшего помощника Хрущева по Президиуму ЦК О. А. Трояновского, который прямо сказал, что, насколько помнит, — а он участвовал во всех заседаниях кремлевского руководства в октябре 1962 г., — встреча Феклисова–Скали не имела какого-либо влияния на урегулирование Кубинского кризиса.⁶

По мере знакомства с материалами архивов эти сомнения усиливались. После того как телеграмма Феклисова была получена Центром, она по решению Президиума ЦК была переброшена в Гавану. Советскому послу на Кубе А. И. Алексееву поручалось встретиться с Фиделем Кастро и сообщить ему, что в Москве уже принято решение о развязке Кубинского кризиса, еще до того как пришла эта телеграмма. Тем не менее в Кремле хотели вовлечь Кастро в процесс переговоров и решили, что сообщение Феклисова дает подходящий повод. Кубинскому лидеру советовали положительно ответить на вопрос, обсуждавшийся в Вашингтоне с «заслуживавшим доверия источником», не

называя никаких имен. Правда, Кастро на этот крючок не клюнул. При встрече с Феклисовым на следующий день, 27 октября, Скали просил ускорить ответ. Ни Феклисов, ни тем более Скали не знали и знать не могли, что Громыко выступил решительно против продолжения этих переговоров, ибо по линии Министерства иностранных дел уже было достигнуто соглашение через Роберта Кеннеди.

Едва ли не главным аргументом при разгадке прежде существовавшей трактовки этой истории оказалась обнаруженная среди документов РГАНИ протокольная запись заседания Президиума ЦК 25 октября, более чем за сутки до встречи в ресторане «Оксидентал». На этом заседании Хрущев выдвинул предложение убрать советские ракеты с Кубы, если США дадут обязательство не нападать на остров.⁷ Это было как раз то, что обсуждали Феклисов и Скали во второй половине дня 26 октября. Возникает закономерный вопрос, а не выполнял ли советский резидент зондаж, получив соответствующее задание Москвы? Один из ветеранов советской разведки объяснил мне, что в подобных случаях Центр дает «ориентировку» своему представителю, чтобы выяснить возможную реакцию другой стороны. При этом в архиве документы с такого рода заданием не хранятся.

Оставался еще один, проверочный ход — показать телеграмму 1962 г. ее автору Феклисову. Ознакомившись с архивным делом, он сказал, что это — фальсификация. Феклисов в письменной форме заявил протест, утверждая, что никогда ничего подобного не писал, хотя самое тщательное изучение архивного дела показало, что никаких оснований считать, что в дело подложили другой документ, нет.

Единственно возможное предположение заключается в том, что Феклисов, как и американский участник встречи, Скали, так хотели войти в историю, что уверовали будто именно они выработали план урегулирования конфликта (это отнюдь не исключает того, что оба хотели содействовать его мирному решению). Подобная версия подтверждается и тем, что мемориальная доска, находящаяся по сей день в ресторане «Оксидентал», была изготовлена и повешена там Джоном Скали, как он сам мне об этом рассказывал, а Феклисов лишь уверял, что там вместо «загадочного мистера Икс» должно было стоять его имя (Фомин).

Таким видится решение этой загадки, ставшее возможным после анализа совокупности всех фактов и документов.

В случае с Большаковым дело было сложнее — ГРУ категорически отказывалось предоставить какие-либо материалы о нем. Потребовалось более года, чтобы убедить руководство этой службы сообщить элементарные сведения из его личного дела, а затем и содержание его бесед с братом президента США Робертом Кеннеди. В результате настойчивых просьб я получил перепечатанные на машинке выдержки из отчетов Большакова об этих встречах. Сопоставление полученной перепечатки с другими материалами, прежде всего документами Президентского архива, позволило убедиться, что речь идет о подлинных отчетах, хотя до сих пор непонятно, почему отказали в получении фотокопий с оригинала.

Мои многочисленные обращения с просьбой предоставить документы о деятельности Большакова получили в конечном итоге положительное решение благодаря вмешательству тогдашнего первого заместителя министра обороны РФ А. А. Кокошина, с которым я ранее был знаком по совместной работе в Академии наук. По непонятной причине прежнее руководство ГРУ отказывалось вообще признавать за Большаковым

какие-либо заслуги, утверждая, что он ничем не выделялся из массы сотрудников военной разведки. Однако полученный материал показывал, что это было не так. Документы свидетельствовали, что Большаков выполнял исключительной важности государственную миссию, которая способствовала поддержанию советско-американского диалога и сохранению мира. Этот материал был частично использован в нашей совместной с Нафтали книге, а позднее в моем журнальном очерке, специально посвященном Большакову.⁸

При активной поддержке Администрации Президента Российской Федерации, Министерства иностранных дел и Министерства обороны Большаков в конце концов был представлен к правительственной награде. «За мужество и отвагу, проявленные при выполнении специального задания», его наградили посмертно Орденом Почета.⁹ Так была поставлена точка в драматической истории этого видного разведчика уже после того как закончился его жизненный путь.

Не только судьба отдельных людей или событий, но и целые пласты истории становятся известны благодаря знакомству с архивными документами. На этом пути исследователя ждет успех в результате настойчивого поиска, а иногда счастливого совпадения случайностей или просто удачи, как это было со мной на протяжении всей моей работы по изучению Кубинского кризиса.

Кубинский ракетный кризис 1962 г. занял исключительно важное место в международных отношениях XX в. Он оказался пиком «холодной войны», и его урегулирование избавило человечество от реальной угрозы ядерной войны.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Фурсенко А. Тайна ресторана «Оксидентал» // Звезда. 1998. № 3. С. 131–139.

² Schlesinger A. M. Jr. A Thousand days: John F. Kennedy in the White House. Boston, 1965; Sorensen Th. Kennedy. New York, 1965; Hillman R. To Move a Nation: The Politics of Foreign Policy of the Administration of John F. Kennedy. New York, 1964.

³ Schlesinger A. M. Jr. Robert Kennedy and His Times. Boston, 1978.

⁴ Фурсенко А. А. На краю пропасти: Карибский кризис 1962 г. // Звезда. 1989. № 9.

⁵ Fursenko A., Naftali T. «One Hell of a Gamble»: Khrushchev, Castro and Kennedy 1958–1964. New York, 1997; Фурсенко А., Нафтали Т. Адская игра: Секретная история Карибского кризиса 1958–1964. М., 1999.

⁶ Трояновский. О. А. Взгляд из Кремля // Международная жизнь. 1998.

⁷ Запись этого заседания сохранилась в заметках В. Н. Малина, заведующего общим отделом ЦК КПСС, который по поручению Хрущева вел краткие протоколы заседаний Президиума ЦК (РГАН). В 2003 г. эти материалы были опубликованы (Архивы Кремля: Президиум ЦК КПСС 1954–1964. Т. 1: Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы / Гл. ред. А. А. Фурсенко. М., 2003. 1344 с.).

⁸ Фурсенко А. Георгий Большаков — связной Хрущева с президентом Кеннеди // Звезда. 1997. № 7. С. 161–183.

⁹ Указ Президента Российской Федерации № 487 от 4 мая 1998 г.

VI. ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Р. Ш. Ганелин

М. В. ДЖЕРВИС (БРОДСКИЙ) — СОТРУДНИК ЛЕНИНГРАДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ

Михаил Владимирович Джервис (Бродский) проработал в Историко-археографическом институте, а затем в ЛОИИ 10 лет. Его вклад в историческую литературу, весьма значителен, но ряд его работ остался неизданным. Единственные оказавшиеся доступными сведения о его политической ориентации, помимо сообщенного им в автобиографиях, сводятся к тому, что на собрании сотрудников ЛОИИ 21 марта 1937 г. по поводу В. Н. Кашина, после которого тот был арестован и расстрелян, он, как и многие другие, занимал обвинительную позицию.

В его личном деле в Петербургском филиале Архива РАН (ф. 133, оп. 3, ед. хр. 88) сохранились его краткое Curriculum vitae (л. 12–13), составленное не ранее 1931 г., и более пространная автобиография (л. 21–28), также не датированная, написанная не ранее 1935 г., а также список трудов в нескольких вариантах. На этих материалах преимущественно и основана настоящая заметка

М. В. Джервис-Бродский родился в Киеве в 1899 г. Отец его, врач, участник русско-японской и Первой мировой войны, умер в 1917 г. Мать вышла замуж вторично за Нафталия Ароновича Френкеля (1883 или 1887–1958 или 1960). Человек этот, прежде пользовавшийся громкой славой одного из руководителей сталинскихстроек, после выхода солженицынского «Архипелага ГУЛАГ» стал известен своей ролью в создании системы лагерного труда. Десятилетний срок заключения, полученный им в 1923 г. за превышение власти и вымогательство, не помешал его карьере в ОГПУ–НКВД, которую он начал резидентом в Константинополе и кончил генерал-лейтенантом инженерно-технической службы в 1947 г. Освобожденный в 1927 г., он вскоре стал секретным сотрудником ГПУ на Соловках, занимался созданием «черной биржи» — скупкой драгоценностей в Одессе. Есть сведения о его письме Сталину и их встрече. Затем в 1931 г. он — в ГУЛАГЕ, помощник начальника Беломорстроя (с 1932 г.), начальник строительства БАМа (с 1937 г.). Арестованный в 1937 г., он был выпущен и с начала 1940-х гг. руководил железнодорожным строительством как начальник Главного управления железнодорожного строительства НКВД, заместитель наркома путей сообщения по железнодорожному строительству, начальник Главного управления лагерей железнодорожного строительства.¹

В Curriculum vitae М. В. Джервиса об отчине, не названном по имени, сказано: «До 1905 г. с.-д., журналист, после пятого года отошел от партии и занялся издательской

деятельностью, был редактором-издателем большой провинциальной лево-буржуазной газеты; в настоящее время — отв. работник одного из наркоматов Союза, крупный организатор-хозяйственник, награжденный орденом Ленина». В автобиографии М. В. Джервиса читаем: «Мой отчим (второй муж моей матери) — Нафталий Аронович Френкель, в настоящее время — ответственный работник НКВД, известный стране по строительству Белбалтканала, одним из главных руководителей которого он являлся». Но вслед за этой горделивой фразой М. Джервис прибег к казавшейся ему не лишней по отношению к знатному отчиму осмотнительности, для которой, как известно читателю, были веские причины. «Вдаваться здесь в его биографию, как и в тесно связанную с нею биографию моей матери, — продолжал он, — я не считаю уместным; отмечу лишь, что моя мать в настоящее время живет за границей, куда уехала в 1919 г. с малолетними в то время детьми от второго брака к находившемуся тогда в Константинополе Нафталию Ароновичу. Связи с матерью я не поддерживаю по личным мотивам; по последним полученным мною сведениям, мать моя в 1933 г. находилась в Болгарии». Но, порвав с находившейся за границей матерью, не сохранил ли он отношений со столь известным в СССР отчимом, состоявшим в другом браке (с А. П. Соцковой) — об этом М. В. Джервис ничего не сообщал.

Свой жизненный путь он описывал следующим образом. В 1918 г. окончил гимназию в Николаеве и подал заявления о поступлении в Киевский университет одновременно на юридический и историко-философский факультеты. Но к занятиям приступить не успел, так как университет был закрыт правительством гетмана Скоропадского. В 1920 г. поступил на экономический факультет Одесского политехнического института народного хозяйства. Однако тяжелая болезнь, возобновлявшаяся и в дальнейшем, воспрепятствовала продолжению учебы. С мая 1923 г., когда болезнь, как выразился в автобиографии М. В. Джервис, дала ему «продолжительный отпуск», он возобновил сотрудничество в газетах, которое начал еще в 1915 г. выступлениями на литературные и театральные темы. Теперь газетная работа носила большевистский партийный характер. Вот как в соответствии с нравами и требованиями того времени рисовал М. В. Джервис в автобиографии формирование своего мировоззрения, с одной стороны, показывая его революционный, большевистский характер, а с другой — объясняя свою беспартийность. «Я вырос в журналистско-литературной среде левой ориентации, — писал он. — Преобладала в ней околопартийная интеллигенция; из партийных большевиков помню только Ф. Я. Кона (в 1905–1906, должно быть, годах), литератора Ф. П. Шипулинского и таинственного „Павла Карловича“, которого, как я теперь восстанавливаю, моя мать укрывала от полиции в 1905 году и в котором предполагала теперь покойного большевика П. К. Штернберга. Были в этой среде и меньшевики и эсеры, Д. М. Кокизов, — других я не помню, но кадетов в ней не было.

Во время империалистической войны настроение в нашей семье было определенно пораженческое. Это я отчетливо помню.

Для характеристики своих политических настроений последнего года пребывания в школе сошлюсь на два факта: председательствование свое в союзе учащихся в период его „контактной работы“ с советскими органами после Октябрьской революции и свое участие (совместно с учеником технического училища М. Другиным, погибшим впоследствии от рук белогвардейцев в Каховке) в обороне Николаева от германских оккупантов и „войск“ Центральной рады в марте 1918 г.; но определенных и устойчивых

политических взглядов у меня в то время не было: их не могла привить мне ни семья, где я рос в известной изоляции от „взрослых”, ни школа, в которой в политическом смысле было глухо и пусто, ни состав моих школьных товарищей, в большинстве буржуазных и офицерских сынков. О моих политических настроениях в 1917–1918 годах хорошо знает б. зав. Культпросветом Ленгоркома ВКП(б) Д. В. Ермолов».

Эта ссылка показывала, что речь шла не о приватном экскурсе в свое прошлое, а о необходимом его изложении с критической самооценкой. Впоследствии это стало общим приемом политической практики китайской компартии. Имея в виду 1923 г., М. В. Джервис продолжал: «К этому времени окончательно оформились мои политические взгляды, безоговорочно поставившие меня на платформу коммунистической партии, начало вырабатываться марксистско-ленинское мировоззрение, теоретический фундамент которого я заложил путем самостоятельной работы над собой. С этого времени я по совету одесских большевиков Д. И. Кардашева, зав. Губистпартом И. А. Хмельницкого и старого политкаторжанина С. И. Мартыновского начал научную работу в области истории рабочего движения в Одессе. Однако путь к естественному завершению моей политической самоорганизации — подачи заявления о вступлении в партию — был сильно заторможен тем, что я с трудом изживал в себе наследственные и благоприобретенные навыки одиночки интеллигента. Практически это сказывалось в том, что у меня всегда отсутствовала связь с массой, а необходимость органического вхождения в коллектив сознавалась мной лишь в теории: для интеллигента же одиночки естественным образом не было пути к вхождению в партию».

Помимо множества газетных статей, он стал исследователем истории революционного движения в Одессе. Причем случилось так, что с самого начала его работа приобрела политическое звучание. Это не было тогда редкостью, но у него это носило очень уж ярко выраженный и даже необыкновенный характер. «Первая же моя небольшая работа, имела неожиданный практический результат. На основании этой работы и положенных в основу ее материалов были привлечены к судебной ответственности штрейкбрехеры, сорвавшие одесскую стачку трамвайщиков во время всеобщей забастовки 1903 г. По этому делу, привлечшему к себе большое внимание одесской рабочей общественности, я вызывался в качестве эксперта во время предварительного, а затем судебного следствия», — не без гордости сообщал М. Джервис в автобиографии.

Однако сейчас же ему пришлось перейти к покаянию. Дело в том, что, начав в 1927 г. работу в области истории Украины и Польши, он избрал своим руководителем одесского профессора М. Слабченко, который оказался, по словам М. Джервиса, «уличенным впоследствии в контрреволюционной фашистской работе и осужденным по делу С. В. У.».² «Признавая непростительную ошибочность обращения к подобному „руководству”, я хотел бы все же дать объяснение этому странному выбору, — писал Джервис. — Дело в том, что Слабченко, стремясь обойти бдительность советских организаций и замаскировать свою контрреволюционную деятельность, не жалел красок на создание вокруг себя ореола сторонника марксистской теории, чуть ли не единственный из украинских буржуазных историков вплотную цитировал Маркса и Ленина, а главное, притворялся, что стоит в оппозиции ко всей украинской шовинистической буржуазной науке, ко всем этим Ефремовым Ко, которые, как потом оказалось, входили в одну с ним организацию и преследовали общие с ним контрреволюционные цели. Этой-то своей маскировкой Слабченко и обошел меня, как и многих подобных мне молодых и зеленых „марксистов”».

В отличие от Слабченко, которому, как это чаще всего бывало, не помогла его критика тех, из кого затем была составлена, вероятно следователями, СБУ (заблаговременность этой критики не помешала впоследствии признать ее притворной), М. Джервису удалось уцелеть, может быть, с помощью подачи заявлений против Слабченко после его ареста. И это несмотря на то, что он добивался прикомандирования к возглавлявшейся Слабченко кафедре Одесского института народного образования с большим трудом, прибегнув к помощи Главнауки РСФСР, Общества историков-марксистов и Ком-академии. Сопротивлявшимся прикомандированию сотрудников Наркомпроса Украины Джервис клеймил как «махровых шовинистов» и несколько лет спустя. Узнав об аресте Слабченко из-за болезни с опозданием, Джервис, по его словам, обратился с письменным протестом против деятельности профессора в Общество историков-марксистов и «сделал соответствующее заявление следственным органам».

С 1930 г. М. В. Джервис жил в Ленинграде, работая с продолжительными перерывами из-за болезни в Институте славяноведения, где руководил аспирантом У. А. Шустером, представившим работу на тему: «Экономическое развитие Польши во второй половине 19-го в. и учение Розы Люксембург по национальному вопросу». Затем он был сотрудником Историко-археографического института, в составе которого перешел в ЛОИИ, занимаясь преимущественно историей Польши. «Основное направление моей научной работы за последние годы, — писал он в автобиографии, — заключается в выпуске ряда критико-исторических работ, которыми я, с одной стороны, веду борьбу против буржуазно-фашистских извращений истории Польши современной польской наукой, а с другой стороны, вскрываю ошибки в области изучения истории Польши, допущенные люксембургской школой.³ Работы мои безусловно достигают своей цели, потому что даже рецензии мои воспринимаются польской печатью как „острая критика” ее „буржуазных тенденций”».

Однако несмотря на то что М. Джервису удалось в Ленинграде «политически заострить» свою научную деятельность, как он об этом удовлетворенно сообщал, он стал автором ряда работ, имевших в то время с учетом его обстоятельств и серьезное научное значение. К статьям о революционном и профессиональном движении в Одессе, брошюре «Волнения петербургских рабочих накануне мировой войны» (М., 1925), статьям «„Пораженчество” и „оборончество” в рабочих массах в начале империалистической войны» (Каторга и ссылка. 1927. Кн. 30), «Русская табачная фабрика в XVIII и XIX вв.» (Изв. Отд. общественных наук АН СССР. 1932. № 10) и других прибавилась серия статей по истории Польши в Большой советской энциклопедии и Советском энциклопедическом словаре. Наиболее значительной из них стал исторический очерк о Польше до Первой мировой войны (вторая часть его написана У. А. Шустером) в первом издании БСЭ.

Последним документом в личном деле М. В. Джервиса-Бродского (л. 50) является написанный К. Н. Сербиной отпуск справки 31 октября 1942 г. «в удостоверение того, что 15 ноября 1931 г. он был принят в Ленинградское отделение Института истории АН СССР в качестве научного сотрудника. 1 сентября 1934 г. переведен в ученые специалисты. С 1 августа 1936 г. работал в Институте в качестве старшего научного сотрудника вплоть до момента сокращения его в апреле 1942 г. по болезни». Сколько-нибудь достоверных сведений о его дальнейшей судьбе не имеется.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Благодарю В. С. Измозика и В. М. Лурье.

² Співка визволення України (Союз освобождения Украины). Аресты по этому делу проходили в 1929 г.

³ Взгляды Розы Люксембург получили распространение среди польских и германских коммунистов и левых социал-демократов. Критика этих взглядов как полуменьшевистских носила особенно острый характер в письме Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция» «О некоторых вопросах истории большевизма» в 1931 г. Между тем последующие годы показали, что во многом оправдались именно предвидения Р. Люксембург, считавшиеся сходными с положениями К. Каутского и противопоставлявшиеся ленинским. В 1903 г. она стала на сторону меньшевиков по вопросу о членстве в РСДРП. Отвергала принцип самоопределения наций вплоть до отделения и образования самостоятельных государств. Империализм в ее понимании был не последней стадией капитализма, а только его политикой, причем на всем протяжении его истории, а не на его последней стадии, вопрос о которой вообще не поднимался. Р. Люксембург считала капитализм долговечным, исходя из того, что необходимое для его существования разъедание

и вытеснение докапиталистических хозяйственных форм — дело весьма продолжительное, так как капиталистическое производство составляло при жизни Р. Люксембург незначительную долю во всем мировом хозяйстве. При этом классовая борьба пролетариата с буржуазией отходила у нее на задний план, поскольку гибель капитализма она ставила в зависимость не от этой борьбы, а от сужения некапиталистической сферы.

Как представляется, «новопрочтенцы» из числа учеников А. Л. Сидорова в 1950–1970-х гг., П. В. Волобуев, К. Н. Тарновский, А. М. Анфимов и другие во многом шли за Р. Люксембург не только в теоретических выкладках, но и в специальных исследованиях. Достаточно упомянуть дискуссию по поводу значения ленинского термина «военно-феодальный империализм», признание возможности временной утраты гегемонии в революционной борьбе, теорию многоукладности, работы о характере развития капитализма в деревне и роли ремесленного производства. Отсутствие у «новопрочтенцев» ссылок на Р. Люксембург может быть объяснено соображениями безопасности. Но и их критики, насколько известно, не обвиняли их в следовании ее взглядам.

А. Б. Давидсон

ПЕРВАЯ БЛОКАДНАЯ ЗИМА*

Воспоминания

Начало

Война застала меня на Волхове, в глухой деревушке под Киришами, в нескольких часах езды от Ленинграда. Сестра мамы работала в геодезической партии. И взяла меня с собой — отдохнуть после школы.

Я перешел в пятый класс. Церемонию в школе обставили торжественно. Каждому вручали табель успеваемости. Показали фильм «Волга-Волга» (мы видели его уже не

* Алексей Николаевич Цамутали участвовал во многих коллективных трудах по истории блокады. Его очерк «Вторая блокадная зима» издавался трижды. Поэтому мне казалось уместным в сборнике, посвященном юбилею Алексея Николаевича, опубликовать эти краткие воспоминания о первой блокадной зиме.

раз). Сразу после этого я и отправился в Кириши. Бродил с экспедицией по лесам. Помогал носить теодолит и прочие приборы. Но пробыл там совсем недолго.

Война! О ней мы узнали не из речи Молотова — в деревушке радио не было. Вечером, когда геодезисты вернулись из леса, колхозники сказали, что их собирали и объявили о начале войны. Геодезисты должны были ждать указаний: оставаться или уезжать. А для меня — первое в жизни самостоятельное решение: как быть? Добрался до железнодорожной станции. Но билеты уже перестали продавать. Шли бесконечные воинские эшелоны. Наконец какие-то красноармейцы сжалились, взяли к себе в теплушку.

Ленинград встретил солнечной погодой. И окнами, заклеенными крест на крест полосками бумаги. Подходя к дому, встретил одноклассников. С вещами. Их эвакуировали на Валдай. Я тоже был с вещами, они решили, что я — с ними.

Уезжали мои друзья. Те, кого я успел полюбить. Да и свою школу на Фонтанке мы любили. Ее роскошный актовый зал — театры ему позавидовали бы. Коридоры со скульптурами античных героев. Все это создавало настроение. Когда-то это было Петровское коммерческое училище — и в высоких застекленных шкафах по стенам классов по-прежнему сохранились в стеклянных банках семена диковинных «колониальных» растений, которые изучались там до 1917-го. Потом это была Первая образцовая школа Ленинграда. Ее кончал Аркадий Райкин. Он рассказал мне потом, что там учился и академик Зельдович. Кончал ее и знаменитый вратарь «Зенита» Набутов. В мое время это была 206-я школа. Большинство школьников — из семей интеллигенции. Вообще эти места были районом питерской интеллигенции.

Сердце екнуло — уезжают. Захотелось быть с ними. Но я с таким трудом прорвался в Ленинград! Ответил: — Никуда отсюда не уеду! Мама поддержала — натерпелась тревоги за меня, пока я был вдали.

Большинства из них я потом уже не встретил. Не встретил Панфилова, строгого директора школы, как и учителя пения Вахромеева, единственного мужчину из учителей нашего класса. Оба не пришли с войны.

А я вернулся к ленинградской жизни. Одноклассники уехали. Взрослым было не до меня. Чем заняться? Читал. Благо сохранились прекрасные библиотеки старых питерских квартир. Белые ночи еще не совсем кончились, по вечерам можно было читать и без электричества.

В молниеносное продвижение немцев к воротам города не верили. Очевидно потому, что город ни разу не бомбили, даже когда в Москве бомбежки стали обыденным делом. Доходило порой до поразительной наивности: думали, не увезти ли детей в пригороды, в дачные районы — на случай бомбежек. Страху оказаться в осажденном городе не было.

А тем временем поток беженцев в Ленинград нарастал: и с юга, и из Эстонии. Неожиданно появились и в нашей семье: отец моего отчима, в прошлом артист Александринки, и его жена. Обрусевшие немцы, они не захотели жить в германской оккупации. И при приближении фронта к Гатчине (они жили там, уйдя на пенсию) перебрались в Ленинград, к нам.

Вообще, казалось, что численность населения в Ленинграде к началу блокады была — из-за притока беженцев — не меньше, а больше предвоенной.

В блокаде

В первых числах сентября, когда город уже окружен, — первые немецкие снаряды. Еще до первых бомб. А бомбежки — с 6–8 сентября. И с тех пор — уже постоянно, до начала декабря, когда немцы почему-то прекратили их на четыре месяца. «Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги» — и снова сирены — и так бесконечно. Повсюду поиски шпионов — это они подают сигналы мессерам, хейнкелям, юнкерсам. Но даже намек на панику не было. Ленинград не переживал ничего подобного московскому 16 октября.

Пожалуй, только один раз видел — нет, не панику, но все же бурное массовое возбуждение. Бомба попала в кинотеатр «Форум», на седьмой линии Васильевского острова. Кинотеатр вспыхнул как факел. Люди из соседних домов высыпали на улицу. Крики людей — на это еще были силы. Лай собак (сентябрь — в городе еще были собаки). Для меня, как и почти для всех вокруг, это была первая бомба совсем рядом. Я сидел в доме напротив, под окном, читал «Графиню Монсоро». Вдруг на меня свалилось одеяло, которым было завешено окно. Звон стекла, осколки повсюду, и пламя — казалось, прямо из окна в комнату. Говорили потом, что это была комбинированная фугасно-зажигательная бомба.

В той комнате, напротив «Форума», собралась тогда вся родня, Макрушины: бабушка, сестра мамы, жена ее брата. И мы с мамой. Женщины и дети. Мужчин, как и во многих семьях, не было. Хозяин комнаты, мой дядя, был мобилизован как артиллерист запаса еще весной и отправлен под Брест. Отчима вызвали в Москву. Женщины жались друг к другу, тянуло быть вместе — не так страшно. Но после той бомбежки комната оказалась без стекол, и пришлось разбегаться по домам. Мы с мамой тоже вернулись к себе, на улицу Ломоносова, или, как все называли ее по-старому — Чернышев переулок. Но и там предпочли жить не одни. На сей раз — с соседями. Думаю, что это было типично тогда для петербургских квартир.

Переселились мы все из своих комнат в кухню. Кухня большая — тридцать метров. Дом когда-то построили купцы Елисеевы, еще до русско-японской войны. Как и их известные магазины, фундаментально, с размахом. Просторные коридоры, кладовки. Но главное — кухня находилась в глубине квартиры. Фасад же выходил на обстреливаемую сторону. В соседний дом, номер 12 (наш был — 14) снаряд уже попал.

Так что в кухне было безопасней. Нас собралось там много, хотя в сущности только две семьи. Большая семья Набоковых (о писателе Набокове я услышал много лет спустя, так что не знаю, в каком родстве они были). У нас с ними было много общего. Они пережили ссылку — их выселяли в 35-м, после убийства Кирова. К счастью, не далеко — в Уфу, и в 39-м разрешили вернуться. Ну, а мама моя пережила ссылку, куда более дальнюю, со своим первым мужем, моим отцом.

Сближал нас с Набоковыми и интерес к литературе. У них была сохранившаяся с дореволюционных времен прекрасная библиотека. «Брокгаузовская двадцатка» — двадцать богато изданных томов Шекспира, Байрона, Пушкина... Дешевые, на газетной бумаге, «144 тома иностранных писателей» и 60 томов дополнения: Вальтер Скотт, Гофман, Шпильгаген, да кого там только не было! Школа не работала, и я читал, читал...

В семье Набоковых были бабушка, мать и трое молодых мужчин, от 18 до 28 лет. Ждали призыва в армию, но их, как и многих ленинградцев, долго не брали: в армии пришлось бы кормить, а нечем.

Набоковых было пятеро. Нас — четверо: мама, я, «дед» — отец моего отчима, и его жена. Был еще кот, любимец всей квартиры. Его кормили до последнего. Но он, бедняга, не мог есть хлеб из суррогатов, который ели мы. И стал в нашей квартире первой жертвой блокады.

До войны у нас были еще две собаки — пойнтер и сеттер. В последние предвоенные годы среди породистых собак свирепствовала чумка. И оба песика погибли. Но в доме не все об этом знали. Сосед из верхней квартиры пришел к нам: «Я понимаю, у вас не поднимется рука на своих собак. Давайте, это сделаю я. Только уделите моей семье хоть немного мяса...».

По вечерам, чтобы заглушить чувство голода, — рассказы о прошлом. «Дед», Василий Адольфович, — о театральном Петербурге, о Варламове, Савиной, Тиме, Давыдове, Лидии Липковской, Орленеве и многих других, кого он знал или даже вместе играл в Александринке. Старшая из Набоковых, Александра Иосифовна, вспоминала «мирное время» — дореволюционный Петербург.

Преимущество общей жизни на кухне мы особенно почувствовали пятого-шестого ноября, когда немцы обрушили на город бомбовый шквал. Большой фугас — в полутора-двух метрах от нашего дома. Бомбы падали в Фонтанку. Пол ходил ходуном. От роскошного здания банка, совсем рядом, остались только стены. Рассказывали, что кому-то все же удалось спастись. Массивный старинный стол перевернулся, и человек оказался в пространстве между крепкими дубовыми ножками. Так он и летел вниз. Ножки задержали падавшие вслед обломки, и в пространстве между ними был воздух, можно было дышать. Там его и откопали. Никто не знал, так ли было на самом деле, но хотелось верить в чудеса.

В нашей комнате тогда вылетели стекла и даже стеклянные двери книжного шкафа. Правда, не все: как-то асимметрично — действие взрывных волн непредсказуемо. Потом удалось забить окна фанерой. Помог дворник, дядя Вася, добрая душа. Конечно, не бесплатно. Но температура все равно была как на улице. А там — одна из самых суровых зим тех лет.

Осенью у людей еще хватало сил бывать у старых друзей, узнавать, все ли живы.

Самой близкой нам была семья Григорьевых. В круге общения нашей семьи они занимали особое место. Дружили много лет. Они жили неподалеку, в середине Гороховой, на равном удалении от двух памятных мест этой улицы: от конца ее, где жил когда-то Распутин, и начала, где довольно вскоре после его смерти большевиками было создано ЧеКа. Глава семьи, Леонид Николаевич, участник русско-японской войны, врач, побывавший в японском плену, теперь работал на «Скорой помощи», подбирал людей, упавших на улице от истощения. Хотя и сам еле ходил. Его сын работал на телефонной станции. Как внука двух действительных статских советников, его в двадцатых годах не приняли в университет. Начинать он с монтера. А увлечением его — на всю жизнь — была история. Забегая вперед, скажу, что потом, пережив блокаду, он все свое свободное время уделял истории. Писал «в стол». При жизни почти ничего не опубликовал. Лишь почти два десятилетия спустя после его смерти издали одну из его рукописей.¹

Встречались мы и со старыми сослуживцами мамы — преподавателями медицинского техникума, с коллегами отчима (к тому времени его с Академией наук перевели из Москвы в Свердловск) — географами и геологами. У ленинградской научной интеллигенции, в отличие от московской, еще до войны была еще одна причина для горячих

обсуждений: научные учреждения, издательства и журналы начали переводить в Москву. Над питерскими учеными нависла угроза остаться невостребованными.

Разумеется, виделись и с моим отцом. Когда-то, в 1928-м, мама поехала к нему в ссылку и вернулась в Ленинград только после моего рождения — в тех условиях трудно было с маленьким ребенком. Но когда отец наконец вернулся, после ссылки и запрещения жить в больших городах, тут-то они с мамой и разошлись. Не из личной неприязни. Просто их семьи, русская и еврейская, не ладились друг с другом. Но родители остались друзьями, и в блокаду отец помогал нам, как мог.

В его квартире, тоже, конечно, коммунальной, жила интеллигентная еврейская семья: два брата — инженеры работали на оборонном заводе. Когда старший из них, Яков, настолько ослабел от голода, что не вышел на работу, за ним прислали машину — неслыханно для тогдашнего Ленинграда. Завод не мог без него обойтись.

Соседи моей бабушки на Васильевском — немецкая семья. Интеллигентные пожилые немки, седые, чистенькие, со вкусом причесанные, с хорошим немецким языком — и никакой симпатии к фашизму. По городу до первых бомбежек шел слух, что Васильевский остров бомбить не будут — там с незапамятных времен жили немцы. Но в первых же бомбежках досталось и Васильевскому.

В нашей коммунальной квартире общались с друзьями Набоковых. С контр-адмиралом Балкашиным, преподавателем каких-то военно-морских наук, — он был женат на одной из Набоковых. С Тамарой Гинцберг, невестой одного из младших Набоковых. Ее отец, капитан или майор, попав в окружение, застрелился, памятуя наказ Сталина, что сдаются только изменники. А потом его часть все-таки вышла из окружения. Можно представить горе семьи!

Так получилось, что среди родственников и друзей в Ленинграде не было ни одного члена партии. Когда маме парторг на ее работе предложил вступить в партию, она ответила: «Я была то „беспартийная сволочь“, то — „гнилая интеллигенция“. Так пусть такой и останусь». Парторг оказался порядочным человеком — не донес.

Какие настроения были в этой среде? Той самой, о которой Сталин, наверно, и говорил: «перепуганные интеллигентики».² Советская власть всем этим людям была чужда, все они от нее пострадали. Но победы Гитлера никто не желал (разве что одна семья, кстати, потомственных аристократов — не буду их называть). Представление о фашизме имели, хотя с августа 1939-го в официальной печати о нем перестали упоминать. Начала войны ожидали: английское радио предупреждало за много дней. Не верили злосчастному заявлению ТАСС, за несколько дней до войны, что Германия нападать не собирается. Не верили бравурным песням:

И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ.

Не верили Сталину, когда он 7 ноября убеждал: «В Германии теперь царят голод и обнищание, за 4 месяца войны Германия потеряла 4 с половиной миллиона солдат. Германия истекает кровью...». Понимали, что неправдоподобно. А потому не верили — хотя очень хотели бы верить! — и сталинскому обещанию: «Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть, годик, — и гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений».³

С горькой иронией отнеслись к посланию Калинина, «всесоюзного старосты». Обращаясь: «Ленинградцы, дети мои», он призывал потуже затянуть пояса. А люди-то умирали.

«Перепуганные интеллигентики»! Их уже столько пугали, таскали по ссылкам, чего им еще бояться? Но, наверно, они-то и были бóльшими патриотами, чем те, кто их так называл?

Верили в Бога, хотя в церковь не ходили. Верили в конечный разгром немецкого фашизма, хотя и понимали, что нужны не «несколько месяцев, полгода, может быть, годик». И прилагали к этому все силы, которые у них еще оставались. Продолжали работать, каждый на своем месте. Во время бомбежек мама дежурила на чердаке и крыше — нужно было гасить зажигательные бомбы в ящиках с песком. Иногда ходил с ней и я.

Не верили укоренившемуся слуху, будто первопричиной голода стал пожар продовольственных Бадаевских складов после немецкой бомбежки. Могло ли все содержимое складов погибнуть от одной бомбежки? И вообще — неужели громадный город полностью зависел от одной лишь группы складов, даже если она большая? А не был ли этот слух выгоден ленинградским начальникам или властям, куда более высоким? Или, больше того, — ими и «запущен»? Свалить страшный голод на немецкую бомбежку и на нерадивых хозяйственников, которые чуть ли не все продовольствие для огромного города якобы собрали в одно место, положили все яйца в одну корзину...

Был и другой слух, но его передавали друг другу только шепотом и только самым близким: не надеясь отстоять Ленинград, власти готовились заминировать важнейшие объекты, а в отношении продовольствия — больше всего боялись, как бы оно не досталось врагу.⁴ Не хотелось верить, что это — правда, хотя считали, что от властей можно ждать чего угодно. И впоследствии это в сущности признал даже Микоян. По его словам, Жданов, а за ним и Сталин в начале войны отказались посылать в Ленинград дополнительное продовольствие — те составы, которые шли на Запад и должны были с началом германского вторжения повернуть обратно. Правда, не было ли лукавства и в этом признании Микояна? Что это были за составы, которые везли продовольствие к западным границам, в плодородные области, которые сами снабжали страну? Не было ли это то самое продовольствие, которое советское правительство поставляло Германии вплоть до первого дня войны?⁵

Голод

С середины ноября встречи между родственниками и друзьями — если они не жили совсем уж рядом или поблизости — почти прекратились. Не было сил. Раньше люди пригибались при свисте снарядов. Теперь уже нет. Не потому, что стали храбрее. Просто не хватало сил.

С 20 ноября, уже в пятый раз, снизили нормы выдачи хлеба. Служащим, иждивенцам и детям — по 125 граммов, да и то с примесью целлюлозы. Вместо жиров, сахара и всего, что полагалось по карточкам, — щепотку яичного порошка, кусочек американского кокосового масла или что-то еще в этом роде. На месяц! Вода — из Фонтанки, куда десятилетиями сливали нечистоты. И нам-то еще повезло — жили рядом с Фонтанкой.

Кто умел — как-то доставал дуранду, так в Ленинграде называли жмых. Ни мы, ни наши близкие этого не умели. В какой-то мере нас выручило, что мама еще летом запаслась чечевицей. Пережив голод 1921-го в Поволжье, она всегда боялась его повторения. И когда чечевица еще была, когда еще работали коммерческие магазины и столовые,

сделала запас. Но, конечно, этого хватило ненадолго. В одной из листовок, которые немцы бросали на город, были слова: «Чечевицу съедите – город сдадите». Долгое время после войны мне казалось — ничего нет вкуснее. И я до сих пор люблю чечевичную похлебку.

Декабрь и январь — настолько страшные, что рука не поднимается описывать. Да и не уверен, что так уж отчетливо помню. От голода память, как и все чувства, притупляется. Восприятие становится не очень отчетливым. Вялость.

Еще в декабре не стало «деда» и его жены. Им было за шестьдесят. Не стало моего двоюродного брата и двоюродной сестры — а им не было и восемнадцати. Никто не знал, когда наступит его черед.

Обтянутые кожей лица. Как черепа. Серо-землистого цвета. Врачи говорили, что по губам можно определить, выживет человек или нет. Если совсем серые — не жилец. Цынга — два коренных зуба у меня выпали. Оказалось, что хуже всего переносят голод мужчины. Большинство знакомых, умерших еще в декабре, — мужчины. Слышал о случаях людоедства, но признак этого видел только один раз: в соседнем дворе лежали обструганные берцовые кости, похоже человеческие. В магазине видел, как вырывают друг у друга хлеб, хотя бы маленькие кусочки — «довески». Видел, что голод мог доводить до озверения, но в кругу близких такого не припомню. Скорее — самопожертвование. Помню, меня поразило: бабушка пришла к нам, узнать, живы ли мы. Пришла с Васильевского на Чернышев.

Однообразные дни. Без воды, без света, без тепла. Главное — без еды. Не раздевались ни днем, ни ночью. В пальто. В очередях за пайком, за хлебом — сырым, глинистым. Иногда его привозили только к полудню. А бывало, и на следующий день. Очереди занимали с раннего утра.

Я рубил топором мебель для буржуйки. Начал с мелкой, потом дошел до дивана. Но старинный дубовый сервант — не сумел. Не хватило сил. Это его спасло, он сохранился, и по сей день стоит у меня в квартире.

«Теперь, через 50 лет после снятия блокады, часто приходится слышать от переживших ее, как они героически сражались с голодом и холодом, становились донорами из патриотических побуждений, дружно и вдохновенно расчищали разбомбленные дома и улицы, чистили и убирали любимый свой город. Все это верно. Только это полуправда. Героизм, конечно, был. Но его скорее можно отнести ко второму периоду блокады, когда стали более регулярно поступать в магазины и столовые продукты, появилась надежда на близкое снятие блокады, да и на фронтах обозначились реальные успехи Советской Армии. Оставшихся в живых ленинградцев тогда действительно охватило желание скорее восстановить город, создать привычную обстановку прежней своей жизни. В тяжелейший же период — октябрь–декабрь 1941 г. и январь–март 1942 г. — у погибающего от голода и холода населения была одна проблема: выжить и сохранить жизнь своим близким и родным».⁶ В этих словах блокадницы В. С. Гарбузовой немало правды.

На что надеялись? Что армии маршала Кулика, генерала Федюнинского возьмут Мгу, Тихвин, прорвут наконец кольцо.

К началу марта подвоз продовольствия немного вырос. Чуть прибавили хлебные нормы. Развивался черный рынок: можно было обменять какие-то вещи на хлеб, — конечно, нелегально. В нашем доме был продовольственный магазин. Туда, продавцам, ушло многое из того ценного, что мы имели.

Но это были лишь крохотные улучшения. Голод продолжался. Люди по-прежнему умирали.

Шла эвакуация по «Дороге жизни», по льду Ладоги. Решиться или нет? Надо ли? И хватит ли сил? Желающих — множество, хотя еще в середине февраля объявили, что эвакуированные лишаются права на свою жилплощадь. Но жизнь — дороже жилплощади. К тому же извечная надежда: авось, не отберут.

В марте узнали, что началась принудительная высылка из Ленинграда. Людям присылали повестки: выселяетесь, такого-то числа обязаны быть на Финляндском вокзале. По какому признаку выселяли? Никто ничего не объяснял. Говорили о якобы трех категориях населения: немцах, эстонцах и тех, кто уже раньше бывал сослан.

Высылать тех, кто и так-то, может быть, не доживет до завтра! Да, умом Россию не понять! Маминой подруге из соседнего дома прислали такую повестку. Она была русская, Лидия Андреевна, но по мужу — Герцберг. Муж, из давным-давно обрусевших немцев, умер от голода еще в декабре. Она уезжать не стала. Новой повестки не прислали. Воистину, не понять!

Прислали повестку и моему отцу. Потом, в 2000-м, через много лет после его кончины, я запросил его дело в ФСБ. Оказалось, что его высылали «как социально-опасный элемент (сын крупного фабриканта)». Мой дед фабрикантом не был, тем более — крупным. Но отец в силу какой-то (не хотелось бы сказать — глупой) законопослушности — подчинился. 19 марта он уехал. И провел много лет в Салехарде — за Воркутой.

Его отъезд подействовал на маму и всех нас. Мы наскоро собрались и двинулись тоже. Бабушка, мама со мной, ее сестра с сыном и жена ее брата с двумя сыновьями. 25 марта мы на детских саночках привезли свой убогий скарб на Финляндский вокзал. Мороз кончился, снег таял. Отъезд был обставлен чуть ли не празднично: каждому дали по миске каши с двумя сардельками.

Но, чуть отойдя от города, на Ржевке, поезд остановился и простоял там два дня. Когда пойдет — никто не знал. О еде не было и речи. Тела тех, кто не выдержал, складывали у подножек вагонов, на снег.

Затем — Борисова Грива. Это ленинградская сторона Ладоги. Потом на полуторке — по Ладоге. Нас всех накрыли брезентом, вероятно, чтоб не пугались зарева боев на южном берегу. Я, конечно, брезент приподнял. И увидел зарево. Но, главное, увидел, как грузовик перед нами ушел под лед — попал в воронку. Шоферам было трудно: конец марта. Поверх льда — вода. «Дорога жизни» по льду — уже на исходе.

Дальше — другой берег, Большая Земля, и путь до Свердловска. 20 дней. На станциях наш поезд обычно отгоняли на самый дальний путь. На ближних — воинские эшелоны, скорые пассажирские. Кормежка — на станциях. За день поезд может пройти три станции, а иногда сутками стоять на полустанках или среди поля. Да и когда пришел на станцию — попробуй получи свой суп, кашу и чай! С несколькими судками надо пробраться под составами, которые отделяют наш от станции. Иногда их пять или шесть. И все время оглядываешься — как бы не ушел поезд. О его отправке зачастую не объявляли.

Перед нами шел эшелон с высланными из Ленинграда. Говорили, что это были эстонцы, но кто знает? До Большой земли они ехали как свободные, а после Ладоги — под конвоем. Наверно, им получать пищу было еще труднее, чем нам. Во всяком случае, когда наш эшелон приходил на станцию сразу вслед за ними, на перроне, бывало,

лежали две горки трупов: в начале поезда и в конце. Иногда их успевали накрыть брезентом, иногда — нет.

У нас мучались от кровавого поноса. И вши откуда-то сразу взялись. В Ленинграде у нас их не было. Дважды обстреливали немецкие истребители: возле станции Буй и где-то еще, когда мы стояли среди поля. Те, кто могли, прятались под вагонами.

До Свердловска доехали не все. В нашей семье — из четвертых взрослых только двое. Бабушка, Лидия Петровна Макрушина, скончалась сразу же по приезде в Свердловск. Тетя Лиля, Елизавета Дмитриевна Макрушина-Сырейщикова, — жена дяди Вали, — еще в поезде. Двух ее сыновей взяли в детдом. Да и нас с мамой ждал невеселый прием. Отчим считал, что нас нет в живых, и вел уже новую жизнь.

Дальше — скитания ленинградцев в эвакуации. Но это уже другая история.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Григорьев Г. Л. Кого боялся Иван Грозный: К вопросу о происхождении опричнины. М., 1998.

² На параде Красной армии 7 ноября 1941 г. Сталин сказал: «Враг не так силен, как изображают его некоторые перепуганные интеллигенты» (*Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза*. М., 1947. С. 39).

³ Там же. С. 39.

⁴ В. С. Семенов, известный дипломат, заместитель министра иностранных дел, писал, основываясь на свидетельствах очевидцев: «Жданов праздновал в Ленинграде труса... Он и Ворошилов, отправленный сразу командовать Северо-Западным фронтом, фактически считали падение Ленинграда неизбежным» (От Хрущева до Горбачева: Из дневника чрезвычайного и полномочного посла, заместителя министра иностранных дел СССР В. С. Семенова // Новая и новейшая история. 2004. № 4. С. 102).

⁵ В воспоминаниях, которые Микоян опубликовал, уже отойдя от активной деятельности (незадолго до смерти), сказано: «В самом начале войны, когда немецко-фашистские войска развергвали наступление, многие эшелоны с продовольствием, направляемые по утвержденному еще до войны мобилизационному плану на запад, не могли прибыть к месту назначения, поскольку одни адресаты оказались на захваченной врагом территории, а другие находились под угрозой оккупации. Я дал указание переправ-

лять эти составы в Ленинград, учитывая, что там имелись большие складские емкости.

Полагая, что ленинградцы будут только рады такому решению, я вопрос этот с ними предварительно не согласовывал. Не знал об этом и И. В. Сталин до тех пор, пока ему из Ленинграда не позвонил А. А. Жданов. Он заявил, что все ленинградские склады забиты, и просил не направлять к ним сверх плана продовольствие.

Рассказав мне об этом телефонном разговоре, Сталин сказал, зачем я адресую так много продовольствия в Ленинград.

Я объяснил, чем это вызвано, добавив, что в условиях военного времени запасы продовольствия, и прежде всего муки, в Ленинграде никогда не будут лишними, тем более что город всегда снабжался привозным хлебом (в основном из районов Поволжья), а транспортные возможности его доставки могли быть и затруднены. Что же касается складов, то в таком большом городе, как Ленинград, выход можно было найти. Тогда никто из нас не предполагал, что Ленинград окажется в блокаде. Поэтому Сталин дал мне указание не засылать ленинградцам продовольствие сверх положенного без их согласия» (Военно-исторический журнал. М., 1977. № 2. С. 45–46).

⁶ Предисловие В. С. Гарбузовой в кн.: Болдырев А. Н. Осадная записка: (Блокадный дневник). СПб., 1998. С. 21.

Н. Б. Рогова

ВОСПОМИНАНИЯ УЧИТЕЛЬНИЦЫ Н. В. МАНСВЕТОВОЙ О БЛОКАДЕ ЛЕНИНГРАДА

Мансветова (в замужестве Рогова) Нина Васильевна — учительница начальных классов мужской школы № 82 Петроградского района Ленинграда, депутат местного совета первых двух созывов, орденоносец (орден Знак Почета), общий стаж работы — 52 года.

Из года в год, каждый день она встречала детей с большим интересом и вниманием. «Такие маленькие, а в каждом уже человек живет — и какой человек!». Она не боялась трудных классов. Но однажды пришла домой в полном отчаянье: «Мне дали класс — от него все отказались, двенадцать второгодников, из них пять — на учете в милиции!». «Нинушка, — сказала ей тогда мама, — не плачь! В хорошем классе маленькую ошибку сделаешь — все заметят и не простят, в плохом классе ошибешься — никто не заметит, а если чуть подправишь, то все тебе только спасибо скажут!». Эти слова Нина Васильевна запомнила на всю жизнь — они стали ей опорой.

Нина Васильевна родилась 6 января 1910 г. в крестьянской семье в Тверской губернии. Детство ее прошло в селе Мологино Ржевского уезда. В семье было пятеро детей. Она была старшей. Отец прекрасно шил, а зимой уходил в город на сезонные работы, что приносило в семью дополнительный приработок. Ее мать, Мария Кузьминична, окончила три класса сельской школы, проявив яркие способности в учебе. Ее хотели учить дальше, повезли в Тверскую гимназию, но она не была принята туда по причине своего «крестьянского происхождения». Надолго затаила она эту обиду, и уже потом приложила все усилия к тому, чтобы своим детям дать хорошее образование.

В селе была начальная школа, куда Мансветовы поочередно отдавали всех своих детей. Старшую дочь отвели туда, как только ей исполнилось шесть лет. Вспоминая детство, Нина Васильевна рассказывала: «Отдали в школу меня рано. „Что она будет дома сидеть, — объясняла мама учителю, — а здесь она хоть умному чему научится“. Учитель был знакомый, взял меня. Мешок картошки ему за это дали... Вокруг меня дети, все старше меня — кому девять, кому одиннадцать лет. Сажу я — и ничего не понимаю. Учитель взмолился: „Возьмите девочку, рано ей еще в классы ходить!“. Только зимой начала я читать. Сначала и не поняла, что читаю. А потом — как закричу „Бабушка!“ и кубарем — с пачки, валенки — на голые ноги, и на крыльцо, плачу, бабушку зову. Она перепугалась: „Случилось что?! Слезы-то о чем?“ А я вдруг как закричу: „Бабушка! Я читаю!“ Бабушка повернулась к церкви, перекрестилась: „Слава Богу! Наша Нинушка зачитала!“ ... Учебный год я закончила уже как лучшая ученица».

Для продолжения учебы родители отправили ее во Ржев, и там после школы она поступила в педагогический техникум. В то время Ржевский техникум готовил учителей, способных не только преподавать в сельской местности, — выпускники должны были владеть и специальными навыками ведения сельского хозяйства. Скороговорки и песенки про севооборот остались у нее в памяти на всю жизнь от такой широкой профилизации обучения. На лето преподаватели давали учащимся задания по изучению социально-психологических типов людей, проживавших в тех местах, где они проводили свои каникулы. Она вспоминала некоторые из тех своих зарисовок и наблюдений:

«Митинг в деревне по вопросу заготовки сена. Выступающий держит речь: „Там, за границей, наши братья колхозники тоже проводят сенозаготовки!“». Кроме курьезных были и остро политические картинки: «Ну-ка, девка! Скажи, чему ты будешь учить детей в своей школе? — Да, вот например, математике. — А что это такое? — Это, прежде всего, четыре основных действия: сложение, вычитание, умножение, деление. — Зачем так много, когда осталось всего только два действия? Отнять и разделить!..». Такие и подобные этим наблюдения были типичны для сознания людей того времени — эпохи коллективизации. «Просто смятение умов — все перемешалось в головах», — посмеивалась Нина Васильевна.

Комсомольцев техникума привлекали к раскулачиванию. Она говорила об этом всегда очень сдержанно и с каким-то состраданием. «А кого раскулачивать? У своего же народа отнимали. Вот, например, мою маму раскулачивали. А какая же она кулачка? Было нас пять детей — и все мы ей помогали...».

Особую роль в ее личностном становлении сыграл преподаватель литературы — Юрий Яковлевич Ходаков.¹ Он имел большую библиотеку, вел литературный кружок, учил своих подопечных читать и понимать прочитанное, привил им правильный вкус к гуманитарным знаниям. Организовал театр. Свою карьеру преподавания он должен был прервать на какое-то время из-за начавшихся гонений на любителей поэзии Сергея Есенина и вынужден был даже покинуть Ржев. Тогда в первый раз погибла его библиотека. Потом он несколько раз переживал потерю всех книг и каждый раз начинал собирать библиотеку заново, иногда почти с нуля.

После окончания техникума Н. В. Мансветова проработала несколько лет в молодинской школе Ржевского района. Закончила Высшие партийные курсы, а затем поступила в Ленинградский государственный университет на географический факультет, который по семейным причинам (смерть отца и обострившиеся в связи с этим материальные обстоятельства) ей не удалось закончить. Еще занимаясь в университете, она определилась на работу в школу № 18, устроилась жить в общежитии.

В Ленинграде Н. В. Мансветова познакомилась и близко сошлась с новыми коллегами, с которыми потом была связана узами товарищества и духовного родства всю свою жизнь. Это — Галина Владимировна Ильинская,² Александра Александровна Левинсон,³ Мария Григорьевна Гуськова,⁴ сестры Людмила Ильинична и бестужевка Екатерина Ильинична Ермоленко.⁵ Все они, тогда молодые и устремленные в будущее, были увлечены своей работой. А по вечерам бегали в театр — «на Аллу Тарасову!». «Ее голос я воспринимала, чувствовала каждой клеточкой своего существа. Она выражала мои переживания. Я испытывала такое состояние, будто поднимаюсь, вырастаю. Такая сила и власть были в этом чудном голосе», — говорила Нина Васильевна, вспоминая об этих годах. Также горячо их захватывала опера, концерты в филармонии — С. Я. Лемешев, И. С. Козловский, М. П. Максакова.

Для того чтобы учиться и как-то сносно жить, многие из них объединились в небольшие группы, в коммуны. По ночам мыли полы в столовой, дежурили охранниками в учреждениях. Быт был тяжелый. На несколько девушек имелась всего одна «выходная» блузка. «Надо же было случиться, что на мне эта блузка и разорвалась. Уже бежать надо, надела ее, а рукав и разъехался в локте, да так, что ничего и сделать нельзя. Засучила рукава. Потом говорили, что выглядела я очень эффектно. Катастрофы никто не заметил».

Накануне войны Н. В. Мансветова уже работала в средней школе № 82 Петроградского района Ленинграда. Эта школа была базовой для специалистов Педагогического института им. Покровского. Открывалась перспектива интересного сотрудничества. Кроме того, она была избрана в депутаты местного совета первого созыва. Жизнь выстраивалась в полных формах востребованности и надежд на будущее. Появился интерес и в личной жизни: она познакомилась с Роговым Борисом Михайловичем, талантливым инженером, с которым потом навсегда связала свою жизнь. Они были красивой парой. Их брак помог им преодолеть блокадное лихолетье.

Утро 22 июня 1941 г. все перевернуло.

О своем военном пути Нина Васильевна рассказала в «Воспоминаниях о работе в годы войны». Н. В. Мансветовой они были написаны в 1977–1979 гг., после посещения ее писателем А. М. Адамовичем, который в 1970-е гг. собирал вместе с Д. А. Граниным материал для будущей «Блокадной книги». Тот вечер встречи с писателем растрогал ее. Память о дорогих людях, с которыми разделила боль, тревоги и общую судьбу учительствования в блокадном Ленинграде, требовала самой сказать о них, «как умею».

В своих «Воспоминаниях» Н. В. Мансветова с благодарностью вспоминает коллег и наставников, учителей с большим опытом работы, многие из которых были методистами, известными в районе и городе не только в годы войны, но и после ее окончания. Ими были выработаны особые приемы и методики преподавания, которые активизировали процесс обучения. К их числу надо отнести такую методику, которая была основана на постоянном повторении пройденного, что дисциплинировало и цементировало процесс обучения. В экстремальных условиях войны эти методы были востребованы сразу и полностью.

Размышления Нины Васильевны о значении гуманитарных дисциплин, активно помогающих формировать нравственное здоровье растущего поколения, были выстраданы опытом именно тех военных лет. Она на своем опыте прочувствовала, как складывались духовные опоры обездоленных, блокадных детей, на чем вырабатывались здоровые их основы. Ведь у ленинградских детей все было отнято, порушено войной. Выстраивать духовную вертикаль детского самосознания помогало изучение родного языка, отечественной истории и русской литературы. В этих предметах можно было найти и душевную ясность, и простоту, и достоинство. В годы войны они выполняли роль врачей душ и ориентировали учеников на созидание и строительство жизни, мирного будущего. «Как повышаете свой идеологический уровень?» — задали Нине Васильевне вопрос на какой-то очередной партийной комиссии в 1944 г., она ответила: «Читаю Толстого — „Войну и мир“». И получила неожиданную оценку: «А ведь здорово! Это настоящее!». Именно с этой точки зрения Н. В. Мансветова часто вспоминала о своей работе и о коллегах во время войны.

В этой связи Нина Васильевна часто поминала Марию Петровну Цамутали, учительницу литературы,⁶ с которой судьба соединила ее в годы войны: «Она давала такие уроки, что жить хотелось. И это — в самые тяжелые годы блокады! Мария Петровна дух человеческий укрепляла, делала его сильным. Как это нужно было тогда!.. Откуда сама-то силы брала? Жизнь хорошо знала... Ободрить умела — так просто, ненавязчиво и очень тепло. Словечко скажет, а оно — на всю жизнь западет. Как-то, уже после войны, я говорю Марии Петровне, что муж цветов мне не дарит, а она — с улыбкой: „Был бы виноват, тогда бы носил цветы. Значит — не виноват!“». Как на крыльях летела я домой!..».

Закончилась война. Не вернулся с фронта брат Александр. Похоронки не пришло. Родственники долго разыскивали его как рядового, предполагая, что, «может быть еще найдут его, что отзовется он, живой, родной»... Только в 1960-е гг. на очередной запрос о нем пришел ответ, что майор Александр Васильевич Мансветов погиб под Москвой.

Зато вернулись с фронта младшие братья, которые ее называли своей второй матерью. Один, брат Николай, в первых же боях под Москвой был тяжело ранен в ногу, долго лечился и уже не призывался в армию по инвалидности. Еще в госпитале он был зачислен в Московский государственный историко-архивный институт, который закончил с красным дипломом, получил распределение в московский Институт истории. Сразу же был командирован в состав одной из научных комиссий в послевоенную Германию. Защитил диссертацию.⁷ Выстраивалась дипломатическая карьера. Страшная нервная болезнь, как последствие ужасной войны, настигла его уже потом. Другой брат Мансветовой, Василий Васильевич, тоже вернулся с фронта. Два ранения, осколок в теле, военное звание. Поступил на заочное отделение исторического факультета Педагогического института, закончил его и работал потом в Артиллерийском музее.⁸ Имел два боевых Ордена Славы. Но умер в 1992 г. не от военных ран, а через год после того, как был жестоко избит возле своего дома.

Из освобожденной Калининской области переехала в Ленинград мать Нины Васильевны с печальным известием о том, что в мологинский дом, дом их детства, попала бомба. А тогда, в самом начале войны, ее дочери, Нина Васильевна и Анна Васильевна, просили свою мать уехать с ними, но она наотрез отказалась: «Здесь мой дом — здесь мне и умирать!». Потом рассказывала: «Из домов нас выгнали. Мы на огороде земляночку сделали. Вот она, да еще банька — там с Раменскими⁹ всю войну, пока под немцем были, так и жили».

Во Ржеве Анна Васильевна тогда работала железнодорожным диспетчером¹⁰ и помогла Нине Васильевне выехать одним из последних поездов в Ленинград. Военные события развивались быстро и страшно. Анна Васильевна так рассказывала о тех минутах, когда немецкие части уже входили в город: «Железнодорожные службы отправляли составы до последнего. Нас, диспетчеров, было две или три девчонки. Мы были в запарке. Вдруг вбегает к нам начальник станции с криком: „Дуры! Что сидите? Немец уже здесь! Догоняйте! Может быть, успеем!“ — и исчез. Мы выскочили — на путях пусто, только дрезина с ручным управлением. Вот на ней мы и ушли из Ржева... Можно сказать — на виду входящего войска покидали город. Эдак и гнали до самой Шаховской... Даже курточку свою не успела прихватить, она на спинке стула так и осталась висеть». «Эта курточка» стала знаком беды для каждого Мансветова...

Начались годы мирной жизни. У сестры и у вернувшихся братьев, как и у самой Нины Васильевны, сложились семьи, появились дети.

Тяжелая болезнь, развившаяся вследствие блокадных стрессов, недоеданий, а также из-за отморожения ног еще в финскую войну, свалила мужа. Почти семь лет он был прикован к постели. В 1963 г. его не стало. Мужественно несла свой крест Нина Васильевна. Мало кто догадывался о бесконечных бессонных ночах, о моральных и физических перегрузках этой всегда ровной, спокойной, приветливой женщины. Дома постоянно жили взаимопонимание, радость и любовь.

Взаимная помощь и поддержка друг друга особенно крепко связала семью Нины Васильевны с родственниками мужа и с семьей ее сестры, Анны Васильевны.

После войны, в мирное уже время школа развивалась также не просто. Не хватало школьных зданий. Начальные классы всегда были переполнены: набирали до 45 человек. Бывало, что и больше, но это уже носило временный характер; вмешивалась администрация, и стремились что-нибудь изменить. В старшие классы доходили не все: кто менял школу, кто уходил в ремесленные училища, кто поступал в техникумы.

В памяти тех, кто знал Н. В. Мансветову, она запомнилась такой: гладко причесанная, сдержанная, сосредоточенная. Каждый день — две стопки тетрадей: по русскому языку и по арифметике, а в тетрадях — красными чернилами написаны ее рукою образцы, как в прописях, задания, и, конечно, отметка. За этой внешней стороной образа «типичной учительницы» стоял напряженный труд, постоянный поиск и размышления. Как-то на даче летом собрались учительницы. За окном — волны Ладожского озера, ветер, солнце, а у них свой разговор. О чем? Конечно, о работе, об учениках, о педагогических находках. На другой день тетя Феня, хозяйка дома, и говорит: «Я очень хочу перед Вами извиниться, я вчера слушала ваш разговор, думала, что, как обычно, дачники мне будут косточки перемывать — а вы только о школе, только о школе, о школе и учениках...». Действительно, она жила жизнью школы, проживала жизнь своих учеников. Всегда была вместе с ними. «Как заставить читать? Почему вдруг испортился почерк?». «Замкнулся, не хочет говорить — что это значит?» — или, наоборот — «очень возбужден», «бледен», «вертится» и т. д. и т. п. Все эти, как бы побочные, черточки поведения ученика становились предметом выявления общей картины его внутренней жизни, делались объектом отдельного анализа, чтобы собрать *cuticulum vitae*, активизировать все силы ученика, все его интересы, душевные ресурсы и направить в единое русло — научить учиться.

Учиться должно быть интересно! Это должно стать не только потребностью ученика, но и радостью! Радостью, которую делишь с кем-то. При этом всегда вспоминала широкий бабушкин жест, обращенный всему миру и церкви, когда она перекрестилась, узнав, что ее внучка вдруг начала читать.

Нина Васильевна старалась подыскать к каждому ребенку свой, индивидуальный ключик. Особенно трудно было работать с талантливыми детьми. Она была убеждена, что «ребенок должен иметь постоянно преодолеваемую им лестницу знания», что именно это вырабатывает характер, закаляет силу воли и правильно развивает нравственную основу его личности. «Зачем Таню Корнфельд¹¹ учить читать, когда она уже теперь читает Диккенса? И прячется под парту, чтобы я не отняла у нее книжку. Да она просто возненавидит учебу! Я разрешила ей читать, но с условием, что она мне перескажет то, что прочитала». Или: «Я не могу ставить Ване Раку¹² пятерки только за то, что он уже до школы владел этими знаниями — я просто его испорчу!». Или: «Лене Кобяку¹³ нельзя ставить пять за решение общих контрольных — ему нужны задания более сложные, индивидуальные». «Талантливых детей очень просто испортить — их можно захвалить, они загордятся, потеряют интерес к учебе, у них может ослабеть воля», — говорила Нина Васильевна об особенностях работы с одаренными учениками. Таким детям она разрабатывала отдельные задания. Но чтобы не ставить этих детей в исключительное положение и чтобы у остальных детей не возбуждать чувство зависти или собственной неполноценности, задания на карточках получали все в классе.

Нелегко было и с «запущенными», «проблемными» детьми. Здесь уже надо было разбираться, с какими трудностями встретился ребенок и почему вдруг потерял интерес

к учебе. Причины были совершенно разные: дом, семья, товарищи, улица, болезнь. Все входило в живое поле работы учителя с детьми. В тихой и вроде бы спокойной работе учителя бывали и опасные ситуации. Так, однажды она поняла, что уже ничего одна, без помощи родителей не сможет сделать для своего Лемеша, втянутого в уличную грязь и разврат. Она пришла в дом ученика. Грязные стены, лампа, спускающаяся на голом проводе с потолка, разбросанные постели, четверо детей... Беременная мать, вечно испуганная, тихо плакала и что-то обещала исправить... «Что ты плачешь? — раздалось вдруг из кучи одеял. — Кто тебя обидел? Ах! Это учительница! Да я ее!». Посыпалась брань, в руке появился топор. «Уходите! Уходите! Он пьяный!» — беременная вытолкала учительницу. Удар топора в захлопнувшуюся дверь поставил точку в «разговоре» с родителями. Дома Нина Васильевна плакала — но о чем? О невозможности помочь ребенку: «Неужели так и отдать его улице?».

Конечно, «потерянных детей» было немного. За каждого ребенка приходилось бороться, чтобы не потерять его, не уступить улице, чтобы не отправить в исправительную колонию. «Сложные дети» часто становились потом истинными друзьями Нины Васильевны, благодарными ей на всю жизнь. Сколько она выслушила за годы своей работы таких слов: «Много я тогда попортил Вам крови, но Вы сделали меня человеком — спасибо!».

Ученики уходили от нее, а она помнила их всех, за кого радовалась, о ком грустила. Очень любила рассматривать фотографии. Перепич Стасик, Наташа Левчиня, Леша Несенюк, Ира Липина, Саша Король, Подольский, Миша Беккер, Володя Решетников, Юра Дмитриев, Гена Додин — эти и много, много других имен ее учеников — просто жили в доме учительницы. Она помнила их тетради, их почерки, отметки. Какие-то тетради долго хранила как образцы для других учеников. Особенно помнила детей военных лет: Сережу Бокова, Андрея Крюкова, Алешу Цамутали, Сережу Федорова... Перед смертью все собиралась встретиться с Андреем Крюковым, чтобы «все вспомнить, обо всем поговорить». Очень понравилась ей его книга о музыкальной жизни блокадного Ленинграда. Была тронута верной памятью своего ученика о тех годах...¹⁴ Но встречи не случилось...

Особой страницей в творческой биографии Нины Васильевны была ее работа с Александром Израилевичем Раевым, профессором ЛГПИ им. А. И. Герцена, доктором психологических наук.¹⁵ Он приводил студентов на практику к ней, сблизился с Ниной Васильевной и Зоей Николаевной Федоровой,¹⁶ учителями одной параллели в начальных классах школы № 82, и включил их в планы своей научной работы. На базе «открытых» уроков, разбирая их и обобщая большой педагогический опыт практической работы учительниц, он обучал студентов и аспирантов, как надо работать с учениками, выстраивать тот или иной урок, втягивая учеников в процесс обучения. В результате этого сотрудничества потом было сделано несколько кандидатских диссертаций по методике преподавания в начальной школе. Работа с Раевым была достойным итогом педагогической деятельности Нины Васильевны Мансветовой. «Как хорошо, что мой опыт пригодился для исследований и научных обобщений, что он оказался востребованным, нужным для людей, а для себя — я смогла взглянуть на свою работу со стороны, обобщить то, чему научилась у моих предшественников и чего достигла сама. Вот и образовалась цепочка дел живых», — говорила она потом, с благодарностью вспоминая годы сотрудничества с этим исследователем.

Тем не менее ее никогда не покидала мечта о будущем лучшем своем уроке. «Эх! Какой урок я хотела бы дать — это был бы лучший мой урок!.. Я так обязана многим моим друзьям и коллегам за то, что из меня получился учитель», — любила она повторять, особенно выделяя блокадный период своей жизни. Об этом лучшем своем уроке она мечтала до самого последнего дня.

Публикуемые теперь «Воспоминания» Нины Васильевны Мансветовой о ее работе в годы войны хранятся в Отделе рукописей РНБ (ф.1000. Собрание отдельных поступлений. 1985. № 3). К ним присоединены сочинения учеников четвертого класса ленинградской школы № 82. Материалы «Воспоминаний» использовались в докладах, статьях, на выставках.¹⁷

Н. В. Мансветова
Учительница 82-й школы г. Ленинграда
Воспоминания о моей работе в годы войны

В 1976 году я встретила с писателем А. М. Адамовичем. Он с Д. А. Граниным собирал материал к своей будущей книге о ленинградской блокаде.¹⁸ А. М. Адамович много и подробно расспрашивал меня о том времени. Рассказала я тогда все, что пришло на память.

Но вот ушел он, а воспоминания все больше и больше обступают, повторяются, множатся.

И не потому, что до его прихода они не жили во мне.

Приход писателя как-то по-новому заставил взглянуть на прошлое.

* * *

Начало войны для меня навсегда соединено с моей дорогой из Москвы, где я оказалась в день объявления о нападении Германии, во Ржев. Я выехала туда сразу же — 23 июня. Эта дорога до сих пор стоит у меня перед глазами.

К поездкам, идущим на запад, начиная от Волокаламска, по всей дороге (не только у станций) вышли женщины с детьми, стариками. Они сидели, стояли вдоль по насыпи в надежде последний раз увидеть своих близких — отцов, сыновей, мужей — и плакали, прощались. Чуть где покажется деревенька — тут и провожающие. И какие только здесь не были картины. Женщины с детьми (постарше — жмутся к матерям, а младенцы — на руках). Тут же старухи, старики — пешком дошли, на телегах добрались. Не забыть вид женщин: кто волосы на себе рвет — причитает, кто просто сидит, смотрит — и страшно, как смотрит. А одна, помню, качается из стороны в сторону, а по лицу слезы, слезы катятся. И такой плач по всему пути...

Проезжала — и оторваться от вида их не могла: все нутро наполнилось этой картиной. Поезда проходили сквозь эту женскую толпу — никогда не забыть этого проявления горя людского.

Уже после 15 августа я возвращалась из Ржева в Ленинград. Здесь пережила свой первый обстрел. В ожидании поезда находилась в привокзальном помещении. Вдруг послышался рокот самолетов, и в ночном воздухе посыпалось, зависло что-то светящееся, шуршащее, будто длинные иголки. И так близко, рядом. Было интересно: высунься в окно, протяни руку — и они на ладони. Потом раздался грохот — и пошло, и пошло...

Осветили фашисты станцию этими игольчатыми гирляндами — и ударили по ней. А в тупике стоял состав с боеприпасами, бомбы попали в поезд, снаряды начали рваться — и такое тут началось...

В ужасе выскочила я на улицу, кто-то куда-то запихал меня пересидеть. А утром знакомый дежурный диспетчер Веремко¹⁹ — за одну ночь черный стал — выходит навстречу, шатается:

— Принеси пить! — говорит. Принесли воду в чайнике — целый чайник залпом выпил — и уснул тут же, на улице, на скамейке.

Начальник станции, узнав, что мне надо в Ленинград, сказал:

— До Лихославля будет зеленый путь, ну, а дальше — не обещаю: Ленинград окружают немцы.

С тем и поехала. Действительно, до Лихославля поезд шел спокойно. В вагоне мало было людей, а после пересадки их стало еще меньше.

У Малой Вишеры поезд вдруг остановился. Встали мы среди какого-то кустарника — и тишина... Постояли, постояли, потом машинист начал дымом маскировать состав. Такое я видела впервые — удивляюсь, громко спрашиваю: что, мол, это такое? Вдруг мужчина, сидевший напротив, властно так и тихо говорит:

— Молчите! Не задавайте вопросов!

Примолкла я. Потом скомандовали, чтобы все пассажиры немедленно вышли из вагонов и бежали врассыпную. Уже был слышен вой самолета. Мы неслись от поезда к кустикам — и все вместе, толпой...

— Врозь! Всем врозь! — неслись команды. Было страшно, и люди как овцы, жались друг к другу... Самолет обстрелял нас и улетел. Раненых не было. Объявили посадку. Поезд тронулся. В пути встретилось несколько разбитых составов.

В Ленинграде пока еще было спокойно. Я сразу пошла в школу (№ 82 теперь это — школа № 85 в Певческом переулке, дом № 4). Директор нашей школы Шутенина К. К.²⁰ уже эвакуировалась. Ксения Филипповна Тюрина²¹ исполняла ее обязанности.

Меня соединяла с ней почти десятилетняя совместная работа в 82-й школе. Когда я пришла в эту школу, в ней уже было много молодых начинающих учителей (человек 10–12). И она была нашим кумиром. На нее мы старались быть похожими в учительской работе. Уже в то время она была районным методистом по русскому языку. Мы ходили к ней на уроки и учились у нее не только методике преподавания, но учились еще — любить свое дело. Она вносила в процесс обучения простоту, ясность, умение владеть вниманием детей. У нее было интересно — и хотелось быть учительницей, и непременно такой же, как она.

Обычно она начинала урок с повторения нужного материала к данной теме. Эта разработанная методика повторения очень пригодились в военное время.

В работе с молодыми учителями она строила свою работу не только на показе, демонстрации своих уроков, но и часто приходила на наши уроки. Для нас привычны были ее слова: «Я к тебе сейчас приду». И мы спокойно пускали ее к себе, зная, что, кроме добра, доброй помощи, ничего не будет.

В передаче своего опыта молодым она была бескорыстна и активна, считая это своей кровной обязанностью. Это воспринималось нами как нечто естественное. Теперь, к своему стыду, я не могу вспомнить, благодарили ли мы ее за эту кропотливую работу с нами. А ведь как часто, бывало, она говорила: «Что у тебя — прилагательные начинаешь?

Не начинай без меня. Я приду и дам первый урок». И приходила. И давала такой урок, что я не узнавала своего класса — все работали, были активны, у всех в глазах светилось желание ответить. А начиналась такая... огромная тема, как «Прилагательное», простой фразой, обращенной к какому-либо ученику: «Дай мне, пожалуйста, карандаш! — Не этот, опять не этот» — и обращаясь к классу: «Что же нужно спросить, чтобы мы поняли друг друга?.. Какой карандаш?..». Но этого мало. После своего урока, данного в моем классе, она отмечала все слабые места в пройденном мною с классом материале и подсказывала, как исправить допущенные в работе ошибки. Это позволял ей обнаружить широко разработанный ею тогда метод повторения, основанный на глубоком понимании (и правильном применении методов) анализа и синтеза в процессе обучения. Для Ксении Филипповны не существовало нового материала — вне пройденного, новой темы — вне старой. Ее метод повторения помогал учить школьника думать и находить новое в уже известном, расширяя его границы. Радость открытия, творчества жила на ее уроках — именно это так увлекало учеников. Она создавала такую атмосферу, в которой ученик свободно проявлял себя, потому что новое базировалось на том, что им хорошо было усвоено. Разрыва между новым и старым не было в ее методе.

Помню, мы с Ксенией Филипповной тогда разбирали и сжигали школьный архив — два дня бумагами топили титан. В помещении было непривычно тихо и пусто, окна закрыты, на стеклах белели бумажные кресты.

В школу заходили учителя. Учитель рисования — Володя Шаховнин²² — пересказывал подслушанный им разговор детей:

— Один мальчик говорит: «Гитлера надо расстрелять за эту войну!». Другой возражает ему: «Нет, его надо повесить!». А третий, как бы повторяя материнское: «Нет! Гитлера надо заставить отмыть со всех окон наклеенные бумажки, а потом уже повесить!».

Заклеенные бумагой крест-накрест окна — этот знак войны детьми был замечен сразу. И это было начало войны. Все ужасы голода, первой блокадной зимы, бомбежек, обстрелов — все это еще впереди.

А Володя Шаховнин, остроумный и веселый человек, учитель, к которому тянулись ребята (у него очень хорошо с ними получалось), — умер от дистрофии, кажется, уже в 41-м году.

Война внесла в жизнь каждого из нас крутые перемены. Часть учителей была послана на окопы (Ильинская Галина Владимировна). В помещении нашей школы располагалась воинская часть. Когда она была отправлена на фронт, в школе разместились госпиталь. Раненых сразу было много. Некоторые наши учителя стали там работать (Сахарова Александра Ивановна²³). Враг приближался. Несколько учительниц были мобилизованы на работы по подготовке города к уличным боям (Гуськова Мария Григорьевна). Они делали бойницы в угловых домах, для того чтобы под прикрытием стен было удобно просматривать движение на улицах и вести огонь по неприятелю. Тюрина Ксения Филипповна, Федорова Зоя Николаевна были направлены в детский дом — и воспитывали, и учили, и лечили...

Меня вызвали в райисполком. Как депутат я была включена в комиссию по сбору с населения теплых вещей для армии. Пункт сбора находился в ЗАГСе Петроградского района. По городу был объявлен сбор, и люди несли все, что у них было. Отдавали хорошие, дорогие вещи: валенки, шарфы, варежки, теплое белье, шапки, носки, фуфайки. Несли и просто шерсть. Какое-то производство списало нам много шерсти — и мы организовали заказы на вязание из нее носков и рукавиц. В вещи, которые приносили, люди вкладывали — без просьб и приказа — записочки для бойцов: «Бей фашистов!», «Победа за нами!» или что-нибудь в этом роде.

Все собранное мы сортировали по видам вещей: варежки, портянки, шапки и т. д. — все отдельно. Старенькие вещи чинили, штопали, зашивали — готовили к отправке.

И вот в конце августа иду я по коридору райисполкома, а мне навстречу идет одна женщина, с которой мы вместе работали, — держится за голову.

— Что с Вами, Анечка? — спрашиваю, а она:

— Какой ужас! — показывает рукой на одну комнату:

— Там вещи разбомбленных детей — их возвращают родным, — заплакала и прочь пошла.

До сих пор вижу тени несчастных женщин возле этой комнаты. А вещи-то там: детские сумочки, платочки, книжечки...

Так стягивалось кольцо вокруг Ленинграда. К местам эвакуации приближались немцы, и детей возвращали назад в Ленинград. Валентина Николаевна Жидкова,²⁴ секретарь райисполкома, говорила, что фашисты не только бомбили составы с детьми, но и на бреющем полете расстреливали детей через окна эшелонов.

В райисполкоме спецотдел занимался сбором ценных вещей. К каким-то работам привлекали и членов нашей комиссии. Так, помню, Анечка ходила в каком-то представительном составе в церковь, которая отдавала золото, деньги. Ценности отдавало и население. В газетах писали тогда о наиболее значительных вкладах граждан страны. Это были в основном известные люди: герои труда, лауреаты, артисты, писатели. Нам же сдавали ценности самые разные люди — и не испытывать глубокого чувства уважения и благодарности к ним было невозможно. Всех объединяло одно стремление — помочь Родине.

В комиссии по сбору теплых вещей я работала до нового года. Помню, как пришли врачи из 31-й поликлиники, принесли очень искусно сшитые рукавички (именно сшитые, а не связанные). Среди пришедших была и Мария Михайловна Сергеева, наш участковый врач (к весне 1942 года она была главным врачом этой поликлиники, а к 1944 году — заведующей райздравотделом Петроградского района). Помню, как она радовалась тогда, что их рукавички понравились. «Да, мы не только лечить умеем!» — говорила она, и было видно, как ей приятно.

Жизнь, всякое проявление жизни стягивалось все больше в какой-то бесчувственный, почти механический импульсивный ком рефлексов. И самый человеческий, возбуждающий волю, напрягающий все то, что еще оставалось вместо нас, был великий побудитель — НАДО!

Как мы пережили *январь–март* — почти не могу вспомнить. К концу декабря не было уже какого-либо регулярного посещения работы. Муж уже не мог передвигаться.

Я вызвала врача. Но дни шли, а врач не приходил. Это становилось опасно. Я побрела сама в поликлинику. Судьба снова свела меня с нашим участковым врачом Марией Михайловной Сергеевой.²⁵ К этому времени она была уже главврачом. Я расплакалась, она успокоила меня и взяла под свой контроль лечение мужа. Все больше и больше сдавала и я: мучила цинга, слабость была ужасная, стала опухать. Из этих дней запомнилась встреча Нового года. Каким-то образом сообщили учителям, что в институте Покровского будет бесплатный обед, а точнее — новогодний вечер для учителей. В памяти ничего не осталось от того торжества — только накрытые столы.., кто-то говорил речи, а мы сидели, и перед нами стоял нарезанный ломтиками хлеб — и мы потихонечку отщипывали кусочки... Выданный обед я поскорее понесла домой, не дожидаясь окончания вечера...

Жизнь чуть-чуть теплилась в нас и вокруг...

В это трудное критическое время муж вдруг стал вести дневник. Мне иногда кажется теперь, что это его и спасло. Однако уже 17 января он прекратил записывать, так как не мог самостоятельно подняться... Бывало,ходишь в комнату — смотришь,глядит он или нет...

Вспоминать об этом времени тяжело и больно.

Трупы на улицах города... Они появлялись все чаще и больше... У людей не было сил хоронить своих покойников, умерших выносили на улицы и оставляли так, прямо на снегу. Я жила в здании госпиталя. Бывало, идешь домой — лежит очередной несчастный, зашитый в простыню, а то и просто в одежде... Дворник сокрушается: «Опять притащили!..».

А то — прямо на улицах люди от голода падали — вмерзали в сугробы... Проходишь — из снега ноги торчат... И мимо плетешься — и почти никаких эмоций — и сам можешь лечь — вот так же...

И где эта грань между жизнью и смертью проходила? Одному Богу известно... А ведь еще что-то делали...

Очень остро стоял тогда вопрос о распределении продуктов. Мария Михайловна Останина,²⁶ депутат, ученый секретарь Института Покровского, и я привлечены были уже после Нового года в районную комиссию по проверке столовых. Мы приходили в проверяемую столовую, узнавали у калькулятора дневную норму закладки продуктов на блюдо, а потом на раздаче проверяли развеску порций хлеба, порционную развеску блюд первого и второго, смотрели санитарное состояние работников столовой (чистота рук, халатов) и помещений.

Помню случай. В одной столовой сделали замеры порций хлеба — оказалось чуть ниже положенного... Заметались, испугались работники...

Одна — говорит: «Да, это гирька упала!»

— Ищите!

— И вот ползают по полу — ищут...

Сделали предупреждение.

«Да, это гирька! гирька!» — так с этим и проводили нас. До сих пор стоит в ушах эта «гирька».

Жалкая история!

Однажды я была на очередном заседании райисполкома. Сильное впечатление произвело обсуждение работы столовых. Поднимался целый круг вопросов: и как работники должны относиться к посетителям, и о чистоте, и о качестве приготавливаемых блюд — обсуждалось даже меню!.. Запомнилось высказывание Валентины Николаевны Жидковой: «Давайте готовить, как следует!.. Щи! — так, чтобы были настоящими щами — с крупой!».

А потом уборка города... Это уже перелом... До сих пор поражаюсь — откуда силы взялись. И ведь очистили город, и не было никаких эпидемий!.. Весь город был разбит на участки, и каждый участок был закреплен за какой-либо организацией или домохозяйством. Нашей школе дали Певческий переулок — от Большой Посадской улицы и кусочек Малой Посадской до Института Покровского. Люди слабые, измотанные — женщины — тюкали ломami, гребли лопатами — и смогли сделать то, что было необходимо...

Почему-то запомнилась сценка: вышли мы на работу, среди нас — женщина с муфточкой, с сумочкой — и с ломом... Вот тюкает она ломом: в одной руке — сумочка, муфточка, другой — поднимает, старается лом... И муфточка-то ей мешает, и сумочка-то в бок бьет, и платок на лицо съехал... А расстаться с ними она не может... В сумочке — документы, карточки, а муфточка руку греет... И вот ковыряется, тюкает...

Уборка города — это как определенный моральный рубеж, первая моральная победа ленинградцев. Несмотря на то что смертность все еще была высока, люди воспрянули... Здесь уже и паек был прибавлен. Работала «Дорога жизни».

К весне я была включена в состав комиссии, которая определяла больных на усиленное питание. Работали на одном заводе. В комиссию входили врач, депутат и представитель завкома. Людей, больных дистрофией, ставили на усиленное питание или определяли на стационарное лечение.

Потом объявили, что в мае начнутся занятия в школах. Наконец-то!..

Помещение нашей школы было занято госпиталем, поэтому ученики и учителя нашей 82-й школы были распределены по другим школам. Серафима Николаевна Гусева²⁷ — учительница русского языка, Митусова Валентина Ивановна²⁸ — преподаватель литературы, Гуськова Мария Григорьевна — учительница начальной школы, и я были направлены на работу в 89-ю школу. Возглавляла тогда 89-ю школу скромная, чуткая женщина, среднего роста, мягкая, тихая — Мария Никитична Серебровская,²⁹ учительница географии (она была матерью писательницы Е. П. Серебровской). Она попросила меня помочь ей в организации питания учащихся. Нам нужно было собрать с родителей деньги, карточки детей, договориться с заводом относительно столовой и прикрепить к ней наших учащихся. Эта кропотливая работа требовала большой собранности, оперативности. Много детей эвакуировалось. Их надо было рассчитать, снять с учета, открепить от столовой, вернуть деньги и карточки. Другие дети появились вновь — и их без задержки надо было определить на питание.

В школу набирали с первого класса по седьмой. Человек 250–300 было к открытию школы — и, наверное, учителей десять.

В мае занятия начались. Они сводились в конце концов к тому, чтобы организовать детей.

Помню, собрали школьников в первый день... серенькие они, худенькие, неподвижные, тихие... Ну, просто — тени!.. Сели ребята, как маленькие старички, на солнышке во дворе школы, прилепились на каких-то бревнах и тихо говорят... Не по-детски так разговор ведут, однообразно, вяло — о том, что они ели до войны и теперь... только о еде — про хлеб, про манную кашу, про чай...

И вдруг — выскочила откуда-то маленькая девочка в беленьком платьице (откуда она и взялась!?)... и запрыгала, как бабочка... С недоумением, не понимая, смотрели на нее дети...³⁰

Решила я хоть как-то поднять их, хоть какую-нибудь игру начать. Построила детей, велела за руки взяться, круг организовать — и никак — ничего не получается у нас: слабые мы...

— Дети! Шире круг, шире! — говорю им, и сама не знаю, что же дальше делать — обидно — хоть плачь. И вдруг в спину слова: «Сытая учительница, вот и радуется!».

Сердце сжалось ... С тем и начались занятия...

Завтракать повели детей в столовую. Там их встретили очень хорошо. Были накрыты столы, чисто — порядок во всем. Заведующая столовой ходила между столами подтянутая, прибранная (очень ей хотелось, чтобы детям все понравилось здесь), смотрела, чтобы порции в тарелочках были полноценные, чтобы никто не был обижен. И как не вспомнить о блокадной горбушке хлеба!.. Ее желал получить каждый из этих малышей. Жадный блеск глаз, губы, вытянутые навстречу подносу, на котором был разложен порциями хлеб — все выражение изможденного детского лица говорило: «Мне — горбушку!».

И какая мгновенная радость вспыхивала на лице счастливого...

Горбушку можно было есть дольше, ее можно было жевать, сосать...

Острый интерес к горбушке пропал только к концу 1943 года.

Так и водили мы детей завтракать и обедать, потихоньку включая их в учебный процесс.

И вышла у меня тут одна история, которая близко свела и на всю жизнь подружила с Марией Ниловой Власовой,³¹ учительницей математики, районным методистом.

Помню, я отпустила детей (а режим был такой: дети собираются, завтрак, два-три урока, обед, а потом школьников отпускали). Разошлись ребята, а я устроилась в столовой приводить в порядок документацию, карточки и деньги на следующий месяц. Лежит передо мной ворох этих бумаг. Вдруг подходит ко мне немолодая учительница — седенькая, худенькая, лицо доброе, открытое, — и говорит: «Давайте, я помогу вам хоть деньги считать». Разложила «тройки», «пятерки», «десятки» по кучкам, пересчитала каждую кучку, все перевязала, надписала — и оставила передо мной. Я поблагодарила ее, и мы расстались. Убрала я карточки и деньги в несгораемый шкаф, и спокойно ушла домой.

На следующий день прихожу на работу, меня с ужасом встречает вчерашняя помощница, кидается ко мне с вопросом: «Что вы обо мне думаете?». Гляжу на нее и не знаю, что сказать. «Да ведь я у вас все крупные деньги унесла домой! Простите меня — я

отложила их в тетрадочку, чтобы они не мешались, увлеклась мелочью — про них-то и забыла. Прихожу домой, к урокам стала готовиться — деньги! Всю ночь не спала! Куда сообщить, куда бежать — не знаю! Прямо извелась — простите!».

— Ну, давайте теперь все проверим, — сказала я. — У меня вчера карточки сошлись, а теперь проверим деньги!

Все сошлось, история была исчерпана, волнения улеглись, и потом вспоминали про это с улыбкой: «Ну, надо же — какие разини!».

А ведь действительно разини: сколько случаев пропаж было и денег, и карточек.

С конца июня меня отправили в пригородный колхоз. Со мной человек 30 учителей и воспитателей детских садов. Прополка, уборка овощей. Жили отдельной бригадой, работали с утра до темна. Отпустили с грамотой. К нам в бригаду присылали художницу. Она сделала две стенгазеты и уехала в другую бригаду. Нас почему-то в одной из этих газет сравнивали с тракторами. Наверное потому, что на прополке мы ползали на коленях...

Однажды прихожу к своей бригаде — учительница плачет:

— Что случилось?

Оказывается у нее карточки пропали из сумочки. (А свои вещи все оставляли вместе на краю поля).

— Кто подходил к вещам?

Все указали только на одну женщину — пить ходила.

— Отдай карточки! — говорю ей.

И отдала она. Всем стыдно было.³²

К двадцатым числам августа мы вернулись из колхоза. Колхоз выдал нам по два кочана капусты, несколько свеклин, немного моркови — целое состояние! До сих пор так это и ощущаю, все той же мерой радости...

Приехала из колхоза — грязная, усталая, решила денек отдохнуть. Но уже к 12 часам из района человека прислали — почему не вышла на работу? Ох! И выволочку получила от заведующей РОНО Марии Яковлевны Перкиной.³³ «Война, а она отдыхает!». Направила она меня в 82-ю школу — в мою, родную, переведенную в помещение музыкальной школы на Кировском проспекте (там и теперь музыкальная школа).

Как настиганая — примчалась туда... В канцелярии меня встретила незнакомая учительница — высокая, худая женщина. Молча и, как мне показалось, сурово выслушала меня — пальцы правой руки барабанят по столу.

— Ну, вот, вы и пришли — будете преподавать историю в IV классе.

А потом, совсем неожиданно:

— Идите домой — вам отдохнуть надо.

Так произошла моя первая встреча с новым завучем нашей школы Марией Петровной Цамутали, красивым, одухотворенным человеком. Преподаватель литературы, методист, она перешла к нам из 85-й школы, законсервированной к началу нового учебного года. В мою жизнь она вошла сразу, с первых своих слов — и навсегда. Собранная, сосредоточенная, она умела держать высокую планку доброго, одухотворенного проникновения в жизнь. Ее взгляд, слова, интонации были всегда полны достоинства. С ней было спокойно, ее общение с нами было живительно. Умела она и поддержать, и

ободрить, и успокоить. Слова ее, простые и ясные, проникали в душу, запоминались. Одна история особенно нас сблизила. Но об этом чуть позже.

Начали готовить школу к 1 сентября. Каждый класс был укомплектован: человек 30–35 в классе. Некоторых классов было по два (например, вторые). И вот накануне открытия — в двух классах совсем нет чернилниц и не хватает одной классной доски. Смотрю, какие-то женщины тащат доску на дворницкой тележке — мимо школы... И вдруг — заворачивают к нам, в школу. В одной из них узнаю Ксению Филипповну Тюрину, работавшую тогда в детском доме. Оказывается — выпросила она доску в какой-то школе, которая была законсервирована — и рада больше всех. Так нам и осталось гадать, откуда она узнала, что нет у нас доски.

Чернилницы же только 1 сентября перед занятиями принесли из Пединститута Покровского — больше 40 непроливашек...

Директором нашей школы была назначена Елена Ефимовна Смирнова.³⁴ Это была умная женщина, умелый руководитель. В школе было девять классов — всех детей она знала не только в лицо — судьба каждого ребенка была ей известна. Трогательно было ее отношение к учителям.

Во двор нашего дома осенью упала бомба — повылетали стекла. Два листа фанеры было выдано мне школой!

Однажды я заболела и ушла с работы. Она прислала из школы, узнать, как я дошла и не нужна ли какая помощь.

Такое внимание чувствовали все учителя. Зимой 1942 года заболела Мария Ниловна Власова, и сразу же к ней послали из школы помощников, которые отвезли заболевшей дрова и обед. Она умела беречь людей.

Зная нужды учителей и умея быстро реагировать на них, Елена Ефимовна была требовательна и принципиальна в работе. Под ее непосредственным руководством регулярно проходили педагогические советы с отчетами учителей об успеваемости учащихся. Тут уже скидок не было.

На педсоветах очень часто были инспектор Гороно и инспектор района Анна Калининна Пятницкая,³⁵ которая знала многих детей поименно. Они ориентировали нашу работу на требования партии и правительства.

Анна Калининна была бестужевка, преподаватель русского языка и литературы. Инспектор А. К. Пятницкая умело работала с коллективом учителей всего района. Контактный, демократичный характер этой женщины и бесконечная ее доброжелательность позволили ей занять в судьбе каждого из нас заметное место. К ней можно было прийти по любому вопросу в любое время.

Искусно вела она свою инспекторскую работу, превращая ее, по сути своей, в методическую. Она просматривала классные журналы, где отмечались пройденные темы и проставлялись оценки учащимся. Для нее это были не просто отчетные записи учителя: по ним она восстанавливала картину проведенной учителями работы с классом и могла судить о ее результатах. Последующий же просмотр ею ученических тетрадей позволял говорить ей о качестве этой работы, а также об индивидуальной работе с учеником. Многих учеников она знала поименно, и по учебе, и в лицо. Поэтому при обычной встрече на улице она могла спросить: «Ну, как твой Боков³⁶ — все озорует?». Этот вопрос не вызывал удивления — он органично выходил из наших общих интересов.

Она часто посещала наши уроки — умелый и тактичный разбор их всегда был полезен нам. Особое внимание она обращала на привлечение современного материала.

До сих пор, вспоминая ее, удивляюсь, как можно было так много, конкретно и подробно знать о жизни школ всего района. И это в самые страшные годы войны...

В районе уже в 1943 году проводились открытые дни в школах. В эти дни в школу на уроки приходили: зав. роно, инспектор роно, представители гороно и Института усовершенствования — человек 15.

Посещение заканчивалось разбором уроков. Помню, были у меня — в моем четвертом. Тема урока — «1905 год». Урок хвалили — теперь уже и не помню, за что хвалили, но недостаток своего тогдашнего урока — помню: висела лишняя картина в классе, которая не была использована на уроке.

Представитель Института усовершенствования в своем выступлении говорил о разумном использовании наглядных пособий в процессе обучения и об умении всеми средствами сосредоточить внимание учащихся на теме урока. Он приводил слова А. П. Чехова о ружье на сцене, которое непременно должно выстрелить. Заметил и у меня недостатки. В подготовке урока, в подборе наглядных пособий я допустила нарушение, забыла элементарное правило экономного, рационального отбора наглядного материала к уроку: повесив лишнюю картину, я рассеяла внимание учащихся и своими же руками помешала себе в достижении цели урока.

До сих пор благодарна методисту за такой тщательный и добрый разбор урока; в последующие многие годы своей работы я не раз вспоминала его слова.

Такие открытые дни были и в других школах. Вот, помнится подобный открытый день в 79-й школе. Я была на уроке истории у Зои Николаевны Федоровой. Тема — «Октябрьская революция». Урок был прекрасный, и в конце открытого дня при разборе я выступила. Сначала я дала оценку уроку, а потом сказала о значении открытых дней в условиях войны. Я говорила о том, что они необходимы нам, учителям, так как мобилизуют нашу волю и силы на работу, совершенствуют нашу методику преподавания. Ведь за счет тщательного анализа конкретных уроков ведется учеба учителей, обмен опытом между нами и обобщение этого опыта на высокопрофессиональном уровне, а это неизбежно обогащает и учителя-практика, и самого методиста.

Закончила я выступление такой мыслью — мы горды, что в условиях блокадного города мы имеем эти открытые дни, которые так много дают нам. Помню, что многие меня поддержали.

Проводилась методическая работа и в пределах школы: Елена Ефимовна Смирнова и Мария Петровна Цамутали проверяли контрольные работы, проводили их разбор, часто посещали уроки. Проводился и обмен опытом.

При посещении уроков М. Н. Власовой (методист по математике в 4–7 классах) всегда и всеми отмечалось, как прекрасно поставлен устный счет на ее уроках. Она умела увлечь детей своим предметом и была похожа на дирижера, руководившего дружным оркестром.

Дети любили эту учительницу. Помню, однажды я вошла в свой класс после ее урока. На доске нарисована рожица и очень похожа она на одного моего ученика.

— Что это? — спрашиваю. — Почему доска к уроку не готова?

А дети:

— Это рисунок Марии Ниловны. Нам очень нравится. Жаль стирать.

Потом выяснилось, что она так наказала ученика: делала, делала замечания — он не слушается; тогда она его нарисовала на доске и говорит нарисованному: «Да когда же ты будешь слушаться?».

Рассеянная она была ужасно. После ее уроков ученики частенько находили в классе ее вещи: очки, карандашики, тетрадочки с записями... Остановится она около ученика, чтобы в тетради поправить ошибку — и тут же горжеточку оставит, у другого — свой учебник, у третьего — ручку...

Е. Е. Смирнова очень любила посещать уроки М. П. Цамутали:

— У нее надо учиться соединять предмет с жизнью, с сегодняшним днем. Красивые, мудрые уроки! — говорила она. И, когда ей бывало особенно плохо, тяжело, она отправлялась на уроки литературы к Марии Петровне: «Сил набраться».

Здание музыкальной школы — прекрасно приспособленное, удобное и красивое помещение, но с печным отоплением. Это обескураживало нас. Откуда? Где взять дрова на такие печи? Перед началом учебных занятий в школу приехал председатель Петроградского райисполкома Павел Иванович Скотников,³⁷ посмотрел, как нам на новом месте, и выдал разрешение на снос деревянного двухэтажного дома на Мичуринской улице — вот вам дрова для школы! И еще — получили мы инструкции, как разбирать деревянные постройки. (И теперь перед глазами эта книжечка формата книжки-малютки.)

Изучили мы эту инструкцию — и стали ломать... Всё женщины — ни сноровки, ни силы, ни умения — одна инструкция. Крышу разобрали, стропила, балки... Бестолково натужно работаем. Вниз кидаем. Кинули очередную балку — и вдруг видим — внизу идет Мария Петровна Цамутали. От ужаса оцепенели, затихли... потянулось жуткое молчание...

И вдруг в тишине: «Товарищи! Я жива! Жива!» — поняла Мария Петровна наше состояние и ободрила нас. Какая радость была!.. А совсем недавно, буквально на днях, узнала я, что то, брошенное тогда бревно задело ее — и обмерла душа, как тогда в тишине... потому что хранит сердце страх тех жутких минут...

Работа по разбору деревянного дома шла медленно. Перетаскивать бревна в школу не было сил. Тревожились мы за сохранность с таким трудом добываемых дров.

Однажды сижу я в учительской на дежурстве, вдруг входит военный:

— Капитан Блохин. Пришел узнать, в какой помощи нуждаетесь.

Предложения помочь школе были уже до него, но дальше разговоров дело как-то не шло, поэтому я довольно резко сказала:

— Ходят тут много, таких как вы, а в результате, как дело — так и нет никого.

— Вы скажите, что нужно — я обещаю помощь, а потом и знакомиться будем. Согласны? — ответил он.

— Попробуем, — довольно скептически сказала я и назвала адрес злополучного дома.

На следующий день, как сейчас помню, пятнадцать моряков-курсантов пришли на работу. Все закипело. Дом был разобран. Бревна перевезены на машине, которую дал

военно-морской экипаж. Доски и мелкие бревна мы носили к школе вместе с учениками: старшие несли тяжелые, а младшие — мелкие доски. Шествие растянулось и напоминало почему-то процессию муравьев.

Так вошел в жизнь школы капитан Георгий Петрович Блохин.³⁸ По специальности он был учителем истории и прекрасно представлял нужды школы. Преподавал в Военно-Морском экипаже. Всегда подтянутый, всегда готовый прийти на помощь, он быстро сдружился с нашим коллективом.

Чуть что, мы звонили ему. На праздники он присылал в школу военный оркестр, которым руководил композитор Борис Киянов.³⁹ Детям, у которых погибли на фронте родители, а также детям, на долю которых выпали особенно мучительные испытания, офицеры Военно-флотского экипажа на свои личные деньги делали подарки: или выдавались деньги, или оплачивалось питание.

Несколько раз за время шефства из экипажа присылали машину (может быть, даже автобус), которая забирала группу детей — человек в тридцать — и доставляла их в курсантскую часть. Для детей, конечно, это был праздник. Там они смотрели, как живут матросы, присутствовали на их вечерах, а иногда дети готовили и свои выступления на праздники и выступали в части.

Хорошо запомнила, как в первый раз отправили туда детей. Сопровождала их учительница истории Коршунова Анастасия Андреевна.⁴⁰ Увезли детей в часть, начался обстрел — пришлось их оставить там на ночь. Блохин позвонил в школу. Дети ночевали в красном уголке части. Поездка эта доставила массу удовольствий ребятам — и массу хлопот старшим.

С мая 42-го года особенно и потом постоянно в школе обращалось внимание на чистоту. Директор, учителя, врач и медсестра глаз не спускали с классных помещений, туалетов, околешкольной территории. Так было по всему городу. О чистоте говорила по радио и очень известная в то время учительница Кропачева.⁴¹ Помню, что меня это выступление даже разочаровало: она говорила о чистоте и порядке в своем классе как о чем-то особенном. Но борьба за чистоту велась в каждой школе.

В связи с этим вспоминается, как один раз, войдя в свой класс и увидев его в сильно замусоренном состоянии, я заставила детей навести в классе порядок, а потом выгнала всех, закрыла класс на ключ и сказала, что я не хочу их больше учить. Дети робко выстроились в коридоре у класса.

— Что это у вас? — спросила проходившая мимо директор школы.

— Мы мусорили, — признались дети.

Елена Ефимовна попросила меня открыть класс, вошла в него и сказала:

— Смотрите, как вы умеете убирать класс, — научитесь, пожалуйста, сохранять порядок! — и, обращаясь ко мне, попросила:

— Разрешите, пожалуйста, войти детям в класс. Если еще раз повторится — будем отчислять.

Все — вопрос о чистоте был решен.

В августе и сентябре–октябре 1943 года, давая уроки, принимая участие во всех школьных делах, я должна была, как депутат, проверять готовность жилого фонда к зиме. За лето 42-го года и в 43-м году были проведены большие серьезные ремонтные работы по

водоснабжению населения и приведению в порядок канализации, по проверке отопительной системы. Мне приходилось лазать на крыши, на чердаки, в подвалы, проверять заделку окон, наличие воды, песка на чердаках, проверять санитарное состояние и захламленность подвальных и чердачных помещений.

Когда закончилась эта осенняя кампания, меня включили в комиссию по проверке брони у людей призывного возраста. Комиссия состояла: представитель райвоенкомата, депутат, спецотдел (?). Работали на заводах через отдел кадров. Каких-то нарушений, по-моему, не было (не помню). Только одна была неприятная история.

Пришли в столовую. Директор столовой имел право на бронь при условии определенного численного состава прикрепленных к столовой людей. Пришли, спросили отчетность о количестве ежедневных закладок, включая закладку сегодняшнего дня. Оказалось человек на 100 меньше нормы. Директор умолял скрыть это. Противно было смотреть в лицо этого здорового мужчины.

К первому сентября 1943 года мы готовились тщательно. Своими руками отремонтировали всю школу. Блохин смог нам дать только инструктора по ремонтным работам — он и руководил нами. Школа была, как новенькая.

Первого сентября приехали кинодокументалисты, засняли красоту нашу. Буквально через десять дней мы бегали (и учителя, и ученики) в кино смотреть журнал перед началом фильма — весь про нашу школу. Заснят там и мой урок: я веду вводный урок истории в четвертом классе. Карты висят. Дети слушают. Как сейчас вижу: на первом плане мой любимый ученик Сережа Федоров:⁴² глаза черные, внимательные... Мальчик из очень простой семьи: отец — на фронте, мать работала дворником. Сережа учился прекрасно и все дети в классе его любили. (В 43-м году он погиб при обстреле на глазах матери).⁴³

Только 10–13 сентября мы смотрели этот киножурнал, а 14-го — был жуткий обстрел: шестнадцать снарядов разорвались вокруг нашей школы. Один снаряд попал в трамвайную остановку, слышны были крики о помощи. Когда начался обстрел, мы успели спуститься в коридор первого этажа (наше бомбоубежище было в соседнем доме, а школьный коридор имел прочные перекрытия, его боковые стены защищались служебными комнатами, и он вполне мог выполнять роль убежища). Дети группами сидели вокруг своих учительниц. Мой четвертый был со мной, все жались ко мне, каждый старался хоть пальчиком дотронуться до меня, а я никак не могла унять дрожь. Понимала, что теперь только во мне одной они ищут хоть какую-то твердость, опору... напрягала все силы, чтобы унять страх, — и вдруг совершенно выключилась: мысленно перенеслась в свои родные места, в детство, к маме — и перестала дрожать. Вой сирены скорой помощи вернул меня к действительности.⁴⁴

Прямого попадания в школу не было, снаряд разворотил колонну при входе в школу, взрывной волной были выбиты все стекла.

После обстрела первый, кто приехал в школу, был Павел Иванович Скотников. Он был рад, что у нас нет жертв, что дети целы. Поблагодарил нас, но при этом был мрачен, немногословен, походил по школе и очень быстро уехал. И было отчего хмуриться хозяину района: в 89-й школе разворотило все лестницы, были жертвы,⁴⁵ пострадал детский садик напротив госпиталя — тоже с жертвами... Жертвы по району были и еще.

На следующий день в школу пришли комсомольцы от райкома во главе с секретарем Петроградского райкома. С проклятиями в адрес Гитлера помогли убрать школу.

После обстрела приехали и киношники, но наши горечь и раздражение были настолько сильны, что мы единодушно не разрешили снимать школу в таком виде. Почему-то казалось это кощунством, хотя теперь думаю, что напрасно не разрешили снимать.

В этот обстрел пережила я и еще одно волнение. В нашей школе учился мальчик Азик.⁴⁶ Он занимался в классе 5–6-м, но, как случался обстрел, присоединялся к моему классу. Я привыкла к этому и не выпускала его из-под наблюдения. Но в этот обстрел он убежал и от меня — просто исчез из школы. Я очень переживала — где мальчик? Крики о помощи с улицы остро и болезненно отзывались во мне. Только на следующий день я увидела его, стала бранить — все сказала. А он смотрит виноватыми, широко открытыми глазами и говорит: «Я не знаю, как это получилось: ноги сами побежали к маме».

А мама-то его работала в районе ДЛТ. Представила я, как по Кировскому мосту бежит мальчик от ужаса, от страха к маме — весь гнев прошел... Вспомнилось тогда, как и я сама, в день объявления войны в какой-то душевной панике взяла билеты на Ржев, чтобы прижаться к маме, найти тепло и защиту...

Во время этого обстрела Елена Ефимовна, директор школы, была больна. Страшные головные боли приковали ее к постели. Но ужас обстрела не обошел и ее. Она жила в доме, где жил Максим Горький (напротив теперешней станции метро «Горьковская»). Снаряд разорвался на ее балконе, взрывной волной сдвинуло одну стену в комнате, которая целиком упала на противоположную стену, у которой стояла кровать больной, и закрыла ее от осколков и разрушений. Придя в себя, Елена Ефимовна выползла из-под ненадежного укрытия, спасшего ее от верной гибели.

Сережа Федоров

Однажды в воскресенье я дежурила в школе. Вечером пришел Сережа Федоров, мой любимый ученик из IV класса.

— Нина Васильевна, давайте я что-нибудь буду делать! Давайте я помогу Вам чем-нибудь.

— Нет, Сережа! Ничего не надо. Иди домой! Все спокойно, — говорю мальчику, и он ушел.

Мама его дворником работала с младшим сыном в тот вечер снег убирала на Куйбышевской улице (тогда название было другое). Сережа к ней и пошел.

Разгребали они снег. Начался обстрел. Снаряд разорвался рядом. Обоих детей ранило. Мать (Маргарита Васильевна) к младшему бросилась, а Сережа упал:

— Мамочка! Мне больно! — стонет.

Отирает она малыша, крики его унимает.

— Ползи, сынок, ползи ко мне! — старшему говорит.

Подтянулся Сережа к ней, и на руках Маргариты Васильевны умер.

Хоронили Сережу школой. Гроб деревянный сделали. Блохин машину дал. На похороны я идти не могла, заболела. Дома была — места себе не находила, зачем я тогда не задержала его, не придумала какого-нибудь дела. И вдруг привиделся мне Сережа — весь в белом — в дверях остановился — глаза черные, внимательные.

Через полгода подходит ко мне его мама, Маргарита Васильевна,⁴⁷ и отдает пачку папирос:

— Возьмите, пожалуйста, это Сережа все носил для Вас, да стеснялся отдать.

И заплакали мы с ней...

Однажды сижу в учительской. Вдруг слышу в школе выстрел. Выхожу в коридор — никого, в класс заглянула — никого, в туалет мальчиков вбежала — вижу: мальчишки стрелять учатся. Я — к директору. Она забрала их к себе, поговорила, они ей рассказали и про пистолеты, и про пулемет — все это они вытащили из танка, который находился на ремонте в мастерской недалеко от школы, чтобы на фронт бежать. Сдали они ей оружие, назвали место, куда пулемет спрятали (под Кировский мост), а про гранаты не сказали, дома под подушкой прятали. Потом пошли в парк Ленина взрывать их. Граната разорвалась в руках. Один мальчик был тяжело ранен — ему руку оторвало, истек кровью и умер, другой испугался и убежал домой...

Одного мальчика в моем классе звали Адольф⁴⁸ (фамилию не помню). Однажды подходит он ко мне:

— Не называйте меня по имени — никогда! Стыдно иметь такое имя.

Гитлера, фашистов дети ненавидели люто. Ходил даже по городу слух, что в игре, разбившись на две группы, как обычно бывает, когда ребята играют в войну, они схватили будто бы одного мальчика и повесили, говоря, что он Гитлер.

Летом 1943 года многие старшие классы работали в колхозах, как и в предыдущее лето. Для младших же школьников были организованы при школах детские площадки. Учителя водили детей в столовую, гуляли с ними, и занимались их развитием: читали, считали, разучивали стихи, проводили соревнования на лучшего чтеца, декламатора, художника. В распорядок дня был введен и тихий час для детей.

Учительница 89-й школы, Антонина Ивановна Горелкина,⁴⁹ гуляла с детьми в парке Ленина. Начался обстрел.

— Дети! Скорее под кусты! — металась от одного к другому учительница.

На ее глазах тяжело ранило семерых детей, а одному — снесло полчерепа. Антонина Ивановна несколько дней после этого не могла выйти на работу. Тяжелейшее нервное расстройство.⁵⁰ Разговор об этом никогда никто с ней не заводил.

Однажды директор школы сказала мне: — К вам на урок придут солдаты с фронта. Пусть они посидят с детьми — примите их, как следует. Пришло человек 20 — каждый из них сел за парту, а рядом устроились по одному, по два мои четвероклассники. Целый урок просидели фронтовики с ребятами. Одни слушали детей, другие сами что-то рассказывали, дети показывали свои тетрадки и учебники — и взрослые с охотой рассматривали их. Время пролетело незаметно. Тихая, доверительная беседа.

Ребята были в восторге от этого посещения.

После этого на продленном дне я предложила им написать небольшое сочинение — не для проверки. Тема: «За что я ненавижу фашистов». Некоторые сочинения остались у меня.⁵¹

Восьмого марта 1943 года. Этот день очень памятен. От своих мальчишек получила подарок — в коробочке два красных карандашика, три кусочка сахара и несколько конфеток-подушечек. Открыла я коробочку — да так и ахнула!..

Вместе сладкое съели, а карандашики долго служили мне.

В мае того же года, после праздников, учительница Галя Яковлевна Вангенгейм⁵² на улице вдруг как заплачет:

— Обещали к маю победу, а еще война — и конца ей нет! А я так устала!

Ах, эти слезы учителей, всегда всё и всех понимающих, постоянно вбирающих в себя все беды и несчастья своих ребятишек и их родителей!.. Эти слабые женщины были сильны и мудры, а для себя — только иногда позволяли расслабиться...

В 1942–1943 годах в школу пришла молоденькая пионервожатая, милая девушка Фабричева.⁵³ В моей памяти именно с ней связана перестройка пионерской работы в школе. Как приятно было видеть не серую, вялую кучку детей, а подтянутых ребятишек, выстроившихся в зале, — пионеры. Всем лишениям, тяготам и утратам можно было противопоставить только дисциплину и самодисциплину. Именно на это и была направлена пионерская работа.

В условиях военного города детей необходимо было растить. Ослабленные голодом ужасной первой блокадной зимы, нервно истощенные, издерганные ребятишки — им надо было дать здоровье — не только физическое, но и духовное. Дети формировалась на материале военной жизни, разрухи, страшного быта. Помню пионерские сборы тех лет: «Народные мстители», «Страна помогает фронту», «Герои фронта» и т.д. Из учеников был организован актив помощников. Ребята сами разыскивали материал к сборам — из газет, радиопередач. В школе проводились политинформации силами самих учащихся. Помню, Алеша Цамутали,⁵⁴ ученик 6–7 класса, прекрасно справлялся с этим. Его поэтому и называли — историк.

Дети жадно тянулись к людям фронта. Так очень им хотелось увидеть генерала. (Тогда все эти звания были только введены.) Однажды Елена Ефимовна говорит мне:

— У меня есть телефон генерала — детям знать его не надо, а пригласить хотелось бы. Пожалуйста, поговорите с ним детским голосом (у меня это, действительно, получалось), пригласите на сбор!

И пригласила! И пришел! — и до сих пор, вспоминая об этом, чувствую в себе волнение и детскую радость... Настоящий генерал! Он понимал, как нужно знать детям о мужестве отцов...

Ребята того времени много и умело помогали взрослым. Нашему классу дали задание: принести 10 ведер песка на чердак от Петропавловской крепости. Я не могла пойти с ними и мучилась из-за этого.

— Не волнуйтесь! Мы все сделаем!

И пошли. Пока они ходили, я извелась: вдруг обстрел! Вдруг налет!

Ребята пришли и принесли 10 ведер песка. На мой вопрос: «А страшно было?» — ответили: «Нет! Мы построились парами и песни пели — строем идти не страшно».

С самого начала войны в школе было организовано дежурство учителей. Дежурный должен был записывать все наблюдения в вахтенный журнал. Дежурным часто помогали дети. Те, что помладше, дежурили по школе, а старшие — на чердаках, а потом хвалились друг перед другом, кто больше сбросил зажигалок.

27 января 1944 года — никогда не забыть этот день!

Б л о к а д а с н я т а !

Из дневника мужа:⁵⁵

«15-е января.

Всю ночь и весь день с утра бьют наши орудия. И с суши и с кораблей...

Нина утром приходит в класс на урок. В классе никого... Оказывается — ребята в зале, облепили окна и внимательно наблюдают за вспышками на кораблях, которые бьют по немцам...».

Действительно, ночью и утром страшно били пушки. А радио молчит — тревоги не объявляют. Пошла в школу. Мои мальчишки повскакали на окна зала, прилипли к стеклам. Я гоню их в убежище, а они:

— Нина Васильевна! Да разве Вы не слышите — это же наши бьют!!! Наши!.. Они фашистов прогонят!

Лица горят, глаза сверкают...

А потом заниматься стали под грохот канонады.

Директор нашей школы Елена Ефимовна Смирнова — первая получила медаль «За оборону Ленинграда» в нашем коллективе. Мы пришли поздравить ее, и она сказала: «Я получила медаль не только за свою работу. Ваш труд вошел в эту награду. Эта награда всему коллективу».

* * *

Я благодарна судьбе за то, что в самое трудное время для всех нас, для страны я встретила прекрасных, светлых людей... Многих уже нет, о ком я вспоминаю... Но память о них, о всех, кто был рядом, жива, потому что они помогали выстоять, выжить...

1977–1979 гг.

Сочинения учеников
IV класса 82-й школы Петроградского района
1944 год
Январь

*Работа Горячева В.*⁵⁶

За что я ненавижу немцев.

Когда началась война, нас эвакуировали в Боровичи, где мы жили со школой 2 месяца. Но потом нас обратно повезли в Ленинград. Когда мы ехали по дороге в Ленинград, на нас налетели немецкие самолеты. Много ребят погибло. Когда мы приехали в Ленинград, немцы уже опоясали город со всех сторон. С продуктами становилось все хуже и хуже. Людям не хватало хлеба и продуктов. Много людей погибло от голода и холода. Лично у меня погибла бабушка и братишка Миша. За которых я буду мстить учебой.

Работа Майорова Олега,⁵⁷ 4-го кл.

За что я ненавижу фашистов.

Когда я был на даче в 1941 г., однажды в воскресенье 22 июня утром пришли хозяева и сказали нам, что началась война с немцами. Мы сначала им не поверили, а потом сестра сказала: «Папа придет и скажет». Мы еле дождались вечера, и я побежал на станцию. До станции было 3 ½ км. Пришел поезд. Папа вышел. Самый первый вопрос был у меня: «Что, война началась?». Слова хозяйки были верны. Когда мы ездили на дачу, то мама покупала разных продуктов, чтобы хватило на все лето, и это нам помогло. Наступила осень, а потом зима. Осенью я свел свою любимую собачку усыпить. 22 декабря умер мой дедя. Потом у нас продукты иссякли и мы стали голодать. Было холодно. Дров не было. К нам в дом упало 3 снаряда. Был пожар, но все-таки мы все эти муки вынесли. Когда мы окрепли, то узнали, что большинство родственников погибло в 1941–1942 гг. Немцы бомбили город Ленина. Бросали зажигательные бомбы. Я лично погасил две зажигательные бомбы. В 1943 г. мы ехали на машине. Вдруг начался артобстрел. Когда мы стали подъезжать к Литовскому мосту, то перед нами развернулась следующая картина: немецкий тяжелый снаряд попал в трамвай. Жертв было очень много. Особенно мне запомнился один военный, которому оторвало обе ноги, но он был в памяти и хотел подняться, хватаясь за воздух руками.

Я, ленинградский пионер, даю слово, что еще отомщу за Федорова Сергея, убитого в 1944 году 3 января, и за того бойца, который остался на всю жизнь калекой. За погибших родственников.

Смерть немецким захватчикам!!

Работа Смирнова А.⁵⁸ 23/1 944 г.

За что я ненавижу врага.

В 1941 г. немецкие войска без объявления войны напали на нашу Родину. Я учился в 22-й школе во 2-м классе. Немцы подходили все ближе и ближе к Ленинграду. Нас ребят стали эвакуировать из Ленинграда. Я уехал со своей школой в Боровичи. Там мне было хорошо. Но вскоре нас опять повезли в Ленинград. Мы ехали в товарном вагоне, только один раз над нашим поездом пролетел вражеский самолет, поезд остановили, дали сигнал, чтобы мы вышли из вагона и побежали в лес. Но вскоре стало тихо, и мы поехали в сторону Ленинграда. Когда мы подъезжали к Ленинграду, то около насыпи было очень много воронок от вражеских снарядов. Когда мы приехали в Ленинград, то впервые я услышал сигнал ВТ. Когда я пришел домой, то мама была очень рада, что я приехал Домой. В середине 1941 г. начались тяжелые дни. Почти без топлива, без воды, без света жили ленинградцы. За водой ходили на Неву.

Стояли жгучие морозы.

Ленинградцы жили на 125 г хлеба. Люди истощали. Много людей умерло. У меня умер дедушка, мамин братишка, мой братишка. В 1942 г. всему населению прибавили хлеба, в булочных люди целовались и плакали от радости.

Ленинградцы жили и боролись с врагом. В 1942 году наши доблестные войска прорвали долгожданную блокаду Ленинграда. Тогда Ленинградцы сказали: «Все силы фронту!».

Вот за что я ненавижу врага.

*Работа Мельбарта Ю.*⁵⁹ 12/І 944 г.

4-й класс. 82-я мужская школа.

За что я ненавижу немцев.

Осенью 1941 года немцам удалось подойти почти вплотную к Ленинграду. Начались не к чему не приведшие штурмы. После неудачи взять город штурмом, фашистское командование решило: изнурить, измотать ленинградцев, задушить город блокадой. Начались ожесточенные бомбежки, по семь, восемь раз в день бывали тревоги. Люди, выходя из фабрик и заводов, становились на крыши, тушили зажигалки. Стал уменьшаться хлебный паек. Появились первые погибшие от дистрофии люди. Я помню, что когда в то время шел по улице, то мимо тянулись вереницы людей с саночками, на которых лежали трупы погибших от голода людей. Но партия и правительство помогло нам всем, чем только можно. Под личным руководством А. А. Жданова по Ладожскому озеру была проложена трасса, прозванная ленинградцами «Дорогой жизни». В феврале 1942 года начали прибавлять паек. Горисполкомом был отдан приказ об очистке города. Ленинград стал подниматься из-под куч льда и снега. Весной и летом в скверах и садах зазеленели огороды, на которых выращивали овощи. Кончилось лето. Ленинградцев за их старания по уходу за овощами, земля наградила богатым урожаем. Началась вторая блокадная зима, но уже не такая тяжелая, как первая. И вот 18 января 1943 года в двадцать два часа по радио прозвучали долгожданные слова: «Блокада Ленинграда прорвана!». Фашисты, обозленные прорывом блокады, усилили артобстрелы. Я помню, как осенью 1943 года мы сидели в классе. Вдруг раздались разрывы шрапнелей. Мы быстро спустились вниз. Через некоторое время разрывы прекратились. Мы уже хотели уходить, как вдруг раздался страшный грохот, за ним еще и еще. Это немецкие даль-нобойные орудия били по району, прилегающему к нашей школе. Артобстрелы продолжают еще и сейчас. Еще и сейчас вандалы поганят нашу священную землю. У меня лично в блокаду умерла бабушка и неизвестно где пропал папа.

Вот за что я ненавижу немцев.

Работа Пашкова Г.,⁶⁰ уч. 4-го кл.

За что я ненавижу фашиста.

Мы только что собрались ехать на Родину, как вдруг 22/VI в 4 часа утра немецкие бомбардировщики появились над Кировом. Началась война с немецко-фашистской армией. И с тех пор, как немец занял БСС, мы ничего не знаем о моей родной бабушке. Может она голодает, без крова, без одежды.

1941 год был очень сильный голод. Многие люди померли от голода и от холода. В Ленинграде не было ни дров, ни воды, ни электричества, ни бани — все было закрыто. Люди стоят у булочной и просят каждый — нет ли хлеба. Меняли вещи на хлеб. Но все-таки мы, Ленинградцы, пережили этот несчастный голод. Мстить фашисту океанному за все, что происходило от фашистской руки.

Вот за что я ненавижу немца.

*Работа Кондратьева В.*⁶¹

За что я ненавижу фашистов.

Летом 1941 г. 22 июня немцы напали на нашу страну. Осенью 1941 г. немцы окружили Ленинград. Они говорили, что через несколько дней возьмут его. Но получили отпор.

Тогда в бессильной злобе захватить Ленинград немцы начали обстреливать из дальнотбойных орудий город и бомбардировать его. Наступила тяжелая зима 1941–42 года. Ленинград был окружен, не было подвоза продовольствия. Населению выдавали 125 гр. хлеба, которого не знаешь — здесь ли в магазине скушать или домой принести; дров не было. Люди сидели в холодных комнатах, немытые, не в состоянии принести себе воды с Невы. В голодовку у меня погиб дядя, нет известий от брата, который находится на фронте.

После победы под Сталинградом наши войска перешли в наступление и стали гнать немцев, освобождая целые районы и области. Немцы в бессильной злобе убивают и истязают мирных советских жителей. Тысячи злодеяний расследованы нашими комиссиями. Никакой пощады немецким озверелым фашистам, гнать и уничтожать их, чтобы ни один из них не ушел из нашей страны. За все зверства и злодеяния, учиненные советскому народу, за все невзгоды, которые пришлось пережить мне, — вот за что я ненавижу фашистов!

Работа Жумахова Е.,⁶² 4-й кл.

За что я ненавижу фашистов.

В воскресенье мы утром с товарищем ушли на Кировские острова. К вечеру я пришел домой и узнал, что фашисты напали на нашу страну. Через 8 дней ушел на фронт папа, а папин брат уже 16 марта ушел служить в Красную Армию. И оба пропали без вести. Наступила зима 1941 г. Вода замерзла, дров не было, свет погас, радио замолкло. Наступил голод. Бывало начнем кушать, усядемся около печки, как цыгане около костра. В наш дом попал снаряд и вылетели стекла и завалило дымоход.

Я фашистов ненавижу за то, что он беспощадно разбивает жилые дома, детей, сады, школы и больницы.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Ходаков Юрий Яковлевич — преподаватель литературы в Ржевском педагогическом техникуме. Публиковался: *Ходаков Ю. Я.* Овладеем грамотой: Учебная книга по русскому языку для 4-го года обучения в школах 1-й ступени Западной области. Смоленск, 1932. (Совместно с *Гавриловым И. Г.*). Рец.: *Федоровский Е. А.* [Обзор педагогич. лит-ры] // Учебно-педагогическая литература. 1933. № 3. С. 4–5.

² Ильинская Галина Владимировна (?–1982) преподавала географию в мужской школе № 82 Петроградского района Ленинграда. Потом долгие годы после войны была завучем начальных классов в мужской школе № 85 того же района.

³ Левинсон Александра Александровна — учительница начальных классов женской школы № 89 Петроградского района.

⁴ Гуськова Мария Григорьевна (?–1985) — учительница начальных классов мужской школы № 82 Петроградского района Ленинграда, сестра известного в те года футболиста.

⁵ Ермоленко Людмила Ильинична (?–1980) — преподаватель биологии; ее пришкольный участок был лучшим в районе. Ермоленко Екатерина Ильинична — преподаватель литературы. Во время войны, «работая непрерывно в школе, кроме пришкольного огорода, организовала огород для учителей Петроградского района» (ОР РНБ. Ф. 1434. Ед. хр. 84 — *Щербакова М. Ф.* Об учителях блокады: Статья. Л. 6).

⁶ Цамутали Мария Петровна — учительница литературы и русского языка сначала мужской школы № 85, потом — мужской школы № 82 Петроградского района Ленинграда, где, кроме того, исполняла обязанности завуча школы.

Методист, автор нескольких работ по методике преподавания литературы в старших классах: *Цамутали М. П.* 1) Из опыта анализа крупного повествовательного произведения в IX классе // Из опыта работы по русскому языку и литературе: Сб. / Сост. учителями 21-й средней школы Петроградского района Ленинграда. Л., 1940; 2) Методика литературного чтения повествовательного произведения // Очерки по методике преподавания литературы в средней школе: Сб. статей / Под ред. О. А. Моренской и Л. С. Троицкого. Л., 1940. (Ленингр. гор. ин-т усовершенствования учителей. Ф-т языка и литературы) (совместно с Л. С. Троицким). О М. П. Цамутали см: *Захарченя Б. П.* Звездный билет // Нева. 2003. № 1. С. 168; *Цамутали А. Н.* // Нестор. № 6 (2001. № 2).

⁷ Мансветов Николай Васильевич (1916–1977) — историк, кандидат исторических наук. Защитил диссертацию на тему: «Народный комиссариат по делам национальностей РСФСР 1917–1924 гг.: (Организация, структура, функции)»: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1950. (Моск. гос. ист.-архив. ин-т МВО СССР). Автор книг: *Мансветов Н. В.* 1) Национально-освободительное движение в России в период Октябрьской революции. М., 1959; 2) Николай Толмачев: [Большевик-подпольщик, полит. комиссар Красной Армии]. 1895–1919: Ист.-биограф. очерк. Л., 1960. Автор ряда статей по национальной политике советской России.

⁸ Мансветов Василий Васильевич (1925–1992) — историк, научный сотрудник Артиллерийского исторического музея. Принимал участие в составлении Путеводителя по АИМ (Л., 1957).

⁹ Раменские — учителя: брат Аркадий Николаевич и две сестры, Нина Николаевна и Антонина Николаевна. С уходом их из жизни прекратила свое существование известная в Тверской земле династия учителей Раменских. Материалы об этой династии представлены в Тверском краеведческом музее.

¹⁰ Мансветова Анна Васильевна (р. 1923) отработала на железной дороге 50 лет. Имеет награды и благодарности за свой труд.

¹¹ Корнфельд Татьяна Марковна — художница. Живет в США.

¹² Рак Иван Вадимович — автор многих книг по мифологии Египта: *Рак И. В.* 1) В царст-

ве пламенного Ра: Мифы, легенды и сказания Древнего Египта. Л., 1991; 2) Египетская мифология. 3-е изд., доп. СПб., 2000; 3) Легенды и мифы Древнего Египта: В пер. и лит. пересказах. 4-е изд., доп. СПб., 1998, и др.

¹³ Кобяк Леня — учился в начальных классах у Н. В. Мансветовой.

¹⁴ Крюков Андрей Николаевич — кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Российского института истории искусств, автор научных исследований об Б. В. Асафьеве, А. К. Глазунове, о композиторах «Могучей кучки» и др. Особое место в его творчестве занимают работы о музыкальной жизни блокадного Ленинграда: *Крюков А. Н.* 1) Музыка продолжала звучать: Ленинград. 1941–1944 / Вступ. ст., сост. А. Крюкова. Л., 1969; 2) Музыка в кольце блокады: Очерк. М., 1973; 3) Музыка в городе-фронте. Л., 1975; 4) Музыкальная жизнь сражающегося Ленинграда: Очерк. Л., 1985; 5) Музыка в дни блокады: Хроника. СПб., 2002.

¹⁵ Раев Александр Израилевич — доктор психологических наук, заведовал кафедрой «Методика психологического изучения личности школьника» ЛГПИ им. А. И. Герцена, автор многих работ: *Раев А. И.* 1) Методика психологического изучения личности школьника: Учеб. пособие для студентов (в соавт. с *Бочкаревой Т. И.*). Л., 1963; 2) Младший школьник: Помоги ему учиться: Книга для учителя и родителей (в соавт. с *Вергелес Г. И.*). СПб., 2000; 3) Педагогическая психология / Учеб. пособие. СПб., 1999; 4) Проблемы развития познавательных способностей: Межвуз. сб. науч. трудов / Ленингр. гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена / Отв. ред. А. И. Раев. Л., 1983; 5) Психологические основы управления умственной деятельностью учащихся в процессе обучения: Методич. пособие по спец. курсу. Л., 1971; 6) Психологические основы формирования нравственных убеждений учащихся (в соавт. с *Андреевой Л. М.*). Л., 1985; и др.

¹⁶ Федорова Зоя Николаевна (в замужестве — Лапшина) — учительница начальных классов школы № 79 Петроградского района Ленинграда. После войны работала сначала в школе № 85, потом — № 82, а затем до самой пенсии — в школе № 75. Заслуженный учитель РСФСР.

¹⁷ Рогова Н. Б. 1) Школы Ленинграда в годы Великой Отечественной войны // Исследование

памятников письменной культуры в собраниях и архивах Отдела рукописей и редких книг: Воспоминания и дневники. Л., 1987. С. 107–121; 2) Interview with Natal'ia Borisovna Rogova, librarian, archivist // Writing the siege of Leningrad: Women's diaries, memoirs, and documentary prose / C. Simmons, N. Perlina Pittsburgh, 2002. P. 116–119.

¹⁸ В 1970-е гг. Д. А. Гранин и А. М. Адамович вели сбор материала к своей будущей книге о блокаде Ленинграда. Они ходили по архивам, библиотекам, рукописным отделам и конечно выявляли людей, перенесших все испытания тех страшных лет. Первое издание «Блокадной книги» вышло в 1979 г. См.: Адамович А. М., Гранин Д. А. Блокадная книга. М., 1979.

¹⁹ Веремко Павел — диспетчер ржевского железнодорожного вокзала, приятель Анны Васильевны Мансветовой, сестры Нины Васильевны.

²⁰ Шутенина Ксения Константиновна (?–1963) — до войны директор мужской школы № 82 Петроградского района Ленинграда. Автор статей: Шутенина К. К. 1) В помощь красноармейцу: Пособие по обучению грамоте (в соавт. с Голант Е. Я.). 2-е изд. М.; Л., 1930; 2) За генеральную линию партии в деле культурной революции: К итогам III ленинградского съезда работников просвещения // На фронте коммунистического просвещения. Л., 1932. № 1–2. С. 24–28.

²¹ Тюрина Ксения Филипповна — учительница русского языка мужской школы № 82 Петроградского района Ленинграда, методист по преподаванию русского языка. Автор работ: Тюрина К. Ф. 1) Сборник диктантов для начальной школы: Пособие для учителей. 3-е изд. М.; Л., 1953; 2) Поурочные разработки по русскому языку для IV класса начальной школы. 2-е изд., доп. и перераб. Л., 1956; 3) Грамматика, правописание и развитие речи учащихся в III классе: Практич. материалы для учителя. М., 1960; 4) Практика комплексного преподавания: Материалы к программе четвертого года обучения: Сб. / Сост. преподавателями педагогического техникума им. К. Д. Ушинского. М.; Л., 1927; 5) Перестройка преподавания русского языка в начальных школах Ленинграда // Начальная школа. 1951. № 4. С. 29–32. О К. Ф. Тюриной см.: Варковицкая Л. Заслуженная учительница:

Кандидат в депутаты Ленинградской областной совета К. Ф. Тюрина // Ленинградская правда. 1947. 28 ноября.

²² Шаховнин Владимир — учитель рисования в мужской школе № 82 Петроградского района Ленинграда, умер от голода в 1941 г.

²³ Сахарова Александра Ивановна (1920–1990) — учительница математики мужской школы № 82 Петроградского района Ленинграда. Автор работы: Сахарова А. И. Математика в комплексной системе обучения // Вопросы комплексного обучения в школе / Под ред. С. В. Иванова, Н. Н. Иорданского, И. С. Симонова. Л., 1924. Эта коллективная работа переиздавалась под разными названиями: Принципы комплексного обучения. 2-е изд. Л., 1926; Энциклопедия комплексного преподавания. 3-е изд. Л., 1929. Получила широкий отклик. См.: Горностаев Н. [Рец.] // Народный учитель. 1924. № 11. С. 107–119; Есинов П. Б. [Рец.] // На путях к новой школе. 1924. № 7–8. С. 202–204; Н. Б. [Рец.] // Симбирский педагогический журнал. 1925. № 1 (11). С. 84–86.

²⁴ Жидкова Валентина Николаевна (1912–?) — секретарь райисполкома Петроградского района Ленинграда. Автор статьи: Жидкова В. Н. Восстановим наши жилища: Опыт работы общественных комиссий содействия восстановлению и эксплуатации домохозяйств г. Ленинграда: Сб. Л., 1946.

²⁵ Сергеева Мария Михайловна — участковый врач поликлиники на ул. Л. Толстого, потом главный врач этой поликлиники, с 1944 г. — заведующая райздравотделом Петроградского района.

²⁶ Останина Мария Михайловна — ученый секретарь Педагогического института им. М. Н. Покровского, депутат.

²⁷ Гусева Серафима Николаевна — учительница русского языка мужской школы № 82 Петроградского района Ленинграда.

²⁸ Митусова Валентина Николаевна — учительница литературы мужской школы № 82 Петроградского района Ленинграда.

²⁹ Серебровская Мария Никитична — учительница географии школы № 89 Петроградского района Ленинграда. Автор учебника: География для 6 класса вспомогательных школ. М., 1938. (2-е изд. — М., 1939). Мать писательницы Е. П. Серебровской.

³⁰ Этот эпизод был рассказан Н. В. Мансветовой писателю А. М. Адамовичу. Отрывок из него приведен в «Блокадной книге» А. М. Адамовича и Д. А. Гранина (М., 1982. С. 166): «Когда рассказ за рассказом слушаешь день за днем, является мучительная потребность еще и еще раз убедиться, что улыбка возможна, что детство возможно!.. <...> „Мы сидели, и они говорили только о еде <...> И вдруг выбегает девочка в беленьком платьице и на скакалочке запрыгала <...> как бабочка, вспорхнула; она даже, знаете, в меня вселила бодрость, легкость какую-то”». «Блокадная книга» этого издания с дарственной надписью А. М. Адамовича: «Уважаемой Нине Васильевне Роговой, с которой вместе делали мы эту книгу!» бережно хранится в доме Н. В. Мансветовой. Писатели считали всех героев этой книги своими соавторами. Такую мысль они высказывали неоднократно. Прозвучала она и на вечере встречи 2 февраля 1984 г., когда здесь в теплой домашней обстановке каждому присутствующему был вручен «авторский» экземпляр «Блокадной книги».

³¹ Власова Мария Ниловна — учительница математики мужской школы № 82 Петроградского района Ленинграда, районный методист по преподаванию математики в 4–7 классах. Автор работ: *Власова М. Н.* 1) Устные вычисления по арифметике в V классе. Л., 1948; 2) Двенадцать дней в Финляндии: Беседа с членом делегации деятелей советской культуры М. Н. Власовой. О М. Н. Власовой см.: 1) *Иванов В.* Ученый секретарь: М. Н. Власова // Ленинское знамя. 1955. 20 февр.; 2) <http://zt1.narod.ru/5-punktv.htm-ZT> — разбор пяти главных настояний А. С. Макаренко. На данном сайте помещены материалы городского отдела народного образования г. Ленинграда. В августовском совещании учителей (26–27 августа 1953 г.) педагогического кабинета Ждановского района г. Ленинграда в выступлении тов. Семеновича отмечаются те же черты наставничества, открытости и доброжелательства М. Н. Власовой: «Нельзя не отметить учительницу 48 школы, всеми уважаемую Марию Ниловну Власову, которая много отдала нашим молодым учителям и которой они во многом обязаны хорошим проведением своих уроков. Мария Ниловна не считается со временем —

она всегда даст нужное объяснение, когда к ней обращаются. Такое отношение Марии Ниловны к молодым учителям надо приветствовать, и хочется выразить ей благодарность от всех нас».

³² Юрий Михайлович Лотман в своих «Фронтowych страничках из Не-мемуаров» отметил особенность табуирования в годы войны слова «украсть». «Оно казалось отнесенным к другой — гражданской и мирной — оскорбительной семантике». В условиях блокады украсть карточки приобрело значение приговорить человека к смерти, лишить жизни, убить его. Язык тех лет по-своему отразил новый жестокий смысл этого слова — он отказался от него. Цит. по: Библиографические листки / Сост. Павел Крючков // Новый мир. 2005. № 9. С. 224.

³³ Перкина Мария Яковлевна (р.1905) — заведующая роно Петроградского района Ленинграда. О М. Я. Перкиной см.: 1) [Б. н.] Педагог, воспитанный революцией: М. Я. Перкина // Коммунистическое просвещение. 1935. № 2. С. 82–83; 2) Итоги конкурса образцовых школ: Информация о Торжественном заседании 23 марта 1935 г., посвящ. итогам конкурса образцовых школ // Там же. С. 10–43.

³⁴ Смирнова Елена Ефимовна (в замужестве — Дроздович) — учительница истории, с 1942 г. директор мужской школы № 82 Петроградского района Ленинграда. В 1960-е гг. была директором школы № 89 того же района. Автор работ: *Смирнова Е. Е.* 1) Опыт работы классного руководителя в 9-м классе // Методический бюллетень МООНО. 1940. № 6–7. С. 14–27; 2) Из опыта воспитательной работы в старших классах: Докл. на II Всерос. научно-педагог. конф. // Советская педагогика. 1940. № 9. С. 67–74.

³⁵ Пятницкая Анна Калинниковна — бестужевка, преподаватель русского языка и литературы, инспектор районо Петроградского района Ленинграда. Автор работ: *Пятницкая А. К.* 1) Опыт педагогического просвещения родительской массы // Просвещение. Л., 1927. № 11. С. 43–46; 2) Недочеты в практике коммунистического преподавания // Там же. Л., 1928. № 2 (14). С. 72–76; 3) Школа на фронте борьбы с алкоголизмом: Опыт школьной борьбы с алкоголизмом ленинградской школы № 85 // Там же. Л., 1929. № 7–8. С. 55–64; 4) Идеино вооружать

учителя: Опыт работы Куйбышевского района Ленинграда // Ленинградская правда. 1946. 8 дек.; 5) На пороге нового учебного года: [Решение сессии Куйбышевского райсовета. Ленинград // Известия. 1948. 11 авг. О А. К. Пятницкой см.: *Вигдорова Ф.* Школьный инспектор: О выступлении ст. инспектора Петроградского р-на Ленинграда А. К. Пятницкой // Комсомольская правда. 1944. 18 авг.

³⁶ Боков Сергей — ученик мужской школы № 82 Петроградского района Ленинграда.

³⁷ Скотников Павел Иванович (1899–1957) — председатель Петроградского райисполкома, талантливый организатор, инженер-энергетик, турбостроитель, директор Ленинградского электро-технического института им. В. И. Ульянова (Ленина) с 1937 г. по 1954 г. В марте 1942 г. ЛЭТИ был эвакуирован, а П. И. Скотников переведен на ответственную работу в блокированном городе. Он автор нескольких работ: 1) Справочник для поступающих в ЛЭТИ. Л., 1941; 2) Вопросы электротехнических машин и электроприборов: Сб. ст. / Отв. ред. П. И. Скотников; и др. О П. И. Скотникове см.: 50 лет Ленинградского электротехнического института им. В. И. Ульянова (Ленина). М.; Л., 1948. С. 115.

³⁸ Блохин Георгий Петрович — учитель истории, капитан, преподавал в Военно-Морском экипаже (Балтийский флотский экипаж), заместитель командира по политической части.

³⁹ Киянов Борис Павлович (р. 1917), композитор. Автор работ: *Киянов Б. П.* 1) Краткое руководство по инструментовке для эстрадных оркестров. Л., 1961; 2) Практическое руководство по инструментовке для эстрадных оркестров и ансамблей. М.; Л., 1966; 3) Руководство по инструментовке для эстрадных оркестров и ансамблей. Л., 1978.

⁴⁰ Коршунова Анастасия Андреевна (р. 1923) — учительница истории мужской школы № 82 Петроградского района Ленинграда.

⁴¹ Кропачева Мария Вячеславовна (1909–1962) — заслуженная учительница, депутат Верховного Совета РСФСР, жена журналиста Л. М. Никольского. Автор работ: *Кропачева М. В.* 1) Голос детей зовет к мщению. Л., 1942; 2) Учитель и комсомольская организация школы. М., 1950; 2-е изд., доп. и перераб. М., 1953; 3) Мои друзья комсомольцы: Значение школь-

ной комсомольской организации в воспитательной работе. Л., 1951; 4) Сессия, посвященная вопросам учебно-воспит. работы школ на разных ступенях обучения. Л., 1958. / Под ред. чл.-кор. АПН РСФСР, заслуж. учителя школы РСФСР М. В. Кропачевой. М., 1958. Личный фонд М. В. Кропачевой и Л. М. Никольского хранится в Отделе рукописей Российской Национальной Библиотеки (ф. 1278. Кропачева М. В. и Никольский Л. М.).

⁴² Федоров Сережа — ученик мужской школы № 82 Петроградского района Ленинграда.

⁴³ Погиб во время последнего обстрела Ленинграда — 14 января 1944 года (дата гибели Сережи дана неверно).

⁴⁴ «Сидим мы, и вокруг нас, вокруг школы, разорвалось шестнадцать снарядов! Стекла все выбиты. Мальчишки все за меня вот так пальчиком держались... Я напрягла все силы, чтобы, понимаете ли, вот эту дрожь убрать. И вы знаете мне это удалось! Вы знаете, вот я напрягла все силы! И потом я себе внушила, что я сейчас не в Ленинграде, что я сейчас в Мологине у мамы, что все совсем хорошо» (*Адамович А. М., Гранин Д. А.* Блокадная книга. С. 154).

⁴⁵ В статье Всеволода Азарова «Петроградская сторона» есть рассказ о том, как переживали тот же обстрел, о котором вспоминала Мансветова, в школе № 89, которая находилась рядом со школой № 82: «Тяжелый фугасный снаряд разорвался во дворе. Помещение наполнилось дымом, едким запахом надвигающейся смерти... Второй снаряд разворотил фундамент. В убежище погас свет. Дети обнимали своих учителей <...>. „В нас больше — не попадет“, — сказала Черняева детям» (*Азаров В.* Петроградская сторона // Ленинград, 1944: Рассказы и очерки / Под ред. Е. Катерли и др. Л., 1944. С. 172). Долгие годы после войны Александра Ивановна Черняева была директором этой школы.

⁴⁶ Азик — ученик мужской школы № 82 Петроградского района Ленинграда.

⁴⁷ Федорова Маргарита Васильевна — мать Сережи Федорова, ученика 4-го класса мужской школы № 82 Петроградского района Ленинграда. Работала дворником, чтобы иметь рабочую карточку.

⁴⁸ Адольф — ученик мужской школы № 82 Петроградского района Ленинграда.

⁴⁹ Горелкина Антонина Ивановна — учительница начальных классов женской школы № 89 Петроградского района Ленинграда.

⁵⁰ Учительница потеряла зрение.

⁵¹ Судя по датам написания этих сочинений (середина января 1944 г.), солдат с фронта прислали перед важнейшими военными операциями по полному снятию блокады Ленинграда.

⁵² Вангенгейм Галя Яковлевна — учительница мужской школы № 82 Петроградского района Ленинграда.

⁵³ Фабричева Л. — пионервожатая мужской школы № 82 Петроградского района Ленинграда.

⁵⁴ Цамутали Алексей Николаевич (р. 1931) — ученик мужской школы № 82 Петроградского района Ленинграда. Через всю жизнь пронес память о своей школе тех лет, что нашло отражение в его воспоминаниях. Ныне доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, зав. отделом новой истории России Санкт-Петербургского института истории РАН. Заслуженный деятель науки РФ. Автор многих работ по отечественной истории: *Цамутали А. Н.* 1) Штурманы будущей бури: Воспоминания участников революционного движения 1860-х гг. в Петербурге. Л., 1983; 2) 14 декабря 1825 года: Воспоминания очевидцев. СПб., 1999; 3) Очерки демократического направления в русской историографии 60–70 х годов XIX в. Л., 1971; 4) Борьба течений в русской историографии во второй половине XIX века. Л., 1977, и др. Особое место в его научном творчестве занимает изучение блокады Ленинграда: 5) Вторая блокадная зима // Очерки истории Ленинграда. Т. 5: Период Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941–1945 гг. Л., 1967. С. 317–355; 6) Героическая оборона Ленинграда. Л., 1968; 7) Непокоренный Ленинград: Краткий

очерк истории города в период Великой Отечественной войны. Л., 1970 (совместно с авторами: *Дзенискевич А. Р., Ковальчук В. М., Соболев Г. А., Шишкин В. А.*); 8) Блокада глазами очевидцев: Интервью с жителями Ленинграда 1940-х гг. // Нестор: Ежеквартальный журнал истории и культуры России и Восточной Европы. № 6 (2001. № 2): Человек и война: Источники, исследования, рецензии. СПб.; Кишинев; Париж, 2003. С. 37–267; 9) Блокада глазами очевидцев... (Интервью с А. Н. Цамутали) // Там же. С. 255–267. Об А. Н. Цамутали см.: Алексей Николаевич Цамутали: К 70-летию со дня рождения: Биобиблиогр. указ. тр. 1962–2001. СПб., 2002.

⁵⁵ Рогов Борис Михайлович (1900–1963) — инженер, по специальности котло-турбинное строительство, работал в Политехническом институте, потом — на заводе им. М. В. Фрунзе возглавлял группу главного технолога завода.

⁵⁶ Горячев В. — ученик 4-го класса мужской школы № 82 Петроградского района Ленинграда.

⁵⁷ Майоров Олег — ученик 4-го класса мужской школы № 82 Петроградского района Ленинграда.

⁵⁸ Смирнов А. — ученик 4-го класса мужской школы № 82 Петроградского района Ленинграда.

⁵⁹ Мельбарт Ю. — ученик 4-го класса мужской школы № 82 Петроградского района Ленинграда.

⁶⁰ Пашков Г. — ученик 4-го класса мужской школы № 82 Петроградского района Ленинграда.

⁶¹ Кондратьев В. — ученик 4-го класса мужской школы № 82 Петроградского района Ленинграда.

⁶² Жумахов Е. — ученик 4-го класса мужской школы № 82 Петроградского района Ленинграда.

Г. Л. Соболев

БЛОКАДНАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ В ДНЕВНИКАХ ЛЕНИНГРАДЦЕВ

Как известно, у каждого исторического времени свои дневники, содержащие «показания» современников, помогающие понять это время. Говоря о блокадных дневниках, следует признать, что при всей их уникальности и ценности они не стали еще предметом серьезного изучения и в лучшем случае остаются иллюстративным материалом для историков обороны Ленинграда. Лишь незначительная часть из сохранившихся блокадных дневников опубликована к настоящему времени — содержащийся в них «негатив» не располагал к этому. И даже сегодня мы не имеем полного представления о том, где еще их можно обнаружить. Наиболее крупная коллекция таких дневников находится в Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга, хранятся блокадные дневники и в Музее обороны и блокады Ленинграда, в Российской Национальной библиотеке. Но теперь выяснилось, что такие дневники есть и в Архиве «Большого дома».¹ Конечно, блокадные дневники остались и в семьях тех, кто их вел, о чем мы можем судить по редким публикациям в печати.

Будучи источником индивидуального происхождения, блокадные дневники, с точки зрения их авторов, тем не менее отличались своим предназначением: одни были адресованы истории, другие писались для себя. «Я веду как музейную работу ежедневный дневник с 22 июня. Записи делаются все подробнее и детальнее, — отмечал зимой 1941/42 г. научный сотрудник Музея истории и развития Ленинграда А. А. Черновский. — Уцелею ли — не знаю, но дневник этот — документ для истории города ценный, он (конечно с долей объективности) отражает эти исключительные дни. Если я доживу, я хотел бы участвовать в его расшифровке, в написании примечаний».² К сожалению, А. А. Черновский не дожил до победы и умер от истощения в мае 1942 г.

Показательно, что значение дневников как уникального исторического источника понимали в то суровое время и партийные руководители. Выступая 26 ноября 1941 г. на совещании аппарата Кировского РК ВКП(б) г. Ленинграда, его первый секретарь В. С. Ефремов предлагал «завести дневник района» и мотивировал это следующим образом: «Вполне естественно, что историки будут искать всякий материал для того, чтобы понять этот момент, понять, как это можно было в Ленинграде в такой тяжелый период своими ресурсами обороняться в течение такого долгого времени, и обороняться успешно, — понять, из какого теста были сделаны люди, которые здесь находились, понять, как это в четырех километрах от противника можно было работать, производить материальные ценности, изобретать и т. д., и проводить сегодня совещание, и думать об истории».³

И все же подавляющая часть тех, кто вел дневники в осажденном Ленинграде, делали в них сокровенные записи для себя, а не для истории. Это были и военные, и сугубо гражданские лица, партийные и советские работники, писатели и ученые, инженеры и журналисты, учителя и школьники, сотрудники музеев, архивов и библиотек. Их дневники представляют особую ценность: без них нельзя адекватно представить блокадную повседневность и понять психологию выживания в то героическое и трагическое время,

а также ответить на вопрос, почему выстоял осажденный на протяжении почти трех лет Ленинград.

В ряду этих уникальных источников особое место, на мой взгляд, историка и жителя блокадного Ленинграда, занимает опубликованный в 1998 г. дневник А. Н. Болдырева.⁴ Начав свою «осадную запись» в декабре 1941 г., он день за днем фиксировал не только события, отражавшие лишения и страдания жителей блокированного Ленинграда, но и тончайшие психологические наблюдения за переживаниями терзаемого голодом человека, обремененного постоянной заботой о своих родных и близких. Вместе с пронзительно откровенными записями об изнурительной «битве» автора за выживание и тяжких переживаниях, «падениях духа», вызванных унижительными поисками дополнительного куска хлеба и тарелки супа, дневник содержит ценные сведения о самых различных сторонах блокадного быта, о нормах и порядке выдачи продовольствия, об обстрелах и бомбежках, гибели родных, друзей, коллег-ученых. Сам А. Н. Болдырев считал, что «эти записи — самое и единственное творческое» из того, что ему приходилось делать во время блокады.⁵ Занося в свой дневник самые различные «мелочи», он надеялся, что «с кучей мусора будет зацеплено и ценное», верил, что «эта Запись есть дело большое, есть подлинный, правдивый свидетель времен неповторимых и когда-нибудь будут заслушаны ее показания».⁶ Это «когда-нибудь» наступило только спустя 50 лет, и в этом нет ничего удивительного, поскольку дневники, как известно, в силу многих причин и обстоятельств, а часто по воле их авторов становятся достоянием истории и историков по истечении длительного времени.

«Осадную запись» А. Н. Болдырева надо читать внимательно, день за днем, не упуская и не пропуская ничего, и только тогда возникает подлинная картина блокадной жизни в ее суровой повседневности и, конечно, того, что пришлось ему вынести. Первая запись в дневнике А. Н. Болдырева сделана 9 декабря 1941 г.: «Только теперь, на 4-м месяце осады (мы считаем, что кольцо вокруг города замкнулось в двадцатых числах августа), привожу в исполнение давно возникавшую мысль вести самую короткую, в нескольких фразах на каждый день, хронику осадного времени. И цель ее зафиксировать лишь самые простые, повседневные факты нашего осадного быта...».⁷ Декабрьские записи 1941 г. контрастируют своими сюжетами и заботами. «Крепчайший мороз. Трамваев никаких. Тревог нет. Хлебной прибавки конечно нет, — отметил 15 декабря 1941 г. А. Н. Болдырев. — Картина застывшего города с бесконечно черными потоками и ручейками людей по мостовым, улицам, панелям — потрясающая. Лошадей и машин почти нет. Вчера и сегодня лапа голода и уныния грязно легла на мой дом и осквернила его».⁸ Постоянно бывая эти дни в Эрмитаже и посещая университет и Дом ученых, он поглощен тем, как найти источники дополнительного питания, получить дрожжевой суп и желе без вырезки продовольственных талонов. И тем не менее в эти мрачные дни ученый вел занятия в университете, с увлечением готовил доклад «Навои и его время». В связи с этим он писал в своем дневнике: «В этих работах счастье, удовлетворение наших дней. Чем хуже с физическими возможностями — до известного предела — тем яснее, свежее работает мысль. Это я слышал от многих и в этом поразительное... сего времени. Однако в последние дни этот предел перейден. Нету силы воплощать мысли».⁹ В канун Нового, 1942 года А. Н. Болдырев отметил и критическое состояние своих коллег по Эрмитажу: «...разрушение людей голодом разительно продвинулось — Пиотровский, Богнар, Морозов, Борисов — находятся на пределе».

Но, как скоро выяснилось, это был еще не предел. Испытание возможностей выживания в экстремальных условиях блокады продолжалось и в 1942 и в 1943 гг. Правда, пережившие страшную зиму 1941/42 г. познают и «праздники Пищи», которые с мельчайшими подробностями отмечены в дневнике А. Н. Болдырева.¹⁰ Но острое чувство голода и мысли о хлебе насущном, как это хорошо видно из дневника, не покидали блокадников ни на минуту. Испытания голодом и холодом выдерживали в первую очередь те, кто не переставал сопротивляться и бороться за жизнь, работать и двигаться, не оставался без поддержки семьи, близких, коллектива. Яркий пример тому — сам А. Н. Болдырев. Читая его дневник, реально представляешь, какие физические нагрузки ему приходилось переносить и каких это стоило усилий. 19 февраля 1942 г. он записал: «Теперь по временам, особенно когда выходишь или идешь в какой-либо долгий рейс, замечаю, что начинает захватывать, одолевает некая глубочайшая апатия, некое безразличие, утомление что ли, так что хочется только лечь и лежать, ни на что не отзываться, относясь ко всему безразлично».¹¹

Конечно, далеко не все, что чувствовали, переживали, видели, и тем более думали, блокадники решались заносить в свои дневники: это было небезопасно и потому почти автоматически срабатывала самоцензура. Некоторые события и факты приходилось даже излагать эзоповым языком. Так, свои вызовы в Большой дом, где размещалось Управление НКВД А. Н. Болдырев зашифровал в своем дневнике, как «глупейший рассказ некоего Шевчика „Две поездки в Большой Дом”», прибегнув при этом к английскому языку.¹² В том, что вести дневники даже в это трагическое время было опасно, мы можем теперь сами убедиться, знакомясь с рядом опубликованных в наше время дневников, авторы которых были арестованы тогда за так называемую антисоветскую деятельность, вещественным доказательством которой и стали их дневники.

Одним из первых таких документов был напечатан в 1996 г. в журнале «Вопросы истории» дневник И. И. Жилинского, начальника планово-аналитического отделения Управления дорожного строительства Октябрьской железной дороги, арестованного за «контрреволюционную пропаганду».¹³ При обыске на квартире И. И. Жилинского, проживавшего в Новой Деревне в деревянном доме по Школьной улице, был изъят и его дневник, в котором следователь обнаружил «крамольные мысли» и приобщил его к делу. В действительности же в дневнике Жилинского отражена прежде всего его повседневная борьба за выживание, состоявшая в поисках и добывании пищи, из долгого простаивания в многочасовых очередях за хлебом и другими продуктами питания, которые полагались по карточкам, но редко оказывались в магазинах. В дневнике содержится немало ярких примеров того натурального обмена, который царил в блокадном городе. Его автор описывает «паломничество голодных горожан» в декабре 1941 г. в пригородный свиноводхоз в Парголово. «Все идут с затаенной мечтой получить хоть маленький кусочек дуранды, — записал он 22 декабря 1941 г. — Приносят весьма ценные вещи: шелковые и шерстяные платья, меховые жакеты, кружева, платки, шапки, манти и пр. Видимо, в этих общежитиях так надоели эти наплывы и в то же время так этих рабочих наполнили вещами, что они презрительно-надменным и грубым образом гонят всех посетителей вон, не желая смотреть на вещи».¹⁴ Но Жилинский еще не теряет надежды и замечает: «Ничего. Не падать духом. Сейчас наши Армии уже прорывают кольцо блокады. Ходят упорные слухи о прибавке хлеба».¹⁵ Хлеба и в самом деле немало прибавили через несколько дней, а вот прорыва блокады пришлось ждать еще

больше года. Конечно, силы голодных горожан, получавших мизерную норму хлеба, таяли с каждым днем, таяли и надежды и терпение. После напрасного 12-часового стояния в очереди с двух часов ночи за причитающимися по карточкам продуктами Жилинский записывает: «Так бывает часто. Вообще в смысле организации снабжения населения продуктами вопиющие безобразия. Никакой организации. Бездушное отношение к человеку, к его времени. Мороз, холод, ветер — люди голодные, и эти очереди. Дико, безобразно, но факт неотразимый, неизбежный».¹⁶ Такие «неотразимые» факты с точки зрения охранников власти уже можно было заносить в разряд крамолы и пораженческих настроений. Даже небольшая прибавка хлеба с 25 декабря 1941 г. не могла воодушевить многих обессиленных голодом людей. «Но что эти 200 гр. без остального, без приварка, без крупы, без мяса и т. д.? — размышляет сам с собой Жилинский 29 декабря 1941 г. — Ничего ведь нет и в прикрепленном магазине, а если привезут, то столько трудов и сил надо истратить, чтобы получить эти крохи. Безнадежное положение — смерть надвигается страшная, голодная, но мы как-то атрофированы безвыходностью из этого положения».¹⁷ Правда, случались и маленькие радости: накануне Нового, 1942 года выдали по карточкам по 150 г на человека «дивного прессованного американского мяса».¹⁸ Невообразимая ранее повседневность первой блокадной зимы занимает главное место в дневнике И. И. Жилинского. В нем содержатся ценные сведения о рационе питания жителей осажденного города, нормах выдачи продовольствия и их реальном отоваривании, ценах на продукты питания на черном рынке и обменных операциях. Самовар, например, можно было обменять на 1 кг хлеба, за золотые дамские часы можно было получить 5 кг жмыха, за дамское манто — 5 ведер жмыха и т. д.¹⁹ Автору дневника, как и многим другим ленинградцам, хотелось верить, что эти постоянные поиски продовольствия и обменные операции, все беды и тяготы блокады останутся в страшном 1941 г. и никогда более не вернуться. «1942 год я ожидаю с самым добрым и радостным настроением, — отметил 31 декабря 1941 г. Жилинский. — Этот 1942 год меня манил, как счастливый берег, к которому было так трудно доплыть, и вот я вышел на берег с облегченным сердцем и прекрасным настроением, с верой в хорошее будущее. Дай Бог, чтобы эти настроения, бодрость духа и вера оправдали себя полностью».²⁰ К сожалению и огорчению всех блокадников, эти надежды оправдались не сразу, и в новом, 1942 г., перебои в выдачей хлеба — основного продукта питания населения блокированного города — не только не прекратились, но и усугубились. «Все ждут, все мечтают о прибавке хлеба, — писал И. И. Жилинский в своем дневнике 16 января 1942 г. — А голод надвигается вплотную к каждому человеку. Все уже потеряли моральные устои — это закон голода. Самый честный человек способен украсть, убить — за кусок хлеба».²¹ К таким обобщениям приходили люди, сломленные голодом и холодом, не имевшие сколько-нибудь определенной и правдивой информации о продовольственном снабжении блокированного города и реальном положении на фронте, вынужденные кормиться самыми различными слухами, которые не подтверждались и самым отрицательным образом влияли на психологию выживания ленинградцев, на их способность сопротивляться тяготам и лишениям блокады. Вот и Жилинский записывает в своем дневнике 30 января 1942 г.: «Каждый день канонада, взрывы, разрывы дальноточных снарядов противника, но все так атрофировались, так всем осточертела эта жизнь, что не уделяют никакого внимания никакому грому. Убьют, так убьют — лишь бы напавал и сразу. Один конец. Надоело страдать. У людей умирают родные — мужья,

матери, сестры, больные дети. Никто не проронит слезы, как будто идет все нормально. Смерть ближнего, родного в семье приносит жизнь остающимся. Умершего выдерживают в холоде до конца месяца и получают по его карточке хлеб для себя».²² Настроения об «осточертелой жизни» выплескивались из дневников в разговоры в очередях за продовольствием, на работе, становились известными органам НКВД и служили для последних основанием для обвинения распространителей таких настроений в «контрреволюционной пропаганде». Разумеется, таким образом пострадал не один И. И. Жилинский. Похожая судьба постигла и других авторов блокадных дневников. В 2004 г. в серии «Архив Большого Дома» были опубликованы дневники ленинградского учителя А. И. Винокурова, расстрелянного в марте 1943 г. за «контрреволюционную антисоветскую агитацию» и за «пораженческие взгляды в войне СССР с Германией»;²³ а также старшего бухгалтера Ленинградского института легкой промышленности Н. П. Горшкова, приговоренного к 10 годам лишения свободы за «антисоветскую агитацию среди своих знакомых».²⁴ Показательно, что сам Горшков настаивал, что изъятый у него во время обыска дневник служит доказательством того, что он «никогда не был антисоветски настроенным человеком».²⁵

Знакомясь с дневником Н. П. Горшкова как историческим источником блокадного времени, убеждаешься в глубокой правоте его автора, считавшего, что его ежедневные наблюдения и переживания он записывал для себя. Но теперь оказалось, что эти записи содержат такие важные детали, которые помогают более полно представить блокадную повседневность ленинградцев. Начиная с первых дней сентября 1941 г., когда начались интенсивные обстрелы и бомбежки Ленинграда, Н. П. Горшков заносит скрупулезно в свой дневник сведения о пожарах и разрушениях в городе, о продолжительности налетов вражеской авиации, о характере погоды. Вот, например, запись за 1 октября 1941 г.: «С утра сплошная облачность. Пасмурно. Тепло. В половине дня проясняется. Солнце светит на безоблачном небе. Из района Пулкова доносятся залпы из орудий. С 16-ти часов пальба усилилась, и в город стали залетать снаряды, которые упали за Обводным каналом в районе Расстанной улицы, в других местах. Повреждения нанесены зданиям, трамвайным путям, есть жертвы. Первая воздушная тревога в 16 ч. 50 мин. И окончилась через 15 мин. Вторая тревога объявлена 20 ч. 40 мин. и продолжалась 2 ч. 40 мин. Сильно стреляли зенитки, и были слышны отдаленные взрывы бомб. Ночь лунная, облака редкие. При такой погоде город сверху, вероятно, виден как на ладони».²⁶ 5 ноября Н. П. Горшков записал: «Над городом — свет луны за редкими облаками. На улицах очень светло. Ленинградцы возненавидели луну, освещающую путь врагу для бомбежки города. В данное время прекрасной погодой считается, когда темные низкие тучи, туман или идет дождь или снег, т. е. когда нелетная погода и враг не решается лететь вслепую».²⁷ 6 ноября 1941 г. он фиксирует в дневнике, что вечером после отбоя воздушной тревоги по радио передавалась «речь т. Сталина с заседания Московского горсовета по случаю 24 годовщины Октябрьской Социалистической революции. Речь была хорошо слышна, несмотря на попытки врага перебивать дикими звуками своих станций».²⁸ Вплоть до середины декабря 1941 г. Н. П. Горшков ничего не сообщает ни о продовольственном положении Ленинграда, ни о нормах выдачи продуктов по карточкам. Только 14 декабря он отмечает в дневнике, что «ощущается недостаток в продовольствии, горючем, в топливе». Что «в связи с наступлением сильных холодов и целого ряда недостатков в бытовых условиях жизни наблюдается в последнее время большая

смертность среди гражданского населения».²⁹ По всей видимости, здесь сработала самооцензура. Достаточно осторожен и лаконичен автор дневника и в других своих поденных записях на продовольственную тему. 19 декабря Н. П. Горшков бесстрастно констатирует, что уже больше месяца как хлеба выдается в день по 250 г на рабочего, всем остальным по 125 г; что крупа в последнее время бывает очень редко, а макароны темные и плохого качества; что мясо тоже бывает очень редко, а вместо него выдается студень, неизвестно из чего приготовленный, что сахар заменяется разными конфетами, а масло или жиры получить почти невозможно.³⁰ «На кладбищах не успевают хоронить, так как могильщиков мало, земля мерзлая, — записывает он 21 декабря 1941 г. — Горы гробов стоят в ожидании погребения. Родственники, привезя гроб на кладбище и не имея возможности своими силами вырыть могилу, бросают гроб с покойником на произвол судьбы. Сейчас приняты общественные меры уборки трупов и погребения в общих братских могилах. Люди голодают и пухнут из-за недостатка продуктов вследствие блокады города. Вот что сделал кровожадный Гитлер».³¹ И никаких далее комментариев, никаких упреков в адрес городских властей или правительства в Москве. 5 января 1942 г. опять бесстрастная констатация: «Хлебные очереди сегодня ликвидировались, хвосты у булочных исчезли, но хлеб плохого качества. Никаких других продуктов населению на 1-ю декаду января пока еще не выдавалось. В ожидании привоза у магазинов стоят очереди».³² Спустя 5 дней Н. П. Горшков снова отмечает, что вот уже больше декады как в магазинах, кроме хлеба, нет никаких продуктов, наступил голод.³³ С этого времени тема голода и его жестоких последствий занимает в его дневнике главное место. Фактически ежедневно Н. П. Горшков скупно описывает наблюдаемые им на улицах города гибель ленинградцев, случаи бандитизма в булочных, длинные вереницы людей, тянущих из последних сил на кладбище гробы или просто зашитые в одеяла трупы! И все же он не поддается еще отчаянию. «Печальную грустную картину представляет наш когда-то славный и красивый, но всегда любимый город Ленинград, — записал Н. П. Горшков 20 января 1942 г. — Все мертво. Голодающее и холодное население героически выносит невероятные переживания всевозможных лишений. Бомбы и снаряды врага, пожары, отсутствие воды, электрического света, топлива, сообщения и связи и многого другого, а главное — недостаток пищи. Люди гибнут от голода... С чувством горечи и досады приходится заносить эти печальные строки о переживаниях ленинградцев».³⁴ Но сам он еще не сломлен и с оптимизмом отмечает изменения в жизни города к лучшему. «Сегодня для ленинградцев, несмотря на такой анафемский холод, очень приятный день. Во-первых, радостные вести с фронта, что наши войска гонять немцев в Калининской области, и уже заняты ряд городов по направлению к Пскову. Взятые большие трофеи. На нашем Ленинградском фронте дела, видимо, также не плохи, так как обстрела города не было и пальбы с фронта не слышно, — записал Н. П. Горшков 24 января 1942 г. — Во-вторых, и продовольственное положение в городе улучшается. С сегодняшнего дня увеличена норма выдачи хлеба, и качество значительно улучшилось. Хлеб хороший».³⁵ Увы, через день опять безотрадная картина: «Голодный Ленинград ждет продовольствия, которое надо доставить, невзирая на все препятствия, так как люди гибнут, умирая голодной смертью от истощения. По слухам, умирают ежедневно в городе и пригородах до 10 тыс. человек, по другим версиям — не менее 3 тыс. человек в день».³⁶ И все же в эти трагические дни зимы 1941/42 г. Н. П. Горшков подмечает такие детали, которые позволяли думать, что самое страшное осталось уже по-

зади. «В жизни города без перемен, — записывает он 23 февраля 1942 г., — но на лицах граждан появилась новая черта надежды на скорое избавление от вражеской блокады. Даже в очереди за водой видны улыбки на лицах граждан и больше взаимной уступчивости и вежливости».³⁷ И хотя избавление от вражеской блокады в действительности пришло совсем не так скоро, как на это надеялись жители осажденного города, дневник Н. П. Горшкова дает возможность проследить, как нарастали эти ожидания, как улучшался быт и с ним настроения ленинградцев. Не пропустив ни одного дня блокады в своем дневнике, фиксируя все изменения к лучшему, особенно после прорыва блокады, его автор запечатлел для нас, потомков, Ленинград в его уникальной повседневности. Можно даже сказать, что он совершил в тех условиях гражданский подвиг, ведя свои ежедневные записи, как оказалось, для истории.

Даже это беглое знакомство с опубликованными в последнее время блокадными дневниками позволяет говорить об их исключительной ценности для воссоздания блокадной повседневности. Их авторы в своем индивидуальном восприятии жизни и быта в осажденном Ленинграде сообщают нам важные детали, которые в своей совокупности дают качественно новое представление о жизни блокадного города. Задача состоит в том, чтобы предметом сравнительного изучения стало возможно большее количество таких дневников.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Архив Большого Дома: Блокадные дневники и документы / Сост. С. К. Бернев, С. В. Чернов. СПб., 2004.

² Центральный государственный архив историко-политических документов (ЦГАИПД СПб.). Ф. 4000. Оп. 11. Д. 18. Л. 68.

³ Цит. по кн.: Архив Большого Дома: Блокадные дневники и документы. С. 8.

⁴ *Болдырев А. Н.* Осадная запись: Блокадный дневник / Подгот. В. С. Гарбузова, И. М. Стеблин-Каменский. СПб., 1998.

⁵ Там же. С. 343

⁶ Там же.

⁷ Там же. С. 25.

⁸ Там же. С. 30.

⁹ Там же. С. 28.

¹⁰ Там же. С. 126, 167–169.

¹¹ Там же. С. 62.

¹² Там же. С. 39.

¹³ *Жилинский И. И.* Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 5–6. С. 7–8.

¹⁴ Там же. С. 9.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же. С. 10.

¹⁷ Там же. С. 16.

¹⁸ Там же. С. 17.

¹⁹ Там же. С. 22–23.

²⁰ Там же. С. 19.

²¹ Там же. С. 26.

²² Там же. № 8. С. 3.

²³ Архив Большого Дома: Блокадные дневники и документы. С. 236–237

²⁴ Там же. С. 14.

²⁵ Там же. С. 15.

²⁶ Там же. С. 23.

²⁷ Там же. С. 36.

²⁸ Там же. С. 38.

²⁹ Там же. С. 48.

³⁰ Там же. С. 50.

³¹ Там же. С. 52.

³² Там же. С. 55.

³³ Там же. С. 57.

³⁴ Там же. С. 61–62.

³⁵ Там же. С. 64.

³⁶ Там же. С. 67.

³⁷ Там же. С. 80.

А. З. Ваксер

НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ ХРУЩЕВ **Штрихи к историческому портрету***

Россиянам среднего возраста, а тем более молодежи, почти совсем не знаком этот коренастый крепыш с оттопыренными ушами, большим ртом, неровными зубами, крупным куриным носом, двумя бородавками и огромным лысым черепом. Подвижной, неутомимый, иногда грубый, иногда до озорства веселый, не отличавшийся высокой культурой и вместе с тем способный оригинально и нестандартно мыслить, смелый, одновременно хитрый и часто по-детски непосредственный и простоватый, он буквально ворвался на авансцену советской истории. Многим, вероятно, больше известна скульптура на его могиле на Новодевичьем кладбище в Москве, изваянная всемирно известным скульптором Эрнстом Неизвестным: крупная, наполовину черная, наполовину белая голова, возвышающаяся на скромном постаменте. Голова, приковывающая внимание мощью сконцентрированной в ней энергии и в то же время бросающейся в глаза простоватостью, откровенной грубостью. Эта скульптура на скромной могиле да полтора десятка биографических книг и статей венчают жизненный путь одного из наиболее противоречивых лидеров Советского Союза — крупнейшей державы мира минувшего века.

Никита Сергеевич Хрущев появился на политической арене не вдруг. В 1930–1940-е гг. его фамилия регулярно мелькала в официальных сообщениях, как одного из кандидатов, а затем и членов Политбюро ЦК ВКП(б). Однако в число «ближайших соратников» И. В. Сталина он не входил, будучи политической фигурой второго плана. Впервые на первых ролях он оказался в смутном 1952 г., когда выступил на XIX съезде с докладом об изменениях в Уставе партии. Но и тогда никто не рассматривал его как возможного преемника «вождя народов».

Тем не менее в первые же часы после кончины И. В. Сталина он оказался в составе триумвирата (вместе с Г. М. Маленковым и Л. П. Берией), который под флагом установления «коллективного руководства» претендовал на реальную власть. На деле же старт негласной борьбы за единоличное лидерство был взят. И тут Хрущев проявил необычайную энергию, находчивость и дальновзоркость. Ему поручили «сосредоточиться» на работе в ЦК. И он своего шанса не упустил, сплотив вокруг себя большую часть центрального и местного партаппарата — основной оси советской номенклатуры. Он выступил главным организатором устранения ненавистного сталинского опричника Берии, а вскоре взял на себя инициативу подготовки и созыва партийного пленума, посвященного одной из самых острых, неотложных и застарелых проблем страны — положению в сельском хозяйстве. Эта была проблема повседневного бытия и сельского большинства населения и горожан. Нарисованная в его докладе на пленуме картина положения в аграрном секторе потрясла своей искренностью, знанием сельской жизни.

* Статья представляет собой размышления автора о личности Н. С. Хрущева, связанные с недавно изданной монографией А. З. Ваксера о Ленинграде в 1945–1982 гг. и др. его работами, посвященными истории СССР в 1950–1960-х гг.

Так с народом с высоких партийных трибун после драматических первых дней войны власть говорила впервые. Были приняты давно назревшие решения о сокращении размеров налогов, в особенности с приусадебных участков, увеличении закупочных цен, повышении материальной заинтересованности колхозников. Такая политика вселяла уверенность и надежды. Доклад и предлагаемые меры были вполне искренне встречены большинством народа «на ура». Результаты не замедлили сказаться. Если в конце 40-х — начале 50-х гг. в СССР сборы зерна колебались на уровне 70–80 млн т, то уже с 1955 г. они перевалили за 100 млн т. Этому способствовало и масштабное решение об освоении целинных и залежных земель, которое стало целой эпопеей в жизни десятков тысяч молодых людей и всей страны. Подобных темпов роста аграрный сектор страны не знал много десятилетий. Неудивительно, что авторитет Хрущева резко повысился и в народе, и среди партийных функционеров, особенно среднего и низшего звена. Он был возведен в ранг Первого секретаря ЦК и старался, как говорится, «ковать железо, пока оно горячо».

Вершиной восхождения на политический Олимп стал XX съезд КПСС, где Хрущев выступил с «секретным» докладом, в котором рассказал о фактах самоуправства, беззакония, массового уничтожения партийных, военных, государственных кадров Сталиным. Со страниц доклада, получившего широкую известность, буквально потрясшего общественность в СССР, странах социалистического лагеря и вне его, вставал образ Сталина — тирана, организатора массовых репрессий. До сих пор историки, биографы не могут прийти к согласию, пошел ли Хрущев на этот шаг ради собственных властных амбиций или руководствовался какими-то иными мотивами. Нет ясности и в вопросе о событиях, непосредственно предшествовавших постановке этого доклада. Одни утверждают, что это было сделано чуть ли не самовольно Хрущевым, другие — что проведение закрытого заседания съезда было осуществлено по решению Президиума и Пленума ЦК, третьи — вообще говорят о том, что «коллективные наследники» договорились заслушать такой доклад не на съезде, а на специальном Пленуме ЦК «в спокойной обстановке». Сам Хрущев, уже находясь на пенсии, объяснял это так:

«У меня руки по локоть в крови. Я делал все, что делали другие. Но если бы предстоял выбор, делать этот доклад или не делать, я бы обязательно пошел к трибуне, потому что когда-то это все должно кончиться».¹

О положительных и отрицательных результатах того исторического доклада спорят и еще долго будут спорить. Но несомненно, во-первых, что целью Хрущева была десталинизация методов и форм, в которых функционировал режим, но не существа созданной Сталиным системы. Во-вторых, следствием его явилось умножение числа союзников Никиты Сергеевича, в первую очередь за счет широких кругов интеллигенции, численность и влияние которой в обществе быстро возрастали. Наступила пора «оттепели». Возрождался такой важный социальный феномен, как общественное мнение. Необходимость перемен во всех сферах жизни начала осознаваться и «верхами», и «низами» все острее. Планово-административная система, существовавшая в стране, содействовавшая достижению Победы, стала быстро расшатываться. Такие ее «несущие» конструкции, как массовые репрессии, система ГУЛАГа, закрепление работников за предприятиями, рушились. Началась массовая реабилитация.

Реформы в экономике, политической системе, духовной жизни властно стучались в двери. Между тем ни сам Хрущев, ни его «соратники», ни общество не были к ним

готовы. Реформаторский потенциал за годы репрессий, погромов, идеологического и морально-политического «единства» оказался сведенным к минимуму. И тем более не существовало целостного видения, куда и как должно двигаться общество, если не принимать во внимание достаточно туманных представлений о коммунизме, о чем мы скажем позднее. Это в полной мере относилось и к «виновнику» стремительного развития событий, ибо Хрущев, пожалуй, как никто другой сам был продуктом «сталинской эпохи».

Восхождение к вершинам власти Хрущева, вероятно, представляло череду благоприятных для него случайностей. И в то же время тут было и нечто иное. Это была единая цепь везения и упорства. Хрущев — считают некоторые из его биографов — пришел чуть ли не как «надежда народа, предтеча нового времени». Представляется, что это не совсем верно. В последние годы Сталин искал и «перебирал людишек», способных стать его преемниками. Не случайно в составе узкого состава президиума ЦК, избранного XIX съездом (1952), оказалось довольно много деятелей среднего возраста. Он присматривался к Н. А. Вознесенскому, А. Н. Косыгину, А. А. Кузнецову, В. А. Малышеву и др. Искал, завидовал и, как утверждают некоторые, ненавидел их одновременно. Не случайно и то, что над старыми соратниками в эти годы нависала опасность уничтожения. Сталин понимал, что без борьбы они власть не отдадут. Но все это, по большому счету, были ничтожные потуги. Полноценного механизма воспроизводства элиты в стране, который бы обеспечивал восхождение к государственным и партийным вершинам наиболее талантливых, зрелых, образованных, самостоятельно мыслящих деятелей, создано так и не было. Его заменяла сталинская мясорубка, из которой в подавляющем большинстве могли выбраться лишь оборотистые, ловкие и беспринципные люди, но только не личности, способные дать самостоятельный вполне адекватный ответ на вызовы времени и истории.

Одним из первых шагов Хрущева в новом качестве лидера стала передача Крыма Украине в связи с 300-летием воссоединения ее с Россией. 19 февраля 1954 г. появился на свет Указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Эта передача огромной и исключительно важной территориальной единицы, призванная укрепить «нерушимый союз братских республик», не была должным образом оформлена ни референдумом, ни другими юридически необходимыми для столь беспрецедентного «подарка» актами. Россия и ее народ, видимо, никогда не забудут «купеческой» щедрости «дорогого Никиты Сергеевича», который не однажды демонстрировал перед страной и миром, что в большой политике, как и в обыденной жизни, «не боги горшки обжигают». К сожалению, история учила и учит тому, что в большой политике «горшки должны обжигать» только «боги». Ну, а наш герой «богом» не был ни по рождению, ни по воспитанию, ни по образованию, ни по общей культуре и интеллекту, хотя умом, бесспорно, обладал живым, характером беспокойным, а энергией, казалось, неисчерпаемой. Впоследствии в мемуарах он всячески пытался оправдать целесообразность «подарка», который, как, пожалуй, никакой другой, характеризует скоропалительные, а порою и откровенно недальновидные методы деятельности Первого секретаря. Порою... но далеко не всегда.

Будучи человеком и политиком прагматичным, знавшим не понаслышке реальную жизнь простых людей, Хрущев был обеспокоен застарелыми социальными проблемами: жилищной, продовольственной, пенсионной и др. Он понимал, что народ не просто жаждет перемен. Интуитивно, «кожей» чувствовал — время народного терпения, веры

советской власти неумолимо сокращается. Позже в мемуарах Хрущев напишет: «Нельзя увлечь за собой народ только рассуждениями о марксистско-ленинском учении. Если государство и обещанная система не дают людям материальных и культурных благ больше, чем их обеспечивает капиталистический мир, бесполезно звать людей к коммунизму». Теперь, задним числом, можно сказать: как в воду глядел!

И Хрущев инициировал принятие неотложных социальных мер.² 18 марта 1955 г. Президиум Верховного Совета СССР отменил введенные в октябре 1940 г. призывы (мобилизации) молодежи в учебные заведения трудовых резервов. Через год, вскоре после XX съезда, увидел свет долгожданный Указ «Об отмене судебной ответственности рабочих и служащих за самовольный уход с предприятий и из учреждений и за прогул без уважительной причины». Устанавливалось, что отныне рабочие и служащие при увольнении по собственному желанию обязаны были только предупреждать администрацию об этом за две недели. Отменялась не только судебная ответственность за самовольный уход, но и освобождались от отбывания наказания лица, осужденные за прогулы, прекращались производством все дела такого рода. Одновременно утрачивал силу ряд указов, введенных в действие накануне войны, регламентирующих продолжительность рабочего дня, административное закрепление работников. Тогда же на два часа сократили рабочий день в предпраздничные и предвыходные дни, отменили ранее введенную плату за обучение в средних и высших учебных заведениях. Был принят закон о государственных пенсиях, который радикально улучшал положение этой многочисленной группы населения.

Но, пожалуй, ключевое место в осуществляемых по инициативе Хрущева социальных программах занял жилищный вопрос. Развертывание массового индустриального жилищного строительства было поставлено в центр внимания и общества, и государства, и партии. Если за все годы советской власти с 1918 по 1955 г. было введено 952,7 млн м² жилой площади, то только за десять лет — с 1956 по 1965 г. — 964,7 млн. Получили вновь или улучшили жилищные условия свыше 108 млн человек! Это был несомненный прорыв. И не случайно Хрущев импонировал многим именно своей смелостью, размахистостью, динамизмом. Конечно, жилье было далеко не шикарным, но по тем временам вполне комфортабельным. После подвалов, коммуналок, общежитий, а то и землянок, в которых многие и многие ютились в послевоенные годы, это был безусловный прорыв. Как бы сегодня полупрезрительно ни называли эти дома и районы — «хрущевками», «хрущебами», они положили начало масштабному решению сложнейшей и острейшей социальной проблемы, которую и через полвека власти достойно завершить никак не могут.

Социальные преобразования требовали значительных материальных, финансовых ресурсов. Хрущев нередко пытался получить их за счет сокращения армии, что естественно наталкивалось на сопротивление генералитета, ставило в трудное положение тысячи офицеров, которым приходилось начинать жизнь заново. Только в январе 1960 г. Верховный совет СССР по докладу Н. С. Хрущева принял закон о сокращении вооруженных сил на одну треть.

Поиск оптимальных решений неотложных экономических проблем становился поистине судьбоносным для страны. Хрущев и его довольно пестрая команда, придя к власти, не имели ясной программы реформирования громоздкого, инерционного государственного хозяйства. Единственное «наследие» составляли разве что принципы,

провозглашенные в сталинской работе «Экономические проблемы социализма в СССР», которые были далеки от реальных вызовов времени, требований развертывавшейся научно-технической, информационной революции.

Поэтому с самого начала выбор путей реформирования экономики приобрел конвульсивный характер, наткнулся на решительное неприятие центрального аппарата министерств и ведомств. Идея перенесения центров управления индустрией на места — в советы народного хозяйства, на предприятия, приобщение к управленческой деятельности профсоюзов решительно отвергалась рядом членов Президиума ЦК, в первую очередь Молотовым, Кагановичем, Маленковым. В разгар подготовки реформы управления промышленностью и строительством, в июне 1957 г., большинство Президиума ЦК КПСС приняло решение о смещении Хрущева с поста первого секретаря. Однако оно не рассчитало своих сил. Хрущева поддержали функционеры с мест, часть центрального партийного и хозяйственного аппарата, армия, КГБ в лице Г. К. Жукова и И. А. Серова. Впервые за ряд десятилетий спешно собранный пленум ЦК КПСС выступил в роли решающей инстанции и поддержал Никиту Сергеевича.

Победа не была случайной, ибо он многие годы был тесно связан с государственным и партийным аппаратом разного уровня. Один из сотрудников Хрущева рассказывал, что после «воцарения» коллективного руководства на партийном собрании в ЦК КПСС Г. М. Маленков выступал с докладом, в котором резко критиковал «переродившихся бюрократов». «В зале стояла, — замечал мемуарист, — гробовая тишина: там находились именно эти бюрократы. Вдруг в тишине раздался веселый голос Хрущева: „Все это может быть и верно, Георгий Максимилианович, но аппарат — это наша опора“. И сразу — гром аплодисментов».³

Антихрущевская оппозиция была осуждена, наказана, но физически не уничтожена.

После разгрома так называемой «антипартийной группы» Хрущев приобрел безраздельную и по сути неподконтрольную власть в партии и стране, возглавив (по настоянию соратников) еще и Совет Министров СССР. В сущности человек искренний и добрый, в политике он не признавал доброты, в особенности когда ему представлялось, что затрагиваются «классовые интересы» государства. Здесь он не шел ни на какие компромиссы. Выше требований морали были для него политическая целесообразность, государственная безопасность. Для их обеспечения Хрущев был готов на все.

Между тем созданные вместо отраслевых министерств на местах советы народного хозяйства на первых порах сумели решить ряд неотложных хозяйственных вопросов. Ускорился поиск путей инновационного развития экономики, ее реконструкции, более приемлемых и эффективных форм материально-технического снабжения и др. Но приостановить деградацию административно-командной системы и тем более создать ей альтернативу совнархозы, разумеется, не могли. С конца 1950-х — начала 1960-х гг. затруднения стали нарастать. Последовал новый перестроечный тур.

Осложнялась обстановка и в трудовой сфере. Давно назревавшую реформу системы оплаты труда рабочих в промышленности осуществили в конце 1950-х гг. При этом рабочие-станочники (токари, фрезеровщики и др.) понесли ощутимые потери в зарплате. В результате в промышленности резко усилилась текучесть кадров. Кадры «текли», а оборудование простаивало.

Верные решения чередовались с очевидными просчетами и ошибками. В начале 60-х гг. СССР впервые столкнулся с «демографическим эхом» войны. Трудоспособного

возраста достигли малочисленные контингенты молодежи, родившиеся в фронтовые годы. А экономика по-прежнему следовала по экстенсивной колее. Рабочей силы не хватало. Последовала школьная реформа (1958), которая реализовала идеи политехнического обучения, скорейшего включения молодежи в производительный труд. Развертывание производственного обучения в общеобразовательных школах, создание учебных цехов на предприятиях, коренная перестройка системы трудовых резервов и формирование стройной системы массового профессионально-технического образования на многие годы определили методы и пути подготовки квалифицированных рабочих кадров.

И все же коренная проблема реформирования экономического механизма — административно-плановой системы не находила должного решения. Недавно опубликованные документы Президиума ЦК за 1954–1964 гг.⁴ убедительно свидетельствуют, как шаг за шагом, буквально «продираясь» сквозь собственные предубеждения, Хрущев приближался к пониманию необходимости всемерного усиления экономических методов хозяйствования, создания конкурентной ситуации между производителями. Именно в те годы делались первые шаги на пути массовой ликвидации экономической безграмотности, было положено начало экономическому экспериментированию, признана необходимость использования прибыли, рентабельности, цен как важного стимула эффективного хозяйствования. И все же отставание Хрущева от объективных требований, общественных потребностей становилось все более ощутимым.

В 1958 г. принимается решение о ликвидации машинно-тракторных станций и продаже техники колхозам. Сама реформа была проведена молниеносно и неудачно. Наметившееся к середине 1950-х гг. укрепление колхозов, их экономики резко затормозилось вследствие завышения цен на продаваемую технику. Все связи между промышленностью и сельским хозяйством отныне были переведены на товарно-денежную (но все-таки нерыночную) основу. А это в свою очередь означало крушение еще одной опоры командной экономики — натуральных форм обмена, с помощью которых государство извлекало из сельского хозяйства немалую часть прибавочного продукта. Стоимость горючего, смазочных материалов, машин, запчастей, определяемая административным путем, вновь разошлась с ценами на сельскохозяйственную продукцию. Положение усугублялось следовавшими подряд несколько лет неурожаем. Чудовищно опрометчивым оказалось решение о запрете держать скот в индивидуальном хозяйстве, что привело к постоянному обострению дефицита мясных и молочных продуктов в стране.

В поисках выхода Хрущев не стеснялся прибегать к заимствованию новейших западных технологий и в производстве, и в сфере обслуживания. Однако попытки безоглядной химизации, насаждения квадратно-гнездового способа посева зерна, широкого использования поливных земель наткнулись на невидимые преграды централизованного государственного управления аграрным сектором. Так, идея расширения производства кукурузы как важнейшей кормовой культуры появилась в результате знакомства Хрущева с практикой ведения фермерского хозяйства в США. Сама идея была, безусловно, плодотворной и реальной. Но попытка ее государственного насаждения в традиционных советских формах поголовной «кукурузизации» всех регионов от благодатного Ставрополя до притундровых районов закончилась полной дискредитацией и идеи, и Хрущева.

Решительный отказ от административных методов, перевод народного хозяйства на преимущественно экономические методы руководства становился все более насущным.

Найти же быстрые, адекватные и эффективные ответы хрущевское руководство не сумело. Наступающая эпоха требовала не только отказа от командной системы, но и гибкого подхода к проблемам собственности, что не укладывалось в голове не только Хрущева и его соратников, но и многих современников. Как это ни парадоксально, не принимается и радикальными либеральными реформаторами наших дней.

Страна, мир становились, как никогда ранее, динамичными. Запаздывание с реформами оборачивалось все более ощутимыми потерями. Ситуация осложнялась и тем, что реформирования требовали решительно все сферы. В их числе и наиболее чувствительная для руководства КПСС — политическая.

Шаги в этом направлении предпринимались и нашли наиболее законченное выражение в разработанных под руководством Хрущева третьей Программе партии и проекте новой Конституции. Программа должна была открыть этап структурных преобразований советской экономической и политической системы. Разработчики старались найти формы, средства, методы, механизмы достижения нового уровня экономического и политического развития страны, общества. Боролись две тенденции: тенденция старых подходов, в основе которых лежали прежние, сталинские представления о социализме и коммунизме, и тенденция к осознанию новых реалий. Победили первые. И прежде всего эта победа вылилась в авантюрных цифрах экономического развития страны до 1980 г., когда и предполагалось построить коммунизм. Этот авантюризм нередко приписывают лично Хрущеву, его ближайшему окружению. Между тем в основе упоминаемых в Программе цифр лежали прогнозы Госплана о развитии экономики СССР на ближайшие 15–20 лет.

Проект Конституции, который так и не увидел света, был опубликован только недавно.⁵ Документ содержал ряд новых положений и предусматривал, в частности, регулярную ротацию депутатского корпуса, высшего государственного руководства. Еще раньше, в 1961 г., был принят новый Устав КПСС, в котором разумные идеи оказались препарированными до неузнаваемости, по сути дискредитированными.

Наконец, Хрущевым впервые был поставлен вопрос об отношении к инакомыслящим в партии. Как и многие другие, — поставлен непоследовательно и тем более не решен до конца. С одной стороны, в заключительном слове на XXII съезде (1961) он провозгласил, что проявление инакомыслия, особенно на переломных этапах, возможно. К таким людям, — полагал Первый секретарь, — надо применять не репрессии, а методы разъяснения и убеждения.⁶ Это был своеобразный прорыв во всем строе партийного мышления, «палочной» дисциплины, которые насаждались Сталиным и его присными многие десятилетия. Но, с другой — вопрос о каких-то правах меньшинства и тем более о том, что оно в конечном счете может оказаться правым, даже и не мыслился. И неудивительно. Ныне Россия стала иной. Но и в условиях демократии эта «заказка» так и остается по-настоящему не решенной. Стоит ли тогда упрекать Хрущева и его время? Он по-прежнему оказывался рабом традиционного российского патернализма, подразумевающего непогрешимость первого лица, его монополии на мудрость и решение всех вопросов, встававших перед обществом.

Годы малоэффективных усилий по решению очевидных, кричащих хозяйственных проблем укрепляли в сознании Хрущева убеждение, что инерционность народного хозяйства, его низкие инновационные потенции прежде всего связаны с бюрократизмом хозяйственного и государственного аппарата. Институтом, неподверженным этой

болезни, он наивно считал только партию. Такой подход определял и конкретные решения, стремление передать партии функции хозяйственного руководства, разделение парторганизации по функциональному признаку — учреждение промышленных, сельских обкомов и т. п.

Революционер, бунтарь и раб традиций одновременно — таков был в мыслях и делах этот, несомненно, яркий, незаурядный, с хитринкой и одновременно наивный, способный на глупости, граничащие с преступлением, человек. Хрущев отверг испытанный механизм авторитаризма — репрессии, осудил единовластие. Однако авторитарную форму правления сохранил. Такая непоследовательность, пожалуй, в наибольшей степени сказывалась в сфере культуры — области, от которой он был далек. Далек и генетически, и фактически. Судя по мемуарам, Хрущев, видимо, сознавал, что не сведущ в искусстве. Тем не менее почитал своей обязанностью наставлять, давать «ценные указания» деятелям науки, литературы, кино, изобразительного искусства.

XX съезд, как говорилось выше, всколыхнул общественное сознание, заставил людей по-иному взглянуть и на себя, и на свою страну, и на окружающий мир. «Оттепелью», как образно назвал это явление И. Эренбург, в первую очередь воспользовалась творческая интеллигенция. Литература, кино, театр, изобразительное, музыкальное искусство обратились к реальной жизни, ее проблемам. Они стремились расширить рамки традиционного социалистического реализма. Начали издаваться новые, приобретшие большую популярность литературные, научные, общественно-политические журналы «Юность», «Международная жизнь», «История СССР». Распахнули двери такие театры, как «Современник», театр на Таганке, вернулись в поэзию бывшие эзики Николай Заболоцкий, Ярослав Смеляков, увидели свет (не без личной помощи Хрущева) «Теркин на том свете» А. Твардовского, «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, «Девять дней одного года» М. Ромма. Даже А. Ахматова говорила в те годы: «Я ведь хрущевка. Хрущев сделал для меня самое большое, что может сделать один человек для другого: вернул мне сына».

Немало делалось и для прогресса науки. Открылся ряд новых институтов АН СССР. Хрущев поддержал инициативу создания Сибирского отделения Академии наук, строительства Академгородка в Новосибирске, превратившегося в один из крупнейших центров фундаментальной и прикладной науки в стране. Сенсационными стали эпохальные достижения в освоении космоса, к которым Хрущев прямо и косвенно «приложил руку».

Одним этот поистине беспрецедентный интеллектуальный подъем в стране внушал уверенность и оптимизм. Другими овладевало чувство беспокойства за судьбу «нерушимых основ». Третьи, для которых «верность принципам» была тождественна умению держать нос по ветру, пребывали в растерянности. Ведь Хрущев поддерживал не только Твардовского и «Новый мир», но и ярого консерватора В. А. Кочетова, окопавшегося в «Октябре», могильщика советской генетики Т. Д. Лысенко.

Терпимость, уважение к иным мнениям — один из фундаментальных признаков культуры. Это качество было чуждо Хрущеву. К тому же время, в которое он формировался и жил многие годы, мало способствовало утверждению подобных черт в индивидуальном и общественном сознании. Не случайно тучи в отношениях с интеллигенцией, то сгущаясь, то ослабевая, постоянно нависали, не рассеивались. Наиболее шумные скандалы разразились в начале 1960-х гг. Тогда в сгоревшем и вновь отстроенном московском «Манеже» открылась в общем-то ничем не примечательная художественная

выставка. Однако впервые в ней пригласили участвовать молодежь авангардистской ориентации, которую многие годы преследовали, не допускали в творческие союзы. Это была, по-видимому, заранее спланированная провокация. Хрущева буквально пригласили к работам абстракционистов. И он (как и можно было ожидать) пришел в неистовство. «Такое „творчество“, чуждо нашему народу, — цитировала его слова официальная печать. — Вот над этим и должны задуматься люди, которые именуют себя художниками, а сами создают „картины“, что не поймешь, нарисованы ли они рукой человека или хвостом осла». А одному из молодых участников той выставки Э. Неизвестному после осмотра его скульптур Хрущев без обиняков заявил, что он просто проедает народные деньги, а производит дерьмо! Тот возражал и доказывал, что руководитель КПСС просто эстетически безграмотен. Но Хрущев не сдавался (он, как говорится, умел «держат удар» и спорить): «Был я шахтером, — распалялся он, — не понимал, был политработником — не понимал. Ну, вот сейчас я глава партии и премьер — и все еще не понимаю? Для кого же вы работаете?».

Рассказывая позже об этой встрече, Неизвестный подчеркивал, что, несмотря на ужас, который царил в атмосфере и в глазах окружающих, он ощущал динамизм личности своего обидчика, динамизм, который соответствовал динамизму самого скульптора. И «разговаривать с ним было легко». «Хрущев говорил неквалифицированно, но прямо, что давало мне возможность прямо ему отвечать... Кончилась наша беседа с Хрущевым следующим образом. Он сказал: „Вы интересный человек, такие люди мне нравятся, но в вас сидит одновременно и ангел и дьявол. Если победит дьявол — мы вас уничтожим. Если победит ангел — мы вам поможем“. И он подал мне руку». Вот таким и был реальный Хрущев.

За этим последовали еще две «встречи с интеллигенцией», атмосферу которых известный кинорежиссер М. Ромм назвал форменным сюрреализмом. Досталось «на орехи» и молодым, и известным поэтам, прозаикам, режиссерам, художникам, скульпторам. Спустя несколько лет, уже на пенсии, Хрущев, вспоминая об этих встречах, с горечью признавался: «Зачем я полез тогда в это дело, в котором ничего не понимал... Они (имеются в виду высшие партийные чиновники от идеологии) меня провоцировали, а я полез...». Новая волна гонений обрушилась и на церковь.

Большие группы интеллигенции, поддерживавшие Хрущева на первых порах, теперь все решительнее отворачивались от него. Попытки объяснить эти грубейшие человеческие, политические просчеты только происками окружения, высшей номенклатуры едва ли могут быть приняты. «Втравить» в подобные «истории» интеллигентного человека было едва ли возможно. Эти печальные факты еще и еще раз убеждают, что каждый последующий руководитель КПСС и государства после Ленина оказывался (за небольшим исключением) не только по уровню культуры, но и по интеллекту ниже, нежели его предшественник. А это уже не просто личная беда. Это драма и страны, и ее народа. А ведь высокие цели и объективные вызовы, которые предъявляли история и время, требовали как раз обратного!

Интеллектуальный мир Хрущева, многих его современников, как уже отмечалось, формировался, кристаллизовался под влиянием сталинских идей, сталинской практики. И это накладывало неизгладимую печать и на личность, и на поступки, и на реформы, провозвестником и инициатором которых он являлся. Неоднократно размышляя вслух о «культе личности», о Сталине, он словно разговаривал со своей совестью. Но в

сущности Хрущев так и не сумел «выскочить» из сталинских пеленок, как и отказаться от приверженности к системе и практике, которые и ныне авторами, заинтересованными в дискредитации социалистической идеи, именуются социализмом. Не сумел, хотя и стремился к этому.

Эти особенности его личности, несомненно, наложили отпечаток и на внешнюю политику Советского Союза, на мировые события, в центре которых он оказался.

К началу 1950-х гг. первый тур «холодной войны» достиг апогея. В 1949 г. был создан военный блок НАТО, в котором доминировали США. СССР укреплял свои позиции в странах Восточной Европы, сближался с Китайской Народной Республикой. Внешняя политика составляла ту сферу, к которой никогда ранее Хрущев отношения не имел. Однако и события, и проблемы времени «на раскачку», постижение секретов и искусства дипломатии не оставляли.

В 1955 г. Хрущев совершил первый крупный вояж в капиталистический мир. В Женеве состоялась встреча глав четырех великих держав на высшем уровне — первая после Потсдама (1945). Запад получил возможность поближе ознакомиться с новым советским лидером. Оказалось, что «коммунистический дьявол» вблизи отличался от расхожих страшилок. Он охотно общался с прессой, говорил откровенно, шутил, не прочь был побаловать «акул пера» анекдотами, эмоционально и нередко удачно реагировал на острые вопросы. Вместе с тем западные руководители убеждались, что Хрущев не легкий партнер. В отличие от Сталина он был непредсказуем, настойчиво демонстрировал растущую военную мощь СССР, его претензии, проявлял решительность, когда дело касалось жизненных интересов страны. И вместе с тем — готовность к компромиссам. Так, уже в первые годы удалось решить застарелую проблему Австрии, вывести оттуда войска бывших союзников и добиться ее нейтралитета. Успешно налаживались отношения с рядом стран Юго-Восточной Азии (Индией, Индонезией и др.).

Одной из острейших и неотложных проблем были отношения с Югославией, которые Сталин довел до состояния «белого каления». И Хрущев со свойственной ему безоглядностью бросился «в омут», встретился с маршалом Тито, по сути признал ошибочность сталинской политики и добился существенного смягчения отношений с этой страной. Он живо интересовался югославской системой самоуправления, формами руководства экономикой, в первую очередь деятельностью рабочих советов на предприятиях, организацией иностранного туризма, дающего солидную прибавку в бюджет, и др.

Чрезвычайно сложным выдался 1956 г. Кризисы в Болгарии, Польше, Венгрии следовали один за другим. Особенно драматичным и буквально потрясшим сознание Хрущева оказался венгерский кризис, совпавший с военно-политическим кризисом на Ближнем Востоке. Израиль, а затем Англия и Франция начали военные действия против Египта, национализировавшего Суэцкий канал. Руководство СССР действовало оперативно и решительно. СССР не только выступил в поддержку Египта, но и предупредил о возможности оказания военной помощи. Англия, Франция и Израиль оказались в изоляции и вынуждены были отступить, покинуть зону Суэцкого канала.

В 1959 г. Хрущев отправился с двухнедельным визитом за океан. Это был первый визит главы Советского государства и КПСС в Соединенные Штаты, визит во многих отношениях необычный. Он летел через океан на только что принятом в эксплуатацию самолете ТУ-114. Подобного пассажирского лайнера, способного совершить столь длительный беспосадочный перелет, тогда не было ни у одной страны. Временного

потепления в отношениях между СССР и США Хрущев достиг. Однако стремление положить конец «холодной войне» не увенчалось успехом. Слишком велика была разница в подходах, несовместимы интересы. Одной из предпосылок конфликта являлось присвоенное США в одностороннем порядке «право» разведывательной деятельности на территории Советского Союза. Пользуясь превосходством в технике, американские самолеты-разведчики У-2 ряд лет безнаказанно на больших высотах, недоступных для советских истребителей и зенитной артиллерии, «утюжили» воздушное пространство СССР. И тогда, когда наметилась возможность достижения реальной договоренности, накануне ответной поездки президента США в СССР, разведчик вновь появился у южной советской границы.

Ранним утром 1 мая 1960 г. Хрущеву доложили, что нарушитель идет курсом на секретный полигон Тюра-Там, где располагался главный космодром страны (будущий Байконур). Последовал категорический приказ уничтожить нарушителя во что бы то ни стало. На улицах городов бурлила праздничная демонстрация, а в это время над просторами Зауралья разворачивались драматические события. Несколько попыток уничтожить разведчика не увенчались успехом. И только при подлете к Свердловску (Екатеринбургу) он был сбит новейшей зенитной ракетой. 11 мая по распоряжению Хрущева остатки американского самолета и шпионское снаряжение были выставлены в московском Парке культуры и отдыха им. Горького. Летчик был взят в плен и сознался.

Такого поворота событий в США не ждали. Между тем в середине мая в Париже должна была состояться встреча в верхах, с которой мир связывал немало надежд. Хрущев, несмотря на провокацию, все же настоял на необходимости поездки во Францию. Но на предварительной встрече он во всеуслышанье потребовал от американского президента извинения за инцидент. Тот извиняться отказался. Конференция, не начавшись, провалилась. Срыв парижской встречи стал переломным моментом, ознаменовавшим крушение разрядки и новое усиление «холодной войны». Задним числом некоторые либеральные историки и биографы Хрущева пытались и пытаются возложить ответственность за срыв конференции на СССР и его лидера. (Пусть читатель сам судит, кто был прав, а кто виноват. И кто в конечном счете несет историческую ответственность за упущенный шанс.)

Правда, в долгу и Хрущев не оставался. Вскоре уже без приглашения американских властей лично отправился на очередную сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Такое право он имел. На сессии Хрущев выступал с докладом, речами. Для него не существовало дипломатического этикета, и нередко дело доходило до скандалов. Иногда Хрущев запросто прерывал не понравившегося оратора репликами типа: «Чья бы корова мычала, а ваша бы молчала!», «Лакей империализма!» и т. п. Но «венцом» той поездки стала «башмачная дипломатия», когда он, раздосадованный выступлением одного из дипломатов, снял ботинок и начал громко стучать им по столу. Заседание прервалось. Председатель растерянно оглядывался по сторонам, не зная, как поступить.

Между тем обстановка в мире накалялась. Противостояние вступило в новую опасную фазу. Советской разведке стало известно, что Пентагон настаивает на быстрейшем развязывании конфликта с СССР, чтобы воспользоваться ускользавший военным превосходством.⁷ В июле 1962 г. СССР объявил об отмене решения сократить вооруженные силы на 1.2 млн человек. Увеличили военный бюджет. Почти одновременно по предложению Хрущева было принято решение о поставках оружия на Кубу, которая

оказалась перед угрозой американского вторжения, о размещении там советских ракет и военнослужащих. Американцы в течение многих лет бесцеремонно устанавливали в непосредственной близости от советских границ в Турции и Иране ракеты, строили воздушные базы. И ни у кого разрешения на это не спрашивали. Теперь Хрущев хотел дать почувствовать США, что испытывали советские люди на протяжении многих лет «холодной войны», будучи окруженными со всех сторон американскими базами. И одновременно продемонстрировать советскую мощь, создать условия для реальной переоценки сторонами существующего соотношения сил, более приемлемого для СССР компромисса. Не пересказывая всю драму, связанную с кубинским кризисом 1962 г., поставившим мир на грань ядерного апокалипсиса, отметим, что Хрущев в эти драматические дни проявил и выдержку, и хладнокровие, и волю к разумному компромиссу. И действия США, и ядерный демарш СССР оказались не только дорогостоящей неудачей, но и катализатором опасного развития событий. Что же касается Хрущева, то он, как и другие представители его поколения, был неколебимо убежден, что империализм стремится любой ценой разрушить советскую систему, как минимум — вернуть страны Восточной Европы в свое лоно, а как максимум — добиться реставрации капитализма в Советском Союзе, его расчленения. И они старались сделать все, чтобы этого не случилось. (Пусть сам читатель решает, были ли они в чем-то правы или заблуждались.)

Одной из самых острых проблем внешней политики стали отношения с Китайской Народной Республикой. Мао Дзэдун был решительным противником разоблачения культа Сталина, советско-американского сближения. Он считал, что это может нанести ущерб китайским интересам. Хрущев горячо спорил и однажды, выйдя из себя, заявил, что готов направить гроб с телом Сталина прямо в Пекин. На советско-китайские отношения также отрицательно влияло стремление Мао развернуть собственную ядерную программу. На первых порах СССР помогал Китаю в ее осуществлении, но затем прекратил такую помощь, что вызвало резкое недовольство китайских лидеров. Со второй половины 1950-х гг. трения между СССР и КНР нарастали и достигли апогея в начале 1960-х гг., когда развернулись бои на острове Даманский. Из многих ошибок, допущенных Хрущевым, разрыв с Китаем имел для СССР, по-видимому, наиболее тяжкие последствия.

Накалялась обстановка и внутри страны, хотя оптимизм Хрущева, казалось, бил через край. Встречая в Кремле Новый, 1964 год, он уверенно заявил, что истекший 1963 г. был «хорошим годом». «Дела у нас идут успешно. Но люди, естественно, хотят большего. И это будет сделано». Между тем в действительности «дела» шли год от года хуже. Темпы роста снижались. Эффективность народного хозяйства падала. Список дефицитных товаров рос, хотя предприятия производили все больше товаров. Из-за низкого качества продукция пылилась на полках. Объем денежных средств у населения увеличивался. Плохой урожай 1963 г. еще больше усложнил положение. Валовая продукция сельского хозяйства упала ниже показателей пятилетней давности. поголовье скота сокращалось. Недовольство охватывало все новые и новые слои населения, разные звенья государственного и партийного аппарата, армии.

Горожан не устраивало сокращение и ухудшение продовольственного снабжения, отсутствие многих видов потребительских товаров, скрытый рост цен. Рабочих — тарифная реформа. В ряде городов впервые за многие годы отмечались забастовки и

открытые выступления. В Новочеркасске разыгрались кровавые события. Интеллигенцию шокировало преследование «формалистов», «абстракционистов» и другие действия властей. Крестьяне были раздражены посягательствами на личное подсобное хозяйство, падением доходов колхозов и совхозов. Чиновники боялись потерять места из-за постоянных организационных перетрясок. Партийные работники в штыки встретили новый Устав КПСС, который вводил строгий принцип ротации кадров, разделение парторганов по производственному принципу. Вся номенклатура роптала по поводу урезывания привилегий. Армия и флот были недовольны непродуманными сокращениями, уменьшением пенсий, скоропалительным расформированием многих частей истребительной авиации и отношением к надводному флоту, которые, якобы, утратили значение в связи с развитием ракетно-ядерного оружия и созданием подводных ракетосцев. Обижен был и КГБ, который был низведен до уровня обычного министерства. Он был хорошо осведомлен и о планах лишения чекистов статуса военных, превращения в обычных штатских служащих.

Однако ни сам Никита Сергеевич, ни его ближайшие советники и сотрудники, по свидетельству одних мемуаристов, не ощущали надвигавшейся грозы. Другие, наоборот, говорят о том, что в 1963–1964 гг. Хрущев все чаще возвращался к вопросу о невыполненных обещаниях, чувствовал, что реформы заходят в тупик, все отчетливее понимал, что организационные метания ожидаемых результатов не приносят. Он просил сотрудников приносить ему лично наиболее ядовитые листовки, письма, иногда жаловался на усталость, поговаривал о необходимости уступить дорогу другим — молодым.

17 апреля 1964 г. Никите Сергеевичу исполнилось 70 лет. «Товарищи» по Президиуму постарались придать этому событию надлежащий по тем временам антураж. Юбилею вручили четвертую «Золотую Звезду». На этот раз... Героя Советского Союза. Поцелуям и поздравлениям, казалось, не было числа. Чего было здесь больше — холуйского раболепия или изуверства — сказать трудно.

Между тем недовольство не только в народе, но и в верхах зрело. Биографы Хрущева спорят, кто был инициатором заговора.⁸ Одни называют Брежнева, другие Шелепина, третьи Суслова. Спорят и о термине «заговор». Известно, что в начале осени Хрущев получил информацию о сговоре «соратников» против него. О всей этой истории подробно рассказывает сын Хрущева С. Н. Хрущев. Однако остается фактом то, что практически сам Никита Сергеевич никаких конкретных мер для предотвращения своего падения не предпринял. Или просто недооценил значение поступившей информации, или слишком доверял своим выдвиженцам Брежневу, Шелепину, Семичастному? А может быть, и чувствовал усталость и внутреннюю неспособность развязать узлы, которые все туже затягивались в стране. Кто-то верит в это, кто-то утверждает, что Хрущев был неистовым бойцом. Так что на многие естественные вопросы ни теперь, ни в будущем ответов ждать не приходится.

События же развивались следующим образом. В тот памятный 1964 г. Хрущев много работал. За первые девять месяцев 135 дней он провел в разного рода поездках, а в конце сентября улетел на отдых в Пицунду. Там же с ним отдыхал и А. И. Микоян. 12 октября на околоземную орбиту был выведен космический корабль с тремя космонавтами на борту. По заведенному порядку Хрущев лично переговорил с ними и после этого пошел погулять с Анастасом Ивановичем по пляжу. Прогулку прервал дежурный,

который доложил, что из Москвы звонит Л. И. Брежнев и просит подойти к аппарату «самого». Хрущев удивился, так как он отсутствовал всего неделю и неотложных дел вроде бы не было. Тем не менее Брежнев настойчиво просил его прибыть на следующий же день в столицу, чтобы решить некоторые вопросы, связанные... с сельским хозяйством.

«Эти вопросы могут и подождать», — отреагировал Хрущев. Но на другом конце провода, где вокруг струсившего Леонида Ильича собрались все заговорщики, продолжали настаивать. Тогда недовольный Хрущев ответил, что они с Микояном подумают.

Продолжив после разговора прогулку по пляжу, Хрущев, помолчав, вдруг сказал Микояну: «Знаешь, Анастас, нет никаких у них неотложных дел по сельскому хозяйству. Думаю, что этот звонок связан с тем, о чем говорил Сергей» (сын Н. С.).

Только в полночь стало известно, что Хрущев затребовал самолет к шести часам утра 13 октября. Вылет состоялся около десяти часов, и к полудню Хрущев уже был в Москве. Обычно в таких случаях его провожали или встречали на аэродроме все члены правительства. На этот раз для встречи прибыло лишь два человека — председатель КГБ и секретарь Президиума Верховного Совета, встречавший Микояна. Выйдя из самолета, Хрущев спросил: «А где остальные?». Ответ был столь же лаконичным: «В Кремле. Ждут вас». Теперь никаких сомнений, «зачем его ждут», уже не было.

Как только Хрущев и Микоян прибыли на место и Хрущев закрыл двери зала заседаний, охрана в приемной, квартире и на даче была заменена, связь замкнута на руководителей КГБ. Заседание Президиума началось.

Теперь мы можем документально восстановить его ход.⁹ Начал Брежнев, заявив, что тема заседания — выяснение отношений в руководстве партии. «Откровенный разговор» продолжался много часов. Упреки от вчерашних «соратников» сыпались как из рога изобилия. Больше всего говорили о необоснованном разделении обкомов, кукурузе и принятии ряда других ошибочных решений. Укоряли Первого секретаря и за нетерпимое положение, сложившееся в Президиуме, за оскорбления, игнорирование его членов, за непартийное поведение и др. Хрущев сначала пытался сходу отвечать на обвинения, соглашался с верностью некоторых аргументов, по другим возражал, признавался в случаях грубости и нетактичности, ошибках. И все же упор делал на преданности партии и своем понимании, что все его нынешние оппоненты «друзья и единомышленники». На это последовал грубый окрик: «У вас здесь друзей нет!». Это говорили те, кто вчера еще откровенно пресмыкался перед ним. Разнос продолжался. Вновь посыпались упреки в непомерном самомнении, саморекламе, непродуманных обещаниях догнать и перегнать США, повышении зарплат, провале этих и многих других затей и т. д., и т. п. Большинство требовало лишения Хрущева всех постов. Разговор продолжался до позднего вечера, но и этого времени оказалось недостаточно. Заседание перенесли на следующий день. И тогда обеспокоенный Брежнев позвонил председателю КГБ Семичастному: «Что делать? Неужели отпускать Никиту?». «Пусть отправляется, куда хочет, — ответил тот. — Он ничего уже сделать не может: все под контролем».

Хрущев поехал домой. А тем временем в Москву начали съезжаться члены Центрального комитета КПСС. Информации у них полной не было, и началось брожение: с кем и за кем идти?

Утром заседание Президиума продолжилось. Хрущев несколько успокоился, казался более уравновешенным. Тем не менее дискуссия продолжалась еще несколько часов.

КГБ между тем торопил, боясь потерять контроль над ситуацией, требовал быстрее кончать и провести Пленум ЦК в тот же день. В самом конце заседания вновь взял слово Хрущев. Он сказал, что бороться не собирается, да и не может. Отметил, что его главная ошибка в том, что проявил слабость, когда согласился на совмещение постов Первого секретаря и Председателя Совета министров. «Но ведь эти два поста дали мне вы!» — не преминул он уколоть своих судей. «Я понимаю, что меня, моей персоны уже нет,.. не прошу милости. Я сейчас переживаю и радуюсь, так как настал период, когда члены Президиума ЦК начали контролировать деятельность Первого секретаря и говорить полным голосом». Он отвергал обвинения в «культе». «Разве я „культ?“ — воскликнул он. — Вы меня кругом обмазали г..., а я говорю: „Правильно“. Разве это культ?!. Я думал, что мне надо уходить. Но жизнь цепкая. Я сам вижу, что не справляюсь с делом... Жизнь мне больше не нужна. Прошу вас, напишите за меня заявление, и я его подпишу. Я готов все сделать во имя интересов партии...». От выступления на Пленуме Хрущев отказался. «Могу расплакаться, все запутаю...».¹⁰

Пленум ЦК КПСС открылся в 18 часов и смахивал на фарс. Доклад, как и по делу «антипартийной группы» Молотова, Кагановича и других, сделал Суслов. Он перечислил все ошибки и сообщил, что Хрущев подал заявление об отставке. Никакого анализа позитивных и негативных итогов хрущевского десятилетия в докладе не содержалось. Не было в нем и программы на будущее. Прений не открывали. Хрущева освободили от всех постов «по состоянию здоровья». Новым Первым секретарем единогласно избрали Брежнева. Некоторые из наиболее рьяных «сподвижников» Хрущева — членов ЦК пытались поднять гвалт. Раздавались выкрики: «Исключить его из партии! Отдать под суд!». Но обыденность происходящего утихомирила и их. На этом «вторая октябрьская революция», как стали говорить московские острословы, завершилась.

Времена ее давно канули в Лету. Но и теперь иные мемуаристы продолжают спорить, стоило или нет изгонять Хрущева. При этом нередко сожалеют, что, вместо того чтобы поправить ошибки одной яркой личности, сделали ставку на другую — посредственную. И лишь некоторые самокритично восклицают: «Холопство! Холопы Хрущева, холопы Брежнева! Помалкивали, когда видели явные ошибки и того, и другого».

Что ж! Типичные нравы кремлевского двора. И не только позавчерашнего...

Но возвратимся к нашему герою... Тотчас замолчали многочисленные телефоны. У ворот на смену привычному «ЗИЛу» сначала пришла «Чайка». Но и она показалась «заклятым друзьям» ненужной роскошью. Ее место заняла обычная «Волга». Были резко ограничены контакты с внешним миром. Его имя не рекомендовалось упоминать в печати. Фиксировались посетители, телефонные звонки. Некоторые льготы ему оставили — московскую квартиру, дачу, паек, кремлевскую больницу и, разумеется, охрану. Пенсию назначили 400 «рэ».

Сам Хрущев после многих лет напряженной работы оказался как бы в вакууме, не знал, что делать и как жить дальше. Иногда впадал в какое-то оцепенение. Врачи пытались снять стрессовое состояние. Но лекарства не помогали. Иногда на его глаза навертывались слезы. Когда в одной из московских школ директор спросил из любопытства у внука: «Что делает Никита Сергеевич?». Тот по-детски непосредственно ответил: «Дедушка плачет». Так что на первых порах лечили в первую очередь теплота семьи и время.

Время тянулось нудно и медленно. А семья с ее повседневными заботами, вниманием была рядом. Впервые молодой Никита женился в далеком 1914 г. на дочери одного

из друзей — рабочих. В гражданскую войну жена умерла от тифа. В первые годы нэпа, еще учась в техникуме, встретил преподавателя политэкономии Н. П. Кухарчук, которая вела занятия и на рабфаке. Они поженились и прошли рука об руку всю жизнь. Нина Петровна, по отзывам и близких, и дальних, была женщиной уравновешенной, доброй, приветливой, не стеснялась критически высказываться о муже, его ошибках, промахах. И Хрущев уважал ее мнение, нередко советовался с ней. От первого брака у Хрущева был сын Леонид, который погиб в годы войны. От второго брака — сын Сергей и две дочери Рада и младшая Лена, которая тяжело болела и медленно угасала. С годами Никита Сергеевич становился сердечнее, внимательнее к близким, особенно к внучке и двум внукам.

Быт семьи во все времена отличался простотой и неприхотливостью. Рассказывают такой факт. В 1959 г. Хрущев, совершая первый визит в США, по совету коллег взял в вояж согласно мировым дипломатическим канонам и жену Нину Петровну. Пока он знакомился с Америкой, Нина Петровна скромно, не вмешиваясь в политику, тоже знакомилась со страной. Однажды американцы организовали для нее посещение известных домов моделей. Однако к нарядам она была всегда равнодушна. Да и муж не давал поводов для этого. Какая-то из мидовских дам тем не менее обратилась к Хрущеву с предложением, не купить ли Нине Петровне норковую шубу. Хрущев вспыхнул: «А на какие шиши? Я получаю командировочные, как все, — шестнадцать долларов в день. Нина Петровна приехала за мой счет». Хрущев вовсе не лукавил. Так было заведено.

Постепенно он освоился с новым положением пенсионера, стал чаще ездить в Москву, прогуливаться по улицам, бывать в театрах, собирать в лесу грибы. Нередко забредал в расположенные неподалеку санаторий, села, с охотой беседовал с окружающими, отвечал на острые вопросы и, как говорится, за словом «в карман не лез». Но по многим свидетельствам, никогда ни дурного, ни хорошего о своих преемниках не говорил. И это в какой-то мере понятно. Ведь все они принадлежали к его «команде», были его выдвиженцами. И все же, как видно, ему не хватало широты общения. Поэтому он с радостью и благодарностью отвечал на редкие телефонные звонки. Бывшие сподвижники, номенклатурщики ему, разумеется, не звонили. Звонили изредка интеллигенты, которых в последние годы он, находясь у власти, не часто жаловал.

Пристрастился к чтению. Читал в основном русскую классику, иногда современных писателей. По-прежнему увлекался поэзией Твардовского, но Пастернака понять так и не мог, хотя и сожалел об ожесточенной кампании против него, поднятой в конце 1950-х гг. По вечерам слушал передачи «Голоса Америки», «Би-би-си». По отзывам стал более терпимым, но в сторонника плюрализма не превратился. Неукротимый жизнелюб, экспериментатор он вдруг, как когда-то кукурузой, увлекся фотографией, потом огородничеством и даже гидропоникой, а затем посвятил все время мемуарам. Власти и партийные инстанции старались в зародыше пресечь эту затею. О публикации хрущевских воспоминаний в СССР не могло быть и речи. А когда они все-таки были изданы в США, то это вызвало страшное возмущение среди кремлевского руководства. Так Никита Сергеевич по иронии судьбы вошел в число первых «тамиздатчиков». Его вскоре пригласил на Старую площадь секретарь ЦК А. Кириленко, которого Хрущев в свое время взял в центральный аппарат, и начал грубо выговаривать за публикацию. «Вы еще слишком хорошо живете», — упрекнул он Хрущева. «Ну что ж, — ответил тот, — вы можете отобрать у меня дачу и пенсию. Я могу пойти по стране с протянутой рукой.

И ведь мне-то подадут. А вот тебе не подадут, если ты пойдешь когда-либо тоже с протянутой рукой».

Все эти тревожения, разумеется, не прибавляли здоровья. Еще летом 1970 г. произошел первый инфаркт. За ним последовали еще два. В больнице умирающий Никита Сергеевич попросил дочь принести... соленый огурец. И она успела выполнить эту просьбу. 11 сентября 1971 г. Хрущева не стало.

Слухи о его кончине распространились по Москве, но власти молчали. Лишь в день похорон «Правда» в траурной рамочке у нижнего обреза страницы напечатала небольшое сообщение, что на 78-м году жизни скончался бывший Первый секретарь ЦК КПСС и Председатель Совета министров СССР, персональный пенсионер Никита Сергеевич Хрущев. Не нашлось места ни для некролога, ни извещения о дате и месте погребения.

Похороны состоялись на Новодевичьем кладбище. Место для могилы выделили на дальнем участке. Власти оцепили кладбище несколькими рядами солдат. На стене вывесили объявление: «Кладбище закрыто. Санитарный день». Даже мертвый Хрущев кому-то был неугоден. Из правителей не пришел никто. Ограничились венком. Шел дождь. Провожали лишь родственники, небольшой круг знакомых и старых большевиков. Люди в штатском поторапливали собравшихся: «Прощайтесь, не задерживайтесь».

Вскоре после похорон родные обратились к Э. Неизвестному с просьбой сделать надгробие. Тот спросил, почему они выбрали именно его, художника, с которым у усопшего были далеко не простые отношения. Ответ был кратким и многозначительным: «Это завещание отца».

* * *

В день 70-летия, после «горячих поздравлений», высоких наград Н. С. Хрущев выступил с краткой речью. «Смерть для некоторых политических деятелей, — рассуждал юбиляр, — иногда наступает раньше их физической смерти». Разумеется, он при этом никак не думал о своей персоне. А между тем к тому времени он уже растерял свой политический багаж и утратил былую популярность и авторитет. Наука пока не пришла к единому мнению, в верном ли направлении шли его поиски, реформы. Но то, что искали наполовину слепые, вероятно, не подлежит сомнению. И тем не менее Хрущев, несомненно, оставил значительный след в истории страны, развернув траекторию ее развития. Но одного разворота оказалось явно мало.

Он не был похож на полубога, не произносил проповедей, не изрекал афоризмов, жил на земле, а не на облаках, куда любили и любят забираться иные государственные деятели. «Как Санчо, грубоват и человечен, хоть недоверчив, как дитя беспечен...», — писал о нем в поздних стихах И. Эренбург. Хрущев умел смотреть на вещи без предубеждения. Ярый коммунист, он в то же время не стеснялся признавать, что автомашины, доильные аппараты, одежду и прочее в иных капиталистических странах делают лучше, чем в СССР. И Хрущев не стыдился использовать эти достижения. Пройдя войну, он не стал военным человеком. Занимаясь внешней политикой, не был похож и на дипломата. Говорил то, что думает, не умел скрывать свои мысли и многозначительно молчать. Во время визита в Британию у Никиты Сергеевича состоялся примечательный разговор с У. Черчиллем. Ушедший с политической арены один из крупнейших государственных деятелей XX в. тогда предостерегал его: «Господин Хрущев, вы затеваете большие реформы. И это хорошо! — говорил он. — Я хотел бы посоветовать вам

не слишком торопиться. Нелегко преодолеть пропасть в два прыжка. Можно упасть в нее». К этому можно только прибавить, что тем более нельзя преодолеть пропасть, когда не ведаешь, куда и на какой берег собираешься прыгнуть.

Надгробие, с которого мы начали рассказ, концентрирует внимание на светлых и темных сторонах личности и деятельности Н. С. Хрущева. Но ему была присуща и еще одна сторона и соответствующий ей цвет — серый. К несчастью для страны и народа, он-то и стал преимущественно олицетворять следующую эпоху.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Бурлацкий Ф. Вожди и советники. М., 1990. С. 85–105.

² Никита Сергеевич Хрущев: Материалы к биографии. М., 1989. С. 93–120.

³ Бурлацкий Ф. Никита Хрущев и его советники — красные, черные, белые. М., 2002. С. 82.

⁴ См.: Архивы Кремля: Президиум ЦК КПСС 1954–1964. Т. 1: Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы. М., 2003.

⁵ См.: Пыжиков А. В. Хрущевская «оттепель». М., 2002.

⁶ XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза: Стенограф. отчет. М., 1962. Т. 2. С. 582.

⁷ Фурсенко А. А. Необычная судьба разведчика Г. Н. Большакова // Новая и новейшая история. 2005. № 4. С. 92–101.

⁸ Аджубей А. Те десять лет. М., 1989. С. 305–333.

⁹ См.: Президиум ЦК КПСС 1954–1964. Т. 1. С. 862–872.

¹⁰ Там же. С. 871–872; Семичастный В. Беспокойное сердце. М., 2002. С. 367–368.

| L
—

**ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ
А. Н. ЦАМУТАЛИ ЗА 2002–2006 гг.¹**

2002

233. [Воспоминания]. К. Н. Тарновский: Историк и его время: Воспоминания. Исследования. СПб., 2002. С. 102–107.
234. [Выступление]. К 80-летию К. Н. Тарновского. Совместное заседание СПбФИРИ РАН и Археографической комиссии РАН. Хроника заседания // Археографический ежегодник за 2001 г. М., 2002. С. 225–226.
235. Наука в осажденном Ленинграде // Вестник молодых ученых. 2002. № 5. Исторические науки. № 1. С. 3–14.
236. Отв. ред.: К. Н. Тарновский. Историк и его время: Воспоминания. Исследования. СПб., 2002.
237. Член редколлегии: 14 декабря: Источники. Исследования. Историография. Библиография. Вып. 5. СПб.; Кишинев, 2002. (Библиотека журнала «Нестор». Источники и исследования истории и культуры России и Восточной Европы. Т. 5). 365 с.

2003

238. А. С. Лаппо-Данилевский и его наследие // Историческая наука и методология истории в России XX века: К 140-летию со дня рождения академика А. С. Лаппо-Данилевского. Санкт-Петербургские чтения по истории, методологии и философии истории. СПб., 2003. Вып. 1. С. 7–14.
239. Анатолий Васильевич Кольцов: (Краткий очерк жизни и творчества) // Русская наука в биографических очерках. СПб., 2003. С. 24–26.
240. Г. Н. Вульфсон как историк общественной мысли и культуры народов России // Уроки Вульфсона. Казань, 2003. С. 80–83.
241. Границы Петербурга. Население // Санкт-Петербург: 300 лет истории. СПб., 2003. Ч. 2. Гл. 2. С. 169–180.
242. Облик города. Архитектура. Строительство // Там же. Гл. 1. С. 181–191. (В соавторстве с А. С. Сухоруковой).²
243. Петербург — столица России: Противостояние Петербурга самодержавного и Петербурга демократического, революционного // Там же. Гл. 5. С. 129–164.

244. Петербург трудовой, заводской, фабричный, торговый // Там же. Гл. 3. С. 192–210.
245. Петербург — центр науки и культуры // Там же. Гл. 6. С. 265–299. (В соавторстве с В. А. Нардовой).³
246. Блокада глазами очевидца: (Интервью с А. Н. Цамутали) // Человек и война: Нестор № 6. (2001. № 2). СПб.; Кишинев; Париж, 2003. С. 255–267.
247. «У меня, как всегда много работы...»: Несколько штрихов к облику Н. Л. Рубинштейна // Страницы российской истории: Проблемы, события, люди: Сб. статей в честь Бориса Васильевича Ананьича. СПб., 2003. С. 275–285.
248. [Рецензия] // Отечественная история. 2003. № 2. С. 192–193. Рец. на кн.: «Совершенно лично и доверительно!»: Б. А. Бахметев — В. А. Маклакову. Переписка. 1919–1951: В 3 т. Т. 1: Август 1919 — сентябрь 1921 / Общ. ред., вступ. ст. О. В. Будницкого: Предисл. Т. Эммонс. М.; Стенфорд, 2001. 508 с. (В соавторстве с Р. Ш. Ганелиным).
249. [Рецензия] // Новый часовой. 2003. № 13–14. С. 435–437. Опыт удачен, а проделанная работа заслуживает одобрения (Рец. на кн.: Казаков А. В., Сазонов О. Н. Военная история: Факты, события, процессы. СПб., 1999).
250. Член редколлегии: Историческая наука и методология истории в России в XX веке... СПб., 2003. 413 с.
251. Член редколлегии: *Ниронен Я.* Финский Петербург. СПб., 2003. 507 с.
252. Член редколлегии: Страницы российской истории : Сб. статей в честь Бориса Васильевича Ананьича. СПб., 2003. 322 с.
253. Член редколлегии: Русская наука в биографических очерках. СПб., 2003. 507 с.

2004

254. Игорь Васильевич жил в мире своих героев: (Несколько слов о Игоре Васильевиче Порохе) // Николаевская Россия: Власть и общество: Материалы круглого стола, посвящ. 80-летию со дня рождения И. В. Пороха. Саратов. 26–27 апреля 2002 г. Саратов, 2004. С. 90–92.
255. Комментарии XXVII, XXIX, XXXI, XXXII // Головин А. В. Записки для немногих. СПб., 2004. С. 511.
256. Образ Финляндии в России: Влияние на его формирование среды и времени // Многоликая Финляндия : Образ Финляндии и финнов в России. Новгород Великий, 2004. С. 12–34.
257. Оскар Энкель и линия Маннергейма // Адреса Петербурга. 2004. № 16/28. С. 22–23.
258. Предисловие // Крбежян В. Г. Участие армян в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Ереван, 2004. С. 3–4.
259. Предисловие // Многоликая Финляндия. С. 7–11. (В соавторстве с О. П. Илюха).
260. [Рецензия] // Этнография Петербурга–Ленинграда : Тридцать лет изучения. 1974–2004. СПб., 2004. С. 373–376. Рец. на кн.: Спивак Д. Л. Северная столица: Метафизика Петербурга. СПб., 1998. 427 с.
261. Отв. ред. (совм. с О. П. Илюха и Г. М. Коваленко): Многоликая Финляндия.

262. Отв. ред.: *Чернов С. Н.* Пестель. Избранные статьи по истории декабризма. СПб., 2004. 304 с.
263. Член редколлегии: Государственная власть и общественность в истории центрального и местного управления в России: Сб. статей памяти М. М. Шумилова. СПб., 2004. 346 с.

2005

264. Академическое дело 1929–1930 // Российская национальная энциклопедия. М., 2005. Т. 1. С. 322–323.
265. Александр Евгеньевич Пресняков и его наследие // Александр Евгеньевич Пресняков. Письма и дневники. 1889–1927. СПб., 2005. С. 3–23. (В соавторстве с Т. Н. Жуковской).
266. Заметки по историографии обороны Ленинграда в России и за рубежом. Нестор. № 8. (2005. № 2.) С. 147–179.
267. Влияние роуссовской революции на русскую историографию XX века // Власть и общество в России во время русско-японской войны и революции 1905–1907 гг. / Тез. докл. Междунар. науч. теоретической конф. СПб., 2005. С. 25–27.
268. Наука и культура Петербурга в XVIII–XX веках // Два города — две судьбы. СПб., 2005. С. 131–170.
269. Предисловие // Фигуры истории и «общие места» историографии. СПб., 2005. С. 5–6.
270. Рубинштейн Николай Леонидович // Чернобаев А. А. Историки России XX века. Биобиблиографический словарь. Саратов, 2005. Т. 2. С. 267.
271. Статья А. Л. Шапиро о А. Е. Преснякове // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. История. Вып. 4. СПб., 2005. С. 26–27. (В соавторстве с С. В. Сафроновой).
272. Александр Евгеньевич Пресняков. Письма и дневники. 1889–1927. СПб., 2005. 968 с. Руководитель проекта и отв. редактор.

2006

273. Апогей самодержавия. Николай I // Власть и реформы: От самодержавной к советской России. М., 2006. Ч. 3. Гл. 3. С. 233–248.
274. Китай в освещении русской военной и военно-исторической литературы начала XX в. // Санкт-Петербург–Китай: Три века контактов. СПб., 2006. С. 212–216.
275. Планы либеральных реформ в начале царствования Александра I // Власть и реформы. Ч. 3. Гл. 1. С. 183–210.
276. Попытка реформ на фоне тридцатилетнего застоя: Крымская катастрофа // Там же. Ч. 3. Гл. 4. С. 249–259.
277. Проекты реформ после войны 1812–1813 гг. // Там же. Ч. 3. Гл. 2. С. 211–224; 227–232.
278. Публикация исторических документов и политическая конъюнктура в СССР (1920–1960-е гг.) // Историческое сознание и власть в России XX века: Науч. доклады. СПб., 2006. С. 239–247.

279. 100-летняя история университета как отражение становления и развития современной системы российского высшего экономического образования // Вестник ИНЖЭКОНА. Серия: Гуманитарные науки. 2006. Вып. 1 (10). С. 4–10. (В соавторстве с В. А. Лимоновым).
280. [Рецензия] // Вопросы истории. 2006. № 7. Июль. С. 169–171. Рец. на кн.: Киреева Р. А. Государственная школа: Историческая концепция К. Д. Кавелина и Б. Н. Чичерина. М., 2004. 500 с.
281. [Рецензия] // Новая и новейшая история. 2006. № 1. Янв.–февр. С. 245–246. Рец. на кн.: Бацер М. И. Дуэль на Олимпе / Изд. Петрозаводского гос. университета. Петрозаводск, 2003. 286 с.
282. Отв. ред.: *Андреева Т. В., Соломонов В. А.* Историк и власть : Сергей Николаевич Чернов. Саратов, 2006. 387 с.

¹ Продолжение. См.: Хронологический указатель трудов А. Н. Цамутали // Алексей Николаевич Цамутали: (К 70-летию со дня рождения): Биобиблиографический указатель трудов 1962–2001. СПб., 2002. С. 9–32.

² А. Н. Цамутали написан текст на с. 181–182, А. С. Сухоруковой — на с. 183–191.

³ А. Н. Цамутали написан текст на с. 265–288, В. А. Нардовой — на с. 288–299.



СОДЕРЖАНИЕ

От редколлегии	3
Ганелин Р. Ш., Кирпичников А. Н. Слово о нашем друге	5

I. ИСТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Исхоль С. Н. Вольтер и его «История российской империи»	9
Медведев И. П. Алексей Николаевич Оленин как византист	17
Воробьёва И. Г. Труды слависта Н. А. Попова по истории русской исторической науки	29
Сафронова С. В. «Русская старина» и цензура. (Эпизод с Н. Ф. Дубровиным и И. А. Бычковым)	41
Иванов А. Е. Российская абитура начала XX в.	48
Каганович Б. С. М. К. Гринвальд. Контуры биографии	59
Сулаберидзе Ю. С. М. А. Полиевктов и его личный фонд в Центральном государственном историческом архиве Грузии	69
Вовина-Лебедева В. Г. А. А. Шахматов — текстолог и «русские младограмматики»	76
Беляев С. Г. С. Ф. Платонов, Б. В. Александров, Б. А. Романов и петроградские архивы в 1918 г.	89
Ананьич Б. В., Л. И. Толстая. Петербургский университет в январе–феврале 1911 г. (Власть и профессура)	93
Соломонов В. А. «Устранение собственных научных сил — факт непостижимо беспримерный в жизни просвещения». (Министр Л. А. Кассо и судьбы русских университетов)	117
Купайгородская А. П. Институт истории Ленинградского отделения Коммунистической академии (1929–1936)	127
Панях В. М. Борис Александрович Романов и Николай Леонидович Рубинштейн	138
Ивина Л. И. «Работаю, пока есть силы...»: А. А. Зимин в его письмах друзьям. (Из переписки А. А. Зимины с Л. И. Ивиной и А. Н. Цамутали)	147



II. ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

<i>Андреева Т. В.</i> М. М. Сперанский и декабристы	158
<i>Рудницкая Е. Л.</i> Просвещение и становление русского интеллигентского сознания	175
<i>Ильин П. В.</i> Обманувшие следствие: к изучению методов и приемов защиты обвиняемых на процессе декабристов 1825–1826 гг.	185
<i>Жуковская Т. Н.</i> С. С. Уваров и Кирилло-Мефодиевское общество или кризис «официальной народности»	196
<i>Кононов А. А.</i> К истории перевода и издания на русском языке записок Н. А. Саблукова	207
<i>Егоров Б. Ф.</i> В. В. Берви-Флеровский как утопист	218
<i>Гинев В. Н.</i> Революция или эволюция? Спор бывшего народовольца Льва Тихомирова с ветераном народнического движения Петром Лавровым	222
<i>Гоголевский А. В.</i> Кадеты в Первой Государственной думе	246
<i>Вандалковская М. Г.</i> Общественно-политическая мысль эмиграции: либеральный консерватизм (20–30-е гг. XX в.)	251

III. ИСТОРИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

<i>Лизунов П. В.</i> Биржевые артели Петербурга: два века истории (XVIII — начало XX в.)	257
<i>Шепелев Л. Е.</i> М. М. Сперанский и чиновники	266
<i>Николаенко П. Д.</i> Князь В. П. Кочубей — учредитель Императорского Ботанического сада в Санкт-Петербурге	271
<i>Чернуха В. Г.</i> Из истории паспорта в России: Столичные адресные конторы (1809–1888)	279
<i>Китанина Т. М.</i> На подходе к рабочему законодательству: правительственная и буржуазная «концепции» рабочего вопроса 30–50-х гг. XIX в.	288
<i>Дорская А. А.</i> Изучение вероисповедного вопроса в Российской империи в конце XIX — начале XX в.: научно-педагогическая деятельность М. Е. Красножена	296
<i>Андреева Н. С.</i> К вопросу о реформе лютеранского прихода в Прибалтийских губерниях в начале XX в.	305
<i>Нардова В. А.</i> Правительственная программа преобразования городского самоуправления и городская общественность 1905–1907 гг.	313

<i>Назаренко А. М.</i> Благотворительные фонды и общества взаимопомощи Санкт-Петербургского градоначальства и столичной полиции	327
<i>Лукоянов И. В.</i> С. Ф. Шарапов и С. Ю. Витте	337
<i>Ерофеев П. В.</i> А. Г. Рафалович — агент Министерства финансов и представитель деловых кругов юга России	342
<i>Флоринский М. Ф.</i> Николай II и кабинет П. А. Столыпина. (К истории взаимоотношений)	352
<i>Петрова Е. Е.</i> Коллективное великокняжеское послание от 29 декабря 1916 г.: история создания	359
<i>Куликов С. В.</i> «В самых лучших отношениях»: бюрократическая элита и Временное правительство	370
<i>Дубровская Е. Ю.</i> Символическое присутствие империи в финляндской столице и трансформация городской символики Гельсингфорса в 1917 г.	385
<i>Чистиков А. Н.</i> Будущие управленцы: студенты Коммунистического университета им. тов. Зиновьева в 1920-е гг.	398
<i>Яров С. В.</i> Оправдание диктатуры: пропагандистские импровизации в Петрограде в 1920–1921 гг.	408

IV. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

<i>Парсамов В. С.</i> Ф. В. Ростопчин и идеологема «Народная война»	420
<i>Сапожников А. И.</i> Военно-цензурные баталии ветеранов 1812 года: А. И. Михайловский-Данилевский и В. С. Норов	430
<i>Лапин В. В.</i> А. П. Ермолов — покоритель Кавказа. Размышления перед портретом	439
<i>Колоницкий Б. И.</i> Великий князь Николай Николаевич в оскорблениях и слухах эпохи Первой мировой войны	445
<i>Ковальчук В. М.</i> Любанская операция Волховского и Ленинградского фронтов	455
<i>Ломагин Н. А.</i> Управление НКВД по Ленинградской области в политическом контроле в начальный период Великой Отечественной войны	463
<i>Иванов В. А.</i> Война и цензура (филтрация лозунга «о неразрывной связи» Ленинградского фронта и тыла в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.)	474

V. РОССИЯ И ВНЕШНИЙ МИР

<i>Носков В. В.</i> Чарлз Эмори Смит — посланник доброй воли	482
<i>Смирнов Н. Н.</i> Франция, Великобритания и русские эмигранты (1916–1917 г.)	489

<i>Мусаев В. И.</i> «Красный тыл революции»: Финляндия и русское революционное движение в начале XX в.	499
<i>Лебедев С. К.</i> Вокруг Кривого Рога: А. Л. Животовский и другие в 1920-х гг.	508
<i>Шишкин В. А.</i> К истории первого послереволюционного кризиса во взаимоотношениях России и Запада (англо-советский конфликт 1927 г.)	520
<i>Фурсенко А. А.</i> Об изучении истории Кубинского кризиса 1962 г. Очерк-воспоминание	528

VI. ЛЮДИ И СУДЬБЫ

<i>Ганелин Р. Ш.</i> М. В. Джервис (Бродский) — сотрудник ЛОИИ	534
<i>Давидсон А. Б.</i> Первая блокадная зима. Воспоминания	538
<i>Рогова Н. Б.</i> Воспоминания учительницы Н. В. Мансветовой о блокаде Ленинграда	547
<i>Соболев Г. Л.</i> Блокадная повседневность в дневниках ленинградцев	578
<i>Ваксер А. З.</i> Никита Сергеевич Хрущев. Штрихи к историческому портрету	585
Хронологический указатель трудов А. Н. Цамутали за 2002–2006 гг.	603



Утверждено к печати Ученым советом
Санкт-Петербургского института истории
Российской Академии наук

Научное издание

**ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ
И ИСТОРИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В РОССИИ
XIX–XX ВЕКОВ**

Сборник статей
к 75-летию
Алексея Николаевича Цамутали

Редактор *А. И. Строева*
Компьютерная верстка *А. В. Андреев*
Дизайн обложки *Т. А. Цамутали*

Подписано в печать 15.12.2006. Формат 60×84 1/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Newton.
Уч.-изд. л. 38,75. Тираж 500 экз. Заказ № 467.

Издательство «Нестор-История»
197110 СПб., Петрозаводская ул., д. 7

Отпечатано в типографии «Нестор-История»
197110 СПб., Петрозаводская ул., д. 7
тел./факс: (812)702-75-78 (812) 235-15-86
e-mail: nestor_historia@list.ru